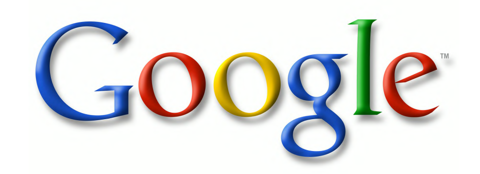


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

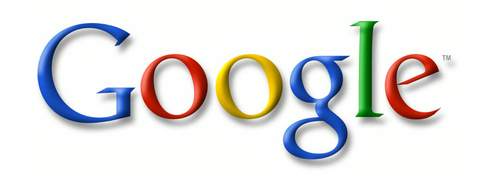
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

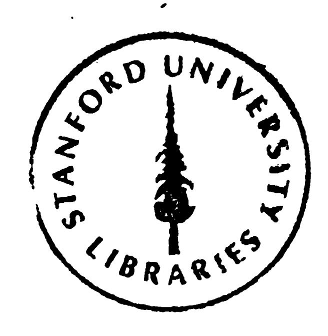
- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



31373



Petropavlovskiĭ, N. E.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(Н. Е. Петропавловскаго).

Съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ.

Редакція А. А. ПОПОВА.

Изданіе К. Т. Солдатенкова.

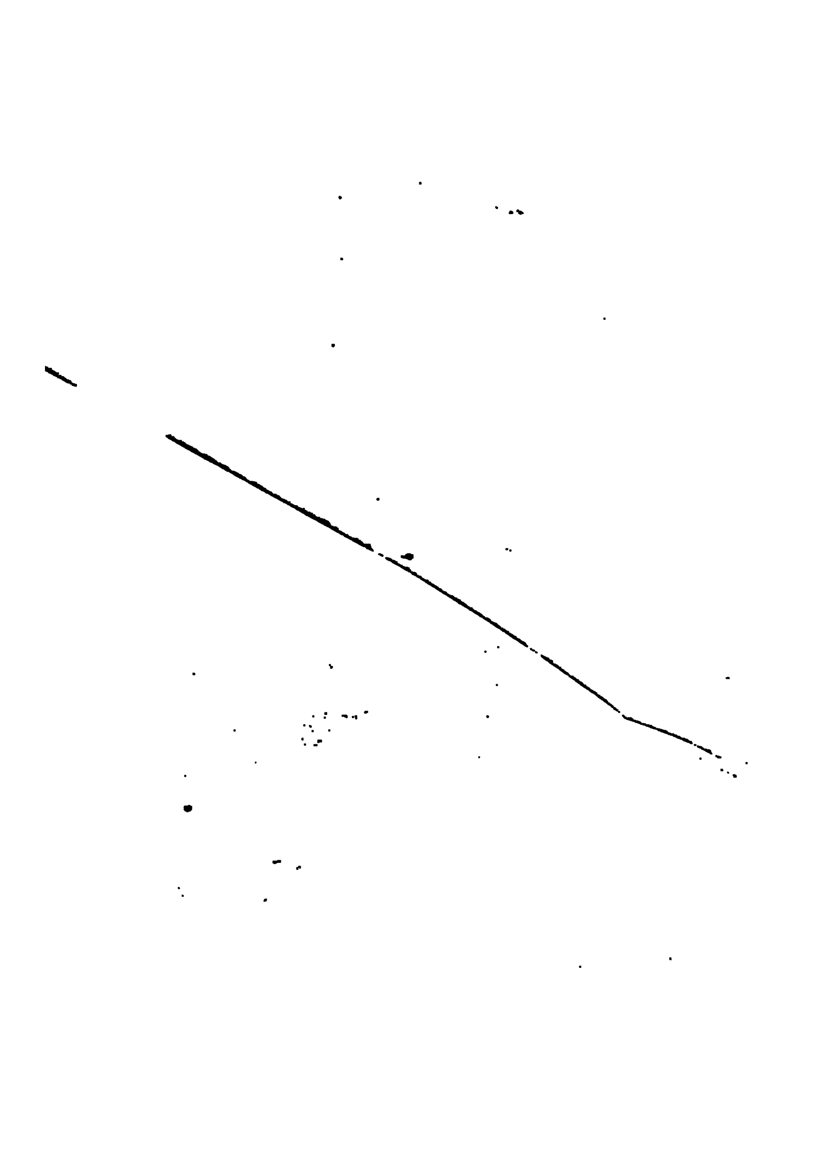
Томъ I.

МОСКВА.
Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1899.

PG 3470
P2
1899
v.1







[illegible] Гнилая [illegible]

[illegible] За [illegible].

[illegible]

[illegible] Ergo[?].

[illegible]

— и в [illegible]

[illegible]

не считать

[illegible], Если [illegible]

Качи- [illegible]

~~[illegible]~~

[illegible] потому [illegible]

-ко, что [illegible]

[illegible]

[illegible] Если [illegible]

[illegible]

[illegible], что [illegible]

[illegible] но только

[illegible] потому, что

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] F, [illegible]

[illegible]

[illegible], кто

[illegible]

[illegible]

[illegible], Ги не трудно до-

~~[illegible]~~ бывать [illegible] своими руками.

[illegible]

Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКІЙ

(КАРОНИНЪ).

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій умеръ отъ горловой чахотки 12 мая 1892 г., 38 лѣтъ. О его жизни читатели повѣстей и разсказовъ „Каронина" знаютъ немного. Нѣсколько небольшихъ некрологовъ, двѣ-три замѣтки, посвященныя его памяти и носящія характеръ личныхъ воспоминаній,—вотъ все, что и теперь, послѣ его смерти, имѣютъ передъ глазами его читатели. Мы хотимъ напомнить еще разъ эти воспоминанія и разсказать, что знаемъ изъ біографіи покойнаго.

Николай Елпидифоровичъ родился 7 октября 1853 года въ глухомъ захолустьѣ Бузулукскаго уѣзда, Самарской губ. Его отецъ былъ священникомъ въ деревнѣ Аѳонькиной. Семья была большая. У Ник. Елп. было два брата и три сестры; онъ былъ предпослѣднимъ по возрасту. Жили бѣдно. Кромѣ отправленія своихъ священническихъ обязанностей, отецъ долженъ былъ обрабатывать единственно силами своей семьи небольшой кусокъ земли, засѣвая хлѣбъ. Первое время послѣ рожденія Ник. Елп. родные мало разсчитывали, что онъ выживетъ,—такъ онъ былъ слабъ и болѣзненъ. Нѣсколько разъ его уже клали „подъ образа", но ребенокъ „выжилъ". Въ самые ранніе годы онъ, оставленный разъ безъ присмотра въ кухнѣ, подвергся нападенію гусыни. Сильный испугъ имѣлъ послѣдствіемъ заиканье, оставшееся на всю жизнь. Росъ онъ такимъ же слабенькимъ, худень-

кимъ и болѣзненнымъ мальчикомъ съ замѣчательно кроткимъ характеромъ. Тихій и задумчиво-сосредоточенный, онъ даже вызывалъ у отца опасенія насчетъ его умственныхъ способностей. Величайшимъ наслажденіемъ для ребенка было бродить за отцомъ или братомъ Александромъ по полю, увязаться за кѣмъ-нибудь на рыбалку. Отецъ, большой любитель рыбной ловли, нерѣдко бралъ его съ собой, и мальчикъ, завернутый въ отцовскую рясу, просиживалъ цѣлые часы на берегу, проводя иногда въ полѣ всю ночь. Жизнь среди природы, всѣ эти поля и рыбалки, оставили глубокій слѣдъ въ душѣ Н. Е.—страстную привязанность къ сельской жизни, въ которой онъ росъ, къ жизни на воздухѣ, на свѣтѣ, на травѣ... Къ камню и пыли городовъ онъ не могъ никогда привыкнуть. Пасмурная погода всегда болѣзненно отзывалась на его настроеніи.

Въ этой обстановкѣ полей и земледѣльческой работы онъ провелъ все дѣтство. Отецъ и братъ Александръ учили его грамотѣ, потомъ, если не ошибаемся, лѣтъ 9-ти, его отдали въ Бузулукское духовное училище, по окончаніи котораго перевезли въ Самарскую семинарію. Учился Н. Е. хорошо, исправно переходя изъ класса въ классъ, но уже съ этихъ первыхъ лѣтъ его ученія жизнь повертывается къ нему далеко не казовымъ концомъ. Онъ былъ еще очень молодъ, когда умеръ его отецъ. Отца онъ любилъ больше всѣхъ изъ семейства, и его смерть произвела на него сильное впечатлѣніе. Да и вся самарская жизнь первое время шла далеко не весело. Дѣти иногородныхъ небогатыхъ родителей отдавались на хлѣба. Обстановка, въ которой шла жизнь этихъ нахлѣбниковъ, была обыкновенно изъ самыхъ незавидныхъ. Дѣти скучивались толпами въ скверномъ помѣщеніи, кормили ихъ плохо, обращались—тоже. На одной изъ такихъ квартиръ Н. Е. опасно заболѣлъ. Съ нимъ сдѣлался тифъ. Хозяйка даже не дала себѣ труда предупредить родителей, хотя оказіи въ городъ были нерѣдки. Случайно завернувшій къ нимъ крестьянинъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жилъ отецъ Н. Е., взялъ больного мальчика съ собой и отвезъ къ отцу. Этотъ переѣздъ въ жару и бреду остался до конца въ памяти Н. Е. Свѣтлыми днями для него были каникулы, когда онъ уѣзжалъ въ деревню къ родителямъ, гдѣ опять отдыхалъ среди природы, работалъ съ братьями въ полѣ, ловилъ рыбу. Каждый разъ возвращеніе обратно въ городъ стоило ему горькихъ слезъ и тяжелой тоски.

Позже его жизнь скрасилась. Время пребыванія въ семинаріи

получило для Н. Е: значительный положительный смыслъ. Образовались кружки саморазвитія; съ цѣлью пополнить свои свѣдѣнія по разнымъ областямъ знанія Н. Е. былъ въ этихъ кружкахъ и читалъ запоемъ, съ такою жадностью, что, по его словамъ, не могъ ни пить, ни ѣсть, хотя это чтеніе доставалось трудно—читать приходилось урывками, пользуясь каждою удобною минутой и обстоятельствами. Это чтеніе и взаимный обмѣнъ мыслей заставляли задумываться надъ жизнью, и вмѣстѣ съ приближеніемъ конца ученія вставалъ вопросъ о своей личной судьбѣ. Родители готовили Н. Е. въ священники. Онъ уже безповоротно рѣшилъ, что не пойдетъ по этой дорогѣ. Нѣкоторое время онъ не рѣшался на открытое объясненіе, зная, что оно сильно огорчитъ мать, но теперь приходилось кончать съ этимъ вопросомъ. Тѣ сцены, какія послѣдовали за его заявленіемъ о своемъ нежеланіи идти въ священники, были не легки, но, въ концѣ-концовъ, съ помощью брата Александра, ставшаго на сторону Н. Е., ему удалось убѣдить родныхъ не противиться его желанію.

Н. Е. оставилъ семинарію, не кончивши тамъ курса, и перешелъ въ гимназію. Жизнь въ гимназіи была непосредственнымъ продолженіемъ послѣдняго времени пребыванія въ семинаріи. И тутъ онъ съ тою же страстью продолжалъ читать съ товарищами, ища отвѣтовъ на жгучіе вопросы, которые вставали передъ его пытливымъ, вдумчивымъ умомъ. Подъ это неустанное чтеніе и споры складывались у Н. Е. тѣ идеалы, которымъ онъ служилъ потомъ всю жизнь. Случайное знакомство съ нѣкоторыми личностями, глубоко преданными народнымъ интересамъ и уже успѣвшими выработать опредѣленную систему убѣжденій, помогло окончательному опредѣленію взглядовъ Н. Е. и на его личныя задачи. Но хорошее время, полное надеждъ и кипучей жизни, оказалось непродолжительно.

5 августа 1874 года Н. Е. долженъ былъ разстаться съ гимназіей, не кончивъ ея, разстаться съ семьей, съ родною деревней, гдѣ онъ проводилъ эти послѣдніе дни. Наступили цѣлые мѣсяцы мытарствъ, въ которые онъ перебывалъ и въ Саратовѣ, и въ Москвѣ, въ самыхъ невозможныхъ и физическихъ, и нравственныхъ условіяхъ, потомъ болѣе $3^1/_2$ лѣтъ въ Петербургѣ. За эти годы онъ почти не слыхалъ близко человѣческаго голоса, не видѣлъ ни одного знакомаго лица, не получалъ даже никакихъ извѣстій отъ своихъ родныхъ, не имѣлъ денегъ... Эти

годы онъ цѣликомъ отдалъ задачѣ пополненія знаній и тѣмъ же поискамъ отвѣтовъ на вопросы, которые ставила русская жизнь. Это характерно для Н. Е. Онъ не только никогда не спускался до приспособленія къ „обстоятельствамъ", но считалъ необходимымъ всякія обстоятельства, каковы бы они ни были, приспособлять къ себѣ и къ своимъ задачамъ. Перечиталъ онъ за это время массу, изучилъ французскій и англійскій языки.

Въ 1878 г. кончились, наконецъ, эти годы. Н. Е. остался въ Петербургѣ, перебиваясь кое-какъ разными случайными работами. Вскорѣ онъ женился, а еще нѣсколько мѣсяцевъ—и разцвѣтавшія было надежды и свѣтлая полоска, пробившаяся было въ его жизнь, опять зачеркнуты. Опять годы разлуки съ женой, съ друзьями и товарищами... Они были для него гораздо мучительнѣе недавняго, только было кончившагося тоже нелегкаго времени, и, несмотря на это, они опять были шагомъ впередъ въ его внутреннемъ развитіи. Онъ продолжалъ лихорадочно работать, спѣша пользоваться каждою минутой. Въ это время онъ окончательно рѣшилъ посвятить себя литературѣ и написалъ свои первые разсказы, появившіеся въ очень популярныхъ тогда журналахъ. Съ тѣхъ поръ, несмотря ни на что, онъ не измѣнялъ этому пути, отдавшись литературѣ цѣликомъ.

Въ декабрѣ 1880 г. Н. Е. получилъ возможность жить нѣкоторое время внѣ этихъ совершенно исключительныхъ обстоятельствъ. Зимой онъ продолжалъ писать, а на весну онъ могъ вырваться изъ Петербурга въ деревню—поправиться и отдохнуть. Н. Е. хотѣлось тогда куда-нибудь на берегъ Волги и, по совѣту одного знакомаго, онъ съ женой уѣхалъ въ дер. Канаву, Симбирскаго уѣзда, гдѣ и прожилъ до половины августа. Туда къ Н. Е. пріѣзжалъ братъ (младшій). Н. Е. много гулялъ, ловилъ рыбу, знакомился съ крестьянами, продолжая свои литературныя занятія, а когда кончилась эта недолгая дачная жизнь, которая могла напомнить ему былые, лучшіе дни, и онъ вернулся въ Петербургъ, пришлось собираться надолго въ Тобольскую губ. За нимъ поѣхала и жена. Первые два года они жили въ г. Курганѣ, гдѣ у Н. Е. родился сынъ Борисъ. Затѣмъ онъ вынужденъ былъ переѣхать въ г. Ишимъ, гдѣ и провелъ остальные три года.

Время началось совсѣмъ не легкое для Н. Е. Почему—во всемъ объемѣ читатель пойметъ, если онъ знаетъ хоть приблизительно общія условія жизни на далекихъ окраинахъ и осо-

бенно жизни тобольскихъ захолустій. Для каждаго образованнаго человѣка достаточно уже того утомительнаго однообразія однихъ и тѣхъ же лицъ, сценъ, положеній, которыя понемногу доводятъ нервную систему до крайняго напряженія. Даже мелочи могутъ при этомъ измучить человѣка, особенно съ такою впечатлительною душой, какая была у Н. Е. А жизнь его не мелочами только была богата. Чисто-личныя обстоятельства у Н. Е. сложились здѣсь крайне тяжелыя, какихъ онъ раньше въ такой мѣрѣ не зналъ; онъ съ семьей страшно нуждался, потому что прекратилась возможность зарабатывать средства къ жизни. Его литературная работа въ журналѣ, гдѣ онъ считалъ было себя постояннымъ сотрудникомъ,—работа, являвшаяся для него главнымъ заработкомъ, случайно оборвалась. Въ Курганѣ его жена могла имѣть акушерскую практику; здѣсь и этого не было. Н. Е. приходилось стряпать, мыть полы, исправлять всевозможныя домашнія работы, возиться съ ребенкомъ... Вся жизнь шла въ невозможной, безсмысленной сутолокѣ, создавалась обстановка, дѣлающая немыслимой какую бы то ни было продуктивную работу. Н. Е. принадлежали только тѣ минуты, которыя удавалось „урвать“ случайно. Приспособлять къ себѣ такія обстоятельства болѣе чѣмъ не легко. А работать было нужно во что бы то ни стало. Нужно было отыскивать другое литературное пристанище, что было не легко Н. Е. при той полной опредѣленности его міросозерцанія и той требовательности къ литературному дѣлу, какими онъ отличался.

Литература всегда была для него храмомъ. Теперь приходилось идти на улицу. Съ основаніемъ „Сѣвернаго Вѣстника“ Н. Е. остановился на немъ, работалъ иногда въ нѣкоторыя газеты и занимался экономическимъ описаніемъ южныхъ округовъ Тобольской губ., за которое ему была присуждена премія Западно-Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества. Каково было работать при окружающихъ его условіяхъ, читатель можетъ представить самъ, и его работа въ то время шла хуже, чѣмъ когда бы то ни было. Знавшіе его въ то время говорятъ прямо, что это была „ужасная“ жизнь, такая жизнь, въ которой и очень сильные люди падаютъ духомъ и разбиваются. Эти годы легли самою тяжелою гирей на тотъ грузъ, который началъ съ самой цвѣтущей поры человѣческой жизни тянуть его въ могилу. Гиря росла, постепенно надламывая его слабое тѣло.

Г. Мачтетъ, встрѣтившійся съ нимъ въ Ишимѣ, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ этой встрѣчѣ слѣдующее:

„Это былъ уже не бодрый, свѣжій юноша, а вполнѣ сло„жившійся человѣкъ, писатель съ опредѣленною физіономіей и „установившеюся репутаціей, только попрежнему ласковый, „добрый, до женственности деликатный, съ тѣми же скорбно„вдумчивыми глазами, съ тою же доброю улыбкой, которая все„гда чаровала всѣхъ. Но была въ немъ и разительная перемѣна: „онъ казался совсѣмъ изможденнымъ, совсѣмъ больнымъ,—до „того былъ онъ худъ и блѣденъ; первая мысль при взглядѣ на „него была мысль о зломъ недугѣ, о послѣдней степени чахотки. „Но тогда ея еще не было,—все это было продуктомъ въ ко„нецъ почти разбитыхъ, истерзанныхъ нервовъ".

А это относилось еще только ко времени пріѣзда Н. Е. въ Ишимъ. Но „при немъ всецѣло остались его симпатіи, его любовь и вѣра"...

Г. Мачтетъ разсказываетъ, какъ смотрѣлъ Н. Е. въ то время на задачи литературы:

„Онъ горячо отстаивалъ положеніе, что намъ, беллетристамъ, „пора оставить одни *типы людей*, которыхъ у насъ наберется „цѣлая портретная галлерея, а изображать одни *типы обще„ственныхъ явленій*, пользуясь для этого людскими типами лишь „какъ средствомъ, очерчивая ихъ слегка, поскольку это нужно „для главной цѣли. Онъ думалъ, что каждая общественная эпоха „опредѣляетъ собою характеръ и рамки творчества, налагаетъ „на художника свои обязанности и задачи. И, прилагая такое „положеніе къ данному моменту, онъ также горячо отстаивалъ „мысль, что задача современнаго художника сводится къ тому, „чтобы, главнымъ образомъ, будить и шевелить чувства читателя, „а не давать ему одно спокойно-объективное изображеніе. Те„орій, схемъ, положеній, портретныхъ типовъ собрано уже „много, но мало и плохо *чувствуется*,—*чувство* не развилось „еще или спитъ и нужно будить его картиной, не гоняясь за „детальною обрисовкой отдѣльныхъ чертъ каждаго лица, за про„токольною правдой явленія или отдѣльнаго типа" („Русск. Вѣд." 1892 г., № 133).

И всѣ его произведенія оправдываютъ эти слова. Онъ ни разу не сбивался съ пути, на который всталъ однажды. Кое-какіе взгляды его къ этому времени измѣнились, потому что сама жизнь привела къ необходимости этихъ измѣненій, развернувъ

шире такія стороны, на которыя недостаточно много обращалось вниманія въ первую половину 70-хъ годовъ. Но тѣ идеалы, которые свѣтили ему въ юности, свѣтили въ тяжелое для него время съ 74—80 г., и теперь горѣли, и ихъ свѣтъ не слабѣлъ, несмотря на эту ужасную жизнь.

Къ тому времени, когда Н. Е. долженъ былъ получить возможность вернуться на родину, въ іюлѣ 1886 г., у него родился другой сынъ, Степанъ, и почти въ то самое время, черезъ нѣсколько дней, умеръ Борисъ, его утѣшеніе и гордость. Не было у него въ жизни такой радости, которую судьба не торопилась бы отравить... Отъ этого удара Н Е. долго не могъ оправиться.

Послѣ похоронъ онъ съ женой и ребенкомъ поѣхалъ въ Казань. Литературный фондъ помогъ ему, приславши, если не ошибаемся, рублей 100. Жили они въ Казани не долго, недѣли двѣ. Н. Е., убитый горемъ, потерялъ силы и не могъ работать. Не искавши даже квартиры, они поѣхали къ его роднымъ въ Самарскую губ., пробыли тамъ тоже недѣли двѣ и вернулись въ Казань; Н. Е. началъ сотрудничать въ „Казанскомъ Листкѣ“ и „Волжскомъ Вѣстникѣ“ и напечаталъ нѣсколько мелкихъ фельетоновъ. Затѣмъ „Казанскій Листокъ“ предложилъ ему сдѣлать описаніе бывшей тогда въ г. Екатеринбургѣ выставки.

На екатеринбургской выставкѣ Н. Е. пробылъ около $2^1/_2$ мѣсяцевъ. Здѣсь онъ, поселившись въ Верхнеисетскомъ заводѣ, имѣлъ возможность наблюдать жизнь кустарей, познакомился, между прочимъ, съ однимъ изъ нихъ, выдумавшимъ perpetuum mobile, который и далъ ему тему для разсказа подъ тѣмъ же заглавіемъ; ѣздилъ въ рудники, на березовскіе заводы (промывка золота). Изъ Екатеринбурга вернулись опять въ Казань, но осенью 1887 г. рѣшили перебраться въ Нижній-Новгородъ. Тамъ у Н. Е. родился третій сынъ, Всеволодъ. Прожили въ Нижнемъ до весны 1889 г., за исключеніемъ лѣта, которое провели въ молоканской деревнѣ Пескахъ, Воронежской губ. По возвращеніи изъ Песковъ Н. Е. опасно заболѣлъ. Съ нимъ сдѣлался перитифлитъ. Съ недѣлю онъ былъ между жизнью и смертью и только къ веснѣ поправился.

Весь этотъ періодъ, съ отъѣзда изъ Ишима, былъ сплошь поисками такого угла, гдѣ онъ могъ бы чувствовать себя спокойно и выбиться изъ постоянной необезпеченности. Ни того, ни другого ему не удавалось добиться. Точно нарочно, и теперь

время отъ времени наскакивалъ какой-нибудь „случай“, оскорблялъ и скрывался за своимъ угломъ, иногда оставивши какія-нибудь пошлыя извиненія, иногда удаляясь съ сознаніемъ своего права. Если не было этого, приходило какое-нибудь личное горе. Нужда тоже не покидала его. Его беллетристическія произведенія не давали ему достаточно средствъ. Онъ не могъ работать много и успѣшно и по внѣшнимъ условіямъ его жизни, и по своимъ собственнымъ особенностямъ, какъ писателя. Имѣть какой-нибудь, хотя незначительный, но постоянный заработокъ, который избавилъ бы его отъ случайнаго существованія,—вотъ что заботило его въ то время. Онъ мечталъ пристроиться вплотную къ какой-нибудь газетѣ или въ качествѣ редактора, или постояннаго работника. Въ этомъ смыслѣ онъ получилъ въ 1889 г. приглашеніе отъ „Саратовскаго Дневника“. Весной онъ ѣздилъ въ Саратовъ, гдѣ пробылъ лѣто, а осенью перебрался туда окончательно. Но вообще газетная работа, вынужденная матеріальными обстоятельствами, была совсѣмъ не по нему. Онъ не умѣлъ писать на заказъ, писать во что бы то ни стало положенное число строкъ. Онъ разсказывалъ, что это писаніе составляло для него пытку, которая искажала и слова, и мысли, и написать къ сроку небольшой газетный фельетонъ оказывалось для него часто такою задачей, которую онъ не могъ осилить. Вотъ, между прочимъ, почему онъ никогда не могъ сжиться съ газетною работой и стать гдѣ-нибудь постояннымъ сотрудникомъ. Оборвалъ онъ скоро и свои отношенія съ „Саратовскимъ Дневникомъ“. Пробовалъ онъ было писать и въ другую мѣстную газету, „Сарат. Листокъ“, но это тоже было непродолжительно. Онъ такъ и остался при своихъ старыхъ ресурсахъ. Въ другихъ отношеніяхъ въ Саратовѣ ему было нѣсколько лучше, хотя онъ все время жалѣлъ, что у него нѣтъ возможности поселиться на долгое время въ деревнѣ. Его тянуло туда, и, кромѣ того, онъ прямо чувствовалъ необходимость обновить и расширить тотъ запасъ наблюденій, который у него былъ. Весной 1890 г. жена Н. Е. заболѣла и пролежала два мѣсяца. За это время безсонныя ночи, возня съ ребенкомъ и пр. окончательно измучили Н. Е. и эти два мѣсяца были послѣднимъ ударомъ его давно расшатанному здоровью. Лѣто онъ провелъ въ селѣ Синенькіе, верстъ за 50 внизъ по Волгѣ, работая надъ своимъ послѣднимъ произведеніемъ „Учитель жизни“. Всю зиму и весну слѣдующаго года онъ жилъ въ городѣ, борясь съ разыгры-

вавшеюся хворостью, а лѣтомъ 1891 г. отправился въ Святыя горы (Харьковской губ.), гдѣ и прожилъ на дачѣ до осени. Эта поѣздка, описанная имъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, была роковою. Уже въ августѣ, когда онъ разъ шелъ пѣшкомъ въ жаркій день на станцію желѣзной дороги, онъ почувствовалъ такую жгучую боль въ горлѣ, что ему чуть не сдѣлалось дурно. Вернулся въ Саратовъ онъ совсѣмъ больной. Мѣстные врачи не рѣшались сначала опредѣлить характеръ его болѣзни и между ними было сильное разногласіе, хотя въ немъ мало было утѣшительнаго. Н. Е. видѣлъ, что дѣло плохо. Его друзья уговорили его ѣхать въ Москву посовѣтоваться съ проф. Остроумовымъ; тамъ не рѣшились сразу открыть ему страшную правду. Онъ вернулся нѣсколько успокоенный. Ему сказали, что язвы въ горлѣ золотушнаго происхожденія и что ихъ начало коренится въ крайне запущенномъ катаррѣ желудка. Но болѣзнь прогрессировала. Это былъ настоящій туберкулезъ, не дающій своимъ жертвамъ никакой надежды. Въ домѣ, въ которомъ онъ жилъ на Святыхъ горахъ, годъ тому назадъ умеръ чахоткою студентъ, и, можетъ быть, въ этомъ приходится искать источникъ болѣзни. Во всякомъ случаѣ, зараза попала на слишкомъ хорошо подготовленную почву. Н. Е. становилось все хуже и хуже. Страшныя боли въ горлѣ и желудкѣ съ присоединеніемъ невральгіи не давали покоя, принятіе пищи становилось крайне мучительнымъ. Болѣзнь, лишивъ его возможности работать, подрывала всѣ средства къ существованію его семьи, сама требуя лишнихъ тратъ. Приходилось жить въ долгъ. Н. Е. все-таки пробовалъ писать, и его „Общество грамотности“ было написано именно въ это мучительное время. Потомъ онъ долженъ былъ слечь окончательно и мѣсяца три уже не вставалъ съ постели. Онъ зналъ свое положеніе. Временами въ немъ просыпалась надежда, что онъ еще можетъ поправиться. Временами онъ ясно сознавалъ, что конецъ близко, что онъ идетъ къ нему неумолимыми шагами, и говорилъ: „Не все ли равно? Годомъ раньше, годомъ позже...“ Но до самыхъ послѣднихъ дней онъ не забывалъ дорогой ему литературы, говорилъ,—какъ это ни было ему трудно,—преимущественно о ней, интерсовался всѣми новостями жизни, старался слѣдить, что дѣлается вокругъ... Въ его головѣ роились планы его будущихъ произведеній. Онъ хотѣлъ писать два большихъ параллельныхъ романа: одинъ изъ жизни русской деревни въ 70-е годы, другой изъ жизни интеллигенціи за тотъ

же періодъ, и разсказывалъ, что первый у него уже обдуманъ во всѣхъ мелочахъ и что еслибы болѣзнь дала ему хотя недѣли двѣ отдыху, онъ могъ бы продиктовать этотъ романъ. Болѣзнь не дала ему этихъ двухъ недѣль. Весной онъ уже не могъ ходить. Самый незначительный разговоръ отражался на немъ болѣзненнымъ образомъ, и онъ лежалъ на своей постели наединѣ съ своею тоской и своими думами... Весна потянула его опять въ деревню, его душили эти стѣны и городъ, и, можетъ быть, эта тоска по полямъ, по чистому, полному свѣта воздуху и поддерживала и раздувала въ немъ тлѣющійся огонекъ смутной надежды. Онъ настаивалъ, чтобы его съ первыми пароходами увезли въ Самарскую губернію, въ степи на кумысъ, увѣрялъ, что ему такъ плохо потому, что стоятъ скверные, пасмурные дни, что онъ встанетъ, какъ только наступитъ хорошая погода. Ясные дни пришли и, можетъ быть, эти ясные дни, а, можетъ быть, и напряженное стремленіе въ поля дѣйствительно оживили больного. Н. Е. могъ нѣкоторое время вставать и подолгу просиживалъ въ креслѣ на открытой террасѣ, всматриваясь въ синѣвшую перспективу Волги и залитыхъ луговъ. Это было недолго. Онъ опять слегъ и уже не подымался. Теперь онъ просилъ увезти его, чтобы не умирать здѣсь, чтобы онъ могъ умереть въ деревнѣ. Но и этого послѣдняго желанія исполнить было нельзя. У него начался мозговой туберкулезный процессъ, сопровождающійся временною потерей сознанія и бредомъ. Не было даже силъ отхаркивать мокроту. Послѣдняя ночь прошла вся въ бреду.

Къ утру его не стало.

Умерла вдумчивая, пытливая мысль, всю жизнь искавшая правды. Умерло сердце, всю жизнь бившееся такою горячею любовью къ терпящимъ и обездоленнымъ. Онъ оставилъ его только въ своихъ произведеніяхъ, не напрасно писавши фразу, могущую служить девизомъ всей его литературной дѣятельности: „Слово имѣетъ свое сердце и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное“ („Собр. сочин.“, т. II, стр. 619). Въ этомъ его жизнь и его дѣло, которое онъ съумѣлъ пронести по такому тяжелому пути, какой немногимъ выпадаетъ на долю, на какомъ немногіе сохраняютъ ту кристальную, святую чистоту души, которой отличался покойный Н. Е. „Я не зналъ ни одного человѣка, я не слышалъ ни объ одномъ, который, встрѣтивъ его въ жизни, не полюбилъ бы его, какъ любили всѣ“,—гово-

ритъ г. Мачтетъ.—„И какъ бы мнѣ хотѣлось возразить ему те-„перь на его любимое положеніе: нѣтъ, наша портретная гал-„лерея не полна, литературой собраны не всѣ типы. Есть у „насъ герои, для изображенія которыхъ не настало еще время, „не народился художникъ. Среди нашихъ типовъ не обрисованъ „еще герой съ твоею чистою, честною, беззавѣтно любящею душой“...

Разсказы о парашкинцахъ.

I.

БЕЗГЛАСНЫЙ.

Что онъ былъ безгласенъ—это пунктъ, противный мнѣнію всего Парашкинскаго сельскаго общества, къ которому причислена была его душа, означенная въ ревизскихъ сказкахъ подъ именемъ Фрола Пантелѣева; и еслибы кто взялъ на себя смѣлость утверждать, что Фролъ Пантелѣевъ мало пригоденъ въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется способность ходить по прихожимъ и умолять, и сталъ бы приводить тотъ всѣмъ извѣстный фактъ, что Фролъ Пантелѣевъ любитъ молчать, а при необходимости — выражаться кратко, то всѣ парашкинцы съ недоумѣніемъ опровергли бы подобную клевету, приводя многочисленныя свидѣтельства въ пользу Фроловой способности подвергать себя всѣмъ печальнымъ невыгодамъ гласности.

Послѣ того, какъ парашкинцы получили право открыто говорить о себѣ при посредствѣ гласныхъ учрежденій, Фролъ, въ качествѣ единственнаго письменнаго человѣка на все общество, еженедѣльно доказывалъ свою письменность на дѣлѣ, такъ что извѣстность его, какъ письменнаго человѣка и, пожалуй, какъ ходатая, была настолько обширна и прочна, что онъ и самъ, въ концѣ-концовъ, убѣдился въ невозможности не писать и не тыкаться отъ одного начальства къ другому.

Въ просьбахъ о ходатайствѣ онъ отказъ считалъ немыслимымъ. Часто онъ предавался въ руки своихъ кліентовъ съ отчаяніемъ, потому что долженъ былъ бросать собственное хозяйство. Не было ни одного человѣка, который не зналъ бы его избы, стоявшей посреди села и подпертой съ двухъ сторонъ колышками, надо думать, не съ цѣлью архитектур-

ныхъ украшеній. Здѣсь, починивая обыкновенно сапогъ, расхудавшійся вслѣдствіе продолжительныхъ странствованій, онъ выслушивалъ мольбы своихъ посѣтителей; здѣсь онъ часто съ свойственною ему рѣшительностью говорилъ: „Провалитесь вы совсѣмъ! Возьму и убѣгу, проваль васъ возьми!“ Но здѣсь же онъ неминуемо долженъ былъ сознаваться, что ни посѣтители его никуда не провалятся, ни онъ никуда не убѣжитъ. И съ этимъ грустнымъ свойствомъ его знакомы были всѣ парашкинцы, во всѣхъ трехъ деревняхъ, составлявшихъ ихъ „опчество“; даже Иванъ Заяцъ, сосѣдъ Фрола, въ своемъ еженедѣльномъ безпамятствѣ, вспоминалъ не писаря и никого другого, а Флора. Проходя мимо избы послѣдняго, съ разодранною рубахой, сквозь которую просвѣчивало его мѣдное тѣло, онъ считалъ какъ бы своею обязанностью зайти къ сосѣду.

— Фролъ, — начиналъ онъ, озирая избу осовѣлыми глазами.

— Чево?—отзывается Фролъ, ковыряя сапогъ и чувствуя, что уступитъ просьбѣ пьянаго.

— Пиши къ мировому!

— Насчетъ какихъ дѣловъ?

— Какихъ? Насчетъ, напримѣръ, побіенія меня около волости Ѳедоткой — вотъ какихъ! — нагло объяснялся Заяцъ, вспомнившій, что его поколотили.

— Проснись, дурова голова! Кольями бы тебя отвозить, такъ ты бы не сталъ лакать винище-то... Уйди! Недосугъ!— съ негодованіемъ возражалъ Фролъ.

Приди Иванъ Заяцъ не въ такомъ неразумномъ видѣ, Фролъ уступилъ бы. Если онъ часто отказывалъ Ивану Зайцу въ просьбѣ, то лишь потому, что послѣдній и самъ забывалъ о только-что случившемся побіеніи его Ѳедоткой. Чаще же всего случалось, что Фролъ бросалъ распоротый сапогъ и шило, шелъ къ столу и безропотно начиналъ возить перомъ по загаженной мухами бумагѣ. Если его грамотность и поражала всегда неожиданнымъ сочетаніемъ буквъ, вслѣдствіе чего мѣстный мировой судья постоянно „помиралъ со смѣху“, читая Фролово писаніе, тѣмъ не менѣе, многочисленные почитатели Фрола считали себя вполнѣ удовлетворенными и доказывали свое удовольствіе гонораромъ, неизвѣстнымъ ни одному адвокату въ мірѣ.

Что касается „опчества“, то Фролъ положительно никогда ему не отказывалъ. Былъ-ли онъ занятъ чѣмъ, метался-ли подобно угорѣлому, справляя какую-нибудь домашнюю страду, но лишь только обращался къ нему съ просьбою сходъ, онъ бросалъ все и шелъ на сходъ. Всѣмъ извѣстно было, что на сходѣ по доброй волѣ онъ бывалъ рѣдко, если же и случалось ему тамъ присутствовать, то онъ всегда старался забиться въ самый дальній уголъ и молчалъ, рѣдко бросая робкое слово въ общую кучу воплей; по большей же части онъ былъ приводимъ туда силой. Когда на сходѣ замѣчалась нужда въ какой-нибудь важнаго значенія „письменности“, то немедленно всѣ рѣшали: привести Фрола. Отряжался депутатъ къ Фролу. Но Фрола, напримѣръ, дома не было; депутатъ шелъ туда, гдѣ онъ былъ. Фролъ былъ, напримѣръ, на гумнѣ; депутатъ шелъ на гумно. Приходя туда, депутатъ садился на краю тока, на которомъ разложены были снопы ржи, и начиналъ, напримѣръ, такъ:

— Богъ помочь, Фролъ!

— Спасибо,—угрюмо отвѣчаетъ Фролъ, чувствуя недоброе.

Минута молчанія.

— Рожь?

— Рожь.

Молчаніе.

— Суха!—говоритъ депутатъ, кладя въ ротъ рожь и начиная жевать.

— Давно въ овинѣ.

Молчаніе.

— Надо полагать, скоро смолотишь.

— Кто знаетъ?—возражалъ Фролъ, яростно колотя цѣпомъ по снопамъ и тоскливо ожидая, что вотъ-вотъ его возьмутъ и уведутъ.

— А мы къ тебѣ, Фролъ.

— Чево еще?

— Да тамъ, на сходѣ, извѣстно—письменность. Думали—такъ; ну, нельзя; баютъ, письменность... Ужь ты сдѣлай милость, пойдемъ.

Фролъ молчитъ и колотитъ цѣпомъ.

— Ужь брось молотить-то.

Фролъ молчитъ.

— Тоже вѣдь опчественное дѣло.

— А-ахъ, провалъ васъ возьми! А куда я рожь-то дѣну? рожь-то? Свиньи еще слопаютъ,—возражаетъ Фролъ и перестаетъ молотить.

— Эва! Свиньи! Да мы ребятъ кликнемъ—покараулятъ... Эй, пострѣлы! сюда! Гляди въ оба, чтобы все въ цѣлости!... Ну, пойдемъ, Фролъ.

И Фролъ больше не сопротивляется, кладетъ на плечи цѣпъ, въ предохраненіе его отъ „пострѣловъ", и идетъ, какъ военно-плѣнный, за депутатомъ, который съ торжествомъ приводитъ его на „съѣзжую". Тамъ Фролъ садится за столъ и нѣсколько часовъ кряду возитъ перомъ по бумагѣ.

Сапоги Фрола подвергались постоянному риску развалиться совершенно, вслѣдствіе его частыхъ переходовъ изъ одной деревни въ другую, входящую въ Парашкинское общество. Для Фрола такая перспектива—остаться безъ сапогъ и забросить свое хозяйство—была тѣмъ болѣе очевидна, что его хожденія не ограничивались однимъ только Парашкинскимъ обществомъ; извѣстность его простиралась дальше и выходила за предѣлы наглости парашкинцевъ. Иногда видѣли мужиковъ, пришедшихъ къ нему изъ сосѣдняго общества, и Фролъ все равно, въ концѣ-концовъ, вставалъ, надѣвалъ свои полураспоротые сапоги, напяливалъ свой сѣрый, блинообразный картузъ на самые глаза и шелъ посреди мужиковъ въ сосѣднее общество для написанія какого-нибудь приговора или для какого-нибудь „ходатайства".

Приговоры были спеціальностью Фрола. Въ этомъ случаѣ онъ даже и не грубилъ своимъ просителямъ, вполнѣ признавая, насколько вредно поручать сочиненіе приговора писарю или другому кому-нибудь, душа котораго не была приписана къ обществу; когда приходили къ нему парашкинцы, то онъ не чесался, не ворчалъ, а прямо шелъ на съѣзжую и принимался за чудовищную работу.

Въ особенности нужно было тонкое и всестороннее знаніе закорючекъ, какими старался ошеломить парашкинцевъ сосѣдній баринъ, до послѣдняго времени ведшій войну съ героическимъ упорствомъ противъ бывшихъ крѣпостныхъ, а теперь „рендателей" своихъ. Парашкинцы также, въ свою очередь, не уступали барину, никогда не отказываясь отъ права противъ закорючекъ барина поставить свои собственныя при писаніи приговора. Для этого всегда выбирался

Фролъ, которому парашкинцы въ этомъ разѣ говорили: „Ну, Фролъ, гляди въ оба! Какъ бы намъ тово... не промахнуться“. Фролъ на это неизмѣнно возражалъ: „Ничево, не промахнемся!“ И Фролъ съ глубокимъ вниманіемъ изслѣдовалъ закорючки барина, стараясь поставить противъ нихъ въ приговорѣ свои собственныя контръ-закорючки. Часто, впрочемъ, войны парашкинцевъ съ бариномъ оканчивались простою перепиской, вносившей волненіе въ обѣ воюющія стороны на время и потомъ прекращавшейся мирнымъ образомъ и безъ письменности. Загонитъ-ли баринъ парашкинскихъ телятъ, вырубятъ-ли сами парашкинцы нѣсколько возовъ хворосту изъ барскаго лѣсу, въ томъ и другомъ случаѣ, послѣ взаимнаго озлобленія, обѣ воюющія стороны начинаютъ говорить о мирѣ, убѣждаясь на опытѣ, что военныя дѣйствія сдѣлали достаточно опустошеній съ той и другой стороны.

Само собою разумѣется, что для примиренія выбирался Фролъ, который, не взирая на свою любовь къ молчанію, несмотря также на свое негодованіе противъ поведенія „опчества“ и барина, не отказывался отъ дипломатической миссіи, шелъ къ лютому барину и убѣждалъ его наложить контрибуцію на телятъ по-барски, безъ преувеличенія количества опустошеннаго гнилого сѣна. Когда же переговоры оканчивались въ его пользу, онъ забиралъ изъ барскихъ хлѣвовъ парашкинскихъ телятъ и съ шумомъ гналъ ихъ домой. Въ случаѣ же, когда баринъ отказывался взять умѣренный штрафъ и начиналась безконечная тяжба у мирового, то Фролъ также терпѣлъ не мало, терпѣлъ до того, что, наконецъ, терпѣніе его изсякало.

— Провалитесь вы и съ телятами своими!—говорилъ онъ иногда, сознавая всю недѣйствительность подобныхъ возгласовъ.

— А ты ужь, Фролъ, не больно... тоже вѣдь опчественное дѣло,—возражалъ кто-нибудь Фролу.

И Фролъ на другой же день снова отправлялся къ мировому тягаться за парашкинскихъ телятъ.

Однимъ словомъ, Фролъ пользовался извѣстностью, и не только за свою письменность, но и за свою готовность таскаться по начальству.

Впервые безгласность его проявилась замѣтнымъ образомъ по пріѣздѣ въ Парашкино заѣзжаго барина, изслѣдовавшаго

разные ученые вопросы мимопроѣздомъ, за станціоннымъ чаемъ. Баринъ принадлежалъ къ числу тѣхъ праздношатающихся, которые, для пополненія празднаго времени, безъ пути слоняются по захолустьямъ и изслѣдують вопросы съ точки зрѣнія своей собственной праздности. Это было время, когда только-что возникъ вопросъ: сейчасъ упразднить общину или повременить? Изслѣдователь, остановившійся у парашкинцевъ, этимъ вопросомъ и былъ занятъ. Изъявивъ свое желаніе поговорить съ человѣкомъ знающимъ, онъ скоро увидалъ у себя Фрола, который столбомъ остановился у притолки и ожидалъ приказаній страннаго барина, смущенно перекладывая свой картузъ изъ одной руки въ другую.

Послѣ перваго обмѣна привѣтствій, необходимаго для установленія хоть какого-нибудь пониманія между праздношатающимся и приписаннымъ, изслѣдователь началъ интересующій его допросъ.

— Скажи, пожалуйста... да ты что стоишь? Садись, другъ мой.

— Покорно благодаримъ.

— Скажи, пожалуйста, какъ у васъ община... крѣпка?

-- Это насчетъ чего?

— Не хотите землю дѣлить?

— Не слыхать будто.

— Значитъ, крѣпко держитесь общинныхъ порядковъ? Ну, а не бѣгутъ отъ васъ люди? не покидаютъ землю? не тяготятся вашими порядками?—спросилъ изслѣдователь, довольный тѣмъ, что вопросы такъ быстро разрѣшаются.

— Бываетъ, и въ бѣги даются.

— И много бѣгутъ?

— Бываетъ.

— Такъ, значитъ, община-то ваша распадается?—спросилъ пораженный изслѣдователь.

— Которые люди въ городъ бѣгутъ, тѣ отъ опчества отстраняются, а которые въ опчествѣ живутъ, ну, тѣ тутъ и живутъ,—отвѣчалъ Фролъ, недоумѣвая, зачѣмъ все это его спрашиваютъ.

— Ну, хорошо, положимъ. Ну, а тѣ, кто въ обществѣ-то остается, не ссорятся? — спросилъ изслѣдователь, убѣжденный, что теперь вопросъ поставленъ прямо.

— Какъ не ссориться! Бываетъ.

— При дѣлежѣ земли?

— Бываетъ.

— Но развѣ это хорошо?

— Это насчетъ чего?

— Да ссориться?

— Что ужъ тутъ хорошаго!

— Такъ почему-жь бы не раздѣлить землю навѣчно?

— Не знаю ужъ... — смущенно проговорилъ Фролъ и замолчалъ.

А баринъ сердится.

— Ну, хорошо,—началъ онъ съ другого конца,—положимъ: не хотите землю дѣлить; крѣпка община. Но развѣ не лучше было бы, еслибы каждый сидѣлъ на своемъ углу и обрабатывалъ бы его какъ ему надо? И землѣ было бы лучше, и человѣку вольно.

— Это точно.

— Значитъ, когда-нибудь раздѣлитесь?

— Не знаю ужъ...

Фролъ все свое вниманіе сосредоточилъ на картузѣ, въ то время, какъ лицо его начало деревенѣть.

— Да ты самъ какъ объ этомъ думаешь? Вѣдь есть же у тебя мнѣніе?

— Это насчетъ чего?

— Хорошо или худо подѣлить землю?

— Да я что же.... какъ опчество...

— Да тебѣ плохо или хорошо жить при этихъ порядкахъ?

— Чего ужъ тутъ хорошаго!

— То-то же и есть; значитъ, хорошо подѣлить?

— Да какъ опчество...

Баринъ сплюнулъ; лицо его было красно; сколько онъ ни предлагалъ далѣе вопросовъ, путнаго ничего не вышло. На лицѣ Фрола подъ конецъ не свѣтилось никакой мысли и не было ни одного желанія, кромѣ желанія надѣть картузъ.

Безгласность Фрола была ясная, не допускающая ни малѣйшаго сомнѣнія. Но помимо ея было еще что-то; помимо ея, въ его неопредѣленныхъ отвѣтахъ слышалось прямое изумленіе, до того полное, что оно, въ концѣ-концовъ, перешло въ деревянность. Между бариномъ и Фроломъ Пантелѣевымъ было, очевидно, полное непониманіе, и говорили они на разныхъ языкахъ, изумляясь легкомыслію другъ друга;

да и трудно было имъ сойтись на какой-нибудь точкѣ взаимнаго разумѣнія. Для изслѣдователя община рисовалась въ видѣ полицейской будки, которую можно упразднить или оставить на мѣстѣ, а для Фрола „опчество" было его собственнымъ тѣломъ, рѣзать которое, само собою разумѣется, больно. Первый могъ спокойно говорить объ упраздненіи, а второй и не думалъ объ этомъ никогда. Мало того, праздный вопросъ объ упраздненіи въ положеніи праздношатающагося былъ совершенно естественъ, тогда какъ второму и предложить себѣ подобный вопросъ было некогда, именно вслѣдствіе необыкновенной праздности этого вопроса. И это еще не все: изслѣдователь вопросъ объ упраздненіи считалъ дѣломъ личностей, даже и праздношатающихся въ томъ числѣ; Фролъ же только одно „опчество" считалъ способнымъ порѣшить вопросъ о разрушеніи „опчества".

Есть основаніе думать, что Фролъ, несмотря на врожденную въ немъ склонность къ угрюмому молчанію, далъ бы болѣе опредѣленный отвѣтъ, еслибы ученый изслѣдователь не позабылъ одного обстоятельства, предшествовавшаго возникновенію вопроса объ упраздненіи. Дѣло въ томъ, что раньше вопроса объ упраздненіи возникли другіе вопросы, не заключавшіе въ себѣ ни тѣни легкомыслія и сводившіеся къ слѣдующему: что лучше, владѣть ли одною десятиной „сопча" или въ одиночку и нераздѣльно? Еслибы изслѣдователь предложилъ этотъ первобытный и необыкновенно реальный вопросъ, то Фролъ отвѣтилъ бы на него разумнѣе и опредѣленнѣе. Можетъ быть, онъ сказалъ бы, что владѣть одному десятиной и разводить на ней капусту гораздо лучше, чѣмъ владѣть ею сообща и сѣять на ней рожь; можетъ быть, онъ подумалъ бы наоборотъ, а, можетъ быть, не долго думая, онъ сказалъ бы, что несравненно лучше всего прочаго плюнуть на эту десятину и „даться въ бѣга". Во всякомъ случаѣ, эти отвѣты способны были бы въ большей степени удовлетворить всякаго праздношатающагося. Но Фролъ не слыхалъ такихъ понятныхъ ему вопросовъ.

Почему бы то ни было, вслѣдствіе ли невѣжества Фрола или вслѣдствіе забывчивости ученаго изслѣдователя, но послѣдній уѣхалъ въ сильномъ раздраженіи отъ парашкинцевъ, удивляясь всю дорогу до слѣдующей станціи неспособности ихъ связно отвѣчать на самые простые вопросы. Такъ Фролъ

и остался нѣмымъ для изслѣдователя. Самъ же по себѣ Фролъ скоро оправился отъ смущенія, въ особенности, когда онъ пришелъ домой и принялся зачинивать распоровшійся сапогъ, и когда вечеромъ того же дня въ его избу пришелъ староста и сказалъ: „Фролъ! пойдемъ на сходъ — письменность", то Фролъ тотчасъ же надѣлъ сапогъ и пошелъ вслѣдъ за старостой, причемъ ни староста, ни кто другой не замѣтили на лицѣ его деревянности, потому что онъ сказалъ:

— Провалитесь вы!

Въ концѣ лѣта того же года, послѣ сбора урожая, который „позволилъ ожидать бо̀льшаго", совершилось событіе, подѣйствовавшее на Фрола оглушающимъ образомъ; оно до того было неожиданно, что онъ не успѣлъ даже сообразить, сказать обычное свое „провалитесь" и т. д. Для парашкинцевъ оно не было важно; они, можно сказать, не считали даже событіемъ выборъ гласныхъ въ земство, глубоко убѣжденные, что это повинность, исполнять которую должно потому лишь, что „начальству виднѣе, что̀ и какъ". Но если участіе на избирательномъ съѣздѣ было для нихъ нестоющимъ гроша мѣднаго, тѣмъ не менѣе, въ силу привычки идти туда и сидѣть тамъ, гдѣ посадятъ, они точно и регулярно участвовали въ выборѣ гласныхъ, которые, къ ихъ счастью, всегда сами себя назначали. Пошли парашкинцы на съѣздъ и въ этомъ году, безъ другой мысли, кромѣ какъ скорѣе возвратиться обратно.

Съѣздъ шелъ обычнымъ порядкомъ; все было попрежнему, какъ слѣдуетъ. До начала выборовъ парашкинцы и вмѣстѣ съ ними другіе избиратели усѣлись на лугу, противъ волостного правленія, и томительно стали выжидать схода; потомъ они вынули изъ тряпицъ куски хлѣба, лукъ, рѣдьку и другіе съѣстные припасы, вообще служащіе для подкрѣпленія ревизскихъ душъ; потомъ, подкрѣпивъ свои силы, они стали обмѣниваться шутками, надѣляя другъ друга тумаками. Потомъ нѣкоторые изъ нихъ увидали, что съ задняго крыльца правленія былъ внесенъ трехведерный боченокъ, настолько извѣстный по прежнимъ избирательнымъ съѣздамъ, что сомнѣваться въ значеніи его появленія значило то же самое, что сомнѣваться въ желаніи старшины выбраться въ гласные вторично. Вскорѣ послѣ этого явленія показался и самъ старшина и лично пожелалъ справиться, насколько видъ

вышеупомянутаго боченка очаровалъ избирательскія сердца. Для этого онъ обошелъ всѣ группы лежащихъ и сидящихъ избирателей и предлагалъ себя—однимъ съ умѣренною важностью начальства, другимъ — съ указаніемъ худыхъ перспективъ въ будущемъ, въ случаѣ неуваженія его сана. И результатъ оказался несомнѣненъ, потому что на вопросъ однихъ избирателей: „Ну, что ребя? старшину, что-ли?“—другіе, въ томъ числѣ и парашкинцы, отвѣчали поголовно: „Вали старшину!“

Фролъ также присутствовалъ здѣсь; парашкинцы привели его на тотъ случай, если понадобится письменность. Но онъ рѣшительно отстранилъ себя отъ дѣятельнаго участія въ выборахъ. Съѣвъ свою краюшку хлѣба, онъ легъ подъ тѣнь крапивы, густо росшей возлѣ волостного забора, и думалъ вздремнуть до той поры, когда потребуется письменность. Но едва онъ успѣлъ вытянуть свои худыя, длинныя ноги и не успѣлъ еще забыться, какъ услышалъ отчаянный вопль: „Фро-олъ!“ Крикъ этотъ, по своей неожиданности для всѣхъ, сначала остался безъ отвѣта, но когда онъ повторился, то тотъ, къ кому онъ былъ обращенъ, отвѣчалъ: „чево?“—очевидно, недовольный тѣмъ, что ему и тутъ спокою не даютъ. И только-что Фролъ хотѣлъ сказать: „провалитесь“ и пр., какъ имя его начало гудѣть по всему собранію, среди котораго больше всѣхъ кричали парашкинцы. Фролъ мгновенно, къ ужасу своему, понялъ.

Было ясно, что Фрола выбирали въ гласные. Никто этого не ожидалъ, и всего менѣе тѣ, кто выбиралъ его. Старшина также не сомнѣвался, до того не сомнѣвался, что приказалъ писарю приготовить боченокъ къ появленію на сценѣ. Но вдругъ какой-то взбалмошный голосъ заоралъ: „Фрола!“ За первымъ нашелся второй, который также заоралъ; потомъ закричалъ третій, четвертый и т. д., пока не проснулось все собраніе, взволнованное такимъ необыкновеннымъ происшествіемъ. Тотчасъ со всѣхъ сторонъ послышались возгласы:

— По боку старшину!

— Чай, тоже и сами силу имѣемъ произвесть въ гласные!

— Вали Фрола!

— Фрола, Фрола, Фрола!

И когда Фролъ былъ выведенъ изъ крапивы, гдѣ онъ стоялъ въ ошеломленіи, то для посторонняго взгляда стало оче-

видно, что старшина провалится. Онъ и дѣйствительно провалился. Несмотря на его извѣстность, несмотря на согласіе, данное для его выбора парашкинцами и другими избирателями, несмотря на соблазнъ, представляемый трехведернымъ боченкомъ, вопреки даже рекомендаціи, данной старшинѣ лицомъ, извѣстнымъ парашкинцамъ по внушаемому имъ непреодолимому ужасу, не взирая, однимъ словомъ, на всѣ худыя перспективы, старшина получилъ „по боку", и Фролъ къ вечеру былъ избранъ въ гласные Сысойскаго уѣзднаго земства.

Возвращаясь домой, парашкинцы болѣе не думали о своемъ неразумномъ поступкѣ и даже удивлялись, почему Фролъ идетъ среди нихъ словно въ воду опущенный. Парашкинцы недоумѣвали, поглядывая на странное лицо своего излюбленнаго, скорѣе деревянное, чѣмъ живое. А Фролу дѣйствительно было не по себѣ. Прежде всего, его поразила неожиданность его избранія; потомъ онъ очумѣлъ отъ страха. А потомъ, ясно представивъ себя дѣятелемъ въ Сысойскомъ земствѣ, онъ почувствовалъ боль, отъ которой ныли всѣ его внутренности. Онъ погрузился въ себя, угрюмо и молчаливо шагая среди своихъ парашкинцевъ, ликующихъ, что, наконецъ, повинность справлена.

Чтобы понять мрачныя мысли Фрола въ эту минуту, надо вообразить себѣ его прошедшую жизнь, столь неожиданно направленную на другую дорогу. Всѣ парашкинцы знали, что Фролъ былъ невольнымъ спеціалистомъ въ дѣлѣ сованія отъ одного начальства къ другому. Всѣмъ въ такой же мѣрѣ было извѣстно, что, какъ письменный человѣкъ, Фролъ былъ кладъ. Никто поэтому и не сомнѣвался въ его способности представлять невѣжество парашкинцевъ въ Сысойскомъ земствѣ. Но для Фрола такая репутація была мало полезна въ данномъ разѣ. Прежде всего, онъ, какъ извѣстный парашкинецъ, любилъ лучше сидѣть дома, чѣмъ тыкаться Богъ знаетъ гдѣ, и понятна горечь, съ какою онъ всякій разъ собирался въ уѣздный городъ Сысойскъ. Только дома онъ чувствовалъ себя хорошо; внѣ же дома онъ былъ рыбой, вытянутой на берегъ. Онъ всю жизнь держался правила или, скорѣе, вопля: „Не тронь меня!" Можно даже сказать, что и вся-то его жизнь заключалась въ несчетныхъ попыткахъ скрыться, утаить свою душу и тѣло и остаться незамѣченнымъ. А тутъ

вдругъ пришлось выставлять себя на показъ. Ясно, что для Фрола это было не хорошо.

Далѣе.

Съ самаго рожденія и до того момента, когда онъ былъ вытащенъ изъ крапивы, онъ привыкъ не выставлять наружу своихъ внутренностей, такъ что даже извѣстность этимъ пріобрѣлъ. Болѣютъ-ли его внутренности, было-ли ему тошно, о чемъ онъ думалъ и думалъ-ли о чемъ,—все это онъ скрывалъ въ себѣ; почему—другой вопросъ. Потому-ли, что онѣ (внутренности-то) и безъ того часто потрошились, въ силу-ли свойственнаго парашкинцамъ упорства въ молчаніи, но только Фролъ молчалъ даже и въ то время, когда терпѣніе всякаго другого человѣка лопается; и до сихъ поръ, дѣйствительно, никто не въ состояніи былъ залѣзть въ его душу съ его вѣдома. Теперь же онъ самъ долженъ былъ вывернуть себя и показать себя извнутри, по крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ думалъ; слово „гласность“ онъ такъ и принималъ буквально, не вникая во внутренній смыслъ его. „Ужь ежели гласность, — думалъ онъ, — такъ, стало быть, это говорить обо всемъ“. Земство онъ считалъ какъ бы мѣстомъ раскаянія, гдѣ онъ долженъ показать себя и своихъ парашкинцевъ такими, какіе они есть. А развѣ легко каяться, хотя бы и не для Фрола?

Вотъ его избрали, поручили ему общественное дѣло, заставили заботиться о нуждахъ парашкинцевъ, но съумѣетъ-ли онъ исполнить это порученіе? Фролъ понималъ всю тягость этого вопроса. Да и самые способы исполнять порученія парашкинцевъ измѣнились, что̀ также чувствовалъ и Фролъ. Прежде онъ приносилъ пользу парашкинцамъ тѣмъ, что вовремя умѣлъ смолчать и скрыть; теперь онъ долженъ говорить, и притомъ гласно. Прежде онъ „дѣйствовалъ“, просилъ, умолялъ; теперь онъ долженъ доказывать, разсуждать, убѣждать. Но долгая привычка молчать, неумѣнье говорить о томъ, что̀ думаешь,—все это качества, отъ которыхъ нельзя отдѣлаться мгновенно и по первому требованію. Съумѣетъ-ли онъ говорить такъ, чтобы не осрамить своихъ парашкинцевъ? А что его заставятъ говорить—это было для него ясно, иначе зачѣмъ и земство? Теперь, очевидно, его спросятъ: какія нужды имѣютъ парашкинцы? какими способами удовлетворить ихъ? какъ ты объ этомъ полагаешь, Фролъ Пантелѣевъ?

Фролъ представлялъ себѣ все это и болѣлъ. Ну, а если проврешься? Если осрамишь только парашкинцевъ? Если вмѣсто пользы принесешь имъ одно зло?

И Фролъ болѣлъ.

Думаетъ онъ и о томъ, какъ бы чего не сказать неразумнаго передъ господами, одна близость къ которымъ его бросала въ жаръ, и не потому, чтобы онъ боялся осрамиться самъ, а вслѣдствіе внѣдреннаго въ него страха къ людямъ, которыхъ онъ никогда не понималъ. Фролъ, очевидно, не зналъ, что эта боязнь говорить о себѣ свойственна не одному ему. Еслибы онъ былъ выбранъ въ гласные прямо послѣ того, какъ парашкинцамъ дано было право говорить о своемъ безобразіи, то онъ увидалъ бы, какъ многіе „господа" дѣлали рѣшительно неприличныя несообразности въ Сысойскомъ земствѣ, вслѣдствіе привычки жить только дома, гдѣ, разумѣется, можно держать себя и нечистоплотно — никто не видитъ.

Но Фролъ не зналъ этого и болѣлъ,—болѣлъ всѣми своими внутренностями, болѣлъ до того, что весь ушелъ въ себя, во внутрь, одеревенѣлъ снаружи, такъ что, когда пришелъ къ нему его сосѣдъ Иванъ Заяцъ, на этотъ разъ „тверёзый", и сталъ просить его насчетъ какой-то письменности, то онъ отвѣчалъ: „Уйди ты, Христомъ Богомъ прошу тебя!"

Точно съ такою же деревянностью далъ инструкцію остающейся дома женѣ Марьѣ.

— Блюди тутъ, Марья; за пѣгашомъ-то гляди въ оба, хромать сталъ,—сказалъ онъ съ устремленными внутрь глазами.

— Ужь знаю.

— И коровешку на ночь загоняй. Да сѣно бы перевезти съ гумна... Вишь недосугъ мнѣ...

— То-то недосугъ! Тоже, чай, и меня надо пожалѣть. Ужь доходишься ты дотолѣ, покуда и портокъ не останется, прости Господи.

— Ну,—возразилъ Фролъ и замолчалъ.

Потомъ сталъ одѣваться. Длинная, неуклюжая его фигура облачалась въ новый, только съ двумя заплатами, кафтанъ, повязала на шею себѣ платокъ, перепоясалась краснымъ, рѣшительно новымъ кушакомъ, положила за пазуху лепешку, испеченную Марьей, почесалась немного, потомъ перекрестилась и, выходя на улицу, сказала:

— Ну, съ Богомъ!

Это поощрительное восклицаніе относилось къ ногамъ, которые должны были отмахать семьдесятъ верстъ до Сысойска, а не къ лошади, какъ это можно было предположить.

Еслибы гренадеръ Мироновъ, знаменитый своими чудовищными усами во всемъ Сысойскѣ, увидѣлъ Фрола въ такомъ видѣ, то не вытаращилъ бы почтительно глазъ и не протянулъ бы руки по швамъ, какъ это онъ дѣлалъ всякій разъ, когда видѣлъ во ввѣренномъ ему корридорѣ гласнаго; можно даже думать, что, гордый своимъ званіемъ охранителя дверей земскаго собранія, онъ грозно бы сдвинулъ при видѣ Фрола свои невѣроятные усы и загремѣлъ бы: „Куда прешь?“ Слѣдовательно, не безъ основанія можно заключить, что Фролъ отъ такой встрѣчи почувствовалъ бы себя еще менѣе хорошо.

Именно такъ и случилось.

Въ утро того дня, въ который предполагалось открыть первое засѣданіе Сысойскаго земства, гренадеръ Мироновъ нарочно всталъ рано, съ цѣлью сдѣлать необходимыя приготовленія къ пріему гласныхъ. Отложивъ до болѣе удобнаго времени свой туалетъ, не взирая даже на крайне безпорядочное состояніе своихъ усовъ, которыми онъ по справедливости гордился, онъ взялъ швабру и принялся съ помощью ея тереть, чистить и мести. Сперва онъ вычистилъ залу засѣданія, далѣе привелъ въ порядокъ побочныя комнаты, затѣмъ перешелъ въ коридоръ, выходящій на улицу. Но здѣсь швабра его подняла такіе столбы пыли, что онъ поспѣшилъ выйти на крыльцо, чтобы отфыркаться и вздохнуть чистымъ воздухомъ. Поставивъ швабру на крыльцо, онъ оперся на нее и сталъ безучастно смотрѣть на главную сысойскую площадь. Конечно, въ другое время онъ не обратилъ бы вниманія на человѣка, который, повидимому, безъ пути бродилъ по площади, но странная наружность этого человѣка, а также ранній часъ утра, когда по площади гулялъ всегда только козелъ сысойскаго исправника, заставили гренадера Миронова пристальнѣе вглядѣться въ ранняго посѣтителя. А ранній посѣтитель площади, дѣйствительно, безъ толку шатался. Онъ останавливался возлѣ лавокъ и, повидимому, принялся читать вывѣски; прошелъ мимо собора, снялъ картузъ; перешелъ въ противоположный уголъ площади, поглядѣлъ наверхъ, снова

воротился, дошелъ до средины площади; остановился, зачѣмъ-то опять снялъ картузъ и тотчасъ почему-то надѣлъ его; поправилъ кушакъ и вдругъ двинулся въ сторону Миронова. Послѣдній только-что проговорилъ „экая дура“, какъ увидалъ, къ изумленію своему, что странный человѣкъ подходитъ къ нему и вотъ уже полѣзъ на крыльцо.

— Куда прешь?—загремѣлъ гренадеръ Мироновъ, изумленный дерзостью.

Странный человѣкъ, который былъ, конечно, Фролъ, немного оторопѣлъ, но на его деревянномъ лицѣ, съ устремленными внутрь глазами, ничего нельзя было прочесть.

— А спросить бы мнѣ надо насчетъ, гдѣ земство?—отвѣчалъ онъ.

— Куда ты прешь?—снова спросилъ Мироновъ, поднимая швабру.

— То-то, говорю, въ земство...

— Въ земство! Собаки не проснулись, а онъ лѣзетъ въ земство! Отчаливай, братъ, отчаливай!—и Мироновъ съ угрожающимъ видомъ потрясъ шваброй. Но, видя, что странный человѣкъ стоитъ, какъ столбъ, на одномъ мѣстѣ и не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на швабру, онъ спросилъ:

— Ты кто будешь?

— Гласный,—отвѣчалъ Фролъ.

Мироновъ нѣсколько сконфузился.

— Такъ бы ты и говорилъ, а то... Ну, все же тебѣ домой надо направляться. Въ одиннадцать часовъ, вотъ тогда наше вамъ почтеніе,—возразилъ Мироновъ, стараясь оправиться отъ конфуза.

— Да мнѣ спросить бы что ни на есть...—нерѣшительно отвѣчалъ Фролъ.

Слова его произвели дѣйствіе: Мироновъ смягчился. Кромѣ гордости своими необыкновенными усами, онъ имѣлъ еще гордость покровительствовать гласнымъ-крестьянамъ. Поэтому, поставивъ швабру къ стѣнѣ, онъ важно проговорилъ:

— Что-жъ?... Это можно... Дѣла эти мнѣ извѣстны. Въ прошлогоднюю секцыю приходитъ вотъ также ко мнѣ гласный мужикъ... Мироновъ! Что и какъ? Такъ и такъ, говорю... Дѣла эти мнѣ весьма извѣстны.

Собесѣдники усѣлись на ступенькахъ крыльца и начали

мирно бесѣдовать. Гренадеръ, впрочемъ, одинъ говорилъ, а Фролъ только сосредоточенно смотрѣлъ ему въ ротъ.

— Ты, стало, въ первой?—самодовольно спросилъ гренадеръ Мироновъ.

— Въ гласность-то произведенъ?

— Ну.

— Въ первой.

— И видно. Тутъ тоже наука; привыкнешь. Его пр—ство предсѣдатель завсегда говоритъ: „Мироновъ!"—„Что, говорю, ваше пр—ство?"—„Воды!" Ну, сейчасъ ему воды. Тоже и имъ трудно. Смотришь иной разъ, а они тамъ дремлютъ, скучно имъ, жарко. А все наблюдаютъ, все наблюдаютъ. Вотъ тебѣ— ничего; сиди, знай, да помалкивай. А почему? Первое дѣло, языкъ лопата, второе дѣло—умъ за разумъ зайдетъ у тебя, какъ это они начнутъ говорить.

Мироновъ остановился, а Фролъ напряженно устремилъ глаза въ пространство и недоумѣвалъ.

— И все молчать?—спросилъ онъ.

— Молчи.

— Ну, а ежели такъ... къ слову, разумное что ни на есть?

— А я тебѣ говорю, молчи. Скажи ты необразованное слово, сейчасъ тебя, Господи благослови, за хвостъ да палкой.

Это вранье Фролъ принялъ такъ, что рѣшился остерегаться „необразованнаго слова", и опять устремилъ глаза въ пространство. А Мироновъ разошелся еще болѣе, видимо восхищаясь своею ролью учителя.

— Или опять вурна... Скажутъ тебѣ — клади туда шаръ, и ты клади, безъ ослушанія,—продолжалъ врать Мироновъ.

— А это что—вурна?—смущенно спросилъ Фролъ.

— Ты не знаешь вурны?—ужаснулся Мироновъ, съ сожалѣніемъ посмотрѣвъ на несчастнаго Фрола.

— То-то бы спросить,—отвѣчалъ Фролъ, снова устремивъ глаза въ одну невидимую точку пространства.

Гренадеръ Мироновъ смягчился; онъ откашлялся два раза и торжественно началъ:

— Есть шары бѣлые, и есть шары черные, и есть вурна. Понялъ?

Фролъ хлопалъ глазами, а гренадеръ продолжалъ:

— Когда тебѣ скажутъ: Фролъ Пантелѣевъ! клади черный!

ты клади черный; или опять скажутъ: клади бѣлый — клади бѣлый; безъ ослушанія! — пояснилъ Мироновъ, самъ изумляясь своему краснорѣчію.

— Ну, а ежели я самъ... положу за кого надо? — нерѣшительно возразилъ Фролъ.

— Безъ ослушанія! — сурово проговорилъ Мироновъ, возмущенный недовѣріемъ Фрола.

Фролу надоѣло слушать дальнѣйшее вранье своего грознаго учителя. Узнавъ, что̀ ему надо было, онъ попрощался съ Мироновымъ и пошелъ къ себѣ на постоялый дворъ. Онъ не переставалъ болѣть. Онъ даже „пищи рѣшился" и еле-еле дотянулъ до одиннадцати часовъ, назначенныхъ для открытія засѣданія. Когда же, наконецъ, онъ дождался назначеннаго часа, то съ перваго раза ему все казалось, что вотъ-вотъ подойдетъ кто-нибудь къ нему и загремитъ: это онъ куда залѣзъ?!

Но подобный, можно сказать, младенческій страхъ продолжался во Фролѣ недолго. Фролъ скоро увидалъ, что онъ можетъ безопасно сидѣть въ самомъ дальнемъ углу залы и безъ смущенія смотрѣть во всѣ глаза, не обращая на себя ничьего вниманія. Онъ даже сначала не обратилъ вниманія на себя и другихъ сѣрыхъ людей, подобно ему забившихся въ безопасныя мѣста и изумленно глазѣвшихъ во всѣ глаза. Освоившись съ своею неприкосновенностью, Фролъ сталъ примѣчать. Примѣтилъ онъ тутъ многихъ знакомыхъ, встрѣчаемыхъ имъ раньше: чекменскаго барина, землянскаго барина, гавриловскаго барина, — все люди извѣстные, знавшіе его въ свою очередь; были туть нѣкоторые сысойскіе жители, которые также знали его. Вообще, Фролъ скоро понялъ, что сидѣть здѣсь можно.

И онъ сидѣлъ, и глазѣлъ, и учился, безмолвно вперивъ глаза на предсѣдателя. Къ его счастію, никто не трогалъ его и не выводилъ его изъ того деревяннаго положенія, которое, повидимому, необходимо было для внутренняго сосредоточенія его на одной точкѣ, такъ наболѣвшей въ немъ за всѣ эти дни. Какъ истинный парашкинецъ, онъ туго воспринималъ всякую новизну, прежде имъ неслыханную и невиданную; чтобы обнять ее, примѣтить и понять, ему необходимо было сначала одеревенѣть, отвлечься отъ всего и сосредоточиться на одной внутри болящей точкѣ. Еслибы Фролу не удалось

одеревенѣть и отвлечься, то, какъ истинный парашкинецъ, онъ постарался бы искусственно добиться этого, надѣлъ бы какія-нибудь вериги и непремѣнно добился бы своего: одеревенѣлъ и сосредоточился.

Такъ какъ въ первый день засѣданія происходилъ выборъ гласныхъ въ губернское земство, то ничто не мѣшало Фролу въ его занятіи—примѣчать и учиться. Въ этотъ день онъ дѣлалъ то, что дѣлали другіе: сидѣлъ, когда всѣ сидѣли, вставалъ, когда вставали другіе; двигался вмѣстѣ съ прочими и отличался отъ многихъ только тѣмъ, что абсолютно молчалъ въ то время, когда говорили вокругъ него. Тѣмъ не менѣе, внутренности Фрола не переставали болѣть и внутренняя работа не прекращалась въ немъ; ему хотѣлось понять смыслъ всего происходящаго, чтобы потомъ... а дальше онъ думалъ поступать какъ Богъ на душу положитъ. За этотъ день Фролъ такъ намучился, что, придя на свой постоялый, и почти ничего „не ѣмши", онъ какъ снопъ повалился на лавку. А ночью видѣлъ ужасный сонъ, будто онъ сидѣлъ и слушалъ, и будто вдругъ, къ ужасу своему, громко кашлянулъ, и затѣмъ тотчасъ услышалъ голосъ издалека: а ну-ка, выходи сюда, Фролъ Пантелѣевъ! Проснувшись, Фролъ больше уже не могъ заснуть; чуть только забрезжилось утро, онъ вышелъ на дворъ и долго слонялся по Сысойску.

На другой день читались доклады управы. Вслѣдствіе извѣстнаго свойства членовъ Сысойской уѣздной управы—сокращать свой отчетъ до отсутствія его, гласные напряженно слушали каждое слово докладчика и выказывали глубокое вниманіе въ тѣхъ мѣстахъ отчета, гдѣ вмѣсто цифръ стояли многоточія. Но Фролъ не могъ еще понять такихъ тонкостей. Забившись, какъ и въ первый день, въ отдаленнѣйшій уголъ, онъ сосредоточенно слушалъ, стараясь уловить смыслъ чтенія и—ничего не уловилъ. Передъ его умственнымъ взоромъ проходили цифры, цифры, цифры, которыя онъ долго пытался связать, но, наконецъ, понявъ невозможность этого, онъ съ отчаяніемъ обратилъ глаза на докладчика. Только въ концѣ чтенія онъ былъ пораженъ однимъ обстоятельствомъ, повергшимъ его въ крайнее изумленіе. Докладчикъ все читалъ, все читалъ и вдругъ перешелъ къ славословію, съ восторгомъ описывая чудесные подвиги членовъ управы. И Боже мой! чего тутъ только не

было! и благое поспѣшеніе, и забвеніе своихъ дѣлъ, и преданность земскому дѣлу, и претерпѣнные при разъѣздахъ труды, и многое другое прочее, оставшееся для ума Фрола смутнымъ. Вообще, члены управы не дожидались Гомера для прославленія ихъ подвиговъ.

Фролъ былъ ошеломленъ. Его грубое ухо не привыкло къ различію тонкихъ мелодій; онъ могъ быть пораженъ только общимъ безпорядочнымъ впечатлѣніемъ доклада. У себя дома онъ ничего подобнаго не слышалъ. Зная однихъ только парашкинцевъ, онъ и уѣздное Сысойское земство мѣрялъ парашкинскою мѣркой. Парашкинцы же, какъ это зналъ Фролъ, всегда туго выслушивали отчетъ какого-нибудь своего сотскаго или попечителя; самъ сотскій, давая отчетъ, также никогда не приходилъ въ восторгъ отъ своей дѣятельности. Напротивъ, Фролъ помнилъ многочисленные примѣры того, какъ тотъ же сотскій напакоститъ „опчеству", сбездѣльничаетъ и вдругъ приходитъ на сходъ и начинаетъ плакать горючими слезами, раскаиваясь въ своихъ пакостяхъ. Такимъ образомъ, Фролъ не въ состояніи былъ понять доклада и только смущенно теръ себѣ лобъ, напрягая всѣ свои умственныя способности

Сравнивая парашкинскій сходъ съ Сысойскимъ земствомъ, Фролъ, конечно, избралъ дурной методъ наблюденія; но такъ какъ метода этого, собственно говоря, онъ и не избиралъ, а держался его невѣдомо для себя, лишь потому, что, кромѣ парашкинцевъ и парашкинскихъ „дѣловъ", ничего больше не видалъ, то онъ и не чувствовалъ ни малѣйшаго укора совѣсти въ своей душѣ.

Точно также онъ поступалъ и въ слѣдующіе дни засѣданій. Хотя онъ мало обращалъ вниманія на мелкія подробности, мелькавшія передъ его устремленными въ одну точку глазами, но онъ не могъ не замѣтить, что многіе господа очень скучали. Предсѣдатель дремалъ иногда. Чекменскій баринъ громко сопѣлъ, ничѣмъ не смущаясь. Землянскій баринъ зѣвалъ до слезъ. Многіе для развлеченія читали газеты, нѣкоторые шептались, кто-то смѣялся... Каждый ораторъ говорилъ вяло, иной разъ брезгливо; если же кто и пылалъ жаромъ, то тотчасъ же остывалъ, лишь только садился. Чрезвычайно было скучно.

Фролъ, примѣчая эту внѣшнюю сторону, вспоминалъ свой парашкинскій сходъ.

Фролъ зналъ, какъ происходитъ этотъ сходъ. Лишь только сходятся парашкинцы, вспоминалъ Фролъ, такъ, не медля же ни минуты, начинаютъ брехать, ожесточаются и сулятъ другъ другу чудовищныя кары. Каждый парашкинецъ въ эту минуту своей жизни пылаетъ огненною злобой, и надъ мѣстомъ, гдѣ кипитъ эта злоба, стоитъ неумолкаемый лай. Фролъ, конечно, не одобрялъ такого способа разсужденій и потому съ удовольствіемъ видѣлъ, что ничего подобнаго въ Сысойскомъ земствѣ нѣтъ. Тутъ все чинно, разумно, спокойно; вездѣ порядокъ, каждое слово „образованно", никакой злобы, напротивъ, во всемъ доброта и благодушіе. За всѣмъ тѣмъ въ голову Фрола попала странная мысль. Онъ склоненъ былъ думать, что парашкинцы все же рѣшаютъ дѣла быстро и хорошо. Очевидно, что тамъ, на парашкинскомъ скопищѣ, обсуждаются кровные интересы, разрѣшеніе которыхъ представляетъ жгучій вопросъ; очевидно также, что скопище привыкло рѣшать дѣла сообща. А здѣсь, на Сысойскомъ земствѣ, помимо непривычки къ гласному, открытому обсужденію дѣлъ, можно дѣло и рѣшить, но можно и отложить его, а можно и совсѣмъ затянуть его въ нераспутанную петлю, причемъ и пламенѣть не для чего, потому что и матеріала для пламени нѣтъ: еслибы кто вздумалъ загорѣться, то немедленно бы почувствовалъ ледяной холодъ, да и смѣшно было бы ему самому.

Фролъ это смутно чувствовалъ. Въ парашкинскомъ скопищѣ можно поругаться въ волю, наговориться и вылить на долго всю желчь свою. А тутъ Фролъ не примѣтилъ ни злобы, ни брани, и „дѣловъ" какъ будто не было. Все какъ будто дѣлалось такъ, безъ причины и безъ цѣли.

Въ душу Фрола начала закрадываться злонамѣренная мысль: сбѣжать. Дѣло въ томъ, что парашкинецъ деревяненъ не для шутки; если ужъ онъ деревяненъ, то всегда за дѣло, на которомъ онъ готовъ положить душу свою; одеревенѣетъ онъ, напримѣръ, и цѣлые годы тычется по начальству съ деревяннымъ лицомъ; тычется до тѣхъ поръ, пока его по этапу не отправятъ на мѣсто жительства. Фролъ былъ также парашкинецъ. Одеревенѣвъ, онъ пришелъ каяться отъ лица своего и отъ лица своихъ парашкинцевъ, разсказывать о

нуждѣ, о глупости, о безобразіяхъ, разсуждать о способахъ прекращенія всего этого и вообще думать о томъ, что̀ лучше. А въ Сысойскомъ земствѣ какъ будто и „дѣловъ" никакихъ нѣтъ; о нуждѣ ни слова, а вмѣсто этого славословіе. Темная мысль незамѣтно прокрадывалась въ душу Фрола; было очевидно, что онъ ушелъ внутрь себя по пустому. Сбѣжать—эта мысль такъ и засѣла гвоздемъ въ его голову. Но онъ пока отмахивался отъ такого страннаго желанія и все, попрежнему, напряженно слушалъ, глядѣлъ и усвоивалъ.

Слѣдующіе дни протекли для Фрола тѣмъ же мало знаменательнымъ путемъ. Еслибы онъ могъ и хотѣлъ вести дневникъ, то его приключенія за эти дни выразились бы такъ:

16-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ безмолвно сидѣлъ и напряженно наблюдалъ лицо предсѣдателя.

17-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ хранилъ молчаніе. Но случилось, что онъ громко кашлянулъ, прикрывъ ротъ рукой послѣ времени.

18-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ до такой степени сосредоточенно смотрѣлъ, что на его одеревенѣвшемъ лицѣ потекли ручьи пота.

19-го сентября. Къ Фролу Пантелѣеву подошелъ баринъ съ вѣдомостями въ рукахъ и сказалъ: „Почтеннѣйшій! не соблаговолите ли вы уступить мнѣ мѣстечко?"—на что Фролъ Пантелѣевъ отвѣчалъ: „Это ничего... это можно"...

Когда Фролъ пересѣлъ на другое мѣсто, почти рядомъ съ чекменскимъ бариномъ, то услыхалъ, что началъ говорить гавриловскій баринъ. Гавриловскій баринъ доказывалъ, между прочимъ, что теперь образованіе для крестьянъ въ особенности необходимо, вслѣдствіе полученія ими разныхъ новыхъ правъ, пользоваться которыми можно только человѣку грамотному. Онъ указалъ на парашкинцевъ, въ „округѣ" которыхъ не было ни одной школы.

Фролъ встрепенулся, ожилъ и началъ возиться на своемъ стулѣ. Ему понравилась веселая, но понятная рѣчь гавриловскаго барина.

Въ это время его сосѣду, чекменскому барину, надоѣло сопѣть на всю залу; онъ поднялся, пошлепалъ губами и сталъ возражать гавриловскому барину. Онъ говорилъ долго, вкусно и сочно, хотя Фролъ мало понялъ изъ его рѣчи; только лицо его начало терять постепенно свою деревянность... Подъ ко-

нецъ чекменскій баринъ, высказавъ увѣреніе, что онъ „глубоко вѣритъ въ то, что̀ говоритъ“, принявъ во вниманіе, кромѣ того, и то, и другое, и третье, „а также имѣя въ виду (и съ одной стороны, и съ другой) невѣжество парашкинцевъ и ихъ собственное нежеланіе образовывать себя“, онъ „не могъ не придти къ заключенію“, что расходъ, рекомендуемый почтеннымъ ораторомъ, „безполезенъ и обременителенъ для Сысойскаго земства“.

Фролъ все время возился на стулѣ, вынималъ зачѣмъ-то картузъ, снова пряталъ его за пазуху, зачѣмъ-то откашливался и опять возился на своемъ стулѣ. Потомъ вдругъ всталъ. Какъ нарочно, въ залѣ въ это время настала мертвая тишина. Фролъ открылъ ротъ. На него многіе обратили вниманіе. Онъ и самъ въ первое мгновеніе видѣлъ, что на него смотрятъ, и смутился, но мысль, засѣвшая въ немъ, одержала верхъ, требуя выхода, и Фролъ сталъ говорить:

— Ну, ежели невѣжество у насъ...— Онъ остановился на мгновеніе—около него раздался смѣхъ, вѣроятно, потому, что ни одна рѣчь въ Сысойскомъ земствѣ не начиналась такъ.

Но онъ продолжалъ:

— Невѣжество — это такъ, но невѣжество надо учить, учёба ему надобна...

Раздался хохотъ. Фролъ поблѣднѣлъ, но продолжалъ:

— Парашкинцы и ради бы учить своихъ ребятъ, да силъ-то нѣту...

Новый смѣхъ, хотя болѣе сдержанный, раздался. То смѣялся чекменскій баринъ и нѣкоторые другіе; имъ было скучно, и они рады были забавѣ. Фролъ замолчалъ, только съ какою-то странною улыбкой проговорилъ, обращаясь къ сидящему подлѣ него барину:

— Грѣхъ вамъ, баринъ, смѣяться!

Хохотъ усилился, но въ это время со всѣхъ сторонъ удивленной залы послышались повелительные крики:

— Это не хорошо!

— Перестаньте смѣяться!

— Не честно!

А какой-то раздражительный голосъ прямо вскрикнулъ: подло!

Взволнованный предсѣдатель принялся звонить. Когда же возстановилась тишина, онъ обратился къ Фролу:

— Продолжайте, господинъ гласный.

Но Фролъ опять улыбнулся грустною, а больше странною улыбкой и только выговорилъ:

— Нѣтъ ужь...

И сѣлъ. Предсѣдатель поторопился прервать засѣданіе.

Фролъ посидѣлъ немного, затѣмъ поднялся и пошелъ къ двери. Онъ перешелъ корридоръ, гдѣ поразилъ гренадера Миронова своимъ измученнымъ видомъ, не имѣвшимъ и тѣни прежней деревянности, спустился внизъ по лѣстницѣ, утеръ рукавомъ крупныя капли пота на своемъ лицѣ и вышелъ на улицу...

Ни на другой, ни въ слѣдующіе дни онъ не являлся больше на засѣданія; онъ сбѣжалъ домой.

Такъ и не узнали въ Сысойскомъ уѣздномъ земствѣ, что думалъ сказать Фролъ Пантелѣевъ. На его мѣсто, на слѣдующій годъ, сѣлъ раньше выбранный въ кандидаты парашкинскій старшина, а о Фролѣ позабыли. Гавриловскій баринъ, правда, доказывалъ иногда, что только Фролъ могъ разсказать правду о своихъ соотечественникахъ, что только онъ въ состояніи раскрыть темную парашкинскую душу, но его никто не слушалъ. О происшествіи въ Сысойскомъ земствѣ также позабыли, только до сихъ поръ живетъ тамъ и вездѣ прозвище виновника его: безгласный.

II.

УЧЕНЫЙ.

Оффиціально онъ былъ Иванъ Ивановъ, неоффиціально, у парашкинцевъ—дядя Иванъ, а въ школѣ его звали Ванюхой. И это увеличительное названіе въ полной силѣ оправдывалось его русою бородой, длинными, спутанными волосами, большими ручищами, которыя онъ обыкновенно пряталъ подъ учебный столъ вмѣстѣ съ ногами, и всею его неуклюжею фигурой, которую онъ самъ не зналъ куда дѣть. Онъ всегда сидѣлъ на задней скамейкѣ школы и боязливо шевелился тамъ, пугаясь самъ своего огромнаго тѣла, которое казалось чудовищнымъ среди маленькихъ клоповъ, сидящихъ впереди и по бокамъ его. Когда онъ, по забывчивости, вынималъ руки наружу, то онѣ захватывали пространство чуть не полъ-парты; это вызывало протестъ со стороны сидѣвшаго рядомъ съ нимъ Яшки, который колотилъ въ бокъ невѣжу. Тогда левіаѳанъ въ замѣшательствѣ пряталъ руки обратно подъ парту.

Въ парашкинской школѣ были ребята семи, десяти, много пятнадцати лѣтъ, а Ванюхѣ было, пожалуй, тридцать,—нелѣпость, которой изумлялись всѣ парашкинцы.

Сначала учитель, не очень грамотный человѣкъ, пріѣхавшій въ школу потому собственно, что ѣсть ему было рѣшительно нечего, отказался принять „въ ученье" такого монстра и съ хохотомъ выпроводилъ его за дверь, когда послѣдній выразилъ свое намѣреніе „почитаться". Но послѣ одного вечера, во время котораго слышался нѣкоторыми парашкинцами визгъ поросенка, начавшійся подлѣ избы дяди Ивана и окончившійся въ избѣ учителя, послѣ этого вечера школа,

въ лицѣ ея распорядителя, навсегда приняла въ свои нѣдра Ванюху.

Ванюха не злоупотреблялъ позволеніемъ; онъ ходилъ на ученіе только разъ, рѣдко два раза въ недѣлю, въ такое время, когда старая его мать, Савишна, не качала грустно головой и когда его скудное хозяйство не могло пострадать отъ его безразсуднаго намѣренія. Что касается парашкинцевъ, то Ванюха мало обращалъ на нихъ вниманія; изрѣдка только сердился, если кто-нибудь изъ нихъ начиналъ усовѣщивать его.

Къ счастію, ему не было надобности мозолить глаза всѣмъ своимъ парашкинцамъ. Изба его, съ земляною крышей, на которой все лѣто росли большіе кусты полыни, выглядывала окнами прямо на школу; вслѣдствіе этого, Ванюха быстро проскальзывалъ къ учителю и не подвергалъ себя постоянному посмѣянію.

Только ребятишки часто досаждали ему; но здѣсь онъ былъ самъ кругомъ виноватъ. Сидя на задней скамейкѣ, онъ велъ себя иногда совершенно непозволительно. Ребятишки не смѣялись надъ его бородой и нисколько не удивлялись тому, что вотъ тутъ, среди нихъ, сидитъ огромный верзила и вмѣстѣ съ ними ломаетъ по звуковому методу свой устарѣвшій языкъ. Они глумились только надъ его несообразительностью. И это было ему по дѣломъ. Короткія слова Ванюха произносилъ хорошо, однимъ духомъ, но иногда ему попадалось предлинное слово, которое онъ вынужденъ былъ переламывать пополамъ, да и то часто ничего не выходило: выговоритъ первую половину слова, а дальше не хватаетъ ужь силы; или скажетъ конецъ слова, а начало ужь забыто. Эти случаи всегда приводили его въ отчаяніе, и онъ обращался тогда къ своему крошечному сосѣду: „Ну-ка, Яшка! какъ тутъ?“... Яшка, съ сознаніемъ превосходства, читалъ ему слово и въ награду за это толкалъ несообразительнаго верзилу въ бокъ. Тогда всѣ ребятишки поднимали на смѣхъ верзилу. А верзила выходилъ изъ себя; въ его, по большей части, кроткихъ голубыхъ глазахъ сверкалъ гнѣвъ; онъ вынималъ руки изъ-подъ парты и кричалъ громко, на всю школу: „Что вы, черти?“

Только вмѣшательство учителя и его строгій выговоръ за безпорядокъ, вызванный такимъ поведеніемъ Ванюхи, прекра-

щали смѣхъ и гвалтъ. Ванюха, красный, какъ ракъ, быстро пряталъ руки подъ столъ и растерянно смотрѣлъ на учителя.

Воскресныхъ уроковъ въ парашкинской школѣ не было. Учитель получалъ семь рублей въ мѣсяцъ; зачѣмъ ему было убивать себя ради такой суммы? Очевидно, не зачѣмъ. Поэтому Ванюха ходилъ въ школу въ будни и дѣлалъ то, что дѣлали ребята. Когда до него доходилъ чередъ разсказывать „своими словами“, онъ не отказывался, онъ разсказывалъ. Онъ, выслушиваемый цѣлою школой, разсказывалъ о томъ, какъ мужикъ и медвѣдь рѣшили рѣпу сѣять; какъ мужикъ надулъ медвѣдя; какъ медвѣдь осерчалъ; какъ онъ объявилъ мужику свое намѣреніе съѣсть его; какъ мужикъ, для предотвращенія печальной участи, обратился къ лисѣ; какъ лиса выручила его и какъ мужикъ хитро наградилъ ее, выпустивъ на нее собакъ, которыя вытащили ее изъ норы за морду...

— Врешь, врешь! за хвостъ!—съ негодованіемъ кричала цѣлая школа.

— Аль за хвостъ? Ну, за хвостъ,—возражалъ дядя Иванъ, недоумѣвающимъ взоромъ глядя то на учителя, то на ребятъ.

Однимъ словомъ, Ванюха подчинялся всему, что происходило въ школѣ. Когда у него спрашивали: что такое корова, онъ прямо по книжкѣ отвѣчалъ: травоядное животное; когда у него спрашивали, сколько единицъ въ пяти, онъ отвѣчалъ: пять! Или: можно ли ходить по потолку?—онъ, съ осовѣвшимъ взоромъ, принужденъ былъ увѣрять, что невозможно.

Мучимый жаждой учиться, онъ терпѣлъ; еще бы ему не терпѣть! Средствъ у него не было, а то, разумѣется, онъ не сталъ бы торчать по пустому въ школѣ, еслибы у него былъ капиталъ. Но у него былъ одинъ-единственный капиталъ—тѣло, обладающее сверхъестественнымъ свойствомъ ежегодно обростать.

Учитель имѣлъ странный методъ: онъ сперва училъ читать, а потомъ уже писать. Это имѣло ближайшимъ послѣдствіемъ то, что дядя Иванъ началъ считать письмо чѣмъ-то въ высшей степени головоломнымъ и для него недосягаемымъ,—онъ даже и въ воображеніи не допускалъ возможности выучиться писать; болѣе же отдаленное и окончательное послѣдствіе выразилось въ томъ, что дядя Иванъ и на самомъ дѣлѣ остался неграмотнымъ.

Можетъ быть, дядя Иванъ преодолѣлъ бы свой страхъ пе-

редъ письменною азбукой, но школа была земская, Сысойскаго земства, слѣдовательно, въ нѣкоторой степени эфемерная. Черезъ годъ послѣ своего основанія она была закрыта.

Всѣмъ извѣстна эта грустная исторія. Пламенное возбужденіе, вызвавшее жажду „плодотворной дѣятельности“, прямо повело за собой увеличеніе школъ во всемъ уѣздѣ. Даже тѣ земцы, которые раньше съ младенческою наивностью думали, что школа для мужика—„это, можно сказать, чистая революція“, вынуждены были сознаться, что они ошибались и что для парашкинцевъ, напримѣръ, школа необходима. Это и было время, когда дядя Иванъ внезапно былъ озаренъ мыслью—„почитаться“.

Но все это скоро измѣнилось, и притомъ такъ неожиданно, что Ванюха не успѣлъ опомниться. Возбужденіе въ Сысойскѣ начало проходить. Это было замѣтно по красному, толстому лицу чекменскаго барина. Сначала, когда ни одно засѣданіе Сысойскаго земства не обходилось безъ гвалта и перебранки изъ-за школъ, чекменскій баринъ, хотя и отплевывался, но принужденъ былъ слушать внимательно. Но потомъ, во время дебатовъ о школѣ, онъ могъ уже позѣвывать, прикрывая ротъ рукой; съ теченіемъ времени для него открылась возможность храпѣть во время засѣданія—онъ прикрывался листомъ газеты, гдѣ говорилось о невѣжествѣ, пьянствѣ и проч. Далѣе, ему не нужно было и прикрываться чѣмъ бы то ни было,—онъ могъ сопѣть во всеуслышаніе. Наконецъ,—это было за годъ до открытія у парашкинцевъ школы,—школьный вопросъ былъ рѣшенъ. Въ достопамятномъ засѣданіи, когда члены управы были уже готовы прочитать отчетъ о своей дѣятельности по школьному дѣлу, Сысойское земство вдругъ единогласно постановило: заказать портретъ предсѣдателя управы и повѣсить его въ залѣ засѣданія.

Такъ и не научился дядя Иванъ писать. Онъ успѣлъ выучиться только читать, да и то съ грѣхомъ пополамъ. Когда онъ читалъ книжку, то принужденъ былъ накладывать на произносимое слово палецъ, иначе ничего не выходило; слово быстро исчезало съ поля его зрѣнія, и ему съ мучительными усиліями приходилось отыскивать его.

Книжки давалъ ему учитель; по отъѣздѣ же учителя онъ долженъ былъ самъ изыскивать способы добывать ихъ. Жены

у него не было: она умерла отъ чахотки. Онъ жилъ только со старухой своей, что̀ для него было выгодно, по крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ думалъ: онъ желалъ остаться вольнымъ и не думалъ жениться. Безъ жены онъ могъ свободно читать по праздникамъ книжки, никто ему не мѣшалъ! И дѣтей у него не было, а еслибы были, то пришлось бы покупать имъ пѣтушковъ изъ тѣста. А теперь онъ покупалъ книжки той же стоимости.

Возвращаясь изъ Сысойска, съ базара, онъ всегда былъ въ восторженномъ настроеніи духа, хотя дома ожидалъ его суровый допросъ со стороны Савишны.

— Ну-ка, показывай покупки-то!—говорила она, подозрительно осматривая сына, только-что возвратившагося съ базара.

Дядя Иванъ не отвѣчаетъ долго и упорно. Но потомъ, не желая больше подвергать себя мукамъ раскаянія, онъ вдругъ вынимаетъ изъ-за голенища книжку и ухмыляется.

— И книжку купилъ!—говоритъ онъ легкомысленно, не въ состояніи скрыть улыбки.

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!—отвѣчала старуха, и ея глаза сверкали гнѣвомъ.

— Стоитъ-то сколько?—спрашивала она грозно.

— Пятакъ.

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!

Старуха собирала сыну поѣсть, потомъ лѣзла на печь и оттуда уже начинала свое увѣщеваніе. Старческіе, потухающіе глаза ея грустно устремлялись на сына.

Не взирая, однако, на такія непріятности, дядя Иванъ не могъ отстать отъ своей привычки. Увѣщеванія старухи не дѣйствовали на него, и не было силы, которая заставила бы его отказаться водить пальцемъ по книжкѣ, что̀ онъ и дѣлалъ въ свободныя минуты, по большей части скрытно. Досадно было ему не то, что старуха часто накрывала его на мѣстѣ преступленія и брюзжала, а то, что въ книжкѣ не все давалось ему. Попадались такія словечки, что онъ приходилъ въ глубокое волненіе, потому что смыслъ ихъ для него былъ закрытъ, а онъ все старался проникнуть... Въ эти минуты голова его трещала отъ напряженія, глаза съ тоской смотрѣли въ одну точку, и палецъ такъ и застывалъ на одномъ проклятомъ мѣстѣ.

Иногда онъ обращался за поясненіемъ къ Фролу Пантелѣеву, но тотъ по большей части коротко говорилъ: „Уйди!“ И дядя Иванъ зналъ, что дѣйствительно надо уходить, ибо Фролъ не любилъ шутить даже и въ праздники.

Тогда ему оставалось только прибѣгнуть за помощью къ писарю Семенычу. Семенычъ былъ болѣе сговорчивъ. Семенычъ самъ любилъ пояснять, конечно, за приличное вознагражденіе. Тусклые, оловянные глаза его рѣдко смотрѣли сурово на дядю Ивана. Такъ какъ Семенычъ очень часто наливался водкой и пропивалъ нерѣдко все, вплоть до сапоговъ, которые въ такомъ случаѣ замѣнялись валенками, то Иванъ нерѣдко былъ нуженъ ему просто до зарѣзу. Дядя Иванъ это зналъ и безъ особенной робости шелъ къ писарю, выбирая такое время, когда послѣдній былъ „тверёзый“.

Въ волостномъ правленіи жаръ; роями летаютъ мухи. За столомъ сидитъ Семенычъ и скрипитъ перомъ. На немъ сплошь мухи; чтобы отвязаться отъ назойливыхъ насѣкомыхъ, онъ иногда мотаетъ головой, продолжая скрипѣть. Когда же мухи садятся на его глаза, носъ, уши, губы, то онъ хлопаетъ себя по лицу и дуетъ. Блѣдное лицо его покрыто крапинками пота; глаза тусклы. Онъ съ похмѣлья.

Въ прихожей слышится ему шорохъ.

— Это кто?—спрашиваетъ онъ, не оборачиваясь.

— Это, Семенычъ, я,—кротко отвѣчаетъ изъ глубины комнаты дядя Иванъ.

Писарь продолжаетъ скрипѣть. Ему въ голову пришла идея. Онъ молчитъ.

Но Иванъ рѣшается донять своего учителя измором. Онъ стоитъ возлѣ двери и изрѣдка покашливаетъ.

— Это кто?—снова спрашиваетъ писарь.

— Это, Семенычъ, я,—кротко возражаетъ дядя Иванъ.

— А-а-а! Это ты, дурья голова? Что придумалъ?

— Вотъ тутъ словечко... одно... н-ну, не понимаю!—говоритъ Иванъ и съ сіяющимъ лицомъ вынимаетъ изъ-за голенища книжку.

Семенычъ не оборачивается; онъ говоритъ: „гм!“ и продолжаетъ скрипѣть.

— Словечко бы только одно, Семенычъ...—умоляетъ Иванъ.

— Словечко? Ну, братъ, шалишь! Теперь ужь ты отвали-

вай. Теперь у меня дѣловъ вотъ по какихъ поръ!—и писарь проводитъ пальцемъ вокругъ глотки.

— Ты, Семенычъ, не сердись... я только самую малость... одно словечко...

Семенычъ вдругъ пристально уставляетъ оловянные глаза на Ивана, и такъ какъ выпить ему хочется смертельно, то онъ не выдерживаетъ болѣе.

— Пятакъ есть?—неожиданно спрашиваетъ онъ.

— Найдется.

— Лупи что есть духу!

Иванъ стремглавъ летитъ въ кабакъ, беретъ тамъ шкаликъ водки, летитъ обратно и отдаетъ покупку Семенычу. Семенычъ выпиваетъ, корчитъ гримасы и начинаетъ свои поясненія; при этомъ толкованіе его не всегда совпадаетъ со смысломъ словечка. Но Иванъ сосредоточенно слушаетъ и пристально глядитъ на чудовищное слово, которое столько времени мучило его.

Вся душа Ивана была устремлена къ наукѣ.

Что̀ онъ разумѣлъ подъ наукой—ему одному извѣстно, но только мучился за нее онъ нестерпимо, ужасно! И, главное, безъ всякой корысти. Корыстныхъ видовъ онъ никакихъ не имѣлъ. Онъ былъ добровольцъ или, лучше сказать, жертва безразсуднаго стремленія „почитаться". Онъ ничего не ожидалъ отъ книжки, кромѣ „словечекъ", которыя одно по одному входили въ темную пустоту его головы и, однако, тамъ торчали, какъ вѣхи въ безграничной пустынѣ. Онъ никогда не думалъ о практической пользѣ. Невыразимое наслажденіе доставлялъ ему самый процессъ воспріятія „словечекъ", а не выгода знать ихъ. Словомъ сказать, дурость его была безгранична.

Понятно, что съ нимъ нѣтъ возможности поставить на одну доску образованныхъ людей, знающихъ значеніе и цѣну наукѣ.

Теперь уже всѣмъ извѣстно, что въ среду истинно-образованныхъ людей невѣжественному человѣку и носу показать нельзя; тамъ знаютъ цѣну наукѣ. Наука—прямая выгода для каждаго, безъ нея ни шагу. Наука питаетъ. Напримѣръ, у городскихъ образованныхъ людей наука—искусство, доставляющее съѣстные припасы, а дипломъ—смертоносное орудіе,

помощью котораго можно схватить невѣжественнаго ближняго и съѣсть.

Это до такой степени вѣрно, что даже никто и не удивляется больше, а если кто вздумаетъ удивиться, тому плохо. Наука не пустое мечтаніе, а осязательный кусокъ. Такъ думаютъ папеньки и маменьки, такъ и младенцевъ своихъ учатъ, ужасаясь при одной мысли о мечтаніяхъ.

А дядѣ Ивану нечего было бояться. Никакихъ „правовъ" онъ не добивался и не могъ добиться. Это нашелъ не только онъ, а всѣ парашкинцы, которые ничего не возражали, когда у нихъ уничтожили школу, и только какой-то шутникъ замѣтилъ: „а ну ее ко псамъ!" Учился дядя Иванъ не ради съѣстныхъ припасовъ, а лишь удовлетворяя свой умственный голодъ. Съ наукой ему нечего было дѣлать—продать ее было негдѣ, потому что и базара для парашкинской науки не устроено, да и цѣна ей грошъ мѣдный.

Сумасшедшая голова дяди Ивана была полна невозможностей. Даже Семенычъ смѣялся надъ нимъ. Парашкинцы тоже стали примѣчать, что дядя Иванъ сталъ чуденъ. И парашкинскій староста изумлялся; часто, когда Иванъ ошеломлялъ его какимъ-нибудь нежданнымъ-негаданнымъ вопросомъ, староста разсказывалъ объ этомъ праздничной кучкѣ парашкинцевъ съ величайшимъ негодованіемъ, начиная свою рѣчь съ оглушительныхъ словъ: „Ванюха-то!"

Дядя Иванъ дѣйствительно началъ задумываться; иногда Богъ знаетъ о чемъ тосковалъ; часто даже „пищи рѣшался". Въ головѣ его копошились странные вопросы.

„Откуда вода?"

„Или опять тоже земля... почему?"

„Куда бѣгутъ тучки?"

Иногда же странные вопросы достигали крайней несообразности; иногда ему приходило на умъ: откуда мужикъ? И многое множество такихъ нелѣпостей лѣзло ему въ голову. Конечно, на такіе вопросы никто не въ состояніи былъ отвѣтить ему. Въ этомъ случаѣ даже Семенычъ былъ безполезенъ. Какъ онъ ни привыкъ врать, но онъ часто истощался и становился втупикъ передъ неожиданностями дяди Ивана, а однажды, послѣ разговора съ послѣднимъ, рѣшилъ, что съ такимъ „пустоголовымъ дуроломомъ" даже и говорить не

стóитъ взаправду, по настоящему; самое большее—это спить съ него шкаликъ.

Это было въ тотъ разъ, когда Семенычъ пропился до чиста. Иванъ, слѣдовательно, нуженъ былъ ему до зарѣзу. Выбравъ ближайшее за своимъ непробуднымъ пьянствомъ воскресенье онъ бросилъ правленіе и пошелъ къ своему ученику. Нашелъ онъ его на дворѣ, и хотя имѣлъ твердое намѣреніе немедленно же приступить къ осуществленію своего плана—выпить шкаликъ, но при видѣ Ивана долженъ былъ заглушить на время свою жажду и только спросилъ:

— Лежишь, дурья голова?

Дядя Иванъ, дѣйствительно, лежалъ вверхъ дномъ, подложивъ обѣ руки подъ голову. Глаза его были устремлены въ пространство, на чистое, свѣтлое небо. Казалось, что голубые глаза Ивана, устремленные въ бездонную небесную синеву, вполнѣ отражали въ себѣ всю ея неопредѣленность и безпредѣльность, гармонируя съ внутреннею смутностью копошащихся въ его головѣ мыслей. Онъ повернулся.

— Ничего, Семенычъ... садись!—разсѣянно отвѣчалъ онъ.

Семенычъ сѣлъ тутъ же на земь и принялся придумывать способъ поскорѣе осуществить свою идею, потому что жажда, сжигая его желудокъ, ужасно томила его, но дядя Иванъ предупредилъ его.

— Думалъ я, Семенычъ, навѣдаться у тебя... Ты, Семенычъ, не сердись...

— Ну-ка?

— Напримѣръ, мужикъ...

Дядя Иванъ остановился и сосредоточенно смотрѣлъ на Семеныча.

— Мужику у насъ счету нѣтъ,—возразилъ послѣдній.

— Погоди, Семенычъ... ты, Семенычъ, несердись... Ну, напримѣръ, я мужикъ, темнота, одно слово—невѣжество... А почему?

Въ глазахъ дяди Ивана появилось мучительное выраженіе.

У Семеныча и косушка вылетѣла изъ головы; онъ даже плюнулъ.

— Ну, мужикъ—мужикъ и есть! Ахъ, ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому—мужикъ, необразованность... Тьфу! дурья голова!—съ удивленіемъ плюнулъ Семенычъ, начиная хохотать.

Иванъ опять легъ навзничь. По его лицу прошла тѣнь;

видно было, что какая-то мысль мучительно билась въ его головѣ, а онъ не могъ ни понять ее, ни выразить.

— Стало быть, въ другихъ царствахъ тоже мужикъ?—разсѣянно спросилъ онъ.

— Въ другихъ царствахъ-то?

— Ну!

Семенычъ насмѣшливо поглядѣлъ на лежащаго.

— Тамъ мужика не дозволяется... Тамъ этой самой нечистоты нѣтъ! Тамъ его духу не положено! Тамъ, братъ, чистота, наука!

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни!

— Наука?

— Тамъ-то? Да тамъ, надо прямо говорить, ежели, напримѣръ, ты сунешься съ образиной своей, тамъ на тебя собакъ напустятъ! Потому, ты звѣрь звѣремъ!

— Тсс!—отвѣтилъ Иванъ и изумленно посмотрѣлъ на Семеныча, который пришелъ въ азартъ до такой степени, что его блѣдное лицо вспыхнуло яркими пятнами. Онъ уже хотѣлъ-было врать дальше, но вдругъ вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ, и ожесточился.

— И что только ни выдумаетъ такая безпутная башка?! свирѣпо сказалъ онъ и прибавилъ неожиданно:—Пятакъ есть?

Черезъ нѣкоторое время Семенычъ повеселѣлъ, потому что утолилъ свою жажду; но за то больше ужь не отвѣчалъ на выдумки „башки",—хохоталъ только.

Хозяйство свое дядя Иванъ до сихъ поръ велъ сносно; по крайней мѣрѣ, никогда не случалось, чтобы его призвали въ правленіе и приказали: „Иванъ Ивановъ! ложись!" Но съ теченіемъ времени онъ опустился. Онъ сталъ забывчивъ; на него находила тоска. Дѣло валилось изъ его рукъ, которыя стали работать меньше, чѣмъ его „безпутная башка".

Случалось иногда, что во время какого-нибудь хозяйственнаго дѣла въ его голову вдругъ залѣзетъ какая-нибудь чудесная мысль—и хозяйственное дѣло пропало! Онъ забываетъ его, а вмѣсто него старается схватить неуловимую мысль. Разумѣется, его хозяйство начало страдать, что̀ постоянно подтверждала и Савишна, которая съ нѣкоторыхъ поръ все чаще и чаще кивала головой, зловѣще смотря на сына съ высоты печи.

Прежде дядя Иванъ никогда не копилъ недоимокъ. Иванъ Ивановъ исправно, въ установленные сроки, вносилъ пачки загаженныхъ цѣлковыхъ—и былъ правъ. Теперь же у него появились вдругъ недоимки. Первый разъ староста только сказалъ ему: „Ахъ, Ванюха! Неужли?." А на слѣдующій годъ между ними произошелъ уже такой разговоръ:

— Иванъ! недоимки!

— Чево?

— Ай не слышишь? Недоимки!

— Сдѣлай божескую милость!

— Да мнѣ что? Мнѣ плевать! Ну, только шкуру-то свою я блюду.

— Сдѣлай божескую милость!

— Ну, гляди! Какъ бы тебѣ тово...

Однако, когда староста ушелъ, Иванъ немедленно же позабылъ объ этомъ разговорѣ. Вообще онъ все забылъ, кромѣ чудесныхъ мыслей и книжекъ, которыя постоянно торчали у него за голенищами, измызганныя до омерзѣнія. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, еслибы не вмѣшалось въ это дѣло постороннее обстоятельство. Хорошо, что вмѣшалось.

Это случилось два года спустя послѣ того, какъ парашкинцы потеряли надежду добиться „правовъ" отъ школы.

Это случилось въ мѣсяцъ взиманія.

Это случилось въ тотъ день, когда рушился мостъ, переброшенный черезъ рѣку Парашку—ну, да, рушился; провалился на самой серединѣ! Собравшіеся парашкинцы посмотрѣли, погалдѣли, похлопали отъ удивленія руками и затѣмъ, такъ какъ мостъ былъ земскій, по свойственному имъ легкомыслію, рѣшили, что „это нича-аво" и что „ежели выпадетъ времечко"... и разошлись.

Но въ тотъ же самый день явился въ Парашкино исправникъ. Онъ ѣхалъ быстро и, разумѣется, по дѣламъ, не терпящимъ ни малѣйшаго отлагательства. Поэтому легко представить себѣ его негодованіе, когда онъ очутился передъ печальнымъ зрѣлищемъ. Увидѣвъ прибѣжавшихъ по случаю его пріѣзда нѣсколькихъ парашкинцевъ, онъ молча указалъ имъ пальцемъ на мостъ, прибавивъ: „У-у-у!" Но, вслѣдствіе того, что рѣка Парашка довольно широкая и приказаніе исправника только вѣтромъ донеслось на другой берегъ, парашкинцы не поняли и молча продолжали стоять, уставивъ глаза на прі-

ѣзжаго. Внѣ себя отъ гнѣва, исправникъ затопалъ тогда ногами и показалъ парашкинцамъ на другой берегъ пантомиму, которую парашкинцы поняли мгновенно.

Они быстро разсыпались по деревнѣ. Одни изъ нихъ побѣжали за топорами, другіе просто затѣмъ, чтобы скрыться. Но всѣ были въ необычайномъ волненіи, лихорадочно суетясь и шмыгая, часто безъ толку. Въ особенности горѣлъ староста. Съ краснымъ, какъ у рака, лицомъ, съ котораго текли ручьи пота, онъ совался по деревнѣ и приглашалъ къ мосту. Забѣжавъ въ одинъ домъ, онъ начиналъ убѣждать: „Яковъ! что-жь это?! вѣдь ждетъ... чтобы сичасъ!“ Потомъ хлопалъ руками по бедрамъ, бѣжалъ дальше съ тѣмъ же волненіемъ въ лицѣ.

Нѣтъ-то нѣтъ парашкинцы догадались, что самое цѣлесообразное въ ихъ отчаянномъ положеніи - это перевезти начальство на лодкѣ. Такъ и было сдѣлано.

Тогда староста нѣсколько успокоился и съ наслажденіемъ вытеръ потъ съ лица. Скоро для него стало очевидно, что все „опчество“ надо раздѣлить на двѣ партіи; одна пусть мостъ чинитъ, другая должна идти въ правленіе для исполненія натуральной повинности. Къ послѣдней партіи принадлежалъ и дядя Иванъ.

— Иванъ! въ волость!—сказалъ староста, садясь на минутку на порогѣ Ивановой избы.

— Зачѣмъ?—задумчиво спросилъ Иванъ, голова котораго въ эту самую минуту поражена была какою-то чудесною мыслью.

— Рази не знаешь?

Дядя Иванъ такъ и примерзъ къ одному мѣсту. Онъ пошевелилъ губами, намѣреваясь что-то сказать, но у него ровно ничего не вышло. Онъ ничего не сказалъ даже тогда, когда староста, уходя, проговорилъ: „Чтобы сичасъ!“

Сообщеніе старосты было громомъ на голову дяди Ивана.

Но, разумѣется, онъ, въ концѣ-концовъ, отправился къ мѣсту назначенія, хотя и машинально, какъ автоматъ, и съ ошалѣлыми глазами.

Въ волости всѣ отпѣтые уже собрались и дожидались начатія „повинности“. Они мирно и добродушно разговоры разговаривали, а Иванъ ничего не видѣлъ. Онъ стоялъ въ сторонѣ и молчалъ. Лицо его было блѣдно; глаза помутились. Онъ даже прислонился къ стѣнѣ.

Когда его увидалъ Семенычъ, то замигалъ глазами. Несмотря на то, что онъ былъ „выпимши", онъ помнилъ своего друга, и ему вдругъ стало жалко его, даже захотѣлось выручить „пустую башку". Подойдя къ Ивану, Семенычъ предложилъ ему „дернуть для нечувствительности", но Иванъ угрюмо отрѣзалъ: „не надо!" и отворотился, попрежнему, блѣдный вплоть до губъ.

Семенычъ замигалъ глазами и отошелъ; потомъ вдругъ заплакалъ, въ первый разъ заплакалъ отъ такого случая, заплакалъ пьяными слезами, но искренно.

Черезъ нѣкоторое время, показавшееся для Ивана Иванова вѣчностью, въ волости все утихло. Дядя Иванъ возвращался домой. Внутри глодалъ его червь, снаружи онъ попрежнему, былъ блѣденъ, съ помутившимися глазами. Проходя по улицѣ, онъ озирался по сторонамъ, боясь кого-нибудь встрѣтить—онъ такъ бы и оцѣпенѣлъ отъ стыда, если бы встрѣтилъ,—да, отъ стыда! потому что все, что дали ему чудесныя мысли,—это стыдъ, ѣдкій, смертельный стыдъ.

Придя къ себѣ, онъ прошелъ въ сарай и легъ на-земь. Сперва ему какъ будто захотѣлось захныкать, но слезы нужно было выжимать насильно. Вмѣсто слезъ, на него напала дрожь, такъ что даже зубы его застучали, какъ въ лихорадкѣ. Наконецъ, тоска его сдѣлалась до того невыносимою, что онъ вскочилъ на ноги и стремглавъ пустился бѣжать.

Съ ополоумѣвшимъ лицомъ, онъ выбѣжалъ на улицу, юркнулъ въ переулокъ, попалъ на огороды и, прыгая по нимъ, скоро добѣжалъ до берега рѣки. Тутъ онъ немного пріостановился, какъ бы раздумывая, но потомъ опять пустился бѣжать по берегу что есть духу. Ему надо было выбрать хорошее мѣсто для того, чтобы утопиться, удобное.

Скоро онъ совсѣмъ остановился и устремилъ глаза на воду. Подошелъ ближе къ водѣ; остановился; потеръ себѣ лобъ; отошелъ назадъ; сѣлъ на пригоркѣ и снова сталъ глядѣть на воду. Зубы его перестали стучать. Онъ еще разъ потеръ себѣ лобъ и успокоился. Окончательно рѣшившись утопиться, онъ снялъ съ себя шапку, сапоги и кафтанъ; сложилъ все это въ кучу и завязалъ кушакомъ... Онъ не желалъ, чтобы одежда его пропала даромъ; зачѣмъ обижать старуху? Она и безъ того голодать будетъ. Шапка еще совсѣмъ новая, и кушакъ тоже, все денегъ стоитъ. А зипунъ-

то? Какъ-никакъ а за полтину не купишь... Сдѣлавъ эти предсмертныя приготовленія, Иванъ опять поглядѣлъ въ воду; въ его безумныхъ глазахъ сверкала твердая рѣшимость наложить на себя руки.

Онъ почесалъ спину... И вдругъ:

— Иванъ!

Иванъ даже подпрыгнулъ при этомъ возгласѣ и съ смертельнымъ ужасомъ въ глазахъ обернулся къ человѣку, сдѣлавшему окрикъ. Это былъ староста.

— Гдѣ у тебя совѣсть-то, дьяволъ ты этакій?

Иванъ смотрѣлъ ополоумѣвшими глазами.

— Коего лѣшаго ты тутъ прохлажаешься?

У Ивана совершенно не было языка.

— Провалитесь вы совсѣмъ! Пойдемъ къ мосту, чортъ! Чай, слышишь?

Издали дѣйствительно слышались удары топоровъ, рѣзкій, хрипящій звукъ пилы и гвалтъ. То парашкинцы работали и ругались, починивая мостъ. Дядя Иванъ слушалъ и приходилъ въ сознаніе. Повинуясь приказанію старосты, съ укоромъ озиравшаго лѣнтяя, онъ развязалъ свой узелъ, надѣлъ сапоги, архалукъ и шапку и пошелъ за топоромъ.

Прошло съ тѣхъ поръ довольно времени, а дядя Иванъ о книжкахъ и чудесныхъ мысляхъ больше не вспоминалъ. Онъ думалъ только о недоимкахъ; и цѣлый годъ изо дня въ день по тѣлу его пробѣгалъ морозъ, а внутри все мучительно ныло. Книжекъ въ пятакъ онъ не носилъ больше за голенищами; онъ зарылъ ихъ въ яму, выкопанную нарочно на огородѣ, и старался никогда не вспоминать о нихъ. Если же на него нападала тоска, то онъ шелъ къ Семенычу и отправлялся вмѣстѣ съ нимъ въ кабачекъ. Черезъ полчаса, много черезъ часъ, оба закадычные выходили оттуда уже готовыми. Держась другъ за друга и заплетаясь ногами за землю, они шли по улицѣ и размахивали руками. Семенычъ въ такомъ случаѣ говорилъ: „бррр!“ воображая, что произноситъ цѣлую рѣчь, а дядя Иванъ молчалъ; онъ только шевелилъ губами, все желая сплюнуть горечь, но ему никогда не удавалось переплюнуть черезъ губу.

III.

Фантастическіе замыслы Миная.

Одинъ разъ, обозрѣвая губернію, его превосходительство остановился въ Парашкинскомъ волостномъ правленіи. Его превосходительство утомился отъ дороги и торопился ѣхать обозрѣвать дальше. Такъ и уѣхалъ бы его превосходительство отъ парашкинцевъ, не составивъ о нихъ никакого мнѣнія, еслибы ему не попался на глаза одинъ необыкновенно веселый человѣкъ.

Этотъ парашкинецъ проходилъ мимо окна волостного правленія и беззаботно свистѣлъ. Шапка у него была на бекрень, кафтанъ въ накидку, руки за поясомъ и глаза смѣялись. Оборванецъ и головой не кивнулъ, проходя передъ окномъ, и его превосходительству показалось, что онъ даже какъ будто подмигнулъ. Пораженный этимъ, его превосходительство, высказавъ радость по поводу встрѣченнаго имъ въ парашкинцахъ веселонравія, обратился къ сопровождавшему его лицу за объясненіемъ, но сопровождавшее лицо совершенно растерялось и ничего не могло объяснить, хотя знало Сысойскій уѣздъ такъ же хорошо, какъ хорошо знаетъ хозяинъ свой скотный дворъ. Ближайшимъ послѣдствіемъ этого необыкновеннаго случая было превратное мнѣніе, увезенное съ собой его превосходительствомъ, который сталъ считать парашкинцевъ самымъ веселымъ въ мірѣ народомъ.

Что касается веселаго оборвыша, то въ этотъ памятный для него день онъ легко отдѣлался. Сопровождавшее лицо, завидѣвъ его въ томъ же видѣ, т. е. съ шапкой на бекрень, только крикнуло:

— Я тебѣ! Я тебѣ... посвищу!

Но это мало подѣйствовало. Оборванецъ остановился, смах-

нулъ съ себя шапку, почесалъ затылокъ и пустился бѣжать, поддерживая обѣими руками полы кафтана, надѣтаго въ накидку. Тѣмъ дѣло и кончилось. Его превосходительство уѣхалъ, сопровождавшее его лицо также...

Впослѣдствіи по справкамъ оказалось, что это былъ Минай, по прозванію Осиповъ, который всюду появлялся на сцену въ такомъ образѣ.

Нельзя отрицать, что Минай мечталъ; факты немедленно же опровергли бы подобное отрицаніе. Минай мечталъ вездѣ и при всѣхъ возможныхъ случаяхъ, мечталъ даже тогда, когда для другого человѣка рѣшительно не было матеріала для мечтаній. Невозможно отыскать въ его жизни ни одного момента, когда онъ плюнулъ бы на все и оцѣпенѣлъ. Въ его жизни постоянно давали о себѣ знать весьма плачевныя обстоятельства, но всѣмъ имъ вмѣстѣ и каждому порознь онъ показывалъ языкъ. Что съ нимъ подѣлаешь?—онъ былъ неуязвимъ. Представить себѣ его окончательно оглушеннымъ, повѣсившимъ носъ и осовѣвшимъ—невозможно и чудовищно. Развѣ у него было время отчаиваться? Очевидно, нѣтъ. Трудно даже и вообразить себѣ всѣ ужасныя послѣдствія отчаянія, еслибы только Минай предался ему. На него постоянно обрушивались „обстоятельства"; онъ вѣчно вертѣлся подъ перекрестнымъ огнемъ разныхъ невзгодъ, сыпавшихся на него разомъ со всѣхъ сторонъ. Досугъ ему отчаиваться! Предайся онъ мрачному отчаянію—и онъ погибъ. Что ему тогда дѣлать? Ложиться и помирать. О, Минай понималъ это!

Что онъ свистѣлъ и необузданно фантазировалъ — этого отрицать нельзя. Все это такъ и было въ дѣйствительности. Онъ вѣчно ходилъ съ шапкой на бекрень, въ кафтанѣ въ накидку, съ засунутыми за поясъ руками и свистѣлъ. Въ такомъ видѣ онъ всюду появлялся. Такова ужь природа его была; такимъ онъ раньше жилъ, такимъ и теперь живетъ.

Самостоятельно сохранять животы свои онъ началъ прямо послѣ освобожденія крѣпостныхъ. Въ ту пору ему было двадцать пять, двадцать шесть лѣтъ. Семья его состояла изъ стариковъ его, имѣвшихъ вмѣстѣ болѣе полутораста лѣтъ, и меньшаго брата, который рано ушелъ въ городъ, потомъ взятъ былъ въ солдаты и навсегда исчезъ изъ глазъ Миная.

Несмотря на свой возрастъ, Минай еще не былъ женатъ хотя онъ ежеминутно думалъ объ этомъ. Но въ особенности старикъ, отецъ его, сокрушался о своемъ Минайкѣ. Въ его потухающихъ глазахъ часто проглядывала грусть, когда онъ сознавалъ всю невозможность женить сына. Онъ оставлялъ ему все, что самъ получилъ отъ крѣпостного состоянія: двѣ лошади, двѣ коровы, пять овецъ, полуповалившіеся плетни и полуразрушившуюся избенку, и только жены не могъ пріискать. Смекалъ онъ и такъ, и сякъ—и все ничего не выходило, и Минайка все оставался холостымъ. Подвернулась-было разъ старику одна бабенка: „гладкая, здоровенная баба! кладъ, можно сказать, баба!" (расписывалъ старикъ свою находку), но Минай наотрѣзъ отказался отъ нея. Онъ самъ устроилъ себя.

Дѣло произошло возлѣ рѣки, въ то самое время, когда тамъ стиралось разное вонючее тряпье.

Минай могъ, конечно, прямо подойти къ Ѳедосьѣ и открыто объясниться, но онъ предпочелъ подкрасться, вытянуть ладонью вдоль ея спины и во все горло захохотать въ тотъ моментъ, когда, взвизгнувъ отъ ужаса, она повернулась лицомъ къ нему.

— Что ты, лѣшій? Одурѣлъ?—вскричала, наконецъ, Ѳедосья, оправившись отъ испуга.

— А ты что кричишь? Ай больно?

Ѳедосья съ негодованіемъ смотрѣла на одурѣвшаго и, собравъ все мокрое тряпье въ руки, мазнула имъ по лицу Миная. Но послѣдній, повидимому, не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на это и глупо ухмылялся своимъ мокрымъ лицомъ.

— Слушай, Ѳедось! Хочешь за меня замужъ?—сказалъ онъ.

— Вотъ еще что выдумалъ!—возразила Ѳедосья, красная до ушей, и опустила руку съ тряпьемъ, которое она держала до сихъ поръ въ угрожающемъ положеніи.

— А ты говори прямо, не отлынивай!

— Нечего мнѣ сказать тебѣ; уйди—вотъ и сказъ весь!—возразила еще разъ Ѳедосья, однако, съ мѣста не трогалась.

— То-то бы зажили, а? Самымъ лучшимъ манеромъ! Чай, тоже знаешь меня...—продолжалъ Минай и, не кончивъ начатой рѣчи, громко поцѣловалъ Ѳедосью. Послѣ этого Ѳедосья ужь ничего не могла возразить.

Черезъ недѣлю Минай женился „увозомъ", таинственно

выкравъ свою невѣсту; еще черезъ недѣлю раздѣлился съ родителями ея и черезъ мѣсяцъ сдѣлался полнымъ хозяиномъ всего наслѣдства. Въ это время умеръ его старикъ-отецъ, счастливый, что увидалъ своего Минайку поженившимся.

И Минай принялся орудовать. Жена его была въ то время здоровая баба, ни въ чемъ не уступавшая ему; она не отставала отъ него въ работѣ, только никогда не высказывала своихъ надеждъ. Это было уже дѣло Миная. Онъ одинъ работалъ надъ проектами будущаго; мечталъ онъ почти всегда вслухъ, передъ Ѳедосьей, такъ какъ никакими силами не могъ удержать въ себѣ свои проекты, которые, надо замѣтить, тутъ же и осуществлялись „самымъ превосходнымъ манеромъ". „Теперь ужь не тѣ времена,—разсказывалъ онъ Ѳедосьѣ,—теперь крѣпости этой нѣтъ... воля! Теперь только дуракъ отощаетъ... Ты что молчишь? Ай мы дурачье? Это мы-то?"

Въ такомъ родѣ восторгался Минай, удивляясь только тому, что Ѳедосья все молчитъ. Ѳедосья на самомъ дѣлѣ все отмалчивалась,—это было въ ея характерѣ,—но она не думала сомнѣваться въ восторженныхъ словахъ Миная. Разсказы Миная были до того пламенны и заразительны, что и она по временамъ улыбалась, работала сильнѣе лошади и ничего не возражала, когда Минай хлопалъ ее по спинѣ, только по привычкѣ говорила: „П-шелъ, одёръ!" Но эта угрюмость была только напускная, и Ѳедосья тотчасъ же выдавала себя, раздвигая ротъ до ушей. То же самое было и тогда, когда родился Яшка. Ѳедосья молчала; появленію его на свѣтъ она, повидимому, совсѣмъ не обрадовалась. Можетъ, она чувствовала, что Яшка, прежде чѣмъ сдѣлается ревизскою душой, высосетъ ее и истомитъ? Кто ее знаетъ? Но за то Минай восхищался. Яшка былъ въ его глазахъ необыкновенное существо. „О, о, о! какой бутузъ! Гляди, ручищи-то! Знатный мужчина!"—говорилъ онъ, осматривая необыкновенныя ручищи и тыкая пальцемъ въ брюхо Яшки.

Собственно говоря, съ этого времени и начинаются мечты Миная.

Конечно, и въ эту пору у Миная были черные дни, когда онъ опускалъ носъ и мрачно молчалъ. Но это не одинъ онъ испытывалъ, и черные дни были общими обстоятельствами, которыя обрушивались на всѣхъ парашкинцевъ. А въ та-

комъ случаѣ могъ ли онъ совершенно и окончательно опустить носъ?

Начались эти обстоятельства съ упорства, высказаннаго обѣими половинами, разорванными послѣ уничтоженія крѣпостнаго права,—начались съ той самой минуты, когда, кончивъ романъ, парашкинцы рѣшили все-таки не поддаваться увѣщаніямъ ихъ прежняго господина. Главное несчастіе для обѣихъ сторонъ заключалось въ томъ, что одна сторона предлагала болотца, другая съ тѣмъ же упорствомъ отказывалась отъ болотцевъ.

Цѣлыхъ полгода обѣ стороны мучились такъ. Баринъ былъ сѣдой уже старикъ, голова котораго постоянно тряслась,—отъ негодованія, какъ думали парашкинцы, не знавшіе его прежней жизни. Онъ бился совсѣмъ не изъ-за выгоды, а изъ-за того только, чтобы насолить „мошенникамъ". Тѣмъ не менѣе, онъ самъ желалъ поскорѣе развязаться и совсѣмъ уѣхать изъ деревни. Каждую недѣлю онъ собиралъ парашкинцевъ и толковалъ съ ними, но все ничего не выходило, и эта канитель тянулась цѣлыхъ полгода. Придутъ парашкинцы всею кучей, встанутъ возлѣ крыльца и молчатъ, напряженно слушая сѣдого барина. А сѣдой баринъ стоитъ на крыльцѣ, размахиваетъ руками, трясетъ головой—и все тутъ. Уйдетъ сѣдой баринъ, побранятся между собой парашкинцы и также уходятъ всею кучей, не оставивъ послѣ себя никакого отвѣта.

Наконецъ, терпѣніе барина лопнуло. Одинъ разъ, собравъ около своего крыльца парашкинцевъ, онъ категорически спросилъ у нихъ, соглашаются ли они на предлагаемый надѣлъ, или нѣтъ; и когда парашкинцы, по своему обычаю, уклонились отъ отвѣта, баринъ крикнулъ: „лошадей!" сѣлъ въ карету и поѣхалъ. Проѣзжая мимо парашкинцевъ, онъ крикнулъ имъ, съ негодованіемъ тряся головой:

— Останетесь вы... Останетесь! Останетесь!

Это было зловѣщее предсказаніе, пророчество вороны. Парашкинцы немедленно же поняли свою глупость. Долгое время они молча смотрѣли другъ на друга и думали, каждый про себя: „вотъ-то дураки!" Они готовы были уже начать, по своему обыкновенію, злобную перебранку, но въ это время Минай крикнулъ: „Уѣхалъ... ну, и пущай!" Этого было достаточно, чтобы парашкинцы вышли изъ того молчаливаго оцѣпенѣнія,

находясь въ которомъ, невозможно принять какого-либо рѣшенія. Парашкинцы заговорили:

— И пущай его!

— И не надо!

— И Господь съ нимъ!

— Способнѣе же опосля всего нищій надѣлъ!

— Нищій, что ли?

— Нищій, такъ нищій! Одинъ конецъ... Фролъ! пиши бумагу!

Но „нищій надѣлъ“ былъ только объектомъ, на который парашкинцы вылили накипѣвшую горечь; въ сущности же они понимали, что взять нищій надѣлъ то же самое, что повѣсить черезъ плечо кошель. Къ тому же и Фролъ наотрѣзъ отказался писать „гумагу“, сказавъ, что этакому дурачью онъ служить не намѣренъ и потакать глупости не будетъ. Парашкинцы простояли на томъ же мѣстѣ, около барскаго крыльца, весь этотъ день, весь вечеръ и всю ночь и только подъ утро мочи не стало — охрипли. Расходясь по домамъ, они рѣшили завтра же изъявить согласіе на предложенный надѣлъ.

Минай въ этотъ разъ кричалъ больше всѣхъ; даже въ то время, когда всѣ прочіе охрипли и по необходимости умолкли; только тихо перебраниваясь, онъ все еще оралъ. Раньше этого рѣшенія онъ убѣждалъ стоять твердо. По его мнѣнію, баринъ отлынивалъ. „Приперли его оттэдова, съ самаго верху, вотъ онъ и виляетъ хвостомъ-то“,—разсказывалъ Минай, вполнѣ убѣжденный, что баринъ припертъ, что сунуться ему некуда. и что, въ концѣ-концовъ, какъ онъ ни отлынивай, а уступить долженъ. Поэтому рѣшеніемъ парашкинцевъ Минай былъ ошеломленъ страшно. Еслибы ему кто наплевалъ въ лицо, то онъ чувствовалъ бы меньшее удивленіе, чѣмъ въ тотъ день, когда парашкинцы рѣшили, что они дѣйствительно набитое дурачье. Долго послѣ этого Минай ходилъ съ повѣшеннымъ носомъ и съ одурѣвшими глазами.

Когда онъ мечталъ, то прежде всего рисовалъ себѣ землю, много земли, и былъ увѣренъ, что надѣлъ положенъ будетъ способный во всѣхъ смыслахъ. На этомъ онъ и проекты свои основывалъ, на одномъ этомъ. И избу построить, и соху починить въ кузницѣ, и рукавицы купить, и хозяйкѣ платокъ пріобрѣсть,—все это можно было сдѣлать только при землѣ.

И вдругъ—болотца! Мгновенно всѣ предположенія и мечты Миная разлетѣлись прахомъ. Такъ и самъ Минай думалъ, признаваясь, что „теперь ужь что-жь... теперь ужь больше ничего“... ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. Эта мысль, полная недоумѣній и тоски, до такой степени поразила его, что онъ долгое время никуда не показывался изъ дому. Что̀ онъ за это время дѣлалъ и какой процессъ совершался въ его головѣ—трудно сказать.

Извѣстно только, что черезъ нѣкоторое время все обошлось благополучно. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Минай со своею Өедосьей уже покрывалъ старую избу новою соломой; солому подавала на верхъ Өедосья, а самъ Минай стоялъ на крышѣ и притаптывалъ ногами подаваемые ему огромные навильники, причемъ, въ промежуткахъ между двумя навильниками, онъ глядѣлъ по сторонамъ и свистѣлъ.

Черезъ полгода или черезъ годъ онъ сдѣлался прежнимъ Минаемъ.

Вообще оглушить его было трудно. Онъ какъ будто въ крови отъ прародителей получилъ привычку глядѣть легкомысленно.

Такому настроенію Миная помогло и отсутствіе времени для обдумыванья. Все лѣто и осень онъ совался и дурѣлъ, какъ подхлыстываемая лошадь. Онъ едва успѣвалъ отмахиваться отъ всевозможныхъ кредиторовъ, раздиравшихъ его на части, такъ что у него не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы опомниться. Зимой онъ отправлялся въ извозъ и утопалъ въ ухабахъ, привозя домой пряниковъ дѣтишкамъ, да заѣзженную лошаденку. Однимъ словомъ, думать было мало времени.

Когда же у него выпадала свободная минута,—а это было всегда зимой, во время длинныхъ и тоскливыхъ вечеровъ,—то, вмѣсто обдумыванія, онъ мечталъ. Физически мучающійся человѣкъ не станетъ мучиться еще духомъ; онъ постарается, напротивъ, выбросить изъ головы все, что способно терзать, и сосредоточится только на одномъ легкомъ и увеселительномъ. Минай постоянно баловалъ себя такимъ именно образомъ.

Пріѣдетъ онъ съ зимняго извоза, разднется, разуется, ляжетъ на полати и начинаетъ фантазировать. Придумываетъ онъ тутъ разныя измышленія, высчитываетъ безчисленные счастливые случаи и самъ восхищается своими созда-

ніями. Прежде всего, его занимаетъ ожидающійся урожай. Полосы уже засѣяны; теперь только ждать надо. У Миная какъ-то выходитъ, что и дождичекъ льетъ во-время, и сухое время настаетъ въ пору, однимъ словомъ, урожай будетъ превосходный. Съ этого осьминника онъ получитъ столько-то, а съ этого вотъ сколько. Хлѣба будетъ довольно. Потомъ Минай начинаетъ распредѣлять баснословный урожай. Туда онъ заплатитъ, этому отдастъ, сюда сунетъ, а на подати опять продастъ—и все выходитъ какъ нельзя лучше. Но Минай не хочетъ на обумъ рѣшать сложныя задачи, онъ высчитываетъ. „Р-разъ!“—шепчетъ онъ про себя, отыскивая счастливый случай, и загибаетъ на ладони палецъ. Затѣмъ начинаетъ прибирать другіе неестественные случаи хлѣбныхъ остатковъ... „Два!“—радостно шепчетъ онъ, загибая другой палецъ. Онъ непремѣнно смотритъ на пальцы и выказываетъ необычайное волненіе, когда ему не удается загнуть слѣдующаго пальца. Но это рѣдко бываетъ. Фантазія его ни передъ чѣмъ не останавливается, лишь бы загнуть всѣ пальцы. Въ концѣ-концовъ, всегда оказывается, что пятерня вся загнута, хлѣба достанетъ и подати будутъ уплачены.

Достигнувъ такого блестящаго результата, Минай перевертывается на брюхо, болтаетъ босыми ногами и, свѣсивъ голову съ полатей, начинаетъ веселый разговоръ съ Яшкой, который сидитъ на лавкѣ, возлѣ ночника.

— Яшка!

Яшка не можетъ произнести ни одного слова; въ рукѣ его кусокъ страннаго хлѣба, и ротъ набитъ.

— Что ты, дуракъ, безперечь ѣшь?

— Хотца, — разсудительно отвѣчаетъ, наконецъ, Яшка. Яшка дѣйствительно съ утра до ночи ходитъ съ кускомъ страннаго хлѣба и, походя, жретъ. Если мать не дастъ ему хлѣба, онъ отыскиваетъ какія-то нечистоты и все-таки жретъ. Брюхо у него, какъ у австралійца, на подобіе мѣшка, прикрѣпленнаго снаружи.

— Ну, гляди, братъ! Вонъ какъ пузо-то у тебя распучило!

Яшка не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на слова отца.

— Небось распучитъ!... Хлѣбецъ-то батюшка—камень!— вставляетъ свое слово Ѳедосья, которая по большей части молчитъ и только изрѣдка буркнетъ что-нибудь.

Минаю непріятно; онъ покашливаетъ. Картины, сейчасъ

нарисованныя имъ, заволакиваются туманомъ. Но это непродолжительно; вѣдь онъ уже высчиталъ, что на будущій годъ ему достанетъ хлѣба на всю зиму, при томъ хлѣба чистаго, „святого хлѣба", какъ онъ выражается, говоря о хлѣбѣ безъ примѣсей.

— Дай срокъ... На ту зиму, Богъ дастъ, не станемъ жевать этакой-то...

— Хоть бы молчалъ, что-ли, коли разумомъ обиженъ!—возражаетъ Ѳедосья, которая уже перестала вѣрить „пустомелѣ", какъ она называетъ подъ сердитую руку Миная.

Но Минай не унываетъ и отъ своихъ фантастическихъ замковъ отказаться не хочетъ. Онъ уже все высчиталъ! Потерпѣвъ неудачу въ разговорѣ съ Яшкой, онъ, попрежнему, смотритъ искрящимися глазами на ночникъ, на Яшку и спокоенъ.

Разумѣется, онъ не въ состояніи скрыть отъ себя плохого качества землишки, которую онъ нынче расковырялъ и засѣялъ. Главное, навозу нѣтъ. Навозъ — это съ нѣкоторыхъ поръ его постоянная мечта, мучительная, неумолимая и назойливая. У парашкинцевъ вся земля истощена; они выжали изъ нея все, что было можно. И Минай знаетъ это, отлично знаетъ, что безъ навозу „никакъ невозможно". Поэтому онъ каждый день почти возвращается къ навозу въ своихъ воображаемыхъ „случаяхъ".

Скотины у него осталось мало; изъѣзженная лошаденка, которую онъ въ своихъ разъѣздахъ измоталъ такъ, что у ней круглый годъ наружу торчали ребра, коровенка, нѣсколько овчишекъ, одна свинья,—вотъ и весь скотъ. Какой тутъ навозъ? Но Минай все-таки ухитряется создать въ своемъ воображеніи несмѣтное число навозныхъ кучъ; передъ его умственными взорами носится даже самая картина возки навоза на поля и удобреніе имъ земли. Конечно, изъ всего этого ровно ничего не выходитъ, и онъ только успокоиваетъ себя несмѣтными кучами.

Когда онъ отправляется въ загонъ, чтобы собственными глазами удостовѣриться, сколько его скотъ натопталъ ему навозу, то немедленно же приходитъ къ заключенію, что навоза нѣтъ, ибо ничего и никто ему не навалитъ даромъ. Именно даромъ, потому что кормить свой скотъ ему было нечѣмъ, кромѣ гнилой соломы, да и то впроголодь. Навозу

никакого нѣтъ. „Вѣдь этакая сатаническая утроба! Словно въ прорву валишь кормъ!"—изумленно говорилъ онъ, съ негодованіемъ глядя на ни въ чемъ неповинную корову, пережевывающую жвачку.

Еслибы кто подумалъ, что Минай въ такомъ случаѣ отчаивался или, по меньшей мѣрѣ, убѣждался въ отсутствіи удобренія, какъ необходимаго средства нѣсколько исправить землю, то онъ ошибся бы. Минай отчаивался? Ни чуть не бывало. Неизвѣстно какъ, но у него въ результатѣ размышленій всегда выходило, что навозъ у него будетъ, земля удобрится и „рожь уродится преотличная". Трудно повѣрить такому легкомыслію, но необходимо принимать въ разсчетъ нежеланіе Миная лечь и начать помирать. О, Минай обѣими руками цѣпляется за тѣнь, которую онъ назвалъ „жистью"!

И такъ во всемъ.

Изба его совершенно изветшала; ткни ее пальцемъ, и она, казалось, разсыпется. Еслибы ее сломать, такъ она и на дрова не годилась бы; ничего не дала бы, кромѣ ѣдкой и вонючей копоти. Снаружи она была еще ничего, но внутри... Изъ нутра ея бревенъ сыпались гнилушки,—явленіе, которое ежедневно напоминало хозяину, что давно ее надо сломать и построить новую, потому что, того и гляди, рухнетъ. Зимой, въ морозы, она насквозь промерзала, а лѣтомъ, въ сырые дни, по стѣнамъ ея росли грибы. А Минай ничего, и въ усъ не дуетъ. Новую избу построить ему не на что; вмѣсто этого, онъ починяетъ старую. Сначала передъ сквернымъ зрѣлищемъ осыпающихся гнилушекъ Минай стоитъ нѣкоторое время въ изумленіи: на него нападаетъ тоска. Но это недолго. Потешетъ онъ дощечку, прилѣпитъ ее гвоздочками къ провалившемуся мѣсту и потомъ хвастается: „Чудесно! Вѣку не будетъ!"

А то еще былъ у него плетень. Минай просто ненавидѣлъ его. Въ плетнѣ постоянно образовывались дыры, въ которыя пролѣзали чужія свиньи, забирались на дворъ и поѣдали тамъ все, что попадалось подъ рыло. Но у Миная загородить плетень было не чѣмъ. Возъ хворосту всего-то стоилъ гривенникъ въ барскомъ лѣсу, но у Миная не только гривенника, а часто и заржавленнаго гроша не было. Такъ дыры и оставались незагороженными. Придумывалъ, придумывалъ Минай, какъ бы зачинить дворъ, и, наконецъ, придумалъ.

Привязалъ на веревку Полкана, глупѣйшую собаку, которая рѣдко и дома-то жила, и посадилъ ее къ самой большой дырѣ. Полканъ постоянно отрывался и уходилъ, Минай постоянно ловилъ его и садилъ на старое мѣсто. Цѣлыхъ три мѣсяца бился онъ такъ; наконецъ, песъ смирился. Послѣ устройства такой засады, свиньи, познакомившіяся съ зубами лютаго пса, котораго рѣдко кормили, перестали шляться на дворъ. И вся эта исторія — изъ-за гривенника! Но Минаю весело было смотрѣть, какъ Полканъ хваталъ какую-нибудь неосторожную хавронью за глотку; Минай хохоталъ надъ выдумкой. Только по ночамъ было непріятно слушать жалобное завываніе.

Минай съ виду всегда казался беззаботнымъ; по крайней мѣрѣ, никто еще не видалъ, чтобы онъ тосковалъ и терзался пытками безнадежности. Онъ всегда былъ ровенъ, шапка на бекрень, руки засунуты за поясъ. Въ самыя тяжкія минуты на лицѣ ничего нельзя было прочитать; лицо его въ эти минуты дѣлалось безсмысленнымъ, одурѣлымъ—и только.

Такая способность Миная прямо зависѣла отъ того, что онъ жилъ среди парашкинцевъ.

Парашкинцы имѣютъ такое жизнеустройство, которое помогаетъ человѣку въ самыя отчаянныя времена на что-то надѣяться. Помощь эта не только матеріальная, но и нравственная, и послѣдняя, пожалуй, гораздо важнѣе первой. Правда, что у парашкинцевъ есть общій животъ, брюхо, которое питаетъ цѣлое „опчество". Правда также, что этотъ мірской животъ игралъ и играетъ значительную роль въ жизни парашкинцевъ. Когда парашкинцы лишились личныхъ животишекъ, на выручку имъ являлся общій животъ; когда ихъ разбивали и разсѣевали, они снова собирались около общаго живота и, къ удивленію всѣхъ, снова устраивались. Все это правда.

Тѣмъ не менѣе, нравственная помощь парашкинскаго жизнеустройства для Миная была гораздо важнѣе всего этого. Благодаря только этой помощи, Минай способенъ былъ еще хохотать и показывать языкъ. Бѣдъ у Миная было много; сыпались онѣ на него, какъ еловыя шишки на Макара, но онъ ежеминутно чувствовалъ за своею спиной силу. Этою силой былъ міръ. Онъ въ него такъ вѣрилъ, что, когда у него ничего не оставалось, то все-таки оставался міръ. Если

по временамъ изъ его легкомысленной души исчезала надежда, онъ обращалъ глаза на міръ и ждалъ: вотъ-вотъ міръ что ни на есть придумаетъ. Міръ для него былъ крѣпостью, гдѣ онъ спасался отъ непріятелей. А непріятелей у него было много, и спасаться отъ нихъ можно только въ крѣпостяхъ. Не будь у Миная укрѣпленнаго мѣста, отъ него давнымъ давно остались бы одни порты. Можетъ быть, впослѣдствіи крѣпости будутъ и не нужны, и парашкинскій міръ обратится въ цвѣтущее гражданскаго вѣдомства мѣсто, но объ этомъ Минай пока и не мечталъ, хотя отъ природы былъ награжденъ необузданною фантазіей.

Очевидно, что Минай совсѣмъ предаться отчаянію не могъ. Онъ крѣпко лѣпился къ „опчеству". Нельзя сказать, чтобы парашкинское „опчество" было особенно укрѣпленное мѣсто,— часто Минай подвергался участи страуса, спрятавшаго голову и оставившаго свободнымъ задъ,—но важна увѣренность въ нѣкоторой безопасности. А Минай вѣрилъ въ крѣпость, и потому не могъ навсегда упасть духомъ, лечь и начать помирать.

Онъ не пропускалъ ни одной сходки и слылъ за самаго отчаяннаго горлодера. Даже въ тѣ дни, когда его разрывали на части и когда ему приходилось бороться съ уныніемъ, онъ все же появлялся на сходѣ. Всего вѣрнѣе, потому и появлялся, что боролся съ уныніемъ. Тамъ онъ былъ въ своей сферѣ. Горло у него было широкое; ругался онъ такъ, что даже опытные въ этомъ дѣлѣ становились втупикъ и умолкали. Онъ раньше всѣхъ приходилъ на сходъ, позже всѣхъ уходилъ оттуда. Прямо по приходѣ на сходъ онъ точилъ лясы и балагурилъ, потомъ ругался. Прислонится къ чему-нибудь, къ плетню или къ забору, и оретъ, пламенно оретъ, не глядя ни на кого и не слушая ни другихъ, ни, повидимому, даже самого себя; оретъ до тѣхъ поръ, пока всѣ прочіе не умолкнутъ въ изнеможеніи, безсильно хлопая глазами: его поневолѣ слушали. На міру онъ такъ и слылъ „горлодеромъ", „горлопаномъ", т. е. человѣкомъ, который во всякій часъ дня и ночи можетъ разинуть ротъ и сколько угодно орать.

Всего яростнѣе Минай нападалъ на Епишку. Епишка былъ кабатчикъ, небольшой, вертлявый, съ пронзительными глазами человѣчишко. Сначала онъ чуть не со слезами на глазахъ

вымолилъ у парашкинцевъ право держать кабакъ, а потомъ ему удалось какими-то подвохами купить землю у барина (старика-барина давно не было въ живыхъ; имѣніе было въ рукахъ его сына), и съ тѣхъ поръ Епишка преобразился. Кабака онъ не бросилъ; напротивъ, сдѣлалъ его центромъ своего хищничества. Здѣсь онъ жилъ, отсюда онъ дѣлалъ набѣги на парашкинцевъ, сюда тащилъ все, что ему удавалось, тѣмъ или другимъ путемъ, выудить. Въ концѣ-концовъ, онъ опуталъ парашкинцевъ обязательствами, и вытурить его было уже невозможно.

— Чего вы смотрите? — кричалъ Минай на сходѣ, — чего смотрите? Куда у васъ разумъ-то дѣвался? Нонѣ онъ на хвостъ намъ сѣлъ, а завтра наплюетъ намъ на бороды! Чего наплюетъ! онъ прямо въ ротъ затешется, Епишка-то! Ахъ, вы...

Но парашкинцы были ужѐ безсильны вытурить Епишку. Епишка утвердился. Это зналъ и Минай и, что всего удивительнѣе, противъ самого Епишки онъ ровно ничего не имѣлъ. На міру онъ ругалъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, а встрѣчаясь съ нимъ, балагурилъ. И надо оговориться, Минай вездѣ былъ такимъ. Онъ можетъ ругаться, но не можетъ ненавидѣть. За минуту пылая ненавистью къ врагу, онъ потомъ хохочетъ съ нимъ и шутки шутитъ, а въ пьяномъ видѣ лѣзетъ даже цѣловаться. Съ такимъ же безстыдствомъ или легкомысліемъ онъ и съ Епишкой поступалъ.

Противъ Епишки онъ металъ массу самыхъ ѣдкихъ ругательствъ, но иногда почти немедленно же отправлялся въ кабакъ и просилъ у Епишки косушку водки въ долгъ.

— Епишка, дай! — просилъ онъ.

Епишка сверкаетъ пронзительными глазами; онъ знаетъ, что на сходѣ Минай оралъ противъ него, и отказываетъ въ просьбѣ.

— Ни зашто!

— Дай!

— Ни за рупь!

— Будь другъ милый!

— Не дамъ, говорю, не дамъ, и проваливай!

— Отчего?

Епишка снова сверкаетъ глазами и хочетъ отмолчаться, но не выдерживаетъ.

— А кто на сходѣ глотку дралъ? Кто супротивъ Епифана

Колупаева бунтовалъ? Кто м-миня безпутными словами безчестилъ? Кто, безстыжіе твои глаза? Управы на васъ нѣтъ, толоштанники, право! Не дамъ!

— Тамъ, братъ, апчественное дѣло; по совѣсти тамъ, братецъ ты мой... тамъ съ нечистымъ рыломъ невозможно!

— Лучше и не проси! Уходи отъ грѣха!—кричитъ Епишка, выходя изъ себя.

— Ну, лѣшій тебя возьми!—говоритъ, наконецъ, Минай и уходитъ. Ему сначала неловко, совѣстно, да и выпить хочется, но потомъ ничего. Идя домой, онъ уже свиститъ.

Чтобы нѣсколько оправдать безстыдство Миная, надо замѣтить, что въ „апчественныхъ дѣлахъ“ онъ всегда старался поступать по совѣсти, „съ чистымъ рыломъ“, дома же онъ никогда не слѣдилъ за собой; дома онъ даже привыкъ ходить нечистымъ. Это какъ разъ наоборотъ тому, что происходитъ среди большинства праздношатающихся.

Пилъ Минай только мимоходомъ, только въ тѣхъ случаяхъ, когда можно урвать косушку. До безобразія же напивался всего раза три въ годъ. Собственно говоря, онъ и не напивался даже, а только показывалъ видъ, что необыкновенно пьянъ, хвастался. Если пьянъ, стало быть, есть на что, стало быть, деньги водятся, стало быть, человѣкъ онъ не кой-какой. Минай упорно стремился сохранить за собой репутацію не „кой-какого“.

Поэтому онъ всегда бушевалъ, когда напивался. Но бушевалъ онъ, такъ сказать, въ пространствѣ: оралъ, стучалъ объ столъ кулаками, словесно бѣсновался, но никого не задѣвалъ. За то онъ фантазировалъ, и тутъ ужь не зналъ, никакого удержу. Фантазія его, и безъ того часто необузданная, въ этомъ случаѣ совершенно выходила изъ предѣловъ натуральнаго. Онъ лгалъ, хвастался, создавалъ вслухъ небылицы, громко мечталъ и иногда самъ запутывался въ своемъ враньѣ. Онъ фантазировалъ безразлично —передъ пріятелемъ, если онъ былъ, или передъ Ѳедосьей, если она слушала его, а иногда мечталъ самъ съ собой, вслухъ разсказывая себѣ невѣроятные случаи того, какъ онъ поправится и заживетъ.

Начиналъ онъ всегда съ плетня. Плетень—это былъ его личный врагъ. Его онъ сломаетъ и поставитъ новый... нѣтъ, не плетень, а прямо заборъ. А старый плетень на дрова;

сколько будетъ дровъ! на годъ хватитъ! Полкашкѣ тоже надо отдыхъ дать—бѣдный Полканъ!... А потомъ онъ примется за избу: гнилушки — въ щепы, въ прахъ! Будетъ, послужили свой вѣкъ—и честь пора знатѣ. Новыхъ бревенъ онъ прямо изъ города привезетъ; онъ выждетъ случай; онъ не промахнется—шалишь! Крышу онъ тесовую положитъ, а солому побоку. Какъ же можно сравнить тесъ съ соломой? То тесъ, а то солома. Тесъ—любезное дѣло, а солома прѣетъ... ну, и вонь! Коровенку еще надо прикупить... расходъ большой... но за то корова. Суммы у него хватитъ на все. Да онъ, ежели прямо говорить, двѣ коровы купитъ, три! Молока тогда будетъ вдосталь, масло же... ну, масло въ городъ, по прямой линіи въ городъ, почему, что брюхо крестьянское непривычно къ нему... Молоко, простокваша—это такъ, это можно. Дунька тогда поправится; Дунькѣ тогда—лафа; Дунька тогда—сыта. А и пользы отъ коровъ ожидать должно, въ смыслѣ, напримѣръ, навоза. Тогда онъ не пожалѣетъ ста кучъ, двѣсти кучъ! Тогда этого добра дѣвать будетъ некуда—вали, знай! И хлѣбъ свой... цѣлый годъ свой! И нетолько этакій, со всѣми, напримѣръ, подлостями, а чистый, какъ слѣдуетъ, хлѣбъ... Расходу—прорва! Ну, за то лошади... Этотъ самый одеръ, теперешній, только хвостомъ вертитъ! Ты его жарь кнутомъ, дубиной его жарь, а онъ вертитъ... одеръ естественный!... А онъ купитъ теперь лошадь, какъ слѣдуетъ... ха-аррошаго мерена! Онъ двѣ лошади купитъ! Ужь заодно, въ масть...

Минаю, повидимому, легко было обманывать себя въ пьяномъ видѣ. Воображеніе, воспламененное косушкой сивухи, дѣйствовало безъ всякой узды, и Минай могъ предаваться, безъ зазрѣнія совѣсти, лжи и хвастовству передъ собой. Но, къ удивленію, дѣло было иначе. Трезвый, Минай никогда почти не сознавалъ себя во лжи и не признавалъ себя пустомелей, тогда какъ въ пьяномъ видѣ онъ очень часто спускался въ область дѣйствительности и нылъ. Фантастическія настроенія его куда-то исчезали, и на днѣ его пьяной души оставалось одно только ѣдкое и болѣзненное сознаніе „жисти“.

По большей части это происходило по вечерамъ, когда и грезы сосредоточиваются, и всякая боль дѣлается острѣе. Приходя домой, Минай грузно садится за столъ и ошалѣлыми глазами осматриваетъ стѣны. Онъ сопитъ и вздыхаетъ.

Горитъ ночникъ, наполняя атмосферу копотью конопляннаго масла. Ѳедосья сидитъ за пряжей. Подлѣ нея копошится Дунька, починивая какое-то тряпье. А Яшка сидитъ возлѣ двери, рядомъ съ теленкомъ, и плететъ лапти. Минай сперва ничего не замѣчаетъ и ничего не отвѣчаетъ на грозное лицо Ѳедосьи.

— Дунька!—вдругъ почему-то обращается онъ къ дочери, поднимая на нее отяжелѣвшія вѣки.

— Ты, тятька, пьянехонекъ... ужь молчалъ бы ни то!—отвѣчаетъ Дунька, не поднимая головы и все продолжая работать надъ тряпьемъ. Дунька уже выросла; ей пятнадцатый годъ. Но ей никто не далъ бы стольких лѣтъ, до такой степени она мала и тщедушна.

— А я тебѣ говорю—цыцъ, дура!—съ неожиданнымъ бѣшенствомъ кричитъ Минай, раздраженный возраженіемъ, но немедленно же опускается за столъ, забываетъ обиду и долго молчитъ, смотря въ пространство ошалѣлыми глазами.

— Слышь, Дунька!—снова вспоминаетъ разговоръ Минай.

Дунька молчитъ попрежнему, только глаза ея, устремленные на ночникъ, щурятся.

— Слышь, Дунька! А хлѣба-то у насъ не будетъ... ни въ единомъ разѣ!

Дунька еще болѣе щурится и молчитъ. Молчатъ и другіе члены семьи.

— Не будетъ хлѣба у насъ...—настаиваетъ Минай, какъ будто кто ему возражаетъ.

— Ни въ единомъ разѣ... ни въ единственномъ... — продолжаетъ онъ, ни къ кому не обращаясь, и безчисленное число разъ повторяетъ: „ни въ единомъ, ни въ единственномъ“. Потомъ онъ умолкаетъ, а тамъ снова начинается безконечное повтореніе:

— Не будетъ...

— Ни въ единомъ разѣ...

— Хлѣба-то...

— Не будетъ и не будетъ!... Хлѣба-то... и не-е-е будетъ!

Минай вдругъ начинаетъ плакать. Голова его медленно опускается на руки, лежащія на столѣ; тѣло вздрагиваетъ; изъ устъ слышатся всхлипыванія и икота. Когда онъ снова поднимаетъ голову и смотритъ въ пространство ошалѣлыми

глазами, на рукавѣ его полушубка вырисовывается большое мокрое пятно.

— Легъ бы ты, Осипычъ!—прерываетъ вдругъ молчаніе Ѳедосья, и Минай скоро дѣйствительно засыпаетъ.

И снова горитъ ночникъ, пропитывая смрадомъ атмосферу избы. Яшка долго еще плететъ лапти, Дунька починиваетъ тряпье, а Ѳедосья тянетъ безконечную посконную нить.

Ѳедосья съ теченіемъ времени дѣлалась все болѣе и болѣе молчаливою. Вѣрила-ли она фантазіямъ мужа, или только тянула лямку парашкинской „жисти", никто этого опредѣленно сказать не можетъ. Лицо ея сдѣлалось угловатымъ, морщинистымъ и дряблымъ; глаза потускнѣли и стали безсмысленными, руки отвердѣли, какъ старыя подошвы. Она никогда не сидитъ безъ дѣла, все надъ чѣмъ-нибудь копошится; лѣтомъ же она, попрежнему, лошадь. Но всякая работа дѣлалась ею молча и тупо, какъ заведенною машиной. Ня ея лицѣ ничего нельзя было прочитать, только губы ея все что-то шептали, словно она съ кѣмъ-то говоритъ.

Для Миная это было все одно; онъ мало обращалъ вниманія на Ѳедосью. Они такъ тѣсно жили, что уже не замѣчали другъ друга. Минаю и некогда было замѣчать разныя мелочи; у него едва хватало времени на то, чтобы затыкать дыры „жисти" клочьями своего воображенія. Еслибы ему велѣно было обо всемъ думать, все увидать и понять, такъ тогда что-жь бы отъ него осталось?

Такимъ образомъ, проблески лютаго сознанія проявлялись въ немъ только тогда, когда онъ выпивалъ. На другое утро послѣ этого онъ вставалъ, какъ встрепанный, и принимался за какое-нибудь дѣло, и попрежнему, свистѣлъ. Когда же его и въ явь въ „трезвомъ образѣ" застигаетъ трезвое сознаніе, онъ хитритъ, старается оболгать себя и ускользаетъ отъ казни.

Онъ находитъ рессурсы обольщать себя даже и въ такихъ положеніяхъ, гдѣ онъ казался совершенно припертымъ къ стѣнѣ. Однимъ изъ такихъ обстоятельствъ были недоимки. Въ какой мѣрѣ можно мечтать объ уплатѣ ихъ? Безъ мѣры, потому что и копитъ ихъ онъ безъ мѣры. Минай, повидимому, это зналъ; онъ фантазировалъ въ этомъ случаѣ крайне неумѣренно, безъ всякаго воздержанія. Накопивъ недоимки

въ такомъ размѣрѣ, что выплатить ихъ не представлялось возможности, онъ, тѣмъ не менѣе, думалъ, что это ничего...

Здѣсь повторялась та же исторія пятерни. Онъ загибалъ пальцы и приходилъ въ восторгъ. „Разъ!"—шепталъ онъ, отыскивая какую-нибудь фантастическую вѣроятность уплаты, и загибалъ палецъ. „Два!"—шепталъ онъ. „Три!". Пятерня загнута и Минай успокоивается. Выходило, впрочемъ, всегда такъ, что не успѣвалъ онъ загнуть всѣ пальцы, какъ уже всѣмъ тѣломъ чувствовалъ, что его ведутъ въ волость...

Про него иногда распускали слухъ, въ особенности писарь Семенычъ, что онъ злонамѣренно уклоняется отъ уплаты. Кромѣ простой глупости, здѣсь заключается еще непониманіе вообще человѣка, всегда готоваго подвергнуть себя непріятностямъ, чтобы избѣгнуть мучительствъ. Кромѣ того, Минай никогда не могъ примириться съ мыслью, что онъ голышъ и взять съ него нечего. Онъ обижался, когда его называли недоимщикомъ. Онъ даже не останавливался передъ лживыми увѣреніями, что онъ „чистъ", что „онъ, братъ, не любитъ этакъ-то валандаться"... Говорилъ такъ онъ, разумѣется, не съ парашкинцемъ, который могъ бы его уличить, а съ какимъ-нибудь постороннимъ человѣкомъ, не знавшимъ, что „чистый", не тронутый парашкинецъ—миѳъ или нѣчто въ родѣ привидѣнія.

Минай любилъ хвастаться, если не тѣмъ, что онъ чистъ, то, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что онъ будетъ чистъ. Мечтатель всегда ухитряется забывать настоящее и вперяетъ глаза только въ будущее. Минай держался именно этого способа. Возвращаясь изъ волости, онъ немедленно забывалъ, что его тамъ „тово"... Онъ принимался высчитывать мѣры и возможности къ уплатѣ въ будущемъ году и увлекался этимъ высчитываніемъ. У него всегда оказывалось множество способовъ уплаты, и онъ неминуемо приходилъ къ заключенію, что на будущій разъ онъ чистъ. Будущее обращалось въ настоящее, фантастическія видѣнія въ фактъ, и Минай забывалъ обиду, надѣвалъ шапку на бекрень и весело свистѣлъ. И это спустя часъ послѣ „тово"!

Что всего удивительнѣе, Минай стыдился не того, что онъ вѣчно изображаетъ изъ себя липу, а одного только имени недоимщика. Онъ въ этомъ случаѣ нисколько не походилъ на Ивана Иванова. Иванъ Ивановъ, послѣ того, какъ зако-

палъ на огородѣ книжки, ожесточенно плюнулъ на все и нагло отказывался отъ уплаты. Когда его спрашивали: „Ну, что, дурья голова, пороли?“ Онъ отвѣчалъ: „А то какъ же?“— „Здорово?“—„Пороли-то? Пороли, братецъ ты мой, знатно; пороли, надо прямо говорить, нёбу жарко“,—отвѣчалъ онъ, ковыряя пальцемъ въ трубкѣ. Для него существовало что-нибудь одно изъ двухъ: „тово“ или уплата; вмѣстѣ, рядомъ эти два явленія не могли существовать. Иванъ Ивановъ такъ утвердился на этой точкѣ, что никто не въ состояніи былъ сбить его съ нея. Такъ онъ и не платилъ, хотя ежедневно думалъ о недоимкахъ и нылъ. Но Минай стыдился быть недоимщикомъ, и если ему не удавалось уплатить дѣйствительно, то онъ платилъ въ воображеніи.

По этому поводу онъ всегда рисовалъ себѣ картину, созерцаніе которой доставляло ему величайшее наслажденіе.

Картина была, дѣйствительно, густо окрашена. Минай стоитъ въ волостномъ правленіи и ехидничаетъ про себя, ехидничаетъ насчетъ того, какъ старшина будетъ приведенъ сейчасъ въ конфузъ. О, Минай наслаждается этимъ моментомъ! Минай стоитъ поодаль отъ недоимщиковъ и высокомѣрно на нихъ поглядываетъ. Старшина то и дѣло кричитъ: „Валяй его!“ Очередь доходитъ до Миная. „Минай Осиповъ здѣсь?“—кричитъ старшина.—„Я Минай Осиповъ“.—„Деньги принесъ?“ Минай нарочно съ злымъ умысломъ молчитъ... „За тобой, голубь мой, причитается... Ого-го! причитается, голубь мой, вонъ сколько!“ Минай молча достаетъ деньги, показывая, однако, видъ, что платить ему нечѣмъ. „А! у тебя нѣту?...“ Минай медленно копошится, наконецъ, вынимаетъ требуемую сумму и бережно подаетъ ее старшинѣ. Старшина оглушенъ; это очевидно; это ясно; это видно по его вытаращеннымъ глазамъ; онъ даже слова не можетъ вымолвить. „Ну, другъ, извини,—говоритъ, наконецъ, онъ.—Я думалъ... Что-жь ты молчишь, чудакъ? Право, чудакъ!“ Минай злорадостно отвѣчаетъ: „Я, Сазонъ Акимычъ, завсегда... я съ удовольствіемъ! Я этой самой пакости, прямо сказать, не люблю!“—„Это, братъ, хорошо... Это ужь на что же лучше, какъ ежели отдалъ—и чистъ“. Минай весело глядитъ и уходитъ, сопровождаемый всеобщимъ удивленіемъ.

Нарисовавъ эту картину и размазавъ ее густыми колерами, Минай уже спокоенъ за будущій годъ; только спокой-

ствія ему и на о. Добившись его, онъ предается обычнымъ своимъ домашнимъ занятіямъ, а между дѣломъ, попрежнему, смѣется, хвастается, лжетъ передъ собой и передъ другими, тянетъ свою „жисть“ безъ особенной тревоги и безъ смущенія, не отчаивается, во что-то вѣритъ и свиститъ.

Съ нѣкотораго времени Минай сталъ невольно и помимо сознанія направлять свою фантазію въ другую сторону. Онъ уже готовъ былъ выйти изъ того круга ожиданій и желаній, въ которомъ весь вѣкъ топтался. Для него явился соблазнъ, которому онъ ежеминутно готовъ былъ поддаться. Передъ его глазами постоянно мелькалъ живой примѣръ, надъ которымъ онъ задумывался.

То былъ Епишка.

Епишка, дѣйствительно, былъ соблазномъ, перевертывавшимъ наизнанку всѣ фантасмагоріи Миная. Епишка—это человѣкъ, получающій во всемъ удачу. У Епишки всегда есть хлѣбъ. Епишка не нуждается въ гривенникѣ; цѣлковые сами текутъ къ Епишкѣ. Епишка пользуется уваженіемъ, ему всѣ парашкинцы шапки снимаютъ. Епишку никто не трогаетъ; напротивъ, онъ самъ всѣхъ задѣваетъ. Епишку не сѣкутъ; у Епишки никогда нѣтъ недоимокъ, да и платитъ-ли онъ какія-нибудь подати? Епишка содержитъ кабакъ... ну, это ужь отъ его паскудства, но еслибы онъ и кабака не держалъ, то и тогда онъ катался бы, какъ сыръ въ маслѣ. Но, главное, Епишка самъ по себѣ владѣетъ землей—вотъ чего Минай не могъ переваривать.

Кто такой Епишка? Прощалыга, который въ Сысойскѣ продавалъ воблу, вырабатывая за весь день не болѣе гривны. Тѣ парашкинцы, которые часто ѣздили на базаръ въ Сысойскъ, знавали его и раньше. Епишка въ то время выглядѣлъ необыкновенно жалкимъ оборванцемъ; просто жалко было плюнуть на него. Сидѣлъ онъ всегда около небольшой кучки протухлой воблы и жалобно заманивалъ къ себѣ пьяныхъ покупателей; лѣтомъ-ли то было, или зимой, онъ вѣчно потиралъ себѣ руки, словно не надѣялся на свои рубища и боялся, что замерзнетъ. И вдругъ этотъ самый Епишка, этотъ прощалыга, этотъ торговецъ воблой, этотъ не материнъ сынъ, вдругъ онъ, по волѣ попутнаго вѣтра, приносится къ парашкинцамъ, садится на хребты ихъ и самоувѣренно говоритъ: „Н-но, милые, трогай!“ И парашкинцы везутъ его и, навѣрно, вывезутъ;

вывезутъ туда, куда только пожелаетъ алчная душа его. Развѣ это не соблазнъ?

Минай часто надолго забывалъ Епишку, но, когда ему приходилось жутко, онъ вспоминалъ его. Епишка самъ лѣзъ къ нему, мелькалъ передъ его глазами, расшибалъ всѣ старыя его представленія и направлялъ мечты его въ другую сторону. Главное, Епишка во всемъ успѣвалъ; не потому-ли успѣвалъ, что никакого „опчисва“ у него нѣтъ?

Епишка имѣлъ землю, но не имѣлъ недоимокъ; онъ дралъ, а не его сѣкли... Этотъ рядъ мыслей неминуемо торчалъ въ головѣ Миная и смущалъ его. А далѣе слѣдовалъ новый рядъ мыслей: Епишка оборванецъ, Епишка выкидышъ; Епишка не имѣетъ ни сродственниковъ, ни знакомыхъ, ни „опчисва“... а имѣетъ землю. Почему?

Этотъ оглушительный вопросъ долго оставался безъ отвѣта въ головѣ Миная, и Минай пытался все дѣло свести къ счастію. Но это мало помогало. Далѣе, Минай уже начиналъ думать, что онъ нашелъ причину удачи Епишки. Епишка ни съ чѣмъ не связанъ, Епишка никуда не прикрѣпленъ, Епишка можетъ всюду болтаться. Вздумаетъ онъ землю снять—снимаетъ; захочетъ вонять на всю деревню кабачнымъ смрадомъ—и воняетъ. Были бы только деньги, а въ остальномъ прочемъ ему все трынъ-трава. „Ахъ, дуй его горой! Ловкій шельмецъ!“—оканчивалъ свои размышленія Минай.

Минай неминуемо приходилъ къ выводу, что для полученія удачи необходимы слѣдующія условія: не имѣть ни сродственниковъ, ни знакомыхъ, ни „опчисва“—жить самому по себѣ. Быть отъ всего оторваннымъ и болтаться гдѣ хочешь. Это выводъ, который приводилъ въ изумленіе самого Миная.

Но Епишка теперь уже не гуляетъ по волѣ попутнаго вѣтра: онъ утвердился. Главная его сила въ томъ, что онъ знать никого не хочетъ. Сидитъ себѣ на своей землѣ и въ усъ не дуетъ. Онъ завелъ у себя стаи псовъ, посадилъ ихъ на цѣпь, окопался, огородился и живетъ себѣ. Никто не смѣетъ къ нему носу сунуть, потому что онъ немедленно тяпнетъ по носу, высунувшемуся далеко. Онъ одинъ—и больше ни до кого ему дѣла нѣтъ. „Апчесвенной“ тяготы на немъ нѣтъ, ни за кого онъ не болѣетъ; знай себѣ хватаетъ въ обѣ руки. И нѣтъ на него никакой узды; и чего онъ ни захочетъ, все у него выходитъ ладно, никто его не коритъ. „Ну, песъ! Да

онъ отроститъ такое брюхо, такое брюхо"...—оканчивалъ свои размышленія Минай.

И здѣсь выходитъ все одинъ конецъ. Чтобы хорошо жить, надо быть отъ всего оторваннымъ, гулять по волѣ вѣтра и все дѣлать одному и на свой страхъ. Для Миная Епишка былъ фактъ, которымъ онъ поражался до глубины души. Сдѣлавъ свой доморощенный выводъ изъ факта, онъ принимался размышлять дальше. Но здѣсь, впрочемъ, размышленія его прекращались; далѣе шли однѣ фантазіи, какъ и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда предметомъ его размышленій былъ онъ самъ, Минай. О себѣ онъ не могъ думать; онъ только разнуздывалъ свое воображеніе.

„А что, ежели удрать, къ примѣру?"—спрашивалъ онъ себя и начиналъ обдумывать послѣдствія этого необычайнаго поступка. Онъ будетъ воленъ; копѣйку онъ станетъ зашибать ужь лично на себя. Но что копѣйка? Копѣйка—тьфу! Онъ на вѣчныя времена сниметъ землю и сядетъ на ней... А пріобрѣсти землишку—дѣло не хитрое, механику-то эту онъ знаетъ! Вѣдь Епишка какъ присвоилъ? Вѣдь онъ гроша за душой не имѣлъ! Такъ и тутъ... А своя землишка—ужь лучше этого и ничего нѣтъ. Вонъ онъ, Епишка-то, какъ вознесся!... „Безпремѣнно надо удрать, только до лѣта дотянуть, а тамъ поминай какъ звали! Безпремѣнно надо! Черезъ годикъ, черезъ два—землишка... Тогда кланяться-то я не стану, шалишь! Хлѣбъ-отъ у меня свой тогда... Я тогда чистъ... тогда рыло-то отъ меня вороти въ сторону... тогда, живымъ манеромъ, передо мной шапку долой! Маршъ! сволочь!"

Минай вдругъ начиналъ размахивать руками; глаза его горѣли съ несвойственною ему яростью, а съ языка срывался цѣлый потокъ ругательствъ. Но тѣмъ дѣло и оканчивалось. Злоба, накипѣвшая противъ кого-то, выливалась, онъ отводилъ душу и успокоивался. А на слѣдующемъ же сходѣ честилъ Епишку.

Замѣчательно, впрочемъ, не это. Важно то, что когда онъ рисовалъ себѣ Епишку, „опчисво" на минуту являлось передъ нимъ, какъ врагъ, отъ котораго надо удрать. Всѣ его старыя понятія или ощущенія куда-то провалились, а на ихъ мѣсто явился одинъ голый фактъ—Епишка, и ослѣплялъ Миная.

Тѣмъ не менѣе, Минай еще не собирался вплотную послѣдовать по пути Епишки. Этому было много причинъ.

Прежде всего, копѣйка; Минай хоть и плевалъ на нее, но яснѣе, чѣмъ кто другой, сознавалъ, что именно копѣйки-то и не видать ему, какъ ушей своихъ, и что безъ нея онъ станетъ всегда ѣсть странный хлѣбъ.

Удерживало еще одно представленіе. На какомъ бы мѣстѣ ни садился Минай въ своемъ воображеніи, передъ нимъ всегда мелькала такая картина: „Минай Осиповъ здѣсь?“—„Я Минай Осиповъ“.—„Ложись“... Это представленіе преслѣдовало его, какъ тѣнь. Куда бы онъ ни залеталъ въ своихъ фантастическихъ поѣздкахъ, но, въ концѣ-концовъ, онъ соглашался, что его найдутъ, привезутъ и положатъ. Онъ такимъ образомъ невольно объяснялъ причину удачъ Епишки, котораго никто не трогаетъ, и неудачи Миная, котораго всюду найдутъ.

Самую же важную роль въ охлажденіи къ одиночеству играло все-таки „опчисво“. Минай только на минуту забывалъ его. Когда же онъ долго останавливался на какой-нибудь картинѣ одиночной „жисти“, его вдругъ охватывала тоска. „Какъ же это такъ можно?—съ изумленіемъ спрашивалъ онъ себя.—Стало быть, я волкъ? И окромя, стало быть, берлоги, мнѣ ужь некуда будетъ сунуть носа?“ У него тогда не будетъ ни завалинки, на которой онъ по праздникамъ шутки шутитъ и разговоры разговариваетъ со всѣми парашкинцами, ни схода, на которомъ онъ пламенно оретъ и бушуетъ, ничего не будетъ! „Волкъ и есть“,—оканчиваетъ свои размышленія Минай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его такъ сильно, что онъ яростно плевалъ на Епишку и ужь больше не думалъ подражать ему.

Конечно, это только временная узда. Придетъ время, когда парашкинское общество растаетъ, потому что Епишка не даромъ пришелъ. Какъ лазутчикъ сысойской цивилизаціи, онъ знаменуетъ собой пришествіе другого Епишки, множества Епишекъ, которые загадятъ парашкинское общество.

Минай жилъ подъ массой вліяній, которыя дѣйствовали на него одуряющимъ образомъ. Однако, Епишка, фигурирующій въ числѣ этихъ вліяній, не занялъ еще первенствующаго мѣста въ мысляхъ Миная. Епишка только еще землю захватилъ, но не успѣлъ еще прокрасться въ область мысли. Минай имѣлъ силу отбиться отъ него. Нужно видѣть, какъ онъ на

сходѣ оретъ противъ Епишки. Онъ тамъ честилъ его на всѣ корки; нѣтъ брани, которая не обрушивалась бы на голову Епишки со стороны Миная. На словахъ Минай терзалъ на части Епишку.

Если Минай и мечталъ насчетъ Епишкиныхъ воровскихъ дѣлъ, то лишь въ тѣ времена, когда ему приходилось туго, когда обыденныя самообольщенія не спасали его, когда онъ готовъ былъ лѣзть въ первую попавшуюся петлю, лишь бы она душила его не въ такой степени, какъ та, въ которой онъ бился. Тугія времена дѣйствовали на него одуряющимъ образомъ. Ежедневныя фантастическія настроенія тогда уже не удовлетворяли его; онъ жаждалъ въ это время чего-нибудь диковиннаго и захватывающаго духъ. Онъ старался забыть свою „жисть“ и выдумать другую, неслыханную. Всѣ мечты его принимали болѣзненный и придурковатый характеръ.

Самъ по себѣ онъ мало надѣялся, но за то онъ ждалъ, и эти ожиданія также принимали больной видъ, и со стороны казались просто глупыми и невѣжественными.

То онъ выдумаетъ, что ему позволятъ переселиться въ Азію, то онъ вѣритъ, что недоимки будутъ съ него сняты, то онъ убѣждаетъ себя, что земли прирѣжутъ. Онъ ловилъ малѣйшій слухъ, который не былъ очевидною нелѣпостью, и фантазировалъ на его счетъ. Показывая видъ, что онъ нисколько не вѣрилъ болтовнѣ бабъ, онъ въ тайнѣ предавался мечтаніямъ насчетъ какой-нибудь утки, пущенной какимъ-нибудь солдатикомъ, и въ то же время съ жаромъ ловилъ новую утку, волнуясь при ея появленіи до глубины души. Въ этомъ случаѣ онъ даже и не лгалъ передъ собой: онъ вѣрилъ. Это спасало его на время, позволяя ему ожидать чего-то.

Чуткость Миная къ нелѣпостямъ была необычайна. Какой бы ни проносился слухъ, Минай на лету хваталъ его и задумывался. Слухи удилъ онъ по большей части на базарѣ, отъ прохожихъ солдатиковъ, или изъ устъ господъ, съ которыми приходилось ему сталкиваться. Каждую нелѣпость, подхваченную на лету, онъ дѣлалъ еще болѣе нелѣпою, безсознательно перевирая ее. Удержать же слухъ въ себѣ онъ не имѣлъ силы, развѣ слухъ ужь слишкомъ нелѣпъ, онъ разсказывалъ его другимъ и незамѣтно для себя приплеталъ что-нибудь отъ себя.

Разъ онъ вылилъ душу передъ Фроломъ. Фролъ былъ че-

ловѣкъ основательный, который во всякомъ дѣлѣ скажетъ вѣрное слово. Правда, говорить онъ не любилъ, но это Минаю и не больно нужно. Минай охотнѣе говоритъ, чѣмъ слушаетъ. Минай немного побаивался Фрола, въ особенности за способность послѣдняго обливать холодною водой, но, желая во что бы то ни стало найти хотя какое-нибудь подтвержденіе копошившихся въ его головѣ нелѣпостей, онъ разболтался.

Фролъ, по обыкновенію, работалъ надъ сапогами. Онъ съ теченіемъ времени сталъ шить сапоги и на другихъ, и въ этомъ дѣлѣ творилъ такія чудеса, что пріобрѣлъ громкую извѣстность. Онъ могъ сдѣлать и такіе сапоги, въ которые легко посадить человѣка, и такіе, которые негодны были никакому ребенку.

Минай часто забѣгалъ къ Фролу; придетъ, посидитъ, разскажетъ какую-нибудь фантастическую невозможность и уходитъ облегченнымъ. На этотъ разъ ему кстати было зайти: сапоги его обшлепались до такой степени, что странно было смотрѣть на его ноги.

— Ну, Фролъ, къ тебѣ!—началъ Минай, снимая сапогъ и подавая его Фролу.—Чистая бѣда! Почини, братъ... тутотка только заплаточки!

Фролъ взялъ сапогъ, внимательно осмотрѣлъ и молча подалъ его обратно хозяину. Послѣдній изумился.

— Можно?—спросилъ онъ, растерянно держа сапогъ.

— Нельзя.

— Какъ нельзя? Экъ хватилъ, какъ обухомъ! Нельзя! Тутъ заплаточку, въ другомъ мѣстѣ заплаточку, анъ сапогъ и въ цѣлости... Этакій-то сапогъ нельзя? Эка!

Минай все еще растерянно смотрѣлъ на невозможный сапогъ и удивлялся, почему же нельзя починить. Онъ до сихъ поръ воображалъ иначе.

— Да ты воткни буркалы-то!—сказалъ, наконецъ, Фролъ, снова беря сапогъ и просовывая руку въ одну изъ его дыръ.— Воткни буркалы-то! Тутъ ста заплатъ мало, а онъ съ заплаточками со своими... на!

Фролъ подалъ сапогъ Минаю и принялся за работу. А Минай долго еще перевертывалъ во всѣ стороны сапогъ, пока своими глазами не убѣдился, что починить его дѣйствительно нѣтъ никакой возможности. Онъ надѣлъ его. Воцарилось надолго молчаніе, въ продолженіи котораго Фролъ дѣйствовалъ

шиломъ и съ шумомъ размахивалъ обѣими руками, а Минай безцѣльно водилъ глазами по избѣ; у него подъ ложечкой начало ныть. Фролъ огорошилъ его сапогами.

— Ай земля-то рожонъ вострый показала ноне, ежели этакое сокровище вздумалъ чинить?—не поднимая головы, насмѣшливо спросилъ Фролъ.

— Что-жь, сокровище, такъ сокровище... А что касательно земли, точно, что хлѣба, дай Господи, до Миколы хватить,— возразилъ Минай и совершенно смутился. Онъ сейчасъ только узналъ, что хлѣба у него чуть-чуть „до Миколы хватитъ".

— Да, братъ, не родитъ наша матушка; опаскудили мы ее! продолжалъ Фролъ, не работая.

— Опаскудили—это вѣрно.

— Такъ опаскудили, что и приступиться къ ней совѣстно.

Разговоръ долго стоитъ на томъ, какъ и въ какой мѣрѣ парашкинцы опаскудили свою землю. Наконецъ, Фролъ перемѣнилъ разговоръ.

— Земля-то не рожаетъ задаромъ.

— Какъ же можно! Ежели къ ней съ пустыми руками сунуться, такъ окромя пырею что-жь получишь?

— Земля поитъ—кормитъ, ну, тоже и ее надо поить-кормить.

— Да какъ же безъ этого? Безъ этого бросай все и больше ничего,—подтвердилъ и Минай.

Снова настало молчаніе. На этотъ разъ оно не прошло даромъ для Миная. Эти сапоги, этотъ хлѣбъ, котораго до Миколы не хватитъ, обезкуражили Миная. Онъ порылся въ головѣ и припомнилъ.

— Слыхалъ я... сказывалъ мнѣ на базарѣ... Какъ его? шутъ его возьми! совсѣмъ изъ памяти вонъ имя-то... Какъ его, лѣшаго?... Еще лысый мужиченко-то, семой дворъ у его отъ конца въ Кочкахъ.

Говоря это, Минай вопросительно и съ отчаяніемъ водилъ глазами по избѣ и старался припомнить имя лысаго.

— Захаръ, что ли?

— Во, во, во! Захаръ... онъ самый Захаръ и есть! Ну, сказывалъ: придѣлъ, говоритъ, скоро будетъ; ужь это, говоритъ, вѣрно.

— Такъ,—сказалъ Фролъ, не отрываясь отъ работы.

— Безпремѣнно, говоритъ.

— Такъ, такъ,—и Фролъ видимо начинаетъ злиться. Когда онъ говоритъ „такъ“, то всякій знаетъ, что онъ думаетъ иначе. Минай также это зналъ, и потому вдругъ пришелъ въ смятеніе, чувствуя, что хлѣба не только до Миколы, а и до Покрова не хватитъ.

— Ты какъ на этотъ счетъ, Фролъ?—спросилъ Минай.

— Что-жь на этотъ... по моему разсужденію, лучше лежа на печи сказки сказывать, а не то чтобы...—возразилъ Фролъ и умолкъ, такъ что Минаю, хотя и взволнованному его словами, говорить больше нечего. Онъ начинаетъ о другомъ.

— А то еще сказывалъ мнѣ онъ, этотъ самый Захаръ, быдто черную банку заведутъ,—выпалилъ Минай.

На этотъ разъ пораженъ былъ Фролъ. Онъ пересталъ работать и съ выпученными глазами смотрѣлъ на Миная. Какъ онъ ни привыкъ хранить все внутри себя, но сообщеніе Миная ошеломило его.

— Это что-жь такое?

— Черная банка; для черняди, стало быть, банка, для крестьянъ,—пояснилъ Минай, довольный тѣмъ, что Фролъ смотритъ на него во всѣ глаза.

— А для какой надобности?

— Банка-то? А гляди: желаемъ мы всѣмъ опчисвомъ прикупъ земли сдѣлать, и сейчасъ, другъ милый, первымъ дѣломъ въ банку...—„Что, голубчики, надо?“—„Такъ и такъ, земли прикупить желаемъ“.—„А станете ли платить?“—„Платить станемъ, ужь безъ этого нельзя“.—„Ну, хорошо, ребята, дѣло доброе; сколько вамъ?“—„Столько-то“... Вотъ она какого рода банка!—кончилъ Минай.

Минай во время этого поясненія поднимался, снова садился, ерзалъ по лавкѣ и волновался. Очевидно, онъ вѣрилъ въ свою „банку“ и старался убѣдить Флора въ дѣйствительномъ существованіи ея. Онъ желалъ бы еще нахвастать съ три короба о своей чудесной „черной банкѣ“, но Флоръ остановилъ его вопросомъ:

— А скоро?

— Заведутъ, говоритъ, скоро.

— Такъ.

Надо питать глубокое отвращеніе къ „жисти“, чтобы схватить на лету слухъ, переврать его и превратить въ „черную банку“. Откуда Минай почерпнулъ этотъ слухъ и какъ об-

ращался съ нимъ — неизвѣстно. Извѣстно только, что онъ крѣпко осѣдлалъ его и ѣздилъ на немъ очень долго, добившись одного: онъ забылъ на время „Миколу", потому что ждалъ „черной банки".

Уходя на этотъ разъ отъ Фрола, онъ былъ въ полной увѣренности, что теперь уже не долго мотаться ему и что голодухѣ скоро придетъ конецъ. Однако, находясь уже около двери, онъ спросилъ у Фрола:

— Заплаточки, стало, нельзя?

— Никакъ нельзя,—отвѣчалъ Фролъ.

Это очень огорчило Миная, но, разумѣется, не на долго. Прошелъ день, и Минай снова глядѣлъ на Божій міръ легкомысленными глазами.

А легкомысліе его день ото дня становилось поразительнѣе. Фантазіи о „черныхъ банкахъ" — это еще что! Это только потребность замазать трещины „жисти". Дѣло становилось хуже. Минай все рѣже и рѣже ѣздилъ въ чудесныя сферы— некогда было. Онъ только топтался на одномъ мѣстѣ. Ему приходилось считаться *только* съ настоящею минутой, отбросивъ всѣ помыслы о будущемъ.

Онъ теперь уже жилъ изъ недѣли въ недѣлю, изо дня въ день, не больше. Проживетъ день—и радъ, а что дальше— плевать. По большей части выходило такъ, что въ началѣ дня онъ мрачно выглядѣлъ, а подъ конецъ весело и легкомысленно хлопалъ глазами. Это происходило отъ того, что въ началѣ дня или недѣли онъ метался, отыскивая полмѣшка муки, а подъ исходъ этого времени мука находилась. Онъ быстро переходилъ изъ одной крайности въ другую; то беззаботно свистѣлъ (мука есть), то ходилъ съ осовѣвшими взорами (муки нѣтъ). Отъ отчаянія онъ быстро переходилъ къ радости, которая была необходима, какъ отдыхъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. У Миная постоянно наготовѣ былъ мѣшокъ, съ которымъ онъ ходилъ одолжаться мукой. Приходилось толкаться въ двери барина или Епишки, или нѣкоторыхъ другихъ богачей. Выбора не было. Но баринъ всегда нажималъ: неумѣлый, онъ то зря бросалъ деньги, то нажималъ. А Епишка былъ еще хуже; онъ просто опутывалъ человѣка такъ, что послѣ этой операціи тотъ и шевельнуться не могъ.

Думалъ Минай ѣздить, попрежнему, въ извозъ, но и этого

нельзя. Его „естественный одёръ“ больше не годился для извоза. Минай разъ думалъ отправиться на заработки, но и это оказалось немыслимо. На одну зиму уйти не стóитъ, а на годъ не пустятъ. Минай кругомъ былъ въ долгахъ, и кредиторы растерзали бы его. Онъ самъ зналъ, что уйди онъ — его найдутъ, привезутъ и положатъ.

Пробившись такъ нѣсколько лѣтъ, Минай совсѣмъ измотался. Вышли очень скверныя вещи. Онъ отказался платить не только недоимки—онъ ничего больше не платилъ.

— А! ты не хочешь платить?—спрашивали у него.

— Н-ни магу!

Минаю уже некогда было мечтать о будущемъ. Онъ ничего больше не желалъ, кромѣ одного — сохранить свои животы хоть еще одинъ годикъ. А тамъ, что Богъ дастъ! Это не голодъ и не „жисть“; это судороги.

Наконецъ, настало время, когда Минаю нельзя было двинуться ни взадъ, ни впередъ; оставалось только топтаться на одномъ мѣстѣ и прислушиваться къ урчанію желудка; настало время, когда только и оставалось, что начать помирать.

Что же это такое? Почему? Что случилось? Очень немногое. Но Минай не въ силахъ былъ понять этого немногаго, некогда было. Да и случилось это немногое гдѣ-то далеко, далеко за предѣлами парашкинскаго зрѣнія, куда даже Минаева фантазія никогда не заѣзжала. „Что же это такое?—спрашивалъ иногда себя Минай,—бѣда, да и только; прямо, можно сказать, ложись и помирай“. Но и такія разсужденія не часто приходили Минаю. Его единственнымъ вопросомъ было: „будетъ ли завтра хлебово?“ Съ утра до ночи онъ только и помышлялъ о томъ, скоро ли выйдетъ полмѣшка? Въ головѣ его только и торчалъ онъ одинъ, этотъ самый мѣшокъ, который выходитъ, выходитъ... вышелъ!

А случилось, дѣйствительно, немногое. Пришла новая масса людей и тоже предъявила права на ѣду. Впрочемъ, для какого-нибудь Миная это даже и не событіе, потому что около него не произошло никакой перемѣны...

До Миная и парашкинцевъ это событіе дошло понемногу, по мелочамъ, въ розницу и донимало ихъ полегоньку. Минай началъ помышлять о такихъ вещахъ, о которыхъ раньше онъ никогда не думалъ, хотя время и не давало ему одуматься.

Ему въ пору было лишь одно: сохраненіе живота и топтаніе на одномъ мѣстѣ. Когда онъ находилъ свободную минуту отъ мучительныхъ думъ о полмѣшкѣ, онъ отдыхалъ, т. е. фантазировалъ, а когда минуты этой не было, онъ судорожно бился, пріискивая способъ оболгать себя.

Одинъ разъ, когда Минай уже совсѣмъ было отправился въ невѣдомую область фантасмагоріи, Ѳедосья коротко заявила ему:

— Займешь, что-ли, хлѣба-то на завтра?

Это было вечеромъ, въ началѣ зимы. Минай раздѣлся, разулся и полѣзъ уже на полати, но сообщеніе Ѳедосьи такъ неожиданно тяпнуло его по головѣ, что онъ, какъ закинулъ босую ногу на приступку печи, такъ и окаменѣлъ.

— Хлѣба-то? Развѣ ужь весь?—спросилъ онъ и ошалѣлыми глазами глядѣлъ на Ѳедосью.

— Ѣли и съѣли; что тутъ говорить?

— Ахъ, грѣхъ какой... весь... экъ сказала! Полмѣшка—и весь!... Что-жь это такое?... Экъ рѣзнула... весь!.. А молчала до сей поры!

Говоря эти безсмысленныя фразы, Минай безсмысленно глядѣлъ на Ѳедосью, безъ счету повторяя: „весь... экъ сказала!“ Но это были только слова, праздныя слова, явившіяся потому, что мысли Миная спутались, и говорить ему больше было нечего. Онъ, наконецъ, спустилъ ногу съ приступка, надѣлъ сапоги, полушубокъ, сѣлъ, положилъ руки на колѣни и безсмысленно вперилъ глаза въ пространство, переводя ихъ по временамъ на Ѳедосью. Семья была вся въ сборѣ, но никто ничего не говорилъ.

Идти за хлѣбомъ ему было некуда; онъ вездѣ задолжалъ. Много побралъ онъ и изъ „магазеи“. Просить у кого-нибудь изъ своихъ стыдно и невозможно. Онъ много похваталъ мѣшковъ у барина, все подъ лѣтнюю работу. Толкнуться ему еще разъ къ барину невозможно—не повѣритъ. Минай продалъ все будущее лѣто, почти ни одного дня не осталось свободнаго. А что касается Епишки, то какъ теперь къ нему пристроиться? Прогонитъ, непремѣнно прогонитъ. Долженъ онъ ему много, ругаетъ его здорово, ну, и не дастъ онъ, ни за что не дастъ.

И уйти невозможно было Минаю. Еслибы онъ ушелъ на заработки теперь, то позади его осталась бы семья, которая

помираетъ. Покинуть ее нельзя. Притомъ, разъ онъ уйдетъ, это значитъ уже навсегда провалится; семья его тогда разбредется, хозяйство пропадетъ и онъ будетъ одинъ болтаться по свѣту, какъ старый волкъ. На Миная вдругъ напала такая тоска, что онъ не зналъ, что и дѣлать съ собой.

Въ этотъ вечеръ Минай никуда не пошелъ. Онъ раздѣлся, залѣзъ на полати и всю ночь пролежалъ, чувствуя, что тоска поѣдомъ его ѣстъ.

Прошелъ слѣдующій день. Минаю совѣстно было взглянуть на кого-нибудь изъ домашнихъ. „Какой ты такой отецъ есть?“— спрашивалъ онъ себя и находилъ, что онъ плохой отецъ. Онъ толкался въ этотъ день въ разныя мѣста, но отовсюду былъ выпровоженъ. Когда онъ воротился домой, то немедленно же, не глядя ни на кого, залѣзъ на печь и о чемъ-то разсуждалъ съ собой, часто вслухъ.

Прошелъ еще одинъ день. Съ утра Ѳедосья жарко затопила печь и на всю деревню стучала горшками, показывая видъ, что она стряпаетъ, но изъ этого шума ровно ничего не вышло. Минай не выдержалъ и отправился къ Епишкѣ.

Епишка въ это время жилъ на хуторѣ, отстоявшемъ отъ деревни версты за три. Вечеръ былъ холодный, морозный и Минаю приходилось дорогою корчиться и по временамъ прятать свои руки за пазуху. Надежды получить хлѣбъ было мало—Епишка былъ сердитъ на Миная. Минай даже старался совсѣмъ не вѣрить въ хорошій исходъ просьбы: онъ ежеминутно твердилъ про себя: „Не дастъ, ни за что не дастъ!“ Отчаяніе его было полное.

Но это отчаяніе, граничащее съ смертельнымъ ужасомъ, неожиданно было выбито изъ головы его. Когда онъ подошелъ къ воротамъ хутора, на него кинулась вся стая Епишкиныхъ собакъ. Это все были жирные, откормленные псы, которые начали просто бѣсноваться вокругъ Миная, оглушивъ его своимъ ревомъ. Минай съ минуту стоялъ, какъ вкопанный. Но, увидѣвъ, что псы вотъ-вотъ схватятъ его за глотку, онъ принялся обороняться, яростно размахивая руками. Онъ хваталъ снѣжные комья, леденыя сосульки, щепки, прутья и все это пускалъ въ остервенившуюся свору. Во время борьбы у Миная слетѣла съ головы шапка, псы немедленно подхватили и растерзали ее въ клочья. Наконецъ, ему удалось

схватить длинный прутъ; имъ онъ и сталъ обороняться, съ визгомъ размахивая его по воздуху.

— Что ты тутъ дѣлаешь? — закричалъ Епишка, отгоняя псовъ.

— Ну, собаки! – возразилъ Минай и растерянно смотрѣлъ на Епишку.

— Да, что ты тутъ дѣлаешь, песъ?

Минай оправился отъ ужаса, хотѣлъ по привычкѣ снять шапку передъ Епишкой, но только провелъ рукой по заиндевѣвшимъ волосамъ.

— За хлѣбцемъ, Епифанъ Иванычъ, пришелъ, за хлѣбцемъ... Сдѣлай милость!

-- За хлѣбцемъ? Вонъ какая ноне гордыня-то у насъ! Безстыжіе твои глазы! А кто м-миня?...—началъ обычную свою рѣчь Епишка.

— Вѣришь ли... хошь подыхать... сдѣлай милость!

Минай говорилъ медленно и какъ будто задыхался.

— И шутъ съ тобой! — съ юморомъ замѣтилъ Епишка.— Нѣтъ, потоль только вы и смирны, поколь лопать нечего.

Епишка, наконецъ, сжалился надъ прозябшимъ Минаемъ и повелъ его въ домъ; къ тому же ему пріятно было видѣть Миная такимъ смирнымъ.

Епишка принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, для которыхъ ровно ничего не стóитъ получить по мордѣ, лишь бы заплатили за это. Сдѣлка, поэтому, скоро была заключена; Минай соглашался на все и изъявилъ готовность работать на Епишку хоть все лѣто. Епишка, въ восторгѣ отъ сдѣлки, напоилъ Миная чаемъ и взамѣнъ разорванной собаками шапки подарилъ ему другую, отъ чего и Минай, въ свою очередь, немедленно повеселѣлъ и, уходя съ хутора, „покорно благодарилъ“.

Была уже ночь, когда Минай возвращался домой. Морозъ былъ лютый. Но Минай ничего не чувствовалъ. Онъ пощупывалъ съ довольствомъ мѣшокъ, лежавшій у него на спинѣ, и рисовалъ себѣ картину того, какъ обрадуются Дунька, Яшка и Ѳедосья хлѣбу. По обычаю, онъ пытался было засвистѣть, и если не привелъ въ исполненіе этого намѣренія, то потому лишь, что морозъ слишкомъ былъ лютъ. По временамъ, уставая, онъ снималъ со спины мѣшокъ, садился возлѣ него на снѣгъ и весело глядѣлъ. Небо было чистое, глубокое; выплыла

луна, заблистали звѣзды, и Минай совсѣмъ повеселѣлъ. Онъ глядѣлъ на деревню, едва замѣтную по немногимъ огонькамъ, хлопалъ рукой по мѣшку, взглядывалъ на небо и воображалъ, что и звѣзды, мигая, радуются вмѣстѣ съ нимъ его вымученною радостью.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой сдѣлки домашній скотъ, изба и всѣ строенія Минаева хозяйства были описаны и проданы за долги. Ѳедосья, вмѣстѣ съ Яшкой и Дунькой, осталась на улицѣ и стала думать о томъ, куда ей теперь дѣться, потому что Минай, уходя на заработки въ одну изъ столицъ, никакихъ инструкцій на этотъ счетъ не оставилъ.

Минай утекъ изъ деревни за день до того момента, когда занятый имъ у Епишки мѣшокъ муки весь вышелъ, и такъ какъ исчезновенію Миная предшествовали нѣкоторые спѣшные и таинственные переговоры съ Семенычемъ, выдавшимъ ему годовой паспортъ, то понятно, что давать подробныя инструкціи семьѣ ему и некогда было.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ, однако, прислалъ письмо, гдѣ, попрежнему, строилъ фантастическіе зáмки и выглядѣлъ беззаботнымъ. Вотъ эго письмо, писанное, очевидно, какимъ-нибудь „землякомъ" въ шинели и съ краснымъ носомъ.

„Любезной супругѣ моей, Ѳедосьѣ Назаровнѣ, посылаю нижайшій поклонъ до сырой земли и цѣлую ее крѣпко; и еще любезному сыночку моему шлю нижайшій поклонъ и мое родительское благословеніе, во вѣки нерушимое; и еще любезной дочкѣ моей, Авдотьѣ Минаевнѣ, низко, до сырой земли кланяюсь и посылаю мое родительское благословеніе нерушимо. Заказываю я ей, Ѳедосьѣ Назаровнѣ, не тужить горько, а во всемъ полагаться на волю Господню и милостивыхъ чудотворцевъ; и пусть она дожидаетъ меня. А ноне посылаю ей деньги и приказываю сказать ей, яко-бы больше у меня нѣту. Которыя тутъ суммы на подати посылаю, и къ тѣмъ касательства не имѣть ей, а прямо отдать въ волость, а Ѳедосьѣ Назаровнѣ взять три цѣлковыхъ; а когда будутъ, то пошлю еще безпремѣнно. И сказать ей еще: буду къ той Святой дома, и купимъ мы избу и станемъ жить семейственно, съ нашими дѣтками".

Но эти фантастическія надежды принесли мало пользы Ѳе-

досьѣ. Съ этихъ поръ она не имѣла ни опредѣленнаго мѣстожительства, ни опредѣленной ѣды. Яшка ходилъ то въ батракахъ, то пастухомъ и самъ едва пропитывался. Дунька жила въ господскомъ дворѣ въ прислугахъ и очень мало помогала Ѳедосьѣ.

Ѳедосья ходила изъ двора во дворъ и кое-какъ колотилась. Работала она много, еще больше прежняго, но толку изъ этого никакого не выходило.

Она еще болѣе сдѣлалась молчаливою. Когда какая-нибудь баба украдкой совала ей кусокъ хлѣба, она не благодарила, а молча прятала милостыню, растерянно смотря въ сторону. Лицо ея совсѣмъ сморщилось, и изъ-подъ платка выбивались пряди сѣдыхъ волосъ. Она все что-то шептала про себя, но ждала ли она Миная—неизвѣстно.

IV.

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Неприкосновеннымъ онъ считалъ себя только дома и развѣ отчасти въ кузницѣ; во всякомъ другомъ мѣстѣ онъ чувствовалъ себя нехорошо, ибо былъ уязвимъ.

Въ самой серединѣ деревни, въ томъ мѣстѣ, гдѣ берегъ рѣки образуетъ мысъ, стояла изба, низъ которой подался налѣво, а верхъ—направо; единственныя два окна ея мрачно и непривѣтливо глядѣли на улицу, потому что, вмѣсто стеколъ, въ нихъ была вставлена требушина. Къ избѣ примыкали сѣни, изъ глубины которыхъ виднѣлось голубое небо, а напротивъ сѣней стоялъ сарай, соломенная крыша котораго исчезала ежегодно въ желудкѣ домашнихъ животныхъ; дальше же виднѣлся задній дворъ, нижнимъ концомъ опускающійся въ воду. Всѣ эти строенія Егоръ Панкратовъ называлъ „домомъ“, и именно здѣсь онъ ничего не боялся.

Кузница же играла въ его соображеніяхъ нѣкоторую роль только потому, что она была недалеко отъ дома и составляла его часть; она находилась на другомъ берегу рѣки, возлѣ моста. Это была нора, вырытая въ землѣ, съ узкимъ отверстіемъ, вмѣсто двери, съ кучей земли, вмѣсто крыши, и съ колесомъ, вмѣсто трубы. Колесо было воткнуто въ крышу не даромъ: безъ него никто изъ путешественниковъ не могъ бы открыть присутствіе Егора Панкратова, потому что изъ подземелья не слышно было ни шипѣнія, свойственнаго прорванным мѣхамъ, ни стука молотка, ни человѣческаго голоса. Егоръ Панкратовъ не любилъ вообще говорить, а въ кузницѣ онъ хранилъ всегда глубокое молчаніе.

Даже когда онъ не работалъ,—а работы въ кузницѣ у него немного,—онъ предпочиталъ молчать. Если же его кто-нибудь

окликалъ съ моста, онъ высовывалъ изъ отверстія голову и недовольнымъ тономъ спрашивалъ: „Чево надо?“ Затѣмъ снова скрывался, подавая тѣмъ знакъ, что въ дальнѣйшіе переговоры онъ вступать не намѣренъ.

Такъ онъ обращался со всѣми, кто приходилъ къ нему съ просьбой, безъ различія лицъ и состояній. Въ отсутствіи работы онъ всегда выходилъ изъ подземелья, садился около рѣчки на пескѣ, снималъ съ себя рубаху и билъ блохъ. Онъ вообще не смущался ни передъ кѣмъ. По мосту проходили пѣшіе, проѣзжали конные, иногда господа, но Егоръ Панкратовъ не прерывалъ своего занятія. Внезапно услышавъ свое имя, онъ поднимался, въ послѣдній разъ вытряхалъ рубаху и только послѣ этого предлагалъ обычный свой вопросъ: „Чево надо?“

Невозмутимый и молчаливый, Егоръ Панкратовъ пріучилъ къ той же краткости и всѣхъ приходящихъ къ нему. „Въ починку, Егоръ!“ — говорилъ приходящій, кладя подлѣ него вещи.—„Ладно“,—отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.—„Двѣ гривны будетъ?“—„Ничего“.—„Чтобы къ пятницѣ готово было“.—„Ладно!“ Приходящій позѣвывалъ и уходилъ.

Егоръ Панкратовъ велъ замкнутую жизнь, находясь попеременно то въ кузницѣ, то дома, среди своего семейства, и, казалось, глядѣлъ на окружающее съ полною безучастностью. О немъ парашкинцы составили такое понятіе: „мужикъ стоющій“, „мужикъ кремень“, человѣкъ, который не позволитъ положить ему ноги въ ротъ, а временами бываетъ лютъ... Наружность Егора Панкратова только подкрѣпляла подобныя мнѣнія. Повидимому, для него ничего не стоило въ гнѣвѣ схватить человѣка и размозжить его такъ же, какъ расплющивалъ онъ кусокъ желѣза. Егоръ Панкратовъ, конечно, ничего подобнаго не дѣлалъ, но всѣ думали, что временами онъ способенъ быть лютымъ. Видя же, что онъ никогда ни о чемъ не просилъ, никому никогда не покорялся и ни передъ кѣмъ не стучалъ зубами отъ страха, всѣ считали себя въ правѣ заключить, что Егоръ Панкратовъ шутить шутки не любитъ, а держался правила: „отваливай въ сторону“...

Въ виду такихъ свидѣтельскихъ показаній, можно, пожалуй, согласиться съ общераспространеннымъ мнѣніемъ, тѣмъ болѣе, что самъ Егоръ Панкратовъ ни однимъ словомъ не опровергалъ его. Вѣроятно, оно даже выгодно было ему, и

онъ, надо думать, подсмѣивался себѣ подъ носъ, смотря на людей, считавшихъ его неприступнымъ; онъ только этого и желалъ. Малѣйшее движеніе его большой головы говорило: „это до меня некасающе“.

Друзей у него было немного, и онъ рѣдко съ кѣмъ сходился близко. Единственное исключеніе составлялъ Илья Малый. Это былъ его другъ-пріятель, но и съ нимъ Егоръ Панкратовъ велъ краткіе разговоры.

Илья Малый, небольшаго роста, плѣшивый и съ слезящимися глазами мужичокъ, иногда порывался „точить лясы“, но невозмутимое, угрюмое молчаніе Егора Панкратова обладало способностью парализовать самый неугомонный языкъ. Въ концѣ-концовъ, въ разговорѣ съ Егоромъ Панкратовымъ Илья Малый примирялся съ необходимостью держать языкъ на привязи и рѣдко нарушалъ обычное безмолвіе.

Чаще всего они встрѣчались въ кузницѣ. Тамъ Илья Малый садился около двери и битый часъ наблюдалъ за работой Егора Панкратова. Когда же бездѣйствіе ему надоѣдало, онъ вынималъ изъ кармана кисетъ съ табакомъ, набивалъ трубку и закуривалъ. Это было косвенное приглашеніе Егору Панкратову — бросить работу и присѣсть къ другу-пріятелю. Егоръ Панкратовъ такъ и дѣлалъ—садился на корточки насупротивъ Ильи Малаго, набивалъ его табакомъ свою трубку и также закуривалъ. За этимъ слѣдовало обыкновенно продолжительное молчаніе, во время котораго друзья-пріятели сосредоточенно пыхали въ глаза другъ другу вонючею махоркой. Но обыкновенно, послѣ продолжительнаго безмолвнаго сидѣнія, Илья Малый терялъ терпѣніе и спрашивалъ:

— Табачокъ—ничего?

— Ничего,—всегда отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

Трубки выкуривались; Егоръ Панкратовъ вставалъ и принимался за свою работу, а Илья Малый, помолчавъ еще нѣкоторое время, говорилъ:

— Одначе, пора идтить. Просимъ прощенія!—и уходилъ, повидимому, вполнѣ довольный проведеннымъ временемъ, въ особенности, если Егоръ Панкратовъ отвѣчалъ ему на дорогу:

— Заходи какъ ни то.

На другой разъ повторялось буквально то же самое. Друзья-пріятели и о хозяйственныхъ своихъ нуждахъ говорили больше знаками, нежели словами. Тѣмъ не менѣе, они никогда не

надоѣдали другъ другу, и дружба ихъ оставалась неизмѣнною, вопреки несходству характеровъ; они, видимо, находили взаимное удовольствіе отъ своей дружбы. Не будучи противоположностями, взаимно исключающими другъ друга, они и не походили другъ на друга.

Илья Малый былъ простодушенъ; Егоръ Панкратовъ сосредоточенъ. Илья Малый молчалъ только тогда, когда говорить было нечего; Егоръ Панкратовъ говорилъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда молчать не было никакой возможности. Одинъ готовъ былъ всю душу вывалить наружу, другой многое скрывалъ въ себѣ. Одинъ постоянно отчаивался, другой показывалъ видъ, что ему ничего. Первый въ самыхъ обыкновенныхъ обстоятельствахъ запутывался и терялся, второй невозмутимо выносилъ невзгоды. Первый способенъ былъ повѣрить во всякія химеры, второй держался болѣе положительнаго. Илья Малый ничего не зналъ изъ того, что̀ дальше носа; Егоръ Панкратовъ также почти ничего не зналъ, но старался во все вникать и доходить до всего своимъ умомъ. Илья Малый жилъ такъ, какъ придется и какъ ему дозволятъ; Егоръ Панкратовъ старался жить по правиламъ, не дожидаясь позволенія. Одинъ жилъ и не думалъ, другой думалъ и этимъ пока жилъ. Илья Малый всего страшился, постоянно ожидая, что вотъ-вотъ на его голову бухнетъ случай и прихлопнетъ его, и потому никогда впередъ не заглядывалъ; Егоръ Панкратовъ не очень вѣрилъ случаямъ и былъ разсчетливъ; первый жилъ минутой, какъ фаталистъ, второй—будущимъ, какъ философъ. Илья Малый передъ начальствомъ робко моргалъ глазами, готовый по первому знаку повалиться въ ноги и просить о помилованіи; Егоръ Панкратовъ, при подобныхъ же обстоятельствахъ, глядѣлъ въ сторону и чесался. Илья Малый, будучи лѣтъ на десять старше своего друга-пріятеля, все еще оставался въ крѣпостной скорлупѣ, но Егоръ Панкратовъ былъ уже въ нѣкоторой степени человѣкъ новый, нѣсколько вылупившійся изъ скорлупы стараго времени... Однимъ словомъ, разница между ними была замѣтна.

Но это несходство не мѣшало имъ быть закадычными друзьями. Илья Малый питалъ безмолвное удивленіе къ Егору Панкратову, а Егоръ Панкратовъ чувствовалъ большую жалость къ Ильѣ Малому, и это обстоятельство было, повиди-

мому, одной изъ причинъ ихъ обоюднаго удовольствія отъ сообщества. Илья Малый становился спокойнымъ, когда сидѣлъ возлѣ Егора Панкратова, а Егоръ Панкратовъ дѣлался мягче, когда глядѣлъ на Илью Малаго.

Ихъ сообщество открыло свои дѣйствія съ того дня, въ который Егоръ Панкратовъ случайно оттягалъ въ пользу Ильи Малаго корову, назначенную къ продажѣ. Илья Малый никогда не воображалъ, чтобы человѣкъ былъ способенъ на такой отчаянный поступокъ; самъ онъ считалъ себя безпомощнымъ въ такомъ дѣлѣ, думая, что при такихъ обстоятельствахъ первое дѣло—молчать. А Егоръ Панкратовъ доказалъ ему противное.

Егоръ Панкратовъ случайно шелъ мимо двора Ильи Малаго въ то время. когда оттуда выводили корову; увидавъ жену Ильи Малаго, которая неистово ругалась и плакала, и самого Илью Малаго, который стоялъ растерянно на крыльцѣ и что-то шепталъ про себя, Егоръ Панкратовъ подошелъ къ коровѣ, отодвинулъ отъ нея старосту и прогналъ животное на заднiй дворъ. Все это онъ сдѣлалъ молча и не торопясь, съ обычною своею флегмой, а потомъ сѣлъ на крыльцѣ возлѣ Ильи Малаго и попросилъ у него табачку. Кисетъ Илья Малый вынулъ, но сказать что-нибудь обо всемъ имъ видѣнномъ не могъ, лишившись употребленія языка.

Точно также и староста въ первыя минуты не въ состояніи былъ понять, что̀ случилось; онъ на время оцѣпенѣлъ на мѣстѣ и онѣмѣлъ, молча поводя блуждающими взорами отъ Ильи Малаго къ Егору Панкратову.

— Это ты что же дѣлаешь, Егоръ?—спросилъ, наконецъ, онъ прерывающимся голосомъ.

— Корову прогналъ,—кратко отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Рази это по закону?

— Въ законѣ, братецъ ты мой, про корову, чай, нигдѣ не сказано. Такъ-то.

Староста рѣшительно недоумѣвалъ, что̀ ему дѣлать—вынуть-ли изъ-за пазухи бляху и принять внушительный видъ, или начать усовѣщевать. Онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, а только хлопнулъ себя по бедрамъ руками, по своей привычкѣ, и куда-то побѣжалъ рысцой, сказавъ мимоходомъ: „Ну, дѣла!“

Ни для Егора Панкратова, ни для Ильи Малаго этотъ слу-

чай не прошелъ бы даромъ. Егоръ Панкратовъ, правда, заявилъ послѣ, что корова его, якобы купилъ онъ ее, но все же ихъ обоихъ вздули бы. Не случилось этого только потому, что Илья Малый перевернулся, уплатилъ денегъ сколько слѣдуетъ и все было предано забвенію. Парашкинскій староста не любилъ вообще исторій съ коровами; мученикъ своей должности, онъ, въ данномъ случаѣ, тѣмъ болѣе не желалъ связываться съ „энтимъ дьяволомъ", какъ онъ называлъ Егора Панкратова, что побаивался его.

Съ этихъ поръ Илья Малый питалъ безмолвное удивленіе къ своему другу-пріятелю. Онъ сталъ его во многомъ слушаться, сдѣлался менѣе болтливъ и не такъ ёрзалъ на мѣстѣ, когда говорилъ съ Егоромъ Панкратовымъ. Вообще, въ жизни Егора Панкратова онъ замѣтилъ нѣкоторое отступленіе отъ старыхъ обычаевъ и робко приглядывался къ нему, въ особенности къ его безстрашію и невозмутимости. А потомъ онъ уже пытался подражать ему, но въ дѣйствительности выходило, что онъ только передразнивалъ его.

Такое представленіе Ильи Малаго о своемъ другѣ-пріятелѣ отчасти соглашалось съ дѣйствительными привычками Егора Панкратова. Поведеніе Егора Панкратова имѣло въ себѣ нѣчто новое, удивительное для Ильи Малаго, и это новое заключалось, главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ ничего не боялся, когда находился дома; тутъ онъ ни передъ кѣмъ не смущался и никому не кланялся. Илья Малый, напримѣръ, передъ всякимъ заѣзжимъ бариномъ трусилъ, видя въ немъ или злонамѣреннаго изслѣдователя его души, или просто шатающагося барина, для котораго законъ не писанъ и который безнаказанно можетъ причинить ему, Ильѣ Малому, существенный вредъ.

А Егоръ Панкратовъ не боялся этого. Когда какой-нибудь проѣзжій баринъ обращался къ нему съ просьбой починить попортившійся въ дорогѣ экипажъ, Егоръ Панкратовъ не юлилъ передъ нимъ и не устремлялся по первому его требованію, а двигался съ такою же безучастностью, какъ и всегда. Просовывая голову изъ своей норы, онъ равнодушно спрашивалъ: „Чево надо?"—и скрывался. Баринъ долженъ былъ идти къ нему въ нору и тамъ разсказать свое дорожное несчастіе. Егоръ Панкратовъ выслушивалъ и назначалъ цѣну, дѣлая это разъ навсегда, неумолимо и безъ дальнѣйшихъ разговоровъ. Ба-

ринъ, конечно, старался внушить ему всю несообразность назначенной имъ „сумасшедшей цѣны“, но Егоръ Панкратовъ не внималъ, упрямо отмалчиваясь.

Напрасно баринъ ругался, Егоръ Панкратовъ не любилъ браниться; онъ только изрѣдка загибалъ такое словечко, которымъ, какъ перецъ, обжигалъ неотвязчиваго человѣка, заставляя его мгновенно умолкать. Напрасно баринъ принималъ внушительный видъ и бросалъ на упрямца молніеносные взгляды, Егоръ Панкратовъ оставался глухъ, нѣмъ и слѣпъ; онъ привыкъ со всѣми обращаться одинаково, былъ-ли передъ нимъ господинъ съ блестящими глазами, или нищій съ сумой на боку. Напрасно также баринъ предлагалъ „на водку“ или „на чаекъ“,—этого Егоръ Панкратовъ терпѣть не могъ. Онъ всегда предпочиталъ „сумасшедшую цѣну“.

Было одно происшествіе,—нельзя этого скрыть,—которое подвергло неустрашимость Егора Панкратова большому сомнѣнію и которое онъ самъ не могъ вспомнить впослѣдствіи безъ негодованія. Это было въ Сысойскѣ на базарѣ. Егоръ Панкратовъ ѣздилъ туда затѣмъ, чтобы продать хлѣбъ или нѣсколько фунтовъ гвоздей. Не довѣряя своего товара лавочникамъ, онъ выбиралъ мѣсто на базарѣ и самъ продавалъ, сидя на своей телѣгѣ. Онъ равнодушно посматривалъ по сторонамъ и ничего не боялся. Разъ выбранное мѣсто онъ никому не уступалъ, съ ругавшимися ругался кратко, пьяныхъ отталкивалъ, а если городовой приказывалъ ему перемѣнить мѣсто или хоть просто сдвинуться, онъ ослушивался, упрямо стоя на своемъ мѣстѣ. Вообще строптивость свою онъ и здѣсь не ограничивалъ.

Но однажды возлѣ него вышла драка пьяныхъ. Пьяныхъ забрали въ участокъ, а Егора Панкратова пригласили туда въ качествѣ свидѣтеля. Вотъ когда онъ „спужался“! Вслѣдствіе-ли наслѣдственной привычки страшиться даже имени начальства, или по неспособности сообразить всѣ обстоятельства дѣла сразу, но только онъ не выдержалъ. Не долго думая, онъ съ необычайною быстротой запрегъ лошадь, свалилъ за безцѣнокъ какому-то лавочнику свои гвозди и утекъ изъ города, вполнѣ убѣжденный, что спасается отъ какихъ-то невѣдомыхъ ужасовъ.

Это происшествіе было, однако, исключеніе. Дома съ нимъ ничего подобнаго не бывало. Дома онъ строго наблюдалъ за

своею неприкосновенностью. Съ упрямствомъ, свойственнымъ ему, онъ говорилъ своему пріятелю Ильѣ Малому: „Теперь, братецъ ты мой, законъ. Такъ-то“. И думалось ему, что нынче жизнь идетъ „по правилу“. Какъ ни малъ Егоръ Панкратовъ, но все же и для него правила написаны, — слѣдовательно, если Богъ не выдастъ, то никакая свинья не рѣшится съѣсть его. Онъ говорилъ: „Нынче, братецъ мой, вотъ такъ-то... Только самому не слѣдуетъ плошать, а то ничего“.

Егоръ Панкратовъ неуклонно держался правила — никогда и никому не подавать повода трогать его. Всѣ повинности онъ отправлялъ исправно, подати платилъ въ срокъ и съ презрѣніемъ глядѣлъ на гольтепу, которая доводитъ себя до самозабвенія. Порка для него казалась даже странной; онъ говорилъ: „Чай, я не дитё малое!“

Тронули его только разъ въ жизни, но собственно онъ былъ тутъ не при чемъ; онъ только подчинялся издавна установившемуся обычаю. Когда умеръ его отецъ, накопившій передъ отходомъ въ вѣчность недоимки, а Егоръ Панкратовъ сдѣлался хозяиномъ дома, то былъ, разумѣется, выпоротъ. Очевидно, это неумолимая неизбѣжность; это—очищеніе розгами, которое долженъ принять всякій парашкинецъ, если желаетъ въ наступающей жизни быть чистымъ отъ долговъ и недоимокъ.

Съ Егоромъ Панкратовымъ это и было только разъ. Вслѣдствіе этого онъ сталъ самоувѣренъ. Сравнивая давно минувшее съ настоящимъ, онъ все болѣе и болѣе укрѣплялся въ своей строптивости. О давно минувшемъ онъ зналъ только изъ разсказовъ Ильи Малаго и дѣдушки Тита. Илья Малый былъ суевѣренъ; для него въ жизни не было закона, а только случай. Онъ видалъ виды и потому во все вѣрилъ и всего ожидалъ, даже невѣроятнаго, безчеловѣчнаго. Илья Малый и о настоящемъ говорилъ въ такомъ же тонѣ; иногда передъ Егоромъ Панкратовымъ онъ боязливо сознавался, что боится того-то и того-то. „Ври больше!“--недовольнымъ тономъ прерывалъ Егоръ Панкратовъ.

Болтливость Ильи Малаго находила себѣ пищу только въ разсказахъ о прошломъ, и Егоръ Панкратовъ съ удовольствіемъ слушалъ эти разсказы. Егору Панкратову пріятно было сознавать, что это время прошло и никогда не возвратится. Ужасы въ прошломъ, разсказываемые Ильей Малымъ, онъ

охотно признавалъ, но въ настоящемъ отвергалъ. Егоръ Панкратовъ любилъ свое время.

Этимъ онъ постоянно досаждалъ дѣдушкѣ Титу. „Оттого-то у тебя и сыпется песокъ“,—говорилъ онъ дѣдушкѣ, когда тотъ принимался расхваливать свое время. Титъ хотя и разсказывалъ много ужасовъ изъ своего времени, но все же любилъ свое прошлое, съ негодованіемъ отплевываясь отъ всего проходящаго передъ его потухающими глазами. Часто Егоръ Панкратовъ своими насмѣшками выводилъ его изъ терпѣнія и онъ съ негодованіемъ говорилъ ему:

— Ну, ужь погоди, Егорка! Узнаешь ты Кузькину мать!

— Ладно,— отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Не ровенъ часъ... какъ случай... всѣ подъ Богомъ!—вставлялъ свое замѣчаніе Илья Малый, стараясь помирить ссорившихся.

Егоръ Панкратовъ, однако, не покидалъ своего презрѣнія къ давно минувшему. Его большая, упрямая голова не хотѣла отказаться отъ превратной мысли, что тогда „жили безъ правиловъ, а нынче—законъ, такъ-то“.

„Правиловъ“ тогда, конечно, не было, но было за то опредѣленное „положеніе“, замѣняющее собою всякія правила. Егоръ Панкратовъ не смѣлъ бы питать въ себѣ въ то время желанія, — никакого права на это не было; теперь онъ получилъ право имѣть желанія, но они были неосуществимы. У него не было бы тогда потребностей, кромѣ одной—удовлетворить снѣдающій голодъ; нынѣ у него родилось множество новыхъ потребностей, но всѣ онѣ неудовлетворимы. Тогда онъ долженъ былъ жить по указу, теперь—по волѣ судьбы; указъ замѣнился случаемъ, смотрѣніе въ оба по правилу уступило мѣсто смотрѣнію въ оба безъ всякихъ правилъ.

Егоръ Панкратовъ не думалъ объ этомъ. Можно сказать, что неприкосновенность свою наблюдалъ онъ столько же по убѣжденію, внушенному ему новымъ временемъ, сколько и по врожденной строптивости.

Помимо желанія быть неприкосновеннымъ у себя дома, онъ еще держался правила быть, по возможности, дальше отъ деревенскаго и другого начальства. Начиная съ десятскаго, онъ со всѣми былъ крутъ, если кто-нибудь изъ этихъ всѣхъ по-

сягалъ на его личность. Онъ ни во что не вмѣшивался, зналъ только свое хозяйство и не желалъ, чтобы и его трогали.

Десятскимъ у парашкинцевъ былъ дуракъ Васька, безсмѣнно служившій въ этой должности уже нѣсколько лѣтъ. Сначала парашкинцы исполняли должность десятскаго по очереди, иногда же нанимали особаго человѣка на цѣлый годъ, но все это дорого стоило. Тогда имъ пришла счастливая мысль воспользоваться Васькой. Васька до этого времени ходилъ колесомъ по улицамъ и бѣгалъ съ ребятишками, несмотря на то, что былъ уже большой малый, лѣтъ двадцати; пользы отъ него не было никакой, даромъ только хлѣбъ ѣлъ. Но когда его обули, одѣли на мірской счетъ и сдѣлали десятскимъ, онъ преобразился и сдѣлался полезнѣйшимъ членомъ общества. Дуракъ онъ былъ, конечно, безотвѣтный, но это-то и хорошо; пусть ужь лучше дуракъ принимаетъ гнѣвъ и оплеухи, нежели человѣкъ умный. Разсужденіе парашкинцевъ относительно этой выборной должности не лишено было разумности.

Васька самъ возросъ въ своемъ мнѣніи, когда неожиданно сдѣлался десятскимъ. Онъ гордился собой и строго выполнялъ наложенныя на него обязанности. Въ день, напримѣръ, схода или по пріѣздѣ начальства онъ важно обходилъ улицу, барабанилъ палкой по окнамъ и приказывалъ домохозяевамъ выходить на сходъ.

Исключеніе Васька дѣлалъ только для одного человѣка, Егора Панкратова. Съ нимъ Васька совершенно перемѣнялъ обращеніе, дѣлаясь мгновенно прежнимъ дуракомъ. Онъ почему-то боялся кузнеца, никогда не барабанилъ въ его окно, а приглашалъ его издали, становясь сажени на три отъ избы.

— На сходъ, дяденька,—говорилъ онъ.

— Знаю,—отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Сей минутъ...

— Говорятъ тебѣ, знаю, дурацкая башка! Чего еще пристаешь?

И Васька уходилъ.

Точно такъ же Егоръ Панкратовъ поступалъ и съ старостой, бѣгавшимъ въ горячіе дни съ растерявшимся лицомъ и весь покрытый потомъ. Иногда Егоръ Панкратовъ опаздывалъ взносомъ податей на день или на два, тогда староста приходилъ къ нему и смиренно напоминалъ ему объ этомъ.

— Ужь ты сдѣлай милость, Егоръ, внеси.

— Знаю!—круто прерывалъ его Егоръ Панкратовъ.

— Строжайше наказалъ...

— Незачѣмъ и языкъ чесать, самъ знаю!

— Да ты что рыкаешь звѣремъ-то, а? Гляди, братъ!—возмущался староста, стараясь разгнѣваться, но его посоловѣвшіе отъ усталости глаза и потное лицо отказывались принять грозный видъ. Онъ уходилъ.

Отъ прочаго начальства, болѣе высшаго, онъ „хоронился"; вѣдь онъ и желалъ быть въ безопасности только дома! Въ тѣхъ же случаяхъ, когда ему волей-неволей приходилось сталкиваться съ „вышнимъ начальствомъ", онъ хоронилъ свои сокровенныя мысли и чувства, молчалъ. Такъ какъ слова и поступки его могли бы раскрыть его строптивость, то молчаніе приносило ему существенную пользу: онъ оставался нетронутымъ, потому что трогать его было не за что.

Такой способъ дѣйствій и проистекающія изъ него слѣдствія еще болѣе утвердили Егора Панкратова въ мысли, что теперь только самому не слѣдуетъ распускать нюни—и никакихъ случаевъ не произойдетъ съ нимъ. Теперь время „правиловъ". Однако, по временамъ въ его душу закрадывалась темная мысль... Ну, а что, если на него налетитъ случай? Что дѣлать въ томъ разѣ, когда его захватитъ нужда, за ней придетъ кабала, за кабалой порка? Тутъ большая голова его оказывалась несостоятельной. Онъ могъ упрямо думать, что этого „въ жисть съ нимъ не произойдетъ, лопни его утроба!"—и все-таки видѣть въ будущемъ возможность нужды, кабалы и порки. Что же тогда дѣлать?

У Егора Панкратова были средства избавиться отъ вѣчнаго рабства, но всѣ они носили на себѣ чисто-отрицательный характеръ, притомъ же были старыя-престарыя; онъ получилъ ихъ съ молокомъ матери отъ пращуровъ своихъ. Терпѣніе до изнеможенія и бѣгство съ отчаянія—вотъ и всѣ его средства избавиться отъ нужды, кабалы и пр. Объ этомъ Егоръ Панкратовъ смутно и самъ догадывался и зналъ, что съ вышеупомянутыми средствами вести борьбу съ нуждой невозможно. Отсюда—тотъ страхъ, который по временамъ смущалъ его очень сильно.

Одна эта боязнь произвела въ немъ переворотъ. Противно всѣмъ своимъ наклонностямъ, онъ сдѣлался прижимистъ и на

каждомъ шагу скряжничалъ. За каждый грошъ онъ готовъ былъ вынести невѣроятные труды, лишь бы добыть его, и урѣзывалъ потребности своего семейства до послѣдней крайности, лишь бы сохранить его. Если онъ покупалъ какую-нибудь вещь, то торговался по цѣлому дню; если продавалъ, то старался заломить „сумасшедшую цѣну“. А съ господами и совсѣмъ не церемонился, назначая за свои подѣлки неслыханныя цѣны.

— Да ты съ ума сошелъ? — спрашивали его въ такомъ случаѣ.

— Въ умѣ, въ своемъ, братецъ ты мой, умѣ, такъ-то! — возражалъ Егоръ Панкратовъ.

Несомнѣнно, что еслибы какъ-нибудь невзначай судьба послала ему крупную сумму, онъ сдѣлалъ бы сундукъ, легъ бы на него и сталъ бы охранять, подвергая семейство и себя всѣмъ возможнымъ лишеніямъ. Таково было настроеніе его въ это время,—до того сильна у него была боязнь попасть въ кабалу и подвергнуться періодическимъ „сѣкуціямъ“. Въ виду подобной участи, Егоръ Панкратовъ всѣ свои умственныя и физическія силы употреблялъ исключительно на то, чтобы остаться свободнымъ, даже подъ условіемъ нести нищенскую нужду. Забудься онъ на мгновеніе—и пропалъ!

О своей боязни за себя Егоръ Панкратовъ никому не говорилъ; никто еще не слышалъ отъ него жалобъ на бѣдность и ни передъ кѣмъ онъ не хныкалъ. Напротивъ, передъ всѣми онъ выглядѣлъ мужественно, даже когда у него на сердцѣ кошки скребли. Только разъ проговорился передъ Ильей Малымъ, да и то Илья Малый ничего не понялъ, получивъ въ добавокъ незаслуженное оскорбленіе.

Однажды сидѣли друзья-пріятели возлѣ избы Егора Панкратова, на завалинкѣ, и, по обыкновенію, мирно молчали, покуривая трубочки. Были уже сумерки лѣтняго вечера; на горизонтѣ загоралась заря, тѣнь дневная улеглась и въ воздухѣ стояла невозмутимая тишина. Все способствовало молчанію, и друзья-пріятели разошлись бы мирно, какъ и всегда, еслибы Илья Малый не вздумалъ разсказывать о старинныхъ временахъ. Хотя Илья Малый и путался въ своихъ словахъ, но долго не прерывалъ себя. Не прерывалъ его и Егоръ Панкратовъ. Онъ молчалъ. Только когда Илья Малый кончилъ

свои разсказы и прибавилъ, что теперь „ничего, жить можно“, Егоръ Панкратовъ шевельнулся на своемъ мѣстѣ.

— Не очень можно...—выговорилъ онъ съ трудомъ.

— По-моему, можно.—Не очень! — Почему? по какой причинѣ?—недовѣрчиво спросилъ Илья Малый и, устремивъ слезящіеся глазки на Егора Панкратова, сталъ терпѣливо ожидать отвѣта.

Егоръ Панкратовъ говорилъ всегда кратко, постоянно поясняя свою мысль разными неожиданными знаками, назначеніе которыхъ не всегда понималъ и Илья Малый. На этотъ разъ Егоръ Панкратовъ только ткнулъ въ бокъ Илью Малаго и спросилъ:

— Это что?

— Стало быть, бокъ,—растерянно отвѣчалъ Илья Малый.

— Бокъ, вѣрно; скажешь—тѣло... Ну, а душа?

Предложивъ этотъ вопросъ, Егоръ Панкратовъ пристально вглядывался въ темноту.

— Что-жь душа?—спросилъ Илья Малый, ничего не понимая и быстро моргая глазами.

— Вотъ тутъ, братецъ мой, и загвоздка.

Егоръ Панкратовъ умолкъ. Притихъ и Илья Малый на время.

— Чтой-то я не понимаю тебя, Егоръ, — началъ Илья Малый.

— Душа, братецъ мой, вольна нынче, а тѣло—нѣтъ, такъ-то!—объяснилъ Егоръ Панкратовъ.

Больше онъ ничего не прибавилъ. Онъ опять устремилъ глаза въ темноту и умолкъ. Но отъ этого Ильѣ Малому не сдѣлалось легче; онъ завозился на завалинкѣ и дѣлалъ усилія понять... Безмолвное удивленіе, питаемое имъ къ Егору Панкратову, возросло еще болѣе теперь, когда онъ увидѣлъ, что вотъ Егоръ Панкратовъ говоритъ, а онъ, Илья Малый, ничего не понимаетъ... Ильѣ Малому также слѣдовало бы замолчать, но онъ не унялся.

— Стало быть, душа вольна, — ну, такъ... Ну, а держать у себя на умѣ... или тамъ говорить, о чемъ вздумаешь... можешь?—спросилъ онъ боязливо.

Егоръ Панкратовъ помедлилъ, подумалъ и твердо проговорилъ:

— Могу.

Илья Малый, по обыкновенію, удивился, главнымъ образомъ, самоувѣренности Егора Панкратова.

— И чтобы, значить, тебя никто не тронулъ... чтобы все ты жилъ въ законѣ, по правилу... можешь?—робко спросилъ Илья Малый.

Егоръ Панкратовъ долго молчалъ, но все-таки, наконецъ, выговорилъ, хоть на этотъ разъ не твердо:

— Что-жь, можно...

— Ну, а, напримѣръ, жить по-своему, какъ душѣ желательно... или уйти на новыя мѣста и все такое прочее... можешь?—неотвязно допрашивалъ Илья Малый.

Егоръ Панкратовъ молчалъ. Но вдругъ озлился и рѣшительно сказалъ:

— Дуракъ!

Тѣмъ и кончился разговоръ.

Илья Малый былъ оскорбленъ. Онъ еще нѣкоторое время повозился на завалинкѣ и всталъ.

— Пора идтить... Что ужь тутъ! — сказалъ онъ глубоко обиженнымъ тономъ.

— Погоди, куда бѣжишь? Сиди!—возразилъ Егоръ Панкратовъ, уже раскаявшійся въ душѣ, что такъ огорчилъ своего друга-пріятеля.

Егоръ Панкратовъ дошелъ до своей мысли „своимъ умомъ", тягостно, цѣной всей жизни. Въ его головѣ царилъ такой хаосъ, что онъ съ трудомъ могъ разобраться въ немъ, чтобы выдѣлить свою мысль изъ кучи другихъ, по волѣ гулявшихъ представленій. Въ этомъ хаосѣ была всякая чертовщина и всевозможныя странности, между ними, напримѣръ, и то, что душа—паръ. Легко, поэтому, понять, что онъ только въ рѣдкихъ случаяхъ рѣшался обнаруживать свои соображенія насчетъ тѣла и души, да и то по большей части запутывался въ словахъ и умолкалъ.

Однако, въ приведенномъ разговорѣ онъ озлился не столько на то, что былъ поставленъ въ тупикъ, сколько на непонятливость Ильи Малаго.

Этотъ случай разногласія или прямо ссоры друзей-пріятелей былъ единственный; вообще же они мирно уживались, исполняя множество хозяйственныхъ дѣлъ „сопча". Въ сущности, они ничего не предпринимали порознь. Егоръ Панкратовъ только кузницей распоряжался одинъ, безъ вмѣшатель-

ства Ильи Малаго, во всѣхъ же другихъ хозяйственныхъ дѣлахъ они помогали другъ другу.

У Ильи Малаго была всегда одна лошадь; Егоръ Панкратовъ имѣлъ полторы: лошадь и годовалаго жеребенка. Они складывались и обрабатывали землю на двухъ съ половиной лошадяхъ, что несомнѣнно было для обоихъ выгодно.

Разумѣется, ихъ совмѣстное хозяйство не было союзомъ двухъ равносильныхъ людей. Егоръ Панкратовъ игралъ первостепенную роль, а Илья Малый принужденъ былъ подчиняться его упрямству. Но подчиненіе Ильи Малаго Егору Панкратову было добровольное, къ тому же Илья Малый считалъ себя по многимъ вопросамъ слабымъ и мало-понимающимъ. Вслѣдствіе этого, безмолвное удивленіе, питаемое имъ къ Егору Панкратову, никогда не подвергалось риску, и онъ никогда не пытался стряхнуть съ себя иго, наложенное на его языкъ Егоромъ Панкратовымъ. Илья Малый не роптал ни на какое дѣйствіе или слово Егора Панкратова.

Они были неразлучны и на сходахъ, гдѣ Илья Малый всегда бралъ сторону Егора Панкратова. Послѣдній нерѣдко производилъ на сходахъ ожесточеніе, ни съ кѣмъ не соглашаясь. Онъ обыкновенно и тамъ молчалъ, но иногда, уже послѣ постановки сходомъ какого-нибудь рѣшенія, вдругъ возьметъ, да и скажетъ: „а я не желаю". Илья Малый въ этихъ случаяхъ становился на сторону Егора Панкратова и не прежде отказывался отъ его мнѣнія, какъ когда возмущенный сходъ, во всемъ составѣ, обрушивался на упрямаго кузнеца.

Илья Малый подчинялся Егору Панкратову тѣмъ охотнѣе, что послѣдній избавлялъ его отъ многихъ несчастій въ сношеніяхъ съ Епифаномъ Ивановымъ и Петромъ Петровичемъ Абдуловымъ. Раньше, дѣйствуя одинъ, Илья Малый былъ вѣчно въ накладѣ отъ мошенничествъ кабатчика и легкомыслія барина. Уходя отъ Епифана Иванова, Илья Малый всегда шелъ понуря голову и цѣлую недѣлю не поднималъ ея.

Не легче ему было и тогда, когда его выгонялъ баринъ. Баринъ почти измоталъ его несвоевременною уплатой заработанныхъ денегъ или мелочною придиркой при наймѣ. А Епифанъ Ивановъ чуть было не закабалилъ его; Илья Малый началъ уже считать себя передъ нимъ кругомъ виноватымъ,— скверный признакъ, сознавая который, Илья Малый только

вздыхалъ. Послѣ же того, какъ Петръ Петровичъ и Епифанъ Ивановъ устроили стачку, онъ счелъ себя окончательно погибшимъ. Въ это-то время Егоръ Панкратовъ, для обоюдной выгоды, предложилъ ему работать „сопча".

Вмѣстѣ они стали снимать въ „ренду" землю у Петра Петровича, вмѣстѣ работали у него и Епифана Иванова и вмѣстѣ же ходили носить уплату „ренды" или получать деньги за работу. При этомъ дѣйствующимъ лицомъ всегда былъ Егоръ Панкратовъ, а Илья Малый являлся только въ качествѣ молчаливаго свидѣтеля.

У барина въ прихожей Егоръ Панкратовъ всегда становился впереди, а Илья Малый прятался сзади его. Точно также и говорилъ Егоръ Панкратовъ одинъ, а Илья Малый лишь изрѣдка смягчалъ строптивыя слова Егора Панкратова.

— Что скажете хорошаго? — спрашивалъ Петръ Петровичъ, выходя въ прихожую къ Егору Панкратову, стоявшему впереди, и къ Ильѣ Малому, прятавшемуся позади.

Егоръ Панкратовъ, подумавъ немного, начиналъ безъ предисловія:

— За косьбу три рубля съ полтиной, за жнитво четыре шесть гривенъ и еще за пахату шесть рублевъ, а всего-навсего, стало быть, четырнадцать рублевъ съ гривенникомъ и еще мнѣ три гривны за скобы, только и всего.

— Нашли время когда придти! Послѣ разсчитаю! — говорилъ баринъ, отчасти удивленный краткостью Егора Панкратова.

— Никакъ нѣтъ, этого нельзя, ваша милость.

— Да какъ же я разсчитаю васъ, когда не знаю, правду ты говоришь или врешь? — начиналъ уже сердиться баринъ.

— Ну, только и намъ, ваша милость, не ближній свѣтъ таскаться къ вамъ, такъ-то! — упрямо настаивалъ Егоръ Панкратовъ.

— Да чего же вамъ надо? Сейчасъ васъ разсчитать? — кричалъ уже Петръ Петровичъ.

— Н-да, сичасъ, въ книжку гляньте.

— Некогда мнѣ, приходите черезъ недѣлю... Ну, ступайте!

— Какъ же это можно? Черезъ недѣлю! Поколь же намъ таскаться? — угрюмо спрашивалъ Егоръ Панкратовъ, знавшій, что недѣля Петра Петровича равняется мѣсяцу.

Обыкновенно тутъ вмѣшивался Илья Малый, ежеминутно ожидавшій, что ихъ прогонитъ баринъ. Онъ уже давно безпокойно возился за спиной Егора Панкратова и дѣлалъ ему невидимые знаки умолкнуть. Но знаки не достигали цѣли; тогда Илья Малый нѣсколько выступалъ впередъ и нерѣшительно пытался что-нибудь сказать.

— Мы, ваша милость, ничего... и черезъ недѣльку,— запинаясь, говорилъ онъ. Но Егоръ Панкратовъ въ эту минуту обыкновенно оборачивался и кричалъ: „Молчи... дай ты мнѣ сказать!“

— Нѣтъ, ужь вы, ваша милость, увольте насъ. Тоже и намъ недосугъ, такъ-то! — снова начиналъ Егоръ Панкратовъ, повертываясь въ сторону барина.

Эти бурныя бесѣды оканчивались различно. Или баринъ выдавалъ заработокъ, или приказывалъ вытурить наглыхъ мужиковъ. Въ первомъ случаѣ Егоръ Панкратовъ и Илья Малый немедленно выходили, садились на лужокъ передъ окнами Петра Петровича и тутъ же дѣлили съ такимъ трудомъ добытыя деньги. Во второмъ случаѣ Илья Малый стремительно исчезалъ куда-то, а Егоръ Панкратовъ садился у парадной двери и говорилъ, что онъ останется тутъ годъ, если ему не отдадутъ заработка, умретъ тутъ. По большей части Петръ Петровичъ уступалъ, приказывалъ ввести въ прихожую Егора Панкратова и выдавалъ ему должную сумму. Егоръ Панкратовъ отправлялся тогда въ домъ Ильи Малаго, у котораго душа ушла въ пятки, и производилъ дѣлежъ, никогда не укоряя послѣдняго въ бѣгствѣ.

Въ рѣшительныя минуты Илья Малый постоянно измѣнялъ Егору Панкратову. Онъ подчинялся ему безъ возраженія, но не могъ преодолѣть своего страха передъ бариномъ, передъ Епифаномъ Ивановымъ и передъ другими лицами, власть имѣющими. Въ стычкѣ съ бариномъ, когда отъ него требовалась смѣлая демонстрація, разсчитывать на которую Егоръ Панкратовъ имѣлъ право, онъ всегда обращался въ постыдное бѣгство.

Впрочемъ, даже и подчиненіе Ильи Малаго Егору Панкратову прекратилось. Этому помогло одно происшествіе, въ которомъ замѣшался Егоръ Панкратовъ и которое совершенно разстроило не только хозяйство его, но и весь его нравственный складъ.

Какъ-то въ одно время Петръ Петровичъ Абдуловъ съ особеннымъ легкомысліемъ обращался съ рабочими, работавшими у него лѣтомъ. Онъ водилъ ихъ за носъ, не отдавалъ заработанныхъ денегъ или отдавалъ по частямъ, или просто забывалъ имя рабочаго, наотрѣзъ отказываясь отъ уплаты. Многихъ парашкинцевъ онъ закабалилъ, совмѣстно съ Епифаномъ Ивановымъ; давая имъ задатки подъ работу, онъ дѣлалъ изъ нихъ что хотѣлъ, но это входило въ его новую систему. А тутъ и системы не было,— онъ просто небрежно относился ко всему. Небрежность его, смѣшанная еще съ желаніемъ во что бы то ни стало успокоиться отъ лѣтнихъ тревогъ, задѣла за живое и Егора Панкратова съ его другомъ-пріятелемъ. Петръ Петровичъ, правда, не забылъ ихъ, но за то водилъ безъ толку за носъ.

Какъ на зло, событія такъ совпали, что ни та, ни другая сторона не могла миролюбиво покончить. Съ одной стороны, у Петра Петровича къ этому времени собрались гости, нѣсколько сосѣднихъ помѣщиковъ, становой и Епифанъ Ивановъ, и Петру Петровичу некогда было возиться съ мужиками; съ другой стороны, Егору Панкратову и Ильѣ Малому грозили за промедленіе уплаты податей „описаніемъ“. Одна сторона одурѣла отъ пятидневнаго пьянства до потери сознанія текущихъ дѣлъ; другая же ожесточилась отъ перспективы „описанія“. Петру Петровичу было не до разсчетовъ съ мужиками,—у него трещала голова,— а Егору Панкратову до зарѣзу нужны были деньги, иначе--описаніе.

Егоръ Панкратовъ и Илья Малый уже нѣсколько недѣль ходили къ барину и все были выпроваживаемы безъ ничего. Егоръ Панкратовъ на этотъ разъ не упрямился; онъ видѣлъ, что люди веселятся,—„ну, и пущай ихъ“,—говорилъ онъ. Но, наконецъ, въ послѣдній день ему стало не втерпежъ; онъ почувствовалъ зудъ во всемъ тѣлѣ отъ предполагаемыхъ розогъ и взбѣсился.

Никогда еще онъ не находился въ такой крайности. Предчувствіе о ней давно уже тяготѣло надъ нимъ, но смутно; онъ не очень безпокоился. А теперь эта крайность встала передъ глазами. Мысль же о поркѣ приводила его въ необузданное состояніе, и понятно, что онъ выглядѣлъ очень мрачно, когда предсталъ передъ бариномъ.

— Да что же это такое?—сказалъ онъ съ волненіемъ, стоя въ прихожей передъ бариномъ, также взбѣсившимся.

По обыкновенію, Егоръ Панкратовъ былъ впереди, а Илья Малый прятался за нимъ.

— Сколько разъ васъ гоняли и говорили вамъ, что некогда?—бѣшенно говорилъ Петръ Петровичъ, чувствуя, что голова его сейчасъ треснетъ.

— Намъ, ваша милость, дожидать нельзя — описаніе! Мы за своимъ пришли... кровнымъ!—отвѣчалъ съ возроставшимъ волненіемъ Егоръ Панкратовъ.

— Ступайте прочь! Душу готовы вынуть за трешницу!

— Намъ, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вамъ, убирайтесь! Рыться я стану въ книгахъ!—кричалъ совсѣмъ вышедшій изъ себя Петръ Петровичъ.

А Егоръ Панкратовъ стоялъ передъ нимъ, блѣдный, и мрачно глядѣлъ въ землю.

— Эхъ, ваша милость!... Стыдно обижать вамъ въ этомъ разѣ! — сказалъ онъ.

— Да ты уйдешь? Эй! Яковъ! Гони!—шумѣлъ баринъ.

Егору Панкратову надо было бы уйти, а онъ все стоялъ въ прихожей.

На шумъ вышли почти всѣ гости, сосѣдніе помѣщики, Епифанъ Ивановъ и становой. Послѣдній, узнавъ, въ чемъ дѣло, приказалъ Егору Панкратову удалиться. Но Егоръ Панкратовъ не удалился; онъ съ отчаяніемъ глядѣлъ то на того, то на другого гостя и, наконецъ, сказалъ упавшимъ голосомъ:

— Ты, ваше благородіе, не путайся въ это мѣсто.

Присутствовавшіе онъмѣли отъ этой дерзости. Пьяные глаза однихъ гостей спрашивали:

— Каковъ?

А болѣе трезвые глаза другихъ отвѣчали:

— Ужасно!

Егоръ Панкратовъ надѣлъ шапку и вышелъ. Онъ былъ одинъ; Илья Малый давно уже улепетывалъ въ деревню, стуча зубами. Егоръ Панкратовъ пошелъ вслѣдъ за нимъ. Онъ вдругъ какъ-то упалъ духомъ. Денегъ онъ могъ занять только у Епифана Иванова, а Епифанъ Ивановъ затянетъ петлю и закабалитъ... А если не занять—описаніе или порка. Прежнія предчувствія не обманули Егора Панкратова;

на него налетѣлъ подлый случай, и у него нѣтъ силъ увернуться отъ него.

Этимъ дѣло не кончилось. Выступилъ старшина Сазонъ Акимычъ. Сазону Акимычу приказано было наказать бунтующихъ розгами, и Сазонъ Акимычъ изъявилъ свое согласіе, только не согласился съ характеромъ наказанія.

— Что-жь, — говорилъ онъ, — розгами можно попугать; розгами каждочасно можно. А только въ этомъ случаѣ, я положилъ бы, въ темную посадить, на хлѣбъ-на воду Егорка — мужикъ бѣдовый, взбалмошный мужикъ, — ну его къ ляду!

Такимъ образомъ, рѣшено было посадить Егора Панкратова въ темную. Исполненіе рѣшенія поручено было старостѣ, который, хотя и обомлѣлъ, но приказъ выполнилъ. Онъ взялъ съ собой нѣсколько понятыхъ, Ваську-дурака и двинулся къ избѣ Егора Панкратова, напередъ ожидая отъ него всего худого.

Войдя къ Егору Панкратову, онъ сперва наговорилъ множество разнаго вздора, какой попалъ ему въ ротъ въ эту минуту, боясь, что Егоръ Панкратовъ взбѣленится, и только послѣ этого, вытирая потъ съ лица, объявилъ послѣднему, что его приказано посадить въ „канцеръ", на хлѣбъ-на воду.

— Сдѣлай милость, Панкратычъ, пойдемъ .. ужь ты не того... покорись! — говорилъ староста.

— Ну, ладно... — отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ растерянно, съ убитымъ видомъ. Онъ надѣлъ кафтанъ и пошелъ къ волости, во главѣ толпы, состоявшей изъ старосты, понятыхъ, дурака Васьки и примкнувшихъ по дорогѣ ребятишекъ.

Егоръ Панкратовъ шелъ медленно, смотря въ землю, и ничего не говорилъ; только когда очутился возлѣ „канцера", представлявшаго собою досчатый чуланъ безъ окна, онъ сказалъ мрачно:

— Тутъ, что-ли?

— Тутъ, Панкратычъ, — отвѣчалъ староста и еще разъ просилъ Егора Панкратова извинить его, старосту, потому что „причины его въ этомъ грѣхѣ нѣту". Даже затворивъ дверь, онъ еще разъ „умолительно просилъ сидѣть смирно".

Стояла глубокая осень. На улицѣ была грязь; дулъ холодный вѣтеръ, съ воемъ проникавшій въ щели чулана и обдававшій морозомъ Егора Панкратова. Но Егоръ Панкра-

товъ ничего не чувствовалъ. Онъ сѣлъ въ уголъ на полъ, скорчился и опустилъ голову на колѣни.

А сырой вѣтеръ все посвистывалъ въ щели и леденилъ его тѣло. Еслибы кто могъ заглянуть въ это время въ душу Егора Панкратова, то онъ, можетъ быть, открылъ бы, что и тамъ все обледенѣло; вымерла единственная надежда, составлявшая красу его жизни.

Егоръ Панкратовъ просидѣлъ въ темной двое сутокъ и во все это время не проронилъ ни одного слова, а Ильѣ Малому мрачно велѣлъ уходить, когда тотъ пришелъ къ нему и предложилъ краюшку хлѣба и косушку водки.

Илья Малый, съ краюшкой хлѣба и косушкой водки, почти не отлучался съ крылечка волостного правленія и все ждалъ, что Егоръ Панкратовъ одумается и поѣстъ, но такъ и не дождался. Тогда онъ отнесъ краюшку хлѣба и косушку водки на домъ къ Егору Панкратову, въ надеждѣ, что послѣдній, придя домой, поѣстъ и выпьетъ, но и этого не дождался. Когда Егоръ Панкратовъ вышелъ изъ темной и пришелъ въ свою избу, Илья Малый немедленно предложилъ ему поѣсть. Но Егоръ Панкратовъ не взглянулъ даже и на семейство свое; онъ влѣзъ на полати, прилегъ тамъ и попросилъ холоднаго кваску...

Съ нимъ началась горячка.

Вмѣстѣ съ Ильемъ Малымъ въ избу пришли староста и Васька, и всѣ они выразили полное сочувствіе свое Егору Панкратову; Егоръ Панкратовъ на все отвѣчалъ молчаніемъ. А когда съ нимъ начался бредъ, они всѣ вышли одинъ за однимъ, удивляясь, чѣмъ Егоръ Панкратовъ такъ огорченъ былъ.

Онъ пролежалъ въ постели два мѣсяца.

Никто не узналъ Егора Панкратова, когда онъ въ первый разъ вышелъ изъ избы. Онъ совершенно перемѣнился.

Прохворалъ онъ почти всю зиму; покопошится на дворѣ, поработаетъ и опять сляжетъ. Илья Малый старался во всемъ ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже разстроено, да и самъ онъ былъ не тотъ.

Несчастіе Егора заключалось въ томъ, что онъ жилъ въ

то время, когда не было ничего опредѣленнаго ни въ области мужицкихъ отношеній, ни въ кругѣ тѣхъ отношеній, которыя вліяли на него извнѣ. Его отецъ былъ крѣпостной человѣкъ, жизнь котораго была проста, какъ жизнь вьючнаго животнаго, и опредѣленна, какъ дѣйствіе машины, и который не имѣлъ права мечтать; сынъ Егора устроитъ свои отношенія человѣчнѣе и опредѣленнѣе, но самъ Егоръ жилъ въ атмосферѣ загадокъ и „загвоздокъ". Кругомъ же его въ деревнѣ былъ хаосъ; ничего прочнаго не видѣлось ему; старое, повидимому, рушилось, но новое еще не было создано. Въ немъ таилась частичка искры Божіей о волѣ, но такъ темно, что въ практическомъ смыслѣ была безполезна для него, ибо не могла освѣщать его пути, да и занимала ничтожнѣйшее мѣсто въ немъ, а прочее все существо его было переполнено смутными ожиданіями чего-то худого и безнадежнаго. Опоры для какихъ бы то ни было человѣческихъ надеждъ деревня не представляетъ, гдѣ вся жизнь есть страхъ, беззаконіе, „загвоздка". Егоръ сидѣлъ между двумя временами, изъ которыхъ прошлое показывало ему цѣпи, а будущее — черную дыру; а въ настоящемъ, когда онъ вздумалъ вообразить себя вольнымъ, постоянно проходятъ передъ его глазами явленія, убивающія самыя низменныя мечты и желанія, подтачивающія всякую энергію. Переходное поколѣніе, къ которому Егоръ Панкратовъ принадлежалъ, самое несчастное, потому что оно не живетъ, а мается, и существуетъ не для самого себя, а для другихъ поколѣній; оно служитъ матеріаломъ для будущаго, но на него, прежде всего, падаетъ месть уходящаго прошлаго.

Однажды, въ началѣ весны, онъ вышелъ на завалинку погрѣться солнышкомъ, и всѣ, кто проходилъ мимо него, не узнавали въ немъ Егора Панкратова. Блѣдное лицо, тусклые глаза, вялыя движенія и странная, больная улыбка — вотъ чѣмъ сталъ Егоръ Панкратовъ. Къ нему подсѣлъ Илья Малый и, разсказавъ свои планы на наступающее лѣто, неосторожно коснулся происшествія, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда онъ огорчился изъ-за пустяковъ. Егоръ Панкратовъ сконфузился и долго не отвѣчалъ, улыбаясь некстати... Потомъ сознался, что его тогда „нечистый попуталъ". Онъ стыдился за все свое прошлое.

Такимъ Егоръ Панкратовъ остался навсегда. Онъ сдѣлал-

ся ко всему равнодушнымъ. Ему было, повидимому, все равно, какъ ни жить, и если онъ жилъ, то потому, что другіе живутъ, напримѣръ, Илья Малый.

Дѣйствительно, Илья Малый ни на каплю не перемѣнился. Плѣшивый, съ слезящимися глазами, безжизненный, онъ, тѣмъ не менѣе, упорно жилъ. Были случаи, до того неожиданные и оглушительные, что по всѣмъ видимостямъ Илья Малый долженъ былъ бы помереть; ему иногда самому казалось, что вотъ въ такомъ-то случаѣ онъ непремѣнно исчезнетъ, пропадетъ, а глядь—онъ живъ! Невозможно его истребить быстро.

Этой-то живучести Егоръ Панкратовъ и сталъ подражать, удивляясь Ильѣ Малому.

Разумѣется, Егоръ Панкратовъ и Илья Малый остались, попрежнему, друзьями-пріятелями; они „сопча" работали, „сопча" терпѣли невзгоды; ихъ и сѣкли за одинъ разъ.

V.

Послѣдній приходъ Дёмы.

— Ежели мы всѣ, сколько насъ ни на есть, цѣльнымъ опчествомъ, разбредемся, кто-жь станетъ платить, а?

Отвѣта на этотъ вопросъ парашкинцы не нашли.

Парашкинцы сами себѣ задали этотъ вопросъ, но отвѣчать были не въ силахъ, частью потому, что вопросъ былъ изъ такихъ, въ отвѣтъ на который можно только выпучить глаза и молчать.

Не зная, что говорить и, можетъ быть, боясь говорить, парашкинцы такъ и сдѣлали. Они собрались на сходъ и долго недоумѣвали. Это было лѣтомъ. Сходка имѣла мѣсто возлѣ сборной избы. Размѣстились, кто какъ могъ. Одни усѣлись на гнилой колодѣ, поставленнной около плетня; другіе стояли, заложивъ руки назадъ и сдвинувъ шапки на затылокъ; третьи лежали на животѣ, а нѣкоторые усѣлись на плетень между колышками и болтали ногами. Всѣ почти были въ сборѣ, но никто не хотѣлъ начинать разговоръ о дѣлѣ, которое возбуждало злобу во всѣхъ и каждомъ.

Дѣло вышло изъ-за Дёмы, Дёмы Лукьянова. Дёма рѣдко находился дома. Зарабатывалъ онъ хлѣбъ на сторонѣ; со стороны же и подати платилъ. А на деревнѣ считалъ себя лишнимъ, даже невозможнымъ. Но нынѣ онъ прямо заявилъ міру, что душу свою онъ покидаетъ, подушное платить не можетъ и не будетъ. Сказавъ это, Дема высморкался, сѣлъ на траву и сталъ ждать, что изъ всего этого выйдетъ.

Парашкинцы, послѣ долгаго молчанія, начали говорить разныя разности, совершенно не идущія къ дѣлу. У жены Ильи Малаго мальчишка попалъ въ кадушку съ гущей... Лукерья родила въ канавѣ, что возлѣ Епифановыхъ владѣній...

Иванъ Ивановъ съ пьяныхъ глазъ опоилъ бурку, который раздулся... Иванъ Заяцъ поймалъ у себя на полосѣ девять сусликовъ, продалъ ихъ шкуры и радуется... О Демѣ же ни полслова, какъ будто парашкинцы старались по возможности дальше отвлечь свои мысли отъ дѣла, которое каждаго задѣвало за живое и возбуждало злобу, требуя напряженія всѣхъ ихъ умственныхъ способностей.

Дема долго ждалъ. Но, наконецъ, не вытерпѣлъ и заговорилъ съ тѣмъ разсѣяннымъ видомъ, который былъ вообще присущъ ему. Онъ какъ будто продолжалъ свой отказъ и говорилъ какъ будто съ собой однимъ.

— Ежели на чугунку не удастся, — ну, тогда въ Питеръ махну... Здѣсь же мнѣ невозможно... Или еще можно на заводъ Шелопаева, а то спички дѣлать... А то еще...

Дема былъ прерванъ. Его словами всѣ возмутились.

— Да что у тебя, шальной ты человѣкъ, мысли-то ходуномъ ходятъ?—заговорили ему въ отвѣтъ многіе голоса.—То онъ остается на деревнѣ, то глядь — онъ ужь въ Питеръ ѣдетъ, то спички!... Какъ же послѣ этого валандаться съ тобой, шальной человѣкъ?

Парашкинцы вдругъ всѣ поднялись съ мѣстъ, зашумѣли и взволнованно произнесли слѣдующую рѣчь:

— Это что-жь такое? Платить онъ не можетъ, не будетъ... въ какомъ смыслѣ? Уйдетъ въ бѣга—и лови его!... Душу бросаетъ, хозяйство въ разоръ—по какой причинѣ? А тамъ плати за него... Плати, вѣрно!... Ты за него не только плати, а прямо спину подставляй; за ихняго брата порютъ!... Да, какже! Онъ душу свою измотаетъ, бѣжитъ, а міръ въ отвѣтѣ? Сколько ужь такихъ-то! Каждый норовитъ дать деру... Да, какже! Онъ отъ міра ужь отстранился, ужь ты его сюда калачомъ не заманишь; все на міръ валитъ!... Довольно ужь у насъ такихъ... Петръ Безпаловъ — разъ! Потаповъ — два! Климъ Дальній—три! Кто еще?... А Кирюшка-то Савинъ?... Четыре!... Семенъ Бѣлый... это который?—пять! Семенъ Черный—шесть! Дема вотъ... Да ихъ не перечесть!... Что же это такое будетъ? Я не буду платить, онъ улизнетъ, Чортъ Иванычъ Веревкинъ наплюетъ на міръ,—что же такое произойдетъ, а?... Бра-а-атцы! Пущать ихъ не надо! Совсѣмъ ихъ не надо пущать... Сиди и плати... Оно такъ-то лучше... Это вѣрно — сиди и плати!... Ахъ, вы, голоштанники! Доколь же

намъ отдуваться за вашего брата, а? Нѣтъ, ты посиди тутъ, дома-то... А какъ же ихъ не пущать? Народъ они вольный, бродяги-то... Кочевые народы!... Ты ему на головѣ теши колъ, а онъ не внимаетъ!... Онъ вонъ задеретъ хвостъ — и лови его, Дему-то!... Господи Боже мой! эдакъ всѣ въ бѣга... Я хозяйство брошу, другой броситъ, третій... бѣжимъ всѣ, ищи насъ свищи, кто-жь останется?... Кто будетъ платить, ежели мы всѣ въ бѣга, а? Кто?

Вся эта рѣчь произвела сильное впечатлѣніе, въ особенности послѣдній вопросъ. Даже Дема, рѣшительно ко всему равнодушный, пораженъ былъ возможностью исчезновенія всѣхъ парашкинцевъ. Онъ также всталъ на ноги и тоже что-то заголосилъ, но его никто не слушалъ до тѣхъ поръ, пока не замолчалъ весь сходъ.

Конечно, Дема скоро оправился и, попрежнему, заговорилъ разсѣянно и вяло, настаивая на томъ, что обрабатывать надѣлъ свой онъ не можетъ, уходитъ на заработки и проситъ міръ уважить его—снять съ него душу.

— Никакъ нельзя по-другому,—сказалъ онъ.—Чай, видали? Хозяйка моя какъ снопъ лежитъ, работать гдѣ-жь ей? изнурилась; мать также... Ну, и не въ мочь держать надѣлъ. Ежели бы еще полдуши, да и то...

Дема махнулъ рукой, показывая тѣмъ, во-первыхъ, что онъ и полдуши боится принять, и, во-вторыхъ, говорить ему надоѣло. Онъ вяло высморкался еще разъ и умолкъ. Для всѣхъ было очевидно, что съ нимъ ничего не подѣлаешь. Пожалуй, его можно заставить жить въ деревнѣ, но что изъ этого? Онъ останется, ему все равно, мысли его въ разбродъ пошли, но какой толкъ изъ этого выйдетъ?

Попробовали его подвергнуть перекрестному, очень хитрому допросу.

— Изба и прочее хозяйство есть у тебя?—спросили у него.

— Полагается,—нехотя отвѣчалъ Дема.

— Такъ. Ну, а скотъ есть?

— Скотъ?... Самая малость. Подохъ.

— Такъ. Скотъ твой, стало быть, кормится, и кормится, надо полагать, мірскими землями, ай нѣтъ?

— Что-жь...

— Вотъ тебѣ и что-жь! Избу ты имѣешь, мѣсто занима-

ешь, скотъ твой пользуется, а ты не платишь, по какой причинѣ?

— По причинѣ, что нечѣмъ; радъ бы! — возразилъ Дема, чувствуя, что изъ-подъ его ногъ ускользаетъ почва.

Допросъ продолжался.

— И опять: мать твоя съ хозяйкой надѣлъ до сей поры держали, занимали землю, а ты душу не платишь, по какой причинѣ?

Дема взбѣсился. Перекрестнымъ допросомъ приперли его къ стѣнѣ, говорить ему было невозможно. По какой причинѣ? Онъ и самъ хорошенько не зналъ, по какой причинѣ платить ему нечѣмъ, какъ онъ ни бился. Выходило такъ, что нечѣмъ—и все.

— Тыщу разъ говорю вамъ—нечѣмъ платить мнѣ, нечѣмъ, нечѣмъ! Чего еще пристали?—возразилъ Дема, выходя изъ себя.

— Ну, такъ и сиди дома,—отвѣчали ему,—по крайности, тутъ самого тебя выпорютъ, а не то, чтобы міръ изъ-за тебя мученіе принималъ.

— А куда-жь я дѣну пашпортъ?—вдругъ оживился Дема.— Куда я дѣну пашпортъ? Деньги я за него уплатилъ сполна, и онъ у меня на цѣлый годъ, годовой; куда-жь мнѣ его дѣть? Ахъ, вы, головы умныя!

Дема оправился отъ своего смущенія и опять разсѣянно глядѣлъ и слушалъ,—ему было все равно. Но въ свою очередь сходъ былъ пораженъ, такъ что перекрестнаго допроса какъ будто и не было. Дема взялъ годовой паспортъ, деньги за него уплатилъ; куда же ему, въ самомъ дѣлѣ, дѣть его? Зная цѣну деньгамъ, парашкинцы стали въ тупикъ и замолчали въ полнѣйшемъ недоумѣніи.

— Пашпортомъ ты не тыкай; бери его и ступай съ Богомъ. А только душу плати.

Говорить о дѣлѣ Демы дальше не представлялось уже надобности; все было переговорено. Да и надоѣло всѣмъ. Эти исторіи повторялись въ послѣднее время очень часто и, кромѣ тупого озлобленія, ничего не приносили парашкинцамъ... Что возьмешь съ Демы? Если онъ и въ деревнѣ останется— это все равно, еще бѣду какую-нибудь сдѣлаетъ. Притомъ, каждый на сходѣ понималъ, что, можетъ быть, завтра и онъ

очутится въ такомъ положенiи, когда взять съ него будетъ нечего.

— Погляжу я, съ тебя теперь ни шерсти, ни молока не получишь. Козелъ ты и есть!—вздумалъ кто-то пошутить на сходѣ надъ Демой, но балагуру никто не сочувствовалъ.

Поболтавъ еще о разныхъ разностяхъ, не идущихъ къ дѣлу, парашкинцы рѣшили: просьбу Демину уважить, надѣлъ съ него снять, оставивъ за нимъ только полдуши. Дема также больше не артачился: занятый послѣзавтрашнею отправкой, онъ согласился платить полдуши.

Сходъ послѣ этого скоро разошелся. На всѣхъ собравшихся легло что-то тяжелое и неопредѣленное, какъ кошмаръ, и разогнало ихъ; каждый желалъ поскорѣе убраться къ себѣ.

Рѣдко парашкинцы находились въ такомъ гнетущемъ настроенiи; по большей части каждый шелъ на сходъ съ тайнымъ желанiемъ стряхнуть съ себя обыденныя мерзости. На этотъ разъ, однако, дѣло было иначе,—парашкинцы торопились разойтись. Имъ было противно присутствовать на сходѣ, говорить безъ толку и глядѣть другъ на друга. Ничего они не могли рѣшить,—зачѣмъ же и шумѣть безъ пути? На лицахъ другъ друга они видѣли безпомощность и унынiе,—къ чему же и собираться вмѣстѣ?

Ежели всѣ разбѣгутся, то кто же станетъ платить? Вопросъ нелѣпый, но парашкинцы все-таки ломали надъ нимъ свои худыя головы. Не оттого, что каждый изъ нихъ непремѣнно горѣлъ желанiемъ платить, но оттого, что передъ каждымъ изъ нихъ мелькала щемящая душу мысль—бѣжать изъ насиженнаго мѣста. Это дѣло будущаго, но оно мучило парашкинцевъ въ настоящемъ.

Щемящая душу мысль вовсе не была вымышлена. Парашкинцамъ ихъ же однодеревенцы доставляли ежегодный примѣръ того, какъ люди бѣгутъ, куда бѣгутъ. Число парашкинскихъ бродягъ все болѣе и болѣе увеличивалось; образовался особенный кочевой классъ, который только-что числился на мiру, а жилъ уже другою жизнью. Вотъ Климъ Дальнiй, Петръ Безпаловъ, Семенъ Бѣлый... да ихъ не перечтешь всѣхъ! Каждый парашкинецъ поэтому понималъ, что если онъ нынче сидитъ твердо на мѣстѣ, то это совсѣмъ не значитъ, что онъ и завтра здѣсь будетъ сидѣть, — сидитъ онъ на мѣстѣ по произволенiю Божiю, а пройдетъ годъ, смахнутъ

его съ мѣста, и онъ быстро войдетъ въ число „кочевыхъ народовъ“.

По опыту парашкинцы знали, что нынче человѣкъ легко или, правильнѣе сказать, внезапно покидаетъ насиженное мѣсто. Онъ нынче здѣсь, а на слѣдующій годъ уже за тысячу верстъ, откуда пишетъ оглушительное письмо, что онъ платить больше не можетъ и не будетъ. Разъ же онъ выскочилъ изъ своего мѣста, онъ рѣдко возвращается обратно; онъ такъ и остается въ числѣ „кочевыхъ народовъ“. Бывали-ли прежде такіе случаи? Слыхано-ли было когда-нибудь, чтобы парашкинцы только и думали, какъ бы наплевать другъ на друга и разбѣжаться въ разныя стороны? Не бывало этого, и парашкинцы объ этомъ не слыхали.

Тогда ихъ гнали съ насиженнаго мѣста, а они возвращались назадъ; ихъ столкнутъ, а глядишь—они опять лѣзутъ въ то мѣсто, откуда ихъ вытурили.

Прошло это время. Нынче парашкинецъ бѣжитъ, не думая возвращаться; онъ радъ, что выбрался по-добру, поздорову. Онъ часто уходитъ затѣмъ, чтобы только уйти, провалиться. Ему тошно оставаться дома, въ деревнѣ ему нуженъ какой-нибудь выходъ, хоть вродѣ проруби, какую дѣлаютъ зимой для ловли задыхающейся рыбы...

Уходя со схода, Дема немедленно забылъ, что̀ тамъ происходило. Онъ сталъ соображать, на какія средства ему отправляться. Деньги у него были, но въ такомъ количествѣ, которое достаточно было лишь на то, чтобы впроголодь добраться до мѣста заработковъ, до новостроющейся желѣзной дороги. А какъ безъ всего оставить хозяйку и мать?

Вспомнивъ свои домашнія дѣла, Дема сразу осовѣлъ. Былъ уже вечеръ; покрапывалъ мелкій дождь; дѣлалось темно. Дема только еще больше опустился, разсѣянно шлепая по улицѣ къ дому.

Съ тѣмъ же чувствомъ подавленности онъ и въ избу свою вошелъ. Мать его, Иваниха, собиралась ужинать и предложила ему поѣсть.

— Ужинать-то будешь?—басомъ спросила она.

Дема хотѣлъ отвѣчать обыкновеннымъ своимъ: „да кто знаетъ?“... но во-время сообразилъ, что въ данномъ случаѣ отвѣчать такъ нельзя.

— Чтой-то не хочется, — разсѣянно выговорилъ онъ и сѣлъ на лавку возлѣ изголовья жены. Устремивъ пристальный взглядъ на нее, почувствовалъ, какъ все въ немъ заныло.

Онъ взглядывалъ попеременно то на больную жену, то на мать. Иваниха, не сказавъ больше ни слова, сѣла къ столу. Она вытерла ложку, похожую на ковшъ, о фартукъ и принялась ѣсть. Въ избѣ моментально запахло протухлою капустой. Но Иваниха не чувствовала этого; она была занята. Хлѣбъ, который она кусала, разваливался и крошки его сыпались ей на колѣни. Иваниха постоянно подбирала ихъ въ горсть и ссыпала въ ротъ; точно также она дѣлала и съ тѣми кусочками, которые валились на столъ. Иначе было нельзя: хлѣбъ состоялъ изъ муки, мякины и земли, и разваливался.

На столѣ, возлѣ незанятой ложки, лежало еще нѣсколько сухарей. Это были камни, но они содержали чистый черный хлѣбъ и потому Иваниха ихъ не трогала. Дема понялъ, что это она для него припасла, для гостя.

Дема взглядывалъ на Иваниху и нылъ; взглядывалъ на жену и также нылъ. И каждый разъ, какъ онъ появлялся въ деревнѣ, онъ нылъ.

Настасья, хозяйка Демы, лежала на кровати въ углу и неслышно дышала. Повидимому, она спала, хотя вѣки ея были полуоткрыты. Она была покрыта разною рванью; только лицо ея оставалось наружи. Странное это было лицо! Такихъ лицъ нѣтъ въ деревнѣ. Блѣдное, небольшое, нѣжное, оно рѣзко противорѣчило и рвани, лежавшей въ безпорядкѣ на кровати, и грязному виду всей избы, и ея „жилому“ запаху. Какая-то печать хрупкости лежала на лицѣ Насти, дѣлая черты ея мягкими. Высунувшаяся изъ-подъ лохмотьевъ рука довершала впечатлѣніе; рука эта была маленькая, худая и прозрачная. Такъ измѣнила Настю болѣзнь, смывъ съ ея лица загаръ, а съ рукъ коросты и мозоли.

Дема посидѣлъ у изголовья жены и перешелъ на другую лавку; посидѣлъ тамъ немного и всталъ. Потомъ остановился посреди избы и къ чему-то проговорилъ: „Ишь какой

дождь!“, ни къ кому собственно не обращаясь. Онъ не находилъ мѣста. Успокоился онъ только тогда, когда сѣлъ неожиданно на порогъ и положилъ руки на колѣни. Порогъ ему очень понравился, и онъ долго на немъ сидѣлъ. Здѣсь же его засталъ и вопросъ Иванихи, которая все еще ужинала.

— Отдалъ душу-то?—обратилась она къ сыну, не повышая ни на одну ноту обычнаго своего баса.

— А?

Это откликнулся Дема. Иваниха не обидѣлась и не возмутилась. Она только помолчала.

— Душу-то, говорю, отдалъ? — пробасила она во второй разъ.

— Полдуши!—отвѣчалъ Дема, придя въ себя.

— Въ субботу, значитъ, въ отправку?

— Да кто знаетъ? Какъ вонъ васъ оставить-то? — упавшимъ голосомъ возразилъ Дема.

— Объ насъ не печалься... А ежели дома останешься, такъ все одинъ конецъ, даромъ баклуши будешь бить... Тамъ ты прокормишься, а тутъ—ротъ лишній.

Высказавъ свое мнѣніе, Иваниха умолкла.

Въ это время Настасья открыла глаза и попросила пить. Иваниха поднесла воды въ ковшикѣ, а Дема покинулъ порогъ и сѣлъ опять на лавку у изголовья больной.

— Ну, какъ, плохо?—спросилъ онъ у Насти.

— Теперь ничего, полегче, — отвѣтила почти шопотомъ Настя и потомъ спросила:—Уходить думаешь, Дема?

— Да кто знаетъ? Вишь ты вонъ...—Дема не договорилъ. Онъ отеръ объ полу влажную отъ дождя руку и погладилъ ею по рукѣ Насти.

— Ужь лучше ступай. Дастъ Богъ, поправлюсь,—сказала Настя.

Настя опять закрыла глаза и, кажется, заснула. А Дема посидѣлъ, посидѣлъ около нея и снова отправился на прежнее мѣсто—на порогъ. Онъ находился въ ужаснѣйшей нерѣшительности, недоумѣвая, что ему предпринять. Помолчавъ съ полчаса, въ продолженіе котораго Иваниха убирала со стола принадлежности ѣды, онъ выразилъ свое настроеніе въ слухъ.

— Или ужь не уходить? — мрачно спросилъ онъ. Но, не

встрѣтивъ со стороны Иванихи согласія или возраженія на это неожиданное рѣшеніе, онъ прибавилъ:—А то еще можно въ Сысойскъ, спички дѣлать. Это способно́ мнѣ, въ самую линію...

Дема, повидимому, съ однимъ собой разсуждалъ. Но на этотъ разъ Иваниха, несмотря на все ея хладнокровіе, не выдержала. Застучавъ костылемъ, она проговорила зловѣщимъ басомъ:

— Погляжу я, соску бы тебѣ еще сосать! И что у тебя никакого порядку въ головѣ нѣтъ? Ну, порѣшилъ разъ уходить—и ступай. Э-эхъ, голова!

Ничего больше не сказала Иваниха. Она совсѣмъ убрала со стола и принялась молча копошиться въ какомъ-то тряпьѣ, починивать что-то.

Иваниха не отличалась особенно рѣзко отъ остальныхъ деревенскихъ бабъ, но все же это было отесанное въ форму Божьяго созданія полѣно. Ее съ натяжкой можно было причислить къ слабой половинѣ человѣческаго рода; по крайней мѣрѣ, сама она очень сильно была бы оскорблена, еслибы ее поставили на одну доску вообще съ женщиной. Она скорѣе походила на мужика и по своему образу жизни, и по наружности. Ей было уже болѣе пятидесяти лѣтъ, но она была еще очень здоровою старухой. Правда, природа по отношенію къ ней пренебрегла художественностью, но за то сбила ее плотно. Голова Иванихи была почти четвероугольная; лобъ небольшой, выпуклый; глаза глубоко сидѣли въ своихъ впадинахъ, оттѣняемые густыми бровями. Толстый носъ, неуклюжій подбородокъ, на одной сторонѣ котораго торчала бородавка съ клочкомъ шерсти, и большія скулы придавали ей угрюмый видъ, а короткія руки и ноги дѣлали ее кряжистою.

Говорила Иваниха всегда басомъ; другого голоса она не имѣла. Даже въ своей молодости, на вечеринкахъ, она не пѣла, а гудѣла.

Иваниха была упрямая старуха, но это не исключало въ ней своеобразной доброты. Вообще сердце у ней было мягкое, „отходчивое“. Она была справедлива и не обладала тою чисто-женскою способностью—фыркать и пилить, которая не очень удобна въ общежитіи. Будучи матерью, она не потакала сыну; сдѣлавшись свекровью, она не терзала невѣстку.

Къ Настѣ она питала даже своего рода любовь, т. е. она грубо ругалась иногда и въ то же время брала на себя всю тяжелую работу, которая была не по силомъ бѣдной женщинѣ. Къ Настѣ она относилась миролюбиво. Невѣстка была для Иванихи всѣмъ, что осталось родного. Когда же Настя занемогла, то Иваниха очень заботливо стала ухаживать за ней. Обѣ женщины жили согласно, тѣмъ болѣе, что ссориться было рѣшительно некогда, въ особенности послѣ ухода Демы на заработки, когда на ихъ попеченіе перешло все хозяйство, дòма и въ полѣ.

Иваниха, впрочемъ, владычествовала и въ присутствіи Демы. Дема и до отхода своего на заработки безпрекословно повиновался ей. Хозяйство полевое всегда составляло арену дѣятельности Иванихи и ею одной поддерживалось на одинаковомъ уровнѣ. Только въ послѣднее время дѣла ея покатились подъ гору, вмѣстѣ съ лѣтами и силами ея.

Съ Иванихой случилось несчастіе. Почти въ одно время съ Настасьей и Иваниха занемогла. Разъ она ѣхала съ поля на возѣ сѣна; на косогорѣ возъ накренился, покачался, покачался и опрокинулся, а вмѣстѣ съ нимъ и Иваниха. Подобныя случайности происходили съ ней нерѣдко, и Иваниха не обращала на нихъ ни малѣйшаго вниманія; только изругается басомъ и опять свое дѣло дѣлаетъ. Но на этотъ разъ она поплатилась. Поднимаясь съ земли, она поняла, что вывихнула ногу. Иваниха недоумѣвала, какъ это ее угораздило, но не захныкала. Она озлилась, только озлилась, но за то такъ, что еслибы въ это время кто попался ей, то даромъ не ушелъ бы. Она поняла, что съ этого несчастнаго мгновенія дѣла ея примутъ плохой обооротъ, и изъ ея устъ посыпались ругательства.

Иваниха не обманулась. Хотя ногу ей и поправили нѣсколько, но отъ прежней Иванихи очень немного осталось. Она стала ходить съ костылемъ. Потому-то въ это лѣто она и не могла обработать душевого надѣла. Она, конечно, не упала духомъ, ей немедленно же представился выходъ изъ тяжелаго положенія. Она обработала большой огородъ, посадила овощей и надѣялась, что съ помощью этого занятія она съ Настей прокормится... Она каждый годъ станетъ обрабатывать огородъ и прокормится. Была бы только изба,

гдѣ можно жить, и лошадь, на которой Настя будетъ ѣздить въ городъ продавать овощи, а то ей плевать!

Это, разумѣется, такъ себѣ, самообманъ одинъ, потому что этимъ прокормиться нельзя.

Вслѣдствіе прошлогодняго неурожая и нынѣшнихъ несчастій, Иваниха не платила подати болѣе двухъ лѣтъ. Это обстоятельство возбудило въ волости вопросъ: слѣдуетъ-ли ее посѣчь или ждать, когда она добровольно выплатитъ долги? Но Сазонъ Акимычъ замѣтилъ, что Иваниха не правомощна, и потому вопросъ остается пока нерѣшеннымъ.

Такъ было подкошено хозяйство Демы. Демѣ не оставалось уже надежды опять оставаться въ деревнѣ. Такъ размышляла и Иваниха. Оставаться Демѣ, думала она, не зачѣмъ теперь. Что ему тутъ дѣлать? Только даромъ баклуши будетъ бить. Но Дема не признавалъ основательности этого мнѣнія или, прямо сказать, онъ не составилъ на этотъ счетъ никакого мнѣнія. Онъ растерялся. День спустя, онъ можетъ уйти, но можетъ и въ деревнѣ остаться; онъ этого не знаетъ. Дема растерялъ свои мысли, которыя давно уже „ходуномъ ходили".

Это нелѣпое положеніе имѣло свою исторію, потому что не всегда же его мысли ходуномъ ходили. Было время, четыре года тому назадъ, когда Дема безотлучно жилъ въ деревнѣ и не воображалъ, что онъ черезъ нѣкоторое время будетъ бродить. Тогда ему жилось ничего себѣ, тогда онъ даже очень удачно колотился. Урожаи были посредственные; скотъ у него былъ; подати онъ съ грѣхомъ пополамъ платилъ и таскали его въ волость не очень часто, а ему больше ничего и не нужно было.

Какъ онъ дошелъ до крайности и до мысли бѣжать, это неизвѣстно. Дема и самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ этомъ; онъ дожилъ до невозможности жить въ деревнѣ и бѣжалъ, а какъ и почему — не спрашивалъ себя. Впрочемъ, причины его хозяйственной несостоятельности были болѣе или менѣе извѣстны парашкинцамъ, которые не удивлялись исчезновенію Демы. Въ это время парашкинцы очень истомились. Разныя несчастія обрушивались на нихъ, какъ по заказу. Епифанъ Ивановъ, Петръ Петровичъ и еще одно фиктивное лицо, заключившіе союзъ, были ничто передъ совокупностью гнусностей, какъ бы заказываемыхъ для парашкинцевъ. Голодъ, скотскій моръ, напримѣръ, были такъ

многочисленны и до того неожиданны, что въ большинствѣ случаевъ парашкинцы и названія имъ не знали, не придумали еще.

Поэтому парашкинцы и не удивлялись ничему; они лишь ожидали новыхъ гнусностей.

Много народу за то время скрылось съ поверхности парашкинской жизни; бѣжали и кучами, и въ одиночку. Между послѣдними былъ и Дема, который съ тѣхъ поръ безпрерывно мыкался по свѣту.

Первое время послѣ ухода изъ деревни Дема употребилъ на то, чтобы наѣсться. Онъ былъ прожорливъ, потому что очень отощалъ у себя дома. Тѣ же деньги, которыя у него оставались отъ расходовъ на прокормленіе, онъ пропивалъ. Поэтому домой въ это время онъ ничего не отсылалъ или отсылалъ самую малость. Но Иваниха, впрочемъ, не упрекала его за это; она рада была и тому, что хоть самъ-то онъ кормился. Къ тому же Дема скоро сдѣлался менѣе прожорливъ.

Дема былъ сперва очень доволенъ жизнью, которую онъ велъ. Онъ вдохнулъ свободнѣе. Удивительна, конечно, свобода, состоявшая въ возможности переходить съ мѣста на мѣсто „по годовому паспорту", но, по крайней мѣрѣ, ему не зачѣмъ было ныть съ утра до ночи, какъ это онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Пища его также улучшилась, т. е. онъ былъ увѣренъ, что и завтра онъ будетъ ѣсть, тогда какъ дома онъ не могъ предсказать этого.

Дема переходилъ съ фабрики на фабрику, съ завода на заводъ и такимъ образомъ кормился. Это былъ большой выигрышъ для него. Проигралъ онъ только въ томъ отношеніи, что сдѣлался оглашеннымъ; такой ужъ у него былъ родъ жизни. Дема растерялъ свои мысли.

Но это было неизбѣжно. Въ деревнѣ или на волѣ — все равно онъ сдѣлался бы оглашеннымъ. Такую жизнь онъ въ послѣднее время передъ уходомъ велъ и дома у себя; у него ничего не было опредѣленнаго насчетъ будущаго. Онъ желалъ принять какое-нибудь твердое рѣшеніе относительно себя и своего семейства, но не могъ. Онъ прежде думалъ о своемъ хозяйствѣ и пересталъ, — безполезно. Онъ раньше умѣлъ соображать—и бросилъ: всякое его соображеніе оказывалось ни на что негоднымъ.

Дема повелъ бродячую жизнь. Выходя изъ деревни, онъ не-

зналъ, куда его занесетъ нелегкая. Онъ останавливался тамъ, гдѣ натыкался на работу. Приходя же въ деревню, онъ не зналъ, останется-ли здѣсь, или уйдетъ.

— Уйдешь, что-ли?—спрашивала обыкновенно Иваниха.

— Да кто знаетъ?—возражалъ Дема.

Связь его съ деревней была двусмысленна. Онъ не зналъ, куда себя причислить: кто онъ, бродяга или деревенскій житель? Войдетъ онъ снова въ деревенскій міръ или онъ навсегда отъ него оторванъ? Онъ этого не знаетъ. Дема даже не могъ часто рѣшить, желаетъ-ли онъ остаться на міру. Въ немъ произошло полное разрушеніе старыхъ понятій и желаній, съ которыми онъ жилъ въ деревнѣ.

Въ первое время Дема часто навѣдывался домой; когда онъ долго не бывалъ дома, имъ овладѣвало нетерпѣніе и ему не сидѣлось на мѣстѣ. Случалось хуже. На какой-нибудь фабрикѣ Шелопаева имъ вдругъ овладѣвала тоска по деревнѣ... Работалъ Дема, по обыкновенію, семнадцать часовъ, — думать, слѣдовательно, времени не было. Къ концу дня Дема чувствовалъ себя такъ же, какъ пьяный послѣ похмѣлья, и самъ удивлялся своей глупости. Вечеромъ у него всегда оставалось одно желаніе—завалиться поскорѣе и заснуть. Шелопаевъ для рабочихъ устроилъ спальню, въ которой въ два яруса были сдѣланы трещины, куда рабочіе вдвигали свои тѣла на ночь. Туда же, разумѣется, и Дема залѣзалъ. И вотъ среди ночи, послѣ ужаснаго дня, онъ вдругъ просыпается и начинаетъ ворочаться; ворочается и думаетъ. Кругомъ темень непроглядная, смрадно, отовсюду слышится храпъ, душно... На Дему нападаетъ тоска. Онъ вспоминаетъ деревню, ему хочется побывать тамъ...

Но лишь только Дема показывался въ деревню, его сразу обдавало холодомъ. Черезъ нѣкоторое время, поживъ въ деревнѣ, онъ видѣлъ, что дѣлать ему здѣсь нечего и оставаться нельзя. Такимъ образомъ, поколотившись дома съ мѣсяцъ, онъ уходилъ снова бродяжить.

Съ теченіемъ времени его появленія въ деревнѣ дѣлались все рѣже и рѣже. Его уже не влекло сюда съ такою силой, какъ прежде, въ началѣ его кочевой жизни. Къ деревнѣ его привязывали уже однѣ только нитки, которыя очень скоро могли оборваться.

Деревня опостылѣла Демѣ. Являясь туда, онъ не зналъ,

какъ убраться назадъ; по приходѣ домой, онъ не находилъ себѣ мѣста. На него разомъ наваливалось все, отъ чего онъ бѣжалъ; мигомъ онъ погружался въ обстановку, въ которой онъ раньше задыхался. Какъ ни жалки были условія его фабричной жизни, но, сравнивая ихъ съ тѣми, среди которыхъ онъ принужденъ былъ жить въ деревнѣ, онъ приходилъ къ заключенію, что жить на міру нѣтъ никакой возможности.

Сравненіе было рѣшительно и безповоротно.

Внѣ деревни Дему, по крайней мѣрѣ, никто не смѣлъ тронуть, и то мѣсто, гдѣ ему было не подъ силу и гдѣ ему не нравилось, онъ могъ оставить, а изъ деревни нельзя было уйти во всякое время. Внѣ деревни онъ кормился, а деревня давала ему только одну траву. Но, важнѣе всего, внѣ деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему рядъ самыхъ унизительныхъ оскорбленій.

Страдало человѣческое достоинство, проснувшееся отъ сопоставленія двухъ жизней, и деревня для Демы, въ его представленіяхъ, стала мѣстомъ мученія. Онъ безсознательно началъ питать къ ней недоброе чувство. И чувство это возростало и крѣпло.

Дема въ этотъ вечеръ нѣсколько разъ перемѣнилъ мѣсто, переходя съ одной лавки на другую и на порогъ. Подходилъ онъ и къ больной или въ нерѣшимости останавливался столбомъ посреди избы.

— Ай ужь сходить въ артель?—вопросительно проговорилъ онъ, стоя среди избы.

Иваниха, къ которой, повидимому, относился этотъ вопросъ, не повернула головы и не бросила работы. Она давно бы имѣла право возмутиться, глядя на сына, но она не возмутилась, а только проговорила:

— Ничѣмъ толчись на мѣстѣ-то, взялъ бы да сходилъ.

Дема колебался. Ему надо было немедленно же принять какое ни на есть рѣшеніе, а онъ не могъ. Тѣ представленія, которыя окутывали густымъ туманомъ его голову и въ избѣ, и на улицѣ, и во всей деревнѣ, затемнили въ немъ совершенно способность найти выходъ изъ двусмысленнаго положенія. Эта растерянность, однако, увеличилась еще болѣе,

когда, въ сумеркахъ, въ избу вошелъ посланецъ отъ Епифана Иванова, батракъ, съ крайне неожиданнымъ предложеніемъ купить у Демы домъ. Такъ вѣрно суждено было Демѣ испытать въ этотъ день однѣ мерзости.

— Я къ тебѣ, Дема, на минуточку, — сказалъ работникъ Епифана Иванова. — Очень недосугъ, а хозяинъ дюже бранится.

— Какія такія дѣла у тебя?—угрюмо спросила Иваниха, чуя недоброе.

— Хозяинъ, значитъ, послалъ. Приказываетъ сказать тебѣ, что ежели ты избу продавать думаешь, такъ чтобы ему. Куплю, говоритъ, по настоящей цѣнѣ,—это хозяинъ-то.

Иваниха даже поднялась съ лавки, — такъ оглушило ее предложеніе.

— Что ты, пустоголовый, мелешь? Какую такую избу Дема продаетъ? — забасила мрачно Иваниха, приводя въ смущеніе ни въ чемъ неповиннаго батрака.

— Вотъ эту самую... Хозяинъ слыхалъ, будто Дема продаетъ,—обиженнымъ тономъ возразилъ батракъ.

Иваниха смотрѣла то на сына, то на батрака. Она злобно выглядѣла.

— Пошелъ прочь, дуралей!—крикнула, наконецъ, она.— Ишь что выдумалъ: продать ему избу! Ступай прочь и скажи своему хозяину,—такъ и скажи ему прямо,—пускай только онъ сунется съ эдакимъ словомъ, я ему въ морду! И не погляжу, что онъ пузатый сталъ! Ахъ, вы, окаянные! Нигдѣ отъ васъ спокою нѣтъ, идолы!

Иваниха долго еще ругалась, даже и послѣ того, какъ посланецъ, выполнивъ свою миссію, ушелъ. Но Дема не сказалъ ни слова въ продолженіе этого разговора и нечего ему было сказать. Глухая тоска и растерянность еще болѣе увеличились. Дема просто подвергнутъ былъ пыткѣ. Для него сдѣлалось ясно только то, что и Епифанъ Ивановъ считаетъ его похороненнымъ. Самъ Дема никогда не думалъ о продажѣ избы; объ этомъ Епифанъ Ивановъ самъ заключилъ, а сдѣлавъ это заключеніе, немедленно послалъ работника предупредить Дему заранѣе, что съѣстъ его онъ, Епифанъ Ивановъ, а не кто другой, за что и предлагаетъ „настоящую цѣну“.

Въ другое время Дема не обратилъ бы вниманія на пред-

ложеніе, но въ эту минуту оно увеличило наростъ его горечи. Если ужь Епифанъ Ивановъ, обладающій острымъ нюхомъ, почуялъ возможность покупки избы, значитъ, ему, Демѣ, пришелъ конецъ. Вотъ какая мысль согнула и придавила Дему. Ему сдѣлалось невыносимо оставаться въ избѣ; надо было куда-нибудь убираться. Дема поэтому почти съ радостью отправился въ артель.

Но дорогою къ Петру Безпалову онъ нѣсколько разъ останавливался и все хотѣлъ вернуться назадъ. Въ это время онъ былъ жертвой множества самыхъ разнородныхъ побужденій, которыя тянули его въ разныя стороны.

Къ Петру Безпалову въ это время собирались уже всѣ артельщики, отправлявшіеся послѣ-завтра на чугунку. Самъ Петръ Безпаловъ, Потаповъ, Климъ Дальній, Кирюшка Савинъ, Семенъ Черный, Семенъ Бѣлый,—всѣ были въ сборѣ и вели между собою шумную бесѣду. Въ избѣ было совершенно темно.

— А, Дема, сколько лѣтъ, сколько зимъ!—зашумѣлъ Кирюшка Савинъ, узнавъ вошедшаго Дему и очищая ему мѣсто на лавкѣ.

— Ну, какъ, Дема? Порѣшилъ, идемъ?—освѣдомился Петръ Безпаловъ.

— Да кто знаетъ?—возразилъ Дема.

— Міръ, что-ли, не пущаетъ?

— Нѣ, міръ пущаетъ.

— Такъ это ты самъ отлыниваешь? Не дѣло, братъ, задумалъ, прямо тебѣ скажу, не во гнѣвъ,—зашумѣлъ Климъ Дальній. — Что же, намъ артель разстраивать изъ-за твоей милости?

— На што артель разстраивать!

— Какъ же? Было насъ семь человѣкъ въ артели и вдругъ, цапъ-царапъ, стало шесть! Какъ ты полагаешь, хорошо это? Намъ дожидать нельзя здѣсь, а ты смутьянишь.

— На што смутьянить! Не смутьянъ я, — отвѣчалъ Дема и началъ понемногу оправляться отъ свей тоски и растерянности. Ему сдѣлалось легче между товарищами, и онъ съ большею опредѣленностью сознавалъ свое желаніе поскорѣе выкарабкаться изъ деревни, гдѣ, кромѣ оплеухъ, на его долю ничего не доставалось.

— Погоди, Климъ, — вмѣшался Петръ Безпаловъ, —тоже и его дѣло надо разсудить. Баба его лежитъ пластомъ, а ты къ нему съ ножомъ къ горлу лѣзешь! Чай, не съ дуру онъ говоритъ!

Вмѣшательство Петра Безпалова прекратило нападеніе на Дему. Напротивъ, всѣ его товарищи разомъ догадались, въ какомъ состояніи онъ былъ, и стали неуклюже успокоивать его.

— Жалко ему хозяйства и бабенки тоже, — сказалъ Потаповъ.

. — Да, бабенка его ничего, славная бабенка, — подтвердилъ Климъ Дальній.

— Что-жь, Дема, тужить, ежели грѣхъ случился? Бабенка твоя встанетъ и хозяйство поправится, — успокоивалъ Семенъ Черный.

— Не горюй, дастъ Богъ, поправится!—добавилъ Семенъ Бѣлый.

— Извѣстно, поправится; а только я не знаю, какая мнѣ теперь линія: тутъ жить или уходить на сторону, ужь не знаю! — опять возразилъ Дема, впадая въ прежнюю разсѣянность.

Наконецъ, артельщики рѣшили подождать день; если же Дема и завтра не управится съ своими дѣлами, то идти на заработки, не дожидаясь его. Это рѣшеніе артельщики приняли потому, что оставаться въ деревнѣ имъ надоѣло, хотя они не долго оставались въ семействахъ. Дѣлать имъ, какъ и Демѣ, было нечего дома; какъ и Дема, даже въ большей степени, они тяготились своимъ двумысленнымъ положеніемъ, стоя одною ногой въ міру и поставивъ другую ногу „на сторону",

У всѣхъ собравшихся въ деревнѣ были еще домишки, годъ отъ года разрушавшіеся. У нѣкоторыхъ осталось даже небольшое хозяйство, но вниманія они на него уже не обращали, предоставивъ его всецѣло бабамъ, которыя и маялись кое-какъ. Полный надѣлъ земли былъ только у Петра Безпалова; остальные довольствались половиной, какъ Климъ Дальній и Потаповъ, или четвертью, какъ Семенъ Бѣлый и Семенъ Черный. Понятно, что всѣ они ликовали, уходя изъ деревни. Все время, пока они оставались въ деревнѣ, они испытывали одну тоску и чувство ненужности.

Отщепенство ихъ отъ міра зашло такъ далеко, что они и сами это сознавали, дѣлаясь все болѣе и болѣе равнодушными къ своимъ дѣламъ. Ненависти къ деревнѣ они уже не питали, какъ къ мѣсту, имѣющему очень малое отношеніе къ нимъ. Ненависть эта была, когда они употребляли нечеловѣческія усилія остаться при землѣ, и прошла, когда они были выпихнуты изъ деревни, сдѣлавшейся имъ съ этихъ поръ чужой. Осталась одна насмѣшка и къ своимъ прежнимъ усиліямъ остаться на міру, и къ деревенщинѣ, которая продолжаетъ колотиться и потѣть надъ пропащимъ дѣломъ. Артельщики теперь смотрѣли на деревенщину свысока.

Они даже по наружности измѣнились такъ, что нипто въ нихъ не призналъ бы „хрестьянъ деревни Парашкино". Настоящіе, коренные парашкинцы одѣвались въ такія облаченія, что издали поголовно походили другъ на друга; артельщики же одѣвались каждый по своему вкусу. Петръ Безпаловъ, напримѣръ, носилъ недубленый полушубокъ и смазные сапоги, неизвѣстно какъ попавшіе къ нему; Потаповъ—въ зипунѣ, въ лаптяхъ и съ чухонскою шляпой на головѣ, а Климъ Дальній надѣвалъ коротенькое пальто невозможнаго цвѣта и возмутительнаго запаха. Что касается двухъ Семеновъ, Бѣлаго и Чернаго, то они, такъ сказать, взаимно дополняли другъ друга. Однажды имъ взбрело на умъ купить плисовые штаны и жилетъ—и купили; Семенъ Черный взялъ на себя плисовые штаны, а Семенъ Бѣлый—плисовый жилетъ, и оба были довольны.

Говоря о наружности артельщиковъ, нельзя оставить безъ вниманія одного обстоятельства, хотя и незначительнаго, но имѣвшаго вліяніе на взаимныя отношенія міра и его отщепенцевъ. Дѣло въ томъ, что безъ Демы въ избѣ сидѣло шесть человѣкъ, а у нихъ было только четыре носа. По этому поводу между Потаповымъ и Семеномъ Бѣлымъ происходили иногда стычки.

— На фабрикѣ носъ-то оставилъ?—спрашивалъ Потаповъ.

— На фабрикѣ,—отвѣчалъ, конфузясь, Семенъ Бѣлый, у котораго въ наличности находились только признаки органа обонянія.

— Машиной оторвало?

— Машиной.

— Оно и видно!

Потаповъ хохоталъ, а Семенъ Бѣлый злился, ругался на чемъ свѣтъ стоитъ и грозилъ тѣмъ моментомъ, когда у самого Потапова исчезнетъ носъ.

Такимъ образомъ, отщепенцы уносили изъ своего села имущества, силы и души и взамѣнъ этого ничего не возвращали. Единственная дань, которую они платили міру,—это отвратительная зараза, приносимая ими съ фабрикъ. Если къ этому прибавить то, что они для парашкинцевъ были новымъ и плохимъ примѣромъ жизни внѣ міра, а также то, что они вносили вмѣстѣ съ собой всюду ссоры и отщепенство, тогда роль ихъ будетъ совершенно опредѣлена.

На этотъ разъ ихъ ликованіе по поводу скораго отхода было на время прервано приходомъ Демы, который еще не могъ оправиться. Шумный разговоръ артельщиковъ прекратился. Воцарилось на всѣхъ лицахъ тоскливое молчаніе. Уныніе такъ подѣйствовало на собравшихся, что имъ всѣмъ захотѣлось выпить, но это было тайное желаніе, которое никто не хотѣлъ обнаружить. Недавно они сложили всѣ деньги свои въ общую кассу и постановили единогласно: „водки... ни Боже мой, не пить". Поэтому, теперь каждый стыдился первымъ заявить о своей слабости, и всѣ молчали, тайно понимая другъ друга. Только Семенъ Черный выразилъ тайное желаніе, да и то безмолвно. Онъ краснорѣчиво посмотрѣлъ на Семена Бѣлаго, но изъ этого пока ничего не вышло. А Потаповъ, увидѣвъ знаки, сурово посмотрѣлъ на обоихъ Семеновъ, назвавъ ихъ вслухъ „пустыми головами" и давая этимъ понять, что только пустыя головы могутъ думать о невозможномъ, о водкѣ, напримѣръ.

— А я полагаю такъ, что разъ ты ушелъ, хозяйство забросилъ и ужь ты не воротишься, — вдругъ сказалъ Дема, вопросительно взглядывая на Петра Безпалова и не предупредивъ, о чемъ онъ хочетъ говорить.

— Да это ты про что?—удивленно спросилъ Климъ Дальній.

— Про деревню. Разъ, говорю, ты ушелъ, и ужь обратно пути тебѣ нѣту!—пояснилъ Дема свою тоскливую мысль.

— И не надо,—угрюмо возразилъ Потаповъ.

— Какъ не надо? Домой-то?—удивился Дема.

— Такъ и не надо. Будетъ! Меня арканомъ сюда не затащишь,—больно ужь неспособно.

— Ну, все же домишка-то жалко, ежели же онъ еще разваливается,—замѣтилъ Петръ Безпаловъ.

— И пущай его разваливается! Сытости въ немъ нѣтъ, потому что онъ гнилой!—съострилъ Климъ Дальній. Но ему никто не сочувствовалъ.

— Про то-то я и говорю: ушелъ ты—и хозяйство прахомъ,—настаивалъ Дема, въ головѣ котораго, повидимому, безотлучно сидѣла мысль о конечномъ его разореніи.

— Кто-жь этого не знаетъ?—съ неудовольствіемъ заговорилъ Кирюшка Савинъ, возмутившійся тоскливымъ однообразіемъ разговора.—И что ты наладилъ: ушелъ, ушелъ! Словно безъ тебя и не знаемъ... Тоска одна!

— Да я такъ...

Всѣ умолкли. На всѣхъ присутствующихъ, дѣйствительно, напала злая тоска.

Но въ это время Семенъ Черный рѣшительно посмотрѣлъ на Семена Бѣлаго, указывая послѣднему на свои плисовые штаны, которые часто закладывались въ кабаки. Семенъ Бѣлый безмолвно отвѣчалъ ему удивленіемъ и выразилъ ему, за его рѣшимость, полное одобреніе. Поэтому, Семенъ Черный немедленно всталъ и вышелъ. Когда же онъ воротился, то плисовыхъ штановъ на немъ, конечно, уже не было, а были простые посконные, продранные на колѣняхъ.

— Куда это ты дѣвалъ штаны свои?—насмѣшливо освѣдомился у него Потаповъ.

Семенъ Черный, разумѣется, ничего не могъ отвѣтить и смущенно мигалъ, но все-таки немедленно вынулъ изъ-подъ полы штофъ водки и молча поставилъ его на столъ. Такъ какъ Семенъ Черный нерѣдко приносилъ свои плисовые штаны и другія принадлежности костюма въ жертву общимъ тайнымъ желаніямъ, то никто не удивился при появленіи водки и никто не подвергалъ его допросу относительно причины этого появленія.

Прежняя шумливость компаніи возвратилась. Пошла круговая. Водкой распоряжался Семенъ Черный, по праву своей самоотверженности; онъ поочередно каждому подавалъ грязно-зеленый стаканчикъ и блаженно улыбался. Самъ же онъ выпивалъ послѣ всѣхъ, причемъ вдругъ дѣлался серьезенъ.

— Ну-ка, братъ, выпей. А то ужь ты очень...—сказалъ Семенъ Черный, подавая грязно-зеленый стаканчикъ Демѣ.

Дема сперва взялъ стаканчикъ, подержалъ его въ рукѣ, но потомъ вдругъ поставилъ на столъ.

— Не могу! Душа не принимаетъ!—отвѣтилъ Дема и отошелъ въ сторону. Черезъ нѣкоторое время онъ совсѣмъ ушелъ, спросивъ только:

— Стало быть, послѣ-завтра?

— Будь готовъ,— отвѣчали ему.

Когда Дема вышелъ, присутствующіе долго еще находились подъ его впечатлѣніемъ, проникнутые какимъ-то неопредѣленнымъ, но тяжелымъ чувствомъ. Не помогъ даже и штофъ водки.

— Эхъ, какъ его сердешнаго перевернуло!—сказалъ Петръ Безпаловъ, говоря объ ушедшемъ Демѣ.

На это никто не отвѣчалъ. Только Кирюшка Савинъ, неосторожно проливъ водку на бороду и грустно улыбаясь, заявилъ, что ему также тошно и что было бы хорошо, если-бы теперь закусить огурчикомъ.

Дема не пошелъ въ эту ночь въ избу, несмотря на то, что шелъ дождь; онъ прошелъ въ сарай и тамъ легъ на соломѣ. Тоска грызла его все больше и больше. Онъ могъ нѣсколько успокоиться и заснуть только тогда, когда твердо рѣшилъ уйти изъ деревни, поскорѣе и навсегда. Въ этомъ ему помогъ случай.

На постели, гдѣ лежала Настя, лохмотьевъ уже не было. Иваниха выбросила ихъ и убрала свою невѣстку, и Настя не казалась уже странною съ своею мягкою красотой. Блѣдное лицо ея сдѣлалось еще лучше и чище послѣ смерти, которая еще не успѣла обезобразить свою жертву. Болѣзнь смыла съ нея грязь, смерть же уничтожила на немъ страданіе. Всѣ черты ея запечатлѣны были покоемъ, котораго она не знала при жизни.

Она и умерла тихо, безъ стоновъ и безъ конвульсій. Это было ночью, никто не зналъ, какъ она умерла и что̀ сказала. Иваниха задремала и прокараулила, а когда очнулась, то Насти уже не было.

Иваниха не стала ревѣть, не проронила даже слезы. И какъ бы она стала ревѣть басомъ? Это не шло къ ней. Она,

правда, долго стояла надъ постелью умершей, но ничего не говорила.

Оправившись отъ своего оцѣпенѣнія, она принялась медленно и сосредоточенно убирать свою невѣстку въ неизвѣстный путь. Она открыла свой сундукъ, отложила оттуда самое лучшее бѣлье, какое только было у ней, взяла лучшій холстъ, какой только она имѣла, и принялась за дѣло. Еслибы Настѣ надо было отдать все имущество, то Иваниха, не задумавшись, отдала бы. Зачѣмъ теперь имущество ей, старой каргѣ? Теперь ей ничего не надо,—проживетъ!

Иваниха замерла на мѣстѣ только тогда, когда пошла будить Дему, чтобы сообщить ему о смерти жены. Она просто похолодѣла вся. Но страхъ ея былъ напрасенъ. Дема поблѣднѣлъ, замигалъ глазами и сѣлъ на порогъ. Повидимому, онъ даже ожидалъ этого и какъ будто совсѣмъ не удивился.

Черезъ длинный промежутокъ времени онъ пересѣлъ на лавку, возлѣ изголовья своей жены, и застылъ тутъ. Иногда онъ бережно гладилъ своею большою черною рукой руку умершей и все о чемъ то думалъ, упорно смотря въ полъ. Иваниха долго стояла передъ нимъ и наблюдала. Это была минута, когда она готова была заревѣть.

— А я такъ полагаю, что это мнѣ ужь предѣлъ такой, т.-е. уйти, — промолвилъ только разъ Дема и вопросительно посмотрѣлъ въ пространство. Но черезъ минуту онъ уже снова задумался.

Послѣ этого Иваниха оставила его одного, занявшись приготовленіемъ къ похоронамъ. Надо сперва сдѣлать гробъ. Для этого лучше всего снять доски съ полатей, — больше досокъ взять не откуда. И куда ей полати? Не надо ей ничего. Тамъ семь досокъ, и четыре изъ нихъ какъ разъ подходятъ къ росту Настасьи.

Потомъ надо уговорить попа похоронить нынче же, потому что завтра утромъ Дема долженъ отправляться въ путь; оставаться же ему здѣсь не зачѣмъ, — только изведется, а пользы никому не принесетъ. Но согласіе попа похоронить сегодня же надо купить, и это стоитъ три рубля, а у Иванихи такихъ денегъ нѣтъ. Иваниха мрачно задумалась.

Но въ это время къ ней явилась неожиданная помощь— артельщики, которые уже узнали, что хозяйка Демы помер-

ла. Сперва явился Кирюшка Савинъ, потомъ Семенъ Бѣлый, потомъ Петръ Безпаловъ и, наконецъ, всѣ артельщики, а также семьи ихъ. Всѣ товарищи Демы старались сначала чѣмъ-нибудь утѣшить Дему и изъявили готовность по мѣрѣ силъ помочь ему.

Но Дема не обращалъ ни на кого вниманія; онъ только, какъ и прежде, сказалъ, глядя вопросительно въ пространство:

— А я такъ полагаю, что это мнѣ ужь предѣлъ такой, т.-е. уйти.

Проговоривъ это, Дема опять задумался.

Это было сказано страннымъ голосомъ, съ страннымъ взглядомъ, но артельщики не удивились. Они поняли необходимость предоставить Дему себѣ самому и не приставали къ нему, боясь разбередить его тихую тоску. Дема такъ и просидѣлъ весь этотъ день на лавкѣ, никѣмъ не тревожимый. Изъ волости пришелъ было посланецъ за Демой, но Иваниха живо выпроводила его, пригрозивъ ему кочергой, изъ чего посланецъ сейчасъ же заключилъ, что ей и Демѣ некогда.

Каждый изъ артельщиковъ съ жаромъ принялись помогать Иванихѣ въ ея хлопотахъ. Кирюшка Савинъ тотчасъ же снялъ съ полатей доски и началъ дѣлать гробъ; онъ былъ плотникъ и потому дѣло его двигалось быстро къ концу. Петръ Безпаловъ и Климъ Дальній отправились копать могилу, а Потаповъ пошелъ къ попу. Безъ дѣла на время оставались только Семенъ Черный и Семенъ Бѣлый, но скоро и имъ Иваниха нашла дѣло въ избѣ. Притомъ, Семену Бѣлому предстояло въ этотъ день оказать спеціальную услугу.

Въ виду недостатка денегъ у Иванихи, артельщики ссудили ей изъ своей кассы полтора рубля, да сама она вынула изъ какой-то преисподней тряпку, въ которой былъ завернутъ рубль мѣдными деньгами, очевидно, припрятанными лѣтъ двадцать тому назадъ на черный день. Но все-таки полтинника не доставало. Вотъ здѣсь и помогъ Семенъ Бѣлый. Онъ поглядѣлъ на Семена Чернаго, пошепталъ ему что-то и вышелъ, сопровождаемый одобрительнымъ взглядомъ Семена Чернаго. Онъ побѣжалъ въ кабачокъ, заложилъ тамъ свою плисовую жилетку за полтинникъ съ прибавкой чарки водки и явился въ избу къ Иванихѣ въ посконной рубахѣ; только поднялъ дорогой веревочку и подпоясался.

Такъ весь день прошелъ въ хлопотахъ. Похороны Насти совершены были уже вечеромъ. Гробъ несли артельщики, а сопровождали его ихъ семьи.

Въ тотъ же день Иваниха пошла на сходъ, вмѣсто Демы, и объявила тамъ, что Дема отказывается и отъ полдуши. Сходъ снова заволновался. Былъ предложенъ вопросъ: скоро ли всѣ разбѣгутся? И другой: ежели всѣ разбѣгутся, то кто станетъ платить? Какъ и вчера, парашкинцы волновались, говорили, злились, унывали, наконецъ, упали духомъ и разошлись по домамъ, ничего не рѣшивъ.

Рано утромъ на другой день Иваниха провожала Дему.

Дема сидѣлъ на завалинкѣ своей избы и, держа на колѣняхъ шапку, глядѣлъ въ даль. На него страшно было взглянуть. Онъ сгорбился, похудѣлъ и выглядѣлъ безпомощнымъ.

Иваниха стояла подлѣ него. Она передала ему котомку, а за пазуху положила какой-то узелокъ. Оба молчали. Иваниха крѣпилась и не выказывала наружу своей тревоги.

Наконецъ, она сказала сдержанно:

— Приходи повидаться-то.

Дема поднялъ голову.

— А можетъ, и не свидимся, — возразилъ Дема, отвѣчая, казалось, не на просьбу Иванихи, а на какую-то свою мысль.

Помолчали.

Иваниха все крѣпилась. Было только одно мгновеніе, когда она измѣнила себѣ. Она погладила рукой по головѣ уходившаго и тихо, неслышно сказала:

— Сынокъ мой! — и голосъ ея задрожалъ.

Вотъ и все. Это было одно мгновеніе.

Скоро собрались всѣ артельщики, въ сопровожденіи своихъ бабъ и ребятишекъ, и начали торопить Дему. На прощаньи они дали обѣщаніе Иванихѣ, что они строго будутъ блюсти Дему, пока онъ не оправится.

Всю послѣднюю ночь шелъ дождь, а утромъ поднялся съ земли густой туманъ, разстилавшійся вдоль улицы, на рѣкѣ, по лугамъ и дальше, дальше. Онъ неподвижно лежалъ на землѣ, какъ бы застывъ въ густую массу, не поднимаясь

и не волнуясь, и только чуть заколыхался при проходѣ артельщиковъ съ толпой ихъ семействъ.

Иваниха постояла на крыльцѣ, подождала, пока всѣ фигуры уходившихъ скрылись, окутанныя мглой, и отвернулась. Сначала одиночество ей показалось ужаснымъ, но потомъ, подумавъ немного, она рѣшила, что такой старой каргѣ ничего не нужно, кромѣ избы и куска хлѣба. А если у ней и хлѣба не будетъ, и силъ больше не будетъ, и ничего не будетъ, то и хорошо, потому что эдакую старую собаку жалѣть нечего... Иваниха съ ненавистью оглянула деревню.

VI.

Какъ и куда они переселились.

На берегу рѣки Парашки и донынѣ еще стоитъ одинокій столбъ, окрашенный въ черную и бѣлую краску. Онъ устоялъ, когда вокругъ него все разрушалось. Его обливалъ дождь, обдували вѣтры, черви точили его внутренности, а онъ все стоитъ. На верху его прибита доска, которая гласитъ: „Деревня Парашкино, душъ 470, дворовъ 96", но эта надпись такъ же устарѣла, какъ и самый столбъ, и еслибы кто повѣрилъ ей и сталъ отыскивать девяносто шесть дворовъ, заключающихъ въ себѣ четыреста семьдесятъ душъ, то, вѣроятно, пришелъ бы въ недоумѣніе, потому что мѣсто, гдѣ должны быть дворы, покрыто однѣми развалинами.

Повсюду кругомъ вѣяло запустѣніемъ и заброшенностью. Рѣка тихо катила свои мутныя струи, берега ея поросли мелкимъ кустарникомъ, а ея поверхность покрылась лопухами и кашкой, какъ поверхность озера. Нигдѣ не видно тропинокъ, даже дорога, ведущая къ мосту, заросла травой, только самъ мостъ уцѣлѣлъ, хотя его никто больше не поправлялъ, и онъ видимо готовъ былъ запрудить собой рѣку. Гдѣ же дворы? Прежде деревня далеко тянулась въ два порядка вдоль рѣки, а теперь остались отъ улицы одни только слѣды. На мѣстѣ большинства избъ виднѣется пустое пространство, заваленное навозомъ, щепками и мусоромъ и поросшее крапивой. Кое-гдѣ, вмѣсто избъ, просто ямы. Нѣсколько десятковъ избъ—вотъ все, что осталось отъ прежней деревни. Стоялъ, безъ видимой причины, еще одинъ сортъ избъ, въ которыхъ не было ни дверей, ни оконъ, ни даже потолка, а около нихъ не находилось никакихъ строеній, такъ что издали онѣ казались срубами, употребляющимися для ловли звѣрей.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ просто торчали, поверхъ крапивы и полыни, печи съ полуразрушенными трубами, какъ послѣ пожара, истребившаго домъ и изгнавшаго его обитателей. Въ трехъ-четырехъ мѣстахъ лежали огромныя кучи навозной золы, которая во время вѣтра поднималась вверхъ и вмѣстѣ съ остатками другого разнаго сора носилась въ воздухѣ надъ этою пустыней.

Вдали виднѣлась барская усадьба Петра Петровича; возлѣ нея высилась церковь и погостъ, а возлѣ погоста волостное правленіе. Дальше тянулся пустырь, оканчивающійся строеніями Епифана Иваныча Колупаева, которыя только и скрашивали мерзость запустѣнія, поражая еще издалека своею обширностью. Епифанъ Иванычъ окрѣпъ отъ всеобщаго парашкинскаго несчастія и широко разросся, какъ поганый грибъ, выросшій на трупѣ.

Отъ прежней деревни, дѣйствительно, остался одинъ трупъ. Много къ этому времени разбѣжалось народу, который рѣдко показывался домой, и деревня исподволь, но непрерывно пустѣла.

И немного осталось жителей въ ней. Все это были люди, сросшіеся съ землей, на которой они жили такъ крѣпко, что связали свою судьбу съ ней. Если земля худала, худали и жители, сидящіе на ней. Въ этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцевъ была нечувствительна собственная захудалость, когда все вокругъ нихъ носило слѣды истощенія и бѣдности. Поля вокругъ деревни уже не засѣвались сплошь, какъ прежде; во многихъ мѣстахъ желтѣли большія заброшенныя плѣшины; тамъ и сямъ земля покрылась верескомъ, кое-гдѣ вновь появились незамѣтныя раньше болота. Засѣянныя же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродившій по кустарникамъ скотъ едва волочилъ ноги, паршивый, худой, съ ребрами наружу и съ обостренными спинами, на которыхъ часто садились галки и клевали мясо.

Но парашкинцы были равнодушны ко всему.

Это равнодушіе день ото дня дѣлалось сильнѣе и распространеннѣе, проявляясь во всемъ, что ни предпринимали они. На улицѣ, какъ сказано выше, громоздились горы щепъ, золы и всякаго сора, и никто не думалъ счистить это, хотя бы передъ своимъ домомъ. Строенія также стояли безпоря-

дочно среди всякаго разрушенія. Если стѣна косилась, ее не думали подпирать, иная крыша ежеменутно грозила рухнуть и задавить находящихся подъ ней обитателей, но и на это не обращалось вниманія. Рушился сарай, его не поднимали, онъ такъ и лежалъ, постепенно растаскиваемый на растопку печей. Падала въ колодецъ курица, ее не вытаскивали, а воду начинали брать изъ мутной рѣки или изъ другого колодца. Разбивалось окно, его затыкали тряпицей, соломеннымъ чучеломъ, или просто ничѣмъ не затыкали. Валилась труба, хозяинъ ея только равнодушно удивлялся такой странности: „Труба... экъ ее угораздило! Дивное это дѣло, братецъ ты мой! Все стояла аккуратно, какъ быть должно, и вдруъ—хлопъ!“ Труба оставалась неисправленною, и достаточно было одной искры, вылетѣвшей изъ нея, чтобы истребить огнемъ всю деревню „отъ случайности“. Въ описываемую весну рѣка Парашка почему-то очень сильно разлилась, затопила огороды, снесла много заднихъ дворовъ, повредила часть жилыхъ избъ, но это не возбудило никакого волненія среди пострадавшихъ. У солдата Ершова, какъ его называли за шинель, которую онъ носилъ, и за одну мѣдную пуговицу, которая болталась у него назади, повалило и снесло водой добрый сарай, стоившій нѣкогда много хлопотъ ему, но онъ и ухомъ не повелъ, когда ему сказали о случившемся. Придя на то мѣсто, гдѣ былъ сарай, онъ замѣтилъ только, что столбы выперло ловко, лучше не надо! „Вона! вона! какъ сверлитъ!“—добавилъ онъ, глядя на рѣку, бушевавшую у его ногъ, и ушелъ.

Парашкинцы были спокойны.

Это странное спокойствіе изо дня въ день становилось невозмутимѣе. Прежде они изъ-за всякихъ пустяковъ волновались, радуясь или огорчаясь, но въ послѣдніе два года передъ описываемымъ ниже событіемъ успокоились. Происходило-ли какое дѣло въ ихъ селѣ, отнимали-ли у нихъ свиней и овецъ, задавали-ли имъ перцу въ счетъ прошедшаго и для разъясненія будущаго, грозили-ли отнять у нихъ землю, находила-ли хворь на ихъ дѣтей, умиравшихъ десятками, или падалъ скотъ, они оставались невозмутимы и не задавали себѣ никакихъ вопросовъ насчетъ завтрашняго дня. Даже разносимые богомольцами и солдатиками миѳы, что въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ странахъ живутъ люди съ песьими головами или

что въ Питерѣ стоитъ царскій амбаръ въ двѣ версты длиной, наполненный до верху хлѣбомъ, или что изъ-за моря приплывутъ къ Покрову десять кораблей съ мукой, назначенной для раздачи желающимъ,—даже эти миѳическія сказанія, составлявшія значительную долю умственной пищи парашкинцевъ, перестали обращаться между ними. Когда-то эта пища возбуждала ихъ, а теперь имъ было все равно. Ничего имъ не надо. Ладно и такъ.

Парашкинцы ко всему стали приспособляться.

Положеніе ихъ давно сдѣлалось невозможнымъ, а они уже не думали изъ него выходить и употребляли всѣ силы лишь на то, чтобы приспособиться къ нему. Это не то приспособленіе, когда человѣкъ, сообразуясь съ обстоятельствами, напрягаетъ силы, чтобы улучшить свою жизнь, и выростаетъ, вытягиваясь до высоты новаго положенія; парашкинцы приспособлялись, постоянно понижаясь и понижая уровень своихъ требованій. Чѣмъ хуже становились окружающія условія, тѣмъ хуже дѣлались и они, желая лишь одного—остаться въ живыхъ. За то въ оставшихся въ ихъ рукахъ дѣлахъ они выказывали бездну изобрѣтательности.

У мельника Якова осталось одно время множество отрубей, которыя онъ не зналъ куда дѣть; кормилъ онъ ими гусей, куръ и свиней, но все еще ихъ оставалось много, а въ городъ вести не было разсчета. Отруби гнили. Въ это время кто-то изъ жителей деревни придумалъ способъ изъ отрубей печь хлѣбъ и во всеуслышаніе хвастался превосходнымъ качествомъ этого печенія. И всѣ приняли съ радостью изобрѣтеніе и начали дѣлать улучшенія въ первоначальномъ способѣ, послѣ чего отруби Якова быстро разошлись, принеся ему значительную выгоду.

Иваниха придумала для той же цѣли употреблять клеверъ молотый, которымъ одно время она неограниченно пользовалась со двора Петра Петровича; парашкинцы усвоили и это открытіе и начали одолѣвать просьбами Петра Петровича. Такъ какъ у послѣдняго ежегодно засѣваемый клеверъ гнилъ и вообще не приносилъ никакой выгоды въ его хозяйствѣ, то онъ много роздалъ его даромъ всѣмъ парашкинцамъ и радовался, что, наконецъ, нашъ народъ начинаетъ усвоивать выгоды раціональнаго полеводства. Конечно, онъ былъ пораженъ, когда узналъ черезъ нѣкоторое время, что парашкинцы

клеверъ его сами съѣли, и даже перестал раздавать, ругая грязную сволочь, которая ничѣмъ не брезгаетъ, но парашкинцы долго еще шатались къ нему, а одинъ разъ даже всею деревней пришли.

— Дашь?—спросили они равнодушно, словно дѣло шло о понюшкѣ табаку.

— Не дамъ,—отвѣтилъ Петръ Петровичъ.

— Отчего не дашь?

— Потому что вы сами жрете! Ахъ, вы... Чортъ знаетъ, что такое! И какъ это вы выдумали ѣсть такую мерзость?—говорилъ Петръ Петровичъ и злился.

— Ну, овса,—сказали парашкинцы. Овесъ въ это время былъ очень дешевъ.

— И овса не дамъ!—закричалъ выведенный изъ себя Петръ Петровичъ.

— Что ты серчаешь? Мы тѣ заработаемъ. Хочешь канаву вырыть—выроемъ тебѣ канаву. Хочешь болото просушить—и болото просушимъ. Дашь?

Петръ Петровичъ задумался. Принятая имъ прежде система найма рабочихъ перестала удовлетворять его; онъ сталъ сомнѣваться, дѣйствительно-ли онъ хорошо поступаетъ, нанимая парашкинцевъ за два, за три года впередъ и почти за безцѣнокъ. Парашкинцы давно уже продали себя ему и если не приходили въ отчаяніе отъ такого порядка, то это зависѣло лишь отъ ихъ равнодушія къ своей жизни. Поэтому, въ данномъ случаѣ, у него опустились руки, и онъ далъ просителямъ по пуду муки, какъ дѣлалъ это не одинъ разъ. Парашкинцы получили муку и съѣли.

Приходила имъ четыре раза земская ссуда, пришла и въ эту весну, причемъ земство различило хлѣбъ, назначенный на сѣмена, отъ хлѣба, назначеннаго на пропитаніе. Но парашкинцы не различали,—они получили ссуду и съѣли ее.

Былъ у нихъ, совмѣстно съ двумя другими деревнями, хлѣбный магазинъ, случайно еще хранившій въ себѣ овесъ, на половину прогнившій, на половину изгрызенный мышами, но парашкинцы не разбирали тонкостей: они раздѣлили овесъ и съѣли его.

Ходили они и къ Колупаеву, прося у него подъ работу по пуду. Отказалъ.

— Дашь?—спросили они равнодушно.—Не дамъ,—отвѣчалъ

сначала Колупаевъ; однако, имъ овладѣла тревога. Онъ также, при взглядѣ на парашкинцевъ, дѣлался раздражительнымъ и неспокойнымъ, ибо, завлекая ихъ въ свои сѣти и общипывая по одиночкѣ, что требовало большаго труда, неутомимаго наблюденія и постояннаго содержанія себя въ напряженномъ состояніи, онъ съ нѣкотораго времени чувствовалъ глухое недовольство своею медлительною дѣятельностью, въ особенности когда благосостояніе его сдѣлалось прочнымъ. Ему захотѣлось погубить ихъ сразу, чтобы уже больше не возиться съ ними; онъ только не зналъ, чего ему собственно желать, того-ли, чтобы они куда-нибудь внезапно провалились, оставивъ ему землю, или того, чтобы они за недоимки подпали подъ опеку и были отданы ему на откупъ. Но на этотъ разъ, замѣтивъ необыкновенное спокойствіе просителей, онъ уступилъ. Парашкинцы получили по пуду муки и съѣли.

Такъ они и жили изо дня въ день, ко всему равнодушные, кромѣ дневнаго пропитанія, да и на пропитаніе обращали лишь незначительное вниманіе, приспособляясь и привыкая къ такой жизни, которая въ иныя времена заставила бы ихъ жестоко убиваться. Вслѣдствіе этого, трудъ ихъ сдѣлался случайнымъ, непроизводительнымъ, а потому ни для кого не пригоднымъ. Эти непригодность и непроизводительность, имѣя своею причиной отчасти ихъ апатическое спокойствіе, главнымъ образомъ, зависѣли отъ того, что имъ „не досужно было“ въ должной мѣрѣ заботиться о поляхъ, а равнымъ образомъ и отъ того, что они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смыслъ. Существованіе ихъ за это время было просто сказочное; они и сами не съумѣли бы объяснить сколько-нибудь понятно, чѣмъ они жили. Попадалась имъ невзначай, какъ съ неба свалившаяся, работа, они хватались за нее и перемогались; не попадалось работы, также перемогались. Прорвало въ нынѣшнюю весну плотину у мельника Якова, и парашкинцы неожиданно получили по пуду муки за исправленіе плотины, которая въ одинъ день была приведена въ прежній порядокъ. Случайно прибѣжалъ назадъ къ своему хозяину пропавшій теленокъ—и хозяинъ немедленно же свелъ его въ городъ, а у другого хозяина вдругъ опоросилась свинья двѣнадцатью штуками, и поросята почти мокрыми тоже увезены были въ городъ.

— Ничего вамъ не будетъ!—мрачно отвѣтилъ онъ и уѣхалъ.

Не одинъ гласный губернскаго земства бѣжалъ и увозилъ отъ парашкинцевъ тяжелое чувство; всѣ, кто имѣлъ съ ними какія-либо сношенія, испытывали то же самое и потому старались не заглядывать къ чумнымъ людямъ.

Даже исправникъ и становой на эту весну ѣздили къ нимъ только по необходимости. Первый посѣщалъ ихъ изрѣдка лишь затѣмъ, чтобы посмотрѣть, тутъ-ли они, живы-ли? Что касается послѣдняго, то онъ, разумѣется, волей-неволей долженъ былъ навѣщать ихъ, но дѣлалъ это уже безъ прежней увлекательности, потому что никакихъ дѣлъ съ ними у него больше не было. Приневоленный своими обязанностями отъ времени до времени появляться среди парашкинцевъ, онъ ѣхалъ къ нимъ съ отвращеніемъ, уѣзжалъ съ странною меланхоліей, какъ будто началъ сомнѣваться, дѣйствительно-ли его должность и проистекающія изъ нея обязанности имѣютъ смыслъ послѣ того, какъ выбивать было больше ничего, и можетъ-ли онъ по совѣсти сказать, что получаетъ жалованье за работу? Однимъ словомъ, на всѣхъ парашкинцы наводили уныніе.

Сами парашкинцы еще болѣе притихли, когда ихъ начали чуждаться сторонніе люди; они замкнулись въ себѣ и не предпринимали никакихъ мѣръ противъ своего несчастія, уклоняясь даже отъ взаимныхъ совѣтовъ, которыми въ прежнія времена они облегчали свои души. Водворившаяся, такимъ образомъ, мертвая тишина дѣйствовала еще болѣе удручающимъ образомъ; рѣдко можно было увидѣть кого-нибудь изъ нихъ въ полѣ, на улицѣ или въ какомъ другомъ мѣстѣ; если же кто и показывался, то всѣ дѣйствія его были настолько странны, что ихъ скорѣе можно было приписать человѣку, опоенному дурманомъ. Шальное выраженіе лицъ, безцѣльность и безпричинность въ разговорѣ, полнѣйшее отсутствіе сознательности—таковы качества, отличавшія всѣхъ вообще парашкинцевъ. Ихъ забыли и они всѣхъ людей забыли. Тогда, не видя другихъ людей, кромѣ ошалѣвшихъ, не слыша возбуждающихъ словъ или угрозъ, поощреній или совѣтовъ, не видя вокругъ себя ничего, кромѣ дикости и запустѣнія, безъ цѣли въ жизни и безъ надеждъ, пустые и отупѣвшіе, парашкинцы одичали.

Стали они пить, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить пустое

время и пустоту въ умахъ своихъ, а такъ какъ своихъ собственныхъ средствъ у нихъ не было, то они норовили поймать перваго провинившагося противъ нихъ человѣка другой деревни, приводили его къ кабаку и брали сивухи. Здѣсь, около кабачка, на заросшей полынью лужайкѣ они и пили всѣ вмѣстѣ; здѣсь веселье, здѣсь же нерѣдко происходили между нѣкоторыми изъ нихъ битвы съ кровопролитіемъ; наконецъ, здѣсь же, противъ кабачка, нѣкоторые изъ нихъ плакали навзрыдъ, укоряя другъ друга въ глупости, въ свинствѣ и въ безбожіи.

Въ такомъ-то нравственномъ состояніи былъ возбужденъ солдатомъ Ершовымъ вопросъ о переселеніи на новыя мѣста.

Солдатъ Ершовъ числился хозяиномъ, имѣлъ одну душу, но землю давно бросилъ и началъ промышлять пропитаніе другими способами, изо дня въ день, отличаясь отъ остальныхъ жителей только тѣмъ, что былъ неизмѣримо изобрѣтательнѣе ихъ, чему не мало помогала его безсемейность и знакомство со многими отдаленными странами. У него, пожалуй, и была своя семья, состоящая изъ жены и двухъ взрослыхъ дочерей, только онъ никогда ихъ не видалъ, а часто даже не зналъ, въ какихъ мѣстахъ онѣ спасаются. Разбрелись онѣ въ разныя стороны еще въ началѣ парашкинскаго несчастія и съ тѣхъ поръ жили особнякомъ, каждая сама по себѣ: жена въ Москвѣ, одна дочь въ Питерѣ, другая дочь всюду, потому что не имѣла постояннаго мѣстожительства; самъ же солдатъ оставался дома, хотя домъ его былъ только центральнымъ пунктомъ, откуда онъ дѣлалъ экскурсіи, простиравшіяся на всѣ окрестности и продолжавшіяся иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. Какъ и дочь, онъ, въ сущности, не имѣлъ опредѣленнаго пристанища, промышляя пропитаніе подобно птицѣ небесной.

Характеръ его труда былъ въ высшей степени неопредѣленный, вслѣдствіе чего пропитаніе его зависѣло всегда отъ случайности, отъ стеченія благопріятныхъ или неблагопріятныхъ обстоятельствъ. То онъ живетъ цѣлую недѣлю у попа замѣсто кухарки, которая вдругъ заболѣла, и мѣситъ пироги, обнаруживая въ этомъ занятіи увлеченіе и близкое знакомство съ дѣломъ; то отучаетъ у барина жеребятъ отъ соски и быстро достигаетъ своей цѣли, употребляя особые намордники и перцовку; то вдругъ дѣлается нянькой у богатаго

мужика, живущаго за пятьдесятъ верстъ отъ Парашкина, и въ этомъ качествѣ живетъ всю страду, выговоривъ за свой трудъ скромное вознагражденіе — „дневное пропитаніе и сапоги къ Успенію“. Часто онъ уходилъ, если ужь нигдѣ не могъ пристроиться, въ Сысойскъ, и тамъ въ подвалахъ, куда имѣлъ по своему обширному знакомству свободный доступъ, ловилъ крысъ, продавая шкурки на лайку. Конечно, о полезности и производительности труда здѣсь не могло быть и рѣчи.

Ершовъ былъ въ томъ же положеніи и такъ же приспособлялся, какъ и всѣ вообще парашкинцы. Тѣ приспособлялись къ смерти, сокращая свою жизнь до нуля, и онъ приспособлялся къ загробной жизни; тѣ съѣли все, что было, и все, что будетъ за десять лѣтъ впередъ, и онъ также. Только онъ былъ изобрѣтательнѣе. Весной, когда онъ принужденъ былъ часто оставаться дома, что̀ дѣлалось имъ крайне неохотно, онъ пропитывался чуть не однимъ воздухомъ, придумывая въ то же время разные способы обмануть свой голодъ: ѣлъ щавель, отыскивалъ какіе-то коренья, называя ихъ „свинымъ корнемъ“, жарилъ какіе-то листья, называя ихъ „заячьей капустой“, и проч. Просто было удивительно видѣть въ такомъ старомъ человѣкѣ столько неутомимости!

Наконецъ, въ послѣднюю весну онъ остался навсегда дома. Сказалась-ли въ немъ дряхлость, — ему было уже около шестидесяти лѣтъ, — или начала угнетать вообще усталость и безцѣльность существованія, только онъ сильно затосковалъ. Сталъ онъ частенько высказывать желаніе поселиться гдѣ-нибудь навѳвсе, подумывалъ также о собственномъ постоянномъ пристанищѣ, гдѣ бы можно было положить старыя кости, и о спокоѣ, который заслуженъ имъ. Когда же ему говорили, что пристанище у него есть—его домъ, то онъ возражалъ, что дома у него можно только волка заморозить, а не то, чтобы успокоить человѣка, да и вообще, относительно деревни, мнѣніе его было таково, что въ этомъ мѣстѣ и умереть спокойно не дадутъ.

Однажды, когда волостное начальство собрало всѣхъ парашкинцевъ на сходъ и выдало каждому изъ нихъ книжки недоимокъ, вмѣсто книжекъ податей, Ершовъ задумчиво заговорилъ о мѣстахъ, гдѣ ему пришлось бывать, и о мѣстахъ,

о которыхъ онъ слыхалъ, причемъ онъ горько плюнулъ, сравнивъ эти мѣста съ своею деревней.

— А знавалъ я, — говорилъ онъ, — нечего Бога гнѣвить, чудесныя мѣста, ну, ужь точно что мѣста! Тамъ бы и помирать не надо; такъ бы и остался тамъ навѣки вѣки вѣчные! Перво-на-перво — лѣсъ: гущина такая, что просвѣту нѣтъ; какъ заберешься въ этакую темноту, такъ только крестишься, какъ бы выбраться, да не заблудиться... одно слово—божеское произволеніе! И земля... сколько душѣ угодно, а наземъ, черноземъ, стало быть, косая сажень въ глубь, во какъ! и при этихъ словахъ Ершовъ провелъ ладонью отъ земли до своей макушки и добавилъ:—Видалъ, видалъ я всякія мѣста!

Парашкинцы стали прислушиваться, заинтересованные словами Ершова, что̀ давно уже не замѣчалось среди нихъ.

— Такъ вотъ, братцы, и намъ бы въ такія мѣста пробраться,—сказалъ далѣе Ершовъ и вопросительно оглядывалъ всю сходку.

— Больно ты ловокъ! — недовѣрчиво воскликнули многіе. Но было уже ясно, что интересъ къ словамъ Ершова былъ возбужденъ, что доказывалось, во-первыхъ, инстинктивною таинственностью, съ какою сходка отодвинулась подальше отъ волостного правленія, выбирая укромный уголъ, защищенный хлѣвомъ и огородомъ, во-вторыхъ, волненіемъ, пробѣжавшимъ по всѣмъ мертвымъ лицамъ.

— Да, право! Взяли бы пашпорта и ушли-бы такимъ манеромъ; и было бы все честь-честью, — продолжалъ, между тѣмъ, Ершовъ.

— Ловокъ! Уйдешь! Какъ же ты уйдешь, выкрутишься-то какъ отсюда?—раздались вопросы со всѣхъ сторонъ.

Это было уже не простое любопытство, а сознаніе кровности дѣла. Сходка начала колыхаться, прежней апатіи и спокойствія не замѣчалось уже ни на одномъ лицѣ. А Ершовъ продолжалъ:

— Отселѣ-то какъ выкрутиться? Говорю: возьмемъ пашпорта и уйдемъ, по причинѣ, напримѣръ, заработковъ,—возразилъ Ершовъ и самъ началъ волноваться.

— А какъ поймаютъ?

— На кой лядъ ты нуженъ? Поймаютъ! Кто насъ ловить-то будетъ, коли ежели мы вниманія не стоимъ, по причинѣ

недоимокъ? А мы сдѣлаемъ все какъ слѣдуетъ, честь-честью, съ пашпортами...

Можно было слышать, какъ пѣло нѣсколько комаровъ, вьющихся надъ сходомъ,—такова была тишина, водворившаяся среди говорящихъ. Всѣ парашкинцы плотною кучей встали и жадно слушали Ершова, устремивъ на него напряженные взоры. Ершовъ воодушевился и заговорилъ взволнованнымъ голосомъ:

— Братцы! — сказалъ онъ, снимая шапку. — Оставаться намъ здѣсь невозможно; доживемъ только до грѣха въ этомъ мѣстѣ... Уйдемъ! Побросаемъ домишки и уйдемъ! Тутъ ужь намъ жить нельзя! Тутъ только помирать... Уйдемъ! А ежели дорогой приключится съ нами что ни на есть, такъ намъ все единственно, хуже не будетъ... Такъ-ли, правильно-ли я говорю?

— Такъ! Такъ! Вѣрное слово, хуже не будетъ! Справедливо!—заговорилъ весь взволнованный сходъ.

— Что-жь, поколѣвать намъ здѣсь, а? Поколѣвать, говорю? Нѣтъ, братъ, шалишь! — закричалъ Иванъ Ивановъ и грозно поводилъ сумасшедшими глазами во всѣ стороны.

Ивану Иванову закрыли ротъ шапкой, но это не значило, что сходка была несогласна съ нимъ; напротивъ, послѣ его восклицаній никто больше не колебался. Найденъ былъ выходъ, а куда онъ поведетъ, никто объ этомъ не думалъ. Стали разспрашивать Ершова о мѣстѣ, куда онъ, въ качествѣ бывалаго человѣка, намѣренъ повести деревню, но эти разспросы были поверхностны, словно это мѣсто мало кого касалось. Дѣйствительно, парашкинцы видѣли одинъ только выходъ, неожиданно открывшійся имъ, запертымъ и помирающимъ людямъ.

— Пойдемъ, куда глаза глядятъ, и до которыхъ мѣстъ дойдемъ, тамъ и сядемъ,—сказалъ Иванъ Ивановъ, выражая общее настроеніе.

Ершовъ, однако, попытался разсказать о новыхъ мѣстахъ, которыя онъ имѣлъ въ виду, причемъ, описывая ихъ живыми и яркими красками, самъ волновался; у него у самого духъ захватывало отъ своего разсказа. Выходило такъ: хлѣба тамъ въ волю, ѣшь, сколько душа проситъ; въ лѣсу можно заблудиться; въ лугахъ можно пропасть совсѣмъ; въ рѣкахъ рыбу прямо руками бери; въ озерахъ караси кишатъ; птицы вся-

кой—тучи; чернозем—во! При этихъ словахъ Ершовъ опять провелъ ладонью отъ земли до макушки своей головы. Дальше же его описанія были еще лучше: степь неоглядная, кругомъ ни души, воля! Жить можно. Только православныхъ нѣтъ, а все киргизъ.

— И нѣтъ тамъ ни одной православной души, все киргизъ?—спросилъ кто-то.

— Кругомъ киргизъ!—отвѣчалъ Ершовъ, блѣдный, едва переводя духъ.

— Ну, ну! Какъ же съ нимъ, съ собакой, совладаешь, жить-то съ нимъ какъ?

— Киргизъ—онъ ничего; киргизъ—онъ честный. Если ты его попоишь чайкомъ, онъ тебѣ лугу отвалитъ... Вотъ онъ какой киргизъ!

Это была единственная справка, наведшая смущеніе на парашкинцевъ, но, немного погодя, уже кто-то возразилъ:

— Да все одно—киргизъ, такъ киргизъ!

Дальше Ершову не-зачѣмъ было и доказывать неизбѣжность переселенія. Напротивъ, онъ долженъ былъ охлаждать волненіе, охватившее всю сходку. Глаза у всѣхъ лихорадочно горѣли; лица были взволнованныя и безумныя; каждый принялся говорить, не слушая другихъ; началось смятеніе, гвалтъ. Напрасно Фролъ убѣждалъ остепениться и хорошенько обсудить дѣло, напрасно онъ говорилъ, что дѣло это трудное и что за него придется держать отвѣтъ, парашкинцы все пропускали мимо ушей. Ихъ можно было обуздать однимъ только страхомъ, что Фролъ и сдѣлалъ, сказавъ, что если они будутъ галдѣть и вообще вести себя неосторожно, такъ ихъ накроютъ и не пустятъ. Парашкинцы это поняли и мгновенно затихли, такъ что снова слышно было пѣніе комаровъ. Они рѣшили немедленно разойтись по домамъ и собраться ночью, но не на открытомъ мѣстѣ, а въ лѣсу. Чтобы дѣло было вѣрнѣе, рѣшили еще втянуть въ умыселъ и старосту, для чего привели его изъ волостного правленія на сходъ и стали убѣждать пристать къ міру. Тотъ сперва отлынивалъ, путался въ словахъ и потѣлъ, но его начали стыдить:

— Что ты съ нами дѣлаешь? Гдѣ у тебя совѣсть-то? Душа-то, крестъ-то есть-ли у тебя?

Старосту пристыдили, а такъ какъ положеніе его было не менѣе ужасно, чѣмъ и всѣхъ остальныхъ, то очень скоро,

понявъ неизбѣжность переселенія, онъ и самъ сталъ лихорадочно сіять глазами и безумствовать.

Настала ночь, и парашкинцы собрались въ условленномъ мѣстѣ. То была прогалина, со всѣхъ сторонъ закрытая густою чащей кустарниковъ и деревьевъ. Въ ней было совершенно темно; только когда выплыла луна, то печальные лучи ея чуть-чуть освѣтили верхушки деревьевъ и середину прогалины, гдѣ стояла кучка народа; но и окраины, и пространство между деревьями сдѣлались еще мрачнѣе. Было тихо. Иногда вдали раздавался трескъ сухихъ вѣтвей: то перебѣжалъ заяцъ на другое мѣсто, показавшееся ему, вѣроятно, болѣе безопаснымъ; гдѣ-то выпорхнулъ изъ-подъ куста тетеревъ; одинъ разъ, вблизи собравшихся, сѣлъ на дерево филинъ, мрачно захохоталъ и скрылся. Подувалъ вѣтерокъ; шелестѣла листва. Парашкинцы тѣсно сбились въ кучку, имѣвшую посерединѣ солдата Ершова, чувствовали, какъ ужасъ проникаетъ въ ихъ души, но не трогались съ мѣста; они обсуждали дѣло шопотомъ, сливавшимся съ шелестомъ лѣса. Оставаться долго въ лѣсу они не могли; здѣсь, въ этомъ мрачномъ мѣстѣ, они сознавали всю серьезность и опасность затѣваемаго ими дѣла и потому рѣшали вопросы быстро, на скорую руку. Раздумывать было некогда; завтра они возьмутъ паспорта, послѣ-завтра соберутся въ путь, черезъ два дня уѣдутъ. Подъ вліяніемъ того же страха, навѣяннаго таинственностью лѣса и темными предчувствіями, они уговорили Фрола отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за нихъ хоть заднимъ числомъ,—все же, можетъ, простятъ ихъ! Фролъ не устоялъ и угрюмо согласился. Этимъ кончилась ночная сходка; парашкинцы разошлись молча и торопливо, подозрительно оглядываясь по сторонамъ, не замѣтилъ-ли кто и не донесетъ-ли на нихъ.

Фролъ сдержалъ свое слово. На другой же день онъ собрался въ путь, чтобы толкаться по прихожимъ и ходатайствовать. На этотъ разъ онъ уходилъ вовсе и, вслѣдствіе этого, не могъ сдержать накопившагося въ душѣ гнѣва; онъ запрегъ единственную свою лошадь, которую по пріѣздѣ въ городъ намѣревался немедленно отдать на живодерню, какъ животное, не стоющее корма, поклалъ на телѣгу весь свой скарбъ, злобно заколотилъ окна избы, спихнувъ въ то же

время ногой колышки, которыми она была подперта, и плюнулъ на все.

— Айда, Марья! Садись! — говорилъ онъ женѣ, оглядывая свой домъ.

Однакожь, и тутъ не выдержалъ: отправился на огородъ, покопалъ тамъ изъ ямочки земли, положилъ ее въ кожаный кошель, висѣвшій у него за пазухой, и только тогда тронулся въ путь. Это было его послѣднее прощаніе.

Парашкинцы также не медлили. Одинъ по одному они принялись брать паспорта, которые выдавались легко, потому что волостное начальство не подозрѣвало умысла своихъ подчиненныхъ, воображая, что они отправляются на заработки. Старшина даже радовался, что, наконецъ, зачумленные люди ожили, перестали приспособляться къ смерти и отправляются отыскивать пропитаніе. Парашкинцамъ это было на руку. Отъ нихъ отдѣлились четыре семьи, долженствовавшія положить въ недалекомъ будущемъ основаніе новой деревни, быть можетъ, болѣе счастливой, чѣмъ старая, да еще не пошла „со всѣми“ Иваниха, не пожелавшая слѣдовать въ далекій и неизвѣстный путь. Но эти обстоятельства не могли смутить парашкинцевъ. Они дѣятельно, хотя и таинственно, готовились. Хлопотъ, впрочемъ, представлялось немного; къ этому моменту у нихъ не оставалось уже ни имущества, ни скота, а потому собирать и везти было нечего, кромѣ себя самихъ. Что касается избенокъ, всѣ рѣшили побросать ихъ, не продавая, потому что трудно было найти покупателей гнилушекъ; притомъ, продажа могла возбудить неожиданныя подозрѣнія. Боязнь подозрѣнія и накрытія была такъ сильна, что они приняли, ради безопасности отъѣзда, спеціальныя мѣры. Во-первыхъ, за деревней на пригоркѣ былъ нарочно поставленъ дуракъ Васька, чтобы слушать, не звенитъ-ли колокольчикъ, и смотрѣть, не ѣдетъ-ли кто; и Васька, радуясь предстоящей дорогѣ и новымъ впечатлѣніямъ, добросовѣстно исполнилъ порученіе: онъ съ утра до поздней ночи торчалъ на пригоркѣ и вертѣлъ головой во всѣ стороны. Во-вторыхъ, парашкинцы сочли нужнымъ выбрать старосту и въ то же время путеводителя на все время дальней дороги, и для этого годнымъ оказался одинъ солдатъ Ершовъ, человѣкъ опытный и бывалый.

Случилось еще одно исключительное обстоятельство, сильно

повліявшее на ускореніе отъѣзда. Дѣдушка Титъ, сильно одряхлѣвшій, но еще находившійся въ полномъ разумѣніи, вдругъ воспротивился переселенію и не захотѣлъ лично участвовать въ немъ. Онъ уже давно жилъ въ своей избушкѣ одинъ, потому что единственный сынъ его умеръ на заработкахъ, сноха же скиталась по разнымъ городамъ, никогда не являясь въ деревню. Дѣдушка поэтому не желалъ улучшенія своей судьбы и на всѣ уговоры отправиться вмѣстѣ съ прочими на новыя мѣста отвѣчалъ упорнымъ отказомъ, грозно стуча въ землю костылемъ. Гдѣ онъ родился, тамъ и помирать долженъ; которую землю облюбовалъ, въ ту и положитъ свои кости, — вотъ все, что онъ говорилъ каждому. Приходили его уговаривать всѣ парашкинцы, одинъ по одному пробуя на немъ силу своихъ просьбъ и угрозъ, но Титъ упорствовалъ.

— Титъ! Дѣдушка! Какъ ты останешься одинъ? Да тутъ тебя вороны заклюютъ одного-то! Подумай, разсуди. Уважь нашу просьбу—пойдемъ съ нами! Уважь міръ!

Но дѣдъ или молчалъ, или грозилъ.

— Не донесете вы своихъ худыхъ головъ... свернутъ вамъ шею! Помяните слово мое, свернутъ!

Это упрямство и эти угрозы подѣйствовали возбуждающимъ образомъ на парашкинцевъ, заставивъ ихъ еще лихорадочнѣе приготовляться къ переселенію и безумнѣе торопиться бѣжать. Слова Тита, который былъ уважаемымъ патріархомъ деревни, запали имъ въ самую душу. Они торопились выбраться изъ деревни, чтобы не слышать страшныхъ угрозъ, боясь, что онѣ сбудутся.

Но дѣдушка Титъ взялъ назадъ свои слова; онъ примирился и съ своимъ одиночествомъ, и съ тѣми, которые покидали его. Когда насталъ назначенный вечеръ для отъѣзда и парашкинцы двинулись длинною вереницей телѣгъ за околицу, то дѣдъ вышелъ изъ своей избушки и добродушно простился.

— Прощай, Титъ!—отвѣтили ему.

— Прощай, дѣдко!

— Дай тебѣ Господи долго жить! — говорили всѣ парашкинцы, завидя бѣлую голову Тита.

Титъ совершенно расчувствовался и забылъ свою злобу

— Прощайте, дѣтушки!—говорилъ онъ.—Дай вамъ Господи добраго пути, и чтобы все было хорошо... Съ Богомъ!

Послѣ этого Титъ отправился къ себѣ въ избушку, сѣлъ за столъ и облокотился на него. На столѣ стояла чашка съ водой, подлѣ чашки ложка и что-то похожее на кусокъ хлѣба, а у ногъ дѣда терлась пестрая кошка, которая была единственнымъ существомъ, оставшимся коротать съ нимъ дни. Въ такомъ положеніи онъ просидѣлъ весь вечеръ, всю ночь и весь слѣдующій день; въ томъ же положеніи его застали и парашкинцы...

Потому что парашкинцы возвратились. Они не могли не возвратиться, охраняемые заботливостью станового, и было бы удивительно, еслибы они ускользнули отъ этой заботливости и безслѣдно пропали. Простившись съ дѣдушкой, они почувствовали на сердцѣ легко и отправились безъ предчувствій. Они были въ самомъ бодромъ настроеніи духа и всѣ проникнулись одною мыслью и одною рѣшимостью, вопреки худымъ и тощимъ лицамъ, ввалившимся глазамъ и изморенвымъ тѣламъ, на которыхъ мотались безобразные лохмотья. Но радость ихъ была непродолжительна; не успѣли они отъѣхать пятнадцати верстъ, какъ ихъ нагналъ становой.

Кто увѣдомилъ послѣдняго объ умыслѣ парашкинцевъ—неизвѣстно, но, какъ бы то ни было, онъ узналъ и быстро пресѣкъ злой умыселъ. Въ это время онъ какъ разъ находился въ другомъ концѣ своего стана, гдѣ случилось смертоубійство, важное дѣло, вслѣдствіе котораго онъ не спалъ цѣлыя сутки. Неудивителенъ поэтому овладѣвшій имъ гнѣвъ, когда онъ узналъ о бѣгствѣ парашкинцевъ, считаемыхъ имъ самымъ неповоротливымъ и непредпріимчивымъ народомъ, который способенъ скорѣе умереть, чѣмъ причинить непріятности начальству. Бросивъ дѣло, лежавшее на его рукахъ, онъ поскакалъ догонять бѣглецовъ, нагналъ, задержалъ и сталъ смѣяться надъ дураками, хотя при немъ было только двое понятыхъ.

— Это вы куда собрались, голубчики? — спросилъ онъ, поперемѣнно оглядывая ввалившіеся глаза, съ ужасомъ устремленные на него.

Парашкинцы въ оцѣпенѣніи молчали.

— Путешествовать вздумали, а?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? Въ какія же страны?—спросилъ становой и потомъ, вдругъ перемѣняя тонъ, заговорилъ горячо:—Что вы затѣяли, а? Переселеніе? Да я васъ... вы у меня вотъ гдѣ сидите! Я изъ-за васъ двое сутокъ не спавши... Маршъ домой!... У! Покою не дадутъ!

Парашкинцы все еще стояли оцѣпенѣлые, но вдругъ, при одномъ словѣ „домой", заволновались и почти вразъ проговорили:

— Какъ тебѣ угодно, ваше благородіе, а намъ ужь все едино! Мы убѣгаемъ!

Тогда становой велѣлъ понятымъ поворотить лошадей головами къ покинутой деревнѣ. Когда приказаніе это было исполнено, послѣ продолжительной и утомительной возни, въ которой сами парашкинцы не принимали никакого участія, безмолвно стоя на мѣстѣ, становой приказалъ имъ ѣхатьдомой, причемъ двое понятыхъ сѣли на переднюю телѣгу переселенцевъ, а самъ онъ съ своимъ тарантасомъ всталъ послѣ задней телѣги. Парашкинцы безмолвно заняли свои мѣста, и поѣздъ тронулся въ обратный путь, изображая собою погребальное шествіе, въ которомъ везли нѣсколько десятковъ труповъ въ общую для нихъ могилу—въ деревню. Это парашкинцы, видно, и сами чувствовали, потому что прониклись поголовно безнадежною и мрачною рѣшимостью.

Такъ какъ спать становому все-таки смертельно хотѣлось, а слова парашкинцевъ пугали его своимъ таинственнымъ смысломъ, то онъ попробовалъ заручиться отъ нихъ немедленнымъ же отказомъ отъ невозможнаго предпріятія. Для этого, на половинѣ дороги, онъ выѣхалъ на середину поѣзда и спросилъ такъ громко, чтобы всѣмъ было слышно:

— Ну, что ребята, надумались? Или все еще хотите бѣжать? Бросьте, пустое дѣло!

— Убѣгемъ!—твердо отвѣчали парашкинцы.

Становой опять поѣхалъ сзади. Но передъ въѣздомъ въ деревню, куда погребальное шествіе пришло черезъ нѣсколько часовъ, онъ опять спросилъ, надумались-ли они.

— Убѣгемъ! — съ тою же мрачною твердостью отвѣчали парашкинцы.

Становой окончательно растерялся. Онъ испугался, какъ

бы и въ самомъ дѣлѣ парашкинцы не исполнили своей угрозы, и чтобы доказать имъ всю незаконность ихъ поступка, а также убѣдить въ невозможности привести въ исполненіе ихъ замыселъ, принялъ временную мѣру, въ одно и то же время мягкую и цѣлесообразную. Недалеко отъ деревни, возлѣ водопоя, стоялъ бревенчатый загонъ, куда пастухи Петра Петровича ночью загоняли лошадей, а въ жаркіе часы дня—рогатый скотъ. Сюда и были, съ согласія Петра Петровича, временно помѣщены съ телѣгами и лошадьми парашкинцы, съ помощью понятыхъ, взятыхъ изъ окрестныхъ деревень; помѣщены до тѣхъ поръ, пока не сознаются въ незаконности своихъ дѣйствій и не откажутся отъ желанія бѣжать.

Такъ прошли два дня, въ продолженіе которыхъ становой наблюдалъ за дѣйствіями парашкинцевъ, пытаясь отъ времени до времени вести съ ними переговоры, а парашкинцы оставались въ загонѣ и отказывались отвѣчать. Изъ мѣста ихъ стоянки поднимались испаренія; подъ ногами ихъ образовалась грязь; лошади ихъ стояли безъ корму; они также оставались не ѣвши. Но, не обращая вниманія ни на свое положеніе, ни на увѣщанія, твердо держались только за одну мысль и высказывали лишь одно рѣшеніе.

— Убѣгемъ!—говорили они на всѣ увѣщанія.

Становой прожилъ еще полтора сутокъ, задержанный въ деревнѣ неожиданнымъ происшествіемъ: умеръ дѣдушка Титъ, скоропостижно и неизвѣстно когда. Его нашли въ избушкѣ уже закоченѣлымъ; онъ сидѣлъ на лавкѣ, облокотившись на столъ; подлѣ него стояла деревянная чашка съ водой, лежала ложка и небольшой сухарь хлѣба, а у ногъ его терлась пестрая кошка. Становой волей-неволей долженъ былъ остаться въ деревнѣ, хотя на него напала такая меланхолія, что онъ съ минуты на минуту собирался ускакать изъ зачумленнаго мѣста. Дѣйствительно, истощивъ всѣ средства убѣжденія, все болѣе и болѣе одолѣваемый черными мысляи и тоской, онъ поглядѣлъ-поглядѣлъ и махнулъ на все рукой.

— Чортъ съ вами! Живите, какъ знаете!—вскричалъ онъ и уѣхалъ.

А черезъ нѣсколько дней послѣ его отъѣзда парашкинцы бѣжали. Только не вмѣстѣ, и не на новыя мѣста, куда-было

повелъ ихъ солдатъ Ершовъ, а въ одиночку, кто куда могъ, сообразуясь съ направленіемъ, по которому въ данную минуту устремлены были глаза. Одни бѣжали въ города; такъ, солдатъ Ершовъ очутился въ Питерѣ и долгое время продавалъ на Гороховой дули, одѣтый все въ ту же шинель съ одною пуговицей, дряхлый и худой. Другіе ушли неизвѣстно куда и никѣмъ послѣ не могли быть отысканы, продолжая, однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностямъ, не имѣя ни семьи, ни опредѣленнаго пристанища, потому что въ свою деревню ни за что не хотѣли вернуться.

Такъ кончили парашкинцы; вмѣстѣ съ ними кончился и героическій періодъ деревни, вступившей послѣ того на путь мелочей и пустяковъ.

Разсказы о пустякахъ.

I.

Мѣшокъ въ три пуда.

Чуть брезжилось утро. Солнце только-что засвѣтило блѣднымъ свѣтомъ, который освѣтилъ голыя вершины холмовъ, недавно еще покрытыхъ снѣгомъ, а теперь желтыхъ, какъ глина; воздухъ былъ теплый, весенній и съ желтыхъ холмомъ скатывались ручьи, неся съ собой остатки снѣга, грязь, глину, и растекались по полямъ. А поля, на половину оттаявшія, на половину покрытыя снѣгомъ, тамъ и сямъ показывали прогалины голой земли, покрытой прошлогоднею желтоватою травой... Ближе къ деревнѣ снѣгу совсѣмъ не было видно. Рѣчка, извивавшаяся вокругъ нея, уже бурлила; по улицамъ журчали ручьи, увлекая съ собой грязь и навозъ. Начиналась весенняя чистка деревенскаго воздуха и земли. Даже дымъ, стоявшій надъ деревней каждое утро, не былъ такъ ѣдокъ, какъ зимой; испускаемый всѣми наличными трубами, онъ разсѣевался въ воздухѣ. Только одна изба не топилась, изъ ея трубы не валилъ дымъ, возлѣ ея воротъ не видно было жизни, въ видѣ поросятъ, собакъ и ребятишекъ, и ея окна не были открыты, какъ дѣлается это въ другихъ избахъ, обитатели которыхъ не желаютъ задохнуться въ копоти. Однимъ словомъ, не топилась печь въ избѣ Савостьяна Быкова, извѣстнаго въ деревнѣ болѣе подъ уменьшеннымъ именемъ Савоси.

Съ ранняго утра поднялась вся семья его, поднялась она было на обычную работу, но съ перваго же мгновенія, когда семья продрала глаза отъ тревожнаго сна, никакой настоящей работы не оказалось; всѣ были какъ будто заняты, но всѣ занятія имъ какъ будто были не нужны, безполезны и затѣвались зря. Татьяна занималась около пустой, холодной

печки, перемывала посуду, перетряхивала нѣсколько разъ помело, но какъ бы сомнѣвалась, были-ли необходимы всѣ эти дѣйствія, обычныя во всякое другое время и безсмысленныя теперь. Она осмотрѣла пустую квашню, поскребла ее ножомъ, вымыла и поставила сушить; однако, квашня только напоминала ей. хлѣбы, которые бы она теперь „мѣсила", а хлѣбовъ въ домѣ не было, потому что вчера еще испечена была послѣдняя горсть пыли и муки; приготовленіе квашни, слѣдовательно, ни къ чему не вело, лишь наполняя пустое время Татьяны. Между ненужными занятіями она разъ только спросила о дѣлѣ.

— Нѣту?—спросила она у Савоси.

— Нѣту,—отвѣчалъ тотъ смущенно.

Послѣ этого Татьяна кольнула ладонью въ голову Шашку, которая возъимѣла было намѣреніе влѣзть головой въ ведро съ помоями. Шашка заплакала и стала просить ѣсть, что еще больше возмутило мать и она рѣзко сказала:

— Молчи, Шашка! Нѣту у насъ ѣсть. Вонъ проси у отца... И чего же ты сидишь, какъ пень?—обратилась вдругъ Татьяна къ мужу.—Чай, ѣсть-то надо?

Савося съ самаго утра сидѣлъ на лавкѣ и приставлялъ заплату къ полушубку, который, правда, очень расхудѣлся, но не былъ еще такъ плохъ, чтобы имъ однимъ заниматься въ тотъ день, когда есть было нечего. Онъ все время молчалъ и копался въ полушубкѣ. Но когда Татьяна обратилась къ нему съ упрекомъ, онъ вдругъ поднялся, заволновался, надѣлъ не дочиненный полушубокъ и заговорилъ скоро, торопливо, обращаясь ко всей семьѣ и повторяя одно и то же:

— Авось, Богъ дастъ, промыслимъ! Не въ первой... живы будемъ, Богъ милостивъ!... Айда, робя, промышлять, кто куды!... Опчими силами. Господи благослови! Васька, Ванюшка! Живѣй, други, одѣвайся, валяй въ кусочки, на прокормленіе! Авось помирать не придется, чай, мы православные хрестьяне... Добрые люди помогутъ, способіе будетъ... Дастъ Богъ, поправимся. Стало быть, хлѣба у насъ въ нынѣшнія сутки нѣту и каждый изъ насъ промышлять должонъ. Васька! Ванюшка! Живѣе шевелись!... Господи благослови!

Высказавъ это, Савося постоялъ съ безпокойнымъ лицомъ около лавки, потомъ, когда Васька и Ванюшка живо стали

одѣваться и искать кошели, къ обращенію съ которыми они издавна привыкли, онъ притихъ, успокоился, снова сѣлъ, скинулъ полушубокъ и принялся разсматривать его, намѣреваясь снова приняться за его починку. Возбудивъ своихъ сыновей идти промышлять, онъ и самъ на мгновеніе воодушевился, но, вспомнивъ, что собственно промышлять ему негдѣ, онъ сразу опустился. Эта мысль, очевидно, стукнула прямо его по головѣ, и онъ сѣлъ. Обычное спокойствіе его возвратилось, опять все вниманіе его обратилось на разорванныя мѣста полушубка и опять онъ оглядывалъ равнодушно свою семью: Татьяну, Ваську, Ванюшку, Шашку. Послѣдняя, потерпѣвъ пораженіе около помойнаго ведра, подошла къ отцу и ласково терлась щекой о его колѣни. Она была худая, полуголая дѣвочка. нужда отразилась на всемъ ея худенькомъ и грязномъ тѣльцѣ, рисовалась во впалыхъ и грустныхъ глазахъ, которые были постоянно широко раскрыты, какъ бы изумлялись, почему ей не всегда давали ѣсть, отпечатывалась на поблѣднѣвшихъ щекахъ и на животѣ, который былъ постоянно надутъ, какъ пузырь. Она иногда ложилась на животъ и, болтая ногами, уставляла взглядъ широко раскрытыхъ глазъ на отца или на мать, и не сводила его до тѣхъ поръ, пока ее не отвлекалъ другой предметъ. Мать сердито отворачивалась отъ этого взгляда удивленія; отецъ всегда приходилъ въ нѣкоторое смущеніе. Теперь онъ погладилъ свою Шашку по головѣ и опустилъ глаза на полушубокъ. Онъ не сказалъ ей ни одного ласковаго слова: молчалъ. Молчала и Татьяна. Только Васька и Ванюшка ужасно возились; надѣвая штанишки, полушубки и отыскивая шапки, они подняли содомъ, смѣялись и не скрывали своей радости, отправляясь „въ кусочки". Во-первыхъ, они захотѣли ѣсть; во-вторыхъ, имъ уже мысленно представлялось, по дорогѣ въ другія деревни, множество предпріятій около ручьевъ, лужъ и бушевавшей отъ весенняго разлива рѣки. Нужды нѣтъ, что они отправлялись собирать „пособіе" кусочками, но дѣтская натура взяла свое, и они уже заранѣе разыгрались. Васька надѣлъ на голову Ванюшки кошель и сквозь него потянулъ брата за носъ, а Ванюшка оралъ, вертѣлся на одной ногѣ и изъ глубины нищенскаго кошеля нѣсколько разъ прокричалъ скворцомъ.

— Что вы, дьяволята, разбушевались? Васька... ахъ, ты,

песъ паршивый!—закричала Татьяна, послѣ чего Васька получилъ громкій подзатыльникъ.—Постыдились бы хохотать-то, не на работу идете... Христарадники!—добавила Татьяна.

И въ то же мгновеніе Ванюшка на свою долю получилъ нѣчто, но онъ ловко увернулся, вслѣдствіе чего полнаго подзатыльника счастливо избѣгнулъ.

При словѣ „христарадники" Савося поднялъ съ полушубка глаза и посмотрѣлъ на Татьяну.

— Мы не христарадники, потому кажную весну идетъ на людей нужа... обыкновенно ничего не промыслишь,—возразилъ онъ убѣжденно.

Онъ былъ правъ. Въ мѣстности, гдѣ онъ жилъ, каждую весну мужики колотились. Приходила весна и приносила съ собой нужду, которая свирѣпствовала безпощадно и неумолимо; прилетали ласточки, и появлялись ребятишки съ кошелями, гулявшіе по всѣмъ деревнямъ за кусочками. Хлѣбъ къ этому времени у всѣхъ выходитъ, а травы еще не поспѣли. Взрослые рѣдко ходили въ кусочки; только нѣкоторыя старухи не смущались и христарадничали. За то ребята поголовно кормились кусочками, подобно жаворонкамъ, клевавшимъ скудный кормъ наступающей весны. Это было правило, съ давнихъ поръ оставшееся безъ исключеній. Половина населенія пропитывалась на общій счетъ, взаимно помогая себѣ, вынося нужду подъ круговою порукой. Когда наставала оттепель и съ горъ катились ручьи, дѣти шатались изъ деревни въ деревню и питались. Имъ никто не отказывалъ; та баба, у которой были испечены „послѣдніе хлѣбы", не считала себя уже въ правѣ гнать маленькихъ, хроническихъ нищихъ; отказывала только та, у которой и „послѣдняго хлѣба" не было. Съ давнихъ временъ это вошло въ обычай, переставшій быть предметомъ стыда, потому что и стыдиться было некому. Стыдъ былъ общій, слѣдовательно, его не существовало.

Если Татьяна и попрекнула мужа, то потому, что была зла на этотъ разъ, несчастна, потерянна...

Татьяна выпроводила за дверь Ваську и Ванюшку и опять принялась за домашнюю суету, не ведущую ни къ какимъ послѣдствіямъ, т. е. перемывала ненужные нынче горшки, колола зачѣмъ-то лучину, заглядывала въ пустую печь, вымывала оказавшіяся безъ дѣла ложки и проч. Деревенская

баба, лишенная возможности „стряпать“, чувствуетъ себя глубоко несчастною, не потому только, что предвидитъ въ будущемъ голодный день, но потому, что вдругъ лишается обычнаго занятія, дѣлается сама на цѣлые дни непригодною, оскорбляется въ своей завѣтной гордости хозяйки и кормилицы и чувствуетъ себя несчастною. Татьяна не составляла исключенія. Каждое утро она обыкновенно возилась съ помоями, палила себѣ волосы передъ печкой, жгла руки о горячіе хлѣбы, пачкалась сажей о трубу, а нынче было отнято отъ нея все это, и если она продолжала толкаться возлѣ печки, то это только обнаруживало ея желаніе скрыть душившее ее раздраженіе.

Самъ Савося все утро также сидѣлъ дома и громко сопѣлъ надъ полушубкомъ. Когда же всѣ прорѣхи были зачинены, онъ принесъ въ избу худое корыто и также принялся чинить его. Затѣвалъ еще много другихъ хозяйственныхъ дѣлъ и оканчивалъ ихъ, но совершалось все это безъ охоты, съ цѣлью забыть пустую печь.

Наконецъ, онъ вынулъ изъ-подъ лавки мучной мѣшокъ и задумчиво разсматривалъ его, вертя въ рукахъ и заглядывая въ его внутренность. Мѣшокъ былъ пустой. Это обстоятельство, повидимому, удивило его.

— Все до чиста́ поѣли... диковина! Добывать гдѣ ни то надо.—сказалъ онъ и вопросительно посмотрѣлъ на Татьяну.

— А то ты думаешь какъ: починишь дыру и будетъ тебѣ хлѣбъ?—сердито возразила Татьяна.

Савося смутился, положилъ на лавку мѣшокъ и сѣлъ самъ.

Шашка все терлась около его колѣнъ и просила отъ времени до времени ѣсть; наконецъ, она довела его до такой степени стыда, что онъ безпокойно завозился и возымѣлъ намѣреніе выйти совсѣмъ изъ избы, чтобы толкнуться „туды-сюды“ и позанять хлѣба. Въ долгу онъ находился кругомъ, постоянно ощущая на себѣ узду, за которую его тянули въ разныя стороны забротавшіе люди, но онъ къ такому ощущенію привыкъ и безъ опасенія лѣзъ къ нимъ за новыми обязательствами. Къ обязательствамъ онъ также привыкъ, половину ихъ позабывая или совсѣмъ не исполняя, если его не ловили, а на обязывающихъ людей смотрѣлъ какъ на мѣшки съ мукой. Даютъ эти мѣшки — онъ ихъ почитаетъ; нѣтъ — онъ съ ними не имѣетъ никакого дѣла. Его тянулъ

управляющій сосѣдняго имѣнія, Таракановъ, тянули всѣ помѣщики сосѣднихъ имѣній, всѣ мѣстные кулаки, казна, и всѣмъ имъ онъ былъ долженъ, но отдавался тому, кто прежде всѣхъ успѣвалъ его поймать и засадить за работу; про всѣхъ остальныхъ хозяевъ своихъ онъ забывалъ и, взявъ отъ нихъ мѣшки, бѣгалъ отъ нихъ.

Всѣ описанные примѣты и дѣйствія подадутъ иному читателю поводъ счесть Савостьяна Быкова плохимъ мужиченкой, худымъ во всѣхъ отношеніяхъ и пролетѣвшимъ всѣ ступени нищеты и наглости. Это не вѣрно. Положимъ, что Савося былъ измотавшійся, пустой мужикъ, за душой котораго не осталось ничего цѣльнаго. Все ушло *въ долгъ*, въ которомъ онъ завязъ по уши. Съ перваго раза это явленіе кажется самымъ обыкновеннымъ. Ну, долженъ—и конецъ; у кого же нѣтъ долговъ и кто же не разоряется? Но съ нѣкотораго времени многимъ этотъ долгъ кажется нѣсколько подозрительнымъ, почти фальшивымъ. На Савосѣ лежалъ особенный долгъ, ни въ какомъ другомъ классѣ незнакомый. Этотъ долгъ такъ обширенъ и необъятенъ, что, наконецъ, съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя: да дѣйствительно-ли Савося Быковъ долженъ кому-нибудь? Подозрительнымъ кажется именно эта необъятность Савосиныхъ обязательствъ: долженъ онъ въ волости, долженъ Шипихину, долженъ Тараканову, долженъ Рубашенкову и какому-нибудь конокраду, долженъ кулаку и всякому другому прохвосту, кому только не лѣнь взять его за шиворотъ и обязать. Если бы Савося сидѣлъ сложа руки, пьянствовалъ и развратничалъ, какъ кутила другого класса, тогда этотъ поразительный долгъ былъ бы нѣсколько понятенъ, но Савося, въ обыкновенномъ смыслѣ, велъ честную жизнь: работалъ, чтобы достать пудъ муки, пилъ, вмѣсто вина, ядъ, чтобы на мгновеніе отравить себя, и развратничалъ развѣ тѣмъ, что ходилъ иногда голымъ, потерявъ стыдъ къ такому безобразію. Просто беретъ сомнѣніе, какъ это человѣкъ съ такими ограниченными, почти нелѣпыми потребностями, удовлетворяющимися мукой и ядомъ, вдругъ оказывается всеобщимъ должникомъ, притомъ такимъ должникомъ, который всѣми признается безнадежнымъ и долгъ котораго неоплатенъ? Съ такимъ обязательствомъ, съ такимъ *долгомъ* найти въ другомъ классѣ нельзя ни одного человѣка; чтобы отыскать для Савоси Быкова подходящую

пару, нужно спуститься ниже человѣка, взять домашнюю скотину, которая, дѣйствительно, всякому хозяину должна и обязана все дѣлать; между тѣмъ, Савося — человѣкъ, притомъ человѣкъ довольно хорошій, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, настолько хорошій, насколько это допускается жизненными условіями его.

Пустая жизнь сдѣлала Савосю пустымъ. Жилъ онъ, какъ говорится, чѣмъ Богъ пошлетъ. Не имѣя ничего за душой, никакой опредѣленной мысли, ни даже опредѣленнаго существованія, онъ метался со дня на день: въ одномъ мѣстѣ наткнется на барина и своими услугами выхлопочетъ нѣсколько копѣекъ, въ другомъ — поймаетъ временную работу и добудетъ хлѣба; тамъ что-нибудь словитъ — и живъ. Никакихъ обязанностей онъ за собой не признаетъ, просто забылъ о нихъ; никакихъ долговъ не платитъ и всегда доволенъ, мучась только тогда, когда „жрать нечего". Сдѣлавшись самъ пустымъ мѣшкомъ, онъ и всѣхъ остальныхъ людей дѣлилъ на двѣ половины: на такихъ, отъ которыхъ можно чѣмъ-нибудь попользоваться, и на такихъ, съ которыхъ содрать нечего. Встрѣчаясь въ первый разъ съ человѣкомъ, онъ, прежде всего, соображалъ, дастъ тотъ ему что-нибудь, или не дастъ. Если видѣлъ, что не дастъ, то относился къ нему съ глубокимъ равнодушіемъ и нѣсколько даже презрительно, не желая пошевелить пальцемъ или губами для такого „жидомора", но если судьба натыкала его на человѣка подходящаго, въ смыслѣ муки, тогда онъ сразу преображался, обнаруживая такую энергію и суетливую старательность, что трудно было и понять, откуда столько силы берется въ этомъ мужичкѣ, обыкновенно апатичномъ и сонливомъ. Онъ дѣлается неистовымъ въ работѣ, какъ въ послѣднемъ случаѣ у попа, гдѣ онъ копался въ сору по пятнадцати часовъ въ сутки, не уставая и требуя лишь краюшку хлѣба побольше.

Живя постоянно этимъ пустымъ существованіемъ, свыкнувшись съ нимъ, видя позади и впереди себя то же самое пустое существованіе, подъ которымъ подразумѣвается лишь краюшка хлѣба, онъ постепенно бросилъ съемку земли, да и мірской надѣлъ обрабатываетъ съ грѣхомъ пополамъ. Стоило только посмотрѣть Савосю Быкова во время пашни: самый это злосчастный человѣкъ! Еще не выѣзжая въ поле, онъ уже разъяренно ругался, вопилъ, безумствовалъ, слов-

но въ судорогахъ. Все у него валилось изъ рукъ и ничего не клеилось. Бранный ревъ его раздавался, какъ будто его рѣзали. Оказывалось вдругъ, неожиданно для него самого, что лошадь у него не кормлена; настоящей сбруи нѣтъ, соха валялась гдѣ-нибудь на огородѣ; какой-нибудь кнутъ—и того въ наличности не было. Савося метался. Наконецъ, кое-какъ напичкавъ захудалую лошадь соломой, отыскавъ соху, перевязавъ мочалкой сбрую и взявъ, вмѣсто кнута, обрывокъ веревки или прутъ, выдернутый изъ плетня, Савося былъ готовъ. „Н-но! Господи благослови!“ Выѣзжалъ со двора. Поѣхалъ. Но вотъ выѣхалъ онъ въ поле, поставилъ соху, двинулъ лошадь веревкой и потащился... „Стой! песъ тебя съѣшь!“—оретъ онъ уже черезъ минуту. Оказалось, что подпруга у него расползлась, не лопнула, а именно расползлась. Съ этой минуты все у Савоси поползло. Реветъ онъ благимъ матомъ, лается. Надъ пашней стоитъ неумолкаемый вой. Все у него ползетъ врозь; дуга, гужи, возжи, соха,—все это лѣзетъ, трещитъ, ломается. Лошадь, и безъ того съ ребрами наружу, теперь еле-еле переводитъ духъ, задерганная хозяиномъ. Савося на нее накидывается, срываетъ на ней свою злобу и муку. Онъ дергаетъ животное за возжи, лупитъ его по ребрамъ прутомъ и, разъярившись до изступленія, подступаетъ къ нему съ кулаками и жаритъ по мордѣ. Наконецъ, истыкавъ землю, измученный, съ измученною лошадью съ расползшеюся сбруей, ѣдетъ домой, кидаетъ на дворѣ и лошадь, и сбрую, и лѣзетъ на печь отдыхать отъ этого страшнаго дня, который онъ долго помнитъ. Но, съ другой стороны, Савося былъ обыкновенный мужичокъ... У каждаго читателя есть извѣстное представленіе мужичка,—не Пахома, не Якова Петрова, а просто мужичка,—и пусть онъ оглядитъ умственнымъ взоромъ это представленіе. Просто мужичокъ одѣвается въ худой полушубокъ, пропитанный Богъ знаетъ чѣмъ; лицо его вообще не мытое, руки похожи на осиновую кору; борода обыкновенно пестрая. Выраженія на лицѣ его обыкновенно нѣтъ никакого, если не считать испуга, постоянно рисующагося на немъ, словно онъ ожидаетъ съ минуты на минуту окрика или затрещины. Это относится и къ глазамъ, которые по большей части мутны и равнодушны; они таращатся только тогда, когда въ голову его стараются что-нибудь вколотить, а сама голова никому не-

извѣстна по своему содержанію... Если Савостьянъ Быковъ и отличался чѣмъ отъ этого просто мужичка, то только тѣмъ, что описанныя сейчасъ примѣты были въ немъ нѣсколько усилены. Напримѣръ, онъ рѣдко чѣмъ-нибудь бывалъ взволнованъ и ко всему въ жизни питалъ полное равнодушіе, за исключеніемъ мѣшка съ мукой, котораго у него вообще не оказывалось.

И теперь также. Онъ обо всемъ забылъ. Чтобы не видѣть больше широко раскрытыхъ глазъ Шашки, онъ собрался выбраться изъ избы, для чего положилъ пустой мѣшокъ подъ мышку и вышелъ. Состояніе его головы въ эту минуту было вотъ какое. Шелъ онъ по рыхлому, проваливающемуся подъ ногами снѣгу и думалъ: „хлѣбца бы"... Это было его idée fixe. Затѣмъ онъ вспомнилъ объ управляющемъ, которому былъ кругомъ долженъ, и подумалъ: „а не дастъ"... Дальше Савося ни о чемъ больше не хотѣлъ и думать, и направилъ шаги въ имѣніе къ Тараканову, хотя и не надѣялся у него насыпать мѣшокъ.

Савося совсѣмъ не думалъ о томъ обстоятельствѣ, что Таракановъ, запутавшій въ сѣть всѣхъ окрестныхъ мужиковъ, давно поймалъ и его; ему надо было раздобыться пропитаніемъ, и онъ шелъ. Но по дорогѣ ему встрѣтился попъ. Савося обомлѣлъ. Онъ вѣрилъ, что встрѣча эта не предвѣщаетъ ничего хорошаго. Однако, онъ подошелъ къ благословенію, положивъ шапку подъ мышку вмѣстѣ съ мѣшкомъ. Батюшка благословилъ и сталъ укорять его въ небреженіи къ церкви и въ безбожіи, стыдилъ его за лѣность и обманъ, попрекалъ полтинникомъ, который Савося обѣщалъ занести, но не занесъ. Это была правда, и Савося слова не могъ вымолвить. Причту онъ задолжалъ за разныя требы, но далъ клятвенное обѣщаніе отдать долгъ. Недавно въ квашню Татьяны попали двѣ мыши, и батюшка также въ долгъ очистилъ отъ нихъ кадушку, думая, что Савося принесетъ весь долгъ вразъ, но Савося обѣщаніе свое забылъ.

Батюшка долго стоялъ съ нимъ и попрекалъ.

— Христопродавецъ ты эдакій! — говорилъ онъ.—Забылъ совсѣмъ храмъ-то Божій. Когда ты принесешь мнѣ полтинникъ? Ты подумай: вѣдь ты православный, а между прочимъ нерадѣніе твое къ нуждамъ духовнаго отца твоего дошло до непотребности. Іуда Искаріотъ, жалко, что-ли, тебѣ?

Савося стоялъ потерянно, мигалъ глазами и не могъ слова вымолвить въ свое оправданіе. Онъ сознавалъ справедливость грознаго нападенія батюшки и молчалъ.

— Клятвопреступникъ! — сказалъ сурово батюшка, — зачѣмъ ты обманываешь?

— Ваше благословеніе! Я уплачу, за все уплачу, только бы мнѣ передохнуть... Вся причина въ мѣшкѣ, нѣту у меня муки, а то я все уплачу,—возразилъ Савося.

Батюшка покачалъ головой. Онъ соображалъ: повѣрить еще разъ Быкову или нѣтъ. Онъ повѣрилъ. Савося глубоко вздохнулъ, когда батюшка отпустилъ его, и онъ могъ продолжать свой путь. Шапку онъ надѣлъ на голову, а мѣшокъ оставилъ подъ мышкой. Но онъ былъ еще разъ не надолго задержанъ. Увидалъ его староста и закричалъ ему издали, чтобы онъ явился нынче въ волость, куда Барановскій баринъ прислалъ требованіе—взыскать съ Савостьяна Быкова долгъ, описавъ часть его имущества. Савося, однако, отнесся къ словамъ старосты равнодушно, хотя не преминулъ издалека крикнуть, что „дай срокъ, онъ все уплатитъ". Про себя же проговорилъ:

„Ишь, жидоморы! Ладно!"

Впрочемъ, возмутился онъ только наружно, а внутренно давно забылъ, что его разрываютъ на части, и думалъ только о предстоящей просьбѣ у Тараканова. Къ нему онъ и продолжалъ идти. Путь былъ не далекій, версты въ двѣ по растаявшему снѣгу; онъ скоро доплелся туда. Дойдя до конторы, гдѣ можно было увидать „управителя", онъ остановился сперва у крыльца и заглянулъ внутрь сѣней. Никого не было. Недалеко рабочіе стучали топорами, но онъ боялся кого-нибудь спросить. Постоявъ около двери, онъ попятился, пощупалъ мѣшокъ подъ мышкой, обошелъ затѣмъ всю контору кругомъ, заглянулъ въ каждое ея окно: онъ боялся получить, вмѣсто хлѣба, „по шеямъ".

— По какому дѣлу? — спросилъ „управитель", вдругъ замѣтивъ мужика, туловище котораго оставалось за дверью, а голова была выставлена впередъ.

— Насчетъ муки... подъ работу бы... я уплачу,—сказалъ Савося и осмѣлился цѣликомъ показаться управителю.

— Ты просишь подъ работу денегъ?

— Какъ угодно вашей милости... мучки бы, оно лучше... я и мѣшокъ захватилъ... три пуда въ немъ въ аккуратѣ...

Савося при этихъ словахъ и мѣшокъ показалъ управителю, какъ неотъемлемую часть себя, послѣ чего сталъ выжидательно смотрѣть на Тараканова.

— Дуракъ!—рѣзко сказалъ „управитель" и презрительно посмотрѣлъ на мѣшокъ.—Я не торгую хлѣбомъ. Если хочешь, бери деньгами. Сколько тебѣ надо и подъ какую работу Да скажи прежде: кто ты,— лицо-то знакомое.

— Быковъ, Савостьянъ Быковъ.

— Быковъ? Посмотримъ. Ты, кажется, такъ много долженъ, что у тебя остается описать имущество.

Управляющій сталъ рыться въ книгахъ.

— Я уплачу... вѣрно уплачу... сумлѣнія я не люблю...— возразилъ Савося, равнодушный къ угрозѣ „управителя".

— Я такъ и зналъ! За тобой числится, гусь лапчатый, девяносто шесть рублей сорокъ четыре копѣйки!—возразилъ управляющій.

Но и это не произвело на Савосю ни малѣйшаго впечатлѣнія; онъ равнодушно выслушалъ цифру неоплатнаго долга, удивляясь только тому, что о ней совсѣмъ забылъ.

— Мы уплатимъ... дочиста зароблю. А какъ теперь ѣсть у меня нѣту, я и пришелъ... сдѣлайте божескую милость, дайте передохнуть!

— Денегъ я тебѣ больше не дамъ!—возразилъ „управитель".

— Съ вами, чертями, одно мученье; нахватаете, а потомъ лови васъ... Ну, да погодите, вы мнѣ кругомъ должны; если лѣтомъ не пойдете на работу ко мнѣ, такъ я у васъ все опишу, и изъ деревни-то вашей выгоню васъ. Довольно вамъ обманывать... Ну, пошелъ!

— Я все зароблю... мнѣ бы передохнуть, а я все уплачу... Господи милостивый! дайте срокъ, все представлю въ аккуратѣ... А ѣсть мнѣ желательно.

— Ступай вонъ!... Или, лучше, вотъ что,—вдругъ перебилъ себя управляющій:—у меня сейчасъ строится амбаръ, ваши же работаютъ; такъ ступай на работу и получишь вечеромъ гривенникъ. Иди.

Управляющій отдалъ приказъ одному рабочему отвести Быкова въ амбаръ.

Савося безъ слова пошелъ вслѣдъ за рабочимъ. Онъ не

Савося стоялъ потерянно, мигалъ глазами и не могъ слова вымолвить въ свое оправданіе. Онъ сознавалъ справедливость грознаго нападенія батюшки и молчалъ.

— Клятвопреступникъ! — сказалъ сурово батюшка, — зачѣмъ ты обманываешь?

— Ваше благословеніе! Я уплачу, за все уплачу, только бы мнѣ передохнуть... Вся причина въ мѣшкѣ, нѣту у меня муки, а то я все уплачу,—возразилъ Савося.

Батюшка покачалъ головой. Онъ соображалъ: повѣрить еще разъ Быкову или нѣтъ. Онъ повѣрилъ. Савося глубоко вздохнулъ, когда батюшка отпустилъ его, и онъ могъ продолжать свой путь. Шапку онъ надѣлъ на голову, а мѣшокъ оставилъ подъ мышкой. Но онъ былъ еще разъ не надолго задержанъ. Увидалъ его староста и закричалъ ему издали, чтобы онъ явился нынче въ волость, куда Барановскій баринъ прислалъ требованіе—взыскать съ Савостьяна Быкова долгъ, описавъ часть его имущества. Савося, однако, отнесся къ словамъ старосты равнодушно, хотя не преминулъ издалека крикнуть, что „дай срокъ, онъ все уплатитъ". Про себя же проговорилъ:

„Ишь, жидоморы! Ладно!"

Впрочемъ, возмутился онъ только наружно, а внутренно давно забылъ, что его разрываютъ на части, и думалъ только о предстоящей просьбѣ у Тараканова. Къ нему онъ и продолжалъ идти. Путь былъ не далекій, версты въ двѣ по растаявшему снѣгу; онъ скоро доплелся туда. Дойдя до конторы, гдѣ можно было увидать „управителя", онъ остановился сперва у крыльца и заглянулъ внутрь сѣней. Никого не было. Недалеко рабочіе стучали топорами, но онъ боялся кого-нибудь спросить. Постоявъ около двери, онъ попятился, пощупалъ мѣшокъ подъ мышкой, обошелъ затѣмъ всю контору кругомъ, заглянулъ въ каждое ея окно: онъ боялся получить, вмѣсто хлѣба, „по шеямъ".

— По какому дѣлу? — спросилъ „управитель", вдругъ замѣтивъ мужика, туловище котораго оставалось за дверью, а голова была выставлена впередъ.

— Насчетъ муки... подъ работу бы... я уплачу,—сказалъ Савося и осмѣлился цѣликомъ показаться управителю.

— Ты просишь подъ работу денегъ?

— Какъ угодно вашей милости... мучки бы, оно лучше... я и мѣшокъ захватилъ... три пуда въ немъ въ аккуратѣ...

Савося при этихъ словахъ и мѣшокъ показалъ управителю, какъ неотъемлемую часть себя, послѣ чего сталъ выжидательно смотрѣть на Тараканова.

— Дуракъ!—рѣзко сказалъ „управитель" и презрительно посмотрѣлъ на мѣшокъ.—Я не торгую хлѣбомъ. Если хочешь, бери деньгами. Сколько тебѣ надо и подъ какую работу Да скажи прежде: кто ты,— лицо-то знакомое.

— Быковъ, Савостьянъ Быковъ.

— Быковъ? Посмотримъ. Ты, кажется, такъ много долженъ, что у тебя остается описать имущество.

Управляющій сталъ рыться въ книгахъ.

— Я уплачу... вѣрно уплачу... сумлѣнія я не люблю...— возразилъ Савося, равнодушный къ угрозѣ „управителя".

— Я такъ и зналъ! За тобой числится, гусь лапчатый, девяносто шесть рублей сорокъ четыре копѣйки!—возразилъ управляющій.

Но и это не произвело на Савосю ни малѣйшаго впечатлѣнія; онъ равнодушно выслушалъ цифру неоплатнаго долга, удивляясь только тому, что о ней совсѣмъ забылъ.

— Мы уплатимъ... дочиста зароблю. А какъ теперь ѣсть у меня нѣту, я и пришелъ... сдѣлайте божескую милость, дайте передохнуть!

— Денегъ я тебѣ больше не дамъ!—возразилъ „управитель".

— Съ вами, чертями, одно мученье; нахватаете, а потомъ лови васъ... Ну, да погодите, вы мнѣ кругомъ должны; если лѣтомъ не пойдете на работу ко мнѣ, такъ я у васъ все опишу, и изъ деревни-то вашей выгоню васъ. Довольно вамъ обманывать... Ну, пошелъ!

— Я все зароблю... мнѣ бы передохнуть, а я все уплачу... Господи милостивый! дайте срокъ, все представлю въ аккуратѣ... А ѣсть мнѣ желательно.

— Ступай вонъ!... Или, лучше, вотъ что,—вдругъ перебилъ себя управляющій:—у меня сейчасъ строится амбаръ, ваши же работаютъ; такъ ступай на работу и получишь вечеромъ гривенникъ. Иди.

Управляющій отдалъ приказъ одному рабочему отвести Быкова въ амбаръ.

Савося безъ слова пошелъ вслѣдъ за рабочимъ. Онъ не

удивился тому, что его поймали и ведутъ на даровую работу; онъ былъ пораженъ только тѣмъ, что хлѣба у него все-таки нѣтъ, и переложилъ мѣшокъ подъ лѣвую мышку. Во всемъ остальномъ онъ былъ спокоенъ. Ни тѣни протеста противъ „управителя", который распоряжался имъ, какъ бревномъ, необходимымъ для вновь строющагося амбара. „Управитель" закупилъ его, какъ и всю его деревню, таскалъ ежегодно по мировымъ судамъ, грозилъ описать его имущество, каждое лѣто пользовался его трудомъ даромъ, и Быковъ ничего этого не понималъ. Не понималъ, чтò вокругъ него творится, за что его мучатъ, почему и когда онъ попалъ въ каторжники, отчего и съ какихъ поръ у него нечего ѣсть. Кругомъ него носилась мгла, сквозь которую онъ видѣлъ одинъ пустой мѣшокъ, который надо бы было наполнить во что бы то ни стало. Свой разговоръ онъ про себя формулировалъ такъ: „Не далъ, жидоморъ!" Больше мыслей у него не было.

Работникъ Тараканова привелъ его на мѣсто постройки амбара. Тамъ уже съ ранняго утра стучали топоры, шуршала пила, таскались бревна, гремѣли жестяные листы, предназначавшіеся на крышу, рылась канава. Работа кипѣла, производимая такими каторжниками Тараканова, какъ и Быковъ. Всѣ они старались даромъ, потому что давнымъ-давно задолжали въ контору имѣнія до смерти. Подобно Савосѣ, имъ также „передохнуть" было некогда; подобно ему, они съ такимъ же равнодушіемъ и безпамятствомъ относились къ своему каторжному положенію, сдѣлавшемуся для нихъ столь же обычнымъ, какъ ихъ собственная стихія. Между ними и ихъ многочисленными хозяевами шла глухая борьба, но замѣчательно, что эта борьба велась ими безъ всякаго протеста... Борьба безъ протеста—очевидная нелѣпость, но по отношенію къ таракановскимъ мужикамъ невозможность превратилась въ неизбѣжность. Они собственно не боролись, а убѣгали отъ борьбы. По лѣтамъ, въ страдную пору, они уклонялись отъ даровыхъ работъ на Тараканова, бѣгали отъ его посыльныхъ обманнымъ образомъ и вообще старались что-нибудь урвать изъ дорогого времени, отлынять отъ обязательствъ, взятыхъ ими на себя зимой. Но всѣ эти ухищренія ни къ чему не вели. Сила была на сторонѣ Тараканова, чѣмъ онъ и пользовался, устраивая

лѣтомъ на своихъ мужиковъ организованную охоту, отрывалъ ихъ отъ собственныхъ работъ и гналъ къ себѣ. Вотъ какая была ихъ борьба.

Борьбу мужики не могли вести потому еще, что они не знали, что могли и чего не могли, какія имѣли права и какихъ правъ имъ не было дано; они думали, что они на то и созданы, чтобы за ними охотились, ловили ихъ, засаживали; въ силу такого убѣжденія, они могли только отлынивать и въ то же время сознавать, что Таракановъ въ своемъ правѣ, а они нѣтъ, потому что все это доказывалось росписками, написанными по закону и обязывавшими ихъ на египетскія работы вполнѣ законно. И когда Таракановъ исполнялъ этотъ законъ, сгонялъ ихъ силою росписокъ на египетскія работы, они болѣе не сопротивлялись, шли и начинали косить, жать, молотить, рыть канавы, чѣмъ борьба и оканчивалась. Отъ всего этого, кромѣ сознанія своей виновности передъ Таракановымъ, мужики ясно видѣли въ себѣ необычайную глупость, потому что сами лѣзли къ Тараканову, а не онъ къ нимъ, отчего сумятица въ ихъ головахъ еще болѣе усиливалась. Понятно, что необходимость брала свое: они продолжали лѣзть къ Тараканову и отлынивать отъ его обязательствъ, тотъ ихъ ловилъ и заставлялъ ихъ чувствовать, какіе они обманщики, дурачье, пропойцы. Вмѣстѣ съ сознаніемъ своей немощи и глупости, мужики доведены были до сознанія ихъ недобросовѣстности.

Всѣ описанныя сейчасъ явленія относятся къ небольшой мѣстности, состоящей изъ нѣсколькихъ деревень, и потому, можетъ быть, ихъ нельзя обобщать; въ сосѣднихъ съ этими мѣстностями совершаются, можетъ быть, другія удивительныя явленія, но въ описываемомъ округѣ эти явленія вполнѣ утвердились и приняли чрезвычайно своеобразный характеръ. Подъ вліяніемъ ихъ, жители доведены до каторжнаго состоянія, усвоили себѣ положительно звѣриный образъ жизни. Они перестали понимать вообще, что съ ними дѣлается, и искали одного только дневного корма; не было корма — они метались въ поискахъ за нимъ; былъ онъ у нихъ — они больше ни о чемъ не заботились, вообще равнодушные къ жизни. Это не есть обыкновенная погоня за улучшеніемъ своего матеріальнаго благосостоянія; это — просто исканіе корма, необходимаго вотъ сейчасъ, въ этотъ день, а что бу-

деть въ слѣдующій день — плевать. Они перестали о себѣ заботиться, потому что перестали видѣть себя, и заботились лишь о пищѣ. Эту заботу они понимали такъ узко, что, кромѣ временнаго удовлетворенія потребности, ничего не желали,—такъ замершая мысль ихъ съузилась. Они шатались всюду, гоняясь за пропитаніемъ, рыскали за кускомъ ко всѣмъ людямъ, отъ которыхъ его можно получить, хватали новыя обязательства, но никогда не задумывались даже о ближайшемъ будущемъ. Сами они съ каждымъ годомъ нищали, но нищета мысли ихъ была еще поразительнѣе: мысль о дневномъ кормѣ сдѣлалась единственною мыслью, которою они жили. Чтобы дойти до такого звѣринаго состоянія, нужно было пережить раньше этого долгіе годы, въ продолженіи которыхъ замерла всякая человѣческая мысль, кромѣ одной, ежедневно подсказываемой пустымъ животомъ; нужны были годы страданія, чтобы получилось полное безчувствіе къ нему, нужны были, наконецъ, нечеловѣческія условія жизни, чтобы явилось пренебреженіе къ ея улучшенію.

Разумѣется, Савостьянъ Быковъ не могъ въ данную минуту заботиться о какой-нибудь другой цѣли, кромѣ той, ради которой онъ попался глупѣйшимъ образомъ на глаза Тараканова. Но, разъ попавшись на работу и очутившись возлѣ строющагося амбара, онъ принялся старательно и добросовѣстно исполнять приказъ десятника работъ, который далъ ему въ руки лопату, указалъ, гдѣ слѣдовало копать, и сказалъ: „На, вотъ, копай, да смотри, идолъ, не прокопай глыбже“; послѣ чего Савося безъ устали, до самаго обѣда, металъ землю изъ назначенной ему ямы.

Шапку, полушубокъ и мѣшокъ онъ сложилъ на краю ямы, въ которую былъ погруженъ, и иногда поглядывалъ на свои вещи, чтобы ихъ „не сперли“. Но всего больше его смущалъ мѣшокъ; при видѣ его, ему приходило на мысль сбѣжать изъ ямы; скучно ему стало копать землю. Онъ едва дождался обѣда. Обѣдомъ его не обидѣли; пришелъ онъ на работу позже всѣхъ, но наравнѣ со всѣми получилъ порядочную краюшку хлѣба и сколько угодно квасу. Только квасъ не шелъ ему въ горло,—очень ужь онъ проголодался. Онъ сѣлъ возлѣ своей ямы и, не сводя глазъ съ нея, медленно жевалъ. Хлѣбъ ему очень понравился.

Вдругъ ему вспомнились Татьяна и Шашка. Онъ поглядѣлъ на краюшку, которая подходила къ концу, — еще нѣсколько времени, и онъ сжевалъ бы ее всю. Этотъ осмотръ образумилъ его и, должно быть, поразилъ его, въ связи съ воспоминаніемъ о Шашкѣ, такъ сильно, что онъ тутъ же пересталъ ѣсть и положилъ оставшійся кусокъ въ свой мѣшокъ.

Но оставшаяся часть краюшки была бы безполезна, еслибы не была отнесена домой, гдѣ ей обрадуются. А какъ ее отнести? Савося задумался и долго смотрѣлъ въ выкопанную яму. Наконецъ, ему скучно стало, а, между тѣмъ, рѣшеніе сбѣжать съ работы созрѣло окончательно. Онъ стряхнулъ съ подола рубашки крохи, высыпалъ ихъ въ ротъ, перекрестился, показывая тѣмъ, что обѣдъ онъ кончилъ благополучно, и всталъ. Недалеко стоялъ десятникъ. Савося положилъ мѣшокъ подъ мышку и попросилъ у него отлучки. „Я сей секундъ“,—сказалъ онъ десятнику. Тотъ отпустилъ, не подозрѣвая обмана со стороны такого робкаго мужичка.

Савося пошелъ на зады и оттуда далъ тягу. Черезъ полчаса онъ былъ уже дома и былъ радъ, что не пришелъ съ пустыми руками. Сама Татьяна, впрочемъ, не воспользовалась краюшкой; она всю ее отдала Шашкѣ, которую въ первый разъ въ этотъ день приласкала; она гладила ее по головѣ все время, пока та ѣла. Забота о своихъ дѣтяхъ у Татьяны была въ эту минуту сильнѣе желанія удовлетворить голодъ. Благодаря этой же заботѣ, она и посмотрѣла въ пустой мѣшокъ.

— Нѣту?—спросила она у Савоси.

— Нѣту. Не даетъ. Знаю, говоритъ, я васъ... такой анаѳема!—задумчиво проговорилъ Савося.

Но это все, что было сказано относительно Тараканова; о томъ же, что онъ былъ пойманъ на работу по обязательствамъ и что онъ отъ вновь строющагося амбара утекъ обманнымъ способомъ, Савося даже не упоминалъ; безусловно нельзя сказать, чтобы онъ имѣлъ въ намѣреніи скрыть это обстоятельство, онъ просто забылъ о немъ, всецѣло поглощенный мучительнымъ соображеніемъ насчетъ того, куда ему послѣ этого толкнуться. Оставаться дома ему было очень скучно. Поэтому онъ посидѣлъ въ избѣ не долго и отправился, снова взявъ мѣшокъ подъ мышку.

Былъ у него въ смежной деревнѣ еще одинъ человѣкъ, который вообще внушалъ ему страхъ, а теперь надежду. Это былъ богатый мужикъ, давно купившій Савосю (кто его не купилъ?) и каждое лѣто заставлявшій его работать на себя. Случалось иногда такъ, что Савося былъ разрываемъ на нѣсколько частей, понуждаемый съ одной стороны Таракановымъ, съ другой — Барабановскимъ бариномъ, съ третьей — богатымъ мужикомъ; тогда Савося предавался на волю Божію: кто успѣвалъ его раньше захватить, къ тому онъ и шелъ, но чаще всего успѣвалъ завладѣть имъ богатый мужикъ, а всѣ другіе оставались на нѣкоторое время обманутыми Савосей. Это происходило отъ того, что Таракановъ былъ силенъ по отношенію къ массѣ; онъ не обращалъ вниманія на потерю нѣсколькихъ рабочихъ, и не было разсчета у него гоняться за каждымъ рабочимъ; имѣніе его большое, и для работы въ немъ онъ ловилъ оптомъ, точно также какъ и грозилъ описаніемъ имущества оптомъ, вразъ всѣмъ окрестнымъ деревнямъ, вслѣдствіе чего Савосѣ нерѣдко удавалось обманывать его. Отъ богатаго же мужика ему не было никакой возможности увернуться; тотъ самъ былъ въ этихъ дѣлахъ опытенъ, пройдя предварительно школу каторжнаго труда; поймавъ лѣтомъ Савосю, онъ такъ и сидѣлъ надъ нимъ,—сидѣлъ и клевалъ его въ продолженіе всего времени, пока длилась работа, и выматывалъ изъ него душу и долгъ.

Все это Савося теперь смутно чувствовалъ, его пугала лютость богатаго мужика, но боялся онъ не того, что тотъ забросить на него новое обязательство на приближающееся лѣто, а того, что онъ теперь его обидитъ: „хлѣба не дастъ, только надругается, анаѳема", и, пожалуй, задаромъ еще заставитъ работать. Савося не могъ отдать себѣ отчета, почему богатый мужикъ надругается надъ нимъ; онъ только смутно сознавалъ или, скорѣе, предчувствовалъ, что какія-то непреодолимыя, стихійныя силы владѣли имъ, гнули его къ землѣ или разрывали его на части; онъ едва успѣвалъ „передыхнуть", но ему никогда не приходило на мысль, что съ этими силами могъ онъ бороться и что Таракановъ, богатый мужикъ, всѣ управители и хозяева были имъ же самимъ обращены въ фетишей, которыхъ онъ страшился, заклиналъ и приносилъ имъ жертвы въ видѣ каторжнаго труда.

На этотъ разъ судьба избавила его отъ новаго испытанія,

освободивъ его на этотъ день отъ богатаго мужика, отъ Тараканова и отъ всѣхъ его хозяевъ. Этотъ день былъ счастливъ для него, и онъ никогда не забудетъ его... Шелъ онъ по рыхлому снѣгу, проваливавшемуся подъ его ногами, и вдругъ вспомнилъ Ваську и Ванюшку, которые отправились за кусочками по тому же направленію, по которому теперь онъ шелъ и самъ. Тогда ему стало скучно идти одному; онъ рѣшилъ, что идти къ богатому мужику не стóитъ, потому что „Васька и Ванюшка, Богъ дастъ, что ни на есть принесутъ“ и прокормятъ въ этотъ день всѣхъ. Съ этимъ скорымъ рѣшеніемъ онъ повернулъ было назадъ, какъ вдругъ вдалекѣ замѣтилъ Ваську и Ванюшку; подумалъ сначала, что онъ обознался, и пристально посмотрѣлъ въ даль снѣжной равнины, прикрывая глаза рукой отъ солнца, весенніе лучи котораго сверкали ослѣпительнымъ блескомъ. Но нѣтъ, это были дѣйствительно Васька и Ванюшка. Они стрѣлой летѣли къ нему, о чемъ-то крича ему еще издали; шубенки ихъ развѣвались по вѣтру, шапки едва держались на головахъ.

— Тятька! сюды! Баринъ влопался!—кричали оба они вразъ и врозь, перебивая другъ друга, принялись объяснять ему дѣло, какое-то происшествіе въ „Собачьемъ вражкѣ“, но онъ долго ничего понять не могъ.

— Какой баринъ?—спросилъ, наконецъ, Савося.

— Чужой... влопался по ухи... Ѣхалъ-ѣхалъ—бухъ! въ самый зажоръ влопался... И сидитъ. Бѣгемъ скорѣе!

— Куды?

— Въ „Собачій вражекъ“. Тамъ онъ и есть. Въ самую середку попалъ... Ругается, велѣлъ кликать мужиковъ, чтобы вытянуть его... Я, говоритъ, за все заплачу... Бѣгемъ скорѣе!

Васька и Ванюшка выходили изъ себя, объясняя отцу о баринѣ. Они говорили съ необыкновеннымъ жаромъ, перебивая другъ друга, и тащили за полы отца. Тотъ нерѣшительно упирался.

— Чай, и самъ вылѣзетъ?—спросилъ онъ, нерѣшительно смотря на Ваську и Ванюшку.

— Онъ-то? Да онъ только ругается. Влопался по ухи... Зови, говоритъ, заплачу.

Савося понялъ и больше не колебался.

Всѣ трое быстро, бѣгомъ, направились въ „Собачій вражекъ“ и тамъ скоро наткнулись на сцену, описанную жар-

кими устами Васьки и Ванюшки. Сани, дѣйствительно, застряли въ ложбинѣ, набитой рыхлымъ снѣгомъ, подъ которымъ была уже вода, а пара лошадей чуть не по уши завязли и безпомощно барахтались въ снѣжномъ киселѣ. Кучеръ растерянно хлесталъ ихъ кнутомъ и безъ пользы ругался. Баринъ сидѣлъ въ саняхъ и оттуда кричалъ, подавая совѣты; безпомощность его также была полная. Завидѣвъ Савосю, онъ обратился къ нему и приказалъ ему дѣйствовать. Савося заметался, забѣгалъ и принялся ухать на лошадей. Но онъ скоро бросилъ лошадей и полѣзъ въ сани, утопая по поясъ въ мокромъ снѣгу. Добравшись до саней, онъ посадилъ барина на загорбокъ и понесъ его на берегъ. Утопалъ онъ нѣсколько разъ въ снѣгѣ, но, въ концѣ-концовъ, вынесъ барина благополучно. Потомъ отряхнулся и снова принялся ухать на лошадей. Когда этотъ способъ не удался, онъ помогъ кучеру выбраться на чистое мѣсто и вдвоемъ они принялись распрягать лошадей; при этомъ обоимъ имъ пришлось нѣсколько разъ выкупаться въ снѣгу; они вымочились, иззябли. Однако, никогда Савося не работалъ съ такимъ жаромъ, самозабвеніемъ и такъ добросовѣстно.

Этотъ жаръ былъ искренній. Савося работалъ въ эту минуту не каторжнымъ трудомъ и не по принужденію, а охотой. Онъ изъ всѣхъ силъ старался, имѣя въ виду поощреніе, и благодарилъ Бога, что ему послалъ такой „случай“: баринъ влѣзъ въ „Собачій вражекъ“. Безъ этого „случа́я“ что бы ему дѣлать? Очень трудный былъ для него день. Купаясь въ зажорѣ, онъ не чувствовалъ нестерпимаго холода; онъ думалъ: „уплатитъ“. Эта мысль удвоивала его силы, и онъ выходилъ изъ себя отъ волненія, таща за веревки сани, горячился, прыгалъ по берегу. Это не значитъ, что въ эту минуту онъ только и думалъ о наполненіи мѣшка, на разныя манеры говоря себѣ: „уплатитъ»... Онъ искренно тянулъ за уши лошадей, билъ ихъ по мордамъ; онъ добросовѣстно старался, не щадя живота своего, и жертвовалъ здоровьемъ безъ всякой задней мысли. Онъ только напередъ зналъ и былъ увѣренъ, что за этотъ горячій трудъ ему заплатятъ, потому что вознагражденіе онъ заслужилъ.

Впрочемъ, выбиваясь изъ силъ на берегу, утопая въ зажорѣ, онъ боялся, какъ бы не пришли другіе мужики и не перебили у него... Эта единственно корыстолюбивая мысль

его привела его въ еще большій жаръ. Натурально: Богъ послалъ ему на бѣдность барина, и этого-то неожиданнаго счастія онъ лишится. Савося до того старался, что сталъ лѣзть въ снѣгъ и купаться безъ всякой нужды.

Наконецъ, сани были вытащены. Лошадей впрягли. Кучеръ торопилъ барина поскорѣе ѣхать; баринъ также торопился и сталъ расплачиваться съ Савосей и благодарить его отъ души.

— Старательный же ты мужикъ, спасибо тебѣ, — сказалъ онъ, вынимая изъ кармана кошелекъ.

Савося стоялъ возлѣ него безъ шапки; со всей его одежи текло и образовались сосульки; губы у него посинѣли, дрожь пробѣгала по всему его тѣлу. Но давно уже его такъ не благодарили, — онъ съ давнихъ лѣтъ слышалъ одни только ругательства,—и теперь былъ глубоко признателенъ барину, неизмѣримо глубже, чѣмъ баринъ былъ благодаренъ ему.

— Что, озябъ?—спросилъ благодарный баринъ.

— Не дюже, только въ нутрѣ какъ быдто... а то бы ничего.

— Сколько же тебѣ за труды?

— Сколько положитъ ваша милость,—отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Савося.

— Да, ты стòишь, спасибо. На, вотъ!—и, говоря это, баринъ выложилъ на подставленную ладонь Савоси двѣ бумажки и еще мѣдной мелочи, часть которой предназначалась на то, чтобы Савося пошелъ обсушиться въ кабачокъ. — Поди, обсушись,—сказалъ онъ, сѣлъ и поѣхалъ.

Савося обомлѣлъ. Онъ не нашелся даже поблагодарить барина, который быстро уѣхалъ. Давно онъ уже не получалъ такой поразительной суммы денегъ; онъ все пробавлялся по мелочи, длилъ свою жизнь посредствомъ копѣечекъ. Но затѣмъ, когда Васька и Ванюшка принялись тормошить его, онъ вышелъ изъ оцѣпенѣнія, перекрестился и пустился бѣгомъ къ деревнѣ, схвативъ мѣшокъ подъ мышку. Придя туда, Ваську и Ванюшку онъ отослалъ домой, а самъ забѣжалъ въ кабачокъ обсушиться, въ чемъ почти не было надобности, потому что радость его превышала холодъ, заморозившій его нутро. Послѣ этого онъ побѣжалъ къ состоятельному кулаку, занимавшемуся, между прочимъ, продажей муки. Тамъ случайно собралось нѣсколько мужиковъ, кото-

рые очень удивились, услыхавъ требованіе Савоси отвѣсить ему три пуда муки. Освѣдомились, какая благодать выпала на его долю, но Савося и самъ еще не могъ хорошо объяснить себѣ происшествія, давшаго ему возможность купить муки на свои деньги, а не въ долгъ; онъ едва и самъ сдерживался отъ разсказа о необыкновенномъ случаѣ, который послалъ ему Богъ. Когда хозяинъ взвѣсилъ хлѣбъ, Савося съ изумленіемъ потрогалъ свой мѣшокъ и оглянулъ всѣхъ присутствующихъ ошеломленнымъ взглядомъ, какъ бы самъ не вѣря въ чудеса, случающіяся иногда на свѣтѣ.

— Три пуда въ аккуратѣ... ловко! Дай Богъ здоровья барину, выручилъ, а то чистая смерть!—сказалъ онъ, продолжая оглядывать собравшихся тѣмъ же взглядомъ.

— Да ты разскажи, какой такой баринъ, какая причина муки?—спросилъ кто-то изъ присутствующихъ, и къ нему присоединились всѣ, прося Савосю разсказать.

Савося былъ въ крайне возбужденномъ состояніи. Онъ началъ разсказывать; вначалѣ все колесилъ вокругъ предмета, начавъ разсказъ съ самаго утра, т. е. какъ онъ чинилъ полушубокъ, какъ пошелъ къ „управителю“, какъ его тамъ „пымали“ и ему пришла чистая смерть. Но когда онъ дошелъ до „Собачьяго вражка“, то не съумѣлъ ничего сказать отъ волненія; свое участіе въ происшествіи съ бариномъ онъ передалъ такъ безсвязно, что слушатели долго ничего не понимали; изъ его разсказа они усвоили, прежде всего, что Савосѣ въ этотъ день пришлось плохо, чистая смерть, отъ которой спасъ его заѣзжій баринъ. Но кто такой баринъ — Савося разсказать путно не могъ, повторяя только, что дѣло было въ „Собачьемъ вражкѣ“... „Баринъ врюхался... но ничего, вытащили кое-какъ... Чудесный баринъ, дай Богъ здоровья, а то чистая смерть“... Мужики сначала равнодушно слушали Савосю, но когда послѣдній назвалъ сумму денегъ, полученную имъ отъ барина за труды, всѣ были глубоко поражены. Савося назвалъ эту сумму, замѣтивъ, что по этой причинѣ и мукà, — и всѣ переглянулись между собой взглядомъ, выражающимъ недовѣріе и изумленіе.

— Два цѣлковыхъ? — спросилъ одинъ изъ кучки, жившій такъ же зажиточно, какъ и Савося.

— Два цѣлковыхъ и еще мѣди... На, говоритъ, обсушись,— отвѣчалъ Савося.

— Такъ прямо два цѣлковыхъ и влѣпилъ?

— Два цѣлковыхъ. Бери, говоритъ, заслужилъ ты!

— Стало быть, въ аккуратѣ вляпался?

— Въ самый разъ... въ самую эту прорву! Утопъ совсѣмъ. На, говоритъ, тебѣ за труды, старательный, говоритъ, ты мужичокъ... Я вотъ теперь и съ мукой, дай ему Богъ здоровья!

Савося былъ взволнованъ разсказомъ, но, кончивъ его, сталъ поднимать на плечи мѣшокъ.

Онъ въ эту минуту сдѣлался героемъ. Ему помогли взвалить на плечи мѣшокъ, и онъ отправился, сопровождаемый взглядами, полными удивленія.

Дома Савосю ждали, конечно, съ большимъ нетерпѣніемъ и чувствомъ, которое онъ и самъ не могъ подавить въ себѣ. Онъ въ другой разъ разсказалъ своему семейству о „Собачьемъ вражкѣ" и о баринѣ, который, дай ему Богъ здоровья, уплатилъ хорошо за труды, и на его лицѣ свѣтилась радость, а глаза свѣтились благодушіемъ. Мѣшокъ былъ поставленъ на столъ въ переднемъ углу, и всѣ столпились вокругъ него. Шашка вскарабкалась на лавку, влѣзла на столъ, чтобы лучше видѣть мѣшокъ; Васька похлопалъ его ладонью, Ванюшка запустилъ было въ него руку, не доставъ муки только потому, что своевременно получилъ отъ матери въ лобъ. Татьяна сама достала щепотку муки, перекрестилась и взяла ее въ ротъ, послѣ чего и Ванюшка съ Васькой взяли въ ротъ по щепоткѣ; и всѣ жевали, пробуя. Въ избѣ царило глубокое молчаніе. Всѣ пять человѣкъ только глядѣли на мѣшокъ, стоявшій на столѣ стоймя.

Савося былъ счастливъ.

II.

Праздничныя размышленія.

Въ воздухѣ раздавались удары колокола, сзывавшаго къ обѣднѣ. Былъ праздникъ. Утро стояло теплое; солнечные лучи весело играли. Воздухъ былъ чистый и прозрачный. Деревня полна была миромъ и тишиной.

Но еслибы собрать всѣхъ жителей этой деревни и всего описываемаго округа, то и тогда разговоры жителей были бы не болѣе интересны, чѣмъ тѣ отрывочныя бесѣды, которыми отъ времени до времени нарушали свое молчаніе шесть человѣкъ, сидѣвшихъ передъ прудомъ, позади двора Чилигина. Можно бы подумать, что они отвлекутся на время отъ ежедневной суетливой жизни, толкавшей ихъ, съ одной стороны, на поиски „куска", съ другой—мѣдной копѣйки, но такое продположеніе не имѣетъ за собой ни теоретическаго основанія, ни практической осуществимости. Душа крестьянина этой одичалой мѣстности всегда мрачна, сердце сжато затаеннымъ горемъ, мысли переполнены глубокою думой. Сидѣли эти шесть человѣкъ и молчали; звонъ-ли колокола нагналъ на нихъ раздумье, или они погружены были въ обычные предметы своей мысли? Видъ ихъ, впрочемъ, былъ довольно праздничный. Одинъ надѣлъ сапоги (чего онъ никогда не дѣлалъ въ будни), другой былъ въ красной ситцевой рубахѣ (а обыкновенно онъ ходилъ почти безъ одѣянія), третій причесалъ волосы и т. д. У всѣхъ лица были озабочены.

Тишина.

— Уши-то отнесъ?—спросилъ одинъ, обращаясь къ ситцевой рубахѣ.

— Какъ же, отнесъ, — отвѣчалъ послѣдній, ѣздившій на протекшей недѣлѣ въ лѣсъ — вырубить тайно пару березъ.

Снова тишина.

— Счастье, братецъ, тебѣ привалило! — замѣтилъ первый.

— Прямо сказать, самъ Богъ! — возразилъ второй убѣдительнымъ тономъ.

— Какъ же это ты его ухлопалъ-то?

— Оглоблей. Вѣрно говорю тебѣ: не настоящій, должно быть, волкъ былъ, а такъ, шутъ его знаетъ, замухрышка какой-то тощій... не жралъ, что-ли, цѣлое лѣто!... Слышу, хруститъ. Ну, думаю, пропала моя голова, — полѣщикъ идетъ, а это онъ самый и приперся! И лѣзетъ прямо на лошадь — жрать! Ну, я и двинулъ его въ башку...

Раньше разсказчикъ прибавилъ, что онъ въ этотъ же день обрѣзалъ у волка уши и отвезъ ихъ въ земскую управу, объявившую плату—пять руб. за каждую пару ушей волчьихъ.

— А шкура?—оживленно спросилъ третій и даже приподнялся отъ волненія на ноги.

— Шкуру еще не опредѣлили; да и худая, потому дюже тощой былъ звѣрь.

— А все же вѣрныя деньги. Счастье, братецъ, тебѣ,—возразилъ приподнявшійся на ноги крестьянинъ. — Это не то, что мнѣ! —добавилъ онъ съ горечью и сѣлъ.

На него никто не обратилъ вниманія. Снова настала тишина.

— Н-да! Это не то, что мнѣ!—возобновилъ свое грустное восклицаніе огорченный.—Я вонъ намеднись курицу понесъ, стало быть, взялъ на руки глупое или пустое, напримѣръ, дѣло, а и то случилась бѣда.—Всѣ стали прислушиваться. — Иду я по городу и попадается мнѣ, Господи благослови, господинъ. „Продаешь?“— спрашиваетъ. — „Купите, говорю, ваше превосходительство, будете ублаготворены; то-есть, вотъ какая, говорю, птица, будете спокойны!“— „Сколько же ты просишь?“ спрашиваетъ. — „Да полтинничекъ“! — говорю я эдакъ ласково... И вдругъ даже испугался и не помню, какъ я ноги убралъ...

Разскащикъ остановился и испуганно посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ будто видѣлъ еще передъ собой барина.

— Ну?—спросили нѣсколько заинтересованныхъ.

— Какъ сказалъ я это самое слово, то онъ даже поблѣднѣлъ и лицо жестокое сдѣлалось. „Ахъ, ты, говоритъ, обман-

щикъ!“ и давай меня честить... „Да ежели бы, говоритъ, ты самого себя продавалъ вмѣстѣ съ курицей, такъ и тогда я не далъ бы полтинника“.

— Ну, и потомъ?

— За пятнадцать копѣечекъ ухнулъ!

— Курицу-то?

Въ отвѣтъ на это разсказчикъ только плюнулъ.

Таковы праздничные разговоры.

Незамѣтными переходами какъ-то дошли до вопроса: какъ отваживать скотъ отъ шлянья по огородамъ? Одинъ говорилъ, что первѣйшее средство—кипятокъ, которымъ очень удобно ошпаривать. Другой возразилъ на это, что онъ поступаетъ рѣшительнѣе. „Стукнулъ топоромъ и шабашъ“,—сказалъ онъ и повернулся на брюхо. До послѣдняго разговора этотъ мужикъ безмолствовалъ. Лежа на землѣ, онъ останавливалъ неподвижный взглядъ на какомъ-либо предметѣ и не шевелился, какъ бревно. Видъ его не былъ свирѣпъ, но сложеніе коренастое и внушительное: здоровенныя руки, плотное туловище, большая голова. Все, что говорили, онъ пропускалъ мимо ушей. Когда же къ нему обращались: „Чилигинъ!“—онъ только отвѣчалъ: мм..., а въ дальнѣйшій разговоръ вступать не желалъ, отдыхая отъ протекшей недѣли, во все продолженіе которой онъ таскалъ бревна.

Дѣйствительно, онъ отдыхалъ всѣмъ туловищемъ. Іюльское солнце было уже высоко, и лучи его сильно пекли. Падая на Чилигина, они припекали ему спину, руки, лицо и вливали во всѣ члены истому. Говорить ему было лѣнь, слушать лѣнь, смотрѣть лѣнь; и онъ не говорилъ, не глядѣлъ и не слушалъ. Когда какой-нибудь звукъ поражалъ его слухъ, волосы на его лбу нѣсколько приподнимались, обладая способностью рефлективнаго движенія, и только; въ дѣтствѣ у него и уши двигались, но съ теченіемъ времени онъ утратилъ эту способность.

Всѣ перекрестились, когда раздался звонъ къ „Достойно“, но никто не говорилъ вплоть до той минуты, когда вошло новое лицо. Это былъ Чилигинъ-отецъ.

— Васька!— сказалъ онъ, обращаясь къ сыну, который, однако, не пошевелилъ ни однимъ членомъ.—Васька!—повторилъ отецъ,—да дай ты мнѣ хоть пятачекъ ради праздника. Я знаю, у тебя есть сорокъ копѣекъ, такъ хоть пятачекъ-

то пожертвуй, ради моихъ старыхъ костей, для великаго праздника, а?

Васька Чилигинъ только усмѣхнулся въ отвѣтъ на эту просьбу отца. Отецъ стоялъ и старался принять грозный видъ, но никакъ не могъ напугать. Онъ былъ уже дряхлый старикъ, сгорбленный и съ трясущимися членами. Тусклые глаза его отражали сознаніе безсилія и робость; все лицо возбуждало жалость. Напугать онъ не могъ потому еще, что, въ сущности, сильно боялся сына; ихъ семейная жизнь шла такъ неаккуратно, что возбуждала удивленіе даже въ этой деревнѣ, гдѣ вообще были неизвѣстны семейныя нѣжности.

Не дождавшись отъ сына отвѣта на просьбу, отецъ обратился съ жалобой къ присутствующимъ.

— Вотъ, господа православные, какой у меня подлецъ Васька: кормить онъ меня не кормитъ, а прямо говоритъ— помирай, старая кочерга! Будьте, господа, свидѣтелями, ежели, къ примѣру, смертоубійство. Бьетъ онъ меня нещадно, а пить-ѣсть не допускаетъ. И вчерась прибилъ. Теперича прошу я пятачекъ, а онъ, подлая душа, молчитъ.

— Да изъ-за чего у васъ опять вышло?—спрашивали нѣкоторые изъ сидящихъ.

— А изъ-за того и вышло, что онъ извергъ!... Такой скотины, то-есть безчувственнаго звѣря, нигдѣ, чай, не было. Чтобы, напримѣръ, уваженіе или почитаніе къ отцу — гдѣ?

Отецъ долго бы развивалъ свои взгляды на характеръ сына, но присутствующіе перестали его слушать, обратясь за разъясненіемъ къ сыну. Но тутъ разъясненіе вышло еще удивительнѣе.

— Изъ-за чего? Изъ-за похлебки. Вчерась велѣлъ я бабѣ похлебку сварить; давно горячаго во рту не было, даже въ горлѣ пересохло, а въ животѣ, напримѣръ, волкъ сидитъ и воетъ. И еще наказалъ бабѣ, чтобы близко не пущать вотъ этого самаго блудню (указываетъ на отца), потому никакой работы за нимъ не числится, день-денской сидитъ у себя и думаетъ, какъ бы что ни на есть слизнуть насчетъ пропитанія. И вѣдь какой хитрый человѣкъ: какъ только уйдетъ баба, онъ сейчасъ заберется въ избу, а тамъ краюшка-ли ситнаго, яйцо-ли—словилъ и въ ротъ. Такъ и вчера: забрался и вычерпалъ весь чугунъ... Я сейчасъ за нимъ. „Ты, говорю, съѣлъ?“— —„Я“,—говоритъ.—„Зачѣмъ, говорю, ты съѣлъ, когда прика-

зу тебѣ не было?“—„А какже, говоритъ, чай, мнѣ не одинъ сухарь крошить зубами, чай, я — отецъ твой!“—„Какой ты отецъ, ежели ты только насчетъ какъ бы воровски сожрать, а никакой пользы отъ тебя нѣтъ? Объѣдало-мученикъ ты, а не отецъ“. Ну, а онъ лѣзетъ драться. Тутъ ужъ я терпѣнія рѣшился, взялъ я этотъ самый чугунъ и ткнулъ его...

— Драка, стало быть, произошла?—спросили сидящіе.

— Я-то такъ-сякъ, только по загорбку разовъ пять... А ты вотъ его спроси?—возразилъ Чилигинъ, указывая на отца.

— Что же онъ?

— Икру мнѣ прокусилъ.

-- Ишь ты!

— Такъ прямо зубами и впился въ мякоть, даромъ что всѣхъ-то четыре зуба у него.

При этихъ словахъ Чилигинъ показалъ укушенное мѣсто. Осмотрѣли икру; на ней дѣйствительно оказался слѣдъ зубовъ. Старикъ также смотрѣлъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ на дѣло зубовъ своихъ. Впрочемъ, его въ это время занимала мысль, что все-таки пятачка у него нѣтъ. До остального ему мало было заботы, и онъ нисколько не удивлялся жестокому положенію въ семействѣ. А что положеніе это было жестоко, свидѣтелями тому могутъ послужить всѣ жители деревни. Между отцомъ и сыномъ шла вѣчно битва, потухавшая только въ тѣ дни, когда обоимъ ѣсть было нечего, т.-е. когда главнѣйшая причина ссоры отсутствовала.

Прежде, когда старикъ былъ моложе и могъ работать, онъ нещадно колотилъ сына; обезсилѣвъ и переставъ работать, онъ принужденъ былъ выносить нещадные побои отъ сына— вотъ и все. Онъ жилъ въ банѣ, пристроенной здѣсь же возлѣ избы на берегу пруда, но врозь отъ сына; питался чѣмъ попало, преимущественно же картофелемъ, но вѣчно голодалъ. Онъ былъ жаденъ, какъ ребенокъ, и забирался въ избу для хищенія съѣстного. За это въ избу его не пускали, а если онъ забирался и похищалъ что-нибудь, сынъ билъ его. Въ сущности, онъ былъ свирѣпый старикъ, плакалъ отъ безсилія, при удобномъ же случаѣ кусался и царапалъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ жаловался сходу — оффиціальному или случайному, собравшемуся изъ нѣсколькихъ человѣкъ по близости ихъ избы. „Вотъ, господа православные, опять Васька меня прибилъ!“—говорилъ онъ. Но сочув-

ствіе никогда не было на его сторонѣ. Ему прямо говорили: „Теръ-теръ ты свои кости-то, и все конца тебѣ нѣту". Онъ не работалъ,—слѣдовательно, не имѣлъ права жить: онъ объѣдалъ, — слѣдовательно, долженъ быть истребленъ изморомъ. „Помирать бы давно надо, честь бы надо знать, а ты все мотаешься",—говорили ему въ глаза. Въ описываемомъ округѣ семейная жизнь вообще устраивалась по этому образцу: братъ корилъ сестру за ея безполезность и старался ее „спихнуть"; мужъ сживалъ со свѣту больную жену. Это была страшная, но неизбѣжная логика, и другой не можетъ быть тамъ, гдѣ египетская работа доставляетъ лишь сухую корку и медленно вгоняетъ работника въ гробъ. Тотъ идеалъ, который мы привыкли пріурочивать къ деревнѣ, обладаетъ свойствомъ внушать „нервную" дрожь всякому, кто никогда не видалъ ея. Законъ, право, справедливость принимаютъ здѣсь до того поразительную форму, что съ перваго раза ничего не понимаешь. Законъ, представляется въ видѣ здоровеннаго Васьки; право переходитъ въ формулу: „долженъ честь знать"; справедливость вдругъ превращается въ похлебку, а орудіями осуществленія этихъ понятій являются: чугунъ, кулакъ, зубы и ногти.

Собравшіеся мало-по-малу стали расходиться. Наконецъ, остались только отецъ и сынъ Чилигины. Послѣднему надоѣло лежать на солнцѣ, онъ поднялся, и въ эту минуту ему пришла заманчивая мысль.

— Такъ и быть —сказалъ онъ,—дамъ тебѣ выпить, пойдемъ. Только смотри, больше какъ на пятакъ и думать оставь, а то ей-ей прибью.

И они пошли рядомъ. Василій остановился не надолго у воротъ своего дома, чтобы выгнать двухъ чужихъ поросятъ. Нѣкоторое время на дворѣ царилъ содомъ, въ которомъ принимали участіе куры, два поросенка, песъ и Василій, дававшіе знать о себѣ свойственными каждому изъ нихъ голосами. Одинъ поросенокъ успѣлъ спастись, пробивъ головой скважину въ плетнѣ, другой попался. Василій взялъ его за заднія ноги и постучалъ объ заборъ, послѣ чего поросенокъ одурѣлъ и нѣкоторое время кружился по улицѣ, потерявъ сознаніе.

Дорóгой отецъ боялся, что Васька его надуетъ. Это случалось: совсѣмъ позоветъ пить, а потомъ прогонитъ.

— Ты, братъ, Васька, смотри... по справедливости, не обижай!—замѣтилъ заранѣе старикъ.

— Небось, — возразилъ Василій, проникнутый честнымъ намѣреніемъ напоить отца. И онъ выполнилъ свое намѣреніе, такъ что черезъ непродолжительное время оба они вышли навеселѣ изъ питейнаго заведенія и сѣли подъ окнами его, рядомъ съ другимъ посѣтителемъ, Прохоровымъ. Отецъ ослабъ отъ водки, и изъ глазъ его безъ всякой причины струились слезы. На сына водка производила обратное дѣйствіе. Глаза его мутились, но мускулы пріобрѣтали непомѣрную упругость. Онъ становился хвастливымъ, а руки его, какъ говорится, чесались. Поэтому, не проходило выпивки, чтобы онъ не поссорился съ кѣмъ-нибудь.

На этотъ разъ на бѣду попался Прохоровъ. Это была прямая противоположность Чилигину. Лицо его было изможденное и блѣдное, какъ у всѣхъ портныхъ, къ числу которыхъ онъ принадлежалъ, занимаясь по зимамъ шитьемъ тулуповъ и зипуновъ. Видъ его былъ отрепанный, вплоть до штановъ, сшитыхъ изъ разноцвѣтныхъ заплатъ. Трезвый, это былъ кроткій и крайне пугливый человѣкъ; у него всегда краснѣлъ носъ, когда съ нимъ разговаривалъ человѣкъ посторонній, глаза пугливо бѣгали по сторонамъ и слова застывали на губахъ. Ничего не стоило обмануть и обидѣть его въ это время. Но стоило ему только напиться, какъ онъ дѣлался совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Пьяный, онъ ходилъ по улицѣ и бормоталъ безсвязно, но громко: „Сволочь!... дуракъ!... Умнѣйшаго человѣка въ деревнѣ!...“ Если ему не встрѣчался ни одинъ человѣкъ, которому бы онъ могъ выразить глубочайшее презрѣніе, онъ останавливался передъ какимъ-нибудь неодушевленнымъ предметомъ — плетнемъ, заборомъ, стѣной—и откровенно высказывался. Этимъ страннымъ способомъ обездоленный человѣкъ открывалъ въ себѣ присутствіе человѣка и мстилъ за поруганіе въ себѣ человѣческаго достоинства.

Всѣ трое знали другъ друга съ малыхъ лѣтъ, но теперь сидѣли молча, словно незнакомые. Впрочемъ, Прохоровъ намѣренно не замѣчалъ сидѣвшаго рядомъ Чилигина, съ презрѣніемъ оглядывая его изрѣдка, между тѣмъ какъ послѣдній сидѣлъ надутый, говоря всѣмъ своимъ видомъ, что никто

теперь ему не перечь... Ссора неизбѣжно должна была произойти.

— А скажите, милостивый государь, какъ ваше имя, фамилія?—спросилъ, наконецъ, Прохоровъ, вперяя злобный взглядъ на Василія.

— Меня всякъ долженъ знать. Вотъ это видишь?—Чилигинъ показалъ кулакъ.—Сила!—добавилъ онъ.

— Это точно, что превосходный кулакъ,—согласился Прохоровъ.

— За голову возьмусь—голову оторву, за руку—руку... больше ничего.

— А прочихъ превосходныхъ частей въ туловищѣ нѣту?

— Найдется. Я, братъ, и не такихъ сопляковъ убиралъ,—возразилъ Чилигинъ, мрачно надуваясь.

— Вполнѣ понимаемъ. Описывайте дальше!

— И ежели, напримѣръ, я двину плечомъ, такъ ты отскочишь на версту...

— И больше ничего-съ?

Прохоровъ былъ злобно спокоенъ, но дѣлался блѣднѣе. Василій Чилигинъ вышелъ изъ себя. Лицо его окончательно надулось. Онъ походилъ на быка, котораго раздразнили красною тряпкой.

— Дамъ вотъ тебѣ по шеѣ, ты и узнаешь, что̀ больше!—сказалъ онъ.

— Ваша угроза для меня—все одно, какъ тьфу: только и есть. А насчетъ головы что скажете? Потому, по мнѣнію моему, на мѣсто этой статьи у васъ, напримѣръ, арбузъ пустой.

— Что?—мрачно сказалъ Василій, пододвигаясь къ Прохорову:—Васька! молчи лучше. Ей-ей, по мордѣ!

— А такъ какъ,—продолжалъ дразниться Прохоровъ,—голова у васъ—арбузъ пустой...

Раздался лязгъ со свистомъ, и Прохоровъ моментально очутился подъ рыдваномъ, но сейчасъ же выкарабкался оттуда и пустилъ въ голову Чилигина полѣно. Произошла ожесточенная драка, въ продолженіе которой Прохоровъ то катался по землѣ, то ложился на землю плашмя. Но, въ концѣ-концовъ, побѣда случайно досталась ему при помощи бороны съ желѣзными зубьями...

— Ой-ой-ой!—вскричалъ вдругъ Василій, наткнувшусь босою ногой на зубья.

Этимъ драка кончилась. Василій сидѣлъ на землѣ и посыпалъ пескомъ ногу, изъ которой струилась кровь. Рана была глубока, зубъ почти насквозь пропоролъ ногу, такъ что песку потребовалось очень много. Прохоровъ оказался джентльменомъ: онъ отдалъ противнику свой платокъ, пропитанный запахомъ овчины, табаку и водки.

Чилигину было больно. Плетясь по улицѣ, онъ смотрѣлъ во всѣ стороны и искалъ человѣка, которому можно бы было своротить физіономію. Но улица была пуста, а отца онъ раньше прогналъ. Замѣчательное явленіе совершилось въ немъ въ эту минуту. Онъ вообразилъ, что его никто не уважаетъ, и чувствовалъ, что это страшно обидно. Онъ шелъ по улицѣ и искалъ человѣка, чтобы заставить его уважать себя, и въ этихъ видахъ во все горло кричалъ: „Въ морду дамъ!“ Когда эта угроза потерялась въ хаосѣ, онъ нашелъ другую. „Кто супротивъ?“—кричалъ онъ. Единственное существо, попавшееся ему на глаза, была тощая лошадь, лѣниво шагавшая къ водопою. Василій далъ ей ударъ по крупу. Она повела ушами, но продолжала лѣниво идти, не обративъ ни малѣйшаго вниманія на человѣка. Василій съ удивленіемъ посмотрѣлъ ей вслѣдъ, чувствуя себя еще глубже оскорбленнымъ.

Дома онъ засталъ только одну хозяйку свою, Дормидоновну; дѣти играли на другомъ концѣ улицы. Но и безъ нихъ онъ произвелъ однимъ своимъ появленіемъ переполохъ. Каждый большой праздникъ Дормидоновна обыкновенно ждала его домой съ сердечнымъ замираніемъ, за цѣлую недѣлю передъ тѣмъ думая, какъ онъ пройдетъ для нея. Въ этотъ день она всегда пряталась у сосѣдей, по огородамъ, въ закоулкахъ своего двора, выжидая того времени, когда *онъ* придетъ. Регулярные побои такъ изнурили ее, что она согнулась въ дугу, сморщилась и одряхлѣла въ тридцать лѣтъ. Ее въ деревнѣ называли *безживотной*. Дѣйствительно, живота у нея буквально не было, пропалъ куда-то. Сегодня она также сообразила, что ей надо куда-нибудь уйти, но ошиблась въ разсчетѣ времени и лицомъ къ лицу столкнулась съ мужемъ. Въ ней вдругъ все замерло.

Василій сидѣлъ на лавкѣ и до поры до времени молчалъ. Онъ только наблюдалъ за каждымъ движеніемъ Дормидонов-

ны. Уважаетъ ли она его?—думалъ онъ и подозрительно вглядывался. Дормидоновна растерялась и молча копошилась въ углу, повернувшись спиной къ мужу. Руки и ноги ея дрожали; она молилась угодникамъ, обѣщая, что поставитъ свѣчку. Она стояла и прислушивалась къ малѣйшему шороху въ избѣ, къ сопѣнію, которое раздавалось за ея спиной... Оглянуться она боялась. А Василію казалось, что она нарочно повернулась къ нему задомъ: нà, молъ, смотри!

— Хозяйка! Это ты что?—грозно спросилъ онъ.

— Я ничего, Степанычъ...

— То-то, смотри у меня въ оба!

Василій погрузился въ себя, не переставая наблюдать за манерами хозяйки. Послѣдняя должна была бы выдти изъ избы, но она боялась шелохнуться. Она лихорадочно перебирала около печки вещи, чтобы наполнить чѣмъ-нибудь время. Но Василію положительно казалось, что съ ея стороны уваженія къ нему нѣтъ. Случайно повернувъ ногу, онъ почувствовалъ невыносимую боль; тогда онъ посмотрѣлъ на хозяйку и увидалъ, что она, попрежнему, стоитъ, какъ вкопанная. Онъ былъ глубоко возмущенъ такимъ безчувствіемъ. Онъ понялъ, что она не хочетъ даже взглянуть на него, а не то, чтобы дать поѣсть или спросить: чѣмъ ты боленъ, Степанычъ?

— Хозяйка!—сказалъ Василій.

— Что, Степанычъ?

— Гляди на меня!

Дормидоновна съ ужасомъ посмотрѣла.

— Я тебя, шельма!—заключилъ Василій свое подозрѣніе.

Дормидоновна промолчала. Она опустила глаза въ землю и затаила дыханіе. Лицо ея исказилось страданіемъ. А Василію показалось, что она смѣется.

— А-а! насмѣхаться надо мной, не уважать?—закричалъ онъ и принялся колотить Дормидоновну.

На шумъ прибѣжали дѣти; онъ ихъ вытолкалъ. Пришелъ отецъ, онъ и его прогналъ Онъ такъ остервенѣлъ, что Дормидоновнѣ пришлось бы худо. Но двѣ изъ сосѣднихъ бабъ прибѣжали, выручили Дормидоновну и вытолкали Василья за дверь избы. Онъ еще долго бродилъ вокругъ своего дома, пробуя ворваться, но его прогоняли.

На ночь онъ пошелъ въ хлѣвъ: очень отдохнуть захотѣ

лось. Тамъ онъ сначала успокоился; его клонило ко сну. Но боль въ ногѣ начала уже сильно давать знать о себѣ, а чувство обиды неотлучно сидѣло въ немъ. Онъ присѣлъ въ уголъ на навозъ и съ большимъ недоумѣніемъ смотрѣлъ на противоположную стѣну. Зачѣмъ его обижаютъ? —думалъ онъ и вспомнилъ ехидство Прохорова, его насмѣшки, зубъ бороны и проч., вспомнилъ и заплакалъ, и слезы тихо катились по его щекамъ. Зашевелились другія воспоминанія. Въ волости его прошлый мѣсяцъ обругали и пригрозили отпороть за безчувствіе къ уплатѣ долговъ. Таракановскій баринъ обманулъ на полтину, а когда онъ пикнулъ, его же обругали. Такъ и во всѣхъ случаяхъ. Намеднись повезъ въ городъ продать сѣно, купецъ обманулъ, облаялъ, и его же спровадилъ въ часть за буйство. Дорогой прибили; прибили и на мордѣ кровь осталась. „Зачѣмъ меня обижаютъ?“—твердилъ Василій, и слезы продолжали струиться по его щекамъ.

Онъ продолжалъ смотрѣть на противоположную стѣну и все припоминалъ. Въ памяти проходили разнообразныя обиды, только обиды, милліоны обидъ! Цѣлая жизнь представлялась сплошнымъ оскорбленіемъ. За что? Онъ вѣдь человѣкъ... А есть-ли хоть одинъ, который хоть разъ молвилъ бы ласковое слово? „Васька, молъ, такъ и такъ, дружище... по человѣчеству... терпи, голубчикъ!“ Такъ нѣтъ такого человѣка, и никто не сказалъ ласковаго слова. Одно тебѣ названіе—свинья, напримѣръ... Василій громко зарыдалъ. Онъ довелъ себя воспоминаніями до той степени, когда недостаточно обыкновеннаго дыханія, когда грудь высоко поднимается. И слезы продолжали струиться по его щекамъ и капали въ навозъ. Потомъ онъ задремалъ, притихъ и успокоился. Тогда въ хлѣву настала тишина; раздавались только храпъ и сопѣнье, которыми Василій втягивалъ въ себя воздухъ навоза.

Праздникъ кончился.

На другое утро Чилигина разбудила Дормидоновна извѣстіемъ, что открылся недалеко хорошій заработокъ: можно заработать „рубль въ день, а кормятъ сколько хочешь“. Это въ имѣніи Шипикина, одного изъ окрестныхъ помѣщиковъ. Чилигинъ былъ разбуженъ этимъ съ неба упавшимъ оповѣщеніемъ; онъ еще не успѣлъ хорошенько продрать глаза, какъ уже сообразилъ, что надо бѣжать со всѣхъ ногъ, иначе

другіе перебьютъ представляющійся кусокъ. Вольные заработки въ этой мѣстности были немногочисленны, ограничиваясь сдираніемъ лыкъ, тасканіемъ бревенъ съ плотовъ на землю, пилкой этихъ бревенъ и прочими случаями, большую часть которыхъ посылалъ случай, какъ, напримѣръ, неожиданную поимку волка. Но мужики, не обезпеченные на лѣто собственною работой,—а къ такимъ именно и принадлежалъ Василій Чилигинъ,—не обращали вниманія на то, вольный-ли представлялся заработокъ, или не вольный; они ловили упавшій съ неба кусокъ, рыская за нимъ по всѣмъ окрестностямъ и перебивая его другъ у друга съ тѣмъ остервенѣніемъ, примѣры котораго можно найти только въ зоологической жизни. Не вольные заработки находились въ рукахъ Тараканова и Шипикина, и къ нимъ мужики гуртами шли, часто не разумѣя смысла ихъ заработка.

Быстро понявъ необходимость заработка, Чилигинъ схватилъ изъ рукъ Дормидоновны каравай, сунулъ его за пазуху, перекинулъ черезъ плечо сапоги и отправился въ путешествіе къ Шипикину перекладывать муку.

По дорогѣ онъ ничѣмъ не развлекался—ни видомъ окружающихъ лѣсовъ и полей, которыхъ онъ никогда не замѣчалъ, ни своими собственными размышленіями, которыя у него всѣ были физическаго свойства. Другой на его мѣстѣ отъ скуки запѣлъ бы, но онъ не могъ, потому что пѣть не умѣлъ, не зналъ ни одной пѣсни. Онъ даже не умѣлъ тихо свистать. Свистнуть оглушительно—это онъ могъ. Проходя небольшимъ лугомъ, онъ увидалъ стаю скворцовъ и свистнулъ: стая съ шумомъ поднялась и бросилась въ сторону. А Василій улыбнулся широкою улыбкой. Это потому, что онъ умѣлъ только улыбаться, а хохотать—никогда.

Почти на половинѣ дороги Василій сдѣлалъ привалъ. Солнце было высоко, и ему захотѣлось ѣсть. Для этого онъ избралъ поросшее тростникомъ и водяными растеніями болото, черезъ которое по мосту проходила дорога, залѣзъ на кочку и, мокая хлѣбъ въ воду, принялся обѣдать. Случайно онъ увидѣлъ въ водѣ свой образъ, на которомъ ему не понравились кровяныя пятна, напомнившія ему, что вчера былъ бой. Чтобы смыть ихъ, онъ потеръ лицо смоченными руками, вслѣдствіе чего грязь равномѣрнѣе распредѣлилась по лицу, и утерся подоломъ рубахи.

Работа кипѣла у амбаровъ Шипикина, когда Чилигинъ подходилъ туда. Пѣшіе таскали мѣшки въ пять пудовъ, получая за каждый десятокъ по 17 копѣекъ; конные укладывали ихъ на воза и увязывали. Всѣмъ этимъ муравейникомъ управлялъ прикащикъ, стоя на лѣстницѣ съ книжкой въ одной рукѣ и длинною хворостиной, имѣвшею загадочное назначеніе, въ другой. Кругомъ, на нѣсколько верстъ, тянулись телѣги; однѣ изъ нихъ уѣзжали, нагруженныя хлѣбомъ, другія приближались, чтобы забрать грузъ. Земля сдѣлалась бѣлоснѣжною отъ мучной пыли; мука носилась въ воздухѣ, покрывала волосы и лица рабочихъ, мукой чихали. Откуда столько взялось ея съ оголеннаго и отощалаго округа? А Шипикинъ собралъ ее и отправлялъ въ столицу, откуда она должна была отправиться за границу.

Чилигинъ подошелъ къ прикащику и попросилъ работы. Но прикащикъ прогналъ его, а когда Чилигинъ заупрямился, начавъ приставать, онъ пугнулъ его длинною хворостиной. Впрочемъ, какъ будто вскользь, прибавилъ, что нужно отправиться къ самому барину.

Это была просто военная хитрость или, лучше, звѣриная ловушка, придуманная старозавѣтнымъ умомъ самого Шипикина. Обыкновенно, каждому рабочему прикащикъ отказывалъ въ работѣ, увѣряя, при помощи хворостины, что не надо ни лошадей, ни людей, и, обыкновенно, этотъ рабочій лѣзъ въ прихожую самого барина. А тамъ происходилъ вотъ какой разговоръ. „Сдѣлай божескую милость!“—проситъ мужичокъ.—„Нельзя, дружочекъ, и радъ бы дать тебѣ деньжонокъ, но что же подѣлаешь?“—„Стало быть, никакъ невозможно?“—„Не могу, голубчикъ мой! Право, вся работишка отдана, и жаль тебя, да что ужь тутъ...“—„Теперича мнѣ, значитъ, домой плестись?“—говоритъ въ раздумьи мужичокъ. —„Миленькій мой, понимаю! Знаю всю твою бѣду-горе крестьянское!... Ну, ладно ужь, Христосъ съ тобой, ступай на работу, куда ни шли семнадцать копѣечекъ; иди съ Богомъ, другъ, работай на здоровье!“ Послѣ такой операціи мужичокъ дѣлался необыкновенно смирнымъ и молча все время таскалъ мѣшки, боясь пискнуть, какъ человѣкъ, которому сдѣлали величайшее одолженіе; только въ концѣ работы, считая на ладони мѣдяки, задумчиво говорилъ про себя. „А, между прочимъ, жидоморъ!“

Въ то же самое время Шипикинъ увѣрялъ, что онъ—чисто-русскій, съ русскимъ сердцемъ, съ народною подоплекой. Онъ любитъ мужичка русскаго и его душу. Дѣйствительно, онъ былъ всеобщимъ въ деревнѣ кумомъ, для чего держалъ у себя постоянно мѣдные крестики и полотенца для ризокъ. Онъ не отказывался никогда присутствовать на храмовыхъ праздникахъ, гдѣ, на ряду съ прочими, пилъ водочную влагу. У себя въ помѣстьѣ онъ носилъ красную рубаху съ косымъ воротомъ. Въ церкви стоялъ на клиросѣ и пѣлъ стихиры. А на паперти собственноручно прибилъ къ стѣнѣ кружку въ пользу славянскихъ братьевъ...

Дѣйствительно, онъ любилъ мужичка и приходилъ искренно въ умиленіе отъ одного его вида заморённаго. Самый духъ его нравился ему. Онъ постоянно упоминалъ словечки вродѣ—„пупъ", „сердцевина безъ червоточины", „не вспаханная нива", употребляя и другія слова, даже иногда страшныя. Но съ тою же искренностью онъ не отказывался грызть этотъ пупъ, точить эту сердцевину и ѣздить даромъ по нивѣ, собирая обильную жатву съ нея.

Онъ дѣйствительно былъ русскій человѣкъ и все, что въ русскомъ человѣкѣ было протухлаго, искренно считалъ своимъ идеаломъ. Въ немъ не было прямоты Тараканова, съ которой тотъ ободралъ весь округъ, потому что не было таракановскаго сознанія законности обдиранія. Онъ, напротивъ, вѣчно сознавалъ свою неправоту. Съ Таракановымъ они были друзья, дѣйствуя часто вмѣстѣ. Таракановъ бралъ на себя самую наглую и безстыдную роль, а Шипикинъ пользовался результатами этого безстыдства. Таракановъ, напримѣръ, представлялъ мировому судьѣ полвоза векселей, и одурѣлые мужики валомъ валили—одни къ Тараканову, чтобы написать еще нѣсколько возовъ векселей, другіе къ Шипикину, чтобы даромъ свалить ему свой хлѣбъ. Но Таракановъ послѣ этой травли мужика потиралъ отъ удовольствія руки, а Шипикинъ чувствовалъ себя скверно, для чего пьянствовалъ, шляясь по крестинамъ и надѣляя кумовьевъ серебряными пятачками. Одурачивъ мужика, онъ до небесъ принимался хвалить „чисто-русскій умъ", „широкое сердце народное" и т. д. Подличая на счетъ мужика, онъ смутно сознавалъ свою повинность передъ нимъ и вознаграждалъ его словами: „пупъ", „здоровое ядро" и пр.

Чилигину было, однако, все равно—съ русскимъ сердцемъ имѣлъ онъ дѣло или съ какимъ иноплеменнымъ. Шипикинъ былъ для него просто кулакъ русскій, съ инстинктомъ ветхозавѣтнаго разбойничества. Чилигинъ стоялъ возлѣ крыльца барина, чесалъ всклоченные волосы и тупо соображалъ, какимъ бы манеромъ достать работы. Василій, наконецъ, вошелъ въ прихожую и дожидался барина. Тотъ немедленно вышелъ.

— Что скажешь хорошенькаго?—спросилъ онъ.

— Пришелъ наймаваться,—сказалъ Василій и опять запустилъ обѣ руки въ нечесанные волосы, думая этимъ пригладить ихъ нѣсколько.

— Опоздалъ, дружокъ, всю работу роздалъ.

— Ишь ты!—задумчиво замѣтилъ Василій.

— Да, голубчикъ, роздалъ.

— Такъ... А ужь я бы тебѣ удружилъ вотъ какъ! Къ этому дѣлу, насчетъ мѣшка, привыченъ, то-есть... этотъ самый мѣшокъ для меня все одно, что ничего.

— Молодецъ! Ого, какія ручища-то у тебя! И видно, что здоровъ. Ты, я думаю, возъ поднимешь?

— Возъ не возъ, а лошадь можно.

— Ну, хорошо. Такому богатырю стыдно и отказывать,—горячо замѣтилъ Шипикинъ.—Иди, работай съ Божьею помощью за двадцать копѣекъ, я даю тебѣ, какъ никому. Грѣшно отказывать такому силачу... „Раззудись плечо, размахнись рука“, а?

Шипикинъ въ первый разъ не смошенничалъ, приведенный въ восторгъ здоровеннымъ видомъ Чилигина.

Чилигинъ ухмыльнулся. Во-первыхъ, похвала барина ему понравилась; во-вторыхъ, его удивляла простота его, и онъ былъ радъ, что ловко воспользовался чудакомъ. Шипикинъ поднесъ ему, кромѣ того, рюмку водки, изъ чего Василій тонко сообразилъ, что чудакъ-баринъ самъ малость выпивши.

Послѣ такого счастливаго случая Чилигинъ, шутя, принялся таскать мѣшки въ пять пудовъ, опережая всѣхъ рабочихъ и удивляя своею силой. Про него говорили: „Ну, лошадь!“ Это мнѣніе было пріятно Чилигину; онъ отъ удовольствія разѣвалъ ротъ и скалилъ зубы. Со стороны глядя, думалось, что онъ на самомъ дѣлѣ возилъ горы шутя, но

стоило только взглянуть на его вытаращенные глаза, когда онъ несъ мѣшокъ, на плотно сжатыя челюсти, на растопыренныя ноги, похожія на ноги лошади, когда она везетъ возъ въ крутую гору, выбивается изъ силъ и порывисто дышетъ, разставляя ноги въ разныя стороны, чтобы не грохнуться на землю; стоило только взглянуть на искаженное лицо его, когда онъ стряхивалъ ношу на возъ, и дѣлалось понятнымъ, что ему тяжело. Кромѣ того, рана не давала ему покоя. Когда пришло время обѣда, онъ самъ удивился, отчего руки его дрожали, губы запеклись и почему онъ вообще такъ сильно усталъ. Онъ подумалъ, что его сглазили. Чтобы парализовать дальнѣйшее дѣйствіе дурного глаза, онъ отошелъ въ сторону и быстро продѣлалъ нѣсколько таинственственныхъ манипуляцій, послѣ чего плюнулъ на всѣ четыре стороны (также съ медицинскою цѣлью) и пошелъ. Выходя изъ своего волшебнаго мѣста, онъ посмотрѣлъ хитрымъ взглядомъ на топтавшуюся вдали массу рабочихъ: что̀, молъ, взяли?

По тому, какъ онъ принялся ѣсть, всѣ поняли, что, работая за десятерыхъ, онъ и ѣстъ соотвѣтственно этому. Обѣдалъ онъ молча и сосредоточенно. Хозяинъ давалъ хлѣбъ, квасъ, лукъ, огурцы, притомъ всего этого вволю. Василій даже обомлѣлъ, когда понялъ это. Дома изъ-за краюшки хлѣба онъ ссорился съ отцомъ и Дормидоновной; квасъ онъ пилъ всегда бѣлый, а огурцовъ въ нынѣшнее лѣто онъ еще въ ротъ не бралъ. Легко вообразить, съ какою напряженностью онъ ѣлъ эти вкусныя вещи. Сперва онъ думалъ, что, пожалуй, мало будетъ пищи, но, къ удивленію его, къ концу обѣда всѣ наѣлись и даже онъ. Но, чтобы не быть обманутымъ скоропроходящимъ счастіемъ, послѣ обѣда, когда всѣ разбрелись по разнымъ мѣстамъ, онъ положилъ въ карманъ нѣсколько луковицъ, потомъ взялъ десятка два толстыхъ огурцовъ и тайно отнесъ ихъ въ сторону. Тамъ онъ положилъ все это въ яму и закопалъ соромъ. Это—на всякій случай, чтобы потомъ отрыть и унести съ собой. Онъ думалъ о будущемъ.

Но къ вечеру онъ съ тревогой почувствовалъ, что занемогъ. Болѣзненное дѣйствіе произвели на него всѣ событія, пережитыя имъ въ эти дни; бой, рана, пятипудовыя мѣшки, лукъ и огурцы,—все это роковымъ образомъ отразилось на

немъ. Уже прямо послѣ обильнаго обѣда онъ почувствовалъ себя нехорошо, но дальше все дѣлалось хуже и хуже. Въ головѣ его начался жаръ, животъ дулся, ногу кололо, дергало и рвало. Пробовалъ онъ кое-какія простыя врачебныя мѣры, напримѣръ, катался по землѣ, но это нисколько не помогло. Перемогаться дольше не было силъ. Думалъ онъ поискать знахарку, но его надоумили отправиться къ фельдшеру, впрочемъ, предупредивъ насчетъ его характера: „Очень лютъ бываетъ, но доберъ и пользуетъ дѣльно".

Чилигинъ отправился. Дорогою онъ сообразилъ, дорого-ли съ него возьметъ этотъ лѣкарь за лѣкарство и лѣченіе. Онъ испугался, какъ бы ему не вывернуть карманы окончательно для этого лѣкарства. Эта мысль даже боли успокоила. Но давъ себѣ слово, что, въ случаѣ чего, онъ упрется, онъ отправился въ сѣни фельдшера. Послѣдній скоро вышелъ къ нему и приказалъ сѣсть больному на полъ. Онъ обращался съ нимъ грубо. „Повернись вотъ эдакъ! Держи хорошенько ногу!"—говорилъ онъ рѣзко, но изслѣдовалъ внимательно.

— Это что? Гдѣ ты просверлилъ такую дыру? — спрашивалъ онъ сердито.

Чилигинъ разсказалъ. Разсказалъ также о животѣ. Фельдшеръ желалъ знать подробнѣе: что онъ ѣлъ, гдѣ спалъ, что дѣлалъ. Въ концѣ-концовъ, огурцы обратили на себя большое вниманіе.

— Ишь, свинья, нажрался!—сказалъ фельдшеръ и въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ вслухъ соображалъ, что дать такому гиганту? Ложка касторова́го масла — сущіе пустяки для такого чудовища. Для эдакого чурбана надо стаканъ, чтобы его разобрало. Чилигинъ апатично сидѣлъ.

Фельдшеръ продолжалъ говорить, хотя не столько говорилъ, а приказывалъ. Это была его обыкновенная манера говорить съ мужикомъ. Мнѣніе его о мужикѣ было вотъ какое: „Ты съ нимъ много не разговаривай, прямо ругай его — и онъ тебя будетъ уважать. Это — оболтусъ, котораго надо учить, дерево, а не человѣкъ!..."

На этомъ же основаніи, что-нибудь объясняя мужику, онъ долбилъ ему долго, что̀ слѣдуетъ дѣлать. И теперь онъ подробно принялся объяснять.

— Сейчасъ я самъ тебѣ промою рану... Я бы тебѣ далъ, да ты вѣдь, пожалуй, выпьешь. А разъ ты выпьешь, всѣ

внутренности твои будутъ сожжены Это называется карболовою кислотой. Вотъ пузырекъ - нà домой. Какъ придешь, выпей его, тебя прочиститъ... да смотри у меня, выпей до дна, слышишь? Все выхлебай... А вотъ это тебѣ мазать рану, нà, бери. Да ты понялъ-ли? Повтори.

— Какъ не понять? Это, стало быть, нутреное пойло.

— Ну, нутреное, что-ли...—подтвердилъ фельдшеръ.

— Какъ сейчасъ домой, чтобы выпить? — повторялъ Чилигинъ.

— Хорошо.

— А это, говоришь, въ язву?

— Да, въ язву.

— Чтобы мазать ей?

— Мазать. Хорошо.

Фельдшеръ принесъ промывальный приборъ и приготовлялъ растворъ карболовки. Но Василій не забылъ своего рѣшенія—упереться въ случаѣ чего.

— А какъ цѣна, ваше благородіе?—спросилъ онъ.

— Пустяки. Тридцать двѣ копѣйки.

Василій обомлѣлъ. Почти такая цифра и была у него въ карманѣ. Онъ рѣшился.

— А нельзя-ли двѣ гривны? Чтобы, то-есть, нутреное за гривну и гривна въ язву.

— Нельзя. Давай ногу.

Но Чилигинъ уже уперся, и не было силы, которая заставила бы его лѣчиться послѣ этого. Фельдшеръ еще разъ сердито приказалъ, но его слова не имѣли ни малѣйшаго дѣйствія. Чилигинъ стоялъ возлѣ дверей и угрюмо смотрѣлъ въ полъ. Тогда фельдшеръ торжественно заговорилъ:

— Всякой земноводной и воздушной твари положено отъ самаго начала природы заботиться о своемъ здоровьи, чтобы жить въ чистотѣ и радости, а не какъ свиньи. Вслѣдствіе того же, всякому человѣку, носящему на своей физіономіи образъ и подобіе Божіе, отъ самыхъ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени свойственно заботиться о своемъ тѣлѣ и душѣ, чтобы жить честно и благородно, какъ предписываетъ образованіе. А потому человѣкъ, пренебрегающій, по глупости, своимъ тѣлеснымъ и душевнымъ благополучіемъ, во сто кратъ гнуснѣе всякой небесной и земной твари и заслуживаетъ того, чтобы его бить по мордѣ... Ахъ,

ты, бревно глупое!—вдругъ воскликнулъ фельдшеръ, не выдержавъ торжественнаго тона.—Да неужели тебѣ жалко какого-нибудь четвертака для здоровья? Да ты хоть бы спросилъ, выздоровѣешь-ли ты, если не станешь лѣчиться? Да ты вѣдь жизни лишаешься за пять-то огурцовъ, верблюжья башка!

— Мы привышны. Дастъ Богъ, и такъ пройдетъ,—возразилъ Чилигинъ, начиная питать злобу къ фельдшеру.

— Привышны! — передразнилъ фельдшеръ. — Ты думаешь, что желудокъ твой топоръ переваритъ? Врешь, верблюжья голова, не переваритъ! И ты думаешь, что ежели ты навалишь въ себя булыжнику, такъ это тебѣ пройдетъ даромъ? Такъ врешь же, братъ, не пройдетъ, потому что брюхо у тебя почти-что естественное...

— Намъ недосугъ жить, какъ прочіе народы, т.-е. господа, да брюхо свое наблюдать! — замѣтилъ злобно Чилигинъ, разъяренный словами фельдшера.

Послѣдній также разъярился.

— Да ты—человѣкъ?

— Мы—мужики, а прочее до насъ некасаемое.—При этомъ Чилигинъ надвинулъ шапку на глаза и шагнулъ за дверь.

— И убирайся, бревно глупое! — сказалъ фельдшеръ и ушелъ къ себѣ.

Чилигинъ былъ радъ, что отвязался отъ него. Но не долго онъ радовался, и не пришлось ему болѣе таскать кули. Къ вечеру онъ окончательно занемогъ и надолго лишился чувствъ. Онъ помнилъ только, что залѣзъ подъ амбаръ, съ цѣлью не мѣшать другимъ и себѣ дать покой. Но что дальше совершалось, онъ все забылъ въ бреду; только блѣдный лучъ сознанія мелькалъ въ его головѣ, освѣщая по временамъ нѣкоторые случаи, происшедшіе за это время...

Будто кто-то подошелъ къ нему и вытянулъ его за ноги изъ-подъ амбара, что̀ было очень обидно. Потомъ онъ услышалъ голосъ якобы самого барина: „Вотъ еще наказаніе! Отвезите его въ городскую больницу, а то еще помретъ“. Тогда его взяли, какъ куль, и снесли его на нагруженный мукой возъ. Съ этой минуты потянулись долгіе, ужасные дни, во все продолженіе которыхъ онъ болтался и трясся на возу, и онъ подумалъ, что быть кулемъ довольно подло; его куда-то везли, а онъ ничего не видалъ, ничего не могъ сказать.

или о чемъ-нибудь попросить. И голова его стукалась объ телѣгу, тѣло качалось во всѣ стороны, въ носъ и ротъ лѣзли пыль и мука, а въ то же время другіе кули безжалостно тискали его. Наконецъ, его привезли, стащили съ воза и отнесли въ амбаръ, положивъ около другого тощаго куля. Послѣ этого вдругъ сдѣлалось темно и тихо. Только гдѣ-то крысы скребли, и онъ боялся, что онѣ именно къ нему пробираются, чтобы прогрызть его и таскать изъ него муку.

Но мѣсто, представившееся Чилигину амбаромъ, было только больницей, куда его привезли, положивъ его рядомъ съ другимъ больнымъ, а за крысу онъ принялъ старую сидѣлку въ коленкоровомъ платьѣ, которое шуршало при малѣйшемъ движеніи сидѣлки. Впрочемъ, больной скоро снова сдѣлался безчувственнымъ на цѣлую недѣлю и не помнилъ, кто его лѣчилъ, кто за нимъ ухаживалъ и когда совершили операцію въ его ногѣ, въ которой открылся антоновъ огонь...

Когда онъ пришелъ въ себя, то цѣлый день употребилъ на то, чтобы возобновить въ памяти все случившееся съ нимъ. Между прочимъ, онъ вспомнилъ о лукѣ, отчасти оставшемся въ его карманѣ, и тотчасъ обратился за разъясненіемъ этого обстоятельства къ сидѣлкѣ. Та сердито приказала ему молчать, но, впрочемъ, успокоила его, объявивъ, что деньги его—тридцать пять копѣекъ—останутся цѣлыми, а лукъ, найденный въ карманѣ, выброшенъ въ помойную яму... Тсс! Чилигинъ успокоился, увидавъ, что его кормятъ хорошо, только не очень сытно. Дѣйствительно, выздоравливая, онъ очень жадничалъ; поѣдалъ все, что ему давали, и все-таки считалъ себя голоднымъ. Баринъ, лежавшій съ нимъ рядомъ, замѣтивъ это, сталъ отдавать ему почти всю свою порцію. Чилигинъ и ее поѣдалъ. Съ этого началось ихъ знакомство. Оно упрочилось еще болѣе тѣмъ, что оба были больны.

Но Чилигинъ въ первые дни неохотно вступалъ въ разговоръ. Онъ молча лежалъ, все раздумываясь о своемъ положеніи, безпримѣрномъ и поразительномъ въ жизни. Во-первыхъ, его кормили даромъ; во-вторыхъ, ему нечего было дѣлать, тогда какъ въ настоящей, во всамдѣлешней его жизни онъ вѣчно гонялся за кускомъ, а о досугѣ, — о такомъ досугѣ, когда ничто не печалило бы,—онъ до сего дня не имѣлъ никакого представленія. Это странное положеніе дало ему возможность и время глубоко задуматься. Но досужая мысль

его сперва освѣщала только внѣшніе, окружающіе его предметы и явленія. Въ началѣ стояла невозмутимая тишина. Чилигинъ прислушивался, смотрѣлъ. Онъ никогда не жилъ въ такой избѣ, гдѣ стѣны были бѣлы, какъ снѣгъ, потолокъ высокъ, окна громадны. Выкрашенный полъ казался ему столомъ, и онъ смертельно испугался, когда однажды плюнулъ на него, тотчасъ стеревъ ладонью замаранное мѣсто. Осмотрѣвъ всѣ эти предметы, онъ сказалъ разъ вслухъ: „У, какъ тутъ чисто!“

Онъ не пропускалъ ни одной мелочи безъ вниманія. Простыню, на которой лежалъ, онъ нѣсколько разъ ощупалъ; подушку изслѣдовалъ со всѣхъ сторонъ. Когда ему принесли въ первый разъ тарелку, онъ позвенѣлъ объ нее пальцемъ, а когда ему дали металлическую ложку, онъ попробовалъ ее зубами. Любопытство его проникало всюду. И всякій разъ, какъ что-нибудь обращало его вниманіе, онъ дѣлалъ замѣчанія, которыя по большей части выражали его удивленіе насчетъ чистыхъ вещей. Но все, что его окружало, казалось ему холоднымъ, скучнымъ, хотя и богатымъ, причемъ ему пришло въ голову, что было бы хорошо, ежели бы все это было дома и ежели бы возможно было жить такъ. „Чудесно было бы, чисто и пріятно!“ Однако, въ опроверженіе этой сумасшедшей мысли, онъ уныло покачалъ головой и сказалъ: „Какже, держи карманъ!“

Сосѣдъ видѣлъ его скуку и затѣвалъ съ нимъ разговоры. Чилигинъ, наконецъ, сдѣлался сообщительнѣе. Бѣда только въ томъ, что имъ часто разговаривать было не о чемъ, потому что общимъ между ними было только больное положеніе и больничная порція. Тогда баринъ сталъ читать книжку. Книжки Чилигинъ раньше всегда какъ-то побаивался, и если ему приходилось держать такую вещь въ своихъ рукахъ, то онъ всегда улыбался, какъ ребенокъ, которому кажутъ неизвѣстную вещь, а онъ думаетъ, что она укуситъ. Книжка была „О землѣ и небѣ“, школьное изданіе. Баринъ не ограничивался однимъ чтеніемъ, — трудныя мѣста онъ обстоятельно объяснялъ. Чилигинъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ взволнованно слушалъ. Наконецъ, чтеніе кончилось, и сосѣдъ спросилъ, какъ ему понравилось?

— Забавная книжица. И даже очень пріятно, — отвѣчалъ Чилигинъ.

Больной сосѣдъ нахмурился.

— Только забавная?—спросилъ онъ.

— А то что же еще? Побаловаться отъ скуки можно,—возразилъ Чилигинъ.

Баринъ просилъ объясненія, горячился, и Чилигинъ добавилъ, что такое баловство мужику не идетъ.

— Отчего не идетъ?—спросилъ баринъ.

— Такъ. Жирно очень!

Сосѣдъ-баринъ не понималъ и продолжалъ допытываться. Онъ повернулся лицомъ къ товарищу и пристально осматривалъ его, тогда какъ послѣдній не глядѣлъ никуда, мрачный и задумчивый.

— Почему же жирно? Наука—для всѣхъ.

— А для мужика—предѣлъ,—возразилъ Чилигинъ.—Потому ему предѣлъ, чтобы онъ не безобразничалъ. А то книжки... ловко сказалъ!

— Да что же худого въ книжкахъ?—спросилъ тоскливо и съ удивленіемъ больной.

— Напримѣръ, развратъ и прочее.

— Какъ?

— То-есть подлость!—Чилигинъ говорилъ мрачно.—Потому, ты не балуйся, а живи по совѣсти. Назначена тебѣ точка, и ты сиди на ней, а нечего тутъ безобразія выдумывать, лежать вверхъ брюхомъ. Ты станешь книжку читать, другой мужикъ захочетъ тоже, а я за тебя отдувайся! Нѣтъ, ужь ты сдѣлай милость, прекрати эти глупости; работай, братъ, потому тебѣ отъ самаго первоначалу положена эта самая точка, а не забавляйся... А то книжка... эдакъ всякъ бы захотѣлъ книжку читать, да ручки свои беречь!

Сосѣдъ опечалился, выслушавъ это. Лицо его омрачилось туманомъ. Къ его удивленію, онъ пришелъ къ заключенію, что не Василій Чилигинъ не понимаетъ его, а напротивъ, онъ не понимаетъ Василія Чилигина. Изъ словъ послѣдняго онъ понялъ только то, что читать книжку почему-то безсовѣстно, худо. Тогда онъ сталъ говорить о прошломъ, начавъ издалека, чтобы добиться съ товарищемъ взаимнаго пониманія. Онъ разсказалъ въ простой формѣ, какъ жилъ крестьянинъ въ старыя времена, какъ его преслѣдовали, убивая въ немъ душу, унижая человѣка и доводя его до звѣринаго состоянія. Долгое время онъ былъ подлый рабъ для другихъ и для себя,

потомъ онъ сдѣлался „холопомъ Ванькой“; наконецъ, его обратили въ „мужика“, изъ снисхожденія крича ему иногда: „человѣкъ“! Не убили въ немъ душу, не обратили его въ звѣря. Но онъ все-таки пострадалъ. Онъ сталъ живымъ мертвецомъ. Въ немъ сохранилось много живого, но многое умерло въ его душѣ и исчезло изъ его памяти и жизни. Онъ сталъ труслив въ отношеніяхъ къ высшимъ и часто жестокъ къ своему брату. Страдая самъ, онъ сдѣлался равнодушенъ вообще къ страданіямъ. Мѣру человѣческаго достоинства онъ тоже утратилъ, называя себя вслухъ дуракомъ и создавая сказку объ Иванушкѣ. Онъ потерялъ величайшую силу жизни—самолюбіе. Живя въ грязи, онъ думаетъ, что это такъ и слѣдуетъ. Ничего не зная, онъ говоритъ, что наука—доброе дѣло, но самъ для себя не считаетъ ее пригодною, потому что онъ—мужикъ, т.-е. нѣчто среднее между человѣкомъ и какимъ-то неизвѣстнымъ животнымъ И вотъ потому, что самъ онъ себя не уважаетъ. никто и изъ посторонних не питаетъ уваженія къ нему. Развѣ иногда пожалѣютъ.

— Вѣрно. Такъ. Не уважаютъ. Какъ есть ты свинья, такъ и нѣтъ тебѣ никакого снисхожденія! — взволнованно проговорилъ Чилигинъ, когда баринъ кончилъ свой разсказъ.

Цѣль была достигнута. Чилигинъ проникся глубочайшимъ интересомъ къ разговору. Но онъ долго не понималъ вопросовъ.

— Ну, что̀ ты вообще разумѣешь подъ словомъ, наприм., худо?

— Не жрамши быть, — отвѣчалъ, наконецъ, Чилигинъ.

Больной баринъ съ грустью посмотрѣлъ на говорившаго. Онъ долго послѣ этого молчалъ, видимо, озадаченный, и боялся спрашивать дальше, чтобы еще болѣе не разочароваться. Онъ задумчиво вглядывался въ широкое лицо собесѣдника и только по истеченіи долгаго времени предложилъ и второй вопросъ: „Что хорошо?“ Чилигинъ сначала отвѣчалъ: “*Двадцать пять рублей*“. Удивленный этою загадочною цифрой, баринъ попросилъ объясненія, но Чилигинъ наивно разсказалъ, что онъ никогда не обладалъ такою суммой и желалъ бы малость попользоваться. Очевидно, что помянутая сумма была для него рѣшительно миѳической.

Барину опять пришлось долго говорить, чтобы выяснить, что̀ собственно онъ желаетъ знать. А именно, онъ желаетъ

узнать, какую жизнь вообще Василій Степанычъ считалъ бы хорошей?

— Ну, ты скажи, чего бы ты для себя желалъ?

Но съ этого момента начались поистинѣ нечеловѣческія усилія Чилигина. Баринъ все продолжалъ вглядываться въ него. Онъ думалъ, что собесѣдникъ его теперь шибко размечтается, уйдетъ съ пахнущей пôтомъ земли на чистое и счастливое небо, уйдетъ и оттуда разскажетъ свои сердечные помыслы, тайныя думы и глубокія желанія. Но Чилигинъ просто мучился. Вопросъ, дѣйствительно, взволновалъ его, но рѣшить его онъ былъ не въ силахъ. Онъ вертѣлся на своей койкѣ, поводилъ глазами по комнатѣ и шевелилъ беззвучно губами. Настали сумерки. Воцарилась могильная тишина во всей больницѣ. Сквозь оконныя стекла виднѣлась зарница, разгораясь все ярче и ярче на темномъ небѣ. Чилигинъ все вертѣлся на кровати и кряхтѣлъ. Нѣсколько разъ онъ садился на постель и глубоко вздыхалъ или шепталъ что-то, задумчиво почесывая свою спину. Мракъ ночи все болѣе и болѣе сгущался, парализуемый лишь луной, которая бросала нѣсколько блѣдныхъ лучей на полъ палаты. А Чилигинъ все придумывалъ умный отвѣтъ на взволновавшую его мысль.

— Да ты ужь лучше отложи. Успѣемъ еще наговориться,— сжалился баринъ.

— Нѣтъ, ты погоди. Я все тебѣ распишу по порядку! —торопливо началъ Чилигинъ. — Во-первыхъ, милый человѣкъ, скажу тебѣ насчетъ сытости, то-есть какъ должно всякому человѣку питаться, напримѣръ, и тутъ я тебѣ скажу прямо, что двухъ пудовъ вполнѣ достаточно для меня, а, стало быть, для всего моего семейства, по той причинѣ, что мнѣ за глаза довольно мѣшка. Ладно. Два пуда. Теперича насчетъ хозяйства. Чтобы хозяйство было ужь вполнѣ, какъ слѣдуетъ человѣку, а не какому-нибудь бродягѣ, — чтобы вполнѣ довольно было скота, птицы и прочаго обихода, потому безъ этой живности нашему брату, не говоря дурного слова, чистая смерть. Ладно. Птицы и прочее. Но главное—лошади, и ежели говорить по совѣсти, то лошадь должна быть дѣльная, натуральная, т.-е. прямо лошадь въ тѣлѣ, чтобы ежели сорокъ пудовъ, такъ она везла бы честно. На такой лошади, братецъ ты мой, и выѣхать на улицу лестно, потому что она все равно, какъ вѣтеръ, а со стороны тебѣ уваженіе.

Больной баринъ рѣзкимъ движеніемъ завернулся съ головой въ одѣяло и мрачно уткнулъ лицо въ подушку. Онъ не хотѣлъ больше слушать, показывая видъ, что ему спать хочется. Чилигинъ остановился.

Но расходившееся воображеніе его долго не могло успокоиться. Переставъ говорить, онъ не прекратилъ обдумыванія хорошей жизни, взволнованно ворочаясь на постели и изрѣдка продолжая шептать: чтобы все какъ слѣдуетъ и... Никогда онъ такъ усиленно не думалъ. Голова горѣла отъ напряженія, сонъ бѣжалъ отъ глазъ, и онъ до глубокой ночи лежалъ съ широко раскрытыми глазами, какъ будто желая проникнуть взглядомъ въ окружающую темноту комнаты. А ночь дѣлалась все темнѣе. Мѣсяцъ скрылся. Окна больницы чуть-чуть виднѣлись изъ глубины палаты, едва освѣщенныя неопредѣленнымъ звѣзднымъ свѣтомъ. Тишина всего окружающаго ничѣмъ больше не нарушалась. Чилигинъ сталъ успокоиваться, чувствуя изнеможеніе силъ; шептать онъ пересталъ, лежа неподвижно на койкѣ; глаза его закрывались. Но вдругъ его озарила неожиданная мысль, отъ которой онъ даже приподнялся и сѣлъ середи постели. Было далеко за полночь.

— Баринъ!—тихо, полушепотомъ, окликнулъ онъ сосѣда.

Баринъ высунулъ голову изъ-подъ одѣяла.

— А вѣдь все это—бездѣльныя глупости!—прошепталъ онъ дрожащимъ шепотомъ.

— Что такое?

— А то, что я тебѣ вралъ насчетъ мереньевъ-то. Никогда этому не бывать. Главное не тутъ, что я вралъ...

— Гдѣ же?

— А въ томъ главное, что терпи и больше ничего.

Сказавъ это, Чилигинъ посидѣлъ еще нѣсколько минутъ, потомъ легъ и заснулъ.

Больной человѣкъ сбросилъ съ себя одѣяло, желая еще о чемъ-то спросить, но Чилигинъ уже спалъ богатырскимъ сномъ.

Больше никогда между двумя больными не возобновлялся этотъ разговоръ. Чилигинъ сталъ быстро поправляться, но, выздоравливая, онъ не сдѣлался прежнимъ Чилигинымъ. Онъ сдѣлался кроткимъ и благодарнымъ. Раньше никто о немъ не заботился, и его поражало до глубины души то обстоятельство, что теперь о немъ заботились сразу четыре человѣка: [redacted], сидѣлка, сестра милосердія и больной баринъ. Къ

старой сидѣлкѣ онъ чувствовалъ нѣкоторый страхъ: достаточно было съ ея стороны одного слова, чтобы онъ сдѣлался смирнѣе ребенка. Къ доктору онъ питалъ уваженіе и благодарность за лѣченіе и хорошее обращеніе: „Придетъ, велитъ высунуть языкъ, и больше ничего, а не бранится". Что касается сестры милосердія, изрѣдка навѣщавшей больницу, такъ у Чилигина къ ней родилось самое сложное чувство, несмотря на то, что та была у него всего раза три. Когда она въ первый разъ собственными руками промыла ему рану, онъ проникся безусловнымъ изумленіемъ и серьезно расчувствовался, отъ чего на глазахъ показались слезы. Въ послѣдній разъ онъ намѣревался-было схватить ея руку и приложиться къ ней, но остановился передъ этимъ поступкомъ только изъ страха, какъ бы чего не было.

Въ послѣдній день, когда докторъ объявилъ его выздоровѣвшимъ и велѣлъ ему выписаться, онъ глубоко задумался. Между прочимъ, ему захотѣлось отблагодарить чѣмъ-нибудь добрую госпожу. Никому не сказавшись, онъ сходилъ въ мелочную лавочку и, возвратившись назадъ, остановился въ темномъ корридорѣ, дожидаясь прихода барыни. Лишь только она поравнялась съ нимъ, онъ вручилъ ей бумажный картузъ. „Что такое?"—воскликнула сестра милосердія. Оказались грязные пряники. Она засмѣялась и отдала ихъ назадъ. Чилигинъ не могъ сказать отъ замѣшательства ни одного слова и стоялъ, какъ вкопанный, смотря на удаляющуюся сестру.

Когда онъ выходилъ изъ больницы черезъ часъ, его охватила тоска.

. . . .

Здѣсь кончилось для Василія Чилигина праздничное время, когда онъ могъ отдохнуть, оглянуться вокругъ себя, порыться въ своей душѣ и задуматься. А что съ нимъ будетъ дальше? Быть можетъ, увидавъ снова свою убогую обстановку, онъ почувствуетъ отвращеніе къ ней, и нападетъ на него тоска, и онъ апатично примется работать, равнодушно доживая свой вѣкъ; быть можетъ, онъ потопитъ свою печаль въ тухлой водкѣ; быть можетъ, его начнетъ душить злоба, когда безпросвѣтная жизнь въ деревнѣ снова закрутитъ, завертитъ его, не давая минуты времени для раздумья, когда въ умѣ зародится безпредметная ненависть, а по тѣлу разольется

безсильная желчь... Но, быть можетъ, онъ сразу забудетъ все и снова заживетъ...

Дальнѣйшія событія въ жизни Чилигина состояли въ томъ, что, во первыхъ, онъ пришелъ домой и съѣлъ два фунта сухарей, по той причинѣ, что у Дормидоновны ничего не было и во все время его отсутствія она изъ-за хлѣба жила у попа; во-вторыхъ, къ нему на другой день явился староста и объявилъ его должникомъ міра, который заплатилъ за него больничную плату, а, впрочемъ, съ искреннимъ сожалѣніемъ спросилъ, отчего онъ хромаетъ? На это Василій отвѣчалъ: „лапу отрѣзали". Въ-третьихъ, на другой же день его призвали въ волость, гдѣ довольно многочисленные кредиторы его встрѣтили объявленіемъ, смыслъ котораго состоялъ въ одномъ словѣ: „отдавай!" Въ-четвертыхъ, быстро сообразивъ, что съ него намѣреваются содрать шкуру, онъ незамѣтно удалился со схода и тѣмъ спасъ себя на нѣкоторое время отъ неминуемой гибели.

III.

Двѣ десятины.

Вся семья была въ сборѣ, по случаю полученія письма, которое явилось вѣсточкой, поданной издалека сыномъ. Обыкновенно, при полученіи такой рѣдкой вещи въ крестьянской семьѣ, получатели испытываютъ особенное настроеніе, незнакомое ни въ какомъ другомъ общественномъ слоѣ, потому что „письмецо" приноситъ съ собой или вѣсть о здравіи человѣка, о которомъ уже много лѣтъ ничего не было слышно, или о неожиданной смерти. Одинъ видъ писанной бумаги, вложенной въ конвертъ съ марками, производитъ уже нѣкотораго рода душевный переполохъ; всѣ бросаютъ занятія и сосредоточиваются взорами на страшномъ листѣ съ его страшными письменами. Такъ было и въ этомъ случаѣ. Письмо держалъ на ладони самъ хозяинъ, задумчиво поглядывая на него; около хозяина размѣстилась, какъ попало, его семья: жена, бросившая помои, которыя она приготовляла для теленка, два мальчугана, ѣздившіе до этого времени другъ на другѣ верхомъ, а теперь засунувшіе руки въ ротъ, старуха, приползшая въ избу съ завалинки, гдѣ она грѣлась на солнечномъ припекѣ, и зять съ женой, пришедшіе ради такого рѣдкаго случая съ другого конца деревни. Воцарилось торжественное настроеніе; всѣ глядѣли на письмо. Хозяинъ былъ задумчивъ; хозяйка вздыхала; старуха мрачно качала головой. Только зять съ женой легкомысленно болтали. Прочитать письмо никто не умѣлъ.

— Вотъ тебѣ и Ивашка! — говорилъ среди всеобщаго тягостнаго молчанія зять. — Ему бы только вырваться, а тамъ поминай какъ звали. А вѣдь дожидали, а онъ хоть бы что...

Выходитъ, стало быть, надо прямо говорить, такъ: нѣтъ ни денегъ, ни Ивашки!

— Точно дожидали... Главное, какъ теперь быть съ землей?—тоскливо и скучно возразилъ самъ хозяинъ, обводя всѣхъ пораженными взорами.

— Про то я и говорю: нѣтъ ни денегъ, ни Ивашки.

Еще не узнавъ содержанія письма, всѣ были грустно изумлены и растерялись. Ивашку, приславшаго эту бумагу, дѣйствительно, ждали къ веснѣ; въ крайнемъ случаѣ ждали отъ него денегъ, необходимыхъ для съемки земли, и вдругъ—хлопъ, письмецо! Зять довольно правильно опредѣлилъ положеніе семьи: нѣтъ ни денегъ, ни Ивашки, а, стало быть, невозможна и съемка земли. Безъ земли же семьѣ угрожала зловѣщая участь. Отсюда всеобщая тягость и удивленіе. Старуха, неизвѣстно отчего, плакала, шепча молитвы; хозяйка, видимо, закручинилась; ребята съ испугомъ поглядывали на всѣхъ, не понимая, что все это значитъ.

А письмо все еще не было прочитано.

— Молчи, молчи, баушка! Дай срокъ, вычитаемъ ужо все по порядку... Ай-да, ребята, къ учителю. Онъ намъ почитаетъ.

Эти слова заставили встрепенуться всѣхъ, бывшихъ въ избѣ. Только ребята остались дома для караула, всѣ же остальные двинулись къ учителю. Впереди всѣхъ шелъ самъ хозяинъ, бережно держа на ладони письмо, за нимъ шествовали хозяйка и зять съ женой, а, наконецъ, позади всѣхъ ковыляла старуха, переставшая плакать. Учителя застали на огородѣ, который онъ приготовлялъ для засѣва, но прочесть онъ не отказался. Сейчасъ же вся семья обступила его со всѣхъ сторонъ и приготовилась слушать. Учитель отложилъ было конвертъ въ сторону, но его заставили прочитать „все дочиста̀", что̀ написано, безъ пропу̀сковъ, и онъ волей-неволей долженъ былъ декламировать сначала весь конвертъ, гдѣ оказалось, кромѣ названія губерніи, уѣзда, волости и деревни, имя Гаврилы Иванова Налимова, а потомъ длиннѣйшій списокъ сродственниковъ, которымъ адресатъ воздавалъ должное—кому поклонъ нижайшій, кому отъ Бога здравія и всякаго благополучія, а родителямъ поклонъ до сырой земли, причемъ испрашивалось родительское благословеніе, на вѣки нерушимое. Во все продолженіе монотон-

наго чтенія лица слушателей были напряжены, глаза влажны, за исключеніемъ самого хозяина, который ждалъ конца письма и разрѣшенія мучительнаго недоумѣнія. Конецъ состоялъ всего изъ нѣсколькихъ строкъ. Учитель, отдохнувъ отъ утомительнаго перечисленія сродственниковъ, прочиталъ слѣдующее:

„А что касаемое насчетъ моего возвращенія домой, чтобы то-есть пустыя баклуши бить подобно лодырю, поэтому я не возвращусь. Здѣсь, по крайности, я завсегда въ полномъ спокойствіи и существуетъ кусокъ хлѣба, а ежели болтаться, попрежнему, дома, а меня будутъ пороть за землю, коей все одно, что нѣтъ совсѣмъ и она для меня никакого интересу не даетъ, не только чтобы хоть горькій кусокъ, то лучше же мнѣ оставить это дѣло въ сторонѣ. Теперь я живу въ трактирѣ для чистки посуды, а жалованья мнѣ положенъ рубль, да еще хозяинъ сулитъ превосходную работу, когда опростается мѣсто полового; если же бы я пришелъ домой и меня бы начали завсегда пороть безъ снисхожденія, отдай, молъ, подати, а, между прочимъ, земля не предоставляетъ для меня никакого предмета, а не только что удовольствіе, и никакого смысла въ этомъ для меня нѣтъ. И лучше не уговаривайте меня, Христомъ Богомъ умоляю, потому сказалъ —не пойду, и не пойду, и не невольте меня. Иванъ Гаврилычъ Налимовъ“.

Женская половина слушателей быстро успокоилась, услыхавъ, что Ивашка живъ, но за то Гаврило замеръ на мѣстѣ, пораженный, какъ громомъ, поступками сына. Темное лицо его еще болѣе почернѣло. Онъ постоялъ-постоялъ на мѣстѣ, и когда учитель опять принялся копаться на огородѣ, очищая его отъ сору, нанесеннаго вмѣстѣ со снѣгомъ, то обнаружилъ нѣсколько разъ попытку поговорить, но только пожевалъ губами и поплелся понуро домой, имѣя видъ ушибленнаго. Онъ держалъ письмо до самаго дома, попрежнему, на ладони, боясь къ нему притронуться, а за нимъ въ томъ же порядкѣ двигалось семейство, кромѣ, впрочемъ, зятя и дочери, отправившихся въ свой конецъ.

Лучше чистая смерть!—такъ казалось въ первыя минуты Гаврилѣ. Страшное письмо оглушило его, причемъ онъ пораженъ былъ не столько странными поступками сына, сколько тѣмъ положеніемъ, въ которое онъ внезапно попалъ

вслѣдствіе отказа со стороны Ивашки отъ своей души. Дѣйствительно, до прихода этого письма у Гаврилы были мысли настолько лучезарныя, что онъ нисколько не сомнѣвался въ возможности вѣчно снимать землю, и если въ минувшую осень семья рѣшила отправить сына Ивашку на заработки въ городъ, то опять-таки только затѣмъ, чтобы получить такимъ путемъ необходимыя средства пахать землю. Самъ Гаврило не только ничего не умѣлъ, но и не питалъ склонности ни къ чему, что не касалось бы земли; ко всякому другому рукомеслу онъ былъ совершенно равнодушенъ. Это-то свойство часто вводило въ заблужденіе людей, которые съ нимъ сталкивались, въ особенности людей образованныхъ, вродѣ посредниковъ, становыхъ и мировыхъ,— всѣмъ имъ онъ, вмѣстѣ съ другими подобными мужиками, казался страшно тупъ. Каждый изъ этихъ людей, собственными своими сношеніями съ мужикомъ, убѣждался, что онъ тупъ подобно барану, и упрямъ, какъ оселъ: не понимаетъ ни дѣлъ, ни разговоровъ. Отсюда происходили необыкновенно нелѣпыя столкновенія, когда образованный человѣкъ и мужикъ стояли другъ передъ другомъ чистыми болванами. Принимаясь въ чемъ-нибудь убѣждать, первый сначала видѣлъ, что мужикъ (напримѣръ, Гаврило) какъ будто вполнѣ соглашается съ нимъ. „Да, да! какъ разъ! ужь это какъ есть!"—говорилъ мужикъ, вызывая этими пустыми словами радость въ душѣ разъяснителя. Но стоило только образованному прекратить свои горячія разсужденія и спросить, какъ объ этомъ думаетъ собесѣдникъ, послѣдній (напримѣръ, Гаврило) вдругъ начиналъ нести такую околесную, что хоть уши затыкай. Гаврило обыкновенно давалъ отвѣтъ, не имѣющій ничего общаго даже съ разговоромъ собесѣдниковъ, изъ которыхъ одинъ послѣ этого приходилъ въ изступленіе, а другой замиралъ и молчалъ, какъ столбъ. Между тѣмъ, положа руку на сердце, можно засвидѣтельствовать, что Гаврило не былъ ни глупо-упрямъ, ни тупъ. Во все продолженіе страннаго разговора онъ, можетъ быть, думалъ о „Сучьемъ вражкѣ" (чудесная землица! дай бы Господи мнѣ досталась!) или о лемехѣ, который, можетъ быть, въ эту минуту былъ въ починкѣ у кузнеца, вообще думалъ о чемъ-нибудь своемъ, близкомъ и понятномъ. А думалъ онъ о своемъ (въ то время, какъ ему долбили и разъясняли) потому

что былъ въ полномъ смыслѣ спеціалистъ, всепоглощенный спеціалистъ, утонувшій въ землѣ съ ногъ до головы. Хорошо-ли это, или худо, но спеціальность его настолько широка, что, кромѣ нея, онъ, дѣйствительно, ничего больше не понималъ и не умѣлъ. Еслибы когда-нибудь пришлось обратиться за совѣтомъ по вопросу о лугахъ, о навозѣ, о ржи и мякинѣ, о количествѣ и качествѣ надѣла, вообще обо всемъ, что касается земли, то каждый мужикъ оказался бы самымъ смышленымъ и глубокимъ знатокомъ между всѣми людьми, не исключая мировыхъ и становыхъ, изъ которыхъ тоже у каждаго есть своя спеціальность: у одного—судить, у другого—выбирать недоимки, и которые, затесавшись въ спеціальность Гаврилы, выказывали бы себя также чистыми болванами.

Потому-то Гаврило такъ и пораженъ былъ, повидимому, пустымъ письмомъ,—никакъ онъ не могъ понять поступковъ сына и того, чтобы земля „не давала для него никакого интересу"...

Въ тотъ памятный годъ, когда всѣ жители въ его собственной деревнѣ пустились во вся тяжкая рыскать за пропитаніемъ, котораго вдругъ не хватило, когда явилась неожиданно такъ называемая „нужда", состоявшая, какъ извѣстно, въ томъ, что у жителей пучило животы, Гаврило вмѣстѣ съ прочими бѣжалъ сломя голову въ дальній городъ. Требовалось достать пищи во что бы то ни стало, немедленно, почти сейчасъ, разсуждать было некогда, хлѣба,—во что бы то ни стало и за какую угодно цѣну,—и Гаврило прибѣжалъ въ городъ. Подгоняемый этимъ ужасомъ, онъ напалъ съ радостнымъ остервенѣніемъ на представившееся ему въ скоромъ времени мѣсто. Это было безпримѣрное счастіе въ то время: онъ попалъ въ сторожа въ конторѣ при вновь строющейся желѣзной дорогѣ. Всѣ его обязанности состояли,—кажись, чего проще!—въ томъ, что онъ утромъ долженъ былъ подметать контору березовою метлой, а весь остальной день стоять у двери и „не пущать". Въ этотъ памятный годъ рабочіе отдавались почти изъ-за хлѣба, но, несмотря на ничтожность заработной платы, наплывъ былъ такъ густъ, что контора большинству отказывала, а такъ какъ жители все-таки нагло лѣзли и надоѣдали, то она и распорядилась —„гнать силой". И Гаврило гналъ. „Куда? Поворачивай ог-

лобли!"—кричалъ по цѣлымъ днямъ Гаврило; если слова не дѣйствовали, онъ давалъ по шеѣ,—словомъ, исполнялъ свои обязанности нещадно и добросовѣстно, даже лицо сдѣлалось у него звѣрскимъ, и въ какой-нибудь мѣсяцъ онъ такъ остервенился, что трудно было узнать его: изъ робкаго, пугливаго мужичка съ чернымъ лицомъ и съ пѣгою бородой онъ сдѣлался цѣпнымъ псомъ, котораго пріучили лаять и кусать. Но не долго Гаврило усидѣлъ на своемъ мѣстѣ и кончилъ чрезвычайнымъ скандаломъ. Въ день получки жалованья онъ напился мертвецки-пьянымъ и, стоя у двери, то ругался, то рыдалъ, рыдалъ навзрыдъ, послѣ чего сейчасъ принимался отборными выраженіями ругаться съ кѣмъ попало; между прочимъ, обругалъ какого-то барина, занимавшагося въ конторѣ, за что и былъ сію же минуту побитъ и прогнанъ. Послѣ этого онъ еще нѣсколько дней шатался по городу, въ поискахъ за работой, проночевалъ нѣсколько ночей подъ заборами и поплелся домой. Дома, на всѣ разспросы о его промысловыхъ приключеніяхъ въ городѣ, онъ ничего путнаго не могъ отвѣтить. „Былъ сторожемъ... дулъ по шеѣ!"—говорилъ онъ въ замѣшательствѣ.—„Ну, а еще что же?"—спрашивали у него.—„Что же еще?... Больше ничего",—возражалъ онъ, окончательно спутавшись, и не понималъ самъ, что собственно съ нимъ тогда случилось. За что онъ получалъ жалованье и зачѣмъ „дулъ по шеѣ"? Этотъ, прожитый внѣ его обычной сферѣ, мѣсяцъ кажется ему до того нелѣпымъ, что онъ не можетъ вспомнить о немъ безъ замѣшательства.

Очевидно, выбитый изъ своего обычнаго положенія, съ которымъ онъ сросся всѣмъ существомъ своимъ, онъ терялся, становился человѣкомъ-болваномъ, хворалъ всею душой, былъ никуда не годенъ, дѣлался *самъ не свой*. Душа и сердце Гаврилы были зарыты въ землю. Онъ походилъ на растеніе, которое неразрывно соединено съ землей и, вырванное, засыхаетъ и чахнетъ, годное только на съѣденіе скоту. Но было бы ошибкой сказать, что его отношенія къ землѣ носятъ на себѣ слѣды рабства. Самый яркій признакъ рабства—это неволя; между тѣмъ, у Гаврилы и ему подобныхъ душа и сердце *сознательно* были зарыты въ землю, составлявшую неразрывную часть его самого.

Болѣе двадцати лѣтъ онъ пахалъ, никогда ничего не по-

лучая, кромѣ нечеловѣческой усталости, болѣе двадцати лѣтъ сѣялъ, собирая плоды въ видѣ неизмѣнной березовой каши, всю жизнь мечталъ, какъ бы еще больше вспахать и засѣять, и, собирая каждогодно, вмѣсто настоящихъ плодовъ, березовую кашу, приходилъ въ отчаяніе, но ни разу не пришла ему въ голову мысль, что земля—его врагъ, что онъ долженъ ее бросить и бѣжать безъ оглядки на поиски другихъ занятій. Гаврило, послѣ всѣхъ бѣдъ, какія приносила ему земля, сдѣлался только жаднѣе - вотъ и все.

Онъ желалъ больше, все больше земли, чтобы она у него была спереди и сзади, по бокамъ и подъ ногами, чтобы онъ заваленъ былъ, окруженъ ею со всѣхъ сторонъ, чтобы, куда онъ ни взглянетъ, все бы виднѣлась она. Онъ не могъ равнодушно слушать извѣстнаго рода разсказы, которые иногда дѣлалъ отъ нечего дѣлать его зять: разинетъ ротъ, засверкаетъ глазами и замретъ.

— Слыхалъ я, что тамъ сорокъ десятинъ на душу,—равнодушно говорилъ зять, разсказывая про губернію, находящуюся въ отдаленныхъ мѣстахъ.

— На душу?—спрашиваетъ Гаврило съ начинающеюся дрожью въ голосѣ.

— А то какже! Тамъ, братъ, иди ты сейчасъ изъ дому и ступай на всѣ четыре стороны, куда хошь, на тридцать-ли, на сорокъ-ли верстъ отъ своей деревни, и чтобы кто тебя остановилъ: стой, молъ, куда лѣзешь въ чужія мѣста?—тамъ этого нѣтъ. Хошь ты цѣлый день иди, а до конца краю своей земли не достигнешь. Непроходимыя мѣста!

— Ужь будто... чай, враки?

— Ну, вотъ, стану я врать. Я самъ видалъ человѣка съ тѣхъ мѣстовъ въ городѣ, своими глазами, какъ вотъ сейчасъ тебя; пріѣхалъ бумаги оправить. Онъ мнѣ все и разсказалъ. Да и видно сразу по рожѣ, что мужикъ не нашъ, то-есть, прямо сказать, какъ передъ Богомъ, даже и не крестьянинъ, а шутъ его знаетъ, какой такой человѣкъ, какого роду: настоящая туша, пузо жирное, толстомордый, словно баринъ! Гляжу я это на него и думаю: есть же, молъ, такіе мужички на свѣтѣ!... Да ежели эдакій верзила дастъ нашему жителю щелчка—Богу душу отдастъ, потому что человѣкъ сытый, кормленный, хлѣбъ ѣстъ бѣлый, убоину жретъ вволю, а тутъ сидитъ нашъ-то какъ куликъ на болотѣ и толь-

ко думаетъ, какъ бы не помереть отъ нужды! Такъ вотъ гляжу я на него и думаю. „А что, говорю, Степанъ Яковличъ, много въ вашихъ мѣстахъ угодья?“ — „Угодья, говоритъ, у насъ, слава Богу, довольно“.—„А какъ, говорю, къ примѣру?“ — „Да десятинъ сорокъ, што-ли...“ — „Стало быть, пропитаться вполнѣ можно?“. Смѣется!

— Такъ и сказалъ: сорокъ десятинъ?—спрашиваетъ Гаврило уже совершенно измѣнившимся голосомъ.

— Сорокъ-ли, пятдесятъ ли, тамъ этого не разбираютъ, потому что прямо сказать—конца краю нѣтъ.

Послѣ такого разговора Гаврило выглядитъ нѣкоторое время какъ бы помѣшаннымъ; такая въ немъ разжигается жадность, что онъ и словъ больше не въ состояніи подыскать. Вдругъ ему приходитъ на память настоящій его земляной надѣлъ, ничтожество котораго теперь ему ярко до очевидности, и онъ приходитъ въ отчаянную апатію. Слово „сорокъ“ рѣжетъ его до нестерпимой боли, и въ немъ моментально выступаютъ самыя мрачныя чувства: зависть, ненасытность и отвращеніе къ своей жизни. Гаврило просто боялся вести такіе разговоры, потому что они, разжигая его преобладающую страсть, поселяли въ немъ страшное безпокойство.

— Безпремѣнно вретъ онъ!—успокоивалъ себя Гаврило, приписывая зятю способности безпутнаго лгуна.

Сама жизнь помогала ему успокоиваться, ежедневно засасывая его въ тину пустыхъ заботъ и не давая времени одуматься и размечтаться Въ этомъ, пожалуй, и заключается разгадка того обстоятельства, что, никогда не получая никакихъ плодовъ, онъ продолжалъ пахать и сѣять, и все жаждалъ нахватать больше и больше десятинъ на свою шею, подъ какими угодно условіями. Каждый годъ это ему болѣе или менѣе удавалось и каждый годъ у него было по горло возни. Послѣ этого понятенъ тотъ испугъ и растерянность, когда онъ получилъ письмо отъ сына. Его положеніе въ самомъ дѣлѣ было отчаянное.

Ивашку онъ послалъ за деньгами, чтобы снять въ аренду побольше земли у сосѣднихъ владѣльцевъ. Теперь у него не было ни денегъ, ни Ивашки. Время стояло горячее, большинство выѣхало уже въ поле пахать подъ яровое, а у него и земли нѣтъ! Правда, одну мірскую душу онъ засѣялъ еще прошлою осенью подъ озимое, надѣясь. что съ прихо-

домъ весной Ивашки міръ согласится дать и еще одну душу подъ яровое, но, во-первыхъ, надежда на мірское согласіе значительно ослабѣвала послѣ письма Ивашки; во-вторыхъ, мірская душа была такъ ничтожна и плоха, что Гаврило оставлялъ ее въ полнѣйшемъ пренебреженіи. Удавалось ему получить и обработать ее — ладно, не удавалось — онъ позабывалъ про ея существованіе. Главная и всегдашняя забота его—это прихватить землишки со стороны, и ему каждый годъ, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, удавалось прихватить, но нынче нѣтъ. Ни одинъ изъ сосѣднихъ владѣльцевъ не далъ ему аренды. Всѣ осенью прогнали его безъ разговора; у каждаго было по горсти условій, которыми Гаврило предавался не на животъ, а на смерть владѣльцамъ, вслѣдствіе чего имъ было выгоднѣе земли ему не давать, потому что онъ и безъ того будетъ работать цѣлое лѣто даромъ. Могъ бы онъ примазаться къ одной изъ компаній, которыя составлялись въ деревнѣ спеціально для съемки земли въ аренду, но компаніи всѣ еще зимой составились, а для него мѣста не нашлось. Еще могъ бы онъ пойти къ богатому мужику Давыдову, арендовавшему крупные участки, и взять земли черезъ его руки, но это средство было также чистою смертью. Гаврило былъ по уши ему долженъ и уже не имѣлъ права ожидать съ его стороны снисхожденія; земли Давыдовъ завсегда далъ бы, но взамѣнъ того насѣлъ бы на Гаврилу и цѣлое лѣто клевалъ бы его, пока не выклевалъ бы весь долгъ, всѣ проценты на него и урожай съ данной десятины. Таковы были обстоятельства Гаврилы въ дѣлѣ по полученіи отъ сына письма.

И нашелъ на него вотъ какой стихъ. Пришелъ онъ домой съ письмомъ на ладони и сѣлъ. Сидитъ и хлопаетъ глазами. На всѣ вопросы и слова хозяйки, освободившейся отъ тяжелаго настроенія послѣ прочтенія письма, онъ отвѣчалъ молчаніемъ и нелѣпою улыбкой. Просидѣвъ такъ половину дня совершеннымъ истуканомъ, онъ положилъ письмо на божницу, пошелъ къ задней лавкѣ, легъ и въ такомъ состояніи провелъ остальную часть дня. Наконецъ, это взорвало и хозяйку, и старуху; обѣ онѣ съ страшными упреками накинулись на Гаврилу. Всякаго дѣла по дому у него накопилось по горло, „а у него вишь брюхо заболѣло... Плесну я вотъ на тебя кипяткомъ, такъ небось заразъ вскочишь“.

Но разъ пришедшую хворь нельзя было вылѣчить такъ скоро и такими простыми средствами. Гаврило вообще туго воспринималъ впечатлѣнія и медленно принималъ рѣшенія. На другой день онъ принялся было ходить по дому и поправлять разныя вещи, которыхъ накопилось множество. Слѣдовало бы поправить телѣгу, у которой еще до зимы переломилась ось; надо было сходить къ кузнецу за лемехомъ, потомъ сходить на мельницу за отрубями для лошади на время пашни и проч. Все хозяйство громко вопіяло своимъ дряхлымъ видомъ. Наконецъ, самъ Гаврило къ этому времени обносился окончательно; у него остался только одинъ ветхій зипунъ, да и тотъ требовалъ починки, а обуви и пояса совсѣмъ не существовало; даже шапки, безъ которой ни одинъ крестьянинъ не рѣшился бы выѣхать въ поле, у Гаврилы не было или, лучше сказать, была, но въ невозможномъ состояніи, располосованная недавно щенками. Однимъ словомъ, Гаврилѣ предстояла кипучая дѣятельность.

Однако, неожиданная хворь привела его въ изнеможеніе; онъ ни о чемъ не думалъ, руки его опускались, силъ не было. Началъ онъ сколачивать телѣгу и тесать ось. Тесалъ-тесалъ дерево и зарѣзалъ его, т.-е. сдѣлалъ изъ толстаго, дорого стоющаго дубоваго чурбашка тонкую палку, которая годится только собакъ гонять. Эта горькая неудача такъ обезкуражила его, что во весь этотъ день онъ не хотѣлъ приняться ни за что больше. Даже хозяйка перестала ругать его; она съ тревогой наблюдала за нимъ, выражая на своемъ лицѣ жалость. Пошатавшись по двору, Гаврило опять засѣлъ надолго въ избѣ и не разставался съ лавкой, хлопая глазами и нелѣпо улыбаясь. Хозяйка не на шутку перепугалась.

-- Что я тебѣ скажу, Иванычъ?... Пошелъ бы ты къ „управителю“, авось и далъ бы. Такъ и такъ, молъ, ваше степенство,—ласковѣй этакъ скажи ему,—какъ вамъ, молъ, угодно, а одолжите землицы, сдѣлайте такую божескую милость... Какъ же не дастъ? Только попроси хорошенько. Я, молъ, завсегда съ преданностью къ вашему степенству... ужь явите божескую милость!... Умоляй его ласковостью: сахарный, голубчикъ! заступникъ нашъ милостивый! Не оставь погибать бѣднаго человѣка... И все такое прочее. Авось и дастъ, искаріотъ!

Не встрѣтивъ со стороны Гаврилы ни возраженія, ни согласія, хозяйка замолчала, еще болѣе встревожась. Она посовѣтовала-было положить въ лѣвый сапогъ богородской травы, такъ какъ это помогаетъ укрощать гнѣвъ суроваго начальника, но и то сейчасъ должна была умолкнуть, вспомнивъ, что у мужа сапоговъ не было. Гаврило на всѣ рѣчи жены отвѣчалъ вздохомъ или чесалъ спину обѣими руками. Да и едва-ли онъ слышалъ что-нибудь изъ словъ хозяйки, поглощенный всецѣло своимъ горемъ. Изъ этого тяжелаго состоянія вывели его не слова, а нѣчто другое. Какъ-то къ вечеру онъ вышелъ на дворъ, машинально забрелъ подъ сарай и наткнулся на бурку, единственную и любимую имъ лошадь. Бурка жалобно заржалъ при входѣ; голоденъ былъ. Это сразу отрезвило Гаврилу. Его съ быстротой молніи поразила мысль, что Бурка его на всю зиму останется голоденъ. До сихъ поръ онъ берегъ и лелѣялъ свою лошадь такъ, какъ не хранилъ себя и свое здоровье; когда ему приходилось ѣхать съ кладью, то самъ тащилъ возъ едва-ли меньше Бурки; самъ иногда голодалъ, но Бурка—никогда. Машинально къ Гаврилѣ возвратились всѣ чувства—жалость, страхъ, энергія и жадность.

Былъ уже вечеръ, но это не остановило Гаврилу. Безъ шапки, босикомъ, въ одномъ драномъ зипунѣ, онъ вышелъ изъ дому на поиски, самъ еще не зналъ куда. Онъ только дорогой принялся мучительно соображать, ломая голову, куда ему ринуться. Онъ шлепалъ босыми ногами по лужамъ и грязи, которая обдавала его ноги ледянымъ холодомъ, но чувствовалъ жаръ въ головѣ и выступавшій потъ во всемъ тѣлѣ. Выйдя за околицу, онъ пріостановился, ломая голову, куда идти? А идти непремѣнно надо было, во что бы то ни стало, идти нынче, сейчасъ, чтобы взять пашни непремѣнно, подъ какими угодно условіями. Въ это время ударилъ колоколъ къ вечернѣ—и Гаврило поспѣшно перекрестился, въ одно и то же время обрадовавшись этому звону, который почему-то разомъ прекратилъ его невыносимое, головоломное мученіе, и испугавшись при воспоминаніи, что онъ уже около года не бывалъ въ церкви. „За то меня и наказываетъ Богъ, проклятаго!"—подумалъ онъ и пошелъ обратно въ деревню, по направленію къ церкви. Въ церковь онъ вошелъ тогда, когда уже началась служба. Впереди стояло нѣсколько

старухъ, все остальное пространство церкви было пусто. Гаврило выбралъ ближайшій къ двери и самый темный уголъ, гдѣ обыкновенно становились нищіе и калѣки; тамъ онъ притаился и молился. Онъ думалъ поставить свѣчку, но, взглянувъ на себя, удержался на мѣстѣ: онъ былъ весь забрызганъ жидкою грязью, которая сидѣла пятнами на его зипунѣ, покрывала толстымъ слоемъ его штаны, блестѣла, какъ вакса, на его лапахъ и образовала мокрые, скользкіе слѣды на полу, гдѣ онъ стоялъ. Но ему не надо было свѣчки; онъ горячо, мучительно молился. Онъ зналъ одну только молитву: „Господи Іисусе! Помилуй меня, грѣшнаго!"—и ее одну шепталъ, крестясь и дѣлая земные поклоны. Въ это мгновеніе одна у него была просьба—достать пашни. Его сердце кричало: земля, земля!

Когда Гаврило вышелъ изъ церкви, его осѣнила счастливая мысль идти къ Савосѣ Быкову, котораго онъ увидалъ у попа на дворѣ. На этотъ разъ и Савося Быковъ, отличавшійся безталанностью, былъ для него счастливою находкой; для Гаврилы важно было хоть за что-нибудь ухватиться и начать хотя бы съ Савоси Быкова. Послѣдній чистилъ дворъ у попа; земли онъ, конечно, не снялъ; нельзя-ли поэтому войти съ нимъ въ компанію?—думалъ Гаврило. Явившись на батюшкинъ дворъ, онъ засталъ Савосю въ полномъ вооруженіи, съ лопатой, съ вилами и метлой. Онъ уже около недѣли возилъ соръ, подрядившись вполнѣ очистить Авгіевы конюшни, за что батюшка обѣщалъ выдать ему полпуда муки, десять фунтовъ крупы и 7 копѣекъ серебромъ. Савося, обезумѣвшій отъ такого случайнаго счастья, съ страшною энергіей возилъ со двора навозъ: около сорока возовъ уже стащилъ и торопился поскорѣе вывезти остальные сорокъ возовъ, заранѣе предвкушая крупу.

— Чистишь?—спросилъ Гаврило, подходя къ нему.

— Ужь сорокъ возовъ стащилъ,—отвѣчалъ Савося.

— Ну, ладно. Я къ тебѣ за дѣломъ,—и Гаврило разсказалъ ему свое положеніе. Сынъ его не пришелъ и не вернется никогда. Къ мірской землѣ его не пустятъ, да ея такая малость, что одно баловство. Капиталу у насъ нѣтъ... Шипикинскій баринъ не дастъ, Таракановскій баринъ протуритъ. Стало быть, пришла на меня бѣда. Прямо сказать, ложись въ могилу и засыпай себя землей!

Гаврило говорилъ словами отчаянія, но вся фигура его выражала рѣшимость и страшное напряженіе. Онъ какъ сѣлъ по приходѣ на кучу сора, такъ и остался неподвижнымъ. Глаза его сверкали, выражая гнѣвъ. Савося Быковъ сначала слушалъ его съ сочувствіемъ и спокойно, не понимая еще, съ какимъ дѣломъ къ нему обращался Гаврило.

— Ежели бы я одинъ приперся къ Таракановскому... да нѣтъ, лучше и не показывайся!—сказалъ Гаврило.

— И глазыньки не показывай,—подтвердилъ Савося.

— Не дастъ. Обругаетъ, обшельмуетъ, а не дастъ.

— Жидоморъ!

— Сейчасъ, какъ только явишься къ нему, онъ прямо въ книгу лѣзетъ. „А-а-а! это ты Гаврило?"—спрашиваетъ.

— Лютъ!—согласился Савося, приходя постепенно въ возбужденное состояніе. Онъ припомнилъ свои многочисленныя похожденія у Таракановскаго барина.

— Особливо, ежели у меня долгъ,—продолжалъ Гаврило.—Долженъ же я ему за прошлую весну, да муки бралъ пудовъ эдакъ съ пять... Придешь теперь къ нему: за тобой числится восемьдесятъ цѣлковыхъ, скажетъ... А какіе восемьдесятъ цѣлковыхъ, неизвѣстно. Словно какъ бы коломъ ударитъ въ голову. Стоишь, какъ безумный. Ежели теперь я предъявлюсь къ нему, онъ перво-на-перво этимъ коломъ огрѣетъ: подавай восемьдесятъ цѣлковыхъ! Ежели спросишь, какіе такіе восемьдесятъ цѣлковыхъ?—въ шею прогонитъ, а ежели посулишь уплатить—тоже въ шею.

— Не иначе, какъ въ шею!—подтвердилъ и Савося.

— Вотъ и пришелъ къ тебѣ, Савося. Сдѣлай милость, пойдемъ сообща, чтобы разомъ... Нагрянемъ на него: ты съ одной стороны, я съ другой—не выдержитъ. Какъ ты полагаешь?

При этомъ предложеніи Савося Быковъ даже вздрогнулъ; сердце его ёкнуло отъ страха. Это Савосѣ-то идти къ Таракановскому барину! Да онъ съ давнихъ поръ наводилъ на него страхъ однимъ своимъ именемъ, потому что именно этотъ баринъ и привелъ его къ краю погибели, запутавъ его и сдѣлавъ рабомъ своимъ. Савося прежде снималъ землю, работалъ и постепенно получилъ такое отвращеніе къ этой съемкѣ и къ этой работѣ, что пугался всякій разъ, какъ только вспоминалъ о нихъ. Какое-то жуткое, хотя и безсознательное,

чувство ныло въ немъ и сосало его всякій разъ, какъ онъ слышалъ имя таракановской усадьбы.

Конечно, Савося много былъ долженъ, такъ много, что не могъ выговорить цифру долга, и потому былъ совершенно равнодушенъ къ ней, но его пугалъ не долгъ, не эта громадная, сумасшедшая цифра, а самая таракановская работа, таракановская земля, таракановскіе мировые судьи,—однимъ словомъ, все, что напоминало ему неволю, египетскія работы и рабскій хлѣбъ. И вотъ Гаврило предлагаетъ ему идти въ ненавистную усадьбу.

— Боюсь я! — сказалъ, наконецъ, Савося послѣ долгаго молчанія.

Гаврило не возражалъ. И ему стало вдругъ почему-то жутко. Оба молчали.

— Такъ не пойдешь?

— Слопаетъ онъ меня!—проговорилъ съ ужасомъ Савося.

Потомъ Савося засуетился около навоза, ринувшись валить его на возъ съ удвоенною скоростью. Гаврило больше не прерывалъ его занятія, и если не вставалъ и не шелъ, то потому только, что не зналъ, куда теперь идти, что дѣлать? Для него было только ясно, что онъ напрасно обратился къ Савосѣ, даромъ потратилъ время.

Погруженный въ глубокую задумчивость, Гаврило, наконецъ, поднялся съ своего мѣста и собрался уходить. Но Савося еще нѣкоторое время задержалъ его.

— А что, Гаврило, ежели бы попросить у Таракановскаго хоть съ пудикъ?—спросилъ оживленно Савося.

— Не дастъ.

— Пожалуй, что оно такъ и выходитъ. Ну, а ты какъ пойдешь къ нему?

Гаврило съ мрачнымъ отчаяніемъ покачалъ головой.

— А ежели ты землишки достанешь, такъ ужь не забудь меня, позови пахать. Живо я это дѣло оборудую, вполнѣ положись! А насчетъ того, что у меня у самого пахоты чуть-чуть, дня на два, такъ ты ужь мнѣ доплати, какъ люди.

Гаврило молчалъ.

— Дашь полпудика—и то слава тебѣ Господи. Скажу тебѣ такъ, то-есть прямо выворочу съ корнемъ, вѣрно тебѣ говорю. А заплатишь, какъ люди.

Гаврило молчалъ.

— Мнѣ хоть полпудика, да крупы чуть-чуть — и того довольно. Чай, тоже свои люди.

— Да нѣтъ у меня земли, пустомеля! Нѣтъ земли, пустая башка, нѣтъ! — крикнулъ съ глубокимъ волненіемъ въ голосѣ Гаврило и зашагалъ прочь съ попова двора.

Къ Гаврилѣ возвратилось сознаніе безнадежности. Къ кому теперь идти? По дорогѣ у него стоялъ домикъ учителя, туда онъ и забрелъ, — забрелъ такъ себѣ, безъ дѣла, безъ опредѣленной мысли, съ смутнымъ желаніемъ поговорить, потому что одному ему страшно казалось остаться. Дѣйствительно, Гаврило зашелъ, посидѣлъ, поговорилъ, добродушіе учителя нѣсколько размягчило его боль. Кромѣ того, учитель подалъ ему благой совѣтъ: попросить зятя снять на свое имя землю; зятю, Болотову, окрестные помѣщики вѣрили больше, какъ человѣку довольно состоятельному. Гаврило и самъ удивлялся, какъ не пришла ему въ голову такая мысль: снять землю на чужое имя! Пусть земля пройдетъ хоть черезъ сотню рукъ, лишь бы она ему досталась. А что она ему достанется, за это онъ ручается головой, и онъ поколѣетъ, а ужь землю достанетъ.

Гаврило высказалъ это съ сдержаннымъ гнѣвомъ и съ явнымъ волненіемъ. Онъ преображался въ такія минуты, когда говорилъ или занимался дорогимъ дѣломъ. Этотъ невзрачный человѣкъ, ободранный, выщипанный, безъ шапки и съ голыми ногами, покраснѣвшими отъ ледяной стужи, какъ гусиныя лапы, удивительно, какъ этотъ пугливый крестьянинъ вдругъ превращался въ задумчиваго или взволнованнаго, умнаго или гнѣвнаго человѣка, въ которомъ вдругъ начинаютъ свѣтить человѣческія черты.

— Ужь я добуду! — шепталъ Гаврило, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ сидѣлъ, учитель увидалъ двѣ горящія точки, но самого Гаврилы не было видно среди сумерокъ вечера.

— Про то я и говорю. Развѣ тебѣ не все равно, какъ ни добыть, только бы добыть, а ужь тамъ зять-ли, сватъ-ли, главное — земля. Конечно, тяжело, что и говорить! Если аренда черезъ двое рукъ пройдетъ, такъ она въ какую цѣну влѣзетъ?

— Прямо надо говорить, въ дорогую цѣну влѣзетъ. И думаю теперь насчетъ бычка: пропалъ мой бычокъ! — прибавилъ неожиданно Гаврило.

— Какой бычокъ?—спросилъ учитель.

— Собственный мой, кровный. Самъ я его поилъ, вотъ изъ этихъ самыхъ рукъ...

Гаврило показалъ руки. Но учитель изъ этого еще не понялъ.

— Ну, такъ что же, что поилъ? И продолжай поить, — возразилъ учитель.

— То-то, что не рука!.. Говорю тебѣ: пропалъ мой бычокъ!

— Да что же, околѣлъ онъ или захворалъ?

— Бычокъ? А вотъ какъ разсуждаю теперь насчетъ бычка: вѣдь ежели, къ примѣру, я пойду къ зятюшкѣ,—что-жь, ты думаешь, задаромъ онъ пойдетъ для меня?

— Само собой, нѣтъ; не таковскій человѣкъ.

— Вотъ то-то и оно-то. Когда еще онъ приставалъ ко мнѣ съ этимъ бычкомъ: продай да продай, а какой шутъ ему продастъ, если еще онъ хочетъ заполучить его за безцѣнокъ, да ежели и бычокъ-то не ребенокъ ужь, а цѣлый быкъ? Кормилъ я его, кормилъ, поилъ, поилъ, все думалъ поправиться на немъ, анъ нѣтъ: не привелъ Господь самому своего кровнаго бычка выхолить, не рука! Иди, бычокъ, къ любезному сродственнику, иди, милый, къ Семкѣ Болотову подъ ножъ! Прощай, мой бычокъ! Не рука мнѣ поить-кормить тебя! Не поминай меня лихомъ!...

Учитель Синицынъ не безъ удивленія выслушалъ этотъ взрывъ отчаянія крестьянина, въ которомъ быстро чередовались самыя противоположныя чувства.

— Ну, что тутъ заранѣе убиваться? Можетъ, онъ бычка-то твоего и не отниметъ,—замѣтилъ съ сочувствіемъ учитель.

Гаврило не возразилъ, только покачалъ головой. Онъ вдругъ заторопился уходить и принялся шарить возлѣ порога, гдѣ сидѣлъ, ища свою шапку. При тускломъ свѣтѣ сумерокъ, которыя уже давно настали, плохо было видно, и Гаврило искалъ долго и безуспѣшно. Видя безуспѣшность поисковъ, учитель самъ началъ помогать ему, съ недоумѣніемъ оглядывая всѣ углы своей хаты, спрашивалъ ребятъ, не они-ли куда затащили, пока, наконецъ, не спросилъ тревожно: да точно-ли у Гаврилы была шапка? Гаврило вдругъ оторопѣлъ, спутался: вѣдь дѣйствительно шапки у него не было. Онъ смущенно распрощался съ учителемъ и вышелъ, сопровождаемый ласковымъ и печальнымъ взглядомъ учителя.

Придя домой, Гаврило посидѣлъ на обычномъ мѣстѣ на лавкѣ, похлопалъ глазами, смотря на жену, какъ она укладывала ребятъ спать и собиралась сама лечь въ постель, но ничего не отвѣтилъ на вопросъ жены: „должно быть, не солоно хлѣбавши?“ Онъ отправился въ загонъ, къ бычку. Тотъ уже давно лежалъ на соломѣ и сопѣлъ. Гаврило погладилъ его по шеѣ и потомъ принесъ ему пойло, съ простоквашей, отрубями и кусками хлѣба. Гаврило въ эту минуту отдалъ бы ему весь хлѣбъ, но не нашелъ, — должно быть, за день весь вышелъ. Гаврило гладилъ животное по головѣ, трепалъ по шеѣ. На слѣдующее утро онъ еще разъ напоилъ его, вставъ чуть свѣтъ, когда только-что пѣтухи запѣли. „Кушай, кушай!“—говорилъ Гаврило, лаская животное за уши. Когда бычокъ все съѣлъ и сталъ лизать хозяину руки, принявшись вслѣдъ за тѣмъ жевать подолъ его рубахи, Гаврило не выдержалъ: на глазахъ его навернулись слезы, онъ съ размаху ударилъ теленка и вышелъ изъ загона.

Конечно, онъ забылъ обо всемъ, постаравшись выбросить изъ головы бычка, когда пришелъ къ зятю, чтобы уговорить его похлопотать насчетъ аренды. Въ минуту прихода Гаврилы зять занимался приготовленіемъ къ базару, куда онъ долженъ былъ повезти ленъ, пеньку, лапти, гужи и прочіе предметы, скупленные имъ по мелочамъ у деревни. Онъ занимался рѣшительно всѣмъ, кромѣ сельскаго хозяйства. Понадобилось молока — онъ бралъ молоко; скупитъ нѣсколько фунтовъ шерсти — везетъ шерсть. Особеннаго барыша эта перепродажа не приносила, но онъ жилъ — и этого вполнѣ достаточно, жилъ несравненно лучше тестя и большинства жителей, понявъ хорошо, что въ теперешнее время надо быть „на всѣ руки“. Сметливый и юркій, какъ угорь, онъ проползалъ довольно ловко сквозь деревенскія непріятности вродѣ „нужды“, голодухи, безденежья. Копѣйка у него всегда была, заработанная такимъ образомъ: одинъ грошъ онъ выторговывалъ у мужиковъ, другой грошъ выманивалъ у торговцевъ — вотъ и копѣйка! Такихъ угрей въ нынѣшней деревнѣ завелось много. Чѣмъ-нибудь надо жить! Такіе жители ни для деревенскаго обывателя, ни для человѣка развитаго не симпатичны, но они не подлы, хотя и не честны. Что касается собственно Болотова, онъ былъ человѣкъ тер-

цимый. Правда, терся онъ между всѣми, нѣсколько изнаглѣлъ, но понималъ и нужду, зная ее по своему опыту.

— На базаръ?—спросилъ Гаврило, смотря на суетливую фигуру зятя, раскидывавшаго свой товаръ по сортамъ.

— А! это ты, тестюшка?—болтливо возразилъ зять.

— Да, зашелъ по пути, проповѣдать...

— Милости просимъ... Точно, что на базаръ. Нельзя! Я бы теперь лежалъ на боку, да колупалъ въ носу, а тутъ вотъ поѣзжай въ городъ. А прибытокъ — еще какъ Богъ дастъ. Одно безпокойство!

— Ужь и безпокойство! — вяло возразилъ Гаврило, все время думавшій, какъ бы начать разговоръ, и совершенно равнодушный къ многочисленнымъ предметамъ, въ безпорядкѣ раскиданнымъ по сѣнямъ. У него стало ныть сердце отъ ожиданія.

— Эка сказалъ! Тутъ какъ въ котлѣ кипишь, нѣтъ никакого тебѣ покою, а онъ не вѣритъ!—разгорячился Болотовъ.— Ты вонъ лежишь всю зиму на печи, да паришь кости, а мнѣ и зимой жарко! Вотъ какъ ты долженъ разсудить. Напримѣръ, гляди вотъ сюда—ленъ! Какъ ты понимаешь его въ своемъ воображеніи? Ты думаешь, купилъ, свезъ, спустилъ и все дѣло въ шляпѣ? Никакого размышленія больше и не требуется? Нѣтъ, братъ, это ты не дѣло говоришь. Ленъ льну рознь. Во-первыхъ, вотъ гляди: ленъ желтый, будто на немъ корова лежала, а вотъ эта горсть сизая, какъ голубь, это значитъ худой, вымоченный ленъ, такъ надо прямо говорить, негодный, и ежели ты не будешь ломать головы, такъ лучше прямо бросай дѣло, отходи прочь, все равно, какъ дуракъ. Надо, чтобы покупатель зарился, чтобы разныя штуки перемѣшаны были ровно, чтобы ленъ горѣлъ, а на это нужно умъ. А то выѣдешь ты со своимъ добромъ на промыселъ, а онъ, этотъ ленъ-то, такъ огрѣетъ тебя по затылку, что ничего отъ него не останется. . Вотъ я про что говорю.

— Это вѣрно, всякое рукомесло...—вставилъ Гаврило съ возростающею тоской ожиданія.

— Про что же я и говорю? Безъ ума въ нынѣшнія времена не проживешь, — продолжалъ Болотовъ. Онъ собралъ, разсматривалъ ленъ, который дѣйствительно горѣлъ у него, какъ солнце, и принялся осторожно перекладывать яйца.— Безъ ума, братъ, нынче плохое житье. Возьмемъ, напримѣръ,

яйцо. Конешно, оно яйцо; бываетъ яйцо пахучее, съ духомъ, бываетъ болтунъ,—это всякій понимаетъ. А ты сдѣлай такъ, чтобы твое яйцо, съ духомъ-ли, болтунъ-ли—все одно, чтобы оно сплошь было вполнѣ чистое, торговое яйцо, разложи его, какъ слѣдуетъ. Такъ вотъ и подумай! ой-ой, какъ подумай, какъ его расклсть, чтобы покупатель не обратилъ вниманія. Иная женщина-то придетъ на базаръ и только думаетъ, какъ бы подешевле,—ну, съ этой глупой не надо и разговоры разговаривать; другая же попадется ка-аррахтерная,—придетъ, обнюхаетъ, ощупаетъ, да такъ тебя обойдетъ, что и свѣту не взвидишь! Бываетъ, что подходитъ она прямо, Господи благослови, къ кошелкѣ, да цапъ за болтунъ! Такъ ужь тутъ сиди и молчи; ежели она добрая—только плюнетъ и отойдетъ, а попадись—долго ли до грѣха?—карахтерная, такъ она тебя при всемъ стеченіи народа не только осрамитъ, да и морду-то твою этимъ болтуномъ вымажетъ,—вотъ какіе бываютъ случаи! Стало быть, ты все это строго долженъ держать въ воображеніи, а коль скоро нѣтъ у тебя головы, такъ одинъ грѣхъ.

— Да ужь, чай, грѣха въ эдакомъ дѣлѣ много?

— Не то, чтобы грѣхъ, а безпокойно! Словно какъ бы въ кипяткѣ варится голова... Думаешь-думаешь, ломаешь-ломаешь башку, инда хворь на тебя найдетъ, словно какъ бы туманъ или эдакое затмѣніе ума... Возьмемъ опять вотъ творогъ... Ой-ой! какъ онъ достается дорого!

Болотовъ перебиралъ разныя вещи, приготовляя ихъ для продажи, и разсуждалъ о каждой съ такими подробностями, что разговору и конца не предвидѣлось.

Гаврило молча, съ замираніемъ слушалъ, пропуская мимо ушей большую часть разговоровъ зятя, и все собирался высказать о мучившемъ его дѣлѣ; онъ даже и ротъ уже открывалъ, какъ зять ужь продолжалъ снова свой безконечный разговоръ. Наконецъ, онъ не могъ дольше сидѣть спокойно.

— Сёма! Сдѣлай ты мнѣ одолженіе, въ ноги тебѣ поклонюсь,—выручи меня изъ бѣды!—заговорилъ, волнуясь, Гаврило.

— Значитъ, худо тебѣ?—сочувственно освѣдомился зять.

— Какъ теперь Ивашка у меня сбѣжалъ и достатку у меня нѣтъ, а барину на глаза не показывайся —началъ-

было Гаврило, но вспомнилъ сразу весь ужасъ своего положенія и не могъ говорить.

— Ну?

— Спаси мою душу! Я ужь тебѣ удружу!

— То-есть насчетъ какого предмета?

— Земли у меня нѣтъ — вотъ какой мой предметъ! Нѣтъ земли—вотъ и весь предметъ... Ты бы взялъ для меня ренду, тебѣ повѣрилъ бы баринъ, а?

Зять на нѣкоторое время задумался.

— Сёма!

— Что?

— Сдѣлай милость, не оставь старика. А бычокъ... пущай бычокъ идетъ тебѣ по уговору.

— Что мнѣ твой бычокъ?—заговорилъ торопливо Болотовъ.—Бычокъ для меня маловажная причина. Ты думаешь, я радъ? А спросилъ бы ты, сообразилъ, что такое есть для меня бычокъ? Какой въ немъ прокъ существуетъ?... Да ладно, такъ и быть, сродственнику удружить надо... А что касательно бычка, прямо я скажу тебѣ, нѣтъ мнѣ въ немъ корысти.

Дѣло было спѣшное, ждать Гаврилѣ нельзя было; Болотовъ это понималъ и немедленно согласился, въ сопровожденіи тестя, идти къ Шипикину. Впрочемъ, Гаврило, какъ было рѣшено, не долженъ казать глазъ. Отправились.

Оба были возбуждены, хотя по разнымъ причинамъ: тесть думалъ о Шипикинѣ, зять распредѣлялъ мысленно части бычка на предстоящій базаръ. Эта была сложная умственная работа; требовалось сообразить бычка всего, до мелкихъ подробностей. Взять и заколоть скотину, потомъ свезти тушу на базаръ—это, конечно, дѣло не мудреное. Но Болотовъ изъ всего привыкъ извлекать часть пользы, хотя бы на грошъ, но пользы. Онъ думалъ о томъ, куда дѣвать рожки, нельзя-ли извлечь пользу изъ копытъ? Точно также и шерсть теленка долго занимала его голову; онъ вспомнилъ, что изъ коровьей шерсти ткутъ половики, но отъ кого онъ это слыхалъ, гдѣ покупаютъ такую шерсть, куда, въ какомъ видѣ ее надо представить—этого, хоть убей, онъ не могъ вспомнить. Онъ безпощадно ломалъ голову, но ничего не могъ придумать по всѣмъ этимъ вопросамъ. Онъ былъ самъ не радъ, что всѣ эти предметы лѣзли ему въ голову, мучили

его, тѣмъ не менѣе, выбросить ихъ изъ своей головы былъ не въ силахъ, какъ какое-нибудь бѣсовское навожденіе. Таковъ ужь былъ характеръ его жизни. Какъ человѣкъ, одаренный отъ природы шустрымъ умомъ, онъ волей-неволей вѣчно искалъ предметовъ для размышленія и изобрѣталъ способы улучшить жизнь, побѣдить наготу свою и незащитность, возвыситься надъ окружающею темною бѣдностью, но какъ человѣкъ голый, живущій въ голой деревнѣ, дошедшей до страшно пустой жизни, онъ, также волей-неволей, долженъ былъ пробавлять свой умъ пустяками и вертѣться между пустяшныхъ дѣлъ. Разумѣется, пустяшныя дѣла могли дать ему барыша только по грошу каждое, и съ помощью ихъ нельзя серьезно скрасить свою жизнь, вслѣдствіе чего количество этихъ пустяшныхъ дѣлъ розрослось у него непомѣрно. Онъ рѣшительно всѣмъ занимался; яйца, молоко, кожи, шерсть, свиная щетина—это только примѣръ; на самомъ же дѣлѣ сфера его промышленности была необъятна. И надъ каждымъ изъ этихъ пустяшныхъ дѣлъ онъ задумывался, на всякую промышленность онъ тратилъ пропасть ума, изобрѣтательности, ловкости, почти генія. Безошибочно можно сказать, что вся мозговая дѣятельность жителей описываемаго округа, весь прогрессъ мысли, все развитіе умственности шло именно въ этомъ направленіи. Выдумать грошовую промышленность, расширить количество грошовыхъ промышленностей—въ этомъ и состояло все умственное развитіе, добытое послѣ освобожденія изъ крѣпостного состоянія. Подобному направленію, впрочемъ, можетъ быть, въ значительной степени помогла старинная, обще-русская, прославленная, но на самомъ дѣлѣ гнусная „смекалка", которая учитъ человѣка „на обухѣ рожь молотить" и приспособляться къ самымъ отвратительнымъ гадостямъ.

Такъ они шли, думая каждый о своемъ дѣлѣ, шли въ первое время молча, шли, обмѣниваясь безсознательными фразами. Путь былъ до Шипикина далекій, почти на цѣлую половину дня, и свободнаго времени для разговора такъ же, какъ и для молчанія, оставалось бездна. Гаврило смотрѣлъ подъ ноги, да такъ и шелъ, не поднимая головы, наклоненной книзу свинцовою думой; Болотовъ, напротивъ, ѣздилъ глазами по сторонамъ, ни минуты не останавливая ихъ на какомъ-нибудь предметѣ, что̀, можетъ быть, зависѣло оттого,

что онъ все продолжалъ распредѣлять части бычка, количество которыхъ разрослось до невѣроятнаго множества.

— Да, тутъ, братъ, бываетъ такъ, что и идти незачѣмъ—продолжалъ вслухъ свои размышленія Болотовъ, говоря все о томъ же бычкѣ, хотя упоминать именно о немъ все какъ-то стыдился.—Со стороны, оно, конешно дѣло, выходитъ просто. Между же прочимъ, онъ тебя огрѣетъ. Ты походи около него, да обнюхай, да сообрази, съ какой стороны подойти къ нему... Ежели же ты подойдешь не съ той стороны, да сунешься безъ всякаго соображенія, никакого толку не получишь. Развѣ какую ни на есть сущную бездѣлицу!

— Бездѣлицу, ужь это какъ есть!—сказалъ Гаврило тревожно.

— Про то и я говорю. Хлопотъ, хоть бы по горло, а интересу мало. И обидно, даже очень обидно!

— Вѣрно. Ужь если интересу мало, такъ какъ же не обидно?—отъ всей души согласился Гаврило.

— Ходишь-ходишь иной разъ, языкъ высунешь, голова кругомъ пойдетъ, да вдругъ возьметъ тебя зло, да такъ разгоришься, что плюнулъ бы на все и больше ничего. А почему? Интересу мало. Такъ и теперь: не очень-то одолжилъ ты меня! Иди вотъ, бѣги, верти хвостомъ, а интересу получишь бездѣлицу.

— Иной разъ ничего не получишь отъ него—это вѣрно!—взволнованно проговорилъ Гаврило и не могъ скрыть ненависти.—А сладко говоритъ! Ужь мелетъ-мелетъ тебѣ, думаешь: ну, слава Богу, дастъ, а глядишь—онъ тебя эдакъ ласково беретъ за плечо, да и пихаетъ въ дверь. Здоровъ точить лясы, чистый Іуда!

Зять, слушая Гаврилу, съ удивленіемъ смотрѣлъ на него. Ему стало очевидно что они говорили про разные предметы. Онъ обозлился.

— Да ты про кого говоришь?—спросилъ онъ вдругъ и злобно посмотрѣлъ на Гаврилу, который, въ свою очередь, пришелъ въ изумленіе.

— Я-то? Я про барина, про Шипикинскаго,—отвѣтилъ смущенно онъ.

— Эхъ, ты, головушка! Ушами ты слушалъ или... Я ему разсказываю про теленка, а онъ... эва куды!... Ты, братъ,

уши-то шире разставляй, а то... Я ему свое, а онъ про Шипикинскаго барина, чудакъ!

Нѣкоторое время оба пѣшехода молчали, стыдясь взаимнаго непониманія, вина котораго, впрочемъ, ложилась на одного Гаврилу, потому что онъ одинъ былъ въ мучительномъ состояніи. Но Болотовъ быстро оправился отъ смущенія и продолжалъ описывать всѣ трудности своей неопредѣленной жизни. Гаврило сталъ слушать со вниманіемъ.

— Такъ вотъ я про то и говорю, про бычка-ли, про другое-ли что—все единственно, нигдѣ покою нѣтъ, то-есть не только что интересу, а даже спокойствія не замѣчаешь, только и дѣлай день-деньской, что бѣгай, какъ собака безъ хозяина. А все отчего? Оттого, что землю бросилъ. Теперь иной разъ и вернулся бы, да ужь боязно, отвыкъ, даже страхъ какой-то...

— Что-жь это ты такъ?... Къ землѣ завсегда можно вернуться, отъ нея не уйдешь далеко.

— Да ужь заболтался... Нѣтъ у меня ужь никакой домашности, а заводить съизнова, тутъ и вѣку не хватитъ,—задумчиво возразилъ Болотовъ.

— Что-жь ты такъ? Вѣдь отъ меня ты отошелъ вполнѣ хозяиномъ, отчего же ты не соблюлъ наслѣдства? Вѣдь мы раздѣлились по-божески?—спросилъ Гаврило.

— По-божески, — это вѣрно. Ну, только у меня другія мысли были; не рука мнѣ землепашество. Дѣло ужь теперь прошлое, скажу я тебѣ по совѣсти, повѣришь или нѣтъ, скажу какъ передъ Богомъ, тоска меня взяла отъ этого самаго землепашества, и даже такая тоска, что, напримѣръ, кабакъ былъ первѣйшее удовольствіе для меня, такъ и тянетъ, такъ и тянетъ—вотъ ужь до какихъ предѣловъ дошло. Стало быть, отъ судьбы мнѣ не велѣно заниматься хлѣбопашествомъ.

Болотовъ задумчиво говорилъ съ искреннею печалью; Гаврило уже съ величайшимъ вниманіемъ слушалъ.

— Такъ и спустилъ все хозяйство. Говорю тебѣ, судьбы не было. Главное, отчего у меня тоска-то взялась? Мысль у меня была одна: утаить ничего нельзя, коль скоро ты землепашецъ есть—вотъ какая мысль забралась. Отъ этого самаго и бросилъ всю домашность. Какъ вспомнишь, бывало что все у тебя на виду, ничего припрятать для себя на чер-

ный день не можешь, все у тебя снаружи, приходи всякій и бери, сколько угодно, какъ вспомнишь, что некуда тебѣ схорониться, такъ и тоска. Возьму я, къ примѣру, себя въ теперешнемъ моемъ положеніи: какъ нѣтъ у меня никакой домашности, и, стало быть, взять у меня нечего, то никакой у меня тоски нѣтъ, заработаю я малую толику и сейчасъ денежки въ кармашекъ—чисто-благородно! Приходи сейчасъ въ моемъ теперешнемъ положеніи староста, старшина, хоть самъ становой, и ежели я самъ расположиться не пожелаю и не выну денежки изъ кармашка, никто ничего не найдетъ. Первымъ дѣломъ: „Корова есть у тебя?"—„Никакъ нѣтъ".—„Овцы, телята, свиньи по двору ходятъ?"—„Никакъ нѣтъ-съ".—„Лошадь есть?"—„Только и есть что одна".—„Значитъ, ничего у тебя нѣтъ?"—„Точно такъ, ваше благородіе". Коль скоро я денежки спряталъ, и ежели не пожелаю самъ расплатиться, то у меня ничего снаружи нѣтъ и никакимъ образомъ ничего не добудутъ. Весь мой животъ въ монетѣ, а монету кто же полѣзетъ считать?

— Никто не полѣзетъ. А землепашцу...—возразилъ было Гаврило.

— А у землепашца весь животъ снаружи. Во-первыхъ, скотина, ужь это мало-мало, ежели есть одна лошаденка, да коровенка, да три овцы, ужь это бѣдно. У меня было въ ту пору двѣ лошади, двѣ коровы съ телкой, семь овецъ, такъ вотъ какъ пустишь ихъ по двору, такъ даже у самого глаза разгорятся, а не то, что у чужого человѣка. Отъ этого самаго и тоска пошла... Вѣдь нельзя спрятать всю домашность въ карманъ, вся она снаружи, въ глаза хлещетъ. Случилось однажды, такая тоска меня взяла, что я взялъ, да и прогналъ всю скотину въ лѣсъ, чтобы то-есть схоронить ее. Вотъ хорошо. Прогналъ это я и сейчасъ вижу—валятъ ко мнѣ на дворъ описатели: старшина, староста и прочіе другіе,—ну, я вышелъ изъ избы и довольно равнодушно смотрю. „Гдѣ, спрашиваютъ, у тебя скотина?" Я и говорю: „Такъ и такъ, коя подохла, кою украли и ничего у меня нѣтъ; ежели бы было, развѣ я самъ не знаю, что надо уплатить? Ужь извините. А коль скоро, говорю, у меня нѣтъ, то и ничего у меня не полагается. Что же касательно, говорю, будущаго года, какъ только поправлюсь, сейчасъ все уплачу, будьте вполнѣ благонадежны, даже съ полнымъ моимъ удо-

вольствіемъ“. Говорю я это, да взглянулъ на улицу, а тамъ ба-атюшки! вся подлая-то тварь, скотина-то моя, вижу претъ прямымъ путемъ на свой дворъ, и какъ только ввалилась она дворъ—и коровы, и лошади, и овцы, увидалъ это старшина мою наглость и подходитъ ко мнѣ, не говоря дурного слова, да р-разъ! р-разъ! въ одно ухо, да въ другое! Тутъ я въ ноги повалился... Да ты, чай, слыхалъ?

— Слыхалъ въ ту пору что-то,—отвѣчалъ Гаврило.

— Было, все было. Эхъ, да что объ этомъ поминать!—съ досадой кончилъ Болотовъ. какъ будто отгоняя отъ себя какія-то темныя воспоминанія.

Нѣсколько минутъ оба пѣшехода молчали.

— Съ этой поры и пошло, значитъ?—спросилъ, наконецъ, Гаврило.

— Съ этого и пошло. Главное, эта самая мысль зачала меня мучить: спрятать ничего нельзя. И все мнѣ кажется, что домашностью связанъ я по рукамъ и ногамъ; подобно рабу я у нея... И началъ я пущать все сквозь рукъ; бѣдность. и до того опаршивѣлъ, до той степени ужь дошло, что хоть надѣвай кошель, да иди съ Христовымъ именемъ для ради кусковъ. Ну, однако, Богъ не допустилъ, спасъ, милостивый, не далъ въ конецъ погибнуть. Сталъ я понемногу промышлять и теперь вотъ живу по мелочи.

— Землепашество порѣшилъ совсѣмъ?

— То-то, что судьбы нѣтъ. Начни я опять заниматься, и пойдутъ мысли, знаю ужь я! Да и кой шутъ въ теперешнемъ моемъ положеніи приневолитъ къ землепашеству, ежели копѣйку, какая она ни на есть, сберечь въ карманѣ легче? Хочу я ее показать—хорошо, а не хочу, ежели по случаю собственной нужды, не объявить и не объявлю. Потому вѣдь я самъ знаю, когда могу и когда нѣтъ отдавать копѣйку. Время ужь нынче такое воровское: кто что увидитъ, тотъ то и тащить, а кто съумѣлъ во-время копѣйку спрятать, тому ничего, жить можно. Да кабы ежели мнѣ еще земли-то полагалось, а то одна душа, стало быть, нѣтъ никакой возможности мараться, вѣдь я уже все сообразилъ. Ну, однако, сильно беретъ меня раздумье насчетъ земли!

— А что?—спросилъ съ живостью Гаврило.

— Думаю, что насчетъ земли чего не будетъ-ли. Меня

и беретъ раздумье, заниматься-ли хлѣбопашествомъ, или ужь лучше бросить это дѣло, потому какъ нѣтъ судьбы...

Внутреннее состояніе двухъ пѣшеходовъ совершенно перемѣнилось. Гаврило былъ взволнованъ, Болотовъ сталъ равнодушенъ. Послѣднія свои замѣчанія онъ сболтнулъ такъ, отъ нечего дѣлать, нисколько не вѣря своимъ словамъ, и вралъ потому, что на самомъ дѣлѣ давно уже и не думалъ объ этомъ предметѣ, сдѣлавшемся для него чуждымъ и непонятнымъ. Между тѣмъ, это вскользь сказанное замѣчаніе вызвало цѣлую душевную бурю въ Гаврилѣ. Онъ что-то вдругъ сталъ припоминать.. и припомнилъ. Прошлое, забытое въ продолженіе долгой пустяшной жизни, не позволявшей отдохнуть ни минуты, сразу вернулось, заполонило всю голову бѣдняги и заставило забыть и Шипикина, и бычка, и двѣ десятины, и все, что за минуту передъ тѣмъ казалось ему важнымъ. Гаврило съ какимъ-то ожесточеніемъ запустилъ обѣ пятерни въ волосы, поскребъ съ шумомъ голову и опустилъ руки.

Когда они подходили къ усадьбѣ Шипикина, Гаврило уже оправился отъ нахлынувшихъ на него мыслей. Передъ нимъ снова стоялъ вопросъ жизни и смерти: „дастъ или не дастъ?“ Гаврило снова ужасался и, когда они совсѣмъ подошли къ усадьбѣ, онъ выразилъ на лицѣ и словахъ величайшій испугъ. „Не дастъ!“—рѣшилъ, заранѣе подготовляя себя къ самому худшему. Зять успокоилъ его. Только просилъ не казать глазъ барину, который тогда, ежели откроется обманъ, дѣйствительно ужь не дастъ. Въ виду этого, Болотовъ даже посовѣтовалъ Гаврилѣ совсѣмъ отойти прочь, спрятаться куда-нибудь. Гаврило на все былъ согласенъ, хоть бы въ землю провалиться на время переговоровъ съ бариномъ, и ушелъ.

Невдалекѣ отъ самаго дома стоялъ сѣнной сарай, двери его были, къ счастію, отворены, людей вблизи не было, и Гаврило зашелъ туда. Босыя ноги его сильно озябли, да и самъ онъ весь чувствовалъ необходимость обогрѣться, потому что на улицѣ стояла слякоть—шелъ не то дождь, не то снѣгъ, а вѣрнѣе—какіе-то помои лились съ неба. Весна еще не установилась. Чтобы отдохнуть и обсушиться, Гаврило закопался въ сѣно, воткнувъ въ него сперва ноги, потомъ туловище и оставивъ открытою только голову. Онъ ни о

чемъ не думалъ. Передъ нимъ стоялъ двойной вопросъ: „дастъ или не дастъ?“ Его онъ и рѣшалъ, причемъ мысленно хвалилъ барина, въ самыхъ ласковыхъ выраженіяхъ, если тотъ воображаемо давалъ ему, или въ самыхъ отборныхъ словахъ ругалъ, если не видѣлъ съ его стороны никакого снисхожденія. Конечно, это нельзя назвать размышленіемъ.

Наконецъ, Гаврило увидалъ зятя выходящимъ изъ дому и вылѣзъ изъ сѣна. Однако, вѣсти были не утѣшительны. Шипикинъ далъ одну десятину. Гаврило, выслушавъ разсказъ зятя, разгорячился. „Да вѣдь я-жь тебѣ говорилъ, чтобы двѣ десятины!“—кричалъ Гаврило.—„Да куды тебѣ двѣ, ежели и одна-то тебѣ не по силѣ, потому за нее ты долженъ убрать двѣ десятины травы, да десятину льну, ежели и одна-то тебѣ житья не дастъ, хоть пропадай!“—кричалъ, въ свою очередь, зять.—„Да вѣдь мнѣ же надо двѣ!“—„Ну, вотъ толкуй тутъ съ нимъ... Да какъ же можно двѣ, когда тебѣ и отъ одной-то, можно сказать, мученическая кончина придетъ?“—и зять, говоря это, еще разъ повторилъ варварскія условія: убрать двѣ десятины лугу, десятину льну и во время, мѣсяцъ спустя послѣ уборки хлѣба, заплатить громадную арендную плату; если же десятина льну и двѣ десятины травы своевременно не будутъ убраны, то хлѣба Гаврилѣ не видать, какъ ушей; баринъ прямо сказалъ, что въ этомъ случаѣ до снятой десятины онъ не подпуститъ Гаврилу на десять верстъ... „На̀, вотъ, смотри записку, тутъ все написано“,—сказалъ зять и подалъ бумажку Гаврилѣ.

Болотовъ былъ правъ; дѣйствительно, отъ такихъ условій можно было принять мученическую кончину; при этомъ Гаврило еще отдавался живьемъ въ новыя руки, въ руки зятя; отнынѣ зять его былъ кредиторомъ. Но Гаврило упрямо стоялъ на своемъ. Взять шипикинскую десятину онъ согласился, узнавъ мѣсто, гдѣ она будетъ отведена ему, помялъ въ рукахъ записку, но мысль попользоваться еще гдѣ-нибудь десятинкой не покидала его: это желаніе даже упорнѣе теперь засѣло въ немъ. Онъ простился съ зятемъ, сказавъ, что въ деревню не вернется, и попросилъ у него три копѣйки на хлѣбъ. Послѣ этого онъ пошелъ прямымъ путемъ къ Таракановскому барину. По дорогѣ къ деревнѣ, лежавшей на его пути, онъ купилъ на три копѣйки полкоровая хлѣба и принялся ѣсть на ходу, не оста-

навливаясь ни на мгновеніе и все ускоряя шагъ, который перешелъ въ рысь. Онъ трусилъ, грызъ коровай и думалъ. Думалъ онъ о томъ, какими неправдами еще ухватить одну десятину у Таракановскаго барина, которому онъ уже давно не показывалъ глазъ? Для него было ясно, что тотъ надругается, прогонитъ, а потомъ черезъ мирового приневолитъ къ работѣ за нескончаемые долги.

Всѣ опасенія Гаврилы сбылись въ точности. Но „управитель" на этотъ разъ сталъ ругаться, когда Гаврило поймалъ его у крыльца, и даже не взглянулъ на него, а только махнулъ рукой, что означало: „убирайся!" Ему хотѣлось пить чай. Гаврило, однако, не упалъ духомъ; разъ что-нибудь втемяшилось ему въ голову, никакія уже сцены не могли выбить изъ него рѣшенной мысли. Теперь онъ рѣшилъ намозолить глаза управляющему—и намозолилъ. Черезъ часъ управляющій вышелъ опять на дворъ, чтобы сдѣлать вечернія распоряженія, но куда онъ только ни шелъ, Гаврило слѣдовалъ за нимъ, не близко, а издали, на почтительномъ разстояніи. Управляющій спустился къ рѣкѣ, гдѣ строили лодку,—Гаврило за нимъ; управляющій зашелъ въ коровье стойло -Гаврило остановился близь прясла и наблюдалъ за нимъ сквозь щели. Управляющій остановится—и Гаврило также встанетъ, какъ вкопанный, и вперитъ глаза. Управляющій, ничего не видя, чувствовалъ, что за нимъ слѣдятъ. „Отчего онъ безъ шапки и безъ сапогъ?"—подумалъ почему-то управляющій, и ему сдѣлалось неловко. Онъ могъ бы прогнать этого „страннаго мужиченка", но отчего-то не дѣлалъ этого. Напротивъ, онъ старался не оглядываться назадъ, не видѣть и можетъ быть, въ первый разъ не рѣшился прямо взглянуть въ глаза оборвышу. Все продолжая ходить по усадьбѣ, онъ чувствовалъ, что его спину прожигаютъ два глаза, какъ зажигательныя стекла,—чрезвычайно непріятное ощущеніе! Онъ круто повернулся къ преслѣдователю и взглянулъ прямо въ лицо ему.

— Тебѣ что нужно?—взволнованно спросилъ управляющій, и не то съ гнѣвомъ, не то со страхомъ оглядывалъ „страннаго мужиченка" безъ шапки и безъ сапогъ и забрызганнаго грязью.

— Да все насчетъ давишняго... Сдѣлайте милость, дайте хоть десятинку!—проговорилъ задумчиво Гаврило.

— Какъ звать?

— Меня то-есть? Да Гаврило Налимовъ, какъ же еще!

-- Изъ какой деревни?

Гаврило сказалъ. Онъ говорилъ совершенно спокойно. Въ эту минуту онъ сознавалъ, что съ нимъ ничего не подѣлаешь и что никакія угрозы, слова и мученія ничего теперь для него не значатъ.

Тутъ управляющій не выдержалъ, раздраженно заговоривъ. Съ его устъ сорвались страшные упреки и ругательства. Онъ доказывалъ Гаврилѣ, что всѣ жители его деревни—негодяи и мошенники, что они берутъ земли даромъ, ничего не платя и не работая на имѣніе, и что онъ давно бы могъ всю деревню продать съ молотка, и если не дѣлаетъ этого, то потому только, что жаль дураковъ, которые отъ своей небрежности, лѣни и пьянства дошли до послѣдняго разоренія...

— Такъ, стало быть, дашь десятинку-то?—спросилъ Гаврило.

Управляющій пожалъ плечами, пораженный этою непобѣдимою неотвязчивостью, и согласился.

Но за это онъ обязалъ Гаврилу, кромѣ арендной платы и разныхъ работъ, вычистить всѣ отхожія мѣста въ усадьбѣ (ждали самого графа изъ Москвы), и притомъ нынче ночью. Впрочемъ, онъ обѣщалъ заплатить. Сейчасъ же онъ крикнулъ сторожа и приказалъ вручить Гаврилѣ лошадь съ телѣгой, кадушку, лопаты, лампу и прочіе инструменты, а Гаврилѣ приказалъ пока отдохнуть. Гаврило отдохнулъ и затѣмъ принялся среди ночи съ величайшею добросовѣстностью за дѣло, которое, правда, было незнакомо ему, но которымъ онъ хотѣлъ отблагодарить „управителя", потому что, въ сущности, Гаврило былъ самъ удивленъ, что добился земли. Къ утру слѣдующаго дня онъ уже съ ногъ до головы былъ забрызганъ вонючею грязью. Управляющій выслалъ ему нѣсколько мелочи и велѣлъ черезъ сторожа передать ему, что онъ доволенъ имъ. Гаврило сіялъ. Не того, чтобы онъ былъ радъ полученнымъ мѣдякамъ, но по всему его существу разлилось чувство успокоенія и сознаніе того, что онъ сдѣлалъ все, что хотѣлъ и что могъ.

Здѣсь кончились на эту весну мученія Гаврилы.

Когда, къ вечеру, онъ вернулся домой, то вдругъ вспом-

нилъ, что онъ въ эти дни ничего почти не ѣлъ и не спалъ; въ виду этого, онъ наскоро съѣлъ полпирога хлѣба, выпилъ полведра квасу и заснулъ на цѣлыя сутки. Послѣ этого одурѣлъ: вскочивъ съ постели черезъ сутки вечеромъ, онъ вообразилъ, что земли еще не добылъ и что ему надо немедленно бѣжать, чтобы во-время ухватить хоть малость, и онъ уже готовъ былъ ринуться изъ избы, но былъ остановленъ хозяйкой. „Да ты никакъ одурѣлъ?“—сказала она и объяснила, что она уже все приготовила для пашни. Гаврило пришелъ въ себя и окончательно успокоился.

Отдавъ зятю бычка, онъ справилъ себѣ сапоги. Но на пашню не торопился выѣзжать. А когда медлить было больше нельзя, онъ сговорился съ Савосей Быковымъ поѣхать вмѣстѣ. Савося былъ радъ-радехонекъ, что нашелъ товарища.

Въ первый день ихъ совмѣстной работы у сохи Савоси отвалился рѣзакъ, во второй день у нихъ ушла лошадь, „шутъ знаетъ куда“, ушла на цѣлый день, такъ что только вечеромъ ее отыскали. Савося, при всякомъ подобномъ несчастіи, лаялся и метался, какъ будто его поджаривали на медленномъ огнѣ. Гаврило, напротивъ, оставался спокойнымъ, больше молчалъ и работалъ довольно вяло. Ухлопавъ свою крестьянскую энергію на добываніе земли, онъ былъ уже безсиленъ и настоящей работѣ могъ отдать только уцѣлѣвшій остатокъ растрепанныхъ силъ. Въ его незамѣтной жизни, по внѣшности тихой, изъ года въ годъ совершалась тяжелая драма. Чѣмъ-то она кончится?

IV.

Нѣсколько кольевъ.

Лѣто подходило къ концу. Страда оканчивалась, хлѣба были убраны. Чисто-деревенскія работы перестали тревожить жителей. Въ деревнѣ все было благополучно: дифтерита не было, и можно было разсчитывать, что зимой, благодаря энергіи мѣстнаго начальства, его и не будетъ; отъ пожара во все лѣто сгорѣлъ одинъ амбаръ, оказавшійся принадлежащимъ старшинѣ; неизвѣстному червю, появившемуся-было въ началѣ лѣта на овсѣ, жрать было нечего, ибо овесъ поторопились скосить на кормъ.

Въ сосѣднемъ помѣстьи у Тараканова открылся выгодный заработокъ—пилка дровъ, на которыя, послѣ слома, назначены были старые сараи, избы рабочія, конюшни; всего подлежало къ слому приблизительно саженей двадцать пять въ видѣ дровъ. За это дѣло взялась артель, въ которой принимали участіе: Василій Чилигинъ, Миронъ Уховъ, Портянка и нѣкій Тимоѳей, по прозванію Лыковъ. Работали въ двѣ пилы.

Портянка пилилъ сонно, смутно мечтая о воскресной выпивкѣ, послѣ которой онъ хлопнется гдѣ-нибудь на улицѣ и захрапитъ. Василій Чилигинъ взялся за пилку потому, что отецъ стащилъ недавно у него полмѣшка муки, продалъ, а деньги неизвѣстно куда спряталъ, и хотя за такое вѣроломство онъ жестоко прибилъ старика, но муки не воротилъ. Отецъ потомъ жаловался на волостномъ судѣ на варварство сына, что тотъ безпрестанно его бьетъ: „Вотъ онъ какой есть идолъ, Васька-то мой! Бить бьетъ, а кормить не кормитъ!“

Судъ, принимая во вниманіе неугомонный желудокъ старика, наотрѣзъ отвергъ его жалобу. Послѣ этого старикъ не разъ приходилъ на самое мѣсто пилки, чтобы побраниться съ сыномъ, а когда его слова не дѣйствовали, то пытался пронять сына жалостью. „Васька!—говорилъ онъ,—да ты хоть пожалѣлъ бы стараго отца, заплатилъ бы хоть пятіалтынный за побои. Теперь у тебя вонъ сколько будетъ деньжищъ, такъ ты хоть малость снизойди къ немощи моей, Васька!...“ Разъ, во время самаго разгара работы, между отцомъ и сыномъ поднялась драка, причемъ отецъ намѣревался уже пустить въ сына чурбаномъ, но ихъ розняли артельщики. Вообще Чилигинъ, во все продолженіе пилки, былъ озлобленъ, постоянно раздражаемый семейными дѣлами. Третій артельщикъ, Миронъ, напротивъ, радостно суетился; онъ имѣлъ особенную, таинственную причину горячо пилить. Нѣсколько дней работая безъ всякой задней мысли, онъ вдругъ обратилъ серьезное вниманіе на опилки и былъ пораженъ ихъ видомъ. Онъ припомнилъ, что въ городахъ опилки не бросаются зря, а идутъ въ дѣло, особенно во фруктовыхъ лавкахъ, гдѣ въ нихъ сохраняется „дуля, напримѣръ, и другой фруктъ“. Онъ сталъ правильно каждый вечеръ относить по кулю опилокъ къ себѣ во дворъ и за недѣлю натаскалъ ихъ порядочную кучу. По его разсчетамъ выходило такъ, что за всю эту громаду онъ получитъ, по крайней мѣрѣ, два съ половиной рубля серебромъ. Наконецъ, четвертый артельщикъ, Тимоѳей, взялся за пилку дровъ потому, что привыкъ ходить по чужимъ людямъ, сколачивая средства на холодную зиму, и держалъ себя съ неподражаемою веселостью. Онъ во всемъ находилъ развлеченіе и изъ самой пилки устроилъ игру, разговаривая съ бревнами. Одному бревну онъ говорилъ: „ну-ка ты, толстякъ, полѣзай“; другое бревно укорялъ за худобу или гнилость; на третье вскакивалъ и плясалъ по его поверхности.

Отъ его шутокъ расправлялись суровыя лица товарищей. Даже Портянка улыбался. Только одинъ Миронъ сердился, не понимая, какъ можно надъ всѣмъ забавляться? Но Тимоѳей не обращалъ на него вниманія. Иногда онъ начнетъ ни съ того, ни съ сего плясать, неистово шлепая по землѣ босыми ногами; иногда—запоетъ, а товарищи вслушиваются, задумываются, умолкнутъ, потому что Тимоѳей пѣлъ задушевно, пѣлъ тѣ грустные мотивы, отъ которыхъ за душу хватаетъ.

Особенно по вечерамъ Тимоѳею было раздолье; когда прекращалась работа, артель садилась въ кружокъ, разводила огонь и ждала, пока сварится жидкая кашица или поспѣетъ картофель. Тимоѳей показывалъ штуки и фокусы. Онъ тягался на палкѣ съ Портянкой, причемъ послѣдній не успѣетъ еще хорошенько понатужиться, какъ уже летитъ черезъ голову шутника; съ Чилигинымъ онъ велъ забавные споры о томъ, можно-ли проглотить аршинъ? Чилигинъ увѣрялъ, что это пустое, а Тимоѳей, напротивъ, доказывалъ, что можно, что недавно въ городѣ, въ балаганѣ, онъ самъ видѣлъ такую штуку. Забавляя такимъ образомъ товарищей, самъ Тимоѳей никогда не смѣялся. Лицо его въ самыя шутовскія минуты носило неизгладимую печать печали.

— А можешь пройти на рукахъ двадцать шаговъ?—спросилъ его однажды Чилигинъ вечеромъ.

— Могу,—возразилъ Тимоѳей.

— Врешь.

— Ей-Богу, могу.

— Двадцать шаговъ?

— Двадцать-ли, пятьдесятъ-ли—все одно, могу.

— Валяй. Чтобы только взадъ и впередъ...

— Ладно,—согласился Тимоѳей.

Измѣрили разстояніе. Тимоѳей сдѣлалъ нѣсколько предварительныхъ опытовъ, по окончаніи которыхъ всталъ вверхъ ногами. Шелъ онъ правильно, изрѣдка колыхался. Вдругъ на мѣстѣ дѣйствія появился Рубашенковъ, таракановскій подрядчикъ и надсмотрщикъ. Трое артельщиковъ живо усѣлись около огня и думали: «Ну, задастъ же онъ ему перцу!“ Но Тимоѳей ничего. Онъ шлепнулся на землю, всталъ на ноги и, какъ ни въ чемъ не бывало, заговорилъ съ подрядчикомъ.

— Пожалуйте, ваше степенство, папироску мнѣ!—сказалъ онъ, и, къ удивленію товарищей, Рубашенковъ далъ ему папироску.

Но когда Рубашенковъ ушелъ, Мироновъ съ укоромъ покачалъ головой.

— Какой ты, право, Тимоѳей... нисколько нѣтъ въ тебѣ страху!

— А чего мнѣ бояться?—возразилъ Тимоѳей.

— Да мало-ли чего... Даже удивительно, какъ можно эдакъ ребячиться. Погляжу я, никакого въ тебѣ нѣтъ правила.

— А на что мнѣ правило?

— Да развѣ можно всю жизнь ходить вверхъ ногами? Вонъ у тебя изба стоитъ безъ двора—развѣ это дѣло?

— Безъ двора, такъ безъ двора. Что мнѣ о дворѣ печалиться? Только начни заниматься дѣломъ, и не оберешься подлостей разныхъ.

— Погляжу я, разуму въ тебѣ, что въ маломъ ребенкѣ!— еще разъ покачалъ головой Миронъ.

— Только зачни печалиться о домашности, сейчасъ страсть сколько подлостей надѣлаешь. Достатку, а наипаче богатства можно только черезъ подлость достигнуть.

Тимоѳей, вопреки своему характеру, говорилъ задумчиво. Натура его была до такой степени искренняя, что когда онъ шутилъ, вслѣдъ за нимъ и товарищи оживали, а стоило ему на мгновеніе затуманиться, на всѣхъ лицахъ появлялись тѣни. И на этотъ разъ вышло такъ же. Едва онъ пришелъ въ себя, какъ Чилигинъ и Портянка повеселѣли. И долго еще, уже находясь въ постели, т.-е. попросту на голой землѣ около костра, прикрытые зипунами, они не могли заснуть отъ шутокъ Тимоѳея, который изъ-подъ полушубка шепталъ отъ времени до времени прибаутки, заставлявшія товарищей покатываться со смѣху.

Тимоѳей для всѣхъ былъ человѣкъ легкомысленный, которому все равно, что̀ бы ни случилось въ деревнѣ. Разные деревенскіе недуги и невзгоды какъ-то не касались его. Ходилъ онъ большею частью по чужимъ людямъ; тамъ поживетъ, въ другомъ мѣстѣ поживетъ—глядишь, анъ зиму какъ-нибудь и провелъ. Ходилъ онъ по людямъ по большей части съ женой, а если гдѣ съ женой нельзя было жить, то покидалъ тотъ теплый уголъ, гдѣ ему удалось пристроиться, чтобы отыскать другой, въ которомъ могла помѣститься и жена. Многаго отъ жизни онъ не требовалъ, былъ бы хлѣбъ и вареная картошка, которую онъ, впрочемъ, любилъ въ тепломъ видѣ, иначе сердился и дѣлался мраченъ. А хлѣбъ и картошку добывать ему удавалось всегда. Изрѣдка два супруга дозволяли себѣ роскошь: выпивали вмѣстѣ водки и гуляли, обнявшись, по улицѣ, гуляли и пѣли, въ промежуткахъ весело разговаривая. Оба были еще молоды, здоровы; жена даже

выглядѣла ядреной, съ своимъ толстомясымъ лицомъ и круглымъ туловищемъ. И хорошо было бы имъ, еслибы они могли вести всегда такую жизнь.

Но русскій человѣкъ, въ особенности деревенскій, любитъ домъ, привязывается къ нему крѣпко, всѣми помыслами, до самаго гроба. Иной въ деревнѣ съ трогательною преданностью заботится о своемъ домѣ, все что-то прилаживая и приспособляя, тогда какъ на самомъ дѣлѣ посмотрѣть, у него и дома-то никакого нѣтъ. Многое множество живетъ такого рода людей въ этой деревнѣ; на мѣстѣ дома у нихъ стоитъ одна мечта, притомъ мечта тревожная, безпрестанно мучающая, неотвязчивая. Иной бѣдняга ходитъ-ходитъ вокругъ этой мечты, да и не выдержитъ, падетъ, загубленный ненастоящею жизнью. Въ деревнѣ то и дѣло происходили необыкновенные и, повидимому, неожиданные перевороты; одинъ мужикъ, въ особенности изъ юркихъ и достаточно безсовѣстныхъ, выкарабкается изъ нужды, купитъ двѣ лошади, „по случаю", захватитъ нѣсколько земельныхъ надѣловъ и заведетъ дѣйствительное хозяйство, а другой смотаетъ послѣдній скарбъ, разрушитъ въ конецъ свою мечту и затѣмъ закладываетъ шапку и шаровары, чтобы выпить. А, между тѣмъ, до этой минуты всѣ видѣли въ немъ хорошаго крестьянина, потому что у него былъ домъ, хозяйство и все прочее. Эти необыкновенные перевороты такъ часты и внезапны, что нхъ можно объяснить только болѣзненнымъ состояніемъ жителей. Достаточно, кажется, ничтожнѣйшаго случая, малѣйшаго дуновенія противнаго вѣтра, чтобы свалить съ ногъ ослабѣвшаго человѣка. Появился въ деревнѣ дифтеритъ — и половины ребятъ какъ не бывало. Наложили лишнюю полтину сверхъ прочаго — и два-три человѣка, какъ потомъ оказывается, ослабѣли и пали, записавшись въ разрядъ мертвыхъ. Повидимому, нѣтъ такой болѣзни, которая бы быстро не привилась къ деревнѣ.

Но обидно для Тимоѳея было слово — „бездомный", ибо подъ этимъ словомъ разумѣется и непутевая голова, и голый бѣднякъ, и нищій, и воръ. Ни къ одному изъ этихъ классовъ Тимоѳей не желалъ причислить себя, да и на самомъ дѣлѣ не принадлежалъ къ бездомовнымъ людямъ. Правда, особенной страсти городить у него не было, но домъ онъ имѣлъ; при новенькой и чистенькой избѣ подстроены были сѣни и чуланъ — пока больше ничего. Двора въ настоящемъ смыслѣ

ему не удалось поставить. То пространство, которое принадлежало къ его усадьбѣ, загородили съ двухъ сторонъ сосѣди, такъ что это пространство походило нѣсколько на дворъ, но за то третья сторона, выходящая на улицу, не была ничѣмъ заставлена. Круглое лѣто у Тимоѳея на дворѣ росла трава, ради которой весь деревенскій скотъ ежедневно по вечерамъ навѣдывался къ нему, но Тимоѳей никогда не обращалъ вниманія на коровъ, лошадей, свиней и овецъ, когда онѣ паслись на его усадьбѣ, и не сгонялъ ихъ, можетъ быть, потому, что своихъ животныхъ у него еще не было. Кромѣ травы, посрединѣ двора у него зіяла яма, которую онъ выкопалъ въ тревожныя минуты, думая, что современемъ она будетъ погребомъ. Потомъ, въ углу, подлѣ чулана, стояла какая-то невыразимая постройка, вродѣ шалаша, покрытая соломой и мочаломъ. Таково было хозяйство Тимоѳея.

Это, впрочемъ, въ лѣтній сезонъ. Съ конца осени видъ Тимоѳеевой усадьбы рѣзко измѣнялся: дворъ и домъ доверху занесены снѣгомъ; кругомъ--горы сугробовъ, и всякая жизнь прекратилась, потому что хозяевъ здѣсь больше не было. Тимоѳей съ женой съ конца осени существовали гдѣ-нибудь въ другомъ домѣ, у кого-нибудь изъ сосѣдей, покидая свое пустое хозяйство. Вся забота Тимоѳея, въ продолженіе зимы, состояла въ томъ, что онъ отъ времени до времени подходилъ къ лѣтнему своему мѣстопребыванію и смотрѣлъ, до самаго-ли верха занесенъ домъ его, или еще его видать.

Происходила такая перекочевка вотъ какъ.

Къ концу лѣта Тимоѳей съ женой устраивали обыкновенно заборъ, съ воротами и калиткой. Хворостъ и жерди доставались *какъ-нибудь*, случайно, между дѣломъ. Встрѣтится сторожъ изъ казеннаго лѣса, разговорится о томъ, о семъ, а, между прочимъ, и о томъ, какъ бы хорошо было теперь достать гдѣ-нибудь папушку табаку; на это Тимоѳей отвѣчаетъ, что папушку—это возможно, но и онъ съ своей стороны очень желалъ бы, чтобы у него были жердочки и хоть полвоза хворосту.

— Ну, такъ ты навѣдайся въ лѣсъ ночкомъ,—говоритъ дипломатически сторожъ.

— О какую пору?

-- Когда хошь, только чтобы папушка была представлена. Да ты смотри, идолъ, не попадись!

— Вона! Чай, я не маленькій!

Такимъ образомъ, черезъ нѣсколько дней у Тимоѳея на дворѣ лежалъ возъ хвороста и нѣсколько жердей, которыя, по его разсказамъ, онъ очень сходно купилъ, что и дѣйствительно было справедливо. Досталъ онъ ихъ случайно, безъ труда, но откажи ему лѣсной сторожъ—онъ и не подумалъ бы печалиться. Въ другой разъ сосновыя жерди достались ему иначе. Шелъ онъ однажды раннимъ утромъ мимо постоялаго двора, стоящаго на пустоши, далеко отъ деревни, и видитъ—лежатъ прямо на дорогѣ штукъ семь сосновыхъ слегъ. „Ишь вѣдь, дуракъ, бросилъ гнить на дождѣ... чѣмъ бы въ пользу употребить дерево, а онъ кинулъ ихъ въ канаву!"—разсуждалъ Тимоѳей, подобралъ валявшіяся слеги, взвалилъ на плечо и пошелъ. Еслибы этихъ слегъ случайно не увидалъ онъ, то, навѣрное, и не подумалъ бы о своемъ заборѣ, потому что до сихъ поръ съ смутнымъ страхомъ сторонился отъ того мучительнаго и оподляющаго процесса, путемъ котораго въ деревнѣ созидается самое дрянное хозяйство.

Получивъ случайно хворостъ и жерди, Тимоѳей при помощи жены отгораживался отъ улицы, заплеталъ плетень и воздвигалъ ворота, самъ увлекаясь своимъ твореніемъ. Воткнувъ послѣдній колъ въ землю, онъ отходилъ въ сторону и оттуда смотрѣлъ, любуясь великолѣпнымъ заборомъ. „Вотъ такъ заборъ! Знатный!"—говорилъ онъ женѣ съ гордостью настоящаго хозяина. Но это восхищеніе продолжалось всего дня два, три. Далѣе, онъ забывалъ.

Приходила осень. Наступали морозы. Тимоѳей и жена очень зябли. Кое-какъ собранныя за лѣто дрова выходили. Топить печку и варить картошку нельзя. Наконецъ, когда послѣдняя охапка осиннику сгорала въ холодной печкѣ, Тимоѳей впадалъ въ уныніе. На печкѣ, гдѣ онъ съ женой спалъ, климатъ переходилъ постепенно отъ жаркаго къ умѣренному, отъ умѣреннаго къ холодному. Въ избѣ наступалъ ледовитый періодъ. Чистая смерть! Тимоѳей первый день терпѣлъ; онъ и жена накрывались шубой, стараясь думать обо всемъ, только не о дровахъ. Проспавъ кое-какъ ночь въ стужѣ, на другой день чуть свѣтъ Тимоѳей отрубалъ аршина полтора великолѣпнаго забора, а жена топила печку, пекла хлѣбъ и варила картошку. Въ слѣдующій день онъ еще отрубалъ

аршина полтора забора, и въ какую-нибудь недѣлю загородь пропадала: оставались одни ворота со столбиками. Но, не видя никакого смысла въ воротахъ послѣ всего случившагося, онъ кололъ и ихъ на дрова. Послѣ этого въ домѣ окончательно на цѣлую зиму наступалъ ледовитый періодъ, и обитатели его перекочевывали къ кому-нибудь изъ сосѣдей, гдѣ за умѣренную плату имъ отводили уголъ. „Вотъ тутъ",—говорили имъ хозяева, отмѣривая строго опредѣленныя границы, за которыя до слѣдующей весны они и не переступали.

И надо сказать, что подобныхъ жителей въ деревнѣ было много. Все это изъ-за однихъ дровъ. Сколько людей погибло въ этой мѣстности изъ-за дровъ! Когда только наступала зима, съ десятокъ семействъ каждогодно трогалось съ мѣста, подобно птицамъ, и всѣ отыскивали теплыя мѣста, понимая это слово въ буквальномъ смыслѣ. Одни шли въ городъ, гдѣ нанимались въ кучера или дѣлались водовозами, другіе разсѣевались по окрестностямъ, нанимая углы, гдѣ и сидѣли всю зиму, какъ куры. Женщины по большей части нанимались въ кухарки, поступали къ прачкамъ, кто куда могъ. Но какъ проводили зиму тѣ, на плечахъ которыхъ сидѣли ребята, трудно и сказать что-нибудь опредѣленное.

Что касается Тимоѳея и жены его, нельзя сказать, чтобы они чувствовали неловкость своего положенія. Также, какъ и лѣто, они проводили беззаботно и зиму. И понятно. Дѣтей они не имѣли, домашняго скота тоже, а единственное ихъ животное—огромный котъ съ облупившеюся шкурой, на зиму куда-то самъ уходилъ, добывая пропитаніе своими средствами. Но кромѣ того, что заботиться имъ было не о комъ, оба были здоровы, молоды, выносливы и легкомысленны въ душѣ. Что имъ попадалось подъ руки, то и ладно. Отсутствіемъ настоящаго хозяйства Тимоѳей не только не тяготился, но иногда радъ былъ своей бездомовности. Деревенская жизнь еще не вовлекла его въ тотъ кругъ оподленія и страданія, изъ котораго люди идутъ совсѣмъ какъ изъ омута или появляются на свѣтъ Божій поломанными, разбитыми и одураченными. Тимоѳей какъ-то инстинктивно увертывался отъ этого круга, избѣгая чисто-зоологическимъ чутьемъ поставленной жизнью западни.

Потому что всякое улучшеніе быта въ этой деревнѣ со-

пряжено съ такимъ мучительствомъ, что самые сильные жители неминуемо оканчиваютъ отчаяніемъ; каждая мелочь, нестоющая понюха табаку, достается мужику послѣ ряда страданій. Одинъ погибъ изъ-за дровъ (озябъ и убѣжалъ изъ дому), другой — изъ-за полушубка (занялъ семь рублей, не отдалъ и поступилъ въ работу), третій кончилъ жизнь вслѣдствіе покупки телушки, которая въ продолженіе зимы, вмѣстѣ съ сѣномъ, съѣла, между прочимъ, своего хозяина.

Изъ этого положенія два выхода: если житель во что бы то ни стало желаетъ улучшить свою жизнь, то не долженъ гнушаться кулачества и другихъ видовъ негодяйства, или долженъ бросить все и жить какъ Богъ пошлетъ. Послѣдняго исхода и придерживался Тимоѳей, чувствуя безсознательное отвращеніе къ подлости, не согласовавшейся съ его молодою искренностью.

Дѣло въ томъ, что Тимоѳей съ женой не были полными собственниками дома и огорода. У Тимоѳея еще жива мать; она безотлучно живетъ въ городѣ въ нянькахъ; ей-то и принадлежитъ право собственности на домъ. Не нуждаясь въ немъ сама, она отдала его двумъ своимъ сыновьямъ, Тимоѳею и Петру, который служитъ въ солдатахъ, т.-е. чтобы одна половина избы и половина усадьбы принадлежала Тимоѳею, а другая половина — Петру. Напрасно Тимоѳей пытался убѣдить старуху, чтобы она отдала домъ ему одному, въ виду того, что братъ все равно пользоваться имъ не въ состояніи, а для него, Тимофея, очень важно было знать, что братъ его, по возвращеніи со службы, не вломится къ нему съ оружіемъ въ рукахъ и не выгонитъ его на улицу. Онъ убѣждалъ ее, что и для солдата лучше, если она дастъ ему на обзаведеніе деньжонокъ, которыя у нея есть, чѣмъ награждать его полъизбой безъ всякаго смысла. Что же онъ сдѣлаетъ съ полъизбой? Никакой радости для него нѣтъ въ такомъ домѣ. Иногда Тимоѳей убѣждалъ старуху честью, иногда угрозами, но старуху нельзя было ничѣмъ прошибить. Огородомъ, гдѣ жена Тимоѳея сажала картошку, также послѣдній пользовался временно, каждогодно готовясь къ тому, что общество отниметъ его у него, потому что на огородъ предъявляли права, кромѣ Тимоѳея, еще человѣкъ пять. Это была одна изъ тѣхъ деревенскихъ путаницъ, которыя никакъ

нельзя было разрѣшить и которыя только раздражали своею нелѣпостью.

И вотъ Тимоѳею, для заведенія настоящаго хозяйства, на первыхъ же порахъ требовались слѣдующія условія: во-первыхъ, чтобы умерла старуха; во-вторыхъ, чтобы умеръ солдатъ; въ-третьихъ, чтобы пять мужиковъ окончательно исчезли съ лица земли. Иначе въ самомъ дѣлѣ Тимоѳею нѣтъ охоты работать Богъ знаетъ для кого: онъ впередъ знаетъ, что плоды его работы того и гляди отнимутъ.

Это только на первыхъ порахъ. Но дальше—лѣсъ дремучій, сквозь который надо продраться, чтобы дойти до крестьянскаго благополучія. Такъ какъ каждая чепуха въ хозяйствѣ достается только послѣ длинной цѣпи мучительства, то Тимоѳею надо идти на-проломъ, ломая совѣсть. Ему уже тогда не будетъ времени обращать вниманія на сосѣдей, — надо хватать и цапать, что попадется подъ руки и что выгодно. Надо пользоваться всякимъ случаемъ, лишь бы онъ былъ выгоденъ, не размышляя о томъ, что отъ этого же случая, можетъ быть, кто-нибудь помираетъ. Надо ловить моментъ. Надо купить корову, ежели въ годъ безкормицы хозяинъ умоляетъ взять ее Христомъ Богомъ. Надо не упустить лошадь, хозяинъ которой уже твердо рѣшилъ содрать съ нея шкуру, чтобы получить три цѣлковыхъ и удовлетворить кредиторовъ, которые разрывали его на части. Надо уворовать за нѣсколько папушекъ табаку дрова изъ казеннаго лѣса, чтобы не замерзнуть а чтобы не остаться безъ хлѣба, надо поставить міру два ведра, опоить и тогда получить вмѣсто двухъ десятинъ четыре. Надо ласкаться къ разжившемуся сосѣду, чтобы въ трудное время не остаться безъ подмоги, и безъ вниманія относиться къ бѣдняку, отъ котораго пользы никакой нѣтъ. Словомъ, чтобы завоевать первыя необходимыя вещи для спокойной жизни, надо рвать, лгать, жить позвѣрски, поступать по-волчьи, держа во всякое мгновеніе на-готовѣ зубы и когти.

Только тому, кто ничего не дѣлаетъ, ни о чемъ не думаетъ и не заботится, предоставляя своей жизни идти какъ ей хочется, только Тимоѳею и жилось сносно при отсутствіи всякаго благополучія. При всякомъ непріятномъ случаѣ онъ говорилъ: „песъ съ вами!“ И теперь, когда даже Портянка носилъ въ себѣ скрытую идею воскресной выпивки, Тимоѳей

пилилъ бревна безъ всякой задней мысли. Вѣрнѣе всего онъ купитъ хлѣба. Отработаетъ, получитъ свою часть и купитъ хлѣба—вотъ и все. Единственное тайное намѣреніе его заключалось въ томъ, чтобы по полученіи денегъ отъ Рубашенкова какъ-нибудь скрыться на время отъ старосты.

У него было много кредиторовъ, но самый страшный—староста. Послѣдній, въ зимнія и весеннія тяжелыя минуты, вносилъ собственныя деньги въ уплату податей за несостоятельныхъ, налагая извѣстный процентъ, который и выручалъ ожесточенно. Тимоѳей также состоялъ въ долгу у этого благодѣтеля и зналъ, что наткнись онъ на него сейчасъ послѣ работы — и деньги поминай какъ звали! Но и на такое непріятное происшествіе Тимоѳей смотрѣлъ равнодушно. У него заранѣе придуманы мѣры укрывательства отъ благодѣтеля. Въ прошломъ году онъ спасался отъ него тѣмъ, что въ критическій моментъ, среди бѣлаго дня, ложился съ женой въ чуланъ и просилъ кого-нибудь изъ пріятелей-сосѣдей, напримѣръ, Чилигина, запереть дверь замкомъ снаружи. Пришелъ староста, посмотрѣлъ съ полнѣйшимъ изумленіемъ на замо̀къ, обошелъ кругомъ избы, взглянулъ въ окно, —нѣтъ Тимошки! Вышелъ на улицу, приложилъ руку козырькомъ, всматриваясь вдаль,—нѣтъ Тимошки! Посмотрѣвъ еще разъ на замо̀къ, староста заволновался, завертѣлся и прерывающимся голосомъ спросилъ у Чилигина, какъ бы случайно проходившаго мимо: „Гдѣ же это онъ?!“—„Ты про кого?“—возразилъ Чилигинъ.—„Про Тимошку... куда онъ провалился? Вѣдь я вотъ сейчасъ, можно сказать, за спиной шелъ у него и видѣлъ своими глазами, какъ вотъ теперь тебя вижу, какъ онъ къ себѣ повернулъ... а глядь—замо̀къ!“

— Да ты, можетъ, не Тимошкину спину-то видѣлъ, обознался? — нагло спросилъ Чилигинъ, послѣ чего староста ушелъ, пораженный случившимся на его глазахъ проваломъ. Тимоѳей продѣлалъ такую нехитрую штуку разъ пятнадцать, покуда, наконецъ, нашелъ возможность уплатить долгъ.

Нынче Тимоѳею лѣнь было залѣзать въ чуланъ, чтобы спастись отъ благодѣтеля, который, какъ извѣстно было Тимоѳею, глазъ съ него не спускалъ во все продолженіе пилки. Онъ рѣшилъ спастись иначе, помимо чулана. Онъ, лишь только получитъ съ Рубашенкова свою часть, проберется задами къ хлѣботорговцу и на всѣ наличныя купитъ хлѣба. Если

на задахъ, соображалъ Тимоѳей, попадется староста, онъ спрячется въ конопли и тамъ выждетъ. Староста, конечно, прибѣжитъ въ этотъ день и скажетъ:

— Ну, ужь, Тимоѳей, ты, братъ, теперь отдай, потому, знаю хорошо, деньги завелись у тебя.

— Чаво?—возразитъ Тимоѳей насколько возможно равнодушно.

— Вотъ тебѣ разъ,—онъ еще спрашиваетъ! Это даже очень безсовѣстно ты говоришь! Отдай долгъ—вотъ я про что.

— А! ты вотъ про что! Ну, такъ ужь извини, я хлѣба купилъ, все дочистà отдалъ за мѣшокъ.

— Какъ мѣшокъ?—закричитъ староста, какъ ужаленный.

— Такъ. Одно слово—хлѣбъ, больше ничего. А денегъ нѣтъ.

Сказавъ это, Тимоѳей посмотритъ на небо и по сторонамъ.

— Что же ты, идолъ, со мной хочешь дѣлать?—застонетъ староста.

— Не безпокойся, отдамъ. Забылъ я вчера совсѣмъ тебя...

— Ахъ, ты, идолъ!

— Право, забылъ. Да ты не очень огорчайся. Я скоро принесу, ей-Богу.

Послѣ такого объясненія они помирятся. Староста согласится подождать.

Придумавъ этотъ способъ спасенія, Тимоѳей пересталъ тревожиться насчетъ заработка. Онъ весело работалъ, шутилъ, забавляя товарищей по вечерамъ. Когда къ работамъ подходилъ Рубашенковъ, онъ и ухомъ не шевелилъ, въ то время, какъ другіе начинали торопливо работать. Тимоѳей даже разговаривалъ съ Рубашенковымъ, почтительно, но съ неизмѣнною веселостью. Онъ удивлялся, почему этого человѣка такъ пугались. Что онъ здòрово ругается—это наплевать! Что онъ разжился, разбогатѣлъ, ходитъ въ тонкомъ сукнѣ и куритъ папироску—это не важно. „Пускай хоть разнесетъ его съ жиру—шутъ съ нимъ!"—разсуждалъ съ своими товарищами Тимоѳей, не воображая, что скоро онъ будетъ имѣть дѣло съ Рубашенковымъ . . . .

. . . .

Впослѣдствіи, когда Тимоѳея спрашивали, какъ это онъ потерялъ голову, то онъ охотно отвѣчалъ: „черезъ колья!" При этомъ кратко разсказывалъ свою исторію.

— Черезъ эти колья я и пропалъ, — говорилъ онъ добродушно, безъ всякой злобы.

— Какъ же это черезъ колья?

— Одно слово, надо мнѣ было заборъ у себя, который отъ улицы, поставить, и я въ ту пору обратился прямо къ господину Рубашенкову, чтобы онъ далъ мнѣ маненько кольевъ. Онъ далъ. Вотъ черезъ эсти самые колья я и пропалъ, и теперь больше ничего, какъ низкій человѣкъ.

— Да неужели черезъ одни колья?

— Черезъ одни. Значитъ, судьба моя такая.

— Да ты разскажи путемъ,—просили его.

Но сколько ни пытались разспрашивать Тимоѳея дальше, онъ молчалъ. Испитое и одутлое лицо его только на мгновеніе освѣщалось тихою грустью, а вслѣдъ затѣмъ снова становилось безсмысленнымъ. Повидимому, онъ только и помнилъ одни колья, забывъ все остальное, происшедшее съ нимъ.

На самомъ дѣлѣ вотъ что произошло. Замѣтивъ большую кучу хвороста, слегъ и просто палокъ, очевидно, брошенныхъ управляющимъ, какъ негодное гнилье, Тимоѳею внезапно пришло въ голову попросить этой дряни для своей загородки у Рубашенкова, ближайшаго распорядителя. Пришло это ему въ голову случайно, безъ всякой связи съ какою-нибудь нуждой. Да и попросить вздумалъ онъ такъ, отъ нечего дѣлать, рѣшивъ, что если дастъ—ладно, не дастъ—наплевать, песъ съ нимъ! А если будетъ браниться, тогда ничего не стоитъ и уйти. Впрочемъ, Тимоѳей заранѣе былъ увѣренъ, что Рубашенковъ надругается и откажетъ въ просьбѣ. Кажется, чего проще—попросить нѣсколько никуда негоднаго дерева, а, между тѣмъ, Тимоѳей почувствовалъ какую-то смутную тревогу, когда рѣшилъ идти къ Рубашенкову.

И это понятно. Рубашенковъ до того быстро взобрался наверхъ изъ ничтожества, что не могъ не поражать разстроенное деревенское воображеніе. Изъ безъименнаго человѣка, подозрѣваемаго въ пробуравливаніи дыръ въ амбарахъ для выпусканія хлѣба, онъ сталъ нѣкотораго рода властителемъ, когда таракановская контора взяла его къ себѣ въ десятники и подрядчики. Еще недавно послѣдній крестьянинъ могъ бить его сколько угодно, если заставалъ у себя подъ амбаромъ, хотя до смерти его какъ-то не забили, оставивъ лишь

на ушахъ и еще кое-гдѣ нѣсколько знаковъ, но теперь онъ самъ могъ распоряжаться жизнью громадной кучи мужиковъ. Онъ сталъ силой, передъ которой пали ницъ жители пяти-шести деревень, сдѣлался господиномъ, владѣтельнымъ человѣкомъ. Ему въ глаза нагло и безстыдно льстили, издали снимали передъ нимъ шапки.

У него съ рабочими заведенъ былъ порядокъ: едва онъ показывался, какъ мужики, словно по командѣ, должны были снимать передъ нимъ шапки. Съ нанявшимся въ имѣніе человѣкомъ онъ обходился какъ съ крѣпостнымъ, безпрестанно придираясь и давая при случаѣ хорошіе подзатыльники. И отшлепанный никогда не жаловался, считая за Рубашенковымъ полное право бить, разъ ему удалось получить въ руки палку. Для всѣхъ безнаказанность Рубашенкова подтверждалась ежедневными фактами.

Рубашенковъ одѣвался въ тонкое сукно, въ скрипучіе сапоги, „при часахъ", тогда какъ раньше на его одеждѣ лежало нѣсколько десятковъ заплатъ. Рубашенковъ больше уже не ходилъ, а ѣздилъ. Крестьяне такъ и видѣли его въ двухъ видахъ: или стрѣлой пролеталъ по улицѣ, или стоялъ на работахъ „при часахъ", причемъ презрительно оглядывалъ своихъ людей. Все это поражало. Наконецъ, видѣли, что съ сильными міра сего онъ обращался за панибрата. На старосту, напримѣръ, онъ и глядѣть не хотѣлъ, какъ послѣдній ни юлилъ передъ нимъ. Съ неменьшимъ пренебреженіемъ онъ относился къ старшинѣ, когда въ волости писали условія съ рабочими, которыхъ законтрактовывала контора. Рубашенковъ то и дѣло покрикивалъ на старшину: „Пошевеливайся, другъ!"—и имѣлъ такой видъ, что онъ очень гнѣвается. Видѣли, что, идя по улицѣ съ урядникомъ, онъ громко хохоталъ, хлопая того по плечу. Это урядника!

Никто не могъ отдать себѣ яснаго отчета, почему онъ пугается Рубашенкова. Послѣдній никогда не обсчитывалъ сверхъ мѣры, расплачивался аккуратно. Просто было отчего-то боязно. Онъ поражалъ. Иногда давъ зуботычину, платилъ деньгами получившему ее. Но это было рѣдко. Всего чаще онъ пускалъ пыль въ глаза: сорилъ кучами денегъ, издѣвался, мучилъ словами и вездѣ держалъ себя нагло. Это была свинья, посаженная негодными обстоятельствами за столъ совсѣмъ съ ногами.

Дѣло было вечеромъ. Окончивъ пилку, Тимоѳей пошелъ въ сарай, гдѣ обыкновенно въ это время Рубашенковъ подводилъ счетъ. Наступали уже сумерки; тѣни легли по угламъ сарая, и Тимоѳей едва разглядѣлъ фигуру подрядчика.

— А я къ вашему степенству,—сказалъ беззаботно Тимоѳей, улыбаясь. — Изволите видѣть, примѣтилъ я вонъ тамъ хворостъ и палки, и думаю: дай-ка я пойду къ нимъ, то есть прямо къ вамъ, и попрошу—авось они дадутъ...

— Это еще что за новость?—насмѣшливо возразилъ Рубашенковъ.

— Мнѣ чуть-чуть только... Хворостъ, вижу, зря валяется. Дай, думаю, спрошу у его благородія, т.-е. у васъ.

— Какіе палки и хворостъ?

— Да вотъ они тамъ въ кучѣ. Есть хворостъ, чурбашки, жердочки, вонъ посмотрите... Я и думаю: дай, молъ, думаю, къ его высокоблагородію доложить...—Тимоѳей проговорилъ послѣднія слова робко, думая, не пересолилъ-ли онъ, называя подрядчика высокоблагородіемъ.

— Зачѣмъ же тебѣ такая вещь понадобилась?—спросилъ послѣдній.

— Да ужь мнѣ пригодились бы... Извольте знать, у меня, можно сказать, заплоту нѣтъ при домѣ. Признаться, не на что поставить его... Такъ вотъ я и подумалъ: дай-ка у нихъ спрошу... Мнѣ маненько, а для васъ безъ пользы.

Рубашенковъ все это слушалъ въ полъоборота Потомъ снова принялся считать на стѣнкахъ. Онъ былъ безграмотенъ, а потому бухгалтерію велъ на палкѣ, а чаще всего на досчатыхъ стѣнахъ сарая, царапалъ мѣломъ или углемъ длинные ряды какихъ-то знаковъ. Но онъ никогда не ошибался, кто сколько заработалъ. Тимоѳей уже думалъ, что дѣло его не выгорѣло, и собирался уходить, какъ былъ круто остановленъ.

— Подожди тамъ!—сказалъ Рубашенковъ.

Тимоѳей сталъ ждать. Онъ пока занялся оглядываніемъ сарая и замѣтилъ по всѣмъ угламъ массу бутылокъ. По серединѣ сарая стоялъ большой ящикъ, служившій, какъ будто, столомъ, потому что на немъ валялись объѣдки ветчины и огурцовъ; подлѣ этого ящика стоялъ другой, поменьше, замѣсто стула. Подъ ними также навалены были груды пустыхъ бутылокъ. „Должно быть, шибко пьетъ!“ —подумалъ Ти-

моѳей, а до него немногіе рабочіе знали, что Рубашенковъ ночи проводитъ на-пролетъ въ пьянствѣ.

Прошло много времени, прежде чѣмъ Рубашенковъ кончилъ счетъ.

— Такъ ты просишь дерева изъ той кучи? Хорошо, посмотримъ, умѣешь-ли ты заслужить... Вотъ я тебѣ такой урокъ задамъ: пробѣги до кабака и возьми для меня бутылку рому, и обернись сюда всего-на-всего въ десять минутъ. Ежели прибѣжишь во-время, тогда посмотримъ, стоитъ-ли такой бродяга снисхожденія... Ну?

Тимоѳей при этомъ неожиданномъ предложеніи задумался, хотя во весь ротъ улыбался, но подъ упорнымъ взглядомъ подрядчика рѣшился.

— Это я могу,—сказалъ онъ весело.

Рубашенковъ вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ и махнулъ рукой. Тимоѳей пустился что есть духу бѣжать, засучивъ предварительно штаны. До кабака было довольно далеко, но Тимофей все-таки во-время прилетѣлъ, тяжело дыша; отъ усталости у него даже глаза были вытаращены. Подрядчикъ не взглянулъ на него, взялъ бутылку, усѣлся возлѣ ящика и выпилъ разомъ объемистый стаканъ рому. Потомъ изъ-подъ сидѣнія вытащилъ бутылку сельтерской воды и всю ее опорожнилъ. Онъ барабанилъ отъ нечего дѣлать пальцами по столу. Ему, очевидно, было страшно скучно.

Во все это время Тимоѳей стоялъ у входа въ сарай и любопытными взорами наблюдалъ за Рубашенковымъ, думая, что послѣдній уже забылъ о его существованіи. Но тотъ, выпивъ еще стаканъ, тусклымъ взглядомъ оглядѣлъ его съ ногъ до головы.

— А, можетъ, и ты хочешь выпить?—насмѣшливо выговорилъ онъ.

— Ежели вашей милости угодно—отчего же...

— На̀, пей.

Тогда Тимоѳей, не подходя близко къ ящику, вытянулся и издалека взялъ стаканъ въ руки.

— Ухъ, какая крѣпость!—сказалъ онъ, задохнувщись отъ выпитаго стакана.

— Привыкли сивуху трескать, такъ это для васъ не по рылу!—презрительно замѣтилъ Рубашенковъ.

— Точно что не по рылу. По нашему карману, выпилъ

на двугривенный и сытъ. А какая, позвольте спросить, цѣна этому рому?

— Какъ бы ты думалъ?—спросилъ въ свою очередь Рубашенковъ.

— Да я такъ полагаю, не меньше какъ рупь...

Рубашенковъ захохоталъ.

— Пять цѣлковыхъ!

— Б-боже ты мой!—возразилъ Тимоѳей и покачалъ головой.

На лицѣ Рубашенкова отражалось самодовольство.

— А какъ бы ты думалъ, сколько по твоему разуму стоило всего-на-всего мое платье?—спросилъ Рубашенковъ.

— Все дочистà?

— Дочистà, съ головы до ногъ.

— Да какъ бы сказать... Надо думать, полсотни мало...

Рубашенковъ захохоталъ. Потомъ высчиталъ по пальцамъ: пара стоила сотню рублей, часы семьдесятъ, сапоги пятнадцать, картузъ семь, шейный платокъ четыре и т. д.

— Б-боже ты мой!—сказалъ Тимоѳей и покачалъ головой.

Нѣсколько минутъ помолчали. Въ сараѣ горѣлъ уже огонь, въ видѣ сальной свѣчки, воткнутой въ расщелину ящика. Мрачные углы освѣтились, но приняли какой-то зловѣщій видъ, наполненные разбитыми бутылками, пробками и объѣдками закусокъ. На стѣнахъ отъ колебанія пламени прыгали знаки Рубашенкова, нацарапанные мѣломъ и углемъ. Рубашенковъ молча пилъ. И чѣмъ больше онъ пилъ, тѣмъ видъ его дѣлался скучнѣе и наглѣе. Тимоѳеемъ, все стоявшимъ у входа, овладѣлъ смутный страхъ передъ этимъ пьянѣвшимъ человѣкомъ, хотя у него у самого шумѣло въ головѣ передъ этою мрачною обстановкой.

— Такъ какъ же, хочется тебѣ получить изъ энтой кучи?—спросилъ Рубашенковъ, обративъ помутившіеся глаза на Тимоѳея.

— Да, ужь дайте... Что для васъ составляетъ?...

— А очень хочется? Ну, чѣмъ же ты меня поблагодаришь?

— Я бы услужилъ... по гробъ жизни!

— Ты! Такой нищій пролетай! Ха, ха!... Какъ тебя звать?

— Тимоѳей.

— Значитъ, Тимошка, Тимка. Ладно. Такъ ты, Тимка, полагаешь, что по гробъ жизни?... А знаешь, кто ты передо мной? Вѣдь все одно червякъ? Ну, скажи, червякъ ты? Иначе прогоню.

— Точно что по нашему необразованію...—прошепталъ испуганно Тимоѳей.

— Нѣтъ, ты скажи прямо—червякъ?—зловѣще повторилъ Рубашенковъ.

— Оно, конечно...

— Молчать! Отвѣчай прямо—червякъ?

— Ну, червякъ...—дрожащимъ голосомъ, сквозь зубы проговорилъ Тимоѳей.

— Хорошо. Такъ вотъ эдакій червякъ, котораго ничего не составляетъ растоптать, вздумалъ услужить мнѣ? Эдакая вотъ козявка? Чисто что козявка. Вотъ хочу—дамъ тебѣ сору, который тебѣ понравился, а не захочу—прогоню. А захочу сейчасъ вотъ дать тебѣ плевокъ въ самую что называется образину—и плюну. Вотъ смотри.

— Нѣтъ, ужь позвольте, я на это согласія не имѣю!—торопливо залепеталъ Тимоѳей и пятился задомъ къ выходу.

Рубашенковъ захохоталъ.

— Не пугайся. Не плюну. На, вотъ, пей!—Рубашенковъ налилъ стаканъ и заставилъ Тимоѳея выпить.

Рубашенковъ разыгрался. Что-то отвратительное, какъ бредъ, происходило дальше. Прежде всего, Рубашенковъ сжегъ зачѣмъ-то передъ самымъ носомъ Тимоѳея одну ассигнацію, а другую швырнулъ въ Тимоѳея. Онъ требовалъ, чтобы послѣдній забавлялъ его. Просилъ сказать его какую-нибудь такую гнусность, отъ которой сдѣлалось бы стыдно. Тимоѳей сказалъ. Потомъ онъ заставилъ его представить, какъ можно прыгать на четверенькахъ. Тимоѳей принялся прыгать, бѣгая на рукахъ и ногахъ по сараю, и лаялъ по-собачьи. Онъ самъ вошелъ во вкусъ. Прыгая по полу и лая, онъ затѣмъ уже отъ себя, безъ всякой просьбы со стороны Рубашенкова, представлялъ свинью, хрюкалъ, показывая множество другихъ штукъ. Но когда онъ обнаружилъ неистощимый запасъ разныхъ штукъ, принимая на себя всевозможныя роли, Рубашенковъ мало-по-малу пьянѣлъ; у

него уже слипались глаза; онъ уже неподвижно сидѣлъ и не видѣлъ ничего изъ того, что представлялъ Тимоѳей.

Наконецъ, когда послѣдній хотѣлъ-было кричать по-заячьи, Рубашенковъ какъ будто проснулся и дико посмотрѣлъ вокругъ.

— Будетъ!—закричалъ онъ.—Пошелъ съ глазъ моихъ, и чтобы духу твоего здѣсь не было. Бери изъ той кучи—заслужилъ, но чтобы духу твоего мерзкаго не было... надоѣлъ ты мнѣ хуже всякой скотины!

Тимоѳей бросился со всѣхъ ногъ. Выйдя на свѣжій воздухъ, онъ сразу очувствовался, пригладилъ взъерошенные волосы и остановился задумчиво на мѣстѣ, какъ бы припоминая, что такое съ нимъ случилось? Было уже около полуночи, когда онъ прошелъ мимо мѣста работъ. Но не зашелъ туда. На окликъ товарищей не откликнулся. Потомъ услыхали вдали его сильный голосъ, дрожа разливавшійся въ ночномъ воздухѣ правильными волнами звуковъ. Онъ пѣлъ. Въ пѣснѣ, неизвѣстно какой, слышалась необычайная грусть и печаль. Оставшіеся товарищи прислушивались, тихо разговаривая другъ съ другомъ, а наконецъ совсѣмъ затихли. Пѣсня все разливалась волнами, напоминая смутно каждому изъ нихъ что-то хорошее, чего въ ихъ жизни нѣтъ и не бываетъ... Двое изъ товарищей приподняли головы изъ-подъ зипуновъ, забыли сонъ и всматривались въ ту сторону, откуда шли волны хватающихъ за сердце звуковъ, пока они не замерли въ отдаленіи.

— Хорошо, шельма, поетъ!—сказалъ со вздохомъ Миронъ.

— Заплачь, и больше ничего,—добавилъ Чилигинъ.

Тимоѳей, между тѣмъ, на другой день, когда совсѣмъ окончились работы въ имѣніи, сталъ копошиться около дома. Все почти вышло такъ, какъ онъ заранѣе предвидѣлъ. Онъ прошелъ задами чрезъ конопли и купилъ хлѣба. Вслѣдъ затѣмъ пришелъ староста, причемъ произошелъ тотъ самый разговоръ, который раньше онъ придумалъ. Впрочемъ, онъ далъ старостѣ рубль, полученный вчера отъ Рубашенкова. Продѣлавъ все это, онъ вяло принялся строить заборъ, лѣсъ на который привезъ на Мироновой лошади, изъ той кучи, ради которой вчера пошелъ...

Все, повидимому, шло ладно. Онъ удачно воткнулъ два

кола, долженствовавшіе изображать воротные столбы, и уже принялся отбирать хворостъ, но, кончивъ почти уже всю работу, упалъ духомъ, лишился силъ и разсердился. Его все раздражало и все казалось не такъ. Хворостъ отвратительно торчалъ, колья смотрѣли врозь, ворота оказались узки. „Не глядѣлъ бы на эдакую пакость!"—сказалъ онъ и совершенно озлился. Топоръ изъ его рукъ полетѣлъ на одинъ конецъ двора, колотушка, которою онъ вбивалъ колья, —на другой. Такъ у него засосало подъ сердцемъ, что не было больше силъ терпѣть.

Вопреки прежнимъ своимъ привычкамъ, онъ отправился въ кабакъ одинъ, безъ жены, да еще нанесъ ей ущербъ. Прокравшись къ сундуку, онъ вытащилъ оттуда ея платье и, прижавъ его къ груди, ринулся вдоль улицы къ кабаку. Жена за нимъ. Она бѣжала съ ревомъ, то умоляя, то требуя, чтобы онъ отдалъ ей платье. Тимоѳей летѣлъ, какъ стрѣла, и, добѣжавъ до убѣжища, захлопнулъ за собой дверь и заложилъ вещь. Пока жена ломилась въ окна и двери, онъ пилъ. Черезъ какіе-нибудь полчаса онъ былъ уже готовъ.

А еще черезъ полчаса около дома Тимоѳея собралась вся улица. Сбѣжавшіеся сосѣди и жена его составляли какъ бы публику въ театрѣ, а Тимоѳей одинъ какъ бы давалъ драматическое представленіе. Къ нему никто не смѣлъ подойти. Жена также вдалекѣ стояла отъ дома и тихо всхлипывала. Изъ публики спрашивали: „Тимошка, что ты, дуралей, дѣлаешь?" А онъ отвѣчалъ: „Уничтожаю!" Смотрѣли, что еще онъ разобьетъ.

До сихъ поръ онъ разнесъ въ щепки свой новый заборъ, съ какою-то дикою радостью уничтожая его. Онъ разрушалъ систематически, разрубилъ его топоромъ на нѣсколько частей и каждую часть своимъ чередомъ превратилъ въ соръ, палки ломалъ на колѣнѣ, хворостъ свалилъ въ яму. Точно тѣмъ же путемъ снесъ онъ ворота, перерубилъ ихъ, расчесалъ и свалилъ въ яму. Нѣкоторое время онъ стоялъ посреди двора, какъ бы въ раздумьи, недоумѣвая, что̀ бы еще уничтожить, но когда нѣсколько человѣкъ вздумали, по просьбѣ жены, воспользоваться этимъ моментомъ, чтобы схватить его, онъ опомнился и бросился къ избѣ.

— Тимоѳей, Тимоша! Что ты, братъ, затѣялъ?—говорили изъ публики, дѣлавшейся все многочисленнѣе.

— Я вамъ покажу, какой я есть червякъ!—отвѣтилъ Тимоѳей.

И съ этими словами расколотилъ въ дребезги стекла въ окнѣ, вынулъ раму и, превративъ все въ соръ, спустилъ его въ яму. Когда на мѣстѣ окна осталась только зіяющая дыра, онъ превратилъ въ песокъ и соръ стекла и раму другого окна, сваливъ все въ яму. За вторымъ послѣдовало третье и послѣднее окно. Отъ всѣхъ этихъ тяжкихъ трудовъ на рукахъ его показалась кровь, одежда во многихъ мѣстахъ разорвалась и висѣла клочьями. Но онъ этимъ не смущался. Покончивъ съ окнами, онъ напалъ на дверь, стараясь безъ слѣда уничтожить ее.

Но, сорвавъ ее съ петлей, онъ долго не могъ расколоть крѣпко сплоченныя доски. Тогда имъ овладѣла страшная энергія; топоръ въ его рукахъ свистѣлъ отъ быстроты. Черезъ короткое время отъ двери не осталось и слѣда: всю искрошилъ. „Безъ остатка уничтожу",—какъ бы про себя говорилъ онъ и бросился лѣзть съ ловкостью кошки на крышу, должно быть, съ намѣреніемъ разрушать свой домъ сверху. Но нѣкоторымъ изъ публики удалось отвлечь его отъ этого намѣренія тѣмъ, что они схватили его на ноги и стащили на полъ. Однако, захватить его не удалось. Онъ стоялъ возлѣ стѣны и отбивался отъ нападающихъ чѣмъ попало. Побѣжали за старостой, который, впрочемъ, скоро и самъ явился.

— Ты что это дѣлаешь?—закричалъ было сначала онъ.

Но въ отвѣтъ на это Тимоѳей пустилъ въ него огромнымъ комомъ глины, послѣ чего староста проговорилъ:

— Тима! за что ты осерчалъ? Ты не серчай!

Тимоѳей сталъ рубить косяки двери, но тутъ его удалось схватить. Тогда его повалили, скрутили веревкой и заперли въ чуланъ, откуда долго еще слышались крики и плачъ. Собравшаяся толпа медленно и съ неохотой расходилась, обсуждая этотъ деревенскій случай и недоумѣвая, что такое сдѣлалось съ смирнымъ мужичкомъ?

Съ этого дня Тимоѳей безпросыпно запилъ. Вещишки, какія только были въ его беззаботномъ хозяйствѣ, онъ спустилъ. Жена отъ него ушла. Иногда онъ и самъ пропадалъ изъ деревни на нѣсколько мѣсяцевъ, но, возвратившись, пилъ, а напившись, обнаруживалъ страсть „уничтожать". Попада-

[illegible] ему [illegible] давали — онъ дробилъ ее на мелкіе куски, вообще разрушалъ все, что попадалось ему подъ руку. За это его [illegible] били. Но въ періодъ трезвости онъ былъ скроменъ и послушенъ, и когда его спрашивали, почему онъ загубилъ свою [illegible], онъ говорилъ:

Черезъ [illegible] самые [illegible]. Изволите видѣть, низкій че[illegible] [illegible]

И на его припухшемъ лицѣ показывалась грусть, но не [illegible]

V.

Солома.

Какъ-то въ серединѣ зимы по деревнѣ разнесся смутный слухъ, будто сельскій староста своровалъ. Явились и нѣкоторыя доказательства. Староста построилъ домъ изъ толстыхъ бревенъ, купилъ гладкаго мерина, завелъ плисовую жилетку и сталъ водить компанію съ туземною знатью. Дѣло, очевидно, было не ладно. Но дойти до причины необыкновенныхъ явленій (гладкаго мерина, толстыхъ бревенъ и плисовой жилетки) никто не думалъ. Слухъ ходилъ по деревнѣ, переносимый бабами, но отъ мужчинъ всюду встрѣчалъ убійственное равнодушіе.

Общественная жизнь въ деревнѣ равнялась нулю. Какъ будто совсѣмъ не было ни дѣла, ни интересовъ общественныхъ. Жители отбывали повинности, иногда скопомъ собирались по приказу рѣшать дѣла, но своихъ мыслей не имѣли и никакихъ собственныхъ дѣлъ не знали. Изрѣдка крестьяне собирались, чтобы спить съ какого-нибудь провинившагося человѣка. Въ этомъ случаѣ, по возможности, всѣ являлись, получали свою порцію и, выпивъ, уходили прочь.

Между тѣмъ, въ деревнѣ то и дѣло происходили случаи, имѣвшіе, повидимому, общественный характеръ. По большей части это были „шкандалы". Много въ деревнѣ „шкандаловъ", и еще недавно случилось такое происшествіе.

Есть въ деревнѣ старуха Лапа, дожившая до такой старости, что перестала помнить свои лѣта. Дома у ней нѣтъ; родственники перемерли; работать она не въ силахъ: руки не дѣйствуютъ. Когда она увидала, что руки ея безсильны за-

работать кусокъ, то сильно озлилась. Вообще презлая стала бабка. Въ деревнѣ моталась порядочная куча такихъ бездомныхъ птицъ, но Лапа изо всѣхъ выдѣлялась. Въ то время, какъ тѣ жалобно напѣвали на обычный мотивъ, она требовала себѣ кусокъ и, притомъ, со злостью. Записною нищей она не считаетъ себя, никогда не ходитъ съ мѣшкомъ и не ноетъ. Войдя въ избу, она грозно спрашиваетъ: „Есть, что-ли, кусокъ лишній?"—и смотритъ на хозяйку или на хозяина со злостью. Получивъ кусокъ, она злобно благодаритъ и больше въ этотъ день уже никуда не явится. Ночуетъ она по очереди. Приходитъ въ намѣченный ею домъ и безъ спросу залѣзаетъ на печь въ уголъ. Если кто изъ хозяевъ вздумаетъ ее потревожить, она огрызается. „Вѣдьма!"—говорили про нее. Но она считаетъ своимъ прирожденнымъ правомъ ѣсть и обладать печью. Это она постоянно высказывала при всѣхъ возможныхъ случаяхъ, грозно требуя себѣ у міра мѣста избы, мазанки, бани, вообще какого-нибудь жилья. Но міръ отказывалъ. „Вотъ опять идетъ Лапа",—говорилъ кто-нибудь на сходкѣ, завидя бабку.

— Ты опять пришла лаяться, кочерга?—спрашивали ее.

— Опять. Помяните мое слово: ежели не будетъ у меня мѣста, спалю я васъ!—начинала свою просьбу старуха.

— Ахъ, ты, вѣдьма! Развѣ можно говорить такія слова? За такія слова, знаешь-ли, тебя можно куда спровадить?

Но никто не хотѣлъ придавать значенія сумасшедшимъ угрозамъ полоумной Лапы. Между тѣмъ, Лапа говорила въ „сурьезъ", и когда ей надоѣло ходить по очереди ночевать, она взяла да спалила нѣсколько дворовъ, что весьма удивило жителей. Разъ одна хозяйка поручила ей вынести горячую золу изъ избы, а Лапа бросила золу къ плетню и ушла со двора, грозно оглянувъ деревню. Къ вечеру показался возлѣ забора дымокъ, тонкою струйкой поднимаясь вверхъ; потомъ по двору поползли густые клубы; наконецъ, сквозь черную тучу смрада прорвался чудовищный языкъ огня, и не успѣли жители оглянуться, какъ онъ слизнулъ два дома, одни задворки и нѣсколько хлѣвовъ. Едва потушили.

Всѣ знали, что это Лапа подпалила, но только удивлялись злости ея, не зная, что съ нею дѣлать.

— Что же намъ съ ней дѣлать? Эдакая, прости Господи,

чертовка навязалась! Вѣдь уродится же такой идолъ!—говорили одни черезъ нѣсколько днѣй послѣ пожара.

— Никакъ не можетъ помереть, кочерга,—говорили другіе.—Хоть бы поскорѣй померла! Ну, какъ намъ теперь съ ней поступить?

Но никому не хотѣлось подумать, какъ поступить съ Лапой. Рѣшили: „Песъ съ ней! Неужто-жь ее судить? Шутъ ее возьми!“—и забыли. На мѣстѣ пожара долго валялись головешки, торчали обгорѣлые столбы, зіяли какія-то ямы. Когда незнакомый, видя это мѣсто, спрашивалъ объясненія пожара, ему отвѣчали:

— Старуха тутъ одна есть... Такая вѣдьма, не приведи Богъ! Она спалила.

— Какъ спалила?

— Взяла да спалила.

— И ничего ей за это не было?

— Чего же ей? Спалила—и права. Что съ нея, съ оглашенной, взыщешь? Песъ съ ней! А, между прочимъ, никакъ скоро помретъ... Ну ее!...

Вотъ такимъ же образомъ затихъ и слухъ о старостѣ.

Только нѣсколько человѣкъ между разговоромъ вспомнили объ этомъ. Встрѣтили на улицѣ Ивана Иваныча Чихаева и задержали его. Спросили, какъ онъ поживаетъ, что подѣлываетъ, отчего его давно нигдѣ не видать. Иванъ тревожно посматривалъ по сторонамъ съ видимымъ желаніемъ убѣжать отъ назойливаго общества. Къ этому времени онъ уже сильно перемѣнился. Жилъ скромно; ходилъ крадучись; сидѣлъ больше дома, а встрѣчаясь съ людьми внѣ своего дома, глядѣлъ одичало. Догадывались, что съ нимъ что-то случилось, но ничего подлиннаго никто не зналъ.

Чихаевъ и на этотъ разъ озирался по сторонамъ и отмалчивался. Но онъ, къ нечастію, былъ учетчикомъ старосты въ прошломъ году и долженъ былъ знать, вѣренъ-ли слухъ. Мужики пристали къ нему. Сначала разсказали ему бабью болтовню, привели видимыя доказательства и пожелали узнать его мнѣніе.

— Ты въ ту пору учитывалъ... ничего не замѣчалъ эдакаго?

— Ничего.

— Не примѣтно тебѣ было, чтобы онъ рыбачилъ изъ мірской казны?

— Кто его знаетъ? Не видать что-то было...

— А какъ же меринъ?

— Надо думать, купилъ онъ его.

— А домъ? А жилетка? Какъ это разсудить? Почему?

— Да что вы пристали ко мнѣ? Не знаю я—вотъ и все! Меринъ-ли, нѣтъ-ли, что мнѣ за дѣло?... Вотъ пристали! Пойду лучше домой...

И, говоря это, Иванъ Чихаевъ скрылся къ себѣ въ избу, радуясь, что отдѣлался отъ пустого разговора. Ему гораздо пріятнѣе сидѣть въ своей избѣ и ничего не знать. На улицѣ въ эту минуту поднялся вѣтеръ. Снѣгъ, до сихъ поръ медленно падавшій, завертѣлся, закружился, загустѣлъ. Небо потемнѣло, вѣтеръ свисталъ. Ворота мрачно скрипѣли, ставни хлопали. Въ избѣ чувствовалось, что буранъ рвался во всѣ щели въ окнахъ, ища щелей въ стѣнахъ. Вся избенка дрожала, какъ бы окруженная съ четырехъ сторонъ врагами, которые уже рѣшили взять ее приступомъ, разрушить и разметать по щепкамъ. Но Ивану Чихаеву было хорошо; на душѣ у него сдѣлалось радостно. Буранъ не могъ донять его; въ избѣ тепло; жилой, влажный духъ густо стоялъ въ комнатѣ; незачѣмъ было залѣзать и на печку, какъ сдѣлалъ бы какой-нибудь бѣднякъ, который теперь мерзъ, стучалъ зубами и мечталъ о дровахъ. У Чихаева были дрова. Онъ радостно смотрѣлъ, какъ занимались его домашніе каждый своимъ дѣломъ. Это напоминало ему о топорищѣ, которое надо было придѣлать къ топору, и онъ взялся скоблить дерево. Во время работы онъ сопѣлъ, посвистывалъ или мурлыкалъ, какъ котъ.

Издалека, не ясно послышался звонъ церковнаго колокола. Это звонили на случай замерзанія среди открытаго поля. Этимъ звономъ деревня какъ бы говорила: „Мнѣ студено, я замерзаю!“ Кто-то изъ семейныхъ замѣтилъ, что сегодня непремѣнно кто-нибудь замерзнетъ.

— А мы не замерзнемъ!—возразилъ Иванъ съ радостью и погрузился въ топорище. Онъ не слыхалъ ни свирѣпаго воя за избой, ни церковнаго звона и оставался равнодушнымъ, спокойнымъ и безучастнымъ.

А давно-ли было время, когда Иванъ самъ ежеминутно

чувствовалъ, что погибаетъ, и постоянно приготовлялся умереть нехристіанскою смертью? Тогда судьба его была общая со всѣми жителями деревни. Главная, господствующая черта жизни жителей — это вѣчное безпокойство, нервность и удивительная неустойчивость во всемъ. Въ деревнѣ, несмотря на ея наружную тишину, кипѣла и варилась каша, въ которой одни тонули, другіе всплывали внезапно на верхъ. У однихъ вырывались восклицанія радости, у другихъ —крики о спасеніи. Одни жители куда-то бѣжали, другіе барахтались дома, ухватившись за какое-нибудь дѣло, всегда почти безнадежное. Нервы у всѣхъ напряжены до послѣдней степени. Сердце стучитъ неестественно-скоро и бьетъ постоянную тревогу. Никому нѣтъ времени ни одуматься, ни устроиться. Никто не живетъ тою правильною, законною жизнью, которую требуетъ земля и связанныя съ ней сельскія работы. Трудъ, сопряженный съ мучительствомъ, сталъ невозможенъ. На его мѣстѣ явился на деревенской улицѣ „моментъ", который и ловятъ. Не всѣмъ, конечно, попадаетъ удача. Громадное большинство только разѣваетъ ротъ, но ухватить ничего не можетъ. И только на долю ничтожнаго меньшинства достается добыча.

Послѣдніе переживаютъ въ самое короткое время страшные перевороты. Иванъ Чихаевъ, принадлежащій къ этому разряду жителей, и на себѣ испыталъ всю превратность судьбы. Сперва онъ палъ, потомъ возвысился, потомъ опять стремглавъ полетѣлъ внизъ, откуда снова выбрался значительно поврежденнымъ. Все это съ нимъ стряслось въ теченіе двухъ зимъ, изъ которыхъ на долю послѣдней, описываемой здѣсь, выпало самое большое количество внезапностей. Отъ этого онъ нѣсколько тронулся въ умѣ и въ сердцѣ, но это ничего не значитъ, потому что и всѣ окружающіе его жители были болѣе или менѣе тронуты. Онъ выглядѣлъ то равнодушнымъ, почти преступно равнодушнымъ, то безпокойнымъ и мечущимся.

Недавно еще онъ былъ, подобно своимъ односельцамъ, глубоко несчастнымъ. Подобно имъ, онъ сражался за полученіе гроша съ тягостными случайностями. Такъ же, какъ и они, кидался во всевозможныя стороны, хватая возможность еще хоть немножко продлить свое существованіе. Какъ и всѣ, угорѣлъ въ этомъ чаду и, подобно прочимъ, готовъ былъ

совершать негодяйскія дѣла, пользуясь несчастіемъ своего же брата. Однимъ словомъ, палъ на самое дно несчастій, которыя всѣ сводились къ слову: жрать.

Прошлою зимой онъ, къ своему несчастію, купилъ корову. Соблазнился дешевизной скота, отдававшагося, вслѣдствіе безкормицы, даромъ, но корова, въ концѣ-концовъ, съѣла его. Корму онъ потратилъ на нее много, а она сдохла, и послѣднія денежки, убитыя имъ на нее, лопнули. Слѣдствіемъ этого было нѣсколько съ его стороны поступковъ, кончившихся жалкими приключеніями. У него вышли всѣ дрова. Онъ поѣхалъ въ таракановскій лѣсъ на лошади ночью. Но полѣсовщикъ поймалъ его. Иванъ умолялъ, плакалъ, чтобы пустили его, помиловали, но сторожъ неумолимо велъ его въ контору, гдѣ отъ него отобрали дровишки, топоръ, лошадь и шапку. А если онъ желаетъ выкупить взятыя у него вещи, пусть привезетъ штрафъ. Иванъ предлагалъ убить его, но только, чтобы возвратили ему шапку и лошадь, но контора сочла это предложеніе неудобнымъ. Тогда Иванъ взялся за оглобли пустыхъ дровней и повезъ ихъ домой, гдѣ нѣсколько дней велъ себя какъ умалишенный. Это состояніе продолжалось до тѣхъ поръ, пока за убійственные проценты онъ не нашелъ денегъ для выкупа шапки, топора и лошади.

Бросаясь изъ одной крайности въ другую, Иванъ Чихаевъ въ ту же зиму пустился верстъ за сто, заслышавъ о какой-то работѣ. Прожилъ тамъ мѣсяцъ, но, возвращаясь домой, имѣлъ въ карманѣ всего рубль. Дорогой застигъ его такой же буранъ, какой описанъ выше, но въ тотъ несчастный день онъ не могъ благодушно радоваться теплу. Онъ шелъ пѣшкомъ. Отъ ближайшей деревни было, по крайней мѣрѣ, верстъ пять, но въ волнахъ крутившагося снѣга нельзя было опредѣлить, куда и сколько идти до ближайшаго жилья. Одеженка его трепанная, драная. Онъ сталъ замерзать. Спасся только тѣмъ, что закопался въ снѣгъ и переждалъ непогоду. Однако, этотъ день стоилъ ему ушей, которыя были отморожены.

Много въ этотъ годъ вынесъ онъ крайнихъ несчастій. Всѣ они мелки и жалки, но тѣмъ хуже было для Ивана. Нѣтъ безчеловѣчнѣе обстоятельствъ, при которыхъ изъ-за воза прутьевъ или изъ-за рубля погибаетъ христіанская душа.

Дѣло въ томъ, что крайности, на которыя пускался Иванъ,

были въ нѣкоторыхъ случаяхъ двусмысленны. Большого негодяйства онъ не могъ совершить по неимѣнію средствъ, но мелкія и обыкновенныя дѣлалъ. Плохо ему жилось. Въ этомъ отношеніи онъ не отличался отъ прочихъ жителей. Въ деревнѣ его житье не выдавалось какими-нибудь особенностями. Кособокая изба, нелѣпыя постройки усадьбы, пустота на дворѣ, жалкіе предметы — рѣшительно все такъ, какъ у людей. Одно было отличіе: издалека еще виднѣлся какой-то стогъ, возвышающійся по серединѣ самой деревни. Стогъ этотъ стоялъ на дворѣ у Чихаева. Это была просто огромная куча соломы. Неизвѣстно, какъ Чихаеву удалось накопить столько богатства, въ то время, какъ у другихъ скотъ всю зиму ѣлъ крыши.

Солома и была причиной его благополучія. Въ ту самую минуту, когда Чихаевъ уже былъ близокъ къ концу своего земного существованія, кто-то изъ сосѣдей пришелъ къ нему за соломой, заклиная Христомъ Богомъ одолжить ему хоть полвоза этого корма до слѣдующаго лѣта. Иванъ одолжилъ. Но вслѣдъ затѣмъ ему пришла блистательная мысль: воспользоваться соломой для поправленія своихъ отчаянныхъ дѣлъ. Придумано и рѣшено. Чихаевъ проникся неописанною радостью.

Положеніе его, какъ собственника соломы, было великолѣпное. Безкормица давала себя знать. Истощенный скотъ падалъ. Появились особенныя болѣзни, еще быстрѣе уничтожавшія коровъ и лошадей. Послѣднія просто стали таять. Каждый день кто-нибудь изъ деревни везъ за околицу мертвое животное, сваливалъ днемъ въ общую яму, а ночью сдиралъ съ нея шкуру; ежедневно на какомъ-нибудь дворѣ слышался женскій плачъ, — это жена хозяина жалѣла павшую скотину. Не было такого отчаянія, когда мерли ребята. Въ это самое время общей печали Иванъ Чихаевъ праздновалъ свое возрожденіе.

Имъ было объявлено по деревнѣ, что у него есть продажная солома. Многіе обрадовались и повалили покупать. Первые появившіеся хотѣли перехватить какъ можно больше корму, надѣясь получить, по крайней мѣрѣ, по возу, но Чихаевъ заломилъ такую цѣну, что самъ испугался, не вѣря своимъ словамъ. Однакожъ, когда нѣкоторые требуемую имъ цѣну дали, онъ повѣрилъ. Хотя больше никто уже не думалъ

торговать у него возомъ, но тѣмъ лучше: онъ раздавалъ по мелочамъ. Кто бралъ вязанку, кто охапку, но за все хозяинъ получалъ чистыя деньги. Онъ нещадно дралъ. Первыя зазвенѣвшія въ его рукахъ деньги обозлили его. Такая въ немъ развилась жадность и подозрительность, что многіе не узнавали въ немъ прежняго смирнаго мужика. Если пришедшій за соломой просилъ подождать деньги, Иванъ гналъ его со двора. Въ долгъ онъ не вѣрилъ. У многихъ, не обладавшихъ необходимою платой, но желавшихъ все-таки взять корму, онъ бралъ въ залогъ полушубки и сапоги; кажется, онъ готовъ былъ принимать въ закладъ человѣческія головы,—до такой степени остервенился отъ запаха денегъ.

Ночью онъ, не взирая на лютость мороза, спалъ на своей драгоцѣнной соломѣ и караулилъ ее. Вообще онъ жилъ въ какомъ-то бреду.

Да и большинство въ деревнѣ находилось въ горячкѣ. Многіе буквально бредили соломой. Несчастную деревню охватилъ какой-то соломенный ажіотажъ. Вопросъ: „есть солома?“—сдѣлался жгучимъ. Успѣвшій купить у Ивана Чихаева вязанку или полвоза корма, считалъ себя счастливымъ, не успѣвшій — впадалъ въ глубокое уныніе. Чихаеву платили сумасшедшія деньги или дѣлали у него не менѣе сумасшедшія обязательства.

Однако, всему бываетъ конецъ. Конецъ соломеннаго бреда настал какъ-то самъ собой въ исходѣ зимы. Скотина наполовину пропала. Всѣ какъ-то вдругъ увидали чрезвычайную свою глупость. Повидимому, каждый сознавалъ, что не стоило такъ волноваться, а тѣмъ болѣе платить Чихаеву чистыя денежки. Тогда принялись нещадно ругать Ивана. Страшная противъ него поднялась злоба. Никто больше не шелъ къ нему во дворъ. Послѣдніе посѣтители пришли къ нему уже не затѣмъ, чтобы взять корму, а привели самый скотъ.

Къ веснѣ, впрочемъ, большинство забыло живодерство Ивана Чихаева, явились другія дѣла, а вмѣстѣ съ ними и другія лихорадки и горячки. Иванъ канулъ въ пропасть равнодушія. И самъ онъ успокоился и имѣлъ болѣе благоразумный видъ. Заработанными деньгами онъ оправился, расплатился съ долгами, ожилъ. Правда, за уплатой всѣхъ долговъ, въ его рукахъ не осталось ничего, но за то онъ чувствовалъ, что больше его никто не преслѣдуетъ и не тянетъ его

за душу,—огромное преимущество, которымъ многіе въ деревнѣ не пользовались.

Кромѣ того, у него на дворѣ остались четыре лошади. Двѣ совсѣмъ проданы были ему, конечно, за ничто, двѣ другія были отданы ему на прокормъ, съ обязательствомъ большой платы. Но Иванъ желалъ, чтобы онѣ совсѣмъ остались въ его рукахъ, чтобы хозяева ихъ куда-нибудь провалились, померли. Съ однимъ такъ и случилось: онъ бѣжалъ весной изъ деревни, бросилъ домъ, пашню, семью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и лошадь. Только Миронова лошадь еще находилась въ неопредѣленномъ положеніи. Но такъ какъ у Мирона нечѣмъ было заплатить за потравленную солому, то Иванъ оставилъ и ее за собой.

Не было ни минуты, когда бы онъ созналъ, имѣетъ-ли онъ право отнимать чужихъ лошадей? Въ распутицу онъ повелъ ихъ продавать въ городъ. Лошаденки были дрянныя; у каждой брюхо волочилось по землѣ; шерсть торчала, какъ у свиней. Иванъ сомнѣвался, чтобы ему удалось сбыть съ рукъ такихъ скотовъ. Но была весна, подходило рабочее время.

Велико было его изумленіе, когда заморенныя животныя быстро были скуплены у него. Онъ своимъ глазамъ не вѣрилъ. Онъ не могъ опомниться до тѣхъ поръ, пока не выѣхалъ за городъ. Полученная сумма была до такой степени въ его жизни необычно огромна, что точное ея значеніе онъ долго не могъ себѣ представить. Вынулъ бумажки на ладонь, посмотрѣлъ и покачалъ головой. Засунулъ въ карманъ. Но черезъ нѣкоторое время снова вынулъ и пересчиталъ. Вслѣдъ затѣмъ онъ обомлѣлъ, чувствуя, что умретъ отъ восторга.

Его даже обуялъ страхъ. Куда ему спрятать капиталъ? Вынувъ его въ послѣдній разъ, онъ судорожно зажалъ его въ горсти. Страшась, что обронитъ его нечаянно, онъ первымъ дѣломъ засунулъ его за пазуху. Однако, это мѣсто показалось ему опаснымъ, и онъ попробовалъ разуться и положить деньги на дно сапога. Но, пройдя съ полверсты, ему пришло въ голову, что такимъ образомъ онъ можетъ истереть бумажки въ порошокъ. Тогда онъ снялъ сапоги и опять запихалъ бумажки за пазуху.

Онъ не былъ скареденъ. Дома онъ сейчасъ же разсказалъ всѣмъ домашнимъ, какую Богъ ему послалъ радость. И что-

бы отпраздновать благополучное окончаніе своего путешествія, купилъ баранью ногу, накормилъ семью и самъ наѣлся.

Этимъ кончилась прошлая зима. Лѣтомъ событій съ Иваномъ, къ его счастью, никакихъ не случилось. Онъ долго приходилъ въ себя, размышлялъ, обдумывая, что̀ съ нимъ произошло. Лѣтнія работы у него шли вяло. Урожай, по обыкновенію, „оставлялъ желать бо̀льшаго", но Иванъ не метался, мало огорчаясь. Онъ былъ очень задумчивъ и тихъ. Кажется, онъ ничего не слыхалъ изъ того, что происходило на селѣ—ни жалобъ, ни криковъ, раздававшихся по случаю неурожая. Едва-ли онъ даже село-то самое видѣлъ, — такъ онъ притихъ и задумался.

Незамѣтно для него прошла и осень. Во всей деревнѣ, между тѣмъ, происходило движеніе. Явился „недостатокъ въ продовольствіи". Причина та, что рожь сожралъ червь. Это былъ не „кузька",—кузька царилъ въ другихъ мѣстахъ, а въ этой деревнѣ жилъ „савка",—червь, исключительно поѣдающій рожь. Но это все равно. Многія хозяйства отъ нашествія савки лопнули. Домохозяева скрылись изъ деревни для отыскиванія продовольствія. Пріѣзжалъ чиновникъ. Разспросивъ о неурожаѣ и узнавъ о савкѣ, онъ отъ всей души пожалѣлъ. Какъ-то невольно онъ произнесъ слова, которыя потомъ переходили изъ устъ въ уста по всей губерніи... „Что за несчастный народъ! Нападаетъ червь, какой-то савка, и цѣлыя деревни пропадаютъ. Я не знаю, что это такое... Еслибы, кажется, вошь напала, и тогда массы народу погибли бы"...

Ко всему прочему, съ первыхъ же дней зимы наступили морозы, перемежающіеся буранами. Ни пищи, ни дровъ, ни работы,—таково было положеніе большинства жителей. Спасались кто какъ могъ. Въ селѣ настала тишина.

Но, вѣроятно, никто не жилъ въ такой тишинѣ, какъ Иванъ Чихаевъ. Рѣдко кому удавалось его видѣть. Повидимому, онъ пропалъ неизвѣстно куда. Но на самомъ дѣлѣ онъ сидѣлъ дома. Буквально сидѣлъ, наслаждаясь въ первый разъ глубокою тишиной. Онъ сдѣлался не то пустынникомъ, не то медвѣдемъ въ спячкѣ. Одиночество пріятно было ему. Съ этой стороны онъ вполнѣ обезпечилъ избу, разогнавъ половину семьи. Племянника, малаго восемнадцати лѣтъ, про-

турилъ въ Москву, а старшую дочь въ ближайшій городъ въ кухарки. Дома остались жена да маленькая дѣвочка. И Иванъ наслаждался.

Сначала онъ не могъ положительно привыкнуть къ благополучію. Ѣлъ горячую похлебку, жевалъ хлѣбъ, грѣлся въ теплѣ, но недостаточно сознавалъ это. Онъ не могъ довольно надивиться благамъ, которыя ему послалъ Богъ, хотя осязалъ ихъ руками. Отрѣжетъ ломоть отъ коровая, посмотритъ на него—хлѣбъ! Возьметъ въ ротъ, разжуетъ—хлѣбъ! Нѣсколько разъ въ день онъ подходилъ къ печи и щупалъ, чтобы осязательно увѣриться, правда-ли, что она горячая? Оказывалось—правда: печь пылаетъ огнемъ. Наконецъ, онъ вполнѣ освоился съ мыслью, что обладаетъ дѣйствительно хлѣбомъ, дровами, горячею похлебкой, деньгами, вообще всѣмъ.

Послѣ этого у него явилось самохвальство. Мысль, что у него все есть, а у другихъ ничего, дѣлала его гордымъ. На дворѣ стоялъ жгучій морозъ или свистѣла буря, а ему ничего. И онъ зналъ, что въ это время многіе коченѣютъ, и несказанно радовался. Сосѣдомъ съ лѣвой руки у него былъ Василій Чилигинъ; Иванъ представлялъ себѣ, какъ Чилигинъ дрожитъ отъ холода и чавкаетъ картошку за отсутствіемъ хлѣба, и былъ радъ.

— А Васька-то теперь сидитъ не жрамши,—говоритъ онъ женѣ.

— Должно, что не жрамши,—нехотя, съ печалью въ голосѣ, отвѣчаетъ жена.

— Чай, морозъ-то такъ и ходитъ у него по избѣ!—продолжаетъ радоваться Иванъ.

— Извѣстно, коли дровъ нѣту...

На глазахъ жены навертываются слезы. Морщинистое лицо ея, избороржденное слѣдами переворотовъ деревенской жизни, заволакивается грустью. Она уже нѣсколько разъ подъ фартукомъ, тайно отъ мужа, носила короваи Чилигину.

Несмотря на благополучіе, Иванъ дѣлался, къ удивленію жены, необыкновенно сердитъ, когда видѣлъ постороннее человѣческое лицо. Только сидя одинъ у себя въ избѣ, онъ благодушествовалъ. День онъ проводилъ такимъ порядкомъ. Встанетъ, поѣстъ горячаго хлѣба и начнетъ копаться надъ

чѣмъ-нибудь по домашности. Потомъ обѣдаетъ горячую похлебку, а послѣ обѣда грѣется на печкѣ. Вотъ и все. Свѣсивъ голову съ печки, отъ времени до времени сплевываетъ на полъ, наблюдая, какъ жена прилаживаетъ къ его рубахѣ заплату, или болтаетъ босыми ногами и проектируетъ планы одинъ другого радостнѣе.

— На ту весну поставлю новую избу,—говоритъ онъ женѣ, которая вскидываетъ глазами, но молчитъ.

Недалеко отъ него стоитъ изба Тимоѳея, который, шутъ его знаетъ, гдѣ пропадаетъ. Ивану приходитъ въ голову, что хорошо бы завладѣть Тимоѳеевой избой. Онъ рѣшаетъ, что непремѣнно захватитъ, если только Тимоѳей пропадетъ куда-нибудь совсѣмъ.

— А Тимошка-то, должно думать, на-чисто пропадетъ!—говоритъ онъ неожиданно женѣ. Послѣдняя опять вскидываетъ глазами.

— Кто его знаетъ?

— Бездѣльникъ!—добавляетъ онъ.

Планы, выдумываемые имъ на печкѣ, были нерѣдко положительно безчеловѣчны.

Избенку его къ половинѣ зимы завалило горами сугробовъ, и къ его дому дорога исчезла. Но онъ не отрывался, не прокапывалъ путей. Ему такъ больше нравилось. Онъ желалъ, чтобы его совсѣмъ завалило снѣгомъ, чтобы никто не сунулся къ нему. Онъ пересталъ ходить по людямъ, и къ нему никто не показывался. Гробовое безлюдье стало ему по душѣ. Жителей онъ видѣть не могъ. Надоѣли они ему.

— На деревнѣ у насъ, я такъ думаю, совсѣмъ теперь нѣтъ хорошихъ людей; все прохвосты живутъ! Только и смотрятъ, какъ бы обманомъ!—говорилъ Иванъ, обращаясь къ женѣ съ печки.

Та удивленно глядѣла на него, и ничего не отвѣчала.

— Того и гляди послѣднія твои денежки упретъ... Вотъ у насъ какой народецъ!

Жена удивлялась, откуда у Ивана проявляется такая злоба. Правда, онъ боялся отчасти, что кто-нибудь отниметъ у него деньги, однако, боязнь сама по себѣ, а безчеловѣчныя мысли сами по себѣ.

Иногда Иванъ старался представить абсолютное безлюдье. „Можно-ли въ такомъ разѣ жить?“—спрашивалъ онъ себя.

Ему казалось, не только можно, но даже отлично. Что̀ бы, например, произошло, еслибы вся деревня пропала, а онъ бы одинъ остался? Напримѣръ, пропала бы отъ мору, отъ пожару, отъ неурожая?...

— Вотъ Колки до тла сгорѣли, какъ есть дочиста̀! Говорятъ, только и уцѣлѣло два двора... То-то, чай, рады!—обращается онъ къ женѣ съ печки, болтая ногами.

Жена блѣднѣла и крестилась.

— А у насъ позапрошлось только̀ три двора сгорѣло.

Жена тревожно взглянула въ окно. Ей вспомнился недавній пожаръ, она видѣла слезы погорѣвшихъ и читала про себя молитву, чтобы Богъ еще не послалъ такой страсти. Разговоръ мужа казался ей глупымъ.

Несомнѣнно, что Иванъ такія безчеловѣчныя мысли держалъ отъ праздности. Онъ всю зиму почти ничего не дѣлалъ. Скучно такъ лежать и ни о чемъ не думать. Но, съ другой стороны, странно, что именно эти мысли лѣзли ему въ голову, а не другія. Кажется, можно бы изъ множества всякихъ нелѣпостей, существующихъ на свѣтѣ, придумать болѣе безвредныя, однако, онъ велъ все одни негодяйскіе разговоры.

Однажды онъ сообщилъ женѣ, что думаетъ съ весны скупать хлѣбъ на сторонѣ и продавать своимъ односельцамъ, когда они будутъ находиться въ нуждѣ. И спрашивалъ: „Какая, по ея разсужденію, выйдетъ польза изъ эстаго?“ Жена грустно качала головой, убѣжденная, что Иванъ только праздно хлопаетъ языкомъ.

Эти безчеловѣчныя глупости повліяли даже на его дѣйствія. У него вышло происшествіе со старухой Лапой.

Однажды сидѣлъ онъ въ избѣ и сдиралъ кору съ березовой слеги, дѣлая изъ нея оглоблю. На дворѣ былъ страшный морозъ. Окна сплошь покрылись толстымъ слоемъ льда. Съ подоконниковъ текла вода. Въ избѣ царствовалъ полумракъ. Должно быть, по термометру было градусовъ сорокъ, но для бездомныхъ—сто. Иванъ не обращалъ вниманія на морозъ, благодушествуя въ теплѣ, и пѣлъ потихоньку отрывки церковной службы. Божественныя пѣсни онъ любилъ, но, къ сожалѣнію, ни одной не зналъ сначала до конца, а какіе-то безсвязные обрывки. Но за то пѣлъ жалобно по цѣлымъ днямъ, на разные лады.

И на этотъ разъ онъ что-то тянулъ безконечно. Вдругъ,

Къ концу Пасхи снова разнеслась молва, что староста нечистъ на руку. На завалинкахъ и въ избахъ, трезвые и пьяные, принялись оживленно разсуждать объ этомъ воровствѣ. Одни увѣряли, что староста не смѣетъ своровать, другіе говорили, что слухъ безъ толку не явится. Старики на всѣхъ завалинкахъ разгорячались до того, что ругались, готовясь вступить въ рукопашныя доказательства. Но вечеромъ споръ моментально кончился, ибо всѣ узнали, что староста дѣйствительно своровалъ и уже сидѣлъ въ находящейся при волостномъ „сажалкѣ". Никто не зналъ, какою властью онъ посаженъ туда, но всѣ были поражены. Нѣкоторые бѣгали къ правленію справляться, дѣйствительно-ли сидитъ, и видѣли— точно сидитъ и посматриваетъ въ дыру, сдѣланную въ стѣнѣ „сажалки". „Ты здѣсь?" — спрашивали его. — „Здѣсь", — отвѣчалъ онъ.

Какъ же это такъ скоро своровалъ и уже сидитъ? — недоумѣвали жители. Но *скоро* только имъ казалось, — староста *давно* пользовался общественными деньгами и только жители не знали этого, занятые исключительно пропитаніемъ и пріисканіемъ способовъ „спастися". И когда узнали о случившемся, то осердились. Имя старосты сдѣлалось ругательствомъ. До поздней ночи по всему протяженію сердились и волновались.

Единственно спокойнымъ человѣкомъ былъ въ эту минуту одинъ староста, равнодушно выглядывавшій изъ дыры „сажалки". Онъ свое дѣло справилъ. Безпокоенъ онъ былъ тогда только, когда собирался вытащить изъ сундука непринадлежащія ему деньги, а потомъ ничего. Свойства воровской маніи вездѣ одинаковы. Кругомъ темнота, холодъ, голодъ и равнодушіе, гибель человѣческихъ связей и крушеніе общественныхъ порядковъ. Такъ было, по крайней мѣрѣ, здѣсь, въ деревнѣ. Это вродѣ какъ чума. Староста своровалъ потому же, почему люди, во время чумы, предавались разврату во всѣхъ видахъ: пользуйся минутой, за которой, можетъ быть, стоитъ смерть. Староста разсуждалъ такъ: „А что, въ самомъ дѣлѣ, дай-ка я малость попользуюсь напослѣдки. Нечего въ зубы-то смотрѣть... эдакъ и помрешь, ничего ни видя!" Осуществить это было можно среди людей глубоко равнодушныхъ, спасавшихъ свою шкуру. И онъ попользовался. Первымъ же его дѣломъ было предоставить себѣ

удовольствіе, для чего онъ быстро поставилъ домъ изъ толстыхъ бревенъ, купилъ жирнаго и гладкаго мерина и сшилъ плисовую жилетку. Потомъ завелъ компанію съ Рубашенковымъ, писаремъ и другими: самъ поилъ ихъ и они поили его. Когда его посадили въ „сажалку", онъ ужь свое удовольствіе урвалъ, и взять съ него было нечего. Домъ онъ заложилъ, мерина продалъ, жилетку закапалъ виномъ. Словомъ, совершилъ, что хотѣлъ, а потому былъ спокоенъ.

Жители, между тѣмъ, волновались. На утро въ воскресенье всѣ, словно по уговору, двинулись къ волостному правленію и собрались въ кучѣ вокругъ „сажалки". Стали переговариваться со старостой, который выглядывалъ изъ дыры. Попрекали его. Было, между прочимъ, уже извѣстно, что староста стащилъ не только мірскія деньги, но и, какъ носился слухъ, часть собранныхъ податей, возмѣщеніе которыхъ падетъ на деревню, т. е. жители должны будутъ вторично раскошеливаться. Это подлило горечи.

— Что ты съ нами сдѣлалъ?—кричали ему.

Но, увидавъ тупое равнодушіе со стороны старосты, возмутились. Поднялся гулъ ругательствъ. Еслибы староста былъ на волѣ, надъ нимъ совершился бы самосудъ. Многіе уже предлагали взять приступомъ „сажалку", расшибить ее и поучить вора какъ слѣдуетъ, но это желаніе почему-то не состоялось. Принялись опять укорять старосту скверными словами. Кто-то взялъ въ руку комокъ земли и пустилъ его въ „сажалку", стараясь угодить прямо въ дыру. Это была, вѣроятно, просто шутка отъ скуки. Но едва пролетѣлъ первый комъ, какъ всѣ присутствующіе схватили кто что могъ и давай кидать въ „сажалку". Посыпался градъ камней, земли, оставшагося снѣга. Послѣ чего настало относительное спокойствіе; на время всѣ были удовлетворены, изливъ озлобленіе этимъ ребяческимъ способомъ. Да и взять со старосты нечего было.

Вдругъ кто-то вспомнилъ Ивана Чихаева. Вѣдь онъ былъ учетчикъ. Подавай сюда учетчика! Сдѣлано было распоряженіе привести Чихаева силой. Трое изъ сходки сейчасъ же бросились за Чихаевымъ и черезъ короткое время привели его.

Видомъ его всѣ были поражены; едва признавали его. Онъ дико озирался, какъ пойманный лѣсной обитатель. Лицо у

людей. Выписавъ опять племянника и дочь изъ города, самъ онъ ходилъ по заработкамъ, и всегда въ артели, хотя съ однимъ товарищемъ. Дома онъ глядѣлъ угрюмымъ и несчастнымъ, но на людяхъ, едва вырвавшись изъ избы, мгновенно дѣлался болтливымъ, шутилъ, смѣялся.

Онъ сдѣлался обыкновеннымъ деревенскимъ жителемъ—не богатымъ и не обезпеченнымъ отъ случайностей, и жилъ такъ, какъ и всѣ. Испытавъ на себѣ, какъ страшно отдѣляться отъ людей, онъ никогда больше не могъ питать въ себѣ одинокіе и негодяйскіе замыслы противъ окружающихъ.

Соломы онъ больше уже не копилъ.

VI.

Пустяки.

До своей деревни Мирону оставалось не болѣе пятнадцати верстъ, ничего не значущихъ для свѣжихъ ногъ. Но онъ прошелъ не одну сотню верстъ, усталъ, проголодался и почувствовалъ желаніе отдохнуть. Положа на землю сапоги и котомку, болтавшіеся у него за спиной, снявъ шапку и зачѣмъ-то посмотрѣвъ въ ея нутро, онъ нѣсколько минутъ оставался въ нерѣшительности, гдѣ ему присѣсть. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали шаршавые кусты, въ прошломъ году дочиста̀ обглоданные скотомъ, а нынѣ только-что покрывшіеся рѣдкою, заморенною листвой; подъ кустами зеленѣла весенняя травка, а надъ ея уровнемъ кое-гдѣ возвышались плѣшивые бугры изъ глины, сдѣланные муравьями. Неизвѣстно почему, но Миронъ выбралъ мѣсто привала возлѣ одного изъ этихъ бугровъ. Не медля ни минуты, онъ вынулъ изъ котомки съѣстные припасы, берестяный буракъ съ водой и принялся, съ нѣсколько странными пріемами, закусывать, весь сосредоточившись на этомъ занятіи. Сначала онъ отрѣзалъ тоненькій листикъ ржаного хлѣба, посыпалъ его тончайшимъ, почти невидимымъ слоемъ соли и отложилъ съ величайшею бережливостью въ сторону. Потомъ принялся лупить луковицу; слупивъ съ нея осторожно первую кожуру, онъ собралъ ее на ладони и съ задумчивымъ видомъ соображалъ, нельзя-ли и ее съѣсть? Однако, убѣдившись, что это невозможно, онъ съ сожалѣніемъ положилъ ее на траву. И тогда только рѣшился кусать листикъ хлѣба съ лукомъ. Съѣвъ первую порцію, онъ нѣкоторое время медлилъ, думая,

людей. Выписавъ опять племянника и дочь изъ города, самъ онъ ходилъ по заработкамъ, и всегда въ артели, хотя съ однимъ товарищемъ. Дома онъ глядѣлъ угрюмымъ и несчастнымъ, но на людяхъ, едва вырвавшись изъ избы, мгновенно дѣлался болтливымъ, шутилъ, смѣялся.

Онъ сдѣлался обыкновеннымъ деревенскимъ жителемъ—не богатымъ и не обезпеченнымъ отъ случайностей, и жилъ такъ, какъ и всѣ. Испытавъ на себѣ, какъ страшно отдѣляться отъ людей, онъ никогда больше не могъ питать въ себѣ одинокіе и негодяйскіе замыслы противъ окружающихъ.

Соломы онъ больше уже не копилъ.

VI.

Пустяки.

До своей деревни Мирону оставалось не болѣе пятнадцати верстъ, ничего не значущихъ для свѣжихъ ногъ. Но онъ прошелъ не одну сотню верстъ, усталъ, проголодался и почувствовалъ желаніе отдохнуть. Положа на землю сапоги и котомку, болтавшіеся у него за спиной, снявъ шапку и зачѣмъ-то посмотрѣвъ въ ея нутро, онъ нѣсколько минутъ оставался въ нерѣшительности, гдѣ ему присѣсть. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали шаршавые кусты, въ прошломъ году дочиста̀ обглоданные скотомъ, а нынѣ только-что покрывшіеся рѣдкою, замореною листвой; подъ кустами зеленѣла весенняя травка, а надъ ея уровнемъ кое-гдѣ возвышались плѣшивые бугры изъ глины, сдѣланные муравьями. Неизвѣстно почему, но Миронъ выбралъ мѣсто привала возлѣ одного изъ этихъ бугровъ. Не медля ни минуты, онъ вынулъ изъ котомки съѣстные припасы, берестяный буракъ съ водой и принялся, съ нѣсколько странными пріемами, закусывать, весь сосредоточившись на этомъ занятіи. Сначала онъ отрѣзалъ тоненькій листикъ ржаного хлѣба, посыпалъ его тончайшимъ, почти невидимымъ слоемъ соли и отложилъ съ величайшею бережливостью въ сторону. Потомъ принялся лупить луковицу; слупивъ съ нея осторожно первую кожуру, онъ собралъ ее на ладони и съ задумчивымъ видомъ соображалъ, нельзя-ли и ее съѣсть? Однако, убѣдившись, что это невозможно, онъ съ сожалѣніемъ положилъ ее на траву. И тогда только рѣшился кусать листикъ хлѣба съ лукомъ. Съѣвъ первую порцію, онъ нѣкоторое время медлилъ, думая,

что можетъ ограничиться такимъ обѣдомъ, но рѣшилъ еще отрѣзать немножко. Еще и еще, и такъ далѣе. Странная операція продолжалась долго и съ одинаковымъ однообразіемъ, пока луковица не была доѣдена. Тутъ ужь дѣлать было нечего. „Будетъ! и то ужь очень сладко!"—сказалъ Миронъ съ укоризной, обращенной, очевидно, къ собственному желудку. Сложивъ оставшуюся краюху ржаного хлѣба въ котомку, онъ задумался. Думалъ онъ о томъ, съѣсть-ли ему оставшееся каленое яйцо, или донести домой въ цѣлости, но искушеніе было столь сильное, что онъ поддался ему почти безъ сопротивленія. Послѣ этого онъ перекрестился, икнулъ и торопливо проговорилъ серьезнымъ тономъ:

Богъ напиталъ,
Никто не видалъ,
А кто видѣлъ,
Тотъ не обидѣлъ.

Во все продолженіе обѣда онъ не обращалъ вниманія на окружающее. Пролетѣла ворона надъ его головой, сѣла на ближайшее дерево и принялась глядѣть на него; возлѣ него черезъ дорогу пробѣжалъ сусликъ, надъ самою его головой копошились какія-то твари; въ уши, въ носъ и ротъ лѣзли ему весеннія мошки. Но только послѣ прекращенія обѣда онъ оглядѣлъ окрестность. Вдали по дорогѣ показался еще человѣкъ, но за дальностью разстоянія Миронъ долго не могъ ничего разобрать. Прохожій понуро шелъ, глядя въ землю.

— Господи! Неужели Егоръ Ѳедорычъ?!—воскликнулъ Миронъ, разинувъ ротъ отъ удивленія.

Послѣдній, внезапно окликнутый и выведенный изъ задумчивости, поднялъ голову.

— Ты-ли, Егоръ Ѳедорычъ?—продолжалъ спрашивать Миронъ.

Но на его восклицанія Егоръ Ѳедорычъ молчалъ, очевидно, не узнавая своего земляка.

— Стало быть, не признаешь?

Прохожій покачалъ головой.

— Мирона-то, говорю, не признаешь?... Я Миронъ, чай, помнишь... эка!

И на это прохожій только покачалъ головой, усиленно взглядываясь въ Мирона.

— Я Миронъ, ишь память-то у тебя отшибло!... Миронъ Уховъ, Миронъ Петровъ, а по прозванію Уховъ... эка!

Прохожій узналъ и улыбнулся. Земляки поздоровались. Егоръ Өедорычъ также усѣлся на травѣ и снялъ свою котомку съ плечъ. Обыкновенно при такихъ неожиданныхъ встрѣчахъ люди принимаются усиленно говорить, захлебываясь и перебивая другъ друга, но при этой встрѣчѣ говорилъ и спрашивалъ одинъ только Миронъ, а Егоръ задумчиво вглядывался въ него, протянувъ ноги и пощупывая ихъ.

— Зудятъ?—спросилъ Миронъ, указывая на ноги.

— Безпокойно,—отвѣчалъ Егоръ Өедорычъ.

Онъ сидѣлъ такъ же понуро, какъ и шелъ. Онъ былъ сгорбленъ, казался дряхлымъ, съ осунувшимся лицомъ, хотя жидкіе волосы его не имѣли ни одного сѣдого волоса.

— Знаю я это. Словно кто жуетъ у тебя икру. Какъ и не зудиться, братецъ ты мой, ежели ты бывалъ, чай, и въ Питерѣ, и въ Москвѣ, и въ Крыму, и у казаковъ, и въ прочихъ палестинахъ?... А ты ихъ дегтемъ мажь.

— Хорошо?

— Первое удовольствіе. Сейчасъ вытеръ больное мѣсто— ничего, вреда нѣтъ.

Миронъ предложилъ Егору Өедорычу воды, видя его запекшіяся губы. Это дало новый оборотъ разговору.

— На какомъ же ты теперича положеніи сюда предъявился? За какою нуждой?—спросилъ Миронъ.

— Побывать вздумалъ.

— Значитъ, дѣло?

— Нѣтъ, такъ... заскучалъ.

— Это вѣрно. Заскучать не долго. Ужь я на что человѣкъ, можно прямо сказать, домашній, да и то даже на удивленіе!... Все думаешь, какъ тамъ лошадь, благополучна-ли корова. Тоже опять ребята, хозяйка — все забота, все безпокойство. Нынче я и не чаю какъ домой прибѣжать...

— Несчастье?

— Нѣтъ, Богъ грѣхамъ терпитъ, несчастья нѣтъ. Но только вотъ мосолъ...—Говоря это, Миронъ взволнованно смотрѣлъ на собесѣдника.

— Какой мосолъ?

— Обыкновенно мосолъ, кости... Ну, только вполнѣ измучился! И во снѣ-то, ночью, все онъ мнѣ видится, чуть при-

курнешь, а ужь его видимо-невидимо! А на яву безперечь думаешь, въ какой препорціи покупать, за какія цѣны продавать и прочее тому подобное...

— Да ты о чемъ говоришь?—спросилъ Егоръ Өедорычъ раздраженно.

— Обыкновенно, о костяхъ. Думаю я, братецъ, промышленность завести, прямо сказать—торговлю. Надоумилъ меня въ городѣ одинъ баринъ; не то, чтобы баринъ, а даже лакей въ господскомъ домѣ. Пришелъ я однова къ нему подъ лѣстницу,—тринадцать копѣечекъ полагалось съ него получить,—пришелъ и гляжу: лукошко стоитъ, а въ лукошкѣ эта кость; стало быть, господа ѣдятъ убоину, а кости не трогаютъ... „Куды, спрашиваю, предназначаются“? Тутъ-то я и узналъ, что кость идетъ въ пользу, хорошія деньги даетъ. Съ этой поры я и задумалъ.

— Если даетъ хорошія деньги, такъ на что лучше,—сказалъ Егоръ Өедорычъ.

— То-то вотъ и разсчитываю. Иной разъ, Господи благослови, въ барышѣ у меня остается рубль, иной—три, а то такъ и нѣтъ ничего... Какъ вспомнишь, что тебѣ ничего не останется за всѣ твои труды-хлопоты, какъ подумаешь, что, сохрани Богъ, ухлопаешь свои собственныя денежки на этотъ мосолъ, все равно какъ дубиной тебя долбанетъ! Ты какъ мнѣ присовѣтуешь?—съ нетерпѣніемъ и дрожью въ голосѣ спросилъ вдругъ Миронъ.

— Что-жь я тебѣ присовѣтую? — возразилъ Егоръ Өедорычъ.—Я толку не знаю. Самъ бы я завсегда плюнулъ на эти полоумные пустяки, а ты какъ знаешь. Это ужь твое дѣло.

Егоръ Өедорычъ сталъ собираться. Замолчали. Тишина невозмутная. Миронъ безпокойно поглядывалъ вокругъ, размышляя о своемъ дѣлѣ, а Егоръ Өедорычъ безучастно глядѣлъ вдаль.

Наконецъ, Миронъ первый нарушилъ молчаніе. Онъ предложилъ Егору Өедорычу идти вмѣстѣ. Оба они заразъ встали, закинули за спину свои котомки и молча зашагали по дорогѣ на родину. На полпути Егоръ Өедорычъ свернулъ въ сторону, объявивъ, что ему надо зайти въ другую деревню. Во все время онъ не спросилъ ничего, что дѣлается дома, ни одного слова! Миронъ нѣкоторое время слѣдилъ глазами

за его сгорбленною фигурой, медленно двигавшеюся посреди кустовъ, и на мгновеніе задумался. Такое впечатлѣніе Егоръ Ѳедорычъ производилъ на всѣхъ, кто съ нимъ сталкивался.

Никто въ деревнѣ не обратилъ вниманія на возвращеніе Егора Ѳедорыча Горѣлова (такъ было его прозвище), когда онъ снова, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, поселился въ своемъ заброшенномъ домѣ. У каждаго было свое собственное дѣло и некогда думать о чужихъ.

Егоръ Ѳедорычъ не только не оскорблялся этимъ равнодушіемъ, но былъ радъ ему, потому что желалъ одного, чтобы его не трогали и не надоѣдали ему разными мучительными дѣлами. Одинокій, безъ семейства и безъ друзей, онъ безучастно и уединенно жилъ въ своей избѣ. Конечно, жуткій это былъ кровъ. Не говоря дурного слова о сосѣдяхъ, можно, тѣмъ не менѣе, подтвердить фактъ, что всѣ хозяйственныя постройки возлѣ избы куда-то пропали вмѣстѣ съ плетнями, заборами и воротами; послѣ нихъ на дворѣ остались однѣ груды мусора, да и тѣ заросли травой, а ветлы, посаженныя нѣкогда (давно это было) Егоромъ Ѳедорычемъ на задахъ, были срублены, и лишь корни ихъ еще виднѣлись изъ земли. Самая изба подверглась опустошенію; въ ней теперь стояла только печь, отъ которой несло холодомъ. Въ трубѣ поселились галки, въ сѣняхъ—летучія мыши.

Ни къ чему не прикасался Егоръ Ѳедорычъ по приходѣ домой. Онъ бросилъ въ одинъ уголъ охапку сѣна, служившаго ему постелью, купилъ чашку, ложку и котелокъ, въ которомъ по вечерамъ варилась жидкая кашица. Въ этомъ и состояло все его хозяйство. Странно сказать, онъ не бѣгалъ, не хлопоталъ и не имѣлъ никакого опредѣленнаго дѣла; странно потому, что всѣ въ деревнѣ бѣгали и хлопотали, все что-то такое устраивая.

Когда у него вышли всѣ деньги, онъ сталъ наниматься на работы, которой въ это время довольно было вездѣ. Вознагражденіемъ онъ довольствовался ничтожнымъ, беря гривенникъ или двугривенный, вообще столько, сколько ему надо было на хлѣбъ и на кашу. Это равнодушіе удивляло и радовало, такъ что всѣ брали его съ удовольствіемъ. Не нрави-

лось только то, что онъ былъ плохой работникъ. Ѣдетъ онъ, напримѣръ, по пашнѣ съ бороной, а самъ все о чемъ-то думаетъ и такъ задумается, что ѣздитъ часъ, другой, третій. „Ты что же дѣлаешь?“—спрашиваетъ у него хозяинъ, и только тогда Егоръ Ѳедорычъ приходитъ въ себя.

Ни съ кѣмъ онъ не объяснялся о своихъ думахъ, да и у него никто не спрашивалъ, какъ онъ думаетъ жить по возвращеніи. Развѣ отъ нечего говорить спроситъ иной хозяинъ объ его дѣлахъ. Такъ, однажды хозяинъ принялся его пытать разными вопросами. Дѣло было на пашнѣ во время обѣда.

— Какъ же ты, Егоръ Ѳедорычъ, насчетъ хозяйства, думаешь приноравливать или такъ?—спросилъ хозяинъ.

— Такъ,—отвѣчалъ Горѣловъ.

— Мочи нѣтъ, т.-е., напримѣръ, капиталу?

— Не желаю!

— А надо бы...

— Не надо,—возразилъ Горѣловъ.

— Хозяйство? Чудакъ ты, я вижу, этакое неосторожное слово сказалъ! Да какъ же безъ хозяйства? Хозяйство всякъ долженъ приспособить.

— Для чего?

— Это хозяйство-то?

Очевидно, это слово ставило хозяина въ тупикъ.

— Да глухъ, что-ли ты?... Ну, шутникъ ты, погляжу я. Потому хозяйство требуется, быть безъ него нѣтъ силы-возможности. Даже какой-нибудь мошенникъ или собачій сынъ и тотъ... Да какъ же это возможно, чтобы хозяйства не надо?

— Разное бываетъ хозяйство. Главное, чтобы въ умѣ былъ порядокъ. Который человѣкъ полоумный и никакого хозяйства въ душѣ у него не водится, тому все одно... Есть у тебя эдакое хозяйство?—рѣзко спросилъ Горѣловъ.

Хозяинъ положилъ ложку на траву, положилъ туда же недоѣденный огрызокъ хлѣба и чесалъ спину. Изумленіе его было столь велико, какъ еслибы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, ростутъ вмѣстѣ съ онучами у него на головѣ. Подумавъ немного, онъ снова взялъ ложку и только сказалъ въ глубокой задумчивости: „Вонъ оно какъ!“ Разумѣется, хозяинъ послѣ такого разговора пересталъ разспрашивать Горѣлова, чувствуя къ послѣднему неопредѣленный страхъ.

Вообще послѣ такихъ разговоровъ многіе жители деревни ·али побаиваться Горѣлова. Оказалось, что говорить съ нимъ ѣтъ никакой возможности: нападаетъ тоска. Развѣ иной по· знанію впутается въ разговоръ, да и то спѣшитъ замол- ıть. Такъ было черезъ нѣсколько дней у другого мужика, іѣвшаго неосторожность пристать къ Горѣлову за совѣтомъ. орѣловъ нанялся къ нему за четырнадцать копѣекъ помогать ıхать. Между тѣмъ, хозяинъ недавно перенесъ глубокое не- іастіе: у него развалилась изба. Чтобы поправить поскорѣе ıла, онъ отобралъ годныя къ употребленію бревна отъ ста- ой избы, прибавилъ къ нимъ круглыхъ чурбашковъ отъ ку- тника, присоединилъ еще нѣсколько слегъ отъ коровника сочинилъ изъ этого нѣчто новое, якобы избу. Но убѣжище о не понравилось ему и мучило его однимъ своимъ видомъ, ь сожалѣнію, довольно страннымъ. Съ этимъ дѣломъ онъ обратился къ Горѣлову, считая послѣдняго опытнымъ.

— Ты какъ думаешь о моей избѣ... выдержитъ? — спро- ılъ онъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ Горѣловъ.

— Я полагаю, не выдержитъ! — съ внезапнымъ отчаяніемъ ıговорилъ хозяинъ. — Все она смотритъ вотъ эдакъ... Задомъ ѣла и передъ подняла кверху.

— Что-жь, опрокинется, — замѣтилъ Горѣловъ.

— Во-во... это самое я и думаю! Не выдержитъ! Что-жь нѣ съ ней, подлой, дѣлать?

— А я почемъ знаю?

— Нѣтъ, такъ, къ слову, что̀ бы ты присовѣтовалъ, а?

— Да говорю тебѣ — не знаю!

— Однако, какъ бы ты думалъ? Чѣмъ бы эдакъ утвердить ı? Чего ей, сволочи, недостаетъ?

Горѣловъ, наконецъ, потерялъ терпѣніе.

— Лѣсу ей недостаетъ, а тебѣ ума и Бога, — сказалъ ъ со злобой.

Молчаніе и оцѣпенѣніе. Хозяинъ буквально разинулъ ротъ, ıже поблѣднѣлъ, потому что имъ овладѣлъ вдругъ какой-то уевѣрный страхъ.

Темныя слова, сказанныя Горѣловымъ, были, очевидно, :ны для него. Подъ ними онъ разумѣлъ цѣлый рядъ явле- й, хорошо знакомыхъ ему, кровью пережитыхъ и потому :обенно ненавистныхъ, какъ и все его прошлое, внушавшее

лось только то, что онъ былъ плохой работникъ. Ѣдетъ онъ, напримѣръ, по пашнѣ съ бороной, а самъ все о чемъ-то думаетъ и такъ задумается, что ѣздитъ часъ, другой, третій. „Ты что же дѣлаешь?"—спрашиваетъ у него хозяинъ, и только тогда Егоръ Ѳедорычъ приходитъ въ себя.

Ни съ кѣмъ онъ не объяснялся о своихъ думахъ, да и у него никто не спрашивалъ, какъ онъ думаетъ жить по возвращеніи. Развѣ отъ нечего говорить спроситъ иной хозяинъ объ его дѣлахъ. Такъ, однажды хозяинъ принялся его пытать разными вопросами. Дѣло было на пашнѣ во время обѣда.

— Какъ же ты, Егоръ Ѳедорычъ, насчетъ хозяйства, думаешь приноравливать или такъ?—спросилъ хозяинъ.

— Такъ,—отвѣчалъ Горѣловъ.

— Мочи нѣтъ, т.-е., напримѣръ, капиталу?

— Не желаю!

— А надо бы...

— Не надо,—возразилъ Горѣловъ.

— Хозяйство? Чудакъ ты, я вижу, этакое неосторожное слово сказалъ! Да какъ же безъ хозяйства? Хозяйство всякъ долженъ приспособить.

— Для чего?

— Это хозяйство-то?

Очевидно, это слово ставило хозяина въ тупикъ.

— Да глухъ, что-ли ты?... Ну, шутникъ ты, погляжу я. Потому хозяйство требуется, быть безъ него нѣтъ силы-возможности. Даже какой-нибудь мошенникъ или собачій сынъ и тотъ... Да какъ же это возможно, чтобы хозяйства не надо?

— Разное бываетъ хозяйство. Главное, чтобы въ умѣ былъ порядокъ. Который человѣкъ полоумный и никакого хозяйства въ душѣ у него не водится, тому все одно... Есть у тебя эдакое хозяйство?—рѣзко спросилъ Горѣловъ.

Хозяинъ положилъ ложку на траву, положилъ туда же недоѣденный огрызокъ хлѣба и чесалъ спину. Изумленіе его было столь велико, какъ еслибы ему сказали, что его ноги, собственно говоря, ростутъ вмѣстѣ съ онучами у него на головѣ. Подумавъ немного, онъ снова взялъ ложку и только сказалъ въ глубокой задумчивости: „Вонъ оно какъ!" Разумѣется, хозяинъ послѣ такого разговора пересталъ разспрашивать Горѣлова, чувствуя къ послѣднему неопредѣленный страхъ.

Вообще послѣ такихъ разговоровъ многіе жители деревни
гали побаиваться Горѣлова. Оказалось, что говорить съ нимъ
ѣтъ никакой возможности: нападаетъ тоска. Развѣ иной по
эзнанію впутается въ разговоръ, да и то спѣшитъ замол-
ать. Такъ было черезъ нѣсколько дней у другого мужика,
мѣвшаго неосторожность пристать къ Горѣлову за совѣтомъ.
орѣловъ нанялся къ нему за четырнадцать копѣекъ помогать
ахать. Между тѣмъ, хозяинъ недавно перенесъ глубокое не-
частіе: у него развалилась изба. Чтобы поправить поскорѣе
ѣла, онъ отобралъ годныя къ употребленію бревна отъ ста-
ой избы, прибавилъ къ нимъ круглыхъ чурбашковъ отъ ку-
тника, присоединилъ еще нѣсколько слегъ отъ коровника
сочинилъ изъ этого нѣчто новое, якобы избу. Но убѣжище
го не понравилось ему и мучило его однимъ своимъ видомъ,
ь сожалѣнію, довольно страннымъ. Съ этимъ дѣломъ онъ
обратился къ Горѣлову, считая послѣдняго опытнымъ.

— Ты какъ думаешь о моей избѣ... выдержитъ? — спро-
илъ онъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ Горѣловъ.

— Я полагаю, не выдержитъ! — съ внезапнымъ отчаяніемъ
аговорилъ хозяинъ. — Все она смотритъ вотъ эдакъ... Задомъ
ѣла и передъ подняла кверху.

— Что-жь, опрокинется, — замѣтилъ Горѣловъ.

— Во-во... это самое я и думаю! Не выдержитъ! Что-жь
нѣ съ ней, подлой, дѣлать?

— А я почемъ знаю?

— Нѣтъ, такъ, къ слову, что̀ бы ты присовѣтовалъ, а?

— Да говорю тебѣ — не знаю!

— Однако, какъ бы ты думалъ? Чѣмъ бы эдакъ утвердить
? Чего ей, сволочи, недостаетъ?

Горѣловъ, наконецъ, потерялъ терпѣніе.

— Лѣсу ей недостаетъ, а тебѣ ума и Бога, — сказалъ
нъ со злобой.

Молчаніе и оцѣпенѣніе. Хозяинъ буквально разинулъ ротъ,
аже поблѣднѣлъ, потому что имъ овладѣлъ вдругъ какой-то
уевѣрный страхъ.

Темныя слова, сказанныя Горѣловымъ, были, очевидно,
сны для него. Подъ ними онъ разумѣлъ цѣлый рядъ явле-
ій, хорошо знакомыхъ ему, кровью пережитыхъ и потому
собенно ненавистныхъ, какъ и все его прошлое, внушавшее

ему одно отвращеніе. Между тѣмъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ былъ не тотъ, какимъ сталъ теперь. Большинство жителей деревни скажетъ, что тогда онъ жилъ ладно,—ладно, то-есть вмѣстѣ со всѣми прочими. Всѣ метались, промышляя ѣду, и онъ метался. Никто не помнитъ истинной жизни, и онъ забылъ. Забылъ вплоть до того времени, когда ему случайно пришло на мысль волей-неволей оглядѣть себя. Въ это время онъ сдѣлалъ открытія, самъ не вѣря тому, какъ онъ могъ ихъ пропустить мимо глазъ и ушей.

Было-ли въ его жизни что-нибудь особенное? Нѣтъ, ровно ничего такого, что было бы необыкновенно въ деревенской жизни. Пожалуй, можно приписать случившійся въ его настроеніи переворотъ трешницѣ, но исторія ея также обыкновенна. Она состояла въ слѣдующемъ. Былъ у Егора Ѳедорыча шестилѣтній сынъ Мишка. Неизвѣстно, любилъ-ли онъ его, какъ единственную свою опору въ будущемъ, только особеннаго вниманія Мишка не обращалъ на себя. Мальчонко росъ, ѣлъ, бѣгалъ по лужамъ, ловилъ воробьевъ, ѣздилъ верхомъ на телятахъ, ревѣлъ, когда его колотили, или шалилъ, когда его забывали на цѣлую недѣлю,—все какъ слѣдуетъ. Но вотъ однажды пришлось Егору Ѳедорычу прихватить у сосѣда деньжонокъ; тотъ далъ и въ назначенный срокъ аккуратно пришелъ за долгомъ. Егоръ Ѳедорычъ также аккуратно вытащилъ изъ-за пазухи кожаный кошель, а изъ кошеля осторожно вынулъ трешницу и нѣжно разглаживалъ ее на ладони. И вдругъ дьяволъ подтолкнулъ Мишку выпросить у отца бумажку, чтобы посмотрѣть на нее хоть однимъ глазкомъ. Не успѣлъ отецъ опомниться, какъ сорванецъ подбѣжалъ къ печкѣ, которая топилась, и выронилъ бумажку, заявивъ объ этомъ несчастіи страшнымъ ревомъ. Моментально всѣ находящіеся въ избѣ бросились къ печкѣ и нѣсколько паръ глазъ вперились въ огонь. Бумажка вспыхнула и пропала. Егоръ Ѳедорычъ бросился отъ печки, догналъ улепетывающаго Мишку и, внѣ себя отъ ужаса и отчаянія, принялся тузить его. И вѣдь, правильно говоря, не долго тузилъ. Но Мишка съ этой поры сталъ какой-то дуракъ, чистый юродивый. Изъ ушей у него текло, изо рта текло, изъ носу текло, глаза смотрѣли тупо, слышать онъ пересталъ. Потомъ онъ померъ.

Такъ вотъ. Пожалуй, можно приписать случившійся въ

душѣ Егора Ѳедорыча переворотъ трешницѣ, но, вѣроятно, были общія, болѣе широкія условія всей деревенской жизни, благопріятствовавшія, вмѣстѣ съ трешницей, превращенію Егора Ѳедорыча изъ хозяина въ бездомнаго шатуна, не знавшаго нигдѣ покою. Самыя обыденныя и обыкновенныя вещи ему опротивѣли съ этого времени. Первымъ предметомъ его отвращенія сдѣлался ближайшій къ нему человѣкъ—хозяйка его Аннушка. Не то, чтобы она была, дѣйствительно, противная баба,—совсѣмъ напротивъ. Аннушка работала съ нечеловѣческими усиліями, по-лошадиному, а потребности имѣла ничтожныя. Видъ ея былъ всегда растерянный и пугливый, но это происходило отъ того, что она не давала себѣ отдыха. Даже въ свободныя минуты она готова была куда-то бѣжать, что-то схватить, взвалить на спину и тащить, — такое ужь лицо у ней было безпокойное. Сидитъ, напримѣръ, въ воскресенье и ѣстъ ватрушку, но вдругъ вспомнитъ какую-нибудь картошку, которую надо будто бы перенести вотъ въ этотъ уголъ, — вспомнитъ и ринется, а потомъ ужь цѣлый день все что-то перетаскиваетъ, перекатываетъ и перевозитъ, тяжело дыша, а къ вечеру валится, какъ убитая, и спитъ, какъ бездыханный трупъ. Такая неустанная дѣятельность уживалась рядомъ съ неряшливымъ одѣяніемъ, съ заморенным лицомъ и вѣчною бѣдностью всюду, гдѣ она только проявляла эту дѣятельность.

Наблюдая за ней, Егоръ Ѳедорычъ питалъ все большую и большую ненависть къ ней. За то, что она работала до упаду, за то, что у ней не было ни минуты покою, — однимъ словомъ, за все, что въ ней было для всѣхъ постороннихъ хорошаго, онъ чувствовалъ отвращеніе къ ней, какъ и къ картошкѣ, узламъ, отрубямъ и прочей дряни, ради которой она убивалась. Иногда кипѣвшая внутри его злоба вырывалась наружу. „Да ты хоть бы разъ подумала... Спрашиваю я, для какой надобности ты всполошилась и вообще по какимъ причинамъ ты живешь? Ну, хоть бы одно путное слово обронила... туды-сюды мечешься, какъ оглашенная, тамъ накричишь, въ другомъ мѣстѣ наругаешься... хлопъ—и спишь“... Говоря это, Егоръ Ѳедорычъ чувствовалъ всю безнадежность этихъ словъ и своей жизни. Наконецъ, онъ не выдержалъ и отправился на заработки, да тамъ и застрялъ на нѣсколько

лѣтъ. Аннушка также ушла на заработки, долго мыкалась по свѣту Божьему. Потомъ померла.

Получивъ полнѣйшее отвращеніе ко всѣмъ обычнымъ дѣламъ и порядкамъ, Егоръ Ѳедорычъ нигдѣ и ни на чемъ ужъ не могъ остановиться. Поработавъ въ одномъ мѣстѣ, онъ шелъ въ другое, гонимый какимъ-то безпокойнымъ чувствомъ. Онъ колесилъ по всей Россіи, побывалъ въ самыхъ темныхъ ея закоулкахъ, но нигдѣ по-долгу не оставался. Недавно онъ заскучалъ по родной сторонѣ и поплелся туда.

Теперь безпокойное чувство утихло немного, и онъ мирно жилъ въ своей старой избѣ. Каждый день онъ шелъ куда-нибудь работать, а вечеромъ возвращался домой, разводилъ въ печкѣ огонь, варилъ кашицу и грѣлъ мозжавшія ноги. Морщинистое лицо его было спокойно и безучастно. Повидимому, ничего не ожидая отъ жизни, онъ ничѣмъ не волновался. Его не манила къ себѣ деревенская суета, не прельщала его копѣйка и не гонялся онъ за кускомъ. Какой-нибудь гривенникъ вполнѣ удовлетворялъ его. Но у него была внутренняя жизнь, волновавшая его, были внутреннія раны, которыя болѣли, потому что онъ самъ ихъ бередилъ.

Сидя передъ пылающею печкой, Егоръ Ѳедорычъ весь погружался въ свои думы. Деревня давала ему матеріалъ ежедневно, а онъ его перерабатывалъ, только мысли его принимали чрезвычайно странныя формы. Онъ думалъ о своей родной деревнѣ, припоминая въ то же время Аннушку и Мишку. Всѣ свои думы онъ олицетворялъ въ этихъ двухъ образахъ, врѣзавшихся ему въ память такъ сильно, что онъ уже не могъ обойтись безъ нихъ, размышляя о деревенской жизни, а послѣдняя ежеминутно врывалась въ его жизнь, хотя онъ казался равнодушнымъ ко всему. Онъ не могъ оторваться отъ нея, хотя старался не думать о ней. Да, наконецъ, поэтому-то онъ и возвратился къ своей землѣ, въ свою избу, что они, помимо его воли, влекли къ себѣ. И вотъ онъ волей-неволей задумывается надъ жизнью деревни, волнуясь, припоминая, гнѣваясь и страдая... Все это переживалось передъ печкой. Когда ему въ голову лѣзли ненавистные для него деревенскіе порядки, когда въ немъ поднималось отвращеніе къ „полоумству", тогда вдругъ деревня превращалась въ Аннушку, которая вставала передъ нимъ во весь ростъ, и онъ ссорился съ деревней, которая все суется за картош-

кой, все о чемъ-то горячо, до смерти хлопочетъ, но ничего изъ этого не выходитъ путнаго. Видъ ея растерянный, дѣла полоумныя и ни ума, ни Бога.

— Хозяйка!—говоритъ Горѣловъ вслухъ, забывъ, что Аннушка давно умерла. — Да ты хоть бы однажды одумалась, полоумная, по какимъ причинамъ ты живешь? Что ты все суешься, дура?

Воспаленные глаза Горѣлова неподвижно смотрѣли на огонь, и все лицо его выражало ненависть: онъ припоминалъ и соединялъ все гнусное изъ жизни своей деревни... Но, въ сущности, онъ жалѣлъ ее отъ всего сердца, любилъ, былъ до могилы привязанъ къ ней, къ этой несчастной странѣ, которую оглушили, изувѣчили. Тогда появлялся Мишка, какъ живой, и на лицѣ Горѣлова появлялась невыразимая жалость.

— Мишка!—говорилъ Горѣловъ шепотомъ,—ты не сердись... прости меня!... Славный былъ бы мужикъ... прости, Мишка!

Егоръ Ѳедорычъ съ тоской глядитъ въ одну точку печки и совершенно позабываетъ, гдѣ онъ и что съ нимъ. Но всѣ эти представленія и лица, предметы и событія, перепутанные и темные, были для него ясны, какъ Божій день, и составляли одно цѣлое. Деревня и Аннушка, Мишка и мужики,—все это совершенно складно соединялось у него. Первую онъ ненавидѣлъ, втораго жалѣлъ. Первой онъ приписывалъ полоумство, глупость, второй вызывалъ внутри его невидимыя рыданія. Отъ первой онъ бѣжалъ, второму хотѣлъ помочь. И для него все было ясно.

Тогда онъ проводилъ свои вечера. Трудно сказать, до чего онъ дошелъ бы въ этомъ мучительномъ перебираніи пустяковъ и припоминаніи безпутно проведенной жизни, еслибы онъ имѣлъ средства безотлучно торчать передъ печкой. Но у него не было гривенника, и, чтобы добыть его, онъ долженъ былъ поневолѣ забывать свои думы, жить день за день, сталкиваться съ людьми, проникаться ихъ несчастіями и слушать деревенскіе разговоры. За постоянною работой ради этого гривенника, за неминуемыми разговорами все о томъ же гривенникѣ должна была неизбѣжно протекать и его жизнь.

Черезъ нѣкоторое время даже въ самой избѣ его поселился сожитель, нѣкій Ѳедосѣй, повидимому, старичокъ, на самомъ же дѣлѣ еще довольно молодой мужикъ, только страдавшій

ломотой въ рукахъ, а потому безпомощный. Не имѣя пристанища въ деревнѣ, хотя былъ кореннымъ ея жителемъ, онъ просился къ Горѣлову, обольщая его двадцатью копѣйками ежемѣсячной платы. Эта просьба цѣлый часъ оставалась безуспѣшной.

— Пустишь? — со страхомъ спрашивалъ Ѳедосѣй, не переставая обольщать. — Тоже, братъ, двадцать-то копѣекъ — деньги! Онѣ, двадцать-то копѣекъ, съ полу не подымаются! Двугривенный, соколъ мой! А при всемъ томъ я прошу Христомъ Богомъ, сдѣлай снисхожденіе несчастному!

— Молчи! — съ негодованіемъ, наконецъ, сказалъ Горѣловъ, выходя изъ себя. — Больно мнѣ нуженъ твой гривенникъ или двугривенный... Чтобы ни слова, а иначе по шеѣ...

Ѳедосѣй со страхомъ смотрѣлъ въ лицо Горѣлова, ожидая его рѣшенія, какъ смерти. Но, къ удивленію и радости его, Горѣловъ согласился пустить его въ свой домъ на жительство, указавъ уголъ, гдѣ онъ могъ спать, сколько ему угодно. Онъ только утвердительнымъ тономъ выговорилъ условіе, чтобы Ѳедосѣй не болталъ. „Придешь съ работы, шлепъ въ уголъ — и молчи, а иначе по шеѣ". Это условіе Ѳедосѣй свято исполнялъ.

Нельзя представить себѣ болѣе дѣлового человѣка, какъ этотъ Ѳедосѣй. Проживъ свое хозяйство, свой домъ и свою семью, онъ остался спокоенъ, какъ генералъ, проигравшій сраженіе. У него каждый день находились дѣла. Правда, заработки его были плохіе, — кто же дастъ ему работу, коли руки у него не годятся? — но Ѳедосѣй оставался твердъ и дѣятельно искалъ работы и пищи, и если иногда обстоятельства ставили его въ недоумѣніе, такъ онъ, не долго раздумывая, бралъ кошель и знакомымъ ему тономъ вымаливалъ куски Христа ради. Послѣднее занятіе было даже вѣрнѣе; не бывало случая, чтобы Ѳедосѣй приходилъ домой съ пустыми руками. Куски всегда приносились въ достаточномъ количествѣ, вслѣдствіе чего Ѳедосѣю непремѣнно представлялась возможность, по приходѣ домой, заняться подробнымъ вычисленіемъ и сортированіемъ добычи. Онъ высыпалъ всю добычу изъ кошеля и раскладывалъ куски на кучи. Вотъ эту сейчасъ съѣсть, эта пойдетъ на завтрашній день, эта куча предназначается къ продажѣ, а эту должно обратить въ сухари. Ѳедосѣй разсчитывалъ глубокомысленно, какъ банкиръ,

подводящій балансъ. Вообще, жизнь Ѳедосѣя была занятая, полная. Въ то время, когда онъ поселился у Горѣлова, онъ нашелъ довольно складную работу. На маслобойнѣ въ сосѣдней деревнѣ пала лошадь, возившая ремень, которымъ вертѣлись маслобойныя колеса. Узнавъ объ этомъ, Ѳедосѣй живо скаталъ на маслобойню и послѣ непродолжительныхъ переговоровъ подрядился возить колеса впредь до того времени, когда хозяиномъ будетъ пріобрѣтена новая лошадь, за что получалъ шесть копѣекъ въ сутки и мѣру толокна.

Никакого имущества Ѳедосѣй не имѣлъ; все у него было ободрано, рвано, вонюче. Но Ѳедосѣй не унывалъ никогда, довольный всѣмъ міромъ, всею своею жизнью, и въ томъ числѣ и своею одеждой. Однако, и у него были свои пристрастія. Во-первыхъ, онъ до безконечности любилъ сахаръ и постоянно имѣлъ его, хотя бы въ видѣ огрызка съ булавочную головку. Гдѣ онъ его доставалъ—неизвѣстно, но каждый вечеръ послѣ серьезной и утомительной дѣятельности за ужиномъ онъ сгрызалъ немножко сахару, и только тогда спокойно укладывался спать. Другою страстью его были рукава полушубка. Полушубокъ давно протухъ, истлѣлъ и износился,—званія его не оставалось,—но рукава остались. Ѳедосѣй неизмѣнно надѣвалъ ихъ на руки и говорилъ, что безъ нихъ ему давно бы пришелъ смертный часъ. Онъ ихъ любилъ, берегъ и боялся, какъ бы ихъ не украли.

Горѣловъ въ первое время усиленно наблюдалъ Ѳедосѣя и, въ концѣ-концовъ, къ своему собственному удивленію, сталъ жалѣть его. Иногда онъ кое въ чемъ помогалъ ему, иногда давалъ ему кашицы. Ѳедосѣй за это такъ привязался къ нему, что въ дождливое время отдавалъ ему на храненіе рукава.

Въ рѣдкія минуты у Горѣлова являлось желаніе вмѣшаться въ дѣла деревни. Такъ было черезъ недѣлю послѣ того, какъ въ его домѣ поселился Ѳедосѣй. Егора Ѳедорыча потребовали на сходъ, и онъ не отказался идти. На очереди стояли два вопроса. Во-первыхъ, пустить Рубашенкова съ лавочкой или отказать ему. Второй вопросъ заключался въ томъ, согласны-ли міряне сдѣлать единовременный взносъ одной копѣйки съ души на покупку канцелярскихъ принадлежностей для сборной избы, гдѣ сельскій писарь растратилъ всѣ слюни для выдуманнаго имъ способа дѣлать рыжія чернила,

и обозлился, вымаливая у бабъ гусиныхъ перьевъ, такъ какъ стальныя перья составляли для него неосуществимую мечту. Міряне, послѣ продолжительныхъ взаимныхъ оскорбленій, согласились на уплату одной копѣйки, которую, впрочемъ, рѣшено было выбить изъ мірянъ черезъ мѣсяцъ, по причинѣ безденежнаго сезона.

Горѣловъ раздраженно покачалъ головой и выбросилъ на столъ нѣсколько мѣдяковъ, — поступокъ, вызвавшій во всѣхъ присутствовавшихъ оцѣпенѣніе, а потомъ благодарность. Горѣловъ на этотъ разъ сдержался и отошелъ въ самый дальній уголъ, гдѣ на лавочкѣ помѣщался Прохоровъ, бывшій на этотъ разъ въ трезвомъ состояніи. Прохоровъ имѣлъ довольно жалкій видъ: короткіе штаны, открывавшіе голыя икры, коты на ногахъ, вмѣсто сапоговъ, не придавали ему бодрости; онъ робко прижался въ уголъ, не смѣлъ слова выговорить и чего-то стыдился. Сосѣдство же Горѣлова привело его въ полное смущеніе; онъ еще плотнѣе прижался къ углу, повидимому, желая влѣзть въ самую стѣну, чтобы скрыться тамъ.

Горѣловъ, конечно, и не думалъ пугать кроткаго Прохорова, который только вообразилъ это, потому что съ малыхъ лѣтъ былъ напуганъ всею совокупностью нехорошей жизни. Лицо Горѣлова, правда, исказилось злобою, но она относилась къ рѣшенію схода относительно Рубашенкова. Рѣшено было въ такомъ смыслѣ: по причинѣ того, что сладиться съ Рубашенковымъ нѣтъ возможности, то взять съ него четыре ведра, а лавочку пущай заводитъ. Это было обыкновенное рѣшеніе. Крестьяне чувствовали свою немощь и вознаграждали себя за безсиліе водкой.

Таково было обаяніе имени Рубашенкова. Это былъ природный житель деревни, который рано понялъ невыгоду быть битымъ дуракомъ. Нѣкогда постояннымъ занятіемъ его было выпусканіе хлѣба изъ амбаровъ посредствомъ пробуравленія дыръ, но затѣмъ онъ нашелъ это рукомесло невыгоднымъ и бросилъ его; отъ него остались только незначительные признаки на лицѣ, а именно: рубецъ на лбу, ближе къ лѣвому виску, и поротое лѣвое же ухо. Онъ сдѣлался подрядчикомъ у Тараканова, занимался наймомъ рабочихъ, которые боялись его пуще огня. Въ немъ была одна глубокая, совершенно немошенническая черта: онъ страшно, система-

тически мстилъ за свое прошлое. Иногда онъ не обращалъ вниманія даже на матеріальные интересы свои, чтобы только удовлетворить жажду мести къ крестьянамъ,—мести, которая сдѣлалась его наслажденіемъ и сознательнымъ удовольствіемъ, почти усладой его темной жизни. Онъ насмѣшливо издѣвался надъ пойманнымъ крестьяниномъ и радовался до одуренія, когда послѣдній валился къ его ногамъ. По большей части онъ прощалъ его. Впрочемъ, и матеріальные интересы его не страдали; онъ уже завелъ въ нѣсколькихъ деревняхъ мелочныя лавочки, а теперь думалъ устроиться съ лавочкой и въ той деревнѣ, гдѣ жилъ Горѣловъ.

Горѣловъ протискался впередъ и заговорилъ. Послѣ нѣкоторыхъ усилій ему удалось заставить себя слушать. Онъ говорилъ толково, но волновался и задыхался. Онъ увѣрялъ, что жизнь идетъ нехорошо; настоящихъ людей нѣтъ, остались какія-то твари худыя. Главное, нѣтъ ума и Бога! „Живемъ мы, можно прямо сказать, не для себя и не для другихъ прочихъ, а такъ, для полоумныхъ пустяковъ... Второе—науки намъ нѣтъ, по причинѣ чего и идетъ эта безтолочь. Подумайте сами: неужели-жь нѣтъ никакого сладу съ этимъ Рубашенковымъ, прямо сказать, негодяемъ, который радъ, что нашелъ уйму дурачья, а это дурачье пьетъ за его здоровье ведрами?“...

— По моему разсужденію,—кончилъ Горѣловъ,—съ лавочкой Рубашенкова не допускать, а чтобы онъ больше не путалъ народъ, прописать ему мірской приговоръ въ томъ смыслѣ, что, молъ, видѣть его больше не желаемъ.

Горѣловъ замолчалъ какъ-то вдругъ. Лицо его сразу осунулось, и онъ безнадежно слушалъ гамъ, поднявшійся затѣмъ. Большинство сначала перетрусилось до невѣроятности, услышавъ предложеніе; нѣкоторые побѣлѣли, какъ снѣгъ. Третьи закричали, выражая накипѣвшую злобу противъ своего безсилія, что надо бы, давно надо бы спровадить его этакимъ манеромъ. За ними почувствовалъ приливъ злобы и весь сходъ. Со всѣхъ сторонъ кричали: „Чтобы и другому псу неповадно было!“ Потомъ всѣ принялись ругать и издѣваться надъ Рубашенковымъ. Каждый старался выкрикнуть самый ѣдкій эпитетъ, самое вонючее слово. Егоръ Ѳедорычъ ушелъ, — невозможно было дышать въ этой атмосферѣ. Онъ понялъ, что дѣло вонючими словами только и

ограничится. Но то, чтобы онъ пораженъ былъ невыгорѣвшимъ предложеніемъ... что ему Рубашенковъ?—онъ и говорить-то не хотѣлъ объ этомъ негодяѣ. Онъ желалъ только взволновать душу крестьянскую, заставить одуматься, а вышло совсѣмъ иное, совсѣмъ противное, полоумное.

— Поди-жь ты... мочи не стало,—сказалъ съ отчаяніемъ Горѣловъ, идя домой, на другой конецъ села. Онъ шелъ, не обращая вниманія ни на что, всецѣло погруженный въ себя. Вдругъ позади его раздалось шлепанье котовъ, усиленные плевки и грозная рѣчь. Какъ оказалось, это бурлилъ Прохоровъ, успѣвшій зайти въ кабачокъ и выпить, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы потерять обычную робость и сдѣлаться гордымъ. Онъ гордо шлепалъ котами и разсуждалъ о своемъ умѣ, но, по обыкновенію, доказывалъ это положеніе издалека. Сначала онъ разговаривалъ съ какимъ-то невидимымъ врагомъ, который, должно быть, оспаривалъ его положеніе, но, замѣтивъ Горѣлова впереди, принялся его вызывать на словопреніе, а если можно, и на бой. Горѣловъ молчалъ.

— Позвольте, господинъ умникъ, остановить васъ малость...

Горѣловъ, какъ будто ничего не слыша, продолжалъ шагать.

— Позвольте съ вами одинъ моментъ поговорить,—продолжалъ приставать Прохоровъ, но, не встрѣтивъ возраженія, сталъ разговаривать съ затылкомъ Горѣлова.—Позвольте, умница вы наша, теперь узнать, что есть жукъ... въ какомъ разсужденіи у васъ жукъ?

Волей-неволей Горѣловъ слушалъ и на этотъ разъ съ недоумѣніемъ.

— Не знаете? Вотъ то-то и оно! А еще умникъ!... Жукъ есть самая послѣдняя, напримѣръ, тварь, въ которой существуетъ естественная глупость. Сидитъ этотъ жукъ въ навозѣ, жретъ этотъ навозъ и ни въ какомъ случаѣ свѣту Божьяго не видитъ. Но никто не смѣетъ сказать ему: подлецъ ты, жукъ, дуракъ! Никто не смѣетъ, потому что онъ живетъ по-жучьему, по своимъ правиламъ. Вѣрно я разсуждаю?

Горѣловъ прислушивался, и на его сумрачныхъ чертахъ появилась слабая улыбка.

— Теперь позвольте васъ спросить, господинъ умникъ,

какое дать названіе мірянину нашему, этому православному-то мужику, одру-то нашему?

— Не знаю,—невольно отвѣчалъ Горѣловъ.

— Онъ есть жукъ...

— Кто?

— А мірянинъ-то, съ которымъ по глупости нынче вы разсуждали, оболтусъ-то нашъ... Онъ—жукъ, говорю. Живетъ онъ въ навозѣ, жретъ этотъ самый навозъ, а свѣту Божьяго не видитъ... А умнѣйшій человѣкъ во всей округѣ, господинъ Горѣловъ, считаетъ, что имѣетъ полное право ругать его: ахъ, ты, дуракъ, дуракъ! скотина, молъ, ты чумазая!

Лицо Прохорова засіяло радостнѣе, и онъ принялся говорить о своемъ умѣ, ругая Горѣлова и всѣхъ. Послѣдній долго ничего не отвѣчалъ, и, только подойдя къ своему дому, оборотился къ Прохорову и возразилъ ему заразъ на все.

— Ежели бы ты въ самомъ дѣлѣ былъ умный мужикъ, такъ ты бы допрежь всего этого подумалъ, откуда свѣту-то Божьяго получить, съ какой стороны, отъ какого солнышка?... А потому скажу: ахъ, ты, дуракъ, дуракъ! Пошелъ лучше спать, пьяная рожа!

Горѣловъ поплелся къ своей избѣ, а Прохоровъ, отъ неожиданности, на одно мгновеніе даже отрезвѣлъ; съежился, струсилъ и пугливо посматривалъ на уходившаго Горѣлова.

— Оголтѣлъ народъ душевно!—сказалъ Горѣловъ задумчиво, по приходѣ въ свою избу. Онъ задумался надъ этимъ случаемъ, надъ Прохоровымъ, надъ его пьянствомъ. Но незамѣтно для себя онъ пересталъ питать презрѣніе къ пропойству, которое сдѣлалось предметомъ его мысли, и не ругалъ пропойцевъ, потому что принялся объяснять ихъ. Такая перемѣна особенно рѣзко объявилась въ другомъ случаѣ, на который онъ случайно натолкнулся черезъ нѣсколько дней. Случай этотъ представилъ своею особой Портянка.

Его настоящее имя было Тимоѳей, фамилія—Портянковъ, но его всѣ звали просто Портянкой,—до такой степени онъ упалъ во мнѣніи всѣхъ. Онъ всегда находился въ состояніи безсознательномъ. Былъ-ли онъ пьянъ, или трезвъ, онъ всегда оставался безчувственнымъ. Время онъ дѣлилъ такъ: всю недѣлю работалъ, въ воскресенье пилъ, присоединяя иногда къ праздничному дню и понедѣльникъ, и не останавливаясь

передъ закладомъ портковъ, если они не были надѣты въ моментъ жажды. Лицо его всегда было одутлое и больное, хотя толстое, подобно свиному пузырю; глаза безсмысленны. Но здоровье еще оставалось въ немъ. Всѣ съ охотой брали его на работу, потому что онъ не обращалъ вниманія, выдержитъ его пупъ или треснетъ. Что бы ни заставили его дѣлать, онъ безмолвно ворочалъ, возилъ, таскалъ съ покорностью слона. Онъ буквально молчалъ нѣсколько лѣтъ, и если пытался иногда выразить что-нибудь, то крайне безтолково и безсвязно: онъ разучился говорить.

И пьяный онъ никогда не говорилъ. Тогда онъ падалъ даже ниже: молча напьется, выйдетъ на улицу — хлопъ, и лежитъ безъ движенія,—лежитъ до тѣхъ поръ, пока работодатель, нанявшій его, самъ не придетъ и не растолкаетъ его пинками.

— Эй, ты, бревно, будетъ тебѣ отдыхать!—кричитъ онъ, пуская въ ходъ пинки.

— Вставай, одеръ! Довольно ужь поспалъ!—съ большимъ нетерпѣніемъ кричитъ хозяинъ и съ большимъ остервенѣніемъ будитъ „одра“.

Послѣ этого Портянка вставалъ и покорно слѣдовалъ за хозяиномъ, но не просыпался, потому что спалъ вѣчно, безпрерывно, какъ въ могилѣ.

Когда Егоръ Өедорычъ къ вечеру этого дня вышелъ изъ дому, чтобы поразспросить въ деревнѣ, нѣтъ-ли какой работишки на завтрашній день, онъ наткнулся внезапно на лежавшаго безъ движенія Портянку и невольно остановился надъ нимъ. Но въ эту минуту къ нему подходилъ Миронъ Уховъ.

— Никакъ Портянка?—еще издали сказалъ онъ.—Такъ и есть, онъ самолично. Я его искалъ-искалъ, а онъ вотъ. Здорово, Егоръ Өедорычъ!

Послѣдній отвѣтилъ на привѣтствіе, а Миронъ принялся будить Портянку.

— Эй, ты, быкъ, поворачивайся! — кричалъ онъ, толкая спящаго.

Портянка не шевелился. Миронъ употребилъ болѣе энергическія мѣры.

— Бусь...—послышалось глухо, какъ изъ-подъ земли. Это говорилъ Портянка.

— Шевелись, бревно проклятое! Некогда мнѣ съ тобой тутъ валандаться!

— Бусь... бубусь...—возразилъ Портянка.

— Вотъ до чего налопался... что есть слова путнаго не выговоритъ!—сказалъ Миронъ, тяжело переводя духъ и обращаясь къ Горѣлову.

— Да зачѣмъ онъ тебѣ?—спросилъ Горѣловъ.

— Онъ нанялся. Завтра чуть свѣтъ въ поле... А не разбуди его, до полденъ завтра пролежитъ, какъ бревно!

— Что же ты съ нимъ хочешь сдѣлать?

— Утащить къ себѣ, чтобы съ глазъ не спускать.

— А какъ ты его утащишь?—удивленно замѣтилъ Горѣловъ.

— Какъ ни то надо... За ноги, что-ли... А то бы ты помогъ!—обратился Миронъ съ просьбой.

Горѣловъ согласился. Вдвоемъ они подняли Портянку, взяли его подъ руки и повели. Дорогой Портянка велъ себя нехорошо, валясь то на ту, то на другую сторону, то устремляясь впередъ, то пятясь назадъ. Для предотвращенія этихъ колебаній, Миронъ хлопалъ Портянку то по переду, то по заду, смотря по надобности. Лицо Горѣлова затуманилось состраданіемъ, но глаза выражали злобу.

— Зачѣмъ ты его бьешь? Лѣчить его надо!—сказалъ онъ Мирону.

Миронъ больше не дѣлалъ изъ своего кулака руля для направленія пути Портянки. Онъ разсказалъ Горѣлову свое горе, состоявшее въ томъ, что, вслѣдствіе хлопотъ надъ костями, онъ не можетъ самъ завтра выѣхать въ поле докосить лужокъ, а на Портянку не полагается вполнѣ, опасаясь, какъ бы онъ и на завтрашній день не остался въ безчувствіи.

— Ежели бы ты помогъ, а?—съ заискивающею лаской обратился Миронъ къ Горѣлову.

— Что же, мнѣ все одно, гдѣ ни работать, — согласился Горѣловъ.

Миронъ несказанно обрадовался, найдя двухъ такихъ невзыскательныхъ работниковъ. Остальная часть дороги прошла безъ всякихъ приключеній. Портянку благополучно привели на мѣсто, именно на погребушку, предварительно давъ тѣлу его положеніе дуги, и положили его на солому.

Егоръ Ѳедорычъ постоялъ еще съ минуту въ задумчивости и отправился домой.

Ему очень дурно работалось у Мирона, вялость на него напала такая, что по вечерамъ онъ отказывался отъ ужина, недоумѣвая, спать ему или не спать. Къ довершенію его глухого недовольства, работы у Мирона растянулись на цѣлую недѣлю: то сѣно было мокро отъ дождя, то слишкомъ сильно дулъ вѣтеръ, и нельзя было его метать въ стога. Хотя онъ и говорилъ, что ему все одно, гдѣ ни работать, но Миронъ надоѣлъ ему. Одинъ видъ этого суетливаго, вѣчно мечущагося мужичка раздражалъ его. Къ нему возвратились обычныя чувства—тоска и злоба, силу которыхъ Миронъ ежеминутно увеличивалъ своею возмутительною дѣятельностью.

Онъ, этотъ самый Миронъ Уховъ, былъ настоящій „трудолюбивый муравей“. Всю жизнь онъ о чемъ-то хлопоталъ, за что-то страдалъ и чего-то ужасался. Ужасался—вотъ слово, которое хотя нѣсколько опредѣляетъ и объясняетъ внутреннее его состояніе. Голодный-ли червь сидѣлъ въ немъ и жралъ его, напуганъ-ли онъ былъ съ дѣтства какимъ-нибудь случаемъ—кто его знаетъ? Какъ бы то ни было, жизнь для него была чрезвычайно печальнымъ обстоятельствомъ, пугавшимъ его до такой степени, что онъ рѣшительно не зналъ, что съ ней дѣлать. Мучился онъ тамъ, гдѣ для другого была только ничтожная непріятность. Стала въ эту весну у его лошадки лѣзть шерсть, такъ онъ измаялся, глядя на нее, словно у него у самого лѣзла шерсть; въ продолженіе мѣсяца онъ все похаживалъ около нея и съ смертельною тревогой поглядывалъ, заранѣе приготовляя себя къ мысли, что лошадка околѣетъ.

Этотъ ужасъ ко всему на свѣтѣ былъ вполнѣ неоснователенъ. Мужикъ жилъ ладно, не нуждался особенно и не таскался по міру. Весь его дворъ и домъ, имущество и хозяйство носили на себѣ слѣды неусыпности хозяина. Только все это было въ маломъ видѣ. Крохотная избушка его имѣла одно окошечко со стеклами и одно съ тряпицей. Дворъ его, также микроскопичный, окруженъ былъ какими-то ничтожными строеніями, похожими будто бы на амбары, сараи, погреба. Это и на самомъ дѣлѣ были амбары, сараи и т. д., но значительно уменьшеннѣе противъ естественной величины. Въ сарайчики и погребушки онъ и его домашніе ходили слѣдующимъ замысловатымъ способомъ: надо было изогнуться налѣво, держась одною рукой за правый косякъ, потомъ на-

клониться впередъ и тогда лѣзть. Въ амбарушку же ходили почти на четвереньках. Что касается скота домашняго, то у Мирона онъ былъ, какъ на подборъ,—все малый и ничтожный, но сытый. О лошадкѣ уже было упомянуто; у него одно время жила большая лошадь, но онъ ее не полюбилъ, называлъ „дылдой", потому что долженъ былъ съ большими трудностями затаскивать ее въ сарайчикъ, пихая сзади. За это онъ ее живо промѣнялъ на ярмаркѣ. Была у него еще безрогая корова, которою онъ иногда хвастался, увѣряя, что молока она даетъ много. Еще у него была безхвостая свинка. Но нѣтъ нужды перечислять всѣ чудеса хозяйства Ухова; достаточно сказать, что у него всего было по немногу и въ маломъ размѣрѣ. Тѣмъ болѣе неумѣстенъ былъ его ужасъ. Мало того, что онъ изнурялъ свое сознаніе дѣйствительными несчастіями, совершавшимися съ нимъ, онъ самъ выдумывалъ разные мнимые страхи. То вдругъ вообразитъ, что коровку его волки слопали, причемъ откуда-то добудетъ извѣстіе, что видѣли копыта и хвостъ, принадлежащіе его коровкѣ, то неожиданно, среди глубокой ночи, поражаетъ себя чудовищною мыслью, что въ амбарушкѣ появились стада мышей и грызутъ его хлѣбъ, послѣ чего ужь не можетъ заснуть до утра и даже будитъ всѣхъ домашнихъ. И все это неправда; дѣйствительно, жили въ амбарушкѣ мыши, но, посадивъ на слѣдующее утро туда кота, онъ съ помощью его ничего не поймалъ и черезъ три дня долженъ былъ выпустить несчастное животное еле живымъ отъ голода.

Ужасы, придумываемые Мирономъ, касались иногда дѣлъ иного рода. Такъ, нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, неизвѣстно какимъ путемъ онъ рѣшилъ въ умѣ, что за недоимки будутъ впредь давать по 333 лозы, и только тогда убѣдился въ неправдѣ своего страха, когда на самомъ себѣ испыталъ фактическое опроверженіе, доказавшее, что количество лозы осталось прежнимъ. Въ прошломъ году онъ создалъ еще бóльшую нелѣпость, воображая самъ и увѣряя всѣхъ, что теперь за долги худыхъ мужиковъ станутъ отдавать въ рабство вмѣстѣ съ землей Рубашенкову.

Горѣловъ съ нетерпѣніемъ ждалъ дня, когда сѣно у Мирона будетъ убрано, а до тѣхъ поръ, въ глаза и за глаза, выражалъ свой взглядъ на хозяина. „Кажись, человѣкъ ничего себѣ, ладный, а, между прочимъ, вполнѣ дуракъ,—столько

этого полоумства въ ёмъ, чисто какъ звѣрь неразумный!“ —сказалъ однажды Горѣловъ, обращаясь къ своему товарищу Портянкѣ. Въ отвѣтъ на это товарищъ сочувственно хрюкнулъ. Наконецъ, работа кончилась. Но напослѣдокъ Миронъ поразилъ-таки себя ужасомъ. Замѣтивъ, что нѣсколько горстей сѣна остались не прибранными и разсѣянными по лугу, онъ сначала оцѣпенѣлъ, а потомъ съ страшнымъ укоромъ посмотрѣлъ на Горѣлова. Послѣдній, однако, не обратилъ вниманія на его страданія и вмѣстѣ съ Портянкой поторопился оставить его.

Въ слѣдующіе дни Горѣловъ и Портянка ходили на заработки вмѣстѣ. Между ними завязалось нѣчто вродѣ дружбы. Портянка кротко подчинялся Горѣлову, незамѣтно подпавъ подъ его вліяніе. Горѣловъ не сердился на то, что товарищъ его никогда не говорилъ, и, можетъ быть, потому только и почувствовалъ симпатію къ нему, что тотъ умѣлъ лишь мычать.

На слѣдующій день они нанялись къ нѣкоему Зюзину, крестьянину ихъ деревни, убирать съ нимъ и его семействомъ лугъ. Здѣсь оказалось, что Горѣлову не все равно было, гдѣ ни работать. Все, что напоминало ему прошлое, что раздражало его и дѣлало изъ него безпокойнаго человѣка, мгновенно выплыло наружу, когда онъ увидалъ Зюзина и провѣрилъ своими очами разсказы, ходившіе про этого человѣка въ деревнѣ. Войдя къ Зюзину въ избу, онъ подумалъ, что попалъ не туда, а въ нищенскій пріютъ; точно также онъ не повѣрилъ, что видитъ самого Зюзина, который предсталъ передъ нимъ въ видѣ одного изъ нищихъ, которые сидятъ на паперти церквей. Онъ былъ худой, съ костлявыми руками, съ воспаленными, подозрительными глазами; отъ его лохмотьевъ, болтавшихся на изморенномъ тѣлѣ, пахло чѣмъ-то рѣзкимъ, отвратительнымъ. Горѣлову показалось, что онъ трясется, но это былъ просто обманъ зрѣнія, потому что на самомъ дѣлѣ онъ выглядѣлъ неподвижнымъ скелетомъ; это было просто обманчивое впечатлѣніе, производимое имъ на каждаго вновь знакомившагося. При первыхъ же словахъ, въ разговорѣ съ двумя рабочими, онъ выразилъ жалость, что онъ бѣдный человѣкъ, взять съ него нечего. „Ужь вы не взыщите, родимые, насчетъ хорошей платы, какъ передъ Богомъ—нѣту!“—говорилъ онъ. Горѣловъ и Портянка согласились, однако, работать. Но всѣ дни, пока длилась уборка

сѣна, Горѣловъ раздражался, не вынося даже вида дѣтей и всего семейства Зюзина. Кормилъ работниковъ Зюзинъ какимъ-то каменнымъ хлѣбомъ и водой. Оказалось, что хлѣбъ былъ хорошій, но его пекли три недѣли тому назадъ.

— Хлѣбъ-то у меня, родимые, чуточку черственекъ, а хорошій, вы только покушайте, питательный хлѣбецъ!—говорилъ Зюзинъ во время обѣда въ полѣ, и Горѣлову опять показалось, что рука Зюзина, въ которой онъ держалъ кусокъ хлѣбца, трясется.

— Собака, пожалуй, съѣстъ!—коротко замѣтилъ Горѣловъ.

— Зачѣмъ собака?... Даръ-то Божій нельзя бросать всякому псу смердящему... Онъ хоть и крѣпкій, а пользительный хлѣбецъ... Кушайте, родимые!

Горѣловъ долго всматривался въ лицо хозяина, и на его языкѣ уже вертѣлись слова: песъ смердящій, но онъ промолчалъ. Впрочемъ, онъ и Портянка нашли способъ ѣсть „хлѣбецъ“: они съ утра клали его въ озерко, находившееся подлѣ луга, и „хлѣбецъ“ нѣсколько разбухалъ.

Но напрасно Горѣловъ обращалъ свое отвращеніе и на семейство Зюзина, которое ни въ чемъ не было виновато. Дѣти его были несчастными, заморенными и запуганными существами: худыя, съ коростами на головахъ, глупыя и и вялыя до полной безжизненности. Его жена и сноха солдатка также представляли собой что-то въ этомъ родѣ, обѣ женщины носили на себѣ рѣзкую печать нравственнаго отупѣнія. Одежда ихъ всегда была такъ паскудна, что возбуждала гадливое чувство даже въ деревнѣ; онѣ едва были прикрыты. Таково было вліяніе Зюзина на свою семью. Жизнь его самого была до крайности несчастна, полна лишеній, нужды и всякаго рода грязи. Но онъ еще добровольно подвергался лишеніямъ. Онъ буквально морилъ голодомъ себя, семью и домашній скотъ, подвергая всѣхъ безграничнымъ страданіямъ. Одна у него была радость - копить деньги; это была неутолимая жажда, ради удовлетворенія которой онъ не щадилъ ни себя, ни родныхъ. Хлѣбъ, скотъ, молоко, яйца, солома, мякина,—все, что попадалось въ его костлявыя руки, онъ тащилъ въ городъ и продавалъ. Его разоренное хозяйство, его заброшенный, потонувшій въ нечистотѣ, срамной дворъ такъ и носили на себѣ слѣды постоянной распродажи и опустошенія, какъ будто хозяинъ на-

мѣревался все бросить и уйти. Эта распродажа шла круглый годъ, и круглый годъ дѣти и жена со снохой не имѣли отдыха и не знали покоя передъ жгучимъ взглядомъ хозяина, который все высматривалъ, что бы еще стащить и продать для удовлетворенія ненасытной жажды желтыхъ бумажекъ. Полученную бумажку онъ клалъ въ знакомый черепокъ, черепокъ засовывалъ въ старое голенище, а старое голенище спускалъ въ подполье, гдѣ у него была особая трещина. Выгнавъ изъ избы семейство, онъ запирался, спускался въ подполье и тамъ наслаждался медленнымъ счетомъ бумажекъ. Онъ шепталъ: „разъ... два...“ и замиралъ на мѣстѣ. Капиталъ его доросъ уже до цифры 45 руб., которые онъ вымучилъ изъ себя и изъ своего семейства въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, но эта сумма не удовлетворяла его. Пятнадцать лѣтъ копилъ. Это совершенно вѣрно, ибо пятнадцать лѣтъ назадъ онъ былъ славный, добрый мужикъ, хотя бѣднягой никогда не переставалъ быть.

Какъ могъ появиться этотъ странный человѣкъ, этотъ заморышъ, этотъ іуда-стяжатель въ деревнѣ, гдѣ ни стяжать, ни копить нечего, гдѣ каждая дрянь сейчасъ же идетъ на дневное продовольствіе и гдѣ надо вымучивать себя, чтобы припрятать нѣчто на черный день? Или съ нимъ произошло какое-нибудь потрясающее событіе, показавшее ему ярко невѣрность существованія, случайность счастія и безправіе лица? Или жизнь его была слишкомъ безсодержательна, чтобы дать ему иную цѣль, кромѣ опустошенія дома и вымучиванія копѣйки? Или вся вообще окружающая жизнь была смердящая и циничная?

Когда Горѣловъ съ товарищемъ стали по окончаніи работы разсчитываться съ Зюзинымъ, онъ съежился и поблѣднѣлъ. Отойдя далеко отъ нихъ, онъ сталъ считать деньги, перекладывалъ ихъ съ одной ладони на другую и мучительно, съ лихорадочнымъ взглядомъ, не рѣшался отдать ихъ, боясь, что обсчитался. Наконецъ, отдалъ.

— Не хватаетъ одиннадцати копѣекъ,—возразилъ Горѣловъ, не скрывая своего раздраженія.

— Что ты! что ты, Господь съ тобой!—судорожно заговорилъ Зюзинъ.

— Погляди самъ.

— Ахъ, ты, грѣхъ какой!... Не хватаетъ, говоришь?

— Само собой, не хватаетъ.

— Одиннадцати копѣекъ, говоришь? Ахъ, вы, родимые соколики, вѣдь у меня ихъ нѣту... одиннадцати-то копѣекъ, какъ передъ Богомъ!

— Прихвати у кого,—сказалъ Портянка.

— Одиннадцать-то копѣекъ?... Милые мои голубки, да кто же мнѣ дастъ? Такъ не хватаетъ, говоришь?

Горѣловъ остановилъ пристальный взглядъ на фигурѣ Зюзина, какъ будто изучая его; потомъ вдругъ сказалъ:

— Да пропади ты съ одиннадцатью копѣйками, собака!... Пойдемъ, Василій, вонъ!

И они пошли вонъ. На этотъ разъ Горѣловъ рѣшилъ уйти вонъ на нѣкоторое время совсѣмъ изъ деревни, куда-нибудь подальше. Онъ пригласилъ съ собой Портянку. Послѣдній согласился безмолвно ходить по окрестностямъ и добывать пропитаніе. Они оба привязались другъ къ другу. Портянка во всемъ подчинялся Горѣлову, безпрекословно его слушался, глядѣлъ ему въ глаза. Почему Горѣловъ пріобрѣлъ надъ нимъ такую власть, трудно сказать, но онъ ничего не проповѣдывалъ, не ругалъ его, между тѣмъ, въ слѣдующій же день по уходѣ изъ срамнаго двора Зюзина Портянка провелъ трезвымъ, хотя этотъ день былъ воскресенье. Горѣловъ просто сказалъ ему:

— Ты, Василій, не пей, погоди.

И Василій не напился. Въ первый разъ онъ умылся, причесался и смирно сидѣлъ на лавочкѣ передъ избой Горѣлова; взоръ его былъ кроткій, довольно смышленый, хотя сидѣлъ онъ какъ истуканъ. Онъ не зналъ, какъ ему убить время. У него въ карманѣ лежалъ заработокъ въ видѣ мѣди, и онъ нѣсколько разъ высыпалъ его на ладонь и съ глубокимъ недоумѣніемъ разсматривалъ. Рѣшительно у него не было никакого дѣла въ жизни. Мало-по-малу онъ проникался одною мыслью... Когда-то онъ мечталъ купить красную рубаху, бѣлый платокъ на шею, сапоги и хорошую шапку, но это было давно, мечта не осуществилась, и онъ забылъ ее. Теперь, въ этотъ новый для него день, онъ что-то припомнилъ, и это сильно воодушевило его. Онъ сознательно хотѣлъ теперь работать, чтобы добыть необходимыя средства для приведенія въ исполненіе давнишняго желанія.

Горѣловъ какъ-то проникъ въ эти тайные помыслы и сказалъ ему сочувственнымъ тономъ:

— Ты, Василій, не бойся... Одежда у тебя будетъ, рубаха, напримѣръ...

— И портки бы...—замѣтилъ смущенно Василій.

— И они будутъ.

— Чтобы ужь и сапогъ былъ настоящій...

— И сапогъ... все будетъ. Только погоди пить. Походимъ и заработаемъ.

Горѣловъ говорилъ твердо; Портянка смотрѣлъ ему въ глаза, и видно было, что онъ безгранично вѣрилъ своему другу. Такъ и не пилъ въ этотъ день.

Горѣлова въ этотъ день попросилъ къ себѣ Синицынъ, мѣстный учитель. Онъ только лишь хотѣлъ везти закупленную астраханскую селедку на распродажу, какъ увидалъ, что рыба дала духъ; надо было разбирать ее, промывать и перекладывать—дьявольская работа, съ которой Синицынъ не могъ сладить. Вотъ почему онъ и прибѣжалъ утромъ къ Горѣлову, умолялъ помочь ему. Отъ него пахло рыбой; ноги его были обуты въ стоптанные смазные сапоги; онъ былъ въ жилеткѣ. Странная это была личность, но при знакомствѣ загадочный его видъ вполнѣ объяснялся: это былъ просто несчастный промышленникъ. На его рукахъ лежало большое семейство, состоявшее изъ восьми человѣкъ включительно, а жалованья онъ получалъ только семь рублей, которые съѣдались съ ужасающею быстротой. Чтобы пополнить пробѣлъ въ своемъ фальшивомъ бюджетѣ, бѣдняга долженъ былъ въ продолженіе всего лѣта, не щадя живота, добывать средства къ зимѣ, то сѣяніемъ огурцовъ, то перепродажей яблоковъ, а также астраханскою селедкой. Разумѣется, онъ мало походилъ на учителя. Онъ былъ простодушный, во всѣхъ отношеніяхъ простой человѣкъ; онъ мужественно боролся съ нуждой, но не съ невѣжествомъ, съ которымъ онъ не могъ сладить и въ своей-то головѣ; очевидно также, что для своего дѣла учительскаго онъ былъ въ положеніи отребья. Нынѣшнее лѣто вышло для него неудачное. Купилъ онъ рыбу дорого, а спросъ на нее остановился, къ тому же, она протухла. Цѣлый день до темной ночи онъ съ помощью Горѣлова бился надъ бочками.

Поработавъ съ Синицынымъ до полночи, Егоръ Ѳедорычъ

пошелъ-было домой. Онъ вышелъ на улицу, гдѣ его охватило холодомъ и мракомъ. Было сыро, дулъ вѣтеръ. Ему вдругъ стало жутко, и онъ рѣшилъ вернуться. Цѣлый день онъ мучился недоумѣніемъ: поговорить съ учителемъ или не надо? Ему страстно хотѣлось что-нибудь узнать, и онъ остановился въ нерѣшимости на площади. Онъ пошатался еще немного и пошелъ назадъ. Придя къ воротамъ учителя, онъ тихонько постучалъ, но, не получивъ отклика, сѣлъ около калитки, не рѣшаясь еще постучать. Онъ сидѣлъ около калитки, съежившись, засунувъ руки за пазуху кафтана, и не шевелился. Наконецъ, онъ постучалъ въ окно.

— А! это ты?—замѣтилъ Синицынъ при видѣ его и принялся за прерванную работу въ сѣняхъ: ворочалъ бочки, надписывалъ на нихъ мѣломъ какія то цифры и перевязывалъ веревками. Но семейство его давно уже спало.

— Да, зашелъ поговорить, но опасаюсь, какъ бы тово... А ужь давненько я думалъ выпытать у тебя...—Горѣловъ сѣлъ на порогъ сѣней и пристально наблюдалъ за работой учителя.

— Насчетъ чего?—равнодушно спросилъ учитель.

— Да насчетъ нашего брата. Слыхалъ я, будто въ губернѣ насчетъ деревень нашихъ хлопочутъ, стало быть, касательно мужика... Мнѣ и занятно бы послушать, что такое, въ какомъ значеніи? Сказать такъ, къ примѣру, о нашей деревнѣ: вѣдь ужь ты самъ жилъ и видишь, что тутъ ничего больше, какъ худо, и даже силъ нѣтъ глядѣть... Одно слово—пусто!

— Конечно, бѣдность въ нашихъ мѣстахъ,—замѣтилъ учитель.

— Не то, чтобы бѣдность, чтобы жрать было нечего, а въ умѣ-то пусто. Вотъ что есть важное. Вѣдь ужь ты жилъ, своими глазами видѣлъ, какъ же эдакъ возможно жить? Вѣдь ужь онъ, житель-то нашъ, на кого онъ похожъ сталъ, спрошу я тебя? Какой образъ у него? Образа у него нѣтъ.

— Конечно, глупости у насъ довольно,—замѣтилъ учитель.

— И то! Глупости-то само собой водятся,—да нѣтъ, не въ томъ причина! Образу-то, лику-то у него нѣтъ. Хотя бы, къ примѣру, въ нашей деревнѣ, кто онъ такой—мѣщанинъ, купецъ или крестьянинъ? Вѣдь вотъ ужь до чего дѣло до-

шло! Насчетъ, напримѣръ, земли не то, чтобы отъ земли онъ совсѣмъ чурался,—какъ это возможно!—но и не занимается онъ ей, какъ слѣдуетъ быть, а только паскудитъ... Тамъ напаскудитъ, въ другомъ мѣстѣ напаскудитъ, а за мѣсто всего хорошаго получаетъ шишъ. А какъ шишъ-то ему объявился, и не разъ, и не два, а каждый Божій годъ, такъ ужъ онъ землѣ не радъ, ужъ онъ на нее вниманія не обращаетъ, не мила она ему!

— Само собой, не умѣетъ нашъ крестьянинъ обрабатывать по наукѣ, какъ предписываютъ земледѣльческія правила,—глубокомысленно подтвердилъ учитель.

— И не вдомекъ мнѣ теперь, почему такой срамъ идетъ? Главная его забота—монету словить; медомъ его не корми, а дай ты ему двугривенный. А коль скоро получилъ онъ монету, и никакой заботы ему нѣтъ, никакого основанія въ пустой башкѣ! И день, и недѣля, и мѣсяцъ только и норовитъ, какъ бы легкимъ способомъ монету зацапать, а не думаетъ, полоумный, что въ этой самой монетѣ и есть конецъ ему. Ежели же ужъ монета на умѣ, такъ какой же онъ крестьянинъ? Стало быть, жуликъ онъ выходитъ, а не то что честный житель.

Въ голосѣ Горѣлова звучало негодованіе.

— Конечно, подлости эти существуютъ въ нашихъ мѣстахъ.

— Не то онъ полоумный, не то дуракъ! Все у него идетъ въ раззоръ, все валится, а онъ вниманія не обращаетъ, только и есть эта жадность къ монетѣ...—Горѣловъ внезапно остановился, на мгновеніе задумавшись. — Или ужъ въ самомъ дѣлѣ измотался онъ, песъ его знаетъ?—сказалъ онъ.

— Да, нехорошо у насъ.

— Вотъ я и хочу у тебя спросить, насчетъ чего хлопочутъ въ губернѣ? Въ какомъ нынче значеніи житель-то нашъ? Слыхалъ я, что въ мѣщане приписываютъ... или останется онъ на прежнемъ положеніи?

— Хлопочутъ, чтобы какъ лучше ему было,—возразилъ учитель.—Ты вотъ не умѣешь читать, а я читалъ газету. Прямо написано: дать мужику въ нѣкоторомъ родѣ отдыхъ.

— Облегченіе?

— Облегченіе. По крайности, чтобы насчетъ пищи было благородно.

— А насчетъ прочаго?—съ тоской спросилъ Горѣловъ.

— Ну, въ отношеніи прочаго я тебѣ ничего пока не могу казать. Пока не вычиталъ. А какъ вычитаю, приходи, разкажу досконально.

Настало длинное молчаніе. Учитель молчалъ, потому что ѣйствительно „пока ничего не вычиталъ" и ничего не зналъ. орѣловъ понуро сидѣлъ на порогѣ. Кажется, что онъ уже аскаивался. Развѣ онъ это хотѣлъ сказать? Въ немъ биось что-то глубокое, таинственное, онъ хотѣлъ узнать саую середину, сердце своей мысли, допытаться до самаго ослѣдняго корня мучившихъ его вопросовъ, а вышли какіео „полоумные пустяки". Когда онъ поднялъ голову, выраеніе его лица было ужь совсѣмъ новое.

— А я такъ думаю, не миновать ему казни!—сказалъ онъ.

— Кому казни?—удивленно спросилъ учитель.

— Да жителю-то.

— Что ты говоришь?

— Да такъ... Не минетъ онъ казни. Помяни ты мое слоо: будетъ ему казнь! Ужели же пользу ему возможно сдѣать, ежели онъ ополоумѣлъ? Говоришь, хлопочутъ, да Госоди Боже мой, зачѣмъ? Стало быть, пришелъ же ему коецъ, какъ скоро онъ все одно что оглашенный. Нѣту ему ольше ходу, и никто не воленъ облегчить его. Не знаю... е знаю, какъ нашимъ ребятамъ... имъ бы помочь, а нашему рату, древнему жителю, ничего ужь намъ не надо! Одна диная дорога нашему брату старому жителю — къ бочкѣ рѣшной...

— Въ кабакъ?

— Пря-амехонько въ кабакъ! По той причинѣ, что никто е воленъ дать намъ другой радости, окромя этой...

Настало опять молчаніе. Синицынъ страдательно глядѣлъ а Горѣлова.

— А ты пьешь?... Я что-то не слыхалъ,—сказалъ онъ.

Горѣловъ покачалъ головой.

— Извини, что утрудилъ. Поздно, кажись. Пойду домой.

Утромъ слѣдующаго дня Горѣловъ въ сопровожденіи Порянки отправился въ путь, въ окрестныя деревни. Онъ ухаживалъ за своимъ товарищемъ, какъ за малымъ ребенкомъ, отдавалъ ему деньги свои, если послѣднія у него были, поку-

палъ ему табаку... И чѣмъ больше онъ былъ угрюмъ, тѣмъ ласковѣе былъ съ Портянкой.

Чтобы хоть сколько-нибудь уяснить состояніе Горѣлова, надо вспомнить время, доставшееся на его долю, и поколѣніе, къ которому онъ принадлежалъ и будетъ всецѣло принадлежать до послѣдняго своего вздоха, до самой могилы. Это странное поколѣніе нельзя назвать даже страждущимъ, несчастнымъ; оно не мучилось и не страдало до глубины сердца, потому что не боролось, потому что и не съ чѣмъ было бороться,—все билось, постепенно задыхаясь, но не жило, не страдало, не падало въ пропасти, не поднималось на высоту. Это было поколѣніе по преимуществу пустое, безсодержательное, въ которомъ не было дѣйствительной жизни, а лишь прозябаніе подъ спертымъ воздухомъ, безъ мрачной темноты, безъ яркаго свѣта, но и безъ холода; о немъ скоро забудутъ, оно вымретъ, не оставивъ послѣ себя слѣда, и если будутъ вспоминать его, то лишь за безпримѣрную, поразительную пустоту и безсодержательность.

Отчего оно не жило? Развѣ воля сама по себѣ не была потрясающимъ событіемъ, способнымъ стряхнуть всякую обузу съ головы? Нѣтъ, тогдашніе дни были памятны, глубоки, и, что главное, вносили содержаніе въ жизнь деревни, давая смыслъ ея существованію. Горѣлову въ то время минуло двадцать пять лѣтъ,—слѣдовательно, онъ сознательно пережилъ эту эпоху; однако, онъ не помнитъ, чтобы на его долю выпалъ хоть одинъ день свѣтлой радости и успокоенія. Всеобщая суматоха, страхъ возврата прошлаго, страхъ за будущее, взаимное объегориваніе и подсиживаніе судившихся тогда сторонъ, обоюдная жадность, распаленная дѣлежомъ крѣпостнаго имущества,—вотъ что онъ помнитъ. Но, несмотря на это, была дѣйствительная жизнь, настоящая, человѣческая, съ волненіями и борьбой, съ отчаяніями и надеждами, жизнь достаточно полная, чтобы дать смыслъ и цѣль существованію. Но что̀ было потомъ, что̀ дѣлалось въ послѣдующіе длинные годы, этого, хоть убей, онъ не помнитъ, не можетъ припомнить. Да и припоминать нечего, потому что во все это время стояла пустота безъ смысла и безъ опредѣленія. А въ этой безграничной деревенской пустотѣ, не заключавшей въ себѣ ни воздуха, ни свѣта, ни человѣческихъ волненій и борьбы, *ни событій,*—однимъ словомъ, ничего настоя-

щаго,— въ этомъ неопредѣленномъ полумракѣ и полужизни развелось мало-по-малу столько пустяшнаго „жителя“, который велъ не настоящее, а пустяшное существованіе, что отъ него не стало проходу, все онъ заполонилъ собой...

Плоское это было время, безпутное. Довело оно жителя до пустяшности не вразъ, а потихоньку, незамѣтно подкрадываясь къ нему. Въ тотъ самый моментъ, какъ житель воображалъ, что онъ все еще живетъ, его ужь давно ошеломили. Медленно, тихо, въ продолженіе десятковъ лѣтъ это распутное время мотало „жителя“, такъ же тихо и незамѣтно, какъ трусливый развратникъ мотаетъ достояніе своихъ родныхъ. И вотъ „житель“ все убывалъ, убывалъ, пока не умалился до такой степени, что трудно стало различать въ немъ полную человѣческую фигуру. И не въ томъ бѣда, что у ошельмованнаго „жителя“ пищи не стало,—мысль-то его одурѣла! Вотъ та причина, которая ухлопала его на-повалъ. Получая отъ всѣхъ предпріятій нѣчто невыразимо малое или, по словамъ Горѣлова, „шишъ“, житель сперва приходилъ въ изумленіе отъ такого страннаго результата и продолжалъ свои предпріятія съ достойною лучшей участи энергіей, но когда „шишъ“ сталъ получаться хронически, ежегодно, ежемѣсячно и, можно сказать, ежечасно, когда послѣ всякой египетской работы получался все тотъ же странный „шишъ“,— онъ одурѣлъ и началъ метаться, подобно угорѣлому, а такъ какъ распутное время ему опомниться не давало, то онъ окончательно и вполнѣ сталъ „полоумнымъ“, упорно гонялся все за тѣмъ же „шишомъ“, который сдѣлался его цѣлью, конечнымъ желаніемъ и почти-что идеаломъ. Послѣ паденія крѣпостного рабства жителю предстояла новая жизнь, развитіе, а тутъ онъ принужденъ былъ бороться съ пустяками и ради пустяковъ. Пропустивъ черезъ свою душу и сердце милліонъ этихъ „шишей“, онъ и мысль свою довелъ до степени „шиша“, да и самъ сталъ шишомъ, съ котораго взять рѣшительно нечего... Житель умалился до ничтожества, въ немъ не стало больше руководящей думы, которая проникла бы все его существо до мозга костей, пропалъ въ немъ интересъ къ подлинной жизни, и лишился онъ Божьей искры, которая грѣла бы его нахолодѣвшее сердце и свѣтила бы его мысли... Нѣтъ, рѣшительно, это обездоленное поколѣніе шагнуло на сто лѣтъ назадъ!

Кажется, лишнее говорить, что все сказанное относится къ описываемой мѣстности. Но и здѣсь время медленнаго распутства отразилось не одинаково на жителей. На однихъ оно подѣйствовало такъ, что они стали вполнѣ пустяшными,— до такой степени пустяшными, что, встрѣчая ихъ, сейчасъ же даешь имъ соотвѣтственныя имена. Это тотъ разрядъ жителей, для котораго необходимъ непосредственный ударъ, толчокъ, громъ и молнія, чтобы онъ пришелъ въ память,— такой ударъ, отъ котораго засвистѣло бы въ ушахъ, посыпались искры изъ глазъ, а мысли ходуномъ заходили. На другихъ эти годы отразились болѣе роковымъ и менѣе отвратительнымъ образомъ. Таковъ былъ Горѣловъ.

Вялость, апатія сдѣлались неразлучными его спутниками; у него все валилось изъ рукъ и онъ положительно не находилъ себѣ мѣста. Онъ изборороздилъ всю Россію вдоль и поперекъ, все какъ будто что-то отыскивая, съ жгучею жаждой сѣсть на облюбованномъ мѣстѣ, но проходила недѣля, много мѣсяцъ—и онъ плелся дальше. У него не было дѣла. Какъ это ни странно сказать про крестьянина, который вообще привыкъ вѣчно быть занятымъ, озабоченнымъ, погруженнымъ въ работу, но относительно Горѣлова это была страшная правда. Онъ не могъ болѣе видѣть въ „полоумныхъ пустякахъ“ дѣла, потому что питалъ къ нимъ непреодолимое отвращеніе. Видъ пустяшныхъ жителей омерзѣлъ для него послѣ гибели его семьи. Но мало того: не имѣя никакого дѣла, надъ которымъ работала бы и отдыхала его душа, онъ остался безъ опредѣленнаго занятія, шатался туда и сюда, мотая свою жизнь изо дня въ день и нигдѣ ни съ какимъ занятіемъ не находя себѣ покою. Преобладающимъ чувствомъ была тоска, которую онъ разносилъ по необъятному пространству Руси...

Бывали случаи и минуты въ жизни Горѣлова, когда въ немъ вдругъ поднимались невѣдомыя силы, являлась жгучая жажда въ пользу православнаго народа, когда онъ чувствовалъ, что способенъ совершить ради своей нуждающейся деревни, въ пользу родного міра какое-то большое дѣло; тогда ему казалось, что тоска его пропадала, а въ измученной душѣ его совершается переворотъ. И онъ уже видитъ себя на площади, передъ громаднымъ сходомъ, которому говоритъ божескую правду, позоритъ полоумную, одурѣлую жизнь. И на-

юдъ слушаетъ, пораженный до глубины сердца. Но вдругъ го что-то ударяло, словно дубиной по головѣ, рѣчь его моентально обрывалась, а въ сердцѣ снова водворялось отчаяiе. Егора Ѳедорыча поражала вдругъ мысль, что онъ собтвенно ничего нужнаго не говоритъ, да и не въ силахъ ниего сказать, потому что ничего не знаетъ. Эта мысль клала го въ лоскъ. Послѣ такого момента онъ опускался и дряхѣлъ на двадцать лѣтъ.

Иногда, смущенный, что все больше и больше растрачиаетъ свою жизнь, онъ собирался совсѣмъ уйти вонъ, дальше тъ старыхъ мѣстъ, куда-нибудь въ невѣдомую глушь. Приолье глубоко волновало его. Его манилъ дремучiй лѣсъ, непроходимыя и нетоптанныя человѣческою ногой земли, широiя, бездонныя рѣки. Тамъ, среди могучей природы, на лонѣ атери-земли, во мракѣ дремучаго бора, онъ жаждалъ отдохуть. Тамъ онъ примется работать; застонутъ сосны подъ его опоромъ, побѣжитъ дикiй звѣрь и почернѣетъ земля отъ его луга, а въ этой борьбѣ онъ найдетъ свою потерянную раость, свой покой. Раздумывая надъ этими мыслями, Егоръ едорычъ чувствовалъ, что онъ поднимается духомъ, что ердце его замираетъ отъ надежды... Но проходила недѣля, роходилъ мѣсяцъ, и Егоръ Ѳедорычъ, кругомъ опутанный устяшною жизнью, окруженный пустяшными людьми, забыалъ обо всемъ. Самъ не замѣчая того, онъ слишкомъ крѣпо приросъ къ ненавистной жизни, чтобы какая-нибудь сила огла оторвать его.

Горѣловъ и Портянка проходили до осени; когда уже пошли дожди, они собрались домой. Между ними было рѣшено, то Портянка на всю зиму поселится въ избѣ Егора Ѳедоычa.

Нѣтъ никакой возможности логически связать всѣ событiя овершившiяся въ деревнѣ вскорѣ послѣ прибытiя туда Горѣлова и Портянки и заставившiя ихъ измѣнить намѣренiя.

У Ѳедосѣя были рукава—это извѣстно. Но, къ несчастiю, нъ ихъ лишился: они сгорѣли. Съ этого и началась исторiя. едосѣй былъ глубоко пораженъ однажды, когда, вынимая зъ печурки свои рукава, гдѣ они сушились, онъ увидалъ понялъ, что ихъ у него больше нѣтъ. Онъ замеръ отъ

этого несчастія и съ безмолвнымъ волненіемъ осматривалъ ихъ; они покоробились, высохли и при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ трескались и крошились, какъ сухари. Нѣсколько разъ Федосѣй потрогивалъ ихъ пальцами, но, наконецъ, убѣдился, что одежды, спасавшей его руки отъ непогоды, нѣтъ у него. На глазахъ его навертывались слезы. Когда пришелъ въ избу Горѣловъ, Ѳедосѣй обратился къ нему съ страшнымъ упрекомъ, потому что именно Горѣловъ положилъ рукава въ печурку, и теперь не могъ слова выговорить въ свое оправданіе.

Что было потомъ съ Ѳедосѣемъ—неизвѣстно. Онъ рѣшился только во что бы ни стало промыслить средства на новую одежду для наступающей зимы, вслѣдствіе чего случайно залѣзъ въ амбарушку Мирона, отсыпалъ въ свой мѣшокъ нѣсколько фунтовъ муки, да кстати наклалъ и лукошко костей. И вдругъ засталъ его самъ Миронъ. Мгновенно онъ окоченѣлъ со страху. Окоченѣлъ и Миронъ, какъ только увидалъ случившееся. Въ продолженіи нѣкотораго времени оба молча смотрѣли прямо въ глаза другъ другу. Ѳедосѣй лишился языка, а Миронъ, пришедшій въ ужасъ, беззвучно шепталъ: „мука... мосолъ...“

— Что ты сдѣлалъ, разбойникъ со мной?—вскричалъ, однако, Миронъ прерывающимся голосомъ. Потомъ, какъ будто все понявъ и оправившись отъ оцѣпенѣнія, онъ заоралъ что было мочи:—Братцы, вора поймалъ! Сюда!...

На этотъ отчаянный крикъ прибѣжали сосѣди, а вмѣстѣ съ ними откуда-то влетѣлъ и Василій Портянка. Всѣ живо обступали „разбойника“. Одною рукой Миронъ вышибъ у него мѣшокъ, другой—лукошко съ костями. Все это посыпалось врозь. „Ребята, бей его!“—крикнулъ Миронъ. Мгновенно всѣ набросились на Ѳедосѣя, сшибли съ ногъ и принялись таскать по двору, кто за ноги, кто за волосы. Всѣхъ яростнѣе свирѣпствовалъ, какъ оказалось, Василій Портянка; онъ положительно остервенѣлъ въ этой бойнѣ и ужъ не помнилъ, что дѣлаетъ.

— Тащи его въ темную!—сказалъ Миронъ, задыхаясь. Моментально Ѳедосѣй былъ поднятъ съ земли и поставленъ на ноги. Его было повели со двора, но онъ вдругъ заартачился и выразилъ на своемъ лицѣ мольбу. Что?! Онъ потерялъ сахаръ.

— Вѣдь обронилъ я сахаръ-то,—сказалъ онъ, обводя глазами дворъ Мирона.—Не замай, я найду его... Я сейчасъ...

Всѣ остановились.

— Пропалъ, родимые... вѣдь вотъ грѣхъ какой! А былъ въ тряпочкѣ,—безсвязно говорилъ онъ и нагибался то къ тому, то къ другому мѣсту двора, гдѣ его били. Но поиски его были безуспѣшны: туманъ застилалъ его глаза, откуда струились слезы. Ничего не видя, онъ принялся шарить по землѣ, ворочая щепки, разрывая соръ. Всѣ принялись дѣятельно помогать ему въ поискахъ и также шарить по двору... „Да гдѣ-жь найти его?"—замѣтилъ кто-то.—„Найду, найду, родимые!... Въ тряпочкѣ... я сейчасъ... какъ не найти?"—испуганно лепеталъ Ѳедосѣй и метался въ разныя стороны. Волосы его были всклочены, на лицѣ сидѣло нѣсколько синяковъ, волосы и усы выпачканы были кровью, но онъ весь погрузился въ поиски. Нѣкоторые изъ присутствующихъ бросили уже помогать, только обводили глазами дворъ, но остальные все еще старательно разгребали руками соръ.

— Вотъ онъ! вотъ онъ!—сказалъ, наконецъ, Ѳедосѣй, поднимая тряпочку, и въ голосѣ его слышалась радость, но эта радость мгновенно вызвала ярость присутствующихъ, которые опомнились.

— Тащи, ребята, его!... Я тебѣ покажу, какъ лазить по чужимъ амбарамъ!—сказалъ Миронъ.

Къ вечеру, неизвѣстно кѣмъ собранная, сошлась сходка въ сборной избѣ. Всего вѣроятнѣе, что никто въ особенности не собиралъ, сами всѣ вообще собрались судить Ѳедосѣя. Собравшіеся плотною массой стояли вокругъ лукошка съ костями и мѣшка, которыя были вещественными доказательствами. Лица собравшихся были озлоблены; въ плотно сбившейся толпѣ постоянно выкрикивалось имя Ѳедосѣя; удивлялись дневному грабежу, кричали о ворахъ, конокрадахъ и другихъ врагахъ міра, и съ каждою минутой злоба, накопившаяся долгими годами, все сильнѣе разгоралась. Кто-то упомянулъ о „мірскомъ приговорѣ". Это предложеніе было подхвачено и разнесено по всему сходу. Послали за сельскимъ писаремъ. Когда онъ пришелъ, ему закричали:

— Пиши: не принимаемъ,—воръ, молъ, онъ!

— Пиши руки!

Была уже ранняя осенняя ночь. Но это нисколько не ус-

покоило. Передъ столомъ, который стоялъ тутъ же на дворѣ, горѣлъ пучокъ лучины, и при свѣтѣ краснаго пламени его писарь писалъ бумагу. Явилось странное затрудненіе: когда писарь вызывалъ по одиночкѣ для „приложенія руки", у каждаго мгновенно пропадала злоба, и онъ нерѣшительно бормоталъ: „Да мнѣ что! По мнѣ наплевать!" Но лишь писарь обращался ко всему сходу въ массѣ, раздавался всеобщій крикъ: „не принимаемъ!" и гулъ этого слова снова разносился въ воздухѣ ночи по всей деревнѣ.

На сходѣ были не всѣ жители, но тѣ, кто приходилъ позже, немедленно присоединялъ свои голоса къ общему гулу, въ которомъ слышались злоба и внутренняя тоска. Каждый изъ приходящихъ, хотя заранѣе зналъ, въ чемъ дѣло, все-таки спрашивалъ:

— Насчетъ мословъ?

— Мословъ,—отвѣчали ему.

— Жарь его, разбойника!

Это означало: „не принимаю!"

Ѳедосѣю грозила Сибирь. Мірской приговоръ быстро подвигался къ концу. Но когда, послѣ написанія приговора, Ѳедосѣя привели на сходъ самолично, мрачное озлобленіе стало понемногу стихать. Всѣхъ напугалъ жалкій видъ Ѳедосѣя. Ясно было, что вспыхнувшая ненависть только случайно пала на бѣднягу.

— Ишь какой синякъ!—замѣтилъ кто-то.

На него внимательно смотрѣли. Лицо его освѣщалось пламенемъ лучины и производило странное впечатлѣніе.

— Слышь, ребята,—заговорилъ кто-то,—взять бы его да дать березовыхъ,—больше никакого награжденія онъ не заслуживаетъ.

Это предложеніе было принято такъ же быстро, какъ и первое. Мгновенно нашлись розги и экзекуторы. Ѳедосѣй получилъ все, что требовалось. Тогда его прогнали со двора и принялись сѣчь другихъ... Кого? Виновные сейчасъ нашлись изъ среды того же схода. Какъ это случилось—это невозможно разсказать, но, тѣмъ не менѣе, черезъ нѣсколько времени отодрали еще пятерыхъ. Одинъ въ прошломъ году укралъ узду, другой случайно воспользовался чужою шапкой, третій упомянулъ какъ-то въ пьяномъ видѣ о „красномъ пѣтухѣ" и пр. Гнѣвное настроеніе на сборномъ дворѣ стало

непрерывнымъ и росло, какъ волна; эта волна подхватывала виновнаго, и онъ не успѣвалъ опомниться, какъ его бросали подъ розги. Постоянно раздавался вопросъ: „кого еще?" И голосу отвѣчалъ сейчасъ же другой голосъ: „Вотъ этого сокола". И „сокола" хватали, клали и отпускали, что требовалось. Такимъ образомъ наказали еще нѣсколькихъ человѣкъ, въ томъ числѣ Василія Чилигина за то, что онъ не заплатилъ больничныя деньги, Василія Портянку за пьянство и Василія Прохорова просто за неуваженіе къ міру... Была минута, когда измученные и разгнѣванные жители готовы были устроить всеобщую порку, чтобы вылить и забыть поднявшееся мрачное озлобленіе. И если этого не случилось, то потому лишь, что одиннадцатая жертва, угрожаемая наказаніемъ, успѣла выкрикнуть прерывающимся голосомъ: „Ей-ей, погоди, ребята!... Два ведра!... Дай срокъ!"...

Волненіе стихло, и на этотъ разъ окончательно. Мало-помалу дворъ пустѣлъ; крестьяне по одиночкѣ и группами, среди глубокой ночи, двигались по улицѣ къ кабаку и уже мирно разговаривали другъ съ другомъ. Собравшись возлѣ кабака, сейчасъ же принялись пить, не взирая на полночный часъ. Пили до разсвѣта, причемъ одинъ упоенный взялъ общественный приговоръ о Ѳедосѣѣ въ ротъ и тоскливо жевалъ его.

Горѣловъ нѣкоторое время сидѣлъ безмолвно на сходѣ, но никто его не видалъ и не тронулъ. Однако, впечатлѣніе отъ схода такъ взрѣзалось въ него, что онъ принялъ рѣшеніе: „Уйду вонъ!" Его потянуло изъ деревни, и онъ раздумалъ зимовать. Черезъ нѣсколько дней онъ уже совсѣмъ собрался, не обращая вниманія на наступившую осеннюю распутицу. На полу стояла котомка, въ рукахъ онъ держалъ походный костыль. Онъ присѣлъ на лавку и равнодушно оглядывалъ свою избу, въ которой царилъ полумракъ, потому что все небо было покрыто клочьями осеннихъ облаковъ, изъ которыхъ лился мелкій, холодный дождь. Еслибы онъ остался дома, онъ, можетъ быть, поправилъ бы свою расшатанную избу, но теперь ему было все равно; въ трубѣ завывалъ вѣтеръ, сквозь большую щель въ потолкѣ просачивался дождь и спускался широкою полосой по стѣнѣ.

У него въ деревнѣ не было человѣка, который бы пришелъ сказать ему на прощанье нѣсколько словъ. Ѳедосѣй

куда-то пропалъ, а Василій Портянка запилъ. Такъ онъ и ушелъ одинъ, никѣмъ не провожаемый. Провожалъ его только туманъ, носившійся надъ холодною землей, да грязь, приставшая къ его ногамъ, когда онъ одиноко удалялся изъ деревни.

Прошло съ того дня много времени. Гдѣ ходилъ Горѣловъ, никто не зналъ. Но скоро онъ объявился въ разныхъ мѣстахъ и сдѣлался популярнымъ среди крестьянъ. Изъ него выработался опытный путеводитель и ходокъ при переселеніяхъ. И въ это дѣло ушла вся его страстная, фанатическая натура; ведя партію на новыя мѣста, онъ не обращалъ вниманія ни на холодъ, ни на голодъ, а бодро шелъ впередъ за тысячи верстъ. Проводивъ одну партію, онъ становился во главѣ другой. Его костлявую, сгорбленную, но выносливую фигуру можно было встрѣтить на берегахъ Туры и Кубани, въ неоглядныхъ степяхъ Семирѣчья и въ предгорьяхъ Кавказа, въ Оренбургской пустыни и среди улыбающихся пейзажей Башкиріи. Жизнь его проходила въ безпрерывномъ путешествіи по далекимъ странамъ, и много было въ ней тяжелаго; не было только одного — полоумныхъ пустяковъ, выбившихъ его на этотъ странническій путь, полный приключеній.

Деревенскіе нервы.

(Разсказъ).

Воздухъ, небо и земля остались въ деревнѣ тѣ же, какими были сотни лѣтъ назадъ. И также росла по улицѣ трава, по огородамъ полынь, по полямъ хлѣба, какіе только производила деревня, проливая потъ на землю. И та же рѣчка, зеленая лѣтомъ, омывала навозные берега, теряясь вдали, посреди стариннаго барскаго лѣса, изъ-за котораго виднѣлись небольшія горы. Время не измѣнило ничего въ природѣ, окружающей съ испоконъ вѣковъ деревню. И жизнь послѣдней, кажется, идетъ своимъ предопредѣленнымъ тысячу лѣтъ назадъ чередомъ; какъ тогда отъ деревни требовался хлѣбъ и трава, которые она производила, такъ и теперь она добываетъ хлѣбъ и траву, для чего предварительно копитъ потъ, навозъ и здоровье. Все по старому. Только люди, видимо, не тѣ уже; измѣнились ихъ отношенія другъ къ другу и къ окружающимъ—воздуху, солнцу, землѣ. Не проходило мѣсяца, чтобы жители не были взволнованы какою-нибудь перемѣной или какимъ-нибудь событіемъ, совершенно идущимъ въ разрѣзъ со всѣмъ тѣмъ, что помнили древнѣйшіе въ деревнѣ старики. „Не бывало этого!...“ „Старики не помнятъ!...“—говорили чуть не каждомѣсячно про такое происшествіе. Да и нельзя помнить того, чего на самомъ дѣлѣ не было. Не видала, напримѣръ, деревня такого случая: пріѣхалъ изъ ученія, прямо изъ Москвы, сынъ батюшки-священника, чтобы погостить лѣто на родинѣ, взялъ, да и застрѣлился по неизвѣстной причинѣ. Или вотъ такой случай: жилъ одинъ крестьянинъ, Гаврило Налимовъ, скромно и честно, никому не мѣшалъ, но вдругъ ни съ того, ни съ сего взялъ,

да и озлился на всю деревню, запылалъ къ ней ненавистью и закуралесилъ, безъ всякой причины...

Совершившаяся съ Гаврилой перемѣна произошла не вдругъ, хотя всѣ послѣдовательныя степени ея остались до послѣдняго момента совершенно необъяснимыми для сосѣдей. Не только никто не зналъ, когда и отчего онъ вздумалъ безобразничать, но не знали и того, въ чемъ именно состоитъ его бѣда. Сосѣди ограничивались тѣмъ, что каждую степень его ошалѣлости отмѣчали съ величайшею аккуратностью и необыкновенно вѣрно. Сперва Гаврило обратилъ на себя вниманіе явною задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчасъ замѣтили сосѣди, замѣтили потому, что въ деревнѣ задуматься по нынѣшнимъ временамъ не безопасно; задуматься въ деревнѣ — значитъ предчувствовать бѣду.

— Чувствуетъ, что ни на есть,—тонко догадывались другіе сосѣди.

Далѣе сосѣди констатировали, что Гаврило сталъ лаять на всякаго безъ разбору.

— Почему бы это?

— Песъ его разберетъ, такъ надо сказать: осатанѣлъ. Ему доброе слово, а онъ лается.

Въ деревнѣ скоро всѣ, отъ мала до велика, убѣдились, что съ Гаврилой нѣтъ никакой возможности разговаривать: брехаетъ, какъ чистый песъ.

Послѣ этого вскорѣ передавали, что Гаврило, встрѣтивъ священника, облаялъ его на чемъ свѣтъ стоитъ.

Фактъ, дѣйствительно, передавался вѣрно, и священникъ пожаловался волостному начальству.

Не успѣло это дѣло забыться, какъ сосѣди, ближайшіе и отдаленные, подмѣтили въ Гаврилѣ новую перемѣну.

— Гаврило, слышь, плачетъ. То-есть вотъ какъ плачетъ! Уткнулъ бороду въ траву подлѣ рѣки и реветъ.

Было и это. Нѣсколько человѣкъ изъ сосѣдей своими глазами видѣли и обратились съ успокоительно-ласковыми словами къ рыдавшему, но, не дождавшись отвѣта, пошли прочь, пораженные.

Но, вслѣдъ затѣмъ, вдругъ всѣ услыхали, что Гаврило за облаянье старшины попалъ въ волостной чуланъ.

— Гаврило-то ужь въ чуланѣ сидитъ,—передавали сосѣди,

глубоко изумленные, узнавъ, что Гаврило не только словесно оскорбилъ начальника, но и полѣзъ-было въ драку. Всѣ поняли, что Гаврилѣ плохо придется, и дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, по деревнѣ прошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, сказываютъ, увезли! Судить, вишь, будутъ!

На нѣсколько мѣсяцевъ Гаврило канулъ, какъ въ воду, но вдругъ въ деревнѣ снова увидали его.

— Гаврило-то ужь дома сидитъ... худо-ой!—передавали сосѣди и моментально собрались вокругъ избы Налимова, взволнованные внезапнымъ окончаніемъ его небывалыхъ приключеній. Наконецъ, всѣ убѣдились, что Гаврило ослабъ и сдѣлался окончательно хворымъ человѣкомъ. Тутъ только всѣ стали догадываться, что онъ и всегда былъ хворымъ, по крайней мѣрѣ, съ того начала, когда онъ только еще „задумался", и затѣмъ позднѣе, когда онъ сталъ выкидывать разныя непонятныя штуки.

Но, тѣмъ не менѣе, никто не зналъ, отчего на него напала такая хворь, что за причина? Какой случай подвелъ его подъ такую неслыханную болѣзнь, наружные признаки которой выражались тѣмъ, что онъ сперва задумался, потомъ началъ лаять безъ разбору, на кого попало, послѣ чего плакалъ навзрыдъ, и, наконецъ, полѣзъ въ драку и набезобразничалъ, за что влопался въ острогъ безъ всякой настоящей вины? Видимаго случая не произошло никакого; несчастія съ нимъ не случилось—вотъ что удивительно. До того времени никто и не думалъ интересоваться имъ, какъ никто не станетъ интересоваться вообще человѣкомъ, который живетъ тихо, никого не тревожа и ничѣмъ особеннымъ не отличаясь; про такого человѣка говорятъ, что онъ живетъ и хлѣбъ жуетъ, а что касается другихъ проявленій его, то ихъ никто не замѣчаетъ. Онъ былъ именно средній человѣкъ. Что такое средній человѣкъ? Это, прежде всего, существо, которое всю жизнь изъ всѣхъ силъ копошится и не любитъ, чтобы ему мѣшали. Для того онъ старается всѣми мѣрами, чтобы не замѣчали его существованія, чтобы не трогали его и чтобы ему, въ свою очередь, не пришлось кого-нибудь задѣть. Средній человѣкъ поэтому отличается крайнею живучестью. Онъ трудолюбивъ, терпѣливъ, неуязвимъ. Настоящей жизни въ немъ нѣтъ, а та, которою онъ обладаетъ, надѣлена необы-

кновенною цѣпкостью. Онъ живетъ или, вѣрнѣе сказать, существуетъ и тогда, когда для другихъ пришелъ уже конецъ. Выше его, надъ нимъ, стоятъ люди, которые, не удовлетворяясь полу-жизнью, рвутся на просторъ и по большей части разбиваютъ свои головы о каменную стѣну; ниже его, подъ нимъ, находятся люди, которые отъ непосильнаго напряженія падаютъ и умираютъ. А онъ — ничего, существуетъ, хотя мученія его иногда невыносимы. Довольствуется онъ всегда тѣмъ, что̀ по обстоятельствамъ дозволяется и что̀ даетъ случай, а если случай ему во всемъ отказываетъ, то и тогда ничего, существуетъ, прилаживаясь къ чему-нибудь неизмѣримо малому. Если у него отнимутъ кусокъ хлѣба, онъ съѣстъ, вмѣсто него, камень. Если его лишатъ свѣта, онъ закроетъ глаза, обходясь безъ него. Если его лишатъ воздуха, онъ сократитъ дыханіе и сдѣлается холоднокровнымъ земноводнымъ. Слѣпой и холодный, онъ все-таки будетъ считать счастіемъ существовать. Когда его, средняго человѣка, бьютъ, онъ залѣчиваетъ раны. Когда на него надѣнутъ цѣпи, онъ сдѣлаетъ ихъ удобными для ношенія. Онъ выходитъ изъ себя только въ томъ случаѣ, если покушаются на ту крошку бытія, которая пребываетъ въ немъ, но выражаетъ свое негодованіе тѣмъ, что теряется и мечется, но не борется. Онъ скроменъ, общежителенъ и въ своемъ родѣ страшно энергиченъ, ибо тянетъ свою линію до конца, и честенъ. Впрочемъ, обстоятельства выкидываютъ изъ его честности скверныя штуки.

За нѣкоторыми исключеніями, таковъ былъ и Гаврило Назимовъ. Коренной земледѣлецъ, онъ жилъ бы и копался въ землѣ, еслибы послѣдней у него было достаточно и еслибы ему не мѣшали, жилъ бы неутомимо, вѣчно до той поры, когда прекращаетъ естественный конецъ. Тогда онъ ляжетъ за лавку или на травку, если его застигнетъ въ полѣ, скажетъ: „Господи, прости!" — икнетъ и перестанетъ дышать. Такъ умеръ и его покойный родитель, проживши восемьдесятъ пять лѣтъ и въ послѣдній, смертный часъ сидѣвшій рѣпу и огурцы. Такого конца Гаврило тоже желалъ. Но ему въ этомъ мѣшали сильно разстроенныя дѣла деревни, ежечасно напоминая ему, что и онъ можетъ пропасть, какъ пропадали поочередно, на его глазахъ, многочисленные мужики.

Тѣмъ не менѣе, онъ крѣпко держится за свою линію. Вообще, въ деревнѣ не было болѣе прочнаго мужика. По этим-

шенію къ несчастіямъ онъ велъ себя чрезвычайно дѣльно, быстро оправлялся отъ самыхъ тяжелыхъ оплеухъ. Его страстью, его ремесломъ, его задачей была земля, и онъ добывалъ ее всякими средствами у ближайшихъ къ селу владѣльцевъ, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замѣчалъ, и онъ мало обращалъ вниманія на что-нибудь помимо своей задачи. Словомъ, жизнь его проходила въ томъ, что онъ сперва обработывалъ землю, потомъ ѣлъ хлѣбъ, вслѣдъ затѣмъ снова обработывалъ землю и опять ѣлъ хлѣбъ и т. д. Отъ него убѣжалъ сынъ Ивашка, поступилъ въ трактиръ половымъ. Но Гаврило собственно не этимъ обстоятельствомъ былъ огорченъ, а лишь тѣмъ, что съ исчезновеніемъ сына для него труднѣе стало добывать землю и ѣсть хлѣбъ. Онъ гораздо больше страдалъ изъ-за бычка, котораго онъ долженъ былъ потерять, употребивъ его, какъ взятку, для пріобрѣтенія земли. Зять, къ которому перешелъ этотъ бычокъ, впослѣдствіи заплатилъ за него Гаврилѣ ничтожные пустяки и Гаврило долго не могъ забыть этого несчастія. Сынъ же въ его мысляхъ былъ только рабочею силой, о пропажѣ которой онъ сильно жалѣлъ, какъ истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать въ тѣ годы, когда у него рожались, но умирали дѣти. На своемъ вѣку онъ родилъ человѣкъ двѣнадцать, изъ которыхъ только двое уцѣлѣли: Ивашка да дочь. Всѣ остальныя взяты были многочисленными деревенскими болѣзнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля Божья! Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, послѣ каждаго смертнаго случая копошился и хлопоталъ, занятый текущими дѣлами.

Погруженный изо дня въ день въ хлопоты, онъ былъ доволенъ. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что̀ для Гаврилы составляло счастье? Земля, меринъ, телка и бычокъ, три овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому что если чего-нибудь изъ перечисленнаго недоставало, онъ былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла тёлка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду, а отдавая зятю бычка, выглядѣлъ вродѣ какъ полоумный. Но такія катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переводился. Въ самые голодные годы у него сохранялся мѣшокъ другой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ отъ

кновенною цѣпкостью. Онъ живетъ или, вѣрнѣе сказать, существуетъ и тогда, когда для другихъ пришелъ уже конецъ. Выше его, надъ нимъ, стоятъ люди, которые, не удовлетворяясь полу-жизнью, рвутся на просторъ и по большей части разбиваютъ свои головы о каменную стѣну; ниже его, подъ нимъ, находятся люди, которые отъ непосильнаго напряженія падаютъ и умираютъ. А онъ—ничего, существуетъ, хотя мученія его иногда невыносимы. Довольствуется онъ всегда тѣмъ, что̀ по обстоятельствамъ дозволяется и что̀ даетъ случай, а если случай ему во всемъ отказываетъ, то и тогда ничего, существуетъ, прилаживаясь къ чему-нибудь неизмѣримо малому. Если у него отнимутъ кусокъ хлѣба, онъ съѣстъ, вмѣсто него, камень. Если его лишатъ свѣта, онъ закроетъ глаза, обходясь безъ него. Если его лишатъ воздуха, онъ сократитъ дыханіе и сдѣлается холоднокровнымъ земноводнымъ. Слѣпой и холодный, онъ все-таки будетъ считать счастіемъ существовать. Когда его, средняго человѣка, бьютъ, онъ залѣчиваетъ раны. Когда на него надѣнутъ цѣпи, онъ сдѣлаетъ ихъ удобными для ношенія. Онъ выходитъ изъ себя только въ томъ случаѣ, если покушаются на ту крошку бытія, которая пребываетъ въ немъ, но выражаетъ свое негодованіе тѣмъ, что теряется и мечется, но не борется. Онъ скроменъ, общежителенъ и въ своемъ родѣ страшно энергиченъ, ибо гонитъ свою линію до конца, и честенъ. Впрочемъ, обстоятельства дѣлаютъ изъ его честности скверныя штуки.

За нѣкоторыми исключеніями, таковъ былъ и Гаврило Налимовъ. Коренной земледѣлецъ, онъ жилъ бы и копался въ землѣ, еслибы послѣдней у него было достаточно и еслибы ему не мѣшали; копался бы неутомимо, вѣчно, до той поры, когда предстанетъ естественный конецъ. Тогда онъ ляжетъ на лавку или на траву, если его застигнетъ въ полѣ, скажетъ: „Господи, прости!“— икнетъ и перестанетъ дышать. Такъ умеръ и его покойный родитель, проживішій восемьдесятъ пять лѣтъ и въ послѣдній, смертный часъ садившій рѣпу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желалъ. Но ему въ этомъ мѣшали сильно разстроенныя дѣла деревни, ежедневно напоминая ему, что и онъ можетъ пропасть, какъ пропадали поочередно, на его глазахъ, здоровенные мужики.

Тѣмъ не менѣе, онъ цѣпко держится за свою линію. Вообще, въ деревнѣ не было болѣе прочнаго мужика. По-о

шенію къ несчастіямъ онъ велъ себя чрезвычайно дѣльно, быстро оправлялся отъ самыхъ тяжелыхъ оплеухъ. Его страстью, его ремесломъ, его задачей была земля, и онъ добывалъ ее всякими средствами у ближайшихъ къ селу владѣльцевъ, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замѣчалъ, и онъ мало обращалъ вниманія на что-нибудь помимо своей задачи. Словомъ, жизнь его проходила въ томъ, что онъ сперва обработывалъ землю, потомъ ѣлъ хлѣбъ, вслѣдъ затѣмъ снова обработывалъ землю и опять ѣлъ хлѣбъ и т. д. Отъ него убѣжалъ сынъ Ивашка, поступилъ въ трактиръ половымъ. Но Гаврило собственно не этимъ обстоятельствомъ былъ огорченъ, а лишь тѣмъ, что съ исчезновеніемъ сына для него труднѣе стало добывать землю и ѣсть хлѣбъ. Онъ гораздо больше страдалъ изъ-за бычка, котораго онъ долженъ былъ потерять, употребивъ его, какъ взятку, для пріобрѣтенія земли. Зять, къ которому перешелъ этотъ бычокъ, впослѣдствіи заплатилъ за него Гаврилѣ ничтожные пустяки и Гаврило долго не могъ забыть этого несчастія. Сынъ же въ его мысляхъ былъ только рабочею силой, о пропажѣ которой онъ сильно жалѣлъ, какъ истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать въ тѣ годы, когда у него рожались, но умирали дѣти. На своемъ вѣку онъ родилъ человѣкъ двѣнадцать, изъ которыхъ только двое уцѣлѣли: Ивашка да дочь. Всѣ остальныя взяты были многочисленными деревенскими болѣзнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля Божья! Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, послѣ каждаго смертнаго случая копошился и хлопоталъ, занятый текущими дѣлами.

Погруженный изо дня въ день въ хлопоты, онъ былъ доволенъ. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что̀ для Гаврилы составляло счастье? Земля, меринъ, телка и бычокъ, три овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому что если чего-нибудь изъ перечисленнаго недоставало, онъ былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла тёлка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду, а отдавая зятю бычка, выглядѣлъ вродѣ какъ полоумный. Но такія катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переводился. Въ самые голодные годы у него сохранялся [illegible]-другой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ [illegible]

жадныхъ сосѣдей, чтобы который изъ нихъ не попросилъ у него одолженія. Меринъ? Меринъ вѣрно служилъ ему пятнадцать лѣтъ и никогда не умиралъ; въ послѣднее время только замѣтно сталъ сопѣть и недостаточно ловко владѣлъ задними ногами, но, въ виду его смерти, у Гаврилы былъ двухгодовалый подростокъ.

Въ тяжелыя времена деревни на Гаврилу нападалъ страхъ; сосѣди его вели жалкую борьбу, и цѣлыя семьи пропадали, а онъ ничего, живъ оставался. Заглянетъ въ амбарушку, видитъ собственными глазами хлѣбъ. Заглянетъ въ хлѣвъ — тамъ стоитъ неумирающій меринъ, чавкая солому. Войдетъ въ избу—чисто вездѣ, прибрано, пахнетъ жилымъ духомъ. Послѣ этого онъ успокоивался, довольный своею долей. Старуха его была славная женщина, веселая, горластая и живая. Въ избѣ всегда былъ порядокъ. Сама она не ходила неряхой, растрепанной и неумытой, подобно большинству сосѣдокъ. Потеря дѣтей и другія невзгоды не потрясили ея; она оставалась бодрой и свѣтлой. Гаврило уважалъ ее. Она его вовремя накормитъ, поможетъ въ работѣ, подастъ хорошій совѣтъ, а въ праздникъ надѣнетъ на него чистые панталоны и ситцевую рубаху, послѣ чего Гаврило сидитъ на завалинкѣ и хлопаетъ глазами. Чего еще больше? Его душевная и тѣлесная крѣпость зависѣла отъ умѣнья сжиматься во время деревенскихъ невзгодъ, отъ умѣнья сокращать себя до послѣднихъ предѣловъ. Иной на его мѣстѣ, вродѣ Чилигина или Савоси Быкова, добывъ, съ Божьей помощью, десять фунтовъ муки, мигомъ ее съѣстъ, а послѣ того впадетъ въ отчаяніе, но Гаврило тѣ же десять фунтовъ раздѣлитъ на пригоршни и такъ ихъ распредѣлитъ, что не будетъ сытъ, но и не помретъ отъ недостатка пищи. Или если у Савоси остается въ карманѣ капитала всего-на-всего три копѣйки, то онъ броситъ ихъ куда-нибудь не впопадъ, а Гаврило тѣ же самыя три копѣйки прижметъ и употребитъ ихъ именно въ то мгновеніе, когда уже подходитъ смертный часъ—еще одинъ мигъ, и нѣтъ человѣка! А три копѣйки спасли! Мудреная жизнь, но жизнь. Гаврило именно умѣлъ вести такую жизнь.

Самый плохой моментъ въ его году—весна. Денегъ нѣтъ, земли не даютъ. Оттого онъ въ первый мѣсяцъ послѣ Святой велъ себя спокойно; ходилъ по сосѣднимъ владѣльцамъ,

просилъ Христомъ Богомъ у Шипикина, назойливо надоѣдалъ таракановскому „управителю,“ подвергая себя всяческимъ униженіямъ. Затѣмъ, заполучивъ сколько успѣлъ земли, онъ долженъ былъ отдыхать, для чего валялся нѣсколько дней, какъ больной, утомившійся борьбой съ жестокою хворью. Потомъ уже выѣзжалъ въ поле. Неизвѣстно, вѣрилъ-ли онъ въ болѣе радостную, свѣтлую жизнь? Вѣрно одно: никогда онъ не тяготился отсутствіемъ широты и простора. Ему было ладно и такъ. Онъ усталъ и, видимо, дѣлался хворымъ, а кругомъ, „по сусѣдству“, утопали.

Когда хворь его началась — съ точностью нельзя опредѣлить. Ближайшій человѣкъ — жена долго ничего особеннаго не замѣчала, а когда вглядѣлась въ мужа, то послѣдній ужь „задумался“. Добрая женщина сильно удивилась, увидавъ, что Гаврилѣ „чтой-то не можется“. Часто онъ скребъ себѣ безъ всякой причины поясницу и имѣлъ сердитый видъ. Работая, онъ кряхтѣлъ и дѣлалъ продолжительные отдыхи. Иной разъ и примется за дѣло, горячо примется, но быстро осяцетъ. Идя куда-нибудь, онъ понуро опускалъ голову, никого, повидимому, не замѣчая. Сердобольная жена разъ предложила ему полѣчиться, думая, что онъ какъ-нибудь сорвалъ съ пупа, для чего совѣтовала въ жаркой банѣ, которую она истопитъ, поставить на животъ горшки. Тому, кто не знакомъ съ медицинскимъ употребленіемъ горшковъ, слѣдуетъ пояснить, что это нѣчто вродѣ банокъ для вытягиванія крови, только несравненно дѣйствительнѣе; человѣкъ, которому поставили горшки, кричитъ какъ подъ ножемъ. Средство, кажется, убійственное. Но Гаврило не воспользовался имъ. Мало того, онъ вдругъ осердился, вышелъ изъ себя и выругалъ свою старуху, какъ самый послѣдній солдатъ.

Когда вскорѣ послѣ этого пришло время выѣзжать въ поле, Гаврило по привычкѣ отправился копать землю. Весна стояла теплая, влажная. День-два свѣтило солнце; слѣдующій день лилъ дождь; потомъ опять стало свѣтло и радостно. Бывало, Гаврило въ такіе дни оживалъ и весело ходилъ за сохой, вѣря, что на землѣ тепло жить... Лѣсъ зеленѣлъ молодыми, яркими листьями. По полю поднималась свѣжая трава; на озимыхъ пашняхъ проглядывала ужь рожь. Гаврило принялся за работу какъ слѣдуетъ; съѣлъ кусокъ хлѣба, выпилъ буракъ квасу, покормилъ мерина, и еще солнце хорошо

не засвѣтило, какъ онъ уже медленно шагалъ по бурьяну. Сначала работа шла успѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ все тише, тише лошадь съ хозяиномъ подвигались впередъ. Не слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило слова изъ устъ Гаврилы. И въ полѣ царствовала тишина, какъ среди спокойнаго моря. Слышался лишь неопредѣленный шумъ, производимый шепотомъ листьевъ ближайшаго лѣса и колебаніемъ травы. И все тише, тише тянулись лошадь съ хозяиномъ. Меринъ оглядывался по сторонамъ, улучалъ минуту сорвать верхушку прошлогодней травы и съ удовольствіемъ жевалъ ее; еще немного, и лукавое животное остановилось бы совсѣмъ, чтобы немного соснуть, пока очнется отъ дремоты самъ хозяинъ. Но хозяинъ не спалъ. Онъ опустилъ голову и безсознательно шелъ за лошадью. Онъ имѣлъ видъ человѣка, который глубоко задумался. Гаврило что-то соображалъ.

„Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ закричала хрипло ворона. Гаврило вздрогнулъ. На лицѣ отразилось раздраженіе. „Я тебѣ дамъ, подлая!“—крикнулъ онъ, махая кнутомъ. Онъ не вѣрилъ разнымъ сказкамъ насчетъ воронъ, но карканье и видъ вороны теперь почему-то моментально вывели его изъ себя. Онъ заторопился, задергалъ мерина, а когда тотъ съ перваго разу не послушался, заоралъ на него что есть мочи, отчего тотъ дернулъ и соха выскочила изъ борозды. „Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ опять надъ самымъ ухомъ, но съ другой стороны, хрипло заболтала ворона, отлетѣла подальше и потыкала носомъ въ комъ земли. Гаврило пришелъ въ ярость. „Кар-ръ! кар-ръ!“—хрипѣла подлая птица, не унимаясь. Богъ знаетъ, что сдѣлалось съ Гаврилой; онъ схватилъ съ слѣпою яростью комъ земли и пустилъ его въ птицу. Онъ принялся ругать птицу, потомъ мерина, потомъ неизвѣстно кого, безсмысленнымъ наборомъ словъ, и долго не могъ придти въ себя. Только хворый человѣкъ могъ придти въ такой необузданный гнѣвъ изъ пустяковъ и вспыхнуть злобой къ глупому животному. Но какъ бы то ни было, а Гаврило въ этотъ день больше уже не могъ работать. Послѣ страннаго раздраженія онъ ослабѣлъ и еле-еле тащился по пашнѣ, пока эта немощь, въ свою очередь, не раздражила его. Тогда онъ поспѣшно собрался и явился, къ удивленію старухи, домой. Нѣсколько дней онъ маялся съ этою поло-

сой. На другой день, напримѣръ, онъ попытался поѣхать, но также отчего-то взбѣсился и съ шумомъ двинулся домой, гдѣ легъ на дворѣ, закрылся шубой и такъ пролежалъ до вечера. На третій день также вернулся. На четвертый совсѣмъ не поѣхалъ. На слѣдующій день жена боязливо посылала его въ поле, но онъ отвѣтилъ:

— Ну, ее къ ляду!

— Да ты очумѣлъ, что-ли? Развѣ ужь пашни совсѣмъ не надо?—удивленно возразила жена.

— А зачѣмъ ее... пашню-то? Наплевать!—съ невѣроятнымъ легкомысліемъ сказалъ Гаврило.

Жена была поражена. Да и самъ Гаврило какъ будто испугался своего голоса и застыдился своихъ словъ; не говоря больше ничего, онъ съ шумомъ собрался и поспѣшно бросился на поле. На этотъ разъ, самъ не зная какъ, кончилъ.

По утвердившейся косности, работы шли своимъ порядкомъ, но ничтожнѣйшіе случаи приводили Гаврилу въ отчаяніе или въ необузданный гнѣвъ. Вспомнивъ какую-нибудь работу, онъ поролъ горячку, волновался отъ каждой неудачи, но быстро ослабѣвалъ, дѣлаясь мрачнѣе ночи, и вслѣдъ затѣмъ лаялся со старухой или съ мериномъ. Еслибы кто посмотрѣлъ на него въ это время, то счелъ бы его самымъ лядащимъ хозяиномъ, подобно Савосѣ Быкову. Разъярившись, онъ стегалъ мерина, гонялъ по двору телушку, разбрасывалъ, куда ни попало, вещи. Иногда отъ его бушеванія стонъ стоялъ надъ дворомъ. Телушка ревѣла, куры кудахтали, собака лаяла, старуха съ недоумѣніемъ ругалась, а на дворѣ, какъ послѣ пожара, разбросаны были: тамъ хомутъ, тамъ кадушка на боку, а посреди всего этого расхаживалъ самъ Гаврило и куралесилъ, вымещая на бездушныхъ предметахъ какую-то боль своей души. Вокругъ жилища его завелся страшный безпорядокъ; кучи сору и навозу нагромождены были противъ самыхъ воротъ; ворота стояли открытыми; хлѣвъ провонялъ отъ нечистоты; телѣга мокла подъ дождемъ на улицѣ; мерина забывали, и онъ жралъ съ голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихалъ. Выраженіе его было тогда мучительное. Онъ пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что̀ у него болитъ, ему хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, чтобы облегчить себя отъ непосиль-

ной тяжести, ни съ того, ни съ сего обрушившейся на него, но высказаться толково онъ не умѣлъ, особенно съ близкимъ человѣкомъ, съ которымъ пріучаются говорить полусловами и намеками. Именно старухѣ-то своей онъ и не могъ путно разсказать свою хворь. А, между тѣмъ, самъ сознавалъ, что хворь напала на него и гнететъ немилосердно.

Въ это время онъ ходилъ къ батюшкѣ поговорить по душѣ. Простоявъ въ воскресенье обѣдню, онъ прямо пошелъ къ поповскому дому. Батюшка принялъ его сухо, но не прогналъ, а велѣлъ обождать. Онъ считалъ деньги, собранныя сейчасъ за крестины и молебны. Сидя за столомъ, онъ съ глубокомысленнымъ видомъ раскладывалъ мѣдныя монеты; скоро на столѣ въ порядкѣ разложены были кучки; въ одномъ мѣстѣ возвышались толстые пятаки, въ другомъ — гривны, подлѣ гривенъ рядомъ тянулись двухкопѣечныя, а позади всѣхъ помѣстились тощія копѣйки. Пересчитавъ все это тлѣнное богатство, батюшка нахмурилъ брови и сурово взглянулъ на Гаврилу.

— Ну, говори, зачѣмъ ты?—строго спросилъ батюшка.

Гаврило не могъ сразу найти отвѣтъ. Онъ тревожно кидалъ глаза на полъ, по стѣнамъ и на свои сапоги, и въ нерѣшительности перекидывалъ съ одного мѣста на другое свою шапку, положивъ ее сначала на колѣни, потомъ на лавку подлѣ себя, и засунулъ ее, наконецъ, за пазуху кафтана. Лицо его къ этому времени уже сильно измѣнилось; оно осунулось, а въ глазахъ была неотвязная тревога.

— Что же ты мнешься? Говори.

— Я будто нездоровъ. Мнѣ бы по душѣ съ тобой покалякать... Можно?—заговорилъ Гаврило слабо, но быстро оправился. Батюшка поморщился въ отвѣтъ на это, однако, приготовился выслушать.

— Я бы передъ тобой все одно, какъ передъ Богомъ. Мнѣ ужь таить нечего, дѣваться некуда, одно слово, хоша бы руки на себя наложить, такъ въ пору. Значитъ, приперло же меня здорово!

— Что ты говоришь? Развѣ можно имѣть такія грѣховныя мысли?—недовольнымъ тономъ сказалъ батюшка, который еще не могъ до сихъ поръ забыть самоубійства сына.

— Грѣшно—это справедливо. Потому, противъ Бога. Вотъ я и пришелъ насчетъ души поговорить... Болитъ у меня,

прямо надо сказать, душа, тоскую, а объ чемъ, объ какихъ случаяхъ, того не знаю... Дивное дѣло! Жилъ-жилъ, все ничего, а тутъ вдругъ вонъ куда пошло!... И хотѣлъ бы дознаться, отчего это бываетъ?

— Какъ же она у тебя болитъ, душа-то?

— Да такъ, самъ не знаю, въ какомъ родѣ... А вижу, что главная сила въ душѣ. Отчего это бываетъ?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а все. Иной разъ ску-учно станетъ и до того ужь дойду, что самъ какъ есть не въ своемъ видѣ...

— Трудись хорошенько. Скука происходитъ отъ праздности,—посовѣтовалъ батюшка.

Такъ вѣдь я допрежъ этой пакости не отлынивалъ отъ работы, и сейчасъ бы радъ работать, да не могу. Скучно! Тошно мнѣ смотрѣть на все... И радъ бы приспособить себя къ дѣлу, а, между прочимъ, скучно... Отчего это бываетъ?

— Отъ различныхъ причинъ бываетъ,—многозначительно отвѣчалъ батюшка, но въ полной мѣрѣ недоумѣвая.

— А то случается, что я все думаю разныя мысли,—продолжалъ Гаврило.

— Какія же мысли?

— Да мысли-то, по правдѣ сказать, не настоящія, а все больше предсмертное мнѣ приходитъ въ голову...

— То-есть какъ это предсмертное?—спросилъ батюшка, поблѣднѣвъ и съ сердцемъ.

— Да такъ, о смертяхъ, вишь, я все думаю,—пояснилъ Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!... Что же ты думаешь?

— Разное. Живетъ, напримѣръ, около меня Василій Чилигинъ, колотится кое-какъ со дня на день, по зимамъ мерзнетъ, а то такъ по два дня безъ пищи ходитъ... Я и думаю: скоро-ли же Чилигинъ кончится?

Батюшка неодобрительно покачалъ головой.

— Или, напримѣръ, Тимоѳей Луковъ. Домъ бросилъ, жена убѣгла отъ него, а онъ безобразничаетъ... И думаю я: лучше бы Тимошкѣ помереть!

— Это, братъ, грѣшно, зла желать ближнему,—возразилъ батюшка строго.

— Самъ вижу, грѣхъ, а не могу... Вижу котораго, напримѣръ, человѣка и думаю: „зачѣмъ ты живешь?“ И про себя

да и озлился на всю деревню, запылалъ къ ней ненавистью и закуралесилъ, безъ всякой причины...

Совершившаяся съ Гаврилой перемѣна произошла не вдругъ, хотя всѣ послѣдовательныя степени ея остались до послѣдняго момента совершенно необъяснимыми для сосѣдей. Не только никто не зналъ, когда и отчего онъ вздумалъ безобразничать, но не знали и того, въ чемъ именно состоитъ его бѣда. Сосѣди ограничивались тѣмъ, что каждую степень его ошалѣлости отмѣчали съ величайшею аккуратностью и необыкновенно вѣрно. Сперва Гаврило обратилъ на себя вниманіе явною задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчасъ замѣтили сосѣди, замѣтили потому, что въ деревнѣ задуматься по нынѣшнимъ временамъ не безопасно; задуматься въ деревнѣ — значитъ предчувствовать бѣду.

— Чувствуетъ, что ни на есть,—тонко догадывались другіе сосѣди.

Далѣе сосѣди констатировали, что Гаврило сталъ лаять на всякаго безъ разбору.

— Почему бы это?

— Песъ его разберетъ, такъ надо сказать: осатанѣлъ. Ему доброе слово, а онъ лается.

Въ деревнѣ скоро всѣ, отъ мала до велика, убѣдились, что съ Гаврилой нѣтъ никакой возможности разговаривать: брехаетъ, какъ чистый песъ.

Послѣ этого вскорѣ передавали, что Гаврило, встрѣтивъ священника, облаялъ его на чемъ свѣтъ стоитъ.

Фактъ, дѣйствительно, передавался вѣрно, и священникъ пожаловался волостному начальству.

Не успѣло это дѣло забыться, какъ сосѣди, ближайшіе и отдаленные, подмѣтили въ Гаврилѣ новую перемѣну.

— Гаврило, слышь, плачетъ. То-есть вотъ какъ плачетъ! Уткнулъ бороду въ траву подлѣ рѣки и реветъ.

Было и это. Нѣсколько человѣкъ изъ сосѣдей своими глазами видѣли и обратились съ успокоительно-ласковыми словами къ рыдавшему, но, не дождавшись отвѣта, пошли прочь, пораженные.

Но, вслѣдъ затѣмъ, вдругъ всѣ услыхали, что Гаврило за облаянье старшины попалъ въ волостной чуланъ.

— Гаврило-то ужь въ чуланѣ сидитъ,—передавали сосѣди,

убоко изумленные, узнавъ, что Гаврило не только словесно корбилъ начальника, но и полѣзъ-было въ драку. Всѣ поли, что Гаврилѣ плохо придется, и дѣйствительно, вслѣдъ тѣмъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, по деревнѣ ошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, сказываютъ, увезли! Судить, вишь, будутъ!

На нѣсколько мѣсяцевъ Гаврило канулъ, какъ въ воду, но ругъ въ деревнѣ снова увидали его.

— Гаврило-то ужь дома сидитъ... худо-ой!—передавали соѣди и моментально собрались вокругъ избы Налимова, взволованные внезапнымъ окончаніемъ его небывалыхъ приключеній. Наконецъ, всѣ убѣдились, что Гаврило ослабъ и сдѣлался окончательно хворымъ человѣкомъ. Тутъ только всѣ гали догадываться, что онъ и всегда былъ хворымъ, по крайей мѣрѣ, съ того начала, когда онъ только еще „задумался", затѣмъ позднѣе, когда онъ сталъ выкидывать разныя неонятныя штуки.

Но, тѣмъ не менѣе, никто не зналъ, отчего на него напала акая хворь, что за причина? Какой случай подвелъ его подъ акую неслыханную болѣзнь, наружные признаки которой ыражались тѣмъ, что онъ сперва задумался, потомъ началъ аять безъ разбору, на кого попало, послѣ чего плакалъ авзрыдъ, и, наконецъ, полѣзъ въ драку и набезобразничалъ, а что влопался въ острогъ безъ всякой настоящей вины? Видимаго случая не произошло никакого; несчастія съ нимъ е случилось—вотъ что удивительно. До того времени никто не думалъ интересоваться имъ, какъ никто не станетъ нтересоваться вообще человѣкомъ, который живетъ тихо, икого не тревожа и ничѣмъ особеннымъ не отличаясь; про акого человѣка говорятъ, что онъ живетъ и хлѣбъ жуетъ, что касается другихъ проявленій его, то ихъ никто не замѣчаетъ. Онъ былъ именно средній человѣкъ. Что такое средній человѣкъ? Это, прежде всего, существо, которое всю жизнь изъ всѣхъ силъ копошится и не любитъ, чтобы ему мѣшали. Для того онъ старается всѣми мѣрами, чтобы не замѣчали его существованія, чтобы не трогали его и чтобы ему, въ свою очередь, не пришлось кого-нибудь задѣть. Средній человѣкъ поэтому отличается крайнею живучестью. Онъ трудолюбивъ, терпѣливъ, неуязвимъ. Настоящей жизни въ немъ нѣтъ, а та, которою онъ обладаетъ, надѣлена необы-

да и озлился на всю деревню, запылалъ къ ней ненавистью и закуралесилъ, безъ всякой причины...

Совершившаяся съ Гаврилой перемѣна произошла не вдругъ, хотя всѣ послѣдовательныя степени ея остались до послѣдняго момента совершенно необъяснимыми для сосѣдей. Не только никто не зналъ, когда и отчего онъ вздумалъ безобразничать, но не знали и того, въ чемъ именно состоитъ его бѣда. Сосѣди ограничивались тѣмъ, что каждую степень его ошалѣлости отмѣчали съ величайшею аккуратностью и необыкновенно вѣрно. Сперва Гаврило обратилъ на себя вниманіе явною задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчасъ замѣтили сосѣди, замѣтили потому, что въ деревнѣ задуматься по нынѣшнимъ временамъ не безопасно; задуматься въ деревнѣ — значитъ предчувствовать бѣду.

— Чувствуетъ, что ни на есть,—тонко догадывались другіе сосѣди.

Далѣе сосѣди констатировали, что Гаврило сталъ лаять на всякаго безъ разбору.

— Почему бы это?

— Песъ его разберетъ, такъ надо сказать: осатанѣлъ. Ему доброе слово, а онъ лается.

Въ деревнѣ скоро всѣ, отъ мала до велика, убѣдились, что съ Гаврилой нѣтъ никакой возможности разговаривать: брехаетъ, какъ чистый песъ.

Послѣ этого вскорѣ передавали, что Гаврило, встрѣтивъ священника, облаялъ его на чемъ свѣтъ стоитъ.

Фактъ, дѣйствительно, передавался вѣрно, и священникъ пожаловался волостному начальству.

Не успѣло это дѣло забыться, какъ сосѣди, ближайшіе и отдаленные, подмѣтили въ Гаврилѣ новую перемѣну.

— Гаврило, слышь, плачетъ. То-есть вотъ какъ плачетъ! Уткнулъ бороду въ траву подлѣ рѣки и реветъ.

Было и это. Нѣсколько человѣкъ изъ сосѣдей своими глазами видѣли и обратились съ успокоительно-ласковыми словами къ рыдавшему, но, не дождавшись отвѣта, пошли прочь пораженные.

Но, вслѣдъ затѣмъ, вдругъ всѣ услыхали, что Гаврило за облаянье старшины попалъ въ волостной чуланъ.

— Гаврило-то ужь въ чуланѣ сидитъ,—передавали со-

кновенною цѣпкостью. Онъ живетъ или, вѣрнѣе сказать, существуетъ и тогда, когда для другихъ пришелъ уже конецъ. Выше его, надъ нимъ, стоятъ люди, которые, не удовлетворяясь полу-жизнью, рвутся на просторъ и по большей части разбиваютъ свои головы о каменную стѣну; ниже его, подъ нимъ, находятся люди, которые отъ непосильнаго напряженія падаютъ и умираютъ. А онъ — ничего, существуетъ, хотя мученія его иногда невыносимы. Довольствуется онъ всегда тѣмъ, что̀ по обстоятельствамъ дозволяется и что̀ даетъ случай, а если случай ему во всемъ отказываетъ, то и тогда ничего, существуетъ, прилаживаясь къ чему-нибудь неизмѣримо малому. Если у него отнимутъ кусокъ хлѣба, онъ съѣстъ, вмѣсто него, камень. Если его лишатъ свѣта, онъ закроетъ глаза, обходясь безъ него. Если его лишатъ воздуха, онъ сократитъ дыханіе и сдѣлается холоднокровнымъ земноводнымъ. Слѣпой и холодный, онъ все-таки будетъ считать счастіемъ существовать. Когда его, средняго человѣка, бьютъ, онъ залѣчиваетъ раны. Когда на него надѣнутъ цѣпи, онъ сдѣлаетъ ихъ удобными для ношенія. Онъ выходитъ изъ себя только въ томъ случаѣ, если покушаются на ту крошку бытія, которая пребываетъ въ немъ, но выражаетъ свое негодованіе тѣмъ, что теряется и мечется, но не борется. Онъ скроменъ, общежителенъ и въ своемъ родѣ страшно энергиченъ, ибо гонитъ свою линію до конца, и честенъ. Впрочемъ, обстоятельства дѣлаютъ изъ его честности скверныя штуки.

За нѣкоторыми исключеніями, таковъ былъ и Гаврило Налимовъ. Коренной землedѣлецъ, онъ жилъ бы и копался въ землѣ, еслибы послѣдней у него было достаточно и еслибы ему не мѣшали; копался бы неутомимо, вѣчно, до той поры, когда предстанетъ естественный конецъ. Тогда онъ ляжетъ на лавку или на траву, если его застигнетъ въ полѣ, скажетъ: „Господи, прости!“ — икнетъ и перестанетъ дышать. Такъ умеръ и его покойный родитель, прожившій восемьдесятъ пять лѣтъ и въ послѣдній, смертный часъ садившій рѣпу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желалъ. Но ему въ этомъ мѣшали сильно разстроенныя дѣла деревни, ежедневно напоминая ему, что и онъ можетъ пропасть, какъ пропадали поочередно, на его глазахъ, здоровенные мужики.

Тѣмъ не менѣе, онъ цѣпко держится за свою линію. Вообще, въ деревнѣ не было болѣе прочнаго мужика. По отно-

пенію къ несчастіямъ онъ велъ себя чрезвычайно дѣльно, ыстро оправлялся отъ самыхъ тяжелыхъ оплеухъ. Его страстью, его ремесломъ, его задачей была земля, и онъ добывалъ ее всякими средствами у ближайшихъ къ селу владѣльевъ, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замѣалъ, и онъ мало обращалъ вниманія на что-нибудь помимо воей задачи. Словомъ, жизнь его проходила въ томъ, что нъ сперва обработывалъ землю, потомъ ѣлъ хлѣбъ, вслѣдъ атѣмъ снова обработывалъ землю и опять ѣлъ хлѣбъ и т. д. тъ него убѣжалъ сынъ Ивашка, поступилъ въ трактиръ оловымъ. Но Гаврило собственно не этимъ обстоятельствомъ ылъ огорченъ, а лишь тѣмъ, что съ исчезновеніемъ сына ія него труднѣе стало добывать землю и ѣсть хлѣбъ. Онъ ораздо больше страдалъ изъ-за бычка, котораго онъ долженъ былъ потерять, употребивъ его, какъ взятку, для пріорѣтенія земли. Зять, къ которому перешелъ этотъ бычокъ, последствіи заплатилъ за него Гаврилѣ ничтожные пустяки

Гаврило долго не могъ забыть этого несчастія. Сынъ же ь его мысляхъ былъ только рабочею силой, о прапажѣ коэрой онъ сильно жалѣлъ, какъ истый землерой. И ни разу му не приходилось сильно страдать въ тѣ годы, когда у его рожались, но умирали дѣти. На своемъ вѣку онъ родилъ еловѣкъ двѣнадцать, изъ которыхъ только двое уцѣлѣли: вашка да дочь. Всѣ остальныя взяты были многочислеными деревенскими болѣзнями. Такая смертность не убила аврилу. Воля Божья! Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, поіѣ каждаго смертнаго случая копошился и хлопоталъ, затый текущими дѣлами.

Погруженный изо дня въ день въ хлопоты, онъ былъ довоэнъ. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что̀ для Гарилы составляло счастье? Земля, меринъ, телка и бычокъ, эи овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому го если чего-нибудь изъ перечисленнаго недоставало, онъ ылъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла ѣлка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду, а отдаая зятю бычка, выглядѣлъ вродѣ какъ полоумный. Но акія катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переодился. Въ самые голодные годы у него сохранялся мѣшокъ ругой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ отъ

жадныхъ сосѣдей, чтобы который изъ нихъ не попросилъ у него одолженія. Меринъ? Меринъ вѣрно служилъ ему пятнадцать лѣтъ и никогда не умиралъ; въ послѣднее время только замѣтно сталъ сопѣть и недостаточно ловко владѣлъ задними ногами, но, въ виду его смерти, у Гаврилы былъ двухгодовалый подростокъ.

Въ тяжелыя времена деревни на Гаврилу нападалъ страхъ; сосѣди его вели жалкую борьбу, и цѣлыя семьи пропадали, а онъ ничего, живъ оставался. Заглянетъ въ амбарушку, видитъ собственными глазами хлѣбъ. Заглянетъ въ хлѣвъ—тамъ стоитъ неумирающій меринъ, чавкая солому. Войдетъ въ избу—чисто вездѣ, прибрано, пахнетъ жилымъ духомъ. Послѣ этого онъ успокоивался, довольный своею долей. Старуха его была славная женщина, веселая, горластая и живая. Въ избѣ всегда былъ порядокъ. Сама она не ходила неряхой, растрепанной и неумытой, подобно большинству сосѣдокъ. Потеря дѣтей и другія невзгоды не потрясили ея; она оставалась бодрой и свѣтлой. Гаврило уважалъ ее. Она его вовремя накормитъ, поможетъ въ работѣ, подастъ хорошій совѣтъ, а въ праздникъ надѣнетъ на него чистые панталоны и ситцевую рубаху, послѣ чего Гаврило сидитъ на завалинкѣ и хлопаетъ глазами. Чего еще больше? Его душевная и тѣлесная крѣпость зависѣла отъ умѣнья сжиматься во время деревенскихъ невзгодъ, отъ умѣнья сокращать себя до послѣднихъ предѣловъ. Иной на его мѣстѣ, вродѣ Чилигина или Савоси Быкова, добывъ, съ Божьей помощью, десять фунтовъ муки, мигомъ ее съѣстъ, а послѣ того впадетъ въ отчаяніе, но Гаврило тѣ же десять фунтовъ раздѣлитъ на пригоршни и такъ ихъ распредѣлитъ, что не будетъ сытъ, но и не помретъ отъ недостатка пищи. Или если у Савоси остается въ карманѣ капитала всего-на-всего три копѣйки, то онъ броситъ ихъ куда-нибудь не впопадъ, а Гаврило тѣ же самыя три копѣйки прижметъ и употребитъ ихъ именно въ то мгновеніе, когда уже подходитъ смертный часъ—еще одинъ мигъ, и нѣтъ человѣка! А три копѣйки спасли! Мудреная жизнь, но жизнь. Гаврило именно умѣлъ вести такую жизнь.

Самый плохой моментъ въ его году—весна. Денегъ нѣтъ, земли не даютъ. Оттого онъ въ первый мѣсяцъ послѣ Святой велъ себя спокойно; ходилъ по сосѣднимъ владѣльцамъ,

росилъ Христомъ Богомъ у Шипикина, назойливо надоѣ-
ллъ таракановскому „управителю,“ подвергая себя всячес-
имъ униженіямъ. Затѣмъ, заполучивъ сколько успѣлъ земли,
нъ долженъ былъ отдыхать, для чего валялся нѣсколько
лей, какъ больной, утомившійся борьбой съ жестокою хворью.
отомъ уже выѣзжалъ въ поле. Неизвѣстно, вѣрилъ-ли онъ
ь болѣе радостную, свѣтлую жизнь? Вѣрно одно: никогда
нъ не тяготился отсутствіемъ широты и простора. Ему было
адно и такъ. Онъ усталъ и, видимо, дѣлался хворымъ, а кру-
омъ, „по сусѣдству“, утопали.

Когда хворь его началась — съ точностью нельзя опредѣ-
ить. Ближайшій человѣкъ — жена долго ничего особеннаго
е замѣчала, а когда вглядѣлась въ мужа, то послѣдній ужь
задумался“. Добрая женщина сильно удивилась, увидавъ,
то Гаврилѣ „чтой-то не можется“. Часто онъ скребъ себѣ
езъ всякой причины поясницу и имѣлъ сердитый видъ. Ра-
отая, онъ кряхтѣлъ и дѣлалъ продолжительные отдыхи. Иной
азъ и примется за дѣло, горячо примется, но быстро ося-
етъ. Идя куда-нибудь, онъ понуро опускалъ голову, никого,
овидимому, не замѣчая. Сердобольная жена разъ предло-
кила ему полѣчиться, думая, что онъ какъ-нибудь сорвалъ
ъ пупа, для чего совѣтовала въ жаркой банѣ, которую она
стопитъ, поставить на животъ горшки. Тому, кто не зна-
омъ съ медицинскимъ употребленіемъ горшковъ, слѣдуетъ
юяснить, что это нѣчто вродѣ банокъ для вытягиванія
крови, только несравненно дѣйствительнѣе; человѣкъ, кото-
юму поставили горшки, кричитъ какъ подъ ножемъ. Сред-
тво, кажется, убійственное. Но Гаврило не воспользовался
имъ. Мало того, онъ вдругъ осердился, вышелъ изъ себя и
выругалъ свою старуху, какъ самый послѣдній солдатъ.

Когда вскорѣ послѣ этого пришло время выѣзжать въ
поле, Гаврило по привычкѣ отправился копать землю. Весна
стояла теплая, влажная. День-два свѣтило солнце; слѣдую-
щій день лилъ дождь; потомъ опять стало свѣтло и радостно.
Бывало, Гаврило въ такіе дни оживалъ и весело ходилъ за
сохой, вѣря, что на землѣ тепло жить... Лѣсъ зеленѣлъ мо-
лодыми, яркими листьями. По полю поднималась свѣжая трава;
на озимыхъ пашняхъ проглядывала ужь рожь. Гаврило при-
нялся за работу какъ слѣдуетъ; съѣлъ кусокъ хлѣба, вы-
пилъ буракъ квасу, покормилъ мерина, и еще солнце хорошо

не засвѣтило, какъ онъ уже медленно шагалъ по бурьяну. Сначала работа шла успѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ все тише, тише лошадь съ хозяиномъ подвигались впередъ. Не слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило слова изъ устъ Гаврилы. И въ полѣ царствовала тишина, какъ среди спокойнаго моря. Слышался лишь неопредѣленный шумъ, производимый шепотомъ листьевъ ближайшаго лѣса и колебаніемъ травы. И все тише, тише тянулись лошадь съ хозяиномъ. Меринъ оглядывался по сторонамъ, улучая минуту сорвать верхушку прошлогодней травы и съ удовольствіемъ жевалъ ее; еще немного, и лукавое животное остановилось бы совсѣмъ, чтобы немного соснуть, пока очнется отъ дремоты самъ хозяинъ. Но хозяинъ не спалъ. Онъ опустилъ голову и безсознательно шелъ за лошадью. Онъ имѣлъ видъ человѣка, который глубоко задумался. Гаврило что-то соображалъ.

„Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ закричала хрипло ворона. Гаврило вздрогнулъ. На лицѣ отразилось раздраженіе. „Я тебѣ дамъ, подлая!“—крикнулъ онъ, махая кнутомъ. Онъ не вѣрилъ разнымъ сказкамъ насчетъ воронъ, но карканье и видъ вороны теперь почему-то моментально вывели его изъ себя. Онъ заторопился, задергалъ мерина, а когда тотъ съ перваго разу не послушался, заоралъ на него что есть мочи, отчего тотъ дернулъ и соха выскочила изъ борозды. „Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ опять надъ самымъ ухомъ, но съ другой стороны, хрипло заболтала ворона, отлетѣла подальше и потыкала носомъ въ комъ земли. Гаврило пришелъ въ ярость. „Кар-ръ! кар-ръ!“—хрипѣла подлая птица, не унимаясь. Богъ знаетъ, что сдѣлалось съ Гаврилой; онъ схватилъ съ слѣпою яростью комъ земли и пустилъ его въ птицу. Онъ принялся ругать птицу, потомъ мерина, потомъ неизвѣстно кого, безсмысленнымъ наборомъ словъ, и долго не могъ придти въ себя. Только хворый человѣкъ могъ придти въ такой необузданный гнѣвъ изъ пустяковъ и вспыхнуть злобой къ глупому животному. Но какъ бы то ни было, а Гаврило въ этотъ день больше уже не могъ работать. Послѣ страннаго раздраженія онъ ослабѣлъ и еле-еле тащился по пашнѣ, пока эта немощь, въ свою очередь, не раздражила его. Тогда онъ поспѣшно собрался и явился, къ удивленію старухи, домой. Нѣсколько дней онъ маялся съ этою поло-

сой. На другой день, напримѣръ, онъ попытался поѣхать, но также отчего-то взбѣсился и съ шумомъ двинулся домой, гдѣ легъ на дворѣ, закрылся шубой и такъ пролежалъ до вечера. На третій день также вернулся. На четвертый совсѣмъ не поѣхалъ. На слѣдующій день жена боязливо посылала его въ поле, но онъ отвѣтилъ:

— Ну, ее къ ляду!

— Да ты очумѣлъ, что-ли? Развѣ ужь пашни совсѣмъ не надо?—удивленно возразила жена.

— А зачѣмъ ее… пашню-то? Наплевать!—съ невѣроятнымъ легкомысліемъ сказалъ Гаврило.

Жена была поражена. Да и самъ Гаврило какъ будто испугался своего голоса и застыдился своихъ словъ; не говоря больше ничего, онъ съ шумомъ собрался и поспѣшно бросился на поле. На этотъ разъ, самъ не зная какъ, кончилъ.

По утвердившейся косности, работы шли своимъ порядкомъ, но ничтожнѣйшіе случаи приводили Гаврилу въ отчаяніе или въ необузданный гнѣвъ. Вспомнивъ какую-нибудь работу, онъ поролъ горячку, волновался отъ каждой неудачи, но быстро ослабѣвалъ, дѣлаясь мрачнѣе ночи, и вслѣдъ затѣмъ лаялся со старухой или съ мериномъ. Еслибы кто посмотрѣлъ на него въ это время, то счелъ бы его самымъ лядащимъ хозяиномъ, подобно Савосѣ Быкову. Разъярившись, онъ стегалъ мерина, гонялъ по двору телушку, разбрасывалъ, куда ни попало, вещи. Иногда отъ его бушеванія стонъ стоялъ надъ дворомъ. Телушка ревѣла, куры кудахтали, собака лаяла, старуха съ недоумѣніемъ ругалась, а на дворѣ, какъ послѣ пожара, разбросаны были: тамъ хомутъ, тамъ кадушка на боку, а посреди всего этого расхаживалъ самъ Гаврило и куралесилъ, вымещая на бездушныхъ предметахъ какую-то боль своей души. Вокругъ жилища его завелся страшный безпорядокъ; кучи сору и навозу нагромождены были противъ самыхъ воротъ; ворота стояли открытыми; хлѣвъ провонялъ отъ нечистоты; телѣга мокла подъ дождемъ на улицѣ; мерина забывали, и онъ жралъ съ голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихалъ. Выраженіе его было тогда мучительное. Онъ пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что̀ у него болитъ, ему хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, чтобы облегчить себя отъ непосиль-

куда-то пропалъ, а Василій Портянка запилъ. Такъ онъ и ушелъ одинъ, никѣмъ не провожаемый. Провожалъ его только туманъ, носившійся надъ холодною землей, да грязь, пристававшая къ его ногамъ, когда онъ одиноко удалялся изъ деревни.

Прошло съ того дня много времени. Гдѣ ходилъ Горѣловъ, никто не зналъ. Но скоро онъ объявился въ разныхъ мѣстахъ и сдѣлался популярнымъ среди крестьянъ. Изъ него выработался опытный путеводитель и ходокъ при переселеніяхъ. И въ это дѣло ушла вся его страстная, фанатическая натура; ведя партію на новыя мѣста, онъ не обращалъ вниманія ни на холодъ, ни на голодъ, а бодро шелъ впередъ за тысячи верстъ. Проводивъ одну партію, онъ становился во главѣ другой. Его костлявую, сгорбленную, но выносливую фигуру можно было встрѣтить на берегахъ Туры и Кубани, въ неоглядныхъ степяхъ Семирѣчья и въ предгорьяхъ Кавказа, въ Оренбургской пустыни и среди улыбающихся пейзажей Башкиріи. Жизнь его проходила въ безпрерывномъ путешествіи по далекимъ странамъ, и много было въ ней тяжелаго; не было только одного — полоумныхъ пустяковъ, выбившихъ его на этотъ страннический путь, полный приключеній.

Деревенскіе нервы.

(Разсказъ).

Воздухъ, небо и земля остались въ деревнѣ тѣ же, какими были сотни лѣтъ назадъ. И также росла по улицѣ трава, по огородамъ полынь, по полямъ хлѣба, какіе только производила деревня, проливая потъ на землю. И та же рѣчка, зеленая лѣтомъ, омывала навозные берега, теряясь вдали, посреди стариннаго барскаго лѣса, изъ-за котораго виднѣлись небольшія горы. Время не измѣнило ничего въ природѣ, окружающей съ испоконъ вѣковъ деревню. И жизнь послѣдней, кажется, идетъ своимъ предопредѣленнымъ тысячу лѣтъ назадъ чередомъ; какъ тогда отъ деревни требовался хлѣбъ и трава, которые она производила, такъ и теперь она добываетъ хлѣбъ и траву, для чего предварительно копитъ потъ, навозъ и здоровье. Все по старому. Только люди, видимо, не тѣ уже; измѣнились ихъ отношенія другъ къ другу и къ окружающимъ—воздуху, солнцу, землѣ. Не проходило мѣсяца, чтобы жители не были взволнованы какою-нибудь перемѣной или какимъ-нибудь событіемъ, совершенно идущимъ въ разрѣзъ со всѣмъ тѣмъ, что помнили древнѣйшіе въ деревнѣ старики. „Не бывало этого!...“ „Старики не помнятъ!...“—говорили чуть не каждомѣсячно про такое происшествіе. Да и нельзя помнить того, чего на самомъ дѣлѣ не было. Не видала, напримѣръ, деревня такого случая: пріѣхалъ изъ ученія, прямо изъ Москвы, сынъ батюшки-священника, чтобы погостить лѣто на родинѣ, взялъ, да и застрѣлился по неизвѣстной причинѣ. Или вотъ такой случай: жилъ одинъ крестьянинъ, Гаврило Налимовъ, скромно и честно, никому не мѣшалъ, но вдругъ ни съ того, ни съ сего взялъ,

да и озлился на всю деревню, запылалъ къ ней ненавистью и закуралесилъ, безъ всякой причины...

Совершившаяся съ Гаврилой перемѣна произошла не вдругъ, хотя всѣ послѣдовательныя степени ея остались до послѣдняго момента совершенно необъяснимыми для сосѣдей. Не только никто не зналъ, когда и отчего онъ вздумалъ безобразничать, но не знали и того, въ чемъ именно состоитъ его бѣда. Сосѣди ограничивались тѣмъ, что каждую степень его ошалѣлости отмѣчали съ величайшею аккуратностью и необыкновенно вѣрно. Сперва Гаврило обратилъ на себя вниманіе явною задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчасъ замѣтили сосѣди, замѣтили потому, что въ деревнѣ задуматься по нынѣшнимъ временамъ не безопасно; задуматься въ деревнѣ — значитъ предчувствовать бѣду.

— Чувствуетъ, что ни на есть,—тонко догадывались другіе сосѣди.

Далѣе сосѣди констатировали, что Гаврило сталъ лаять на всякаго безъ разбору.

— Почему бы это?

— Песъ его разберетъ, такъ надо сказать: осатанѣлъ. Ему доброе слово, а онъ лается.

Въ деревнѣ скоро всѣ, отъ мала до велика, убѣдились, что съ Гаврилой нѣтъ никакой возможности разговаривать: брехаетъ, какъ чистый песъ.

Послѣ этого вскорѣ передавали, что Гаврило, встрѣтивъ священника, облаялъ его на чемъ свѣтъ стоитъ.

Фактъ, дѣйствительно, передавался вѣрно, и священникъ пожаловался волостному начальству.

Не успѣло это дѣло забыться, какъ сосѣди, ближайшіе и отдаленные, подмѣтили въ Гаврилѣ новую перемѣну.

— Гаврило, слышь, плачетъ. То-есть вотъ какъ плачетъ! Уткнулъ бороду въ траву подлѣ рѣки и реветъ.

Было и это. Нѣсколько человѣкъ изъ сосѣдей своими глазами видѣли и обратились съ успокоительно-ласковыми словами къ рыдавшему, но, не дождавшись отвѣта, пошли прочь, пораженные.

Но, вслѣдъ затѣмъ, вдругъ всѣ услыхали, что Гаврило за облаянье старшины попалъ въ волостной чуланъ.

— Гаврило-то ужь въ чуланѣ сидитъ,—передавали сосѣди,

глубоко изумленные, узнавъ, что Гаврило не только словесно оскорбилъ начальника, но и полѣзъ-было въ драку. Всѣ поняли, что Гаврилѣ плохо придется, и дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, по деревнѣ прошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, сказываютъ, увезли! Судить, вишь, будутъ!

На нѣсколько мѣсяцевъ Гаврило канулъ, какъ въ воду, но вдругъ въ деревнѣ снова увидали его.

— Гаврило-то ужъ дома сидитъ... худо-ой!—передавали сосѣди и моментально собрались вокругъ избы Налимова, взволнованные внезапнымъ окончаніемъ его небывалыхъ приключеній. Наконецъ, всѣ убѣдились, что Гаврило ослабъ и сдѣлался окончательно хворымъ человѣкомъ. Тутъ только всѣ стали догадываться, что онъ и всегда былъ хворымъ, по крайней мѣрѣ, съ того начала, когда онъ только еще „задумался", и затѣмъ позднѣе, когда онъ сталъ выкидывать разныя непонятныя штуки.

Но, тѣмъ не менѣе, никто не зналъ, отчего на него напала такая хворь, что за причина? Какой случай подвелъ его подъ такую неслыханную болѣзнь, наружные признаки которой выражались тѣмъ, что онъ сперва задумался, потомъ началъ лаять безъ разбору, на кого попало, послѣ чего плакалъ навзрыдъ, и, наконецъ, полѣзъ въ драку и набезобразничалъ, за что влопался въ острогъ безъ всякой настоящей вины? Видимаго случая не произошло никакого; несчастія съ нимъ не случилось—вотъ что удивительно. До того времени никто и не думалъ интересоваться имъ, какъ никто не станетъ интересоваться вообще человѣкомъ, который живетъ тихо, никого не тревожа и ничѣмъ особеннымъ не отличаясь; про такого человѣка говорятъ, что онъ живетъ и хлѣбъ жуетъ, а что касается другихъ проявленій его, то ихъ никто не замѣчаетъ. Онъ былъ именно средній человѣкъ. Что такое средній человѣкъ? Это, прежде всего, существо, которое всю жизнь изъ всѣхъ силъ копошится и не любитъ, чтобы ему мѣшали. Для того онъ старается всѣми мѣрами, чтобы не замѣчали его существованія, чтобы не трогали его и чтобы ему, въ свою очередь, не пришлось кого-нибудь задѣть. Средній человѣкъ поэтому отличается крайнею живучестью. Онъ трудолюбивъ, терпѣливъ, неуязвимъ. Настоящей жизни въ немъ нѣтъ, а та, которою онъ обладаетъ, надѣлена необы-

кновенною цѣпкостью. Онъ живетъ или, вѣрнѣе сказать, существуетъ и тогда, когда для другихъ пришелъ уже конецъ. Выше его, надъ нимъ, стоятъ люди, которые, не удовлетворяясь полу-жизнью, рвутся на просторъ и по большей части разбиваютъ свои головы о каменную стѣну; ниже его, подъ нимъ, находятся люди, которые отъ непосильнаго напряженія падаютъ и умираютъ. А онъ—ничего, существуетъ, хотя мученія его иногда невыносимы. Довольствуется онъ всегда тѣмъ, что по обстоятельствамъ дозволяется и что даетъ случай, а если случай ему во всемъ отказываетъ, то и тогда ничего, существуетъ, прилаживаясь къ чему-нибудь неизмѣримо малому. Если у него отнимутъ кусокъ хлѣба, онъ съѣстъ, вмѣсто него, камень. Если его лишатъ свѣта, онъ закроетъ глаза, обходясь безъ него. Если его лишатъ воздуха, онъ сократитъ дыханіе и сдѣлается холоднокровнымъ земноводнымъ. Слѣпой и холодный, онъ все-таки будетъ считать счастіемъ существовать. Когда его, средняго человѣка, бьютъ, онъ залѣчиваетъ раны. Когда на него надѣнутъ цѣпи, онъ сдѣлаетъ ихъ удобными для ношенія. Онъ выходитъ изъ себя только въ томъ случаѣ, если покушаются на ту крошку бытія, которая пребываетъ въ немъ, но выражаетъ свое негодованіе тѣмъ, что теряется и мечется, но не борется. Онъ скроменъ, общежителенъ и въ своемъ родѣ страшно энергиченъ, ибо гонитъ свою линію до конца, и честенъ. Впрочемъ, обстоятельства дѣлаютъ изъ его честности скверныя штуки.

За нѣкоторыми исключеніями, таковъ былъ и Гаврило Налимовъ. Коренной земледѣлецъ, онъ жилъ бы и копался въ землѣ, еслибы послѣдней у него было достаточно и еслибы ему не мѣшали; копался бы неутомимо, вѣчно, до той поры, когда предстанетъ естественный конецъ. Тогда онъ ляжетъ на лавку или на траву, если его застигнетъ въ полѣ, скажетъ: „Господи, прости!“ — икнетъ и перестанетъ дышать. Такъ умеръ и его покойный родитель, прожившій восемьдесятъ пять лѣтъ и въ послѣдній, смертный часъ садившій рѣпу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желалъ. Но ему въ этомъ мѣшали сильно разстроенныя дѣла деревни, ежедневно напоминая ему, что и онъ можетъ пропасть, какъ пропадали поочередно, на его глазахъ, здоровенные мужики.

Тѣмъ не менѣе, онъ цѣпко держится за свою линію. Вообще, въ деревнѣ не было болѣе прочнаго мужика. По отно-

шенію къ несчастіямъ онъ велъ себя чрезвычайно дѣльно, быстро оправлялся отъ самыхъ тяжелыхъ оплеухъ. Его страстью, его ремесломъ, его задачей была земля, и онъ добывалъ ее всякими средствами у ближайшихъ къ селу владѣльцевъ, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замѣчалъ, и онъ мало обращалъ вниманія на что-нибудь помимо своей задачи. Словомъ, жизнь его проходила въ томъ, что онъ сперва обработывалъ землю, потомъ ѣлъ хлѣбъ, вслѣдъ затѣмъ снова обработывалъ землю и опять ѣлъ хлѣбъ и т. д. Отъ него убѣжалъ сынъ Ивашка, поступилъ въ трактиръ половымъ. Но Гаврило собственно не этимъ обстоятельствомъ былъ огорченъ, а лишь тѣмъ, что съ исчезновеніемъ сына для него труднѣе стало добывать землю и ѣсть хлѣбъ. Онъ гораздо больше страдалъ изъ-за бычка, котораго онъ долженъ былъ потерять, употребивъ его, какъ взятку, для пріобрѣтенія земли. Зять, къ которому перешелъ этотъ бычокъ, впослѣдствіи заплатилъ за него Гаврилѣ ничтожные пустяки и Гаврило долго не могъ забыть этого несчастія. Сынъ же въ его мысляхъ былъ только рабочею силой, о прапажѣ которой онъ сильно жалѣлъ, какъ истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать въ тѣ годы, когда у него рожались, но умирали дѣти. На своемъ вѣку онъ родилъ человѣкъ двѣнадцать, изъ которыхъ только двое уцѣлѣли: Ивашка да дочь. Всѣ остальныя взяты были многочисленными деревенскими болѣзнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля Божья! Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, послѣ каждаго смертнаго случая копошился и хлопоталъ, занятый текущими дѣлами.

Погруженный изо дня въ день въ хлопоты, онъ былъ доволенъ. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что̀ для Гаврилы составляло счастье? Земля, меринъ, телка и бычокъ, три овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому что если чего-нибудь изъ перечисленнаго недоставало, онъ былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла тёлка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду, а отдавая зятю бычка, выглядѣлъ вродѣ какъ полоумный. Но такія катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переводился. Въ самые голодные годы у него сохранялся мѣшокъ-другой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ отъ

жадныхъ сосѣдей, чтобы который изъ нихъ не попросилъ у него одолженія. Меринъ? Меринъ вѣрно служилъ ему пятнадцать лѣтъ и никогда не умиралъ; въ послѣднее время только замѣтно сталъ сопѣть и недостаточно ловко владѣлъ задними ногами, но, въ виду его смерти, у Гаврилы былъ двухгодовалый подростокъ.

Въ тяжелыя времена деревни на Гаврилу нападалъ страхъ; сосѣди его вели жалкую борьбу, и цѣлыя семьи пропадали, а онъ ничего, живъ оставался. Заглянетъ въ амбарушку, видитъ собственными глазами хлѣбъ. Заглянетъ въ хлѣвъ—тамъ стоитъ неумирающій меринъ, чавкая солому. Войдетъ въ избу—чисто вездѣ, прибрано, пахнетъ жилымъ духомъ. Послѣ этого онъ успокоивался, довольный своею долей. Старуха его была славная женщина, веселая, горластая и живая. Въ избѣ всегда былъ порядокъ. Сама она не ходила неряхой, растрепанной и неумытой, подобно большинству сосѣдокъ. Потеря дѣтей и другія невзгоды не потрясили ея; она оставалась бодрой и свѣтлой. Гаврило уважалъ ее. Она его вовремя накормитъ, поможетъ въ работѣ, подастъ хорошій совѣтъ, а въ праздникъ надѣнетъ на него чистые панталоны и ситцевую рубаху, послѣ чего Гаврило сидитъ на завалинкѣ и хлопаетъ глазами. Чего еще больше? Его душевная и тѣлесная крѣпость зависѣла отъ умѣнья сжиматься во время деревенскихъ невзгодъ, отъ умѣнья сокращать себя до послѣднихъ предѣловъ. Иной на его мѣстѣ, вродѣ Чилигина или Савоси Быкова, добывъ, съ Божьей помощью, десять фунтовъ муки, мигомъ ее съѣстъ, а послѣ того впадетъ въ отчаяніе, но Гаврило тѣ же десять фунтовъ раздѣлитъ на пригоршни и такъ ихъ распредѣлитъ, что не будетъ сытъ, но и не помретъ отъ недостатка пищи. Или если у Савоси остается въ карманѣ капитала всего-на-всего три копѣйки, то онъ броситъ ихъ куда-нибудь не впопадъ, а Гаврило тѣ же самыя три копѣйки прижметъ и употребитъ ихъ именно въ то мгновеніе, когда уже подходитъ смертный часъ—еще одинъ мигъ, и нѣтъ человѣка! А три копѣйки спасли! Мудреная жизнь, но жизнь. Гаврило именно умѣлъ вести такую жизнь.

Самый плохой моментъ въ его году—весна. Денегъ нѣтъ, земли не даютъ. Оттого онъ въ первый мѣсяцъ послѣ Святой велъ себя спокойно; ходилъ по сосѣднимъ владѣльцамъ,

росилъ Христомъ Богомъ у Шипикина, назойливо надоѣлъ таракановскому „управителю,“ подвергая себя всячесимъ униженіямъ. Затѣмъ, заполучивъ сколько успѣлъ земли, нъ долженъ былъ отдыхать, для чего валялся нѣсколько ней, какъ больной, утомившійся борьбой съ жестокою хворью. отомъ уже выѣзжалъ въ поле. Неизвѣстно, вѣрилъ-ли онъ ь болѣе радостную, свѣтлую жизнь? Вѣрно одно: никогда нъ не тяготился отсутствіемъ широты и простора. Ему было дно и такъ. Онъ усталъ и, видимо, дѣлался хворымъ, а кругомъ, „по сусѣдству“, утопали.

Когда хворь его началась — съ точностью нельзя опредѣлить. Ближайшій человѣкъ — жена долго ничего особеннаго е замѣчала, а когда вглядѣлась въ мужа, то послѣдній ужь задумался“. Добрая женщина сильно удивилась, увидавъ, го Гаврилѣ „чтой-то не можется“. Часто онъ скребъ себѣ езъ всякой причины поясницу и имѣлъ сердитый видъ. Работая, онъ кряхтѣлъ и дѣлалъ продолжительные отдыхи. Иной азъ и примется за дѣло, горячо примется, но быстро осяетъ. Идя куда-нибудь, онъ понуро опускалъ голову, никого, овидимому, не замѣчая. Сердобольная жена разъ предложила ему полѣчиться, думая, что онъ какъ-нибудь сорвалъ ъ пупа, для чего совѣтовала въ жаркой банѣ, которую она стопитъ, поставить на животъ горшки. Тому, кто не знакомъ съ медицинскимъ употребленіемъ горшковъ, слѣдуетъ оянить, что это нѣчто вродѣ банокъ для вытягиванія крови, только несравненно дѣйствительнѣе; человѣкъ, которому поставили горшки, кричитъ какъ подъ ножемъ. Средство, кажется, убійственное. Но Гаврило не воспользовался имъ. Мало того, онъ вдругъ осердился, вышелъ изъ себя и выругалъ свою старуху, какъ самый послѣдній солдатъ.

Когда вскорѣ послѣ этого пришло время выѣзжать въ поле, Гаврило по привычкѣ отправился копать землю. Весна стояла теплая, влажная. День-два свѣтило солнце; слѣдующій день лилъ дождь; потомъ опять стало свѣтло и радостно. Бывало, Гаврило въ такіе дни оживалъ и весело ходилъ за сохой, вѣря, что на землѣ тепло жить... Лѣсъ зеленѣлъ молодыми, яркими листьями. По полю поднималась свѣжая трава; на озимыхъ пашняхъ проглядывала ужь рожь. Гаврило принялся за работу какъ слѣдуетъ; съѣлъ кусокъ хлѣба, выпилъ буракъ квасу, покормилъ мерина, и еще солнце хорошо

не засвѣтило, какъ онъ уже медленно шагалъ по бурьяну. Сначала работа шла успѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ все тише, тише лошадь съ хозяиномъ подвигались впередъ. Не слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило слова изъ устъ Гаврилы. И въ полѣ царствовала тишина, какъ среди спокойнаго моря. Слышался лишь неопредѣленный шумъ, производимый шепотомъ листьевъ ближайшаго лѣса и колебаніемъ травы. И все тише, тише тянулись лошадь съ хозяиномъ. Меринъ оглядывался по сторонамъ, улучалъ минуту сорвать верхушку прошлогодней травы и съ удовольствіемъ жевалъ ее; еще немного, и лукавое животное остановилось бы совсѣмъ, чтобы немного соснуть, пока очнется отъ дремоты самъ хозяинъ. Но хозяинъ не спалъ. Онъ опустилъ голову и безсознательно шелъ за лошадью. Онъ имѣлъ видъ человѣка, который глубоко задумался. Гаврило что-то соображалъ.

„Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ закричала хрипло ворона. Гаврило вздрогнулъ. На лицѣ отразилось раздраженіе. „Я тебѣ дамъ, подлая!“—крикнулъ онъ, махая кнутомъ. Онъ не вѣрилъ разнымъ сказкамъ насчетъ воронъ, но карканье и видъ вороны теперь почему-то моментально вывели его изъ себя. Онъ заторопился, задергалъ мерина, а когда тотъ съ перваго разу не послушался, заоралъ на него что есть мочи, отчего тотъ дернулъ и соха выскочила изъ борозды. „Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ опять надъ самымъ ухомъ, но съ другой стороны, хрипло заболтала ворона, отлетѣла подальше и потыкала носомъ въ комъ земли. Гаврило пришелъ въ ярость. „Кар-ръ! кар-ръ!“—хрипѣла подлая птица, не унимаясь. Богъ знаетъ, что сдѣлалось съ Гаврилой; онъ схватилъ съ слѣпою яростью комъ земли и пустилъ его въ птицу. Онъ принялся ругать птицу, потомъ мерина, потомъ неизвѣстно кого, безсмысленнымъ наборомъ словъ, и долго не могъ придти въ себя. Только хворый человѣкъ могъ придти въ такой необузданный гнѣвъ изъ пустяковъ и вспыхнуть злобой къ глупому животному. Но какъ бы то ни было, а Гаврило въ этотъ день больше уже не могъ работать. Послѣ страннаго раздраженія онъ ослабѣлъ и еле-еле тащился по пашнѣ, пока эта немощь, въ свою очередь, не раздражила его. Тогда онъ поспѣшно собрался и явился, къ удивленію старухи, домой. Нѣсколько дней онъ маялся съ этою поло-

сой. На другой день, напримѣръ, онъ попытался поѣхать, но также отчего-то взбѣсился и съ шумомъ двинулся домой, гдѣ легъ на дворѣ, закрылся шубой и такъ пролежалъ до вечера. На третій день также вернулся. На четвертый совсѣмъ не поѣхалъ. На слѣдующій день жена боязливо посылала его въ поле, но онъ отвѣтилъ:

— Ну, ее къ ляду!

— Да ты очумѣлъ, что-ли? Развѣ ужь пашни совсѣмъ не надо?—удивленно возразила жена.

— А зачѣмъ ее... пашню-то? Наплевать!—съ невѣроятнымъ легкомысліемъ сказалъ Гаврило.

Жена была поражена. Да и самъ Гаврило какъ будто испугался своего голоса и застыдился своихъ словъ; не говоря больше ничего, онъ съ шумомъ собрался и поспѣшно бросился на поле. На этотъ разъ, самъ не зная какъ, кончилъ.

По утвердившейся косности, работы шли своимъ порядкомъ, но ничтожнѣйшіе случаи приводили Гаврилу въ отчаяніе или въ необузданный гнѣвъ. Вспомнивъ какую-нибудь работу, онъ поролъ горячку, волновался отъ каждой неудачи, но быстро ослабѣвалъ, дѣлаясь мрачнѣе ночи, и вслѣдъ затѣмъ лаялся со старухой или съ мериномъ. Еслибы кто посмотрѣлъ на него въ это время, то счелъ бы его самымъ лядащимъ хозяиномъ, подобно Савосѣ Быкову. Разъярившись, онъ стегалъ мерина, гонялъ по двору телушку, разбрасывалъ, куда ни попало, вещи. Иногда отъ его бушеванія стонъ стоялъ надъ дворомъ. Телушка ревѣла, куры кудахтали, собака лаяла, старуха съ недоумѣніемъ ругалась, а на дворѣ, какъ послѣ пожара, разбросаны были: тамъ хомутъ, тамъ кадушка на боку, а посреди всего этого расхаживалъ самъ Гаврило и куралесилъ, вымещая на бездушныхъ предметахъ какую-то боль своей души. Вокругъ жилища его завелся страшный безпорядокъ; кучи сору и навозу нагромождены были противъ самыхъ воротъ; ворота стояли открытыми; хлѣвъ провонялъ отъ нечистоты; телѣга мокла подъ дождемъ на улицѣ; мерина забывали, и онъ жралъ съ голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихалъ. Выраженіе его было тогда мучительное. Онъ пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что̀ у него болитъ, ему хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, чтобы облегчить себя отъ непосиль-

ной тяжести, ни съ того, ни съ сего обрушившейся на него, но высказаться толково онъ не умѣлъ, особенно съ близкимъ человѣкомъ, съ которымъ прiучаются говорить полусловами и намеками. Именно старухѣ-то своей онъ и не могъ путно разсказать свою хворь. А, между тѣмъ, самъ сознавалъ, что хворь напала на него и гнететъ немилосердно.

Въ это время онъ ходилъ къ батюшкѣ поговорить по душѣ. Простоявъ въ воскресенье обѣдню, онъ прямо пошелъ къ поповскому дому. Батюшка принялъ его сухо, но не прогналъ, а велѣлъ обождать. Онъ считалъ деньги, собранныя сейчасъ за крестины и молебны. Сидя за столомъ, онъ съ глубокомысленнымъ видомъ раскладывалъ мѣдныя монеты; скоро на столѣ въ порядкѣ разложены были кучки; въ одномъ мѣстѣ возвышались толстые пятаки, въ другомъ — гривны, подлѣ гривенъ рядомъ тянулись двухкопѣечныя, а позади всѣхъ помѣстились тощiя копѣйки. Пересчитавъ все это тлѣнное богатство, батюшка нахмурилъ брови и сурово взглянулъ на Гаврилу.

— Ну, говори, зачѣмъ ты?—строго спросилъ батюшка.

Гаврило не могъ сразу найти отвѣтъ. Онъ тревожно кидалъ глаза на полъ, по стѣнамъ и на свои сапоги, и въ нерѣшительности перекидывалъ съ одною мѣста на другое свою шапку, положивъ ее сначала на колѣни, потомъ на лавку подлѣ себя, и засунулъ ее, наконецъ, за пазуху кафтана. Лицо его къ этому времени уже сильно измѣнилось; оно осунулось, а въ глазахъ была неотвязная тревога.

— Что же ты мнешься? Говори.

— Я будто нездоровъ. Мнѣ бы по душѣ съ тобой покалякать... Можно?—заговорилъ Гаврило слабо, но быстро оправился. Батюшка поморщился въ отвѣтъ на это, однако, приготовился выслушать.

— Я бы передъ тобой все одно, какъ передъ Богомъ. Мнѣ ужь таить нечего, дѣваться некуда, одно слово, хоша бы руки на себя наложить, такъ въ пору. Значитъ, приперло же меня здорово!

— Что ты говоришь? Развѣ можно имѣть такiя грѣховныя мысли?—недовольнымъ тономъ сказалъ батюшка, который еще не могъ до сихъ поръ забыть самоубiйства сына.

— Грѣшно—это справедливо. Потому, противъ Бога. Вотъ я и пришелъ насчетъ души поговорить... Болитъ у меня,

прямо надо сказать, душа, тоскую, а объ чемъ, объ какихъ случаяхъ, того не знаю... Дивное дѣло! Жилъ-жилъ, все ничего, а тутъ вдругъ вонъ куда пошло!... И хотѣлъ бы дознаться, отчего это бываетъ?

— Какъ же она у тебя болитъ, душа-то?

— Да такъ, самъ не знаю, въ какомъ родѣ... А вижу, что главная сила въ душѣ. Отчего это бываетъ?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а все. Иной разъ ску-учно станетъ и до того ужь дойду, что самъ какъ есть не въ своемъ видѣ...

— Трудись хорошенько. Скука происходитъ отъ праздности,—посовѣтовалъ батюшка.

Такъ вѣдь я допрежъ этой пакости не отлынивалъ отъ работы, и сейчасъ бы радъ работать, да не могу. Скучно! Тошно мнѣ смотрѣть на все... И радъ бы приспособить себя къ дѣлу, а, между прочимъ, скучно... Отчего это бываетъ?

— Отъ различныхъ причинъ бываетъ,—многозначительно отвѣчалъ батюшка, но въ полной мѣрѣ недоумѣвая.

— А то случается, что я все думаю разныя мысли,—продолжалъ Гаврило.

— Какія же мысли?

— Да мысли-то, по правдѣ сказать, не настоящія, а все больше предсмертное мнѣ приходитъ въ голову...

— То-есть какъ это предсмертное?—спросилъ батюшка, поблѣднѣвъ и съ сердцемъ.

— Да такъ, о смертяхъ, вишь, я все думаю,—пояснилъ Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!... Что же ты думаешь?

— Разное. Живетъ, напримѣръ, около меня Василій Чилигинъ, колотится кое-какъ со дня на день, по зимамъ мерзнетъ, а то такъ по два дня безъ пищи ходитъ... Я и думаю: скоро-ли же Чилигинъ кончится?

Батюшка неодобрительно покачалъ головой.

— Или, напримѣръ, Тимоѳей Луковъ. Домъ бросилъ, жена убѣгла отъ него, а онъ безобразничаетъ... И думаю я: лучше бы Тимошкѣ помереть!

— Это, братъ, грѣшно, зла желать ближнему,—возразилъ батюшка строго.

— Самъ вижу, грѣхъ, а не могу... Вижу котораго, напримѣръ, человѣка и думаю: „зачѣмъ ты живешь?“ И про себя

у меня такія же мысли. Дѣлалъ бы, работалъ бы съ удовольствіемъ, а не знаю, что къ чему... Потому я и спрашиваю, какъ бы хворь эту вывести?... Очень она меня убиваетъ!

— Да я не понимаю, какая хворь? По моему, дурь одна... Какая это хворь?—нетерпѣливо сказалъ батюшка, которому сталъ надоѣдать этотъ разговоръ.

— Жизни не радъ — вотъ какая моя хворь! Не знаю, что къ чему, зачѣмъ... и къ какимъ правиламъ,—упорно настаивалъ Гаврило.

— Ты вѣдь землепашецъ?—строго спросилъ батюшка.

— Землепашецъ, вѣрно.

— Чего же тебѣ еще? Добывай хлѣбъ въ потѣ лица твоего и благо ти будетъ, какъ сказано въ писаніи...

— А зачѣмъ мнѣ хлѣбъ?—пытливо спросилъ Гаврило.

— Какъ зачѣмъ? Ты ужь, братъ, кажется, замололся... Хлѣбъ потребенъ человѣку.

Батюшка проговорилъ это лѣниво, не зная, какъ отвязаться отъ страннаго мужичонки.

— Хлѣбъ, точно, ничего... хлѣбъ—оно хорошее дѣло. Да для чего онъ? Вотъ какая штука-то! Нынче я ѣмъ, а завтра опять буду ѣсть его... Весь вѣкъ сваливаешь въ себя хлѣбъ, какъ въ прорву какую, какъ въ мѣшокъ пустой, а для чего? Вотъ оно и скучно... Такъ и во всякомъ дѣлѣ, примешься хорошо, начнешь работать, да вдругъ спросишь себя: зачѣмъ? для чего? И скучно...

— Такъ вѣдь тебѣ, дуракъ, жить надо! Затѣмъ ты и работаешь?—сказалъ гнѣвно батюшка.

— А зачѣмъ мнѣ надо жить?—спросилъ Гаврило.

Батюшка плюнулъ.

— Тьфу! ты, дуракъ эдакій!

— Ты ужь, отецъ, не изволь гнѣваться. Вѣдь я тебѣ разсказываю, какія мои предсмертныя мысли... Я и самъ вѣдь не радъ; ужь до той мѣры дойдетъ, что тошно, болитъ душа... Отчего это бываетъ?

— Будетъ тебѣ молоть!—сказалъ строго батюшка, собираясь покончить странный разговоръ.

— Главное, дѣваться мнѣ некуда!—возразилъ грустно Гаврило.

— Молись Богу, трудись, работай... Это все отъ лѣни и пьянства... Больше мнѣ нечего тебѣ присовѣтовать. А те-

перь ступай съ Богомъ,—и батюшка при этомъ рѣшительно всталъ.

Гаврило не ожидалъ, что бесѣда такъ круто прервется, и нѣсколько времени топтался на мѣстѣ. Но, оставленный батюшкой, онъ вышелъ вонъ, не говоря ни слова. А хотѣлось бы ему до многаго допытаться; напримѣръ, спросить: отъ какой причины сынъ батюшки наложилъ на себя руки?

Весь этотъ день Гаврило находился въ смирномъ настроенiи. Но не то случилось на другой день. Нужно же было нелегкой столкнуть его снова съ батюшкой. Послѣднiй шелъ къ себѣ домой и несъ лукошко съ яйцами. Должно быть, какой-нибудь благочестивый мiрянинъ пожертвовалъ. Гаврило, какъ только увидалъ батюшку, моментально очутился не въ своемъ видѣ. Онъ взбѣленился, вспыхнулъ и давай ругать батюшку отборными словами. Батюшка сначала не вѣрилъ своимъ ушамъ и остановился, какъ вкопанный.

— Что ты, что ты? Богъ съ тобой! Развѣ ты не узнаешь меня?

— Какъ не узнать!—кричалъ Гаврило.

— Вѣдь я твой отецъ духовный, сумасшедшiй ты человѣкъ!

— Вижу. Ишь какое лукошко-то прешь!... Развѣ священному человѣку нужно яйца? Какой же ты послѣ этого священникъ, коли у тебя лукошко на умѣ? — бѣшено кричалъ Гаврило и принялся постыдно ругаться, внѣ себя и, повидимому, не сознавая, гдѣ и что онъ говоритъ. Батюшка поспѣшилъ отойти прочь и, отнеся лукошко домой, сейчасъ же отправился въ волость съ жалобой.

Скоро вся деревня узнала, что съ Гаврилой не только дѣла, но и самаго пустого разговора вести невозможно. Безъ всякаго повода онъ вдругъ ошалѣетъ, облаетъ что ни на есть отборнѣйшими ругательствами и осрамитъ на всю улицу. Его опасались и сторонились, боязливо поглядывая на него. Мальчишки, и тѣ стали прятаться при видѣ его, хотя онъ никогда ихъ не задѣвалъ. Стоило ему показаться на улицѣ, чтобы куча ребятъ бросалась въ разсыпную. „Вонъ Гаврило идетъ!"—кричалъ кто-нибудь, и это означало: спасайся, кто можетъ! и ребята спасались—одинъ подъ плетень, другой въ подворотню, кто куда успѣлъ.

А самъ Гаврило все больше и больше принималъ не свой

видъ. Лѣтнія работы онъ продолжалъ совершать, но такъ неровно, такъ неумѣло, что только маялся. Онъ метался. Какъ будто онъ потерялъ что-то огромное, глубоко-важное и напрасно въ страхѣ отыскивалъ свою пропажу. Не находя искомаго, онъ еще сильнѣе волновался. Однажды онъ засѣлъ въ кабакъ, гдѣ его до этого времени никогда не видали. Однако, сивуха не залила его смертельнаго безпокойства, а подѣйствовала на него удручающимъ образомъ. Напившись, онъ пришелъ къ себѣ на зады, легъ въ траву и сталъ плакать. Плачъ его такъ долго продолжался, что услыхали нѣсколько сосѣдей и, подойдя къ нему, робко уговаривали, вмѣстѣ съ его старухой, придти въ себя, успокоиться.

Въ другой разъ на двое сутокъ онъ совсѣмъ безслѣдно пропалъ. Думали, утонулъ, потому что въ послѣдній разъ видѣли его возлѣ воды, и онъ мочилъ себѣ голову, но это подозрѣніе оказалось напраснымъ. Черезъ два дня онъ тихо явился домой и спокойно уснулъ. Уходилъ же онъ въ имѣніе Шипикина къ извѣстному фельдшеру.

Явленіе его къ фельдшеру въ имѣніе Шипикина было такъ же поспѣшно, какъ и все, что онъ за это время дѣлалъ. Было утро. Солнце еще не поднялось изъ-за лѣса. По землѣ тянулись клочья тумана; только изъ двухъ трубъ выходилъ дымъ. Въ избахъ еще спали. А лицевая сторона дома фельдшера оставалась еще въ тѣни и тогда, когда надъ лѣсомъ ужь показался огромный шаръ лѣтняго солнца. Но фельдшеръ рано долженъ былъ проснуться. Онъ уже давно прислушивался, что кто-то подъ его окнами копошится. Онъ думалъ, что какое-нибудь животное трется объ стѣну, и чтобы прогнать его и опять заснуть, всталъ съ кровати, отворилъ окно и увидалъ Гаврилу, который сидѣлъ скорчившись и прижавшись къ стѣнѣ.

— Ты что тутъ трешься?—спросилъ онъ съ обычною своею грубостью, на этотъ разъ особенно усиленной.

— Не ты-ли будешь фершалъ?

— Ну, я.

— Я къ тебѣ по моей болѣзни пришелъ,—отвѣчалъ Гаврило.

— Ты бы еще ночью приперся! Уснуть не даютъ, черти... Сейчасъ!

Послѣ этого фельдшеръ съ недовольнымъ видомъ залѣзъ въ какія-то бараньи калоши, надѣлъ длиннополую хламиду

прямо на бѣлье и пошелъ на улицу. Недовольство никогда не мѣшало его леченію; никогда онъ подолгу не задерживалъ больного, хотя бы тотъ дѣйствительно не во-время явился къ нему. Обругаетъ, какъ послѣдняго свинью, своего паціента, но отнесется къ нему добросовѣстнѣйшимъ образомъ.

— Ну, что?—спросилъ онъ, оглядывая пытливо крестьянина и стараясь по внѣшнему виду его опредѣлить болѣзнь. Словамъ мужика обыкновенно онъ ни капли не вѣрилъ и въ грошъ не ставилъ его часто дѣйствительно нелѣпый разсказъ о болѣзни. Онъ постигалъ болѣзнь какими-то окольными путями и такъ наловчился въ этомъ, что рѣдко ошибался. Къ удивленію его, однако, на этотъ разъ ничего не могъ сообразить. Гаврило сперва жаловался на головную боль, но вслѣдъ затѣмъ понесъ такую околесную, что фельдшеръ только пожималъ плечами.

— Давно у тебя голова-то болитъ?—спросилъ онъ, осматривая съ ногъ до головы взбудораженную фигуру Гаврилы.

— Да какъ тебѣ сказать?...Давно ужь,—возразилъ Гаврило.

— Здо̀рово болитъ?

— Болитъ вотъ какъ! Сожметъ, сожметъ — свѣту не видишь. Прямо тебѣ сказать, голова моя вродѣ какъ кадушка, а на кадушку будто набиваютъ обручи... мочи нѣтъ!

— Можетъ быть, это съ перепою, а то не треснулся-ли башкой объ уголъ? Вообще не припомнишь-ли ты случая, съ котораго началась у тебя эта боль?

— Кто его знаетъ?... Такого случая въ памяти у меня нѣтъ...

— Такъ вѣдь съ чего-нибудь взялось же?

— Да съ чего взялось?... Я полагаю не иначе, какъ отъ думы это все идетъ; отъ думы и голова, видно, болитъ... Иной разъ думаешь-думаешь, и такъ тебѣ сожметъ голову!...

— О чемъ же ты думаешь?—съ изумленіемъ спросилъ фельдшеръ.

— Разное. Что случится въ деревнѣ, объ томъ и думаю. Что увижу или услышу—и давай сейчасъ разбирать... Значитъ, болитъ у меня душа, оттого и голову ломитъ... Въ душѣ самая сила-то, язва-то самая...

Фельдшеръ осердился.

— Да по твоему, что это такое—душа?—спросилъ онъ.

Но Гаврило молчалъ, не понимая.

— Ты думаешь, можетъ быть, что это особливый кусокъ какой, который можно схватить? Вѣдь душа твоя—это ты самъ и есть. Стало быть, ты хочешь сказать, что у тебя все болитъ, весь ты разстроенъ?

— Все, все! это ты вѣрно! Истинно, все сплошь у меня болитъ. Очень худо мнѣ. Не дашь-ли лѣкарствія какого отъ думы, чтобы то-есть не маятся мыслями?—спросилъ радостно и съ надеждой Гаврило.

Фельдшеръ, между тѣмъ, пристально оглядывалъ больного. Видно было, что онъ сталъ въ тупикъ.

— Вотъ еще какіе бываютъ,—сказалъ онъ какъ бы про себя, но смотря на Гаврилу.

— Что изволишь говорить?—спросилъ съ надеждой послѣдній.

— Я говорю, что еще ни разу мнѣ не приходилось лѣчить не думать. Гмъ! Такъ лѣкарствія тебѣ? Ладно.

И еще разъ оглянувъ съ ногъ до головы больного, онъ вошелъ къ себѣ въ домъ, порылся тамъ въ шкапѣ и возвратился назадъ на улицу съ какимъ-то пузырькомъ въ рукахъ. Гаврило безъ слова отдалъ деньги за лѣкарство, но фельдшеръ, прежде чѣмъ вручить его, принялся, по обыкновенію, вдалбливать, какъ надо употреблять лѣкарство.

— Это отъ головной боли и отъ нервовъ, которые, впрочемъ, едва-ли у тебя есть... Такъ вотъ, нà! По десяти капель въ день; принимать въ водѣ. Понялъ? Я потому такъ спрашиваю, что ты, можетъ быть, вздумаешь сразу сожрать этотъ пузырекъ. А если ты сожрешь сразу, такъ голова твоя обратится не то что въ кадушку, а будетъ турецкій барабанъ, по которому бьютъ два солдата... да еще сердцебіеніе наживешь... Понялъ?

— Понялъ,—отвѣчалъ Гаврило.

— Повтори.

— Налить въ воду десять капель и выпить.

— Ладно. Теперь ступай. Повторяю: это тебѣ пока отъ головной боли. Ты понавѣдайся черезъ нѣсколько дней: пріѣдетъ докторъ, ты услышишь объ его пріѣздѣ и приди. Мы тогда и придумаемъ какое-нибудь лѣкарствіе, чтобы у тебя мыслей не было,—говорилъ фельдшеръ, задумчиво провожая глазами удалявшагося Гаврилу. Онъ былъ изумленъ.

Искренно изумленъ. Въ своей деревенской практикѣ онъ

все болѣе встрѣчалъ первобытныя болѣзни: надорвался животъ; жилы налились водой; лягнула лошадь; раскроилъ щеку; пріятель откусилъ своему пріятелю въ нетрезвомъ и возбужденномъ состояніи часть губы; простудился въ рѣкѣ, доставая коноплю, когда уже на рѣкѣ образовался ледъ, и прочее въ томъ же родѣ. Лѣчилъ онъ все это съ ловкостью хорошаго врача. Имѣлъ онъ также дѣло съ лихорадками, горячками и со всѣми эпидеміями, какія только существуютъ на землѣ и особенно любятъ деревни, но такой болѣзни, какую онъ сейчасъ встрѣтилъ, онъ не знавалъ, не признавалъ ея. Разстроенная бездѣльемъ пустая барыня—это было для него понятно, но чтобы мужикъ разстроился въ томъ же родѣ—это было въ его глазахъ крайне глупо. Но человѣкъ онъ былъ добродушный, искренній. У него только языкъ былъ взбалмошный, а сердце доброе. Онъ сильно заинтересовался Гаврилой и, не полагаясь на себя, рѣшился представить его доктору, котораго ждалъ на-дняхъ.

Черезъ шесть дней докторъ дѣйствительно пріѣхалъ на сутки. Скоро въ квартирѣ фельдшера собралась огромная толпа чающихъ исцѣленія; весь этотъ немощный людъ облѣпилъ завалинки, плетни, ворота и крыльцо фельдшерскаго дома. Въ сѣни, гдѣ происходилъ пріемъ, впускались по одиночкѣ, по очереди. Главное участіе въ пріемѣ принималъ фельдшеръ же; докторъ только руководилъ, мало вмѣшиваясь въ курьезныя объясненія съ паціентами. Онъ полулежалъ на лавкѣ за столомъ и безцеремонно громко зѣвалъ. Глядѣлъ онъ сонно; движенія его были апатичны, разговоръ вялый, безжизненный, потому что онъ былъ земскимъ врачемъ отъ земства, гдѣ убійственная скука столь же неизбѣжна, какъ худосочіе у человѣка, которому невѣжественный коновалъ періодически пускалъ кровь. Этотъ докторъ былъ еще молодой человѣкъ, а уже дряхлое старчество проглядывало во всѣхъ его движеніяхъ. Говорятъ, въ первое время своей службы онъ безъ отдыха скакалъ по ввѣренной ему палестинѣ, устраивалъ пріемные покои, ругался изъ-за пузырьковъ для лѣкарствъ, изъ-за корпіи, велъ медицинскую статистику и т. д. Потомъ понемногу все затихалъ, умолкалъ, робѣлъ, пока не дошелъ до того состоянія, когда, какъ говорится, плюнуть лѣнь.

Къ полудню пріемъ кончился. Больная толпа разошлась.

Но фельдшеръ долго еще послѣ этого поджидалъ Гаврилу. Наконецъ, не выдержалъ и обругался.

— Вѣдь вотъ, дубина безчувственная, не пришелъ!

— Кого это вы браните?—спросилъ докторъ.

Фельдшеръ былъ настроенъ на торжественный тонъ, и докторъ, отлично зная его, заранѣе улыбнулся.

— Приходилъ ко мнѣ на-дняхъ одинъ больной крестьянинъ, то-есть прямо сказать, чортъ его разберетъ, больной или полоумный. Сколько я ни изслѣдовалъ его словесно, ни къ какому понятію не могъ придти; по обыкновенію, путалъ онъ, путалъ языкомъ и не единаго слова не выразилъ... Сперва, изволите видѣть, заявился съ головною болью, сравнилъ голову съ кадушкой, на которую, напримѣръ, набиваютъ обручи,—именно этимъ онъ хотѣлъ пояснить наглядно, какъ у него болитъ голова. Но изъ дальнѣйшаго разспроса оказалось, что у него, извольте вообразить, болитъ душа, а когда я объяснилъ ему, что особливаго эдакого куска мяса, который бы былъ именно душой, нѣтъ, не существуетъ въ природѣ, такъ онъ сейчасъ же согласился со мной и, къ удивленію моему, можете себѣ представить, объявилъ, что именно у него все болитъ, все сплошь!... Больше, извините, не помню, что онъ путалъ, но, кажется, увѣрялъ, будто бы головная боль его происходитъ отъ думы, и просилъ у меня такого лѣкарства, отъ котораго бы сразу всѣ мысли его прекратились... Вотъ теперь я приказывалъ ему придти, а онъ, видите, и глазъ не кажетъ...

Докторъ все время улыбался.

— Случай, извольте видѣть, интересный, то-есть у меня никогда не было такихъ больныхъ... Я уже было подумалъ —совѣстно даже сказать!—не нервное-ли это разстройство?

— Это вполнѣ вѣроятно,—замѣтилъ докторъ.

— Какъ! у деревни-то нервы?!—воскликнулъ фельдшеръ.

— Я не разъ уже встрѣчалъ между крестьянами нервно больныхъ, со всѣми признаками глубокихъ умственныхъ страданій...

Фельдшеръ пристально посмотрѣлъ на доктора, подозрѣвая, что тотъ хочетъ надъ нимъ подшутить, а онъ терпѣть не могъ этого.

— Ну, ужь это едва-ли!... По моему, они безчувственны

къ болямъ; это ужь я отлично знаю... Къ физическимъ страданіямъ тупы, нравственныя оскорбленія выносятъ равнодушно—въ этомъ и бѣда вся!

— Говорю вамъ, у меня уже перебывало много такихъ... Мало того, было нѣсколько случаевъ, гдѣ я замѣчалъ явные слѣды нервнаго odium vitae... Отвращеніе къ жизни.

Фельдшеръ недовѣрчиво взглянулъ на доктора.

— А отчего же это, позвольте васъ спросить, происходитъ?

— Да, вѣроятно, оттого же, отчего и съ каждымъ изъ насъ можетъ быть... Упадокъ силъ... потеря царя головы... тоска... отвращеніе ко всему. Что касается вашего больного, то, быть можетъ, его поразилъ рядъ неудачъ; быть можетъ, у него было одно, но огромное несчастіе; быть можетъ, наконецъ, сочувствіе къ окружающимъ...

— Это у него-то сочувствіе къ людямъ, у остолопа-то эдакого?!

— У простого человѣка сочувствіе больше развито, чѣмъ у кого другого. У крестьянина связь со всѣмъ окружающимъ и съ обществомъ буквально кровная, неразрывная... И если это общество страдаетъ, и онъ хирѣетъ, и хвораетъ, и падаетъ духомъ,.. вянетъ, какъ листъ срѣзаннаго растенія... Это я и называю сочувствіемъ, невольнымъ, безсознательнымъ, но тѣмъ болѣе неумолимымъ.

Фельдшеръ задумался.

— Позвольте, докторъ, я приведу къ вамъ этого чурбана, посмотрите его,—сердито сказалъ онъ.

— Едва-ли я сдѣлаю ему что-нибудь нужное.

— Неужели ничего?

— Да что же?... Единственное средство—это совершенная перемѣна образа жизни и обстановки; но подумайте, какъ же это мужикъ перемѣнитъ образъ жизни? Безполезно и лѣчить... Пожалуй, приведите,—уныло сказалъ докторъ.

И, сказавъ это, онъ потянулся, зѣвнулъ и совсѣмъ прилегъ на лавку.

Фельдшеру, между тѣмъ, надо было ѣхать по дѣлу въ деревню Гаврилы; да еслибы, кажется, и предлога никакого не нашлось, онъ выдумалъ бы его, только бы притащить Гаврилу. Непонятная болѣзнь послѣдняго подмывала его. Ему отъ души хотѣлось помочь ему, въ крайнемъ случаѣ

подробно разсмотрѣть и разспросить, чтобы на будущее время не срамить себя такъ передъ докторомъ. По счастливой случайности, ему удалось встрѣтить Гаврилу, не доѣзжая еще до мѣста. Тотъ шелъ посмотрѣть полосу, посѣянную на шипикинской землѣ. Фельдшеръ обрадовался ему, какъ давнишнему знакомому, и уже хотѣлъ хлопнуть его по плечу, для чего соскочилъ съ телѣги, на которой трясся, но взглянулъ на лицо мужика и оставилъ это намѣреніе. Гаврило злобно и мрачно смотрѣлъ на него, какъ на врага. Тѣмъ не менѣе, фельдшеръ вскричалъ:

— Эй, ты, Иванъ!..

— Я не Иванъ, а Гаврило!

— Ну, чортъ съ тобой, Гаврило, такъ Гаврило, какъ будто мнѣ не все равно... Я только хочу сказать—поѣдемъ со мной къ доктору. Онъ тебя осмотритъ и найдетъ, можетъ быть, средствіе,—сказалъ фельдшеръ.

— Проваливай своею дорогой!

Фельдшеръ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на говорившаго.

— Будетъ тутъ болтать... садись, я тебя довезу.

— Нечего мнѣ садиться. Знаю я васъ!.. Ишь гусь какой!

— Ты что же это, бревно?—сказалъ фельдшеръ сдержанно.—Я же тебѣ хочу пользы, а ты лаешься! Вѣдь пропадешь ни за понюхъ!

— Много васъ тутъ шляется... проваливай!—мрачно сказалъ Гаврило.

Фельдшеръ даже позабылъ выругаться. Онъ подождалъ, пока Гаврило удалялся, постоялъ въ нерѣшительности, сѣлъ въ телѣгу и поѣхалъ въ противоположную сторону, крайне недовольный собой и опечаленный.

Однако, впослѣдствіи вмѣшательство фельдшера положительно спасло Гаврилу. Безъ этого случая Гаврилѣ не мининовать бы Сибири или, по меньшей мѣрѣ, арестантскихъ ротъ. Никому изъ окружающихъ въ голову не приходило, что это просто больной. Всѣ видѣли, что человѣкъ одурѣлъ, и не знали отчего. Къ этому времени Гаврило дѣйствительно сдѣлался невыносимымъ. Все лѣто онъ провелъ въ какомъ-то странномъ возбужденіи, отчего поступки его приняли безпокойный характеръ. Потерявъ, такъ сказать, свою точку, свою вѣру, онъ взамѣнъ ея не нашелъ ничего. Онъ уже совершенно потерялъ спокойствіе, и если иногда казался тихо

настроеннымъ, то это было просто окаменѣніе. Онъ все куда-то порывался, что-то подмывало его. Напримѣръ, онъ измучился съ сѣномъ, которое онъ накосилъ въ Петровки. Сперва, какъ и всѣ люди, сложилъ сѣно на гумнѣ, но вдругъ его это смутило, и съ сумасшедшею торопливостью въ половину дня онъ перетаскалъ сѣно на дворъ къ себѣ и сметалъ его на сарай. Но тутъ его опять встревожило, и онъ то же самое сѣно побросалъ опять на дворъ и засовалъ его подъ сарай. Можетъ быть, онъ еще куда-нибудь стащилъ бы его, но помѣшали другія хлопоты, столь же нелѣпыя.

Гаврило уже плохо владѣлъ собой и дѣлалъ необдуманныя дѣла. Таковъ былъ его краткій разговоръ со старшиной, чуть-было не погубившій его. Обстоятельства этого дѣла крайне нелѣпы. Волостное правленіе вызывало Гаврилу для какихъ-то справокъ насчетъ его сына Ивана. Справки были пустыя. Гаврило долго не являлся на зовъ, можетъ быть, позабылъ его. Вспомнивъ, онъ безъ всякаго раздраженія отправился удовлетворить законное требованіе своего начальства. Передъ отходомъ изъ дома онъ даже нѣсколько оправился: пріодѣлся, пригладился и вообще велъ себя безупречно. Видъ онъ имѣлъ смирный. Явился въ волость совершенно равнодушно.

— Ты что тамъ ломаешься? — обратился къ нему старшина.—Я тебя сколько разъ требовалъ, а ты и ухомъ не ведешь. Ждать мнѣ, что-ли, тебя, остолопъ?

— Самъ ты остолопъ,—равнодушнѣйшимъ тономъ возразилъ Гаврило.

Старшина посмотрѣлъ на присутствующихъ, какъ бы спрашивая: что это такое?

— Что ты сказалъ?—спросилъ онъ.

— А ты долженъ слушать, уши-то есть у тебя,—равнодушно отвѣчалъ Гаврило.

— Да ты какъ смѣешь грубить, негодяй? — взбѣшенно вскричалъ старшина.

— Самъ ты негодяй,—вспыхнулъ Гаврило и сразу потерялъ свой видъ, и принялся кричать.—Негодяй! именно негодяй! Вотъ тебѣ и сказъ! А окромя того, обдирало! Всю волость ободралъ! Староста вонъ влопался ужь, а ты еще сидишь... Какъ ты смѣешь ругаться? Я тебѣ дамъ, какъ срамить хорошаго человѣка!

Старшина бросился-было къ нему, готовый, повидимому, разодрать его, но овладѣлъ собой и только затрясся.

— Ребята... вали его!—слабымъ голосомъ выговорилъ онъ, обращаясь къ присутствующимъ двумъ-тремъ крестьянамъ. Тѣ принялись исполнять приказъ. Гаврило, ужь не помня себя, схватилъ какую-то вещь въ руки и давай ей размахивать, обороняясь отъ нападающихъ. Впослѣдствіи ужь оказалось, что моталъ онъ огромнымъ сапогомъ, принадлежащимъ волостному старшинѣ Конечно, отчаянная оборона только замедлила его взятіе, да еще, пожалуй, посадила двѣ-три шишки на головахъ нападающихъ, но не могла принести пользы. И тутъ никто не подумалъ, что взяли, избили, скрутили и посадили въ чуланъ нездороваго человѣка.

Дѣло, напротивъ, явилось серьезнымъ: „оскорбленіе словами и намѣреніе оскорбить дѣйствіемъ волостного старшину при исполненіи обязанностей службы". Старшина, впрочемъ, рѣшился сперва не давать хода этому происшествію и предложилъ, въ смыслѣ мировой, высѣчь его, но Гаврило ничего не отвѣчалъ изъ чулана, и дѣло пошло дальше. Гаврилу увезли въ тюрьму, гдѣ слѣдователь дѣятельно принялся разыскивать въ хворомъ человѣкѣ преступную волю. А тѣмъ временемъ Гаврило все сидѣлъ, до той поры, пока не вмѣшалась его старуха.

Напередъ ошеломленная, она, однако, не упала духомъ, бодро кончила лѣтнія работы, начатыя мужемъ, и тогда рѣшилась все лишнее распродать или отдать на сбереженіе сосѣдямъ, дворъ приперeть, избу заколотить, кое-какую живность порѣзать, чтобы свезти въ городъ для продажи. Только телку да безсмертнаго мерина оставить. Такъ и сдѣлала. Запрягла мерина и поѣхала по свѣту добывать Гаврилу. Буквально по свѣту, потому что она не знала, гдѣ онъ спрятанъ, у кого о немъ спросить и кому надоѣдать просьбами; знала только, что надо ѣхать въ тотъ городокъ, гдѣ при трактирѣ живетъ Ивашка-сынъ. Старуха съ мериномъ избороздила въ два мѣсяца осени тысячи двѣ верстъ. Нашла въ городѣ, при помощи Ивашки, того слѣдователя, въ рукахъ котораго находилось дѣло Гаврилы, но слѣдователь прогналъ ее. Ей посовѣтовали обратиться къ самому губернатору, и она поѣхала на меринѣ искать губернатора, объѣзжавшаго губернію. Но губернатора не

увидала, и, чтобы она больше не надоѣдала, ее прогнали. Посовѣтовали ей еще обратиться къ прокурору, и она тѣмъ же путемъ обратно поѣхала въ городъ, но и прокуроръ ее не выслушалъ. Тогда она двинулась на неутомимомъ меринѣ назадъ въ деревню, чтобы попросить у общества одобрительнаго свидѣтельства о Гаврилѣ, но міръ по ея дѣлу не собрался; отдѣльные мужики хотя и жалѣли ее, но ничего сдѣлать не могли. Много она съ мериномъ изъѣздила лишняго. Но она вѣрила, что мужа, по нездоровью, отпустятъ.

Случайно лишь встрѣтилъ ее фельдшеръ и сильно заинтересовался разсказомъ старухи. Выслушавъ ее до конца, онъ далъ ей письмо къ своему доктору, съ приказаніемъ умно и толково разсказать ему все. Докторъ жилъ въ городѣ въ это время, и старуха снова туда поѣхала. На этотъ разъ она попала въ точку. Черезъ мѣсяцъ Гаврилу освободили, вслѣдствіе признанія его умственно разстроеннымъ. Много лишняго изъѣздила старуха съ мериномъ!

Когда Гаврило вышелъ изъ тюрьмы, онъ имѣлъ дѣйствительно видъ худой. Все семейство пожило вмѣстѣ дня два, во время которыхъ Ивашка дѣятельно убѣждалъ отца бросить деревню и поступить къ его хозяину дворникомъ.

— Здѣсь, прямо сказать, спокойно. У насъ думать нечего. Бери свое, что тебѣ слѣдуетъ—и шабашъ! Думать не объ чемъ! Живи, получай деньги, сколько должно и—шабашъ!—говорилъ Ивашка, раскрашивая трактирную службу.

Гаврило сначала слушалъ невнимательно, но, приходя въ себя, одобрительно кивалъ головой. Потомъ вдругъ обрадовался. Онъ заговорилъ, оживѣлъ, засуетился. Въ какой-нибудь часъ рѣшеніе его созрѣло: ѣхать немедленно въ деревню и отпроситься у общества въ отпускъ, послѣ чего возвратиться въ городъ къ Ивашкѣ. Повидимому, въ его головѣ моментально обрисовалась картина: взялъ лопату и вычистилъ, а послѣ того никакого больше безпокойства.

— И больше не объ чемъ безпокоиться?—радостно спросилъ Гаврило.

— Да о чемъ же еще?... Свое дѣло исполнилъ—и шабашъ!— еще разъ подтвердилъ Ивашка.

Гаврило запрегъ мерина въ сани (была уже зима), посадилъ старуху и поѣхалъ въ деревню для раздѣлки съ ней. Но исторія мерина кончилась. По пріѣздѣ домой, онъ по-

нуро свѣсилъ уши. Когда Гаврило отвелъ его въ сарай, онъ не обрадовался и не сталъ кататься по назьму. Когда ему подложили соломы, чтобы онъ поѣлъ, онъ отворотился, на-отрѣзъ отказавшись пить и ѣсть. Видимо, онъ умиралъ. Къ ночи онъ легъ на землю, вытянулъ шею, ноги и хвостъ —и сдохъ. Только старуха поплакала надъ нимъ.

Но Гаврилѣ ничего не было жалко. Напротивъ Нѣсколько сосѣдей пришли провѣдать его, посмотрѣть; они уже слышали, что вся исторія съ Гаврилой случилась отъ хвори, и теперь быстро собрались выразить Гаврилѣ сочувствіе. Но Гаврило ихъ принялъ нерадушно. Его безпокойство снова стало возрождаться отъ вида родины. И воздухъ, и солнце, и поле, и людей, и свою избу, и дворъ съ назьмомъ, и сарай съ телушкой и курами,—все это онъ прежде любилъ, но теперь чувствовалъ одно безпокойство, припоминая тѣ мученія, которыя онъ здѣсь претерпѣлъ. Дѣла онъ живо покончилъ, кое-что продалъ, приперъ ворота, заколотилъ избу и пошелъ со старухой прочь.

Чтобы не оборвать этой исторіи на полусловѣ, слѣдуетъ разсказать въ нѣсколькихъ словахъ, какъ Гаврило устроился на новомъ мѣстѣ. Устроился онъ спокойно. Изъ него вышелъ образцовый дворникъ. Свои обязанности онъ исполнялъ точно: подметалъ дворъ, таскалъ жильцамъ дрова, а отъ нихъ соръ. Онъ былъ радъ, что попалъ на такое хорошее мѣсто. Въ тѣлѣ онъ поправился. Безпокойства, лихорадочности уже не было замѣтно въ его взорѣ. Да развѣ и можно что-нибудь думать о метлѣ или по поводу ея? А у него въ жизни метла одна только и осталась. Вслѣдствіе этого, мыслей у него больше не появлялось. Онъ дѣлалъ то, что ему приказывали. Если бы ему приказали этою же его метлой бить по спинамъ жильцовъ, онъ не отказался бы. Жильцы его не любили, какъ бы понимая, что этотъ человѣкъ совсѣмъ не думаетъ. За его позу передъ воротами они называли его „идоломъ". А, между тѣмъ, онъ виноватъ былъ только потому, что оборванные деревней нервы сдѣлали его безчувственнымъ.

Братья.

I.

Въ одинъ изъ степныхъ вечеровъ, когда жгучій жаръ немного ослабѣлъ, когда дышавшая зноемъ березовская степь сбросила съ себя полдневную дымку, придававшую ей видъ безконечнаго синяго моря, которое зажгли на всѣхъ точкахъ горизонта, и когда мировой судья счелъ возможнымъ надѣть халатъ, чтобы съ бо̀льшимъ удобствомъ начать чаепитіе, трое его гостей усѣлись за столъ и принялись за чашки. Одинъ изъ нихъ—его городской пріятель; другіе два — березовскіе мужики, два брата Сизовы, только что сработавшіе судьѣ новое крыльцо. Ихъ судья усадилъ за свой столъ, какъ образчики степныхъ жителей вообще и березовцевъ въ частности: на̀, молъ, вотъ смотри и спрашивай. Статистикъ дѣйствительно предлагалъ имъ сотни вопросовъ о мѣстной жизни, но за нихъ долженъ былъ отвѣчать самъ хозяинъ, потому что они были молчаливы, какъ глубокіе колодцы, изъ которыхъ статистику трудно было что-нибудь выудить; говорили о нихъ, спрашивали ихъ объ ихъ же житьѣ, но они не могли угоняться въ своихъ отвѣтахъ за вопросами. Статистикъ, между прочимъ, интересовался вопросомъ: находятся ли мѣстные жители въ кабалѣ? Еще бы! У кого? У кулаковъ. Это пришлые люди? Кровные и доморощенные. Значитъ, березовцы въ собственной жизни заключаютъ причины зарожденія, развитія и питанія своихъ враговъ? Здѣсь мировой судья далъ отвѣтъ простой и откровенный, въ томъ смыслѣ, что каналій всюду много, а въ темной мужицкой средѣ больше,

чѣмъ гдѣ-нибудь; при этомъ мужицкую среду онъ сравнилъ съ мутною водой, въ которой плаваютъ добрые караси и злыя щуки, сравнилъ и захохоталъ. На дальнѣйшіе вопросы онъ отвѣчалъ пространно.

Одинъ изъ братьевъ, Петръ, слушалъ, повидимому, съ почтительнымъ вниманіемъ, но ничего не слыхалъ. У него въ печкѣ въ это самое мгновеніе сушилась ось, передъ значеніемъ которой всѣ разглагольствованія хозяина были пустыми. Онъ не выдержалъ долго. „Домой бы мнѣ надо", — сказалъ онъ; на вопросы, куда онъ торопится, онъ отвѣчалъ: „Древо у меня въ печкѣ сушится — оно и безпокойно, какъ бы не пропало; чуточку перегоритъ и конецъ дѣлу, сейчасъ треснетъ, хоть ревомъ реви"... Петръ былъ мрачно серьезенъ, говоря это и собираясь уходить; время, пока мировой судья говорилъ о народной жизни, онъ думалъ именно объ этомъ „древѣ", которое въ его глазахъ уже представлялось курящимся и треснувшимъ. Какъ ни упрашивалъ его судья посидѣть, онъ ушелъ. Другой братъ, Иванъ, казалось, исполнялъ всѣ дѣйствія, считаемыя имъ неизбѣжными при всякомъ чаепитіи; онъ наливалъ чай на блюдечко, дулъ на него и клалъ на пятерню; допивъ чашку, онъ опрокидывалъ ее вверхъ дномъ, клалъ на ея верхушку огрызокъ сахара и пытался благодарить за угощеніе. Но въ эту минуту хозяинъ кидалъ огрызокъ, наливалъ новаго чаю и приказывалъ дуть снова. И Иванъ дулъ. Это повторялось нѣсколько разъ. Судья такъ увлекся своими разговорами, что не обращалъ вниманія ни на самого Ивана, обливавшагося потомъ, ни на его слова. И тяжело же было Сизову! Пропуская большинство мудреныхъ словъ хозяина, онъ понималъ, что тотъ много говорилъ несправедливаго, невѣрнаго, но какъ бы надо было говорить — не зналъ. Лицо его было весьма плачевно; онъ конфузился, стыдливо посматривалъ на обоихъ господъ, какъ будто сидѣлъ на скамьѣ подсудимыхъ. Онъ даже забылъ вытирать свое лицо, такъ что съ кончика его носа свѣшивалась капля воды.

— Миколай Иванычъ! Ты погоди... такъ нельзя, — говорилъ онъ, пытаясь собраться съ мыслями и возразить судьѣ.

Послѣдній останавливался, чтобы выслушать его.

— Что? Ну, говори.

— Ты малость не тово, не такъ... Ты говори по порядку,

чтобы выходило точка въ точку... А эдакъ нельзя. Ты говоришь, я міроѣдъ...

— Ты слушай ушами, Иванъ,—разсердился хозяинъ,—я не говорю, что каждый изъ вашихъ мужиковъ кулакъ, но я утверждаю, что въ каждомъ изъ нихъ сидитъ будущій кулакъ. Дайте только каждому изъ васъ силу, такъ вы живьемъ съѣдите другъ друга.

— Рази такъ можно? Ты суди по справедливости,—повторялъ Иванъ. Онъ, видимо, огорчался.

— Такъ откуда же, по твоему, міроѣды-то ваши?

— Откуда!

— Да, откуда? Съ неба, что-ли, они къ вамъ валятся?

— Зачѣмъ съ неба? Ты погоди, Миколай Иванычъ, дай мнѣ срокъ... я тебѣ предоставлю... надо обсудить все какъ слѣдуетъ, по настоящему,—сказалъ Иванъ, во всѣ глаза смотря поперемѣнно то на того, то на другого барина и, повидимому, роясь въ своей головѣ въ поискахъ за настоящими мыслями.

Но вдругъ онъ, почувствовавъ всю горечь обвиненія, воскликнулъ:

— Ахъ, ты Господи Боже мой! эдакая притча!

И замолчалъ.

— Вотъ вы и слушайте его!—продолжалъ Николай Иванычъ, обращаясь уже къ статистику.—Никогда вы не добьетесь отъ него лучшаго отвѣта... не можетъ... Я съ нимъ много говорилъ, да и со многими изъ нихъ говорилъ... никто не можетъ! Они даже удивляются при этомъ вопросѣ, какъ будто міроѣды живутъ гдѣ-то на островахъ Фиджи, а не въ Березовкѣ... Откуда кулаки?—на это, конечно, много отвѣтовъ, въ числѣ которыхъ я выскажу и свой взглядъ. Я сказалъ: въ каждомъ мужикѣ сидитъ кулакъ. Но пусть это невѣрно; бросаю на время свое мнѣніе. Что же изъ этого? Вы скажете, что кулаки—посторонняя сила, наплывшая въ деревню извнѣ? Но я могу по пальцамъ перечесть всѣхъ здѣшнихъ міроѣдовъ и разсказать ихъ родословную, изъ которой вы увидите, что всѣ они происхожденія домашняго. Замѣтьте, что въ эту глушь ни одна каналья не пойдетъ, не зная мѣстныхъ обычаевъ и условій, потому что безъ этихъ условій его подлости не принесутъ ни малѣйшей выгоды. Это ясно, какъ день: мужикоѣдъ долженъ родиться въ той же мѣстности, гдѣ ему

предстоитъ совершить свой провиденціальный трудъ поѣданія темнаго народа. Но даже и это слабо выражено. Міроѣды и кулаки прямо-таки родятся на мѣстѣ, такъ что постороннимъ кулакамъ и пріѣзжать не зачѣмъ: своихъ довольно. Вы хотя вотъ у него спросите (судья указалъ на Ивана), какими березовцы пришли сюда, какими стали теперь. Я разскажу. Пришли они изъ внутренней губерніи и поселились въ нашей степи при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ и на мѣстѣ, лучше котораго они и найти не могли. Кругомъ безбрежныя степи, неистощимый черноземъ; отрѣзали имъ земли столько, что ее просто дѣвать было некуда; кромѣ того, подъ бокомъ у нихъ были башкирскія степи и казенныя земли. Башкиры обыкновенно соглашались отдавать неизмѣримыя пространства за щепоть спитаго чаю или за полпирога. По рѣкѣ Зыби росли густыя чащи дубняку, осины, березы—дрова. Рожью они кормили свиней, въ просѣ тонули мужики и умирали... Вы спросите только, что было тутъ! Нынче же этого ничего нѣтъ. Лѣсъ весь вырубленъ, и топятъ навозомъ. Землю всю выпотрошили и теперь хнычутъ на малоземелье, собираясь идти дальше отыскивать кисельные берега. Башкирскія земли прозѣвали. Но это къ слову... Я говорю это только затѣмъ, чтобы показать всю невозможность кабалы. Зачѣмъ кабала? Зачѣмъ они запакостили землю? Зачѣмъ имъ понадобились кулаки, на которыхъ теперь у нихъ бо̀льшое плодородіе, чѣмъ на хлѣбъ насущный?

— Миколай Иванычъ, а, Миколай Иванычъ! Ей-ей, невѣрно!—вставилъ Иванъ. Потомъ онъ накрылъ чашку, положилъ на нее огрызокъ сахара и благодарилъ за угощеніе хозяина.

Послѣдній остановился, самъ отпилъ глотокъ чаю, налилъ молча новую чашку Ивану и приказалъ:

— Пей!

Послѣ чего продолжалъ:

— Забылъ еще объ одномъ: когда они появились на нынѣшнія мѣста, они были одинаково слабы, немощны и голы... Вотъ онъ вамъ скажетъ, въ какихъ землянкахъ они прожили два года; иные прямо обитали въ ямахъ, образовавшихся естественно. Дикій народъ былъ, милостивый государь! Понимаете, зачѣмъ я это припомнилъ? Равенство нищеты—вотъ,

къ удивленію, необходимое условіе, безъ котораго они не могутъ жить дружно. Дай имъ только оправиться немножко, они уже начинаютъ ѣсть другъ друга. Такъ это и происходило на самомъ дѣлѣ. Пока они были голы, они работали дружно, безъ зависти, не заглядывали другъ другу въ карманы и не дѣлились на міроѣдовъ и просто мужиковъ, а какъ только оправились, поползло все врозь... Я могу уступить только въ одномъ: отказавшись отъ мнѣнія, что каждый мужикъ есть будущій кулакъ, я никогда не откажусь дѣлить ихъ на міроѣдовъ и ротозѣевъ. Судите сами. Мало того, что они вырубили лѣса, вытоптали луга, занавозили рѣчку, гдѣ теперь, какъ вы сами видѣли, плаваетъ зелень, отъ которой болятъ десна и глаза, мало того, что они прозѣвали башкирскіе участки, захваченные нынѣ мѣщанами, второй гильдіи купцами, отставными чиновниками и прочими проходимцами, самыя общинныя-то права свои они проротозѣяли. Вы знаете сами, что значатъ міроѣды на ихъ сходахъ!

— За угощеніе, Миколай Иванычъ!—перебилъ добродушно Иванъ, въ пятнадцатый разъ изъявляя намѣреніе кончить чаепитіе.

Николай Иванычъ какъ будто не слыхалъ и налилъ новаго чаю.

— Пей,—сказалъ онъ и продолжалъ:—Въ настоящее время у нихъ много „богатѣевъ", бо̀льшая часть которыхъ претендуетъ на шеи березовцевъ, и кулаковъ, которые обзываютъ своихъ же односельчанъ „чернядью". Сходомъ управляютъ именно эти высокопоставленные люди, а „чернядь" только приспособляетъ свою шею для сдачи въ аренду... Это именно послѣдняя степень ротозѣйства. Все у нихъ ускользаетъ изъ рукъ, даже право распоряжаться собой. Вотъ именно это-то слюняйство и играетъ рѣшающую роль въ появленіи и развитіи среди нихъ разнаго вида кулаковъ, и здѣсь оказывается,—я давно живу въ этихъ палестинахъ и могу похвастаться знаніемъ мѣстныхъ мужиковъ,—оказывается ясно до очевидности, что березовцы, какъ самые коренные слюняи, никогда не мѣшаютъ зарожденію кулака, даже не замѣчаютъ его, какъ кулака. Онъ просто для нихъ „богатѣй". Они ему вѣрятъ, какъ своему брату, и уважаютъ его, какъ умнаго человѣка. Да онъ и на самомъ дѣлѣ ихъ братъ, „плоть отъ плоти", иначе бы отъ него сторонились, пугались. А они

уважаютъ его. Я увѣренъ, что ихъ идеалъ именно этотъ „богатѣй“, который въ своемъ семействѣ извергъ, а на міру— нахалъ и прохвостъ, который вертитъ міромъ безъ стыда. Только собственное слюняйство мѣшаетъ каждому изъ нихъ осуществить такой милый идеалъ... Впрочемъ, я отвлекся отъ предмета. Я сказалъ, что они не замѣчаютъ кулака. Именно. Хватаются же за бока они только тогда, какъ „богатѣй“ заѣдетъ въ область кровныхъ правъ и выкинетъ какую-нибудь отчаянную гадость, а до той поры имъ и въ голову не приходитъ сократить человѣка, вреднаго для цѣлаго общества.

Иванъ Сизовъ не понялъ и десятой доли въ рѣчахъ хозяина; еще въ началѣ онъ пытался возразить, но далѣе, подавленный массой мудреныхъ словъ, опѣшилъ окончательно и сидѣлъ съ раскрытымъ ртомъ, какъ оглашенный. «Экъ честитъ!»— только и думалъ онъ.

— Такъ вы думаете, что небрежность и поклоненіе силѣ— главныя причины развитія кулачества въ этой мѣстности?— спросилъ статистикъ.

— Пожалуй,—отвѣчалъ судья.

— И вы не находите внѣшнихъ причинъ этого развитія?

— Никакихъ. Я потому-то и говорилъ почти объ одной Березовкѣ, что жизнь въ ней была обставлена такъ хорошо, какъ только можно желать. Слѣдовательно, березовцы сами виноваты.

Иванъ Сизовъ изобразилъ на своемъ лицѣ виновность. На его почернѣвшемъ отъ солнца, а теперь лоснящемся отъ пота лицѣ отражалось стыдливое смущеніе. Онъ въ послѣдній разъ опрокинулъ вверхъ дномъ свою чашку, положилъ на нее крошку сахару съ самою внимательною осторожностью и попробовалъ утереть лицо, въ то же время поглядывая со страхомъ на господъ, въ ожиданіи минуты, когда они снова начнутъ „честить“. Но его честные, прямодушно мигавшіе глаза ни одного раза не сверкнули злобою; достаточно было одного ласковаго и милостиваго одобренія его со стороны судьи, который сказалъ статистику, что разговоръ не относится къ Ивану Тимоѳеичу и что онъ— душа-человѣкъ („люблю такихъ!“), достаточно было судьѣ высказать это и прекратить разговоръ о кулачествѣ, чтобы замѣшательство и стыдливость его моментально прошли.

Онъ весь какъ-то распустился отъ этой ласки, глаза засвѣтились благодарностью, и онъ вдругъ сталъ шумно разговорчивымъ. Впрочемъ, всякій разговоръ скоро смолкъ, потому что статистикъ ушелъ побродить съ ружьемъ, а мировой судья сѣлъ къ окну и принялся насвистывать маршъ.

Иванъ долго сидѣлъ въ молчаніи, не желая прерывать художественнаго занятія хозяина.

— Миколай Иванычъ!—сказалъ онъ, наконецъ.

— Что?—безсознательно откликнулся судья.

— Я все насчетъ давишняго. Ты говоришь, сами виноваты, что даемъ волю богатѣямъ. Такъ. А какъ же не дать имъ воли? Надо судить по человѣчеству... Не знаешь ты нашихъ дѣловъ, ей-ей, Миколай Иванычъ!

— А какія ваши дѣла?—спросилъ также механически судья.

— У насъ-то? Первое наше дѣло—міръ, стало быть, грѣхъ завсегда. Разъ.

Судья засвисталъ, улыбаясь.

— Второе наше дѣло—науки нѣтъ. Два.

Судья захохоталъ.

— Все?—спросилъ онъ.

Иванъ Сизовъ оторопѣлъ. Онъ думалъ, что воочію доказалъ несправедливость словъ судьи и вдругъ надъ нимъ смѣются! Онъ постоялъ-постоялъ около косяка двери и собрался уходить, для чего сталъ прощаться съ хозяиномъ. Послѣдній выдалъ ему деньги за работу и отпустилъ съ приглашеніемъ заходить почаще. „Я люблю такихъ",—еще разъ повторилъ онъ, а на разговоръ просилъ не обижаться.

Идя отъ дома судьи къ деревнѣ, Иванъ замечтался. Ночь была хорошая. Угостили его хорошо. И похвалили. „Душа",—припоминалъ онъ въ сотый разъ, и блаженнѣйшая улыбка играла на его лицѣ во всю дорогу, пока онъ не столкнулся съ братомъ. Петръ его сразу огорошилъ. „Получилъ?"—спросилъ онъ. Иванъ досталъ кошель и высыпалъ на ладонь всѣ мѣдяки. Двухъ копѣекъ не оказалось. „Гдѣ-жь онѣ?"—спросилъ подозрительно Петръ. Оказалось, что судья по ошибкѣ не додалъ двухъ копѣекъ. Петръ презрительно осмотрѣлъ брата и пошелъ тотчасъ же къ судьѣ за полученіемъ двухъ копѣекъ, которыя въ скорости и получилъ, за что бросилъ еще одинъ презрительный взглядъ на Ивана.

II.

Два года, протекшіе со дня постройки двумя братьями крыльца у судьи, показали имъ невозможность не только совмѣстныхъ построекъ крыльца, но просто сожительства въ одной избѣ. Имъ стало тѣсно.

Началась разноголосица пустяками, кончилась полнымъ сознаніемъ безтолковщины въ общемъ хозяйствѣ. „Главная причина—бабы",—говорили потомъ оба брата. Дѣйствительно, ихъ бабы довольно надѣлали бѣдъ. Смирныя, сносливыя и разсудительныя врозь, онѣ дѣлались невыносимыми и оглашенными, когда обѣ вразъ торчали передъ печкой. Здѣсь онѣ кололи другъ друга словами, толкались локтями и подставляли другъ другу ухваты и кочерги. Все это мелочи, но онѣ заключали въ себѣ ядъ, разлагавшій сложную семью. Опрокинутые горшки, уроненныя кочерги и прочая дрянь ничего не значили сами по себѣ, но, какъ орудія подкапыванія и мести, они служили превосходно. Уронитъ и разобьетъ Авдотья глиняный черепокъ—и Алена дойметъ этимъ черепкомъ свою противницу такъ, что осколки его глубоко врѣзываются въ тѣло той и остаются памятными ей на всю жизнь. Та и другая взаимно наблюдали за собой, выслѣживая каждая свой шагъ. Сунетъ потихоньку Алена своей дѣвочкѣ кусокъ—Авдотья запомнитъ это и хоть заднимъ числомъ, но отравитъ съѣденную пищу. Каждая изъ бабъ колотила своихъ ребятъ такъ, какъ только „лупятъ" въ деревняхъ, гдѣ то и дѣло раздается отчаянный ревъ отшлепанныхъ человѣчковъ. Но стоило только Аленѣ щипнуть сынишку Авдотьи, какъ эта послѣдняя поднимала въ избѣ цѣлый содомъ.

Мелочи, дрянь, домашній соръ служили горючимъ матеріаломъ, разжигая враждебныя чувства женской половины избы. Братья отъ времени до времени вмѣшивались въ распрю, стараясь потушить ее, но дѣлали это такъ, что только увеличивали сумятицу взаимныхъ отношеній. На самомъ дѣлѣ, они сами были причиной вражды и разногласія; если бабы раздували ненависть, то потому, что въ ихъ рукахъ всегда оказывается больше горючаго матеріала — сору. Если бы Иванъ и Петръ сами дѣйствовали во всемъ согласно, то ихъ

бабы никогда не рѣшились бы употреблять соръ, но оба брата рѣшительно во всемъ расходились.

Иванъ былъ старшимъ, Петръ ему долженъ былъ подчиняться. Иванъ былъ большакъ, заправитель всей хозяйственной машины; однако, сосѣди выражали очень часто недоумѣніе, почему главенствуетъ Иванъ, а не Петръ, отличавшійся, по мнѣнію всѣхъ, бо̀льшими правами на главенство; у него каждая щепа шла въ дѣло, находя подъ его руками цѣлесообразное мѣсто. Но такъ распорядился передъ смертью ихъ родитель. Отсюда и произошла вся безалаберщина. Петръ сначала послушался родительскаго слова, покорился Ивану, но мало-по-малу пришелъ къ заключенію, что Иванъ—баба, худой хозяинъ, разгильдяй, котораго не стоитъ слушать. Вышли наружу мелочи, дрянь, соръ, которые всѣ пошли въ дѣло разъединенія двухъ хозяйствъ. Петръ, какъ и бабы, принялся въ каждый мигъ слѣдить за Иваномъ, который вѣчно чувствовалъ на своей спинѣ подозрительный взглядъ брата, не понимая, за что онъ серчаетъ. Самъ онъ не способенъ былъ выглядывать, наблюдать; онъ никогда не подозрѣвалъ въ братѣ черныхъ мыслей, просто потому, что, судя по себѣ, не могъ ихъ допустить. Онъ думалъ: „Чай, мы братья, родительская-то кровь у насъ вопче". Ссориться онъ также не любилъ, но, тѣмъ не менѣе, былъ ежедневно оскорбляемъ „родительскою кровью". Онъ спрашивалъ: какая причина? И не было отвѣта. Ему иногда казалось, что, должно быть, онъ дурно поступаетъ, и давалъ себѣ слово поступать по настоящему, какъ слѣдуетъ, чтобы не испытывать на себѣ этого взгляда, который проникалъ въ его душу, возмущая его совѣстливость.

— Чтой это ты, Петруха, глядишь?... На мнѣ ничего не написано. Ежели на что серчаешь, такъ ты, братъ, выложи все наружу, чтобы безъ подковырокъ было...

— Ничего,—отвѣчалъ Петръ.

Или молчалъ. Иванъ принужденъ былъ ограничиться однимъ вздохомъ, совѣстясь, что сболтнулъ нехорошее слово.

Впрочемъ, онъ такъ вѣрилъ въ „родительскую кровь", что забывалъ ея оскорбленія. Видя, какъ братъ обдаетъ его холодомъ, онъ говоритъ хитро: „пущай!" а смотря на бабъ, которыя подчасъ рвали и метали, онъ добродушно думалъ: „ничего, перемелется—мука̀ будетъ". Онъ вѣрилъ, что доста-

точно не бередить гнѣвъ—онъ самъ пройдетъ; „потому, напримѣръ, дерьмо... не трошь его—оно не будетъ и вонять". Ссоры бабъ даже часто доставляли ему удовольствіе, онъ дразнилъ ихъ, отпуская на ихъ счетъ простодушныя шуточки; сядетъ на лавку и смѣется. Забывая оскорбленія, онъ забывалъ свое намѣреніе поступать по настоящему, какъ слѣдуетъ. Эта неисправимость и бѣсила Петра. Но это былъ только предлогъ — Петръ вездѣ видѣлъ предлоги уколоть Ивана... Бросилъ Иванъ на дворѣ телѣгу, оставивъ ее мокнуть на дождѣ; Петръ это непремѣнно замѣчалъ, онъ нарочно съ трескомъ завозилъ въ сарай телѣгу, а возвратившись въ избу, кололъ: „Что ротъ-то разинулъ?"

Петръ во всѣхъ поступкахъ Ивана сталъ видѣть одну сплошную глупость. Правда, Иванъ любилъ пошутить, но безъ этого онъ не могъ обойтись, безъ этого жизнь не казалась бы ему красною. Любилъ онъ, напримѣръ, своихъ дѣтей и всѣхъ ребятъ брата безъ исключенія и никогда не въ силахъ былъ отказать себѣ въ удовольствіи купить имъ пряниковъ. „Эй, ребята! Иди ко мнѣ, кто хочетъ гостинцевъ!... Лиса пришла!"—кричалъ онъ, вылѣзая изъ телѣги, бросалъ лошадь, забывалъ дѣло и возился съ ребятами. Поднимался шумъ. Вся гурьба маленькихъ сорванцовъ, которые любили его, лѣзла ему на спину, крутилась около ногъ, дергала за бороду, ревѣла отъ восторга. Иванъ и самъ былъ въ восторгѣ, такъ что большую часть шума, производимаго дѣлежомъ пряниковъ, Петръ приписывалъ ему. „Вонъ куда денежки-то уходятъ!"—говорилъ онъ, непремѣнно появляясь на мѣстѣ дѣлежа пряниковъ. Одни эти слова приводили въ смущеніе Ивана, отравляя его удовольствіе. А все-таки безъ шуточки онъ не могъ обойтись. Изъ-за тѣхъ же ребятъ выходили постоянно непріятности, выражавшіяся со стороны Петра колючими взглядами и словами, а со стороны Ивана горечью и недоумѣніемъ: „за что братъ серчаетъ?" Иванъ нерѣдко цѣликомъ входилъ въ интересы ребятъ; разсуждалъ съ ними, начиналъ препирательства, ссорился или вызывалъ нарочно борьбу между ними, когда всѣмъ дѣлалось скучно. Между мальчишками происходилъ бой; они тузили другъ друга, оглашая дворъ ревомъ и тумаками. Иванъ горячо вмѣшивался въ дѣло: подсмѣивался, если одинъ изъ противниковъ валился на землю, или стыдилъ, поощряя, когда боецъ сла-

бѣлъ... „Ай-ай, Микитка! Плохъ, плохъ, братъ!—говорилъ онъ, принимая на себя стыдящее выраженіе.—Очённо плохъ, Микитка! Ужь этого не скроешь... Вонъ онъ какъ тебя двинулъ, Сенька-то!... А ты его самъ... ты его въ пузо дерни, садани его снизу... во какъ! Молодчина! ловко! Валяй его хорошенько... буцъ, буцъ!" Иванъ самъ приходилъ въ восторгъ, принимая живѣйшее участіе въ дракѣ; онъ принималъ всѣ выраженія и позы дерущихся, всѣмъ существомъ отдаваясь игрѣ... Появлялся Петръ. Однимъ своимъ появленіемъ прекращалъ шумъ. Одинъ его взглядъ изъ подлобья, одни его тонкія, плотно сжатыя губы могли отравить всякое удовольствіе. Онъ это и самъ зналъ, но, не довольствуясь этимъ, радикально отравлялъ шутливое настроеніе Ивана какими-нибудь ѣдкими замѣчаніями.

— Работать бы надо... нечѣмъ дразнить ребятъ... пустяковинный человѣкъ!

Петръ и на самомъ дѣлѣ думалъ, что онъ работаетъ одинъ, а братъ только выѣзжаетъ на немъ. Эта мысль самого его отравляла, не давая ему покою; ему вѣчно казалось, что онъ передѣлалъ, а Иванъ не додѣлалъ. Онъ не переставалъ, кажется, ни минуты безпокоиться о хозяйствѣ, въ тѣ же минуты думая, что съ Иваномъ хозяйства не соберешь, потому—пустяковинный человѣкъ. Самъ онъ не сидѣлъ ни минуты безъ дѣла не шлялся безъ пути; притомъ, каждое его дѣло имѣло всегда осязательную цѣль, было обдумано и приноровлено. Увидитъ безъ дѣла валявшійся гвоздь—приберетъ его къ мѣсту, такъ что когда придетъ надобность въ гвоздѣ, онъ его употребитъ. У него ничего не пропадало даромъ, ни вещи, ни времени. Цѣлые дни онъ проводилъ въ томъ, что собиралъ и копилъ всякую чепуху, которая, однако, въ его рукахъ всегда находила надлежащее мѣсто. Иванъ поступалъ вопреки ему и какъ будто даже на зло: нà, молъ, вотъ тебѣ, выжига! Такъ казалось Петру, потому что тотъ заржавленный гвоздь, которому онъ нашелъ мѣсто, Иванъ вынималъ и терялъ. Петръ зеленѣлъ, когда видѣлъ это, а видѣлъ онъ все, что творилъ Иванъ.

— Пустяковый человѣкъ! Разоритъ онъ меня, идолъ!—говорилъ, въ упоръ смотря на Ивана, Петръ. Иванъ готовъ былъ плакать отъ горя. А Петръ думалъ про себя: „Ахъ, кабы я былъ одинъ хозяиномъ, кабы не было этой пустой башки!"

звали... „Тимоѳеичъ!"—раздавалось на одномъ концѣ. „Ива-а-анъ!"—кричали его съ другого боку. Онъ и жеребья носилъ; когда наставала минута вынимать ихъ, онъ становился въ центрѣ, развертывалъ свою шапку, въ которой положены были жеребья, и трагически произносилъ: „Н-но, Господи благослови, вынимай!" Его лицо, въ обыкновенныхъ случаяхъ сердечное, дѣлалось суровымъ. Такъ онъ служилъ міру.

Пользуясь широкимъ довѣріемъ общества, онъ поддерживалъ его всѣми своими способностями и служилъ своей деревнѣ всею наличностью своей готовности. А готовность его лежать на брюхѣ въ травѣ или дѣлить на чарки ведра вина была только сотою долей тѣхъ услугъ, которыя онъ оказывалъ своему міру. Онъ, напримѣръ, зналъ, сколько копѣекъ въ прошлое лѣто переплачено коровьему пастуху, сколько не доплачено свиному и сколько еще надо уплатить сала башкирцу, пасшему лошадей. Все это міру надо было держать въ умѣ, помнить, и все это сохранялось, какъ въ кладовой, въ головѣ Ивана Сизова. Какая важность въ этихъ пустякахъ для міра—объ этомъ Иванъ никогда не думалъ и не спрашивалъ себя. Взгляды его на свой міръ были лишены, такъ сказать, всякаго основанія и покоились на преданіи, которое отъ давности просто заскорузло. „Такъ міръ желаетъ"—это единственный отвѣтъ, котораго можно было отъ него добиться на вопросъ, зачѣмъ ему надо было ползать на брюхѣ, ради какой пользы онъ помнилъ сало и семь копѣекъ серебромъ? Онъ вѣрилъ, что міръ всегда справедливъ и уменъ, но міръ въ его представленіи, что особенно замѣчательно, не совпадалъ съ наличностью всѣхъ березовцевъ, а былъ нѣчто отвлеченное, невидимое и неосязаемое, существо, въ одно и то же время справедливое и могущественное, совѣстливое и незыблемое. Міръ идетъ испоконъ вѣку; всѣ „хрестьяне" также испоконъ вѣку жили на міру; представленіе о немъ дошло до Ивана по преданію, жизнь въ немъ отдѣльныхъ единицъ давнымъ-давно отлилась въ опредѣленную рамку, которая застыла и заплѣсневѣла; никто не сомнѣвается ни въ его существованіи, ни въ справедливости его пріемовъ. Иванъ не былъ исключеніемъ. Онъ вѣрилъ, что надо уважать его и оказывать ему услуги, вѣрилъ, что онъ сила, но онъ чувствовалъ все это и никогда не подвергалъ критической мысли явленія въ этомъ міру,

просто даже не думалъ о немъ. Онъ былъ для него такъ же несомнѣненъ, какъ окружающій его воздухъ, и такъ же безсознателенъ. Никогда ему и въ голову не приходило спросить себя хоть разъ: что такое міръ? Зачѣмъ онъ существуетъ? Точно-ли онъ уменъ и справедливъ? О своихъ дѣлахъ Иванъ еще думалъ, о мірскихъ—никогда.

Наоборотъ, Петръ Сизовъ обо всемъ соображалъ. Кажется, не было минуты, когда бы онъ о чемъ-нибудь не соображалъ. Правда, всѣ его думы клонились къ пріобрѣтенію какой-нибудь новой чепухи для хозяйства, и если существованіе шишки пріобрѣтательности когда-нибудь подвергалось сомнѣнію, то Петръ Сизовъ могъ бы представить себя въ качествѣ несомнѣннаго обладателя ею. Но онъ думалъ и о мірѣ, только съ собственной точки зрѣнія. Въ немъ не было ни одного намека на ту сердечность, которую носилъ въ себѣ его братъ. Въ то время, какъ этотъ послѣдній откликался на всякій зовъ и бѣгалъ, высунувъ языкъ, по лугамъ, Петръ молча добивался лучшаго куска земли для себя, держась въ сторонѣ отъ споровъ за ямки, кустики и другіе сущіе пустяки; добивался онъ лучшаго куска какъ-то безъ шума, просто и быстро. Съ тою же дѣловитостью онъ присутствовалъ и на другихъ мірскихъ сборищахъ или просто молчалъ, если дѣло не касалось лично его; иногда, выслушивая на сходѣ кучу перебранокъ, болтливыхъ ссоръ и пустыхъ разсужденій о грошевыхъ дѣлахъ, онъ презрительно оглядывалъ всѣхъ, бралъ шапку и уходилъ; съ его устъ срывалось не менѣе презрительное слово: „Дубье!“ Это молчаливое презрѣніе ко всему, по его мнѣнію, бездѣльному дало ему со стороны березовцевъ уваженіе и боязнь, такъ что когда Иванъ Сизовъ говорилъ: „У-у, башка!“, то всѣ соглашались.

Петръ Сизовъ не бездѣльнымъ считалъ скорѣе пріобрѣтеніе въ свою пользу ржаваго гвоздя, чѣмъ возню съ міромъ, который дѣйствительно заржавѣлъ. Шишка пріобрѣтательности зудѣла въ немъ такъ сильно, что онъ, наконецъ, затѣялъ куплю и продажу хлѣба, собраннаго довольно замысловато,—затѣялъ помимо согласія большака своего и минуя всѣ пріемы обыкновеннаго крестьянина, главной обязанности котораго—обливать пòтомъ землю—Петръ не сочувствовалъ. Ивана онъ считалъ дуралеемъ, „почитай-что никуда негод-

нымъ“, кромѣ бездѣльнаго препровожденія праздничныхъ вечеровъ на бревнѣ, а потому куплю и распродажу хлѣба взялъ на себя. Онъ ѣздилъ въ свободное время по деревнямъ, обмѣнивалъ хлѣбъ на мѣдные кресты, кольца, пояски, гребенки, удочки и взялъ, такимъ образомъ, самую замысловатую часть предпріятія на себя. Дѣло же Ивана состояло только въ томъ, что онъ ѣздилъ по свѣжимъ слѣдамъ брата и собиралъ его обильную добычу, наваливая ее въ телѣгу въ видѣ мѣшковъ, мѣшочковъ и узловъ. Онъ старательно исполнялъ выдумку брата, безъ всякой тѣни неохоты, хотя считался большакомъ. Самъ онъ ничего подобнаго не могъ бы придумать и потому искренно называлъ брата „башкой“. Мало того, онъ приходилъ въ восторгъ отъ своей промышленности, пораженный ея необыкновенною выгодой. Онъ не утерпѣлъ, чтобы не разболтать объ этомъ на бревнѣ своимъ пріятелямъ, что было прямо противно всѣмъ правиламъ торговли. „Ловкую штуку затѣялъ Петръ!—говорилъ онъ на бревнѣ пріятелямъ, слушавшимъ его съ разинутыми ртами.— Не гляди, что пояски, уды, ленты... тутъ, братцы мои, дѣло пахнетъ тыщами. Большую кучу деньжищъ можно заработать въ эдакомъ промыслѣ! И работы никакой. Ты дашь поясокъ, а тебѣ насыпаютъ хлѣбца. Такъ надо прямо говорить—умную башку надо носить на шеѣ, чтобы задумать такую прокламацію. Подставляй только пригоршни—деньги сами посыпятся, озолотишь себя“... Иванъ болталъ и дальше все въ такомъ же духѣ, но его пріятели съ недовѣріемъ посматривали на него.

Но Иванъ Сизовъ не могъ долго выдержать. Несогласіе съ братомъ сразу усилилось по одному пустому поводу. Разъ онъ поѣхалъ по окрестнымъ деревнямъ, по свѣжимъ слѣдамъ брата, чтобы собрать всю его недавнюю кулацкую добычу. Между прочимъ, онъ долженъ былъ взять нѣсколько фунтовъ льняного сѣмени отъ одной старухи въ сосѣдней деревнѣ. Пріѣхалъ, остановился возлѣ ея избы и сталъ привязывать лошадь къ воротнему столбу. Но въ это время въ избѣ шелъ разговоръ, часть котораго Ивану невольно пришлось, къ его изумленію, выслушать, потому что окошко было открыто.

— Кто это тамъ приперся къ намъ?—спрашивалъ мужичій голосъ.

— Кажись, Иванъ Сизовъ; должно, онъ,—отвѣчалъ старý-

шечій, дребезжащій и шепелявый голосъ, не регулируемый зубами, которыхъ старуха не досчитывалась.

— Это который маклачитъ?

— Маклачитъ. Двое братьевъ изъ Березовки.

— За какимъ же дѣломъ?

— Да я промѣняла сѣмячка на три пояска, да на хрестъ... Только, каторжные, они, должно думать, облапошили старую дуру; сѣмячка-то ровнехонько девять фунтиковъ, а пояска-то только три, да хрестикъ...Мошенники, должно думать!

Иванъ дрогнулъ. Никогда онъ не думалъ, что удивительное предпріятіе, выдуманное братомъ, есть мошенничество; онъ, напротивъ, восхищался имъ.

Неровными и несмѣлыми шагами отправился онъ въ ворота, задѣлъ плечомъ за калитку, нерѣшительно остановился передъ сѣнною дверью, но все-таки согнулся въ три погибели, чтобы пролѣзть въ косую дыру, называвшуюся дверью, и съ смущеніемъ остановился у порога. Ему стыдно было даже вспомнить о сѣмячкѣ, и онъ долго стоялъ растерянно-молчаливымъ, усиленно приглаживая волосы... А раньше онъ всегда начиналъ длинное балагурное калякаціе. „Маклакъ... мошенникъ, должно думать!“—это поразило его. Вмѣсто того, чтобы спросить долгъ, онъ попросилъ огоньку. Старуха подала ему горячій уголь, и онъ заткнулъ его въ трубку, долго не попадая въ отверстіе; руки его дрожали. Еслибы сама старуха не вынесла ему мѣшка съ сѣмячками, онъ долго бы еще простоялъ у порога и все шлепалъ бы губами о чубукъ, показывая видъ, что онъ никакъ не можетъ раскурить. Взявъ мѣшокъ подъ мышку, онъ черезъ мгновеніе сидѣлъ уже въ телѣгѣ, направляясь домой. Больше ему никуда не хотѣлось заглянуть. Онъ пустилъ лошадь на произволъ; та и шла всю дорогу лѣниво, то задѣвая телѣгой за кусты, то совсѣмъ сворачивая въ сторону отъ дороги, чтобы сорвать и съѣсть верхушку травы. Иванъ не трогалъ ея. Онъ задумался. Шапка его сдвинулась на затылокъ. Въ головѣ переваривались слова: „должно думать, мошенникъ“.

Съ тѣмъ же задумчивымъ видомъ Иванъ разсказывалъ о своей неудачѣ въ промышленности и послѣ, сидя на бревнѣ съ пріятелями и сосѣдями. Удивительную промышленность онъ бросилъ съ той поры совсѣмъ, но ни за что не могъ

объяснить, почему бросилъ. „Не задача!—говорилъ онъ загадочно, кивая головой.—Вѣрно говорю—тыщи! Только я сплоховалъ, бросилъ“.

— Отчего бросилъ?—спрашивали у него пріятели.

Иванъ качалъ головой, конфузился. Разговоръ ему былъ непріятенъ. Каждое слово надо было вытягивать изъ него силой. Онъ дѣлался упрямъ.

— Неспособно,—возражалъ онъ.

— Эдакое-то дѣло! Какъ неспособно?

— Такъ. Неподходяще.

— Да отчего? Барыша нѣтъ?

— Какъ барыша нѣтъ! Барышъ прямо руками загребай. Вѣрно.

— Такъ что же ты?

Иванъ задумался.

— Проторговался?

— Карахтеру нѣтъ,—проговорилъ онъ загадочно. Такъ ничего и не добились отъ него.

Петръ скоро увидѣлъ, что его брату наскучила выдуманная имъ промышленность; онъ еще больше сталъ злобиться на него, пересталъ его совсѣмъ слушаться и старался ускорить раздѣлъ. „Пустая башка“—единственное названіе, которое съ той поры онъ сталъ давать Ивану, прямо въ глаза высказывая, что онъ не хочетъ больше работать на дураковъ, а этимъ именемъ Петръ называлъ всѣхъ своихъ односельцевъ, исключая людей, за которыми онъ признавалъ умъ, потому что они, подобно ему, обладали шишкой пріобрѣтательности. Ни малѣйшей привязанности къ своей деревнѣ, изъ которой онъ готовъ былъ въ каждую данную минуту выйти, у него не существовало; мірскому одобренію онъ не придавалъ никакой цѣны; день, когда онъ пустилъ срамъ на свой прародительскій умъ, насталъ очень скоро, и раздѣлъ произошелъ быстрѣе, чѣмъ даже онъ ожидалъ.

Въ этотъ день дворъ братьевъ Сизовыхъ представлялъ зрѣлище разрушенія и вражды; валялись неприбранными телѣги, сани, кадушки, корыта, но всѣ эти предметы дѣлились на двѣ кучи, изъ которымъ одна оставалась за братомъ Иваномъ, другая отходила къ брату Петру. Надъ дворомъ то и дѣло поднималась пыль, слышался трескъ. Самый раздѣлъ происходилъ молча. Петръ ходилъ по всѣмъ закоул-

камъ и каждую вещь осматривалъ подозрительно. Иванъ ходилъ за нимъ, какъ потерянный, ходилъ и соглашался на все, что предлагалъ братъ. Онъ, видимо, съ трудомъ переносилъ зрѣлище разоренія и торопился покончить дѣло. Все хозяйство, нажитое съ такимъ трудомъ, сразу ему опостылѣло. Ему уже ясно представлялась картина, какъ приходятъ къ воротамъ сосѣди и безчисленное число разъ разспрашиваютъ его о дѣлежкѣ. Поэтому, въ это утро онъ не казалъ глазъ никому, чувствуя весь срамъ отвѣчать на соболѣзнующіе или насмѣшливые вопросы. Дѣйствительно, срамъ ему испытать пришлось. Сначала прошелъ мимо и заглянулъ во дворъ безногій солдатъ Лапинъ. Освѣдомился:

— Дѣлитесь?

— А тебѣ какое дѣло?—оборвалъ Петръ.

— Я такъ... Мнѣ чудно̀. Жили до сей поры въ согласіи, какъ подобаетъ единоутробнымъ...

— Да-а, единоутробные! А ты изъ какой утробы вышелъ, что пришелъ разспросы дѣлать? Проваливай, безногая кочерыжка!—еще разъ оборвалъ Петръ любопытнаго Лапина, который поскребъ ладонью спину и удалился.

За нимъ появились другіе любопытные.

Петръ воспользовался потерянностью брата. Онъ отбиралъ себѣ все, что попадалось на глаза. Попалась скворечница—взялъ. Отдавая ее Микиткѣ, онъ приказалъ ему спрятать ее въ пазуху. «Можетъ, пригодится»,—пояснилъ онъ. Но все-таки, несмотря на потерянную уступчивость Ивана, дѣло не обошлось безъ суда. Петръ возъимѣлъ притязаніе на лишнюю корову и свинью,—на первую потому, что онъ самъ купилъ, между тѣмъ какъ второй онъ своими руками обрѣзалъ на всякій случай уши, положивъ свою мѣтку. Ивану было все равно, только бы не видѣть срамоты, но баба его возмутилась до глубины души и заявила, что она лучше дастъ выцарапать себѣ глаза, чѣмъ уступить корову и свинью. „Грабители!—кричала она.—Ишь что захотѣли! Облопаетесь!...“ И она ревѣла, плевала въ сторону Петра и жены его, бѣгала по двору и безъ толку гоняла спорныхъ животныхъ изъ одного конца въ другой.

— Слышь, братъ,—сказалъ Иванъ, обращаясь къ Петру съ ужаснымъ лицомъ.—Петръ, слышь, что я скажу тебѣ!

— Слушаю,—возразилъ Петръ.

— Не срами насъ, уходи!

Петръ презрительно молчалъ.

— Родительскій домъ...

— Слыхали мы это!

— Помнишь, что родитель-то сказалъ? „Чтобы жить вамъ безъ сраму"... Чай, не забылъ? И уходи. Не пущай на весь міръ худой славы...

— Отдай корову и свинью,—перебилъ Петръ.

— Не дамъ, не дамъ, лучше и не суйся!—кричала Иванова баба, подступая къ Петру.

Нечего дѣлать, пошли въ судъ, гдѣ Илья Савельевъ еще три дня тому назадъ выпилъ двѣ косушки на счетъ Петра и съѣлъ при этомъ чашку капусты. Петръ былъ рѣшительно во всемъ предусмотрительный человѣкъ.

Передъ дворомъ братьевъ скоро собралось множество любопытныхъ, изъ которыхъ одни просто глазѣли, другіе смѣялись надъ Ивановой бабой, поощряя ее, всѣ же вообще сулили Петру хорошую будущность, жалѣя Ивана, которому пришелъ, по всеобщему мнѣнію, „теперича чистый капутъ". Всѣ интересовались также вопросомъ, кому достанутся корова и свинья, которыхъ, въ качествѣ вещественныхъ доказательствъ, повели въ судъ баба Ивана, державшая на веревкѣ свинью, и Петръ, ведшій корову. Онъ сверкалъ глазами на толпу, окидывая ее презрительными взглядами...

Свинья ревѣла, влекомая Ивановой бабой; Иванова баба плакала и ругалась; толпа отпускала на счетъ дѣйствующихъ лицъ шуточки. На улицѣ поднялся гвалтъ.

Иванъ не могъ вынести этого позора. Онъ поспѣшно взялъ заступъ и ушелъ въ огородъ, чтобы скрыться отъ взглядовъ сосѣдей, чтобы не видѣть самому собственнаго посрамленія. Обработка огорода могла бы подождать,—была еще ранняя весна,—но Иванъ принялся рыться въ землѣ. Глубоко вонзая заступъ, онъ выворачивалъ огромныя глыбы, но не чувствовалъ ихъ тяжести, не сознавая даже, что у него трещитъ спина, что онъ страшно работаетъ. Мысленно онъ былъ тамъ, на улицѣ, откуда слышался гвалтъ, смѣхъ и визгъ свиньи. „Повели",—думалъ онъ; тогда лопата его съ силой вонзалась въ землю, рѣзала прутья, корни, глину... Сдѣлавъ одну гряду, онъ принялся за другую, не чувствуя утомленія. Онъ представлялъ въ воображеніи свой дворъ, от-

уда доносился трескъ, гдѣ видѣлъ онъ безпорядокъ, разо- зніе, и новая гряда была кончена. „Осрамили... покойный эдитель“...—думалъ Иванъ; ему казалось, что теперь нельзя удетъ показать глаза на міру—осмѣютъ. И онъ продолжалъ онзать заступъ въ землю, выворачивая пудовыя глыбы, рѣ- ылъ щепы; и глыба за глыбой ложилась на грядѣ, гряда ь грядой равнялась въ рядъ... разъ, два, три, четыре... Iапка его слѣзла на затылокъ. Ситцевая рубаха прилипала ь мокрому тѣлу. Руки его тряслись отъ усталости. Звенѣло ь ушахъ. Но онъ кончилъ весь огородъ и только тогда по- увствовалъ, какъ мозжила его спина, ныли ноги, стучало ь вискахъ. Работа его успокоила. Онъ разогнулъ спину, ѣлъ на гряду и оперся на заступъ, прислушиваясь, не ышно-ли? Но была уже ночь.

III.

Большая часть избъ въ этой безлѣсной сторонѣ строилась зъ особаго рода кирпичей, состряпанныхъ доморощеннымъ утемъ изъ глины и соломы, — матеріала, который лѣтомъ питывалъ въ себя весь дождь, а зимой весь холодъ, такъ то лѣтомъ деревенскіе дома походили на губки, зимой на едяныя пещеры. Заборы выкладывались изъ тѣхъ же кир- ичей, только болѣе низшаго разряда, отчего, через годъ юслѣ ихъ постановки, они представляли развалины, оста- ленныя послѣ нашествія иноплеменниковъ; впрочемъ, ре- ятишки сверлили въ нихъ норы для своихъ игръ, гдѣ по- омъ обитали воробьи и стрижи. Крыши избъ рѣдко по- рывались соломой,—что, разумѣется, не надо приписывать лагоразумной предусмотрительности противъ пожаровъ,— ючти никогда не крылись тесомъ, очень дорогимъ въ этихъ гѣстахъ, а просто пластами земли, которая давала черезъ гѣкоторое время произрастенія, въ видѣ богородской травы ı ковыля, въ совокупности придававшихъ деревнѣ очень прі- тный видъ, если смотрѣть издалека. Но вкусъ многихъ жи- елей возмущался противъ висячихъ луговъ; такіе покры- вали свои обиталища камышой и кугой, въ видахъ двойной цѣли: для прикрытія жилищъ отъ непогоды и ради обладанія воеобразными водосточными трубами.

Послѣдняя особенность относится и къ избѣ Петра Сизова, не успѣвшаго еще купить деревянную крышу, вопреки сильному желанію обладать ею. За то всѣ остальныя части хозяйственныхъ строеній, по прошествіи съ небольшимъ года послѣ раздѣла, уже получили отъ рукъ хозяина типъ, рѣзко отличавшійся отъ прочихъ беззаботныхъ построекъ въ Березовкѣ: онѣ были прочны и плотны. Изба поставлена была изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, заборъ сдѣланъ изъ досокъ; такого же матеріала ворота съ жестяными звѣздами и съ массивнымъ засовомъ. Зданія постройки носили на себѣ тотъ же характеръ прочности и плотности, не имѣя ни одной дыры, которая могла бы соблазнить вора, чего Петръ Сизовъ вообще сильно боялся, или дать просторъ для любопытныхъ глазъ, соглядатайство которыхъ онъ, повидимому, терпѣть не могъ. Вѣроятно, по тѣмъ же чувствамъ хозяина и ворота рѣдко отпирались, придавленныя массивнымъ засовомъ, не вошедшимъ въ обыкновеніе другихъ березовскихъ мужиковъ. Желаніе Петра исполнилось: онъ на просторѣ, для себя и ради однѣхъ своихъ цѣлей хозяйничалъ.

Дѣятельность его, конечно, не приняла еще тѣхъ размѣровъ, когда ему было бы можно жить скромно, вдали отъ любопытнаго нахальства односельцевъ, привыкшихъ ходить на распашку. Еще долго оставалась въ немъ привычка копить всякую чепуху, на другой взглядъ никуда негодную. Большой дворъ его содержалъ цѣлыя кучи этой дряни, которую онъ подбиралъ въ выброшенномъ позади сорѣ. Въ одной кучѣ лежали обломки оглоблей, сгнившія чурки, отвалившіяся, повидимому, отъ колесъ, худое корыто, бочки съ выбитымъ дномъ; въ другой кучѣ сложены были ремни отъ шлей, старыя подошвы, нѣсколько клочковъ отъ голенищъ, лохмотья отъ шубъ и пр., и пр. Все это, очевидно, было уложено и навалено систематически, съ раздѣленіемъ по царствамъ природы.

Иногда Петръ Сизовъ откапывалъ въ сору какую-нибудь вонючую вещь и, глядя на нее, задумывался, почесываясь и недоумѣвая, какое бы дать ей употребленіе, чтобы она принесла доходъ. Выходя со двора на задворки, онъ не пропускалъ ни одной вещи, чтобы не осмотрѣть ея и не подумать, годна-ли она на пользу человѣку, или нѣтъ, и никогда не ускользнула отъ его вниманія ни одна щепа, которой

бы онъ не поднялъ; возвращаясь, такимъ образомъ, домой, онъ всегда несъ у себя подъ мышкой нѣчто: связку прутьевъ, горсть щепокъ, обрывки бичевокъ,—все ему годилось; да и дорогой онъ старался присовокупить еще что-нибудь.

— Богъ помочь, Петръ! Что ты тутъ дѣлаешь?—спрашивалъ его кто-нибудь, замѣтивъ, что онъ копается въ сору.

— А вотъ прутья,—отвѣчалъ Петръ Сизовъ и не обращалъ вниманія на проходившаго, продолжая накладывать себѣ подъ мышку замаранныя щепочки.

— Ишь ты!—возражалъ прохожій задумчиво и шелъ дальше, и только черезъ нѣкоторое время, собравшись съ мыслями, принимался хохотать.

Но мелочи и занятіе ими были только привычкой; съ этого можно начать, но кончить Петръ Сизовъ желалъ болѣе крупнымъ. Все вниманіе его, всѣ помыслы помѣстились пока въ амбарѣ, сверху до низу набитомъ разнаго вида хлѣбомъ, который лежалъ въ закромахъ, въ куляхъ, мѣшкахъ и мѣшочкахъ. Петръ дни и ночи копался въ своей житницѣ, то молчаливо обдумывая что-то, то сортируя мѣшки и узелки, то считая на счетахъ какіе-то барыши. Тутъ же въ ящикахъ спрятаны были у него тѣ пустяки, которыми барышничалъ онъ: крестики, кольца, удочки. Періодически Петръ складывалъ мѣшки и мѣшочки въ воза и отвозилъ ихъ въ городъ.

Область его предпріятій все болѣе и болѣе расширялась. То и дѣло къ нему приходили старухи и молодыя бабы, принося съ собой узлы, а унося вещи, стоившія буквально плевка, потому что Петръ при покупкѣ ихъ умѣлъ „нажечь" самаго опытнаго торговца. Потомъ стали похаживать мужики. У каждаго изъ нихъ была нужда и они лѣзли за помощью къ Петру Сизову. Петръ началъ замѣтно обособляться. Онъ не былъ кулакомъ; онъ выражалъ собой личность, понявшую свои права, особу, рѣшившуюся существовать единственно ради себя, человѣка, желавшаго жить помимо и даже вопреки міру, который Петръ презиралъ. Ни въ комъ онъ болѣе не зналъ нужды, но къ нему, напротивъ, обращались. Міръ для него почти-что не существовалъ. У него были, вмѣсто него, мѣдныя кольца и „аглицкія удочки". Чего еще надо?

Петръ Сизовъ рѣдко ходилъ на сходъ, хотя встрѣчалъ тамъ большую склонность въ собравшихся снимать передъ

нимъ шапки. Онъ говорилъ мало, пользуясь услугами нѣкоторыхъ своихъ товарищей по „башкѣ“, между которыми былъ и Павелъ Жоховъ. Послѣдній былъ краснорѣчивъ, какъ всѣ міроѣды, и нахаленъ, какъ всѣ кулаки; не было мѣры безстыдства, которой онъ побоялся бы и не предложилъ бы на сходѣ. Широкая пасть, помощью которой онъ ревѣлъ на сходахъ, способность мигать обыкновеннымъ манеромъ, когда въ лицо его бросали обвиненія, умѣнье пропускать мимо ушей обильную брань, нерѣдко сыпавшуюся на него,— такимъ являлся Жоховъ. Онъ помогалъ Петру, Петръ помогалъ ему, и они жилили отъ міра лучшія поля и все, что требовалось имъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими заправителями всѣми мірскими дѣлами. Это была плотная кучка людей, которыхъ нельзя было прошибить никакою совѣстливостью. Общественныя тяготы давали только бѣдняковъ, а не эту плотную кучку, которая спокойно стряхивала съ себя всякую тяжесть.

Березовскій сходъ подчинялся этой кучкѣ почти безусловно, отстаивая свое верховное владычество только по формѣ, по отношенію къ пустякамъ. Петръ Сизовъ и Павелъ Жоховъ дѣлали, что хотѣли. Мало того, имъ подчинялись не по безсилію; развѣ цѣлая деревня не могла съ ними совладать? Имъ покорялись, уважая ихъ. Ихъ боялись, признавая въ нихъ силу; имъ вѣрили, воображая, что они такіе же міряне православные, какъ и всѣ, только „башки“; про нихъ думали, что они стоятъ за міръ—это миѳическое существо, сдѣлавшееся орудіемъ въ рукахъ ловкихъ людей. Кромѣ того, что Петръ Сизовъ и другіе были умныя головы, ихъ уважали за умѣнье наживать копѣйку. Поклоненію этой копѣйкѣ не было бы мѣста, если бы совѣсть всѣхъ березовцевъ находилась въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Когда березовцы жили въ одной изъ внутреннихъ губерній, у нихъ „была одна душа“, — такъ говорятъ старики; „потомъ пошла эта самая воля и пришелъ развратъ“,—прибавляютъ они, качая сивыми головами. Если въ это время вблизи находились молодые мужики, то принимались насмѣхаться надъ сивыми головами, „скалили зубы“ или окидывали ихъ колючими взорами, какъ дѣлалъ Петръ Сизовъ. Удивительно то, что, вслѣдъ за насмѣханіемъ надъ сивыми

головами, молодые мужики серьезно говорили: „вѣрно, развратъ“, но не признавали, что „допрежь лучше было“.

Дѣйствительно, многое измѣнилось съ той давней поры, которую сивыя головы обозначали словомъ „допрежь“.

Всѣ еще въ деревнѣ помнятъ то время, когда они селились на этихъ мѣстахъ, и тотъ день, когда они дружно принялись работать.

Былъ вечеръ. Тѣни ложились уже на просѣку, которую березовцы нашли подлѣ рѣки. Вокругъ плотно облегалъ ихъ густой лѣсъ, гдѣ стояли столѣтнія березы и ольха, а снизу, изъ-подъ ногъ, несло на нихъ запахомъ гнилой листвы, обратившейся въ перегной. Переселенцы были одни на пятьдесятъ верстъ кругомъ. Станъ ихъ тѣсно сбился на тѣсной лѣсной прогалинѣ; въ одномъ углу пасся скотъ, въ другомъ скучились телѣги и люди... Варился ужинъ. Разсуждали о трудности завести въ такой глуши селеніе. Вырубить лѣсъ? Это каждаго пугало. Недалеко разстилалась степь, но тамъ не было воды. И сотни разъ переселенцы стремились въ лѣсной мракъ и мысленно боролись съ нимъ... А время шло. Пошли еще разъ посмотрѣть съ пригорка на степь, которая восторгала ихъ своею безконечностью. Нѣсколько разъ уже они ходили на этотъ пригорокъ и думали, что дѣлать. И теперь собрались всѣ на холмѣ, съ бабами и ребятами, и обсуждали свое положеніе, то громко, вслухъ, то молчаливо, каждый про себя, смотря въ степь, мѣряя глазами „несмѣтную силу лѣса“ или ощупывая землю. Постояли и пошли къ ужину, ничего не рѣшивъ. Потемнѣло небо, настала ночь; переселенцы подбросили хворосту въ костры и думали, думали молча... подъ трескъ и въ дымѣ огня, подъ глухой шумъ лѣса, подъ вой волковъ, раздававшійся на той сторонѣ рѣки. Прошла такъ ночь. Раннимъ утромъ, на слѣдующій день, кто-то молча взялъ топоръ, его примѣру послѣдовалъ другой и поплевалъ на руки, поднялся третій и сказалъ: „Господи, благослови!“, всѣ взяли топоры и принялись рубить. Не было сказано ни одного слова, но никто не отказался отъ работы. И пошелъ трескъ по всему лѣсу, застонали березы и ольха, падая подъ ударами топоровъ, запылало зарево пожара, пущеннаго переселенцами, и черезъ недѣлю мѣсто для поселенія было расчищено. Началось копаніе землянокъ, которыя рылись также общими средствами.

Около двадцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Много перемѣнъ совершилось, много мыслей проползло по головамъ березовцевъ. Переселенцы, напримѣръ, привыкли мало-помалу считать себя вольными людьми, независимыми отъ барина, привыкли и къ нѣкоторому матеріальному довольству, какого они не знали на старыхъ мѣстахъ. Но самая поразительная изъ этихъ перемѣнъ произошла въ темной области совѣсти и мысли. Глухая работа здѣсь шла незамѣтно, но неумолимо впередъ. Происходила невидимая борьба между особью и міромъ. Мало-по-малу каждый сельскій житель сталъ сознавать, что онъ вѣдь человѣкъ, какъ всѣ, и созданъ для себя, и больше ни для кого, какъ именно для себя! И каждый вѣдь самъ можетъ жить, устраиваясь безъ помощи бурмистра, кокарды и „опчисва“. Всѣ прежнія тяготы слились въ нераздѣльную кучу. Въ доказательство этого открытія, въ сосѣднихъ съ Березовкой мѣстахъ поселились примѣры. Первый примѣръ пріѣхалъ изъ сосѣдняго города, купилъ у казны небольшой участокъ степи и сталъ жить на немъ, подъ видомъ мѣщанина Ермолаева, и зажилъ, по увѣренію всѣхъ березовцевъ, „дюже шибко“. Другой примѣръ носилъ кокарду; самого его никто не видалъ, но, вмѣсто него, сѣлъ на степь второй гильдіи купецъ Пролетаевъ—„превосходная шельма“. Третій примѣръ проявился въ этихъ мѣстахъ вродѣ непомнящаго родства, потому что ни одинъ изъ березовцевъ не зналъ его происхожденія и званія: „Кажись, мужичекъ по обличью, но ужь очень сурьезности въ емъ много“. Затѣмъ масса другихъ обладателей степи, которыхъ березовцы и въ глаза не видали, возбуждала къ себѣ сильный интересъ: „Болтаютъ, быдто они шельмовствомъ западали земли, а кто ихъ знаетъ“. А прочіе-то люди, жившіе въ предѣлахъ деревни, люди, ни къ какому обществу неприписанные и ни съ чѣмъ несвязанные, развѣ они не были вѣскими доводами въ пользу новой жизни? Каждый изъ сельскихъ жителей очень часто *думалъ* объ этихъ явленіяхъ; и рѣшительно не было ни одного человѣка, который въ свободныя минуты не думалъ бы купить себѣ участочекъ, завести „лавочку, что-ли, инъ кабакъ“. Никто изъ мужиковъ не осуждалъ нравственно людей, жившихъ подобными предпріятіями; напротивъ, „любезное это дѣло!“ Людей такого сорта уважали за умъ, считали „шельмовство“ одною изъ способно-

стей человѣческаго разума. И въ то же самое мгновеніе каждый изъ березовцевъ уважалъ міръ, покоряясь ему и продолжая жить въ немъ.

Совѣсть мужика раскололась тогда пополамъ; къ одной половинѣ отлетѣли „примѣры“, на другой остался міръ. Явились двѣ совѣсти, двѣ нравственности. Мужикъ уважалъ міръ, но уважалъ и человѣка, который жилъ безъ всякаго міра; онъ думалъ, что надо жить въ мірѣ, но было бы, пожалуй, лучше выѣхать изъ него; онъ былъ общинникъ, признавая въ то же время право на полную особность; онъ держался равенства (ползаніе на брюхѣ по травѣ), признавая превосходство; онъ жилъ въ деревнѣ „соопча“, не считая дурнымъ дѣломъ бросить ее и зажить въ лавочкѣ; онъ растерялся въ этихъ мысляхъ, не рѣшивъ, какъ лучше—пахать мірскую землю или попробовать другое „рукомесло“, остаться на міру, „инъ кабакъ“ завести, считать міръ храмомъ или обворовать его и не считать такого дѣла постыднымъ.

Этотъ расколъ совѣсти сдѣлалъ возможными такія явленія, въ возможность которыхъ никто раньше не повѣрилъ бы... Это произошло публично, на сходѣ, при свѣтѣ бѣлаго дня.

Петръ Сизовъ вдругъ заговорилъ. Онъ не просилъ, но прямо требовалъ отъ схода уступки ему земли возлѣ церкви, гдѣ стояла избушка безногаго солдата Лапина, который лѣтомъ пугалъ на огородахъ воробьевъ, зимой нянчилъ ребятъ, за что пользовался иногда горячими лепешками или кашей, добывая остальную часть пропитанія не менѣе полезными занятіями.

Но Петру надо было построить новый амбаръ. По обыкновенію, онъ выглядѣлъ исподлобья и, когда кончилъ, отошелъ въ сторону, молча ожидая рѣшенія схода. Березовцы подняли вой. На Петра Сизова съ ожесточеніемъ набросились. Но черезъ нѣкоторое время набросились, по обычаю, другъ на друга, обвиняя другъ дружку въ нахальствѣ. „Стало быть, теперича кто вздумаетъ слимонить какую хошь уйму земли, тотъ, напримѣръ, слимонитъ? Какъ зовется такое безстыжество?“—кричалъ одинъ. А ему возражалъ другой: „Ты бы, Митрій, помолчалъ малость. Помнишь прошлогодній осьминникъ-то? То-то. А какъ зенки у тебя бестыжіе, то ты и кричишь“. И пошли чесать другъ друга, пріискивая за каждымъ такіе случаи, которые подтверждали несомнѣннымъ

образомъ безстыжество всѣхъ вмѣстѣ и каждаго порознь. Петръ слушалъ-слушалъ, сдвинулъ шапку на глаза и объявилъ, что ежели такъ, то онъ кланяться міру уже не станетъ, нѣ-ѣтъ!

— Не радъ, что и связался съ дурачьемъ!—сказалъ онъ и пошелъ домой.

На другой день опять происходилъ сходъ. Березовцы чего-то испугались. Павелъ Жоховъ такого тумана напустилъ, что всѣ признали просьбу Петра Сизова справедливою. Притомъ, каждый боялся за себя, не желая вооружаться открыто противъ Сизова, къ которому при случаѣ, пожалуй, придется прибѣгнуть. Послали за Петромъ. Пришелъ. Возвысилъ голосъ староста. На минуту все смолкло.

— Тимоѳеичъ!—сказалъ староста.

— Что?—возразилъ Сизовъ.

— Тимоѳеичъ... міръ рѣшилъ уважить тебя: не замай, говоритъ, пользуется... человѣкъ онъ заслуженный. Но и ты уважь міръ, сдѣлай вносъ.

— Вносъ? А не жирно-ли будетъ?

— Тимоѳеичъ, не обижай насъ. Вынимай красную и довольно. Уважь міръ.

— Покудова не за что!—хладнокровно сказалъ Сизовъ.

— Какъ? міръ-то? Ты кто, откуда взялся? Православные! Спить съ него за эдакія слова пять ведеръ!—закричало нѣсколько голосовъ съ негодованіемъ. Началась опять перепалка. Ругали Петра. Но скоро его оставили, раздѣлившись на двѣ партіи. Одна, болѣе благоразумная, старалась на Петра подѣйствовать убѣжденіемъ и просьбою, другая хотѣла взять силой.

— Господа православные! Гнать его или пущай поклонится міру?—спрашивала одна сторона.

— Пущай тащитъ пять ведеръ!—кричала разъяренная другая сторона. Вышла полная разногласица.

Петръ постоялъ-постоялъ и, видя полнѣйшій хаосъ, собрался уходить.

— Куда ты спѣшишь? Погоди. Ишь какой обидчивый!— говорилъ староста.

Но Петръ не обращалъ вниманія на эти просьбы. Онъ говорилъ, что „ежели такъ, то и наплевать“; староста говорилъ: „пущай пользуется землей, только бы уважилъ міръ“

третья сторона желала, чтобы престижъ міра былъ возстановленъ пятью ведрами. Униженіе схода и безалаберщина на сходѣ были полныя. Сбавили цѣну, только просили, чтобы оказано было уваженіе. Петръ не согласился. Тогда дошли до забвенія себя. Староста, въ лицѣ большинства, взволнованно сказалъ:

— Да ты хошь испить-то намъ дай!

— Смерть какъ не люблю, ежели клянчутъ. Самъ знаю.

— Такъ дашь водочки-то? Одно ведро бы...

— На̀, два ведра! Лопайте!—сказалъ Петръ Сизовъ.

Обрадовались. Ругань прекратилась на время. Веселое оживленіе, смѣхъ, шуточки балагурныя. Солдата забыли. Міръ представлялъ себя въ образѣ пьянчуги; его интересы понимались въ смыслѣ двухъ ведеръ. Лопайте! И всѣ были удовлетворены.

Жестокая разногласица возобновилась только послѣ того, какъ уже были принесены два ведра. Стали пить. Петръ только обмочилъ губы и съ презрительными взглядами, относившимися ко всѣмъ присутствующимъ, вышелъ. Продолжали пить. Но когда между шутками рѣшено были снести избу безногаго солдата Лапина на другое мѣсто, многіе взбѣсились. Они инстинктивно защищали міръ. „Ахъ, вы, пьяная сволочь!“—закричало нѣсколько голосовъ. Ихъ ругали, но слушали. „Зачѣмъ вы міръ-то продаете?“—сказалъ кто-то, стуча стаканомъ объ столъ. Такимъ отвѣчали бранью, попрекая ихъ глупостью. Даже пирушка не кончилась благополучно. Когда одно ведро было выпито, одинъ мужичекъ взялъ его и полѣзъ на пирующихъ, съ намѣреніемъ стукнуть кому-нибудь въ голову. Ведро у него отняли, онъ полѣзъ на кулаки. Вышло побоище между двумя напившимися. Срамъ произошелъ ужасный. Разошлись, остервенѣвъ другъ на друга.

Петръ былъ не менѣе озлобленъ. На другой день часть схода пришла къ нему, къ дому, и потребовала еще вина передъ началомъ перенесенія избы солдата Лапина. Не умѣя „совладать“ съ нимъ и удержать его, они думали наверстать водкой. Онъ принужденъ былъ дать. Понявъ, что у него ушло пропасть денегъ, онъ озлился на весь міръ.

Сколько ни дѣлали ему уступокъ, ему все было мало. Съ деревней у него не было почти ничего общаго. Инте-

ресы его клонились къ другому. Онъ былъ самъ по себѣ. Всякія жертвы чужимъ людямъ,—а міръ сталъ ему чуждъ, какъ врагъ,—казались ему страшными.

Во имя чего сходъ пожертвовалъ ему безногаго солдата? Лапинъ не былъ въ тягость никому; у него была одна нога, къ другой придѣлана была деревяшка, но это ничего не значитъ. Кромѣ пуганія воробьевъ съ огородовъ и нянчанья грудныхъ ребятъ лѣтомъ, онъ являлся для деревни человѣкомъ во многихъ отношеніяхъ полезнымъ. Онъ еще занимался наукой. Правда, его обученіе грамотности носило своеобразный характеръ; собравъ ребятъ, онъ выстругивалъ изъ лучины палочки, раздавалъ ихъ ученикамъ и, задавая урокъ, говорилъ грознымъ голосомъ: смирно! Остальная часть его методы состояла въ томъ, что онъ держалъ на показѣ ремень, постоянно жалѣя, что, по слабости, не можетъ употреблять его въ дѣло, отчего, по его мнѣнію, и происходили худые успѣхи его обученія: ученики только успѣвали протыкать насквозь книжки деревянными указками... Все это правда, но все-таки Лапинъ старался горячо заработать пропитаніе и не даромъ получалъ горячія лепешки, кашу и другой хлѣбъ насущный.

Наконецъ, простое чувство справедливости должно бы было спасти его избу отъ перенесенія на другое мѣсто, еслибы продолжали существовать иныя времена. Но березовцы жили уже по другому складу.

Послѣ вторичнаго угощенія они пришли къ солдату и объявили ему рѣшеніе. Лапинъ сперва разгнѣвался до безумія. Простодушное лицо его побагровѣло. Онъ топалъ въ бѣшенствѣ одною ногой, ругался. Онъ пустилъ въ ходъ всѣ средства устрашенія. Одно изъ нихъ было оригинально. Онъ прицѣпилъ на грудь свою старую медаль и обвелъ нахаловъ убійственнымъ, по его мнѣнію, взглядомъ.

— Это что-жь такое?

— Кавалеръ,—пояснилъ Лапинъ.

Нахалы недоумѣвали.

— Я васъ, сиволапые! Налѣво кругомъ маршъ!—крикнулъ онъ.

Къ удивленію его, это не подѣйствовало. Мужики захохотали. Одинъ шутникъ спросилъ даже: есть-ли у него крупа, чтобы стрѣлять?

Тогда Лапинъ вдругъ палъ духомъ. Онъ безпомощно присѣлъ на порогъ избы своей и просилъ не трогать его. Онъ человѣкъ бѣдный, всякій его можетъ обидѣть; у него деревянная нога—куда ему таскаться съ мѣста на мѣсто?... Лапинъ заплакалъ. Это подѣйствовало. Явилась жалость. Мужики обласкали солдата, тутъ же постановивъ, что они будутъ кормить его вѣчно.

А все-таки избу его снесли, убѣждая хозяина ея, что на новомъ мѣстѣ ему будетъ лучше.

Ни одинъ изъ березовцевъ не подумалъ въ этотъ день, зачѣмъ у нихъ существовалъ міръ. Чтобы притѣснять безпомощныхъ? Но въ то же время никто не сомнѣвался въ его дѣйствительномъ существованіи. О немъ и его порядкахъ не думали, но чувствовали его. Не подвергая его критикѣ, въ него вѣрили. Какимъ онъ былъ раньше, этотъ пресловутый міръ, такимъ и остался. Служили ему и жили въ немъ безъ разсужденія, только эта служба походила на ту, которую исполняютъ бонзы. Объ обновленіи и перестройкѣ этого древняго храма никому и въ голову не приходило. Не придетъ-ли день, когда его снесутъ такъ же, какъ снесли избу солдата съ деревянною ногой, Лапина?

IV.

Въ домѣ Ивана Сизова шли сборы въ дорогу. Хозяйка его приготовляла для мужа котомку. Самъ Иванъ сидѣлъ за столомъ и разсказывалъ, какъ, наконецъ, деревня рѣшила снять участокъ казенной земли на вѣчныя времена.

Изъ его разсказа оказывалось, что этотъ несчастный участокъ давно возбуждалъ всеобщее вниманіе и перебранки. Десятки разъ вся деревня, въ полномъ составѣ, ходила высматривать его, причемъ одни являлись туда пѣшими, другіе конными. Первые осматривали кустики, ложбинки, яминки, чтобы не промахнуться. Вторые взирали его во всемъ его цѣломъ, объѣзжая вокругъ, какъ бы невзначай не врюхаться. Денегъ за него просятъ много, а проку выйдетъ мало; на каждую душу приходится по самой малости. Изъ-за этого и спорили... сколько тутъ было брани—не приведи Богъ! Бѣднота желала купить, богачи говорили: „Песъ съ нимъ! На какого онъ шута? Это по осьминнику-то на душу? Такъ

эдакой пустяковиной ни одна душа не будетъ довольна". И ругались. Должно быть, десять разъ приходили на участокъ, притоптали его весь, запомнили всѣ кочки. Слава Богу, что кончилась эта канитель.

— Порѣшили?—спросила жена.

— Разомъ. Сболтнулъ какой-то шутъ, что на этотъ участокъ уже многіе зарятся... и заразъ надумали. Лупи, говорятъ, Ванюха, въ городъ, оправь намъ все, какъ слѣдуетъ, чтобы только участокъ-то нашъ былъ... Чуть свѣтъ завтра надо выѣзжать.

Иванъ сидѣлъ веселый. Ребята лѣзли ему на колѣни, на загорбокъ, прося его купить гостинцевъ. Иванъ разыгрался. Одному онъ показалъ пальцами рога коровы и, въ подраженіе ей, вдругъ заревѣлъ: бу-у! отчего мальченко опрометью бросился къ порогу; другого взялъ поперегъ живота, положилъ его на колѣни и принялся щекотать бородой. Поднялся дѣтскій хохотъ, въ которомъ принималъ участіе и самъ Иванъ; лицо его свѣтилось, глаза искрились отъ смѣшныхъ слезъ. Тутъ же онъ обѣщалъ, что изъ города привезетъ золотыхъ и красныхъ барановъ и пряниковъ... Потомъ вдругъ онъ нахмурился, переставъ играть. Онъ задумчиво досталъ изъ-за пазухи кожаный кошель, съ какимъ-то страхомъ осматривая его.

— На-ка вотъ, зашей,—сказалъ онъ, подавая хозяйкѣ кошель,—мірская казна. Сохрани Богъ отъ грѣха. Только разинъ ротъ—сейчасъ цапъ у тебя! И реви тогда... Глыбже засунь.

Хозяйка зашила „мірскую казну" въ онучу. Никакой жуликъ не догадался бы, какія дорогія онучи носилъ Иванъ.

— Такъ-то вотъ вѣрнѣе. На-ка теперь, понюхай... много ли увидишь?—сказалъ Иванъ, и лицо его снова заплыло широкою улыбкой.

Однако, еще разъ въ этотъ день ему пришлось смутиться до глубины души.

— Не слыхать, когда братъ-то ѣдетъ?—спросила жена, воткнувъ этимъ вопросомъ ножъ въ сердце Ивана.

Онъ насупился и замолкъ.

— Я почемъ знаю!—только огрызнулся онъ.

Петръ Сизовъ былъ также выбранъ въ покупатели участка. Онъ даже раньше былъ выбранъ, потому что березовцы

прежде всего къ нему обратились: „Петръ, лупи въ городъ И чтобы все чисто было. Ты у насъ башка, знаешь куда и какъ. Чтобы только земля была наша“. Затѣмъ уже былъ указанъ Иванъ Сизовъ. Между тѣмъ, оба брата давно не видались. Встрѣчаясь другъ съ другомъ, они не снимали шапокъ, не кланялись, причемъ Иванъ терялся и съ недоумѣніемъ чесалъ голову, а Петръ отворачивался, смотрѣлъ въ землю, какъ будто замѣтилъ какую-то брошенную вещь и намѣревался поднять ее для хозяйства.

Легокъ на поминѣ!

Петръ всталъ около порога и крестился на образа. Потомъ внимательно и неторопливо осмотрѣлъ всѣхъ находящихся въ избѣ. За то находящіеся въ избѣ были поражены. Иванова баба стояла посрединѣ избы со сложенными на животѣ руками и не могла произнести ни слова. Иванъ также безмолствовалъ; онъ сидѣлъ неподвижно и держалъ въ рукахъ онучу, которая за минуту передъ тѣмъ приводила его въ радостное настроеніе. Одинъ парнишка засунулъ въ ротъ палецъ, не сводя глазъ съ дяди; другой, поменьше, при его входѣ стремглавъ бросился на печку, съ быстротой молніи зарылся тамъ въ лохмотья, оставивъ одну только маленькую щелочку, изъ которой скоро показался испуганный сѣрый глазъ.

— Здравствуйте,—сказалъ Петръ.—Пришелъ провѣдать. Не знаю, угодилъ-ли въ добрый часъ. Но теперича ссориться намъ не изъ-за чего.

— Не изъ-за чего...—повторилъ Иванъ, не зная, что говорить.

— Потому дѣлить нечего.

— Нечего...

— Пришелъ провѣдать...

— Вѣрно!

— Братнино-то сердце отходчиво. Иль все сердитъ?—пытливо спросилъ Петръ.

Иванъ былъ взволнованъ; онъ, видимо, не зналъ, что дѣлать. Но вдругъ онъ всталъ, подошелъ къ брату, взялъ его за руку и потащилъ къ столу. „Добро пожаловать! Гость будешь. Хозяйка, миръ! Пришелъ съ повинной... кланяйся!“— говорилъ Иванъ и крутился по избѣ, пока, наконецъ, не успокоился, усвоивъ фактъ примиренія съ братомъ.

Черезъ часъ оба брата сидѣли уже за столомъ. Происходилъ пиръ. Иванъ былъ подвыпивши. Петръ имѣлъ менѣе колючій видъ. Иванъ ежеминутно угощалъ своего гостя, называя его „дорогимъ". На глазахъ его то и дѣло появлялась влага. Блаженнѣйшая улыбка разлилась по всему его лицу. Иногда онъ хлопалъ брата ладонью по ногѣ и въ сотый разъ спрашивалъ его: братъ онъ ему или нѣтъ?

— А какъ же! Самый настоящій,—въ сотый разъ отвѣчалъ Петръ.

— Единоутробный?—шутливо освѣдомился Иванъ.

— Единоутробный.

До полуночи въ избѣ Ивана свѣтился огонь, и все это время Петръ не могъ вырваться изъ-за стола.

На другой день братья вмѣстѣ, на одной лошади, поѣхали въ городъ. Они сидѣли рядомъ. Иванъ много говорилъ, Петръ много слушалъ. Старшій добродушно оглядывалъ младшаго, ладшій внимательно смотрѣлъ на старшаго. Впрочемъ, случай далъ и послѣднему возможность заговорить, только говорилъ онъ всегда о дѣлѣ, пропуская пустяки мимо ушей.

Они подъѣзжали уже къ городу. Вдали виднѣлись колокольни, зеленые куполы, бѣлые дома. Но очертанія города были еще не ясны; надъ всѣмъ городомъ висѣла мгла, а когда солнце стало клониться къ западу, и лучи его пали отвѣсно, отъ города былъ видѣнъ только ослѣпительный блескъ. Жаръ спадалъ. Но пыль по дорогѣ сдѣлалась еще болѣе удушливою. Она густыми клубами поднималась отъ лошадиныхъ ногъ, колесъ и набивалась въ телѣгу, садясь на одежду братьевъ. Братья сидѣли въ ней, какъ въ пятой стихіи; облака ея часто были такъ густы, что они не видали другъ друга, молча глотая ее. Поэтому, должно быть, старшину сосѣдней волости, ѣхавшаго имъ навстрѣчу изъ города, они замѣтили только тогда, когда онъ поровнялся съ ними. Иванъ и Петръ сняли шапки и поздоровались. Старшина величественно проѣхалъ мимо, что-то пробормотавъ.

Петръ нѣсколько разъ оглядывался назадъ, стараясь хорошенько разглядѣть новую сбрую съ бляхами, жирнаго мерина, прочную и щегольскую телѣжку богатаго старшины. На мгновеніе оба брата покрылись пылью, скрывшею отъ ихъ глазъ отъѣзжающаго. Но Петръ сказалъ:

— Подлинно, голова!

— А что?—откликнулся Иванъ.

— Разбогатѣлъ. Теперича куда—и шапку не ломаетъ! Уменъ, шельма.

— Старшина. Обыкновенно...

— Ничего не „старшина". Старшина одна причина, а умъ—другая.

— Должно быть, на руку нечистъ, — замѣтилъ наивно Иванъ, удивляясь, отчего его братъ нахмурился. Петръ говорилъ твердо, но задумчиво, смотря на дно телѣги.

— Допрежь голь мужиченко былъ,—замѣтилъ онъ.—Значитъ, башка-то не дерьмомъ набита, есть же, значитъ, разсудительность. Слыхалъ, какъ онъ пошелъ въ ходъ? Семеновцы, вотъ такъ же, какъ, къ примѣру, мы, задумали прикупить лугъ. Хорошо. Выбрали. А старшину послали за купчей. А онъ, не будь простъ, денежки-то да лужокъ-то въ карманъ спустилъ. Туда-сюда, а купчая-то ужь въ кармашкѣ. Смѣется! Конечно, какъ надъ дураками не смѣяться? Такъ и бросили.

— Безсовѣстный и есть!—съ негодованіемъ воскликнулъ Иванъ.

— Не безъ того. А между прочимъ, какъ судить? Судить надо по-просту. Оно и выйдетъ, что ловко вывернулся, уме-енъ! Умѣетъ жить.

— Разбойствомъ-то...

— Для чего разбойствомъ? Все по закону. Ныньче, братъ мой, все законъ, бумага.

— А грѣхъ?—спросилъ Иванъ, смотря на брата сквозь слои пыли.

— Всѣ мы грѣшны.

Иванъ помолчалъ.

— А Богъ?—потомъ спросилъ онъ.

— Богъ милостивъ. Онъ разберетъ, что кому. А жить надо.

— Разбойствомъ! Вѣдь онъ, стало быть, выходитъ, воръ?

— Ну-у!—протянулъ глухо Петръ.

Впродолженіи нѣсколькихъ минутъ длилось молчаніе. Лошадь шла шагомъ. Кругомъ было тихо. Солнце сѣло, и по степи разлился полу-свѣтъ, въ которомъ всѣ предметы приняли иныя формы и цвѣта.

— Совѣсть, братъ, темное дѣло,—прервалъ молчаніе братъ Петръ.

— А міръ?—спросилъ Иванъ.

— Какой такой міръ?—презрительно замѣтилъ Иванъ.

— Да какже, а семеновцы-то?

— Каждый свою пользу наблюдаетъ, хотя бы и въ міру. Рази міръ тебя произродилъ?

— Что-жь...

— Міръ тебя поитъ-кормитъ?

— Ты не туда...

— Нѣтъ, я туда. Каждый гонитъ свою линію. Какъ есть ты человѣкъ и больше ничего. А міра нѣтъ... Ну, будетъ по-пустому болтать, слышь?

— Ась?—откликнулся задумавшійся Иванъ.

— Подбери возжи!—рѣзко сказалъ Петръ.

Лошадь, пущенная во время разговора на произволъ судьбы, завезла телѣгу въ сторону. Правыя колеса катились по самому краю рва. Прямо передъ глазами былъ городъ. Иванъ поспѣшно задергалъ возжами, направляя лошадь на настоящую дорогу. Онъ еще что-то хотѣлъ спросить у брата и уже обернулся къ нему лицомъ, но телѣга въѣхала на камни мостовой, загремѣла, затряслась и отбила у Ивана охоту вести разговоры.

V.

Странно, что мужичекъ, заѣхавшій въ чужое мѣсто по дѣламъ, сразу дѣлается безпомощнымъ. Все ему ново и непонятно, словно онъ переселился въ нѣкоторое царство, въ нѣкоторое государство, за горы и моря... Буквально онъ подвергается самымъ удивительнымъ несчастіямъ, испытывая баснословныя приключенія; то его помоями обольютъ, то задѣнутъ метлой по физіономіи.

Иванъ не подвергся, къ счастію, бѣдамъ. Онъ только залѣзъ на первыхъ порахъ въ какую-то кухню, вмѣсто присутствія, а оттуда поваръ его живо выпроводилъ, въ то же время указавъ, куда слѣдуетъ идти. Притомъ. у него былъ братъ, больше его знающій и опытный.

Оба они пришли очень рано, и когда поваръ указалъ Ивану надлежащее мѣсто, они сѣли возлѣ парадной двери.

на улицѣ и стали ждать. Въ ожиданіи часа, когда можно было видѣть „начальника", Иванъ разулся, распоролъ онучу и вынулъ изъ нея деньги. Это потребовало много времени, такъ что когда отъ онучи было отнято ея привилегированное положеніе, а сапоги очутились на должномъ мѣстѣ, ожидаемое время настало. Петръ сначала держался въ сторонѣ; онъ не могъ дать ни одного совѣта брату, молчалъ и неподвижно сидѣлъ на тротуарѣ, задумчиво вперивъ глаза въ землю. Идти съ Иваномъ онъ на первыхъ порахъ также отказался. „Допрежь ты иди",—возразилъ онъ на просьбу идти вмѣстѣ. Иванъ повиновался, но отсутствіе брата вселило въ него еще больше робости, съ которой онъ и пошелъ.

Половину дня Иванъ торчалъ въ прихожей, у всѣхъ спрашивая и ожидая какого-то „главнаго начальника". Къ нему подходило нѣсколько чиновниковъ, предлагавшихъ ему сдѣлать все, что надо, но онъ со страхомъ отказывался отъ предложенія, въ то же время думая: „Хитеръ народъ, погляжу! И насъ тоже не проведешь!" И онъ все ждалъ главнаго начальника. Впрочемъ, на вопросы присутствующихъ, какого именно главнаго начальника ему надо, онъ ничего не могъ отвѣтить. Пробило три. Иванъ терпѣливо ждалъ. Наконецъ, его выпроваживать стали. Уперся. Потомъ прибѣгъ къ послѣднему средству; онъ зналъ, что въ каждомъ присутствіи есть секретарь, „большой также начальникъ", но только съ нимъ дѣла не сдѣлаешь, а посовѣтоваться можно. Вызвали секретаря.

— Какое дѣло?

— Земли хотимъ купить, ваше благородіе. Это самое.

— Гдѣ земли, какой земли, кто?

— Мы, березовскіе хрестьяне...

— Да тебя-то какъ звать? Кто это „мы"?

— Иванъ Тимоѳеевъ, а прозываюсь Сизовъ. Съ братомъ мы пріѣхали купить...

Отвѣтивъ это, Иванъ посмотрѣлъ на секретаря, и ему показалось, что тотъ окончательно разсердился. Сердце его ёкнуло. Онъ сталъ объяснять, какой такой участокъ.

— Хорошо, хорошо. Завтра,—сказалъ секретарь и отдѣлался отъ просителя.

Но это завтра растянулось на цѣлую недѣлю.

Въ слѣдующіе дни Иванъ взялъ на себя только наблю-

дательную роль. Въ то время, какъ Петръ говорилъ съ „начальниками“, подавалъ имъ просьбы, документы, Иванъ стоялъ въ прихожей, не произнося ни слова. Онъ сознавалъ, что Петръ ловчѣе его. Онъ только не зналъ, отчего Петръ ловчѣе... Иванъ простаивалъ часы и дни въ прихожей, безъ словъ и неподвижно, глубоко вѣря, что эти безсловесныя и неподвижныя стоянія необходимы, чтобы свято выполнить мірское порученіе. Онъ боялся вымолвить слово, чтобы какъ-нибудь не промахнуться. Та же боязнь заставляла его постоянно ощупывать карманъ, гдѣ были спрятаны деньги. Петръ одинъ разъ мрачно потребовалъ этихъ денегъ, въ видахъ скорой уплаты, но онъ не далъ. „Я самъ“,—проговорилъ онъ недовѣрчиво, какъ ребенокъ, у котораго просили игрушку.

Кромѣ стоянія въ присутствіи, однажды вечеромъ отыскалъ барина, съ которымъ нѣкогда у мирового судьи пилъ чай; онъ пришелъ посовѣтоваться съ нимъ. Статистикъ принялъ его хорошо, только просилъ придти въ другое время покалякать па досугѣ. Когда Иванъ разсказалъ ему свое дѣло, онъ одобрилъ березовцевъ.

— Хорошее дѣло вы задумали.

— Да, дѣло любезное. Какъ бы его только оправить въ настоящемъ видѣ,—сказалъ весело Иванъ.

— Ничего, оправишь... А помнишь, какъ васъ ругалъ Николай Иванычъ?

Иванъ кое-что помнилъ.

— Онъ говорилъ, что вы передъ міроѣдами кланяетесь и что у васъ никакого порядку нѣтъ... кажется, такъ? Я думаю, что оттого у васъ никакого порядку нѣтъ, что вы ничего сами не умѣете. Налетитъ на васъ нахалъ, а вы не знаете, какъ съ нимъ справиться... а? Учиться надо.

— Худыхъ людей всюду много,—отвѣчалъ Иванъ.

— Да не въ этомъ дѣло. Защищаться-то вы не умѣете. Пожалуй, и защищаетесь, да только боками своими.

Баринъ засмѣялся.

— Учиться надо,—повторилъ онъ.

— Учить, извѣстно, насъ надо,—подтвердилъ Иванъ.

Этимъ нравоученіемъ и кончилось все. Баринъ заторопился куда-то.

Иванъ послѣ этого еще нѣсколько дней провелъ въ тор-

чанія, терпѣливо, мученически ожидая развязки. Утромъ рано его видѣли сидящимъ на тротуарѣ возлѣ казеннаго дома; тамъ же иногда замѣчали часа въ четыре, потому что онъ выходилъ на воздухъ подышать и размять ноги. Это было чистое страданіе. Нѣтъ хуже состоянія, когда человѣкъ ждетъ, ничего не зная... Онъ томился до замиранія сердца, стоялъ до мозжанія въ ногахъ и ожидалъ до того, что голова его кружилась, а мысли вертѣлись колесомъ. Онъ просто дурѣлъ. По выходѣ изъ присутствія Петра, онъ только спрашивалъ:

— Скоро?

— Да, должно быть, скоро,—возражалъ Петръ.

Дѣло кончилось. Ивана позвали въ настоящее присутстыие и потребовали денегъ. Иванъ оглянулъ всѣхъ недовѣрчиво, подозрительно: „Хитеръ тоже народъ!"—думалъ онъ. Онъ медлилъ. Петръ рѣзко велѣлъ ему выкладывать деньги, и онъ полѣзъ въ карманъ. Четверть часа онъ вынималъ, другую четверть часа считалъ, для чего онъ нарочно ушелъ въ самый дальній уголъ комнаты и по временамъ оглядывался подозрительно, не примѣчаетъ-ли кто его денегъ. Его ругали. Ругался Петръ. Ругался чиновникъ, перелистывавшій бумаги. Но Иванъ думалъ: „Дѣло мірское... долго-ли промахнуться?" Съ тѣмъ же намѣреніемъ („чтобы все было чисто"), подавъ деньги, онъ въ то же мгновеніе протянулъ руку за бумагой. Но Петръ рѣзкимъ движеніемъ отстранилъ его, самъ взялъ документъ, а въ сторону чиновника пояснилъ:

— Братанъ мой.

Все кончилось. Документъ въ рукахъ. Когда Иванъ вышелъ изъ присутствія, онъ глубоко вздохнулъ и широко перекрестился на церковь. Петръ былъ возбужденно-веселъ, хотя смертельная блѣдность искажала его лицо; казалось, что онъ за минуту передъ тѣмъ избѣгъ опасности и еще не можетъ отъ всей души радоваться, оправившись отъ страха. Онъ также перекрестился на церковь. Но къ Ивану возвратилась обычная разговорчивость; камень съ души его свалился. По выходѣ совсѣмъ изъ той части города, гдѣ стоялъ казенный домъ, онъ съ шумомъ сказалъ: „Баста!"—снялъ шапку, надѣлъ ее опять, сдвинулъ на затылокъ... Главное, получена была бумага.

Но кому бумага, какая бумага?

Зловѣщія вѣсти разносятся въ деревнѣ раньше, чѣмъ онѣ оправдываются. Не успѣли братья Сизовы пріѣхать изъ города, какъ уже вся деревня была взволнована подозрительными мыслями. Живо собрался сходъ; мужики массой двинулись къ избѣ Ивана Сизова. „Подавай бумагу!"—кричали десятки голосовъ въ его окно. Иванъ вышелъ изъ воротъ, раскланялся и сказалъ, что бумага у Петра. Двинулись къ Петру. Подозрительность и волненіе доросли уже до такой степени, что Ивана взяли подъ руки и повели силой, какъ пойманнаго вора.

Петръ только-что возвратился домой, но не могъ утерпѣть, чтобы не обойти своего хозяйства. До отъѣзда онъ не успѣлъ покрыть избу тростниковыми снопами. Теперь, едва поѣлъ, залѣзъ наверхъ избы и принялся укладывать крышу, какъ ни въ чемъ не бывало. Онъ былъ весь охваченъ волненіемъ и злобой, а когда увидѣлъ приближеніе схода, руки его затряслись, но онъ не бросилъ работы и чисто укладывалъ тростникъ, пригоняя снопы другъ къ другу.

— Петръ, слѣзай!—послышался крикъ.

— Для какой надобности?—хладнокровно спросилъ Петръ.

— Подавай бумагу! Гдѣ она?

— Не для васъ она прописана.

Петръ, высказавъ это, продолжалъ возиться на крышѣ. Сходъ на минуту замеръ. Значитъ, правда, что бумага-то ушла изъ рукъ? Правда, что деньги-то пропали? Правда, что участка-то нѣтъ? Нѣсколько голосовъ еще разъ машинально повторили: „Петръ, слѣзай!" Но Петръ не слѣзъ. Онъ сказалъ, что деньги скоро отдастъ, и... и больше ничего не сказалъ, подаривъ лишь мужиковъ взглядомъ полнѣйшаго пренебреженія. Его блѣдное лицо, казалось, говорило: „Ахъ, вы, шуты, шуты соломенные!" Только руки его дрожали и снопы не укладывались съ тою аккуратностью, какую онъ желалъ.

Вниманіе схода было отвлечено въ другую сторону. Вдругъ всѣ вспомнили объ Иванѣ. Оглянулись и увидали его. Полетѣла брань. Иванъ передъ тѣмъ былъ оставленъ на свободѣ, но онъ не пытался уйти изъ толпы. Онъ только самъ теперь сообразилъ все. Видъ его былъ убитый. Онъ едва-ли слыхалъ раздавшуюся въ эту минуту страшную брань и не видалъ разъяренныхъ лицъ. Онъ самъ такъ обомлѣлъ, что

не пытался выговорить слово оправданія. Только чуть слышно произнесъ, обращаясь къ брату:

— Братъ! Что ты со мной сдѣлалъ?...

Эти слова еще больше разъярили толпу. „А! ты ссылаешься на брата?!“ Ивана нѣсколько рукъ схватили и тянули въ разныя стороны. За первыми потянулись другіе, потомъ потянулись всѣ... Каждый хотѣлъ схватить и встряхнуть... Онъ все это видѣлъ; видѣлъ также зловѣще горѣвшіе глаза, но не думалъ оправдываться. „Пусть лучше прибьютъ“,—думалъ онъ. Его дѣйствительно начали бить... Онъ ничего не видалъ.

Въ это время нѣсколько опытныхъ стариковъ бѣгали по сходу и уговаривали бросить... Они знали, чѣмъ это можетъ кончиться. Случай имъ помогъ вырвать Ивана. Чей-то мальченка, заинтересованный всѣмъ происходящимъ, полѣзъ черезъ заборъ, который съуживалъ его поле зрѣнія, и подвергъ себя неожиданной опасности, зацѣпившись рубахой за колъ. Онъ повисъ и заревѣлъ отъ ужаса. Отчаянный ревъ его возбудилъ всеобщее вниманіе. Оглянулись, увидали... и сперва появились улыбки, потомъ веселый смѣхъ, превратившійся моментально въ хохотъ и шутки. Хохотали всѣ собравшіеся. А староста незамѣтно увелъ Ивана.

Когда мужики черезъ минуту вспомнили о немъ, его уже не было. Поднялся невообразимый гвалтъ. Нѣкоторые предлагали идти искать Ивана и бить его. Другіе совѣтовали надѣть на него хомутъ, обсыпать куриными перьями и въ такомъ видѣ водить его по улицѣ. Но староста объявилъ, что Ивашка сидитъ уже въ темной. Это, повидимому, сразу успокоило сходъ. Онъ перекинулся на другого брата. Но никто не требовалъ отъ него бумаги; его просили... „Отдай, Тимоѳеичъ!“ Петръ слѣзъ съ крыши и повторилъ, что деньги отдастъ, прибавивъ, что если къ нему станутъ приставать, то не дастъ... ни копѣйки! Сказавъ это, онъ захлопнулъ калитку, гдѣ стоялъ. Березовцы принуждены были еще разъ остолбенѣть.

Нѣсколько дней вслѣдъ затѣмъ въ деревнѣ продолжались смятенія и сходы. Березовцы послали въ городъ ходоковъ разузнать, какъ и почему? Оба ходока, одинъ за другимъ, летали въ городъ, изъ города въ другой. Ничего не вышло. Отвѣты были убійственные. Одинъ пріѣхалъ и объявилъ:

„Сами мы, братцы, глупый народъ“. Отвѣтъ другого былъ таковъ: „Рохли!“

Кончилось это происшествіе очень скоро, неожиданно и почти незамѣтно. Собрали березовцы послѣдній сходъ по своему нелѣпому дѣлу. Но обсужденія шли вяло. Никто ничего не зналъ, и всѣ предложенія были такъ же нелѣпы, какъ и самое дѣло. Скажутъ слово и помолчатъ. Каждый понялъ всю безнадежность мірского предпріятія. Скажетъ слово и помолчитъ. Это надоѣло. Случилось вотъ что. Вдругъ всѣ вразъ и каждый поочереди поняли, что у каждаго есть дома свое собственное дѣло; всякій желалъ наверстать потерянное время; мысль, что мірское дѣло потерпѣло крушеніе, придала жгучесть другой мысли, что дома есть настоящее дѣло, упустивши которое останешься безъ ничего. Настало смущеніе. Собравшіеся перестали глядѣть другъ на друга. Было чего-то совѣстно. Мужики незамѣтно разбрелись по домамъ. Одинъ всталъ, взялъ шапку и сказалъ, ни къ кому не обращаясь, что пора бы по домамъ. За нимъ всталъ другой, за нимъ третій, у всѣхъ нашлись причины. Одному надо было пойти дегтю купить; у другого провалился сарай; третьему явилась настоятельная необходимость шишку срѣзать на ногѣ мерина. Каждый бралъ шапку и уходилъ въ смущеніи. И скоро съ сборной избѣ никого не осталось. На лужкѣ сидѣли одни сивые старики, которые принялись-было разсуждать о допотопныхъ временахъ, да и тѣ скоро умолкли, увидавъ, что говорить нечего.

Иванъ всѣ эти дни провелъ въ темной. Но на него также деревня махнула рукой.

— Ну его, шалава проклятая!

Это все, чѣмъ ему мстили. Онъ вышелъ изъ темной на восьмой день, глухою ночью, которая помогла ему украдкой придти домой. Тамъ онъ залѣзъ въ сѣни, никому не объявившись изъ домашнихъ, и забился въ уголъ. Общественное негодованіе придавило его; онъ уже думалъ, что никогда ему не оправиться во мнѣніи людей.

VI.

Сизовскій участокъ затихалъ. Вокругъ главнаго хутора, еще не отстроеннаго, съ раскрытою крышей, безъ оконъ и

безъ дверей, навалены были груды земли, соломы, прутьевъ; валялись горы щепъ и кирпичей и бревна съ воткнутыми въ нихъ топорами. Рабочіе пошабашили и готовились къ ѣдѣ. Между ними большинство было изъ Березовки. Сизовъ позвалъ, и они... почему же и не помочь ему построить хуторъ? Деньги онъ даетъ хорошія. Большинство лежало на землѣ; одни навзничь, другіе на брюхѣ. Цѣлый день работавшіе теперь сдѣлали ночной привалъ, отдыхая. Кое-кто, впрочемъ, починивалъ одежду; иные точили пилы. Кое-гдѣ обмѣнивались лѣнивымъ разговоромъ; кто-то запѣлъ. Но лѣнивые разговоры обрывались, а пѣсня совсѣмъ смолкла, потушенная темнотой и сномъ. Торопились привалиться поскорѣе и заснуть. Ужинали однимъ хлѣбомъ, полѣнившись сварить что-нибудь.

Иванъ сидѣлъ поодаль отъ другихъ. Онъ также стоялъ на работѣ у брата наравнѣ съ другими. Въ его домѣ въ это короткое время случилось много несчастій: волкъ зарѣзалъ пять овецъ, опилась лошадь, захворала хозяйка. Чтобы оправиться, онъ нанялся на хуторъ. Теперь онъ безмолвно осматривалъ топоръ. Въ цѣлый день никто еще не слыхалъ отъ него слова. Онъ боялся, что его осадятъ: воръ! Но ему дали названіе „шалавы»—и больше ничего. Знали, что самъ онъ отъ брата ничего не получилъ. Большинство работавшихъ относилось къ нему съ сожалѣніемъ: „Ахъ, глупый!“

Осмотрѣвъ топоръ, онъ открылъ мѣшокъ, вытащилъ оттуда хлѣбъ и принялся закусывать. Вдругъ ему пришла въ голову мысль.

Онъ пересилилъ себя, подошелъ къ лежавшимъ и сдѣлалъ предложеніе.

— Братцы, какъ бы намъ артелью...—сказалъ онъ.

— Что артелью?—спросило нѣсколько голосовъ.

— Кашу бы варить.

— Ничего, давайте артелью. Ребята, слышь?

Заговорили. Предложеніе вызвало всеобщее одобреніе и было принято. Самому Ивану поручено привести его въ исполненіе.

— Что-жь, пущай варитъ. Слышишь, Иванъ? Вари.

Иванъ бросился хлопотать. Онъ сразу поднялся въ собственныхъ своихъ глазахъ. Забывъ усталость, онъ принялся бѣгать, одинъ поднялъ огромный котелъ и, надѣвъ его для

удобства на голову, принесъ на мѣсто дѣйствія, задыхаясь и радуясь. Онъ развелъ костеръ, который сначала все не разгорался, во избѣжаніе чего ему нѣсколько разъ приходилось распластаться по землѣ и дуть въ огонь до слезъ. Но онъ забылъ усталость и старался.

Громадный костеръ пылалъ, разсыпая вокругъ себя искры, выбрасывая клубами дымъ. Вокругъ костра усѣлись рабочіе. Одинъ Иванъ былъ на ногахъ. Тѣнь прежней блаженной улыбки играла на его лицѣ. Въ рукахъ онъ держалъ ложку, которой отъ времени до времени помѣшивалъ артельную кашу.

Путешествія мужиковъ.

Съ начала весны и въ продолженіе всего лѣта чистая публика, какъ извѣстно, усиленно гоняется за призракомъ природы, ошибочно разъискивая ее тамъ, гдѣ ея или вовсе нѣтъ, или очень мало,—въ виноградѣ и кумысѣ, на морѣ и въ степяхъ, на минеральныхъ водахъ и на дачахъ. Ѣздятъ, конечно, немощные, ради возстановленія силъ, отнятыхъ затхлою жизнью по конторамъ и присутствіямъ, но всего больше ѣздятъ совершенно здоровые, ѣздятъ въ надеждѣ гдѣ-нибудь развѣять часть силъ, которую некуда дѣвать и которая только душитъ культурнаго человѣка. Для такого сорта публики не нужны собственно даже и призраки природы; все дѣло въ томъ, чтобы найти такое мѣсто, гдѣ можно побольше освободить бездѣйствующихъ силъ, выпустить лишнюю кровь, выбросить ненужныя идеи, только тревожащія совѣсть,—словомъ, продѣлать то, что̀ называется „отдохнуть", „развлечься". Благодаря этому, призраки природы сами по себѣ не удовлетворяютъ культурнаго человѣка; онъ ихъ требуетъ съ нѣкоторыми острыми приправами,—кумысъ съ музыкой и ужинами, минеральныя воды съ интрижками, море и виноградъ съ провожатыми татарами и пр.

Одновременно съ этимъ движеніемъ совершается, какъ извѣстно, и другое, болѣе могучее и оригинальное. Изъ всѣхъ губерній, въ которыхъ мужики по деревнямъ сидятъ въ проголодь, съ начала весны, почти сейчасъ послѣ ледохода, устремляются потоки проголодавшагося за зиму населенія къ низовьямъ Волги и на Донъ, въ южныя степи и къ уральскимъ казакамъ; къ началу полевыхъ работъ потоки эти превращаются въ цѣлыя рѣки, направляющіяся съ сѣвера на югъ. Но, какъ культурная среда тщетно гоняется за при-

зраками природы, отыскивая отдыхъ и развлеченія, такъ же тщетно и мужики шляются по чужимъ мѣстамъ, въ поискахъ за копѣйкой и кормомъ. Ни копѣйки, ни корма не удается имъ поймать, сколько бы тысячъ верстъ ни отмахали они.

Если бы ту сумму труда и здоровья, которая растрачивается на поиски хлѣба за тридевять земель, возможно было вычислить, то получилось бы нѣчто ужасающее. И это ежегодно повторяется, изъ года въ годъ сотни тысячъ народа бросаютъ свои мѣста, свои семьи и дома, свою работу и поля и путешествуютъ въ далекія страны съ смутною надеждой вывезти оттуда денегъ. Какая чудовищная трата энергіи и какая трогательная вѣра въ несуществующія вещи!

Впрочемъ, за зиму мужики по нѣкоторымъ мѣстамъ такъ отощаютъ и на большинство отощавшихъ нападетъ такая скука, что съ наступленіемъ весны они по необходимости должны броситься куда глаза глядятъ, лишь бы впереди былъ хоть какой-нибудь призракъ поправки. Въ это время на главныхъ путяхъ сообщенія является такое скопленіе пассажировъ, что начальство желѣзныхъ дорогъ приходитъ въ отчаяніе, пароходы набиваютъ мужиковъ куда попало, и все-таки на главныхъ пристаняхъ и станціяхъ по недѣлѣ ждутъ очереди. По большей части мужики на желѣзныхъ дорогахъ ждутъ вагоновъ четвертаго класса, а на пароходахъ выбираютъ такія компаніи, которыя склонны понижать тарифъ по мѣрѣ торговли; мужики торгуются вездѣ съ пароходчиками до послѣдней крайности. Часто бываетъ, что торгующіяся стороны не сходятся въ цѣнѣ; отъ этого скопленіе еще болѣе увеличивается. Толпы плохо одѣтыхъ и тощихъ людей по цѣлымъ днямъ сидятъ и лежатъ гдѣ-нибудь на мостовой, дожидаясь четвертаго класса вагоновъ или дешевыхъ пароходовъ, и когда, наконецъ, та или другая „машина“ ихъ возьметъ, они набиваются всюду, гдѣ только есть пространство,—на лавкахъ и подъ лавками, возлѣ паровика и кухни, среди кулей товара и на самыхъ куляхъ, на дровахъ и даже подъ дровами.

Такъ было на томъ камскомъ пароходѣ, на которомъ мнѣ пришлось ѣхать. Изъ рубки нельзя было часто вовсе пройти, потому что весь полъ палубы и всѣ щели ея заняты были людьми; еще днемъ можно было шагать среди рукъ, головъ,

ногъ и другихъ членовъ человѣческаго тѣла, но лишь только наступали сумерки, боязно было даже и подумать пробраться по этой живой кучѣ дѣтей, женщинъ, мужиковъ. Оффиціантъ, пробирающійся отъ буфета во второй и первый классы съ чайнымъ приборомъ, долженъ былъ употреблять неимовѣрную ловкость и рѣшительность, чтобы не повалиться среди живой кучи; при этомъ онъ, конечно, не думалъ, что, шагая, онъ то и дѣло наступаетъ на что-то мягкое; исключительная его забота состояла въ томъ, чтобы самому не упасть съ солянкой или съ гурьевскою кашей въ середину живого мяса.

О хорошемъ обращеніи съ „четвертымъ классомъ" никто никогда не думаетъ. Дрова бережно складываются на свое мѣсто; кули съ воблой, съ изюмомъ или съ овсомъ никогда зря не валяются; по крайней мѣрѣ, у каждаго куля есть свое мѣсто, съ котораго никто не имѣетъ права столкнуть его. Но четвертый классъ не имѣетъ ни мѣста, ни права на него, и на палубѣ онъ только терпимъ—не болѣе. Тотъ же самый оффиціантъ, пробирающійся среди груды спящихъ и бодрствующихъ, отъ времени до времени раздвигаетъ ногой мѣшающія тѣла и въ отчаяніи кричитъ:

— Эй, ты, бревно! поверни брюхо! Всю дорогу загородилъ!...

„Бревно" кое-какъ поворачивается.

— Убери башку-то!—кричитъ оффиціантъ дальше, остановленный десяткомъ головъ, валявшихся на полу.

Кажется, путешественники четвертаго класса и сами плохо вѣрятъ въ нѣкоторыя прирожденныя свои права; по крайней мѣрѣ, никогда не слышно, чтобы они роптали на неудобство ихъ обычнаго переѣзда. Все, о чемъ сильно заботится четвертый классъ,—это переѣхать по возможности пятакомъ дешевле; роптать же противъ такихъ неудобствъ, какія никогда не доводится испытывать кулямъ съ воблой, онъ не смѣетъ, отлично зная, что за гордость ихняго брата высаживаютъ вонъ. Онъ знаетъ, замѣтилъ слабость нѣкоторыхъ пароходныхъ компаній перебивать другъ у друга пассажировъ и пользуется этимъ, но разъ ему пятачекъ уступили и посадили на полъ палубы, онъ уже считаетъ себя въ полной власти начальства. Въ свою очередь, и начальство знаетъ это; набивъ мужиками полонъ пароходъ,

оно затѣмъ всѣ свои разсчеты съ послѣдними считаетъ поконченными.

А послѣ нагрузки живымъ грузомъ всѣхъ щелей судна прекращаются и пятачковыя уступки. Такъ было на одной камской пристани.

Пароходъ былъ уже полонъ. Но на конторкѣ стояла большая толпа крестьянъ съ мѣшками и котомками за плечами. Между партіей и пароходнымъ начальствомъ велись переговоры.

— Сколько съ десятка-то берете?—спрашивалъ одинъ изъ партіи.

— По рублю восемь гривенъ,—отвѣчалъ кассиръ.

— Съ носа?

— Нѣтъ, съ пары ушей.

Несмотря на серьезный моментъ (пароходъ стоялъ всего нѣсколько минутъ), этотъ отвѣтъ вызвалъ хохотъ среди толпы. Только тотъ мужикъ, который стоялъ впереди и велъ переговоры, не терялъ тревожнаго выраженія. Подождавъ немного, онъ опять обратился къ кассиру съ разными предложеніями.

— Уступите, ваше степенство, хоть чуть-чуть...—говорилъ онъ и слѣдилъ за всѣми двяженіями кассира.

— Ну, хорошо, рубль семьдесятъ пять, — сказалъ кассиръ презрительно.

— А ежели бы двугривенный?

— Не могу.

— Нельзя?

— Убирайся къ чорту!—лѣниво проговорилъ кассиръ.

— Та-акъ-съ!—протянулъ парламентеръ и сдѣлался мрачнымъ: пароходъ черезъ нѣсколько минутъ долженъ былъ отчалить. Но онъ все-таки не терялъ мужества и ободрялъ волновавшихся сзади него мужиковъ.

— Подожди, ребята, уступитъ,—говорилъ онъ вполголоса, а громко продолжалъ рядиться. Было, впрочемъ, замѣтно, что кассиръ (онъ же и помощникъ капитана) больше не уступитъ. На дальнѣйшія убѣжденія парламентера онъ отвѣчалъ свистками.

— Стало быть, уступки не будетъ?—спросилъ парламентеръ нѣсколько угрожающе, давая понять, что онъ уведетъ мужиковъ и на другой пароходъ.

— Второй свистокъ!—крикнулъ помощникъ, вмѣсто отвѣта.

Партія заволновалась и ближе придвинулась къ трапу, еле слушаясь своего парламентера; нѣсколько слабодушныхъ даже сунулись на пароходъ, но парламентеръ оттащилъ ихъ назадъ и на минуту водворилъ дисциплину въ своихъ рядахъ.

— Ну, ваша милость, хоть по гривнѣ еще сбавьте, а? Ну, нельзя, такъ уйдемъ на другую канпанію! — проговорилъ взволнованный парламентеръ, пуская въ ходъ послѣднее средство.—Айда, ребята, на другую канпанію! Ежели тутъ не уступаютъ, тамъ уступятъ.

Но непріятель-кассиръ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на эту хитрость.

— Третій свистокъ!—крикнулъ онъ наверхъ.

Мужики дрогнули и заволновались. Парламентеръ, видимо, упалъ духомъ, хотя наружно продолжалъ держаться твердо.

— Что же, ребята, надобно идтить на другую канпанію,— сказалъ онъ, самъ не вѣря своимъ словамъ.

— Убирай трапъ!—крикнулъ помощникъ.

— Стой, стой, подожди!—вдругъ закричало нѣсколько голосовъ со стороны побѣжденныхъ, и мужики безпорядочно бросились бѣжать по трапу на пароходъ, толкая другъ друга и чуть не сбивъ съ ногъ въ воду бывшую между ними бабу.

Одинъ только парламентеръ не спѣшилъ. Видя бѣгство своего деморализованнаго отряда, онъ побрелъ на пароходъ послѣ всѣхъ, медленно и опустивъ голову, словно отдавался въ плѣнъ.

Отчасти это былъ дѣйствительно плѣнъ.

Казалось, немыслимо было больше помѣстить еще четырнадцать человѣкъ. Но новая партія вбѣжала, вѣрнѣе, врѣзалась въ людскую кашу, кипѣвшую на палубѣ, потѣснила ее и безъ остатка слилась съ ней.

Наступала ночь. Дулъ холодный вѣтеръ. На рѣкѣ показались волны съ пѣнистыми хребтами. Но на палубѣ было душно. Не осталось ни одного вершка незанятаго. Бабы и ребятишки въ повалку лежали на скамьяхъ, подъ скамьями, на всемъ полу, по всему пароходу отъ носа до кормы. Мужики больше сидѣли или толклись кучами по бортамъ, не находя мѣста, гдѣ бы поспать и отдохнуть.

Отдѣльныя физіономіи смутно мелькали въ сумеркахъ, сливаясь въ какое-то огромное живое тѣло. Ни одного лица нельзя было запомнить. Только недавняго парламентера мнѣ удалось замѣтить. Онъ сидѣлъ скрючившись возлѣ входа во второй классъ и дремалъ. Шапка у него лежала на колѣняхъ, голова качалась изъ стороны въ сторону и печать покоя лежала на всемъ его пестромъ лицѣ. Тутъ, вѣроятно, онъ и проспалъ всю ночь.

На утро я опять его увидалъ, но онъ уже снова выглядѣлъ бодрымъ, встревоженнымъ, хлопочущимъ. Партію свою онъ собралъ вмѣстѣ, въ носовой части парохода, и что-то такое въ сильномъ раздраженіи объяснялъ.

— Животъ подвело!... Ишь какія новости! А какъ ежели мы безъ копѣйки-то останемся на дорогѣ, да Христовымъ именемъ будемъ побираться, тогда какъ? Нѣтъ, ребята, ужь лучше пожуемъ хлѣба, да до мѣста дойдемъ, ничѣмъ сейчасъ проѣсть-пропить все дочиста̀ и опосля шастать подъ окнами... Вотъ луку купимъ и пожуемъ съ хлѣбомъ—больше не полагается... И еще вотъ что, ребята: на пристаняхъ не разбредайтесь. Сохрани Богъ, пароходъ убѣжитъ, а который изъ насъ останется, пропалъ тотъ человѣкъ ни за понюхъ... билета другого не на что купить... А какъ на чугунку сядемъ, тогда прямо говори — пріѣхали къ самому къ мѣсту... Абы денегъ-то хватило на чугунку...

Я подсѣлъ и мы разговорились. Партія ѣхала изъ Вятской губерніи на югъ къ лѣтнимъ работамъ. Нѣкоторые уже бывали тамъ, но большинство ѣхало въ первый разъ и безъ опытныхъ людей ничего не понимало. Самымъ опытнымъ оказался тотъ мужикъ, который командовалъ партіей на пристани и велъ переговоры съ кассиромъ,—ему партія и поручила вести себя. Онъ велъ, добросовѣстно исполняя всѣ обязанности руководителя: торговался на пристаняхъ, заботился о пропитаніи (хлѣбомъ и лукомъ), глядѣлъ, какъ бы кто на пристани не потерялся, и, казалось, былъ очень озабоченъ тѣмъ, какъ бы кто изъ его „ребятъ“ не попалъ подъ колесо... На его честномъ, хотя облупившемся лицѣ постоянно была тревога за своихъ, забота, страхъ передъ невѣдомымъ несчастіемъ. Хлопоталъ и надзиралъ онъ за своею партіей, какъ насѣдка за цыплятами, хотя цыплята эти всѣ были взрослые мужики съ проседью.

Между ними замѣшался только одинъ молодой парень.

Режимъ парламентера былъ довольно суровый. Такъ, питаться онъ позволялъ только хлѣбомъ и лукомъ, а на ропотъ тѣхъ, у которыхъ отъ такихъ обѣдовъ животы подвело, отвѣчалъ запугиваніями и укорами.

— Больно ужь ты тревожишься,—замѣтилъ я.

— А какъ же иначе? Не догляди и пропадетъ человѣкъ!— возразилъ онъ.

— Ну, ужь и пропадетъ...

— Да какъ же? Пропадетъ не за понюхъ! Нашему брату много-ли нужно-то? Нашъ братъ въ чужой сторонѣ, все равно какъ самъ не свой... Ни куда пойти, ни что сказать— ничего не понимаетъ. Забредетъ нивѣсть куда и ужь не знаетъ... не то что какъ заработокъ добыть, а прямо не знаетъ, какъ голову-то бы цѣлую домой принести!.. Абы голову-то домой принести— вотъ какъ бываетъ съ нашимъ братомъ на чужой сторонѣ!

— Отчего же это?

— Потому, что такіе случаи бываютъ...

— Какіе же случаи?—спросилъ я и долго ждалъ отвѣта отъ парламентера, задумчиво слѣдившаго за пѣнистымъ буруномъ, производимымъ колесами парохода.

— Какіе случаи... А вотъ какіе бываютъ случаи. Съ Петрунькой, лѣтось, вонъ какой случай былъ... Вонъ съ зятемъ Петрунькой, вонъ который лежитъ тамъ...

Всѣ обратили взоры къ тому мѣсту, гдѣ спалъ „Петрунька“. Петрунькой назывался тотъ самый парень, который одинъ былъ такой молодой среди пожилыхъ. Поза его во снѣ была такая непринужденная, что у большинства появилась на загорѣлыхъ лицахъ улыбка; даже парламентеръ, при взглядѣ на эту картину, казалось, оживился, и нѣсколько морщинъ, проведенныхъ заботой по его лицу, сбѣжали на минуту... „Петрунька“ лежалъ на полу, положивъ голову на колѣни молодой женщины. Женщина эта была его жена. Ночью, видно, ей не удалось найти уголокъ для своего Петруньки, но лишь настало утро, она уступила ему свое мѣсто и, положивъ голову его на колѣни къ себѣ, оберегала его сонъ. И онъ спалъ здоровымъ, беззаботнымъ сномъ, весь раскинувшись.

— Ишь, подлецъ, спитъ какъ ловко!... Ну, пущай... ночью-

то намъ не было мѣста, такъ и прослонялись кое-какъ... Хорошая у него бабочка... съ ней-то ужь онъ теперь не пропадетъ!—говорилъ мягко парламентеръ.

— Какой же случай-то съ нимъ былъ?

— Да вотъ какой случай... Лѣтось объ эту пору также мы собрались на заработки. Человѣкъ, видно, пятнадцать набралось. Ну, и Петрунька за нами увязался... Признаться, и брать-то мы его не желали,— парень молодой, только-что женился, гдѣ ему по чужимъ мѣстамъ шляться? Потеряетъ гдѣ ни на есть голову. Ну, да ничего не подѣлаешь, увязался, упросилъ, уговорилъ—взяли. „Мнѣ, говоритъ, надо свое хозяйство заводить, потому какъ я женимшись... денегъ мнѣ безпремѣнно надо заробить“,—„Да дуракъ ты, говорю, можетъ, денегъ-то и не заробишь, потому всяко бываетъ, а только измаешься въ чужой сторонѣ, да горя натерпишься!“... Ну, нѣтъ, увязался. Взяли мы его и поѣхали. Кое на пароходѣ, кое на чугункѣ, пока деньжонки держались, а прочія мѣста пѣшкомъ. Ѣхали-ѣхали, шли-шли и добрались. И что-жь ты думаешь, бѣда-то насъ какая поджидала? Вѣдь въ тѣхъ мѣстахъ, кои мы облюбовали, что есть званія работы не было! Засуха тамъ, вишь, была въ ту пору и хлѣба давно пропали. Что тутъ дѣлать? Идтить въ другія мѣста—силъ ужь нашихъ нѣтъ; домой ворочаться — не съ чѣмъ; тутъ оставаться—ни къ чему. „Айда, ребята, говорю, домой. Абы головы унести по добру, по здорову... А по дорогѣ кое-какъ будемъ пробавляться, гдѣ работой, гдѣ Христовымъ именемъ“... Ну, порѣшили — домой. Пошли домой и по очереди ходили подъ окнами, а иную пору и работишка попадалась... Какъ дойдемъ до какого города, то и привалъ сдѣлаемъ на недѣлю, поробимъ и бредемъ дальше, а деревнями идемъ—въ кусочки, стало быть, ходимъ. Такъ Богъ насъ и хранилъ. А одинъ начальникъ на чугункѣ еще даромъ насъ подвезъ. Такимъ родомъ и шли мы съ Божьей помощью и дотащились до Нижняго. Дотащились и сейчасъ на пристань, нѣтъ-ли какой работишки... Работишки, однако, не нашли, а больше на берегу валялись вверхъ брюхомъ и дожидали, какой бы пароходъ насъ даромъ принялъ... Ну, такихъ дураковъ-пароходовъ нѣтъ; а вотъ,— говоритъ одинъ купецъ,— перетаскайте у меня посудину съ дровами, тогда я васъ подвезу,

прямо домой предоставлю... А посудина-то, слышь, была огромадная, нѣсколько сотъ, чай, саженей дровъ въ ней накладено, и ежели ее перетаскать всеё, то съ мѣсяцъ времени смѣло надо таскать. А, между прочимъ, животы у насъ уже подвело, и гордости въ насъ ужь никакой не было, рады всякой работѣ, лишь бы животы сохранить да домой башки несчастныя принесть... Согласны, говоримъ, ваше степенство, будемъ таскать, потому какъ мы въ волѣ Божіей. Порѣшили мы такъ, далъ намъ купецъ хлѣба къ вечеру, легли мы спать, а на утро намъ надо таскать... Только встаемъ утромъ — хвать, а Петруньки нѣтъ! Ждемъ-ждемъ — нѣтъ его, подлеца! Таскаемъ дрова и поглядываемъ, а его все нѣтъ. Проходитъ день, другой! Цѣльная недѣля! А его все нѣтъ. Таскаемъ мы дрова, поглядываемъ, не подойдетъ-ли — нѣтъ! Три недѣли мы этакъ-то таскали и порѣшили всю посудину... какъ въ воду канулъ! Ну, думаемъ, конецъ пришелъ Петрунькѣ... Купецъ денегъ намъ далъ на пароходъ, да еще прибавку сдѣлалъ малую, чтобы мы съ голоду дорогой не померли, а Петрунька сгинулъ. Стало-быть, говоримъ, пропалъ. Надо, ребята, уѣзжать... Садимся на пароходъ, примѣрно, сейчасъ, а черезъ часъ пароходу отходить... не подойдетъ-ли, думаемъ, хоть тутъ Петрунька? А чего ужь ждать, ежели пароходъ отходитъ?... Такъ вѣришь-ли, когда пароходъ сталъ отчаливать, такая скука на насъ напала, что слеза прошибла... Вотъ какъ бываетъ!...

— Куда же онъ дѣлся?

— Петрунька-то? А ты вотъ самого его спроси, куда онъ дѣлся... въ такія мѣста затесался, что просто срамъ и горе! Ужь только Богъ его спасъ... Къ босякамъ онъ затесался — вонъ куда! Хорошо-то онъ не разсказываетъ, а надо такъ понимать, что вездѣ онъ побывалъ: и въ ночлежномъ домѣ, и на назьмахъ спалъ, а то и въ кутузкѣ... Должно, сманили его какіе ни на есть прохвосты, и онъ удралъ отъ насъ... „Какъ же ты жилъ-то?“—спрашиваемъ мы его опосля.—„Да такъ, говоритъ, какъ собака, или подобно птицѣ, ночевалъ въ ночлежномъ домѣ, а больше на назьмахъ за городомъ, да по ямамъ“. — „Чѣмъ же ты, спрашиваемъ опосля, кормился-то?“—„Да такъ, говоритъ, кое-чѣмъ, иную пору работишка какая навернется, а то такъ стащишь чего ни на есть...“ Ну, таскалъ онъ воров-

скимъ манеромъ все больше насчетъ пищи... „Увидишь, говоритъ, хлѣбъ плохо лежитъ—подъ полу его, а то воблу упрешь, которая ежели зря лежитъ“. Такъ и болтался, подлецъ, до зимы. „Для чего же ты, спрашиваемъ опосля, убегъ-то отъ насъ?“—„Да такъ, говоритъ, тоска взяла, не глядѣлъ бы на свѣтъ. Какъ вспомню, говоритъ, что прошли мы эстолько тысячъ верстъ и идемъ подобно нищимъ бродягамъ, а тамъ дома жена ждетъ съ заработкомъ, такъ и возьметъ за сердце... Ну, встрѣтилъ босяка, выпили мы съ нимъ по косушкѣ, я и ушелъ отъ васъ гулять...“ Да и гулялъ, слышь, до самой зимы, а зимой, глядимъ, гонятъ его, нашего голубчика, по этапу, съ бубновымъ тузомъ! Глядимъ, даже озвѣрѣлъ весь, исхудалъ, хворый сталъ... И бабенка-то его чисто извелась, дожидамши его, подлеца, да и мы-то не знали, какъ съ души грѣхъ снять, что потеряли нивѣсть гдѣ живого человѣка! Ужь слава Богу, что хошь по этапу-то, на веревочкѣ-то его привели, а то бы такъ и пропалъ промежь жулья. Долго-ли нашему брату къ босякамъ присоединиться?...

— Да развѣ это часто бываетъ?

— Къ босякамъ-то? Мы-то? Сдѣлайте одолженіе! Сколько вамъ угодно!... Ходишь, ходишь по чужимъ-то мѣстамъ, да и ляжешь гдѣ ни на есть на назьмахъ за городомъ... Да и откуда же и босяки-то берутся, какъ не изъ нашего брата?

Кончивъ это, парламентеръ зѣвнулъ и посмотрѣлъ вокругъ себя заспаннымъ взглядомъ. Другіе его товарищи, съ наступленіемъ дня, кое-какъ размѣстились по освободившимся щелямъ, прикурнули кто какъ могъ и тяжело спали. Только нѣсколько человѣкъ изъ партіи не могли отыскать мѣста. Замѣтивъ это, парламентеръ тревожно всталъ и принялся отыскивать на палубѣ для нихъ мѣста. Черезъ нѣкоторое время поиски его увѣнчались успѣхомъ. Шагая между рукъ, головъ и ногъ, продираясь сквозь густую толпу бодрствующихъ, онъ отыскалъ такія мѣста, о существованіи которыхъ никто не подозрѣвалъ. Одному изъ своихъ онъ пронюхалъ каюту въ телѣжкѣ, стоявшей на палубѣ въ качествѣ багажа, другому онъ велѣлъ залѣзть между чьею-то мебелью, перевозимой также въ качествѣ багажа, велѣлъ залѣзть именно

подъ турецкій диванъ; третьяго онъ увелъ на мостикъ и упросилъ капитана позволить мужику поспать между трубой и лоцманскою будкой. Четвертаго также куда-то увелъ, а самъ воротился на старое мѣсто, присѣлъ, скрючился на полу, опустилъ голову и задремалъ, укачиваемый вздрагиваніемъ парохода.

Въ этотъ день я его больше не видалъ, но на слѣдующіе дни онъ разсказалъ мнѣ и другіе случаи изъ жизни путешествующихъ мужиковъ.

Въ лѣсу.

(Изъ записокъ лѣсничаго).

I.

Однажды мнѣ сказали, что меня хотятъ убить.

Признаюсь, это сообщеніе подѣйствовало на меня скверно. Не потому, чтобы я повѣрилъ буквально нелѣпой сказкѣ и перепугался; мнѣ тяжело было оттого, что мужики на меня озлобились—фактъ, отрицать котораго я не могъ. Изъ многихъ случаевъ я убѣдился, что всѣ крестьяне поголовно питали ненависть ко мнѣ съ первыхъ же дней назначенія меня лѣсничимъ въ N-скій округъ.

До моего пріѣзда въ этомъ округѣ не существовало правильнаго лѣсного управленія. Наблюденіе за землями и лѣсами находилось въ вѣдѣніи общихъ сибирскихъ учрежденій, т. е., говоря прямо, вовсе не было никакого наблюденія. Благодаря этому, участки расхищались съ легкостью, которая была соблазномъ даже для Сибири. Огромныя дачи строевого лѣса отдавались за пирогъ или за полдюжины шампанскаго; огромные участки дровяного лѣса пылали отъ пожаровъ, нарочно устраиваемыхъ винокуренными заводчиками. Если до моего пріѣзда не всѣ лѣса были истреблены и выжжены, то только благодаря обилію ихъ.

Всѣхъ болѣе, однако, пострадали крестьянскіе участки. Извѣстна безпечность русскаго мужика, но сибирскій мужикъ въ этомъ отношеніи еще легкомысленнѣе; безъ жалости и мысли о будущемъ онъ губитъ безцѣнныя богатства. Я не могъ безъ злобы ѣздить по этимъ мірскимъ лѣсамъ. Поваленные и гніющіе стволы столѣтнихъ великановъ, вороха брошенныхъ сучьевъ, торчащіе пни, растоптанные молодые

побѣги краснорѣчиво говорили, какъ здѣсь грубо, безбожно человѣкъ издѣвается надъ природой. Здѣшнихъ крестьянъ еще недавно окружала могучая, первобытная природа, а теперь во многихъ мѣстахъ уже пустыня. Огнемъ и топоромъ они „очистили" землю, повалили дремучіе лѣса, разграбили плодородныя степи, завалили навозомъ изумрудные берега рѣкъ, отравили воздухъ грязью и, кажется, самое небо закоптили смрадомъ.

При назначеніи меня лѣсничимъ въ N-скій округъ, предписано было обратить особенное вниманіе на крестьянскіе лѣсные надѣлы и ввести въ пользованіе ими строгій порядокъ. Я такъ и сдѣлалъ. Крестьянамъ моего обширнаго района было объявлено, что безъ моего разрѣшенія они не имѣютъ больше правъ рубить свои лѣса; за самовольную порубку назначенъ былъ штрафъ; въ продажу дровъ былъ введенъ контроль; по дорогамъ, при въѣздѣ въ городъ, я разставлялъ стражниковъ, которые въ базарные дни ловили всѣхъ крестьянъ, не имѣющихъ лѣсопорубочнаго билета.

Крестьяне были возмущены такимъ вмѣшательствомъ въ ихъ собственныя дѣла и рѣшительно не понимали, по какому праву я запрещаю рубить ихъ собственный лѣсъ; въ первый разъ отъ роду они услыхали, что нельзя губить безцѣльно достояніе будущихъ поколѣній. Едва-ли, впрочемъ, это они поняли. На первыхъ порахъ мои распоряженія имѣли неожиданный результатъ: по деревнямъ пронесся слухъ, что всѣ мірскіе лѣса отбираются въ казну, а потому ихъ надо поскорѣе вырубить. Началось безпощадное истребленіе; подъ ударами топора лѣса валились, какъ созрѣвшія жнивы; по дорогѣ тянулись обозы съ свѣжими дровами. Мнѣ съ трудомъ удалось убѣдить въ нелѣпости этого слуха; чтобы прекратить бездушное уничтоженіе, я на время даже отмѣнилъ свои распоряженія.

Это только подлило масла въ огонь; узнавъ объ отмѣнѣ строгихъ распоряженій, крестьяне уже окончательно рѣшили, что плату за билеты и штрафы я клалъ себѣ въ карманъ, обозы съ дровами конфисковалъ въ свою пользу и всѣ свои правила придумалъ только ради вымогательства... Знакомые со всѣми видами чиновнаго шантажа, они и меня причислили къ сонму собирающихъ дани. Въ чужомъ пиру похмѣлье! Обвиненія тяжело переживались мною.

Теперь, въ довершеніе всего, мнѣ говорятъ: васъ хотятъ убить! Какъ сказано выше, я этому не повѣрилъ, но все-таки сталъ принимать нѣкоторыя предосторожности: при объѣздахъ я избѣгалъ темныхъ ночей, держалъ постоянно при себѣ револьверъ, по деревнямъ долго не засиживался.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Мои отношенія къ служебнымъ обязанностямъ не измѣнились, попрежнему, безбилетныя дрова конфисковались, попрежнему, на казенныхъ дачахъ ловили за самовольныя порубки и, попрежнему, крестьяне обязаны были брать отъ меня разрѣшеніе на вырубку ихъ собственнаго лѣса. Повидимому, мужики примирились; я видѣлъ, что они безъ ропота идутъ ко мнѣ и безъ возраженій выправляютъ билеты; я надѣялся, что современемъ они поймутъ, зачѣмъ я все это дѣлаю.

Что меня безпокоило—это мои собственные служащіе, лѣсники, полѣсчики, стражники и пр. Стыдно сказать, но я долженъ откровенно признаться, что всѣ „мои" были отчаянные плуты, и я потерялъ всякую вѣру въ ихъ честность. Каждый изъ нихъ могъ продать (и продавалъ) законъ буквально за двугривенный. Пропустить цѣлый десятокъ возовъ дровъ безъ билета, продать тайно десятину казеннаго лѣса, употребить въ дѣло шантажъ—это ни для кого изъ нихъ не составляло труда. И все это за малое вознагражденіе. Дѣйствительно-ли служащіе въ этой странѣ—всѣ плуты, или я самъ не умѣлъ напасть на честныхъ людей, но только откровенно говорю, что весь мой персоналъ состоялъ изъ воровъ. Никакія мои жестокія мѣры не помогали смягченію лѣсныхъ нравовъ. Ревизія не помогала; суда они не боялись; увольненія не дѣйствовали. Пробовалъ я увольнять и по одиночкѣ, и всѣмъ составомъ — не помогало: уволишь вразъ сорокъ плутовъ, а на ихъ мѣсто берешь другихъ сорокъ плутовъ. А иногда такъ случалось, что замѣсто одного являлось сразу два плута. Борьба здѣсь была не по силамъ мнѣ. Жостокая расправа, которою я надѣялся устрашить своихъ подчиненныхъ, дѣлала только то, что они собирали дани болѣе утонченно и неуловимо. Мнѣ пришлось кончить тѣмъ, что я сталъ преслѣдовать только крупныя хищенія, а мелкія не замѣчалъ.

Разъ одинъ изъ моихъ объѣздчиковъ сильно проворовался. Желая быстро захватить концы, я бросилъ дѣла въ городѣ и отправился на мѣсто соблазнительнаго происшествія, от-

стоявшее верстахъ въ тридцати. Дѣло было наглое и вопіющее: изъ казенной дачи тайно были вырублены лучшихъ три десятины. Дознаніе длилось всего полчаса послѣ моего пріѣзда. Объѣздчикъ и тотъ купецъ, который вырубилъ лѣсъ, немедленно были уличены, и противъ обоихъ я возбудилъ слѣдствіе, причемъ первому велѣлъ подать въ отставку.

Послѣ этого мнѣ нечего было дѣлать въ деревнѣ, и я рѣшилъ немедленно же ѣхать обратно домой. Но, къ сожалѣнію, почтовыхъ лошадей не оказалось, и я долженъ былъ нанять простую телѣгу, запряженную одною лошадью. Трястись на протяженіи тридцати верстъ въ телѣгѣ не представляло ничего заманчиваго, но я не хотѣлъ ни одного часа оставаться среди населенія, которое относится враждебно ко мнѣ.

Я поѣхалъ.

Лошадь у мужика оказалась добрая; телѣга не особенно высоко подпрыгивала, а брошенная въ нее охапка сѣна предохраняла меня отъ увѣчья. Чтобы скоротать время, я старался разговориться съ мужикомъ, сидѣвшимъ бокомъ ко мнѣ, но, къ моему удивленію, онъ неохотно отвѣчалъ мнѣ. Это было тѣмъ удивительнѣе, что онъ казался мнѣ смирнымъ, добродушнымъ человѣкомъ. Между тѣмъ, на мои вопросы онъ отвѣчалъ безсвязно, не то чѣмъ-то напуганный, не то раздраженный, а иногда вовсе не отвѣчалъ, отворачивая отъ меня свое лицо, причемъ некстати надвигалъ шапку до ушей. Не отвѣчая мнѣ, онъ въ то же время усиленно билъ кнутомъ лошадь, которая послѣ каждаго взмаха бросалась въ сторону, причемъ я болтался въ телѣгѣ, какъ полѣно. Въ ту пору я не обратилъ вниманія на странное поведеніе ямщика; потерявъ всякую надежду разговориться съ нимъ, я не старался объяснить себѣ, почему онъ находится въ такомъ смятеніи.

Отъ нечего-дѣлать я сталъ осматривать окрестности. Мы ѣхали сначала по сосновому, хорошо сохранившемуся лѣсу; безпечная рука человѣка здѣсь еще не коснулась могучихъ великановъ; по обѣимъ сторонамъ дороги высокою стѣной возвышались столѣтнія сосны, образуя надъ нами густую крышу изъ сплетающихся хвоевъ. Мы ѣхали въ тѣни; только изрѣдка, сквозь зеленую крышу, проскользалъ лучъ солнца,

еще болѣе оттѣняя полумракъ. Стукъ колесъ, громыханье телѣги звучнымъ эхомъ отдавались въ лѣсу.

Я люблю лѣсъ. Онъ живетъ въ моихъ глазахъ. Стоитъ-ли онъ неподвижно въ застывшемъ воздухѣ, когда каждая вѣтка дремлетъ, тихо играя листвой, или шумитъ онъ подъ напоромъ вѣтра, я всегда слышу его дыханіе. Меня радовало, когда я встрѣчалъ цѣлое поселеніе молодыхъ и здоровыхъ деревъ, а когда при мнѣ рубили живой стволъ и онъ, какъ бы въ смертельномъ испугѣ, дрожалъ отъ верха до низа своимъ крѣпкимъ тѣломъ и, подрубленный въ своемъ основаніи, тяжело падалъ съ трескомъ и скрипомъ, — въ этихъ звукахъ мнѣ слышался стонъ погибающаго существа и послѣдній вздохъ умирающаго. Часто, ломая невзначай молодое деревцо, я отъ всего сердца тужилъ объ этомъ, какъ будто я погубилъ начинающуюся жизнь ребенка. Мнѣ жаль было сломать вѣтку какого-нибудь дерева, и безъ боли я не могъ видѣть, какъ мальчишки весной сверлятъ отверстія въ деревьяхъ, и оттуда медленно течетъ бѣлая кровь. Въ дѣтствѣ я велъ длинные монологи съ кустами бузины, ссорился съ бояркой, которая часто злобно колола меня проклятыми иглами, и подолгу наблюдалъ осину, слѣдя за трепетомъ ея листьевъ; въ моихъ глазахъ это были живыя существа, и я велъ себя съ ними такъ, какъ будто они надѣлены были разумомъ. Въ юношествѣ я забылъ эти дѣтскія грезы, но теперь, въ зрѣломъ возрастѣ, по призванію выбравъ карьеру лѣсничаго, я неравнодушно относился къ обязанностямъ защитника своихъ любимцевъ.

Скоро живыя стѣны сосенъ раздвинулись, и картина вдругъ измѣнилась. Мѣстность была дикая. Глубокіе овраги и рытвины, безпорядочныя кучи поваленныхъ вѣтромъ и топоромъ деревьевъ, длинные ряды уложенныхъ въ сажени дровъ, ворохъ брошеннаго хвороста,—все показывало, что еще недавно здѣсь былъ дремучій лѣсъ. Я съ негодованіемъ оглядывался по сторонамъ. Мѣсто для меня было незнакомое. Дорога почти пропала. Телѣга то и дѣло подпрыгивала, наѣзжая на пни и гніющіе стволы; по лицу меня начали хлестать спутанныя вѣтви кустарниковъ. Мнѣ стало что-то не по себѣ...

— Куда ты завезъ меня?—спросилъ я извощика.

Но не успѣлъ я выслушать отъ него отвѣта, какъ изъ-за ближайшаго куста вышелъ какой-то мужикъ съ топоромъ

въ рукѣ. Обмѣнявшись съ моимъ возницей привѣтствіемъ, онъ преспокойно прыгнулъ на передокъ телѣги, сѣлъ на ея край, свѣсилъ ноги, а топоръ положилъ на колѣни къ себѣ. Моментально у меня явилось подозрѣніе, но я сохранилъ наружное спокойствіе.

— Что это значитъ? Кто ты и зачѣмъ ты влѣзъ ко мнѣ?— спросилъ я.

— Больно ужь ты, господинъ, сердитъ, какъ погляжу я,— возразилъ мнѣ мужикъ насмѣшливо, и холодный взглядъ его остановился недружелюбно на мнѣ.

Предчувствія не обманули меня. Я приготовился къ самому худшему. Но все-таки еще разъ попытался провѣрить себя.

— Зачѣмъ же ты сѣлъ безъ спросу? Нанимая этого крестьянина, я не зналъ, что у меня въ лѣсу найдутся попутчики!

— Ничего, доѣдемъ,—грубо прервалъ меня крестьянинъ.— Ступай, Петровичъ,—обратился онъ съ приказомъ къ моему кучеру, а на меня бросилъ насмѣшливый взглядъ.

Я кусалъ губы. Но мнѣ оставалось только замолчать. Я обдумывалъ свое положеніе. Нечего было и думать предупредить нападеніе силой; револьверъ мой лежалъ глубоко въ боковомъ карманѣ, и прежде чѣмъ я успѣю выхватить его и развязать, — онъ былъ завязанъ шнуромъ, — мужикъ ударомъ кулака вышибетъ его у меня, а затѣмъ начнетъ тузить... Я и теперь не вѣрилъ, что покушаются убить меня, хотя было очевидно, что я попалъ въ ловушку. Всего вѣрнѣе, у моихъ крестьянъ было въ намѣреніи „поучить“ меня; это, конечно, плохое утѣшеніе, потому что поучить на деревенскомъ языкѣ значитъ перебить нѣсколько реберъ, переломить позвоночный столбъ, превратить голову въ сплошной пузырь, — вообще, что-нибудь въ этомъ родѣ. Но у меня было время...

Мы наблюдали другъ за другомъ. Непрошенный попутчикъ посматривалъ на меня искоса; я глядѣлъ на него въ упоръ. Наружность его не обѣщала мнѣ ничего хорошаго: на широкомъ щетинистомъ лицѣ его отражалось что-то жестокое и злое; изъ-подъ густыхъ бровей его глядѣли сѣрые, холодные глаза. Это былъ типъ сибирскаго мужика, соединяющаго въ себѣ постоянное добродушіе съ крайнею подчасъ жестокостью. Мнѣ дѣлалось жутко подъ косымъ взглядомъ этого

человѣка, но я, не сводя глазъ, наблюдалъ за нимъ и обдумывалъ способъ сдѣлать противника безвреднымъ.

Я говорю „противника". Дѣло въ томъ, что крестьянинъ, мой возница, былъ самъ по себѣ не опасенъ, перепуганный предстоящимъ дѣломъ. Онъ боялся повернуть ко мнѣ свое лицо, боялся взглянуть на меня и, видимо, мучился страхомъ; должно быть, онъ принялъ участіе въ дѣлѣ противъ воли и теперь былъ самъ не свой. Безпокойно ёрзая на своемъ сидѣньи, онъ безъ нужды прокашливался, тянулъ шапку глубже на уши и немилосердно дергалъ лошадь.

Лошадь то и дѣло бросалась въ сторону, телѣга подпрыгивала, кусты били меня по лицу, хотя ѣхали мы шагомъ, благодаря отсутствію дороги. Я переживалъ сквернѣйшія минуты въ своей жизни. Страхъ сжималъ мнѣ сердце, но всего болѣе угнетала меня мысль, что хотятъ меня убить безъ всякой съ моей стороны вины. Что мнѣ оставалось дѣлать? Я продолжалъ упорно слѣдить за всѣми движеніями мужиковъ и ломалъ голову, какъ мнѣ вырваться изъ ихъ рукъ.

Вдругъ мы подъѣхали къ крутому спуску, и лошадь почти остановилась. Мѣсто было совсѣмъ дикое и глухое. Справа лежалъ глубокій обрывъ, на днѣ котораго протекала маленькая рѣчушка; слѣва была непроницаемая заросль изъ боярышника, а впереди крутой спускъ велъ въ какую-то темную яму. Проклятое мѣсто какъ бы назначено было для темныхъ дѣлъ; мы были, по крайней мѣрѣ, на пятнадцать верстъ отъ жилыхъ мѣстъ. Для мужика ничего не стоило схватить меня и бросить въ обрывъ...

Не успѣла эта мысль ясно выразиться во мнѣ, какъ во мнѣ явилась рѣшимость покончить съ глупымъ положеніемъ; я моментально выпрыгнулъ изъ телѣги и выхватилъ изъ кармана игрушечный „лефошè". Лошадь остановилась. Мой противникъ также соскочилъ съ телѣги и мрачно смотрѣлъ на револьверъ. Мы стояли другъ передъ другомъ. Но теперь уже превосходство было на моей сторонѣ, и мнѣ стало смѣшно.

— Послушайте... я знаю, что вы недоброе затѣяли противъ меня. Но я не боюсь васъ. Что я дѣйствительно не боюсь васъ--смотрите вотъ!... И съ этими словами я швырнулъ въ кусты револьверъ. — А теперь скажите, за что вы ненавидите меня? Я знаю, зачѣмъ вы завезли меня сюда— не отказывайтесь, но чѣмъ я провинился?

Крестьянинъ былъ сильно взволнованъ; онъ не сводилъ съ меня мрачнаго взгляда, но я замѣтилъ, какая нерѣшительность вдругъ овладѣла имъ; видимо, онъ недоумѣвалъ, что дѣлать и что сказать. За другимъ крестьяниномъ, моимъ извозчикомъ, мнѣ некогда было наблюдать, но, какъ казалось, онъ былъ въ сильнѣйшемъ перепугѣ и все старался, насколько я помню, напялить шапку до самыхъ плечъ. Бѣдняга съ минуты на минуту ожидалъ, что вотъ мы бросимся другъ на друга.

— За что вы ненавидите меня?—повторилъ я.

— Уходи отъ насъ... Нечего тебѣ дѣлать здѣсь!—проговорилъ, наконецъ, мрачно крестьянинъ.

— Я не самъ пріѣхалъ къ вамъ, а посланъ охранять вашъ лѣсъ. Какъ же я уйду?

— А если не можешь уйти, такъ не мути насъ!—съ еще большею злобой возразилъ мужикъ.

— Какъ же я могу мутить васъ?

— Запрещаешь рубить дрова!.. хватаешь по базарамъ!... отымаешь топоры!... берешь деньги за наши же дрова!... Смутьянишь!... Штрахи взыскиваешь!...—говорилъ мужикъ и, высчитывая мои преступленія, отчеканивалъ каждое слово.

Мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ обидно, больно, что я забылъ и объ опасности. Недоразумѣніе было столь подло, что кого угодно могло привести въ отчаяніе. Какъ мнѣ убѣдить этого и другихъ крестьянъ, что запрещаю я портить лѣса не изъ-за своихъ выгодъ, что преслѣдую порубки не ради вымогательства, что плату за билеты и штрафы кладу не въ свой карманъ? Я смотрѣлъ на этого, по недоразумѣнію озлобленнаго человѣка и нѣсколько минутъ не могъ слова выговорить.

А онъ продолжалъ:

— Вотъ мы и задумали... чтобы ты уѣхалъ. Ей-ей, худо тебѣ будетъ, ежели не уѣдешь! Больно озлившись наши мужики супротивъ тебя!

Крестьянинъ говорилъ грубо и не считалъ нужнымъ церемониться, но меня возмутилъ не тонъ его, а смыслъ.

— Если бы я имѣлъ дѣло съ умными людьми, а не съ дураками, меня бы тогда поняли... Развѣ, запрещая вамъ безобразничать въ нашихъ лѣсахъ, я для своей пользы стараюсь? Развѣ вы подумали когда-нибудь, что нужно беречь

этотъ Божій даръ, а не топтать его ногами? Пойдемъ со мной!—вскричалъ я, схватилъ за руку изумленнаго мужика и потащилъ его къ тому мѣсту, откуда видны были обезображенные лѣса.

Я тащилъ за руку сопротивляющагося мужика и запальчиво объяснялъ ему, почему я преслѣдую порубки и какія послѣдствія можно ожидать отъ истребленія лѣса. Черезъ нѣсколько минутъ мы очутились на опушкѣ заросли, и передъ нами развернулась картина опустошенія во всемъ своемъ безобразіи. На обширномъ пространствѣ, куда только хваталъ взоръ, виднѣлись груды валежника и гніющихъ деревъ; откосы овраговъ были изрыты весенними водами и, лишенные растительности, обнаженные, выглядѣли подобно бокамъ падшей и ободранной скотины. Чахлыя березы, низкорослый осинникъ, толстыя и кривыя сосенки заживо были обречены на валежникъ. Только кое-гдѣ, на огромныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, возвышались отдѣльные стволы березъ, какъ одинокіе свидѣтели безумнаго истребленія, которое недавно здѣсь совершилось. Только огонь могъ очистить это безобразное мѣсто.

— Бога вы не боитесь, если творите такія дѣла!—сказалъ я.—Лучше бы вамъ зажечь съ четырехъ концовъ свои лѣса и спалить ихъ дочиста̀.

— Это куштумскій лѣсъ... куштумскіе мужики тутъ нагадили!—съ замѣшательствомъ возразилъ крестьянинъ.

— Да развѣ вы всѣ не то же дѣлаете?

— Мало-ли есть, которые гадятъ...—возразилъ слабо крестьянинъ.

Я видѣлъ, что мои слова произвели впечатлѣніе. Роли наши перемѣнились; вмѣсто того, чтобы нападать, крестьянинъ теперь защищался.

Торопясь воспользоваться побѣдой, я продолжалъ объяснять все невѣжество человѣка, уничтожающаго лѣсъ... При этомъ мы незамѣтно возвратились къ телѣгѣ, гдѣ возница мой, нѣсколько приподнявъ шапку, робко прислушивался къ нашему спору.

Я, между прочимъ, говорилъ:

— Я знаю, что вы меня хотѣли убить... не отказывайтесь—я все знаю! Но не боюсь васъ, потому что ничего худого не сдѣлалъ вамъ. Вы озлобились на меня за штрафы

и взысканія, но этимъ я только и могу защитить ваши лѣса отъ васъ же самихъ. Сами своего добра вы не жалѣете; не жалѣете дѣтей, у которыхъ послѣ вашего хозяйства ничего не останется, не боитесь Бога, надъ даромъ котораго вы надругаетесь, не жалѣете и себя. Здѣсь прежде было приволье, а теперь здѣсь будто непріятель прошелъ съ огнемъ и мечемъ. Ничему вы не учитесь и ничего не бережете. Если бы пустить сюда нѣмца, онъ это мѣсто превратилъ бы въ садъ, а вы сдѣлали изъ него пустыню. Гдѣ еще недавно были дремучіе лѣса, тамъ теперь вонючія болота; гдѣ были луга, тамъ теперь выжженныя солнцемъ плѣшины... Вы не хозяева, а разбойники!

— Эка что сказалъ! Постой, погоди, господинъ!—перебилъ меня съ волненіемъ крестьянинъ, но я, не слушая его продолжалъ.

— Лѣтъ черезъ пятнадцать вы все разграбите. Земля ваша перестанетъ кормить васъ, рѣки обмелѣютъ, луга засохнутъ. Ободранные кусты, если вы и ихъ не успѣете срубить, не будутъ доставлять вамъ дровъ. Разгнѣванное солнце будетъ сжигать ваши посѣвы, и земля потрескается отъ жгучихъ лучей его, ничѣмъ не прикрытая. Тучи будутъ ходить по небу, но онѣ пройдутъ мимо васъ... Среди лѣта у васъ будетъ идти снѣгъ, посреди зимы вдругъ польетъ дождь. Озера и рѣки ваши, берега которыхъ вы разграбили, на половину пересохнутъ, а вешнія воды смоютъ послѣдній остатокъ чернозема, и земля ваша обратиться въ пустыню. Вотъ ваше хозяйство. Вы ничему не учились среди богатства, а только грабили его, и дѣтямъ вы не оставите ничего, кромѣ голаго скелета. Проклинать будутъ они васъ. Потому что вы не хозяева, а наемники, не крестьяне, а разбойники. Вы грабите землю, на которой живете... А теперь затѣяли убить меня за то, что я не позволяю вамъ издѣваться надъ природой!

Я былъ сильно возбужденъ, когда говорилъ это, но мой противникъ положительно не находилъ мѣста отъ волненія. Онъ былъ въ сильнѣйшемъ замѣшательствѣ и, по мѣрѣ того какъ я говорилъ, жестокое лицо его смягчалось, въ глазахъ показалась грусть, и вся фигура его выражала воплощенную растерянность.

— Постой, господинъ, подожди!—нѣсколько разъ перебивалъ онъ меня.

Когда я замолчалъ, онъ началъ также съ этихъ словъ:

— Постой, господинъ, подожди!... Дай мнѣ сказать! Больно ты меня за сердце сохваталъ!... Позволь мнѣ слово выговорить!

— Ну, говори.

— Не одни мы грѣшны въ грабительствѣ, а всѣ, можно сказать, мы въ этомъ повинны. Разбойники... ничему не учитесь, а гадите только, говоришь ты? Правильно,—много нашего брата есть, которые изгадили мѣста; иной не успѣлъ получить лѣсную душу, какъ ужь срубилъ ее, свезъ лѣсъ въ городъ и продалъ, а самъ—глядь, уже на сторонѣ дрова покупаетъ. Правильно,—всѣ мы, мужики, не берегли Божьяго добра. Правильно сказано—ничему мы не научились... Но отъ кого же намъ учиться-то? Отъ господъ, которые насъ обчищаютъ? Писари, засѣдатель и прочіе только и норовятъ, какъ бы въ карманъ заглянуть. Ей-ей, отъ тебя перваго услышалъ я справедливыя слова! А прочіе, которые ученые начальники и господа, ничего намъ добраго не говорили, ничему не учили насъ, а только норовили обчищать мужиковъ. Теперь, смотри, что выходитъ (мужикъ при этихъ словахъ развелъ въ изумленіи руками). Мы грабимъ Божье произволеніе, а господа насъ обчищаютъ! Мы естество грабимъ, а господа насъ! Такъ и идетъ этотъ коловертъ! Мы Божье произволеніе изгадили, а господа насъ, и что къ чему тутъ—я даже не понимаю!

При этихъ словахъ крестьянинъ обвелъ насъ недоумѣвающимъ взоромъ и еще разъ развелъ руками; повидимому, онъ самъ былъ пораженъ смысломъ своихъ словъ; на его лицѣ въ эту минуту отражалось множество чувствъ: восторгъ, смущеніе, иронія, удивленіе. Удивленія больше всего; его лицо какъ бы говорило: вотъ такъ штуку я нашелъ!

Признаюсь, я былъ самъ пораженъ и молчалъ. Нужно быть въ Сибири, чтобы понять яркую реальность его словъ,—мнѣ нечего было возразить на открытый мужикомъ „коловертъ“ жизни.

Нѣкоторое время длилось нерѣшительное молчаніе всѣхъ насъ.

Вдругъ крестьянинъ посмотрѣлъ на меня, и лицо его

езапно приняло дѣтское выраженіе. Широкая, добродуш-я и дѣтская улыбка разлилась по его лицу.

— Ну, слава Богу, что грѣха не случилось!... Ты ужь не ѣвайся, больно мужики-то озлившись на тебя!... А ты нъ какъ правильно судишь... Ну, прости, Христа ради! ›гъ дастъ, еще дружки будемъ...

Крестьянинъ, говоря это, протянулъ мнѣ широкую руку, я пожалъ ее. Извощикъ мой сіялъ отъ удовольствія и о-то несвязно болталъ; смирное лицо его выражало пол-е довольство, и онъ неизвѣстно для чего снялъ шапку.

— А все-таки лѣсъ не надо зря уничтожать, дѣти за это скажутъ вамъ спасибо,—прибавилъ я настойчиво.

— Но ты не суди насъ. Кто тутъ виноватъ—не можемъ ı разсудить!

Крестьянинъ сконфуженно выговорилъ это, какъ будто ясь теперь нечаянно оскорбить меня. Да, мы оба были онфужены, какъ это часто бываетъ, когда два человѣка езапно переходятъ отъ вражды къ взаимному уваженію. царилось долгое молчаніе.

Вокругъ насъ стало вдругъ тихо. Солнце садилось и въ здухѣ уже чувствовалась близость теплаго лѣтняго вечера. дъ нашими головами пѣли комары; недалеко отъ насъ, кустахъ, фыркала и топала копытами лошадь. Гдѣ-то ковала кукушка. Мягкій вечерній свѣтъ ложился на всѣ едметы, и даже оголенные отъ растительности овраги, крытые нѣжною пеленой вечернихъ тѣней, не зіяли своею зобразною наготой.

— Ну, прощай, господинъ!... Не обезсудь ужь!—сказалъ ругъ крестьянинъ и поднялся съ травы, на которой онъ дѣлъ. Потомъ онъ поднялъ изъ-подъ куста мой „пистоле-къ“ (при этомъ лицо его залилось густою краской), раз-азалъ извощику, какъ лучше выбраться на дорогу, и онфуженно исчезъ въ зарösляхъ.

Черезъ полчаса мы уже ѣхали по торной дорогѣ.

Съ той поры крестьяне больше не грозились убить меня, безъ ›хота подчинившись моимъ порядкамъ. Мой лѣсной знако-ій впослѣдствіи часто бывалъ у меня въ гостяхъ и всякій азъ, какъ мы случайно вспоминали о своей встрѣчѣ, онъ нфузился сильно.

Но мои отношенія къ службѣ сильно измѣнились. Я не

преслѣдовалъ больше такъ круто порубки, неохотно конфисковалъ лѣсъ, вообще сдѣлался плохимъ, недобросовѣстнымъ лѣсничимъ. Такъ, апатія какая-то напала на меня. Почему? Не знаю.

II.

Однажды мнѣ пришлось взять верховую лошадь, чтобы проѣхать въ болотистую мѣстность, про которую въ народѣ ходили таинственные разсказы. Мочежина эта начиналась въ семнадцати верстахъ отъ города и тянулась на добрый десятокъ верстъ, занимая обширную площадь. Я хотѣлъ лично провѣрить странные разсказы старожиловъ. Говорили, что тамъ совершенно крѣпкія деревья отъ неизвѣстной причины сами собой падаютъ; увѣряли, что въ серединѣ тамъ есть пропасти, прикрытыя густымъ лѣсомъ, но похожія на омута, куда безвозвратно погружается всякій, кто рѣшится ступить на обманчивую почву — онъ проваливается куда-то въ глубину; наконецъ, не одинъ разъ при мнѣ говорили, что въ мрачномъ лѣсу по ночамъ, а иногда и днемъ раздаются стонъ и вопли. Въ довершеніе всего лѣсъ этотъ занималъ самый высокій увалъ среди окружающей страны, что-то вродѣ болота на горѣ.

Изъ дома я выѣхалъ не рано, да и не особенно торопился прибыть на мѣсто, такъ что лошадь моя половину дороги шла шагомъ. Но, наконецъ, я добрался до широкаго луга, на дальнемъ концѣ котораго, на верху увала, начиналась таинственная болотина. Лугъ съ трехъ сторонъ обрамлялся перелѣсками, а съ четвертой его ограничивала большая рѣка. Я ѣхалъ посерединѣ. Припоминаю теперь всѣ эти подробности, потому что происшествіе, черезъ минуту ожидавшее меня, глубоко и навсегда запечатлѣлось во мнѣ. Я помню, что сталъ закуривать папироску.

Въ это мгновеніе позади меня раздался рѣзкій крикъ, отъ котораго я вздрогнулъ. Я обернулся и на оставленномъ позади концѣ луга увидалъ бѣгущимъ какого-то человѣка. Бѣжалъ онъ такъ, какъ бѣгутъ, только спасаясь отъ преслѣдованія. Онъ, дѣйствительно, спасался. Не успѣлъ я хорошенько разсмотрѣть его, какъ изъ лѣсу, въ догонку ему, вырвался верхомъ на лошади мужикъ, безъ шапки, въ одной

рубахѣ, распоясанный. За мужикомъ изъ лѣсу показался еще какой-то парень, также верхомъ на лошади, причемъ въ поводу онъ держалъ другую лошадь. Мужикъ что-то кричалъ, размахивая надъ головой недоуздокъ, и гнался за бѣглецомъ; мальчикъ ревѣлъ во весь голосъ; только спасавшійся бѣглецъ не издавалъ никакого звука: онъ молча, съ ужасомъ улепетывалъ отъ преслѣдованія, направляясь къ рѣкѣ. Насколько я могъ понять, рѣка для него составляла единственное спасеніе; онъ, очевидно, намѣревался броситься въ воду и переплыть на другой берегъ.

Быть долго нѣмымъ свидѣтелемъ я не могъ. Еще ничего не понимая, я видѣлъ, что ожидается кровавое дѣло. Съ минуту я колебался, но чувствовалъ, что долженъ вмѣшаться. Пришпоривъ лошадь, я пустилъ ее вскачь, на перерѣзъ бѣглецу. „Держи! держи его!"—закричалъ радостно крестьянинъ. До берега оставалось уже недалеко, но я успѣлъ отрѣзать жулику путь къ водѣ. Нужно было видѣть ужасъ этого человѣка, когда онъ понялъ, что дѣться ему больше некуда. Онъ вдругъ остановился, какъ-то по-заячьи присѣлъ и бросалъ вокругъ себя испуганные взоры.

Каково же было мое удивленіе, когда я узналъ въ немъ всѣмъ извѣстнаго въ городѣ нищаго жулика, стараго и безвреднаго бродягу! Никогда, ни въ какое крупное происшествіе онъ не былъ замѣшанъ, никто на него не жаловался. Звали его Колотушкинъ.

— Колотушкинъ! Это ты?—вскричалъ я.

Но онъ такъ тяжело дышалъ отъ усталости и съ перепугу, что не могъ слова выговорить. Въ это время къ мѣсту подскакалъ крестьянинъ, и Колотушкинъ съ ужасомъ спрятался отъ него за мою лошадь.

— Ваше благородіе! убьетъ онъ меня!—жалобно сказалъ онъ.

— Пусти, господинъ... Нечего жалѣть этихъ негодяевъ! Охальники!—возразилъ гнѣвно крестьянинъ.

— Братанъ ты эдакій дурацкій! Развѣ я тебѣ хвосты-то обрѣзалъ? На кой мнѣ лядъ хвосты-то твои?... Ишь зѣнки-то налилъ кровью!... Ваше благородіе! убьетъ онъ меня!—также жалобно проговорилъ Колотушкинъ.

— Да въ чемъ дѣло?—обратился я къ крестьянину, глаза котораго дѣйствительно сверкали ненавистью. Безъ шапки,

съ распоясанною рубахой, съ растрепанными волосами, онъ могъ внушить страхъ и не такому зайцу, каковъ былъ Колотушкинъ. Суровое лицо его выражало одну кровавую месть.

— Гляди, вишь, хвосты-то обрѣзалъ!—сказалъ онъ, указывая на лошадей.

Я посмотрѣлъ и вздрогнулъ отъ омерзѣнія: у всѣхъ трехъ лошадей хвосты были обрѣзаны,—у одной по самый корень, у двухъ остальныхъ съ мясомъ; вырѣзанныя мѣста сочились кровью, которая капля по каплѣ скатывалась по ногамъ несчастныхъ животныхъ; тучи мошекъ кружились надъ ранами.

Я раньше слышалъ про эти продѣлки жуликовъ и часто смѣялся надъ разсказами о вырѣзанныхъ хвостахъ, но только теперь понялъ, какое негодованіе можетъ вызвать это подлое издѣвательство. Нужно быть безцѣльно жестокимъ, подло распутнымъ, чтобы такъ изуродовать беззащитныхъ животныхъ. Только взаимная ненависть между этими двумя классами,—крестьянами и жуликами, — способна была вызвать такое омерзительное воровство. За всѣ три хвоста жулику дадутъ въ кабакѣ не больше двугривеннаго, и трудно предположить, чтобы ради одного этого онъ обрѣзалъ хвосты: нѣтъ, сдѣлалъ это онъ изъ чистой мести, изъ желанія насмѣяться надъ мужикомъ, ради удовлетворенія своей злобы противъ всѣхъ крестьянъ.

— Неужели это ты, Колотушкинъ, сдѣлалъ?—вскричалъ я съ негодованіемъ.

— Ей-Богу, вретъ онъ, ваше благородіе! На какой мнѣ лядъ хвосты?

— Ты почему же думаешь, что это онъ?—обратился я къ крестьянину.

— Да кому же больше? Кони въ томъ лѣску были. А я дрова рубилъ вонъ тамъ. Послалъ парня обратать ихъ. Вдругъ, слышу, кричитъ онъ въ неистовый голосъ. Прибѣжалъ и вижу—хвостовъ ужь нѣтъ! А тутъ изъ-подъ кустовъ и этотъ штукарь выскочилъ. Я за нимъ, а онъ отъ меня, да къ рѣкѣ!... А тутъ и ты, спасибо, дорогу ему прекратилъ... Нечего его слушать!

Крестьянинъ говорилъ уже безъ волненія, съ сдержаннымъ негодованіемъ. Бросая на Колотушкина взоры, полные не-

римиримой ненависти, онъ въ то же время спокойно гово-
илъ. Умѣнье владѣть собой было поразительно въ немъ,
акъ у многихъ здѣшнихъ мужиковъ. Я предложилъ ему
быскать Колотушкина; онъ недовѣрчиво пожалъ плечами,
о на словахъ согласился.

Легко было сказать „обыскать", но что обыскивать-то?
Колотушкинъ былъ одѣтъ въ какую-то тряпицу, вмѣсто ру-
ашки, истлѣвшей до такой степени, что она походила на
епелъ отъ сожженной бумаги; панталоны, разумѣется,
ыли на немъ, но издали казалось, что ихъ не было,—такъ
ало оправдывали они свое назначеніе. А больше никакихъ
ринадлежностей костюма у него не имѣлось—ни шапки, ни
буви, ни верхняго платья. Но въ рукахъ онъ держалъ мѣ-
юкъ; на него мы и обратили вниманіе.

— Вытряхай кошель!—приказали мы ему.

Колотушкинъ безропотно вытряхнулъ на землю все содер-
жимое несчастнаго кошеля. Мы увидали тогда краюшку
ернаго хлѣба, десятка три картофеля, котелокъ и тряпичку
ъ солью. Все это было понятно мнѣ: хлѣбъ ему подали,
артошку онъ стащилъ на базарѣ съ воза, а котелокъ былъ
го частною собственностью; шелъ онъ сюда затѣмъ, чтобы
а берегу рѣки, среди кустовъ черемухи, прислушиваясь
ъ пѣнію птицъ, развести огонь, сварить картофель, пообѣ-
ать и уснуть, глядя сквозь вѣтви черемухи на безоблачное
ебо. Хвостовъ не оказалось.

Крестьянинъ сурово молчалъ. Колотушкинъ уже злорадо-
тно посматривалъ на него.

— Ну, что, много нашелъ хвостовъ-то? Эхъ, ты, братанъ!—
резрительно выговорилъ Колотушкинъ.

— Должно быть, въ самомъ дѣлѣ, не онъ, — сказалъ я,
пять обращаясь къ крестьянину.

— Кому же больше? Знаю я его, — спрятанъ гдѣ нито!
Штукари-то они всѣ ловкіе!...

Не зная, что дѣлать, я предложилъ, по возвращеніи сво-
емъ въ городъ, заявить въ полицію, но сію же минуту уви-
алъ, какъ безтактно было это предложеніе. Крестьянинъ
ъ лукавою, единственною въ своемъ родѣ улыбкой погля-
ѣлъ на меня и твердо отклонилъ мое предложеніе.

— Въ полицію? Нѣтъ, къ чему же?... Лучше ужь я безъ

хвостовъ останусь. Не ходи, господинъ, въ полицію-то, потому не смѣю я утруждать начальниковъ изъ-за хвостовъ!...

Сказавъ это, онъ молча погладилъ стоявшую подлѣ него лошадь и велѣлъ сынишкѣ садиться на нее. Потомъ онъ самъ прыгнулъ на другую лошадь и, не прощаясь, поѣхалъ черезъ лугъ къ ближайшему перелѣску. Но долго еще между деревьями мелькала его могучая фигура; мнѣ даже показалось, что изъ-за ствола одного дерева на мгновеніе выглянуло его лицо, обращенное къ намъ, гнѣвное и угрожающее...

Колотушкинъ провожалъ его взглядомъ и только тогда оправился отъ испуга, когда тотъ совсѣмъ скрылся въ тѣсной зелени. Жалкое заячье лицо его сейчасъ же приняло веселое выраженіе, какъ сталъ благодарить меня, болтливо выражая свое злорадство.

— Спасибо вамъ, ваше благородіе, а то бы мнѣ тутъ и смерть... И злые же эти братаны!... Такъ онъ ничего, ноежели осерчаетъ—убьетъ! Человѣчья душа для него нипочемъ, дешевле лошадинаго хвоста... Человѣкъ евойной лошади хвостъ обрѣжетъ, а онъ въ оврагѣ загубитъ ни въ чемъ неповиннаго — чистый звѣрь! Утку, либо зайца, и тожалко, а бродягу для него убить все одно, что муху задавить... А ловко же окорнали хвосты-то его!... Спасибо вамъ, а то бы убилъ меня... Шутъ-ли мнѣ въ хвостахъ-то его толку? Я вотъ сварю тутъ на бережку картошки да раковъ наловлю,—страсть тутъ какіе крупные раки водятся,—мнѣ и хвоста не нужно. Этими дѣлами я не занимаюсь, мнѣ кто что дастъ—я и доволенъ... Спасибо вамъ, ваше благородіе, дай Богъ здоровья, а то бы убилъ онъ меня...

Я послѣднія слова слушалъ уже издалека, потому что мнѣ не хотѣлось оставаться хотя нѣкоторое время со старымъ бродягой. Колотушкинъ также отправился своею дорогой, и я еще могъ замѣтить издали, какъ онъ полѣзъ въ воду—ловить раковъ на обѣдъ. Никакой ловушки у него не было; ему, очевидно, ловить раковъ предстояло первобытнымъ способомъ, т.-е. по-просту ползать по крутымъ берегамъ и руками шарить въ норахъ, гдѣ обитаютъ раки. Такимъ образомъ, при счастіи, онъ могъ часа въ два нацапать голыми руками съ полсотни, измерзнуть, нахлебаться воды во время ныряньи и перѣзать свои лапы...

Оставшись одинъ, я задумался надъ всѣмъ видѣннымъ. Передо мной сію минуту стояли представители двухъ породъ, по существу ненавистныхъ другъ для друга. Сибирскій крестьянинъ,—это олицетвореніе здоровья и силы,—долженъ волей-неволей преслѣдовать до смерти нездоровое, распутное, хотя и жалкое существо, покушающееся жить паразитомъ на его тѣлѣ... Кто это первый пустилъ слухъ, что сибирякъ смотритъ на посельщика, какъ на „несчастненькаго", и жалѣетъ его душевно, выставляя по дорогамъ и возлѣ домовъ шаньги для него? Я не зналъ мысли, болѣе вредной, лжи, болѣе фальшивой, сантиментальности, болѣе слюнявой, чѣмъ этотъ слухъ о нѣжныхъ отношеніяхъ между русскими выходцами и сибирскими старожилами; и, быть можетъ, благодаря этой лжи, ссылка до сихъ поръ осталась въ самыхъ культурныхъ округахъ.

Дѣйствительныя отношенія двухъ классовъ не представляютъ ничего нѣжнаго. Ежегодно по лѣснымъ трущобамъ находятъ сотни труповъ, неизвѣстно кому принадлежащихъ, неизвѣстно кѣмъ положенныхъ. Это—бродяги, посельщики, жулики. Каждый оврагъ здѣсь имѣетъ свою тайну, и нѣтъ лѣсной глуши, которая не была бы могилой, а лѣсные обитатели, птицы и звѣри, не одинъ разъ слышали щелканье замкà, громъ выстрѣла и послѣдній стонъ умирающаго. Одинаково избѣгая „закона", оба класса ведутъ борьбу глухо и молча, съ хладнокровіемъ и безъ пощады; часто враги наносятъ другъ другу удары безлично, не зная другъ друга и ничего другъ противъ друга не имѣя. Посельщики уничтожаютъ безъ всякой нужды имущество всѣхъ крестьянъ; крестьяне, въ свою очередь, убиваютъ всякаго бродягу, какой подвернется въ удобномъ мѣстѣ, убиваютъ безстрастно, холодно и безъ всякаго повода. И много неповинныхъ людей сложили свои головы въ лѣсныхъ заросляхъ. Легче всѣхъ пропадаютъ тѣ субъекты съ пугливыми физіономіями, которые безпрерывною цѣпью бредутъ по всѣмъ дорогамъ весной, идя на свиданіе съ родиной. Напуганные, беззащитные бродяги для холодной мести представляютъ самую легкую добычу. Между тѣмъ, кладутъ они свои легкомысленныя головы по оврагамъ безвинно.

Не случись меня на лугу, и этотъ вотъ Колотушкинъ поплатился бы за свою любовь отдыхать въ кустахъ если не

цѣною жизни, то цѣною легкихъ. И никто бы не зналъ, за что этотъ человѣкъ погибъ и кому понадобилась его заячья жизнь. Несомнѣнно, что хвосты обрѣзалъ не онъ.

Давно ужь онъ живетъ въ городѣ. Я его увидалъ чуть не въ тотъ же день, въ какой я пріѣхалъ на службу сюда. Всѣ знали, что это—старый бродяга, но никто не трогалъ его, потому что ни въ какое громкое происшествіе онъ не былъ замѣшанъ. Никому въ голову не приходило справляться, кто онъ, откуда и чѣмъ живетъ.

Скорѣе это былъ бродяга, медленно угасающій. Бродить по лицу всей Россіи у него уже не было силъ, а потому онъ навсегда устроился здѣсь. Жилъ онъ милостыней, воровствомъ, а лѣтомъ ловлей рыбы и раковъ. Нехорошо ему было зимой! Наружность его тогда представляла палку, на которую наверчены въ безпорядкѣ разныя тряпки. Въ самые лютые морозы онъ вовсе не показывался, но когда дѣлалось потеплѣе, сейчасъ же выходилъ за милостыней, дрожа всѣмъ тѣломъ, потому что даже въ теплые зимные дни холодъ жестоко скрючивалъ его. Одѣтъ онъ былъ всегда такъ, какъ будто жилъ подъ тропиками: въ коротенькомъ зипунишкѣ (его частная собственность), въ холщевыхъ панталонахъ и часто безъ рубашки, если ему долго не удавалось стащить оную съ веревки, на которой она сушилась и провѣтривалась послѣ стирки. Шапка не всегда покрывала его голову, а, въ случаѣ полнѣйшаго отсутствія ея, онъ повязывалъ уши тряпкой, оторванной, напримѣръ, отъ неизвѣстно чьего женскаго подола. Обуви онъ ни въ какомъ случаѣ не имѣлъ, замѣняя ее разнообразными предметами, имѣвшими у другихъ людей совсѣмъ не то назначеніе, какое онъ имъ давалъ; такъ, для него ничего не составляло завернуть ноги въ рукава, случайно откуда-то оторванные. Впрочемъ, иногда во время ярмарки ему удавалось добыть съ воза плохо лежащія пимы, и онъ нѣсколько дней щеголялъ въ нихъ, но, благодаря его легкомыслію, пимы эти скоро пропадали въ кабакѣ.

Работать нельзя было принудить его никакими обѣщаніями. Заставить Колотушкина работать—это все равно, что заставить свинью исполнять арію изъ оперы или птицу запречь въ телѣгу. Онъ даже удивлялся, какъ можно дѣлать ему такія предложенія.

У меня изъ прихожей онъ однажды утащилъ старыя пер-

чатки, пристыженъ былъ, когда я сталъ укорять въ неблагодарности, но когда я его спросилъ, отчего онъ не работаетъ, то онъ спокойно освѣдомился у меня: „а для чего работать?“ Благодаря такому взгляду на вещи, ему прощали все, считая совершенно естественнымъ для него брать не принадлежащіе ему предметы. Взять мимоходомъ шаньгу у бабы или снять у мужика съ воза пару карасей для него было въ самомъ дѣлѣ такъ же натурально, какъ зайцу обглодать кору съ дерева,—это всѣ признавали. Я разъ видѣлъ, какъ онъ случайно взялъ у торговки съ ларя жестяной ковшъ и спокойно отправился дальше по своимъ дѣламъ, причемъ торговка, взявъ у него ковшъ, ударила его раза два по щекѣ этимъ же самымъ ковшомъ, но никто изъ нихъ по этому поводу не сказалъ ни слова, такъ что и онъ пошелъ дальше по своимъ дѣламъ, и торговка продолжала разговаривать съ покупателями.

Весной онъ совсѣмъ преображался; всегда легкомысленный, онъ дѣлался въ эту пору веселымъ и дѣятельнымъ, оживая вмѣстѣ съ воскресающею природой. Въ городѣ его почти не видѣли тогда; онъ шлялся по окрестностямъ, питался добычей отъ охоты, дышалъ лѣснымъ воздухомъ, ночевалъ въ кустахъ. Не имѣя никакихъ орудій, онъ все-таки въ половодье ловилъ рыбу, въ іюнѣ цапалъ раковъ изъ норъ, а съ іюля собиралъ грибы и ягоды. Развѣ иногда немного воровалъ—картошки и хлѣба. Босой, съ непокрытою головой, въ истлѣвшей, какъ пепелъ, рубашкѣ, онъ выглядѣлъ въ высшей степени счастливымъ. Въ свободное отъ охоты время онъ или валялся подъ кустомъ гдѣ-нибудь, или безцѣльно бродилъ по лѣснымъ дорогамъ, напѣвая своимъ разбитымъ голосомъ какія-то странныя пѣсни.

Нельзя вытравить изъ человѣческаго сердца чувство свободы; уничтоженное въ одной формѣ, оно проявляется въ другой, пробивая себѣ новые, невѣдомые пути. У русскаго человѣка подавленное чувство проявилось въ формѣ неутомимой жажды передвигаться по безконечнымъ русскимъ разстояніямъ; это можно наблюдать на переселенцахъ, отыскивающихъ приволье, но въ особенности на бродягахъ, безцѣльно двигающихся по дорогамъ безъ опредѣленной цѣли, а также и на этомъ Колотушкинѣ. Повинуясь неумолимому инстинкту, уже разбитый и усталый, онъ все-таки цѣлое

лѣто блуждалъ по округу, придумывая часто самые пустые предлоги, иногда безъ всякихъ предлоговъ, при этомъ онъ голодалъ, мокъ подъ холоднымъ дождемъ, жарилъ на горячемъ солнцѣ свою непокрытую голову, и все-таки былъ счастливъ, потому что свободно шлялся.

Раздумывая все это, я не замѣтилъ, какъ подъѣхалъ къ мѣсту. Лошадь моя поднялась на увалъ, и передо мной внезапно выросла болотная заросль; здѣсь и было начало обширной топи. Я направилъ лошадь въ самую середину. Дорожекъ не было; приходилось пробираться цѣликомъ, по кочкамъ и кустамъ. Страшная тишина царила въ лѣсу. Не слышно было ни пѣнія птицъ, ни другого какого звука; все живое, вѣроятно, избѣгало этого мрачнаго мѣста. Но за то слышалось безпрерывное гудѣнье отъ пѣнія мошекъ и комаровъ, которые тучами носились въ спертомъ воздухѣ.

Я проѣхалъ съ полверсты отъ опушки въ глубь и остановился; дальше безумно было ѣхать. Лошадь то и дѣло стала проваливаться по брюхо въ жидкую грязь, и я съ трудомъ держался на сѣдлѣ. Принужденный спуститься на землю, я привязалъ лошадь къ дереву и принялся пѣшкомъ изслѣдовать странное явленіе, поражавшее воображеніе мѣстныхъ жителей. Подъ моими ногами дѣйствительно была бездонная топь, прикрытая тонкою корой земли. Эта-то кора и поддерживала еще растущій здѣсь лѣсъ. Но уже повсюду видны были слѣды того, какая судьба ожидаетъ всѣ эти толстые стволы березъ; было даже ясно, какъ они погибнутъ. Нѣкоторыя, самыя тяжелыя деревья на сажень уже погружены были въ жидкую почву, удерживаясь на поверхности только своими вѣтвями, цѣплявшимися за вѣтви сосѣднихъ деревьевъ; медленно утопая, они, казалось, хватались за своихъ сосѣдей. Другія деревья были уже на половину повалены, лишенныя корней, сгнившихъ въ жидкой массѣ. Третьи, наконецъ, совсѣмъ уже лежали мертвыми на землѣ и быстро разлагались, смѣшиваясь съ болотною массой. Недалеко время, когда весь этотъ зеленый уголъ сгніетъ и потонетъ въ вонючей грязи.

Какъ произошло это странное болото на верху у вала и почему до сихъ поръ здѣсь стоятъ еще густые ряды молодыхъ побѣговъ, я почти объяснилъ себѣ. Вся мѣстность представляетъ громадную котловину, въ которой застаивается вода.

Раньше котловина имѣла стоки для водъ, и почва оставалась только сырою. Но современемъ стѣнки котловины отъ неизвѣтной причины перестали пропускать наружу лишнюю влагу, произошла закупорка всѣхъ путей, сквозь которые вода просачивалась, и котловина быстро стала превращаться въ топь. Лѣсъ продолжалъ стоять на своемъ мѣстѣ, но почва подъ нимъ дѣлалась все тоньше и тоньше, и тяжелыя деревья по одному стали тонуть въ грязное озеро. И немного уже осталось крупныхъ породъ. Только нѣкоторые великаны еще стоятъ твердо, удерживаясь своими далеко протянувшимися корнями, да молодыя поколѣнія, не требующія много почвы, продолжаютъ безпечно рости густыми рядами.

Простой дренажъ могъ бы спасти эту мѣстность, но кто возьметъ на себя такую заботу?

Едва-ли часъ я пробылъ здѣсь. Дальше оставаться не было силъ. Облака мошекъ и комаровъ облѣпили мнѣ лицо, залѣзли въ уши, въ носъ, въ ротъ, и я сталъ выбиваться изъ силъ. У меня звенѣло въ ушахъ, и немудрено, если здѣсь слышатъ стоны и вопли. Смрадный воздухъ душилъ меня. Подъ моими ногами кочки погружались въ глубь, а на поверхность, при каждомъ шагѣ, всплывали съ бурчаніемъ радужные пузыри, наполненные затхлыми газами. Я еле добрался до лошади, которая также обезумѣла въ борьбѣ съ облѣпившими ее насѣкомыми. Когда я выѣхалъ на чистый воздухъ и снова на опушкѣ увидалъ яркій солнечный свѣтъ, мнѣ показалось, что я вылѣзъ изъ подземелья.

Вѣтерокъ, дувшій на открытомъ мѣстѣ, разогналъ послѣдніе остатки проклятыхъ мучителей, и мы съ конемъ успокоились.

Но этотъ памятный день не кончился такъ благополучно; худшее и неожиданное ожидало меня еще впереди.

Спустившись съ увала на луга, я шагомъ пустилъ лошадь и отыскивалъ глазами на берегу рѣки, извивавшейся впереди, удобное мѣсто для купанья. Скоро я проѣхалъ весь лугъ и очутился опять на томъ мѣстѣ, гдѣ меня оставилъ Колотушкинъ и съ котораго я видѣлъ, какъ онъ полѣзъ за раками въ воду. Бросивъ взглядъ на берегъ, я замѣтилъ дымокъ, поднимавшійся изъ костра, надъ нимъ котелокъ, повѣшенный на таловымъ прутѣ, и возлѣ—спавшаго Колотушкина. Но меня удивила неестественная поза бродяги. Онъ

лежалъ такъ, какъ лежатъ молящіеся въ церкви: поджавъ подъ себя ноги, съ разставленными руками, онъ уткнулся лбомъ въ землю, по направленію къ костру.

Я крикнулъ его по имени, но онъ не слыхалъ такъ далеко.

Тогда я свернулъ съ дороги и направился къ берегу. Подъѣзжая къ костру, я еще разъ крикнулъ:

— Колотушкинъ! ты спишь?

Бродяга молчалъ.

Я совсѣмъ близко подъѣхалъ, слѣзъ съ лошади, подошелъ къ нему, притронулся рукой до его спины и хотѣлъ разбудить его, но тѣло его уже застыло. Съ правой стороны его затылка запеклась кровь, окрасившая и всю шею черною массой. Нѣсколько минутъ я не могъ двинуться съ мѣста и тупо осматривался по сторонамъ.

Костеръ слабо курился. Надъ нимъ на прутѣ висѣлъ котелокъ съ вареным̆ картофелемъ. Тутъ же неподалеку на травѣ кучкой лежали красные, сварившіеся раки, а подлѣ нихъ лежала развернутая тряпочка съ солью. Совсѣмъ бѣдняга приготовился пообѣдать. Но въ это мгновеніе изъ-за дальняго куста, сквозь вѣтки, протянулась чья-то твердая рука съ винтовкой, прицѣлилась и прекратила всѣ желанія стараго бродяги. Какъ жилъ онъ по-заячья, такъ и умеръ по-заячьи, неожиданно и безслѣдно.

Еще не зная, что я буду дѣлать, я вскочилъ на лошадь и поскакалъ въ ближайшую деревню. Тамъ я поднялъ на ноги всѣхъ, кто только ни былъ въ полѣ. Но большая часть мужиковъ равнодушно и подозрительно выслушала мой разсказъ, и никто изъ нихъ не пожелалъ пойти на мѣсто. Отыскали только сотскаго. Въ толпѣ, собравшейся возлѣ меня, раздавались вялые вопросы и отвѣты: „Какой Колотушкинъ? Брогяга!... Нищій!... Вишь раковъ ловилъ... Не нашелъ больше мѣста-то!... Мало ли ихняго брата, жулябія, таскается тутъ!... Картошку, слышь, варилъ!... Сотскій! Ступай, ставь караулъ! Держи, робята, теперь карманы! Сотни три вылетитъ! Это ужь какъ есть!... Экъ его окаянный дернулъ въ эко мѣсто раковъ-то ловить!“

Я слушалъ все это, и волненіе, вызванное кровавымъ происшествіемъ, понемногу улеглось во мнѣ. Равнодушіе толпы было такъ полно, что перешло и на меня. „А въ самомъ дѣлѣ,—думалъ я,—зачѣмъ я-то кипячусь?“ Когда

караулъ былъ наряженъ, я отправился домой въ городъ, до нельзя утомленный впечатлѣніями дня.

По пріѣздѣ въ городъ, въ первыя минуты негодованія я хотѣлъ донести на того крестьянина, у котораго обрѣзали жулики хвосты лошадямъ; я былъ увѣренъ, что онъ застрѣлилъ Колотушкина; но день ото дня я откладывалъ дѣло, пока отъ моей рѣшимости не осталось и слѣда.

И хорошо, что я не сдѣлалъ этого. Зачѣмъ бы я погубилъ мужика? Если даже и дѣйствительно онъ застрѣлилъ Колотушкина, то сдѣлалъ это съ такою слѣпою и неумолимою необходимостью, какъ онъ убилъ бы встрѣтившагося волка. Это поступокъ неразумнаго существа, слѣпое дѣло. Темно здѣсь кругомъ. Посторонняя сила толкнула два враждебные класса въ одно мѣсто, и они слѣпо истребляютъ другъ друга, какъ ненавистные другъ другу звѣри, посаженные въ одну клѣтку.

III.

До этого времени мнѣ ни разу еще не приходилось жить въ деревнѣ подолгу, но однажды обстоятельства сложились такъ, что я цѣлое лѣто провелъ въ деревнѣ.

Лѣто было удушливое, горячее, сухое; въ городѣ мнѣ стало нестерпимо отъ зноя; и вотъ я надумалъ переселиться въ ближайшее село, какъ на дачу. Мѣсто для этой цѣли я выбралъ отличное; окруженное сосновымъ боромъ, оно омывалось поблизости рѣкой и занимало возвышенность праваго ея берега. Поиски и наемъ квартиры обошлись безъ обычныхъ непріятностей. Я нашелъ себѣ комнату почти у перваго попавшагося мнѣ на глаза крестьянина, причемъ дѣло обошлось безъ всякихъ недоразумѣній, какъ я боялся; мужикъ не заломилъ съ меня за квартиру невозможную цѣну, не посмотрѣлъ на меня, какъ на барина, съ котораго обыкновенно полагается содрать какъ можно больше, не сказалъ даже лишняго слова, какъ человѣкъ практичный и умѣлый. Эту выдающуюся черту сибирскаго мужика я и раньше зналъ; теперь же только собственнымъ опытомъ убѣдился, какъ легко съ нимъ имѣть дѣло. Онъ толковый и разумный; съ нимъ чувствуешь себя, какъ съ равнымъ, и не дѣлаешь усилій подладиться подъ его тонъ. Свободный и гордый, онъ знаетъ себѣ

цѣну и такъ же, въ свою очередь, не поддѣлывается подъ барскій тонъ. Однимъ словомъ, обоюдное пониманіе въ обыденныхъ вещахъ.

Моего хозяина звали Петромъ Иванычемъ Теплыхъ. По-сибирски онъ былъ мужикъ средней зажиточности. Домъ его состоялъ изъ двухъ половинъ—горницы и задней избы. Въ передней половинѣ, гдѣ я поселился, стояло нѣсколько стульевъ, деревянный диванъ и выбѣленная колчедановымъ блескомъ печь. На окнахъ зеленѣли цвѣты; устланный половиками полъ выглядѣлъ безукоризненно чистымъ. Хозяйство земледѣльческое казалось также полнымъ и порядочнымъ. Но семья его состояла изъ пяти душъ подростковъ и жены, благодаря чему онъ держалъ наемнаго работника изъ посельщиковъ. Все это я узналъ тотчасъ, въ тотъ же день, какъ переселился къ Петру Иванычу Теплыхъ, который посвятилъ меня во всѣ свои дѣла и намѣренія, въ особенности денежныя...

Я былъ радъ этому переселенію. Помимо неограниченнаго пользованія деревенскими благами—водой, сосновымъ воздухомъ, лѣсною прохладой и охотой, я могъ еще свободно заниматься болтовней съ крестьянами, о которыхъ я ничего не зналъ. Кромѣ того, меня уже давно интересовалъ одинъ вопросъ, рѣшить который можно только послѣ пристальнаго вниманія къ сибирской жизни. Я спрашивалъ себя: мужику Сибири даны просторъ, здоровье, досугъ, богатая природа—какъ онъ воспользовался этими дарами? Что онъ сдѣлалъ въ продолженіе тѣхъ сотенъ лѣтъ, которыя онъ прожилъ въ относительномъ довольствѣ, среди безграничныхъ степей и дремучихъ лѣсовъ, подъ небомъ яркимъ и чистымъ, хотя и холоднымъ, вдали отъ волокиты воеводъ, избавленный отъ рабства старой родины? Быть можетъ, онъ обогатилъ свой умъ за это время знаніями и способностями, быть можетъ, онъ развилъ человѣчность, незнакомую на его старой родинѣ; вообще, что онъ сдѣлалъ для себя, для людей, для своего ума и сердца, для развитія всѣхъ своихъ силъ, гибнувшихъ на старой родинѣ отъ крѣпостнаго ярма, мрака и голода?

Къ сожалѣнію, отъ моего хозяина трудно было чѣмъ-нибудь поживиться въ этомъ смыслѣ. Въ первое время я мало обращалъ вниманія на него; я шатался по лѣсамъ, дѣлалъ экскурсіи на лодкѣ, охотился съ ружьемъ и только по вечерамъ болталъ съ Петромъ Иванычемъ. Но Петръ Иванычъ

былъ такой открытый человѣкъ, что узнать всю его подноготную не представляло ни малѣйшаго труда. Обративъ на него вниманіе, я почувствовалъ довольно непріятныя чувства къ нему, а вскорѣ онъ уже мнѣ страшно надоѣлъ. Истый сибирякъ, онъ, въ сущности, былъ чрезвычайно скученъ и однообразенъ.

Въ немъ была одна возмутительная черта, приводившая меня уже черезъ недѣлю въ полнѣйшее отчаяніе: о чемъ бы мы съ нимъ ни говорили, дѣло непремѣнно оканчивалось вопросомъ о деньгахъ. Въ этомъ случаѣ онъ былъ такъ разнообразенъ, что подсовывалъ деньги всюду, гдѣ даже трудно и представить ихъ; казалось, глаза его были занавѣшены рублевою бумажкой, изъ-за которой онъ уже ничего не видалъ: ни неба, ни земли, ни людей, ни себя.

Сначала онъ жаловался, что ему не съ чего начать какое-нибудь выгодное предпріятіе; потомъ онъ ежедневно сталъ приглашать меня войти съ нимъ въ компанію, обольщая меня выгодами торговли; нѣсколько разъ онъ просилъ у меня денегъ на проценты, иногда же просто просилъ взаймы.

Въ концѣ-концовъ, мнѣ стала непріятна самая его фигура, рослая и великая, какъ у настоящаго богатыря, — фигура, оканчивающаяся, однако, небольшою головкой, съ черными щетинистыми волосами; маленькіе сѣрые глаза его блестѣли, какъ пятіалтынные... Честное слово, такъ онъ мнѣ надоѣлъ безконечными разговорами о деньгахъ, что при воспоминаніи о немъ я теряю безпристрастіе.

— Какъ это тебѣ, Петръ Иванычъ, не стыдно не учить ребятъ своихъ?... Отдалъ бы въ училище въ городъ,—сказалъ я однажды, думая такою диверсіей уклониться отъ разговора о рубляхъ.

— Въ училище? Ишь ты какую штуку выдумалъ! Для чего оно нашему брату?

— Какъ для чего? Поучиться. Вы вонъ жили двѣсти лѣтъ не могли придумать такой хитрости, какъ школа. Сами-то ничего не понимаете, такъ хоть ребятъ чему-нибудь поучили бы.

— Чему поучить-то? Кабы я зналъ, что мой парень въ писаря выйдетъ, ну, тогда такъ, потому писарь страсть сколько загребаетъ. А то ежели такъ-то, безъ толку... да нѣтъ, ни къ чему оно, училище-то!

Увидавъ, что моя диверсія не принесла мнѣ плодовъ, я угрюмо замолчалъ.

— Училище... чудно̀! Теперь вотъ у меня не на что хомутъ купить, а я по твоему объ училищѣ долженъ стараться?... Право, хомута не на что купить. Вотъ ты бы далъ ежели рублика два, а? Перевернусь—отдамъ, сдѣлай милость, а?

— У меня нѣтъ сейчасъ,—угрюмо возразилъ я.

— Ну, какъ, чай, нѣтъ! Сумлеваешься—вотъ отъ чего и не даешь. А ты не сумлевайся, отдамъ! Больно ужъ деньги-то мнѣ надобны!

— Да, говорю тебѣ, нѣтъ! Прошу, оставь этотъ разговоръ.

— Осердился? Ну, я не стану. Чего сердиться-то? Потому я вѣрно говорю—отдамъ!

Петръ Иванычъ равнодушно улыбался, съ неохотой оставляя пріятную для него бесѣду. На слѣдующій день онъ опять находилъ случай цыганить у меня; я ему опять отказывалъ— и это каждый день. Мысли его постоянно такъ были заняты пейзажами наживы, что онъ, видимо, нисколько не находилъ страннымъ занимать меня такими разговорами. Разъ я такъ былъ раздраженъ, что выразилъ Петру Иванычу желаніе никогда не вести съ нимъ разговоровъ. Это его сильно обезкуражило, и онъ прямо пересталъ приставать ко мнѣ съ разговорами о милыхъ рублишкахъ, но я видѣлъ по его лицу, что онъ не понялъ причины моего раздраженія. Нажива—это было его міросозерцаніе и не говорить о немъ онъ не былъ въ состояніи.

Если ему не удавалось прямо поговорить о томъ, отчего у него болѣлъ животъ, то онъ все-таки находилъ тысячи случаевъ высказать свои мечты. Иногда на него находило меланхолическое настроеніе, и онъ уныло жаловался на судьбу, отнимающую часто у него послѣдніе гроши.

— Кабы мнѣ только первыя-то копѣйки раздобыть, а ужъ тамъ пошло бы... Да гдѣ добудешь-то? Съ неба не падетъ копѣйка-то... Нашему брату только бы начать, а ужъ тамъ пойдетъ, какъ по маслу. Да начать-то съ чего, съ какого боку?

Заинтересованный этимъ меланхолическимъ настроеніемъ, я спросилъ у него разъ, что̀ бы онъ сталъ дѣлать, еслибы вдругъ ему дали сотенную бумажку?

— Что дѣлать? Ежели-бы сотельную-то? — повторялъ онъ нѣсколько минутъ въ волненіи.

— Ну, да, что̀ бы сталъ дѣлать?

Петръ Иванычъ уставилъ на меня свои пятіалтынные и соображалъ, какъ наилучшимъ способомъ употребить деньги.

— Я бы наперво гуртовъ у кыргызъ накупилъ,—сказалъ онъ, наконецъ. — Съ кыргызами у насъ первое дѣло для началу, ежели кто желаетъ поправиться. Потому этотъ народъ—сволочь, ничего не понимаетъ, и съ ихнимъ братомъ большія выгоды можно получить. Тутъ есть у насъ одинъ купецъ, такъ тотъ, бывало, надѣлаетъ фальшивой бумаги и скупаетъ на нее барановъ, т.-е. прямо даромъ...

— Да вѣдь это грабежъ?—перебилъ я.

— Да оно неладно...

— Вѣдь этотъ купецъ просто грабилъ киргизовъ?

— Да оно, говорю, неладно .. да вѣдь и кыргызъ... чего на него смотрѣть-то? Сволочь, больше ничего. А притомъ же и вреда ему отъ фальшивой бумаги нѣтъ, потому онъ получитъ фальшивую бумагу и сбываетъ ее дальше въ степь, къ дальнимъ кыргызамъ, а тѣ ужь настоящіе безбожники, и для нихъ все одно, что фальшивая, что настоящая... А то, конешно, неладно, да и лучше на чистыя денежки-то... Только гдѣ ихъ взять-то, ухватить-то какъ ихъ?

Я вскорѣ замѣтилъ, что Петръ Иванычъ смутно различалъ нѣкоторыя вещи, которыя должны быть строго отдѣляемы. Что касается „кыргызъ", то онъ искренно вѣрилъ, что это—сволочь, ничего не понимающая, и потому у нихъ можно вымѣнивать барановъ на фальшивыя бумажки. Почти съ такою же простотой онъ относился и къ бродягамъ, недостаточно понимая разницу между убійствомъ волка и бродяги. Несомнѣнно также, что и многіе другіе лѣсные порядки онъ ошибочно считалъ правильными.

Такъ, онъ однажды искренно жаловался на неудачу сраженія съ горюновцами, происходившаго на театрѣ военныхъ дѣйствій—на сѣнокосѣ. Сѣнокосъ этотъ былъ спорнымъ между жителями, къ которымъ принадлежалъ Петръ Иванычъ, и сосѣдними горюновцами. Божеская и человѣческая правда была на сторонѣ послѣднихъ, но Петръ Иванычъ и его соотечественники въ патріотическомъ ослѣпленіи отбивали клочекъ сѣнокоса себѣ и вели ради него съ заклятыми врагами ожесточенную борьбу каждую весну. Вооруженіе той и другой стороны состояло изъ литовокъ, оглоблей и сырыхъ дубинъ,

выдернутыхъ изъ земли въ моментъ боя, но военное счастье клонилось то въ одну, то въ другую сторону. Нынѣшнею весной побѣда безспорно осталась за горюновцами, которые на-голову разбили моихъ хозяевъ, принудивъ ихъ къ безпорядочному бѣгству съ поля сраженія. Именно на это дѣло Петръ Иванычъ и жаловался, выражая, впрочемъ, увѣренность, что на будущій годъ горюновцы ребрами поплатятся за свою временную удачу. Петра Иваныча безполезно было увѣрять въ несправедливости всего этого.

Насчетъ справедливости онъ имѣлъ нѣсколько твердыхъ мыслей, но, признаться, ихъ было крайне мало, благодаря чему въ большей части жизненныхъ обстоятельствъ онъ руководился довольно рискованными соображеніями. Убить въ оврагѣ бродягу, надуть хитрымъ образомъ чиновника, подкупить землемѣра при раздѣлѣ между двумя деревнями, продать себя во время ярмарки на какое-нибудь темное дѣло— это едва-ли считалось съ его стороны принципіально двусмысленнымъ.

Большую долю вины за этотъ нравственный мракъ должны взять на себя мы, высшіе сибирскіе классы. Оффиціальные представители цивилизаціи, культуры и правды, мы въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ вели себя такъ, какъ въ чуждой намъ странѣ. Мы не завели въ это время ни одной школы, не научили населеніе ни одной полезной вещи, не подвинули на полвершка его умственный кругозоръ. Мы брали съ деревенскаго жителя дани, проявивъ себя во всѣхъ случаяхъ продажными, устраивали то и дѣло засады для него и опутывали его цѣлою сѣтью лжи, спутывая всѣ его понятія о справедливости. Единственная наша заслуга—введеніе внѣшняго порядка, но и тотъ постоянно расползался, какъ плохо, большими штыками сшитое платье.

Тѣмъ не менѣе, я не могъ не поражаться и косностью самой природы Петра Иваныча. Было въ немъ что-то такое стихійное, первобытное и роковое, что я часто не могъ выносить его возлѣ себя. Я удивлялся, какъ можетъ человѣкъ жить однѣми мыслями о наживѣ, одними экономическими соображеніями и рублевыми идеалами! Неужели въ его душѣ никогда не возникаетъ порывовъ, фантазій, увлеченій, не переводимыхъ на деньги? Этотъ здоровый, сильный человѣкъ никогда не увлекался и былъ, повидимому, совершенно безу-

частенъ ко всему на свѣтѣ, за исключеніемъ ничтожной частички явленій, составлявшихъ всю его растительную жизнь.

Мнѣ иногда хотѣлось его чѣмъ-нибудь поразить или взволновать, но это мнѣ ни разу не удавалось; прошибить его можно было только деньгами. Приходя ко мнѣ пить чай или такъ посидѣть, онъ обыкновенно сейчасъ же принимался развивать планъ какого-нибудь предпріятія, съ котораго можно получить хорошую выгоду.

Съ нимъ дѣлалось какъ-то холодно, тоскливо, пусто. Я по цѣлымъ часамъ не могъ придумать, что съ нимъ говорить.

Ѣздили мы съ нимъ нѣсколько разъ на ночевую, спали подъ открытымъ небомъ, около пылающаго костра, въ свѣтѣ котораго трепетали тѣни сосѣднихъ березъ, но ни разу онъ не вышелъ изъ себя, всегда одинаково разсудительный и разсчетливый. Однажды мнѣ пришло въ голову спросить его, слышалъ-ли онъ когда-нибудь хоть одну сказку. Мы сидѣли на берегу рѣки съ удочками; возлѣ насъ горѣлъ костеръ; вдали виднѣлся крутой берегъ противоположной стороны, поросшій густымъ кустарникомъ. Вода около насъ казалась багровой; таинственная тишина окружала насъ въ этомъ пустынномъ мѣстѣ. Казалось, болѣе подходящаго мѣста для разсказовъ о темной старинѣ нельзя было и придумать.

— Ишь чего придумалъ! Сказку!... Да я ни одной и не слыхалъ—какъ же я тебѣ разскажу?

— Неужели ни одной не знаешь?—спросилъ я.

— Да на кой песъ знать-то мнѣ эти глупости?—проговорилъ задумчиво онъ.

— И въ дѣтствѣ никогда не слыхалъ?

— Чорта-ли толку въ сказкахъ-то? Слыхалъ отъ одного расейскаго посельщика, который по зимамъ у насъ живалъ, да забылъ ужь. Бывало, вретъ, вретъ онъ, даже смѣшно станетъ.

Спрашивалъ я у него, не знаетъ-ли онъ какого-нибудь разсказа про старину, какого-нибудь преданія, даже суевѣрія, но онъ съ неудовольствіемъ выслушалъ меня и подозрительно насупился.

— Говорятъ же что-нибудь про вашу деревню... Давно она основалась?

— А я почемъ знаю?... Стало быть, съ древнихъ временъ.

Дѣдушка говаривалъ, что какъ теперь есть, такъ и было все допрежь...

— Не слыхалъ-ли какихъ преданій, воспоминаній о вашихъ мѣстахъ? Вѣдь остались же какіе-нибудь слѣды отъ вашихъ дѣдовъ?

— Да чему остаться-то? Жили и померли, и нѣту ихъ...

Петръ Иванычъ принялъ положительно недовольный видъ.

— Можетъ, пѣсни какія сложили въ вашей сторонѣ? — приставалъ я.

— Никакихъ пѣсней у насъ не складывали. Дѣвки вонъ поютъ — песъ съ ними! Баловался и я въ тѣ поры, когда меня еще за виски драли; а теперь нѣтъ ужь, будетъ!

— Ни одной не знаешь?

— Да, можетъ, и знаю, да запамятовалъ.

— А ну, вспомни и спой, — попросилъ я. Но Петръ Иванычъ окончательно обидѣлся, думая, что я смѣюсь надъ нимъ.

Онъ дѣйствительно не пѣлъ. Только разъ мнѣ удалось слышать нѣчто, напоминавшее пѣсню. Помню, Петръ Иванычъ куда-то ѣхалъ верхомъ и отъ времени до времени стегалъ лошадь недоуздкомъ; очевидно, онъ куда-то торопился, и душа не говорила въ его пѣснѣ. Какія были слова — я не разобралъ, но за то мотивъ я не забуду. Это речитативъ, доведенный до утилитарной простоты. Кто слышалъ этотъ сибирскій речитативъ, тотъ никогда не забудетъ его; онъ похожъ на ворчанье человѣка, которому недосугъ выводить голосомъ зигзаги, на стукъ тяпки, которою рубятъ капусту, на чтеніе дьячкомъ псалтиря передъ тѣломъ покойника. Я потомъ часто слышалъ эти прямые, какъ палки, звуки, — ими пѣлись искаженныя русскія пѣсни, потому что своихъ пѣсенъ сибирякъ не сложилъ. На меня онѣ дѣйствовали особеннымъ образомъ: не вызывая ни тоски, ни радости, ни печали, ни хохота, онѣ только изумляли меня, словно я слушалъ какой-то новый звукъ въ природѣ.

Скоро въ деревнѣ завелось у меня много знакомыхъ, пріятелей и „дружковъ", и я понялъ, что Петръ Иванычъ былъ только крайнее выраженіе всѣхъ ихъ. Свои общія впечатлѣнія я скажу въ другомъ мѣстѣ, а пока только замѣчу, что въ деревнѣ я не нашелъ того, что̀ искалъ. Прошли вѣка съ тѣхъ поръ, какъ поселился здѣсь русскій человѣкъ, но въ новой странѣ лучи знанія не озарили его темный умъ. Онъ

ничего не создалъ, но лишь многое утратилъ. Мысли его спали непробудно. Поколѣнія смѣнялись поколѣніями, подобно листьямъ, но жизнь неизмѣнно шла по одному шаблону. Быть можетъ, современемъ нетронутыя ничѣмъ силы мужика сдѣлаются неизсякаемымъ источникомъ мысли и энергіи, а пока пусть онъ спитъ, ничего не зная, ни о чемъ не спрашивая. Жаль только вѣковъ, безполезно пропавшихъ въ темнотѣ прошлаго...

Что въ особенности поражало меня въ Петрѣ Иванычѣ— это полное отсутствіе любознательности, даже любопытства. Никогда, болтая со мной, онъ не спрашивалъ о чемъ-нибудь новомъ для него, ничѣмъ не интересовался. Когда я пробовалъ разсказывать ему что-нибудь незнакомое, онъ только зѣвалъ. При этомъ выраженіе его дѣлалось равнодушнымъ.

Разъ мы разговаривали съ нимъ о братѣ его, который служилъ въ солдатахъ. Петръ Иванычъ боялся его прихода и откровенно придумывалъ, какъ бы отдѣлаться отъ него, если онъ притащится и потребуетъ выдѣла имущества.

— А, должно, не скоро онъ придетъ, потому онъ у самаго Чернаго моря,—говорилъ мнѣ Петръ Иванычъ.

— Въ какомъ же онъ городѣ?—спросилъ я.

— Городъ-то я не помню ужь, а только знаю, что у самаго Чернаго моря, подъ Ташкентомъ.

— Развѣ Ташкентъ у Чернаго моря?

— А то гдѣ же? У самаго моря и стоитъ,—упрямо возразилъ Петръ Иванычъ.

— Увѣряю тебя, что отъ Ташкента до Чернаго моря нѣсколько тысячъ верстъ.

— Чай, Черное-то море сполитично къ Ташкенту!—возразилъ Петръ Иванычъ, причемъ лицо его приняло безсмысленное выраженіе, какъ у человѣка, который сболтнулъ нѣчто для самого себя непонятное.

— То-есть, какъ это „сполитично"?—освѣдомился я.

— Да что ты присталъ со своимъ съ Ташкентомъ? Больно мнѣ нужно разбирать Ташкенты-то эти!

Я ждалъ, что Петръ Иванычъ что-нибудь спроситъ у меня, но онъ всталъ и ушелъ отъ меня, раздосадованный.

Всего жилъ я у него мѣсяца два, а потомъ перешелъ къ

другому крестьянину. Но Петръ Иванычъ заходилъ нерѣдко и туда ко мнѣ; когда же я совсѣмъ перебрался въ городъ, то на нѣкоторое время потерялъ его изъ виду.

Только уже въ серединѣ зимы про него прошелъ слухъ. Знакомые крестьяне изъ той деревни разсказывали мнѣ, что къ Петру Иванычу пришелъ-таки солдатъ, котораго онъ такъ боялся. Между ними тотчасъ же возникли ссоры, перемежающіяся болѣе или менѣе сильными драками; солдатъ требовалъ части имущества, а Петръ Иванычъ оттягивалъ раздѣлъ. Еще разъ я и самого его увидалъ.

Пришелъ онъ ко мнѣ, какъ къ старому пріятелю, затѣмъ, чтобы я написалъ ему на брата прошеніе въ губернское правленіе о лишеніи его наслѣдства; этимъ способомъ онъ надѣялся совсѣмъ искоренить брата.

— Ты мнѣ напиши просьбу въ губернское правленіе, чтобы солдата прекратить,—говорилъ мнѣ Петръ Иванычъ, рѣшительно диктуя текстъ прошенія.—Покойный нашъ родитель, царство ему небесное, при смертномъ часѣ проклялъ этого солдата и ничего изъ имущества ему не благословилъ... У меня свидѣтели есть, всѣ знаютъ, что родитель лишилъ солдата доли, потому и въ тѣ поры онъ былъ супротивникомъ и пьяницей,—больно обижалъ родителя! Вотъ ты такъ и напиши: молъ, пьяница, котораго родитель проклялъ и приказалъ ничего ему не давать, потому много онъ нашего добра распустилъ... Пиши: молъ, свидѣтели есть, какъ родитель лишилъ его благословенія, а духовное завѣщаніе не успѣлъ сдѣлать.

— Извини, я прошенія не стану писать,—сказалъ я сухо.

— Отчего?—удивился Петръ Иванычъ.

— Да, признаюсь, ты поступаешь нехорошо. Какъ же тебѣ не стыдно родного брата гнать?

— Солдата-то? Да вѣдь онъ въ разоръ меня разоритъ! Ну, и притомъ же проклялъ родитель...

— Какъ хочешь, но писать просьбы я тебѣ не стану. Да и безполезно. Никто не повѣритъ тому, что̀ ты разсказываешь.

— Неужели никто?—живо спросилъ Петръ Иванычъ.

— Конечно, никто не повѣритъ. Лучше брось все и выдѣли брата.

Петръ Иванычъ задумался.

Съ тою же задумчивостью онъ уѣхалъ отъ меня. А вскорѣ я услышалъ уже финалъ. Въ одинъ праздничный день между солдатомъ и Петромъ Иванычемъ произошла драка, во время которой Петръ Иванычъ проломилъ солдату голову насквозь. Солдата еле-живого привезли въ городскую больницу, гдѣ онъ нѣсколько мѣсяцевъ хворалъ. Тѣмъ временемъ Петра Иваныча посадили въ тюрьму, но онъ отъ суда откупился, продавъ чуть не весь домъ свой на подарки. Съ тѣхъ поръ я совсѣмъ потерялъ его изъ виду.

Снизу вверхъ.

(*Исторія одного рабочаго*).

I.

Молодежь въ Ямѣ.

На дворѣ у Луниныхъ происходили нападеніе и оборона. Это была просто семейная непріятность. Нападалъ, имѣя нѣсколько грустный видъ, отецъ Лунинъ. Оборонялся, сверкая глазами, какъ волченокъ, припертый въ уголъ, сынъ его, Михайло. Дѣдушка сидѣлъ на порогѣ сѣнной двери и бросалъ на обоихъ дѣйствующихъ лицъ взгляды, полные негодованія. Отецъ держалъ въ рукахъ обрывокъ веревки, который долженствовалъ служить орудіемъ наказанія, и говорилъ:

— Мишка, лучше сдайся! Все одно, ухвачу же я тебя за волосья...

— Не касайся. За что ты меня хочешь бить? Не подходи!— говорилъ сынъ. Онъ стоялъ въ углу двора и держалъ обѣими руками колесо. Собственно у него не было намѣренія именно колесомъ пустить въ отца; онъ поднялъ его, какъ первую попавшуюся оборону, и держалъ для всякаго случая. Наружность его показывала, что онъ дѣйствительно не дастся. Лицо его поблѣднѣло. На немъ не отражалось ни тѣни страха, но дикость; глаза мрачно блестѣли.

— Мишка, не дури! Я тебя чуть-чуть только поучу! Ей-ей, парень, худо будетъ, ежели не покоришься отцу родному! Схвачу вотъ за виски...

— Не схватишь. Не подходи!—возражалъ сынъ, угрожая колесомъ.

— Мишка! да ты что это, песъ, вздумалъ? Говори, отецъ я тебя или нѣтъ?

— Что-жь, что отецъ?... Безъ дѣла не дамся... Не подходи! Не касайся!

— Да ты только дайся, небось! Я только разадва по спинѣ,— не то грозилъ, не то упрашивалъ отецъ, ругаясь довольно вяло.

— Не дамся.

— Это отцу-то ты говоришь? Ну, ладно, погоди, дай срокъ, ухвачу я тебя.

Сынъ только еще больше озлился, не сводя глазъ съ отца и готовый во всякую минуту обороняться съ отчаяніемъ.

Дѣдъ не вмѣшивался. Онъ молчалъ. Только голая голова тряслась, какъ осиновый листъ, да нѣсколько безсвязныхъ словъ срывалось изъ его беззубаго рта.

— Мишка!—продолжалъ, между тѣмъ, отецъ,—покорись, шельмецъ, брось колесо!

— Что ты присталъ? Скажи, за что ты на меня накинулся?— спросилъ сынъ, едва переводя духъ отъ волненія.

— А не лайся—вотъ за что. Я тебѣ слово, а ты десять. Развѣ такъ можно съ отцомъ разговаривать?

— Что-жь, развѣ я не правду сказалъ? Хорошій хозяинъ овцу со двора не понесетъ... и сейчасъ это скажу!

— Да развѣ я въ кабакъ овцу-то стащилъ? Что ты лаешь?— закричалъ отецъ, снова разгорячаясь такъ, какъ въ то время, когда ссора только-что началась.

— Мнѣ нечего лаять. Я говорю правду. Хорошій хозяинъ овцу со двора не понесетъ,—упрямо твердилъ сынъ.

— Ахъ, ты, пустая голова! Да развѣ я овцу-то пропилъ?— кричалъ отецъ и бросилъ въ сторону веревку. Вслѣдъ за нимъ и сынъ оставилъ колесо, и они начали горячо спорить, забывъ, что сію минуту стояли въ угрожающихъ позиціяхъ.—Вѣдь надо же было отдать хоть малость сборщику, заткнуть ему ротъ!

— А ты посуди самъ: овца безъ малаго стоитъ четыре рубля, а ты провалилъ ее Трешникову за рубль...

— За рубль... какъ же мнѣ сдѣлать, коли лѣзутъ съ ножомъ къ горлу?

— Подождалъ бы. Не очень я испугался бы.

— То-то что не ждетъ! Ужь я кланялся.

— И кланяться не зачѣмъ. Не отдалъ бы—и все.

— Погляжу я, какой ты дуракъ. Меня бы сборщикъ подвелъ подъ сѣкуцію, ежели бы я не сунулъ...

— Да, конечно, ежели самъ дашься на сѣкуцію, такъ и отхлестаютъ. А ты взялъ бы, да не давался.

— Фу, ты, Боже мой, глупая голова! Какъ же ты не дашься?

— Я бы убегъ!—сказалъ сынъ рѣшительно.

Отецъ развелъ руками и расхохотался.

— А, да песъ съ нимъ! Развѣ съ такимъ дуралеемъ можно говорить?—сказалъ онъ, обращаясь къ дѣдушкѣ, и поплелся со двора.

Этимъ всегда кончались споры отца и сына. Первый каждый разъ бросалъ разговоръ и умолкалъ, увѣряя, что Мишку нельзя переспорить. Отецъ Лунинъ какъ бы признавалъ свое безсиліе передъ сыномъ, который во всякую минуту выглядѣлъ колючею травой, тогда какъ его самого жизнь сильно трогала, такъ много трогала, что въ немъ, кажется, мѣста живого не осталось.

Только-что описанная сцена происходила въ то время, когда отцу было слишкомъ сорокъ лѣтъ, а сыну безъ малаго шестнадцать. Когда споръ окончательно былъ забытъ, отецъ пошелъ выпить. Грустно какъ-то ему стало отъ упрековъ сына. Вспомнилъ онъ много нехорошаго и печаленъ показался ему этотъ день.

Но въ это же самое время сынъ принялся работать за троихъ, какъ бы желая загладить чѣмъ-нибудь грубость свою передъ отцомъ. Онъ скидалъ на повѣть возъ соломы, перетащилъ на другое мѣсто двадцатипудовую колоду, вычистилъ въ хлѣвѣ навозъ, и когда отецъ пришелъ обѣдать, сынъ сѣлъ за столъ, мокрый отъ пота; видно было, что онъ усталъ.

Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Несмотря на кажущуюся тишину и досадную медленность деревенскаго прозябанія, жизнь идетъ все-таки впередъ, съ тою же неумолимостью, какъ растетъ трава или дерево, незамѣтно поднимаясь вверхъ. Кажется, тише деревеньки Ямы трудно и отыскать. Поистинѣ это была „яма“, со всѣхъ сторонъ закрытая какими-то пригорками, оврагъ, лишенный воздуха и свѣта; не было въ ней ни торговыхъ, ни промышленныхъ заведеній; отъ

ближайшаго города она стояла слишкомъ на двѣсти верстъ; подлѣ нея не пролегалъ никакой трактъ, и она, повидимому, была забыта и Богомъ, и людьми. Но, существуя на свой страхъ, Яма все-таки думала же о чемъ-нибудь? Это неизвѣстно. Вѣрно только то, что она измѣнилась и не была уже тѣмъ, чѣмъ была пять лѣтъ назадъ. Новыя обстоятельства—новые нравы.

Эти новыя обстоятельства всего болѣе отразились на молодомъ поколѣніи, не знавшемъ крѣпостного права, между прочимъ, и на Михайлѣ. Воспитаніе онъ получилъ особенное.

Какъ всякаго деревенскаго мальчика, воспитывали Мишку не люди, не родители и учителя, а природа и обстоятельства. Степь, лѣсъ, прудъ, дождь, снѣгъ, лошадь, корова—таковы были неизбѣжные учителя и воспитатели Мишки. Въ этомъ смыслѣ жизнь мальчика не отличалась отъ другихъ ребяческихъ жизней. Если ребенокъ, лучше сказать, „пострѣлъ", не утонетъ въ пруду, не будетъ ушибленъ лошадью, не замерзнетъ въ буранѣ, то останется жить. Нѣкоторыя изъ этихъ несчастій съ Мишкой случались. Разъ его ударилъ въ грудь, подъ сердце, поповскій козелъ, отъ чего Мишка упалъ безъ чувствъ; въ другой разъ онъ слетѣлъ съ воза сѣна подъ колесо, а еще разъ его лягнула рыжка въ затылокъ. Но Мишка остался живъ.

Но если воспитаніе природы шло обычнымъ порядкомъ, то обстоятельства, дѣйствовавшія на Мишку, не были тождественны съ обстоятельствами другихъ временъ и иныхъ людскихъ отношеній. Не очень счастливо было дѣтство Мишки. Съ самаго ранняго возраста онъ долженъ былъ видѣть и слышать много неправды, а еще больше непонятнаго.

Первое непонятное обстоятельство состояло въ томъ, что, несмотря на аппетитъ Мишки, ему мало давали ѣсть. Это ему ужасно не нравилось; онъ готовъ былъ цѣлый день бѣгать съ кускомъ, а мать отказывала. Мало того, хлѣбъ, въ сущности, былъ въ семействѣ Луниныхъ только въ продолженіе полугода; остальную часть года ѣли какую-то выдумку, которую Мишка терпѣть не могъ. Онъ не иначе называлъ этотъ хлѣбъ, какъ „штукой", и питалъ къ нему отвращеніе.

— Дай-ка, мама, мнѣ штуки! — говорилъ онъ, показывая на хлѣбъ, когда бывалъ голоденъ.

Онъ не могъ любить этого, но не понималъ, почему его плохо кормятъ. И бьютъ больно, въ особенности мать, подъ руку которой онъ постоянно подвертывался. Не видалъ онъ ласки отъ матери; ей, вѣроятно, самой приходилось худо. Никогда она не засмѣется. Черты ея лица всегда несчастныя и скорѣе жалкія. Жалкое горе, горе изъ-за горшковъ, изъ-за ковша муки такъ исказило женщину, что она къ дѣтямъ относилась равнодушно. „Хоть бы вы подохли!“ Но такъ какъ Мишка и тогда уже отличался неуступчивостью, то равнодушіе матери переходило часто въ жалкую несправедливость къ нему. Для него это была злая-презлая женщина. То и дѣло въ голову ему попадала скалка, а не скалка, такъ вѣникъ. Не любилъ онъ мать; въ сердцѣ его и тогда уже воцарился холодъ. Впослѣдствіи онъ понялъ, что мать не виновата,—ея собственная жизнь не ласкала ее,—но сдѣланнаго не воротишь. Мишка не видалъ ласкъ, и сердце его замерло.

И во всемъ этомъ виновата была, пожалуй, „штука“.

Продолжалась она не мѣсяцъ и не годъ, а какъ Мишка только-что началъ помнить себя. Это не была случайность изъ ряда вонъ выходящее явленіе, а обстоятельство неразлучное съ нимъ. На глазахъ его случилось только одно необыкновенное явленіе, поразившее его ужасомъ и мало понятное ему. Тогда ему было четыре года.

Съ ранняго утра того дня въ Ямѣ происходило необычное движеніе, говоръ, кое-гдѣ бабій плачъ. Всѣ собрались на площади возлѣ часовни, не исключая бабъ, дѣвокъ и малыхъ, даже грудныхъ ребятъ. И Мишка, конечно, присутствовалъ, близко прижимаясь къ подолу матери. Мужики жарко о чемъ-то разговаривали; старики, мрачно потупившись въ землю, молчаливо чего-то ждали. На крышѣ одной избы стоялъ парень и смотрѣлъ въ разныя стороны, куда только направлялись дороги. Большинство съ напряженіемъ слѣдило за этимъ парнемъ. Вдругъ онъ благимъ голосомъ заоралъ: „Идутъ!“— и упалъ съ крыши. Мишкѣ такъ сдѣлалось страшно, что онъ готовъ былъ убѣжать куда-нибудь, но скоро любопытство его остановило. На бугрѣ, стоявшемъ за деревней, показались солдаты. Впереди ѣхалъ верхомъ начальникъ. Мишка въ особенности его испугался. Когда солдаты спустились въ оврагъ и расположились на другой сторонѣ площади, поднялся та-

:ой шумъ, что хоть уши затыкай. Начальникъ долго гово-)илъ что-то мужикамъ. Чаще всего онъ спрашивалъ: „Ну, что, :огласны?"—А мужики отвѣчали: „Согласія нашего нѣтъ". Начальникъ сердился. „Ну, не сдобровать вамъ, канальи!"— „Ребята! — кричалъ Мишкинъ дѣдушка, — будемъ помирать! Господи благослови! Ложись на земь!" Начальникъ отъѣхалъ съ солдатамъ; началась „экзекуція". Мужики пали на колѣни. Бабы съ ребятами побѣжали. Мишка какъ то потерялъ мать въ суматохѣ и самъ, на свой страхъ, задалъ стрекача. Онъ прилетѣлъ къ себѣ на зады и схоронился въ сѣно, гдѣ и оставался до вечера.

Впрочемъ, когда солдатъ размѣстили по избамъ и все стихло въ деревнѣ, Мишка вылѣзъ изъ своего убѣжища и увидалъ, что въ ихъ избѣ также сидитъ солдатъ. Солдаты прожили въ деревнѣ съ мѣсяцъ, въ продолженіе котораго Мишка не только пересталъ бояться Филатыча, какъ звали ихъ солдата, но близко сошелся съ нимъ. Солдатъ былъ смирный. Только онъ много ѣлъ,—такъ много, что даже жадный Мишка удивлялся. Для Филатыча ничего не стоило выхлебать котелъ щей, съѣсть чугунъ каши, проглотить въ самое короткое время каравай хлѣба. Но это былъ добродушный, работящій человѣкъ. Своимъ хозяевамъ онъ таскалъ на коромыслѣ воду, рубилъ дрова, задавалъ корму скоту, а Мишкѣ передъ уходомъ изъ деревни сдѣлалъ деревянную свистульку.

Послѣ этого воспитательное дѣйствіе на Мишку имѣло другое обстоятельство. Самъ Мишка на себѣ испыталъ его. Оно касалось его родныхъ, знакомыхъ и въ особенности отца. Но впечатлѣніе было сильное, глубокое. Одинъ разъ, играя съ другими ребятами на улицѣ противъ сборной избы, гдѣ собирались мужики и куда пріѣзжало начальство, какъ это случилось и въ этотъ день, Мишка вдругъ услыхалъ ревъ, раздавшійся со двора этой избы. Онъ захотѣлъ полюбопытствовать и вздумалъ-было съ пріятелями проникнуть во дворъ, полный народа. Но въ самыхъ воротахъ ему дали хорошій подзатыльникъ, послѣ котораго онъ убѣдился, что лучше всего посмотрѣлъ сквозь плетень. Онъ живо проковырялъ дыру въ плетнѣ и посмотрѣлъ... Посреди двора лежалъ врастяжку какой-то мужикъ, котораго держали за голову и за ноги. Но Мишка скоро широко раскрылъ глаза, и сердце его ёкнуло. На мужикѣ надѣтъ былъ желтый чапанъ, а на спинѣ

чапана сидѣла треугольная заплата, такая же самая, какъ у его отца. Онъ хотѣлъ крикнуть: „батька!“ — но голосъ у него пропалъ. Глаза его были устремлены въ одну точку, всѣ члены замерли. Но, чтобы не заревѣть, онъ впился зубами въ руку и закусилъ ее до тѣхъ поръ, пока отецъ не поднялся. Тогда Мишка со всѣхъ ногъ бросился бѣжать, оставивъ игру. „Мишка, Мишка! куда ты?“—кричали товарищи, но онъ, не переводя духу, улепетывалъ.

Во весь этотъ день онъ боялся поднять глаза на отца. Ему казалось, что отцу стыдно, какъ было стыдно ему. Къ удивленію его, отецъ—ничего... Вечеромъ выпилъ сорокоушку и съ непонятнымъ для Мишки благодушіемъ разсказывалъ, какъ давеча его „отчехвостили“. Онъ не выказывалъ ни злобы, ни горечи. Этого Мишка никогда не могъ въ толкъ взять. Онъ въ эти дни съ ребяческимъ любопытствомъ наблюдалъ за отцомъ, но всякій разъ, видя его благодушіе, чувствовалъ пренебреженіе къ нему. Въ его еще нетвердую душу прокрадывалось уже недовѣріе.

— Послушай, батька, неужели тебѣ не совѣстно? — спросилъ однажды Мишка отца, котораго только-что „отчехвостили“.

Отецъ сконфузился.

— Ничего, братъ Мишка, не подѣлаешь... И радъ бы, да никакъ невозможно! — возразилъ отецъ въ замѣшательствѣ.

Никогда больше Мишка не предлагалъ отцу вопросовъ. Онъ сталъ уходить въ себя. Онъ мечталъ и думалъ одинъ, безъ всякой помощи со стороны отца, недовѣріе къ которому быстрыми шагами шло дальше. Мишка уже въ малолѣтствѣ инстинктивно старался поступать обратно тому, какъ поступалъ отецъ. Это былъ явный признакъ разрыва сына съ отцомъ.

Время шло. Мишка росъ. Семейныя неурядицы рано поставили его въ ряды самостоятельныхъ работниковъ. Семнадцати лѣтъ Мишка сталъ во главѣ управленія домомъ. Отецъ каждый годъ уходилъ на заработки, пропадая изъ дому иногда по девяти мѣсяцевъ. Дѣдушка былъ слабъ. А больше въ семействѣ и мужиковъ не было. Старшій братъ его навсегда ушелъ изъ деревни, окончательно развелся съ отцомъ и жилъ при какомъ-то пивоваренномъ заводѣ. Такимъ образомъ, Мишка почти круглый годъ оставался въ домѣ хозяиномъ и

невольно раздумывался о томъ, что видѣлъ. Невольно приходили ему на умъ самыя неожиданныя сравненія. Воля и... отчехвостили! Свободное землепашество и... „штука“!

Онъ дѣлался угрюмымъ.

Что касается собственно „штуки“, то она отразилась на молодомъ Лунинѣ съ явною рѣзкостью. Это подтвердилось въ рекрутскомъ присутствіи, куда его привезли, чтобы забрить лобъ. Старшій сынъ ушелъ годами отъ воинской повинности и солдатская доля пала на Михайлу. Родители плакали, провожая его. Отецъ былъ такъ мраченъ и въ то же время такъ ласковъ, какъ никогда. Но самъ Михайло не плакалъ. Его обычная угрюмость нисколько не измѣнилась. Кажется, онъ думалъ, что все равно—въ солдатахъ или мужикахъ жить. Мать и отецъ, дѣдушка и сестры не услыхали отъ него ни одного слова сожалѣнія о потерѣ крестьянской свободы, которую, вѣроятно, онъ не признавалъ существующею. Онъ только сдѣлался за эти дни злой. Холодно онъ простился съ родными, механически снялъ шапку и перекрестился, когда они съ отцомъ выѣзжали за околицу Ямы. Въ концѣ-концовъ, оказалось, что Михайло въ солдаты не годится. Раздѣтый въ рекрутскомъ присутствіи, онъ обнаружилъ всю свою физическую несостоятельность. Смѣрили его ростъ—малъ; измѣряли и выслушали грудь — плоха и узка. Ноги оказались выгнутыми снаружи. Позвоночный столбъ кривой. Брюхо большое. Малокровіе. Въ другое время его взяли бы въ солдаты затѣмъ, чтобы варить крупу или садить капусту въ гарнизонномъ огородѣ. Но докторъ, дѣлавшій осмотръ, рѣшительно воспротивился, высказавъ мнѣніе, что такого бутуза лучше оставить въ покоѣ. Во всей его фигурѣ въ исправности были только лицо, холодное, но выразительное, и глаза, сверкающіе, но темные, какъ загадка

Отецъ Лунинъ обезумѣлъ отъ радости, узнавъ, что его Мишка—уродъ. Во-первыхъ, съ радости онъ напился до того, что потерялъ шапку; во-вторыхъ, цѣлый день лѣзъ къ сыну цѣловаться; въ-третьихъ, предложилъ ему жениться, назвавъ имена сватовъ. Михайло, въ отвѣтъ на это, положилъ отца поперекъ саней и поѣхалъ домой.

Сколько было непріятностей въ семьѣ изъ-за одной этой женитьбы! Избавившись отъ солдатчины, Михайло, однако,

мѣлъ свое мнѣніе о женитьбѣ, что сильно раздражало отца. Онъ безпрестанно твердилъ сыну о женитьбѣ.

— Ужь это мое дѣло!—возражалъ сынъ.

— Какъ твое? А отца-то позабылъ?—волновался отецъ.

— Не забылъ, а говорю: не суйся въ чужое дѣло.

— Какъ въ чужое? Возьму вотъ я хорошую палку, да начну тебя жарить!...

Послѣ этого между отцомъ и сыномъ обыкновенно происходила распря, никогда не прекращавшаяся. Отецъ доказывалъ, что онъ имѣетъ право учить своего сына, а сынъ опровергалъ.

— Не вижу я проку въ твоемъ ученьи... Ты напередъ скажи, учили-ли тебя-то?—глухо замѣчалъ сынъ.

— Меня... учили!—волновался отецъ.

— Палкой-то?

— Палкой-ли, чѣмъ-ли, а учили. Ужь это, братъ, сдѣлай милость, безъ ученья насъ не оставляли.

— Да какой-же прокъ отъ этого?—насмѣшливо спрашивалъ Михайло.

— Прокъ? А вотъ какой прокъ: Б-боже тебя сохрани, бывало, сказать супротивное слово отцу! Бывало, дѣдушка-то твой привяжетъ меня къ столбу, да и деретъ. И баловства этого духу у насъ не было!

— Слыхалъ я это. Да какой же тебѣ-то прокъ въ битьѣ?

— Не баловался—больше ничего!

— Ну, мало же объ васъ оббили дубья! Надо бы больше,— говорилъ сынъ, злобно смѣясь.

— Мишка! лучше замолчи, не гнѣви меня! Ей-ей, схвачу я тебя за волосья...

И такъ далѣе. Отецъ грозилъ, Михайло пренебрежительно отворачивался. Но когда дѣло заходило далеко, онъ вспыхивалъ, какъ порохъ, обнаруживая страшную свирѣпость.

— Развѣ я не правду говорю?—спрашивалъ онъ, какъ бы готовясь запустить въ отца смертельную стрѣлу, которая ранитъ того и заставитъ заревѣть отъ боли.—Развѣ не правда? Ну, скажи на милость, хороша-ли твоя участь? Ладно-ли живешь ты? А вѣдь, кажись, дубья-то получилъ въ полномъ размѣрѣ!...

— Что же, хрестьянинъ я настоящій... Слава Богу, чест-

ный крестьянинъ! — говорилъ отецъ, едва сдерживая себя отъ боли.

— Какой ты крестьянинъ? Всю жизнь шатаешься по чужимъ странамъ, бросилъ домъ, пашню... Ни лошади путной, ни кола! Въ томъ только ты и крестьянинъ, что боками здоровъ отдуваться... Пойдешь на заработки — ногу тебѣ тамъ переломятъ, а придешь домой—тутъ тебя высѣкутъ!...

— Не говори такъ, Мишка! — съ страшною тоской огрызался отецъ.

— Развѣ не правда? Барщина кончилась, а тебя все лупятъ!

— Мишка, оставь!

Но Михайло злобствовалъ до конца.

— Да есть-ли въ тебѣ хоть единое живое мѣсто? Неужели ты меня думаешь учить эдакъ же маяться? Не хочу!

— Живи, какъ знаешь, Богъ съ тобой! — стоналъ отецъ.

Тогда Михайлѣ дѣлалось жалко отца,—такъ жалко, что и сказать нельзя.

Такого рода разговоры происходили безпрестанно, всегда оканчиваясь тѣмъ, что отецъ Лунинъ опускалъ голову все ниже и ниже, сознавая, съ одной стороны, свое слабосиліе, а съ другой—пораженный непонятнымъ озлобленіемъ сына. Отецъ Лунинъ на самомъ дѣлѣ не имѣлъ прочной точки опоры, не имѣлъ настоящаго дома и настоящей цѣли, жилъ изо дня въ день, добывая хлѣбъ на сегодня и не зная, будетъ-ли онъ у него завтра; жилъ безучастно, равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ обыденныхъ потребностей. Собственно онъ не жилъ, а маялъ себя. Рѣдкій годъ онъ возвращался съ заработковъ цѣлымъ и невредимымъ. У него была цѣлая масса приключеній, всегда оканчивавшихся тѣмъ, что его били. Однажды на желѣзной дорогѣ ему переломили ногу, и хотя онъ ее починилъ, но остался хромымъ. Въ другой разъ, подъ новостроющимся домомъ, съ высоты десяти саженей на него упали два-три кирпича, отчего онъ потомъ никогда уже не разгибался. Всякія происшествія непремѣнно ложились на его бока. И когда онъ возвращался домой въ Яму, его или сажали въ холодную, или сѣкли. Чтобы найти какую-нибудь одну опредѣленную черту Лунина, можно сказать, что по жизни это былъ поломанный человѣкъ, а по характеру — межеумокъ. И поразительная его честность, и

несомнѣнный умъ, и способность безъ устали работать,— все это было развѣяно прахомъ.

Надъ нимъ смѣялись съ двухъ сторонъ: сынъ Мишка и дѣдушка. Дѣдушка называлъ его дуралеемъ, безпутнымъ человѣкомъ и ветошкой. Постоянная нужда въ семьѣ еще болѣе вооружила старика, свалившаго всю вину на „ветошку“. Дѣдушка обыкновенно лежалъ на печкѣ или на завалинкѣ, если было лѣто и солнце припекало, и когда узнавалъ о какой-нибудь новой бѣдѣ, стрясшейся надъ сыномъ, то злобно плевался. Тьфу, тьфу! Выражать инымъ образомъ свои критическія мысли онъ уже не могъ. Старикъ давно потерялъ счетъ своимъ лѣтамъ, живя въ безконечномъ пространствѣ. Голова его была голая и походила на дыню, руки тряслись, ротъ уже не закрывался. Глаза постоянно дремали, ничего не видя. Кажется, все въ этомъ существѣ вымерло: мысли, воспоминанія, чувства и сознаніе, кромѣ ощущенія печки или солнца, которыя давали ему теплоту. Но въ этомъ полуживомъ человѣкѣ остались какія-то безсвязныя воспоминанія и всего болѣе раздраженіе, злоба противъ нехорошей жизни, въ которой все было для него глупо, безпутно, и противъ сына, въ которомъ онъ видѣлъ воплощеніе всякой бѣды.

Въ избѣ Луниныхъ жило три поколѣнія, положительно не понимавшихъ другъ друга.

Иногда Михайло дразнилъ дѣдушку.

— Дѣдушка!—кричалъ онъ что есть мочи. — Что ты все сердишься?

Дѣдушка начиналъ трясти своею дыней, приходя въ раздраженіе.

— На кого ты сердишься, дѣдушка?—продолжалъ Михайло.

— Уйди! Всѣ вы—поганцы!

— За что такъ, дѣдушка?

Старикъ собирался съ мыслями, что-то шепталъ.

— За все. Умѣй жить... Поганцы!

— Какъ же жить, дѣдушка?—коварно спрашивалъ Михайло.

— По-божецки!—отвѣчалъ старикъ гнѣвно.

— Не понимаю... Разскажи, какъ у васъ жили?

Старикъ припоминалъ. Дыня его тряслась. Лицо дѣлалось энергичнымъ и гнѣвнымъ.

— Скажи, дѣдушка, какъ это по-божецки?

— У насъ поганцевъ не было! У насъ коли ты родился, такъ держись, стой, крѣпись!—говорилъ старикъ, мало-помалу воодушевляясь и подогрѣвая себя собственными словами.

— А какъ же насчетъ притѣсненія у васъ было?

— У насъ былъ согласъ... Коли, бывало, притѣсненіе — молчимъ. Стой, крѣпись! Грудью выноси!

— Стало быть, были же притѣсненія-то,—коварствовалъ Михайло.

— Мы не стали бы плакать по-бабьи. Стой грудью!... А ежели силъ нѣтъ терпѣть — помирали. Эй, ребята, ложись, помирай!

— Что же, всѣ помирали, которые ложились?

— Поганцевъ у насъ не было. У насъ дружба... Который слабосильный мужиченко, и тотъ не вылъ по-бабьи... У насъ, бывало...—путался старикъ, припоминая старыя времена и не подозрѣвая насмѣшки внука.

— А можетъ вы только ложились, а не помирали?

Дѣдушка всматривался во внука и затѣмъ разражался плевками. Если въ его рукахъ находился батогъ, онъ яростно стучалъ имъ.

Нечего и говорить, что Михайло не серьезно заводилъ бесѣды съ дѣдомъ. Дѣдушку, дожившаго до потери сознанія времени, онъ очень уважалъ, но чтобы учиться у него — это внуку и въ голову не приходило. Иногда старикъ, наскучивъ молчаніемъ, принимался безсвязно, какъ ребенокъ, разсказывать о старинныхъ временахъ, безъ всякой мѣры хвастаясь тогдашними людьми, но Михайло слушалъ этотъ наборъ чудесъ, какъ сказку. Онъ понималъ только, что тогда было одно мученье. Тогдашнимъ людямъ дѣйствительно ничего не оставалось дѣлать больше, какъ молчать: стой! крѣпись! А когда притѣсненіе выходило за-границы человѣческаго терпѣнія, надо было ложиться и помирать, ибо это былъ единственный исходъ. Страданіе до того было непрерывно, что каждый старался выработать въ себѣ непрерывное терпѣніе. Въ концѣ-концовъ, страданіе стало въ одно и то же время средствомъ и апоѳеозомъ существованія.

Молодой Лунинъ не желалъ ни быть битымъ зря, подобно отцу, ни ложиться и помирать, подобно дѣду. Онъ съ тече-

ніемъ времени совсѣмъ отбился отъ рукъ. Хозяйничая одинъ каждую зиму, онъ рѣшительно никого не спрашивался. У него были свои дѣла, пристрастія и друзья. Изъ семьи никто не зналъ, чтò онъ будетъ дѣлать завтра.

Одно изъ его пристрастій обитало въ худой избенкѣ, съ виду похожей на баню, гдѣ, однако, жили двѣ женщины — старуха Марѳа съ дочерью Пашей. Самъ Михайло никогда не выражалъ словами своего пристрастія къ этой избенкѣ и не показывалъ виду, что имѣетъ нѣкоторыя намѣренія на дочь Марѳы. Объясненіе его состояло лишь въ томъ, что раза два въ недѣлю онъ забѣгалъ мимоходомъ въ избенку и освѣдомлялся, не надо ли что сдѣлать по хозяйству? По большей части, надо было наколоть дровъ, напоить корову, которая была, если не считать избенки, единственнымъ имуществомъ двухъ сиротъ, задать ей корму, что-нибудь починить. Михайло сдѣлаетъ все это, вспотѣетъ и уйдетъ. Ни однимъ намекомъ кому бы то ни было не выразилъ онъ намѣренія жениться.

По воскресеньямъ онъ иногда покупалъ осьмушку чая и какого-то рыжаго сахару и относилъ къ Пашѣ, которая поила чаемъ свою больную старуху. Вотъ всѣ подарки, какіе онъ дѣлалъ Пашѣ. Всякій другой гостинецъ онъ считалъ какъ бы обидой для нея. Какъ ни были бѣдны женщины, но кормились на свой счетъ. Собственно работала одна дочь, потому что старуху зиму и лѣто душилъ кашель. Паша была деревенская швея. Она тачала рубахи, порты, поддевки, женскія платья и т. д. И нигдѣ не свѣтился такъ упорно огонекъ, какъ въ ея избушкѣ. Пока она была еще здорова, вѣчное сидѣнье не изнуряло ее. Напротивъ, она желала больше тачать и питала мечту когда-нибудь купить такую же машину, какую ей довелось видѣть у попадьи смежнаго села. Объ этомъ узналъ Михайло.

Годъ онъ ломалъ голову надъ тѣмъ, какъ бы достать денегъ на машину. Самая плохонькая, по его справкамъ, машинка стоитъ двадцать пять рублей... даже выговорить трудно! Но Михайло былъ фанатикъ, онъ озлился и принялся сколачивать деньги. И черезъ годъ сколотилъ. Только половину онъ вычелъ изъ счета податей. Когда въ извѣстное время пришелъ сборщикъ, Михайло свирѣпо сказалъ: „Нѣтъ! —„Какъ?“—„Что же, ты оглохъ? Говорю, нѣтъ!“ Когда онъ

принесъ машину къ Пашѣ, то замѣтно было, какъ похудѣлъ Михайло: глаза его ввалились, лицо постарѣло и осунулось, во всей фигурѣ замѣчалась лихорадочность, измученное состояніе нервовъ.

У этого бутуза нервы? Надо признаться, что отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только утвердительнымъ. Онъ почему-то тосковалъ, ему были знакомы уже страданія, неудовлетворенность, сомнѣнія,—словомъ, въ бутузѣ шла неумолкаемая работа, не позволявшая ему глядѣть весело. Въ двадцать два года онъ уже порядочно измучился.

Нѣсколько разъ по праздникамъ онъ уходилъ къ пруду на мельницы Трешникова, гдѣ по берегу росли тощіе кусты. Туда приходила и Паша. Здѣсь, среди полыни, тальника и чилиги, они проводили праздники, отдыхая. Говорили мало. Паша была задумчивая, тихая дѣвушка, не любившая шумныхъ бесѣдъ, а Михайло просто не умѣлъ говорить. Иногда ему и хотѣлось что-нибудь сказать повеселѣе, и скажетъ, но тутъ же и обозлится,—до такой степени шутка его выходила уродлива, словно, вмѣсто языка, у него сидѣлъ во рту деревянный клинъ. Ограничивался онъ самыми неизбѣжными словами. Спроситъ: много-ли она за недѣлю нашила? Есть-ли у нихъ со старухой дрова? Не надо-ли чего починить въ избѣ?

— А когда же мы съ тобой въ церковь?—спросилъ однажды Михайло, выражая на лицѣ своемъ волненіе.

— Когда хочешь. Только скажи—и пойду,—отвѣчала Паша.

— Да нѣтъ, нечего пока и думать объ этомъ!—вскричалъ со злобой Михайло, самъ себя перебивая.

— Отчего же?

— Да какое же у насъ тебѣ удовольствіе? Солому-то жрать? Вѣдь у насъ бѣднота... тоска беретъ!

— Не горюй... Только скажи—и пойдемъ къ попу!—успокоивала Паша.

— Все бѣднота, ничего больше, какъ бѣднота! Такая что ни есть страшная жизнь, что даже совѣстно!—продолжалъ, почти не слушая, Михайло, и злоба горѣла въ его глазахъ.

— Что подѣлаешь, Миша!

— Про то и говорю... Ничего не придумаешь. Какъ жить?

— Какъ люди, Миша,—замѣтила робко дѣвушка.

— Какіе люди? Эти наши старые-то? Да неужели же это

настоящая жизнь: побои принимать, срамъ... солому жрать? Человѣкомъ хочется жить, а какъ? Не знаешь-ли, Паша, ты? Скажи, какъ жить?—спросилъ оживленно Михайло.

— Не знаю, Миша... Голова-то моя худая. Я могу только идти, куда хочешь, хоть на край свѣта съ тобой...

— Какъ же намъ быть?... Чтобы честно, безъ сраму... не какъ скотина какая, а по-человѣчьему...—Михайло говорилъ спутанно, съ невѣроятными усиліями ворочая своимъ деревяннымъ клиномъ. Но въ глазахъ его сверкали слезы.

Онъ не разъ, видно, уже задавалъ себѣ такой мудреный вопросъ. Но, къ несчастію его, обстоятельства такъ сложились, что онъ, какъ свои пять пальцевъ, зналъ, чего *не надо* дѣлать, а когда старался придумать, какъ же надо жить, то былъ немощенъ и, чувствуя это, ненавидѣлъ свою жизнь.

Подъ давленіемъ этого Михайло бросался изъ одной крайности въ другую. Нерѣдко на него находило какое-то равнодушіе. Онъ по недѣлѣ ничего не дѣлалъ, кромѣ самаго необходимаго въ хозяйствѣ, лежалъ въ коноплянникѣ, глядѣлъ на небо, спалъ, валяясь подъ плетнемъ огорода, ходилъ мрачный. Ни съ кѣмъ не говоритъ; глядитъ на всѣхъ въ домѣ, какъ на лютыхъ своихъ враговъ; волосы не чешетъ, не умывается и сопитъ. Но вдругъ какъ съ цѣпи сорвется. За недѣлю, проведенную въ бездѣльи, онъ старался наверстать вдвое, выказывая лихорадочную дѣятельность, придумывалъ новыя работы и съ какимъ-то остервенѣніемъ работалъ.

Такъ онъ постоянно затѣвалъ со своими товарищами разныя предпріятія, не очень мудрыя, но хлопотливыя и новыя. Главное — новыя. Никогда съ пожилыми мужиками онъ не связывался, ибо ихъ умъ-разумъ ставилъ ниже гроша и дѣла ихъ всѣ фактически отрицалъ.

Товарищами его были такіе же безусые, какъ и онъ самъ. Между ними лучшими друзьями считались двое. Одинъ былъ Щукинъ, другой назывался Шаровъ. Съ ними онъ безпрестанно совѣтовался и велъ общія дѣла, хотя между ними было мало общаго. Въ то время, какъ Михайло выглядѣлъ затравленнымъ волченкомъ, молчаливый, недовѣрчивый и погруженный въ себя, Иванъ Шаровъ былъ живой, какъ ртуть, и болтливый, какъ балалайка. Онъ давно уже оставался самостоятельнымъ хозяиномъ въ домѣ; всѣ его родные перемерли, кромѣ матери, и онъ, парень двадцати пяти лѣтъ, чрезвы-

чайно ловко вертѣлся въ темной жизни Ямы. Одно время онъ завелъ-было лавочку, гдѣ продавались лапти и сахаръ, дуги и пряники, махорка и сухой лещъ,—словомъ, все, что требовалось въ Ямѣ. Хотя съ лавочкой ему не удалось укрѣпиться, но и тутъ онъ, какъ вьюнъ, ускользнулъ отъ банкротства, ловко выбравъ надлежащее время для прекращенія торговли. Изобрѣтательный на добываніе хлѣба насущнаго, онъ не оставался сложа руки никогда. Нюхъ у него былъ замѣчательный. Прослѣдитъ, что за десятокъ верстъ одинъ человѣкъ долженъ заколоть больную свинью, которой переломалъ кто-то ноги, и уже тамъ—покупаетъ больную свинью и везетъ продавать. Какъ ни былъ далекъ отъ Ямы городъ, но Иванъ Шаровъ и тамъ завелъ пріятелей, съ помощью которыхъ всегда могъ найти себѣ занятіе. Онъ постоянно былъ въ разъѣздахъ по какимъ-то важнымъ дѣламъ, въ бѣготнѣ и суетѣ. Жизнь его походила на мельканіе. Еслибы мрачная судьба Ямы когда-нибудь вздумала захватить его въ свои объятія, онъ непремѣнно ускользнетъ, какъ кусокъ мыла. Онъ давно женился. И жена его какъ разъ приходилось ему впору. Она могла косить и жать, сидѣть кабатчицей, жить въ кухаркахъ—на всѣ руки.

Михайло питалъ родъ удивленія къ Ивану, часто сидѣлъ у него, выслушивалъ его, хотя самъ рѣшительно неспособенъ былъ вертѣться такимъ кубаремъ. Природа надѣлила его неповоротливостью и тѣмъ древнимъ мужицкимъ свойствомъ, которое выражается такъ: думаетъ затылокъ. Схватить на вилы копну сѣна, воткнуть на поларшина въ землю соху, поднять колоду—это онъ понималъ и могъ, несмотря на явное слабосиліе свое, но чтобы всю жизнь крутиться, ускользать, ловить случаи—это было не по его характеру.

— Не понимаю, какъ это ты все вертишься?—спрашивалъ онъ не разъ Шарова.

— Безъ этого нельзя, пропадешь!—возражалъ послѣдній.— Надо ловить случай; безъ дѣла сидѣть—смерть...

— Да развѣ ты работаешь? По-моему, ты только бѣгаешь зря.

— Можетъ, и зря, а иной разъ и подвергнется счастье, а ужь тутъ... На боку лежа ничего не добудешь. За счастьемъ то надо побѣгать.

Шаровъ былъ душой между своими товарищами, Михайломъ и Щукинымъ. Одинъ годъ, по его остроумной мысли,

товарищи сняли нѣсколько надѣловъ несостоятельныхъ мужиковъ и посѣяли ленъ. Штука немудреная, но Шаровъ сдѣлалъ ее чрезвычайно замысловатою. Дѣло въ томъ, что несостоятельный мужикъ бѣжитъ отъ своей земли не потому, что именно земля ему наскучила, а потому, что ему надоѣло платить за нее, и онъ радъ, когда находится человѣкъ, который беретъ, вмѣстѣ съ удовольствіемъ владѣть лишнимъ участкомъ, и непріятность платить за нее деньгами или спиной. Но Шаровъ рѣшилъ, что можно въ одно и то же время взять свое удовольствіе и отдѣлаться отъ непріятности, т.-е. взять надѣлы съ условіемъ платить за нихъ, но на самомъ дѣлѣ не платить. Онъ разсуждалъ основательно, что если онъ и не возьметъ землю, все равно подати несостоятельный хозяинъ не уплатитъ, а, между тѣмъ, земля пропадетъ даромъ. На этомъ основаніи товарищи взяли нѣсколько участковъ на имя Щукина. Почему на имя Щукина — это также изобрѣтеніе Ивана Шарова. Вѣдь ихъ потянутъ, если они не станутъ платить? Надо было прогнать силой сборщика податей, и сдѣлать это способенъ былъ Щукинъ. Въ деревнѣ его боялись.

Въ обыкновенныя минуты Щукинъ былъ смирный и недалекій человѣкъ. Полное, круглое лицо его ничего не выражало. Уши висѣли, зубы торчали наружу—самый обыкновенный деревенскій парень и насмѣшливый человѣкъ. Но достаточно было ничтожнаго случая, чтобы вызвать съ его стороны необузданный поступокъ. Такіе парни, въ минуты сознанія обиды или просто неудовлетворенности, дрались, бывало, въ кулачные бои, разносили въ дребезги избушку какой-нибудь вѣроломной солдатки и проч. Но у Щукина уже рано явилась въ поступкахъ опредѣленная точка, преднамѣренность. Онъ питалъ ненависть къ сельскимъ властямъ, но въ особенности къ Трешникову, мѣстному богачу, который полгода давалъ жителямъ Ямы свой хлѣбъ, а другіе полгода сосалъ изъ нихъ кровь. Щукинъ съ величайшимъ удовольствіемъ готовъ былъ сдѣлать ему какую угодно пакость.

Между другими подданными Трешниковъ владѣлъ и отцомъ Щукина. Въ отцѣ это не вызывало протеста, но сынъ поступилъ иначе. Ему тогда было менѣе восемнадцати лѣтъ. Въ отместку за все, онъ выбралъ темную ночь, залѣзъ къ Трешникову въ конюшню и обрѣзалъ подъ самый корень

хвостъ лучшей лошади. Позоръ былъ до такой степени чувствителенъ, что Трешниковъ взвылъ отъ боли. Щукинъ не скрывалъ, что откарналъ хвостъ именно онъ самъ, и сулилъ и на будущее время еще какое-нибудь посрамленіе. Трешниковъ, въ свою очередь, выместилъ на отцѣ, пересталъ давать ему хлѣба, а кровь сосать продолжалъ, вслѣдствіе чего тотъ окончательно отощалъ и померъ гдѣ-то на чужой сторонѣ на заработкахъ. Сына Трешниковъ не тронулъ, пугаясь его угрозы.

У Щукина былъ другой подобный случай. Нѣкоторое время послѣ смерти отца онъ служилъ ямщикомъ на станціи земскихъ лошадей. Никто изъ проѣзжающихъ на него не жаловался. Свое дѣло онъ справлялъ аккуратно, водки никогда въ ротъ не бралъ, „на чай“ просилъ стыдливо. Но вышло такъ, что онъ оплошалъ. Ѣхалъ съ нимъ мѣстный становой. Дни стояли ненастные. Лилъ дождь. Дорога превратилась въ сплошное тѣсто, въ которомъ колеса тонули по самую ступицу. Лошади измучились. Самъ кучеръ обилъ всѣ руки, понукая ихъ. Немудрено было разинуть ротъ отъ изнеможенія. И Щукинъ прозѣвалъ. На косогорѣ, почти подъ самою деревней, куда ѣхалъ становой, экипажъ его повернулся бокомъ, повисѣлъ нѣсколько на воздухѣ и перевернулся, увлекая пассажира, его вещи и кучера. Щукинъ воткнулся головой въ лужу, сильно расшибся, но живо выскочилъ и уже совсѣмъ принялся-было хлопотать вокругъ барина, какъ послѣдній, неистово ругаясь, съѣздилъ ему по головѣ... Это значило показать быку красную тряпку или ударить по рогамъ козла. Щукинъ освирѣпѣлъ. Глаза у него помутились, зубы выставились наружу, и онъ бросился на барина съ поднятыми кулаками. Тотъ счастливо ускользнулъ и пошелъ на утекъ. Щукинъ за нимъ. Къ счастью, становой черезъ недѣлю захворалъ, возбуждать дѣло было некогда, а потомъ его перевели въ другое мѣсто.

Съ той поры Ѳедьку Щукина всякій зналъ. Для дѣла, придуманнаго Шаровымъ, онъ какъ разъ годился. Дѣйствительно, лишь только сборщикъ явился къ нему, онъ безцеремонно выпроводилъ его вонъ. Произошло замѣшательство. Земля должна быть оплачена, а, между тѣмъ, никто не платилъ. Потянули тѣхъ самыхъ несостоятельныхъ хозяевъ, которые отдали Щукину свои надѣлы. Тѣ опять указывали

на Щукина. Эта путаница отразилась, въ концѣ-концовъ, на самомъ безотвѣтномъ мужикѣ. Съ него неожиданно потребовали уплаты за его надѣлъ, но такъ какъ денегъ у него не нашли, то его выдрали безъ всякихъ отговорокъ. Чрезвычайно удивленный такою несправедливостью, онъ поочередно обошелъ всѣхъ трехъ товарищей, ругая каждаго на чемъ свѣтъ стоитъ. Щукинъ отдѣлался отъ него, вытолкавъ его въ шею. Шаровъ заговорилъ ему зубы. Но Михайло не могъ слова сказать.

Въ тотъ же день одинъ Михайло заговорилъ объ этомъ съ товарищами.

— А вѣдь жалко бѣднягу...—сказалъ онъ, сидя у Ивана въ избѣ, гдѣ находился и Щукинъ.

— Кого жалко?—спросилъ послѣдній.

— Да тово... мужиченка-то, Трофимова...

— Самъ онъ дуракъ! А ты тетеревъ! — презрительно засмѣялся Щукинъ.

— Да вѣдь онъ поплатился ни за что.

— Прямой тетеревъ!—подтвердилъ Щукинъ.

Михайло все-таки стоялъ на своемъ, думая, что тотъ мужикъ безвинно потерпѣлъ. Но, вмѣсто Щукина, возразилъ Шаровъ. Онъ говорилъ резонно, съ убѣжденіемъ.

— Видишь ли, другъ Михайло,—сказалъ онъ,—жалости онъ дѣйствительно достоинъ. Отчего не пожалѣть дурака, который не умѣетъ самъ защищать себя? Вреда отъ жалости нѣтъ. Но скажи мнѣ, пожалѣлъ-бы кто насъ? Ты вотъ объ этомъ подумай. Худо нынче тому, кто самъ не умѣетъ обороняться. Но жалѣть дурака можно,—вреда отъ этого нѣтъ.

На лицѣ Михайлы появилось жестокое выраженіе. Въ душѣ онъ согласился съ товарищемъ.

У него на этотъ счетъ не было опредѣленныхъ мыслей. Ему постоянно казалось, что во всемъ мірѣ онъ — сирота, брошенный человѣкъ, забитая тварь. Но это было настроеніе. Съ колыбели, когда его кормили жеваннымъ хлѣбомъ, набитымъ въ соску, до послѣдняго дня, когда онъ сталъ во главѣ разрушеннаго дома, онъ ни разу не испыталъ той нѣжности, которая смягчаетъ обозленное сердце. Мякина изуродовала его тѣло; безчеловѣчье, среди котораго онъ росъ, сдѣлало его жесткимъ. Умственной пищи никто не думалъ дать ему, а ту умственную мякину, которою пита-

лись его прадѣды, онъ не считалъ уже годной. И онъ выросъ столь же темнымъ, какъ его родители, но болѣе несчастнымъ, чѣмъ они, потому что желанія его были широки, а средства все такія же грошовыя. Онъ жаждалъ счастія и видѣлъ, что въ Ямѣ никто не знаетъ его. Онъ сталъ тогда ненавидѣть и отрицать всю Яму. Онъ иногда желалъ убѣжать изъ этого бездольнаго мѣста. Яма, воспитавъ его, показала ему свои язвы—безчеловѣчье, мякину, розги,—и онъ насквозь пропитался отрицаніемъ. Мало-по-малу онъ убѣждался, что разсчитывать въ жизни ему не на кого, кромѣ себя. Если желать что-нибудь получить, то это возможно не иначе, какъ силой. Въ противномъ случаѣ останешься въ дуракахъ. Отца его били, но онъ живьемъ не дастся. На всякое притѣсненіе онъ станетъ огрызаться. На безчеловѣчье онъ отвѣтитъ собственнымъ звѣрствомъ. Онъ ничего не знаетъ, но тѣмъ хуже, потому что всѣмъ своимъ сердцемъ онъ чувствуетъ, что жить худо.

Стоитъ сказать нѣсколько словъ о вещественномъ наслѣдствѣ, доставшемся Михайлѣ.

Отецъ его собирался на заработки. Назначенъ былъ день его отхода. Но прежде, чѣмъ уйти, онъ рѣшилъ сдать на руки сыну все движимое и недвижимое имущество, такъ какъ сынъ сдѣлался настоящимъ мужикомъ. Совершилъ онъ это торжественно. Помолился Богу. Купили для такого торжества сорокоушку и сказали рѣчь, приличную случаю.

— Мишка! вотъ я тебѣ препоручаю! Владай всѣмъ имѣніемъ... Живи честно, работай какъ слѣдуетъ, въ кабакъ не тащи...

Михайло слушалъ-слушалъ и засмѣялся.

— Да чѣмъ тутъ владать-то? Ничего нѣтъ!—сказалъ онъ.

Но отецъ разсердился на такое замѣчаніе и повелъ сына по двору съ намѣреніемъ показать все, что тамъ находилось. Но, въ концѣ-концовъ, онъ самъ, къ удивленію, убѣдился, что „владать“ нечѣмъ. Сараи были раскрыты; заплоты падали. Хозяйственныя и земледѣльческія орудія были однимъ прахомъ. Вмѣсто лошади, подъ сараемъ стояло чучело лошади, набитое соломой. Михайло съ нескрываемымъ презрѣніемъ

указалъ на всѣ эти провалы и ничтожество въ хозяйствѣ. Отецъ заволновался. Кажется, онъ только въ эту минуту разглядѣлъ свое нелѣпое житье. Не найдя у себя въ дѣйствительности ничего, онъ съ чрезвычайною торопливостью принялся сочинять небылицы. Водя сына по двору, онъ показывалъ видъ, что ищетъ много вещей, которыя были, но которыя теперь куда-то запропастились.

— А гдѣ желѣзная лопата?—спрашивалъ онъ озабоченно, какъ настоящій хозяинъ.

— Что ты врешь? Никакихъ лопатъ нѣтъ. Одно разоренье. И зачѣмъ ты затѣялъ эту канитель?—сказалъ Михайло, которому надоѣло слушать сочиненіе небылицъ.

— Мишка, не обижай меня! — грустно выговорилъ вдругъ отецъ.

— Да развѣ я самъ не знаю, что̀ у насъ есть? Небось, не растрачу. Все сберегу въ лучшемъ видѣ.

— Ты укоряешь меня бѣднотой?—спросилъ еще тоскливѣе отецъ.

— Ну, пошелъ!... Ты лучше скажи-ка, сколько долженъ Трешникову?

— Трешникову? Песъ его знаетъ... Никакъ немного,— сказалъ смущенный отецъ и почесалъ животъ.

— Надо думать! Чай, и голова-то у него въ закладѣ?— безпощадно допрашивалъ сынъ.

Отецъ положительно затосковалъ. Такъ вдругъ внутри у него засосало, что онъ едва слышалъ колкія слова сына. Потомъ ему показалось, что онъ что-то чуетъ недоброе.

— Чуетъ мое сердце, не къ добру!—сказалъ онъ.

— Еще что выдумалъ?

— Вѣрно тебѣ говорю. Чуетъ сердце, что не надо бы уходить мнѣ изъ дому.

— Что же можетъ случиться?

— Кто знаетъ... Сохрани Богъ! Либо не вернусь я, умру, либо тутъ дома какая ни на есть бѣда... Чую, худо будетъ!

— А ты сегодня вороны не видалъ?

Но отецъ ничего не отвѣчалъ на это. У него все еще сосало. Мысленно онъ уже прощался съ избой, со старухой, съ дѣдушкой, съ дѣтьми и съ буркой, и такая жалость напала на него, что на глазахъ у него показались слезы, и онъ только вздыхалъ. Чтобы потушить такое невыносимое

чувство, онъ съ глубокою печалью выпилъ стаканъ изъ сороковушки, купленной для торжества.

Бурную зиму провелъ Михайло послѣ ухода отца. Онъ запальчиво принялся хлопотать, чтобы поправить дѣла семьи, да и самому ему надоѣло ждать той минуты, когда онъ можетъ, безъ страха за свою участь, жениться. Прежде всего, онъ постарался привести въ извѣстность отцовскія дѣла. По отношенію къ хозяйству это не трудно было сдѣлать. Дѣло было ясное; домъ со всѣми принадлежностями неумолимо разваливался. Стоило-ли хлопотать вокругъ него? Сперва этотъ вопросъ Михайло рѣшилъ утвердительно. Онъ жарко принялся работать на поправку, надѣясь сначала прикупить скота, а потомъ положить на избу заплаты, другія же части выстроить заново. Первое не удалось. Какъ онъ ни горячился, изнемогая въ работахъ, изобрѣтаемыхъ его товарищами, какъ ни крутился въ кучѣ дѣлъ, но денегъ на покупку скота не заработалъ; ежедневныя потребности семьи съѣдали всѣ плоды его дѣлъ. Свою лошадь онъ возненавидѣлъ; его раздражалъ одинъ видъ этой барабанной шкуры; онъ пересталъ ее почти кормить. Мать съ какимъ-то страхомъ слѣдила за поступками сына.

Второе желаніе—положить заплаты—скоро стало еще ненавистнѣе для него. Долгое время онъ съ утра до ночи стучалъ по дому топоромъ, пилилъ, долбилъ и наклалъ множество заплатъ. На это у него хватило терпѣнія и силы. Но когда онъ однажды увидалъ, что починенный имъ сарай имѣетъ наклонность все-таки пасть, имъ овладѣлъ припадокъ бѣшенства. Онъ схватилъ топоръ, наперся грудью и брюхомъ—и сарай палъ. На трескъ выбѣжали домашніе, даже дѣдушка, но Михайло просто объяснилъ, что надъ такою подлостью не стоитъ и мучиться. Съ этихъ поръ, что̀ бы ни дѣлалось на дворѣ, онъ не обращалъ вниманія.

Михайло сталъ заботиться лишь о томъ, чтобы накормить семью, и любимое его времяпровожденіе состояло въ томъ, что онъ ложился подъ сараемъ на солому и мечталъ до поздней ночи. Странныя это были мечты! Чаще всего онъ видѣлъ съ какимъ-то замираніемъ сердца всеобщее крушеніе ненавистнаго для него мѣста. Видѣлъ, что вотъ эта изба, созерцаемая имъ, сію минуту хлопнется и разсыпется въ безобразную кучу. И отъ души желалъ, чтобы это такъ

вышло. Пускай здохнетъ шкура... падетъ амбаръ... сгніетъ, какъ старый грибъ, погребица... пускай на этомъ мѣстѣ ничего не будетъ, все мигомъ пропадетъ—лучше! Онъ снова все заведетъ. Дѣлать заново все дочиста лучше, чѣмъ класть заплаты на старье. Пусть все сгинетъ, какъ сонъ. Тогда онъ новую жизнь начнетъ, и, можетъ быть, доля ему выпадетъ счастливѣе отцовской. Онъ бы все вотъ раскаталъ по бревну, но это гнилье—не его, а отцовское. Хоть бы громомъ и молніей спалило все это ненавистное, мучительное жилье!

Михайло зналъ, что главное его наслѣдство отъ отца—долги, отъ которыхъ нѣтъ нигдѣ спасенья. Но приходили мимолетныя минуты, когда онъ думалъ объ отцѣ съ сожалѣніемъ. Жалко и обидно становилось за этого поломаннаго человѣка. Михайло желалъ чѣмъ-нибудь удружить ему, помочь, усладить его горькую долю. Къ нему приблизилась уже старость, силы его видимо слабѣли; отъ всего сердца Михайло придумывалъ способы успокоить его на концѣ жизни. Въ эти мгновенія Михайло дѣлался спокоенъ, почти нѣженъ, ласково говорилъ съ семействомъ, не привыкшимъ вообще слушать его разговоры. Дѣдушку онъ переставалъ дразнить, сестрамъ покупалъ гостинцы, въ видѣ платковъ. Съ матерью обходился въ особенности хорошо, старался всѣми силами услужить ей и разъ купилъ ей кожаные башмаки. Когда мать растрогалась отъ такой ласки, онъ почувствовалъ себя на минуту счастливымъ.

Но такія минуты улетали, какъ дымъ, разгоняемый дѣйствительностью. Внутри его снова поселился волкъ.

Долго онъ не могъ собраться сходить въ волость и къ Трешникову, чтобы узнать количество отцовскихъ долговъ, но, наконецъ, нашелъ время. Сперва онъ отправился въ волость. Тамъ ему показали все. Сказанная цифра была такъ велика, что даже онъ съ невольнымъ страхомъ проговорилъ: „Ухъ, какая прорва!“ Впрочемъ, черезъ минуту успокоился. Этотъ долгъ не очень пугалъ его и не много онъ думалъ о немъ. Выходя изъ правленія, онъ сказалъ: „Чортъ съ нимъ!“

Не то вышло у него съ Трешниковымъ. Михайло чувствовалъ ко всей этой семьѣ непреодолимый страхъ, несмотря на свою смѣлость и негодованіе. Еще мальчишкой онъ дрался до крови съ сыномъ Трешникова, сверстникомъ своимъ. Онъ не любилъ этого плаксу, и тогда уже Гаврюшка, какъ его

вали, всегда возбуждалъ въ его кулакахъ зуд[illegible]ывало, Мишка то дастъ ему въ носъ хорошаго тумака, то повалитъ на землю и прибьетъ. Гаврюшка былъ, однако, коварный мальчишка; онъ ревѣлъ, когда на него насѣдалъ свирѣпый Мишка, но, улучивъ минуту, изъ-за угла пускалъ въ голову послѣдняго камнемъ. Сколько разъ Мишка приходилъ отъ него съ разбитою рожей! Теперь они, конечно, не дрались, но ихъ взаимная антипатія еще болѣе усилилась. Михайло видѣть не могъ этого выхоленнаго и наглаго сынка, державшаго себя заносчиво, съ сознаніемъ, что онъ—наслѣдникъ разбогатѣвшаго мельника. Лѣнтяй и шелопай, онъ уже стыдился черной работы, день-деньской слонялся по дому отца и покрикивалъ на рабочихъ. Онъ принадлежалъ къ той еще не многочисленной, но безпутной деревенской молодежи, которая въ Ямѣ и подобныхъ ей мѣстахъ играла роль золотой молодежи. Онъ былъ отлично знакомъ со всѣми окрестными увеселительными мѣстами, умѣлъ пить виноградныя вина, курилъ папироски и ходилъ въ смазныхъ сапогахъ. Въ праздничные дни онъ выходилъ на улицу затѣмъ только, чтобы показать деревенскимъ парнямъ и дѣвкамъ свою великолѣпную фигуру, плисовый пиджакъ, смазные сапоги и цѣпочку отъ часовъ. Къ играмъ и разговорамъ молодежи онъ, конечно, не прикасался, смотря на всѣхъ гордо, какъ гусь. Отчего это у всякаго разжирѣвшаго мужика, энергіею проложившаго себѣ путь къ богатству, дѣти почти всегда выходятъ дохлыми и съ задатками идіотизма? Несомнѣнно, что Гаврило Трешниковъ былъ дохлый идіотъ, которому предстояло послѣ смерти отца наполнить окрестность скотскими поступками.

Михайло, встрѣчаясь съ нимъ и его отцомъ, нарочно не сдвигалъ шапки со лба. Его отецъ былъ крѣпко связанъ съ Трешниковымъ, но въ Михайлѣ это возбуждало только дикія чувства, но не раболѣпство. Онъ явился къ Трешникову поговорить зубъ-за-зубъ. Безъ всякихъ околичностей, онъ спросилъ, въ какой суммѣ повиненъ его отецъ? Трешниковъ велѣлъ подождать на дворѣ. Это ожиданіе продолжалось очень долго. Наконецъ, мельникъ вынесъ зажатыми въ горсти кучу замазанныхъ и рыжихъ клочковъ бумаги, изображавшихъ векселя.

— Вотъ гдѣ сидитъ твой отецъ! Вотъ ихъ сколько, вексельковъ-то!—сказалъ Трешниковъ.

Михайло съ недоумѣніемъ оглядѣлъ горсть засаленныхъ бумажекъ.

— Да ты не хочешь-ли наняться ко мнѣ въ батраки, можетъ, затѣмъ и пришелъ?—спросилъ мельникъ.

— Въ батраки къ тебѣ я не пойду, а хочу знать, сколько на отцѣ ты считаешь?—возразилъ Михайло.

— Ты хочешь платить за отца? Не больно-ли ты прытокъ, парень?

— А сколько годовъ ты еще будешь мучить отца?—спросилъ сдержанно Михайло.

— Ахъ, ты, молокососъ! Да ты бы долженъ въ ноги поклониться мнѣ, что я кормилъ твоего отца! Да я и говорить съ тобой не стану, рвань ты эдакая!

Михайло дико озлился, слушая это.

— Жирный песъ!—наконецъ, проворчалъ онъ.—Больше я тебѣ ничего не скажу. Прощай, туша! Попался бы ты мнѣ въ другомъ мѣстѣ... Ну, да прощай!

Михайло вышелъ со двора, не оглядываясь. Онъ понялъ, что отецъ его пропалъ. И поправить его нельзя. Онъ воочію видѣлъ, какъ отецъ помираетъ, задавленный худыми дѣлами. Тогда въ его груди появилось новое чувство, до этой поры не извѣданное имъ: месть.

Съ этого дня онъ уже не любилъ оставаться дома. Появляясь домой, онъ глядѣлъ волкомъ и всѣ семейные боязливо обращались съ нимъ. Достаточно было перваго случая, чтобы сдѣлать его окончательно чужимъ семьѣ.

Какъ-то весной, когда со дня на день въ домѣ Луниныхъ ждали отца съ заработковъ, въ деревнѣ оповѣстили всѣхъ домохозяевъ, что пріѣхалъ старшина изъ волости и приказываетъ всѣмъ собраться на съѣзжую. Домохозяева собрались, но молодежи собралось больше, чѣмъ пожилыхъ мужиковъ. Многіе еще не вернулись съ заработковъ. Пожилые стояли особою кучкой, въ ожиданіи выхода начальства. Они держали себя степенно. Ожидая нагоняя, они заранѣе какъ бы подготовлялись къ своей участи. Въ то же время молодежь обнаруживала всѣ признаки недовольства и роптала, что людей безъ дѣла держатъ столько времени. Пожилые и смирные уговаривали ропщущихъ замолчать, потому что старшина и такъ, сказываютъ, пріѣхалъ сердитый и очень гнѣваться будетъ, если ему станутъ досаждать. Молодежь не унималась

и ругала во всеуслышаніе начальника, пока тотъ не вышелъ.

Онъ, дѣйствительно, сердито оглядѣлъ собравшуюся на дворѣ толпу; затѣмъ сказалъ краткую, но сильную рѣчь.

— Эй, вы, идолы, знаете-ли, гдѣ я вчерась сидѣлъ?

Старшина замолчалъ. На лицахъ молодыхъ отразилось недоумѣніе. Но смирные боязливо возразили:

— Какъ же мы можемъ, ваше степенство, знать, гдѣ вы сидѣли?

— „Какъ же мы можемъ знать!“ — передразнилъ старшина. — Въ кутузѣ я сидѣлъ вчерась — это, чай, можно сообразить!

Въ толпѣ молодежи послышался сдержанный смѣхъ. Но пожилые жалостливо покачали головой.

— Сохрани Богъ! — сказали они.

— Въ кутузкѣ сидѣлъ, въ кутузкѣ, идолы! А черезъ кого? — спросилъ старшина.

— Сохрани Богъ, ежели черезъ насъ...

— Черезъ васъ. Не черезъ кого больше, какъ черезъ васъ!

Въ средѣ молодежи смѣхъ сдѣлался общимъ.

Старшина разъярился.

— Вы надъ чѣмъ зубы-то скалите, а? Погоди ужо, я вамъ пропишу смѣхъ... Эй, ребята, заприте ворота! Не смѣть выходить!

Ворота заперли. Лица собравшихся вытянулись.

— Неси, ребята, хворосту! Начнемъ. Господи благослови!

Пожилые сдавались безропотно, но молодежь заволновалась. Послышались рѣзкія возраженія.

— Что же это мы, ребята, глядимъ, разиня ротъ? — сказалъ кто-то.

— Мы, ваше степенство, на это не согласны! — сказалъ другой.

— Взыскивайте съ отцовъ, а мы неповинны! — замѣтилъ Михайло.

— Руки еще коротки, ваше степенство! — сказалъ Щукинъ, ухмылясь.

— Ахъ, вы, молокососы! Ребята, хватай сперва вотъ этихъ двухъ сорванцовъ! Слава Богу, вспомнилъ: на этого Мишку Лунина уже давно жаловался Трешниковъ. Вотъ ихъ!

Но тутъ вышло невообразимое смятеніе. Михайло съ Ѳедь-

кой вырвались послѣ отчаянной борьбы и бросились къ воротамъ. Вслѣдъ за ними хлынула, какъ буйное стадо, остальная толпа. Ворота сшибли и бросились въ разсыпную, кто куда могъ. Черезъ мгновеніе на дворѣ осталось пять-шесть мужиковъ, да множество шапокъ, рукавицъ и кушаковъ, въ безпамятствѣ брошенныхъ бѣжавшими. Старшина не зналъ, что предпринять ему, и рѣшилъ ѣхать жаловаться.

И выдался же этотъ денекъ для Ямы! Скромная, тихая, почти мертвая деревенька взволнована была неслыханными происшествіями. Послѣ паническаго бѣгства изъ съѣзжей избы ночь всѣми проведена была тревожно. И вдругъ на слѣдующее утро разнеслись изъ конца въ конецъ вѣсти, одна другой изумительнѣе. Одна касалась старшины. Онъ вечеромъ поѣхалъ въ волость, разгнѣванный, но больше удивленный окончаніемъ сходки въ Ямѣ, и рѣшалъ въ умѣ, какую награду припасти для сорванцовъ, устроившихъ ему такую пакость. Дорога его шла по кустарникамъ, продолжающимся вплоть до мельницы Трешникова. Свѣтила луна, виднѣлись звѣзды. Вдругъ, уже возлѣ мельницы, изъ кустовъ, съ противоположныхъ сторонъ дороги, выскакиваютъ разомъ два страшныхъ человѣка. Они были одѣты въ вывороченные шерстью вверхъ тулупы. Лошади, увидавъ такихъ чудовищъ, рванулись въ сторону, телѣжка опрокинулась, кучеръ полетѣлъ въ одну сторону, старшина въ другую. И лишь только онъ палъ на землю, какъ почувствовалъ, что на него кто-то насѣлъ. Онъ безропотно ждалъ своей участи. Но разбойники помяли его немного и слѣзли, сказавъ: „Помни это. Худо тебѣ будетъ, если эти глупости не оставишь, помяни слово!“ Вслѣдъ затѣмъ тулупники скрылись въ кустахъ.

Старшина долго не могъ придти въ себя, но, опамятовавшись, однимъ махомъ вскочилъ въ телѣжку и поскакалъ дальше, со страхомъ оглядываясь назадъ. Онъ сообразилъ, конечно, что сыгранная съ нимъ пакость дѣло рукъ кого-нибудь изъ давишнихъ сорванцовъ, и полетѣлъ во весь духъ домой. Прискакавъ къ себѣ, онъ рѣшительно ничего путнаго не объяснилъ домашнимъ. Всѣмъ было ясно, что онъ чего-то испугался, но на вопросы отвѣчалъ только, что теперь ничего не можетъ рѣшить.

Въ то же утро, но еще съ большимъ страхомъ, проснулся Трешниковъ. У него за ночь спустили прудъ. Весеннее поло-

водье прошло, плотина была поправлена и мельница начинала ужь работу. Трешниковъ взвылъ. Онъ бросился на мельницу. Тамъ было полное разрушеніе. Одно мельничное колесо было сорвано съ вала. По берегамъ рѣки валялись кучи хворосту, лѣса, балокъ, камней. Дернъ весь уплылъ. Обширное водное пространство превратилось въ мелкій ручей, который можно было перейти съ одного берега на другой. Работники при мельницѣ ничего не знали. Засыпка лишился языка и ходилъ по берегу, какъ помѣшанный. Онъ нашелъ двѣ длинныя заостренныя жерди да одинъ вывороченный шерстью вверхъ тулупъ, и молча указывалъ на эти вещи. Дѣло было ясное. Плотину прокопали этими жердями, сдѣлавъ большую дыру снизу плотины, пока, наконецъ, не образовался огромный провалъ. Тогда вода съ ревомъ устремилась въ него, но, сдавленная его боками, разорвала скрѣпы, и вся громадная масса дерну, лѣса и булыжника рухнула. Трешниковъ увидѣлъ, что работа многихъ лѣтъ уничтожена.

Онъ поскакалъ обратно въ деревню и началъ созывать народъ дѣлать плотину. Однихъ онъ умолялъ, другимъ обѣщалъ простить ихъ долги, третьимъ сулилъ хорошія деньги. Многіе согласились. Они забыли обиды мельника, его притѣсненія, его жадность; видѣли въ немъ только человѣка въ несчастіи и изъявляли готовность навозить ему гору земли, камней, лѣсу.

Къ этому времени мало-по-малу подходили люди съ заработковъ, между прочимъ, и отецъ Лунинъ. Приходящіе, узнавъ о случившихся происшествіяхъ, покачивали головами. Никто не спрашивалъ, кто и зачѣмъ это сдѣлалъ. Большинство догадывалось и молчало. Но все-таки дѣло само по себѣ оставалось темнымъ. Надъ Ямой повисло какое-то новое преступленіе.

Черезъ нѣсколько дней вернулся домой Щукинъ. Раньше его пришелъ Михайло. Въ суматохѣ ихъ не замѣчали. Михайло, прежде всего, побывалъ въ избенкѣ Паши. Онъ сказалъ ей, что надо уходить вонъ изъ деревни. Та ни минуты не задумалась. Больная старуха Мароа жалобно застонала, когда узнала, что дочь ее бросаетъ. Ей оставалось только поскорѣе умереть.

Когда Михайло появился дома, худой, какъ будто нѣсколько дней лежалъ въ тяжкой болѣзни, сестры и мать, отецъ и дѣдушка смутились. Но чтобы предупредить всякіе разспросы, онъ немедленно заявилъ, что уходитъ изъ деревни пока вонъ,

и просилъ отца выслать ему паспортъ. Эти слова пали камнемъ на всѣхъ. Михайло видѣлъ, какъ всѣ замерли отъ его словъ. Отецъ сидѣлъ неподвижно и смотрѣлъ въ полъ. Дѣдушка свѣсилъ свою дыню съ печи и даже не шепталъ, остановивъ безжизненный взглядъ на внукѣ. Сестры жались къ углу. Эта нѣмая сцена произвела тяжелое впечатлѣніе на Михайлу. „Мертвые!"—подумалъ онъ. Всѣ сидящіе въ избѣ показались ему мертвецами, и это еще скорѣе погнало его вонъ. Пускай мертвые живутъ, какъ знаютъ!...

Ему было жалко только мать. Сутки, которыя онъ провелъ дома, онъ говорилъ только съ ней. Никогда онъ не любилъ ее, но теперь почувствовалъ стыдъ, жалость и сочувствіе въ виду этой дряхлой старухи. Онъ сознался ей во всемъ. У него своя жизнь,—зачѣмъ же ему связывать себѣ руки? Это онъ такъ прямо и сказалъ.

— А когда самъ по себѣ буду жить, можетъ, и придетъ мнѣ счастье,—заключилъ онъ.

Старуха не понимала этого своеобразнаго эгоизма. Она вздыхала не о себѣ, а о сынѣ. Какъ будетъ онъ жить одинъ на свѣтѣ? Есть-ли у него какія средства?

Средствъ Михайло не имѣлъ никакихъ. Голыя руки, темная голова, полное мести сердце—вотъ все, чѣмъ онъ обладалъ. Но едва лишь мать напомнила ему ничтожность его силъ, онъ засверкалъ глазами. Онъ вѣрилъ въ себя. Она прислушивалась къ его словамъ, какъ бы желая запомнить всякую мелочь въ сынѣ, и гладила рукой по его лицу, ощупывала его голову. Михайло уговаривалъ ее не горевать, говоря, что издалека онъ вѣрнѣе поможетъ имъ.

Старуха уже вечеромъ отпустила его. Она вышла съ нимъ на дворъ, потомъ на улицу и смотрѣла и прислушивалась, стараясь понять, куда онъ пошелъ, но она ничего не видала по своей слѣпотѣ и не слыхала его шаговъ, потому что была глуха. Да и безъ того надъ деревней повисла ночь.

II.

Легкая нажива.

Все благопріятствовало бѣгству Михайлы, когда, въ сообществѣ съ Пашей, онъ бросилъ свою Яму, гдѣ ему житья

не стало. Вышли они изъ деревни почти безъ денегъ, съ какими-то копѣйками, которыхъ не могло хватить даже до того города, куда они стремились. Предстояло побираться ради Христа — единственный и излюбленный способъ пропитанія отправляющихся на заработки мужиковъ. Но для этого Михайло былъ слишкомъ молодъ, и не въ его характерѣ было просить и вызывать къ себѣ жалость. Тѣмъ не менѣе, онъ вѣрилъ въ свое счастье и теперь всѣми помыслами устремился къ городу.

На первый разъ случай его выручилъ.

Въ одномъ селѣ, стоявшемъ на пути въ городъ, Михайлѣ съ Пашей пришлось заночевать. Едва они поѣли, какъ въ избу вошелъ сотскій этого села и привязался: кто, откуда, по какимъ причинамъ? Михайло сперва грубо пробурчалъ подъ носъ, видя, что сотскій присталъ просто отъ бездѣлья. Но сотскій пришелъ въ азартъ и велѣлъ сейчасъ же казать ему виды. Къ несчастью, вида у Михайлы не было; онъ его надѣялся получить въ городѣ. А пока молча осматривалъ сельскаго начальника, размышляя про себя, что̀ лучше: поднести-ли ему косушку, на которую тотъ, очевидно, напрашивался, или дать хорошаго леща по уху, что собственно Михайлѣ больше нравилось? Но пришедшій въ неистовство сотскій не далъ времени рѣшить эту задачу и повлекъ обоихъ путешественниковъ въ волость. Изъ всего этого произошла польза.

Такъ какъ старшины въ „присутствіи“ не оказалось, то сотскій предоставилъ пойманныхъ писарю, со словами: „какіе-то люди“... Послѣ минутнаго допроса писарь послалъ сотскаго къ чорту, а вслѣдъ за нѣсколькими дальнѣйшими вопросами, обращенными къ парню и дѣвкѣ, оказалось, что послѣдняя желаетъ найти мѣсто кухарки, которая именно и требовалась писарю. Черезъ короткое время дѣло сладилось. Паша сперва колебалась, — жалко ей было разставаться такъ скоро съ Михайлой, но послѣдній съ какою-то поспѣшностью подалъ ей совѣтъ принять предложеніе писаря, послѣ чего Паша безпрекословно повиновалась.

Михайлѣ также вдругъ нашлось дѣло — переколоть сажени двѣ писарскихъ дровъ, съ платой по гривеннику за сажень, причемъ писарь увѣрялъ, что это даже очень дорого. Михайло и на это согласился, но тутъ же далъ себѣ клятву, что

такими пустыми дѣлами онъ займется въ послѣдній разъ и то только потому, что до города у него не хватаетъ денегъ на хлѣбъ. Онъ свои таланты цѣнилъ неизмѣримо дороже, съ какимъ-то фанатизмомъ вѣря, что теперь, бросивъ свое глупое хозяйство, онъ дойдетъ до всего.

Съ Пашей онъ на другое утро простился безъ малѣйшаго сожалѣнія; она заплакала, провожая его, а онъ стоялъ безчувственнымъ. О покинутыхъ домашнихъ въ Ямѣ онъ давно забылъ. Теперь забылъ онъ и Пашу, положительно не зная, чтò ей сказать. Она ему казалась даже обузой, безъ нея въ городѣ онъ скорѣе могъ сколотить капиталъ,—единственная мысль, занимавшая его во все время, пока онъ прощался съ дѣвушкой.

Выйдя, наконецъ, изъ села, онъ былъ охваченъ восторгомъ. Ему нужны были просторъ, свобода, и, очутившись одинъ, со всѣми развязанный, онъ почувствовалъ необыкновенное волненіе. Вопреки своей угрюмости, онъ весело подпрыгнулъ, когда увидалъ себя на полѣ, подъ открытымъ яснымъ небомъ, по дорогѣ въ городъ. Онъ какъ будто освободился отъ каторги. На Яму онъ смотрѣлъ, какъ на каторгу; тамъ онъ дѣлалъ то, отъ чего не видалъ никакой пользы, пахалъ землю, которая иногда не давала и мякины, ухаживалъ за домомъ, который въ общей сложности не стоилъ ни копѣйки, жилъ съ людьми, которые очумѣли отъ нищеты, и вообще подчинялся чужой, какой-то неизвѣстной пользѣ, а не своей. Каторга и есть! Главное, Михайло не понималъ, зачѣмъ, когда другіе подыхаютъ, и ему надо подохнуть, не понималъ этой общности несчастій, этого единства бѣды! Потому онъ такъ и ненавидѣлъ Яму, что не имѣлъ желанія подохнуть, а, между тѣмъ, Яма непремѣнно требовала этого отъ него.

Теперь эта каторжная деревня осталась позади. Михайло рѣшилъ на сто верстъ не подходить къ Ямѣ, боясь, какъ бы его опять не стали неволить къ смерти. Онъ шелъ быстро, желая поскорѣе удалиться отъ знакомыхъ мѣстъ.

Онъ шелъ разбогатѣть. Одна эта мечта волновала его. „Разживусь“,—думалъ онъ и ускорялъ шагъ. „Поставлю домъ“,—соображалъ онъ и устремлялся впередъ. Онъ всего наживетъ, заведетъ себѣ новую одежду, будетъ ходить въ „пальтѣ“ табачнаго цвѣта, а женѣ сошьетъ зеленое платье и

будетъ жить... Соображалъ онъ все это и бѣжалъ впередъ, просто летѣлъ, причемъ лоскутья его одежды развѣвались, какъ перья. Къ вечеру усталость брала свое. Ноги его ныли, хотѣлось ѣсть, спать, ни о чемъ не думая. Тогда на него нападало сомнѣніе. Созданная въ пространствѣ жизнь вдругъ пропадала, вмѣсто нея являлась дѣйствительность, т.-е. разбитыя ноги, желаніе отдохнуть и нѣсколько копѣекъ въ штанахъ.

Но на утро, когда силы возстановлялись, солнце свѣтило и дорога была открыта, Михайло доводилъ себя понемногу снова до прежняго взволнованнаго состоянія и летѣлъ впередъ, какъ птица.

На третій день онъ былъ уже въ городѣ.

Какъ всякій деревенскій парень, впервые попавшій въ чудное мѣсто, называемое губернскимъ городомъ, ничего о послѣднемъ не знаетъ, такъ точно и Михайло ничего не понималъ, куда ему двинуться, гдѣ переночевать и за что прежде всего взяться. Впрочемъ, Михайло велъ себя самоувѣренно и не унывалъ. Остатокъ дня, въ который онъ появился въ городъ, онъ прослонялся по улицамъ и площадямъ и нисколько не растерялся. Шатаясь по одной пустынной площади, онъ замѣтилъ нѣсколько телѣгъ, около которыхъ были привязаны кони, а подъ телѣги укладывались спать мужики, и рѣшилъ, что здѣсь ему можно будетъ отдохнуть. Послѣ чего онъ выбралъ сухое мѣсто, положилъ шапку въ голову и проспалъ, какъ убитый, до утра. Словомъ, первый свой дебютъ онъ продѣлалъ безъ всякаго смущенія, не страдая еще отъ вопроса, что̀ ему теперь дѣлать.

Этотъ вопросъ испугалъ его только на слѣдующее утро, когда, едва продравъ глаза отъ толчка въ бокъ, онъ увидѣлъ передъ собой городового и понялъ, что послѣдній гонитъ его съ мѣста.

— Ишь, гдѣ нашелъ мѣсто дрыхнуть! Чисто охальники! Напьются и лежатъ гдѣ угодно... Пошелъ вонъ!

У Михайлы не было даже времени отгрызнуться, какъ это онъ сдѣлалъ бы при другихъ обстоятельствахъ. Онъ сейчасъ всталъ и пошелъ. А куда—этого онъ съ просонья не могъ сообразить. Въ самомъ дѣлѣ, куда дѣваться дикому парню, явившемуся въ сравнительно толкучее мѣсто буквально на босую ногу, съ голыми руками, безъ знанія ремесла,

безъ знакомыхъ и безъ всякой опредѣленной цѣли, съ однимъ лишь смутнымъ желаніемъ получить кусокъ и съ еще болѣе смутною жаждой какъ-нибудь „разжиться". Пришлось опять слоняться по улицамъ и площадямъ. Въ одномъ мѣстѣ Михайло увидалъ десятка два чернорабочихъ, копавшихся, подобно муравьямъ, въ какомъ-то громадномъ домѣ, закоптѣломъ и полуразрушенномъ. Какъ ни былъ нелюдимъ Михайло, но спросилъ одного рабочаго, что тутъ дѣлаютъ. Тотъ охотно ему объяснилъ, что домъ недавно сгорѣлъ, такъ вотъ теперь хозяинъ думаетъ поставить на его мѣсто новый, для чего и приказалъ разобрать кирпичи, отдѣливъ годные отъ негодныхъ. „А что касательно платы, такъ онъ кладетъ по пятнадцати копѣекъ на носъ, хочешь бери, а не хочешь—твоя воля. А ты также пришелъ на работу?"—спросилъ словоохотливый мужичекъ, кончая объясненіе.

На утвердительный отвѣтъ Михайлы рабочій съ величайшей готовностью указалъ, гдѣ живетъ хозяинъ. Михайло пошелъ и нанялся.

Это было для него разочарованіе. И такая на него злость напала, что онъ какъ попало швырялъ кирпичи, смотря недоброжелательно на своихъ неожиданныхъ товарищей. Онъ вообще не любилъ толпы, а здѣсь ему просто словомъ не хотѣлось обмолвиться. Онъ пришелъ въ городъ для себя, по своимъ дѣламъ, и желалъ знать только себя; прочіе люди ему не нужны были; отъ нихъ, отъ прочихъ людей, онъ думалъ только нажиться. Онъ не желалъ мѣшаться въ какую бы то ни было артель; ему думалось, напротивъ, что товарищи только помѣшаютъ его дѣламъ.

И вдругъ ему волей-неволей пришлось влѣзть въ толпу и подчиняться ей безъ всякаго возраженія. Когда люди носили кирпичи—и онъ долженъ былъ вмѣстѣ съ ними ту же работу работать. Тѣ шли ѣсть хлѣбъ съ водой — и онъ вмѣстѣ съ ними долженъ ѣсть. Всѣ отправлялись вечеромъ на задній дворъ на солому — и онъ принужденъ былъ зарываться въ солому до слѣдующаго утра, когда снова повторялось то же самое. Всѣмъ приходилось на носъ по пятнадцати копѣекъ --и онъ зарабатывалъ эти несчастныя пятнадцать копѣекъ. А прежде ему почему-то думалось, что онъ будетъ работать одинъ. Теперь, когда онъ въ этомъ разубѣдился, ему оставалось только сердиться, что онъ и дѣлалъ. Ненавидѣлъ онъ

здѣсь все: и кирпичи, и пятнадцать копѣекъ, и хлѣбъ, и солому, и всѣхъ товарищей.

Мало того, черезъ нѣсколько дней Михайло узналъ, что попалъ онъ не въ артель даже, а въ какой-то сбродъ лоскутниковъ, которые жили со дня на день и радовались, получая по пятнадцати копѣекъ.

Изъ этого города часто писали въ газеты, что въ немъ происходитъ періодическое наводненіе голоднымъ деревенскимъ людомъ, отъ котораго въ иныя времена отбою нѣтъ городскимъ жителямъ. По зимамъ скоплялось несмѣтное множество народа, жаждущаго заработковъ, и городское начальство просто терялось, недоумѣвая, куда его дѣвать. Постоялыхъ дворовъ часто не хватало, да у большинства странныхъ пришельцевъ и платить за ночлегъ было нечѣмъ. Устроенъ былъ даровой ночлежный пріютъ, но и за всѣмъ тѣмъ оставалась масса людей безъ пристанища. Нерѣдко, по зимамъ, городъ долженъ былъ выдавать такимъ по двѣ копѣйки на ночлегъ.

Въ остальныя времена года главныя силы этой арміи ретировались назадъ, въ глубь деревень, разумѣется, только до слѣдующей зимы, когда, поѣвъ весь урожай, странные полки снова двигались на городъ. Но все-таки въ городѣ круглый годъ стоялъ значительный отрядъ арміи, состоящій преимущественно изъ окончательно оголтѣлыхъ, для которыхъ явиться въ деревню значило все равно, что попасть въ засаду къ непріятелю и умереть. Къ нимъ присоединилась нѣкоторая часть мѣстныхъ обывателей и другихъ горькихъ мучениковъ.

Городскіе жители весь отрядъ въ совокупности называли „босоногою ротой", намекая этимъ названіемъ на ничтожное распространеніе среди этихъ людей необходимой одежды. Иногда просто ихъ называли „гуси лапчатые", что, впрочемъ, болѣе относилось къ нравственности босоногихъ, потому что нѣкоторые изъ нихъ вели себя неспокойно, вѣчно подвергаясь подозрѣнію въ кражахъ, въ буйствѣ, въ нахальномъ попрошайничествѣ и въ другихъ проступкахъ. Но большинство держало себя смирно, почти забито. Не было людей, болѣе готовыхъ на всякую работу за какое угодно вознагражденіе.

Не задолго до прихода въ городъ Михайлы, въ началѣ

весны, произошелъ такой случай. Затерло льдомъ баржу съ хлѣбомъ. Судно уже трещало. Ледъ громадными глыбами напиралъ на него съ боковъ, спереди, сзади, сверху и снизу. Плывшій сверху рѣки новый ледъ громоздился на старый, ломался около судна, падалъ на его палубу, давилъ борты. Достаточно было полчаса, чтобы отъ баржи не осталось слѣда. Взволнованный судохозяинъ кликнулъ босоногихъ. Послѣдніе мигомъ слетѣлись на зовъ, кто съ багромъ, кто съ коломъ или жердью, а большая часть съ голыми руками. Мигомъ баржа была облѣплена людомъ. Ледъ въ самое короткое время былъ уничтоженъ, оттолкнутъ, искрошенъ. Босоногіе буквально не щадили живота, хотя заранѣе знали, что больше „пятнадцати копѣекъ на носъ" никто не получитъ. Одинъ изъ нихъ совсѣмъ утонулъ среди разгара работы, нѣсколько человѣкъ выкупалось и получило смертельныя простуды, но баржа была освобождена и босоногіе получили по пятнадцати копѣекъ и по стакану водки. Жизнь ихъ цѣнилась копѣйками; работа обращалась въ убійство. Но когда и такой работы не находилось, многіе надѣвали кошели и обивали пороги.

Михайло былъ сильно раздраженъ близостью къ такимъ отрепаннымъ людямъ. Въ свою очередь, послѣдніе платили ему тѣми же чувствами, смотря на него, какъ на чужого, какимъ онъ и былъ по справедливости. Только съ однимъ онъ обмѣнивался разговорами, да и то помимо своей воли. Это былъ тотъ самый рабочій, по имени Сема, который въ первый день указалъ, гдѣ живетъ хозяинъ разрушаемаго дома. Прозвища у него, повидимому, не было; по крайней мѣрѣ, всѣ его звали Семой, хотя это выходило странно, потому что Сема былъ уже довольно пожилой человѣкъ.

Всегда онъ выглядѣлъ спокойно; работалъ безропотно и съ большимъ чувствомъ; хлѣбъ ѣлъ радостно и также съ чувствомъ, громко благодаря Бога до и послѣ незамысловатой ѣды. Настроеніе его всегда было легкое; казалось, на душѣ его всегда было тихо и свѣтло. Ни съ кѣмъ онъ не ругался, самыя ругательства выходили у него ласкательными. Михайло невольно переставалъ дичиться и питать злобу, когда работалъ подлѣ этого легкаго мужичка; не въ силахъ онъ былъ сказать грубость, когда Сема обращался къ нему съ какими-нибудь словами. А обращался Сема безпрестанно,

видимо, скучая отъ безмолвія; если не съ кѣмъ ему было перекинуться словомъ, онъ разговаривалъ съ кирпичами. Достаточно было Михайлѣ коротко отвѣтить, чтобы вызвать у Семы цѣлую рѣчь. Грубое, но все же юношеское сердце Михайлы не могло устоять противъ этой душевной легкости.

Сема былъ услужливъ. Въ первый же день онъ предложилъ Михайлѣ постель, то-есть удобный уголъ, набитый соломой и закрытый со всѣхъ сторонъ отъ вѣтровъ. Всѣ рабочіе въ повалку спали на заднемъ дворѣ купца, и Сема тамъ же почивалъ, выбравъ только удобный уголокъ. Но, завладѣвъ имъ, онъ совѣстился безраздѣльно обладать такимъ благополучіемъ и пригласилъ спать съ собой Лунина.

Но, помимо душевной легкости, Михайло потому еще сталъ снисходительно относиться къ Семѣ, что онъ былъ положительно интересенъ. Онъ прошелъ Русь, кажется, вдоль и поперекъ. То и дѣло въ разговорѣ онъ вставлялъ такія выраженія: „Когда я былъ въ Крыму, о ту пору вотъ какой произошелъ случай“... Или скажетъ: „Жилъ я, прямо тебѣ сказать, на Кавказѣ въ ту пору“... Михайло сначала поражался этими заявленіями Семы и съ удивленіемъ переспрашивалъ:

— Да развѣ ты былъ на Кавказѣ?

— А то какже. Мы тамъ, въ эфтомъ Кавказѣ, почитай, съ полгода жили,—отвѣчалъ Сема, самъ нисколько не удивляясь своей перелетной жизни.

Ближе познакомившись съ нимъ, Михайло пересталъ восклицать; онъ убѣдился, что Сема вездѣ побывалъ, даже въ такихъ мѣстахъ, которыя Лунину по имени были неизвѣстны.

Михайло съ живѣйшимъ любопытствомъ слушалъ разсказы про неизвѣстныя страны.

Происходило это въ послѣднее время жизни Семиной, какъ самъ же онъ разсказывалъ, очень просто. По Руси ходятъ тысячи жаждущихъ работы, разоренныхъ у себя дома и ищущихъ пищи на сторонѣ. Ходятъ эти толпы всюду, откуда только пахнетъ заработкомъ, ходятъ чутьемъ, на авось, безъ географіи, по слуху. Пронесется темный слухъ, что въ такой-то сторонѣ хорошій урожай, и тысячныя толпы двигаются туда, побираясь дорогой именемъ Христа, но упорно и безостановочно направляясь къ сказанной палестинѣ, какъ пилигриммы ходили въ Іерусалимъ. Но въ этой сторонѣ

часто оказывалась такая же недостача, какъ и въ той, откуда они начали странствіе. „Наврали",—говорятъ имъ мѣстные обыватели палестины. И толпы проваливаютъ еще на тысячу верстъ въ другую палестину, гдѣ, по слухамъ, заработокъ есть; проваливаютъ потому только, что имъ „наврали". „И шагаютъ они въ синюю даль"...

Такимъ же способомъ и Сема шагалъ. Онъ былъ преимущественно человѣкъ толпы. Только въ толпѣ, въ кучѣ, онъ чувствовалъ себя спокойно. Когда толпа двигалась, и онъ двигался, а если толпа останавливалась, и онъ останавливался. Онъ дѣлалъ, жилъ, ходилъ, работалъ, какъ люди. Еслибы эта ощупью двигающаяся толпа полѣзла въ огонь или въ воду, то и Сема полѣзъ бы и не задумался бы сгорѣть или утонуть. Собственной жизни у него не было. Онъ только тогда и сознавалъ, что существуетъ, когда затирался въ кучу, съ которой у него было одно сердце, одни нервы, одна голова. Ему всецѣло принадлежало только туловище. И вотъ когда, по какой-либо несчастной случайности, онъ лишался сообщества и оставался туловищемъ безъ сердца, мозга и нервовъ, то пропадалъ пропадомъ. Онъ терялся, не зная, какъ съ собой поступать. Поэтому въ одиночествѣ съ нимъ всегда совершались чрезвычайныя происшествія. То онъ въ помойную яму упадетъ, то его посадятъ, по неизвѣстной ему причинѣ, въ чижовку, откуда выталкиваютъ также безъ объясненія причинъ. Разъ онъ такъ потерялся, что залѣзъ, не зная самъ какъ, въ острогъ. Это вышло страшно нелѣпо. Онъ схватилъ пару калачей у торговки и былъ пойманъ. Рѣшительно нельзя сказать, что у него былъ злой умыселъ стащить калачи; *онъ самъ не зналъ, какъ это случилось*. Дѣло, однако, было названо „грабежомъ съ насиліемъ", потому что взялъ калачи онъ днемъ, при стеченіи базарной публики, а когда торговка кинулась отнимать у него свою собственность, онъ ожесточенно, до послѣдней крайности отбивался. Зачѣмъ онъ все это продѣлалъ и было-ли у него намѣреніе попасть въ острогъ, какъ это дѣлаютъ многіе, чтобы имѣть теплое мѣсто и кусокъ, онъ тоже не зналъ и не могъ объяснить слѣдователю. Впрочемъ, просидѣлъ онъ не долго. Слѣдователь, на первомъ же допросѣ, послѣ нелѣпаго разсказа Семы, задумчиво по-

смотрѣлъ на лицо сидящаго передъ нимъ разбойника и отдалъ приказъ выпроводивъ немедленно его изъ острога.

Такъ Сема и ходилъ съ толпой. Такъ онъ попалъ въ Крымъ, идя за людьми, которые прослышали, что тамъ хорошіе заработки, но въ Крыму въ это время была филоксера, гессенская муха и проч., такъ что толпа двинулась обратнымъ путемъ, питаясь по дорогѣ подаяніемъ, а вмѣстѣ со всѣми тѣмъ же способомъ шелъ и Сема, не видѣвшій въ этомъ ничего необыкновеннаго. Что касается Сибири и Кавказа, то Сема побывалъ въ нихъ въ качествѣ переселенца. Переселялся онъ два раза. Въ Сибири (собственно въ Оренбургѣ) онъ потерялъ лошадь, которая сдохла, на Кавказѣ же потерялъ троихъ дѣтей, которыя умерли отъ дизентеріи. Вотъ и все.

Одинъ разъ, въ свободную минуту, Михайло подробно разспросилъ Сему о видѣнныхъ имъ странахъ, а также о томъ, какъ тамъ живется.

— Что-то я запамятовалъ... былъ ты въ Москвѣ?—спросилъ Лунинъ.

— Въ Москвѣ я бывалъ,—отвѣчалъ Сема.

— Что же тамъ, какъ жить?

— Въ Москвѣ ничего... Тамъ, милый мой, рупь за день получишь. Въ Москвѣ большія деньги.

Сема говорилъ серьезно.

— Отчего же ты тамъ не остался?

— Да такъ... не вышло дѣло... бѣда чистая вышла!

— Какая бѣда?

— Да такъ ужь... одно слово, неспособно стало...

Сема готовъ былъ замолчать. Дѣло въ томъ, что именно въ Москвѣ онъ попалъ въ помойную яму, едва не утонувъ въ ней. Онъ тогда жилъ тамъ одиноко и, понятно, не любилъ разсказывать о тогдашней страшной жизни.

— Ну, а въ Сибири какъ?—интересовался Михайло.

— Въ Сибири, разсказываютъ, ладно; хлѣбъ, слышь, тамъ ни почемъ, сколько хочешь, дѣвать некуда; очень хорошо!

— Да ты самъ въ Сибири-то былъ?

— Мы до Сибири не доѣхали, съ Оленбурха вернулись.

— Зачѣмъ же вернулись?—удивился Михайло.

— Кто его знаетъ... видишь-ли, какъ оно вышло. Пріѣзжаемъ мы въ Оленбурхъ—сейчасъ начальство. Спрашиваетъ:

„Есть документъ у васъ, ребята?“—„Документъ у насъ вотъ“. Напримѣръ, подаемъ. „Это, говоритъ, не тотъ документъ“. Ну, а мы почемъ знаемъ, тотъ или не тотъ? „А куда вы идете?“—говоритъ начальство.—„Идемъ мы, говоримъ, на новыя мѣста“.—„Дураки вы глупые, вѣдь новыхъ мѣстъ мало-ли тамъ? Въ которое же вы идете, въ какую губернію?“—спрашиваетъ. А мы не знаемъ, въ какую губернію... Вотъ оно дѣло какое! Стояли, стояли мы у города, хлопотали, хлопотали—все ничего; рѣшенія намъ нѣту. Въ ту пору пала у меня лошадь, и у другихъ ребятъ лошади стали падать. Чума, вишь, ходила въ городѣ. Думали, думали мы, да и поперли назадъ.

— Дураки вы и вышли! Какъ же можно безъ документа и не знамши куда? Сами виноваты!—сердито замѣтилъ Михайло.

— Это вѣрно. Ну, да и начальство строго... Быть бы намъ теперь на новыхъ мѣстахъ, анъ оно вотъ...—возразилъ Сема задумчиво.

Дѣйствительно, нельзя разобрать, кто причина здѣсь. Вѣрно то, что „переселенцы“, съ Семой включительно, не имѣли всѣхъ бумагъ отъ своей волости и деревни, и за то поплатились.

— На Кавказѣ-то, кажется, тоже былъ ты?—спросилъ Михайло снова.

— Какъ же, были. Съ полгода, чай, мы тамъ существовали.

— Что же хорошаго тамъ?

— На Кавказѣ? На Кавказѣ очень хорошо,—безъ запинки отвѣтилъ Сема.

— Такъ что же ты тамъ не жилъ?—ужь со злобой сказалъ Михайло.—Доѣхали-ли хоть до мѣста-то?

— Чуть-чуть не доѣхали. А потому, милый, не доѣхали, что хворь на насъ напала.

— Какъ хворь?

— Да такъ, хворь. Предсмертно намъ было...

Сема началъ волноваться.

— Я думаю, можно бы обождать. Хворь прошла бы,—съ недоумѣніемъ возразилъ Михайло.

— Нельзя! Невозможно! Мерли!—взволнованно произнесъ Сема.

— Какая же причина?—спросилъ Михайло, также волнуясь.

— Богъ его знаетъ... Я думаю, все дѣло пошло отъ фрухты, не отъ чего больше. Оно видишь-ли какъ... Стояли мы станомъ. Ждали все, покуда насъ отведутъ на новыя мѣста. Пищи всякой въ Кавказѣ въ волю. Скота, хлѣба, особливо фрухты страсть сколько! Такъ вотъ оно изъ-за фрухты этой и вышелъ намъ капутъ. Фрухта дешевая. Бывало, на двѣ копѣйки полонъ подолъ насыпаютъ. Ну, мы и навались. Сейчасъ у насъ рѣзь въ животѣ, поносъ. Извѣстно, люди тощіе были, такъ брюхо-то и не беретъ. Стали у насъ малые ребята помирать; которые и мужики попадали. Глядѣли, глядѣли мы, и страхъ взялъ насъ. Вышло тутъ несогласіе, раздоръ: одни желали назадъ, другіе въ городѣ совѣтовали перемѣшкать, а третьи тянули на новыя мѣста. У меня въ ту пору всѣ трое ребятъ скончались. Да что ребята! самъ я черезъ великую силу отдохъ. А какъ отдохъ — Господи благослови, взялъ жену, да и давай Богъ ноги!... Ну его съ Кавказомъ!...

Михайло слушалъ эту чудесную эпопею съ нескрываемымъ изумленіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, куда бы только ни показывался Сема, всюду его подкарауливала бѣда. А мѣста хорошія. Вездѣ оказывалось ладно, очень хорошо. Между тѣмъ, на всякомъ мѣстѣ Сему, лишь только онъ показывалъ туда носъ, немедленно окружали моръ, чума, смерть и другіе трагическіе элементы, столь же разнообразные, сколько было мѣстъ, куда онъ попадалъ. Самыя блага обращались для него въ бичъ. Гдѣ же ему могло быть хорошо?

— Здѣсь-то тоже маешься?—сочувственно спросилъ Михайло.

— Нѣтъ, зачѣмъ маяться? Въ этомъ мѣстѣ у меня легкая жизнь. Жена здѣсь же въ городѣ промышляетъ насчетъ мытья половъ и прочаго такого... Мнѣ легко, — безъ куска не остаюсь.

Сема говорилъ резонно, съ убѣжденіемъ.

— По пятнадцати копѣекъ въ день?

— По пятнадцати. Бываетъ больше и меньше, разное случается.

— И доволенъ ты?

— Чего же мнѣ еще, какого рожна? Сытъ, обутъ, одѣтъ — и слава Богу. Я живу легко.

Михайло видѣлъ, что Сема говоритъ отъ глубины души:

ему, очевидно, было легко. Стоило взглянуть на него, когда ночью онъ свертывался въ клубокъ и, зарывшись въ солому, спалъ блаженнымъ сномъ и улыбался во снѣ, или когда онъ работалъ, словно играя въ кирпичики, чтобы убѣдиться, что на душѣ этого пожилого ребенка поистинѣ было свѣтло и радостно. Сема былъ одинъ изъ тѣхъ „малыхъ", которыхъ самъ Христосъ велѣлъ не обижать; и жаль, что вся его чудесная жизнь прошла въ обидахъ.

Михайло во все время этого знакомства относился къ Семѣ мягко. Жесткія слова просто застывали на его губахъ въ сношеніяхъ съ Семой, но послѣдній, помимо воли, возбудилъ въ душѣ молодого Лунина страшную тревогу. Неужели и ему предстоитъ такое же жалкое, собачье существованіе и онъ, можетъ быть, также кончитъ легкою жизнью со дня на день, жизнью, оцѣниваемой копѣйками? Нѣтъ, не затѣмъ онъ ушелъ изъ Ямы! Ужь и тамъ копѣйки вызывали въ немъ озлобленіе, а здѣсь, въ городѣ, каждодневно по вечерамъ получая по пятнадцати копѣекъ, онъ съ остервенѣніемъ засовывалъ ихъ въ карманъ, и по лицу его блуждала презрительная улыбка.

Михайло рѣшилъ, что Сема потому всю жизнь испытывалъ неудачи, что „самъ дуракъ". Съ этою мыслью онъ задумалъ какъ можно скорѣе бросить мелкую работу, которая послѣ знакомства съ Семой стала ему особенно ненавистна. Но съ этого времени Михайло уже не переставалъ тревожиться. Вѣра его въ себя значительно поубавилась. Сема и пятиалтынный совершили въ немъ переворотъ. Онъ сталъ замѣчать, что не одинъ Сема велъ собачью жизнь. Бѣдность была кругомъ. Даже пятиалтынныхъ не на всѣхъ хватало. Большая часть его товарищей были круглые голяки, колотившіеся Богъ знаетъ какъ, и всѣ они—изъ деревень. Правда, онъ питалъ къ нимъ презрѣніе, но жизнь ихъ глубоко смущала его. Отъ этого въ немъ явилось какое-то судорожное желаніе вырваться изъ среды лохмотниковъ какими бы то ни было средствами и во что бы то ни стало.

Проснулся разъ Сема по утру и, не успѣвъ хорошенько оглядѣться, хотѣлъ разбудить своего товарища, какъ это онъ дѣлалъ каждый день, но руки его встрѣтили пространство. Тогда только онъ замѣтилъ, что соломенная постель Михайлы давно простыла. Скучно ему стало. Весь этотъ день онъ про-

зелъ молчаливо и не разговаривалъ даже съ кирпичами. Онъ какъ будто что-то потерялъ. Что былъ для него Михайло? Онъ привязался къ нему, какъ привязывался ко всѣмъ, съ которыми случайно сталкивался, онъ не могъ жить безъ привязанности, но, находя товарища, онъ сейчасъ же и терялъ его. И никогда въ рукахъ у него не осталось чего-нибудь прочнаго. Домъ былъ—пропалъ, дѣти были—померли. Повидимому, сама судьба предназначила ему бездомную жизнь. Точно такъ же и конецъ его придетъ: пропадетъ гдѣ-нибудь подъ заборомъ или помретъ по дорогѣ на „новыя мѣста", или въ ночлежномъ пріютѣ. Заплативъ двѣ копѣйки, ляжетъ, уснетъ—и исчезнетъ.

Тѣмъ временемъ Михайло снова слонялся по городу и искалъ счастья. Но подъ руки ему ничего не попадалось. Отъ этого онъ еще злѣе сталъ. Пятнадцати копѣекъ въ день онъ лишился, но вмѣсто ихъ ровно ничего не могъ найти. День онъ слонялся, посматривая на встрѣчающихся людей изъ подлобья, а ночь проводилъ въ ночлежномъ домѣ, гдѣ его ѣли насѣкомыя.

Крайность опять вынудила его обратиться къ артели. Онъ немного плотничалъ, а потому обошелъ всѣхъ плотниковъ, встрѣченныхъ имъ въ городѣ. Всѣ отказывали. Только одна артель согласилась взять его въ свою среду, но поставленныя ею условія показались ему чрезвычайно суровыми. Плотники согласились его кормить въ продолженіе года, который онъ долженъ былъ честно употребить на выучку ремесла; денегъ ему за это время не должно идти ни копѣйки.

— Главное, старайся. Доходи до всего. Не жалѣй себя,— говорили ему поочередно плотники, обсуждая его пріемъ.— Что есть мочи старайся, тогда науку нашу узнаешь... Ты что волкомъ глядишь?

— Буду стараться, какъ можно,—отвѣчалъ Михайло, едва сдерживаясь, чтобы не сказать какой-нибудь грубости.

— И не лайся. Будешь лаяться—прогонимъ,— сказалъ одинъ изъ плотниковъ, какъ бы предугадывая характеръ молодого парня.—Живи въ послушаніи. Мы тебя будемъ учить наукѣ, а ты слушай ушами. Иной разъ и по загорбку ненарокомъ хватишь, всяко бываетъ, а ты не лайся. Оно эдакъ въ теченіи времени тебѣ лучше.

Михайло вздохнулъ и молча согласился съ условіями, но

въ душѣ рѣшилъ, что загорбкамъ не бывать. Онъ не изъ тѣхъ, кому даютъ по загорбку. Что касается паспорта, отсутствіе котораго уже сильно отзывалось на немъ, то плотники сказали, что это ничего. Впрочемъ, самъ Михайло былъ увѣренъ, что скоро онъ получитъ изъ деревни паспортъ, да, можетъ быть, онъ и теперь уже пришелъ на имя одного земляка, живущаго въ городѣ, да только отыскать послѣдняго ему недосугъ было. Михайло уныло понурилъ голову, сознавая, что онъ, соглашаясь на тяжкія условія, надѣваетъ на себя недоуздокъ и спутываетъ себя по рукамъ и ногамъ.

Дѣйствительно, скоро все его стало возмущать въ этомъ новомъ положеніи. Сперва церемоніалъ жизни плотниковъ смѣшилъ его. Никто не смѣлъ дѣлать того, чего не дѣлали другіе, и наоборотъ: за что принимались всѣ, обязанъ былъ дѣлать и каждый. Утромъ одинъ начнетъ умываться, и всѣ остальные вразъ умываются. Когда вслѣдъ за тѣмъ одинъ брался за топоръ, чтобы работать, и предварительно плевалъ на ладонь, то и всѣ хватали топоры, плюнувъ въ руку.

Михайлѣ это надоѣло. Другое нѣчто еще болѣе было противно ему. Плотники, дѣйствительно, не жалѣли себя въ работѣ, какъ учили и его. Жизнь ихъ была въ работѣ, монотонной, тяжелой и мало выгодной, и ради этой работы они жертвовали собой, вкладывая въ свое ремесло всѣ помыслы и силы, такъ что ремесло сдѣлалось ихъ жизненною цѣлью. Для Михайлы это было не по нутру, противъ шерсти. Для него нужна была выгода. Онъ не видѣлъ ни малѣйшаго смысла въ тесаньи изо дня въ день, въ смѣшныхъ церемоніяхъ и во всей скучной жизни плотниковъ.

Работа артели никогда не прекращалась. Какъ узналъ Михайло, плотники никогда не оставались безъ дѣла. Поэтому доля каждаго была заранѣе извѣстна. Она была не велика. Этой суммы каждому хватало на хлѣбъ и на прочія неминуемыя потребности и никто не разсчитывалъ на что-нибудь необыкновенное. Кормились — больше ничего. И это продолжалось изо дня въ день, каждый годъ, всю жизнь. Вотъ что раздражало Михайлу.

Ему предстояло вѣки вѣчные работать изъ-за хлѣба, но когда онъ сообразилъ, что и до этой цѣли ему совершенно даромъ придется жить, то его совсѣмъ взорвало. Въ немъ снова проснулась жадность, энергія и необыкновенные планы.

Никому не сказавъ, безъ слова прощанія, онъ удралъ однажды ночью изъ артели. Прожилъ въ ней онъ не болѣе мѣсяца.

Но энергія его была особенная. Онъ желалъ сразу нажиться. Это „сразу" было сокровеннѣйшею его чертой, какъ и всего его деревенскаго поколѣнія. Безпорядочное время надѣлило его безпорядочными порывами. Онъ стремился не то что завоевать счастье, а, такъ сказать, схапать. Онъ могъ для этого выказать сразу непомѣрную энергію, хотя бы подъ условіемъ пасть отъ истощенія, но чтобы только добиться немедленно желаемаго. На медленный, хотя и вѣрный трудъ онъ не былъ способенъ. Безпорядочная жизнь, начавшаяся еще въ Ямѣ, стала единственно понятной для него. Исковерканные, разорванные еще деревней нервы его работали порывисто и дико, какъ клавиши поломаннаго инструмента.

Опять, послѣ ухода отъ плотниковъ, онъ сталъ безъ дѣла шататься по городу. Подвертывались кое-какія работишки. Въ одномъ домѣ ему поручили дрова переколоть, въ другомъ мѣстѣ онъ чистилъ дворъ, иногда нанимался поденщикомъ по передѣлкѣ уличной мостовой. Этимъ онъ пока пробавлялся, проводя гдѣ день, гдѣ ночь, и питался то хлѣбомъ, то требухой, взятой изъ „обжорнаго ряда". Это жалкое скитаніе, конечно, не удовлетворяло его, но и не надоѣдало, потому что онъ распоряжался собой, какъ хотѣлъ.

А, между тѣмъ, въ головѣ его развивались разные необыкновенные планы, гдѣ все дѣлалось „сразу". Эти планы были несомнѣнно дутые. Вдругъ его осѣняла мысль, что онъ можетъ на улицѣ найти деньги. Это было бы хорошо. Съ этою мыслью, шагая по улицѣ, онъ сосредоточенно смотрѣлъ подъ ноги, ежеминутно ожидая, что вотъ онъ сейчасъ замѣтитъ толстый бумажникъ. Онъ составлялъ планъ, какъ ему въ этомъ разѣ поступить. Поднять, но какъ? Главное, не показать виду. Надо незамѣтно нагнуться—и въ карманъ, потомъ продолжать путь, какъ ни въ чемъ не бывало.

Иногда мысли его были совсѣмъ недѣйствительныя, какія-то смутныя, какъ сонъ, приснившійся ночью, но забытый утромъ. Что-то видѣлось, а что—хоть убей, ничего не припомнишь. Михайлѣ казалось, что съ нимъ случится что-то неожиданное, моментально привалитъ какое-то огромное

счастье. Что именно случится и что привалитъ—онъ не могъ дать себѣ отчета, но все-таки безпрестанно ожидалъ.

Не разъ ему приходилось вспомнить о паспортѣ, въ особенности когда на него смотрѣли подозрительно, но онъ какъ-то все откладывалъ это дѣло. Наконецъ, въ свободную минуту онъ рѣшилъ сходить къ тому земляку, на имя котораго отецъ обѣщалъ выслать видъ.

Надо было исходить весь городъ, чтобы отыскать слѣдъ земляка, потому что Михайло не зналъ точно — ни гдѣ онъ живетъ, ни чѣмъ занимается. Извѣстно ему только было, что Васька Луковъ, какъ звали почтеннаго уроженца Ямы, гдѣ-то „состоитъ при скотѣ". Такимъ образомъ, онъ обошелъ всѣ скотопригонные дворы, пока не наткнулся лицомъ къ лицу на самого искомаго человѣка. Михайло потому такъ долго избѣгалъ встрѣчи съ Васькой Луковымъ, что, во-первыхъ, послѣдній былъ изъ Ямы, во-вторыхъ, самъ по себѣ онъ внушалъ Лунину презрительнѣйшія чувства, какъ горькій человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ. Несчастнѣе его и въ Ямѣ, кажется, не было. Михайло помнилъ его такимъ трепаннымъ мужиченкомъ, который даже жалости къ себѣ ни въ комъ не возбуждалъ,—до такой степени онъ не умѣлъ обороняться.

Но теперь, лицомъ къ лицу столкнувшись съ нимъ, онъ наивно ахнулъ, словно передъ его глазами совершилось чудо. Противъ него стоялъ здоровый мужчина, очень тонко одѣтый. На головѣ кожаная фуражка; на ногахъ большіе и свѣтлые сапоги; пальто; шелковая съ крапинками жилетка; красная рубашка. Лицо было умыто, руки чистыя. Онъ выглядѣлъ подрядчикомъ или однимъ изъ тѣхъ недавно расплодившихся людей, которые не занимаются никакимъ ремесломъ, а командуютъ. Михайло совсѣмъ спутался, позабылъ, зачѣмъ пришелъ, и не зналъ, что сказать такому блистательному человѣку. Луковъ ослѣпилъ его, какъ солнце.

— При скотѣ состоишь?—только и могъ вымолвить на первыхъ порахъ Михайло.

— Надзирателемъ у гуртовщиковъ! — важно возразилъ Луковъ.

Михайло кое-какъ пролепеталъ о паспортѣ. Оказалось, что паспортъ давно пришелъ и лежалъ безъ всякаго употребленія у Лукова въ домѣ, отведенномъ ему хозяевами; туда онъ и повелъ Михайлу. Михайло взялъ паспортъ, письмо и пошелъ

ючь, забывъ проститься съ великолѣпнымъ землякомъ. Онъ ылъ смущенъ, а брошенный взглядъ на свои лохмотья вызылъ въ немъ такую досаду, что ему и свѣтъ сдѣлался не илъ.

— Ты что же бѣжишь? Заходи, какъ случится... тоже вѣдь змлякъ,—сказалъ ему въ догонку Луковъ.

— Зайду,—пробурчалъ Михайло.

— На разживу пришелъ?

— Н-да,—нехотя отвѣтилъ Михайло.

— Напалъ на мѣсто?

Михайло отъ этого вопроса готовъ былъ сгорѣть со стыда,) отвѣтилъ правду.

— Забѣгай провѣдать!—еще разъ закричалъ Луковъ въ до)нку Михайлѣ, который почти бѣжалъ, чтобы скрыть свои)хмотья отъ взоровъ земляка.

Внутри его поднялось какое-то рычанье. Видъ Лукова наомнилъ ему его нищенство и неумѣнье на что-нибудь наасть. Онъ даже думалъ: вотъ даже Васька успѣлъ достигуть, а я еще не достигъ. Потомъ на нѣкоторое время заывъ себя, онъ сталъ припоминать видѣнное явленіе и предгавлялъ себѣ до мельчайшихъ подробностей наружность и кова настоящаго и жизнь прошедшаго Васьки, какимъ онъ ылъ въ Ямѣ. Очевидно, Васька теперешній живетъ сыто, ь довольствѣ и уваженіи. Тогда въ Ямѣ онъ былъ худой, нынче вонъ какъ поправился. Въ Ямѣ у него была проивная привычка быстро моргать глазами, а нынче онъ смотитъ прямо. Видно, его больше уже не колотятъ. Лукова въ эревнѣ не то что колотили, а обижали. Разъ его обобралъ абатчикъ дочиста, до штановъ включительно, да его же обинилъ въ воровствѣ какой-то пустой вещи, вродѣ сѣделки ли кнута, и когда Луковъ обратился съ жалобой въ волость, го же и отстегали тамъ. Стегали его по просьбѣ схода, гегали по настоянію мѣстнаго попа и стегали изъ-за жены. то только попроситъ его отстегать, его и отстегаютъ. Ниего преступнаго онъ не дѣлалъ, а всѣ какъ будто сговорись его наказывать. Батюшка потребовалъ наказать его а то, что будто онъ, Луковъ, при его проходѣ дерзко заралъ. Несмотря на видимую натяжку въ этомъ обвиненіи, укова наказали. Сходъ наказалъ его въ другой разъ за неуваженіе", хотя другіе на чемъ свѣтъ ругали всю де-

ревню, и никому въ голову не приходило наказывать ихъ. Что касается жены, то уже никто, по настоящему, не долженъ бы слушать ее, потому что, жалуясь на буйство мужа, она нисколько не уступала ему въ дракахъ, которыя завязывались между ними. Разъ послѣ такого семейнаго несчастья Василій пришелъ въ волостной судъ жаловаться на жену, которая положительно проломила ему голову скалкой, но судъ почему-то послушалъ не его, а явившуюся къ допросу жену, и постегалъ его.

Бываютъ же такіе несчастливцы! Всѣ какъ будто наперерывъ обижаютъ такого человѣка, пользуясь его неумѣлостью платить око за око, и всѣ считаютъ его виноватымъ. Что ни случится, вспоминаютъ, прежде всего, этого человѣка. „Онъ! Кому же больше? Безпремѣнно его рукъ дѣло!“—говорятъ, прячась за спину одного козла отпущенія. Отъ этого въ обществѣ развивается фальшь, сливаніе всѣхъ своихъ язвъ на одного жалкаго и ничтожнѣйшаго своего члена, котораго и выпираютъ отовсюду.

Такъ случилось и съ Луковымъ. Прежде всего, жена его совсѣмъ-таки выперла изъ дому. Кое-какой домишко былъ же у него заведенъ, но она оттерла его отъ всего. А чуть онъ возмущался, она грозила жалобой въ судъ. Деревня также его выперла при дѣлежѣ общественнаго достоянія—луговъ, пашни, вина. Василью Лукову выпадалъ на долю какой-нибудь обглоданный кусокъ, который ему не давали, а бросали, какъ бросаютъ дворнягѣ кость. Между тѣмъ, не проходило недѣли, чтобы на него не взваливали какого-нибудь тяжкаго обвиненія: укралъ лошадь, увезъ сѣно изъ поля, грозилъ подпалить деревню. Всѣ предполагали въ немъ неизсякаемый источникъ злобы.

Выпертый, такимъ образомъ, изъ семьи и изъ деревни, Луковъ очутился даже не на улицѣ, а прямо въ полѣ. Поэтому онъ счелъ нужнымъ убраться совсѣмъ изъ Ямы, гдѣ ему не оказалось мѣста. Однажды, вытащивъ у жены изъ сундука кое-какое имущество, онъ заложилъ его въ кабакъ и съ полученными отъ этой операціи деньгами отправился искать счастья.

Въ городѣ ему посчастливилось. Это вышло случайно. Такимъ людямъ въ смутное, безпорядочное время достается подачка очень часто. Когда всѣ хапаютъ, и такому что-нибудь

ıется зацѣпить, именно потому, что процессъ жизни вы-цитъ изъ границъ логики. Самый послѣдній паршивецъ въ кія времена можетъ выглядѣть орломъ. Съ Луковымъ это іроизошло въ городѣ. Лишенный отъ природы способности збирать, что слѣдуетъ и чего не слѣдуетъ, онъ быстро зжился, конечно, сравнительно съ прежнимъ. Природное ı ничтожество оказалось его великимъ счастіемъ. Ското-говецъ одинъ взялъ его затѣмъ сперва, чтобы онъ утаи-ть отъ полиціи пригоняемый чумный скотъ, а потомъ сдѣ-гъ его надсмотрщикомъ надъ скотнымъ дворомъ, гдѣ и за-ілъ его Михайло. Самъ Луковъ, себѣ предоставленный, гъ никуда негоденъ, а употребляемый другими, вышелъ)ошъ.

Михайло сталъ похаживать къ нему, уже не скрывая своего івленія къ такому чудесному обогащенію; ему завидно было.

– Поправился ты ничего,—сказалъ однажды Михайло, да сидѣлъ у Лукова, угощавшаго его пивомъ.

– Что еще это за поправка? По моему желанію, развѣ ı поправка?—возразилъ Луковъ.

– Чего же тебѣ еще? Деньги водятся вѣдь?

– Деньги у меня есть, да мало по моему желанію... Мнѣ ·ыщи мало!

– Куда тебѣ? Что ты?

– Это вѣрно, что некуда, а такъ... Всякому больше хо-ся.

Луковъ, говоря это, самодовольно улыбался. Глупѣйшее ıстовство всего болѣе нравилось ему.

– Жадный какой ты!—изумленно прошепталъ Лунинъ.

– Совсѣмъ даже напротивъ, жадности во мнѣ ничего нѣтъ. спроси хоть кого: куда Василій Василичъ Луковъ дѣваетъ ьги? Пущаетъ на вѣтеръ,—вотъ что тебѣ скажутъ. Мнѣ ъдесятъ, шестьдесятъ упаковать—что? Ничего! Попадутъ руки, я ихъ пущу. Оно и лестно. Я люблю, чтобы ве-о. А деньги мнѣ идутъ легко.

– Деньги-то?—удивился Михайло.

– А то чего же? Пятьдесятъ, сто цѣлковыхъ мнѣ нипо-ъ. Я тыщами желаю ворочать. Тогда можно и назадъ въ евню.

– А можешь тыщу нажить?—съ дрожью въ голосѣ спро-ь Михайло.

— Отчего же, можно. Только теперь не хочу я путаться... ну ихъ!—загадочно отвѣтилъ Луковъ.

— А въ деревню-то зачѣмъ тогда?

— Въ деревнѣ лучше. Въ деревнѣ промежду бѣдноты, да ежели съ капиталомъ, очень свободно. Большую силу въ деревнѣ можно получить, ежели съ тыщами.

Михайло это пропустилъ мимо ушей. Его, главнымъ образомъ, поразила увѣренность Лукова брать, сколько угодно, въ карманъ денегъ. Тайно Михайло этого человѣка презиралъ. Несмотря на внѣшнюю поправку, Луковъ остался въ существѣ такимъ же, какимъ былъ прежде—сонливымъ и тупымъ. Легкомысліе, совершенно дурацкое, было у него безгранично. Какъ прежде онъ безропотно покорялся всякимъ обидамъ, такъ теперь вѣрилъ, что онъ все можетъ. Но Михайло видѣлъ внѣшность, фактъ, что относительно денегъ Луковъ не вретъ, и удивлялся, разжигая свою жадность.

— Какъ же ты можешь получить столько капиталу?—спросилъ онъ.

— Разно. Вотъ и теперь деньги сами лѣзутъ въ руки, а я не желаю,—сказалъ Луковъ.

— Сами лѣзутъ?

— Только бери! Сдѣлай милость!

— Вотъ мнѣ бы...—началъ-было Михайло, но Луковъ его перебилъ.

— Есть тутъ человѣкъ одинъ, т.-е. мясникъ, такъ онъ предлагаетъ.

— Капиталъ?—спросилъ, задыхаясь, Михайло.

— Большія деньги... а я не желаю.

Луковъ выразилъ на своемъ лицѣ тупое удовольствіе.

— Ты хоть бы мнѣ предоставилъ. Видишь, безъ мѣста я хожу,—сказалъ взволнованно Михайло.

— Надо подумать. Это можно. Самому мнѣ не хочется путаться, а тебѣ... ничего. Дѣло выгодное. Я получу и тебѣ съ сотню перепадетъ, я такъ смекаю.

— Съ сотню?

— А то изъ-за чего бы и мараться?—самодовольно замѣтилъ Луковъ.

Это свиданіе рѣшило участь Михайлы. Къ этому дню онъ уже совсѣмъ обносился и отчаялся. Даже въ ночлежномъ домѣ ему нечѣмъ было платить. За „выгодное дѣльце“ онъ

хватился всѣми силами. Луковъ назначилъ день, когда ему придти, и онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ его, весь проникшись неизвѣстнымъ ему предпріятіемъ. Передъ его глазами мелькала „сотня"; ни о чемъ другомъ онъ не разсуждалъ.

Въ какомъ-то туманѣ онъ провелъ тотъ замѣчательный день, когда устроилось дѣло. Онъ не разсуждалъ. Онъ ничего не понималъ, что вокругъ него творится, и вообще мутно потомъ припоминалъ совершившееся мошенничество... Луковъ свелъ его къ какому-то дѣйствительно мяснику. Это былъ жирный человѣкъ, съ лицомъ, похожимъ на говядину, и съ взглядомъ откормленнаго вола. Когда они поговорили о разныхъ пустякахъ, дѣло зашло о скотѣ. Содержатель мясной лавки просилъ у Лукова сто головъ скота предоставить ему, но Луковъ заломилъ слишкомъ большую цѣну. Торговались. При этомъ Луковъ постоянно указывалъ на Михайлу, какъ на ловкаго малаго, который сколько угодно предоставитъ... Какъ впослѣдствіи понялъ Михайло, Луковъ этимъ способомъ хотѣлъ выгородить себя, сваливъ все на него, но эта хитрость была такъ же глупа, какъ и все, что Луковъ дѣлалъ. Но въ этотъ день Михайло радъ былъ, что и онъ участвуетъ. Какой скотъ, откуда—онъ этого не понималъ, предполагая, что Луковъ все хорошо знаетъ. Словно въ туманѣ, онъ согласился удовлетворить мясника, который поставилъ ему слѣдующія условія: онъ долженъ доставлять въ лавку скотъ и получать по пятнадцати рублей за штуку. Послѣ этого мясникъ долго отсчитывалъ задатокъ, выговоренный Луковымъ, но, сосчитавъ деньги, выдалъ ихъ Михайлѣ. Денегъ было пятьсотъ рублей. Всѣ были взволнованы, въ особенности Михайло.

— Смотри, ребята, чтобы вѣрно было,—сказалъ мясникъ.

Вскорѣ послѣ этого Михайло и Луковъ оставили лавочку. Луковъ взялъ отъ Михайлы четыреста рублей, а ему оставилъ сотню. Все это произошло такъ просто, какъ будто въ волшебной сказкѣ: получили и пошли. Даже и Михайлу это смутило.

— Да откуда же я возьму скота?—воскликнулъ онъ дорогой.

— А ты свое получилъ?—спросилъ Луковъ съ дурацкою улыбкой.

— Получилъ.

— Положилъ въ карманъ?

— Положилъ.

— Чего же тебѣ еще? А что касаемое скота, такъ представлю я тебѣ головъ пять, отведешь ихъ, пока будетъ съ него.

Этимъ объясненіе кончилось. Луковъ поспѣшилъ оставить Михайлу, который сперва не зналъ, какъ ему держаться.

Прошло съ недѣлю. Туманъ вокругъ головы Михайлы сдѣлался еще гуще. За это время онъ сходилъ къ Лукову, который поручилъ ему представить пять штукъ рогатаго скота къ Ивану Мартынову. Михайло представилъ; онъ понималъ при этомъ, что дѣло неладно, но не могъ сообразить, въ чемъ суть.

— Что мало?—спросилъ у него Мартыновъ.

— Не было больше,—отвѣчалъ Михайло наобумъ.

— Когда же еще доставишь? Ты, братъ, свое дѣло веди аккуратнѣй, чтобы безъ товару я не оставался... Гдѣ хочешь бери, а мнѣ предоставляй...

— Буду стараться,—возразилъ Михайло, не понимая своихъ словъ.

За объясненіемъ онъ опять обратился къ Лукову на скотный дворъ. Но Луковъ уже сдѣлался самъ собой: выглядѣлъ сонливымъ, легкомысленнымъ дуракомъ. На вопросъ Михайлы, когда ему еще придти за новымъ скотомъ для Мартынова, онъ отвѣчалъ: „Да чего ты присталъ? Плюнь ты на него... Самъ придетъ, коли нужно будетъ. Ну его!“

— Какъ бы чего за это не было,—задумчиво проговорилъ Михайло.

— Не смѣетъ! Какой шутъ ему велѣлъ путаться въ эдакое дѣло? Самъ пеняй на себя... Мое дѣло теперь сторона, не безпокой ты больше меня.

Михайло ушелъ, успокоившись, вѣрнѣе, совершенно забывъ о скотѣ, о Мартыновѣ, обо всемъ этомъ темномъ дѣлѣ. Онъ нѣсколько дней наслаждался ощущеніемъ внезапнаго богатства. Первымъ дѣломъ онъ завелъ себѣ одежду. Но потомъ не зналъ, что дальше дѣлать съ деньгами. Нанялъ квартиру, заплатилъ впередъ хозяину деньги, но все-таки денегъ осталось много. Онъ побывалъ на радостяхъ въ нѣсколькихъ развеселыхъ заведеніяхъ и готовъ былъ, кажется, совсѣмъ развеселиться... Но его тутъ арестовали. Мартыновъ „посмѣлъ“. Пришелъ городовой и приказалъ Михайлѣ

дти въ участокъ. Напрасно онъ кричалъ: „за что, это не , а Луковъ", городовой былъ неумолимъ и тащилъ его въ частокъ. Въ участкѣ его назвали мошенникомъ, упомянувъ выманенныхъ имъ совокупно съ Луковымъ деньгахъ у вана Мартынова, подъ предлогомъ продажи рогатаго скота. ихайло обомлѣлъ, сразу все сообразивъ. Онъ не отрицалъ ичего, совершенно отдавшись на волю судьбы.

Черезъ день онъ уже былъ въ тюрьмѣ. Слѣдствіе тянулось ѣсколько мѣсяцевъ. Михайло велъ себя глупо. Онъ то стался выпутаться и вралъ, то упадалъ духомъ и молчалъ. прочемъ, слѣдователь не слишкомъ приставалъ къ нему, мало интересуясь деревенскимъ парнемъ изъ какой-то Ямы, отому что въ концѣ слѣдствія дѣло раздулось въ скандальѣйшій процессъ. Неизвѣстный деревенскій парень изъ неизвѣстной Ямы сдѣлался предлогомъ къ открытію множества ѣлъ, такъ что самъ онъ, вмѣстѣ съ Луковымъ, совершенно отерялся, никѣмъ не замѣченный.

Когда начался судъ, то передъ глазами публики прошло ысячное повтореніе одного и того же позорнаго зрѣлища... Обвиняемыхъ было только двое: Михайло и Луковъ. Жаловался на нихъ, какъ потерпѣвшая сторона, только одинъ еловѣкъ—Иванъ Мартыновъ. Обвиняли ихъ въ томъ, что, реднамѣренно сговорившись между собой, они отправились ъ Ивану Мартынову, торговавшему мясомъ, и условились ъ симъ послѣднимъ о доставкѣ въ его мясную лавку разовременно ста штукъ рогатаго скота по пятнадцати рублей за голову, но когда Мартыновъ выдалъ задатокъ въ оличествѣ пятисотъ руб., то они скрылись, доставивъ ему ишь пять головъ, причемъ, по изслѣдованіи, оказалось, что оставленный скотъ былъ зараженъ чумою. Вотъ и все дѣло. икто бы и не подумалъ имъ интересоваться въ этомъ простомъ видѣ, но поражало то обстоятельство, что всѣ эти ри лица обнаруживали необычайное легкомысліе, очевидно, слѣпленныя возможностью скорой наживы и, повидимому, овершенно лишенныя способности разсуждать о послѣдствіяхъ. Михайло безъ всякаго разсужденія положилъ въ арманъ „сотню"; Луковъ съ такимъ же легкомысліемъ, не крывъ даже слѣдовъ, положилъ въ карманъ „четыреста", а ясникъ Мартыновъ, съ еще большимъ безсмысліемъ, выпустилъ изъ кармана „пятьсотъ", одураченный представленіемъ

головъ скота, который онъ воображалъ получить даромъ. Первые двое ни минуты не задумались надъ мыслію объ острогѣ, послѣдній не сомнѣвался въ обогащеніи. У всѣхъ троихъ, очевидно, было одно неудержимое, слѣпое побужденіе—„взять", „получить". Эта черта оказалась у нихъ общая съ остальными дѣйствующими лицами процесса, явившимися въ качествѣ свидѣтелей или совершенно посторонних.

Въ этихъ „свидѣтеляхъ" и заключался весь скандальный интересъ. Публика съ изумленіемъ видѣла, что ничтожное дѣло о мошенничествѣ расплывается въ ширь, захватывая, повидимому, совершенно непричастныхъ дѣлу лицъ. На мѣсто ничтожныхъ Михайлы Лунина и Василья Лукова постепенно появлялись городскіе мясники, какіе-то четыре купца, три ветеринара, полиція. Такъ накопилось много дряни въ обществѣ, что достаточно было ничтожнаго случая, чтобы она потекла... Обыкновенно во всѣхъ новѣйшихъ дѣлахъ этого рода всего больше одно удивляетъ: не знаешь, кто жаднѣе и подлѣе,—обвиняемые или свидѣтели. На судѣ выяснилось, что всѣ промышленники скотомъ сбываютъ чумной скотъ въ лавки. Это разболталъ Луковъ, разболталъ откровенно, съ обычною сонливостью и тупоуміемъ. Началось съ того, что его спросили, зачѣмъ онъ доставилъ Мартынову полудохлый скотъ? Онъ отвѣчалъ: „У Мартынова завсегда мясо дохлое".— „А у другихъ мясниковъ?"—спросили его.—„И у другихъ",— отвѣчалъ онъ. Потомъ онъ съ длиннѣйшими подробностями разсказалъ обо всѣхъ мясникахъ въ городѣ. Вышло гадко ужасно. „А что же скототорговцы смотрятъ?" —спросили Лукова. —„И скототорговцы своей пользы не упущаютъ". Снова подробности. Дѣло коснулось ветеринаровъ. „Что же смотрятъ ветеринары?"—спросили Лукова.—„Ихъ благодарятъ",—отвѣчалъ онъ и развилъ эту мысль.—„А полиція?"—„Въ этомъ разѣ съ полиціей жить хорошо",—сказалъ Луковъ и распространился подробно, причемъ передъ глазами публики моментально прошло нѣсколько невѣроятно наглыхъ лицъ.

Граница между обвиняемыми и свидѣтелями окончательно терялась. Ихъ связывало кровное родство. Разница была лишь въ положеніи: одни попались, а другіе нѣтъ. Но какъ обвиняемые, такъ и свидѣтели одинаково изумляли тупою, безразсчетною жадностью, не разсуждающею дальше настоя-

ей минуты. Еслибы судъ захотѣлъ, передъ глазами публики прошла бы еще масса хищнаго народа, и всѣ они были бы связаны родствомъ. У нихъ отпала охота правильно работать, правильно жить и наживаться, даже взяточниковъ нѣтъ больше. Взятка была вродѣ какъ бы постояннаго налога, между тѣмъ. нынѣшніе обвиняемые и свидѣтели дѣлаютъ дѣла „сразу", думая только о текущей минутѣ. Всѣ они какъ будто живутъ временною жизнью, среди временной стоянки, причемъ всякій какъ будто разсуждаетъ, подобно Лукову: „Свое получилъ?" — „Получилъ!" — „Положилъ въ карманъ?"—„Положилъ!"—„Больше чего же тебѣ?"

Изъ-за этого ряда свидѣтелей подсудимыхъ Лукова и Михайлы не было видно. Никто не интересовался, чѣмъ кончится ихъ дѣло. Луковъ показался всѣмъ жалкимъ, что и было вѣрно, ибо онъ снова сдѣлался тѣмъ же несчастливцемъ, котораго выперли изъ деревни. Когда процессъ приблизился къ концу, онъ съежился, какъ пойманная кошка, когда присяжнымъ вручили вопросы, онъ заплакалъ, какъ по-бабьи всхлипывая.

Совершенно иначе держался Михайло. Во все время суда онъ сидѣлъ съ широко раскрытыми глазами, какъ человѣкъ, который ничего не понимаетъ. Онъ не болталъ, подобно Лукову, и не плакалъ. На него, кажется, просто напало безчувствіе. Въ душѣ его зіяла положительная пустота. Когда его спросили, зачѣмъ онъ присвоилъ деньги Мартынова, то онъ отвѣчалъ:

— Денегъ у меня не было.

— Но развѣ ты не зналъ, что чужія деньги берешь?

Молчаніе.

— Зачѣмъ ты ушелъ изъ деревни?

— Ничего у меня не было тамъ.

— А зачѣмъ въ городъ пришелъ?

— Чтобы денегъ получить.

Деньги—съ начала до конца.

На предложеніе сказать что-нибудь въ свое оправданіе, онъ повторилъ, что „ничего не имѣетъ въ своей жизни, оттого и получилъ съ Мартынова".

И замолчалъ.

Лукова осудили, но Михайло былъ оправданъ. Присяжные сжалились надъ нимъ. Ихъ поразили его слова, что „онъ

ничего не имѣетъ въ своей жизни". Они увидали передъ собою голаго человѣка. Но Михайло былъ голъ и внутри. Правда, совѣсть, руководящія чувства и мысли, ничего онъ не взялъ изъ деревни, гдѣ живутъ же чѣмъ-нибудь люди... У него вмѣсто всего были деньги. Въ нихъ заключалось для него все—цѣль, причина, побужденіе жить. Для того онъ и пришелъ въ городъ.

Это чувство жизненной пустоты владѣло имъ во все время процесса; оно же нахлынуло на него и тогда, когда послѣ суда его выпустили изъ тюрьмы на улицу. Онъ остановился посреди городской улицы и пощупалъ свой карманъ. Въ немъ, разумѣется, не было ни гроша. Осязательно убѣдившись въ томъ, онъ сразу упалъ духомъ, потому что на самомъ дѣлѣ, вмѣсто души, у него висѣлъ карманъ, и этотъ карманъ теперь былъ пустъ.

III.

Рабъ.

Каждый разъ, въ извѣстное время, изъ деревень идетъ въ большіе города народъ съ цѣлью получить денегъ какъ можно больше. Одни идутъ на заводы, другіе—въ трактиры, третьи--въ чернорабочіе, кто куда успѣетъ. Половина этого народа, однако, всегда пропадаетъ зря. Никто изъ нихъ, идя въ городъ за деньгами, не знаетъ, какимъ образомъ онъ возьметъ ихъ; знаетъ только, что взять непремѣнно надо, не столько для себя, сколько для той самой деревни, откуда онъ вышелъ, и гдѣ у отца одного вотъ-вотъ ужь корову хотятъ отнять, ужь ухватились за рога и за хвостъ тянутъ въ разныя стороны за долги, надо спасать, и для этого надо взять въ городѣ денегъ, иначе корова пропадетъ; у другого дома остался братъ и этому брату плохо; если не взять денегъ, то брата поминай какъ звали. У третьяго, у четвертаго, у пятаго и у всѣхъ вообще идущихъ въ городъ осталась въ деревнѣ какая-нибудь пропасть, которую надо пополнить деньгами. Наконецъ, и сами эти идущіе въ городъ такъ наголодались, что нѣтъ больше силъ терпѣть... И вотъ гдѣ пропадаетъ много народа! Всѣ мысли его такъ сосредоточены на получкѣ во что бы то ни стало денегъ, что онъ

не разбираетъ уже способовъ; оттого и въ острогъ попадаютъ, сидятъ тамъ, судятся, возбуждая недоумѣніе и въ судьяхъ, и въ публикѣ. Изъ разбирательства дѣла по большей части оказывается, что никакой злой воли вотъ въ этомъ лохматомъ парнѣ нѣтъ и не было, когда онъ учинилъ мошенничество или кражу, или другое какое незаконное дѣяніе; у него, напротивъ, было самое мирное намѣреніе: купить что слѣдуетъ, а оставшіяся деньги послать въ деревню для спасенія отца, брата, дѣда. А мошенничество онъ совершилъ потому собственно, что, кромѣ этого намѣренія, у него никакихъ побочныхъ соображеній, во время мошеннической получки денегъ, не было.

Приблизительно такое же приключеніе испыталъ Михайло Лунинъ. Пришелъ онъ въ городъ за деньгами. Но деньги зря не валяются. Наконецъ, онъ наткнулся на предпріятіе, обѣщавшее большую получку денегъ, и, ни о чемъ не думая, выполнилъ его... А послѣ этого попалъ въ острогъ и сидѣлъ тамъ. Потомъ судился, но на судѣ обнаружилъ полную свою душевную наготу, былъ понятъ, оправданъ и пущенъ на волю... Все это произошло съ нимъ такъ, какъ съ тысячами другихъ деревенскихъ юношей. Но только дальнѣйшая судьба его была не похожа на судьбу другихъ. Тѣ, другіе, погибали, а онъ продолжалъ рости; острогъ, гдѣ онъ сидѣлъ, не развратилъ его, а только ужаснулъ и перевернулъ всѣ его мысли. Отъ всѣхъ, кто потомъ зналъ его и любилъ, онъ долго скрывалъ эту мрачную тайну своей жизни; и долго ужасъ и стыдъ нападали на него, лишь только ему приходилъ на память этотъ темный эпизодъ его жизни.

Такой же ужасъ овладѣлъ имъ и тотчасъ послѣ того, какъ онъ, очутившись на улицѣ, среди толпы людей, изумленно оглядывался по сторонамъ, не рѣшаясь сдѣлать шагу отъ зданія суда. Невѣдомый раньше его дикой натурѣ страхъ всецѣло завладѣлъ имъ. Онъ стоялъ, прижавшись къ стѣнѣ, и испуганно смотрѣлъ на проходящихъ. Ему казалось, что нѣкоторые изъ нихъ презрительно оглядывали его, а на ихъ устахъ, казалось ему, было написано: мошенникъ! Онъ упалъ духомъ. Неужели онъ — мошенникъ и такимъ останется навсегда?

Но все-таки черезъ нѣкоторое время онъ пошелъ, самъ не зная куда. У него ничего опредѣленнаго не было въ виду

кромѣ какого-то смутнаго желанія вырваться откуда-то... Нѣтъ ощущенія болѣе страннаго, нежели эта внутренняя пустота, въ особенности когда она поселяется въ здоровомъ, молодомъ тѣлѣ; Михайло чувствовалъ, что тѣло его хочетъ распасться, развалиться на куски, лишенные внутренняго содержанія и поддержки; оно казалось ему страшно тяжелымъ, и онъ съ усиліемъ тащилъ его вдоль улицъ.

Но все-таки онъ шелъ, тихо, тяжело и безъ цѣли. Такъ онъ прошелъ площадь, множество улицъ, весь городъ, вышелъ за предѣлы его и сѣлъ на берегу рѣки, не зная самъ, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ. Онъ смотрѣлъ на воду, на противоположный берегъ рѣки, на баржи, на пароходъ, который тянулъ ихъ, на людей, виднѣвшихся изъ-за бортовъ судна, но едва-ли видѣлъ все это. Его внутреннее состояніе можно бы выразить такъ:

— Господи! да что мнѣ нужно?

Ибо онъ дѣйствительно не зналъ, что надо ему. Изъ деревни онъ убѣжалъ затѣмъ, чтобы нажить много денегъ, по крайней мѣрѣ, самъ думалъ, что за этимъ... Теперь же онъ не понималъ, зачѣмъ ему деньги? Деньги? но за нихъ, пожалуй, влопаешься въ какую-нибудь подлость. Хлѣбъ? но хлѣба вездѣ можно достать. Что же надо ему, деревенскому юношѣ, рабочему человѣку, одаренному какою-то необычною жаждой борьбы съ чѣмъ-то, гонимому какою-то силой, нигдѣ не дававшей ему покоя? И вотъ все существо Михайлы проникнуто было вопросомъ: чего же ему надо? Онъ для чего-то убѣжалъ изъ деревни, ищетъ что-то, ловитъ какую-то вещь — и самъ не знаетъ, что это такое?... Но только не деньги.

Городской шумъ не доходилъ до него; городъ былъ скрытъ отъ его глазъ, только на небѣ стоялъ дымъ съ пылью, обозначавшій мѣсто, гдѣ онъ раскинулся. Мѣсто было пустынное, песчаный берегъ рѣки, песчаные бугры далеко по всему берегу, кирпичные сараи, едва поднимавшіеся надъ землею, — вотъ все, что окружало Михайлу. Справа отъ него спускалась внизъ къ рѣкѣ дорога, проторенная лошадьми, ходившими на водопой, и водовозами; но и на этой дорогѣ долгое время никто не показывался. Михайлѣ стало жутко. Одиночество смутило его, наконецъ... А прежде онъ жаждалъ вездѣ быть одинъ, и всѣ люди были для него чужими, подозрительными... Въ эту минуту онъ радъ былъ бы всякому существу.

Существо это, къ радости Михайлы, показалось въ образѣ водовоза, сидѣвшаго на бочкѣ. Такъ какъ водовозъ весь былъ вымазанъ глиной, вплоть до ушей, то Михайло заключилъ изъ этого, что онъ работаетъ на кирпичныхъ сараяхъ, что сейчасъ же подтвердилось. Водовозъ, между тѣмъ, заѣхалъ въ воду, слѣзъ съ бочки, сѣлъ на песокъ и неторопливо сталъ вертѣть изъ газеты сигарку, послѣ чего закурилъ ее и сталъ плевать въ воду, наблюдая, куда теченіе уноситъ его слюни. Михайлу онъ замѣтилъ, но, занятый своимъ дѣломъ, долго не поворачивалъ къ нему головы.

Наконецъ, выкуривъ сигару до корня и не вставая съ мѣста, онъ спросилъ юношу лѣнивѣйшимъ тономъ:

— Безъ работы, должно, находишься?

— А ты почемъ знаешь?—возразилъ Михайло угрюмо.

— Да ужь видно гуся сразу... небось изъ деревни?

— Изъ деревни. А что?

— Да такъ... Знаю самъ — денегъ нѣтъ, жрать нечего, отецъ съ матерью да съ ребятами воютъ, ну, и побѣжалъ въ городъ за счастьемъ. А, между прочимъ, въ городѣ-то сразу счастья не даютъ, особливо который ежели не понимаетъ, гдѣ его искать... Знаю все! Я самъ, братъ, изъ деревни. Только ужь я давно. Сначала уходилъ въ городъ по зимамъ, а на лѣто домой — убираться. Бѣгалъ, бѣгалъ я такъ изъ деревни въ городъ, изъ города въ деревню и порѣшилъ, потому зря только ноги обиваешь. Прибѣжишь зимой въ городъ—тутъ нѣтъ ничего! Прибѣжишь лѣтомъ въ деревню — тамъ нѣтъ ничего! Взялъ, да и прекратилъ съ хозяйствомъ, привезъ сюда жену, ребятъ, разсовалъ всѣхъ кого куды: дѣвочку въ трактиръ въ судомойки, мальчишку въ трактиръ на побѣгушки, жена при мнѣ, я самъ у Пузырева, который что прикажетъ, то и дѣлаю... Идолъ, однако, хорошiй!

— Это какой идолъ?—спросилъ Михайло.

— Да хозяинъ нашъ, Пузыревъ. Я у него все одно, какъ домашній. Теперь онъ на меня озлился и я вотъ воду таскаю.

— Сколько же получаешь?

— Всяко. У насъ съ нимъ безъ ряды,—говорю тебѣ, я у него какъ домашній... Оно бы ничего и въ водовозахъ, да кормитъ, жидъ, по-свиному, чисто какъ мы животныя какія безчестныя... Оно и это ничего бы, да безпокоитъ.

Говоря это, водовозъ лѣниво повернулся на другой бокъ,

лицомъ къ Михайлѣ, и сталъ ковырять пальцемъ песокъ. О водѣ онъ, повидимому, забылъ и радъ былъ случаю высказать свои размышленія.

— А было счастье и у меня,—продолжалъ онъ, не дожидаясь возраженій со стороны Михайлы,—само пришло, и держалъ я его вотъ этими самыми руками, да дуракъ я, не умѣлъ опредѣлить его въ дѣло... Случились разъ у меня деньги... какъ я ихъ получилъ—незачѣмъ это разсказывать, только вѣрно—получилъ и въ карманъ положилъ, да толку-то не вышло. Кабы тогда путемъ разсудить, такъ былъ бы человѣкъ, а то теперь свинья свиньей, все равно, какъ оселъ какой живешь безпокойно. Если бы тогда я не зашелъ отъ глупости въ трактиръ, да не сталъ бы по головамъ бутылками ѣздить, то ужь теперь бы я вонъ куды поднялся, теперь бы у меня, можетъ, домъ каменный былъ—вотъ бы куды я хватилъ! Нынѣ же вотъ какъ свинья, безъ жалованья, ѣмъ грязь, сплю въ грязи, отдыху мало. А потому, что дуракъ...

— Какъ же это ты выпустилъ деньги?—равнодушно спросилъ Михайло.

— Какъ выпустилъ? Выпустилъ даже очень просто, все одно, какъ пухъ изъ перины, самъ даже почесть не понимаю, какъ, куда, зачѣмъ... Какъ только, видишь-ли, получилъ я эдакую кучу денегъ и сталъ, братецъ ты мой, самъ не свой! Замѣсто того, чтобы радоваться тихимъ манеромъ, а я самъ не свой сдѣлался, робость на меня напала или какъ бы затменіе... Сижу я у себя на квартирѣ, щупаю карманъ и не знаю, куда мнѣ дѣваться съ ними. Денегъ сразу много пришло, а я не знаю, дуракъ, что съ ними дѣлать, куда дѣвать, съ чего начать... Хоть убей—не понимаю! Сижу я эдакъ дома и, напримѣръ, не понимаю. И потомъ вышелъ на дворъ—тоже ничего не понимаю. Пошелъ ходить по улицамъ, а самъ чую, что я какъ оглашенный какой. Прежде, бывало, получишь копѣйку и напередъ знаешь, куда ее опредѣлить. А тутъ въ карманѣ лежитъ куча, а дѣвать ее некуда. Понимаешь, некуда мнѣ ее дѣвать, ни къ чему мнѣ она, ничего не знаю я, въ какой оборотъ ее пустить... Ходилъ-ходилъ я по улицамъ въ эдакомъ непониманіи и зашелъ въ лавку. Не то, чтобы требовалось вещь какую купить, а такъ, чтобы купить хоть для первоначалу что-нибудь. Увидѣлъ въ лавкѣ шапки и купилъ... даже двѣ цѣлыхъ—одну бобровую, другую

баранью, а зачѣмъ—не знаю. Почему двадцать цѣлковыхъ у меня вылетѣло—не понимаю... Вышелъ я опять на улицу, старую шапченку засунулъ въ карманъ, бобровую надѣлъ на голову, а баранью держу въ рукахъ и опять думаю, куды бы мнѣ еще деньги опредѣлить? Увидалъ я тутъ трактиръ и обрадовался; дай, думаю, во всю свою жизнь въ первый разъ попью, покушаю, какъ прочіе хорошіе люди. Зашелъ. Трактиръ чистый, половые какъ господа, а я сѣлъ за столъ и смотрю твердо, потому что съ деньгами съ какою хошь рожей поглянешься. Приказалъ я принести порцію котлетовъ, а пока чай. Попилъ чаю, сахаръ весь съѣлъ, и принесли мнѣ порцію. Съѣлъ я ее мигомъ—мало, подавай еще! Подали еще—мало! Принесли третью порцію и тогда я насытился. Послѣ того велѣлъ принести пива цѣлую дюжину бутылокъ и пью. Сижу я за бутылками, словно за заборомъ какимъ, и посматриваю на всѣхъ хладнокровно... Но одинъ половой, вижу, все что-то хихикаетъ про себя; какъ взглянетъ на меня, такъ и захихикаетъ. А въ головѣ у меня ужь шумъ пошелъ. Осердился я гнѣвно на этого подлеца и кричу ему: „Ты что, противная образина, насмѣхаешься надо мной?“ Онъ смѣется, а я давай его честить... Поднялъ такой шумъ, что и Боже упаси! Всѣ посѣтители оборотились ко мнѣ. А я все ругаюсь. Половой подходитъ ко мнѣ и такъ вѣжливо говоритъ: „Вы, говоритъ, господинъ, пришли въ хорошее мѣсто, такъ не извольте вести себя какъ свинья, а не то я пошлю за полиціей“... Ну, тутъ я ужь совсѣмъ пошелъ въ рукопашную, схватилъ бутылку съ пивомъ и пустилъ ему въ голову... Шумъ, свистъ, полиція!... Стали меня приступомъ брать, а я стою, держу въ рукахъ по бутылкѣ, да пивомъ-то ихъ по всѣмъ частямъ... Однако, положили меня, и тутъ ужь я не помню, что мнѣ говорили, а, должно быть, ничего не говорили, а били только. Опамятовался я ужь только на другое утро въ кутузкѣ. Первымъ дѣломъ—хвать въ карманъ, а денегъ ужь нѣтъ! Вотъ когда я въ себя пришелъ и вотъ тутъ только понялъ, какъ глупо все набезобразилъ... Мнѣ хоть бы деньги-то женѣ отдать, а я вонъ куды!... Жалко мнѣ стало денегъ. Голова болитъ, лежу весь больной, въ горлѣ пересохло, пить такъ хочется, а тутъ меня скоро вытолкали на улицу, и сталъ я опять такая же бѣдная свинья, какъ словно у меня и денегъ никогда не было! Я заплакалъ...

— Всѣ деньги дочиста̀ пропали?—спросилъ Михайло.

— Всѣ. Должно быть, половой-то этотъ и вытащилъ, какъ меня повалили... Да, конечно, самъ виноватъ!

— Видно, мысли-то у тебя никакой не было,—задумчиво замѣтилъ Михайло.

— Это ты вѣрно. Окромя развѣ вотъ этихъ шапокъ... а то больше и мыслей у меня не было... да и шапокъ-то не отыскалось!

— И шапки пропали?

— Пропали. Кабы знать, такъ хоть бы шапки-то отнести домой... А то вотъ теперь вози воду... Эхъ, ты, вислоухій, что пригорюнился?—закричалъ вдругъ дѣловымъ тономъ водовозъ, обращаясь къ покорно стоявшей въ водѣ лошади, и принялся наливать бочку.

— Какъ же теперь... живешь? — полюбопытствовалъ Михайло.

— Плохо... Пузыревъ, идолъ-то мой, разжаловалъ вишь меня. Я у него кучеромъ былъ, чуть даже въ прикащики къ чему не попалъ, да онъ вотъ взялъ, да и свергнулъ меня въ водовозы...

— За что же?

— За все. Онъ что хочетъ, то и дѣлаетъ со мной. Да, надо какъ ни то упросить его, чтобы получше мѣстечко далъ... скучно воду-то возить.

— Ты что же сидишь... развѣ не побранитъ хозяинъ?—спросилъ Михайло.

— Ничего, лѣшій съ нимъ! Нельзя ужь и отдохнуть? Наплевать!—говорилъ лѣниво водовозъ.

Онъ налилъ бочку и выѣхалъ изъ воды. Михайло вспомнилъ, что сейчасъ онъ останется одинъ, безъ пріюта, безъ цѣли, съ отшибленными руками, опустившійся. Но водовозъ какъ будто угадалъ его состояніе.

— А ты, парень, иди къ намъ на работу,—сказалъ онъ.

— Ты же говоришь, что у васъ плохо?

— Гдѣ же лучше-то?. По крайности кусокъ хлѣба.

— Да вѣдь ты самъ говоришь, что хозяинъ вашъ—идолъ?

— Конешно, идолъ... притѣсняетъ... Но онъ ничего. Ежели ему хорошенько услужить, онъ помнитъ...

Михайло съ какимъ-то недоумѣніемъ замолчалъ, всталъ съ мѣста и отправился вслѣдъ за водовозомъ по направленію къ

кирпичнымъ сараямъ. Ему было все равно, лишь бы не остаться наединѣ съ собой. Дорогой они ближе познакомились. Михайло, во-первыхъ, узналъ, что водовоза зовутъ Исаемъ; во-вторыхъ, этотъ Исай живетъ теперь подъ открытымъ небомъ, находясь день и ночь подлѣ сараевъ, а по окончаніи кирпичнаго сезона переберется съ женой на дворъ хозяина, который помилуетъ его и дастъ ему болѣе радостное мѣстечко.

Скоро они пришли къ сараямъ. Произошла сцена, чрезвычайно удивившая Михайлу. Исай, вѣроятно, думалъ, что хозяинъ въ этотъ день не явится на мѣсто работъ, и безъ опасенія провелъ на берегу цѣлый часъ въ разговорахъ. Но случилось иначе. Едва онъ остановился съ бочкой, какъ наткнулся на хозяина. Послѣдній набросился на него съ ругательствами. „Гдѣ ты былъ? Тебя тутъ ждутъ, подлеца, а ты и ухомъ не ведешь! Куды ты провалился, безсовѣстный?“ Долго бушевалъ хозяинъ и привелъ въ такое замѣшательство Исая, что послѣдній, какъ взялъ въ руку черпакъ, такъ и застылъ съ нимъ. „Что же всталъ истуканомъ? Выливай, дуракъ, воду, да пошелъ опять скорѣй!“ закричалъ хозяинъ. Это вывело Исая изъ столбняка. Онъ живо вычерпалъ воду въ яму, бормоча что-то подъ носъ себѣ, вродѣ того, что, молъ, не птица же онъ съ крыльями, чтобы такъ скоро летать, сѣлъ поспѣшно на бочку и что есть духу поскакалъ за новою водой,—только бочка загремѣла... куда и равнодушіе дѣвалось.

У Михайлы этотъ день пропалъ даромъ. Безъ хозяина, который сейчасъ же уѣхалъ послѣ острастки, онъ не могъ подрядиться на работу, а пока ходилъ въ городъ, въ домъ Пузырева, пока ждалъ его, а потомъ торговался, наступилъ уже вечеръ.

Но ночь онъ провелъ уже на мѣстѣ. Исай обязательно указалъ ему голую землю, гдѣ онъ можетъ лечь, и пучекъ соломы, который онъ можетъ употребить въ качествѣ подушки. Михайло такъ и сдѣлалъ: подложилъ соломы подъ голову и легъ на землю, прикрывшись кулемъ. Онъ вскочилъ чуть свѣтъ, не попадая зубъ на зубъ отъ утренняго холода, проникшаго его до мозга костей. Въ слѣдующія ночи онъ, впрочемъ, лучше приспособился, хотя и продолжалъ спать на чистомъ воздухѣ.

На другой день онъ вмѣстѣ съ другими принялся за дѣланіе кирпичей. Способы были такіе первобытные, что онъ въ два дня постигъ все, относящееся къ кирпичамъ. Сперва мѣсятъ глину ногами, руками и лопатами—это онъ выучилъ; потомъ дѣлятъ на меньшія кучи глину и еще разъ мѣсятъ; потомъ берутъ руками комокъ липкой глины, шлепаютъ его въ станокъ, притаптываютъ ногами и приглаживаютъ съ помощью лопатъ и воды—и кирпичъ готовъ.

Слѣдующіе уже дни Михайло велъ такую несложную жизнь, что потомъ никакъ не въ состояніи былъ припомнить ни одного событія, которое раздѣляло бы одинъ день отъ другого. Рано по утру онъ работалъ. Въ восемь или девять часовъ—завтракъ изъ хлѣба и квасу. Потомъ опять работа. Въ часъ дня—обѣдъ изъ хлѣба, изъ каши съ рыбой или съ солониной, или съ саломъ. Потомъ опять работа. Въ девять часовъ—ужинъ изъ хлѣба и изъ каши, на этотъ разъ безъ рыбы, безъ сала и безъ солонины.

Черезъ недѣлю, въ день разсчета, Михаилу обсчитали на двадцать копѣекъ. Въ эту первую недѣлю онъ протестовалъ, сверкая глазами. Но въ слѣдующую недѣлю онъ только удивился, что его обсчитали на двадцать пять копѣкъ. А на третью недѣлю онъ уже молчалъ, равнодушно смотря на ладонь, гдѣ лежали деньги. Среда, куда онъ попалъ, неумолимо дѣйствовала. Между работниками были мѣщане изъ города, крастьяне изъ деревень и бабы обоихъ сословій, но вся эта огромная куча людей молчала, равнодушная, холодная, потерявшая даже охоту выражать свои нужды. Обѣдъ былъ тухлый—ѣли. Въ субботу обсчитывали—острили. „У тебя сколько нынче уперли?“—лѣниво спрашиваетъ одинъ.—„Тридцать“,-равнодушно отвѣчаетъ другой.—„А у меня даже съ карманомъ... вотъ посмотри, кармана-то нѣту, оторвали, черти!“ Смѣхъ.

Михайло дѣлалъ такъ, какъ дѣлали другіе. Онъ, не сознавая этого, незамѣтно опускался куда-то глубоко внизъ. Никакой своей мысли въ это время у него не появлялось: онъ думалъ настолько, насколько это нужно было, чтобы не принять кирпичи за дерево или чтобы не прикрыться, вмѣсто рогожи, кирпичами. Онъ мѣсилъ глину, ѣлъ рыбу „съ духомъ“, спалъ среди природы, какъ всѣ прочіе товарищи, въ концѣ недѣли шелъ за разсчетомъ, подставлялъ ладонь, получалъ,

какъ прочіе, молчалъ и имѣлъ угрюмый видъ, какъ всѣ, и опустился на самое дно равнодушія, какъ всѣ окружающіе.

Онъ быстро осовѣлъ и обезмыслѣлъ. Во время работы онъ старался поменьше дѣлать кирпичей и ждалъ съ нетерпѣніемъ времени ѣды, но въ особенности ждалъ, когда наступитъ ночь и можно лечь спать, прикрывшись рогожей; но сна ему было мало; онъ мечталъ о воскресеньи, когда онъ въ вправѣ лечь съ вечера субботы и проспать до вечера воскресенья; всѣ другіе его мечты за это страшное время носили тотъ же характеръ. Ему стало лѣнь думать, надѣяться, желать, и ослабленіе всего его существа было такое полное, что онъ не чувствовалъ, что существуетъ.

Рано утромъ его обыкновенно расталкивалъ ногой одинъ изъ распорядителей работъ, послѣ чего онъ вскакивалъ съ наивнымъ видомъ и безсмысленно принимался соваться, пока новый крикливый приказъ изъ непечатныхъ словъ не приводилъ его въ себя... и ему тогда не стыдно было этого. Онъ принимался за работу, показывая всѣми движеніями, что онъ изо всѣхъ силъ старается, но чуть отвернется десятникъ, Михайло преспокойно садится возлѣ кучи глины и лѣниво глазѣетъ на окрестности по сторонамъ... и этого тогда не стыдно было ему! Впослѣдствіи онъ съ негодованіемъ вспоминалъ все это, но въ это время онъ не чувствовалъ ничего, кромѣ страшной тяжести жизни; вспоминая это время, онъ впослѣдствіи говорилъ, что онъ потерялъ даже ощущеніе жизни, а когда къ нему приходило смутное ощущеніе бытія, то онъ старался какъ можно больше спать.

Наружный его видъ такъ измѣнился, что видѣвшіе его раньше не узнали бы его; штаны его просвѣчивали, обнажая многія мѣста, въ волосахъ, всегда всклокоченныхъ, торчала солома (остатки ложа), лицо чортъ знаетъ чѣмъ было вымазано! Ему вообще ничего не было стыдно тогда и ничего не хотѣлось дѣлать для себя и по своей волѣ.

Не удивляло Михайлу и оскорбительное отношеніе безалабернаго Пузырева къ рабочимъ. Пріѣзжая на заводъ, этотъ хозяинъ, человѣкъ вообще пустой, оставался тамъ на какихъ-нибудь полчаса, но за это время успѣвалъ выругать чуть не всѣхъ работающихъ, не потому, чтобы въ этомъ была какая-нибудь надобность, а такъ, по привычкѣ хозяина, который, по его глупѣйшему соображенію, всегда долженъ дер-

жать себя строго. Иногда же, не находя предлога къ брани въ дѣйствительности, Пузыревъ выдумывалъ его. Подойдетъ къ станку, потычетъ тростью въ мокрые еще кирпичи, швырнетъ ногой кучу высыхающихъ кирпичей и отыщетъ-таки виновника.

— Это кто дѣлалъ? — спрашиваетъ онъ, якобы разгнѣванный.

— Это я.

— Ты? Лучше бы тебѣ не родиться на свѣтъ, нечѣмъ такое безобразіе дѣлать! Это развѣ кирпичъ?—спрашиваетъ Пузыревъ, якобы взволнованный.

— Кирпичъ, кажись...—тупо возражаетъ виновникъ.

— Да ты самъ посмотри... тутъ ямы, тутъ дыры, исковыренъ весь. Да чѣмъ же ты дѣлалъ-то его? Иль у тебя руки отсохли?—продолжаетъ гнѣваться Пузыревъ, насильно раздражая себя.

Виновникъ молчитъ. Это лишаетъ хозяйскій гнѣвъ всякой пищи.

— А по-моему, какъ если руки-то у тебя отсохли, такъ ты хоть бы носомъ обчистилъ кирпичъ, и тогда получай жалованье. А теперь ты замѣсто кирпича надѣлаешь кизяковъ или назьму, въ которомъ ты родился, а жалованье небось просишь... „Пожалуйте, Митрій Иванычъ!"—передразнилъ Пузыревъ съ гримасой, отъ которой толпа захохотала.

Хозяинъ, высказавъ еще множество такихъ же пустыхъ соображеній, уѣзжалъ, а товарищи оплеваннаго поднимали его же на смѣхъ...

— А, ну-ка, попробуй носомъ-то?...—И никто не выражалъ никакой злобы. Не обижался и самъ оплеванный. Но зато при случаѣ онъ, въ свою очередь, сдѣлаетъ что-нибудь, такъ себѣ, ни съ того, ни съ сего, попусту; изломаетъ станокъ и заброситъ его въ оврагъ или пуститъ въ хозяйскую легавую собаку кирпичемъ и перешибетъ ей ногу. Да и сдѣлаетъ это безъ всякой охоты и съ страшною лѣнью. „Никакъ перешибъ ногу евойному легашу... ну, пущай, шутъ съ нимъ, ты только молчи",—говоритъ онъ скучно товарищу, который видѣлъ, какъ онъ пустилъ кирпичъ въ собаку.

Первообразомъ этихъ людей былъ Исай. Михайло близко съ нимъ познакомился; ночь они иногда близко спали; по

праздникамъ Михайло сидѣлъ у него на квартирѣ въ гостяхъ и изрѣдка заходилъ съ нимъ въ портерную.

Портерную Исай, кажется, любилъ больше всего на свѣтѣ. Практиковать любовь къ ней онъ могъ, конечно, только по праздникамъ. Едва дождавшись окончанія обѣдни, онъ уже сидѣлъ тамъ, скрывъ отъ жены часть заработковъ. Это ему удавалось всегда, и для этого онъ пускалъ въ обращеніе тысячу хитростей: запрячетъ деньги въ голенище или затиснетъ ихъ въ щель стѣны, или въ одну изъ дыръ картуза. Жена, конечно, знала, что Исай спряталъ часть, но куда — это рѣдко ей удавалось открыть. Такъ или иначе, прикопивъ нѣсколько денегъ, онъ садился въ портерной и прохлаждался до вечера. Вечеромъ же онъ былъ обыкновенно безъ головы или безъ ногъ; лѣзъ ко всѣмъ драться, старался побить жену, которая вела его подъ руку изъ пивной. Разозлившись, жена, по приходѣ домой, клала его на полъ и шлепала вѣникомъ... Но Исай не обижался по утру. Утромъ онъ жалѣлъ, что нечѣмъ опохмѣлиться.

Дрался онъ не потому, что такимъ способомъ желалъ выразить какую-нибудь внутреннюю боль, а просто потому, что ему скучно становилось. Нерѣдко онъ дебоширилъ въ самой портерной. Тогда его вели въ кутузку, причемъ провожатые размалевывали его лицо пурпуровыми красками; но Исай по утру не обижался, признавая очевидную неизбѣжность мордобоя. Когда его выталкивали изъ кутузки, онъ еще удивлялся, что такъ снисходительно его помиловали. За вину его, за безобразіе его надо бы почище отвалять... Очень просто: порядокъ, законъ,—не безобразничай! А его милостиво только вытолкали изъ полиціи, давъ ему на прощанье здоровенную затрещину.

Михайло удивлялся, какъ мало у Исая потребностей и какъ мало ему надо было вещей, чтобы удовлетворить его вполнѣ. Онъ страдалъ только тогда, когда у него нечего было ѣсть, когда онъ не могъ выпить пива или когда ему не давали заснуть. Въ этихъ случаяхъ онъ не только страдалъ, но дѣлался яростнымъ, злымъ, неукротимымъ. Хозяинъ Пузырѳвъ, больше чѣмъ надъ кѣмъ - нибудь другимъ, тяготѣлъ надъ нимъ, безусловно распоряжаясь его жизнью (кажется, Исай былъ по уши долженъ ему).

Никогда онъ не возражалъ хозяину, что такое-то поруче-

ніе не сподручно ему. Если бы Пузыревъ приказалъ ему лѣзть въ воду, Исай сдѣлалъ бы это; если бы ему сказали, что вотъ этого человѣка надо бить, Исай сталъ бы бить, только потребовалъ бы передъ началомъ дѣла выпить для храбрости. Иногда ему не удавалось побывать въ портерной, тогда онъ шелъ къ Пузыреву и отчаяно грубилъ ему. Пузыревъ понималъ, къ чему клонится вся эта грубость, и выдавалъ ему на выписку, давая слово при первомъ случаѣ оштрафовать его урѣзкой жалованья.

— Вотъ за это благодаримъ, Митрій Иванычъ!—говорилъ съ сіяющимъ отъ радости лицомъ Исай, получивъ удовлетвореніе.

— То-то благодаримъ! Я тебя, подлеца, жалѣю, кормлю, пою, а ты же еще по-собачьи лаешь!

— Простите, Митрій Иванычъ! Конечно, это я по глупости, какъ человѣкъ необразованный... Да! развѣ я не знаю вашей доброты? Сдѣлайте одолженіе, это я вполнѣ чувствую, потому что совѣсть имѣю... За вашу доброту я отплачу... Скажите только: Исай! Больше ничего-съ. Я готовъ отъ души, чего изволите...

— Какъ же, жди отъ васъ благодарности! Вамъ бы только хозяина обмануть... Я тебя, негодяя, содержу, питаю, а ты, какъ съ цѣпи сорвался!... Прямо негодяй!

— Простите, Христа ради... Ругайте, заслужилъ. А теперь позвольте, я пойду выпью за ваше здоровье...

Исай, высказавъ это, лукаво улыбнулся, а на лицѣ его отражалось довольство.

Несмотря на отношенія, часто явно враждебныя, между нимъ и хозяиномъ, Исай питалъ къ Пузыреву нѣкоторый родъ любви... По крайней мѣрѣ, все Пузыревское онъ считалъ „нашимъ"... „Наши лошади супротивъ другихъ прочихъ куды же!..." „У насъ карманъ-то, чай, потолще будетъ",— хвастался Исай передъ посторонними. Это хвастовство и гордость воображаемымъ „нашимъ" были у него искренни. Когда при немъ нехорошо отзывались о Пузыревѣ, который въ самомъ дѣлѣ былъ не уменъ, непрактиченъ, безхарактеренъ, какъ человѣкъ, и ротозѣй, какъ купецъ, то Исай выходилъ изъ себя. Михайло разъ присутствовалъ при одномъ разговорѣ.

— Дуракъ онъ! Отцовскіе капиталы только проѣдаетъ, а

чтобы самому—гдѣ же эдакому глупышу! Одно слово—рохля!—говорилъ одинъ рабочій, когда дѣло какъ-то коснулось Пузырева.

— Кто?—закричалъ Исай съ негодованіемъ.

— А вотъ Пузыревъ-то твой. Земли больше у помѣщиковъ не снимаетъ; который каменный домъ отецъ ему оставилъ недостроенный, и тотъ онъ продалъ!... Дуракъ и есть!

— Да ты у него былъ въ карманѣ-то?—спросилъ Исай, пожирая противника злобными взорами.

— Въ карманѣ я не былъ, а такъ вижу человѣка, какой онъ есть... Проѣстъ онъ скоро и остальныя-то... потому сопдякъ!

— Самъ ты соплякъ! Да онъ купитъ и перекупитъ сто... какое сто! тыщу такихъ, какъ ты подобныхъ жуликовъ!

— Что ты ругаешься, Исайка?

— А то и ругаюсь, что весьма глупо! Кабы ты мнѣ навралъ это подъ пьяную руку, такъ узналъ бы, какіе есть московскіе калачи!

Дѣйствительно, изъ-за Пузырева Исай нерѣдко дрался, въ пьяномъ, конечно, видѣ, какъ ни была нелѣпа подобная ссора.

Прожилъ онъ у Пузырева лѣтъ двѣнадцать съ перерывами, и за это время переработалъ множество работъ. Одно время, за несомнѣнную честность, Пузыревъ назначилъ Исая даже въ приказчики, предварительно нарядивъ его въ приличный костюмъ. Но Исай не во-время сталъ пьянствовать, жестоко дрался съ рабочими, которые, въ свою очередь, потерявъ терпѣніе, драли его и избивали до крови, содержался по два дня въ недѣлю въ кутузкѣ при полиціи за дебоши,—словомъ, оказался неудачнымъ приказчикомъ, хотя не переставъ быть честнымъ. Хозяинъ прямо изъ приказчиковъ свергнулъ его въ сторожа—караулить кирпичи, хранившіеся круглый годъ за городомъ. Тамъ ему было такъ скучно, что онъ по сорока часовъ подрядъ спалъ. Изъ сторожей онъ былъ уволенъ за то, что чуть было не убилъ коломъ какого-то проходившаго мимо человѣка, принявъ его съ просонья за вора. Это дѣло доходило до полиціи, и хозяинъ только благодарностью избавилъ его отъ тюрьмы. Исай послѣ этого долго былъ въ опалѣ и прогнанъ былъ въ среду обыкновенныхъ работниковъ на кирпичныхъ сараяхъ, т.-е. мѣсить глину, лѣпить

кирпичи и пр. Потомъ Пузыревъ взялъ его въ свой городской домъ въ дворники, изъ дворниковъ онъ сдѣлалъ его кучеромъ. Когда его одѣли кучеромъ, онъ выглядѣлъ очень красиво, смотрѣлъ сурово, руки держалъ прямо, какъ палки, и залихватски кричалъ: „гись!", за лошадьми также хорошо ухаживалъ. Но однажды, когда Пузыревъ торопился куда-то и приказалъ быстрѣе ѣхать, Исай такъ пересолилъ, что задавилъ дѣвочку-нищую. Опять въ полицію! Дѣло было потушено, но Пузыревъ свергнулъ Исая въ водовозы.

На все способный, Исай, кромѣ того, исполнялъ еще другія домашнія работы, даже не свойственныя мужскому полу. Нерѣдко хозяйка просила его, за отсутствіемъ няньки, поводиться съ ея груднымъ ребенкомъ. Исай съ величайшимъ удовольствіемъ брался за это порученіе: носилъ ребенка на рукахъ съ нѣжностью кормилицы, возилъ его въ коляскѣ, забавлялъ его разными штуками. Онъ такъ увлекался своею ролью, что совершенно забывалъ себя, весь отдавшись маленькому крошкѣ. Когда тотъ собирался заплакать, Исай пускалъ входъ всевозможныя успокоительныя средства: мяукалъ, какъ кошка, щелкалъ, какъ сорока, мычалъ, какъ корова, высовывалъ языкъ, дергая себя за носъ, или прятался вдругъ подъ коляску, ложась плашмя на землю. Ребенокъ, наконецъ, забывалъ свое намѣреніе кричать, пораженный прыжками и метаморфозами огромнаго мужичищи. Когда же ему хотѣлось спать, Исай бралъ его на руки и убаюкивалъ его пѣсней, которую тянулъ хриплымъ голосомъ, но тихо, какъ будто шепталъ, при этомъ раскачивался всѣмъ тѣломъ монотонно и самъ закрывалъ глаза, какъ соловей во время трелей.

Такъ поступалъ онъ на глазахъ, искренно и изъ всѣхъ силъ исполняя всякое порученіе. Искренность его не подлежала ни малѣйшему сомнѣнію. Пузыревъ однажды застрялъ въ весенней зажорѣ—Исай вытащилъ его на своихъ плечахъ, а самъ пролежалъ два мѣсяца въ горячкѣ. Въ другой разъ онъ бросился, съ рискомъ быть разбитымъ на куски, на лошадь, которая трепала Пузырева. Но едва его спускали съ хозяйскихъ глазъ, какъ онъ дѣлался самъ не свой и не зналъ, куда дѣть свои руки, свою голову, свое тѣло. Когда для него выходилъ въ будни свободный день, то онъ убивалъ его безсмысленно; онъ тогда или валялся на соломѣ, или

бродилъ по городу съ шальнымъ лицомъ, заглядывалъ во всѣ трактиры, и если ему удавалось встрѣтить пріятеля, соглашавшагося вывести его изъ такого тягостнаго настроенія, то онъ сейчасъ напивался, немедленно же вступалъ въ драку съ этимъ же самымъ пріятелемъ и сейчасъ же ему раскрашивалъ физіономію. Такъ онъ наполнялъ день. Потому внутри у него было пусто. Самъ онъ никогда не могъ придумать порядка для своей жизни и наполнялъ внутреннюю пустоту свою тогда только, когда ему приказывали сдѣлать это, бѣжать туда, работать тамъ, умереть вотъ здѣсь... И дѣлалъ, бѣжалъ, работалъ, умиралъ. Получивъ приказаніе, наполнившее его пустоту смысломъ, хотя и чужимъ, онъ моментально дѣлался изъ апатичнаго и тупого существа человѣкомъ, способнымъ на всѣ руки, старательнымъ, умницей.

И онъ легко принималъ все чужое,—все, что ему приказывали, всякій порядокъ, не имъ выдуманный, всякое дѣло, не имъ начатое. Легко онъ сносилъ и обиды въ жизни,—обиды, неминуемо сопряженныя съ приказаніями, съ чужою волей, съ чужими капризами, лишь бы эти приказанія исходили отъ какой-нибудь силы. А силой для него былъ всякій, кто держалъ въ рукахъ палку, изъ чего бы эта палка ни состояла. Когда эта палка била его, ему было больно, но законность существованія палки не вызывала въ немъ сомнѣнія.

Въ глубинѣ души, подъ самою послѣднею подкладкой его мыслей, онъ не признавалъ за собой „правовъ", по той причинѣ, что не зналъ ихъ, не зналъ ничего истинно-человѣческаго, справедливаго, идеальнаго; вся жизнь его, съ нѣжнаго дѣтства, протекла въ принятіи собственными ребрами всего безчеловѣчнаго, несправедливаго, грѣшнаго. Съ этими явленіями грязи и безчеловѣчія онъ такъ сжился, что считалъ за чистое для себя снисхожденіе, когда его тѣмъ или инымъ путемъ не драли, и все, что выходило изъ предѣловъ насилія и неправды, онъ въ глубинѣ души считалъ хорошимъ, но неестественнымъ.

Михайло, изучившій его до малѣйшихъ подробностей, съ изумленіемъ спрашивалъ себя, какъ и для чего такой человѣкъ существуетъ? Самъ онъ понемногу сталъ выходить изъ того душевнаго оцѣпенѣнія, которое овладѣло имъ здѣсь. А

одинъ довольно незначительный случай окончательно привелъ его въ чувство. Однажды приказчикъ во время работы разговаривалъ съ господиномъ, котораго рабочіе называли Ѳомичемъ, произнося это имя съ величайшимъ уваженіемъ, хотя это имя носилъ простой слесарь... Михайло и раньше много слышалъ объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, имѣвшемъ на него впослѣдствіи такое огромное вліяніе, и теперь, увидавъ его, бросилъ работу, облокотился на груду кирпичей и пристально вглядывался въ барина (иначе нельзя было, судя по наружности, назвать Ѳомича); какое-то глубокое раздумье и вмѣстѣ жгучая тоска охватила его, когда онъ такъ стоялъ.

Но вдругъ приказчикъ набросился на него.

— Ты что стоишь? Дѣла нѣтъ у тебя? Пошелъ работать, негодяй!—закричалъ приказчикъ, не подозрѣвая, съ кѣмъ имѣетъ дѣло.

Михайло вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, поблѣднѣлъ и моментально очутился подлѣ самаго носа приказчика.

— Ты что сказалъ?—спросилъ онъ тихо.

Приказчикъ растерялся.

— Иди на работу, сказалъ я...

Приказчику показалось, что Михайло сейчасъ схватитъ его и броситъ въ яму, подлѣ которой они стояли; онъ въ замѣшательствѣ попятился, испуганный зловѣщимъ лицомъ Михайлы.

— Ну, смотри... впередъ языкъ держи за зубами!—проговорилъ тихо послѣдній и пошелъ на свое мѣсто, провожаемый взглядомъ Ѳомича, которымъ Ѳомичъ какъ бы спрашивалъ: кто такой этотъ гордый оборванецъ?

Вотъ этотъ случай и вывелъ Михайлу изъ оцепѣнѣнія. Въ первую минуту имъ овладѣлъ страхъ. „Боже мой! да гдѣ же я? куда попалъ?“—спрашивалъ онъ себя. Затѣмъ онъ быстро составилъ рѣшеніе—убѣжать отсюда, дождавшись субботняго разсчета. На своихъ товарищей онъ вдругъ взглянулъ со страшною злобой, а Исая видѣть не могъ. Въ этотъ же день онъ нашелъ предлогъ выпустить цѣлый зарядъ злобы.

Это было уже въ то время, когда они лежали, приготовляясь уснуть. Исай по какому-то поводу сталъ ругать Пузырева и жаловался, что ему плохо жить тутъ.

— Ну, я этого не замѣчаю что-то... тебѣ вездѣ отлично! —возразилъ Михайло изъ-подъ рогожи.

— Однако же... есть же мѣста лучше и есть хуже... какое же сравненіе!—продолжалъ Исай, громко зѣвая, изъ-подъ рогожи. Онъ не подозрѣвалъ, какая злоба бьется подъ сосѣднею рогожей.

— Да ты зачѣмъ ушелъ изъ деревни-то?—вдругъ отрывисто спросилъ Михайло.

— Ушелъ-то? Ушелъ, потому что—ну ее къ ляду!

— Да отчего же все-таки? Любопытно вѣдь послушать!

Исай не могъ отвѣтить на такой простой вопросъ. Говорилъ онъ о какой-то лошади, о какомъ-то мѣшкѣ съ отрубями, но все-таки не въ состояніи былъ прямо отвѣтить, отчего онъ ушелъ.

— Часто тебѣ тамъ рубаху-то заворачивали?—спросилъ съ презрѣніемъ Михайло.

— Да, случалось... какъ всѣмъ прочіимъ...

— Такъ, можетъ, отъ этого ушелъ?

— Конешно, отъ этого!—обрадовался Исай.

Но Михайло сейчасъ же уличилъ его.

— Да развѣ здѣсь тебѣ лучше, ежели каждую недѣлю у тебя морда разбита, бока переломаны?

Исай не могъ возразить, хотя что-то бормоталъ подъ рогожей.

— Жрать-то было-ли тебѣ?—презрительно спросилъ опять Михайло.

— Какъ обыкновенно, по обычаю — отъ Миколы ужъ не было своего хлѣба. Бѣгалъ къ этому же Пузыреву, Митрію Иванычу,—онъ въ ту пору хлѣба у барина снималъ въ ренду... Иной разъ давалъ, иной разъ прогонялъ — ну, тогда, точно, кушать нечего было.

— Такъ, можетъ, отъ этого ушелъ?

— Вотъ, вотъ! Отъ этого самаго, отъ недостатка!—обрадовался было Исай, но Михайло снова приперъ его къ стѣнѣ.

— Ну, а здѣсь-то какое для тебя удовольствіе? Денегъ у тебя нѣтъ, въ пищѣ ты на собачьемъ положеніи, утромъ тебя десятникъ пнетъ ногой, какъ подлеца какого, ругаетъ тебя Пузыревъ, какъ свою лошадь. Жену ты не кормишь, дѣтей раскидалъ, значитъ, ты и самъ не знаешь, зачѣмъ ты сюда пришелъ и чего ты ищешь? Эхъ, ты, Исай, Исай!—сказалъ со злобнымъ смѣхомъ Михайло и далеко отбросилъ отъ себя куль, которымъ былъ прикрытъ.

— По-моему, тебѣ вездѣ плохо. Ты самъ лучшаго-то не желаешь... Когда тебя обидитъ Пузыревъ, ты хоть бы къ мировому пошелъ!—продолжалъ Михайло.

— Больно ты ловокъ! Да онъ такого тебѣ страху напуститъ, Пузыревъ-то, что и глазъ некуда будетъ спрятать! Жаловаться... это мы сами понимаемъ, да нельзя, хуже себѣ сдѣлаешь!—возразилъ горячо Исай, высовывая голову изъ-подъ рогожи.

— Чѣмъ же хуже?

— А тѣмъ и хуже, что онъ тебя, смутьяна, въ одинъ моментъ прогонитъ!

— Ну, и прогонитъ, а ты ищи лучшаго.

— Чего? Куда?—горячо возразилъ Исай, потомъ жалобно проговорилъ: — Нѣтъ, Мишенька, нашего-то брата нѣжно нигдѣ по спинѣ не гладятъ — сдѣлай одолженіе! Онъ тебѣ такого мирового подпуститъ, что по гробъ жизни...

Михайло окончательно вышелъ изъ себя. Въ немъ проснулась прежняя дикость.

— Эхъ, вы, крѣпостные!—вскричалъ онъ.—Отъ васъ, отъ чертей, и всѣмъ-то жить худо, потому что вы сами не желаете хорошаго себѣ... Набьетъ, идолъ, брюхо свое соломой— и доволенъ, больше не требуется, сытъ! Дерутъ его, какъ мерина, а у него хоть бы стыдъ былъ — ничего!... Что ему, идолу, когда онъ съ измалѣтства привыкъ, чтобы драли его по заду? Вотъ Пузыревъ ужь на что, и тотъ покрикиваетъ. Жаловаться на него—какъ же можно? Господинъ! Осерчаетъ! А этотъ самый господинъ еще и лицо-то не успѣлъ умыть, еще пахнетъ отъ него мужикомъ, а онъ ужь ломается, кричитъ, обсчитываетъ, пхаетъ ногой въ бокъ... Да и какъ же ему не ломаться, коли онъ видитъ крѣпостныхъ истукановъ? Эхъ, ты, рабъ! А тоже жалуешься, что плохо!... Да что же тебѣ плохо, когда ты не имѣешь понятія, что хорошо, что плохо, что радость, что пиво, что счастье, что битье по заду... когда ты не различаешь хлѣба отъ соломы,—чего же тебѣ нужно? Нѣтъ, если бы ты самъ хотѣлъ хорошее, понималъ бы, что есть хорошее, стыдился бы худого, такъ никто бы не смѣлъ ломаться надъ тобой. Кто же меня приневолитъ дѣлать, когда я скажу: не хочу!

Исай, слушая эту пальбу по немъ, даже сѣлъ, выкарабкавшись изъ-подъ рогожи. Но онъ не столько осердился,

сколько былъ оглушенъ, пораженный взрывомъ злобы, съ которой говорилъ Михайло.

— Больно ты прытокъ!—замѣтилъ Исай нерѣшительно.

— Только отъ васъ и услышишь: „больно прытокъ, больно ловокъ!“ Васъ по ушамъ бьютъ, а для васъ ничего... У васъ нѣтъ понятія, что вы—животныя, а не то что люди, которые, напримѣръ, не позволятъ ломаться, не станутъ жрать солому... Отъ васъ, отъ подобныхъ истукановъ, и всѣмъ-то на свѣтѣ больно жить, не глядѣлъ бы ни на что!...

— Да ты мнѣ что проповѣдь-то читаешь, Мишка? Что ты меня учишь? — сказалъ удивленно Исай, не зная, сердиться ему или плюнуть.

— Очень мнѣ надо учить! Васъ, дураковъ, и такъ учатъ! А мнѣ все равно. Я вотъ взялъ, да и пошелъ, а вы оставайтесь тутъ, чортъ съ вами!

Исай, наконецъ, осердился.

— Я тебѣ вотъ какъ дамъ по боку!—сказалъ онъ вдругъ съ угрожающимъ видомъ, но довольно лѣниво.

Михайло въ отвѣтъ на это съ презрѣніемъ плюнулъ, всталъ съ мѣста и легъ на другое, далеко отъ Исая. Онъ такъ былъ озлобленъ (злобой у него всегда начинался какой-нибудь переворотъ въ душѣ), что ему, конечно, и въ голову не могло придти, что въ эту же ночь онъ раскается въ словахъ своихъ, и ему будетъ жалко Исая.

Это было уже далеко за полночь. Отойдя отъ Исая, Михайло легъ на землю и надѣялся проспать до утра. Но ночь выпала холодная—истекалъ августъ. Къ утру готовился морозъ. Воздухъ похолодѣлъ; сырость проникла во всѣ щели ветхой одежды Михайла. Онъ прозябъ. Ноги, руки, все тѣло его дрожало. Не будучи въ состояніи больше лежать на землѣ, онъ вскочилъ на ноги и принялся топать, чтобы отогрѣться. Ночь была темная. Ни одной звѣздочки на небѣ. По землѣ стлался туманъ, а когда на востокѣ забрезжилъ свѣтъ, туманъ сдѣлался еще гуще; онъ, казалось, выходилъ изъ всѣхъ поръ земли и носился надъ полями, тихо передвигаясь; въ одномъ мѣстѣ онъ скучивался густыми клубами, въ другомъ разрывался на клочья. Въ двухъ шагахъ ничего не было видно. Михайло нѣсколько разъ спотыкался о груду кирпичей или о тѣла спавшихъ своихъ товарищей. Но весь продрогшій, онъ все-таки ходилъ, стараясь только не

наступить кому-нибудь на голову, и вглядывался въ лица рабочихъ. Всѣ они спали, и тишина стояла мертвая. Позы были самыя разнообразныя. Одинъ лежалъ на спинѣ, раскинувъ руки и ноги въ разныя стороны, какъ будто распятый; другой лежалъ ничкомъ, утнувъ лицо въ землю, какъ будто убитый нанесеннымъ сзади ударомъ; третій спряталъ половину тѣла подъ кучу какого-то хлама, выставивъ наружу только ноги; многіе свернулись клубкомъ, но многіе были совершенно раскрыты. Ихъ, повидимому, не могъ пробудить ни холодъ, ни сырость, покрывавшая въ видѣ серебристой росы ихъ волосы и рубахи; они спали непробудно: устали, бѣдняки, за день, умаялись. Подъ ними была холодная глина, надъ ними носился туманъ, окутывавшій ихъ, какъ одинъ огромный общій саванъ, а они лежали, какъ мертвые, убитые...

Это именно пришло въ голову Михайлѣ, когда онъ смотрѣлъ на тѣла товарищей, казавшіяся ему трупами, безпорядочно валявшимися на пространствѣ полсотни саженей. Ему стало непріятно, не по себѣ, посреди этой мертвой площади, гдѣ не раздавалось ни одного человѣческаго звука. Онъ поспѣшно выбрался со спальной площади и вошелъ въ одинъ изъ сараевъ. Къ его удивленію, тамъ ярко горѣла обжигальная печь, а передъ печью сидѣлъ и грѣлся Исай. Михайло подсѣлъ къ нему и тоже сталъ отогрѣваться. Они молчали. Исай сидѣлъ и глядѣлъ во всѣ глаза на пылающее пламя. На лицѣ его играли свѣтъ и тѣни. Онъ, повидимому, глубоко задумался, по крайней мѣрѣ, не обращалъ вниманія на то, что съ его плечъ свалился полушубокъ, подъ которымъ днемъ скрывалась необыкновенно-дырявая рубаха, какъ рѣшето. Смотря на это рѣшето, Михайло пожалѣлъ Исая.

— А ты, братъ Михайло, обидѣлъ меня давеча... больно обидѣлъ!—сказалъ вдругъ Исай.

— Я что же?... Я жалѣючи,—возразилъ печально Михайло, смущенный.

— Жалѣючи—это ничего... за это спасибо. А все же неправильно ты обижалъ меня. А потому неправильно, что я—человѣкъ кроткій, отъ самаго отъ роду боюсь, т.-е. бѣда какъ боюсь всего...

— Кого же ты боишься?—съ удивленіемъ спросилъ Михайло.

— Всѣхъ. Только своего брата мужика не опасаюсь, а то всѣхъ...

— И Пузырева, стало быть?

— И Пузырева.

Михайло не зналъ, что сказать.

— Всѣхъ вообще... Бывало, становой проскачетъ по деревнѣ—я боюсь. заноетъ такъ сердце... а вины. знаю, нѣтъ. Или. бывало, пойдешь къ старику Пузыреву, отцу-то вотъ этого... войдешь въ сѣни, а самъ боишься, даже ноги подкашиваются... А знаешь, что вины нѣтъ передъ имъ... Или опять, бывало, въ волость позоветъ писарь—боишься, даже внутри что-то трясется. Всего боюсь, робко мнѣ такъ. Встрѣтишь вотъ челокѣка незнакомаго, барина-ли, купца-ли, и робѣешь, а чего-бы, кажись?... Иной разъ стыдно станетъ за эту робкость, нарочно такъ смотришь, какъ будто сердишься, а на самомъ дѣлѣ у тебя трясется все... Иной разъ слова не можешь сказать путнаго, а все отъ робости. Только ежели пива напьешся, ну, тутъ ужь море по колѣно, нарочно еще безобразничаешь...

Михайло удивлялся.

— Вѣришь-ли, ночью, ежели темно... вѣдь ужь почти старикъ я... но ежели ночью придется выдти въ незнакомомъ мѣстѣ—не выйду ни за что!

— Отчего?—спросилъ Михайло.

— Боюсь! Выйдешь какой разъ, необходимо ужь выдти... а пойдешь назадъ, словно кто за ноги хватаетъ... Должно быть, это ужь съ измалѣтства идетъ.

— Неужели?

— Должно быть, напуганъ съ измалѣтства.

— Такъ чего же теперь-то боишься?

— Э-эхъ! братъ Михайло! много-ли надо нашему брату, чтобы напугать?... А я—человѣкъ кроткій...

Михайло отрицательно покачалъ головой, какъ бы говоря, что это неправда, что нельзя напугать пустяками. Но онъ не высказалъ этого. Замолчалъ и Исай. Они не понимали другъ друга, говоря на разныхъ языкахъ. Такъ долго они молчали. За дверью сарая было уже совсѣмъ свѣтло.

— А что ежели на счетъ Пузырева, такъ ужь ты оставь попеченіе,—сказалъ вдругъ Исай.—Ужь я ему такую штуку впущу, что по гробъ жизни!...—прибавилъ Исай гнѣвно.

Михайло равнодушно спросилъ, что̀ онъ намѣренъ сдѣлать, но Исай говорилъ какими-то догадками.

— Я такого ему перцу подсыплю, что не забудетъ меня!— повторилъ Исай съ величайшимъ и неожиданнымъ озлобленіемъ.

Михайло не сталъ больше спрашивать. До работъ осталось немного времени, а ему хотѣлось спать, глаза его слипались. Онъ легъ и сейчасъ же заснулъ, пригрѣтый теплотой горячей печки.

На другой день Исай былъ совсѣмъ не тотъ. Видъ у него былъ мрачный и таинственный. Велъ онъ себя непонятно. Утромъ онъ привезъ только двѣ бочки воды и больше не хотѣлъ. Лошадь бросилъ, а самъ сѣлъ на кучу соломы и мрачно озирался по сторонамъ. Когда рабочіе требовали воды, онъ еще больше насупился, но когда тѣ стали надъ нимъ шутить, онъ улыбался... но не шевелился съ мѣста. Всѣмъ стало забавно. Исай гнѣвался! Развѣ можетъ Исай гнѣваться?

Когда вода вся вышла, многіе бросили работу и стали разговоры разговаривать, больше всего насчетъ Исая. Ни одного изъ приказчиковъ на мѣстѣ не было; но вдругъ показался на телѣжкѣ самъ хозяинъ. Всѣ повскакали съ мѣстъ и усердно засуетились. Пузыревъ, по обыкновенію, началъ брюзжать... „Тихо дѣлали“... „мало сдѣлали“... Рабочіе единогласно заявили, что воды нѣтъ. „Отчего нѣтъ?“ — „Исай не везетъ“. — „Гдѣ онъ, мошенникъ?“ — „Да вонъ сидитъ на соломѣ...“ Пузыревъ накинулся на Исая, обозвалъ его всѣми ругательными именами и приказалъ ему сейчасъ ѣхать. „Ишь, лѣнтяй! Катается на соломѣ и хлопаетъ глазами! Очумѣлъ ты, что-ли?“ Исай медленно поднялся съ мѣста и двинулся къ лошади исполнить приказаніе, сердито почесывая спину.

Пузыревъ тотчасъ же уѣхалъ, въ полной увѣренности, что водворилъ порядокъ. Но Исай, лишь только телѣжка хозяина скрылась изъ виду, опять присѣлъ на солому и мрачно обводилъ глазами присутствующихъ. Поднялся хохотъ. „Что съ тобой, Исай?—спрашивали у него нѣкоторые,—не желаешь больше воду возить?“

— Н-да! не желаю!... Будетъ! повозилъ! Теперь хочу разсчитаться... такой дамъ разсчетъ ему, что и капиталовъ его мало будетъ!

— Все у него возьмешь?—хохотали рабочіе.

— Все.—Исай говорилъ съ мрачною серьезностью. Нѣкоторые изъ рабочихъ подсѣли къ нему и стали спрашивать, чтò все это значитъ? Но онъ бормоталъ что-то непонятное. Наконецъ, ни слова не говоря, всталъ съ соломы и отправился по направленію къ городу.

Для всѣхъ рабочихъ было такъ забавно и чуднò все это, что работы сами собой прекратились. Пошли разговоры, смѣхъ, разспросы, чтò сдѣлалось съ Исаемъ, чтò онъ задумалъ? Разспросы сперва были шуточные, потомъ серьезные... Стали догадываться, припоминать слова Исая... и вдругъ одинъ, съ чрезвычайнымъ волненіемъ, прошепталъ:

— А вѣдь это, ребята, онъ хочетъ подпалить Пузырева!

Всѣ остолбенѣли.

— Какъ подпалить?

— Да такъ... одно слово—поджечь...

— Ты какъ знаешь?

— Да ужь вѣрно. Безпремѣнно подпалитъ.

Неизвѣстно, откуда узналъ это рабочій, — можетъ быть, самъ Исай сболтнулъ,—но ему повѣрили и умолкли. Большинство чувствовало какую-то панику; боялись слово сказать. Потомъ, какъ бы по знаку, бросились по мѣстамъ и принялись за работу. Когда пришелъ къ ямамъ одинъ изъ приказчиковъ, то замѣтилъ только, что каждый дѣятельно занимается своимъ дѣломъ. Но все-таки воды не было. Рабочіе одинъ по одному стали требовать воды, жалуясь на то, что Исай бросилъ лошадь, бочку и самъ ушелъ неизвѣстно куда. Приказчикъ только хлопалъ глазами отъ удивленія. Вмѣсто того, чтобы послать одного изъ рабочихъ за водой, онъ сталъ разспрашивать, куда дѣвался Исай, куда онъ пошелъ, что сказалъ. Ему со всѣхъ сторонъ стали дуть въ уши невѣроятныя вещи. Тотъ же догадливый малый, который за полчаса передъ тѣмъ разсказалъ о намѣреніяхъ Исая, теперь нѣсколькими намеками объяснилъ, что Исай хочетъ подпустить краснаго пѣтуха... Вслѣдъ за тѣмъ приказчику со всѣхъ сторонъ вразъ говорили. Одинъ ругалъ Исая, другой хвалилъ Пузырева, третій подавалъ совѣтъ, что дѣлать, гдѣ поймать Исая; большинство же рабочихъ на разныя манеры старались показать, что они во всемъ этомъ нисколько не виноваты, а даже, напротивъ, очень

уважаютъ Митрія Иваныча. Приказчикъ до того поглупѣлъ за нѣсколько минутъ, что молча хлопалъ глазами, слушая то того, то другого. Наконецъ, кто-то посовѣтовалъ ему дать знать хозяину.

Приказчикъ побѣжалъ.

Въ домѣ Пузырева также поднялось смятеніе. Пузыревъ самъ бросился въ полицію. Полиція немедленно отрядила двухъ городовыхъ отыскать Исая. Примѣты слѣдующія: волосы темнорусые, глаза темносѣрые, носъ обыкновенный, подбородокъ правильный, платье фабричнаго покроя, особыхъ примѣтъ не имѣется. Изъ участка Пузыревъ поскакалъ домой, но такъ растерялся, что не зналъ, что дальше дѣлать.

Только одинъ Михайло не участвовалъ ни въ одной изъ этихъ сценъ. Ему казалось, что онъ видитъ какой-то глупѣйшій сонъ. Онъ стоялъ поодаль ото всѣхъ. У него сжалось вдругъ сердце отъ того одиночества, которое внезапно охватило его. Онъ подошелъ къ одной изъ кучекъ рабочихъ.

— А вѣдь это, братцы, нехорошо,—сказалъ онъ.—Можетъ, все это неправда! Можетъ, вотъ этотъ дуракъ навралъ!

Говоря это, Михайло указалъ на парня, проникшаго въ намѣренія Исая.

Рабочій горячо оправдывался, тѣмъ болѣе, что его со всѣхъ сторонъ обступили плотною стѣной и разспрашивали, какъ, откуда и когда онъ узналъ. Рабочій принялся разсказывать, божился, что не вретъ, и хотѣлъ было ругать Исая, но его остановили. Всѣмъ сразу стало совѣстно и тяжело. „И зачѣмъ только я болталъ языкомъ?"—говорилъ каждый про себя. Между тѣмъ, первый сболтнувшій, въ концѣ концовъ, запутался и жалко замолчалъ, какъ виноватый. Пожимая плечами и отплевываясь, большинство отошло отъ него прочь. Хотѣли приняться за работу, но работа не клеилась. Всѣмъ было не по себѣ, и всѣ чувствовали потребность разойтись. Городскіе мѣщане ушли первые, а за ними кучками пошли въ городъ деревенскіе, и по дорогѣ, застрявая по кабачкамъ попутнымъ, сильно ругали перваго болтуна. Остались бабы да подростки, да и тѣ скоро ушли. Ушелъ и Михайло, въ полнѣйшемъ недоумѣніи, что такое случилось?

Исай тѣмъ временемъ былъ уже далеко. Онъ прибѣжалъ домой, но, незамѣтно отъ жены, ушелъ и пропалъ.

Подпалить рѣшился онъ твердо. На душѣ у него было спокойно. Подпалить—это такая легкая штука, что и соображать объ этомъ нечего. Онъ представлялъ себѣ только картину, какъ Пузыревъ будетъ метаться, — это забавно и занятно было Исаю, который за все такимъ способомъ хотѣлъ отомстить. Но вдругъ его поразилъ вопросъ: за что онъ хочетъ жечь на огнѣ Митрія Иваныча? Исай не зналъ, за что. Онъ шелъ по улицамъ, глупо смотрѣлъ по сторонамъ и не могъ сообразить. Ненависти къ хозяину у него нисколько не было. Всѣ поступки, всѣ слова, вся жизнь Пузырева были правильны, по мнѣнію Исая,—за что же онъ его подпалитъ спичками? У Исая не было злобы. Иногда онъ сердился на Пузырева, отвѣчалъ ему грубо, но это была не злоба собственно противъ Пузырева, а вообще какое-то недовольство, которое быстро проходило, когда Исай, бывало, отпоретъ кнутомъ пузыревскую лошадь или изорветъ пузыревскій хомутъ, или выпьетъ на пузыревскій пятакъ. А злоба у него не держалась въ душѣ.

Но Исай сталъ припоминать, усиленно вызывая изъ памяти, изъ глубины прошедшаго, пузыревскія обиды. Припомнилъ онъ, какъ однажды Пузыревъ, обѣщавъ полтинникъ на чай, посмѣялся надъ нимъ и не далъ, а разъ, подаривъ ему сапоги, отнялъ ихъ обратно и еще сказалъ, что такой пьянчуга не стоитъ сапоговъ, хотя онъ, Исай, серьезно и не думалъ ихъ пропить... А разъ Пузыревъ хватилъ его аршиномъ по спинѣ, и когда онъ сталъ вѣжливо возражать, то Пузыревъ приказалъ ему замолчать и пойти въ конюшню проспаться... Исаю почему-то не припомнилось ничего болѣе дорогою, но и этого хлама, вынимаемаго изъ забытыхъ угловъ Исаевой памяти, достаточно было, чтобы онъ серьезно озлился.

Шатаясь такъ по улицамъ, Исай сталъ соображать, съ какого угла лучше запалить. Надо, чтобы было аккуратно во всѣхъ отношеніяхъ. Планъ скоро былъ составленъ. Нынче ночью... Зайти съ другой улицы и перелѣзть черезъ заборъ на задній дворъ. Ежели собаки залаютъ, то бросить имъ хлѣбца, а хозяйскія собаки и лаять не будутъ. Зажечь лучше длинный сарай, на верху котораго сѣно, а внизу дрова. Сѣно вспыхнетъ, какъ порохъ, а отъ сарая дѣло перейдетъ во дворъ. Пузыревъ проснется и будетъ чихать.

Когда у Исая окончательно сложился планъ и способъ пус-

тить пѣтуха, онъ рѣшилъ до вечера, прежде всего, выпить,— не для удовольствія, а для храбрости, потому что Исаю вдругъ скучно стало, а въ груди у него что-то сосало, какъ будто червь какой. Съ этою цѣлью онъ и зашелъ въ кабачокъ,—не въ портерную, а въ кабачокъ, потому что здоровѣе. Дѣйствительно, выпилъ онъ одинъ стаканъ—храбрости сразу много прибавилось. Выпилъ другой—еще больше смѣлости взялось. Но чтобы еще тверже быть, онъ купилъ бутылку пива, смѣшалъ ее съ водкой и выпилъ, послѣ чего ему показалось, что онъ плыветъ среди огненнаго моря и хохочетъ при видѣ Пузырева, который мечется въ какомъ-то радужномъ дымѣ и чихаетъ.

— А ты, братецъ, ужь не очень хохочи, а то у меня тутъ больная женщина лежитъ,—сказалъ сурово сидѣлецъ.

— Наплевать мнѣ на женщину! Я васъ всѣхъ подпалю!— закричалъ Исай.

— Не кричи, дуракъ, а не то пошелъ вонъ!

Но Исай еще больше сталъ орать, и сидѣлецъ долженъ былъ вытолкать его на улицу.

Исай хотѣлъ воротиться въ кабакъ, чтобы побить сидѣльца, но ноги не слушались его, самовольно бросая его въ противоположную сторону.

Когда Исай очутился такимъ образомъ на улицѣ, то злоба его противъ Пузырева еще больше усилилась, такъ что ему даже плакать хотѣлось. Онъ шелъ по улицѣ и безсвязно ругался.

„Я тебѣ дамъ, какъ аршиномъ! Посулилъ сапоги, такъ и давай, а то аршиномъ, сволочь эдакая!"—но силы Исая изнемогали: онъ не понималъ уже, куда идетъ. Наконецъ, онъ споткнулся обо что-то и хлопнулся на землю внизъ лицомъ,— больно ушибся. Онъ хотѣлъ уже выругать Пузырева, вполнѣ увѣренный, что это онъ толкнулъ его сзади, но моментально заснулъ...

Только утромъ на другой день онъ проснулся. Солнце жарило ему въ спину, во рту были у него земля, песокъ, щепки, а внутри жгла жажда. Едва поднявшись на ноги, онъ увидалъ, что лежитъ недалеко отъ кирпичныхъ сараевъ, на пустырѣ; онъ не могъ припомнить, какъ сюда попалъ, да и не до того ему было. Измученный, онъ тихо поплелся къ городу. По дорогѣ ему казалось, что онъ вотъ сію минуту

упадетъ и умретъ, — такъ онъ обезсилѣлъ и страдалъ. Но все-таки онъ безостановочно двигался, желая во что-бы то ни стало дойти до Митрія Иваныча. И кое-какъ дошелъ. Еле-еле взобрался по ступенькамъ крыльца, отворилъ дверь въ корридоръ и наткнулся на „самого". Исай упалъ на колѣни и умолялъ дать ему испить.

— Бога ради, Митрій Иванычъ!... Дай мнѣ на похмѣлье! Горитъ все нутро...

Хозяинъ былъ такъ пораженъ неожиданною встрѣчей, что лишился языка. Во мгновеніе ока сбѣжались всѣ домашніе, не спавшіе цѣлую ночь, прибѣжали нѣкоторые работники и всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на Исая.

— Дай, пожалуйста, Митрій Иванычъ, стакашикъ... Чистая смерть!.

— Хозяйка, поднеси ему,—приказалъ Пузыревъ, еще не оправившійся отъ изумленія. Жена принесла графинъ съ водкой. Исай выпилъ и попросилъ еще стакашикъ. Ему еще дали, дали также закусить, и нѣтъ-нѣтъ Исай оправился.

Хозяинъ даже не ругалъ его. Онъ пошелъ въ участокъ и упросилъ пристава прекратить дѣло, потому что „Исайка, подлецъ, въ пьяномъ видѣ на себя наболталъ"; только просилъ посадить его сутокъ на двое въ кутузку, чтобы вытрезвился.

Исая отвели въ кутузку.

Михайло больше не видалъ его. Въ тотъ день,—это была суббота,—когда Исай пребывалъ благополучно въ кутузкѣ, Михайло разсчитался съ кирпичными сараями, зашелъ на квартиру Исая за узелкомъ съ вещами и очутился опять на томъ берегу, гдѣ встрѣтился съ водовозомъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ. Что ему дѣлать? Куда идти? Этого онъ пока не зналъ, но настроеніе его было радостное. Бросивъ кирпичные сараи, онъ физически ощущалъ, что вылѣзъ изъ какой-то темной и душной ямы. Передъ нимъ была рѣка. Не долго думая, онъ раздѣлся и бросился въ воду. Купанье на него еще сильнѣе подѣйствовало. Онъ почувствовалъ въ себѣ силу, энергію, желаніе борьбы, жажду счастья и находился въ томъ состояніи переполненія, когда хочется кричать, прыгать, хохотать. Деревенскій бѣднякъ, не имѣвшій въ громадномъ городѣ ни пріюта, ни средствъ, онъ былъ въ эту минуту проникнутъ жизнерадостнымъ чувствомъ освобожденія. Онъ смотрѣлъ на небо, на рѣку, на городъ. Недавно онъ

еще не зналъ, чего ему нужно. Теперь зналъ—воли! И онъ думалъ, что на землѣ нѣтъ ничего лучшаго. И вѣрилъ, что онъ болѣе не продастъ ее.

Уходя съ берега въ городъ, онъ сосредоточенно улыбался.

IV.

Игрушка.

День былъ великолѣпный, солнечный, теплый, какъ часто передъ наступленіемъ осени; небо глубокое, воздухъ чистый и неудушливый. Все это придало взволнованному юношѣ необычайную бодрость. Михайлѣ никуда не хотѣлось идти искать работы въ такой необыкновенный для него день. Ощущеніе жизни было такъ сильно, мысль для него была такая поразительная, что онъ въ величайшемъ возбужденіи шагалъ по направленію къ городу и, придя быстро въ средину его, ходилъ по улицамъ, площадямъ и базарамъ, нигдѣ не останавливаясь.

Ему казалось, что онъ открылъ глубочайшій секретъ жизни. Воля! Какъ это онъ прежде не догадался, чего ему надо? И какъ люди не знаютъ, что̀ лучше всего на бѣломъ свѣтѣ? Смотря на идущихъ и ѣдущихъ людей по улицамъ, онъ радовался до глубины души, что онъ держитъ секретъ, который вотъ тутъ, подъ ситцевою рубашкой, лежитъ у него, а они не нашли и не знаютъ его. Ахъ, дураки!

Михайло таскался по базару, наполненному всякимъ біднымъ людомъ. Зайдя въ мелочную лавочку, чтобы купить трехъ-копѣечный поясокъ, онъ пожалѣлъ толстаго, одутлаго лавочника, который сидитъ вотъ въ этой норѣ всю жизнь, сидитъ вѣчно и вѣчно думаетъ только о томъ, какъ бы нажить еще пять копѣекъ барыша, но не догадывается, жирный дуракъ, что есть кое-что лучше, нежели пятакъ. Въ лавчонкѣ всѣ вещи старыя, дрянныя, грязныя, засиженныя мухами, но лавочникъ вѣчно смотритъ на нихъ... и какъ ему, должно быть, скучно среди этой норы, набитой старою ерундой! Михайлѣ послѣ этого сейчасъ же пришло въ голову, какъ скучно вообще всѣмъ людямъ, которыхъ онъ видитъ;

они никогда не дѣлаютъ того, что хотятъ, и живутъ всегда такъ, какъ имъ не хочется, потому что они не знаютъ секрета.

На кого ни взглядывалъ Михайло, всѣмъ, казалось, было скучно до смерти и никто не зналъ тайны, бывшей у него въ груди. „Но если бы люди знали эту тайну, могли-ли бы они воспользоваться ею для своей радости?“—спросилъ себя Михайло и отвѣта не нашелъ. Но онъ самъ можетъ! Рѣшивъ это, онъ принялся благоразумно обдумывать, что дѣлать. Если въ одномъ мѣстѣ ему покажется подло, если тутъ вздумаютъ на него надѣть веревку, онъ оторвется и уйдетъ. Никто не въ силахъ его остановить, обратать и взять, если онъ самъ не захочетъ влопаться куда-нибудь въ рабство изъ-за хлѣба или изъ-за денегъ. Чтобы не сдѣлаться рабомъ, онъ будетъ ходить изъ одного мѣста въ другое, изъ губерніи въ губернію, побываетъ вездѣ, посмотритъ на все... Для житья ему не много надо, а богатство не обольщаетъ больше его...

Михайло не подозрѣвалъ, что черезъ нѣсколько дней онъ забудетъ свой секретъ и самъ, душой и тѣломъ, отдастся въ руки.

Пробродилъ онъ въ этихъ счастливыхъ мечтахъ до вечера. У него на ночь не было угла. Наружный видъ его носилъ на себѣ слѣды кирпичныхъ сараевъ. Одежда его сильно обносилась и выглядѣла безпорядочно; разодранное въ нѣсколькихъ мѣстахъ пальто, нѣкогда табачнаго цвѣта, но теперь лоснящееся, какъ кожа, рыжіе и до нельзя стоптанные сапоги, въ которые вложены были панталоны съ зіяющими отверстіями,—все это еще недавно тяжело отразилось бы на его спокойствіи. Но въ эти минуты счастія онъ гордо шагалъ по тротуарамъ, не обращая вниманія на свою отрепанную внѣшность. Лицо его ярко свѣтилось, взглядъ самоувѣренно устремленъ былъ впередъ, и онъ чувствовалъ, что какъ будто выросъ. Счастливый день! Когда онъ вырвался изъ деревни и летѣлъ въ городъ, онъ, въ сущности, также радовался волѣ, но тогда эта радость была птичья. Теперь же онъ сознательно понималъ, чего ему искать, куда идти и какъ жить на свѣтѣ. И въ первый разъ въ жизни онъ былъ доволенъ собой, въ первый разъ также любилъ все, что видѣлъ,—солнце, небо, городъ, людей.

Только подъ вечеръ онъ собрался къ Ѳомичу... Почему къ Ѳомичу? На этотъ вопросъ онъ едва-ли могъ бы отвѣтить

ясно. Видѣлъ этого человѣка онъ только разъ, знакомъ съ нимъ вовсе не былъ и теперь, вѣроятно, потому собрался къ нему, что много слышалъ замѣчательнаго объ этомъ человѣкѣ. Быть извѣстнымъ въ большомъ городѣ множеству чернаго люда—это много значитъ для простого слесаря, какимъ былъ Ѳомичъ. Говоря о немъ, рабочіе дѣлались серьезными и знали его; знали его такіе люди, которыхъ онъ въ глаза не видалъ; даже недавно пришедшіе на заработки черезъ нѣкоторое время уже слышали о немъ. Точно въ такомъ же родѣ слышалъ о немъ и Михайло, и когда разсчитывался на кирпичныхъ сараяхъ, то какъ-то сразу рѣшилъ: „пойду къ Ѳомичу".

Найти его было легко. Черезъ короткое время, сдѣлавъ справки лишь на одной фабрикѣ, Михайло отыскалъ домъ и квартиру Ѳомича. Было уже темно, когда онъ вошелъ въ двери. Свѣтъ ярко горѣвшей лампы его ослѣпилъ, а четверо сидѣвшихъ за столомъ и пившихъ чай однимъ своимъ видомъ такъ поразили его, что онъ сталъ какъ вкопанный у порога. Онъ уже не сомнѣвался, что далъ промахъ и попалъ въ другую квартиру, къ какимъ-то господамъ, а вовсе не къ слесарю Ѳомичу, но все-таки онъ спросилъ прерывающимся голосомъ:

— Тутъ живетъ Алексѣй Ѳомичъ, слесарь?

— Здѣсь,—отвѣтилъ одинъ изъ сидѣвшихъ, не поднимаясь изъ-за стола.

Михайло взглянулъ на говорившаго и призналъ Ѳомича—онъ самый! Широкое, добродушное лицо, большіе сѣрые глаза, широкая улыбка, не сходившая съ его полныхъ губъ, маленькій носикъ съ пуговку—онъ! Но одѣтъ онъ былъ такъ хорошо, что трудно было принять его за рабочаго. Другіе трое произвели то же впечатлѣніе; передъ самоваромъ сидѣла несомнѣнно барыня; возлѣ нея сидѣлъ несомнѣнно баринъ; только третій одѣтъ былъ въ синюю блузу, грязную и закапанную масломъ, но онъ такъ свирѣпо смотрѣлъ, что Михайло сильно струсилъ и боялся поднять глаза на этого, повидимому, чѣмъ-то разгнѣваннаго человѣка. Самоваръ, столъ, мебель, комната, — все это было такъ чисто и пріятно, что совсѣмъ довершило чувство изумленія Михайлы. „Вотъ тебѣ разъ!.. а слесарь..."—подумалъ Михайло съ быстротой молніи.

Но ему не было времени долго размышлять. Ѳомичъ спросилъ, что ему надо? И онъ долженъ былъ волей-неволей объ-

снить цѣль своего прихода. Выслушавъ желаніе его найти акое-нибудь мѣсто, Ѳомичъ пожалъ плечами и задумался. Въ комнатѣ воцарилась тишина, которую Михайло истолковалъ не въ свою пользу. Онъ сразу сдѣлался опять дикій и угрюмо осматривалъ компанію.

Наконецъ, Ѳомичъ сталъ разспрашивать, какую ему надобно работу, что онъ, откуда? Михайло разсказалъ, отрывисто и угрюмо, причемъ нисколько не смягчилъ своихъ дикихъ выраженій.

Слушая все это, Ѳомичъ и его товарищи улыбались. Ѳомичъ вспомнилъ лицо Михайлы — гордаго оборванца, спросилъ объ его имени и предложилъ ему сѣсть.

— Отчего же не хорошо тамъ? — спросилъ Ѳомичъ съ улыбкой.

— Срамота! — рѣзко возразилъ Михайло и выразилъ на лицѣ величайшее презрѣніе.

— Хозяинъ, что-ли, не хорошъ?

— Нѣтъ, хозяинъ что-же, какъ обыкновенно... А такъ, вся жизнь — чистый срамъ, свинская.

— Грязная, ты хочешь сказать?

— И грязная, и свинская, и подлая — все есть! Думаешь только о томъ, какъ бы лечь спать, ходишь скотъ-скотомъ. Въ башкѣ цѣлый день ничего. Свинство — больше ничего.

Сидящіе переглянулись. По большей части рабочій жалуется на чисто-физическія невзгоды: мало пищи, непосильная работа, нѣтъ времени выспаться, плохое жалованье... но въ словахъ Михайлы было что-то совсѣмъ другое.

— Ты говоришь, въ башкѣ ничего? — спросилъ Ѳомичъ.

— Да, ничего. Пустая башка цѣльный день. То-есть лѣнь подумать почистить лицо. Встаешь утромъ — какъ бы поскорѣй обѣдъ пришелъ съ тухлою кашей. Пообѣдаешь — какъ-бы поскорѣй подъ рогожу спать. Прожилъ я тамъ мѣсяца эдакъ три и самъ на себя сталъ смотрѣть, какъ на скота, который, напримѣръ, не понимаетъ. Такая лѣнь на меня напала! Дай мнѣ въ ту пору кто-нибудь по мордѣ, я бы только почесался. Дѣлай изъ меня что хочешь — ничего не скажу. Какъ дерево какое. Прожилъ тамъ три мѣсяца и Боже мой! образа нѣтъ, чисто скотъ, даже спокойно, все равно какъ свинья залѣзетъ въ теплую грязь, лежитъ, и довольно спокойно ей!...

— И ты ушелъ?—спросилъ удивленно Ѳомичъ.

— Да, ушелъ.

Всѣ смотрѣли на Михайлу и молчали. Опять воцарилась тишина, явившаяся какъ слѣдствіе того впечатлѣнія, которое произвелъ Михайло своимъ дикимъ разсказомъ.

— Кстати, скажи, пожалуйста, какое это тамъ происшествіе вышло у васъ въ сараяхъ? Не то кто-то хотѣлъ поджечь сараи, не то поджогъ уже... или домъ Пузырева подожгли... вообще не знаю хорошенько, что это за оказія?—спросилъ Ѳомичъ.

— Это Исай,—отвѣтилъ Михайло и вдругъ улыбнулся при одномъ этомъ имени.

— Одного Исая я тамъ знавалъ. Фамиліи у него нѣтъ настоящей,—пишутъ его и Сизовъ по названію деревни, и Петровъ... но онъ самъ говорилъ, что у него нѣтъ собственно фамиліи, а только одна кличка—Исай... Это тотъ самый?—и Ѳомичъ описалъ наружность товарища Михайлы.

— Тотъ самый.

— Что же это ему пришло въ голову?

— Да знать съ пьяну или по глупости!... Можетъ быть, черезъ меня и дѣло все вышло!

— Какъ черезъ тебя?—воскликнули почти всѣ сидящіе.

— Я обозвалъ его рабомъ. Онъ, должно быть, и разсердился и выдумалъ такое умное дѣло.

— За что же ты обозвалъ его такъ?

— Кто же онъ? Рабъ. Изъ него что хочешь дѣлай. Самъ онъ ничего... ничего не можетъ, а что прикажутъ. Ей-Богу, если ему приказали бы рубить головы, онъ рубилъ бы по комъ ни попало. Развѣ ужь опосля увидитъ, какъ все это глупо... Всякаго человѣка, который посильнѣе, онъ страсть какъ боится. А своего у него ничего нѣтъ и замѣсто головы у него шишка какая-то неизвѣстно къ чему торчитъ... А желанія его такія, что, напримѣръ, ведро пива или четверть водки—доволенъ! Я и обозвалъ его рабомъ... Потомъ жалко стало...

— Сильно онъ огорчился?

— Кто его знаетъ, а жалко стало... вѣдь не онъ одинъ такой!... Потому что лѣнь нападаетъ сопротивляться свиному образу, лѣнь смотрѣть за собой—это я хорошо попробовалъ самъ на себѣ... Слава Богу, что удралъ!

— Такъ все-таки что-же... поджогъ Исай?

— Нѣтъ. Только водки надулся, а на другой день пошелъ прощенія просить у хозяина. Хозяинъ—ничего, простилъ... Да и всякій бы простилъ, жалко такого дурака... Въ кутузкѣ сидитъ.

Каждое слово Михайлы производило впечатлѣніе. Онъ и самъ видѣлъ, что на него обратили сильное вниманіе. Это придало ему бодрости и одушевленія. Но вдругъ послышался незнакомый голосъ.

— А позвольте спросить у васъ, молодой человѣкъ, почему вы такъ даже низко сравниваете простого рабочаго человѣка?

Это говорилъ тотъ человѣкъ въ блузѣ, страшныхъ взглядовъ котораго струсилъ Михайло въ первую минуту прихода.

Но теперь, пристальнѣе взглянувъ, Михайло замѣтилъ, что въ этомъ странномъ человѣкѣ есть что-то глубоко забавное.

— Ну, пошелъ городить!—замѣтилъ презрительно другой господинъ.

— Нѣтъ, мнѣ таки интересно полюбопытствовать, почему молодой человѣкъ, который есть самъ рабочій, вполнѣ низко сравниваетъ своего брата, бѣднаго рабочаго, а капиталиста хвалитъ, а?

— Вороновъ, молчи,—сказалъ Ѳомичъ просто, и Вороновъ (такъ звали человѣка въ блузѣ) дѣйствительно замолчалъ, но долго еще поводилъ своими страшными глазами, повидимому, довольный своими мудреными словами.

Это замѣшательство заняло всего одну минуту. Но откровенность Михайлы была уже спугнута. Всѣ опять обратились къ нему. Ѳомичъ предложилъ еще неловкій вопросъ, который окончательно заставилъ замкнуться Михайлу.

— Ты самъ придумалъ всѣ эти мысли?—освѣдомился наивно Ѳомичъ.

Михайло удивленно посмотрѣлъ на всѣхъ, не понимая, о чемъ его спрашиваютъ. Ѳомичъ и самъ сію же минуту понялъ всю нелѣпость своего вопроса и поправился.

— Ты грамотенъ?

— Нѣтъ, — тихо прошепталъ Михайло. Отчего-то ему вдругъ стало стыдно. Между тѣмъ, прежде ему никогда и въ голову не приходила мысль о грамотѣ. Но разозлившись на себя за что-то, онъ угрюмо замолчалъ и ужъ крайне неохотно отвѣчалъ на вопросы.

Это, однако, не ослабило вниманія къ нему. Видимо, онъ всѣмъ понравился. Дикость же, вмѣстѣ съ его темными глазами, подозрительно смотрѣвшими, какъ у плохо прирученнаго звѣрька, только возбуждала любопытство къ нему. Ѳомичу же онъ, кажется, еще болѣе понравился. Это рѣшило его судьбу.

— Вотъ что, Михайло... не знаю, какъ тебя звать по батюшкѣ...—сказалъ Ѳомичъ,—мнѣ надо самому помощника. Я постояннымъ слесаремъ въ одномъ большомъ домѣ, да заказы часто имѣю — иногда хоть разорвись. На службу не пойти нельзя, а сдѣлай не во-время заказъ—обижаются заказчики... Помощника-то я давно искалъ и перепробовалъ разныхъ людей, да все какъ-то попадали не туда... Такъ вотъ если желаешь, поступай ко мнѣ. Пока я тебѣ положу немного, а выучишься слесарить, тогда мы поровну... ну, да объ этомъ еще поговоримъ... У меня будешь обѣдать и жить.

Калмыка, сидѣвшая около стола передъ самоваромъ, вдругъ спохватилась, что до сихъ поръ не догадалась предложить [illegible] чаю: она живо налила стаканъ и пригласила Михайлу вмѣстѣ къ столу. Михайло сконфузился и принялся обжигать губы, [illegible] его въ смущеніе, [illegible] онъ, [illegible] Михайло [illegible] Михайло [illegible]

[illegible] Михайлу [illegible] Михайлы.

и была женой Ѳомича); она принесла одѣяло и подушку и сама приладила въ одномъ углу комнаты постель.

Оставшись одинъ, Михайло почувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то необычайное. Онъ былъ самъ не свой, не зналъ, что̀ ему и подумать о чужихъ людяхъ, которые въ первый разъ его видятъ и которые, однако, обошлись съ нимъ, какъ съ близкимъ, съ роднымъ, съ товарищемъ. Со стороны всѣхъ попадавшихся ему до этого дня людей онъ встрѣчалъ злобу, глупость, подозрѣніе и привыкъ видѣть за подкладкой ихъ поступковъ только грошъ, гривенникъ, цѣлковый... Онъ облокотился на станокъ и застылъ въ этой позѣ. Новое, незнакомое и непонятное для него чувство симпатіи такимъ могучимъ порывомъ налетѣло на него, что онъ не выдержалъ и заплакалъ. Слезы катились по его щекамъ и капали на станокъ. Когда Михайло замѣтилъ это, онъ стеръ мокрое пятно рукавомъ на-сухо и торопливо легъ въ постель, потушивъ лампу.

Слѣдующій день былъ воскресенье. Ѳомичъ предложилъ Михайлѣ воспользоваться этимъ днемъ, какъ онъ хочетъ, идти, куда ему надо, и дѣлать, что только вздумается ему, но Михайло отказался. Онъ всталъ рано, надѣлъ чистое бѣлье, вычистился, привелъ въ возможный порядокъ свое платье и желалъ сейчасъ же приняться за работу, но дѣлать было пока нечего. А скоро его позвали пить чай. На этотъ разъ онъ уже менѣе конфузился, когда Надежда Николаевна, какъ звали жену Ѳомича, налила и подала стаканъ ему; онъ сразу привязался къ ней и уже не боялся ея. Ѳомичъ за чаемъ читалъ газеты и отъ времени до времени обмѣнивался замѣчаніями съ Надеждой Николаевной. Михайло, однако, уже ничему болѣе не удивлялся, даже этимъ газетамъ и книгамъ, которыя лежали въ разныхъ мѣстахъ комнаты и которыя Ѳомичъ, конечно, знаетъ... Онъ только внутренно разозлился, мысленно обругалъ себя чистымъ дуракомъ. Чтобы заглушить это недовольство собой, онъ просилъ съ волненіемъ дать ему нынче же какую-нибудь работу. Ѳомичъ далъ, но все-таки свободныхъ часовъ у Михайлы осталось много.

Весь день онъ находился въ странномъ состояніи. Онъ не вѣрилъ, что онъ сидитъ вотъ въ этой комнатѣ, не вѣрилъ очевидной дѣйствительности. Еще вчера онъ былъ на кирпичныхъ сараяхъ, а нынче... Кирпичные сараи казались ему

страшно далеко. „И какъ я сюда попалъ?“—спрашивалъ онъ себя, любопытно изучая всю обстановку, лица Ѳомича и Надежды Николаевны, ихъ разговоры, ихъ малѣйшія движенія. „Что̀ бы со мной было, ежели бы я не пришелъ сюда?“ спрашивалъ онъ далѣе. Какъ ни нелѣпъ этотъ вопросъ, но онъ былъ реаленъ и неизбѣженъ, и, только рѣшивъ его, онъ могъ повѣрить, что переживаетъ дѣйствительный случай, а не сонъ.

„Быть бы мнѣ теперь подъ рогожей! Удивленіе!.. Вчера еще сидѣлъ подъ кулемъ, ничего не понимая, и вдругъ хлопъ — прямо изъ-подъ куля перелетѣлъ за тридевять земель!“

Новая обстановка, люди, порядки, разговоры подавляли его своею неожиданностью; онъ сначала испыталъ страшную робость, недовѣріе къ себѣ, слабость... Новая обстановка, въ которую онъ такихъ неожиданнымъ образомъ перелетѣлъ, просто потрясла его до глубины души. Въ мысляхъ его совершился полный переворотъ. Онъ пересталъ сверкать глазами, какъ волкъ, и злился на одного себя; боялся своего невѣжества и напряженно слѣдилъ за каждымъ своимъ шагомъ, вполнѣ убѣжденный, что онъ ежеминутно можетъ безсознательно сдѣлать какое-нибудь свинство по отношенію къ Надеждѣ Николаевнѣ и Ѳомичу. Къ первой онъ питалъ робкое почтеніе и привязанность, явившуюся почти внезапно, второго онъ такъ поставилъ высоко, что забылъ совсѣмъ себя, и если вспоминалъ себя, только затѣмъ, чтобы выругать.

Вставая рано утромъ, Михайло спрашивалъ, что дѣлать, и слушалъ каждое слово Ѳомича, безусловно точно выполняя каждое его приказаніе. Работалъ онъ, не вставая, учился слесарнымъ пріемамъ, забывая объ усталости, и прикажи ему Ѳомичъ работать по двадцати часовъ въ сутки, онъ покорно выполнилъ бы это требованіе.

Секретъ свой онъ забылъ. Имъ овладѣла другая мысль, осуществить которую онъ считалъ себя безсильнымъ. Самоуниженіе у него доходило до крайности. Иногда, будучи не въ состояніи овладѣть какимъ-нибудь пріемомъ такъ быстро, какъ бы онъ того желалъ, онъ съ бѣшенствомъ вскрикивалъ:

— Да гдѣ же такому дереву понять?

А раньше его отношеніе къ себѣ было какъ разъ обрат-

ное. Встрѣчаясь съ людьми, въ деревнѣ или въ городѣ, онъ относился къ нимъ съ злобнымъ пренебреженіемъ и пользовался ими только затѣмъ, чтобы сказать себѣ: „Вотъ такъ я не буду жить, какъ этотъ дуракъ!“ Но каждый шагъ Ѳомича вызывалъ въ немъ чувство безусловнаго уваженія, и онъ желалъ только одного: походить на Ѳомича.

Чувство это сначала было мучительно, потому что Михайло не надѣялся добиться того, что добылъ въ жизни Ѳомичъ. Но съ теченіемъ времени Михайло оправился. Понемногу онъ ближе узнавалъ Ѳомича, поспѣшалъ слушать отрывки изъ его богатой жизни, имъ самимъ разсказываемые при удобныхъ случаяхъ. Эти отрывки убѣдили Михайлу, что и ему можно еще пробиться къ свѣту. А когда передъ нимъ вставала вся жизнь Ѳомича, то онъ сильно воодушевлялся, имѣя передъ глазами примѣръ безпрерывной борьбы и побѣды.

Одно качество Ѳомича было дѣйствительно необыкновенно: это—рѣдкая способность все переносить добродушно или, пожалуй, безчувственно... и изъ всего на свѣтѣ извлекать для себя пользу, чтобы поучиться чему-нибудь. Жизнь Ѳомича началась не лучше, не хуже жизни другихъ рабочихъ, но онъ умѣлъ извлекать пользу изъ самыхъ вредныхъ обстоятельствъ.

Отецъ его жилъ въ этомъ же городѣ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ мѣщанъ, которые почему-то обитаютъ на концѣ города, непремѣнно около оврага, въ домишкѣ, задняя часть котораго обыкновенно виситъ надъ этимъ оврагомъ, готовая ежеминутно оторваться и полетѣть въ самую глубину его. Кромѣ того, этотъ сортъ людей обыкновенно пропитывается болѣе или менѣе неожиданными промыслами, вродѣ ловли и обученія чижей, собиранія бутылокъ и пр. Чаще же всего этотъ овражный народъ занимается вразъ всѣми ремеслами, какія только по обстоятельствамъ возможны; въ одно время ловятъ чижей, въ другое собираютъ щавель (по копѣйкѣ пучокъ), а то починиваютъ сапоги, отъ которыхъ одни носки остались. И носятъ эти около-овражные углы всегда болѣе или менѣе замысловатыя названія: „Антошкина слободка“, „Козлиха“. „Прыщи“.

Здѣсь разговоръ идетъ именно о Прыщахъ, гдѣ обиталъ отецъ Ѳомича, старикъ Тороповъ, занимаясь ловлей раковъ,

плетеніемъ лукошекъ и другими ремеслами, принуждавшими его надолго иногда покидать свой домишко и своего Алешку. Послѣдній такъ и выросъ на улицѣ, выросъ какъ-то самъ, какъ единственный стебель овса среди крапивы. Кажется, мудрено было извлечь пользу изъ такого житья. Но Ѳомичъ уже и въ этотъ ранній возрастъ инстинктивно продирался сквозь чащу къ свѣту. Рѣшительно предоставленный самому себѣ, онъ въ этотъ періодъ выучился грамотѣ, беря шутовскіе уроки у своихъ уличныхъ товарищей, ходившихъ въ школу. Кромѣ того, онъ въ совершенствѣ позналъ всѣ виды промысловъ, которыми пробавлялся отецъ. Отецъ умеръ, когда Алешкѣ было лѣтъ двѣнадцать, окончательно предоставивъ сына на волю Божію. Ѳомичъ остался круглымъ сиротой. Имущество отца и его самого общество взяло подъ опеку, но опекать было буквально некого и нечего: домишко уже наполовину висѣлъ надъ оврагомъ, а двѣнадцатилѣтній Ѳомичъ самъ о себѣ позаботился.

Жилъ онъ по разнымъ людямъ, переходя отъ одного хозяина къ другому; побывалъ у сапожниковъ, у булочниковъ, у портныхъ, у кузнецовъ и слесарей и вездѣ его основательно учили (били); когда его сильно учили въ одномъ мѣстѣ, такъ что дѣлалось не втерпежъ, онъ переходилъ на другое. Это было самое тошное время въ жизни Ѳомича. Даже онъ самъ съ негодованіемъ отзывался объ этомъ періодѣ. „Бывало, хозяинъ возьметъ меня за ноги, да и спуститъ изъ окна внизъ головой... конечно, невѣжество одно!“ Учили его на разные лады, сообразно ремеслу учителя: сапожникъ училъ его колодкой, булочникъ—скалкой, портной — ножницами, а кузнецъ—шкворнемъ, но Ѳомичъ оставался живъ. Мало того, онъ все-таки воспользовался и этою эпохой, хотя не такъ, какъ бы желалъ; онъ быстро выучивался всѣмъ тѣмъ ремесламъ, которымъ его учили, выучивался тайно, урывками и неожиданно для учителя; и теперь едва-ли есть ремесло, передъ которымъ Ѳомичъ сталъ бы втупикъ. Онъ можетъ состряпать себѣ обѣдъ, починить сапоги, сколотить стулъ, сшить панталоны. Но всего лучше онъ выучился слесарному мастерству, потому что прожилъ у слесаря больше году. Этотъ слесарь билъ его по большей части ладонью и только изрѣдка клещами, а, главное, добросовѣстно показывалъ тайны ремесла, изумляясь понятливости ученика, и въ хо-

ошую минуту предсказывалъ, что онъ далеко пойдетъ, іельма! Постигнувъ въ совершенствѣ слесарное ремесло, омичъ уже на шестнадцатомъ году въ состояніи былъ поступить въ мастерскую при желѣзной дорогѣ.

Съ этого времени начинается его извѣстность между матеровымъ людомъ города. Всегда веселый и радушный, онъ же двадцати лѣтъ пользовался авторитетомъ среди товарищей. Водки онъ въ ротъ не бралъ, а каждую свободную минуту употреблялъ на то, чтобы поучиться. Онъ писалъ письма, одавалъ совѣты, объяснялся съ начальствомъ въ качествѣ редставителя, и имя Ѳомича рабочіе произносили съ уваженіемъ. Онъ уже и въ это время былъ довольно начитанъ, о все-таки ему невозможно было употреблять въ день болѣе олучаса на чтеніе, такъ что, въ концѣ-концовъ, отъ постояннаго урѣзыванія отдыха онъ ослабѣлъ; здоровье его проадало, улыбка исчезала съ его добродушнаго лица...

Къ счастію, онъ въ это время попалъ въ острогъ. Разныя е бываютъ понятія о счастіи! Ѳомичъ самъ говорилъ, что то для него было на руку, этотъ острогъ-то, и ему нельзя е вѣрить. Посадили его вотъ за что. На заводѣ, гдѣ онъ ъ это время работалъ, случилась стачка, продолжавшаяся ѣлую недѣлю. Стачку прекратили, рабочихъ согнали на раоту, а зачинщиковъ взяли. Въ числѣ ихъ взяли и Ѳомича, е сомнѣваясь въ его зловредномъ вліяніи на рабочихъ. Онъ огъ бы уничтожить это недоразумѣніе, потому что весь его редъ заключался въ стремленіи поучиться, но онъ этого не дѣлалъ, довольно равнодушный ко всякимъ страданіямъ; ему ю время сидѣнія лѣнь было даже спросить, за что его держатъ? Эта нелѣпость объяснялась просто тѣмъ, что онъ весь шелъ въ одно желаніе—учиться.

Съ этой стороны острогъ привелъ его въ восхищеніе. „Товарищи предлагали мнѣ разныя дѣла... ну, нѣтъ, говорю, ратцы, мнѣ надо пользоваться свободнымъ временемъ и учиться. Что же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ? Квартира готовая, столъ, дежда — все казенное, вотъ я и давай читать, радъ былъ. Потому что такой свободы у меня не было и не будетъ, какъ въ острогѣ... Много я тутъ сдѣлалъ хорошаго!“ Ѳомичъ пріятно вспоминалъ это время. Сидѣлъ онъ въ этомъ радостномъ мѣстѣ около года, кончилъ ариѳметику, геометрію, прочиталъ множество книгъ, выучился понимать толкъ въ лите-

ратурѣ, съ какимъ-то инстинктомъ дикаря чуя, что̀ хорошо. Прошелъ онъ и грамматику, хотѣлъ даже попробовать нѣмецкій языкъ, но всякій языкъ почему-то плохо давался ему. Даже по-русски вполнѣ правильно писать не выучился,— эта хитрость, къ его удивленію, не давалась, да и шабашъ. Разговорный языкъ также навсегда у него остался простонароднымъ, и теперь, во время жаркаго спора, онъ иногда загнетъ такую корягу, что самъ сконфузится и забудетъ споръ.

Когда Ѳомичъ вышелъ изъ пріятнаго мѣста на улицу, онъ былъ немного блѣденъ, немного обрюзгъ, но здоровъ и веселъ. Онъ поступилъ опять на заводъ, но случился новый неожиданный переворотъ въ его жизни. Одно недоразумѣніе влечетъ за собою другое. Разъ побывавъ въ счастливомъ мѣстѣ, Ѳомичъ навсегда уже остался въ подозрѣніи и, проживъ два мѣсяца на заводѣ, онъ, на снованіи только одного того, что сидѣлъ въ счастливомъ мѣстѣ, былъ взятъ и отвезенъ на край свѣта, въ сѣверный городишко, чортъ знаетъ куда. Вышло это неожиданно и произвело на товарищей Ѳомича сильное впечатлѣніе.

-- Ну, теперь Ѳомичу капутъ!

— Теперь Ѳомичъ—шабашъ!

— Пр-ропалъ!

— Теперь Ѳомичъ, прямо можно сказать, былъ человѣкъ— и нѣту его!

Это мрачное заключеніе должно бы было, повидимому, вполнѣ оправдаться. На полсотни мѣщанъ въ этомъ невѣроятномъ городишкѣ, гдѣ не было ни заводовъ, ни промысловъ, приходилось всего-на-всего два умирающихъ мерина, пять коровъ, нѣсколько куръ, одинъ пѣтухъ и, должно быть, одинъ цѣлковый. Такимъ образомъ, самое вѣроятное предположеніе о попавшемъ сюда человѣкѣ—именно то самое, которое сдѣлали товарищи Ѳомича. Но Ѳомичъ не потерялся. „Спервоначалу было мнѣ, конечно, дурно, а послѣ хорошо... Починивалъ я ружья охотникамъ въ окрестностяхъ, зарабатывалъ этимъ рублей шесть въ мѣсяцъ, да товарищи иной разъ немного пришлютъ — ничего, жилъ“,—разсказывалъ объ этомъ времени Ѳомичъ. Здѣсь онъ прошелъ географію и принялся за алгебру и физику, пользуясь свободнымъ временемъ.

Но Θомичъ съ полнымъ правомъ, даже съ обыкновенной еловѣческой точки зрѣнія, могъ вспоминать хорошо этотъ гиѳическій городишко: здѣсь онъ познакомился съ Надеждой Николаевной. Θомичъ никогда ни однимъ словомъ не проговаривался, какъ сошлись они—рабочій и барышня. Съ интинктомъ уже развитого человѣка, онъ не прикасался къ частію, боялся опошлить его словами, которыми, къ тому ке, онъ плохо владѣлъ.

Пріѣхала Надежда Николаевна позже Θомича въ городишко поразила его своимъ отчаяннымъ видомъ. Полная апатіи, овершенно больная во всѣхъ отношеніяхъ—вотъ то состояіе, изъ котораго она не выходила. Цѣлый день она сидѣла ъ комнатѣ у себя, курила папиросы и кашляла; шагала изъ дного угла до другого и курила папиросы. Никакого дѣла. Зъ прошедшемъ что-то смутное и мучительное; въ будущемъ какая-то неопредѣленная пропасть и ни одной надежды. Одимъ словомъ, барышня была разбита вдребезги и представляла собою тѣнь.

Для Θомича такое состояніе было просто непонятно; онъ е зналъ никогда ни отчаянія, ни скуки, ни апатіи, ни даже изической болѣзни. Въ первое время онъ робко наблюдалъ а ней. Ея молчаніе отбивало у него охоту бывать у ней асто. Но когда она стала сильнѣе кашлять, онъ сталъ ухаживать за ней въ качествѣ сидѣлки. Иногда онъ приготовлялъ й самъ обѣдъ, каждый день почти насильно уводилъ ее гулять нашелъ ей дѣло — учить его. Алгебру-то онъ самъ проходилъ успѣшно, по географіи много читалъ, но физика подвигалась впередъ плохо. Сперва Θомичъ спрашивалъ только тносительно тѣхъ мѣстъ, которыя ускользали отъ него, а потомъ сталъ брать регулярно уроки у барышни. Сперва уроки шли вяло, Надежда Николаевна сидѣла апатично, такъ что Θомичъ приходилъ въ смущеніе. Но потомъ дѣло пошло успѣшнѣе, и Надежда Николаевна уже сама стала интересоваться спѣхами Θомича, который съ увлеченіемъ слушалъ ее. Она очувствовала, что ей холодно оставаться одной, наединѣ съ воею мучительною думой, и съ нетерпѣніемъ ожидала, когда придетъ на урокъ Θомичъ; и ея лицо озарялось радостною лыбкой при взглядѣ на Θомича, который упорно слушалъ, мѣялся и радовался. Однажды вечеромъ, когда они молча сидѣли за столомъ и боялись взглянуть другъ на друга, по-

трясенные однимъ чувствомъ, Надежда Николаевна, наконецъ, не выдержала напряженной тишины, наставшей въ комнатѣ, и судорожно зарыдала; Ѳомичъ, глядя на нее, также тихо плакалъ. Потомъ онъ убѣдился, что рыдать больше не о чемъ, и черезъ нѣсколько дней обвѣнчался въ единственной церкви фантастическаго города, давъ священнику неслыханный гонораръ, на который тотъ сейчасъ же купилъ муки, а то до сихъ поръ, нѣсколько мѣсяцевъ, ѣлъ соленую рыбу. Физику они кончили ужь долго спустя, когда имъ обоимъ вышло позволеніе воротиться на родину и когда Ѳомичъ испугался, что у него не будетъ больше свободнаго времени для ученія.

Проживъ у нихъ мѣсяцъ, Михайло ежеминутно убѣждался, какія глубокія связи существуютъ между ними, хотя, повидимому, между ними мало общаго. Ѳомичъ—вѣчно спокойный, безъ задатковъ какой бы то ни было тоски и немного толстый; Надежда Николаевна—блѣдная, безпокойная и разбитая. Но, вѣроятно, это-то противорѣчіе и связало ихъ; можетъ быть, Надежда Николаевна согрѣлась душевно подлѣ здоровой натуры Ѳомича, который невольно умиротворялъ ея изстрадавшееся сердце; можетъ быть, также, чувство жизни возвратилось къ ней, когда она очутилась подлѣ этой работящей силы, простой, но широкой... Когда они возвратились въ родной городъ Ѳомича, имъ на первыхъ порахъ пришлось очень туго. Ѳомича отказывались принять въ мастерскія и заводы города, и куда онъ ни приходилъ, его отовсюду выпроваживали. Тогда Надежда Николаевна стала давать уроки, и этимъ они кормились нѣкоторое время.

Но это приводило въ растройство Ѳомича, онъ такъ берегъ свою Надю, что желалъ снять съ ея плечъ всякую работу. Видѣлъ онъ также, что всякая работа, кромѣ физической, убійственна для нея. Съ нечеловѣческими усиліями онъ доставалъ работу. Скоро, однако, удалось ему устроиться: его взяли постояннымъ слесаремъ въ одинъ огромный домъ, гдѣ онъ долженъ былъ слѣдить за водопроводами, ремонтировать всю механическую и слесарную часть зданія, а потомъ, какъ извѣстный половинѣ города, онъ сталъ получать много заказовъ, такъ что потребовался даже помощникъ. Ѳомичъ опять повеселѣлъ. Прислугу Надежда Николаевна отказалась держать, не желая сидѣть сложа руки; она гото-

вила обѣдъ, чай, мыла бѣлье, убирала съ изысканною чистотой комнаты, чистила инструменты. По вечерамъ они читали по очереди. Это шло изо дня въ день и имъ не было скучно, да едва-ли оставалось время скучать, когда каждый праздно проведенный день могъ отозваться на нихъ ощутительною нуждой.

„Колотятся же все-таки, бѣдняги, не богато“,—подумалъ Михайло, ближе познакомившись съ своими друзьями.

Окруженный такою. совершенно новою для него атмосферой, Михайло самъ чувствовалъ, какъ вся его жизнь перевернулась.

Ремесло онъ усваивалъ быстро, доставляя Ѳомичу ежедневное удовольствіе своею ловкостью и трудолюбіемъ. Но эти успѣхи только въ первое время занимали Михайлу, а дальше онъ сталъ уже мучиться совсѣмъ другими вещами. Онъ былъ теперь въ вѣчно напряженномъ состояніи, слѣдилъ за каждымъ своимъ движеніемъ, подмѣчая также каждый шагъ своихъ друзей. Въ противность прежнему, онъ такъ низко упалъ въ своемъ мнѣніи, что весь огромный запасъ презрѣнія и недовольства обрушилъ на одного себя. Онъ копался въ себѣ и безпощадно унижалъ себя. Это, впрочемъ, принесло ему косвенную пользу: онъ привыкъ отдавать себѣ отчетъ во всемъ, что происходило у него внутри, въ каждой своей мысли. Но это же и несказанно мучило его. Ѳомичъ не понималъ состоянія ученика.

— Ты что, Миша, какъ будто нездоровъ все?... Видъ у тебя какой-то больной,—нѣсколько разъ спрашивалъ Ѳомичъ. Надежда Николаевна также спрашивала тревожно. Михайло видѣлъ, что его любили и уважали, но отъ этого, кажется, онъ еще больше мучился.

При вечернихъ чтеніяхъ онъ присутствовалъ, многое понималъ, увѣренный, что не понимаетъ; многое дѣйствительно не понималъ, но во всякомъ случаѣ сидѣлъ все время, какъ на иголкахъ, пожираемый самобичеваніемъ. „Вотъ Ѳомичъ все понимаетъ, а я нѣтъ... Оселъ!“ Оставаясь одинъ на одинъ съ собой, онъ готовъ былъ прибить себя, если бы это было возможно, — такъ тяжело ему было.

Но такіе припадки самоуниженія не могли долго продолжаться въ Михайлѣ, одаренномъ отъ природы силой рости и подниматься. Однажды ночью, оставшись одинъ въ мастер-

маешь ли ты, что такое желѣзо и что сталь? Вотъ то-то же и есть! А говоришь, Ѳомичъ... Сталь—это есть вотъ какое дѣло: ежли желѣзо (Вороновъ отчеканивалъ слова) пропущено черезъ химію, съ прибавленіемъ то-есть потребнаго количества угля, то и выйдетъ сталь. Такъ вотъ она, эта штука-то, откуда берется! А желѣзо—это вещь безъ химіи, оттого оно и дешевле. Это я самъ читалъ. Потому что я—спеціалистъ. Можетъ, я въ Петербургѣ бывалъ, какъ ты думаешь? На петербургскихъ заводахъ!... А Ѳомичъ не былъ. Само собой, онъ—рабочій образованный и много изученъ, но въ энтимъ разѣ... я спеціалистъ!

— Алексѣй Ѳомичъ велѣлъ такъ дѣлать, и я дѣлаю,—возражалъ Михайло.

— Брось! Давай я тебѣ покажу, какъ надо,—сказалъ гордо Вороновъ и совсѣмъ уже протянулъ руку.

— Это не ваше дѣло!—вскрикнулъ Михайло, быстро спряталъ подѣлку и вскочилъ съ мѣста.

— Какой ты, погляжу я, невѣжа!—пренебрежительно сказалъ Вороновъ.

— Вы лучше или молчите, или уйдите, ежели не хотите непріятности...

— Чистый деревенскій невѣжа!—[illegible] Вороновъ.

Михайло [illegible] глазами. [illegible] минута—и Михайло [illegible] въ это [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

сказалъ въ замѣшательствѣ Вороновъ, но старался придать себѣ твердый видъ, когда выходилъ въ двери.

Ѳомичъ тогда обратился къ Михайлѣ, но сейчасъ же расхохотался. Глаза Михайлы сверкали, самъ онъ весь дрожалъ отъ негодованія и стоялъ уже въ углу комнаты, какъ въ боевой позиціи.

— Эка какъ тебя Петруша глупый взволновалъ!—хохоталъ Ѳомичъ.

— Я его, Алексѣй Ѳомичъ, побью, ежели онъ еще...—зловѣще произнесъ Михайло.

— Ну, вотъ... выдумалъ чего еще! За что его бить?

Ѳомичъ пересталъ смѣяться.

— Нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь, Михаилъ Григорьичъ,—возразилъ онъ серьезно,—а если сдѣлаешь, самому будетъ стыдно. Петрушка и безъ тебя битъ... Ты, пожалуйста, не обращай вниманія на него—пусть его мелетъ... Теперь лучше пойдемъ обѣдать, я тебѣ разскажу кое-что про этого несчастнаго.

Михайло послушался и мало-по-малу успокоился, хотя еще и за столомъ нижняя губа у него дрожала... Но когда, узнавъ, въ чемъ дѣло, засмѣялась и Надежда Николаевна, то Михайлѣ сдѣлалось стыдно. Онъ попробовалъ улыбнуться и внимательно сталъ слушать Ѳомича.

— Ты самъ замѣтилъ, Миша, какъ этотъ Вороновъ завирается. Онъ, можетъ быть, тебѣ разсказывалъ, что бывалъ на петербургскихъ заводахъ? Вретъ онъ! Вообще онъ то и дѣло вретъ... Ты самъ слышалъ, какъ онъ постоянно употребляетъ иностранныя слова? Но онъ ихъ не понимаетъ, и ежели говоритъ вообще, то смысла нѣтъ—таку чушь поретъ, что хоть уши затыкай... Да вотъ недавно приходитъ онъ ко мнѣ и говоритъ, что у него меланхолическая шея... Ну, что ты тутъ сдѣлаешь съ нимъ?... „Да дуракъ, говорю, ты, отчего ты никогда попросту не скажешь, что у меня, молъ, худая, длинная шея, какъ у журавля? Вѣдь это слово-то, говорю, и не идетъ сюда, дуракъ!“ Иногда вотъ такъ обрѣжешь его, а иногда плюнешь только,—ну тебя совсѣмъ! Вранье его особенное. Онъ дѣйствительно много слышалъ, но настоящаго-то ничего нѣтъ у него, что-то смутное осталось у него отъ всего слышаннаго, и вотъ этимъ онъ и козыряетъ. Однимъ словомъ, замѣть себѣ, что никакой своей

мысли, ничего *своего* у него нѣтъ. И, во-вторыхъ, замѣть, всю жизнь онъ былъ игрушкой... Ну, теперь ужь я по порядку разскажу, откуда вышелъ такой человѣчище... Жилъ онъ сначала въ деревнѣ съ матерью, съ сиротой, — мать-то его и теперь жива... Деревни я не знаю, какъ и что тамъ, но думаю, что бывали у нихъ такія времена, что пищей ихъ былъ больше ничего, какъ лукъ. Однимъ словомъ, горько! Прожилъ онъ такимъ манеромъ съ помощью лука до одиннадцати лѣтъ и по одиннадцатому году мать отвезла его вотъ сюда, въ городъ, и отдала въ ученье къ слесарю. Какое нашему брату ученье—ты самъ знаешь... Но битье вѣдь глядя по человѣку. Ежели человѣкъ имѣетъ что-нибудь въ себѣ, внутри, какую-нибудь мысль, надежду, то битье ему ни почемъ, онъ его хорошо переноситъ. Лупи его сколько хочешь, а ужь онъ добьется своего. А вотъ ежели котораго человѣка бьютъ, и въ то же время у него нечѣмъ подпереть извнутри это битье-то, ну, тогда одна мука. Вотъ такъ и Петруша. Его били, а онъ только плакалъ и чувствовалъ боль. А били его слесаря здорово, хотя не больше прочихъ. Петрушка два раза пробовалъ бѣгать домой, но одинъ разъ поймалъ его самъ хозяинъ, а другой разъ сама мать привезла его обратно. Разъ онъ также хотѣлъ утопиться, но его вытащили за волосы живого. Однако, черезъ нѣкоторое время кончилъ онъ свое ученье... Да и то плохо же! Онъ можетъ работать на заводахъ, съ машинами, со всѣми инструментами, по чертежу, когда ткнутъ ему въ носъ, что надо, но самостоятельно ничего не можетъ. Вотъ теперь онъ перессорился со всѣми заводами—и голодаетъ, а голодаетъ потому, что самъ отъ себя ничего не можетъ, замка не починитъ...

— Ты забѣгаешь впередъ,—замѣтила Надежда Николаевна.

— Ну, да, точно, впередъ... Такъ вотъ о битьѣ-то. Вдругъ изъ эдакого ада онъ попалъ, лучше сказать, перелетѣлъ въ самый рай! Нежданно-негаданно дали ему въ руки счастье... Познакомился онъ случайно съ одними молодыми господами, и тѣ взяли его на руки, т.-е. прямо на руки. И носились съ нимъ. Кормили его, поили, давали ему папиросы, одежду хорошую надавали ему, стали учить его грамотѣ... Но такъ какъ у Петрушки ничего своего не было, то онъ ничѣмъ и не воспользовался, даже хуже... Бывало, придешь въ эту

квартиру, а Петрушка развалился на диванѣ и куритъ папиросу, плюетъ презрительно, спрашиваетъ, скоро-ли чай? Господа ухаживали за нимъ: рабочій, молъ, изъ народу... всю жизнь, молъ, былъ битъ... Ничѣмъ бы заставить его учиться, а его носили только на рукахъ, какъ куклу, хохотали каждому его слову, которое онъ выворотитъ. Замѣсто того, чтобы заставить его работать надъ собой, ему говорятъ, что онъ — несчастный, обсчитываемый, мучающійся для другихъ. Петрушка намоталъ это себѣ на усъ, какъ ни глупъ. Даже этимъ господамъ сталъ говорить, что вы, молъ, бары! Вамъ бы только ѣздить по шеѣ насъ, несчастныхъ рабочихъ!... Вотъ только что понялъ Петрушка! Бывало, такъ и хочется дать ему хорошую затрещину. Главное, онъ сталъ жалѣть себя, а это нѣтъ ничего хуже для нашего брата, сейчасъ же ослабѣетъ. Такъ и Петрушка. Сталъ себя жалѣть, винилъ во всемъ другихъ, считалъ себя самымъ несчастнымъ человѣкомъ на всемъ свѣтѣ и ничего не дѣлалъ. Грамотѣ онъ, правда, выучился... да плохо же! Бывало, только и дѣлаетъ, что валяется на диванѣ и плюетъ на коверъ. Сталъ онъ страсть какъ нахаленъ. Бывало, придетъ и прямо требуетъ денегъ или велитъ вести его пообѣдать въ кухмистерскую. Господа сначала поблажали, а потомъ стали избѣгать его. Впрочемъ, скоро они какъ-то и разъѣхались всѣ, и остался вдругъ Петрушка безо всего, съ одною азбукой да со словами, которыхъ не понималъ. Ты замѣть это, былъ онъ въ раю и вдругъ опять слетѣлъ внизъ. Когда разъѣхались господа, Петрушка долженъ былъ опять голодать, пошелъ на заводъ, принялся работать и, однимъ словомъ, изъ рая, гдѣ его носили на рукахъ, вдругъ опять въ самую глубь, вонъ куда сверзился. Потому что онъ попалъ опять къ битью. Били его теперь вотъ по какому случаю. Когда онъ тутъ очутился среди товарищей рабочихъ, то смотрѣлъ на нихъ ужь свысока, презрительно, считая себя ученымъ. Съ перваго же дня началъ палить въ нихъ иностранными словами, укорялъ ихъ невѣжествомъ, училъ ихъ, перевирая все, что слыхалъ. Рабочіе, конечно, смѣются. А Вороновъ обижался, ругалъ дураковъ, которые глупы и не обращаютъ на него вниманія. Такъ вотъ иной рабочій слушаетъ-слушаетъ, да и давай его лупить, а въ дракѣ Петрушка по слабости здоровья всегда уступалъ, потому что,

какъ колотили его всю жизнь, то онъ весь насквозь пробитъ и продырявленъ. У него и теперь на головѣ нѣкоторые рубцы—это еще отъ его стараго хозяина, отъ слесаря. Спина у него также попорчена. Постоянно жалуется на головную боль... Ему только тридцать лѣтъ, а онъ, самъ видишь, какъ старикъ...

— Ты забылъ еще одинъ случай,—вставила Надежда Николаевна, хорошо знавшая всѣ обстоятельства Воронова.

— Да, точно, забылъ... Съ нимъ еще произошелъ одинъ случай. Попалъ онъ въ руки къ одному барину, къ тому самому, который часто бываетъ у меня, ты его видалъ не одинъ разъ,—Колосовъ. Человѣкъ суровый, серьезный. Петруша однажды самъ попросилъ его заняться съ нимъ... должно быть, находятъ же на него такія минуты, когда онъ самъ видитъ, какъ пустъ внутри. Попросилъ онъ Колосова и тотъ согласился заняться. Но, вмѣсто того, чтобы исподволь, полегоньку забирать его въ руки, онъ сразу, съ первыхъ же уроковъ, огорошилъ... „Вы ничего не знаете!...“ „Вы говорите глупости!...“ „Вамъ нужно работать, чтобы чему нибудь выучиться!...“ „Это неправда! Не говорите словъ, которыхъ не понимаете!...“ „У васъ нѣтъ никакихъ мыслей, кромѣ животныхъ!...“ Вотъ какъ принялся сразу за него Колосовъ. Это все при мнѣ было... Ну, думаю, ничего хорошаго для Петруши не будетъ... его надо бы прежде погладить, тихонько подкрасться къ нему, тихонько взять его въ руки, да уже тогда и насѣсть на него, чтобы ему дохнуть нельзя было зря. А Колосовъ сразу сталъ рѣзать его на каждомъ шагу, кромсать его на куски, билъ его сверху, снизу, съ боковъ, и Петрушка мой окончательно поглупѣлъ и потерялъ всякій смыслъ. Я сразу увидалъ, что для Петрушки пользы отъ этого не будетъ: очень ужъ круто. И дѣйствительно, Колосовъ скоро отказался заниматься... „Этотъ Вороновъ, говоритъ, глупъ, какъ пятьсотъ свиней“. Да и самъ Петрушка радъ былъ оставить эти занятія, которыя мучили его не знаю какъ. Такъ и остался онъ тупой.... Да и нельзя иначе: то его бьютъ, то носятъ на рукахъ, то опять онъ униженъ, раздавленъ. Такъ и остался онъ ни съ чѣмъ. Надо тебѣ сказать, живетъ онъ тутъ въ городѣ бѣда какъ скверно. Со всѣми товарищами рабочими онъ нигдѣ не можетъ ужиться, не уважаютъ его за его глупое самохвальство,

смѣются; хозяева также избѣгаютъ его неуживчивости; онъ го и дѣло сидитъ безъ дѣла. Но и у него бываютъ минуты, когда онъ всею душой понимаетъ, какъ подшутила надъ нимъ судьба, какъ его искромсали, какая онъ игрушка... Я тебѣ прочитаю его одно письмо къ матери. Это письмо осталось у меня по такому случаю, что разъ онъ пришелъ ко мнѣ попросить денегъ на марку, а Надя дала ему больше, чѣмъ на марку... и письмо оказалось ненужнымъ, потому что онъ написалъ сейчасъ же новое письмо, уже „со вложеніемъ".

Ѳомичъ порылся между книгами и газетами, досталъ грязный листокъ бумаги съ нѣсколькими строками и прочиталъ его:

„Милая маменька, видно, я несчастный на всю жизнь останусь, оттого мнѣ нѣтъ нигдѣ счастія, а я ужь боленъ сильно... Часто мнѣ вамъ даже копѣйки взять не откуда, а самъ знаю, какъ вы бѣдуете тамъ... У меня работы нѣтъ, голодаю, рубашка всего одна осталась, и ежели очень грязная, я самъ возьму ее, да мою, сушу и опять надѣваю, а пока хожу въ пальтѣ... Подштанниковъ у меня двое, да чуть живутъ. Однако, я надѣюсь вскорости вамъ послать два рубля. Очень мнѣ чижело, маменька!"

— Вотъ видишь, какъ у него все тутъ хорошо, просто,— продолжалъ Ѳомичъ.—Онъ мучится, что не можетъ достать два рубля старухѣ, которая ѣстъ лукъ. Куда всѣ и слова иностранныя дѣвались! Ему тутъ и въ голову не придетъ сказать, что у него, напримѣръ, меланхолическіе подштанники. Вмѣсто этого онъ прямо плачетъ слезами: «мнѣ, маменька, чижело!..." А ты его хотѣлъ, Миша, побить. Замѣть, онъ очень честный. Разъ онъ у меня пропилъ тиски, такъ на другой день, какъ только очухался, снялъ съ себя все дочиста и выкупилъ... Можетъ быть, изъ него и вышло бы что-нибудь, ежели бы попалъ въ руки. И не глупый онъ, а только вымотанъ, заигранъ.

Ѳомичъ увлекся и разсѣянно ходилъ по комнатѣ (обѣдъ давно кончился), не замѣчая, какое странное дѣйствіе произвелъ его разсказъ на Михайлу. Надежда Николаевна замѣтила, но не понимала причины необычайнаго волненія Михайлы.

— Главная бѣда, несчастіе, горе нашего брата въ томъ, что мысли нѣтъ... именно той главной мысли, которая бы

показала намъ, что̀ дѣлать, куда идти, какъ жить. Нельзя требовать, чтобы простой человѣкъ былъ ученый, но онъ долженъ жить по своему, а не по приказу, и знать, въ какую точку бить для поправленія бѣдовой своей жизни. Нечего разсчитывать на чужія головы, потому что отъ этого только будетъ игрушкой, куклой. А съ куклой извѣстно какъ поступаютъ: какъ она безсмысленна, молчитъ, то иногда ее сажаютъ на почетное мѣсто, кладутъ передъ ней пирогъ и конфекты, иногда же бросаютъ ее въ темный уголъ и забываютъ о ней надолго, а иногда сѣкутъ!

Ѳомичъ, кажется, еще хотѣлъ продолжать говорить, но въ это время онъ обратилъ вниманіе на Михайлу. Послѣдній мучительно волновался; онъ то вставалъ съ мѣста, то садился. Поблѣднѣвшій до губъ, онъ вдругъ вскричалъ:

— А вѣдь вы не знаете, кто я такой!

Ѳомичъ и Надежда Николаевна съ удивленіемъ переглянулись.

— Кто же ты?—спросилъ Ѳомичъ.

— Вѣдь я сидѣлъ въ острогѣ! Чуть бы еще, негодяй бы вышелъ!

Михайло судорожно выговорилъ это, какъ будто плакалъ навзрыдъ, но на лицѣ его отражалось только негодованіе.

— За что ты сидѣлъ?

— Сжульничалъ!

Надежда Николаевна съ испугомъ смотрѣла на Михайлу, а Ѳомичъ нахмурилъ брови, и оба такъ растерялись, что не могли произнести слова.

Но Михайло не далъ имъ опамятоваться и разсказалъ тотъ мелкій, хотя темный случай изъ своей жизни, который чуть было не погубилъ его. Разсказалъ онъ рѣзко, коротко и съ обычными дикими выраженіями, какъ бы намѣренно усиливая бичующими словами смыслъ дѣла.

— Вотъ какой я подлый былъ!—кончилъ свой разсказъ Михайло и перевелъ духъ.

Ѳомичъ и Надежда Николаевна молчали.

Михайло смотрѣлъ уже твердо, но подозрительно.

— Но вы не думайте ничего... Я былъ... а теперь подлость прошла. И я сказалъ оттого, чтобы вы не думали, что... ежели бы скрылъ отъ васъ ту пакость... Когда вы заговорили объ игрушкѣ, то я рѣшился...

— Да, много темнаго бываетъ съ нашимъ братомъ,— возразилъ Ѳомичъ растерянно и задумчиво.

— Но вы не думайте обо мнѣ худого... Я не тотъ теперь.

Выговоривъ это сквозь зубы, Михайло уже гордо посмотрѣлъ на Ѳомича, и во взглядѣ виднѣлась явная угроза: „Берегись заподозрить меня въ чемъ-нибудь!"... Но согласіе было уже разстроено на этотъ день. Всѣ чувствовали какую-то натянутость и поторопились разойтись въ разные углы.

Михайло рѣшился-было работать за станкомъ насильно, но, видно, взрывъ раскаянія и самобичеванія дорого ему стоилъ; онъ безсильно выпустилъ изъ рукъ работу.

Впрочемъ, черезъ нѣсколько дней Михайло возстановилъ дружескія отношенія. Вышло такъ, что Ѳомичъ въ этотъ день въ первый разъ за два мѣсяца предложилъ ему деньги, какъ стоимость его труда, тѣмъ болѣе, что Михайло уже многое дѣлалъ самостоятельно. Но, выслушавъ предложеніе, Михайло бросилъ презрительный взглядъ на деньги, лежавшія на ладони Ѳомича.

— Нѣтъ, это вы покуда оставьте!—сказалъ онъ рѣзко.

— Да ты что, чудакъ?—воскликнулъ Ѳомичъ.

— Рано еще... надо поучиться.

— Вотъ чудакъ! Значитъ, не рано, если я тебѣ предлагаю!

— Это ваше дѣло. Но только вы, пожалуйста, подальше отойдите съ вашими деньгами.

— Но ты, по крайней мѣрѣ, дерзостей не говори!

Ѳомичъ обидѣлся и разгорячился, а Михайло прямо озлился и съ пламенною ненавистью глядѣлъ на деньги, лежавшія уже на станкѣ. На доводы Ѳомича онъ отвѣчалъ дерзостями и дикими словами, ни въ чемъ неумѣренный. Въ концѣ-концовъ, они оба начали буквально ругаться. Поднялся страшный шумъ въ мастерской. Ѳомичъ растерянно бралъ въ руки и опять швырялъ разныя вещи, вовсе ему ненужныя, и въ страшномъ возбужденіи ходилъ по мастерской, какъ будто что-то отыскивая, а Михайло ушелъ въ дальній уголъ комнаты и оттуда сверкалъ глазами. Наконецъ, пріотворилась дверь, и Надежда Николаевна вопросительно посмотрѣла на обоихъ. Это сразу привело въ память Ѳомича; онъ внезапно сѣлъ на стулъ, хлопнулъ себя по ногамъ и расхохотался.

— Чуть въ драку не вступили!... Ну, однако, ты, Миша,

настоящій ежъ! Тебѣ слово, а ты сейчасъ ужь колючки свои растопыришь... Эдакъ, братъ, невозможно!

Ѳомичъ разсказалъ Надеждѣ Николаевнѣ, изъ-за чего собственно они начали шумѣть.

Но Михайло продолжалъ стоять въ углу, попрежнему, вооруженный злобными взглядами. Только Надежда Николаевна успокоила его, сказавъ нѣсколько ласковыхъ словъ.

Съ той поры натянутость между ними прекратилась.

Съ этого же времени начинается его открытое ученіе. Онъ понялъ, что ему надо много учиться. Это рѣшеніе его сейчасъ перешло въ неудержимое желаніе, какъ всегда. Ночныя свои упражненія онъ до сихъ поръ скрывалъ, но теперь какъ то сразу рѣшилъ, какъ это глупо, и сказалъ своимъ друзьямъ, что ему непремѣнно надо учиться, для чего просилъ Ѳомича свести его къ тому суровому барину, Колосову. Ѳомичъ изъявилъ полнѣйшее удовольствіе, только удивился, почему непремѣнно къ Колосову? Не испугается-ли Михайло его суровости? „Если онъ даже бить меня будетъ, я все-таки буду слушаться его!"—пояснилъ Михайло энергично.

На другой день послѣ этого разговора Ѳомичъ свелъ его къ Колосову, который согласился. Кромѣ того, Надежда Николаевна предложила еще свои услуги.

Михайло началъ заниматься, не отлагая времени. День онъ работалъ въ мастерской, а вечеромъ бѣжалъ къ Колосову и слушалъ его уроки. Занимался онъ не то, что съ энтузіазмомъ, а съ какимъ-то остервенѣніемъ, и ужъ не учителю пришлось поощрять его, а наоборотъ. Въ этомъ онъ, впрочемъ, обнаруживалъ общедеревенскую [illegible], направивъ ее только въ другую сторону. Лично ему принадлежало неудержимое желаніе роста.

Это желаніе было до того исключительное, что изъ-за него онъ все забылъ. У него оставались въ деревнѣ родные, друзья, знакомые, — онъ ихъ всѣхъ забылъ, какъ будто былъ безродный. Онъ жилъ въ большомъ городѣ, кругомъ него были тысячи людей, онъ ихъ не видѣлъ, [illegible] ко всему, что не касалось образованія его. Какъ прежде онъ убѣжалъ изъ деревни, все бросилъ, всю деревню забылъ, думая лишь о томъ, чтобы доучиться, такъ теперь онъ не думалъ ни о чемъ, кромѣ [illegible] учебниковъ.

Ему хотѣлось какъ можно больше узнать, и онъ бился.

что не успѣетъ всего сдѣлать. Ему и теперь приходилъ въ голову вопросъ: „А что̀ бы со мной было, если бы я не попалъ сюда?“ Онъ не сомнѣвался, что было бы скверно. Иногда ему приходили также въ голову разные вопросы: „А что, если Колосовъ умретъ?... Или Ѳомичъ куда-нибудь уѣдетъ?... Что тогда съ нимъ будетъ?“ Онъ боялся этого, потому что отлично понялъ, что ихнему брату образованіе достается совершенно случайно, и кому выпадетъ такой случай, тотъ долженъ ухватиться за него руками и ногами.

V.

Чего не ожидалъ.

Паша шла въ городъ подъ вліяніемъ смутнаго ожиданія какого-то счастья. Она прожила всю жизнь свою (болѣе двадцати лѣтъ) въ деревнѣ, а въ послѣдніе годы побывала во многихъ мѣстахъ, исполняя обязанности горничной и кухарки у писарей, у деревенскихъ купцовъ, у священниковъ, но ей ни разу не приходилось бывать въ городѣ. Отправилась она на удачу, съ инстинктомъ перелетной птицы. Когда везшій ее мужикъ, нанятый по пути за семь гривенъ, спустилъ ее съ телѣги при въѣздѣ въ городъ, она пошла, сама не зная куда. Ни одной души знакомой не было у нея здѣсь, на этихъ широкихъ, людныхъ улицахъ, въ этихъ большихъ каменныхъ домахъ, если не считать жениха, о которомъ она нѣсколько лѣтъ не слыхала, хотя, по ея предположенію, онъ здѣсь живетъ. Тѣмъ не менѣе, шла она довольно спокойно и довольно глупо, какъ будто у ней здѣсь былъ домъ, куда она войдетъ, раздѣнется и сядетъ. Ходила - ходила она такимъ образомъ съ узломъ и вдругъ рѣшилась зайти въ первый попавшійся домъ.

Судьба иногда сжаливается надъ такою простотой. Часто мѣстные жители сбиваются съ ногъ, ища „мѣстовъ“, и не находятъ, а придетъ ротозѣй, попадетъ въ самое настоящее мѣсто и сядетъ, не подозрѣвая, что изъ-за этого мѣста десятки людей вступили бы въ драку. Когда, по приходѣ на дворъ неизвѣстнаго дома, она спросила неизвѣстнаго чело-

вѣка о мѣстѣ, ей сейчасъ-же указали дверь, куда надо войти и гдѣ требуется прислуга. И едва Паша вошла въ квартиру, сказала нѣсколько словъ, обнаруживъ свой наивный видъ, какъ уже нанялась. Ей сейчасъ-же показали кухню, гдѣ она преспокойно раздѣлась, пригладила волосы, смахнула ладонью пыль съ лица, положила узелъ на собственную кровать и просто спросила, что дѣлать теперь?

Барыня, обрадованная такою глупостью, велѣла пока отдохнуть, а сама пошла къ мужу и съ нескрываемымъ удовольствіемъ объявила, что наняла дѣвушку... „вѣроятно, откуда-нибудь прямо изъ густого лѣса“. Баринъ также выразилъ удовольствіе и замѣтилъ, что „этакія-то, изъ лѣсу прямо, лучше, по крайней мѣрѣ, честнѣе“.

Но уже съ слѣдующаго дня Паша узнала, что если глупость и нравится господамъ, то не надолго. Съ слѣдующаго же дня дѣвушка, не знавшая городскихъ обычаевъ, начала получать внезапныя острастки: „не такъ! не то! не туда!..“ Сначала барыня говорила это мягко, съ улыбкой, но потомъ строже, потомъ съ нѣкоторымъ повышеніемъ въ голосѣ; наконецъ, гнѣвно: „Какъ ты глупа, Прасковья!“ Потомъ уже начались окрики: „Куда ты?...“ „Да развѣ это...?“ „Да что ты дѣлаешь?...“ Сообразно съ этимъ и Паша сначала выслушивала замѣчанія спокойно, потомъ съ нѣкоторымъ вниманіемъ, но все еще не прибавляя шагу, потомъ ускорила свою походку, наконецъ, принялась бѣгать, т.-е. соваться, какъ угорѣлая. Бѣдная дѣвушка до сихъ поръ привыкла только къ тяжелой, но грубой работѣ—перенести съ задняго двора въ избу теленка, вынести изъ избы на дворъ лохань съ помоями пуда въ три и проч.

Къ ея несчастію, она попала къ такимъ господамъ, которые получали мало, а жить хотѣли широко. Больше одной прислуги они не могли держать, но требовали, чтобы въ одной ея особѣ совмѣщалось сразу нѣсколько человѣкъ: во-первыхъ, кухарка, а во-вторыхъ, горничная, въ-третьихъ, нянька, въ-четвертыхъ, лакей. Дѣвушка все должна была дѣлать, у нея не было ни одной минуты, когда бы она оставалась спокойною. Едва она приставитъ на плиту кастрюлю, какъ должна набивать папиросы, а не успѣетъ кончить съ папиросами, какъ барынѣ нужно вычистить ботинки и т. д. Ежеминутно обремененная десяткомъ порученій и требованій,

она ни одного изъ нихъ хорошо не исполняла, за что ей говорили, что она глупа, какъ оселъ; сразу заваленная нѣсколькими дѣлами, она по необходимости каждое изъ нихъ выполняла медленно, почему ей то и дѣло говорили, что она движется, какъ слонъ. Но на самомъ дѣлѣ Паша бѣгала со всѣхъ ногъ, натыкалась на двери, летала съ лѣстницъ, во весь духъ мчалась по улицѣ или кружилась около плиты съ раскаленнымъ лицомъ. Даже и вечеромъ не было покоя. Господа уходили въ гости, а дѣтей оставляли на ея руки, причемъ она должна была вести ихъ гулять. А на прогулкѣ они не давали ей вздохнуть; не успѣетъ она отвернуться, какъ одинъ изъ нихъ уже схватилъ навозную щепку и взялъ въ ротъ, чтобы съѣсть, и не успѣетъ она вынуть изо рта этого ребенка щепки, какъ другой уже засматриваетъ въ канаву, наполненную водой, съ очевиднымъ намѣреніемъ нырнуть туда, а пока она оттаскиваетъ отъ канавы этого сорви-голову, какъ позади ея раздается раздирающій душу крикъ.

Но Паша не жаловалась. Ей казалось невозможной жизнь безъ работы. Она ругала, напротивъ, себя, что ничего не умѣетъ въ городѣ.

Однажды Паша побѣжала въ библіотеку за книгами, которыя были записаны на запискѣ; библіотека отстояла въ двухъ шагахъ отъ ея дома, но ей никакъ нельзя было пройти обыкновенною походкой, потому что въ то же самое время барыня велѣла ей выбить коверъ, и въ то же самое время у ней на плитѣ все бурлило, убѣгало, горѣло. Она бѣгомъ пробѣжала по улицѣ, вскочила на подъѣздъ и безъ памяти бросилась вверхъ по лѣстницѣ. Ко всему глухая и слѣпая, она вдругъ наткнулась на какого-то барина, чуть не сбила его съ ногъ и хотѣла уже броситься выше, какъ вдругъ вскрикнула слабо, остановилась и широко раскрыла глаза. У нея подкосились ноги, когда она взглянула въ лицо господина.

— Господи!... да никакъ это Миша! — прошептала она тихо, но ясно.

Михайло также былъ пораженъ и остановился неподвижно: его блѣдное лицо вспыхнуло, руки, державшія книги, задрожали. Но черезъ минуту онъ оправился и поздоровался съ дѣвушкой, когда то близкой ему.

Онъ закидалъ ее вопросами, но большая часть ихъ были нелѣпы, какъ и всякіе вопросы перваго свиданія. Впрочемъ,

Паша была такъ взволнована встрѣчей и такъ поражена его наружностью, что чувствовала, вмѣсто радости, что-то вродѣ ужаса; она только слабо восклицала отъ времени до времени да смотрѣла широко раскрытыми глазами; Михайло былъ не менѣе взволнованъ встрѣчей, которая сразу воскресила его прошлое и это прошлое вдругъ всего заполонило его.

Такъ они стояли на лѣстницѣ нѣсколько минутъ, пока Михайло не кончилъ. Онъ разспросилъ Пашу, гдѣ она живетъ, попросилъ ее собраться завтра и ждать его; онъ придетъ за ней и возьметъ ее. Онъ не зналъ еще, что̀ намѣренъ дѣлать, но чувствовалъ, что долженъ взять дѣвушку. Послѣдняя безмолвно согласилась выполнить все, что онъ хочетъ. Михайло быстро спустился съ лѣстницы, вышелъ на улицу и здѣсь подождалъ, пока Паша вернется съ книгами. Она скоро вернулась и бѣжала къ двери, но, спускаясь, она инстинктивно оглянула себя, поправила передникъ, пригладила волосы и, очутившись опять возлѣ Михайлы, боялась поднять глаза.

— Господи!... какой вы сдѣлались, Михайло Григорьичъ!— замѣтила она.

— Какой?

— Такой, что и узнать нельзя... Господи! да кто же вы теперь будете?

Михайло въ отвѣтъ на это торопливо простился, поцѣловавъ дѣвушку поблѣднѣвшими губами, и они разошлись, взволнованные и потрясенные.

Когда Михайло остался одинъ, то растерялся среди тысячи мыслей, которыя закружились у него въ головѣ и изъ которыхъ каждая приносила съ собой какой-то ужасъ, неопреодолимый ужасъ. Паша вдругъ возстановила его прошлое: онъ вдругъ вспомнилъ отца, мать, сестеръ, друзей, товарищей игръ, всѣхъ мужиковъ, всю деревню... И все это лѣзло къ нему съ укоромъ, съ нищетой, съ такою грустью. И онъ видѣлъ, что до сихъ поръ все это забылъ, помня лишь одного себя. И Пашу забылъ. А теперь она явилась, напомнила себя, напомнила все, а между прочимъ указала ему, что онъ сталъ баринъ, добился счастія, а она... Полный ужаса и чувствуя, что его какъ будто застали на мѣстѣ преступленія, онъ проходилъ одну улицу за другой и не могъ овладѣть собой. Ему казалось, что въ образѣ Паши пришла за нимъ жалкая деревня, изъ которой онъ вырвался, ухватила его за полу и

тянетъ туда къ себѣ, на мрачное дно. И ему кажется, что у него нѣтъ силъ сопротивляться, и онъ пойдетъ туда потому, что подло измѣнилъ, ушелъ, забылъ!... Онъ самъ достигъ счастья, добылъ его для одного себя, а тамъ... нищета, недоимки, скверный хлѣбъ, грязь... Онъ долженъ идти туда... За нимъ прислали!...

Михайло шелъ, какъ приговоренный преступникъ, въ полномъ смятеніи, убитый, раздавленный и потерявшій всякую силу... Но вдругъ его озарила молнія; онъ почти подпрыгнулъ, неподвижно остановился на тротуарѣ и вперилъ неподвижный взглядъ на идущаго человѣка, загородивъ ему дорогу.

— Вы что-нибудь хотите спросить у меня, милостивый государь? — тревожно освѣдомился баринъ, такъ внезапно остановленный неизвѣстнымъ.

Михайло захохоталъ, бросился въ сторону, чтобы дать дорогу барину, и пустился бѣжать по улицѣ, оставивъ барина въ жертву полнаго недоумѣнія. Миша бѣжалъ и лицо его теперь уже не отражало ужаса; оно было спокойно и твердо и глаза свѣтились радостно. Онъ нашелъ выходъ: жениться. Боже мой! какъ же это такая пустая мысль не могла ему придти въ голову, и онъ испугался бѣдной, робкой дѣвушки? И Миша сейчасъ же припомнилъ, какая это была простая, честная, работящая дѣвушка. Ему будетъ хорошо съ ней. И онъ загладитъ свою вину передъ ней.

Въ свою квартиру Миша пришелъ уже спокойно. Радость не переставала свѣтиться на его лицѣ. Любитъ-ли онъ? Нѣтъ, у него не было любви къ Пашѣ, но онъ чувствовалъ что-то такое, что не хуже любви... Озаренный этимъ внезапнымъ чувствомъ, онъ присѣлъ къ столу въ своей комнатѣ, и тихая грусть овладѣла имъ; онъ припомнилъ выраженіе лицъ отца, матери, сестеръ, ихъ слова, поступки, домъ ихъ, хозяйство, тысячу мелочей...

Немного погодя, онъ придвинулъ къ себѣ чернилицу, бумагу, взялъ перо и принялся писать письмо къ забытымъ:

„Милые, родные мои!“...

Когда онъ оканчивалъ, по блѣдному лицу его катилась слеза, а когда онъ окончилъ, онъ обыскалъ всѣ свои карманы, вынулъ изъ бумажника всѣ деньги, бережно завернулъ

ихъ и вложилъ въ конвертъ. Это онъ въ первый разъ платилъ дань своимъ деревенскимъ близкимъ.

Затѣмъ мысли его перешли къ Пашѣ, и онъ рѣшилъ окончательно пригрѣть бѣдную, бездомную и безродную дѣвушку. Она когда-то въ деревнѣ (какъ давно это было, хотя прошло не болѣе четырехъ лѣтъ!) говорила, что скажи онъ слово, она пойдетъ съ нимъ въ церковь, пойдетъ всюду, куда онъ хочетъ. Но онъ тогда все откладывалъ, а потомъ забылъ ее, когда пришелъ въ городъ. Теперь пришло время успокоить бѣдную...

На другой день рано утромъ Миша уже былъ возлѣ дома, гдѣ служила Паша, которая была готова. Онъ посадилъ ее на извозчика, взялъ изъ рукъ ея узелъ и привезъ къ себѣ на квартиру. Смотрѣлъ онъ спокойно, но задумчиво. Паша робко взглядывала на него. Она говорила ему „вы", всему, кажется, удивлялась, что онъ говорилъ, и молчала. Ему это, видимо, не нравилось, но онъ съ улыбкой просилъ звать себя попрежнему. Паша, однако, отрицательно покачала головой, какъ бы говоря: какъ же это возможно?

Когда они вошли въ его комнату, Паша остановилась около порога, не рѣшаясь двинуться дальше. Михайло нахмурился, и она инстинктивно догадалась, что надо дѣлать: отошла отъ порога и сѣла на первый стулъ. Комната была чистая и бѣдная. Но Паша любопытно осматривала незнакомую, невиданную обстановку. Ее, видимо, поразила висѣвшая на вѣшалкѣ одежда. Это была слабость Михайлы; онъ тратилъ много денегъ на одежду. По приходѣ со службы, онъ немедленно умывался и переодѣвался, всегда чистый и опрятный. Паша боязливо спросила:

— Это все ваши пальты?

— Одежда? Моя,—отвѣчалъ Миша.

— Чай, дорого!

— Не знаю, Паша, забылъ...

Паша увидала лампу съ абажуромъ молочнаго стекла.

— И лампа эта ваша?—спросила она.

Михайло хотѣлъ что-то сказать, но въ это время его перебила Паша, вниманіе которой было привлечено другими предметами.

— Ухъ, сколько вѣдомостей у васъ!... Читаете?

— Читаю.

Паша съ испугомъ смотрѣла на груду печатной бумаги.

— А что, можно прочитать одну такую штуку въ день?— спросила она.

— Какую штуку?

— А вотъ одну вѣдомость...

— Можно нѣсколько номеровъ въ день прочитать, кому охота,—возразилъ Михайло.

— Какъ вы учились хорошо!—какъ бы про себя замѣтила Паша, но съ непонятною грустью въ голосѣ.

— А эти книги, должно, оттуда?—удивленно спросила она и показала рукой въ ту сторону, гдѣ, по ея предположенію, была библіотека, памятная теперь для нея на всю жизнь.

— Изъ библіотеки, думаешь? Нѣтъ, здѣсь почти всѣ мои.

— И вы всѣ ихъ умѣете читать?

Михайло не позволилъ себѣ улыбнуться и спокойно объяснилъ, что достаточно научиться читать одну книгу, чтобы читать потомъ всѣ на этомъ языкѣ. Другое дѣло — понимать; можно читать и въ то же время ничего не смыслить. Паша недовѣрчиво взглянула въ лицо Миши, — такъ были нелѣпы, по ея мнѣнію, его слова. Процессъ чтенія она не раздѣляла отъ процесса пониманія; читать — значитъ узнавать, что написано... Михайло прекратилъ разговоръ объ этомъ.

Паша была грустна и, видимо, волновалась.

— Вы гдѣ же служите?—наконецъ, спросила она съ глубокимъ волненіемъ, ожидая услышать что-то страшное. Ей казалось, она была убѣждена, что Михайло Григорьичъ сдѣлался такимъ бариномъ, что ей, глупой, лучше уйти.

— Я помощникомъ машиниста на одномъ заводѣ, — сказалъ Михайло.

Паша съ напряженнымъ испугомъ выслушала это, долго боясь спросить. Наконецъ, осмѣлилась.

— Это что же такое... машинистъ?

Михайло затруднялся.

— Какъ тебѣ сказать?... Это который управляетъ какою-нибудь машиной, поправляетъ ее, даетъ ходъ... Такъ я вотъ помощникъ, скоро буду главнымъ...

— А много доходу получаетъ онъ?

— Жалованья? Смотря какъ... Для семейнаго человѣка не-

много. Но намъ съ тобой хватитъ... Вотъ что, Паша... мы черезъ нѣсколько дней обвѣнчаемся, а покуда я отведу тебя къ однимъ моимъ друзьямъ. Надо подыскать другую квартиру, купить кое-что, вообще приготовиться...

И Михайло ласково смотрѣлъ на Пашу.

Послѣдняя вспыхнула до корней волосъ, и на глазахъ ея навернулись слезы. Но она отвѣтила практически:

— Не обманите меня, Михайло Григорьичъ!... Вы вонъ какой теперь баринъ, а я деревенская... гдѣ же мнѣ угодить вамъ?

Михайло, въ свою очередь, взглянулъ, потомъ поблѣднѣлъ, но обвинилъ себя за такую недовѣрчивость дѣвушки. Черезъ минуту онъ былъ уже спокоенъ, хотя горячо заговорилъ:

— Развѣ я обманывалъ когда-нибудь тебя, Паша? А я такой же все, — онъ поспѣшно и коротко разсказалъ свою жизнь въ городѣ, какъ онъ перебѣгалъ отъ одной работы къ другой, отыскивая чего-то лучшаго, какъ голодалъ и шлялся оборваннымъ и злымъ, какъ сдѣлалъ подлость и поплатился за то, какъ одно время ослабъ, потерявъ всякую надежду на счастье, какъ случайно попалъ къ людямъ, которые обласкали его, и какъ онъ сталъ учиться... Прошло почти три года съ тѣхъ поръ.

— Какой же я баринъ? Вонъ, посмотри, виситъ моя блуза; она прожжена вся и запачкана... Вотъ мои руки — на нихъ мозоли, а въ порахъ ихъ уголь, желѣзо, масло... Но я многому научился... Но это не помѣшаетъ намъ съ тобой жить! — кончилъ Михайло.

Паша хотѣла обнять его, но только закрыла лицо руками.

Потомъ они пошли къ Ѳомичу и Надеждѣ Николаевнѣ. По улицамъ на нихъ смотрѣли прохожіе, потому что они представляли довольно странную пару. Это, однако, не могло смутить Михайлы. Не смутился онъ и у Ѳомича, когда, по приходѣ съ Пашей, отрекомендовалъ ее своею невѣстой и просилъ пріютить ее на нѣсколько дней. Онъ только подозрительно оглянулъ друзей, чтобы убѣдиться, не смѣются-ли они?

Ѳомичъ и Надежда Николаевна не смѣялись, но словно удивились, — Миша никогда, во время житья у нихъ и послѣ ухода съ ихъ квартиры (полгода тому назадъ), не говорилъ имъ не только о невѣстѣ, но и вообще о чемъ бы то ни было,

касавшемся женщинъ. Но они приняли сейчасъ живѣйшее участіе въ Пашѣ, которая, по обыкновенію, остановилась около порога и держала въ рукахъ узелъ свой съ имуществомъ. Надежда Николаевна усадила ее, взяла изъ рукъ ея узелъ, положила на мѣсто, стала ее разспрашивать, а когда Миша ушелъ, предложила ей позавтракать.

Послѣ завтрака Паша сѣла на краешекъ стула, сложивъ руки на колѣняхъ, и тоскливо слушала, что говорили между собой хозяева. Посидѣвъ такъ съ часъ, она вдругъ спросила Надежду Николаевну:

— Нѣтъ-ли чего поработать у васъ?

Надежда Николаевна улыбнулась, но недоумѣвала, что́ бы ей сказать. Паша увидала, что въ комнатѣ полъ грязный потому что во дворѣ было грязно. Это было обрадовало ее.

— Я бы полъ вымыла,—предложила она.

— Зачѣмъ?—возразила Надежда Николаевна.

— Да онъ, вишь, черный...

— Ничего, завтра вымоютъ.

Паша опечалилась этимъ отказомъ и скучно обвела глазами комнату. Ея вниманіе теперь обратилъ на себя завязанный чулокъ, лежавшій на одномъ окнѣ.

— А чулокъ можно повязать?

Надежда Николаевна опять разсмѣялась и уже хотѣла убѣждать, что чулокъ въ свое время будетъ оконченъ, но въ это время вмѣшался Ѳомичъ. Онъ скорѣе понялъ состояніе Паши.

— Ты, Паша, пожалуйста, дѣлай все, что тебѣ хочется. Хочешь чулокъ — вяжи. Вымой полъ, если тебѣ нравится, дѣлай еще что-нибудь, вообще что угодно, не спрашивая позволенія.

Паша взяла чулокъ и съ видимымъ удовольствіемъ принялась вязать его, въ то же время внимательно прислушиваясь къ разговору. Впрочемъ, долго она и не скучала. Миша взялъ отпускъ на нѣсколько дней и быстро окончилъ приготовленія; купилъ кое-какую утварь, нанялъ квартиру, справился у попа и т. д. Ѳомичъ не успѣлъ одуматься, какъ уже все было готово къ свадьбѣ; поэтому онъ поспѣшилъ высказать свой взглядъ на все это странное дѣло.

Онъ нарочно разъ вечеркомъ зашелъ къ Михайлѣ, но долго не зналъ, какъ начать. Онъ барабанилъ пальцами по

столу, не кстати вынималъ изъ кармана платокъ и безъ нужды сморкался, выразительно посматривалъ на товарища, но чувствовалъ, что языкъ у него присталъ къ нёбу.

— Послушай, Миша,— наконецъ, рѣшился онъ.—Я тебѣ хочу кое-что сказать... Ты, пожалуйста, не обижайся... Я отъ всего сердца это говорю...

Ѳомичъ, говоря это, шумно высморкался и чувствовалъ, что въ комнатѣ довольно жарко.

— Ну?—спросилъ Михайло, давно ожидая этого разговора и напередъ зная, о чемъ будетъ рѣчь. Какъ бы удивился Ѳомичъ, если бы догадался объ этомъ!

— Видишь-ли, Миша... Я удивляюсь твоей женитьбѣ... Не хорошо вмѣшиваться, конечно... мнѣ бы не слѣдовало путаться въ это дѣло, но я боюсь за тебя. Паша даже неграмотная... какъ вы будете жить? Что у васъ общаго?... Вотъ что я хотѣлъ сказать... И ты не прими дурно.

Ѳомичъ, высказавъ это, еще разъ высморкался, ожидая отъ товарища одного изъ тѣхъ взрывовъ, которыхъ Ѳомичъ побаивался. Но Миша спокойно выслушалъ, только нахмурился.

— Она простая, добрая...—возразилъ онъ.

— Я не сомнѣваюсь, но какъ ты будешь жить съ чужой?

— Она мнѣ не чужая!—вспыхнулъ Михайло сначала, но вдругъ замолчалъ и задумался. Ѳомичъ наблюдалъ его.

— Мнѣ скучно одному, Ѳомичъ! — вдругъ сказалъ Миша.

— Поэтому и женишься?

— Отчасти... Но ты лучше оставь объ этомъ, — она мнѣ своя, родная... Но мнѣ отчего-то другого не весело, Ѳомичъ!

Ѳомичъ взглянулъ въ лицо товарища, худое, блѣдное и скучное.

— Ты несчастливъ, Миша?—спросилъ онъ.

— Не знаю. Но мнѣ что-то дурно живется.

Михайло рѣдко былъ такъ откровененъ, и Ѳомичъ понялъ, что если онъ такъ говоритъ, то, значитъ, есть что-то.

— Что же тебѣ еще нужно? Ты получилъ то, чего нѣтъ у милліоновъ,—развитіе и хлѣбъ...

— А что же дальше?—спросилъ пытливо Михайло.

— Какъ что? Да чего же тебѣ?... Какой ты странный! — возразилъ Ѳомичъ удивленно.

Михайло вдругъ съ злостью разсмѣялся и перевелъ разго-

зоръ на другое. Тѣмъ эта неожиданная откровенность и кончилась. Миша, можетъ быть, и самъ плохо вѣрилъ въ свои слова, убѣжденный, что все это — глупая блажь, да въ это время ему и некогда было заниматься собой.

Занятъ онъ былъ въ это время Пашей. Черезъ нѣсколько дней они обвѣнчались. Надежда Николаевна была посаженою матерью у Паши. Приглашены были: товарищъ Миши, машинистъ, нѣсколько простыхъ рабочихъ съ завода и, кромѣ того, Вороновъ Петруша и Исай. Вороновъ добылъ откуда-то черную пару; правда, у сюртука большая часть пуговицъ отсутствовала, но Вороновъ гордо поглядывалъ на себя и презрительно на кроткаго Исая. Послѣдній былъ, съ самаго начала, такъ испуганъ его взглядомъ, что сидѣлъ въ дальнемъ углу комнаты, почтительно вскакивалъ, когда Вороновъ бросалъ на него взглядъ, и ежеминутно ожидалъ, что этотъ строгій баринъ непремѣнно дастъ ему хорошую затрещину,— ты куда, молъ, затесался, свинья? За исключеніемъ этихъ двухъ гостей, всѣ остальные провели свадебный день весело, хотя вина не было.

Молодые поселились въ своей квартирѣ. Потянулись спокойные дни для нихъ. Михайло уходилъ съ утра на работу, приходя только на полчаса пообѣдать, и возвращался домой вечеромъ. Паша готовила обѣдъ, мыла, чистила, гладила и завела въ домѣ такую чистоту, что боязно было даже шагъ сдѣлать. Паша была счастлива, требуя только того, чтобы Миша побольше давалъ ей дѣла, чтобы она не сидѣла сложа руки. Послѣднее сильно безпокоило ее. Хозяйство ихъ, въ сущности, было скудное. Встанетъ она чуть свѣтъ, сдѣлаетъ обѣдъ, вымоетъ четыре тарелки (больше нѣтъ), два ножа, двѣ вилки, нѣсколько разныхъ посудинъ и съ удивленіемъ спрашиваетъ себя, что же еще дѣлать? Ничего! Тогда она почти собираетъ пылинки съ пола, вымоетъ безъ всякой надобности чистыя окна, вычиститъ всю одежду мужа—и опять дѣлать нечего.

Одно открытіе сильно поразило ее.

— А я думала, ты богатый! — сказала разъ грустно Паша.

— Почему же ты такъ думала?—спросилъ съ интересомъ Миша.

— А какже? Кто умный, у того и всего много.

— Ну, это не всегда, — засмѣялся Миша.

Затѣмъ Паша обратила вниманіе на самого Михайлу Григорьевича. Отчего онъ такой нездоровый? Иногда скучный? Пожаловаться на него она не могла, — онъ всегда былъ съ ней ласковъ. Но она его жалѣла. Она была убѣждена, что это онъ на работѣ убивается.

— Какой ты худо-ой!—разъ замѣтила Паша съ любовью и жалостью.

— Я здоровъ, Паша, — возразилъ Михайло, ничего не подозрѣвая.

— Какое ужъ... Погляжу я, сколько дураковъ на свѣтѣ шляется, которые богатые, а ты вотъ, умный человѣкъ, сиди!...

— Развѣ умъ и деньги одно и то же, Паша? — спросилъ Михайло, еще не понимая.

— Я про то и говорю, сколько дураковъ на свѣтѣ шляется богатыхъ, а ты вотъ...

— Тебѣ недостаетъ чего-нибудь, Паша? — спросилъ Михайло, еще не понимая.

Паша обидѣлась на этотъ вопросъ и горячо возразила:

— Развѣ я о себѣ? Мнѣ тебя жалко! Сколько работаешь, а все не поправляешься. Ты бы на другую должность перешелъ.

— Зачѣмъ?—спросилъ Михайло.

— А чтобы разбогатѣть.—отвѣтила съ волненіемъ Паша.

— Да зачѣмъ разбогатѣть?—возразилъ Михайло, пораженный, потомъ засмѣялся.

Паша готова была заплакать, убѣжденная, что мужъ смѣется надъ ней. Михайло съ тѣхъ поръ пересталъ смѣяться въ такихъ случаяхъ, а такихъ разговоровъ было много, и надо было серьезно подумать, какъ прекратить недоразумѣніе.

— Я нынче съ хозяиномъ разговаривала, — разъ сказала Паша грустно.

— Съ какимъ хозяиномъ?—спросилъ Михайло, отрываясь отъ книги.

— Съ нашимъ, съ домовымъ.

— Ну, такъ что же?

— Дуракъ онъ! А вотъ тоже имѣетъ двѣ лавки, да домъ вонъ какой страшенный... а не грамотенъ даже! Посмотрѣла я, какъ онъ подписываетъ свою фамилію: возьметъ перо въ

руку, а эту руку держитъ другой, да еще ногами упрется и до-олго возитъ... а потомъ встанетъ и вытираетъ потъ съ лица—усталъ, горемычный! А домъ-то вонъ какой!...

— Ну, и чортъ съ нимъ, съ его домомъ!—говоритъ уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ Миша, напередъ зная, о чемъ рѣчь.

— Да вѣдь у него еще двѣ лавки?!

— Ну, такъ что же?

— Вотъ бы и ты... торговалъ бы... А то все на хозяина убиваешься.

— Это невозможно, Паша,—просто сказалъ Михайло. Онъ не осердился, но твердо сказалъ, что богатства ему не надо.

Паша этого не понимала. Для нея богатство составляло высочайшую вершину существованія, первое и послѣднее желаніе людей. Но она желала денегъ вовсе не для того, чтобы сложить руки, разжирѣть и смотрѣть заплывшими оловяными глазами на міръ Божій, какъ большинство женщинъ въ ея положеніи. Ей хотѣлось только, чтобы ея милый Миша пересталъ убиваться и поправился здоровьемъ; ей хотѣлось бы еще, чтобы ей было надъ чѣмъ работать. Ея идеалъ былъ домъ, биткомъ набитый благодатью. Она желала, чтобы у нихъ былъ свой хорошій домъ, чтобы въ этомъ дому было накладено, напущено, набито всего въ волю, чтобы она съ утра до ночи ходила, смотрѣла, носила, укладывала, хранила... Ей не нужно было богатста для того, чтобы ѣсть, пить, лежать на перинѣ или сидѣть сложа руки на животѣ и хлопать оловяными глазами,—она довольствовалась бы солеными огурцами, накрошенными въ квасъ, и хлѣбомъ. Она была бы счастлива работой среди обилія и ду́мала бы только о томъ, чтобы копить, набивать вещей и напускать всякой живности еще больше.

Это Михайло зналъ, потому что нѣкогда вѣрилъ въ большую часть такого идеала; голодная деревня физически не могла дать ему мыслей. Теперь все это прошло и онъ смутно помнилъ, какъ тогда думалъ, но мысли Паши понималъ и не сердился на нее.

А Паша пробовала нѣсколько разъ заводить разговоръ объ этомъ предметѣ,—разговоръ, начинавшійся и оканчивавшійся однообразно.

— А я нынче встрѣтила лукьяновскаго писаря, у котораго жила,—говорила Паша.

— Ну, такъ что-же?

— Хорошо живетъ! У нихъ сколько птицы, четыре коровы, пара лошадей... Жалованье у него небольшое, да доходу много...

Начинается убѣдительное перечисленіе того, что есть у лукьяновскаго писаря съ женой,—перечисленіе, оканчивающееся всегда такъ:

— Вотъ-бы и ты перешелъ въ писаря! — кротко говорила Паша и съ жалостью смотрѣла на бѣднаго Мишу.

Чтобы разъ навсегда покончить съ такими разговорами, Михайло однажды спокойно сказалъ, что это невозможно, горячо пояснивъ въ то же время, что одна нажива, безъ всякой другой мысли, много честности убиваетъ, а если кто сразу наживается, то это почти вѣрный признакъ, что человѣкъ тотъ—негодяй. Наконецъ, онъ твердо попросилъ Пашу не говорить больше объ этомъ. Паша напряженно выслушала: она всемъ сердцемъ повѣрила словамъ мужа и больше ни однимъ намекомъ не говорила о „богатствѣ", хотя не понимала...

Михайло отдавалъ себѣ отчетъ во всемъ, что испытывала Паша. Раньше ему какъ-то въ голову не приходило, что будетъ дѣлать его жена, на которую у него остался деревенскій взглядъ... „Около печки... квартиру убрать... шить будетъ",—смутно думалъ онъ, когда, до женитьбы, представлялъ свою жизнь съ Пашей. Теперь ему пришлось ломать голову, потому что онъ отлично видѣлъ, что Паша сильно скучаетъ отъ бездѣлья. Работы по дому ей хватаетъ на какихъ-нибудь два-три часа, а что же еще?... Чтобы занять ее, онъ одно время принялся обучать ее грамотѣ. Но дѣло кончилось нѣсколькими уроками. Паша сначала радостно принялась, но послѣ перваго же урока сдѣлалась мрачною. На другой день она слушала съ мучительнымъ напряженіемъ. Въ слѣдующіе дни во время урока на нее нападалъ непреодолимый страхъ. Михайло, какъ всегда, ласково толковалъ ей смыслъ буквъ, но она молчала, какъ могила. Когда онъ заставлялъ повторять что-нибудь, она только съ ужасомъ глядѣла въ одну точку и молчала, какъ мертвая. Разъ, не дождавшись отвѣта отъ нея, онъ съ досадой проговорилъ:

— Что же ты молчишь?

Паша съ ужасомъ смотрѣла на одну точку.

— Скажи хоть что-нибудь!

Гробовое молчаніе.

Михайло принялся толковать снова. Но вдругъ въ комнатѣ раздался плачъ, сперва тихо, въ видѣ всхлипыванія, потомъ громко, раздирающимъ душу образомъ. Это Паша разревѣлась навзрыдъ.

— Ты о чемъ плачешь?—спросилъ мужъ, перепугавшись.

— Да не понимаю! — судорожно выговорила Паша и обливалась потоками слезъ.

— Такъ о чемъ же плакать-то? Ты бы лучше выругала меня дуракомъ, да шлепнула объ полъ вотъ эту книжонку!— и Михайло, расхохотавшись, зашвырнулъ книжку въ отдаленный уголъ и ласками успокоилъ Пашу. Этимъ и кончились уроки грамоты. Михайло понялъ, что Паша—это честная рабочая сила, и только. И ему это нравилось.

Онъ купилъ швейную машину; она брала работу со стороны и не скучала больше по цѣлымъ днямъ. Михайло съ удовольствіемъ слѣдилъ за ней по нѣсколько часовъ сряду,— слѣдилъ, какъ она весело работаетъ, какъ увѣренны всѣ ея движенія, какое безмятежное довольство лежитъ на всемъ ея лицѣ. Иногда онъ бралъ ее къ Ѳомичу и Надеждѣ Николаевнѣ. Паша, однако, тамъ сильно скучала. Ѳомичъ, Надежда Николаевна, Миша, иногда Колосовъ безпрерывно говорили, а она сидѣла, сложивъ руки на колѣни, и едва удерживалась отъ зѣвоты. Иногда сидитъ-сидитъ такъ и незамѣтно выйдетъ изъ комнаты въ кухню. Тамъ представлялось ей сейчасъ же обширное поле дѣятельности. Она сперва такъ, отъ скуки, вычиститъ, напримѣръ, самоваръ, но потомъ увлечется и давай все перебирать, чистить, мести; раскраснѣется вся и воодушевится, пытливо осматривая каждый уголъ, не скрылось-ли что нибудь недодѣланное. За кухней она перейдетъ въ переднюю, — тутъ все вычиститъ вплоть до калошъ включительно, а изъ прихожей выйдетъ въ сѣни, откуда уже по пути зайдетъ въ кладовую и тамъ прибереть все, да кромѣ того по пути же спустится на дворъ, чтобы вымести крыльцо, а крыльцо лучше бы и не мести, если дворъ около него засрамленъ. И Паша съ волненіемъ схватываетъ вѣникъ и мететъ дворъ около крыльца Ѳомича.

Послѣ этой маленькой, веселой прогулки она возвращается въ комнату уже довольною, съ румянцемъ на щекахъ и съ разгорѣвшимся лицомъ, на нѣкоторыхъ частяхъ котораго блестятъ капли пота, какъ утренняя роса. Лицо ея воодушевленное и умное.

— Гдѣ ты была?—спрашиваютъ ее, всѣ вдругъ обращая на нее вниманіе.

— А я тамъ въ кухнѣ... немного прибралась... все-же Надеждѣ Николаевнѣ меньше будетъ хлопотъ завтра.

Надежда Николаевна смѣялась, Ѳомичъ искоса взглядывалъ на Мишу, надѣясь подмѣтить въ лицѣ послѣдняго досаду или что-нибудь вродѣ этого. Но Михайло ласково смотрѣлъ на жену. Онъ любилъ всего больше именно эту голую рабочую силу, которая сама себя удовлетворяетъ. Онъ завидовалъ Пашѣ. Душа ея всегда спокойна, думалъ онъ. Она ни о чемъ не думаетъ, кромѣ работы, которую сейчасъ дѣлаетъ; кончивъ одну работу, она придумываетъ другую, и въ сердцѣ ея вѣчный покой... А у него нѣтъ! И могъ-ли онъ думать, что результатомъ всѣхъ его отчаянныхъ усилій—вырваться къ свѣту изъ рабочей темноты — будетъ неотлучное безпокойство, наполняющее его душу холодомъ? Странно сказать, Михайло иногда желалъ пожить такъ, какъ живетъ Паша. Но къ такой жизни онъ уже не былъ способенъ; у него было уже слишкомъ много мыслей, чтобы удовлетвориться растительнымъ покоемъ. И чѣмъ сильнѣе болѣли въ немъ какія-то внутреннія раны, тѣмъ больше онъ привязывался къ Пашѣ, находя въ ней то, чего въ немъ не было или что пропало на вѣки.

Вопреки опасеніямъ Ѳомича, нашлось между ними и коечто общее. По вечерамъ, у себя дома, у нихъ съ Пашей происходили длинные разговоры о деревнѣ, объ его отцѣ, о телятахъ, о хомутѣ... Онъ съ величайшимъ интересомъ разспрашивалъ, живъ-ли отцовскій меринъ, походившій на шкуру, набитую соломой; все-ли онъ такъ худъ, какъ прежде, или уже умеръ, а на его мѣсто купили другую шкуру? Цѣлъ-ли плетень, выходящій на улицу, или его пробили свиньи головами, а вѣтеръ докончилъ разрушеніе, или онъ сожженъ въ печкѣ въ холодный зимній день, когда не было дровъ?... Иногда онъ хохоталъ надъ собой за эти разспросы, и все-таки спрашивалъ, желая знать мельчайшія подробности жиз-

ни родныхъ, друзей, знакомыхъ... Ему не скучно было слушать эти, повидимому, ничтожные пустяки. Но онъ и не былъ веселъ. Слушая Пашу, которая обо всемъ разсказывала толково и сочувственно, онъ иногда смѣялся, но это не былъ веселый смѣхъ.

Онъ всегда садился за столъ и клалъ голову на руки или вдругъ задумывался и ходилъ по комнатѣ, повѣсивъ голову, или вдругъ ускорялъ шагъ и быстро ходилъ, сверкая глазами, какъ будто его что-то обожгло. Но чаще всего онъ неподвижно сидѣлъ возлѣ лампы за столомъ и разспрашивалъ, слушалъ, смѣялся, грустилъ. Повидимому, эти разговоры доставляли ему наслажденіе, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, муку. Когда Паша умолкала, онъ снова разспрашивалъ, иногда по нѣскольку разъ одно и то же.

— Ну, а какъ отецъ?

— Да что же... батюшка ничего... живетъ, — отвѣчаетъ Паша.

— Старикъ?

— Конечно, ужь старъ становится.

— А работаетъ же?

— Какъ же, вездѣ самъ.

— А если по праздникамъ... шапку въ кабакъ?

— Бываетъ... пья-аненькій придетъ домой и все больше упрашиваетъ матушку не гнѣваться. А матушка налетитъ на него, ударитъ рукой или пихнетъ съ гнѣвомъ, а онъ упадетъ и упрашиваетъ не обижать его...

— Упрашиваетъ?

— Да. Потомъ заснетъ.

— А кромѣ шапки еще что?

— Бываетъ, шапки-то мало, такъ и сапоги спуститъ.

— Безъ сапогъ?

— Въ старыхъ валенкахъ ходитъ.

Михайло смѣется, представляя себѣ картину, какъ отецъ ходитъ въ валенкахъ по дождю; потомъ задумывается...

— Ну, а мать?

— Матушка ничего... ходитъ все.

— Плачетъ?

— Случается. О тебѣ очень тосковала...

— Старая ужь, чай? Скрючилась?

— Конечно, ужь не молодая. Осторожно ступаетъ, а все-таки ходитъ же.

— Такъ они голодали, когда я ушелъ?

— Нуждались, должно быть, сильно.

— А огородъ съ капустой какъ?

— Что-то я не помню... Должно быть, нѣтъ. Какая ужь тутъ капуста!.

Эти безконечные разговоры тянулись иногда за полночь. Иногда, впрочемъ, случалось, что Миша ни о чемъ не спрашивалъ по цѣлой недѣлѣ. По приходѣ съ завода, онъ тогда ходилъ изъ угла въ уголъ, скучный и разсѣянный. Паша не мѣшала ему, не приставала съ разспросами, но только себя спрашивала: и о чемъ онъ все думаетъ? Едва-ли и самъ Михайло могъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Безпокойство его было неопредѣленное, какъ тотъ гнетъ, который является въ мрачный день, когда на небѣ тучи, когда тяжело давитъ что-то. Онъ регулярно ходилъ на работу, гдѣ со всѣми былъ ровенъ, спокоенъ и, повидимому, доволенъ, но приходили дни, когда онъ мѣста себѣ не находилъ. На него вдругъ иногда нахлынутъ силы, и онъ готовъ подпрыгнуть и чувствуетъ, что онъ долженъ куда-то идти, бѣжать и что-то дѣлать, но это мгновеніе проходило, и онъ оставался съ неопредѣленною тоской, недовольный и обезсиленный, какъ будто кто его обманулъ. Эта тоска сдѣлалась, наконецъ, неразлучной съ нимъ, хотя лицо его оставалось спокойнымъ и самоувѣреннымъ. Чего было ему надо?

Быть можетъ, въ самомъ процессѣ отчаянной борьбы, начатой имъ съ малыхъ лѣтъ за свое „я", въ то время, когда онъ изъ всѣхъ силъ лѣзъ наверхъ и тратилъ энергію на подъемъ, который былъ крутъ и тяжелъ,—быть можетъ, въ этомъ самомъ процессѣ онъ захватилъ душевную немощь, истощилъ и развѣялъ силы и сталъ неспособнымъ на довольство и на счастье? Грудь разбита и изранена злобой, мысль обострилась, всякое простое ощущеніе отравлено какимъ-нибудь воспоминаніемъ прошлаго... А, быть можетъ, Миша принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ людей, которые, дойдя до предположенной цѣли, не могутъ остановиться и отдохнуть, неумолимо движимые какою-то страшною силой все дальше, дальше впередъ, къ неизвѣстному концу? Но вѣрно одно: безпричинная тоска!

Онъ, наконецъ, самъ созналъ это; понялъ, убѣдился, что ему нѣтъ нигдѣ покоя — и не будетъ. Когда онъ съ дикою энергіей пробивался сквозь тьму къ солнцу, онъ постоянно думалъ: вотъ получу — и довольно... Онъ получилъ теперь то, что хотѣлъ, но вмѣстѣ получилъ и то, чего не ожидалъ, о чемъ не думалъ и чего физически не могъ представить себѣ,—безпричинную, постоянно грызущую тоску. Онъ сначала испытывалъ ее, не сознавая, а теперь понялъ, почти физически убѣдился въ ея существованіи. Это было открытіе. У него была не та тоска, которая приходитъ къ человѣку, когда ему ѣсть нечего, когда у него нѣтъ одежды, когда онъ лишенъ пріюта, когда его бьютъ и оскорбляютъ, когда ему, словомъ, холодно, больно и страшно за свою жизнь. Нѣтъ, онъ нажилъ другую тоску, не ограниченную временемъ и мѣстомъ,—тоску безграничную, во все проникающую, вѣчную...

Михайло дошелъ до этой высочайшей точки, до которой люди доростаютъ; онъ дошелъ до этой безпричинной тоски, до этого смутнаго безпокойства за все, чѣмъ живутъ люди. Онъ уже не думалъ о себѣ, его не пугала больше своя участь, въ немъ уже не было того эгоизма, который до сихъ поръ двигалъ его впередъ и подъ вліяніемъ котораго онъ забылъ всѣхъ родныхъ, близкихъ, друзей; но безпокоился уже за все, повидимому, чужое и не касавшееся его. Мало того, все свое онъ сталъ считать чѣмъ-то недорогимъ, неважнымъ или вовсе ненужнымъ. Даже его умственное развитіе, добытое съ такими усиліями, стало казаться ему сомнительнымъ. Онъ спрашивалъ себя: „да кому какая польза отъ этого?“ „И что же дальше?“

Что же дальше? Онъ носитъ хорошую одежду, онъ не сидитъ на мякинѣ и не ѣстъ отрубей; онъ пишетъ, читаетъ, мыслитъ... Читаетъ книги, журналы, газеты. Онъ знаетъ, что земля стоитъ не на трехъ китахъ, и киты не на слонѣ, а слонъ вовсе не на черепахѣ; знаетъ, кромѣ этого, въ милліонъ разъ больше. Но зачѣмъ все это? Онъ читаетъ ежедневно, что въ Уржумѣ—худо, что въ Белебеѣ—очень худо, а въ Казанской губерніи татары пришли къ окончательному капуту; онъ читаетъ все это и въ милліонъ разъ больше этого, потому что каждый день ѣздитъ по Россіи, облетая въ то же время весь земной шаръ... Но какая же польза

отъ всего этого? Онъ читаетъ, мыслитъ, знаетъ... но что же, что же дальше?

Скучно, скучно!

Гдѣ бы ни былъ Михайло, эти вопросы преслѣдовали его. Онъ проводилъ часто время у Θомича, у Колосова и другихъ своихъ знакомыхъ, но всѣ по временамъ вызывали въ немъ острое безпокойство, душевную тревогу. Къ Θомичу онъ уже не питалъ того благоговѣнія, какъ прежде. Роли ихъ перемѣнились. Θомичъ удивлялся многому въ своемъ молодомъ другѣ. Но послѣдній относился отрицательно ко многому, что было въ Θомичѣ. Θомичъ всегда былъ ровенъ, спокоенъ, немного толстъ и много доволенъ своею жизнью; его широкое, добродушное лицо не омрачалось грустью; глаза его никогда не сверкали злобой и едва-ли онъ чѣмъ-нибудь сильно безпокоился, что выходило изъ круга его обстановки. Вотъ этого Михайло не понималъ. „Почему онъ спокойно счастливъ?“ —иногда спрашивалъ себя Михайло. Имѣя дѣло съ Θомичемъ, Мишѣ казалось, что онъ, Миша, одинъ.

Мрачно и холодно ему было иногда. Надежды Николаевны онъ испугался. Пытливо иногда наблюдая за ней, онъ говорилъ: она одна! Новое открытіе. На кого бы Михайло ни взглядывалъ изъ знакомыхъ, ему казалось, что каждый изъ нихъ чувствуетъ себя одинокимъ, какъ въ пустынѣ или въ лѣсу; они разговариваютъ другъ съ другомъ, взаимно радуются, какъ будто ведутъ другъ съ другомъ дѣла, но между ними пропасть, и каждый изъ нихъ есть *одинъ* въ цѣломъ мірѣ.

Михайло отогрѣвался только въ тѣ часы, когда у нихъ шли безконечные разговоры съ Пашей. Битый часъ иногда они говорили о какомъ-то Васькѣ, который посѣялъ просо, а у него уродился овесъ, или о какомъ-то Карасевѣ, котораго всегда, лишь только онъ немного выпьетъ, нечистый ведетъ къ колодцу и приказываетъ ему прыгнуть; при этомъ Карасеву кажется, что онъ сидитъ на печкѣ и намѣревается соскочить оттуда, чтобы поѣсть пирога, который будто бы лежитъ на столѣ; но Карасевъ, прежде чѣмъ прыгнуть, всегда перекрестится, а какъ только онъ перекрестится, нечистая сила проваливается, и Карасевъ вдругъ, къ ужасу своему, видитъ, что онъ вовсе не на печкѣ, а около бездоннаго колодца, и передъ нимъ лежитъ не пирогъ, а лошади-

вый пометъ. Послѣ чего Карасевъ мгновенно вытрезвляется и бѣжитъ, смертельно блѣдный, домой... Михайло хохоталъ.

Но наставали дни, когда Михайло и съ Пашей былъ одинъ. Онъ тогда чувствовалъ, что лишній, ничто, нуль. И въ то же время онъ чувствовалъ, какъ холодно ему, какъ больно и скучно.

Однажды (это было годъ спустя послѣ женитьбы) Михайло вдругъ явился въ квартиру Ѳомича утромъ рано. Ѳомичъ спросонья испугался.

— Не случилось-ли чего, Миша?

— Ничего не случилось. Я зашелъ за тобой, чтобы идти гулять. Пойдешь?

Миша говорилъ угрюмо.

— Вотъ чудакъ! Придетъ съ пѣтухами—и пойдемъ гулять!... Ну, да ладно, пойду. День, кажется, чудесный... Куда же мы пойдемъ?

— За городъ, въ поле... куда-нибудь...

Миша нетерпѣливо смотрѣлъ, какъ Ѳомичъ одѣвался, чесалъ голову, мылся, и съ раздраженіемъ то ходилъ по комнатѣ, то садился, сейчасъ же вставая. На него напалъ злой духъ. Онъ имѣлъ такой видъ, какъ будто пришелъ выругать Ѳомича.

— Да скоро-ли, наконецъ, ты? — спросилъ онъ съ раздраженіемъ.

— Сейчасъ, сейчасъ!... Вотъ чудакъ!... Придетъ съ пѣтухами и... Ну, пойдемъ.

Выйдя на улицу, Ѳомичъ глубоко потянулъ въ себя чистый воздухъ ранняго утра, съ улыбкою взглянулъ на бѣлесоватое небо и улыбнулся солнышку, лучи котораго уже играли на крышахъ домовъ. Онъ хотѣлъ бы идти лѣниво, чуть шагая, но Миша не далъ ему опомниться; онъ быстро зашагалъ, а за нимъ спѣшилъ и Ѳомичъ. Они въ десять минутъ прошли весь городъ, миновали слободку и вошли въ середину садовъ, окаймляющихъ эту часть города. Ѳомичъ здѣсь хотѣлъ пойти потише, но Михайло шелъ впередъ, съ каждою минутой ускоряя свой шагъ,—по крайней мѣрѣ, такъ казалось Ѳомичу.

— Да куда ты спѣшишь?—говорилъ онъ, чувствуя уже нѣкоторую усталость, но все-таки старался поспѣвать за товарищемъ.

— Вотъ чудакъ! — говорилъ затѣмъ Ѳомичъ, снимая фуражку и вытирая потъ со лба. Говорилъ онъ это еще добродушно. Но Михайло не думалъ останавливаться. Ѳомичъ сталъ сердито поглядывать по сторонамъ. Они шли теперь по дорогѣ, по обѣ стороны которой стояли стѣной хлѣба, еще зеленые, но уже начавшіе колоситься. Ѳомичъ мечталъ посидѣть подъ тѣнью густой ржи, пожевать зеленой травы и отдохнуть. Онъ предложилъ Мишѣ посидѣть, но тотъ отказался, заявивъ, что если Ѳомичъ желаетъ, то пусть садится и спитъ, а онъ уйдетъ одинъ. Ѳомичъ съ недовольнымъ видомъ послѣдовалъ за нимъ.

— Это называется прогулкой!—ворчалъ онъ вслухъ.

Наконецъ, онъ сильно озлился.

— Вотъ, чортъ! Да куда же ты бѣжишь? — крикнулъ онъ.

— Куда-нибудь подальше...

Ѳомичъ ругался. Онъ страшно усталъ. Потъ съ его широкаго лица катился градомъ, бѣлье вымокло. Его мучила жажда. Онъ уже собирался остановиться и бросить Мишу... Чортъ съ нимъ, пусть его бѣжитъ одинъ! Но въ это время, къ его счастью, они наткнулись на крестьянина, косившаго траву недалеко отъ дороги, такъ какъ полосу хлѣбовъ они давно уже прошли и спустились въ луга; версты за двѣ, впрочемъ, опять начинались высокіе пригорки, покрытые кустарниками.

Ѳомичъ бросился къ мужику и попросилъ у него испить.

Съ жадностью напившись воды изъ лагуна, хотя вода отзывалась разложившеюся и протухлою древесиной, онъ упалъ на скошенную траву, повернулся лицомъ къ небу и обмахивалъ фуражкой свое пылающее лицо. Михайло, повидимому, не усталъ; на его лицѣ не было краски. Онъ угрюмо вступилъ въ разговоръ съ мужикомъ, который, казалось, радъ былъ самъ случаю облокотиться на косу и отдохнуть.

— Ты отчего это въ праздникъ работаешь?—спросилъ Михайло.

— Да ужь такъ вышло, баринъ... нельзя!—отвѣтилъ спокойно мужикъ.

— Почему же такъ вышло?

— Да ежели сказать правду, то она, причина-то, вотъ какого сорту. Который сейчасъ кошу лугъ, то принадлежитъ все господину Плѣшакову... Можетъ, слыхали, есть такой купецъ Плѣшаковъ... И не только луга, а все это, что пе-

редъ глазами, и этотъ хлѣбъ, и тамъ, и тутъ, а даже верстъ на пять вонъ туды, — все это его, господина Плѣшакова...

Мужикъ обвелъ рукой все окружающее пространство и еще разъ повторилъ, что все это — евойное...

— Можетъ быть, и ты евойный?—спросилъ злобно Михайло.

Крестьянинъ, однако, не понялъ и продолжалъ объяснять причину.

— Вотъ оттого я и кошу въ праздникъ. За зиму-то я у него кое-чего понабралъ подъ работу... и даже таки довольно понабралъ, эстолько понабралъ, что, пожалуй, вотъ по это самое мѣсто (мужикъ провелъ рукой повыше своей маковки)... Вотъ теперь и сижу здѣсь въ праздникъ. Люди спятъ или на завалинкѣ грѣются, а либо въ церкви, а я вотъ... Завтра-то свой лугъ надо убирать... Вотъ она причина-то моя какая!

— Отчего же ты одинъ косишь, безъ семьи? У тебя большое семейство?—спросилъ Михайло.

— Мы только съ бабой... А она увильнула, подлая, не хочетъ, вишь, въ праздникъ работать... Еще вчерась уговорились идти сюда, а всталъ я — глядь, ее ужь нѣтъ, ушла за грибами. Вѣдь вотъ эти бабы какія подлыя!... Ну, да я съ нее за это вычту...

— Вздуешь?

— Да ужь тамъ какъ придется, — съ угрожающею улыбкой пояснилъ мужикъ. — Ну, только я ей дамъ грибы! Покормлю всякими—и сухими, и сырыми, и настоящими. Она ужь меня знаетъ!

Ѳомичъ возмутился. До сихъ поръ молча лежавшій, онъ поднялся и сталъ стыдить мужика, чтобы онъ этого не дѣлалъ. Михайло въ это самое время взялъ косу и попросилъ у хозяина ея позволенія покосить. Послѣдній съ снисходительною улыбкой смотрѣлъ на барина, которому вздумалось побаловаться. Косу, оказалось, надо было выточить. Михайло спросилъ лопатку, намазанную пескомъ. Мужикъ еще шире улыбнулся. Но Михайло быстро и какъ слѣдуетъ выточилъ косу и принялся рядами укладывать траву. Пройдя одинъ рядъ, онъ немного постоялъ и пошелъ обратно, дѣлая косой широкіе взмахи.

Мужикъ смотрѣлъ на все это съ удивленіемъ. Когда Михайло передалъ ему косу, пригласивъ Ѳомича идти дальше, мужикъ любопытно спросилъ, обращаясь къ нему:

— Да вы, собственно, кто же будете?

Михайло пожалъ плечами.

— Какъ тебѣ сказать?... Съ головы господинъ, снизу мужикъ, а посерединѣ пусто!... Да ты что вытаращилъ глаза? Коси, братъ, а то господинъ Плѣшаковъ скорѣе накормитъ тебя грибами!

Михайло проговорилъ это презрительно. Не взглянувъ больше на мужика, онъ пошелъ, а за нимъ Ѳомичъ. Ѳомичъ только теперь замѣтилъ взбудораженный видъ своего друга.

— Тебѣ нездоровится, что-ли, Миша? — спросилъ онъ ласково.

Они скоро поднялись на пригорки и добрались до горы, покрытой кустарниками съ боковъ и голой на вершинѣ. Михайло сейчасъ же здѣсь опустился на землю и легъ внизъ лицомъ, даже не взглянувъ на великолѣпный видъ, открывавшійся отсюда: зеленые луга съ маленькими озерками, которыя по краямъ поросли камышемъ, городскіе сады, поверхъ которыхъ виднѣлись куполы церквей, а вправо лѣсъ, а за лѣсомъ широкая рѣка, по которой вдали плылъ пароходъ съ баржами... И хлѣбныя поля, зеленыя и густыя, и бѣлесоватое, не утомлявшее глазъ небо,—все было хорошо, все ласкало взоръ, успокоивало душу. Ѳомичъ, любившій природу, съ глубокимъ удовольствіемъ оглядывалъ широкій горизонтъ, но думалъ про себя: „А вотъ лежитъ человѣкъ, внутри котораго рыдаетъ“...

Ѳомичъ это видѣлъ, хотя и не понималъ. Ему сдѣлалось какъ-то даже досадно на человѣка, который способенъ своимъ видомъ все отравить. Онъ не допрашивалъ Мишу, зная, что послѣдній ничего не скажетъ, и оба молчали. Ѳомичъ благодарнымъ взглядомъ обводилъ широкое пространство подъ нимъ, а Миша лежалъ внизъ лицомъ.

Но вдругъ онъ приподнялъ голову.

— А вѣдь они, Ѳомичъ, тамъ на днѣ, — проговорилъ онъ мрачно.

— Кто они?—Ѳомичъ удивился, не подозрѣвая, о комъ говоритъ его товарищъ.

— Всѣ. Я вотъ здѣсь на свободѣ лежу, а они тамъ на днѣ, гдѣ темно и холодно. Боже мой, какая скука! Тамъ темно и холодно, но и мнѣ, хотя и свѣтло, но также холодно. И вдобавокъ скучно до смерти! Неужели всѣ образованные люди чувствуютъ себя такъ, какъ я? Вѣдь это адъ,

Ѳомичъ!... А я чувствую вотъ что: стою я, будто, на высокой скалѣ, залитой солнечными лучами, а рядомъ со мной зіяетъ глубокая, бездонная пропасть... И со дна этой пропасти я слышу гулъ голосовъ. Я не могу разобрать, что̀ голоса говорятъ, и самихъ людей не вижу, потому что эти люди на самомъ днѣ пропасти, а пропасть бездонная, и надъ ней носится мгла, сквозь которую мой взглядъ не можетъ пробиться. Но я слышу ясно голоса, иногда стоны, иногда грубый хохотъ и вѣчный, невнятный гулъ... И я думаю: неужели тамъ, на днѣ пропасти, закрытой мглой, можно жить и какъ я самъ могъ оттуда попасть на вершину? Сначала, впрочемъ, я чувствую въ себѣ полное удовлетвореніе; я радуюсь и горжусь, что я стою на скалѣ, а не тамъ, на днѣ пропасти, закрытой мглой. Но вслѣдъ затѣмъ я чувствую не то стыдъ, не то досаду... почему же я одинъ стою на этой скалѣ, и за мной не идутъ изъ черной пропасти другіе люди? Неужели я, взобравшись на скалу, добился только отчаянной скуки? Неужели изъ-за этого стоило карабкаться вверхъ? Пусть меня обливаетъ солнце, а глаза мои могутъ видѣть безконечную даль, пусть чистый воздухъ врывается въ мою грудь, но зачѣмъ мнѣ все это, когда я не могу всѣмъ этимъ подѣлиться съ тѣми, которые тамъ, въ пропасти?... А вѣдь только то намъ дорого, чѣмъ мы можемъ по своему произволу подѣлиться. Если намъ не съ кѣмъ раздѣлить хлѣбъ, который мы ѣдимъ, онъ опротивѣетъ намъ и встанетъ поперекъ горла; если намъ некому высказать нашу мысль, она отравитъ насъ, убьетъ самозараженіемъ. И я перестанъ цѣнить то, чего добился: солнце, сначала такое лучезарное, теперь только непріятно рѣжетъ мнѣ глаза, а безконечную даль я совсѣмъ перестаю видѣть. Напротивъ, мои глаза обращены внизъ, въ темную пропасть, откуда слышатся родные голоса. Я протягиваю туда руки, я зову оттуда людей, но они меня не слышатъ... И я остался одинъ, вѣчно одинъ!... Зачѣмъ мнѣ стоять на этой скалѣ, зачѣмъ мнѣ свѣтъ, теплота, чистый воздухъ, далекій видъ, если я одинъ? Люди всѣ тамъ, въ пропасти, и мнѣ некому сказать слова, не съ кѣмъ подѣлиться мыслью, некому чего-нибудь дать... Я одинъ, безъ людей, на пустой вершинѣ, и никто моихъ протянутыхъ рукъ не увидитъ, и мой голосъ никто не услышитъ. Я навсегда одинъ. Такъ вотъ зачѣмъ я лѣзъ на

гору, вотъ чего я добился—одиночества, пустыни и скуки? Боже, какая страшная скука! Я теперь понимаю, почему господа съ такимъ бѣшенствомъ отыскиваютъ наслажденій... Надо же въ чемъ-нибудь утопить скуку!

Ѳомичъ не зналъ, что на это сказать, а Миша совсѣмъ приподнялся, сѣлъ и пристально глядѣлъ на товарища. Потомъ вдругъ сказалъ:

— Послушай, Ѳомичъ... вѣдь у меня въ деревнѣ и теперь живутъ отецъ, мать, сестры... А я вотъ здѣсь и совсѣмъ забылъ ихъ!—Михайло говорилъ тихо, какъ бы боялся, что извнутри его вырвется крикъ.

— Посылай имъ побольше, — возразилъ Ѳомичъ нерѣшительно.

— Да что деньги!—крикнулъ Михайло,—развѣ деньгами поможешь? У нихъ темно, а деньги не дадутъ свѣта!

Ѳомичъ чувствовалъ, что надо что-нибудь сказать, но не могъ. Оба нѣкоторое время молчали, но Миша вдругъ опять сказалъ:

— Знаешь, Ѳомичъ... ихъ вѣдь и теперь сѣкутъ!

— Что же подѣлаешь, Миша?—возразилъ Ѳомичъ, вполнѣ понимая, какъ глупо говоритъ. Онъ замолчалъ. Потомъ, видя, что Михайло не намѣренъ больше говорить, ибо опять легъ на траву внизъ лицомъ, онъ ласково дотронулся до его головы, лежавшей возлѣ него.

— Пойдемъ, Миша, домой,—проговорилъ онъ.

Михайло безъ возраженія поднялся съ земли. Къ удивленію Ѳомича, лицо его было совершенно спокойно, только апатично.

Тою же дорогой они пошли обратно. На этотъ разъ спѣшилъ Ѳомичъ, сильно проголодавшійся, а Михайло отставалъ, еле двигаясь, какъ раненый. Но когда они дошли, наконецъ, до первыхъ городскихъ строеній, Михайло поднялъ голову и смотрѣлъ по сторонамъ, что-то отыскивая глазами. Поравнявшись съ кабакомъ, двери котораго были открыты, онъ вдругъ остановился.

— Войдемъ!—сказалъ онъ, страшно блѣдный.

Ѳомичъ не понялъ.

— Куда?—спросилъ онъ.

— Въ кабакъ!—рѣзко выговорилъ Михайло.

— Зачѣмъ?

— Пить...

Ѳомичъ счелъ это за шутку.

— Что еще придумаешь!

— Не слушаешь? Ну, такъ я пойду одинъ. Я хочу пить.

Сказавъ это, Михайло Григорьичъ ступилъ на первую ступеньку грязнаго крыльца.

Ѳомичъ стоялъ, какъ пораженный громомъ.

— Чего ты, Миша? Богъ съ тобой! Стыдись!—тихо прошепталъ онъ.

Миша вздрогнулъ, посмотрѣлъ на дверь кабака, посмотрѣлъ на Ѳомича, и вдругъ лицо его облилось кровью. Онъ медленно спустилъ ногу со ступеньки, потомъ рванулся впередъ къ Ѳомичу и пошелъ рядомъ съ нимъ. Ѳомичъ былъ взволнованъ до глубины души.

А Михайло Григорьичъ, немного погодя, громко и во всю улицу расхохотался, но слишкомъ принужденно.

— А ты подумалъ, что и вправду я?...

Но Ѳомичъ пытливо оглядѣлъ его.

Домой Михайло Григорьичъ пришелъ нездоровый. Паша весь день ухаживала за нимъ, пока онъ не уснулъ нездоровымъ, безпокойнымъ сномъ.

Съ этого дня Михайло Григорьичъ сталъ испытывать хроническій недугъ, борьба съ которымъ иногда уже не по силамъ была ему. Обыкновенно, онъ былъ здоровъ, работалъ на заводѣ, гдѣ скоро для него очистилось мѣсто механика. Но вдругъ на него находило что-то непонятное,—онъ испытывалъ безпокойство, терялъ аппетитъ, волю, самообладаніе. Тогда, въ чемъ есть, въ рабочей блузѣ, въ выпачканной машинами фуражкѣ, неумытый, онъ уходилъ на окраины города и направлялся въ первый кабакъ. Его влекло напиться. Но, подходя къ кабаку, онъ колебался, медлилъ, боролся, пока страшнымъ усиліемъ воли не одолѣвалъ рокового желанія. Иногда случалось, онъ совсѣмъ войдетъ уже въ кабакъ, велитъ уже подать себѣ стаканъ водки, но вдругъ скажетъ первому попавшемуся кабацкому завсегдатаю: пей!—а самъ быстро выбѣжитъ за дверь. Иногда эта непосильная борьба повторялась нѣсколько разъ въ роковой день, и домой онъ приходилъ измученный, еле живой. Паша узнала все и нѣжно ухаживала за нимъ. Черезъ нѣсколько дней онъ поправлялся, работалъ и, попрежнему, гордо смотрѣлъ. Недугъ возобновлялся черезъ мѣсяцъ, черезъ два.

Счастливое открытіе.

(Разсказъ).

На востокѣ еще не показалось и бѣлой полоски свѣта, какъ уже Никита всталъ, чтобы привести въ исполненіе свое страшное рѣшеніе.

Тихо надѣлъ онъ на плечи кафтанъ, отыскалъ шапку и взялъ припасенную за ночь котомку для дальней дороги. Чтобы не разбудить дѣтей и не возбудить подозрѣнія въ Варварѣ, онъ не зашелъ въ сѣни, гдѣ они спали, а прямо прошелъ мимо.

Совсѣмъ темно еще было на дворѣ; только одна безпокойная курица упала съ насѣсти и слѣпо бродила по двору. Посреди двора спали двое телятъ; неподалеку отъ нихъ лежала корова и тяжело вздыхала. Изъ конюшни слышалось хрустѣнье сѣна на зубахъ лошадей. Въ воздухѣ послышался вдругъ торопливый свистъ крыльевъ дикихъ утокъ, улетавшихъ съ хлѣбовъ.

Грустнымъ, послѣднимъ взглядомъ оглядѣлъ Никита весь свой дворъ, когда проходилъ черезъ него, и дрожащею рукой отворилъ калитку. Калитка запищала, и этотъ пискъ отозвался въ его измученномъ сердцѣ рѣзкою болью; онъ же ему напомнилъ, что надо торопиться, иначе проснется Варвара. И, перекрестившись, онъ вышелъ на улицу.

Нельзя ему больше оставаться въ своемъ домѣ и жить съ Варварой, а черезъ нее и дѣтей приходится бросать. И прежде они дрались, каждую недѣлю изъ-за всего дрались. Но хуже вчерашняго дня еще не бывало. Она ему покаря-

бала руки и правую щеку, когда онъ хотѣлъ связать ее. Оба послѣ того выбѣжали на дворъ, а тамъ ужь со всей улицы сосѣди сбѣжались и облѣпили заплоты; мужики и бабы черезъ заплотъ глядятъ, мальчишки же сидятъ между кольями, какъ воробьи. Что такое? Обыкновенно что,—Никита съ Варварой дерутся.

Утренній холодъ пронизывалъ насквозь Никиту; онъ вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, но продолжалъ идти по темной улицѣ вонъ изъ деревни. И припоминалъ весь срамъ своей домашней жизни, припоминалъ, быть можетъ, больше затѣмъ, чтобы его намѣреніе—совсѣмъ уйти изъ дому—не ослабло.

Обыкновенно они дрались по праздникамъ, въ будни же невзначай, чѣмъ попало. Вчерась она объ его високъ расколотила обливную латку въ пятнадцать копѣекъ, а въ прошлый праздникъ угодила ему въ самое темя ушкомъ отъ подойника. Сосѣдямъ забавно смотрѣть на такую подлость. Вчерась даже старыя бабы, которыя ужь скрючившись, и тѣ полѣзли на плетень смотрѣть. Даже изъ дальняго конца прибѣжали мужики.

При этомъ воспоминаніи гнѣвъ закипѣлъ въ сердцѣ Никиты. Поправивъ на плечѣ котомку, онъ быстрѣе зашагалъ по темной улицѣ. Вдругъ взглядъ его упалъ на дворъ, мимо котораго онъ проходилъ; дворъ тотъ былъ загороженъ прясломъ изъ жердей и принадлежалъ старому тестю Никиты. Здѣсь, бывало, Никита въ поздній вечеръ подлѣзалъ тихонько подъ прясло и около колодца цѣловался съ Варварой, а когда, бывало, старикъ взойдетъ на крыльцо и скажетъ: „Ты что тамъ, Варюшка, дѣлаешь?“—она отвѣчала: „Я воду пью, тятька“. Слѣпой старикъ безпрестанно удивлялся, какъ много воды пьетъ Варюшка по вечерамъ... Эти нѣжныя воспоминанія вызвали теперь горечь и тоску.

— И что же вышло опосля!—сказалъ онъ вслухъ. Голосъ его громко раздался въ спящей улицѣ и заставилъ его опомниться.

Онъ зашагалъ дальше, не останавливаясь около избы тестя. Нѣжныя воспоминанія только разбередили его рану, но не поколебали рѣшенія. А гнѣвъ овладѣлъ имъ, когда онъ припомнилъ, что было вслѣдъ за тѣмъ, какъ черезъ прясло и въ подворотню не нужно ужь было лазить.

Она непокорная и гордая. Черезъ два мѣсяца послѣ вѣнца

она ужъ разсѣкла ему бровь косаремъ около питейнаго заведенія. А что дальше пошло—не приведи Богъ никому. Черезъ полгода сосѣди ужь облѣпляли заборы, ребята садились между кольями у плетней и даже вся улица сбѣгалась смотрѣть, какъ они цапаются. Обыкновенно Варвара не разбирала, какая домашность ей попадетъ въ руки, и отбивалась чѣмъ попало. Озлится, какъ вѣдьма, и воетъ на всю деревню. Никогда она не желала покориться. Въ полѣ разъ начали они цапаться, а она схватила съ огня котелъ, гдѣ варилась каша со свинымъ саломъ, и обварила ему всю шею, плечи и даже по спинѣ за рубаху каша потекла. Чуть-было въ ту пору онъ не убилъ ее.

При этомъ воспоминаніи Никита замеръ отъ ужаса.

На востокѣ показалась слабая полоска свѣта; середина ея окрасилась розовымъ оттѣнкомъ. Кое-гдѣ пѣли уже пѣтухи. Никита быстрѣе зашагалъ и вышелъ за деревню.

Только на мгновеніе гнѣвъ его уступилъ мѣсто нѣжной мысли о двухъ ребятишкахъ, которыхъ онъ навсегда покинулъ, но когда ему припомнилось, какъ эти ребятишки дрожали при дракахъ отца съ матерью, гнѣвъ снова вернулся въ измученное сердце его.

Ребята вчерась попрятались въ курятникъ, когда онъ съ Варварой полосовался на дворѣ при многолюдномъ стеченіи. А то бывало и хуже. Однажды Варвара держала Митьку за руки, а онъ ухватилъ его за ноги и тащили каждый къ себѣ. Только ужь сосѣди розняли. А Сеньку Варвара то и дѣло хлопала по головешкѣ изъ-за того, что отецъ любитъ крошку. Просто звѣри.

Утреннія сумерки закрывали поля; дальній лѣсъ виднѣлся только какъ темная стѣна, загородившая свѣтъ. Вокругъ стояла мертвая тишина. Все живое еще непробудно спало. Одинъ только Никита не зналъ покоя. Онъ шелъ по дорогѣ и мрачныя мысли изнуряли его. Когда гнѣвныя воспоминанія его утихли, на него напали слабость и отчаяніе. Добровольно покинувъ домъ, поля, дѣтей, жену, онъ теперь, среди сумерокъ, почувствовалъ себя пропадающимъ.

Быть можетъ, поэтому онъ очень обрадовался, когда за собой вдругъ услыхалъ стукъ телѣги. Сперва нельзя было разобрать, откуда раздается стукъ, но скоро позади Никиты показалась лошадь съ телѣгой; въ телѣгѣ виднѣлись вилы и

грабли, а на передкѣ сидѣлъ Иванъ Николаичъ, молоканинъ. При видѣ Ивана Николаича, Никита еще болѣе обрадовался: хотя они были разной вѣры, но уважали другъ друга и жили въ дружбѣ. Поздоровавшись, они отправились вмѣстѣ. Иванъ Николаичъ сидѣлъ на передкѣ; Никита шагалъ подлѣ него.

— Далеко-ли идешь, Никита?—спросилъ Иванъ Николаичъ.

— За тыщи верстъ, Иванъ Николаичъ,—сказалъ Никита слабымъ голосомъ.

— Надолго-ли?

— Навсегда, Иванъ Николаичъ.

И, не дожидаясь разспросовъ друга, Никита во всемъ открылся ему. Онъ навсегда покидаетъ деревню и бѣжитъ за тысячи верстъ, чтобы ужь никогда не вернуться. Больше силъ его нѣтъ терпѣть домашній срамъ.

— Отъ страму и ухожу, Иванъ Николаичъ. Знаешь самъ мое житье, срамитъ она меня и въ будни, и въ праздникъ, изъ дальняго конца даже прибѣгаютъ смотрѣть наши драки. Все я перепробовалъ,—уговаривалъ и честью, и сурьезно училъ,—нѣтъ, не покоряется... Да что разсказывать, самъ знаешь житье мое.

Слушая Никиту, Иванъ Николаичъ задумался.

Долго они молчали; Иванъ Николаичъ сидѣлъ на облучкѣ; Никита понуро шагалъ возлѣ него.

— Все ты перепробовалъ, говоришь?—наконецъ, спросилъ Иванъ Николаичъ.

— Какъ есть все! И честью, и сурьезно—ничто не беретъ.

Иванъ Николаичъ покачалъ головой задумчиво.

— Да, Никита, знаю я твое житье. На деревнѣ всѣ съ уваженіемъ къ тебѣ, а вотъ дома порядку у тебя нѣтъ... Такъ все перепробовалъ, говоришь?

— То-есть какъ есть всѣ способы!—съ отчаяніемъ возразилъ Никита.

Но Иванъ Николаичъ опять покачалъ головой.

— А не пробовалъ ты уваженія? Очень тоже хорошее средство,—задумчиво возразилъ Иванъ Николаичъ.

— Это въ какомъ же родѣ?—спросилъ Никита съ изумленіемъ, и лучъ надежды освѣтилъ его темную душу.

— А это вотъ въ какомъ родѣ. Варвара твоя умная и по-

тому ты попробуй съ ней поумнѣе... По-нашему, по-деревенски, мужъ завсегда желаетъ лупить жену свою, и которая баба силы не имѣетъ, та покоряется. Варвара твоя умная, съ ней нельзя сурьезно.

— А какъ же?

— Съ ней надо съ уваженіемъ,—твердо проговорилъ Иванъ Николаичъ.

— Это, стало быть, мнѣ покориться?—спросилъ съ недоумѣніемъ Никита.

— Совсѣмъ даже не туда ты... Не покоряйся, а только отдай ей все, чего самъ отъ нея желаешь. Тебѣ хочется, чтобы она не бранилась? А ты возьми, да самъ первый не бранись. Тебѣ желательно, чтобы она чугуномъ не дралась? Не дерись и ты первый кнутовищемъ. А напротивъ, уважь и полюби, яко Христосъ возлюби церковь свою.

Никита недовѣрчиво слушалъ этотъ монотонный голосъ друга.

— А ежели она сама зачнетъ брехать, либо карябать?

— Не зачнетъ, ежели ты не пожелаешь. Истинно тебѣ говорю, не зачнетъ въ морду тебѣ заѣзжать, ежели ты первый не зачнешь. Ну, только прямо тебѣ скажу, кнутовища и прочіе сурьезные предметы надо ужь совсѣмъ бросить, не годятся они въ этомъ случаѣ.

— Бросить?—недовѣрчиво, но уже съ признакомъ радости спросилъ Никита.

— Навсегда, чистосердечно оставь. Не зачинай первый страмиться и страмъ уйдетъ изъ твоего дому, и миръ посѣтитъ тебя,—говорилъ монотоннымъ голосомъ Иванъ Николаичъ.

Здѣсь дорога раздваивалась; Иванъ Николаичъ долженъ былъ свернуть налѣво, Никитѣ же слѣдовало идти направо. Но онъ въ нерѣшимости остановился. Въ свою очередь, Иванъ Николаичъ, прежде чѣмъ совсѣмъ свернуть за уголъ перелѣска, еще разъ обратился къ пораженному Никитѣ:

— Послушайся меня, Никита, ступай домой и будешь благодарить меня съ теченіемъ времени.

На этомъ они разстались.

Никита проводилъ его взглядомъ и не трогался съ мѣста. Твердое рѣшеніе его уйти изъ дома навсегда разбилось теперь объ удивительныя, таинственныя слова друга. Но онъ

не смѣлъ вѣрить въ счастье, которое тотъ предсказывалъ ему, потому что совѣтъ былъ чудной, небывалый. Семейная каторга была такимъ общимъ въ деревнѣ порядкомъ, что никто не зналъ ничего иначе. Не зналъ и Никита. До этой минуты онъ наивно вѣрилъ въ свое полное право учить жену кнутовищемъ и другими хозяйственными предметами; когда же Варвара воспротивилась такому воспитанію, то онъ счелъ себя несчастнымъ человѣкомъ, а когда Варвара въ ихъ борьбѣ завоевала себѣ право воюющей стороны и на кнутовище отвѣчала „нечѣмъ попало", то Никита увидѣлъ себя окончательно посрамленнымъ.

Прошло много времени съ той минуты, какъ Иванъ Николаичъ скрылся за лѣсомъ, а Никита все стоялъ на одномъ мѣстѣ, терзаемый сомнѣніями, мыслями, нерѣшительностью.

Между тѣмъ, востокъ вспыхнулъ пожаромъ восходящаго солнца; брызги свѣта окропили поля и лѣса, проникли въ темные овраги и засверкали на соломенныхъ крышахъ покинутой деревни, играя въ дымовыхъ столбахъ, поднявшихся надъ сотней домовъ. Слышался скрипъ колодезныхъ журавлей, лай собакъ и пѣніе пѣтуховъ, переливавшееся изъ конца въ конецъ.

Никита посмотрѣлъ на всю эту знакомую картину и почувствовалъ, что убѣжать отсюда онъ не можетъ. Силъ его на это не хватитъ, убѣжать-то.

Онъ тихо направился обратно къ деревнѣ, такъ тихо, какъ будто кто тянулъ его на веревкѣ. Лучъ надежды проникъ въ его сердце, но онъ не смѣлъ вѣрить, чтобы съ Варварой можно было сладить.

Больно ужь они разозлившись другъ на друга. Еще не прошло двухъ мѣсяцевъ со свадьбы, а ужь они поцапались., Это произошло около питейнаго заведенія. Никита былъ навеселѣ, а тутъ она подвернулась и давай его срамить. Ну онъ разгнѣвался, схватилъ изъ плетня пучекъ хвороста и давай ее лупить, а она его косаремъ. Злющая она.

Никита продолжалъ слабо подвигаться по дорогѣ въ деревню и со стыдомъ опять припоминалъ.

Нынче на Святой онъ также попилъ съ пріятелями въ кабакѣ, а Варварѣ это не понравилось. Когда онъ пришелъ домой, то она начала ему говорить все поперекъ и такъ его разгнѣвала, что онъ ухватилъ ее за сарафанъ и разо-

— Варвара, ты чего боишься меня?—сказалъ онъ разъ въ сумерки.

Когда Варвара на это промолчала, выразивъ на лицѣ только ужасъ, онъ еще разъ повторилъ свои слова. Она опять промолчала, только задрожала.

— Не бойся меня, Христа ради!... Вѣдь это ужь вѣрно, что больше пальцемъ я тебя не трону. И ты худого мнѣ не дѣлай. Бросимъ давай старое-то...

Онъ еще хотѣлъ многое сказать, но отъ тоски не могъ. Варвара съ страшнымъ испугомъ повернула лицо въ его сторону и хотѣла сказать что-нибудь поперекъ, но силъ на это у ней больше не было. Она молча вышла на крыльцо и заплакала.

Но зато въ эту ночь они проговорили до самаго разсвѣта, какъ будто послѣ долгой разлуки.

Съ той поры сосѣди и мужики изъ дальняго конца перестали облѣплять заплоты у двора Никиты; они долго ждали, когда будетъ драка, и сначала удивлялись, не видя ее, но мало-по-малу привыкли къ такому необычайному обстоятельству. Не удивлялся только одинъ Иванъ Николаичъ.

Свѣтлый праздникъ.

(Изъ дѣтскихъ воспоминаній).

Въ одномъ изъ темныхъ угловъ Россіи, вѣроятно, въ скоромъ времени выплыветъ „дѣло о сопротивленіи законнымъ распоряженіямъ властей“. Какъ и всегда въ такихъ случаяхъ, все дѣло съ начала до конца основано на недомысліи, на недомолвкахъ и полнѣйшей темнотѣ лицъ, запутавшихся въ процессъ. Дѣло вышло, конечно, изъ-за земли... Странно, что у насъ безпрерывно, въ продолженіе сотенъ лѣтъ, идетъ страдальческая борьба изъ-за земли, т.-е. изъ-за такой вещи, которой во многихъ мѣстахъ дѣвать некуда и которая такъ валяется никѣмъ незанятая и пустая на сотни верстъ... Какъ бы то ни было, но въ названномъ темномъ углу дѣло произошло изъ-за нѣсколькихъ ничтожныхъ клочковъ сѣнокоса. Во время раздѣла клочки эти помѣщены были въ планъ владѣльца, но владѣлецъ *забылъ о нихъ*; крестьяне двадцать лѣтъ пользовались ими, но не знали, что „по планту“ они не принадлежатъ имъ. Такова завязка. Никакихъ недоразумѣній между владѣльцемъ и крестьянами не происходило. Но вотъ старый владѣлецъ продаетъ свое имѣніе въ руки живоглота; живоглотъ беретъ „плантъ“ и въ одно мгновеніе соображаетъ, что „энти клинья“ мужикамъ не принадлежатъ. И съ этой поры начинается дѣло. Новый владѣлецъ допекаетъ крестьянъ постановленіями мирового судьи, мирового съѣзда и т. д., а крестьяне обороняются вилами, косами и другими земледѣльческими орудіями, въ полной увѣренности, что стоятъ на почвѣ закона. Оканчивается нелѣпая возня

тѣмъ, что обороняющихся предаютъ суду. Трудно здѣсь даже и винить кого-нибудь. Виновато больше невѣжество, разлитое грязнымъ моремъ по лицу русской земли и отравляющее самыя свѣтлыя минуты нашей жизни. Предлагаемый разсказъ изъ дѣтскихъ воспоминаній относится къ давно минувшему, но тогдашнія событія и теперь воскресаютъ ежегодно передъ нашими глазами, воскресаютъ въ тѣхъ же самыхъ формахъ, при той же самой обстановкѣ, на той же почвѣ темноты и невѣжества... и, быть можетъ, нашъ разсказъ многое напомнитъ тѣмъ судьямъ, которые въ скоромъ времени будутъ разбирать дѣло вышеупомянутаго глухого угла.

Началась весна 61-го года. Нагрѣваемый нѣжными лучами мартовскаго солнца, воздухъ былъ теплый. Снѣга таяли. Поля обнажились. Небольшая рѣчка, пересыхавшая лѣтомъ, теперь вздулась, готовая разломать сковавшій ее ледъ. По улицамъ деревни стояла уже грязь.

До глухой деревни „воля“ дошла только въ концѣ марта. Ее привезъ исправникъ изъ города и мѣстный благочинный. Когда разнеслась вѣсть объ ихъ пріѣздѣ, мужики моментально собрались около церкви, собрались всѣ поголовно, до малыхъ ребятъ включительно. Церковныя двери отворили, и толпа сейчасъ же заняла весь храмъ. Взрослые помѣстились во внутренности его; бабы съ ребятами стояли на паперти, а всѣ подростки заняли ограду и цѣплялись за оконныя рѣшотки и подоконники, чтобы наблюдать за происходящимъ въ церкви.

Во время чтенія манифеста стояла мертвая тишина: старики удерживали душившій ихъ кашель; матери успокоивали грудныхъ ребятъ.

Послѣ того мужики двинулись къ барской усадьбѣ, гдѣ ихъ ожидалъ исправникъ. Впереди бѣжали сплошною массой взрослые мужики, за ними спѣшили бабы съ грудными ребятами, а по бокамъ подростки. Никто не обращалъ вниманія на лужи и зажоры. Толпа бѣжала прямою дорогой, и, начиная отъ самой церкви вплоть до барскаго крыльца, прошла широкая полоса сплошной и превращенной въ кашу грязи; на поверхности же вспѣненныхъ лужъ долго еще стояли пузыри,—это мужики шли.

И когда они пришли къ усадьбѣ, то были вымазаны съ ногъ до головы брызгами грязи, такъ что сѣдой исправникъ былъ сначала смущенъ при видѣ этой толпы, всклокоченной и устремившей на него сотни глазъ. Однако, оправившись отъ смущенія, онъ принялся объяснять смыслъ воли. Но бѣдный старикъ только путался въ словахъ. Онъ умѣлъ только браниться при объясненіяхъ „съ этимъ народомъ". Бывало, собравъ мужиковъ, скажетъ: „эй, вы, канальи! такъ и такъ васъ!"—и знаетъ, что его поняли. А тутъ пришлось объясняться длинными словами и разговаривать безъ всякихъ вспомогательныхъ восклицаній. Мучилъ, мучилъ онъ себя и круто кончилъ, спросивъ, поняли-ли его.

Мужики молчали. Они какъ будто оцѣпенѣли. Превратившись въ слухъ, они неподвижно стояли на мѣстѣ. Взрослые не обмолвились между собой ни однимъ словомъ; старики кашляли; старухи вздыхали, а грудные ребята плакали,—вотъ всѣ звуки, какіе услышалъ старый исправникъ. Укоривъ ихъ въ безчувствіи, онъ обратился къ нимъ съ послѣдними словами:

— Теперь вотъ у васъ воля, ну, и благодарите Бога. Молитесь, радуйтесь, н-но чтобы у меня чинно! Боже упаси васъ, если вы разведете тамъ какіе бунты! Если же съ бариномъ затѣете смуту, такъ вамъ такихъ... Однимъ словомъ, ведите себя смирно, а не то...

Старикъ хотѣлъ прибавить еще кое-что, но удержался, положительно не зная, какъ *теперь* говорить „съ этимъ народомъ". Скоро онъ отпустилъ всѣхъ по домамъ. Мужики послушно разошлись, такъ же молчаливо, въ такомъ же оцѣпенѣніи, какъ они слушали объясненія исправника.

Вѣсть была настолько неожиданна и велика, что обыкновенное, пошлое слово никто не хотѣлъ произнести, а подходящихъ къ великой минутѣ словъ еще ни у кого не находилось. Требовалось нѣкоторое время, чтобы мужики что-нибудь поняли и заговорили.

Но уже на другой день на разсвѣтѣ многіе очувствовались.

Въ сердцѣ проникла великая радость, какъ будто солнце заглянуло въ мрачный погребъ, куда до сегодня ни одинъ лучъ не заглядывалъ. Еще хорошенько не разсвѣло, какъ уже вся деревня поднялась на ноги. Трубы задымили, ворота

раскрылись и люди высыпали на улицу; но нигдѣ не слышно было шумныхъ голосовъ. Встрѣчаясь, мужики смотрѣли другъ другу въ глаза, улыбались и разговаривали о погодѣ.

— Вотъ какое Богъ послалъ тепло!...

— Тепло!

— Должно, на Святую вёдро будетъ...

— Да, конешно, ежели вёдро, то ужъ холодовъ не будетъ...

Говорили это, а сами чувствовали совсѣмъ другое, что-то необыкновенно радостное.

Только мало-по-малу стали на деревнѣ заговаривать о будущемъ. Но при этомъ никто не зналъ, что такое воля, какія есть у человѣка права, чтò ему нужно и чтò дано волей. Прошедшая крѣпостная жизнь не могла научить ихъ свободѣ, а времени для раздумыванія мужикамъ не было дано. Ходили между ними разные слухи раньше, но они плохо имъ вѣрили. Господъ призывали обдумывать волю, а мужиковъ—нѣтъ. Господа заранѣе знали, чтò требовать, а мужики не знали. Господа напередъ рѣшили, какъ воспользоваться волей, а мужики не рѣшили. Для нихъ воля явилась нежданно, безъ ихъ участія, помимо ихъ мысли, и съ ней у нихъ не соединялось никакого смысла, кромѣ какого-то смутнаго счастія.

Наконецъ, они стали разговаривать, причемъ оказалось, что, во-первыхъ, у нихъ не было никакого представленія о новой жизни, а, во-вторыхъ, разговоры ихъ вышли такими, что лучше бы ужъ молчали они. Это было въ концѣ Святой. Возлѣ одного дома случайно сошлось много народу; незамѣтно возникъ вопросъ, какая теперь будетъ жизнь. Никто ничего не зналъ и не понималъ. Позвали солдата Ершова, который раньше пускалъ слухи о волѣ, когда о ней еще никто не думалъ, и который считался человѣкомъ „съ башкой", тѣмъ болѣе, что онъ былъ подъ Севастополемъ. Призвали его и стали разспрашивать.

— Ну, какъ?... въ какомъ родѣ?—спрашивали его.

— Да какъ вамъ сказать, братцы?... Одно слово—воля!—отвѣчалъ онъ.

— Воля-то воля, да въ какомъ она смыслѣ?

— Въ смыслѣ-то какомъ? Конешно, въ вольномъ. Напримѣръ, что хочешь, то и дѣлай. Ежели захочешь ѣхать куда—

ступай, а не захочешь — сиди... Дѣвку замужъ вздумаешь выдать—выдавай. Одно слово—все.

— Дѣвку-то можно же выдать?

— Да какъ же! Чудаки вы, право! Конешно, все можно, ни къ кому ты не касаешься больше.

— Ну, а баринъ куда же?

— Этого я сказать не могу—куда, но, должно быть, жалованье ему будутъ выдавать.

— А мы теперь куда же отойдемъ?

— Къ себѣ. Чудаки, право!...

Отъ этого отвѣта всѣ засмѣялись.

— Кто же насъ будетъ наблюдать? Какое начальство теперь будетъ надъ нами?—продолжали спрашивать мужики.

— Да мало ли какое! Всякое. Безъ начальства не останемся.

Всѣ опять засмѣялись. Но Ершовъ былъ смущенъ, потому что относительно этого предмета онъ и самъ ничего не понималъ. Его отвѣтами, впрочемъ, мужики вполнѣ удовлетворились.

— Теперь скажи намъ, какъ насчетъ того, чтобы пороть? Будутъ?

— Пороть — я не знаю. А такъ, ежели подумать хорошенько, то безъ этого дѣло не обойдется, потому что никакъ нельзя.

— Безъ порки-то?

— Видите-ли, оно какъ надо понимать: ежели который, скажемъ, мужикъ забалуется, такъ что же съ нимъ дѣлать? Вѣдь поучить безпремѣнно слѣдуетъ?

— Извѣстно, слѣдуетъ, ежели который... ну, а всѣхъ прочихъ-то?

— Тѣхъ драть не станутъ. Для этого и будетъ начальство приставлено, которое и станетъ разсуждать, кому сколько. Вотъ въ чемъ штука-то вся!

Мужики остались довольны словами Ершова.

— Еще скажи ты намъ, служба, вотъ объ какомъ дѣлѣ. Ежели я, примѣрно сказать, что заработаю, такъ вѣдь это ужь мое кровное?

— Конешно, твое! Чудаки вы, право!...

Какъ ни были смутны понятія мужиковъ о совершившемся въ ихъ жизни переворотѣ, но самое это слово „воля“ дѣй-

ствовало одухотворяющимъ образомъ на ихъ темную мысль, спавшую въ продолженіе сотенъ лѣтъ. Мало-по-малу они стали оживать и вести веселые, хотя и неумные разговоры. Началась весна; деревья расцвѣли, поля зазеленѣли; природа воскресла.

Первыя весеннія работы исполнены были въ деревнѣ быстро и весело; люди какъ будто играли во время работы. Случилось такъ, что съ барской усадьбы не могло придти никакой непріятности. Стараго барина не было вовсе въ это время въ Россіи,—онъ гдѣ-то за-границей жилъ; молодой баринъ былъ въ Питерѣ, да онъ и не вмѣшивался еще въ отцовскія дѣла. Въ усадьбѣ жилъ одинъ управляющій изъ вольно-отпущенныхъ; его мужики ненавидѣли, но и онъ скоро уѣхалъ, вѣрнѣе, бѣжалъ. Нѣсколько мужиковъ, подъ веселую руку, предупредили его, чтобы онъ лучше уходилъ по добру, по здорову, ежели не хочетъ получить какой-нибудь непріятности, и управитель не заставилъ себя долго ждать. Начальство также въ это время почему-то не показывалось.

Оставшись одни хозяевами, мужики принялись распоряжаться въ имѣніи. Прежде всего, они постановили осмотрѣть свои обширныя владѣнія и освятить ихъ. Они пригласили церковный причтъ и пошли по полямъ съ иконами, служа во многихъ мѣстахъ молебны. Они каждый кустикъ въ имѣніи знали, но надо же было вступить во владѣніе. Теперь они разсматривали свою землю глазами хозяевъ, напередъ распредѣляя полосы пашенъ, луговъ, лѣсовъ, гдѣ какія работы должны быть.

День стоялъ жаркій, безоблачный. Солнце ярко горѣло; поля уже сплошь покрылись растительностью. Восторженные мужики шли безостановочно по полямъ, по долинамъ, возлѣ лѣсовъ, по лугамъ, между болотъ и зарослей, и все осматривали съ восхищеніемъ, какъ будто пришли на новую, невѣдомую землю. А останавливаясь, они окружали аналой, гдѣ читалъ и пѣлъ причтъ, и жарко молились, прося у Бога урожая для ихъ обширныхъ полей, благословенія на всю землю, наконецъ, отданную имъ, и счастія для нихъ самихъ. Избороздивъ все имѣніе, вездѣ помолившись, мужики только поздно вечеромъ возвратились въ деревню, утомленные, съ лицами, покрытыми пылью, съ запекшимися губами, но въ радостномъ настроеніи.

Другихъ распоряженій, задуманныхъ уже, чудаки не успѣли сдѣлать, потому что стали между ними ходить въ это время темные слухи насчетъ земли, будто она еще нисколько не принадлежитъ имъ, да и принадлежать не будетъ, такъ что напрасно они шлялись по чужимъ полямъ... Это сначала всѣхъ разсердило. Но когда слухи снова возникли, мужики не на шутку встревожились. Земля—это все, что для нихъ было яснаго въ объявленной имъ волѣ. Смутно сознавая свои человѣческія права, они взамѣнъ того хорошо чувствовали то, что у нихъ было подъ ногами, что они орошали пóтомъ своимъ, чѣмъ жили, что любили,—словомъ, землю. До этой минуты никому изъ нихъ не приходило въ голову, что земля не принадлежитъ имъ: что другое, а ужь земля-то, думали они, вся цѣликомъ ихняя, кровная, съ испоконъ вѣку опредѣленная имъ. Безъ земли они и не мыслили о себѣ.

Однако, слухи продолжали ходить.

До крайности разсерженные и встревоженные, мужики собрали бурный сходъ, гдѣ порѣшили навести справки въ городѣ. Для этой цѣли они выбрали Тита, самаго древняго старика во всей деревнѣ, котораго въ теченіе его длиннаго вѣка сѣкли и лозьемъ, и плетями, слѣдовательно, въ высшей степени опытнаго; на подмогу же ему дали солдата Ершова, объ котораго также былъ обитъ, во время его службы, можетъ быть, не одинъ возъ палокъ,—однимъ словомъ, выбрали самыхъ мудрыхъ людей и послали ихъ въ ближайшій городъ.

Принесенныя ими вѣсти были хорошія.

— Ну, ребята, ничего, дѣло наше ладно. Точно, воля. А насчетъ земли спокойно. Говорятъ, приказано дать крестьянину óтдыхъ, чтобы онъ трудился, молился и благодарилъ.

Но едва прошло нѣсколько времени послѣ прихода ходоковъ, какъ появились опять дурные слухи. Изъ окрестныхъ помѣстій, въ особенности изъ Чекменя, дошли слухи о какой-то ссорѣ съ бариномъ. Всѣ снова встревожились и послали своихъ ходоковъ.

На этотъ разъ старикъ Титъ и солдатъ Ершовъ принесли злыя извѣстія. Сейчасъ же собрался сходъ. Ходоковъ окружили. Солдатъ Ершовъ сказалъ:

— Ну, ребята, дѣло, слышь, плохо. Земля-то, говорятъ, вѣдь барская, то-есть какое распоряженіе съ ней онъ сдѣлаетъ, баринъ-то, то и ладно. А намъ по положенію слѣ-

дуетъ малая толика... напримѣръ, вотъ какъ: курица ежели выйдетъ со двора, и то нечего ей будетъ клевать!

— Какъ курица? — закричали на сходѣ нѣкоторые, взбѣшенные на солдата.

Ходоки въ свою очередь также разозлились.

— Да вотъ также! Понимай, какъ знаешь!—отвѣчалъ Ершовъ.

— Да ты не путай, а разсказывай, что и какъ?

— Больше и разсказывать нечего! Имѣніе не вамъ принадлежитъ—вотъ больше и ничего!

— Куда же оно дѣнется?

— Ужь это не мое дѣло—куда!—угрюмо возражалъ Ершовъ.

— А куда же мы?

— Къ чорту лысому, должно думать! Говорятъ вамъ, дурачье, что земля не ваша!

Это второе извѣстіе потрясло мужиковъ. Глубокая тишина водворилась на томъ мѣстѣ, гдѣ они стояли. Сердце этой за минуту бурной толпы теперь какъ будто перестало биться.

И съ крѣпостнымъ правомъ-то они мирились потому только, что оно отдало въ ихъ руки всю землю, а тутъ „воля" вдругъ отнимаетъ у нихъ вѣковое наслѣдіе. Нѣтъ, это невозможно, тутъ фальшь есть!...

Придя въ себя, бывшіе на сходѣ сейчасъ же приняли свои мѣры. Ребятъ и бабъ они удалили со схода, чтобы осталось въ тайнѣ все, что они рѣшатъ. Когда болтливый элементъ былъ удаленъ, собравшіеся единогласно постановили: „который читали манифестъ, и тотъ считать фальшивымъ; землю не отдавать; начальство будетъ уговаривать—не поддаваться; ежели же землю сило̂мъ станутъ отбирать, то умирать. И стоять другъ за друга крѣпко". Наконецъ, еще рѣшили, что „ежели пріѣдетъ начальство, чтобы выспросить о намѣреніяхъ, то вполнѣ молчать".

Сдѣлавъ эти распоряженія, мужики снова повеселѣли. Мужество къ нимъ возвратилось. Ихъ духъ окрѣпъ. Созданная ими въ началѣ фантазія теперь поддерживала ихъ мужество. У нихъ была глубочайшая вѣра въ правду, пришедшую вмѣстѣ съ волей, и не ихъ вина, если имъ вначалѣ никто не растолковалъ дѣйствительнаго порядка вещей, созданнаго

волей, такъ что имъ пришлось довольствоваться собственными измышленіями.

Они рѣшили защищать свои сказочныя владѣнія.

Отъ времени до времени они верхами объѣзжали помѣстье. Кромѣ того, всю землю они разбили по душамъ на будущій посѣвъ; раздѣлили также лѣса, причемъ часть ихъ вырубили и стали топить печи, а господскихъ полѣсовщиковъ, сопротивлявшихся такому дѣлежу и своевольству, пригрозили побить малость.

Скоро объ ихъ поступкахъ узнали, и если начальство долго не обращало на нихъ вниманія, то потому, что въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ, въ сосѣднемъ Чекменѣ, борьба грозила дойти до крайности. Наконецъ, и въ нашу деревню пріѣхалъ исправникъ. Остановившись въ барскомъ домѣ, онъ велѣлъ собраться мужикамъ. Мужики собрались. Обѣ стороны были взволнованы, но каждая скрывала свои чувства. Положеніе было такое: старикъ-исправникъ желалъ отъ всей души хорошенько выругать мужиковъ, надавать имъ хорошихъ затрещинъ и приказать исполнить требованіе его; бывало, онъ такъ и дѣлалъ: выругается, вышибетъ нѣсколько зубовъ, собьетъ нѣсколько мужиковъ съ ногъ — и убѣдитъ въ справедливости своихъ мнѣній. А теперь, сознавая необходимость какого-то другого отношенія, онъ дрожалъ внутренно, ибо не зналъ, какъ съ этимъ народомъ говорить. Другая сторона—мужики также недоумѣвали, какъ быть имъ; они бы и сказали всю правду, а ну, какъ начнетъ по мордамъ бить? Въ высшей степени взволнованные, они должны были, тѣмъ не менѣе, молчать.

Когда исправникъ вышелъ на крыльцо, то стороны съ минуту наблюдали другъ за другомъ и только послѣ этого начали объясненіе.

— Здравствуйте!... Какъ вы поживаете, *господа?* — началъ исправникъ съ негодованіемъ.

— Слава Богу, ваше б—діе, помаленьку.

— Это хорошо. Но до меня нехорошіе слухи дошли про васъ...

— Мы, ваше б—діе, ничего...

— Будто вы, *господа*, начали по-своему толковать волю; мечтаете тамъ о чемъ-то, а?

— Мы промежду собой, ваше б—діе... Потому какъ мы

народъ темный,—говорили нѣкоторые изъ собравшихся мужиковъ.

— То-то „промежду собой“! А зачѣмъ вы управляющаго прогнали?

— Онъ, ваше б—діе, самъ задралъ хвостъ и убёгъ!

— То-то „задралъ хвостъ“! Вамъ дали волю, а вы на первыхъ порахъ безобразіе учинили!

Мужики промолчали.

— А зачѣмъ вы землей господской завладѣли? Вѣдь я толковалъ вамъ, что всѣ еще должны работать на господина. Зачѣмъ же вы упрямитесь? Земля еще не ваша, условій съ бариномъ вы еще не заключили, отъ барина еще не отошли совсѣмъ, и я читалъ вамъ все это, а вы порете свое... Вы—сущіе быки!

— Конечно, ваше б—діе, люди мы, можно сказать, темные... Это вѣрно... ужь это какъ есть!... Правильно вы говорите!—кричали мужики, виляя.

— Я васъ теперь разъ навсегда спрашиваю: намѣрены вы бросить свои глупости?—сказалъ исправникъ, побагровѣвъ.

— Да мы, ваше б—діе, ничего такого...

— Я васъ спрашиваю: намѣрены вы бросить свои глупости?

— Позвольте, ваше б—діе, намъ подумать промежду собой...

— Ну, смотрите... Кончится тѣмъ, что вамъ, господа, рубашки заворотятъ... Некогда мнѣ теперь болтать съ вами, н-но смотрите!

На этотъ разъ мужики выдержали молчанку, но это не могло долго продолжаться. Они чувствовали, что принуждены будутъ раскрыть карты. Отъ этого мужество ихъ не ослабло. Напротивъ, послѣ рѣшимости обнаружить свои намѣренія на нихъ снизошла сила отчаянія, такъ что, когда стало навѣдываться начальство, они уже прямо смотрѣли ему въ глаза, отвѣчая отчаянно.

Сперва пріѣхалъ становой. Растолковавъ имъ волю, раскрывъ ихъ намѣренія, предстативъ всѣ послѣдствія, онъ убѣждалъ ихъ оставить глупости и потомъ спросилъ:

— Согласны?

А они всѣ кучей отвѣчали:

— Согласья нашего нѣтъ.

Вслѣдъ за становымъ пріѣхалъ другой какой-то начальникъ, названія котораго они не знали, и также спросилъ:

— Соглашаетесь?

И они отвѣчали:

— Не соглашаемся!

Тогда имъ объявили, что ихъ усмирятъ. Они держались и послѣ этой угрозы, и потому только держались, что въ прежней своей жизни привыкли, разъ начавъ какое-нибудь пропащее дѣло, стоять за него до послѣдней глупости. Такъ случилось бы и теперь. Они собрали послѣдній по этому дѣлу сходъ и рѣшили „стоять за правду твердо, а въ случаѣ чего—помереть". Но ихъ положеніе было таково, что они и помереть уже не могли. Они увидали свѣтъ; они уже привыкли къ мысли о грядущемъ счастіи; они уже глубоко вѣрили въ свою фантазію, и лечь послѣ этого въ гробъ, отказавшись отъ свѣтлаго вымысла,—нѣтъ, этого они не въ силахъ были сдѣлать!

Они до конца, до самой смерти хотѣли утверждать, что имѣніе имъ отдано, но уже не вѣрили, что изъ этого выйдетъ что-нибудь.

Именно поэтому они задумали въ эти дни проститься со своею землей, явившеюся имъ во всей красотѣ майскаго наряда. Они чувствовали, что имъ больше не видать ея.

Въ свѣтлый день, съ ранняго утра, когда не высохли еще капли утренней росы, когда по лѣсамъ еще стояла прохлада, а вѣтерокъ чуть-чуть только начиналъ колыхать вершины деревьевъ, какъ бы желая разбудить ихъ отъ ночной дремоты, мужики собрались за деревней и пошли въ поле. Въ послѣдній разъ они желали взглянуть на свое великолѣпное помѣстье и разстаться съ нимъ навсегда.

Сначала, пройдя выгонъ, они вошли въ пашни. Здѣсь они стали съ грустью разсчитывать, сколько бы земли досталось имъ на душу. Высчитали — много! Потомъ они вошли въ лѣсъ, гдѣ осматривали толщину деревьевъ, качество и количество ихъ, причемъ убѣдились, что однихъ прутьевъ и валежника имъ надолго бы хватило; но и прутьевъ имъ не достанется. Простившись съ лѣсомъ, они попали въ луга, которые въ этотъ годъ, какъ нарочно, были сочные, высокіе, густые. Но у нихъ не будетъ и сѣна. Бросивъ послѣдній взглядъ на это волнующееся море зелени, мужики перешли въ бродъ

рѣку и посмотрѣли на столбъ, служившій гранью между ихъ помѣстьемъ и сосѣднимъ владѣніемъ. Здѣсь они отдохнули и пошли назадъ домой. На возвратномъ пути имъ такъ стало скучно, что они уже ни на что не хотѣли взглянуть, стараясь забыть свою невозвратную потерю. Вблизи уже деревни они начали ссориться между собой. И домой воротились злые. При этомъ нѣкоторые мужики побили бабъ, нѣкоторые напились водки, а нѣкоторые просто ругались нехорошими словами до полуночи.

Черезъ нѣсколько дней пришло извѣстіе, что въ Чекменѣ уже поставили „сѣкуцію". Это сильно подѣйствовало на нашихъ мужиковъ: они замолчали, прекративъ всякіе разговоры о волѣ.

Послѣднее ихъ распоряженіе состояло въ томъ, что они отправили въ Чекмень верхомъ на лошади гонца, лучше сказать, соглядатая, наказавъ ему. въ случаѣ чего, скакать во весь духъ обратно. Цѣлыя сутки прошли въ ожиданія. Наконецъ, позднею ночью на вторыя сутки прискакалъ соглядатай, какъ сумасшедшій, слѣзъ съ лошади, брюхо которой раздувалось, какъ раздуваемые мѣха, и сказалъ тихо, едва переводя духъ отъ волненія:

— Чекменскихъ мужиковъ сѣкутъ!

Когда эта вѣсть разнеслась по деревнѣ и быстро собрался сходъ, то всѣ собравшіеся поняли, что чекменское пораженіе, въ которомъ чекменцы разбиты на голову, есть и ихъ пораженіе, послѣ чего безъ словъ разошлись по домамъ.

На утро взошло солнце, ярко освѣтивъ всѣ закоулки деревни, но улица долго стояла пустая, какъ будто населеніе вымерло все, и когда сюда пришла „сѣкуція", то ей дѣлать было нечего. Мужики наши отказались отъ своей свѣтлой фантазіи. Но еще темнѣе стало на ихъ душѣ.

Золотоискатели.

(Изъ поѣздокъ по Уралу).

При первомъ удобномъ случаѣ мы отправились на одинъ изъ ближайшихъ пріисковъ, тамъ и сямъ разсѣянныхъ по Екатеринбургскому уѣзду. Было раннее утро. Извощикъ нашъ сначала никакъ не могъ понять, зачѣмъ мы ѣдемъ на Н—скій пріискъ.

— Стало быть, на прогулку?—допытывался онъ съ какою-то ироніей.

— Пожалуй, на прогулку... да кстати посмотримъ на пріискъ, на работы, на старателей,—возражали мы.

— Ничего тамъ хорошаго нѣту! Смотрѣть-то тамъ нечего... пески, глина, накопали ямы, срамъ одинъ! А ежели старателевъ посмотрѣть, то больше ничего, какъ народъ дикій... чего его смотрѣть-то?—Извощикъ какъ будто былъ обиженъ, что мы ѣдемъ въ это глухое мѣсто. Обыкновенно проѣзжающіе считаютъ своимъ долгомъ посѣтить богатый Березовскій пріискъ, гдѣ можно осмотрѣть машины, толчею кварца, шахты, разрѣзы и пр., но чтобы кто-нибудь вздумалъ посѣтить глухое мѣсто,—старый, заброшенный рудникъ,—это, вѣроятно, нашему извощику никогда не приходилось наблюдать.

— Сами увидите, что ничего нѣтъ... пески, глина, дикій народъ, который ежели намоетъ золотникъ въ мѣсяцъ, и то радъ... чего же тамъ смотрѣть?—нѣсколько разъ спрашивалъ онъ, а когда замѣтилъ упрямое съ нашей стороны желаніе попасть въ глухое мѣсто, то умолкъ до самаго мѣста нашей

поѣздки, и только отъ времени до времени иронически улыбался.

Уже по дорогѣ, проторенной по лѣсу, то и дѣло попадались канавы, ямы и неглубокія штольни,—это все пробныя раскопки; но чѣмъ ближе мы подъѣзжали къ старательскимъ работамъ, тѣмъ все больше попадалось признаковъ золотыхъ пріисковъ. Во многихъ мѣстахъ деревья были съ корнями повалены, а на ихъ мѣстѣ возвышались желтые бугры глины. Ни одного работника еще не было видно.

Наконецъ, мы подъѣхали къ самому мѣсту работъ. Извощикъ нашъ завелъ лошадь подъ тѣнь стараго, разрушающагося сарая, а самъ завалился спать къ забору, какъ бы протестуя такимъ нагляднымъ способомъ противъ всей нашей поѣздки. Мы отправились одни по разбросанному пріиску.

Когда-то здѣсь стоялъ заводъ, возвышались огромныя каменныя зданія службъ и трубы завода; когда-то здѣсь былъ мѣдный рудникъ, дававшій богатую добычу хозяевамъ его, но теперь вокругъ нельзя было замѣтить хотя бы ничтожнаго слѣда нѣкогда шумной жизни. Все заросло травой, кустами и лѣсомъ. Нѣкогда тутъ былъ огромный прудъ, образованный изъ горной рѣчки, шумѣли шлюзы наливныхъ колесъ. Съ глухимъ журчаніемъ вода рокотала въ тюрбинахъ, двигая цѣлыя системы машинъ, а сейчасъ мы замѣтили только небольшое озерко, по краямъ заросшее камышемъ, а на серединѣ покрытое лопухами. Вода въ озеркѣ была прозрачна, какъ стекло; на днѣ его видны были стаи лѣниво влавающихъ окуней и плотвы. Въ воздухѣ кружилось нѣсколько чаекъ. Въ камышахъ копошились дикія утки. Нигдѣ и никакого человѣческаго жилья.

Только внизу за плотиной, образующей озерко, вдоль ручья устроены были нѣсколько желобовъ и корытъ для промывки золота. Но людей не было. Мы попали въ такой день сюда, когда всѣ старатели поголовно ушли на уборку сѣнокоса, побросавъ свои корыта и станки. Мѣсто было дѣйствительно глухое и заброшенное, а въ этотъ день оно производило впечатлѣніе пустыни. Впрочемъ, слѣды работъ вездѣ были замѣтны. Повсюду виднѣлись желтые бугры глины, канавы, ямы и разрѣзы.

Долго мы съ путникомъ бродили посреди этихъ бугровъ; наконецъ, полдневный жаръ истомилъ насъ жаждой и уста-

лостью, и мы пѣшкомъ пошли къ небольшому поселку, находящемуся въ полверстѣ отъ озерка и сплошь населенному старателями. Скоро мы дошли туда, обошли всѣ его домишки въ поискахъ за питьемъ и только въ одномъ изъ нихъ наткнулись на старика, который напоилъ насъ. Древній человѣкъ этотъ доживалъ послѣдніе дни и съ трудомъ отвѣчалъ на наши вопросы. Но такъ или иначе мы внимательно слушали все, что онъ намъ говорилъ.

Онъ еще помнитъ то время, когда въ этихъ мѣстахъ кипѣла жизнь; повсюду производились раскопки; въ однихъ шахтахъ добывалась мѣдь, въ другихъ золото. Сотни рабочихъ жили здѣсь, добывая для хозяевъ завода десятки пудовъ золота и сотни пудовъ мѣди. А рядомъ съ этою неустанною работой шелъ вѣчный пиръ. Управленіе состояло изъ многочисленнаго штата: конторщики, управляющіе, смотрители кишѣли около золотого мѣста. То и дѣло изъ города пріѣзжали гости,—разодѣтыя дамы и мужчины,—и по цѣлымъ днямъ шелъ пиръ. Раскупоривались цѣлые ящики шампанскаго; играла музыка, разносимая эхомъ по сосѣднимъ лѣсамъ; по ночамъ устраивались пикники съ факелами,

— Весело у насъ было о ту пору, — добавилъ старикъ равнодушно.

— Ну, а потомъ что? Куда же все это дѣлось?

— Все ушло. Золота стало маловато ужь, особливо ежели кому нужна музыка, а мѣдь не больно чтобы ужь такъ занятный металлъ,—ну, и ушло все, и золото, и заводъ, и люди съ музыкой, и господа съ шампанскимъ. Пожили, попировали на своемъ вѣку—и будетъ.

Затѣмъ уже паденіе пошло быстро. Главное управленіе уменьшило штатъ служащихъ, распустило половину рабочихъ и махнуло рукой. Мѣсто стало пустѣть. Подъ конецъ же это хищное гнѣздо просто было разграблено. Добыча золота прекратилась, мѣдный рудникъ заброшенъ, заводскія зданія и служба растащены. Кто тащилъ къ себѣ мебель, кто отдиралъ двери отъ домовъ, кто выдергивалъ заслонки отъ печей, кто вынималъ самые кирпичи изъ стѣнъ. Когда главное управленіе рѣшилось закрыть заводъ и сдѣлать опись инвентарю, то завода въ дѣйствительности уже не было, инвентарь разграбленъ, и самыя стѣны всѣхъ зданій разрушались. Стихіи довершили опустошеніе: вѣтеръ рвалъ

на части крыши, дождь размывалъ кирпичи, черви лѣсные точили дерево; отъ веселаго мѣста, построеннаго изъ желѣза и камня, населеннаго сотнями народу, не осталось званія; камня на камнѣ не осталось.

Единственный живой памятникъ недавняго пира—это тотъ поселокъ изъ десяти дворовъ, въ которомъ мы находились въ эту минуту.

— Чѣмъ же вы живете?

— Да такъ, кое-чѣмъ, а все больше на счетъ золота же. Старатели у насъ все живутъ. На хлѣбъ добываемъ. Да и отстать нашимъ ребятамъ трудно отъ золота. Золото-то, оно заманчиво. Кто его разъ увидитъ, тотъ ужь ослѣпнетъ на всю жизнь. Теперь у насъ всѣ на сѣнокосѣ. Окрома же сѣнокоса наши ребята ничѣмъ не занимаются... Да и сѣно-то требуется для золота, потому безъ лошади никакъ нельзя... Лошадь подвозитъ глину.

Такимъ образомъ, весь поселокъ копалъ глину, промывалъ ее, подбиралъ крупицы золота и тѣмъ кормился. Вся мѣстность принадлежитъ N—скимъ заводамъ, но сами заводы уже не эксплоатируютъ заброшенные пріиски, предоставляя копаться въ землѣ старателямъ. Старатель—это своего рода кустарь. Онъ работаетъ на свой рискъ, своими собственными орудіями, для себя. Но его отношенія къ заводамъ, владѣльцамъ земли, не свободны. Онъ можетъ сколько и гдѣ угодно промывать пески и глину, но все добытое золото обязанъ сдавать въ заводскую контору, получая отъ послѣдней немного болѣе половины стоимости золота. А чтобы онъ не воровалъ въ свою пользу, чтобы не припрятывалъ части золота въ свой карманъ, ему заводское управленіе выдаетъ запертую кружку, разсчетную книжку и приставляетъ къ нему штегера. Въ кружку онъ ссыпаетъ золото, въ разсчетную книжку записывается его количество, а штегеръ наблюдаетъ за правильностью всей этой операціи. На нашемъ пріискѣ жили по назначенію отъ завода два штегера.

Пока мы разспрашивали обо всемъ этомъ старика, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже началась промывка. Нѣсколько семей побросали сѣнокосъ и принялись за обычную работу. Мы отправились къ одной изъ группъ старателей.

Дѣйствительно, народъ дикій! Когда мы подошли къ мѣсту,

работающіе, видимо, перепугались, принявъ насъ, кажется, за какое-то начальство съ завода. Мы поспѣшили увѣрить ихъ, что не принадлежимъ къ заводскимъ служащимъ и пріѣхали только посмотрѣть, какъ промываютъ золото. Старатели успокоились.

Ихъ было трое—мужъ, жена и племянникъ ихъ. Племянникъ изъ лѣсу подвозилъ пески, мужъ работалъ ручнымъ насосомъ, жена бросала лопатой песокъ на чугунную доску съ дырами и здѣсь въ струѣ воды размѣшивала его; она же удаляла съ доски промытую породу. Всѣ трое были сплошь замазаны глиной; рубаха и порты мужика покрыты были желтыми пятнами такъ густо, что трудно было разобрать первоначальный цвѣтъ ихъ. У бабы костюмъ находился въ большемъ порядкѣ, но это, быть можетъ, потому, что юбка ея была поднята до самыхъ колѣнъ, причемъ голыя ноги окрашены были въ тотъ же цвѣтъ глины. Лица ихъ также не носили на себѣ слѣдовъ человѣческой кожи, которая, повидимому, никогда не освобождалась отъ толстаго слоя золотоносной жилы. Все кругомъ окрасилось въ этотъ ужасный цвѣтъ: вашгердъ, лопаты, лошадь, телѣга, лужа.. . Промывку они производили около лужи, вода которой отъ постояннаго притока свѣжей глины приняла кроваво-желтый оттѣнокъ.

Мы съ интересомъ наблюдали процедуру промывки. Глина привозилась парнемъ издалека и сваливалась возлѣ вашгерда; мужикъ накачивалъ деревяннымъ насосомъ на чугунную доску воду изъ кроваво-желтой глины, другою рукой онъ помогалъ разбивать куски глины, которые бросала баба съ земли. Такъ и шла безпрерывная работа, промывался возъ за возомъ. Всѣ какъ будто старались какъ можно больше пропустить черезъ вашгердъ глины и не обращали вниманія на тщательность промывки. Отъ этого большая доля золота ускользала изъ рукъ работниковъ. При насъ промыли шесть возовъ, т.-е. около ста пятидесяти пудовъ. „Когда же вы будете снимать золото?“—спросили мы. Надо ждать штегера. А онъ или спалъ, или былъ пьянъ, или бродилъ возлѣ дальнихъ старателей. Къ счастью, два первыя предположенія были неосновательны, потому что черезъ нѣкоторое время онъ явился на мѣсто и позволилъ, удовлетворяя наше любопытство, снять золото.

Тогда глину перестали набрасывать на доску и пустили болѣе слабую струю воды; черезъ нѣкоторое время спустили въ остатки золотоносной мути ртуть и еще разъ промыли породу едва замѣтною струей; на доскѣ ничего не осталось, ни глины, ни воды, ни золота... по крайней мѣрѣ, мы ничего не могли замѣтить. Тѣмъ не менѣе, баба соскребла что-то невидимое желѣзною лопаткой, смела, кромѣ того, доску щеткой, и на серединѣ доски оказался ничтожный комочекъ ртути. Это и было золото, только амальгамированное. Дальше стоило только отдѣлить ртуть, и все кончено. Послѣдняя операція была продѣлана еще грубѣе, вызвавъ громкій смѣхъ у моего спутника. Мужикъ положилъ комочекъ золотого песку въ коробку изъ-подъ сардинокъ, пошарилъ руками вокругъ себя на землѣ и собралъ щепочекъ, потомъ поджогъ ихъ спичкой, вынутой изъ кисета съ махоркой, и нѣсколько минутъ держалъ коробку надъ огнемъ, ртуть испарилась и на днѣ жестянки изъ-подъ сардинокъ остался маленькій желтоватый комочекъ золотого песку.

— И все!—воскликнулъ мой спутникъ съ хохотомъ.

— Больше ничего, — возразилъ старатель и, высыпавъ песокъ къ себѣ на ладонь, нѣкоторое время посмотрѣлъ на него и, наконецъ, спустилъ его въ кружку.

— Да это золото?—недовѣрчиво спросилъ спутникъ.

— Конешно, золото.

— Сколько же его тутъ было?

— Да долей семь, чай, есть...

— Да изъ-за чего же вы, наконецъ, работаете? Промыли полтораста пудовъ земли и намыли всего семь долей!

— Когда и поболѣ, какъ счастье выпадетъ. У насъ, въ нашемъ дѣлѣ, все отъ счастья. Азартъ! Вѣдь когда моемъ-то, такъ не думаешь, что ничего не намоешь. Совсѣмъ напротивъ! Все думаешь, авось Богъ пошлетъ жилу... У насъ счастье—первое дѣло.

Отдохнувъ, рабочіе опять принялись за промывку. Парень подвозилъ землю, баба подбрасывала ее на рѣшетку, мужикъ качалъ насосъ; струйки кроваво-желтой жидкости стекали въ лужу, лужа крови тихо волновалась, отражая солнечные лучи.

Мы отправились бродить по окрестностямъ, осматривая разрѣзы и ямы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрѣзы были такъ

обширны, что съ трудомъ вѣрилось въ возможность такой каторжной работы. Между тѣмъ, фактъ былъ налицо; тамъ и сямъ въ нихъ копошились люди, отыскивая „жилы". Трудъ здѣсь цѣнился ни во что; каторга старателями принималась добровольно. Заработокъ почти не принимался въ разсчетъ, потому что онъ былъ ничтожный. Четверо работниковъ, необходимыхъ для каждаго вашгерда, всѣ вмѣстѣ намывали отъ 20 до 30 р. въ мѣсяцъ, что едва хватало на хлѣбъ. Тутъ больше играло воображеніе, поддерживая жгучія надежды отыскать „жилу". Иногда старатели припрятывали часть намытаго золота, и это знали всѣ, но всѣ понимали, что при всеобщемъ хищничествѣ, надо и старателю что-нибудь утащить.

Но эти припрятыванія немного помогали. Послѣ осмотра раскопокъ мы заходили въ нѣсколько домовъ поселянъ и удивлялись цыганской обстановкѣ всѣхъ старателей. Ни хозяйства, ни порядка нигдѣ не замѣчалось. Въ домахъ, рядомъ съ предметомъ роскоши (шерстяное платье, висѣвшее на гвоздѣ), лежала вещь поразительной бѣдности; рядомъ съ гармоникой деревянная чашка съ какою-то нехорошею пищей. Я нѣсколько разъ потомъ встрѣчалъ старателей и не могъ сначала объяснить происходившія съ ними метаморфозы. Проработавъ, какъ лошадь, въ продолженіе мѣсяца, старатель часто спускаетъ все въ нѣсколько часовъ въ городскихъ и другихъ кабакахъ; получивъ деньги, онъ нерѣдко покупаетъ совершенно ненужную вещь, наприм., часы, и щеголяетъ въ нихъ день-два, а потомъ куда-то спускаетъ ихъ. Нѣсколько разъ мнѣ приходилось видѣть такую картину: человѣкъ одѣтъ въ драповое пальто, на головѣ фуражка, но ноги босыя, а вмѣсто панталонъ болтаются холщевыя порты, мѣстами выпачканныя въ глину,—это старатель. Видъ его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто за минуту передъ тѣмъ его ограбили,—сняли съ него панталоны, сапоги и крѣпкую рубашку, но почему-то оставили драповое пальто.

Только къ вечеру мы отправились назадъ. Извощикъ нашъ уже съ нескрываемою ироніей обратился къ намъ съ упрекомъ.

— Видите... сами видѣли, что тутъ ничего нѣтъ... дикія

мѣста! Народишко все перемогается, да и то больше насчетъ какъ бы чего стащить... дикій народъ!

Но мы оба были довольны, осмотрѣвъ это заброшенное и расхищенное мѣсто. Все здѣсь пустынно; прудъ заросъ камышемъ и лопухами; тишина царитъ повсюду по кустамъ. Не слышно болѣе криковъ сотенъ народа; не раздается музыка и не визжатъ колеса приводовъ. Все замолкло. Люди разбѣжались, снявъ сливки съ природы. Такова исторія, быть можетъ, и всего Урала. Первая волна хищниковъ, пировавшихъ въ дѣвственныхъ горахъ, успѣла уже растащить все, что легко досталось, и схлынула дальше, въ глубь горъ. Но и тамъ то же повторилось. Теперь насталъ переломъ, „кризисъ", который можно поправить только заграничными пошлинами. Одни старатели еще копошатся, чуть не голыми руками вырывая свой хлѣбъ изъ нѣдръ земли.

По Ишиму и Тоболу.

(*Изъ путешествій и изслѣдованій крестьянскаго быта Западной Сибири*).

I.

Очеркъ природы.

Происхожденіе страны.—Поверхность и видъ.—Орошеніе: рѣки и озера.—Климатъ: господствующіе вѣтры.—Лѣто въ Курганскомъ округѣ въ 1883 г.—Лѣто въ Ишимскомъ округѣ въ 1884 г.—Осень въ Курганскомъ окр. въ 1881 г.—Почва.—Характерныя особенности фауны и флоры, касающіяся крестьянской жизни.—Богатство края.—Вопросъ о многоземельи.

Если раздѣлить Тобольскую губ. пополамъ отъ запада къ востоку, то это будетъ приблизительно точная грань, раздѣляющая двѣ страны, характеризующіяся совершенно различными физическими свойствами. Въ то время, какъ сѣверная половина губерніи обильна лѣсами, преимущественно хвойными, и болотами, занимающими огромныя пространства,—южная, напротивъ, сравнительно бѣдна лѣсами, а хвойныя породы встрѣчаются въ ней какъ исключеніе; но зато эта часть губерніи отличается огромными степями.

Происхожденіе этихъ двухъ странъ также различное. Тогда какъ сѣверная половина губерніи въ послѣдніе геологическіе періоды образовалась преимущественно подъ вліяніемъ Ледовитаго океана, южная половина губерніи составляетъ часть той безконечной равнины, которая, начинаясь съ Каспійскаго моря и оканчиваясь предгоріями Алтая, состав-

ляла нѣкогда дно моря, оставившаго послѣ себя Каспійское и Аральское моря и безконечное число мелкихъ озеръ. Послѣднія разсѣяны въ Башкиріи (восточно-уральская часть Пермской губ.), по Ишимской и Барабинской степямъ, а также въ предѣлахъ киргизскихъ степей.

Предлагаемая статья содержитъ лишь описаніе южной половины губерніи и преимущественно округовъ: Курганскаго, Ишимскаго и Тюкалинскаго, имѣющихъ между собою много общаго.

Всѣ три округа представляютъ равнину съ незначительными возвышеніями, увалами. То, что называется ровною, безлѣсною степью, можно встрѣтить только на границахъ киргизскихъ степей. Все же остальное пространство, занятое округомъ, не производитъ впечатлѣнія степи. Всюду, куда хватаетъ глазъ, видны березовые перелѣски, долины съ озерами, возвышенія съ богатою растительностью. Перелѣски такъ часто слѣдуютъ другъ за другомъ, что сливаются передъ глазами въ безконечный лѣсъ. Впрочемъ, нерѣдко попадаются дѣйствительно сплошные лѣса, занимающіе сотни десятинъ лиственными породами. Кое-гдѣ встрѣчаются и хвойные боры, на которыхъ отдыхаетъ взглядъ, утомленный однообразіемъ ландшафта. Сплошными лѣсами богата въ особенности сѣверная часть Ишимскаго округа, смежная съ Тобольскимъ, средина Курганскаго и сѣверо-западная Тюкалинскаго.

Въ общемъ же—бѣдность картинъ. Эти вѣчные березовые перелѣски на плоской равнинѣ такъ утомляютъ, что путешественникъ радуется, когда встрѣчаетъ густой лѣсъ съ высокими деревьями. Но этихъ лѣсовъ немного; они давно вырублены или вырубаются; вмѣсто нихъ, остались густыя заросли по болотамъ и мелкія березы, годныя на дрова, по возвышеніямъ.

Орошается страна двумя только рѣками—Ишимомъ и Тоболомъ, прорѣзывающими ее съ юга на сѣверъ. Какъ всѣ степныя рѣки, онѣ имѣютъ крайне извилистое теченіе, во многихъ мѣстахъ ежегодно мѣняя русло и оставляя послѣ себя множество богатыхъ водою старицъ. Что касается притоковъ этихъ двухъ огромныхъ рѣкъ, то они совершенно незначительны, какъ Мергень въ Ишимскомъ округѣ, Икъ

въ Курганскомъ и другіе. Бѣдность рѣчного орошенія выкупается богатствомъ озеръ.

Крупныхъ озеръ, какія существуютъ, напр., въ Башкиріи, вовсе не встрѣчается въ описываемой странѣ, но болѣе мелкихъ безчисленное множество. Одни изъ нихъ занимаютъ не болѣе квадратной полуверсты, другія тянутся на десятки верстъ въ окружности, причемъ одни озера содержатъ прѣсную воду, другія горькосоленую. Химическій составъ послѣднихъ, впрочемъ, не изслѣдованъ, хотя несомнѣнно, что въ недалекомъ будущемъ будутъ открыты озера съ цѣлебными свойствами.

Сообразно съ такимъ орошеніемъ, разселилось по странѣ и населеніе. Наиболѣе густое населеніе образовалось по берегамъ двухъ большихъ рѣкъ; другая часть населенія устроилась возлѣ озеръ, прѣсноводныхъ и не высыхающихъ. Въ Ишимской степи, отличающейся особеннымъ обиліемъ озеръ, большая часть населенія осѣла по озерамъ, а меньшая по рѣкѣ Ишиму.

Старожилы говорятъ, что озеръ въ прежнія времена было несравненно больше, чѣмъ теперь; многія мелкія озера вовсе исчезли, образовавъ послѣ себя болота, топи и заросли. При всеобщемъ и безпорядочномъ истребленіи лѣсовъ, это убѣжденіе жителей имѣетъ естественное основаніе, и несомнѣнно, что постепенное высыханіе мелкихъ озеръ и замѣтная убыль въ крупныхъ озерахъ замѣчается повсемѣстно, во всѣхъ трехъ округахъ. Въ связи и рядомъ съ этимъ фактомъ идетъ столь же повсемѣстное уменьшеніе рыбы въ озерахъ.

Благодаря тому обстоятельству, что распространеніе озеръ по странѣ неравномѣрно, что въ однѣхъ ея частяхъ, какъ Ишимская степь, озеръ больше, а въ другихъ меньше, какъ это видно въ южной половинѣ Курганскаго и во всемъ почти Тюкалинскомъ округѣ,—и степень влажности воздуха неравномѣрно распредѣляется по округамъ. Ишимскій климатъ отличается большею умѣренностью, нежели Курганскій, а послѣдній, въ свою очередь, мягче Тюкалинскаго. Впрочемъ, вліяніе мѣстныхъ условій настолько незначительно, что даетъ наблюдателю полное право только вскользь отмѣтить эти условія и перейти къ общей характеристикѣ климата, зависящаго отъ географическаго положенія страны.

Въ общемъ климатъ всѣхъ трехъ округовъ континентальный, сухой и съ внезапными колебаніями въ состояніи погоды. Зима суровая, лѣто знойное; переходъ отъ зимы къ лѣту крайне рѣзкій, такъ что самая восхитительная часть года—май здѣсь является наиболѣе гибельной для здоровья людей, для роста растеній. Того теплаго, благоухающаго, нѣжнаго мая, какой мы знаемъ, здѣсь вовсе нѣтъ. Часто до половины этого мѣсяца дуютъ холодные, пронизывающіе до костей сѣверные вѣтры, а во вторую половину вдругъ наступаетъ знойная тишина. Солнце палитъ, какъ въ іюлѣ; воздухъ сухой, горячій. Перемѣна совершается такъ быстро, что производитъ гнетущее вліяніе на тѣло, сильно разслабляя весь организмъ.

Иногда бываетъ хуже: днемъ жаръ, ночью холодъ. Нерѣдка также внезапная перемѣна въ теченіе дня: въ первую половину дня, благодаря южному вѣтру, стоитъ знойная погода, а къ вечеру вдругъ вѣтеръ мѣняется на сѣверный и наступаетъ пронизывающій холодъ.

Въ началѣ лѣта, а иногда и въ серединѣ іюля, наблюдается интересное метеорологическое явленіе. Дуетъ сѣверный вѣтеръ: въ воздухѣ распространяется холодъ. Небо заволакивается облаками. Но облака не имѣютъ вида дождевыхъ тучъ; по формѣ и цвѣту, они несомнѣнно содержатъ снѣгъ. Снѣгъ дѣйствительно и падаетъ иногда среди іюня. Но чаще всего таяніе снѣга совершается въ верхнихъ слояхъ атмосферы, и тогда на землю падаетъ холодный дождь, температура котораго едва поднимается выше нуля.

Явленіе это настолько часто наблюдается, что невольно обращаетъ на себя вниманіе. Сѣверный вѣтеръ постоянно приноситъ съ собой холодъ, но часто онъ наноситъ прямо снѣжныя облака, разрѣшающіяся ледянымъ дождемъ. Можетъ быть, это явленіе и полезно для растительности, увеличивая общее количество влаги, но на людей оно дѣйствуетъ крайне вредно.

Господствующіе вѣтры—сѣверо-западный и сѣверо-восточный. Разница между вліяніемъ ихъ огромная. Сѣверо-западный вѣтеръ приноситъ влагу и умѣренную теплоту: сѣверо-восточный вѣтеръ, наоборотъ, сухой и холодный.

Юго-западный вѣтеръ характеризуется сильными грозами, но онъ не часто дуетъ.

Болѣе его оказываютъ вліяніе юго-восточный и южный вѣтры; оба они, въ особенности первый, какъ чаще дующій, несутъ съ собой знойную засуху и несомнѣнно оказываютъ вредное дѣйствіе, тѣмъ болѣе, что чаще всего они перемежаются сѣверными вѣтрами, обладающими прямо противоположными свойствами.

Рѣзко мѣняя направленіе, вѣтры западно-сибирскіе производятъ тотъ особенный климатъ, въ которомъ внезапные переходы изъ одной крайности въ другую составляютъ законъ. Нѣсколько примѣровъ изъ послѣднихъ лѣтъ дадутъ наглядное понятіе о климатическихъ условіяхъ страны.

Съ начала весны 1883 г. въ Курганскомъ округѣ стояли сильные холода. Зима была суровая, но безснѣжная, такъ что въ концѣ апрѣля снѣгъ оставался только въ мѣстахъ, гдѣ было больше тѣни, чѣмъ свѣта, но и онъ скоро и незамѣтно исчезъ. Въ природѣ совершалось оригинальное явленіе: несомнѣнно начиналась весна, но земля на поляхъ лежала сухая; не бѣжали ручьи по ложбинкамъ; не видно было весеннихъ лужъ; не раздавался шумъ вешнихъ водъ по оврагамъ. Снѣгъ невидимо пропалъ, испарился безъ слѣда.

Рѣка Тоболъ не выходила изъ береговъ. Въ половинѣ апрѣля она была еще крѣпко скована льдомъ, но ледъ не трескался и не замѣчалось какихъ-нибудь признаковъ его скораго разрушенія. Разрушенія и на самомъ дѣлѣ не было. Въ концѣ апрѣля солнце среди полудня сильно жгло, и ледъ подъ его горячими лучами быстро таялъ, но ночью наступали холода, и ледъ, повидимому, еще крѣпче сковывалъ рѣку. Ждали, когда же будетъ ломаться ледъ, и не дождались. Онъ до послѣдней минуты нетронутою массой стоялъ отъ берега до берега; только видъ его измѣнился: изъ синяго онъ сначала сдѣлался тусклымъ, какъ матовое стекло, потомъ въ немъ образовались ноздри, и онъ походилъ на губку. Такимъ его видѣли еще вечеромъ 27 апрѣля, а на утро его уже никто не видалъ. Рѣка спокойно плескалась о берега и на всемъ ея протяженіи не было слѣда льда, который еще нѣсколько часовъ назадъ держалъ ее въ оковахъ. Превратившись въ губку, ледъ вдругъ разсыпался на милліарды ледяныхъ иголъ, которыя смѣшались съ водой и безслѣдно исчезли.

Насколько быстро исчезли всѣ слѣды зимы, настолько же крутъ былъ переходъ отъ весны къ лѣту.

Съ начала мая уже начались жары, доходившіе до 23°. Дождей не было. Полное отсутствіе влаги. Вѣтеръ дулъ южный. Плохо еще распустившіеся листья на деревьяхъ уже вяло висѣли. Травы росли рѣдкія и сухія.

Въ началѣ іюня солнце палило тропическимъ жаромъ. Воздухъ раскалялся, какъ въ печи; горизонтъ, казалось, дрожитъ, волнуется. Это происходило послѣднее испареніе почвенной влаги. Травы сгорѣли, а дождей все не было. Вѣтеръ дулъ съ юга.

Весь іюль былъ сплошнымъ днемъ мученій для людей и животныхъ и смертью для растительности. Въ тѣни температура показывала 29° R, а на солнцѣ она достигала 37° R. Хлѣба сгорѣли. Корнеплодныя пропали. Въ сухомъ и раскаленномъ воздухѣ носилась пыль изъ остатковъ посохшей растительности. Единственная зелень, не принявшая бураго цвѣта,—это камыши по болотамъ. На нихъ и накинулись люди, думая ими прокормить голодный скотъ. Но это изобрѣтеніе только скорѣе погубило животныхъ: острые и твердые стволы изрубленнаго камыша протыкали кишечный каналъ животнаго, и послѣднее издыхало.

Въ Ишимскомъ округѣ 1884 годъ является прямою противоположностью только что описанному. Всю весну, все лѣто и всю осень шли безпрерывные дожди и стоялъ холодъ, а солнечные лучи, казалось, потеряли свою силу. Вѣтеръ дулъ сѣверный—тотъ самый, который приноситъ съ собой нестерпимый холодъ, снѣжныя облака и ледяной дождь.

Съ апрѣля, когда только что сходилъ снѣгъ, уже начались эти ужасные дожди. Кругомъ на поляхъ лежалъ еще снѣгъ, рѣка Ишимъ стояла еще покрытою льдомъ, а небо уже цѣлый день висѣло мутное, и холодный, какъ зимняя вода, дождь безконечно обливалъ холодную землю. Снѣгъ и ледъ не горячими солнечными лучами были растоплены, а механически разрушены безпрерывнымъ дождемъ.

Большая часть мая прошла лучше; много было красныхъ дней; солнце грѣло, вѣтеръ съ сѣвера прекратился. Деревья быстро распустились; трава густымъ зеленымъ ковромъ покрыла мокрую землю. Хлѣба взошли великолѣпные.

Но насталъ іюнь. Вѣтеръ снова вдругъ подулъ съ сѣвера.

И опять поползли эти снѣжныя облака, и полилъ ледяной дождь. Сплошнымъ потокомъ лилъ онъ, перемежаясь только съ снѣгомъ, который тотчасъ же таялъ на поверхности почвы, превратившейся въ глубокую жидкую грязь. Но поля стояли зеленыя; трава, густая, какъ ткань, выросла мѣстами въ ростъ человѣка, и даже на безплодныхъ мѣстахъ появились роскошные луга.

Настало время косьбы. Косили часто подъ дождемъ, одѣтые въ зипунѣ, убирали мокрое сѣно, мокрымъ складывая его въ стога. И вся эта страшная работа пропала даромъ: сѣно сгнило и зимой продавалось дорого, хотя урожай травъ былъ безпримѣрный.

Насталъ іюль. Вѣтеръ все былъ тотъ же—сѣверный; зловѣщія облака съ снѣгомъ закрывали солнце. 2 іюля съ самаго утра пошелъ снѣгъ; къ полудню хлопья его были такъ густы, падалъ онъ въ такой массѣ, что къ вечеру этого дня вся земля покрылась бѣлымъ саваномъ. И хотя на другой же день онъ растаялъ, но холодный дождь не прекратился. Иногда на день, на два выглядывало солнышко, а потомъ ледяной дождь. Такъ прошелъ весь іюль.

Хлѣба тянулись въ верхъ; ихъ толстыя дудки, необыкновенный ростъ выше роста человѣческаго, густота дѣлали ихъ похожими на заросли кустарниковъ. Но они стояли зеленые. Прошелъ іюль, наступилъ августъ, а хлѣба едва только бурѣли.

Прошелъ и августъ, кое-гдѣ убирали хлѣба, однако, зерно было зеленое. Уборка продолжалась до конца сентября. Работали въ теплыхъ шапкахъ, въ бараньихъ шубахъ, въ рукавицахъ, потому что холодъ, перемежающійся дождемъ, стоялъ нестерпимый. Скоро повалилъ хлопьями снѣгъ, полилъ дождь, и оставшіеся неубранными хлѣба залило и засыпало дождемъ и снѣгомъ. А хлѣбъ убранный, высушенный и обмолоченный оказался никуда негоднымъ: мука по цвѣту походила на красный солодъ, и хлѣбъ, испеченный изъ нея, разсыпался, какъ плохая глина.

Такъ прошло это лѣто, похожее скорѣе на тяжелую осень. Но зато осень иногда походитъ на лѣто.

Всѣмъ памятна осень 1881 г. Уже съ конца августа установилась тихая и теплая погода. Въ началѣ сентября все зеленѣло; деревья, повидимому, долго еще не сбросятъ сво-

ихъ листьевъ; травы на поляхъ стояли живыми, какъ среди лѣта, а по лугамъ, на скошенныхъ мѣстахъ, густо покрывала землю ярко-зеленая отава.

Весь сентябрь стоялъ теплый, нѣжный, благоухающій. Чистый, прозрачный воздухъ, голубое небо, ласкающая теплота,—все это было такъ необыкновенно, что напоминало о другихъ временахъ и иныхъ странахъ. Въ концѣ сентября ходили въ лѣтнихъ костюмахъ. Ночью было пріятно спать на открытомъ воздухѣ, прямо подъ звѣзднымъ небомъ. Весь скотъ разжирѣлъ, находя въ поляхъ обильную и сочную траву.

Насталъ и октябрь. Большая Медвѣдица описала уже большую дугу на небѣ. Утренники сдѣлались холодными. Но днемъ разливалась въ воздухѣ нѣжная теплота. Люди перестали, кажется, ждать суровую зиму, одѣвались весь октябрь въ лѣтнюю одежду.

Прошла половина ноября. Все также было тепло, сухо и нѣжно; днемъ теплые солнечные лучи, яркій свѣтъ, прозрачный воздухъ; ночью бодрый холодокъ, чистый воздухъ и великолѣпное небо, на которомъ теперь во всей красотѣ сіяли: Полярная звѣзда, Вега, Сѣверная Корона, въ обыкновенное время едва видимыя.

Только во второй половинѣ ноября выпалъ первый снѣгъ.

Безъ сомнѣнія, описанныя явленія должны быть отнесены къ области ненормальностей. Но, изучая нормальныя условія климата, мы все-таки приходимъ къ заключенію, что климатическія явленія страны внезапны, переходы отъ одного состоянія погоды къ другому рѣзки и неожиданны, и это на протяженіи всего какихъ-нибудь сутокъ.

Переходимъ къ почвѣ.

На вопросъ, какая у васъ почва, большинство крестьянъ отвѣчаютъ: *ровная*. Этотъ отвѣтъ сначала кажется неудовлетворительнымъ и уклончивымъ. Но ближайшее изученіе почвенныхъ условій всѣхъ трехъ округовъ немедленно же объясняетъ отвѣтъ крестьянъ и показываетъ глубокую вѣрность дѣйствительности.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ земля покрыта солончаками, въ особенности вблизи озеръ Ишимскаго округа. Суглинокъ мало распространенъ, а что касается песчаныхъ равнинъ, то онѣ встрѣчаются, какъ рѣдкое исключеніе, въ Ишимскомъ

округѣ, что вполнѣ объясняется удаленностью округа отъ горныхъ породъ, которыя доставляли бы кварцъ и полевой шпатъ. Богаче песчаными мѣстностями Курганскій округъ, въ которомъ сохранились и до сихъ поръ сравнительно большіе участки сосноваго лѣса, растущаго на пескахъ. Но болѣе обширную область пески занимаютъ въ Тюкалинскомъ округѣ. Тѣмъ не менѣе, солончаки и пески не составляютъ основного характера почвы.

Черноземъ—вотъ господствующая почва. Въ низкихъ мѣстахъ онъ достигаетъ до полусажени глубины, а на возвышенныхъ доходитъ до четверти аршина. Общая же глубина равняется приблизительно тремъ четвертямъ. Крестьяне говорятъ: земля у насъ ровная. Почему? Отвѣтъ и подтвержденіе крестьянскаго мнѣнія сейчасъ же находятся. Въ самомъ дѣлѣ, при отсутствіи значительныхъ углубленій и возвышеній, черноземъ ровно распредѣлялся по поверхности; при отсутствіи овраговъ и горъ, не могло образоваться ни оголенныхъ отъ перегноя плѣшинъ, ни скопленій его по ложбинамъ и берегамъ рѣкъ. Гдѣ листья падали, тамъ они и гнили. А при равномѣрномъ распредѣленіи лѣсовъ и толща перегноя была приблизительно одинакова. Этому способствовало и крайне ничтожное развитіе рѣчного орошенія, которое является главною двигательною силой при распредѣленіи органическихъ остатковъ. Словомъ, всѣ условія края способствовали одинаковому удобренію поверхности.

Выяснивъ этотъ характеръ климата и почвы, мы вкратцѣ упомянемъ и о томъ, какія животныя и растенія отсутствуютъ. Было бы точнѣе назвать, прежде всего, тѣ виды, которые являются характерными представителями края, но, къ сожалѣнію, мѣсто не позволяетъ намъ поговорить объ этомъ предметѣ. Скажемъ лишь то, что непосредственно касается нашей цѣли—описанія крестьянской жизни.

Прежде всего замѣтно полное отсутствіе суслика—этого бича восточныхъ и южныхъ губерній Россіи. Быть можетъ, на югѣ Курганскаго округа онъ и существуетъ, но въ такомъ, безъ сомнѣнія, незначительномъ количествѣ, что не приноситъ никакого вреда. Сибиряки зовутъ его „полевою кошечкой".

Изъ другихъ вредныхъ животныхъ въ большомъ обиліи распространены только волки.

О саранчѣ сибиряки ничего не знаютъ. „Кузьки",—знаменитаго кузьки, также нѣтъ, хотя, напр., Курганскій округъ находится на одной широтѣ съ нѣкоторыми изъ тѣхъ мѣстностей Россіи, гдѣ кузька производитъ опустошенія. Другихъ породъ вредныхъ насѣкомыхъ также нѣтъ. Упомянемъ кстати о томъ, что любимая всѣми ласточка не обитаетъ здѣсь; климатъ слишкомъ мало подходитъ къ ея веселому нраву. Иногда она вдругъ среди іюня или въ маѣ появляется, но черезъ нѣсколько дней также внезапно исчезаетъ, залетая сюда, вѣроятно, только пролетомъ въ болѣе удобныя для нея страны.

Изъ хлѣбныхъ растеній хорошо родятся ярица, озимая рожь, ячмень, овесъ, горохъ, пшеница русская.

Проса сѣется мало; въ Курганскомъ округѣ оно родится удовлетворительно, но въ Ишимскомъ плохого качества—мелкое, бѣлесоватое. Зависитъ-ли это отъ климата и почвы, или есть результатъ вырожденія вслѣдствіе плохой сортировки сѣмянъ—неизвѣстно.

Пшеница высокихъ качествъ, какъ кубанка, египетка и др., совсѣмъ не сѣется въ Ишинскомъ и Тюкалинскомъ округахъ. Въ Курганскомъ, въ южной части, производились небольшіе засѣвы кубанкой, но фактъ тотъ, что она черезъ нѣсколько лѣтъ вырождается и требуетъ черезъ опредѣленное число лѣтъ полной перемѣны сѣмянъ.

Гречиха въ Ишимскомъ округѣ вовсе не сѣется, въ Курганскомъ—ничтожное количество. Неизвѣстно, дѣлались-ли опыты посѣва ея въ Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ, но сомнительно, чтобы это нѣжное растеніе привилось здѣсь. Всего болѣе гречиха терпитъ отъ преждевременныхъ заморозковъ, а заморозки здѣсь не исключеніе.

Изъ корнеплодныхъ отлично родятся: картофель, морковь, рѣпа и пр. Но свекловица плохого качества, съ малымъ содержаніемъ сахара.

Огурцы поспѣваютъ только на огородахъ, гдѣ для нихъ, прежде всего, стелятъ толстый слой навоза и на этомъ уже возвышеніи дѣлаютъ грядки: всходы по ночамъ нерѣдко закрываютъ рогожами. Безъ этихъ приспособленій огурцы не созрѣваютъ. Что касается капусты, то она родится безъ особеннаго ухода.

Изъ ягодъ—клубника, земляника, малина, смородина рос-

тутъ хорошо. По полямъ можно встрѣтить низкіе кусты дикой вишни, но плодъ почти не дозрѣваетъ.

Упомянувъ въ началѣ главы объ однообразіи ландшафта, занятаго сплошь березовыми перелѣсками, мы теперь скажемъ о другихъ древесныхъ породахъ. Послѣ березы, осина и сосна наиболѣе распространены. Серебристый тополь, ива являются какъ рѣдкость. Дубъ и кленъ вовсе отсутствуютъ. Изъ кустарниковъ чаще всего попадаются рябина и черемуха.

Перечисленіе недостатковъ и богатствъ края даетъ намъ возможность прямо перейти къ разсмотрѣнію вопросовъ о многоземельи и объ изобиліи описываемаго края. О богатствахъ Сибири вообще и „благодатномъ" кургано-ишимскомъ краѣ столько писалось, что и пишущій эти строки даетъ себѣ право сказать нѣсколько словъ по этому поводу.

Въ чемъ заключаются богатства описываемыхъ округовъ? Минеральной добычи здѣсь, очевидно, не можетъ быть. Не открытъ также каменный уголь. Соль привозная. Строевыхъ лѣсовъ уже нѣтъ. Озера, нѣкогда богатыя рыбой, пересыхаютъ. Дровяные лѣса быстро таютъ подъ ударами необходимости, о чемъ мы скажемъ въ слѣдующихъ главахъ. Какаянибудь дичь, создающая промышленность, давно вывелась, за исключеніемъ зайцевъ. Въ чемъ же богатства края?

Очевидно, дѣло идетъ о землѣ. Земли дѣйствительно много. Земля эта хорошаго качества, съ неистощимымъ слоемъ чернозема. Мы, повидимому, вправѣ констатировать фактъ многоземелья и вытекающій изъ него фактъ благосостоянія жителей, обитающихъ въ этомъ обширномъ краѣ. Но почему Тюкалинскій округъ, наиболѣе многоземельный, гдѣ крестьянинъ беретъ земли сколько хочетъ и въ какомъ мѣстѣ угодно,—почему Тюкалинскій округъ наиболѣе бѣдный изъ трехъ округовъ?

Задача эта разрѣшается послѣ разспросовъ крестьянъ, которые разъясняютъ дѣло основательно и со всѣхъ сторонъ. Несмотря на громадныя залежи чернозема, несмотря на столь же огромную поверхность, занятую тучною почвой, крестьяне не имѣютъ часто фактической возможности пользоваться этимъ богатствомъ. Если земля лежитъ въ дальнемъ разстояніи отъ деревни, то только богатые крестьяне не терпятъ неудобства отъ большихъ разстояній. Имѣя достаточное количество скота и рабочихъ силъ, они занимаютъ

отдаленные участки, строятъ на нихъ избушки, сараи, овины и обработываютъ земли. Въ рабочую пору они по мѣсяцу живутъ на этихъ заимкахъ, исполняя здѣсь, вдали отъ своей деревни, всѣ земледѣльческія работы, вплоть до молотьбы.

Бѣдные крестьяне, даже съ среднимъ достаткомъ, не могутъ широко практиковать эту систему заимокъ, по недостатку работниковъ, скота и времени. Они стараются обработывать тѣ участки, которые лежатъ вблизи деревень, хотя, безъ сомнѣнія, эти выпаханныя земли не могутъ по плодородности равняться съ землями удаленными. Необходимость заставляетъ дѣлать это. Та же необходимость заставляетъ среднихъ крестьянъ арендовать близкія къ деревни земли у бѣдняковъ. Вслѣдствіе этого большая часть отдаленныхъ земель пустуетъ, хотя земли эти несомнѣнно превосходнаго качества.

Но самое могущественное вліяніе на обезцѣненіе и количество запашекъ оказываетъ климатъ съ его рѣзкими особенностями. Научившись горькимъ опытомъ мѣстной метеорологіи, узнавъ въ совершенствѣ, какія штуки выкидываетъ сибирскій климатъ, крестьяне съ крайнею осторожностью относятся къ выбору земель подъ обработку. Нерѣдко можно замѣтить необъяснимое на первый взглядъ явленіе: крестьяне выбираютъ подъ посѣвъ худшую землю, не обращая вниманія на участки, которые содержатъ глубокій пластъ чернозема, неизвѣстно когда паханнаго. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи это необъяснимое явленіе вполнѣ разъясняется: при выборѣ участка, старожилы-сибиряки всегда сообразуются съ климатическими вліяніями, облюбовывая, прежде всего, такую землю, которая, хотя и менѣе доброкачественная, находится въ болѣе благопріятномъ положеніи передъ рѣзкими перемѣнами жары и холода, засухи и дождя. Въ тѣхъ деревняхъ, которыя имѣютъ ограниченный выборъ земли, происходитъ больше всего земледѣльческихъ несчастій: то хлѣбъ, выросшій высокою стѣной, сгніетъ на корню отъ поздняго созрѣванія, то его зальетъ и вымочитъ дождемъ, то засуха истребитъ его, то убьетъ его іюльскій иней.

Крестьяне отлично знакомы, на основаніи точныхъ наблюденій, съ климатическими особенностями своего края и въ совершенствѣ, до мельчайшихъ подробностей, разработали вопросъ, какая земля ихъ края можетъ считаться наиболѣе

цѣнною. Такъ, напр., ишимскіе крестьяне всѣ поголовно указываютъ на Гагаринскую волость и утверждаютъ, что такой доброй земли, какою одарена эта волость, не найдешь, пожалуй, во всѣхъ трехъ округахъ.

Какое же отличіе этой волости отъ другихъ? Поверхность ея волнистая. Всюду разсѣяны озера. По всѣмъ направленіямъ тянутся увалы. Но главное направленіе уваловъ съ запада на востокъ. По гребнямъ уваловъ ростетъ березовый лѣсъ. Болотистыхъ мѣстъ мало; обширныхъ низинъ вовсе нѣтъ. Такое устройство поверхности даетъ землѣ Гагаринской волости огромное преимущество въ борьбѣ съ климатическими крайностями. Во время засухи посѣвы, расположенные по уваламъ, питаются влагой изъ озеръ, лежащихъ надъ ними, и хотя этой мѣстной влаги недостаточно, но хлѣбъ не погибаетъ отъ жары. Отъ холодныхъ, ледяныхъ вѣтровъ и дождей сѣвера гагаринскіе посѣвы также защищены. Лѣтній иней не въ силахъ имъ повредить такъ, какъ онъ вредитъ хлѣбамъ, расположеннымъ по ровнымъ низменностямъ. Есть также стокъ для излишковъ воды во время сильныхъ дождей.

И въ самомъ дѣлѣ, хлѣба этой волости никогда не подвергаются такому опустошенію отъ засухъ, отъ ледяныхъ дождей, отъ заморозковъ въ іюлѣ. Въ самые несчастные годы у крестьянъ этой волости родится хлѣбъ. Тутъ же, почти рядомъ, верстахъ въ пяти, расположилась деревня другой волости на обширной низинѣ, съ глубокимъ, неистощимымъ слоемъ чернозема... „Да, чортъ-ли мнѣ въ этомъ черноземѣ, когда онъ не имѣетъ никакой силы? — говорилъ мнѣ крестьянинъ этой деревни.—Посѣешь хлѣбъ, а онъ вымерзнетъ или вымокнетъ. А земли у насъ, точно, много, и земля черноземная, да чортъ въ ней толку“.

Этимъ энергичнымъ выраженіемъ мнѣнія по надоѣвшему всѣмъ вопросу о сибирскомъ многоземельи мы и закончимъ. Говоря однимъ словомъ, многоземелья въ краѣ потому не существуетъ, что крестьяне, при настоящихъ своихъ средствахъ, благодаря климатическимъ вліяніямъ, фактически не пользуются многими землями, которыя подвержены всѣмъ крайностямъ физическихъ условій страны. Пока эти многія земли совершенно негодны, давая чистый убытокъ, такъ что

судить о достаточности надѣловъ на основаніи одного абсолютнаго количества земель было бы вредною ошибкой.

II.

Очеркъ землевладѣнія.

Происхожденіе населенія.—Борьба съ инородцами.—Порядки въ землевладѣніи: земли близкія и дальнія; земли общинныя и заимки, начало захвата и индивидуальность сибирской общины.—Недостаточная прочность земельныхъ порядковъ: примѣры безпорядочности во владѣніи.—Типическая форма землевладѣнія; соединеніе индивидуальной и общинной собственности.—Вопросъ объ интенсивной культурѣ.

Край, занятый теперь тремя округами, заселился съ незапамятныхъ временъ, почти на другой день послѣ побѣдъ Ермака, когда въ открытыя этими побѣдами ворота Сибири двинулась могучая волна русскихъ людей. Изъ какихъ элементовъ состояла эта масса? Существуетъ мнѣніе, что предки сибиряковъ были „штрафные людишки“ Московскаго царства, причемъ совершенно неосновательно смѣшиваются въ одну кучу жители городовъ и деревень. Не трудно показать всю ошибочность такого взгляда. Въ самомъ дѣлѣ, если обитатели сибирскихъ городовъ не могутъ похвастаться своими предками, пришедшими съ бубновыми тузами на спинахъ, то происхожденіе крестьянъ сибирскихъ иное.

И въ настоящее время существуетъ ссылка въ огромныхъ размѣрахъ всего, что стало негоднымъ для Россіи, и этотъ сбродъ наполняетъ Сибирь отъ Урала до Тихаго океана, но весь этотъ людъ не осѣдаетъ по деревнямъ. Развращенные до мозга костей, привыкшіе къ легкой наживѣ, съ органическимъ отвращеніемъ къ труду, современные посельщики ютятся по городамъ, всѣми средствами отдѣлываясь отъ деревни. Да и деревня ихъ не выноситъ. Относясь спокойно къ тѣмъ исключительнымъ посельщикамъ, которые, по приходѣ въ Сибирь, принимаются на землю, крестьяне безпощадно гонятъ прочь всю остальную массу „хвосторѣзовъ“. Борьба между коренными сибиряками и посельщиками идетъ на жизнь и смерть. Самое это слово—„хвосторѣзъ“ показываетъ, насколько безпощадны взаимныя отношенія между

двумя сторонами: посельщикъ, которому не удалась кража крестьянской лошади, всегда, изъ-за одной злобы, отрѣжетъ съ корнемъ у ней хвостъ.

Каковы теперь отношенія между крестьянами и посельщиками, такія же отношенія существовали и тогда между людьми труда и вольницей. Вольница могла и умѣла воевать, драться, грабить, но на трудъ она была не способна. Колонизовали край черносошные, крѣпостные, монастырскіе крестьяне, бѣжавшіе съ родины отъ притѣсненій и голода. Правда, они были бѣглецы, но бѣжали они не отъ труда, а отъ московской волокиты, отъ воеводскаго кормленія и другихъ жестокостей. И шли они въ открывшійся край не за легкою наживой, а ради упорной работы среди безконечнаго простора. Это были людишки Московскаго царства, но закаленные въ трудѣ, энергичные, свободолюбивые. Они шли за вольницей или даже вмѣстѣ съ ней, но, облюбовавъ мѣста новой страны, прочно садились на нихъ, въ то время, какъ вольница, состоявшая поголовно изъ „штрафнаго" элемента, разнузданная, съ органическимъ отвращеніемъ къ труду, двигалась дальше въ глубь Сибири, дралась, грабила, убивала инородцевъ и сама погибала.

Колонизаторы Сибири, по самому характеру своему, не имѣли ничего общаго съ вольницей, завоевывавшей страну; люди труда, они были прямою противоположностью людямъ легкой наживы. Такое же коренное раздѣленіе существовало между этими двумя группами и въ послѣдующія времена, существуетъ и теперь. Одни изъ выходцевъ Россіи устраиваются по городамъ, воруя, нищенствуя или занимаясь ремесломъ—такихъ подавляющее большинство; другіе —ничтожное меньшинство—садятся на земельные надѣлы, увеличивая собою деревенское народонаселеніе. Такъ заселялись сибирскія страны.

Единственную точку соприкосновенія обѣихъ группъ составляла всегдашняя боевая готовность отстаивать съ оружіемъ въ рукахъ занятыя земли. Сибирскимъ крестьянамъ пришлось сѣсть не на умиротворенныхъ мѣстахъ, а въ странѣ чужой, населенной храбрыми инородцами, которые долго не могли забыть, что они хозяева земли. Шагъ за шагомъ крестьянамъ приходилось отражать набѣги инородцевъ, отстаивать занятые лѣса и степи и нападать, чтобы

захватить въ окрестностяхъ новыя земли. И чѣмъ храбрѣе были инородцы, тѣмъ труднѣе доставалась крестьянамъ ихъ земля, на которой они проливали не одинъ потъ, но и кровь.

Въ описываемыхъ трехъ округахъ борьба шла съ киргизами. Дикіе, ловкіе и храбрые, киргизы чуть не до послѣдняго времени отстаивали свои права хозяевъ: еще въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія происходили кровавыя стычки между крестьянами и киргизами, которые, впрочемъ, уже перешли въ оборонительное положеніе. Главныя ихъ нападенія были направлены на скотъ, который они то и дѣло угоняли у крестьянъ. Старожилы здѣшніе ярко рисуютъ эту борьбу изо дня въ день. Большинство крестьянъ имѣло винтовки; только бѣдные не были вооружены. Выѣзжали въ поле съ оружіемъ, совершался-ли сѣнокосъ, жнитво или пахота. Старались по возможности выѣзжать на работы толпами; у одиночекъ то и дѣло отнимали киргизы лошадей, нерѣдко убивая ихъ самихъ. Въ Курганскомъ округѣ по рѣкѣ Тоболу во многихъ деревняхъ вамъ покажутъ мѣста, гдѣ происходили сраженія съ киргизами, кочевавшими на одной изъ сторонъ рѣки. „Кыргызы!"—это былъ боевой кличъ. Моментально собиралась вся деревня и гналась за шайкой киргизовъ, угонявшихъ стада коровъ. Встрѣчались возлѣ рѣки и начиналась рѣзня. Успѣвшіе броситься вплавь черезъ рѣку киргизы спасались, но остальныхъ крестьяне убивали, бросая трупы съ кручи берега въ рѣку. Иногда приходилось, наоборотъ, плохо крестьянамъ, въ особенности, когда крестьяне стояли на одномъ берегу, а киргизы на другомъ; удачные выстрѣлы киргизовъ много клали наповалъ мужиковъ.

Кромѣ киргизовъ, крестьяне имѣли противъ себя и суровую природу: дремучіе лѣса, болота. И здѣсь шла борьба, только болѣе постоянная и тяжелая. Берега рѣкъ и озеръ покрыты были непроницаемыми дубровами и, прежде чѣмъ селиться, колонисты должны были очищать лѣса, бороться съ волками и медвѣдями, пролагать дороги сквозь заросли и пр.

Подъ такими вліяніями и соотвѣтственно имъ установились формы землевладѣнія. Русскіе люди принесли съ собой общинные порядки, но здѣсь, въ новой странѣ, эти порядки

подверглись сильному видоизмѣненію. Безъ сомнѣнія, начало земледѣльческихъ работъ возникало вблизи поселенія; къ этому вынуждали киргизы, звѣри, лѣса; безъ сомнѣнія также, что борьба съ этими условіями новой страны сначала велась сообща. Поэтому извѣстное регулированіе правъ на эту землю, добытую цѣлою общиной, началось тотчасъ же, какъ только основалось поселеніе,—регулированіе, производившееся на обширныхъ началахъ. Не было податей, воеводъ и другихъ проявленій государственной власти, подъ давленіемъ которой, по мнѣнію нѣкоторыхъ, держалась община, но община возникла необходимымъ и естественнымъ образомъ, благодаря не столько преданію, вынесенному изъ Россіи, сколько общей борьбѣ съ грозными условіями новой страны, гдѣ отдѣльная личность погибла бы.

Но колонисты не могли ограничиться только землями, лежащими вблизи деревень; безконечный просторъ окружающей природы манилъ ихъ дальше, въ особенности людей энергичныхъ и безстрашныхъ; они, оставляя позади себя болѣе робкихъ и менѣе сильныхъ, удалялись въ поискахъ за пахотой, сѣнокосами и лѣсами далеко отъ деревень и захватывали облюбованные участки. Община не завидовала этимъ смѣльчакамъ, оставляя на ихъ страхъ ихъ предпріятія; не могла она имѣть и притязаній на эти участки, захваченные смѣльчаками. Послѣдніе владѣли участками, какъ хотѣли и сколько могли, не встрѣчая ни малѣйшаго контроля со стороны своихъ односельчанъ, у которыхъ не было не только повода, но и желанія вмѣшиваться въ эти рискованные захваты земель.

Такъ возникъ приблизительно индивидуализмъ сибирскихъ крестьянъ и такимъ образомъ освящено было право захвата.

Впослѣдствіи, когда опасность отъ набѣговъ киргизовъ прошла, когда можно было работать за десятки верстъ отъ деревни безъ всякаго риска, право захвата, уже освященное, перешло и на тѣ земли, которыя находились недалеко отъ деревень, но которыя община почему-либо не включила въ мірскую собственность. Завладѣвшіе ими также не встрѣтили возраженія со стороны цѣлой общины. Могли происходить ссоры между отдѣльными лицами, но общество не вмѣшивалось въ эти споры, признавая неотъемлемое право каж-

даго брать всякую землю, которою не владѣлъ другой, и только въ послѣднемъ случаѣ, когда одинъ покушался отобрать отъ другого уже захваченный участокъ, вмѣшивалась въ споръ община.

Такъ укрѣпилось право захвата. Земли было еще такъ много, что каждому хватало по извѣстной долѣ хорошей земли. И каждый сталъ безконтрольно владѣть тѣмъ, что успѣлъ взять. Онъ могъ засѣвать свою землю, могъ на десятки лѣтъ оставить ее пустовать, но она все-таки принадлежала ему. Состоятельные крестьяне строили на своихъ земляхъ заимки, т.-е. лѣтнія избушки съ сараями и овинами. Заимки еще болѣе санкціонировали индивидуальную собственность, которая начала передаваться по наслѣдству, отъ отца къ сыну и далѣе.

Съ теченіемъ времени индивидуализація подвинулась такъ далеко, что въ общій строй захватной системы вошли и тѣ земли, которыя лежали вблизи деревень; современемъ онѣ стали передаваться по наслѣдству.

Тѣ же самыя причины вліяли на способъ сѣнокошенія. Косилъ всякій тамъ, гдѣ ему нравилось и куда онъ явился первымъ. Впрочемъ, это практиковалось только на удаленныхъ отъ деревни участкахъ, да и то вело за собой безконечныя и непрекращавшіяся распри. Что касается луговъ, находящихся неподалеку отъ деревень, то они ежегодно передѣлялись, и сомнительно, чтобы было время, когда эти луга не передѣлялись.

Нарисованная нами схема землевладѣнія и выясненіе того пути, по которому шло развитіе сибирскихъ общинныхъ порядковъ, даютъ возможность представить прошедшее этого землевладѣнія лишь въ общихъ чертахъ. Схема не всегда совпадаетъ съ дѣйствительно существующими фактами.

Причина этому та, что порядки сибирскаго землевладѣнія не установились прочно и до настоящаго времени. Зависитъ это не только отъ обилія земли, которое позволяетъ крестьянамъ относиться съ меньшею ревностью къ каждому клочку ея, но и отъ другихъ явленій сибирской деревни. Упомянемъ, напр., о той легкости, съ какой крестьяне бросаютъ свои надѣлы въ одномъ, перебираясь на другую землю другого общества; эти постоянныя перебѣжки совершаются всего чаще среди одного общества; одинъ домохозяинъ покупкой

или другимъ какимъ путемъ пріобрѣтаетъ землю другого, а этотъ другой тоже какимъ-нибудь путемъ завладѣетъ землей третьяго; и если бы еще участки переходили изъ рукъ въ руки цѣликомъ, а то переходятъ они мелкими частями, производя непонятную пестроту въ землевладѣніи. Нерѣдко замѣчаются такія явленія: крестьянинъ владѣетъ безспорно извѣстнымъ участникомъ или группой участковъ, а платитъ подати за другія земли, находящіяся въ другомъ обществѣ; далѣе, нѣсколько домохозяевъ сразу предъявляютъ притязанія на одинъ и тотъ же участокъ, и между ними начинаются нескончаемые споры.

Система заимокъ также составляетъ источникъ путаницы въ землевладѣніи; такъ какъ заимки строятъ почти исключительно только богатые домохозяева, то бѣдные, вслѣдствіе захвата, часто лишаются очень существенныхъ частей земли, вслѣдствіе чего въ нѣкоторыхъ деревняхъ происходятъ отмежевыванія извѣстнаго количества земли отъ богатыхъ въ пользу недостаточныхъ.

Но самый ужасный безпорядокъ производятъ мертвыя души или, какъ онѣ здѣсь называются, „упалыя души". Въ исключительно рѣдкомъ хозяйствѣ нѣтъ этихъ мертвыхъ душъ, высылающихъ изъ своихъ могилъ подати. Большинство же домохозяевъ принуждено вѣчно считаться съ мертвецами. Принципіальный порядокъ при этомъ такой: всякій долженъ платить столько мертвыхъ душъ, сколько имѣетъ, и владѣетъ тою землей, какая искони принадлежитъ его роду. Это выходитъ просто. Но на практикѣ этого почти никогда не бываетъ. Домохозяева несостоятельные просятъ міръ сбавить съ нихъ часть мертвыхъ душъ. Міръ уважаетъ просьбы и перекладываетъ души на болѣе зажиточныхъ а зажиточные требуютъ за это извѣстныхъ привилегій при землевладѣніи, напр., при дѣлежѣ покосовъ; часто ихъ требованія исполняются, а иногда нѣтъ—происходятъ безконечныя ссоры.

Особенно обильная пища для ссоръ является въ тѣхъ частыхъ случаяхъ, когда перелагается съ одного общинника на другого не цѣлая душа, а, напр., половина, четверть,—тогда происходитъ путаница, въ которой и сами крестьяне нерѣдко ничего не могутъ сообразить. Извольте-ка удовлетворить надлежащимъ количествомъ земли, напр., осьмушку души!

Изъ сказаннаго видно уже, что сибирская община не пришла еще къ опредѣленнымъ формамъ землевладѣнія. Въ одномъ случаѣ захватные участки признаются неприкосновенными и передаются по наслѣдству; въ другомъ случаѣ тѣ же самые участки признаются подлежащими урѣзкѣ или прибавкѣ— рѣзкое противорѣчіе крестьянской мысли. Въ одномъ случаѣ община предъявляетъ свои верховныя права, въ другомъ она какъ бы забываетъ объ этихъ правахъ. Она пока считаетъ себя безсильною внести равномѣрный порядокъ во взаимныя отношенія между своими сочленами и ограничивается ожиданіемъ новой ревизіи,—ожиданіемъ, которое въ нѣкоторыхъ деревняхъ сдѣлалось просто мучительнымъ,— до такой степени безконечныя столкновенія всѣмъ надоѣли.

Но регулированіе владѣніемъ землей все-таки идетъ естественнымъ путемъ, хотя и медленно, почти незамѣтно. Чтобы указать, въ какую сторону направляется это движеніе, мы разскажемъ два случая изъ деревенской жизни Ишимскаго округа.

Одинъ касается разграниченія земель между двумя или нѣсколькими общинами, владѣвшими землею до этого времени сообща. До послѣднихъ лѣтъ между крестьянами разныхъ деревень происходили ежегодно схватки, ссоры, драки; то и дѣло крестьянинъ одной общины завладѣвалъ землей крестьянина другой общины, пользуясь тѣмъ, что междуобщинной грани не было и земля считалась общей. Чаще же всего схватки происходили между двумя деревнями во всемъ ихъ составѣ; при сѣнокосѣ драка между двумя мірами была дѣломъ до такой степени обыкновеннымъ, что, собираясь на сѣнокосъ, всѣ запасались оружіемъ: кто бралъ хорошую сырую березу, кто ограничивался литовкой, надѣясь, что на мѣстѣ побоища онъ всегда можетъ найти достаточно толстое дерево. Обыкновенно одна деревня успѣвала раньше пріѣхать на луга и выкосить много травы; въ такомъ случаѣ другая деревня, приведенная въ негодованіе этимъ поступкомъ, сразу нападала съ кольями и косами. И, прежде чѣмъ убирать сѣно, обѣ партіи успѣвали сдѣлать достаточное число фонарей подъ глазами и глубокихъ дыръ на тѣлѣ.

Это продолжалось, повторяемъ, до послѣдняго времени, когда всѣ рѣшили такъ или иначе покончить съ этими драками. Приглашали землемѣровъ и разверстывали свои угодья.

При этомъ раздѣлъ совершался не на основаніи только права захвата, но и на принципѣ равноправности: къ тѣмъ землямъ, которыми члены общины владѣли испоконъ вѣка и на правахъ наслѣдственной собственности, пріобрѣтенной захватомъ, прибавлялись земли, не принадлежащія собственно данной общинѣ, а прирѣзанныя къ ней другою общиной въ силу равноправности и соблюденія справедливости. Правда, во многихъ случаяхъ, при этихъ размежеваніяхъ, происходилъ подкупъ землемѣра одною общиной, чтобы заставить его обрѣзать въ угодьяхъ другую общину, но даже и въ этомъ случаѣ признаніе каждымъ права за каждымъ другимъ на ровное надѣленіе землей было несомнѣнно, хотя на дѣлѣ это признаніе и не осуществлялось, благодаря подкупу.

Другой случай рисуетъ взаимныя отношенія односельчанъ.

Въ одной изъ ишимскихъ деревень рѣшили сдѣлать прирѣзку по десятинѣ на каждую душу. Прирѣзка должна была совершиться на счетъ луговъ, которые каждый годъ передѣлялись; но случайно было открыто, что на этихъ лугахъ родится отличный хлѣбъ, и рѣшено было сѣнокосы обратить въ пашни. Къ несчастію, во время дѣлежа нѣсколько десятковъ домохозяевъ находились въ отсутствіи, такъ что раздѣлъ произошелъ безъ нихъ; сходъ рѣшилъ только, что дастъ имъ землю въ другомъ мѣстѣ, если луговъ недостанетъ. Но когда отсутствовавшіе собрались и узнали, что безъ нихъ совершился раздѣлъ, подняли такой шумъ, что деревня надолго превратилась въ сущій адъ; на улицахъ и въ домахъ, на сходкахъ и въ одиночку люди сходились и ругались. Наконецъ, когда всѣмъ стало тошно отъ этой распри, послали старосту къ посреднику. Возвратившись, староста объявилъ рѣшеніе: сидѣть каждому тамъ, гдѣ кто сидѣлъ въ старыя времена, а луговъ не трогать.

Но это легко было сказать, а не исполнить. Многіе уже успѣли вспахать пары на лугахъ. Такимъ образомъ, и луга были испорчены, и пашни не оказалось, и на шеѣ сидитъ безконечная тяжба.

Случайно сошлись въ моей квартирѣ два крестьянина этой деревни, мои знакомые. Чуть не съ первыхъ же словъ они принялись укорять другъ друга въ недобросовѣстности, забывъ совершенно обо мнѣ. Ссорились они все о томъ же. Когда луга были раздѣлены, то одинъ изъ двухъ крестьянъ,

которому ничего не досталось, купилъ у какого-то Васьки его надѣлъ на этихъ лугахъ,—купилъ около двухъ десятинъ за 16 копѣекъ и обработалъ землю подъ будущую пашню, т.-е. вырубилъ и выкорчевалъ кусты. Но когда приказано было всю дѣлежку считать недѣйствительной и раздѣлить луга, попрежнему, подъ сѣнокосъ, то эти двѣ десятины очутились принадлежащими второму моему знакомому. И началась между ними ссора, не разбиравшая ни мѣста, ни времени. Только вмѣшательство посторонняго лица оказало дѣйствіе: первый крестьянинъ согласился уступить купленную (арендованную) землю законному владѣльцу ея, а этотъ послѣдній обязался выплатить первому 16 копѣекъ. Но очевидно, что вырубка кустовъ, а для другого 16 копѣекъ пропали совершенно напрасно; очевидно также, что оба они, каждый свое, будутъ помнить и эти кусты, и эти 16 копѣекъ вплоть до будущей ревизіи, если когда-нибудь она будетъ.

Наиболѣе безпорядочные случаи въ пользованіи земельными угодьями совершаются въ Тюкалинскомъ округѣ *). Тамъ, при населеніи, далеко уступающемъ по количеству населенію Ишимскаго и Курганскаго округовъ, и до настоящаго времени много свободныхъ земель, не вошедшихъ въ захватные и наслѣдственно передающіеся участки. Рядомъ съ этими участками существуютъ поля, гдѣ каждый беретъ столько земли, сколько ему хочется, и дѣлаетъ на ней все, что ему угодно: пашетъ, коситъ, запускаетъ въ залежи или бросаетъ, предоставляя пользоваться брошенною землей другому. Правда, практика установила и для такого рода землепользованія нѣкоторыя ограниченія; такъ, крестьянинъ, облюбовавшій извѣстный участокъ, но не поставившій на немъ какого-нибудь знака, не можетъ заявлять притязанія на этотъ участокъ; если другой крестьянинъ завладѣлъ имъ, онъ долженъ поставить знакъ присвоенія, и тогда земля считается его собственностью; но эта собственность ограничена во времени; если крестьянинъ надолго забросить свою землю,—положимъ, по недостатку силъ обработаться или потому, что занялъ другое мѣсто,—то всякій другой имѣетъ право

*) Мы считаемъ пріятнымъ долгомъ выразить г-жѣ Ш-вой благодарность за доставленіе многихъ свѣдѣній о Тюкалинскомъ округѣ.

взять ее. Относительно покосовъ существуетъ также извѣстное ограниченіе, состоящее въ томъ, что снятіе сѣна въ одномъ году не даетъ права считать своимъ этотъ сѣнокосъ и на другой годъ. Община, главнымъ образомъ, наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы вольныя земли въ дѣйствительности были вольными, чтобы участки пахотной земли не закрѣплялись въ однѣхъ рукахъ на вѣчныя времена, чтобы покосы не считались частною собственностью, чтобы вольные лѣса не вырубались однимъ, оставляя безъ дровъ другого,—однимъ словомъ, община нѣкоторыми ограниченіями и здѣсь наблюдаетъ, чтобы окружающій просторъ былъ доступенъ одинаково для всѣхъ.

Но, тѣмъ не менѣе, безпорядочность землевладѣнія въ Тюкалинскомъ округѣ подтверждается чуть не ежедневными фактами. Одинъ вдругъ начинаетъ отбивать участокъ, занятый на томъ основаніи, что онъ нѣкогда владѣлъ имъ; другой отбиваетъ землю, занятую просто потому, что она ему нравится. И фактическое рѣшеніе этихъ споровъ не всегда совпадаетъ со справедливостью.

Теперь мы перейдемъ къ возможно точному описанію *типической формы землевладѣнія*, безспорно существующей въ изучаемой мѣстности Сибири, несмотря на безпорядочность, хаотичность и разнообразіе въ способахъ пользованія земельными богатствами. Самое броженіе это показываетъ, что кажущееся разнообразіе имѣетъ явное стремленіе принять типическую, однообразную и организованную форму землевладѣнія.

Для удобства мы раздѣлимъ всѣ угодья на *пахотныя*, *сѣнокосныя*, *выгоны*, *огороды*, *усадьбы*, *лѣса*, *озера и рѣки*.

Пахотныя земли, ближайшія къ деревнѣ, а часто и отдаленныя, находятся въ подворномъ владѣніи, причемъ количество земли въ исключительныхъ только случаяхъ соотвѣтствуетъ числу душъ, такъ что по размѣрамъ своимъ эти участки безконечно разнообразны: доходя иногда до 50 десятинъ, они нерѣдко содержатъ только одну-двѣ десятины. На каждый дворъ такихъ участковъ приходится по нѣскольку въ разныхъ поляхъ. Верховное право на нихъ принадлежитъ общинѣ, которая считаетъ ихъ мірскою собственностью; это идеально, но фактически они являются собственностью домохозяевъ, никогда не передѣляются и передаются по

наслѣдству изъ поколѣнія въ поколѣніе. Неравномѣрность этихъ участковъ сильно безпокоитъ крестьянъ, но они ждутъ ревизіи.

Другая часть пахотныхъ земель—это тѣ мѣста, которыя почему-либо остались незахваченными, вслѣдствіе-ли отдаленности ихъ, или вслѣдствіе другихъ какихъ причинъ. Крестьяне называютъ ихъ „вольными", потому что ихъ каждый имѣетъ право брать въ пользованіе, хотя въ большинствѣ случаевъ съ извѣстными ограниченіями, на извѣстное только число лѣтъ. Міръ этими землями распоряжается уже фактически; не стѣсняя въ захватѣ ихъ на извѣстное число лѣтъ, онъ при случаѣ отбираетъ ихъ. Прирѣзки производятся на счетъ этихъ вольныхъ земель, а не на счетъ подворныхъ участковъ; послѣдніе крестьяне не трогаютъ, боясь путаницы. Такимъ образомъ, вольныя земли фактически являются общинными; когда нѣтъ нужды, ими пользуется всякій, кто въ силахъ, а когда необходимо, міръ дѣлитъ ихъ, какъ это мы и видѣли, на лугахъ, которые крестьяне вздумали-было обратить въ пашни.

Сѣнокосы также по существу двухъ родовъ.

Одни, находящіеся по близости деревень или особенно цѣнные, хотя и удаленные отъ деревень, ежегодно передѣляются по числу душъ, причемъ самый механизмъ раздѣла ничѣмъ не отличается отъ способовъ дѣлежки въ русскихъ губерніяхъ.

Другіе принадлежатъ къ вольнымъ лугамъ. Всего чаще сѣнокосы эти расположены на тѣхъ вольныхъ земляхъ, о которыхъ только что сказано: между кустарниками и по залежамъ, съ незапамятныхъ временъ не знавшимъ сохи. По мелочамъ здѣсь всякій можетъ косить; возъ-два не запрещаются. Но большее количество сѣна уже входитъ въ сферу вмѣшательства міра. Обыкновенно въ такомъ случаѣ практикуется слѣдующій порядокъ.

Общимъ голосомъ деревни назначается день захвата этихъ вольныхъ сѣнокосовъ, и рано утромъ въ назначенный день всѣ наличные работники собираются въ условномъ мѣстѣ за деревней. Когда всѣ уже въ сборѣ, подается сигналъ, и вся масса косцовъ, сломя голову, скачетъ къ мѣстамъ сѣнокоса, гдѣ каждый и коситъ, сколько успѣетъ и сможетъ, для чего каждый предварительно закашиваетъ косой такой кругъ,

какой успѣетъ. И вотъ этотъ-то кругъ считается уже его собственностью. Извѣстно, что порядокъ этотъ свойственъ не одной Сибири, но, напр., является распространеннымъ обычаемъ среди уральскихъ казаковъ, которые, въ свою очередь, также, вѣроятно, не первые выдумали его. Въ Сибири, въ описываемыхъ здѣсь странахъ, онъ, должно быть, скоро отойдетъ въ область преданія, потому что частыя ссоры, переходящія въ драки, всѣмъ крестьянамъ наскучили. Медленно, но изъ года въ годъ этотъ, такъ сказать, безпорядочный порядокъ замѣняется ежегоднымъ дѣлежемъ по всѣмъ правиламъ деревенскаго землемѣрнаго искусства.

Выгоны или какъ ихъ здѣсь называютъ „поскотины" (подъскотины) находятся въ общемъ пользованіи. Міромъ нанимаютъ пастуха для каждаго стада, и онъ пасетъ порученный ему скотъ въ поскотинахъ. Но пастьба длится здѣсь только до „бызовки"*).

Бызовка дѣлитъ выгоны на два разряда. О первомъ мы сказали. Второй состоитъ вотъ въ чемъ: когда начинается бызовка, стада разбираются по рукамъ и каждый владѣлецъ скота пасетъ своихъ животныхъ отдѣльно, или отправляя ихъ на заимки, если онѣ у него имѣются, или на тѣ собственные участки, которые расположены близь деревни. Затѣмъ, когда жаръ спадетъ, оводы пропадаютъ, скотъ опять собирается въ стада и пасется по скошеннымъ лугамъ лѣтомъ и на пашняхъ въ началѣ осени. Понятно, что тамъ, гдѣ, по мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, оводъ не производитъ такого вреда, скотъ все лѣто пасется въ стадахъ на общинныхъ земляхъ.

Огороды не имѣютъ большого значенія здѣсь, не представляя существеннаго элемента хозяйства. Но, тѣмъ не менѣе, они въ большинствѣ хозяйствъ имѣются. Приэтомъ тѣ огороды, которые непосредственно примыкаютъ къ деревнѣ, состоятъ въ наслѣдственномъ пользованіи каждаго дома и совершенно изъяты изъ сферы власти міра; они никогда

*) Это оригинальное слово звукоподражательнаго характера. Ко времени наступленія жаровъ, когда появляются оводъ, слѣпень и другія жалящія насѣкомыя, издающія извѣстный звукъ, скотъ отбивается отъ рукъ; заслышавъ страшный для него звукъ, онъ въ бѣшенствѣ кидается въ разсыпную, и никакая сила уже не удержитъ его. Все это вмѣстѣ и называется „бызовкой".

не передѣляются, не отрѣзываются и не прирѣзываются, да, по своей незначительности и ничтожной роли въ хозяйствѣ, этотъ родъ угодій никогда и не вызываетъ недоразумѣній; только бабы иногда возбуждаютъ по поводу капустниковъ пререканія между собой. Когда же является надобность отрѣзать мѣсто подъ огородъ для новаго хозяйства, то пустопорожнее мѣсто всегда находится возлѣ деревни.

Кромѣ этого, есть много любителей рѣпы или моркови, которымъ обыкновенный огородъ кажется неудовлетворительнымъ; тогда они садятъ овощи на поляхъ, вдали отъ деревни, очень часто на вольныхъ земляхъ, не встрѣчая никакого возраженія со стороны односельчанъ.

Усадьбы и права владѣнія ими соотвѣтствуютъ всему, что сейчасъ разсказано о другихъ родахъ угодій. Онѣ также раздѣляются на два порядка, смотря по силѣ власти міра надъ ними. Усадьбы, на которыхъ стоятъ собственно дома и другія постройки деревни, находятся въ личномъ владѣніи каждаго домохозяина, переходятъ наслѣдственно изъ поколѣнія въ поколѣніе, передаваясь иногда даже по духовному завѣщанію. Если обществу встрѣчается необходимость отвода новой усадьбы подъ строенія новаго семейства, то земля всегда отыскивается среди пустопорожнихъ мѣстъ, никѣмъ въ частности не занятыхъ и принадлежащихъ вообще деревнѣ.

Другой родъ усадебъ—это такъ называемыя заимки съ такимъ правомъ давности (онѣ возникли сотни лѣтъ назадъ), что ихъ не трогаютъ ни въ какомъ случаѣ, ожидая для ихъ раздѣла ревизіи; онѣ передаются изъ поколѣнія въ поколѣніе и не входятъ въ кругъ вмѣшательства общества. На нихъ строятся избушки, овины, сараи, гумны, и никто не считаетъ себя вправѣ выражать на это неудовольствіе. Но большинство заимокъ, болѣе поздняго захвата и болѣе мелкіе по своимъ строеніямъ, признаются собственностью домохозяина до тѣхъ только поръ, пока онъ не бросилъ ихъ, а затѣмъ они или дѣлаются вольными, или поступаютъ въ полное распоряженіе міра. То же самое можно сказать и о земляхъ, принадлежащихъ къ этимъ заимкамъ. Такъ, у знакомаго мнѣ крестьянина сгорѣла заимка, состоящая изъ избушки и сарая, а вмѣстѣ съ этими постройками сгорѣли и двѣ его лошади, на которыхъ въ этотъ день семья пріѣхала въ поле на работу. Крестьянинъ сильно обѣднѣлъ и не въ си-

лахъ построить новую заимку; и если нѣкоторое время снова не займетъ ее, то она перейдетъ въ распоряженіе міра или въ качествѣ вольнаго мѣста будетъ занята другимъ.

Лѣса не являются исключеніемъ изъ общаго порядка.

Одни изъ нихъ съ незапамятныхъ временъ раздѣлены по дворамъ, за которыми и закрѣпились неподвижно. Участки эти, разумѣется, неравномѣрны, рѣдко находясь въ соотвѣтствіи съ количествомъ душъ двора. Лежатъ они преимущественно недалеко отъ деревень, чѣмъ отличаются своимъ хорошимъ качествомъ. Пользованіе ими не ограничено никакими стѣсненіями; всякій владѣлецъ можетъ безконечное число лѣтъ ростить свой лѣсъ, но можетъ и до чиста его вырубить, выкорчевать и обратить подъ пашню или покосъ, можетъ даже просто опустошить свой участокъ безпорядочно, и никто слова ему на это не скажетъ. Тѣмъ не менѣе, крестьяне ждутъ только ревизіи, чтобы уровнять лѣсныя дачи пропорціонально количеству душъ.

Всѣ остальные лѣса, не вошедшіе въ наслѣдственные участки по отдаленности или вслѣдствіе малоцѣнности, принадлежатъ къ числу вольныхъ. Никто не станетъ возражать изъ односельчанъ, если крестьянинъ вырубитъ изъ этихъ лѣсовъ какія-нибудь мелочи для хозяйскихъ нуждъ— оглобли, ось, корягу для дуги или возъ прутьевъ для плетня. Во многихъ мѣстахъ до послѣдняго времени были даже такія лѣсныя дачи, изъ которыхъ каждый могъ рубить дровъ сколько ему нужно. Но въ большинствѣ случаевъ для крупныхъ порубокъ назначается время и мѣсто, и лѣсъ дѣлится пропорціально числу душъ.

Озера и *рѣки* съ каждымъ годомъ теряютъ свое значеніе угодій, вслѣдствіе постояннаго уменьшенія рыбы въ нихъ, но пока онѣ все-таки должны идти въ счетъ. На обыкновенныхъ озерахъ каждый крестьянинъ имѣетъ право ловить рыбу сколько можетъ и какими угодно снастями. Дѣломъ этимъ заняты по большей части одни старики, неспособные уже къ другой работѣ.

Что касается озеръ рыбныхъ, то міръ распоряжается ими на правахъ общиннаго угодья; отдаетъ ихъ въ аренду или оставляетъ за собой, эксплоатируя собственными наличными силами всѣхъ общинниковъ. Къ сожалѣнію, мы не имѣли возможности собрать подробныхъ свѣдѣній о формахъ

этого пользованія и потому, не касаясь многихъ частностей, скажемъ только самое общее. Вся деревня составляетъ артель, въ которой каждый имѣетъ извѣстныя обязанности при неводѣ; иногда общество разбивается на нѣсколько артелей, причемъ каждая артель имѣетъ свою организацію, а всѣ вмѣстѣ подчиняются общинѣ, которая дѣлитъ все озеро на участки, достающіеся каждой артели по жеребью. Затѣмъ уже каждая артель дѣлитъ уловъ между своими членами.

Итакъ, вотъ та типическая форма сибирскаго землевладѣнія, которая въ большинствѣ случаевъ покрываетъ собою всѣ явленія, относящіяся къ землевладѣльческимъ порядкамъ, хотя иногда цѣликомъ и не совпадаетъ съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей, то удаляясь отъ общаго типа, то приближаясь къ нему.

Разсматривая эту форму землевладѣлія, мы, прежде всего, замѣчаемъ, что, за исключеніемъ сѣнокосовъ и водъ, всѣ роды угодій дѣлятся въ неизмѣнномъ порядкѣ на два класса: одинъ классъ заключаетъ въ себѣ постоянные, непередѣляющіеся и наслѣдственно передаваемые участки, на которые община простираетъ свое верховное право только въ прошедшемъ и будущемъ, не вмѣшиваясь въ настоящемъ: община во всемъ составѣ своихъ членовъ помнитъ, что нѣкогда эти земли принадлежали всѣмъ общинникамъ вообще и что онѣ всегда будутъ принадлежать міру и на будущее время. При первомъ удобномъ случаѣ, напр., при всеобщей переписи, онѣ отойдутъ къ общинѣ и передѣлятся снова, сообразно съ новымъ составомъ населенія.

Другой классъ угодій заключаетъ въ себѣ земли вольныя, подлежащія праву захвата каждымъ общинникомъ, и земли, состоящія въ полномъ распоряженіи общины. Ясно, что оба эти вида земель отличаются другъ отъ друга только по той степени власти, какая простирается на нихъ со стороны общины. Вольныя земли—это тотъ фондъ, изъ котораго удовлетворяются вновь нарождающіяся нужды. Когда является необходимость прирѣзки, это совершается на счетъ вольныхъ земель; когда заимка на вольной землѣ оказывается нужной общинѣ, то послѣдняя отбираетъ ее; когда, наконецъ, настаетъ необходимость правильно раздѣлить всѣ вольныя земли, то онѣ и раздѣляются.

Другая черта, замѣчаемая нами въ сибирскомъ землевладѣніи и прямо вытекающая изъ первой, состоитъ въ своеобразномъ смѣшеніи наслѣдственности съ передѣломъ, частной собственности съ верховною властью міра, индивидуальности съ солидарностью. Разъ міръ надѣлитъ своего сочлена землей, онъ уже не вмѣшивается въ пользованіе ею; каждый имѣетъ право передать землю своимъ дѣтямъ безъ участія общины; каждый можетъ съ своимъ надѣломъ дѣлать что угодно—вырубить лѣсъ, засѣять пашню какимъ ему хочется родомъ хлѣба, до всего этого міру нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Но міръ вообще и каждый членъ его въ частности знаютъ, что, при всеобщей надобности, участки смѣшаются въ общую массу общинной земли и снова передѣлятся, какъ передѣляются теперь ежегодно или черезъ нѣсколько лѣтъ тѣ сѣнокосы и вольныя земли, которыми фактически и постоянно распоряжается міръ.

На основаніи всего только что сказаннаго мы уже и теперь можемъ указать тотъ путь, по которому пойдетъ сибирская община въ описываемой странѣ, и тотъ *типъ*, къ которому постепенно приближается сибирское землевладѣліе.

Вольныя земли, составляющія до сихъ поръ предметъ захвата, современемъ все болѣе и болѣе будутъ переходить въ фактическій контроль общества, причемъ сѣнокосы войдутъ въ общую массу ежегодно передѣляющихся угодій, а пахотныя земли обратятся въ участки, фактически принадлежащіе отдѣльнымъ домохозяевамъ, хотя съ юридическою властью общины.

Теперешніе отдѣльные участки при первомъ удобномъ случаѣ снова разверстаются по началамъ справедливости, но затѣмъ опять на долгое время перейдутъ въ отдѣльное пользованіе каждаго общинника, безъ мелочнаго вмѣшательства общины, безъ страха отчужденія ихъ въ другія руки.

Другія угодья примкнутъ къ этимъ двумъ классамъ, смотря по характеру своему; такъ, лѣса, вѣроятно, послѣ новаго раздѣла опять будутъ розданы по отдѣльнымъ рукамъ и на долгія времена, а выгоны останутся общиннымъ достояніемъ ежегодно.

Въ этомъ направленіи и теперь уже во многихъ обществахъ идетъ горячая борьба и возбужденіе. И если пока мы можемъ назвать нѣсколько волостей, гдѣ эта борьба кон-

чилась какими-нибудь результатами, то это потому, что крестьяне боятся путаницы, которая можетъ произойти отъ общаго передѣла, не надѣются собственными силами уладить дѣла общины и ждутъ высшей, государственной санкціи. Эта боязнь основательная. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что въ какомъ-нибудь обществѣ начался общій пересмотръ владѣній; но одно существованіе мертвыхъ душъ внесло бы такую путаницу, что превратило бы деревню въ адъ.

Насколько сибирская форма землевладѣнія, сейчасъ описанная, способствуетъ введенію интенсивной культуры и въ какой мѣрѣ эта культура уже существуетъ?

Добрую половину этого вопроса мы сочли бы праздною шуткой, неумѣстною подъ перомъ уважающаго себя изслѣдователя, но, въ виду раздающихся съ нѣкоторыхъ сторонъ жалобъ на хищничество сибирскаго мужика и обвиненій его въ полной неспособности въ культурной предусмотрительности, мы отвѣтимъ на этотъ вопросъ.

Въ сибирской деревнѣ мы нашли общину глубоко сознающею свои верховныя права на землю, но не позволяющую себѣ вмѣшиваться въ отдѣльныя хозяйства своихъ сочленовъ; мы нашли духъ солидарности, своеобразно соединенный съ духомъ свободы для каждой индивидуальности; мы узнали, что во владѣніи своею землей каждый можетъ производить какія угодно операціи. Несомнѣнно, что такая форма очень удобна для введенія интенсивной культуры. Пользуясь своимъ участкомъ неопредѣленно долгое число лѣтъ, на протяженіи, по крайней мѣрѣ, двухъ поколѣній, работникъ не можетъ опасаться за цѣлость произведенныхъ улучшеній; не встрѣчая со стороны міра мелкихъ придирокъ, постоянныхъ ограниченій и вмѣшательства въ его земледѣльческія работы, онъ можетъ въ полной мѣрѣ считать себя свободнымъ и въ состояніи дѣлать какіе угодно опыты на своемъ участкѣ.

Почему же въ Сибири нѣтъ даже признака интенсивнаго хозяйства?

Потому, что *въ этомъ до сихъ поръ не было надобности*. Когда подъ руками есть неизмѣримый просторъ полей, когда земля богата черноземомъ, когда этотъ черноземъ не истощенъ, тогда нелѣпо было бы требовать отъ крестьянина интенсивной культуры. Колонисты Запада, Америки и Канады, по-

мѣщикъ Венгріи и нашей Малороссіи также практикуютъ залоговое хозяйство, распахивая новыя земли и забрасывая на много лѣтъ старыя, но ихъ никто не обвиняетъ въ хищничествѣ. Придетъ время—и это хозяйство приметъ высшую культуру, какъ приметъ ее въ свое время и русскій крестьянинъ и сибирякъ. А теперь этотъ крестьянинъ былъ бы помѣшаннымъ безумцемъ, если бы, въ виду простора, сѣлъ на маленькій клочекъ земли и ухаживалъ бы за нимъ съ ревностью французскаго крестьянина, имѣющаго два акра.

Недавно въ одной изъ деревень Ишимскаго округа, вблизи города, произошло такое событіе. Крестьяне этой деревеньки, видя, что ихъ хлѣбъ то померзаетъ, то вымокаетъ и вообще плохо родится, рѣшили общимъ голосомъ и общими силами удобрить землю. И начали они возить на поля навозъ, возили день, два, цѣлый мѣсяцъ; свозили сотни тысячъ возовъ; свезли все, что было въ деревнѣ вонючаго, и стали ждать слѣдствій. Къ ихъ удивленію, хлѣбъ почти вовсе пересталъ родиться; на унавоженныхъ мѣстахъ выросла такая густая и высокая трава, что походила на лѣсъ; трава-лѣсъ съ невѣроятною силой душила хлѣбъ, пока крестьяне не рѣшились бросить, наконецъ, это ужасное мѣсто.

Крестьяне въ этомъ случаѣ сыграли роль Иванушки; они смутно слыхали, что землю можно удобрять; слыхали, что для этого употребляется навозъ, и рѣшили сдѣлать опытъ, упустивъ изъ виду, что земля ихъ и безъ того богата, что посѣвы страдаютъ отъ климатическихъ условій и что противъ климатическихъ вліяній есть другія мѣры, въ число которыхъ ни въ какомъ случаѣ навозъ не входитъ...

Хищническое истребленіе лѣсовъ безспорно, но оно зависитъ отъ другой причины, болѣе глубокой, болѣе общей и болѣе печальной, нежели отсутствіе интенсивнаго хозяйства,—мы разумѣемъ потерю сибирскихъ богатствъ безъ всякаго результата для умственнаго развитія сибирскаго крестьянина.

Но объ этомъ въ слѣдующей главѣ.

III.

Очеркъ культуры.

Рѣзкая разница между сибирякомъ и русскимъ.—Но измѣнился не сибирякъ, а русскій; сибирскій крестьянинъ есть чистый типъ русскаго человѣка Московскаго періода.—Удовлетвореніе потребностей. — Пища; ежедневное питаніе одного семейства; водка.—Одежда; заимствованіе отъ инородцевъ и собственныя издѣлія.—Жилыя и хозяйственныя строенія.—Земледѣльческія орудія.—Земледѣліе и его пріемы.—О чемъ стоитъ жалѣть въ жизни крестьянъ.

Есть въ Самарской губерніи одинъ уголъ (въ Бузулукскомъ уѣздѣ), *населенный сибиряками* въ количествѣ нѣсколькихъ большихъ селъ, которыя расположились на протяженіи болѣе чѣмъ на пятьдесятъ верстъ въ діаметрѣ. Переселились они сюда изъ Челябинскаго уѣзда въ 20-хъ или 30-хъ годахъ нашего столѣтія по той причинѣ, что когда образовалась одна изъ казачьихъ линій въ Оренбургской губерніи, то имъ было предложено или выселиться, или перейти въ казаки; они выбрали первое и ушли огромною массой, въ нѣсколько тысячъ душъ, въ Самарскую губ., въ то время еще пустую. Впослѣдствіи рядомъ съ ихъ деревнями стали основываться другіе поселенцы изъ внутреннихъ губерній, но сибиряки не сливались съ ними; складъ ихъ жизни былъ настолько отличный отъ обычаевъ русскихъ крестьянъ, что они продолжали жить особнякомъ, не допуская въ свою среду русскихъ крестьянъ; отношенія между ними были если не враждебныя, то во всякомъ случаѣ брезгливыя. Со стороны сибиряковъ считалось позоромъ вступать въ бракъ съ женщиной русскихъ крестьянъ; сибиряки презирали русскихъ за ихъ нечистоту, за ихъ костюмъ, за ихъ языкъ. Въ свою очередь, русскіе крестьяне, признавая безспорно превосходство сибиряковъ въ домашней жизни, злобно называли ихъ „колдыками" (отъ слова „колды", вмѣсто „когда"), неумѣющими говорить настоящимъ русскимъ языкомъ. Это продолжалось до 70-хъ годовъ, когда пишущій эти строки потерялъ изъ виду этотъ уголъ, но несомнѣнно продолжается и до настоящаго времени.

Мы разсказали объ этомъ съ цѣлью констатировать несомнѣнно существующее различіе между „россійскими" и си-

бирякамн. Да и странно было бы, если бы эти два класса крестьянъ, проживъ почти въ полномъ разъединеніи нѣсколько сотъ лѣтъ, сохранили одинаковый типъ. Находясь подъ вліяніемъ различныхъ условій, они въ своемъ развитіи пошли по различнымъ дорогамъ, образовавъ два различные типа людей.

Но отклонились отъ общаго типа не сибиряки, а русскіе, или, по крайней мѣрѣ, сибиряки менѣе, нежели русскіе, подверглись измѣненію. Поселившись въ Сибири, они долгое время жили отдѣленными отъ всего міра; ихъ сношенія съ русскимъ міромъ были случайны; они помнили все, что принесли съ собой изъ Руси, но ничего новаго не могли прибавлять. Тамъ, гдѣ масса инородцевъ была плотная, они много переняли отъ дикарей, но тамъ, гдѣ туземное населенія не было многочисленно и не охватывало кольцомъ русское населеніе, послѣднее не подвергалось вліянію даже и со стороны дикарей.

Именно такъ дѣло стояло въ описываемой странѣ. Киргизы, съ которыми долго пришлось бороться крестьянамъ, не могли оказать замѣтнаго вліянія на нихъ; крестьяне перенимали отъ своихъ дикихъ враговъ нѣкоторыя вещи, напр., одежду, утварь и прочее, въ чемъ видѣли пользу, но не скрещивались съ ними, не ассимилировались.

Такимъ образомъ, сохранивъ въ неизмѣнной цѣлости русскій типъ, вынесенный ими изъ прежней родины, они въ то же время не подверглись вліянію и со стороны туземныхъ обитателей новой родины. И если бы кто вздумалъ искать чистый русскій типъ Московснаго періода нашей исторіи, то наиболѣе чистый онъ нашелъ бы, вѣроятно, въ южной половинѣ Тобольской губерніи, среди Ишимской степи.

Мы не имѣемъ права дальше распространяться здѣсь объ этомъ предметѣ и потому перейдемъ прямо къ занимающему насъ вопросу о культурѣ сибирскаго крестьянина изучаемой страны. Для удобства и во избѣжаніе недоразумѣній, опредѣлимъ „культуру“ въ смыслѣ извѣстной степени матеріальнаго благосостоянія и умѣнья пользоваться этимъ благосостояніемъ для всесторонняго человѣческаго развитія.

Переселившись въ новую страну, крестьяне нашли въ ней неизмѣримый просторъ и огромныя естественныя богатства, не тронутыя человѣческою рукой. Подъ руками у нихъ были

обширные дремучіе лѣса, озера, полныя рыбой и дичью, земля, которую не бороздила соха. Когда они принялись работать среди этой дѣвственной природы, у нихъ скоро развелись огромныя стада скота, распаханы были широкія пространства тучной земли, накошены горы сѣна.

Ничего не было запретнаго для поселенца. Для постройки дома онъ вырубалъ лучшія деревья лѣса; въ пищу могъ употреблять отборный хлѣбъ и неограниченное количество мяса; для производства одежды обладалъ также неограниченнымъ количествомъ шерсти, льну, пеньки. Всего было въ волю.

Но зато произведенія заводской и фабричной промышленности были недоступны для крестьянъ; во всей странѣ не было даже попытокъ въ этомъ родѣ; города долгое время походили на деревни. Крестьяне поневолѣ должны были изворачиваться сами, удовлетворяя всѣ свои потребности собственными измышленіями. Когда надо было пріобрѣсти дугу, они искали въ лѣсу подходящей коряги; когда изнашивалась обувь, они шили себѣ бродни—сапоги, похожіе на мѣшки изъ кожи. Часто ни за какую цѣну нельзя было достать косы, а бороны нерѣдко дѣлались съ деревянными зубьями.

Изворачиваясь своимъ умомъ, крестьяне до послѣдняго времени всѣ нужды свои удовлетворяли сами: ткали изъ льна и шерсти одежду для себя, строили собственными руками свои дома, замѣняя стекла требушиной, сколачивали, какъ умѣли, телѣги, бороны, колеса, плуги и т. п.

Эта печать собственнаго измышленія лежитъ на всѣхъ вещахъ сибиряка. При этомъ мы не беремъ въ разсчетъ тѣхъ крестьянъ, которые разселились по большимъ трактамъ и которые высотой своего обезпеченія и развитія подали поводъ ко многимъ недоразумѣніямъ, но смѣшивать этихъ крестьянъ съ тѣми, которые живутъ въ глубинѣ лѣсовъ и степей, значитъ то же, что смѣшивать въ одну кучу мужиковъ, живущихъ около Петербурга, вообще съ мужиками. Имѣя это въ виду, мы воздержимся отъ описанія всего исключительнаго и несущественнаго и разскажемъ только то, что наиболѣе распространено, наиболѣе обще и наиболѣе типично.

Предоставленная исключительно самой себѣ, мысль крестья-

янина, тѣмъ не менѣе, все-таки изобрѣтала въ области матеріальныхъ улучшеній.

Это въ особенности относится къ пищѣ. Въ то время, какъ русская баба, не жившая нигдѣ въ городѣ, является положительно безпомощною сдѣлать сколько-нибудь человѣческій обѣдъ, сибирячка знаетъ множество поварскихъ секретовъ чисто-крестьянскаго произведенія. Обставленная большими средствами въ выборѣ сырыхъ матеріаловъ, служащихъ пищей, она выучилась лучше печь хлѣбъ, варить и жарить мясо и приготовлять молочные продукты. Затѣмъ явилась уже и прямая изобрѣтательность, какъ слѣдствіе обезпеченія первыхъ потребностей и большаго досуга. Въ сибирской деревнѣ умѣютъ сдѣлать множество видовъ печенья, хорошо обращаются съ соленьемъ и знаютъ, какъ нѣкоторыя вещи приготовлять въ прокъ. Правда, все это умѣнье можетъ возбудить въ городскомъ жителѣ брезгливость и иронію, но это умѣнье, поставленное рядомъ съ таковыхъ же русскаго крестьянина, показываетъ несомнѣнное превосходство сибиряка: разнообразіе въ пищѣ, чистота приготовленія, питательность.

Иногда сибирскія кушанья поражаютъ невѣроятными комбинаціями; пироги съ рѣпой, рѣдька со сметаной, сладкое сусло съ хрѣномъ, чай съ лукомъ—вообще нѣчто невообразимое и непонятное. Но если мы не потеряемъ изъ виду сказанную выше отчужденность отъ всего міра сибирскаго крестьянина, то для насъ все объяснится. Несомнѣнно, что мысль женской половины здѣшняго населенія сильно работала въ этомъ направленіи, изобрѣтая невѣроятныя комбинаціи пищевыхъ средствъ, которыхъ въ сыромъ видѣ было много.

Выберемъ среднюю крестьянскую семью средней зажиточности, притомъ въ деревнѣ, удаленной отъ постороннихъ, не-сибирскихъ вліяній, и посмотримъ, какъ она питается.

Знакомое намъ семейство состоитъ изъ мужа и жены, сына-работника и двухъ подростковъ-дѣвочекъ. Обрабатываетъ она отъ шести до десяти десятинъ земли въ годъ.

Имѣетъ 4 лошади, три коровы, съ десятокъ овецъ, пару свиней и птицу—куръ и гусей.

Утромъ она завтракаетъ молокомъ, сыромъ, сметаной съ хлѣбомъ. запивая все это кирпичнымъ чаемъ безъ сахару.

Чай пьется въ неограниченномъ количествѣ, но сахаръ подается только гостямъ или въ праздники. Такой завтракъ совершается два раза въ день, утромъ рано и часовъ въ десять.

На обѣдъ подается супъ изъ мяса съ мукой или мясныя щи. Второе блюдо состоитъ изъ жаренаго въ маслѣ картофеля.

Вечеромъ закусываютъ чаемъ съ хлѣбомъ.

На ужинъ остатки обѣда и опять молоко, сыръ, сметана съ хлѣбомъ,—все это опять запивается чаемъ.

Иногда того или другого вида изъ перечисленной пищи недостаетъ, но общій видъ питанія остается одинъ и тотъ же. Главное содержаніе этой пищи—чай, мясо, молоко, творогъ, сметана, хлѣбъ, картофель; это круглый годъ, изо дня въ день, готовится. Чай вошелъ въ такое употребленіе, что самый бѣдный крестьянинъ пьетъ его цѣлый годъ, даже тогда, когда у него больше ничего нѣтъ. Мясо составляетъ всебщую потребность. Зимой крестьяне нерѣдко покупаютъ его въ городѣ, но самое распространенное мясо—это сушеное или вяленое, приготовляемое самими крестьянами; оно держится у нихъ круглый годъ, такъ что все лѣто они его употребляютъ. У моего семейства потребляется его до 15 пуд. въ годъ, кромѣ того, еще двѣ три свиныя туши, нѣсколько десятковъ птицы и сушеная рыба. Послѣдняя также сильно распространена между крестьянами и употребляется ими въ посты.

Въ посты семейство ѣстъ грибы сушеные и соленые, капусту, картофель, рыбу.

Въ праздники готовятся тѣ изобрѣтенія кухонной мысли, которыми славятся сибиряки. Въ общемъ питаніе крестьянъ обильно по количеству, разнообразно и хорошо по качеству, оставивъ далеко позади себя питаніе русскаго мужика.

Что касается водки, то о ней мы должны сказать, можетъ быть, къ огорченію тѣхъ людей, которые увѣрены въ природной склонности русскаго мужика къ безшабашному пьянству, что потребленіе ея здѣсь больше, и все-таки пьянства нѣтъ между крестьянами. Зажиточные крестьяне держатъ водку въ домѣ круглый годъ для себя, для гостей и для всякаго другого случая; передъ страдой даже недостаточные покупаютъ водку цѣлыми боченками въ два-три ведра—это

для угощенія помочи. Къ праздникамъ Пасхи и Рождества всѣ поголовно запасаются водкой. И все-таки пьянства по деревнямъ здѣсь нѣтъ.

Крестьянинъ здѣшнихъ мѣстъ не пропьетъ шапку, не сниметъ ради водки панталонъ и не стащитъ у жены сарафана; водку онъ покупаетъ тогда, когда ему есть на что купить, и пьетъ столько, сколько можетъ, но хозяйство его не терпитъ отъ этого никакого убытка. *Потому что у нихъ нѣтъ болѣзни пьянства.* Даже прогулявъ нѣсколько дней, онъ встаетъ здоровымъ, работящимъ, умнымъ. Пьетъ онъ не затѣмъ, чтобы загасить болѣзненную страсть, а ради удовольствія и всегда остается душевно трезвымъ и умѣреннымъ.

Объ одеждѣ можно сказать немного. Мы намекнули выше, что здѣшній крестьянинъ перенялъ кое-что отъ киргизовъ. Это всего болѣе относится къ одеждѣ. Поставленные въ необходимость прясть и ткать самолично, они часто не имѣли ни времени, ни умѣнья сдѣлать себѣ одежду, а подъ руками были дешевые киргизскіе халаты изъ верблюжьей ткани, по-своему красивые, легкіе, необыкновенно прочные и непромокаемые, и русскіе усвоили эту одежду. Когда стали распространяться издѣлія московской хлопчато-бумажной промышленности, крестьяне стали дѣлать одежду изъ нихъ, но не бросили и азіятскихъ халатовъ, какъ не бросили ткать и свое домашнее сукно. Вмѣстѣ съ ситцами, коленкорами и шерстяными матеріями, сбытъ которыхъ въ Сибири составляетъ одинъ изъ крупныхъ разсчетовъ русскихъ фабрикантовъ, продолжаютъ носиться и матеріи туземныя.

Если лѣтомъ здѣшній крестьянинъ одѣвается хорошо, то зимой тепло; здѣсь трудно встрѣтить крестьянина-оборванца, подобно русскому мужику, незащищенному отъ дождя и холода. Теплые кафтаны и шубы у всякаго есть. Въ холодные зимніе дни крестьяне носятъ двѣ шубы—одну короткую внизу, другую на верху; послѣдняя въ формѣ дохи, т.-е. выворочена мѣхомъ вверхъ. Такая же шапка, такія же рукавицы шерстью вверхъ и точно также иногда надѣваются сапоги мохнатые. Правда, это одѣяніе дѣлаетъ здѣшняго мужика похожимъ на какого-то невиданнаго звѣря, но зато тепло. Обычай этотъ—выворачивать одежду шерстью вверхъ—заимствованъ, вѣроятно, отъ сѣверныхъ инородцевъ и привился потому, что въ самомъ дѣлѣ такая одежда хорошо защища-

етъ отъ сильныхъ морозовъ, для которыхъ обыкновенный тулупъ просто шутка. Сибирскія пимы (валенки) не менѣе распространены; ихъ носитъ старый и малый, мужчины и женщины, деревенскій и городской житель.

Трудно сказать, есть-ли какая-нибудь вещь изъ одежды, которая впервые здѣсь произведена была; за исключеніемъ развѣ половиковъ изъ коровьей шерсти, да, можетъ быть, нѣсколькихъ мелочей, нѣтъ ничего, что явилось бы непосредственнымъ крестьянскимъ творчествомъ.

Перейдемъ къ постройкамъ.

Странное впечатлѣніе производитъ внѣшній видъ здѣшней деревни. Столько было говорено про эти сибирскія хоромы изъ толстыхъ бревенъ, веселыя, чистыя, прочныя, сейчасъ же рисующія довольство ихъ хозяевъ, что наблюдателемъ, увидавшимъ дѣйствительно сибирскую деревню, а не трактовую, овладѣваетъ сильное разочарованіе. Сначала, въ первое время, деревня кажется даже просто жалкою. Кривые, неправильно построенные домишки, множество запутанныхъ переулковъ, безалаберность всѣхъ построекъ, —отъ всего этого дѣлается просто тяжело. Одна улица дѣлаетъ такіе зигзаги что кажется ущельемъ; другая улица въ десять саженей длины и когда въѣдешь въ нее, то кажется, что изъ нея нѣтъ выхода. Одинъ домъ выглядываетъ окнами на улицу, а стоящій рядомъ съ нимъ обратилъ окна куда-то въ поле; у одного на улицу выдвинулась стѣна, а другой домохозяинъ построилъ чуть не на серединѣ улицы огородъ; надѣясь попасть въ ворота двора, попадешь на скотскій загонъ.

И долго это впечатлѣніе не изглаживается. Разсматривая каждый домъ въ отдѣльности, сейчасъ видишь, что онъ построенъ собственными руками хозяина, при помощи столь же неумѣлыхъ односельчанъ. Бревна хорошія, крыша изъ сосновой драни, но все это такъ неправильно придѣлано другъ къ другу, что домъ кажется нежилымъ помѣщеніемъ. Неискусная рука криво, параллелограмомъ вырубила косяки, криво вдвинула въ нихъ дверь, забывъ въ то же время, что окна должны стоять на одинаковой высотѣ; видно, что хозяину-плотнику было не до симметріи. Точно также, ставя свой дворъ, онъ рѣшительно не обращалъ вниманія, въ какую сторону онъ будетъ обращенъ—на улицу или въ поле,

или на сосѣднiй домъ, наслаждаясь, можетъ быть, неиспытанною дотолѣ свободой дѣлать, что угодно.

Но когда ближе ознакомишься съ этимъ домомъ, грубо сдѣланнымъ, и съ этимъ дворомъ, безалаберно расположеннымъ, мало-по-малу замѣчаешь и убѣждаешься въ ихъ удобствахъ. Изба всегда просторная, теплая, прочная. Дворовыя постройки мизерны, но ихъ такъ много, что онѣ способны удовлетворить всѣ нужды хозяйства, исполняя каждая свое собственное назначенiе. Амбары, кладовыя, погреба, хлѣвы, холодные и теплые, открытые и закрытые, баня, подполье, курятникъ,—все это есть налицо. Свинью не зачѣмъ держать вмѣстѣ съ курами; коровы не будутъ поставлены въ одномъ навѣсѣ съ лошадью; телятъ не привяжутъ къ ножкѣ стола, за которымъ обѣдаютъ хозяева, а куры не станутъ зимовать подъ лавкой въ домѣ; каждая вещь и каждое животное въ здѣшней деревнѣ имѣютъ свое мѣсто. И грязь съ вонью въ домѣ, сдѣлавшiяся синонимами русской избы, необязательны для сибирскаго дома.

И поэтому внутренность этого дома не имѣетъ ничего общаго съ избой русскаго мужика. Обыкновенно домъ дѣлится на двѣ половины—горницу и кухню. Въ горницѣ чистота постоянная. Стѣны выбѣлены бѣлою глиной, известью или мѣломъ, не рѣдки шпалеры. По стѣнамъ лубочныя картинки, зеркальце. Вмѣсто лавокъ, стулья, столы, табуреты, застланные половиками сундуки. Печка голландская. У кого одна только маленькая избушка, но поддерживается она съ упорною чистотой. Въ бѣдномъ и богатомъ домѣ множество самодѣльщины, и эта самодѣльщина грубая, неостроумная, но зато всегда опрятная.

Говорятъ, что сибирская деревня производитъ впечатлѣнiе зажиточности или даже богатства. На насъ она произвела впечатлѣнiе какъ разъ обратное, впечатлѣнiе бѣдности, гордой каждою вещью, которою она обладаетъ. Въ сибирской деревнѣ все грубо, неостроумно, мизерно, плохо, но все опрятно и полезно. Крестьянская мысль, предоставленная самой себѣ въ степяхъ и лѣсахъ, не произвела ничего большаго и новаго въ матерiальной обстановкѣ, но все понемногу улучшила, вычистила, приспособила. Сибирскiе крестьяне ничего не прибавили къ тому, что они вынесли изъ Россiи, но все вынесенное сохранили въ лучшемъ видѣ.

Если такой выводъ относится къ одеждѣ, домашней обстановкѣ и отчасти къ пищѣ здѣшняго крестьянина, то онъ въ особенности приложимъ къ пріемамъ по обработкѣ земли, къ земледѣлію и къ земледѣльческимъ орудіямъ.

Небольшіе огороды взрываютъ желѣзнымъ заступомъ. Пахота производится пароконнымъ плугомъ, который есть только дальнѣйшая степень улучшенія сохи: онъ состоитъ изъ большого лемеха, горизонтально лежащаго къ поверхности земли, и обрѣза, наклоненнаго въ лемеху подъ тупымъ угломъ. Деревянныя части этого плуга обыкновенно грубо сдѣланы, иногда тяжелы безъ всякой пользы и неудобны; ось и колеса подъ плугомъ ставятся такія, которыя буквально уже никуда не годятся,—они взяты отъ разломанной телѣги.

Но, несмотря на свою грубость, онъ достаточно хорошо удовлетворяетъ своему назначенію. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ земля почему-либо не подъ силу парѣ лошадей, запрягаются три и даже четыре.

Еще не такъ давно бороны повсемѣстно были деревянныя, но теперь никто уже ихъ не употребляетъ, имѣя возможность поставить желѣзныя зубья.

Жнутъ серпами; косятъ „литовкой". Овсы по большей части идутъ подъ косу.

Молотятъ хлѣбъ цѣпами и лошадями.

Рѣдко у кого нѣтъ овина. Крестьяне позволяютъ себѣ пускать въ обращеніе только овесъ сыромолотный. Большая часть другихъ хлѣбовъ сушится передъ молотьбой. Да и климатъ не дозволяетъ обходиться безъ овина; исключительна та осень, когда въ деревняхъ еще до снѣга успѣютъ убраться съ молотьбою; часто же приходится жать въ снѣгу. Понятно, что если не высушить такой хлѣбъ, то онъ сгніетъ, оставленный до весны, и не поддастся никакому способу молотьбы.

Другія хозяйственныя принадлежности—телѣги, коробки, сбруя и пр. могутъ только лишній разъ засвидѣтельствовать вѣрность нашего вывода: ничего крупнаго и новаго, но все удобно и прочно, лучше, чѣмъ у русскаго мужика. Здѣсь невозможно встрѣтить хомутъ безъ шлеи и телѣгу, которая реветъ отъ недостатка дегтя. У большинства крестьянъ штукъ пять телѣгъ, столько же всякой сбруи, столько же са-

ней. Точно также у большинства имѣются, такъ сказать, показныя, праздничныя телѣги и сани; на этотъ случай держатся и росписная дуга, и колокольчики.

Единственный рабочій скотъ—это лошадь. Выше мы уже назвали среднее число лошадей на каждую семью. Неистощимымъ конскимъ заводомъ для здѣшнихъ жителей служатъ табуны киргизовъ, пригоняемые изъ глубины степей на здѣшнія многочисленныя ярмарки.

Но крестьяне въ большинствѣ случаевъ употребляютъ помѣсь киргизской лошади съ русской, какъ болѣе пригодную. Въ самомъ дѣлѣ, лошадь, получившаяся отъ этого скрещиванія, крайне вынослива, неутомима, хотя и лишена уже дикости и скакового бѣга чистой киргизской лошади; возъ въ тридцать пудовъ эта лошадь легко везетъ по шестидесяти верстъ въ сутки и не утомляется, дѣлая на легкѣ по сту слишкомъ верстъ въ сутки.

Другой скотъ ничѣмъ не выдается. Коровы русской породы; свиньи тоже; только овцы мѣстнаго происхожденія; вѣроятно, здѣшнія овцы помѣсь русской породы съ киргизской.

Небольшое отличіе можетъ представить и та совокупность работъ, которая составляетъ земледѣліе. Искусственнаго удобренія, какъ сказано выше, не можетъ быть. Только огороды и капустники передъ посадкой огурцовъ и капусты требуютъ значительныхъ приготовленій. Въ земляхъ, поросшихъ кустарниками, приходится вырубать и корчевать кусты, но чаще всего это дѣлается помощью огня, пусканіемъ „паловъ". Палы пускаютъ и въ степяхъ, и на жнивахъ, если это не грозитъ опасностью пожара. Во все продолженіе осени, если благопріятствуетъ погода, кругомъ видно зарево степного пожара; въ одномъ мѣстѣ видно, какъ огонь змѣйкой пробирается по полямъ высохшей травы, то почти потухая, то вспыхивая; въ другомъ вдругъ цѣлый снопъ искръ и клубы дыма поднимаются вверхъ—это огонь встрѣтилъ забытую копну сѣна или кучу валежника.

„Палы"—это все, что можетъ быть названо искусственнымъ подготовленіемъ почвы для будущей жатвы и сѣнокоса.

Но зато самая пахота земли производится съ рѣдкою тщательностью. Одинъ знающій сельскій хозяинъ говорилъ намъ,

что онъ нигдѣ въ Россіи, въ степныхъ полосахъ, не встрѣчалъ такой превосходной обработки земли подъ пашню, какую онъ увидѣлъ здѣсь. Правда, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр., Курганскаго округа, гдѣ почва—смѣсь чернозема и песку, по своей рыхлости, требуетъ только одинъ разъ вспахать и одинъ разъ взборонить ее, обработка не требуетъ ни особенныхъ усилій, ни тщательности. Но въ прочихъ частяхъ страны пахота отнимаетъ много времени, требуя страшнаго напряженія силъ.

Пары приготовляются слѣдующимъ образомъ. Весной, послѣ посѣва, земля вспахивается въ первый разъ. Затѣмъ послѣ сѣнокоса пашется во второй разъ, причемъ поперекъ, и въ первый разъ боронуется; въ концѣ сентября земля иногда снова перепахивается и боронуется, наконецъ, весной передъ посѣвомъ она еще разъ тщательно разрыхляется бороной, послѣ этого засѣвается и въ послѣдній разъ заборанивается. Вообще, два раза вспахать и три раза заборонить считается для всѣхъ обязательнымъ правиломъ. Хозяева, особенно старательные, пашутъ три раза и боронятъ четыре раза.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что этого требуетъ здѣшняя почва, лишенная примѣси песку,—такъ какъ кварцу и полевому шпату здѣсь и взяться не откуда,—составленная изъ одного перегноя и глины; она вязкая и липкая, какъ тѣсто; во время засухи твердѣетъ подобно кирпичу, а въ дождливое время размокаетъ на большую глубину, превращаясь въ болото.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Курганскаго округа вводится обычай на новыхъ земляхъ и залежахъ сначала сѣять картофель, а потомъ уже хлѣбъ. Дѣлается это потому, что поле, засаженное картофелемъ, естественнымъ и необходимымъ образомъ разрыхляется, во-первыхъ, самыми клубнями и, во-вторыхъ, копаніемъ при снятіи урожая. Кромѣ того, почва отъ картофеля удобряется ея травой. Но это нововведеніе входитъ туго и совершается безъ всякой системы.

Въ общихъ чертахъ мы показали теперь все, что характеризуетъ степень культуры. Дѣлая послѣдній выводъ, мы должны сказать, что жизнь сибирскаго крестьянина здѣшнихъ мѣстъ не оправдываетъ надеждъ и ожиданій, которыя

естественно являются при первомъ же вопросѣ: куда дѣвались неизмѣримыя степи и безконечные лѣса? Какое употребленіе сдѣлано изъ окружавшихъ его естественныхъ богатствъ?

Прошли вѣка съ начала переселенія сюда русскаго крестьянина. Онъ пользовался на новомъ мѣстѣ сравнительною свободой; подъ его руками имѣлось все, что необходимо для удовлетворенія человѣческихъ потребностей, и мы видѣли, какъ онъ воспользовался такимъ положеніемъ: свято сохранивъ обычаи, пріемы и преданія, онъ ничего не прибавилъ новаго, только количественно и качественно улучшивъ вынесенное изъ старой Руси. Типъ его культурнаго развитія неизмѣнно остался тотъ же самый, но только степенью выше. Достоинства и недостатки, вынесенные изъ старой родины,—все онъ сохранилъ и все поднялъ на одну ступень выше.

На старой родинѣ было поголовное невѣжество—и крестьянинъ принесъ его на мѣсто родины, сохранивъ его здѣсь до послѣднихъ дней, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ. Мы должны констатировать абсолютное отсутствіе грамотности въ странѣ. Существующія при волостяхъ школы только роняютъ достоинство школы. Большинство деревень имѣетъ только одного грамотнаго человѣка—сельскаго писаря. Можно то и дѣло наткнуться на слѣдующую потрясающую до глубины души картину.

Во весь опоръ скачетъ куда-то мужикъ верхомъ на лошади, безъ шапки и босикомъ, и, очевидно, крайне взволнованный. Это деревенскій староста. Ему пришла изъ города черезъ волость бумага, и онъ бросился къ своему писарю, но тотъ куда-то уѣхалъ. Староста поскакалъ въ другую деревню, но тамошній писарь лежитъ безъ сознанія, и его никакъ не могутъ три дня вытрезвить. Волненіе старосты доходитъ до послѣднихъ предѣловъ, и онъ мечется въ большомъ страхѣ. А и вся бумага-то, можетъ быть, состоитъ изъ записки засѣдателя: „Приказываю тебѣ ко дню Благовѣщенія купить и привести мнѣ щуки въ три четверти каждая“.

Но мало того, что здѣшній крестьянинъ сохранилъ всю умственную безпомощность Московскаго періода, но онъ еще на одну степень увеличилъ ее. Тамъ, гдѣ крестьяне живутъ

плотною массой, невѣжество приняло только болѣе яркую окраску, но тамъ, гдѣ были часты сношенія съ инородцами, умственный уровень ихъ совершенно понизился.

А, между тѣмъ, жизнь все-таки измѣняется. Явились новыя нужды, новыя задачи, требующія своего разрѣшенія, но крестьянинъ только чувствуетъ ихъ тяжесть, не умѣя взяться за нихъ.

И приписываетъ всѣ свои тяжести природѣ и тѣснотѣ, но это составитъ предметъ слѣдующей главы.

IV.

Очеркъ переселеній.

Прекращеніе массоваго переселенія изъ Россіи въ описываемый край.—Примѣры переселенческой деревни и переселенческой единицы; порядокъ ихъ устройства здѣсь.—Относительное количество народонаселенія края и вопросъ о тѣснотѣ, рядомъ съ вопросомъ о соотвѣтствіи новыхъ условій жизни старой культурѣ; сущность сибирской культуры.—Вмѣстѣ съ прекращеніемъ *переселеній сюда* фактъ *выселеній отсюда*; выселеніе единицъ и близость массоваго выселенія.

Населились эти степи и лѣса не вдругъ, конечно; шли сюда въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ массами и единицами, шли вольные и невольные переселенцы, примыкая къ тому ядру населенія, которое образовалось съ начала открытія и завоеванія. Такъ продолжалось вплоть до семидесятыхъ приблизительно годовъ, когда переселенческое движеніе нашло для себя новыя мѣста впаденія—Томскую губ. и отчасти Востокъ Сибири. Объясняется это тѣмъ, что именно около этого времени открылась для русскихъ крестьянъ бóльшая свобода переселеній, бóльшая свобода выбора и бóльшая возможность руководиться основательными знаніями о будущемъ мѣстѣ поселенія. А до этого времени переселенецъ радъ былъ, если успѣвалъ выбраться безъ особенныхъ приключеній изъ Россіи, и радъ былъ остановиться въ первомъ попавшемся мѣстѣ, вѣчно опасаясь быть возвращеннымъ назадъ, на разоренное старое пепелище. Когда же переселенческое движеніе сдѣлалось болѣе регулярнымъ и болѣе или менѣе оффиціально руководимымъ, русскіе крестьяне

узнали, что въ Сибири есть мѣста богаче Тобольской губ., мало населенныя и вольныя; туда, въ Бійскій и Барнаульскій округа и въ другіе углы Томской губ. и направилось массовое движеніе переселяющихся, минуя Курганъ, Ишимъ, Тюкалу.

Такимъ образомъ, къ названному времени въ эти округа почти совершенно прекратилось массовое переселеніе, сдѣлавшись явленіемъ для этихъ мѣстъ исключительнымъ. Когда въ Курганѣ или Ишимѣ останавливалась партія, то это былъ уже чистый случай, не поддававшійся предвидѣнію, и сами переселенцы являлись только частью движенія, отставшею отъ общей массы движенія, законъ котораго можно объяснить и предсказать заранѣе, какъ явленіе природы. Въ послѣдніе же, восьмидесятые, годы, благодаря тяжелымъ мѣстнымъ бѣдствіямъ, переселенческое движеніе сюда, можно сказать, совсѣмъ прекратилось. Отъ времени до времени только приходятъ или, лучше сказать, невзначай забредаютъ сюда только маленькія группы, чаще же всего—единицы. Забредая, они приписываются къ обществу уже сложившемуся.

Въ виду такого ничтожнаго значенія переселенческихъ вопросовъ для описываемой страны, мы коснемся ихъ вскользь, не вдаваясь въ мелкія подробности, и дадимъ только самое общее понятіе о здѣшнихъ переселенцахъ.

Для примѣра возьмемъ два случая: переселенческую деревню и переселенческую единицу.

Въ Ишимскомъ округѣ есть Старо-Локтинское село, населенное сибиряками съ незапамятнаго времени. Но въ шестидесятыхъ годахъ сюда прибыла партія переселенцевъ изъ средней полосы Россіи. Сначала они помѣщены были возлѣ Локтинскаго на особомъ мѣстѣ, но это мѣсто имъ не понравилось, и они перебрались со всѣми постройками на другое мѣсто, также возлѣ Локтинскаго, но по другую сторону его. Въ первые годы между старожилами и новоселами происходили частыя недоразумѣнія изъ-за земли, тѣмъ болѣе, что подлежащія власти долго не утверждали законнымъ порядкомъ факта переселенія. Такъ, напр., старожилы, зная напередъ, что къ нимъ назначены новоселы, поспѣшили вырубить лучшія деревья въ лѣсу, жалѣя, что не могутъ вырубить всего лѣса. Но года черезъ два, черезъ три вводъ

во владѣніе землей для новоселовъ былъ совершенъ, новая деревня названа Ново-Локтинской, отношенія опредѣлились между старыми и новыми крестьянами, и недоразумѣнія окончились.

Тѣмъ болѣе, что пришлые люди были необыкновенно честны, мягки и добродушны. Пріѣхали они, конечно, совершенно разоренными, оборванными, голодными, но ни одинъ изъ нихъ не запятналъ себя воровствомъ; старожилы удивлялись, видя, что въ Новыхъ Локтяхъ ворота и двери не запирались, замковъ не было, и все оставалось цѣлымъ. Когда богатому крестьянину надо было работника, онъ искалъ его, прежде всего, между новоселами; когда нужна была нянька, ее выбирали изъ новоселовъ; и это не потому, что тамъ, въ Новыхъ Локтяхъ, было много рабочихъ рукъ, а потому, что всѣ безъ возраженія признавали ихъ честность, трудолюбивость, услужливость и—забитость...

Такимъ образомъ, отношенія между двумя деревнями установились самыя дружескія. Но онѣ долго не сливались, живя каждая по своему. Пришельцы ничего не перенимали отъ старожиловъ. Видъ Новыхъ Локтей для сибиряка былъ просто нелѣпостью. Избушки маленькія, кособокія, безвременно пригнувшіяся къ землѣ; дворишки непокрытые; телѣги, сбруя, лошади,—все это рваное, разбитое, убитое. Классическая грязь на улицахъ, во дворахъ, въ домахъ; телята, привязанныя въ передній уголъ, куры подъ лавкой, поросята въ сѣняхъ. Полъ чистятъ скребкомъ, волосы чешутъ руками; моются и парятся въ печкахъ. Мужчины ходятъ въ обычныхъ полушубкахъ, въ которыхъ, за множествомъ лохмотьевъ, нельзя разобрать покроя; женщины съ раскрытыми грудями, а ребята безъ всякаго одѣянія, чумазые, грязные, какъ поросята. Ко всему этому надо прибавить лапти. Новоселы упрямо носили лапти, несмотря на то, что въ Ишимскомъ округѣ совсѣмъ нѣтъ липы, не продаютъ лыка и на ярмаркахъ. Не имѣя подъ руками лыка, ново-локтинцы терпѣли изъ-за лаптей положительныя страданія: они выписывали лыко изъ Тарскаго округа и даже далѣе, пока не убѣдились, что съ такимъ же удобствомъ, только съ меньшими хлопотами, можно носить сапоги кожаные.

Въ земледѣльческихъ пріемахъ новоселы также сначала держались того, что они вынесли изъ Россіи; иногда пыта-

лись унавоживать поля, переворачивать сѣно, пахать настоящимъ плугомъ залежи и сохой воздѣланныя земли, но скоро бросили все это, приглядывались къ старожиламъ и, наконецъ, всѣ дѣлали такъ, какъ они.

Относительно землевладѣнія новоселы еще скорѣе усвоили сибирскіе порядки. Когда земля была утверждена за ними, они раздѣлили ее по душамъ, съ намѣреніемъ передѣлить ее, когда будетъ нужно, черезъ нѣсколько лѣтъ, но шли года, а участки не передѣлялись; не передѣлены и теперь.

Ту же систему пользованія, какая существуетъ у старожиловъ, восприняли ново-локтинцы и по отношенію къ другимъ угодьямъ — лѣсамъ, лугамъ, выгонамъ и проч. Оказались у нихъ и вольныя земли, но только ничтожное количество.

Итакъ, мы видимъ, что новая деревня не сливалась долгое время съ старою, сибирскою деревней, за исключеніемъ способовъ земледѣлія и формъ землевладѣнія, которые быстро усвоивались новопришельцами. Они до послѣдняго дня сохранили въ неприкосновенности вынесенные изъ Россіи обычаи и порядки. Старики, пришедшіе уже сформировавшимися работниками, такъ и въ могилу понесли лапти, и только молодежь мало-по-малу, подъ давленіемъ окружающаго, подчинялась новымъ порядкамъ.

Теперь Ново-Локтинская имѣетъ хорошій видъ; построенная на прекрасномъ мѣстѣ, она весело глядитъ изъ-за зелени лѣсовъ, отражаясь въ зеркальной поверхности окрестныхъ озеръ. Половина домишекъ замѣнилась прочными избами, въ которыхъ введено раздѣленіе на двѣ половины; наружный видъ самихъ обитателей много перемѣнился. Молодежь, выросшую на мѣстѣ, даже трудно отличить отъ сибиряковъ, отъ которыхъ она заимствовала все, начиная отъ чисто выбѣленной печки и вплоть до языка. Впрочемъ, нужно еще цѣлое поколѣніе, чтобы окончательно сгладить послѣдніе слѣды различія между Старой и Новой Локтинской.

То же можно сказать и объ остальныхъ массовыхъ переселеніяхъ. Вновь образовавшаяся деревня туго сливается съ сибирскою деревней, дѣлая сначала опыты жить и работать по-своему. Иногда эти опыты плодотворны,—вводятся не только новые пріемы земледѣльческіе, но и самые продукты земледѣлія. Такъ, брюквы лѣтъ двадцать назадъ сибиряки

даже не видали; не имѣли понятія о цвѣтной капустѣ и о другихъ овощахъ.

Новоселы всегда что-нибудь приносятъ съ собой новое, освѣжая сибирскую культуру новыми пріемами, но въ общемъ они безъ остатка сливаются съ старожилами.

Совершенно обратныя отношенія возникаютъ между сибирскою массой и русскою единицей.

Тѣмъ или инымъ путемъ попадая въ сибирскую деревню, переселенецъ на первыхъ порахъ теряется. Окруженный со всѣхъ сторонъ чуждыми порядками и чужими людьми, онъ считаетъ себя какъ бы погибшимъ и одинокимъ. Онъ начинаетъ все хвалить русское и все ругать сибирское, съ презрѣніемъ отзываясь о всей жизни „братановъ". Но это продолжается не долго; давимый со всѣхъ сторонъ общественнымъ мнѣніемъ, онъ, самъ того не замѣчая, быстро усвоиваетъ новую жизнь, пока совсѣмъ не пропадаетъ въ толпѣ, какъ исключительная личность. Черезъ нѣсколько лѣтъ его можно признать русскимъ потому только, что онъ горячѣе, чѣмъ сами сибиряки, отстаиваетъ сибирскіе порядки.

Впрочемъ, во многихъ случаяхъ и эти единицы, пропадающія въ толпѣ, оказываютъ значительное вліяніе на старожиловъ, внося новыя ремесла. Едва-ли не этимъ путемъ возникли кустарныя производства описываемой страны, т.-е. искусствомъ и знаніями единицъ, прибывающихъ сюда съ запада.

Переселеніе единицъ сюда очень часто; чуть не въ каждомъ большомъ обществѣ есть пришельцы, и ежегодно можно встрѣтить въ данномъ обществѣ переселенца, который хлопочетъ о припискѣ. За количествомъ, точно такъ же, какъ за ихъ жизнью на новомъ мѣстѣ, конечно, трудно услѣдить и почти невозможно вывести какія-нибудь общія положенія объ ихъ условіяхъ.

Но есть нѣкоторыя черты, которыя связываютъ ихъ и позволяютъ наблюдателю сдѣлать немногія общія заключенія. Мы сказали, что, приписываясь къ обществу старожиловъ, переселенецъ испытываетъ сильнѣйшее давленіе со всѣхъ сторонъ. Но это относится не къ одной нравственной области, но и къ чисто-практической. Пользуясь одиночествомъ переселенца, его беззащитностью и неопытностью въ новомъ положеніи, старожилы со всѣхъ сторонъ обсчитываютъ

и обмѣриваютъ его, давая ему худшій надѣлъ по качеству и меньшій по количеству. Правомъ голоса, по незнанію мѣстныхъ условій, онъ долгое время не пользуется; въ раскладкахъ платежей не участвуетъ; вообще на міру является ничтожествомъ. Словомъ, его заѣдаютъ.

Положеніе это такъ тяжело, что многіе, поживъ съ годъ, просятся отпустить ихъ дальше, въ Томскую губернію; выхлопотавъ право новаго переселенія, они и уходятъ.

Безъ сомнѣнія, относительно переселенцевъ, основывающихся цѣлыми поселками, давленіе со стороны старожиловъ въ такой рѣзкой формѣ немыслимо, но оно есть. Обыкновенно самоходы селятся на общественныхъ земляхъ, примыкая къ существующему уже старому поселенію. А въ такомъ случаѣ это послѣднее имѣетъ множество обстоятельствъ, удобныхъ для выраженія своей силы и власти надъ новоселами. Земли отрѣзываются недоброкачественными, лѣса мелкими, луга по размѣру недостаточными. Кромѣ того, часто старыя общества требуютъ извѣстной платы за пріемъ, и эта плата въ нѣкоторыхъ мѣстахъ значительная, во всякомъ случаѣ, произвольная.

Въ виду этого, въ послѣднее время, вслѣдствіе нескончаемыхъ споровъ между старожилами и новоселами, подлежащая власть вмѣшалась въ это дѣло и во многихъ мѣстахъ уже обязала сельскія общества заранѣе опредѣлять мѣста подъ будущія поселенія самоходовъ и размѣръ надѣловъ, вслѣдствіе чего образовались опредѣленные участки, только ожидающіе поселенія.

Тѣмъ не менѣе, переселенческая волна минуетъ эту страну, напуганная невыгодами, которыя плохо покрываются выгодами здѣшней жизни. Сами старожилы жалуются на свою жизнь и покидаютъ свои пепелища, чтобы искать счастья дальше на востокѣ.

Но, прежде чѣмъ разсматривать эти вопросы, мы займемся народонаселеніемъ трехъ округовъ.

Говоря это, мы не имѣемъ въ виду абсолютной цифры народонаселенія трехъ изслѣдуемыхъ округовъ,—цифры, которую всякій можетъ узнать изъ отчетовъ тобольскаго статистическаго комитета *). Намъ нужно выяснить относитель-

*) Хотя надо сознаться, что къ цифрамъ этимъ слѣдуетъ относиться съ величайшею осторожностью.

ную густоту населенія, для чего мы рѣшимъ вопросъ: соотвѣтствуетъ-ли данное количество населенія существующему типу культуры?

Отъ всѣхъ крестьянъ, въ особенности Ишимскаго и Тюкалинскаго округовъ, можно то и дѣло слышать жалобы на то, что ихъ жизнь стала нехорошая, что ихъ стала одолѣвать бѣдность и что скоро, вѣроятно, многимъ придется убираться отсюда и отыскивать болѣе счастливыхъ мѣстъ. Когда начинаешь допытывать крестьянъ, чтобы узнать, какая, по ихъ мнѣнію, главная причина обѣднѣнія и безпокойства ихъ, то получаешь самые разнородные отвѣты, но всѣ они сводятся къ нѣсколькимъ неизмѣннымъ положеніямъ.

Одни говорятъ, что бѣдствія ихъ происходятъ отъ перемѣны климата. Никогда прежде не бывало, чтобы снѣгъ падалъ въ іюнѣ; никто не запомнитъ года, когда бы поля убиты были іюльскимъ заморозкомъ. Правда, хлѣбъ на низкихъ мѣстахъ иной разъ размокалъ, были и морозцы, и засухи, но все это не достигало той ужасной силы, какъ теперь.

Другіе просто ссылаются на тѣсноту. Прежде не было людности и всего было въ волю—лѣсовъ, хлѣба и пр., а теперь идетъ новый народъ и требуетъ своей доли. Приволье не увеличилось, конечно, а людей прибавилось много.

Большинство же только перечисляетъ неудобства и лишенія, не объясняя ихъ, но, тѣмъ не менѣе, жалобы ихъ отъ этого не уменьшаются.

Какъ бы то ни было, но, сводя всѣ жалобы въ одно, мы получимъ только перемѣну климата и тѣсноту.

Первое едва-ли можно отрицать. Истребленіе лѣсовъ, шедшее безъ всякой системы въ продолженіе вѣковъ, должно было сказаться же когда-нибудь. И вотъ оно теперь сказалось. Сами крестьяне признаютъ безполезное истребленіе лѣсовъ, но только обвиняютъ въ этомъ посельщиковъ. Посельщики, въ самомъ дѣлѣ, практиковали и до сихъ поръ практикуютъ слѣдующее: получивъ надѣлъ отъ общества, они не занимаютъ пахотные участки; ихъ единственная забота вырубить лѣсъ, данный имъ, и продать; тѣ, которые не имѣютъ сами средствъ производить вырубку, продаютъ его на срубъ. Покончивъ съ лѣсомъ, они прощаются съ

деревней. „А глядя на нихъ, и мы рубимъ“,—говорятъ сибиряки.

Однимъ словомъ, измѣненіе климата неоспоримо и совершенно вѣрно признается самими крестьянами, хотя связь между этимъ измѣненіемъ и истребленіемъ лѣсовъ смутно входитъ въ сознаніе жителей.

Но совсѣмъ иное отношеніе у насъ должно быть къ жалобамъ на тѣсноту. Какая можетъ быть тѣснота въ странѣ, гдѣ на душу приходится земли отъ десяти до пятидесяти десятинъ, гдѣ черноземъ глубокъ и плодороденъ, гдѣ есть вольные участки, гдѣ много лѣсовъ, луговъ, озеръ? Въ такой странѣ абсолютной тѣсноты не можетъ быть. А, между тѣмъ, нельзя не признать справедливости жалобъ крестьянъ, нельзя не видѣть, что ихъ жизнь начинаетъ дѣлаться иногда мучительною. Въ чемъ же разгадка?

По нашему мнѣнію, загадка разрѣшается очень просто: возникаетъ новая жизнь съ новыми явленіями, и эта жизнь уже не соотвѣтствуетъ старой культурѣ, по существу московской. Надвигается новая жизнь въ видѣ новыхъ потребностей, вздорожанія предметовъ первой необходимости, увеличенія экспорта сырья, уменьшенія этого сырья на мѣстѣ, но существующая форма культуры не можетъ вмѣстить въ себя этихъ явленій. Эта культура Московскаго періода научила человѣка фатализму во взглядѣ на природу, но не дала понятія о возможности борьбы съ ней; она научила только брать готовое въ природѣ, не научивъ создавать богатства искусствомъ; развитіе мысли и даже простой грамотности было чуждо ея основѣ.

Такимъ фаталистомъ крестьянинъ здѣшній дожилъ и до нашего времени. Онъ не хищникъ природы, а нахлѣбникъ ея, оплачивающій трудомъ ея столъ. Было приволье во всемъ— и крестьянинъ жилъ хорошо, но ничего не припасалъ на черный день, а когда это приволье уменьшилось—и онъ, вмѣстѣ съ природой, сократился. Приволье и богатства природы пропали для него совершенно безслѣдно; онъ не воспользовался ими, чтобы укрѣпить себя въ борьбѣ съ природой, чтобы развить свою мысль, чтобы настроить школъ, чтобы чему-нибудь научиться; ничему онъ не научился, и съ какими мыслями онъ явился въ Сибирь, съ такими же и теперь живетъ; все время, нѣсколько вѣковъ, онъ какъ бы

спалъ, хотя во снѣ ѣлъ, а когда проснулся, увидѣлъ уже не то, что было до сна; приволье уменьшилось, людей стало больше, отношенія сложнѣе; но такъ какъ въ продолженіе сна онъ ни о чемъ не думалъ, то не могъ обдумать и того новаго, что онъ увидѣлъ.

Старинная культура научила его только одному: когда природа переставала кормить его хорошо въ данномъ мѣстѣ, онъ покидалъ его и шелъ искать новаго готоваго стола, ожидающаго только нахлѣбника, который бы платилъ.

Такимъ образомъ, рѣшая вопросъ о народонаселеніи и тѣснотѣ въ описываемой мѣстности, мы должны отказаться отъ мысли признать эту тѣсноту абсолютною. Многія невзгоды и тяжести здѣшняго крестьянина несомнѣнны, дѣйствительны, осязательны, но онѣ зависятъ не отъ тѣсноты, а отъ несоотвѣтствія старой крестьянской культуры съ вновь нарождающимися сложными условіями. На здѣшнихъ крестьянъ надвигаются со всѣхъ сторонъ новыя явленія, а онъ не только бороться, но и понимать ихъ не можетъ, потому что его старинная культура ничему не выучила его, даже грамотности, несмотря на все богатство, которымъ онъ былъ окруженъ долгое время. На него, напр., надвигается желѣзная дорога, а онъ еще не знаетъ, что̀ она ему принесетъ хорошаго и худого; онъ знаетъ только самыя простыя отношенія нахлѣбника: работать и ѣсть.

Точно также есть у него самое наипростѣйшее средство отъ всѣхъ золъ—уходить. И когда онъ уходитъ, это значитъ, что ему плохо и что онъ ищетъ лучшаго.

Такъ и происходитъ теперь здѣсь. Начались уже выселенія дальше, въ глубь Сибири. Правда, что выселенія эти не приняли еще характера массовыхъ передвиженій, но переселеніе отдѣльными семействами стало явленіемъ зауряднымъ. Нѣтъ той волости, изъ которой бы каждый годъ не выбралось нѣсколько старожиловъ. Общій ихъ голосъ—приволья не стало, жить сдѣлалось тяжело.

Прежде всего надо замѣтить, что покидаютъ свою родину не бѣдняки, а зажиточные крестьяне, которые, повидимому, имѣютъ всѣ средства, чтобы жить хорошо; очевидно, что они уходятъ не вслѣдствіе наступившей бѣдности и тяжести, а изъ страха за будущее; очевидно также, что такое явленіе показываетъ только начало переселеній, которыя этимъ

именемъ могутъ быть названы только тогда, когда потянутся и бѣдняки.

У знакомаго мнѣ домохозяина, впослѣдствіи ушедшаго въ Томскую губернію, былъ на старомъ мѣстѣ хорошій домъ, со всѣми хозяйственными приспособленіями, до десятка лошадей, штукъ пять рогатаго скота, овцы, свиньи и пр. Земли въ его владѣніи болѣе сорока десятинъ одной пашни; луга, табачный огородъ и проч. Только лѣсу не было. Большую часть всего этого, за исключеніемъ движимости, онъ сдалъ на два года на аренду (продалъ, какъ здѣсь говорятъ), опасаясь, что ничего не найдетъ хорошаго на новомъ мѣстѣ, а старое потеряетъ.

Впрочемъ, подобная сдѣлка совершается не изъ одной только боязни возвращенія, но и вслѣдствіе другихъ причинъ, изъ которыхъ главная состоитъ въ томъ, что при оффиціально заявленномъ выселеніи возникаетъ множество непріятныхъ хлопотъ по выпискѣ изъ общества. Между тѣмъ, вышеупомянутая сдѣлка требуетъ только, чтобы все продать и взять паспортъ. Въ продажу (въ отдачу на аренду) міръ никогда не вмѣшивается; паспортъ выдается легко.

Устроившись на новомъ мѣстѣ, выходецъ, наконецъ, проситъ общество совсѣмъ выписать его.

Уходятъ въ самыя разнообразныя мѣста; одни тянутся за общимъ движеніемъ — въ Бійскій и Барнаульскій округа, другіе идутъ въ Минусинскъ, третьи на Амуръ, четвертые на Олекминскіе пріиски. Бываетъ и такъ, что изъ одной волости Ишимскаго, напр., округа переѣзжаютъ только въ другую волость того же округа.

Это начавшееся движеніе идетъ рядомъ съ другимъ—бросаніемъ земли и поисками другихъ, неземледѣльческихъ занятій; особенная склонность существуетъ къ торговлѣ, въ особенности въ Ишимскомъ округѣ.

Иногда земля не совсѣмъ бросается, хотя и не составляетъ уже главнаго занятія; такъ дѣлаютъ тѣ крестьяне, новыя занятія которыхъ, напр., скупка и продажа скота, требуютъ присутствія хозяина въ деревнѣ.

Но подробности этихъ явленій мы разберемъ въ слѣдующей главѣ, а здѣсь въ заключеніе скажемъ только, что достаточно еще нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ, и мы увидимъ здѣсь *массовое переселеніе сибиряковъ* въ отдаленныя мѣста Сибири.

V.

Очеркъ отношеній крестьянъ къ землѣ.

Прежніе и теперешніе урожаи.—Равнодушіе къ землѣ: сокращеніе запашекъ.—Стремленіе бросать земледѣліе для другихъ занятій.—Торгово-промышленное настроеніе въ Курганскомъ и Ишимскомъ округахъ.—Степное хозяйство въ Тюкалинскомъ округѣ.—Сдача крестьянами своей земли въ аренду въ Ишимскомъ округѣ и прямая продажа ея въ постороннія руки.—Объясненіе всего явленія.

Разсказы стариковъ-старожиловъ о прежнемъ обиліи теперь могутъ показаться легендарными; размѣры тогдашнихъ урожаевъ также для настоящаго времени мало вѣроятны.

Говорятъ, что сборъ въ 200 пуд. съ яровыхъ полей считался только хорошимъ, но не высокимъ. Земля не требовала усиленнаго труда. Ростъ хлѣбовъ не останавливался заморозками. Амбары были набиты хлѣбомъ. Продавали его не пудами, во избѣжаніе хлопотъ, а прямо возами, напр., два рубля за возъ. Куры клевали прямо зерна; свиней, назначавшихся на убой, откармливали чистою рожью. Вся скотина пользовалась хлѣбнымъ кормомъ. Въ деревняхъ не знали, что дѣлать съ хлѣбомъ. Продавать—никто не покупаетъ; оставлять въ кладяхъ—мыши ѣдятъ; въ амбарахъ лежитъ—сгораетcя.

Когда наступала весна, то много было труда съ очисткой погребовъ и завозенъ отъ наваленныхъ туда овощей. Пролежавъ не съѣденными, овощи выбрасывались на задворки, вывозились въ ямы или гнили на своихъ мѣстахъ. Всякій предлагалъ брать ихъ сколько угодно, но у всякаго было всего въ волю, даже черезъ силу, сверхъ всякой мѣры...

Не станемъ больше передавать эти легенды. Приволье это безслѣдно исчезло, амбары опустѣли, запашки сократились и урожаи уменьшились.

Въ какой мѣрѣ уменьшились? Это трудно, конечно, сказать, но нѣкоторыя данныя говорятъ, что уменьшеніе это не настолько сильно, какъ увѣряютъ здѣшніе старики-крестьяне. Во-первыхъ, неистощенной земли еще громадное количество во всѣхъ трехъ округахъ. Во-вторыхъ, урожаи и теперь даютъ нерѣдко двѣсти пуд. съ десятины ярового. Слѣдовательно, если сократилось количество хлѣба въ странѣ

и цѣна его поднялась до цифры россійской, то это зависитъ отъ другихъ причинъ, изъ которыхъ одну мы уже упомянули—случайность сбора хлѣбовъ, вслѣдствіе рѣзкой измѣнчивости погоды.

Назвали и другую причину жалобъ на тяжелое положеніе здѣшнихъ жителей—устарѣлость культуры здѣшняго крестьянина, который былъ до сихъ поръ добросовѣстнымъ нахлѣбникомъ, но плохимъ хозяиномъ, его фатализмъ, его первобытное невѣжество, не соотвѣтствующее уже усложнившимся обстоятельствамъ.

Наконецъ, мы указали и на тотъ первобытный выходъ изъ тяжелаго положенія, который уже и практикуется отдѣльными единицами, именно—переселеніе изъ здѣшнихъ мѣстъ на новыя, словомъ, уходъ, бѣгство.

Теперь укажемъ на другую форму этого бѣгства, неизмѣримо болѣе общую и давно уже найденную здѣшнимъ крестьяниномъ. Этотъ рядъ явленій мы назвали для краткости *равнодушіемъ крестьянъ къ землѣ и стремленіемъ замѣнить ее другими занятіями*, хотя заранѣе признаемся, что это опредѣленіе настолько узко, что не совмѣщаетъ въ себѣ всѣхъ разнородныхъ и глубокихъ фактовъ, названныхъ нами этимъ именемъ. Однако, общій смыслъ его вѣренъ, и если на первыхъ порахъ оно кажется удивительнымъ, то потому только, что и самые-то факты кажутся невѣроятными.

Въ самомъ дѣлѣ, равнодушіе крестьянъ къ землѣ—явленіе, повидимому, настолько парадоксальное, что сначала трудно вѣрить ему и легко признать ошибочнымъ само наблюденіе, приведшее къ такому, повидимому, нелѣпому выводу.

Земля для крестьянъ всѣми признается, какъ нѣчто дорогое, родное и неизбѣжное; земля—это то дѣло, въ которое крестьянинъ вкладываетъ всю свою душу. Крестьянинъ Европейской Россіи употребляетъ нечеловѣческія усилія, чтобы добыть лишній клочекъ земли; при полномъ недостаткѣ средствъ для покупки ея, платитъ громадныя цѣны, чтобы только засѣять лишнюю полосу; и если многіе бросаютъ землю и уходятъ на заработки въ промышленные центры, то тогда лишь, когда нѣтъ уже никакихъ силъ оставаться дома, при полнѣйшемъ безземельи. Однимъ словомъ, трудно, повидимому, предположить, чтобы нашлась страна, гдѣ де-

ревня бросалась бы при достаточномъ количествѣ удобной земли.

А, между тѣмъ, это такъ, и многочисленные факты покажутъ намъ, что бросаніе земли, вопреки ея обилію, существуетъ, а рядомъ съ нимъ существуетъ и та легкость, съ которой это бросаніе совершается ради другихъ занятій.

Надо, впрочемъ, сдѣлать оговорку, что въ Курганскомъ округѣ интересующее насъ явленіе распространено менѣе, чѣмъ въ Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ, но и тамъ дальнѣйшее его движеніе въ ширь и глубь есть лишь вопросъ времени, и не будетъ большою смѣлостью сказать, что равнодушіе къ землѣ и тенденція мѣнять ее на другія занятія присущи, въ большей или меньшей степени, всѣмъ здѣшнимъ крестьянамъ.

Когда мнѣ приходилось разговаривать съ курганскими жителями, то я постоянно наталкивался на крестьянъ, которые были недовольны однимъ земледѣльческимъ трудомъ и мечтали о болѣе широкой дѣятельности. Общее между всѣми ними было то, что всѣ они желали заняться торговлей, и характеристично для большинства ихъ было то, что они убѣжденно доказывали невозможность „разжиться одною землей".

Когда я спросилъ одного крестьянина, зачѣмъ ему хочется разжиться, то получилъ довольно неожиданный отвѣтъ: „Я бы купилъ у киргизовъ гуртъ." — „Ну, а продавъ этотъ гуртъ, чтобы сталъ дѣлать?"—Купилъ бы другой гуртъ, побольше, и разжился бы".—„И не сталъ бы больше заниматься землей?"— спросилъ я.—„На что же тогда мнѣ земля? Земля—это ежели для бѣднаго, а коли есть деньги, такъ я лучше тушами буду торговать бараньими".

Сначала приписывая это торгово-промышленное настроеніе единицамъ изъ крестьянъ, я потомъ, послѣ болѣе широкихъ и точныхъ справокъ, долженъ былъ придти къ заключенію, что настроеніе это чисто-массовое.

Такъ, многіе крестьяне, привозя въ городъ продукты своего хозяйства—хлѣбъ, дрова, сѣно, молочные скопы и пр., покупаютъ, въ свою очередь, разные товары и распродаютъ ихъ по деревнямъ. Другіе, занимающіеся извозомъ, покупаютъ на свои деньги и на свой страхъ въ пунктахъ доставки другую кладь, напр., соль и распродаютъ ее на обратномъ

пути. Третьи то же продѣлываютъ съ соленою и сушеною рыбой. Я зналъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ одного крестьянина, который въ одинъ годъ скупалъ горшки, на другой годъ арбузы, на третій—свиныя туши.

Было бы ошибочно думать, что все это, вѣроятно, деревенскіе кулаки; подобная избитая кличка положительно не имѣетъ смысла тамъ, гдѣ, какъ въ Курганскомъ округѣ, если не всѣ крестьяне занимаются, то всѣ желаютъ заняться оборотами, не имѣющими ничего общаго съ землей. Про крестьянина, который скупаетъ и перепродаетъ, говорятъ здѣсь, что это мужикъ оборотливый. Всѣ вообще здѣшніе крестьяне думаютъ, что занятіе одною землей недостаточно, землепашество не удовлетворяетъ всѣхъ потребностей.

Надо сознаться, что это правда. Нужда въ деньгахъ здѣсь огромная, въ виду почтенной цифры всякаго рода повинностей, и эту цифру вмѣстѣ съ нуждами семьи нельзя покрыть одною продажей собственнаго хлѣба. Въ урожайные годы, когда собственно только и могутъ крестьяне продавать свой хлѣбъ, цѣна послѣдняго, вслѣдствіе отсутствія сбыта, падаетъ до баснословнаго minimum'а, а въ годы неурожайные поднимается, вслѣдствіе отсутствія привоза, до не менѣе баснословнаго maximum'а.

Такимъ образомъ, убѣжденіе, что одною землей нельзя прожить, ведетъ къ сокращенію запашекъ. Правда, въ Курганскомъ округѣ это сокращеніе стало замѣтно только въ послѣдніе годы и притомъ находится въ связи съ другими причинами; раньше, наоборотъ, мужики снимали земли у казны (изъ оброчныхъ статей), не уменьшая въ то же время посѣвовъ на своей землѣ. Но вотъ въ послѣдніе годы количество запахиваемыхъ земель сразу такъ упало, что трудно предположить случайность этого факта. Сами крестьяне объясняли это одинаково въ одинъ голосъ; на вопросъ, почему мало засѣваютъ, они отвѣчаютъ, что боятся неурожая; опасно много высѣвать—иной годъ засуха уничтожитъ всходы, иной годъ морозъ ударитъ. Однимъ словомъ, для большинства крестьянъ посѣвъ неразлученъ съ рискомъ, и земля въ ихъ глазахъ является уже нѣкоторою игрой, изъ которой не всегда можно выйти съ выигрышемъ, въ то вре-

мя, какъ другія занятія не заключаютъ въ себѣ такой опасности.

Но, повторяемъ, въ большинствѣ курганскихъ волостей фактъ сокращенія запашекъ и пустованія земель не настолько еще сдѣлался рельефнымъ, чтобы встать на ряду явленій, которыя съ перваго же взгляда бьютъ въ глаза. Несмотря на отсутствіе точныхъ данныхъ о количествѣ производимаго хлѣба, можно только сказать, основываясь на показаніяхъ самихъ крестьянъ, что въ Курганскомъ округѣ крестьяне еле-еле сводятъ концы съ концами однимъ земледѣліемъ, и потому при первой возможности готовы промѣнять свое вѣковое занятіе на болѣе легкое и менѣе рискованное—барышничество.

Въ Ишимскомъ округѣ описываемое явленіе выражено уже такъ рѣзко, что не оставляетъ больше сомнѣнія.

Въ базарные дни, съ утра и до окончанія торговли, вы можете встрѣтить множество крестьянъ, которые покупаютъ муку и на слѣдующій базаръ продаютъ ее; можно даже встрѣтить и такихъ, которые въ одинъ и тотъ же день покупаютъ и продаютъ, выбиваясь изъ силъ наживать копѣйку. Часто изъ пятидесяти возовъ, привезенныхъ на базаръ, только какой-нибудь десятокъ принадлежитъ продавцамъ своего продукта; остальные воза съ перекупнымъ хлѣбомъ.

Но наружность этихъ торговцевъ такова, что у васъ не хватитъ смѣлости обозвать ихъ кулаками, а достаточно немного поразспросить одного изъ нихъ, чтобы убѣдиться въ ихъ несомнѣнной жалости. Въ самомъ дѣлѣ, изъ всѣхъ хлопотъ такого торговца по покупкѣ и продажѣ выходитъ, въ концѣ-концовъ, буквально одна копѣйка. Покупая цѣлымъ возомъ пудъ муки, положимъ, по 1 р. 15 к., онъ продаетъ его въ розницу по 1 р. 16 к. Если онъ купитъ настоящій возъ, то въ барышахъ останется четвертакъ. На языкѣ самихъ крестьянъ это называется—„пересыпать изъ пустого въ порожнее".

Если прослѣдить за однимъ изъ этихъ крестьянъ въ его деревнѣ, то окажется вотъ что: надѣлъ этого крестьянина равняется десятинамъ пятидесяти, но, по разнымъ причинамъ, онъ обрабатываетъ только одну десятину ярового и двѣ десятины озимаго хлѣба. Ѣстъ онъ свой хлѣбъ, но не въ состояніи ни одной горсти пустить на продажу, иначе

потомъ самому придется покупать. Для удовлетворенія же другихъ потребностей (подати, сѣмена, чай и пр.) онъ ѣздитъ каждый базаръ въ городъ за двадцать верстъ и здѣсь, на площади, какъ въ биржевой залѣ, пересыпаетъ изъ пустого въ порожнее, выручая этою биржевою игрой самое большее полтинникъ въ недѣлю. Если у него есть лишніе кони и если подвернется случай, то онъ отправляется въ Петропавловскъ и, купивъ тамъ хлѣба, продаетъ его въ Ишимѣ,—въ этомъ случаѣ его барышъ достигаетъ 5 коп. на пудъ.

Переходя отъ этихъ бѣдняковъ, живущихъ копѣйками, къ болѣе зажиточнымъ, можно подмѣтить ту же черту, только въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Жители, засѣвавшіе въ первые годы по двадцати десятинъ, теперь запахиваютъ по семи-восьми; другіе, обрабатывавшіе нѣкогда пятнадцать десятинъ, теперь ограничиваются пятью. Чѣмъ же они занимаются?

Торговлей или извозомъ, а чаще всего тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Богатые являются скупщиками деревенскихъ продуктовъ; средніе круглый годъ возятъ клади, мѣряя тысячеверстныя пространства; ѣдутъ въ Ирбитъ, въ Кресты, въ Омскъ, Томскъ и пр. Земля для такихъ составляетъ лишь подспорье. Иногда они владѣютъ сотней десятинъ, но обрабатываютъ изъ нихъ только какихъ-нибудь шесть-семь десятинъ, лишь бы не покупать хлѣбъ. И опять на вашъ вопросъ, почему они бросаютъ земледѣліе, получается тотъ же отвѣтъ: „не стóитъ"... „опасливо".

Въ осенніе и весенніе мѣсяцы мужики всѣ поголовно мечутся въ тоскливыхъ поискахъ за деньгами, запродавая дрова по дешевымъ цѣнамъ, съ обязательствомъ представить ихъ лѣтомъ или зимой, и называя эти сезоны самымъ „гиблымъ" для себя временемъ. Ясно—почему. Распутица всѣхъ загоняетъ домой. Одни „перестаютъ пересыпать изъ пустого въ порожнее", другіе должны бросать торговлю, третьи лишаются извоза. Находясь въ полной зависимости отъ постороннихъ занятій, они сразу лишаются почвы подъ ногами, когда остаются дома, при одной землѣ, которая для нихъ стала ненадежнымъ источникомъ благосостоянія.

Вообще мы должны сказать, что торговля вошла въ плоть и кровь здѣшняго крестьянина,—не сбытъ своихъ земледѣль-

ческихъ продуктовъ и произведеній своего труда, а именно торговля въ полномъ значеніи этого слова, т.-е. покупка и продажа. У кого вовсе уже нѣтъ денегъ для торговыхъ операцій, такъ онъ хоть скупитъ десятокъ тетеревовъ и продаетъ ихъ копѣйкой дороже. На Ишимской ярмаркѣ съѣзжается нерѣдко до ста тысячъ народа, и половина изъ этого числа торговцы-крестьяне. Склонность къ торговлѣ здѣшняго жителя, кажется, непреодолимая.

Мнѣ придется очень немногое сказать по поводу Тюкалинскаго округа.

Не отличаясь рѣзко отъ Ишимской степи, Тюкалинскій округъ даетъ наблюдателю тѣ же явленія, то же отношеніе къ землѣ, какъ и первая. Оригинальная черта его заключается въ степномъ хозяйствѣ. Степнымъ хозяйствомъ я называю такое, въ которомъ преобладаетъ скотоводство надъ земледѣліемъ. Это преобладаніе и существуетъ во многихъ волостяхъ округа. При переѣздѣ изъ Ишима въ Тюкалу васъ поражаетъ видъ пустыни. На протяженіи сотни верстъ вы видите только безконечную степь, покрытую солончаковою растительностью, да рѣдкіе березовые перелѣски, да небо. Вашъ взоръ привыкъ къ обработаннымъ полямъ; вы до сихъ поръ ѣхали между двухъ волнующихся стѣнъ хлѣбовъ—и вдругъ все это исчезло. Мѣсто кажется совершенною пустыней, и эта пустыня производитъ тоскливое настроеніе.

Крестьяне въ этихъ волостяхъ засѣваютъ ничтожное количество земли, судя по ея абсолютному пространству. Все вниманіе ихъ обращено на скотоводство и сѣнокошеніе. Деньги они добываютъ отъ продажи скота, котораго держатъ помногу; въ рѣдкомъ домѣ не имѣется двадцати штукъ рогатаго скота.

Уровень ихъ благосостоянія очень низокъ. Въ домашней обстановкѣ они представляютъ рѣзкое исключеніе между сибиряками; они грязно живутъ, скверно ѣдятъ. Въ общественной жизни они вялы, непредпріимчивы. Въ умственномъ отношеніи тупы. Все это, кажется, имѣетъ близкую связь съ скотоводствомъ, которое представляетъ болѣе низкую ступень сравнительно съ земледѣліемъ. Тяжело подумать, что русскій человѣкъ въ этихъ мѣстахъ сдѣлалъ шагъ назадъ. Но едва-ли можно обвинять самихъ крестьянъ за этотъ пе-

реходъ отъ земледѣлія къ пастушеству, да мы и не пишемъ ни обвиненій, ни похвалъ, а желаемъ только уяснить себѣ данное явленіе.

Безъ сомнѣнія, сначала скотоводство здѣсь было наиболѣе выгоднымъ дѣломъ, но когда жизнь усложнилась, потребовался переходъ къ другому роду жизни. А привычка была уже сдѣлана, крестьяне обратились въ хорошихъ пастуховъ и неумѣлыхъ пахарей. Теперь ихъ положеніе печальное. Требуется выходъ, а они только могутъ жаловаться на наступившую тяжелую жизнь, не умѣя, что̀ дѣлать, и даже не понимая, что̀ имъ собственно надо. Эти крестьяне-степняки еще больше, чѣмъ другіе здѣшніе крестьяне, зависятъ отъ природы, еще больше неумѣлы и еще въ болѣе крайней степени фаталисты.

Живя бокъ-о-бокъ съ киргизами, они всецѣло воспользовались ихъ уроками, хотя надо было бы ожидать обратнаго; здѣсь не русскій былъ учителемъ инородца, а наоборотъ: киргизъ спустилъ русскаго ниже того уровня, на которомъ послѣдній раньше стоялъ.

Возвращаясь къ интересующему насъ предмету, мы должны констатировать фактъ, что эти тюкалинскіе крестьяне съ какимъ-то глубокимъ недовѣріемъ смотрятъ на землю, боясь, повидимому, приступиться къ ея громаднымъ пространствамъ. Они не могутъ кормиться своимъ хлѣбомъ, они покупаютъ его. Въ этихъ мѣстахъ установился даже особый видъ торговли; прасолы,—если такъ можно назвать самыхъ обыкновенныхъ мужиковъ,— разъѣзжаютъ по деревнямъ съ возами хлѣба, и крестьяне-скотоводы раскупаютъ его, кто сколько можетъ. Безъ этихъ странствующихъ хлѣботорговцевъ большинство степныхъ жителей остались бы голодными, потому что въ своей деревнѣ достать хлѣба невозможно.

Остальная часть волостей Тюкалинскаго округа ничѣмъ не отличается, напр., отъ Ишимской степи. Сѣверо-западная часть округа считается житницей Тюкалинской, ибо тамъ степь уступаетъ мѣсто лѣсамъ и чернозему; но читатель уже изъ прежнихъ страницъ этого труда убѣдился, съ какимъ недовѣріемъ и осторожностью надо относиться къ сибирскимъ „житницамъ“. Дѣло въ томъ, что, несмотря на развитое хлѣбопашество этихъ черноземныхъ волостей, крестьяне толпами уходятъ отсюда на сторонніе заработки,

и, разумѣется, прежде всего, бросаются въ торговлю, или занимаются извозомъ. И когда они говорятъ, что по деревнямъ у нихъ дѣлать нечего и нечѣмъ жить, то нельзя не вѣрить ихъ словамъ.

А земли ихъ лежатъ безконечными пространствами... но жители не знаютъ, что съ ними дѣлать. Культурная отсталость ихъ такъ велика, что они ходятъ по богатству, не умѣя взяться за него и занимаясь пересыпаніемъ изъ пустого въ порожнее—покупкой и продажей. Въ заключеніе надо замѣтить, что изъ Тюкалинскаго округа раздаются неумолкаемыя и наиболѣе упорныя жалобы на наступившую тяжесть жизни.

Теперь мы перейдемъ къ изложенію своеобразнаго явленія, которое едва-ли имѣетъ подобіе себѣ въ какомъ бы то ни было другомъ уголкѣ Россіи. Мы говоримъ о продажѣ земли.

Еслибы читателю Европейской Россіи сказать, что мужики каждую весну ищутъ арендаторовъ своей земли, то онъ не повѣрилъ бы этому парадоксу, но если бы ему сказать, что многіе крестьяне отдаютъ землю за полтинникъ десятину на 10 лѣтъ, то онъ считалъ бы себя вправѣ предположить, что надъ нимъ потѣшаются. Между тѣмъ, все это дѣйствительные, безспорные факты изъ жизни сибирскаго крестьянина описываемыхъ мѣстъ. Къ сожалѣнію, мы не имѣли возможности не только провѣрить, но и просто констатировать эти факты относительно Курганскаго и Тюкалинскаго округовъ; всѣ наши свѣдѣнія объ этомъ предметѣ касаются исключительно только Ишимскаго округа.

Ежегодно, особенно весной, можно встрѣтить, безъ особенныхъ усилій, крестьянъ ближнихъ и дальнихъ деревень, которые предлагаютъ городскимъ жителямъ купить у нихъ земли. Надо замѣтить, что на мѣстномъ языкѣ слова купить и продать землю означаютъ взять и отдать на аренду, на извѣстное число лѣтъ. Какъ мы раньше говорили не разъ, крестьяне для своихъ нуждъ засѣваютъ только незначительную часть своей земли, остальная часть которой лежитъ у нихъ по-пусту. Эти-то части незасѣянной земли они и предлагаютъ.

Но спросъ несравненно ниже предложенія. Поэтому арендная плата крайне ничтожна. Крестьянинъ радъ, если ему

удастся сдать землю по рублю за десятину на 10 лѣтъ. „Да еще никто и не возьметъ!“—говорили мнѣ знакомые крестьяне, и говорили чистую правду. Выше мы вскользь упоминали, что въ одной деревнѣ крестьянинъ продалъ другому крестьянину землю болѣе десятины за 16 коп. Покупатель (арендаторъ) снялъ бы съ этой земли, прежде всего, сѣнокосъ, потомъ обратилъ бы землю въ паръ и на другой уже годъ засѣялъ бы. Такъ что земля была продана (сдана) за 16 коп. на два года. Вотъ настоящая норма цѣны земли.

Чаще всего городскіе жители даютъ по полтиннику за десятину на 10 лѣтъ. И даже послѣ этого большинство владѣльцевъ, желающихъ сдать свои земли, остается безъ арендаторовъ. Земля здѣсь никому не нужна и считается самымъ невыгоднымъ предметомъ приложенія труда.

Въ послѣдніе годы сдача крестьянами своихъ земель практиковалась на болѣе тяжкихъ условіяхъ, даже просто нелѣпыхъ. Арендаторъ давалъ сѣмена и рублей шесть денегъ крестьянину на десятину; за это послѣдній обязанъ былъ два раза вспахать, три раза взборонить и засѣять; потомъ сжать, убрать и смолотить; потомъ привезти и ссыпать въ амбаръ арендатора.

Въ знакомой мнѣ деревнѣ одинъ отдалъ городскому жителю большую часть своего участка, заключавшаго пахотныя, сѣнокосныя и выгонныя земли, всего десятинъ сорокъ. Точной цифры арендной платы я не помню, но что-то крайне нелѣпо. Сдана земля на два года. Въ теченіе года покупщикъ, поселившійся въ деревнѣ со всѣмъ своимъ хозяйствомъ, произвелъ такой переворотъ, что крестьяне и опомниться не могли. Пріѣхавъ въ деревню, жадную къ деньгамъ, онъ понемногу скупилъ множество всякаго рода имущества. Пользуясь нуждой, купилъ домъ у хозяина земли; скупилъ всѣхъ его овецъ, а потомъ набралъ и со всей деревни овецъ; набравъ овецъ цѣлое стадо въ триста головъ, онъ принялся за коровъ и т. д. Когда стада его сдѣлались громадны, онъ сталъ нуждаться въ большомъ выгонѣ. Здѣсь крестьяне хотѣли его прижать, но почему-то не прижали, а сдали ему весь свой выгонъ въ неограниченное пользованіе за ничтожную плату. Теперь стоитъ только этому городскому жителю пожелать остаться въ деревнѣ надолго, для чего возобновить аренду, и вся деревня будетъ, если не куплена имъ со всѣми

жителями ея, то, во всякомъ случаѣ, закабалена на вѣчныя времена.

До сихъ поръ рѣчь идетъ объ арендованіи крестьянскихъ земель въ точномъ значеніи этого слова, но изъ разспросовъ крестьянъ оказывается, что понятія „купить" и „продать" землю не всегда равносильны понятіямъ арендовать и сдать на аренду. Фактически дѣло происходитъ иногда не въ сибирскомъ значеніи этихъ словъ. Замѣчается слѣдующее явленіе. Сдавъ на аренду извѣстную часть своей земли, положимъ, уѣзжаетъ въ другое мѣсто жить или заводитъ торговлю, или умираетъ; во всѣхъ этихъ случаяхъ онъ перестаетъ владѣть своею, отданною въ аренду, землей не только de facto, но и de jure. Арендаторъ пользуется этимъ и мало-по-малу дѣлается настоящимъ собственникомъ.

Такимъ образомъ, въ деревню вторгается чуждый ей элементъ купцовъ, мѣщанъ, писарей, лицъ духовнаго званія, которые считаютъ себя внѣ власти деревенскаго міра.

Наконецъ, говорятъ, что существуетъ, хотя и не въ такихъ размѣрахъ, прямая, въ буквальномъ значеніи этого слова, продажа крестьянами своей земли деревенскимъ и городскимъ жителямъ. Я, впрочемъ, не имѣлъ возможности провѣрить этого и потому оставляю это явленіе безъ дальнѣйшаго вывода.

Говоря вообще о сдачѣ земли, мы можемъ спросить, вмѣшивается-ли въ это дѣло міръ? По большей части нѣтъ, какъ и слѣдовало ожидать, судя по описанной формѣ землевладѣнія. Отдавая свою землю на аренду, крестьянинъ не спрашиваетъ разрѣшенія общества, да и общество не вмѣшивается, и когда среди деревни является новый владѣлецъ извѣстнаго участка — это никого не удивляетъ.

При настоящемъ равнодушіи къ землѣ и ея малоцѣнности въ глазахъ всѣхъ, какъ деревенскихъ, такъ и городскихъ жителей, передача ея изъ рукъ въ руки совершается съ легкостью товара, но не приняла еще опасныхъ формъ. Однако, это не всегда такъ будетъ. При первомъ поднятіи цѣнности земли,--а это совершится, напр., тотчасъ послѣ проведенія желѣзной дороги, — явится общее стремленіе обладать землей. Теперь вышеприведенный примѣръ городского жителя, поселившагося въ деревнѣ, есть случай исключительный, но тогда, при вздорожаніи земли, можетъ легко слу-

читься такъ, что въ каждой деревнѣ будетъ свой господинъ, и если онъ не будетъ юридически пользоваться землей, какъ частною собственностью, то фактически онъ будетъ помѣщикомъ.

Сводя въ одну сумму перечисленные факты, мы получимъ слѣдующее. Въ то время, какъ русскій крестьянинъ жаждетъ земли, крестьянинъ здѣшній равнодушно смотритъ на нее; первый старается всѣми силами увеличить запашку, послѣдній сокращаетъ ее; одинъ платитъ непомѣрныя деньги, чтобы арендовать владѣльческую землю, другой беретъ ничтожную плату, чтобы только сбыть ее; русскій крестьянинъ покупаетъ землю, сибирскій готовъ продать ее.

Я назвалъ бы это своего рода крестьянскимъ абсентеизмомъ, если бы не боялся вызвать путаницу понятій, тѣмъ болѣе, что какія бы мы слова ни употребляли для опредѣленія этого явленія, самое явленіе не потеряетъ отъ этого свою загадочность и парадоксальность.

Впрочемъ, то, что мы назвали равнодушіемъ къ землѣ, объяснено нами въ предъидущихъ страницахъ, когда мы констатировали истребленіе лѣсовъ и измѣненія климата съ одной стороны и нахлѣбническую культуру—съ другой. Равнодушіе къ землѣ, даже тягость, доставляемая ею, неизбѣжно должна была явиться, когда кормилица-природа отвернулась отъ своего нахлѣбника-крестьянина и когда земля стала не такъ обильна, какъ прежде. Неизбѣжно вслѣдъ за естественными бѣдствіями явилось и сокращеніе запашекъ.

А разъ это сокращеніе совершилось, крестьянину въ слѣдующіе годы уже невозможно стало возвратиться къ прежнимъ размѣрамъ; у него стало меньше хлѣба, меньше скота, меньше всѣхъ продуктовъ, которые доставляли ему средства. Въ самомъ дѣлѣ, часто у здѣшнихъ крестьянъ просто недостаетъ сѣмянъ для большого посѣва, такъ что если бы нѣкоторые изъ нихъ и не побоялись рискнуть, то силы уже нѣтъ у нихъ обрабатывать много земли. И чѣмъ дальше шло это сокращеніе, тѣмъ меньше оставалось у крестьянина земледѣльческой силы. А, между тѣмъ, расходы сибирскаго крестьянина, пожалуй, больше расходовъ русскаго. Гдѣ достать средствъ для погашенія ихъ?

На это даетъ отвѣтъ крестьянину массовое настроеніе, о

которомъ мы раньше упомянули, назвавъ его торгово-промышленнымъ.

Въ Сибири, какъ извѣстно, никто ничего не производитъ, но всѣ желаютъ торговать и самое распространенное сибирское явленіе среди городскихъ классовъ—это, безъ сомнѣнія, легкая нажива. Крестьяне не избѣгли этого массоваго настроенія. Когда уменьшеніе прежняго обилія стало сильно замѣтно и урожаи хлѣбовъ сдѣлались хуже, то крестьяне волей-неволей стали считать земледѣліе недостаточнымъ средствомъ жизни и принялись отыскивать другія занятія, болѣе прибыльныя; иные и вовсе бросили землю, чтобы всецѣло отдаться „легкой наживѣ“, которою здѣсь, кажется, самый воздухъ пропитанъ. Торговля и всякаго рода барышничество сдѣлались всеобщими потому еще, что никакихъ другихъ промысловъ почти и не было подъ руками, какъ это будетъ показано въ слѣдующей главѣ. Только слабые остались при одной землѣ; они рады бы торговать, да неспособны или бѣдны. Но даже и они при удобномъ случаѣ начинаютъ „пересыпать изъ пустого въ порожнее“, не находя другихъ занятій для себя.

Въ заключеніе мы прибавимъ, что эти крестьяне, принужденные жить одною землей, всегда крайне бѣдствуютъ.

VI.

Очеркъ обрабатывающей и добывающей промышленности.

Случайность кустарныхъ ремеслъ: ихъ подражательный характеръ и искусственность.—Примѣръ Тебенякской волости, Курганскаго округа, населенной кузнецами.—Оригинальныя и хорошо поставленныя производства.—Примѣръ пимокатовъ.—Общее заключеніе—какія производства могли бы упрочиться здѣсь.—Перечисленіе другихъ ремеслъ.—Промысла.—Охота на рыбу и дичь.—Случайные заработки.—Жизнь типической семьи.—Общій выводъ объ источникахъ крестьянскихъ доходовъ.

Изъ прежнихъ страницъ уже видно было для читателя, какія здѣсь установились отношенія между природой и человѣкомъ: брать лишь то, что она давала, не употребляя въ дѣло того, что называется искусствомъ.

Точно такія же отношенія установились и между сырьемъ,

производимымъ въ странѣ, и трудомъ человѣка. При обиліи этого сырья, не было нужды въ переработкѣ его для обмѣна на другіе предметы обрабатывающей промышленности. Правда, такъ или иначе, а надо было удовлетворять эти потребности; правда также, что чуть не до послѣдняго времени доставка этихъ предметовъ фабричной и кустарной промышленности совершалась неправильно, дорого и плохо во всѣхъ отношеніяхъ, такъ что крестьянину, обладавшему лишь дешевымъ сырьемъ, по большей части нехватало средствъ для покупки ихъ. Но зато у крестьянина была ничтожная культурная требовательность, позволявшая ему довольствоваться лишь суррогатами предметовъ промышленности.

При крайне невыгодномъ обмѣнѣ своего сырья на чужіе предметы фабричной и кустарной промышленности, онъ могъ ограничиваться лишь своимъ умѣньемъ. Когда ему надо было пріобрѣсти телѣгу, онъ самъ топоромъ дѣлалъ ее; при отсутствіи хомута, онъ ѣздилъ при одной сѣделкѣ безъ шлеи. Тѣмъ же топоромъ онъ вырубалъ себѣ корыто, колоду, ось, скамейку, сани, кадушку изъ пня и пр. И это дошло до послѣдняго времени. Когда теперь осматриваешь хозяйство здѣшняго крестьянина, то часто поражаешься тѣмъ, что рядомъ лежатъ вещи, которыя не имѣютъ ничего общаго, являясь представителями разныхъ эпохъ человѣческаго развитія; видишь, напр., корягу лѣсную, употребляющуюся въ качествѣ дуги, и тюменскія санки, обитыя войлочнымъ ковромъ, и въ то время, какъ дуга-коряга напоминаетъ древлянъ и радимичей, при взглядѣ на тюменьскія санки и коверъ фабричный, вспоминаешь лишь недалекіе годы нынѣшняго вѣка. Рядомъ съ грубѣйшею и безобразнѣйшею поддѣлкой у каждаго крестьянина имѣется предметъ, въ которомъ видны чистота, вкусъ и техническая ловкость.

Это только показываетъ, что пріобрѣтеніе такого рода вещей шло независимо отъ воли крестьянина. Привезена такая-то вещь на ярмарку и соотвѣтствуетъ его карману — онъ пріобрѣтаетъ ее, а если она не привезена или дорога ему кажется — онъ обходился безъ нея или замѣнялъ ее произведеніями своихъ собственныхъ неумѣлыхъ рукъ.

Такимъ образомъ, существованіе всѣхъ здѣшнихъ производствъ ремесленныхъ является чистою случайностью,

такъ же, какъ и происхожденіе ихъ. Попадали случайно сюда какіе-нибудь ремесленники—и въ данной мѣстности возникала промышленность, и, если она совпадала съ потребностями этой мѣстности, то существованіе ея было упрочено. Сами же коренные жители не обладали ни техническою ловкостью, ни техническими знаніями, ни даже жаждой этихъ знаній, являющейся при извѣстной развитости мысли, а мысль здѣсь была первобытная, неповоротливая, лѣнивая.

Такимъ образомъ, на вопросъ, какія есть здѣсь ремесла, каждый крестьянинъ отвѣчаетъ, что никакихъ ремеслъ здѣсь не было и нѣтъ. Первое—несомнѣнная правда. Но что касается настоящаго времени, то кое-какія ремесла все-таки есть здѣсь, хотя въ общей экономіи страны они играютъ крайне незначительную роль. Случайно возникшія, они и не представляютъ собой существеннаго содержанія народной жизни.

Здѣсь есть заводы и кустарныя производства. О первыхъ мы не станемъ говорить, не столько по ихъ ничтожному числу, сколько потому, что собственно для крестьянъ и для характеристики ихъ жизни они не имѣютъ значенія. Принадлежатъ они городскимъ жителямъ и держатся не коренными рабочими силами, а пришлымъ, по большей части ссыльнымъ элементомъ. Для крестьянъ же заводы имѣютъ только то значеніе, что сейчасъ же вслѣдъ за возникновеніемъ ихъ является усиленный спросъ на деревенское сырье,—для винокуренныхъ заводовъ является сильный спросъ на хлѣбъ, для паточныхъ на картофель, для кожевенныхъ на кожи, а кромѣ того, возникаетъ усиленное истребленіе лѣсовъ, идущихъ на дрова для заводовъ.

Кустарныя производства, напротивъ, поддерживаются самими сибиряками, хотя происхожденіе ихъ не здѣшнее. По своему характеру эти производства дѣлятся на два рода; одни изъ нихъ еле влачатъ свое существованіе, не представляютъ оригинальнаго развитія мѣстной техники, а являются лишь подражательными; случайность ихъ возникновенія несомнѣнна; не подлежитъ сомнѣнію и случайность ихъ настоящаго существованія.

Другія ремесла представляютъ выраженіе мѣстной, самобытной потребности, не зависятъ отъ ввозной торговли и

по своей выгодности и прочному существованію не имѣютъ ничего общаго съ первыми.

Мы разсмотримъ сначала кустарныя ремесла перваго рода.

Въ Курганскомъ округѣ есть такъ называемая Тебеньковская или Тебенякская волость. По своимъ естественнымъ условіямъ она мало чѣмъ отличается отъ всѣхъ остальныхъ волостей этого округа, развѣ только тѣмъ, что земля здѣсь менѣе плодородна, лѣса рѣже и мельче, чѣмъ въ другой какой волости. Посѣвы хлѣбовъ здѣсь меньше, сѣнокосы не даютъ такого количества, какъ въ другихъ волостяхъ. Но все это могло случиться не отъ естественныхъ недостатковъ почвы, климата и пр., а отъ того, что жители этой волости отвлекаются отъ земледѣлія другими занятіями, именно кузницами и слесарными заведеніями, разсѣянными въ огромномъ числѣ по всей волости.

Производство желѣзныхъ и стальныхъ предметовъ въ общемъ очень значительно; предметы эти расходятся на значительное разстояніе — въ Ялуторовскѣ, въ Курганѣ, въ Ишимѣ, въ Тюкалѣ, въ Туринскѣ и Тарѣ. Быть можетъ даже они заходятъ на крайній сѣверъ. Во всякомъ случаѣ, пожаловаться на отсутствіе сбыта для издѣлій Тебенякской волости нельзя, тѣмъ болѣе, что издѣлія эти не предметы роскоши, а предметы первой необходимости для крестьянскаго хозяйства: здѣсь дѣлаютъ кольца къ дугамъ, кольца къ хомутамъ, гвозди, шилья, петли, пробои, вилки, ножи, топоры, косари, замки, терки, шабалы и пр. Нѣтъ такого предмета первой необходимости изъ желѣза или стали, на которомъ бы тебенякскіе кустари не попробовали свое искусство. Даже складные ножи сложнаго устройства и замки можно встрѣтить иногда между ихъ издѣліями.

Но, можетъ быть, эта разносторонность и составляетъ одну изъ причинъ всѣхъ неудачъ, которыя терпятъ тебенякскіе кустари. Въ самомъ дѣлѣ, очень трудно быть совершеннымъ во всѣхъ родахъ искусства.

На каждой ярмаркѣ здѣшнихъ мѣстъ вы можете встрѣтить торговца желѣзными издѣліями, сидящаго на рогожкѣ, прямо на землѣ, безъ всякой лавки. Потому что продаетъ онъ издѣлія тебенякскихъ кустарей, которыя въ лавки желѣзныя попадаютъ только случайно. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на разнообразіе тебенякскихъ издѣлій, всѣ они крайне

массы людей работаетъ надъ однимъ ремесломъ, и, во-вторыхъ, затѣмъ, чтобы выяснить вообще положеніе здѣсь той кустарной промышленности, которая принуждена конкуррировать съ россійской. Чрезвычайная дешевизна издѣлій русскихъ ложится тяжелымъ гнетомъ на мѣстную производительность того же рода. Вообще эта производительность является безцвѣльною, подражательною и искусственно поддерживающеюся. Издѣлія такого рода съ меньшими хлопотами и лучшаго качества доставляются Россіей.

Да и нѣтъ такой кустарной дѣятельности во всѣхъ трехъ округахъ; Гебенякская волость единственная въ своемъ родѣ, по крайней мѣрѣ, намъ неизвѣстно болѣе ни одной волости, села, деревни, жители которой сплошь занимались бы какимъ-нибудь ремесломъ въ подражаніе русскимъ кустарямъ. Очевидно, что положеніе и условія мѣстной жизни не вызываютъ такого рода труда.

Остальныя производства находятся въ рукахъ единицъ и по своей незначительности не оказываютъ никакого вліянія на мѣстную жизнь.

Совсѣмъ въ иномъ положеніи находятся тѣ производства, которыя вызваны мѣстною потребностью, оригинальны по своему характеру и избавлены отъ необходимости конкуррировать съ [illegible] русскою промышленностью. [illegible] ихъ состоитъ въ томъ, что они пользуются мѣстнымъ сырьемъ и не поставлены въ необходимость [illegible]. Хотя предметы этихъ производствъ [illegible] значеніе, но [illegible]

[illegible] для иллюстраціи этихъ положеній [illegible]

[illegible]

значеніе; онѣ не только теплы и легки, но и дешевы, какъ никакая другая обувь.

Уже одно это могло бы дать пимокатству прочное основаніе, но кромѣ этого и все остальное является поддержкой для пимокатства.

Пимокату-кустарю незачѣмъ обращаться къ посреднику для покупки шерсти; шерсть онъ закупаетъ самъ въ наиболѣе благопріятное время и, слѣдовательно, дешево; притомъ онъ можетъ выбрать матеріалъ самый подходящій для себя. Затѣмъ, при сбытѣ своихъ издѣлій, онъ не обращается также къ посреднику-торговцу, а продаетъ свой товаръ непосредственно потребителю; если же иногда и сбываетъ его цѣлымъ возомъ скупщику, то беретъ выгодную для себя цѣну, потому что не находится ни въ какой зависимости отъ какого бы то ни было скупщика.

Пользуясь всѣми этими выгодами, пимокатъ-крестьянинъ работаетъ только тогда, когда свободенъ отъ земледѣльческихъ работъ, вслѣдствіе чего хозяйство его не падаетъ, а улучшается. Вообще пимокаты-крестьяне живутъ зажиточно. Несомнѣнно, что выбранное ими ремесло очень выгодно.

Жаль только, что технические пріемы здѣшнихъ пимокатовъ крайне несовершенны. Шерсть бьютъ они традиціонною тетивой, катаютъ ее больше всего силою мускуловъ. Кромѣ того, издѣлія ихъ однообразны—однѣ пимы; другіе предметы этого рода: валеныя калоши, чесаныя валенки, ботинки, туфли—ничего этого они не умѣютъ дѣлать. При извѣстномъ усовершенствованіи своего дѣла, они могли бы сбывать свои издѣлія и въ Россію, находясь въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ производители валеныхъ вещей въ Россіи. Несмотря на разнообразіе и наружную чистоту валеныхъ издѣлій Россіи, они уступаютъ въ прочности и доброкачественности сибирскимъ, да притомъ же чуть не вдвое дороже послѣднихъ.

Такимъ образомъ, обиліе сырого матріала—первое условіе для того, чтобы данная промышленность получила значеніе не только для здѣшней мѣстности, но и для сбыта.

Приведемъ въ примѣръ одно производство, которое стало здѣсь развиваться недавно, но которое можетъ имѣть хорошее будущее при извѣстныхъ условіяхъ. Мы говоримъ о добываніи крахмала изъ картофеля. Когда въ Курганскомъ

округѣ начали устраиваться паточные заводы, то окрестные жители принялись засѣвать большія поля картофелемъ. Но иногда, за удовлетвореніемъ нуждъ заводовъ, оставались излишки въ картофелѣ, котораго дѣвать было некуда. Тогда-то кое-гдѣ и стала развиваться выработка картофельной муки.

Производство это по большей части находится въ рукахъ женщинъ, которыя на досугѣ дѣлаютъ крахмалъ, но безъ малѣйшаго знакомства съ техническими пріемами, по способамъ первобытнымъ и крайне невыгоднымъ. Картофель измельчается на простой теркѣ для хрѣна или толчется въ деревянной ступѣ, затѣмъ масса отстаивается въ водѣ; когда на днѣ сосуда образуется слой крахмала, воду сливаютъ, а крахмалъ сушатъ просто на печкѣ, гдѣ нерѣдко множество таракановъ, отчего, при покупкѣ такой муки, всегда можно встрѣтить извѣстное количество крыльевъ, ножекъ и другихъ частей „прусаковъ". Кромѣ того, мука не подвергается ни малѣйшей очисткѣ, потому что способы очистки крахмала совершенно неизвѣстны производителямъ.

Тѣмъ не менѣе, эта мѣстнаго издѣлія картофельная мука хорошо разбирается, потому что вдвое, а иногда втрое дешевле привозной. Производство, несомнѣнно, могло бы быть прочнымъ и выгоднымъ. Обиліе и дешевизна сырого матеріала—картофеля, работа на досугѣ, между дѣломъ, обезпеченный сбытъ,—все это сильно могло бы развить крахмалозаводство, если бы между его производителями были распространены какія-нибудь техническія знанія.

Теперь же выдѣлка крахмала производится въ мизерныхъ размѣрахъ; исключителенъ тотъ случай, когда женщина вырабатываетъ за зиму пудъ муки, продавая фунтъ за двѣнадцать коп. Чаще же всего одна работница не въ состояніи выдѣлать болѣе 15 фун. за зиму и не можетъ продать дороже восьми коп. Такъ что, если мы и говоримъ объ этомъ производствѣ, то не съ цѣлью описать то, что есть, а лишь съ намѣреніемъ показать то, что могло бы быть.

Это именно какъ разъ относится ко всѣмъ остальнымъ кустарнымъ ремесламъ здѣшнихъ мѣстъ: ихъ нѣтъ, но они могли бы быть.

Такъ, выдѣлка кожъ могла бы дать выгодный заработокъ для сотенъ народа, въ особенности въ Тюкалинскомъ окру-

гѣ, богатомъ скотомъ. Тамъ и теперь есть нѣсколько десятковъ заведеній кожевенныхъ, но все это заводы, принадлежащіе городскимъ жителямъ и поддерживающіеся наемнымъ трудомъ; кромѣ того, кожи дѣлаются тамъ самаго низшаго достоинства и продаются чуть не за треть цѣны казанскихъ кожъ. Между тѣмъ, изъ всѣхъ трехъ округовъ ежегодно въ Россію отправляются милліоны кожъ въ необдѣланномъ видѣ.

Точно также могло бы быть очень выгоднымъ дубленіе бараньихъ шкуръ, а теперь тулупы, полушубки и бараньи мѣха привозятся или изъ Россіи, или изъ киргизской степи. Тѣ немногія попытки на мѣстѣ обрабатывать бараньи мѣха, которыя изрѣдка разсѣяны по тремъ округамъ, принадлежать отдѣльнымъ единицамъ и не могутъ идти въ счетъ.

Мы не упоминаемъ также о томъ, что здѣсь широко могли бы быть поставлены салотопенные, мыловаренные и свѣчные заводы, тогда какъ въ настоящее время ихъ или вовсе не существуетъ (мыловаренныхъ и свѣчныхъ), или они влачатъ жалкое существованіе, выдѣлывая продуктъ плохой и недобросовѣстно, — не упоминаемъ потому объ этомъ, что всѣ эти производства требуютъ нѣкоторыхъ машинныхъ приспособленій, тогда какъ крестьяне могутъ пускать въ ходъ только ручной трудъ, вслѣдствіе чего для кустарей всѣ эти производства недоступны.

Въ концѣ-концовъ, что же у насъ остается отъ поисковъ кустарной промышленности во всѣхъ трехъ округахъ? Однѣ пимы.

Какъ ни печаленъ этотъ результатъ, но мы должны согласиться съ нимъ и перейти къ описанію собственно промысловъ.

Первое, что обращаетъ наше вниманіе,—это отсутствіе здѣсь массовыхъ отхожихъ промысловъ, которыми живетъ большая половина Россіи; худо это или хорошо—до насъ не касается, и мы только констатируемъ фактъ.

Изъ остальныхъ, единичныхъ промысловъ, производящихся на мѣстѣ, слѣдуетъ упомянуть о рыболовствѣ, существующемъ въ Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и немного въ Курганскомъ округахъ. Нѣкогда этотъ промыселъ имѣлъ громадные размѣры и доставлялъ значительныя средства для тысячъ крестьянъ; сотни возовъ развозились по ярмаркамъ,

цѣлые обозы двигались на Ишимскую ярмарку. Правда, рыба здѣшняя не изъ дорогихъ—окунь, чебакъ, щука и налимъ, но зато количество рыбы было громадно.

Теперь этотъ промыселъ почти въ полномъ упадкѣ. Большинство Ишимскихъ озеръ, даже такія, какъ Черное, Медвѣжье, Станичное, Щучье, медленно, но постепенно уменьшаются въ размѣрахъ, а рыба въ такой мѣрѣ уменьшилась, что въ иные годы труды и хлопоты артелей не окупаются. Даже караси перевелись. „Богъ ихъ знаетъ, отчего",—говорятъ старики изъ рыбаковъ.

Но все-таки рыбный промыселъ и до настоящаго времени даетъ заработокъ большому количеству деревень. Уловъ сбывается по ярмаркамъ или въ сыромъ видѣ, замороженною рыбой, или въ сушеномъ, но сушатся только караси и притомъ такъ плохо, что потребляются только мѣстными жителями. Караси распластываются и сушатся въ печкахъ: потомъ рыба вздѣвается на палки и въ такомъ видѣ идетъ въ продажу. Соли не употребляется при этомъ вовсе и потому, быть можетъ, эта оригинальная рыба отзываетъ мыломъ. Но крестьяне охотно раскупаютъ ее для лѣта, когда свѣжей рыбы или мяса негдѣ достать.

Послѣ рыбнаго промысла первое мѣсто занимаетъ охота на дичь—тетеревовъ, куропатокъ, рябчиковъ и зайцевъ.

Когда-то эти промыслы давали заработокъ многимъ людямъ, но въ настоящее время все это быстро падаетъ. Тетеревовъ, куропатокъ и рябчиковъ ловятъ, конечно, и до сихъ поръ еще сѣтями въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ, но дѣло въ томъ, что мѣстъ этихъ осталось немного, да и они часто стоятъ пустыми; сѣти разставляются, но снимаются пустыми. Волости посерединѣ Курганскаго округа, сѣверъ Ишимскаго и граница Тюкалинскаго и Тарскаго—вотъ еще гдѣ водятся куропатки, тетерева и рябчики; въ остальныхъ мѣстностяхъ охота уже производится только ружьемъ, что для крестьянъ невыгодно.

Заячиный промыселъ, быть можетъ, не такъ сократился, какъ предъидущій, но и его ждетъ та же участь. Заячьи шкурки во множествѣ отправляются въ Россію, а оттуда заграницу, но прямо въ сыромъ видѣ, причемъ шкурка продается отъ семи до десяти коп. Когда я разсказалъ одному охотнику, что дѣлается со шкурками его зайчиковъ, какъ

онѣ отправляются въ Москву или Нижній, а оттуда въ Германію, и какъ черезъ нѣкоторое время возвращаются назадъ, но уже неузнаваемыми по виду и цѣнѣ, то охотникъ былъ пораженъ до глубины души. „И дураки же мы!—воскликнулъ онъ. — И эти дорогія шкурки идутъ опять въ Ишимъ?"—„Да, и въ Ишимъ, можетъ быть".—„И, можетъ быть, я и покупаю такую шкурку за 1 р. 20 к.?"—„Можетъ быть".—„Да, можетъ быть, и шкурка-то съ того самаго зайца, котораго я самъ поймалъ и продалъ за восемь коп.!"—„Очень можетъ быть".—„И она уже стоитъ 1 р. 20 к.?"—„Да".—„Ну, и дураки же мы!"

Здѣсь дѣлались попытки обрабатывать заячьи мѣха, но, при полнѣйшемъ незнаніи этого дѣла, кончились ничѣмъ, а подкрашиванье шкурокъ, сортировка ихъ и очистка даже и не приходили никому въ голову, да едва-ли когда-нибудь и придетъ, а если и придетъ такая мысль, то тогда, когда зайцы всѣ будутъ истреблены.

Мы теперь назвали всѣ промысла, имѣющіе хотя нѣкоторое значеніе въ бюджетѣ страны.

Затѣмъ, за вычетомъ всего поименованнаго, нѣтъ никакихъ ремеслъ и промысловъ, кромѣ такихъ, которые носятъ совершенно случайный характеръ. Достанетъ крестьянинъ подходящее дерево и сдѣлаетъ плугъ, который и вывезетъ на ярмарку. Другой, при случайномъ совпаденіи времени и умѣнья, сработаетъ двѣ-три телѣги и также тащитъ ихъ на ярмарку. Третій надосугѣ поймаетъ десятокъ зайцевъ или съ десятокъ набьетъ тетеревовъ—и то хорошо. Когда бываютъ здѣсь чисто-крестьянскія ярмарки, на которыхъ они запасаются всѣми необходимыми предметами для своего хозяйства, сбывая все лишнее, то большую долю мѣста занимаютъ именно эти случайно добытыя или выработанныя вещи, и по большей части въ одиночку, а товары въ большомъ количествѣ всѣ сплошь привозные. Одинъ крестьянинъ продаетъ одну телѣгу, другой двѣ бороны, третій одно корыто, а четвертый хомутъ. Одинъ носитъ на спинѣ по базару двѣ шкуры овечьи, а другой десятка два зайцевъ. Баба носитъ мотокъ суровыхъ нитокъ; другая баба выкрикиваетъ холстъ. И такъ далѣе. Все по мелочамъ. Эти крестьянскія ярмарки производятъ особое впечатлѣніе, быть можетъ, такое же впечатлѣніе, которое испытываетъ архе-

ологъ, когда видитъ сразу множество предметовъ погасшей старины. Такъ и эти ярмарки. Наблюдая ихъ, кажется, уносишься въ далекое прошлое, когда не было торговцевъ и товара, и когда каждый выносилъ по одиночкѣ то, что имѣлъ, чтобы вымѣнять свой предметъ на такой, котораго ему недостаетъ. Всѣ эти мужики и бабы—каждый сидитъ или ходитъ со своимъ предметомъ, продавъ который. беретъ чужой предметъ, нужный ему.

Такимъ образомъ, главная характерная черта здѣшнихъ ремеслъ и промысловъ—это случайности и мелочи. И богатство вмѣстѣ съ разнообразіемъ этихъ мелочей и случайностей таково, что даетъ сильную окраску всему строю крестьянской жизни, доставляя въ то же время большинству извѣстный заработокъ. Рѣдкій житель здѣшней деревни носитъ на себѣ какую-нибудь одну специальность, опредѣленный родъ занятія, но каждый занимается всѣмъ понемножку. Онъ за одно и то же время и охотникъ, и [illegible], и [illegible], и [illegible] и т. п. И кромѣ всего этого [illegible] земледѣлецъ.

Прежде чѣмъ говорить о [illegible] и [illegible] источникахъ жизни крестьянина этихъ мѣстъ, мы постараемся [illegible] представителя здѣшнихъ крестьянъ, который [illegible] покажетъ, [illegible] хозяйства.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

его, пудовъ сорокъ, была даже продана, давъ возможность раздѣлаться съ податями. Но другія потребности нечѣмъ было удовлетворить. Семья по нѣскольку дней сидѣла безъ чая, рѣдко употребляя мясо. Къ Рождеству пришлось продать одну корову да теленка и купить кое-что на праздникъ, а остальныя деньги разошлись по мелочамъ. Послѣ Рождества опять настало полное безденежье, изъ котораго совершенно неожиданно выручила рыба; на озерѣ, образовавшемся изъ старицы Ишима, сдѣланъ былъ запоръ, но запоръ этотъ вотъ уже два года ничего не давалъ; „морды" ставились, но вынимались пустыми. И вдругъ, какъ будто нарочно, однажды, когда зять безъ всякой надежды поѣхалъ на озеро, рыбы набилось полныя морды, съ пудъ окуней и чебаковъ, которые и были отвезены на базаръ. Отъ времени до времени на базаръ свозились возъ дровъ, возъ сѣна или соломы, двѣ кринки сметаны, но скоро эти продукты иссякли и возить стало нечего. Пробовали рубить сырыя дрова въ снѣгу, но работа слишкомъ тяжелая, а цѣна сырыхъ дровъ ничтожная.

Въ серединѣ зимы вдругъ семья получила хорошій заработокъ отъ извоза, который неожиданно представился зятю,— надо было свезти нѣсколько пудовъ желѣза въ Петропавловскъ. А по пріѣздѣ туда зять на вырученныя деньги купилъ муки и продалъ ее въ Ишимѣ; всего барыша получилось рублей десять.

Но къ Пасхѣ уже и мука стала выходить, приходилось покупать и ее. Къ Пасхѣ очень туго пришлось семьѣ, надо было раздобыть хоть кирпичъ чаю, мяса хоть съ полпуда, но ни денегъ, ни сѣна, ни дровъ не было уже. Въ это время зятю пришла счастливая мысль поохотиться за зайцами; выкопалъ онъ въ лѣсу яму, прикрылъ ее прутьями, положилъ приманку (овесъ) и перекрестился, а черезъ два дня въ ямѣ сидѣло уже пять зайцевъ, которые и сбылись сейчасъ же на базарѣ; кромѣ того, отецъ вывезъ въ великую субботу возъ березовыхъ оглоблей, которыя назначались на другое, продалъ ихъ дешево, но чай и мясо куплены были. Послѣ Пасхи зять поймалъ въ запоръ десятка три щукъ, но дѣла были вообще плохи. Надо было скоро сѣять яровые, а сѣмянъ ни у кого не было, потому что кругомъ по деревнямъ и въ городѣ можно было найти только зеленыя зерна.

Семья рѣшилась продать на ярмаркѣ одну изъ лошадей; лошадь дѣйствительно была продана, но всего за 8 руб., по случаю крайней дешевизны на лошадей. Зять каждую субботу ѣздилъ въ городъ, придумывая способъ добыть сѣмянъ, но не могъ ничего придумать. Только уже за нѣсколько дней до посѣва ему пришла счастливая мысль: запродать впередъ саженей пять дровъ, которыхъ у него не было. Какъ ни мудрено было это сдѣлать, но онъ все-таки пошелъ къ одному знакомому въ городѣ, совралъ ему, что у него припасено 25 саженей, и предложилъ тому купить пять изъ нихъ, съ условіемъ только взять почти всѣ деньги впередъ. Городскому жителю выгодно было купить дрова за половинную цѣну, и онъ далъ крестьянину восемь руб. А крестьянинъ послѣ говорилъ, что, точно, онъ навралъ, но отъ этого вреда никому не выйдетъ, потому что дрова онъ полностью предоставитъ.

Послѣ посѣва зятю удалось взять хорошую кладь, а на вырученныя деньги отъ извоза онъ накупилъ соли и съ барышемъ продалъ ее.

Такова жизнь всѣхъ крестьянъ въ годы съ неудовлетворительнымъ урожаемъ хлѣбовъ. Что касается бѣдныхъ семей, то изъ нихъ образуется уже и теперь порядочный контингентъ наемныхъ рабочихъ, а въ Тюкалинскомъ округѣ въ каждомъ обществѣ есть крестьяне, бросающіе свои хозяйства и нанимающіеся здѣсь же въ деревнѣ къ зажиточнымъ крестьянамъ. Если когда-нибудь изъ этого числа обѣднѣвшихъ удерживается еще за своимъ хозяйствомъ, то ведетъ жизнь полную случайностей. Самая высшая рабочая плата [illegible] рублей въ годъ, да и такой не на всѣхъ хватаетъ. [illegible]

Въ годы урожайные [illegible]

Итакъ, мы теперь можемъ уже окончательно рѣшить вопросъ объ источникахъ крестьянской жизни въ описываемой странѣ.

Промысловъ и ремеслъ почти нѣтъ; по крайней мѣрѣ, главная масса населенія не участвуетъ въ нихъ.

Случайныхъ заработковъ много, и каждый крестьянинъ совмѣщаетъ въ себѣ множество спеціальностей. Это даетъ большое подспорье, но не можетъ быть вѣрнымъ источникомъ жизни, давая лишь только особую окраску жизни здѣшнихъ крестьянъ—окраску обилія.

Остается скотоводство, лѣсопорубки и земледѣліе.

Скотоводство развито въ Тюкалинскомъ округѣ, но мы видѣли, какое вліяніе оно произвело на занимающихся имъ. Кромѣ того, никогда здѣсь непрекращающіяся эпизоотіи въ такой мѣрѣ опустошаютъ эту отрасль хозяйства, что выгоды отъ стадъ кажутся еще болѣе сомнительными.

Что касается земледѣлія, то изъ предъидущей же главы мы видѣли, какъ оно, подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ причинъ. сокращается до такой степени, что внушаетъ сильнѣйшія опасенія. Крестьяне здѣшніе до сихъ поръ не знали, что значитъ покупать хлѣбъ по пуду, не говоря уже о фунтахъ, а теперь, въ послѣдніе три-четыре года, познакомились съ этимъ перемоганіемъ изъ недѣли въ недѣлю. Главный источникъ благосостоянія края началъ если не изсякать, то засариваться, и на глазахъ крестьянъ начинается непонятный для нихъ переворотъ въ области всей ихъ экономіи; пошатнулись и колеблются тѣ устои, на которыхъ до сихъ поръ построено было ихъ благосостояніе, безпримѣрное вообще въ жизни русскаго крестьянина. Хлѣба зябнутъ, сохнутъ. заливаются; озера пересыхаютъ; лѣса таютъ, какъ дрова въ зажженномъ кострѣ. Вся природа, кажется, съ гнѣвомъ отвернулась отъ своихъ любимцевъ, отказавшись кормить ихъ.

Трудно, повидимому, понять то обстоятельство. что въ послѣдніе годы часто у крестьянъ оставался единственный источникъ жизни—продажа дровъ, но, между тѣмъ, это засвидѣтельствовали сами крестьяне. Когда здѣсь было введено лѣсничество, потребовавшее отъ крестьянъ лѣсопорубочныхъ билетовъ и преслѣдовавшее за самовольныя порубки, то по деревнямъ начало распространяться страшное волне-

ніе. „Какъ же намъ жить?—спрашивали горячо крестьяне.— У насъ теперь дрова одно спасенье, что же мы безъ нихъ будемъ дѣлать? Надо купить хлѣба, а дровъ нельзя продать... Не знаемъ, ужь не знаемъ, что и будетъ дальше, и какъ мы станемъ жить“. И величайшая тоска слышалась въ этихъ словахъ.

VII.

Очеркъ будущаго.

Будущее землевладѣніе.—Переживаемый въ настоящее время кризисъ во всей жизни.—Кризисъ этотъ окончится только съ измѣненіемъ старой культуры, но мѣстному крестьянству онъ тяжело достанется.

Желая сдѣлать очеркъ будущаго, которое ожидаетъ край, мы будемъ говорить лишь на основаніи реальной дѣйствительности, доступной каждому для наблюденія и провѣрки, при этомъ мы беремъ не отдаленное будущее, по поводу котораго пришлось бы дѣлать рискованныя предсказанія, а то будущее, которое уже стучится въ дверь.

Наиболѣе интересный предметъ при изученіи народной жизни—это, конечно, форма землевладѣнія. Но въ своемъ мѣстѣ (II-я гл.) была уже обрисована форма сибирскаго землевладѣнія не только въ настоящемъ, но и для ближайшаго будущаго. Теперь остается сдѣлать только окончательный итогъ.

Верховное право общины надъ всею землей уже теперь считается каждымъ крестьяниномъ неоспоримымъ фактомъ, несмотря на существованіе вольныхъ земель, на которыхъ каждый можетъ свободно работать по своимъ силамъ, несмотря также на существованіе заимокъ, нѣкогда захваченныхъ и удерживаемыхъ благодаря уваженію міра къ давности владѣнія. Но вольныя земли и заимки отживаютъ послѣдніе дни. Въ самое непродолжительное время, всего на протяженіи нѣсколькихъ лѣтъ отъ насъ, онѣ будутъ передѣлены, войдя, такимъ образомъ, въ фактическое распоряженія міра.

Но разъ всѣ земли будутъ раздѣлены, міръ перестанетъ вмѣшиваться во владѣніе каждаго: каждый членъ общества, получивъ свою долю земли, будетъ владѣть ею неограни-

ченное число лѣтъ, пользуясь полнѣйшею свободой дѣлать со своими землями что ему угодно, и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не возникнетъ новаго неравенства въ участкахъ. Но этотъ новый передѣлъ будетъ произведенъ только при наступленіи крайне необходимой потребности въ немъ, а до тѣхъ поръ каждый будетъ чувствовать себя полнымъ хозяиномъ своихъ участковъ, свободно распоряжаясь ими при жизни, свободно передавая ихъ своимъ дѣтямъ.

Такую форму владѣнія мы назвали наслѣдственной, и не думаемъ, чтобы это опредѣленіе послѣ всего сказаннаго могло вызвать недоразумѣнія. Этотъ терминъ нами употребленъ затѣмъ, чтобы рѣзче оттѣнить разницу между сибирскою общиной, дающею полную свободу своему члену, отъ русской общины, наблюдающей за каждымъ ударомъ заступа и за каждымъ движеніемъ сохи своего общинника. Что касается верховнаго права общины надъ всѣмъ своимъ земельнымъ имуществомъ, то оно одинаково сильно какъ въ той, такъ и въ другой общинѣ, хотя въ первой, сибирской, оно проявляется крайне мягко, а въ послѣдней нерѣдко дѣлается тяжелымъ гнетомъ для многихъ общинниковъ.

Имѣя въ виду спеціальную работу о сибирской общинѣ, мы ограничимся здѣсь только этими общими положеніями, а теперь упомянемъ только объ одной частности въ жизни общины.

Большинство крестьянъ и до сихъ поръ не понимаетъ возможности собственными средствами отдѣлаться отъ мертвыхъ душъ, чтобы собственною властью произвести передѣлъ сообразно съ наличнымъ числомъ рабочихъ силъ. Когда крестьянамъ говорятъ, чтобы они просто бросили мертвыя души, забыли объ ихъ существованіи, то они никакъ не могутъ въ толкъ взять этого. И только совѣты и разъясненія новыхъ чиновъ, приставленныхъ къ нимъ, начинаютъ дѣйствовать,—крестьяне начинаютъ понимать, что для казенной палаты рѣшительно все равно, какимъ образомъ крестьяне раскладываютъ между собой подати, по десятой ревизіи, т.-е. со включеніемъ мертвыхъ душъ, или же по наличнымъ рабочимъ силамъ; она даетъ только міру валовую цифру

сборовъ, а крестьяне этого міра могутъ производить уже какую угодно раскладку между собой.

Усвоивъ это, теперь крестьяне въ нѣкоторыхъ волостяхъ бросаютъ уже души мертвыхъ и передѣляютъ землю, сообразуясь съ наличными рабочими силами. При этомъ нѣкоторыя общества рѣшили включить въ число плательщиковъ и владѣльцевъ десятилѣтокъ и даже пятилѣтокъ, заранѣе, такимъ образомъ, опредѣливъ сроки будущаго передѣла черезъ 10 лѣтъ и черезъ 5 лѣтъ. Но надо замѣтить, что черезъ такой короткій срокъ, вѣроятно, не произойдетъ передѣла общаго, а лишь частныя прирѣзки. Сибирская община слишкомъ уважаетъ свободу каждаго, чтобы черезъ такіе короткіе сроки производить общій переполохъ.

Несомнѣнно, что сибирскую общину ожидаетъ хорошее будущее.

Только теперь здѣшняя деревня переживаетъ страшный кризисъ. Культура, которую мы назвали нахлѣбничествомъ, устарѣла уже и не соотвѣтствуетъ болѣе сложнымъ условіямъ жизни, надвинувшимся на сибиряка. Культура эта перешла по преданію къ сибиряку и въ продолженіи сотенъ лѣтъ только улучшилась въ данномъ направленіи. Ея главная основа—фатализмъ человѣка въ отношеніяхъ къ природѣ и неуваженіе къ силамъ человѣка. Крестьяне, переселившіеся сюда изъ Московской Руси, окружены были плодородною почвой, неизмѣримыми лѣсами, безконечными степями; они окружены были горами хлѣба, безчисленными стадами скота и всѣмъ тѣмъ, что даетъ крестьянину довольство и счастье, но это богатство безслѣдно пропало для здѣшняго человѣка, оно не воплотилось ни въ искусство, ни въ знанія, и мысль крестьянина осталась такою же бѣдною, безпомощною, неуклюжею, какою она была триста лѣтъ назадъ. Вотъ что мы называемъ нахлѣбничествомъ. Это трудъ человѣка, который изо дня въ день работаетъ и въ то же время изо дня въ день пользуется природой безъ всякой перемѣны и безъ всякой мысли о будущемъ.

Иллюстраціей къ этому можетъ послужить памятный 82-й годъ въ Курганскомъ округѣ. До этого года крестьяне даже не вѣрили въ возможность какого-нибудь кризиса въ ихъ хозяйствѣ. „Богъ милостивъ!“—говорилъ каждый, и только послѣ упорнаго желанія со стороны посторонняго человѣка

доказать непрочность здѣшняго хозяйства, крестьянинъ говорилъ: „Воля Божья! Что Богъ пошлетъ, то и будетъ". Нѣсколькими вѣками отдыха крестьяне не воспользовались, чтобы приготовиться къ жизненной борьбѣ, и не запаслись никакими орудіями для этой борьбы.

И вотъ насталъ 82-й годъ. Травы посохли, хлѣба сгорѣли. Скотъ издыхалъ, люди голодали. Ударъ былъ такъ неожиданъ, что крестьяне растерялись. Рѣзали камыши, рубили ихъ и кормили этими острыми спицами скотъ, и скотъ еще быстрѣе сталъ падать съ израненнымъ кишечнымъ каналомъ. А люди Богъ вѣсть чѣмъ питались; они продали все, что у нихъ было, лишь бы добыть хлѣбъ. И округъ, считавшійся житницей, *вдругъ* превратился въ огромное сборище нищихъ, а вся страна походила на мѣсто, гдѣ прошла война.

Какое же будущее трехъ округовъ, этой огромной „житницы" Западной Сибири?

Лѣса вырублены, озера пересыхаютъ.

Суровый, но ровный климатъ сдѣлался вѣроломнымъ.

Для страны настало время періодическихъ кризисовъ, болѣе или менѣе сильныхъ, болѣе или менѣе продолжительныхъ. Засуха, ливни, морозы въ іюлѣ—это теперь уже неотъемлемая принадлежность здѣшнихъ мѣстъ. Чѣмъ кончатся эти кризисы—трудно сказать, но кончатся они только тогда, когда фаталистическая культура уступитъ мѣсто другой, которая научитъ человѣка пользоваться всѣми его силами для удовлетворенія большинства его потребностей, хотя бы вопреки суровой природѣ.

Но пока кризисы будутъ продолжать свое дѣло.

Нѣкоторыя явленія здѣшней жизни уже такъ похожи на общерусскія, что ихъ трудно обособить въ особую группу съ своими собственными причинами. Такъ, въ нѣкоторыхъ деревняхъ отдѣльные домохозяева стали отказываться отъ своихъ надѣловъ, бросая ихъ на плечи міра и прекращая отбывать повинности. Контингентъ безхозяйственныхъ работниковъ изъ старожиловъ сильно увеличился за послѣдніе годы и еще быстрѣе будетъ увеличиваться на будущее время, но такъ какъ бросающіе хозяйство не имѣютъ выгодъ русскаго собрата, который имѣетъ возможность пропитываться отхожими промыслами, то они остаются въ деревнѣ, нани-

маясь въ работники къ зажиточнымъ крестьянамъ; другіе идутъ въ города, и безъ того переполненные рабочими руками изъ ссыльныхъ, для которыхъ, за неимѣніемъ мѣстъ, самое распространенное занятіе--воровство.

Старожиламъ бѣднякамъ, такимъ образомъ, некуда дѣться: по деревнямъ слишкомъ мало требуется наемныхъ рабочихъ, а въ городахъ всѣ работы заняты ссыльными. Лишенные мѣста всюду, безхозяйственные крестьяне отданы на волю случайностей и занимаются лишь тѣмъ, что внезапно подвернется подъ руку. И въ недалекомъ будущемъ здѣсь готовится образоваться тотъ странный, но всѣмъ знакомый въ Россіи и многочисленный классъ людей, источники жизни котораго чистая загадка, ибо никакимъ экономическимъ обобщеніемъ нельзя доказать, чѣмъ эти люди-птицы питаются.

Съ увѣренностью можно уже сказать, что время массовыхъ переселеній въ край кончилось, благодаря тому, что существующая культура неспособна дать жизнь болѣе плотному населенію. Правда, переселенія случайныя и единичныя будутъ продолжаться и въ послѣдующіе годы, но почти настолько, насколько отсюда будутъ выходить старожилы.

А что эти послѣдніе будутъ выходить, это неоспоримое положеніе. Теперь эти выселенія не приняли еще формы широкаго движенія, но единичные случаи этого рода уже такъ часты, что, по увѣренію одного компетентнаго въ этомъ дѣлѣ чиновника, за послѣдніе годы изъ края выселилось не менѣе 1000 душъ,—процентъ очень высокій для милліоннаго населенія Тобольской губерніи, а на будущее время возможно съ полною увѣренностью ожидать и массовыхъ выселеній.

Во всякомъ случаѣ, земледѣліе сдѣлалось здѣсь очень тяжелымъ дѣломъ, настолько рискованнымъ, что тѣ, которые не выселились въ другія мѣста, отыскиваютъ другія занятія въ подспорье сельскому хозяйству. Это отыскиваніе стороннихъ заработковъ сдѣлалось настолько распространеннымъ, что невозможно ошибаться въ важности послѣдствій отъ него. И такъ какъ кустарныя производства въ странѣ почти не существуютъ, а промысла сокращаются, то единственнымъ подспорьемъ сельскому хозяйству является извозъ, тѣсно связанный съ торговлей; это обстоятельство, вѣроятно, впослѣдствіи выдвинетъ другой классъ людей, главнымъ заня-

тіемъ котораго сдѣлается легкая нажива и кулачество всякаго рода.

За всѣмъ тѣмъ останется, какъ и теперь остается, громадное большинство тѣхъ крестьянъ, которые живутъ землей и ради земли. Ихъ недалекое будущее печально. Ни промышлять, ни торговать они неспособны; исконные земледѣльцы, они медленно приспособляются къ новымъ условіямъ жизни; неповоротливые, они будутъ гнуться при первомъ поворотѣ вѣтра.

Это самый здоровый, честный и чистый классъ въ Сибири; жизнь ихъ такъ проста, что большую часть ея потребностей они удовлетворяютъ сами, собственнымъ умѣньемъ. Но, повторяю, въ недалекомъ отъ насъ будущемъ этотъ классъ долженъ будетъ вынести тяжелое испытаніе.

Въ одинъ изъ базарныхъ дней гор. Ишима въ 84 г., въ концѣ августа, особенно тяжело было смотрѣть на съѣхавшихся крестьянъ. Погода стояла невозможная. Грязныя облака застилали все небо; лилъ холодный дождь или хлопьями валился снѣгъ; вѣтеръ дулъ такой сильный, что капли дождя и снѣгъ представляли крутящійся водоворотъ. Всѣ уже были увѣрены, что хлѣба погибли, и на базарѣ цѣна на муку поднялась сразу на полтинникъ противъ прошлаго базара. Въ рядахъ, гдѣ стояли возы съ хлѣбомъ, происходила такая давка, что хозяева хлѣба не успѣвали развѣшивать,—каждый спѣшилъ купить муки, глубоко вѣря, что на слѣдующій базаръ цѣна поднимется еще выше.

Но вдругъ нѣсколько человѣкъ изъ крестьянъ вздумали воспользоваться этою паникой, чтобы скупить гуртомъ нѣсколько возовъ для распродажи ихъ по пудамъ. Однако, едва они стали приводить это въ исполненіе, какъ базарная масса заволновалась; со всѣхъ сторонъ поднялись крики: „Что, креста на васъ нѣтъ, злодѣи!“ Въ нѣсколько минутъ воза были окружены, вѣсы оборваны и противъ скупщиковъ встало грозное обвиненіе: „Вы хотите воза скупить, а кому надо пудъ хлѣба, тотъ голоднымъ останется?“ На одного парня толпа съ такою яростью начала напирать, что только вмѣшательство полиціи спасло его. Но настроеніе людей долго еще и послѣ этого оставалось гнетущимъ.

Ясно, что для края наступаетъ другое время. Передъ большинствомъ крестьянъ выступаетъ грозная задача о

хлѣбѣ. *Пудъ муки* дѣлается, какъ и во многихъ мѣстностяхъ Россіи, основною заботой, передъ которой блѣднѣютъ всѣ другія заботы.

Желѣзная дорога, вѣроятно, нанесетъ послѣдній ударъ этой странѣ. Такъ какъ, кромѣ сырья, ей нечего будетъ брать здѣсь, то она сырье и вывезетъ; въ нѣсколько лѣтъ она вывезетъ весь хлѣбъ, кожи, масло, сало, сожжетъ лѣса, вырветъ съ корнемъ изъ земли все, что можно вырвать, и совсѣмъ опустошитъ страну, неприготовленную встрѣтить этого огненнаго вѣстника цивилизаціи, а взамѣнъ того она пуститъ на беззащитный въ культурномъ отношеніи край хищника, которому нечего дѣлать на родинѣ и который довершитъ опустошеніе. Тяжелъ будетъ этотъ кризисъ крестьянамъ.

Очерки Донецкаго бассейна.

I.

Сначала мнѣ пришлось проѣхаться по Дону. Путь былъ выбранъ такой: *Царицынъ*, *Калачъ*, *Ростовъ*, *Таганрогъ, Славянскъ* и *Святыя горы*, а отсюда уже предстояли поѣздки по заводамъ и копямъ. Весь путь, начиная съ Калача, былъ для меня совершенно новымъ, и тѣ мѣста, которыя я долженъ былъ проѣхать, въ полномъ смыслѣ оказались невѣдомыми; какъ истинно русскому человѣку, знающему съ большими деталями, что дѣлается въ Америкѣ, и не знающему, каково живется въ сосѣднемъ уѣздѣ, мнѣ также, начиная съ Калача, пришлось только изумляться своему невѣдѣнію.

Это произошло еще въ Царицынѣ. Собралось насъ четверо путешественниковъ, и ни одинъ не зналъ, что насъ ожидаетъ въ Калачѣ на Дону,—есть-ли тамъ пароходы, когда они отходятъ, благодаря обмеленію рѣки, о которомъ мы смутно слыхали еще въ верховьяхъ Волги,—ничего не знали.

Въ Царицынѣ намъ пришлось ждать поѣзда цѣлый день, и это время мы употребили на собираніе справокъ. Самый дѣятельный изъ насъ, докторъ, отправился съ пристани въ городъ, откопалъ тамъ стараго своего знакомаго, товарища по университету, также доктора, и привезъ его къ намъ въ качествѣ „достовѣрнаго свидѣтеля". Этотъ достовѣрный свидѣтель тотчасъ же принялся посвящать насъ во всѣ подробности путешествія по Дону. Надоѣла-ли ему скучная жизнь

въ отвратительномъ городѣ, извѣстномъ по всей Волгѣ своимъ убійственнымъ климатомъ, подъ вліяніемъ-ли катарра желудка, о которомъ мы узнали при первомъ же знакомствѣ, или просто ему стало весело въ новой для него компаніи, только свои сообщенія онъ приправилъ такимъ юмористическимъ соусомъ, что намъ стало жутко. У насъ на рукахъ былъ маленькій ребенокъ да больной товарищъ, съ которыми немыслимо было отправиться на пороходѣ по Дону.

— Да почему?—допрашивали мы.

— А вотъ вы сами увидите!—говорилъ веселымъ тономъ скучающій царицынскій интеллигентъ.—Это вы на Волгѣ-то избаловались, а по Дону не такъ... Пароходишко крошечный, вонючій. Душно, тѣсно. Не только во второмъ классѣ, но въ первомъ мѣста нѣтъ. Прилечь негдѣ... По вашему путеводителю, вы въ Ростовѣ будете на другой день? Какъ бы не такъ! Не на другой, а на пятый день вы попадете въ Ростовъ... И притомъ тѣснота, вонь, ѣсть нечего, буфетъ—отрава, прислуга одичалая... Воды для чаю велишь принести—не слушается; если начнешь ругаться—грубитъ. Только и добьешься чего-нибудь, если въ морду дашь. Честное слово! Увѣряю васъ, всю дорогу ѣдешь съ протоколами... А капитанъ держитъ себя полнымъ хозяиномъ. Пароходишко-то и дѣло садится на мель. И какъ только сѣлъ на мель, капитанъ сейчасъ командуетъ: „Третій классъ въ воду“!—и третій классъ прыгаетъ въ воду и начинаетъ сталкивать судно съ мели. Если пассажирамъ удастся быстро сталкивать съ мели свое суденышко, имъ дается изъ буфета по рюмкѣ водки, а то бываетъ и такъ, что бьются въ водѣ цѣлый день.

— Да не можетъ быть!

— А вотъ вы увидите. Честное слово! Иногда по цѣлому дню стоишь на мели. [illegible]

[illegible]

ложительно возмутилась въ виду предстоящихъ ужасовъ путешествія по Дону. Мы, болѣе стойкіе, уговаривали все-таки ѣхать, но уговаривали нерѣшительно, сами не довѣряя своимъ аргументамъ, ибо, какъ настоящіе русскіе люди, не знали, правду говоритъ царицынскій обыватель или отъ скуки фантазируетъ. Говоря теоретически, можно было допустить возможность всего имъ разсказаннаго: и это битье по мордѣ, и слѣдующіе за симъ протоколы, и команда капитана, чтобы третій классъ прыгалъ въ воду, и путешествіе вмѣсто двухъ дней—пять,—все это по-русски мыслимо, но, съ другой стороны, слишкомъ ужь фантастично допустить всѣ эти ужасы скученными въ одномъ и томъ же мѣстѣ, тогда какъ въ дѣйствительности они всегда довольно равномѣрно распредѣляются по русской землѣ.

Къ нашему общему удовольствію, оцѣненному только впослѣдствіи, нерѣшительные аргументы въ пользу путешествія по Дону перевѣсили, и мы отправились по Волго-донской вѣткѣ на Калачъ. И все обошлось какъ нельзя лучше. Въ Калачѣ мы должны были прожить въ ожиданіи парохода цѣлыя сутки, но это время провели отлично, поселившись въ пловучей гостинницѣ, устроенной на берегу Дона, рядомъ съ пароходною конторкой, а когда заняли мѣста на прибывшемъ пароходѣ, то уже почти совсѣмъ успокоились; только даму съ ребенкомъ, болѣе всѣхъ напуганную разсказами царицынскаго обывателя, помѣстили, вмѣсто второго класса, въ первый.

Мнѣ и до сихъ поръ непонятно, зачѣмъ скучающему царицынскому доктору понадобилось скучить, какъ въ сказкѣ, столько ужасовъ, разсѣянныхъ по нашей родинѣ, но рѣдко сгущающихся въ одномъ мѣстѣ такъ сильно, какъ онъ сгустилъ. Только кое-что изъ его словъ оказалось правдой. Плата за проѣздъ была вдвое дороже платы на волжскихъ пароходахъ; удобства же было вдвое меньше. Но чтобы пассажиръ изъ-за чайника съ кипяткомъ долженъ былъ заѣзжать въ морду, чтобы третьему классу капитанъ приказывалъ прыгать въ воду и тащить на себѣ пароходъ—этого не было, просто выдумка! Пароходикъ нашъ былъ маленькій, не очень чистый, съ хриплымъ свисткомъ, но везъ насъ исправно и привезъ въ Ростовъ дѣйствительно на другой день. Капитанъ и помощникъ, матросы и прислуга

были вѣжливы. И не только вѣжливы, но обязательны до послѣдней степени. Даже жалко было смотрѣть, въ особенности на прислугу, оборванную, съ блѣдными, измоpенными лицами, запуганную. Откормленные, одѣтые во фраки лакеи на волжскихъ пароходахъ здѣсь совершенно неизвѣстны. Видно, что донской прислугѣ работы много, а ѣсть нечего.

Во все время путешествія не было ни одного изъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ разсказывалъ царицынскій обыватель. Только однажды утлая наша машина сплоховала на одномъ изъ безчисленныхъ крутыхъ поворотовъ,—рулевой не успѣлъ повернуть руль, и пароходъ, какъ карась, выпрыгнулъ на берегъ. Стопъ! Одинъ бокъ судна стоялъ на берегу, а другой въ водѣ. Но это никого не смутило; нѣсколько матросовъ съ помощникомъ перелѣзли черезъ бортъ на берегъ, посовѣтовались, какъ лучше спустить пароходъ въ воду, и рѣшили: дать задній ходъ, авось машина не поломается. Рѣшивъ это, перелѣзли обратно черезъ бортъ, и помощникъ сказалъ машинисту: „Ну-ка, идите, попробуйте задній ходъ!“ Машинистъ далъ задній ходъ, валъ двинулся, колесо шлепнуло нѣсколько разъ по сухой землѣ, пароходикъ какъ-то вздохнулъ всѣмъ тѣломъ и сорвался въ воду. „Впередъ!“—скомандовалъ капитанъ, и мы пошли, какъ ни въ чемъ не бывало. Только нѣсколько плицъ колеса, обломанныхъ о берегъ, поплыли по рѣкѣ, но ихъ вставили на слѣдующей пристани.

Вообще, хотя вонючій и съ виду гадкій, но въ работѣ нашъ пароходикъ былъ терпѣливымъ и выносливымъ созданіемъ. Спадъ водъ уже начался, мели обнажились, и пароходикъ то и дѣло зарывался носомъ въ песокъ; случалось, совсѣмъ обезсилѣетъ и встанетъ, но достаточно капитану сказать: „впередъ!“—какъ онъ, подобно доброму мужицкому мерину, двинется, задрожитъ весь, тяжко вздохнетъ, зароется глубоко въ песокъ, а вывезетъ-таки. Капитанъ, повидимому, хорошо зналъ своего конягу и безусловно вѣрилъ въ его выносливость и терпѣніе. То и дѣло по берегамъ подсаживались пассажиры, не съ лодки и не съ конторки, а такъ, просто съ берега. Завидитъ капитанъ, что впереди на берегу машутъ платкомъ, и направляетъ свой пароходикъ по тому направленію. Пароходикъ смѣло бѣжитъ на берегъ, тыкается носомъ въ землю, затѣмъ одинъ изъ матросовъ пе-

релѣзаетъ черезъ бортъ и держитъ его за веревку, какъ за поводья узды, до тѣхъ поръ, пока пассажиръ перетаскиваетъ съ берега свои вещи. „Впередъ!"—кричитъ капитанъ, лишь только пассажиръ сѣлъ, и добрый коняга, повернувъ въ сторону, снова начинаетъ загребать колесами.

Странное впечатлѣніе производитъ Донъ послѣ Волги, точно попалъ съ шумныхъ улицъ большого города на тихую деревенскую улицу, поросшую муравкой, по которой кое-гдѣ бродятъ куры да гуси съ утками. Пароходикъ безпрестанно виляетъ по безчисленнымъ закоулкамъ и излучинамъ степной рѣки; иногда кажется, что впереди уже нѣтъ ему прохода: только виднѣются луга, пески да камышъ; но вдругъ крутой поворотъ, словно переулокъ—и пароходикъ снова загребаетъ колесами по этому переулку. Разстояніе между берегами часто всего нѣсколько саженей. А на берегахъ деревенскій міръ: кое-гдѣ полощутся въ водѣ гуси и при проходѣ парохода сторонятся ближе къ камышу; тутъ же плаваютъ утки и по тропинкамъ берега куда-то спѣшитъ цѣлая семья свиней, состоящая изъ почтенныхъ размѣровъ матери и штукъ двѣнадцати дѣтей. Иногда конь понуро стоитъ около воды, помахивая хвостомъ, иногда бѣгутъ рядомъ съ пароходомъ телята.

Кругомъ стоитъ необыкновенная тишина. Шлепанье колесъ нашего пароходика раздается глухо, беззвучно; эхо не отражаетъ звуковъ, ибо берега ровные, плоскіе. По ту и другую сторону рѣки тянутся необозримые луга, изрѣдка только украшенные кустарникомъ, тѣ самые казацкіе луга, на уборку которыхъ стекаются косари со всѣхъ концовъ Россіи. Вотъ тогда, видно, Донъ оживляется. А теперь, во время нашего путешествія, глубокая тишина и лѣнь охватили его неизмѣримыя пространства. Людей рѣдко видишь; даже по пристанямъ, въ большихъ станицахъ, возлѣ конторки сидятъ двѣ-три бабы,--одна съ воблой, другая съ сѣмячками, третья съ хлѣбомъ, да тутъ же, неизвѣстно зачѣмъ, толчется казакъ. Но зато часто вдали отъ жилья вдругъ покажется кучка народа: то казаки тянутъ неводъ во всю ширину рѣки, и пароходикъ нашъ перескакиваетъ безъ всякой церемоніи черезъ верхнюю веревку.

Самыя станицы, тамъ и сямъ показывающіяся по обоимъ берегамъ, кажутся погруженными въ лѣнивую дремоту. Всѣ

онѣ, какъ двѣ капли воды, похожи одна на другую, и дома въ каждой изъ нихъ совершенно одинаковы, точно строилъ ихъ одинъ хозяинъ: непремѣнно каждый домикъ въ три окна, непремѣнно съ балкончикомъ и непремѣнно выкрашенный въ желтую краску. Сходство поразительное, и я, какъ ни старался, но не могъ на другой день припомнить, которая станица Константиновская, которая Аксайская. Поэтому никакъ не могу вспомнить, съ которой станціи, характеръ Дона нѣсколько измѣнился. Дѣло въ томъ, что, начиная съ какой-то станицы, на правомъ берегу, подъ защитой отъ сѣвернаго вѣтра, начали зеленѣть виноградники, а раньше, ближе къ Калачу, ихъ не было. Съ перваго взгляда Донъ остался прежнимъ, но на самомъ дѣлѣ, при болѣе пристальномъ взглядѣ, картина сильно измѣнилась: вмѣстѣ съ холмами и виноградниками появилось что-то нѣжное и веселое, и скучающій взоръ уже не терялся больше въ необозримыхъ зарасляхъ и лугахъ. Начиная съ этой станціи, виноградники потянулись почти безпрерывно вплоть до самаго Ростова.

Но это не измѣнило мирнаго, почти сонваго вида рѣки и раскинувшихся по ея берегамъ станицъ. А вѣдь когда-то здѣсь кипѣла жизнь, только не такая, какъ въ шумныхъ городахъ, а дикая и кровавая. Каждый клочекъ этихъ, нынѣ спящихъ береговъ политъ кровью; тутъ всюду нѣкогда раздавались выстрѣлы, вопли и стоны, брань и клики торжества побѣдившей стороны. Съ лѣваго берега стрѣляли татары, а съ праваго—казаки. Когда казачка шла съ ведрами за водой, за ней слѣдовалъ провожатый съ заряженнымъ ружьемъ. Безоружный погибалъ, оплошавшій попадалъ въ плѣнъ къ „поганымъ“. Рѣзня была ежедневная и безпощадная... Когда нашъ пароходъ проходилъ мимо Старочеркасской станицы, нѣсколько пассажировъ обратили вниманіе на часовню, стоящую далеко отъ станицы, прямо въ лугахъ. На свои разспросы, они получили обстоятельный разсказъ о значеніи часовни отъ ѣхавшаго съ нами казацкаго полковника. „Видите-ли, какъ было дѣло. Казачье войско возвращалось съ побѣдоноснаго азовскаго похода въ Старые Черкасы, которые въ ту пору были еще донскою столицей. Время близилось къ вечеру, приближались сумерки, а войску не хотѣлось войти къ себѣ домой ночью; ему хотѣлось показаться у себя при свѣтѣ солнца, съ тріумфомъ, при боѣ

барабановъ, съ побѣдными пѣснями, гарцуя на коняхъ. И рѣшено было остановиться на ночь вотъ въ этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ часовня. Рѣшили и остановились разбили станъ и полегли спать мертвымъ сномъ, въ ожиданіи завтрашняго торжества. Но судьба не то имъ сулила. За войскомъ все время, по другому берегу, незамѣтно слѣдили татары; какъ проклятые волки, они тайно слѣдовали за войскомъ и какъ только увидали, что казацкое войско уснуло, не разставивъ даже часовыхъ (потому что, какъ видите, вѣдь дѣло было передъ самою станицей), тотчасъ въ глухую полночь переправились черезъ рѣку и вырѣзали все войско дочистà, за исключеніемъ нѣскольких казаковъ, которые спаслись и прибѣжали въ станицу, чтобы извѣстить своихъ о безславной смерти воиновъ. Тутъ впослѣдствіи черкассцы и поставили часовню за упокой душъ".

Вотъ какія тогда были времена. А теперь Донъ тихо спитъ. Война кончилась. Воцарился миръ. Сонно катитъ онъ свои воды среди безконечныхъ луговъ и никогда уже не проснется. Не будетъ здѣсь, по всей вѣроятности, и того бойкаго торговаго пути, о которомъ мечтали составители проектовъ. Виноградники да луга—вотъ, вѣроятно, что въ будущемъ ожидаетъ тихій Донъ.

Вытравится въ недалекомъ будущемъ и тотъ казацкій духъ, про который такъ много говорили. Поддерживался и воспитывался онъ татарами, и когда татаръ не стало, нѣтъ больше мѣста и этому духу... Нынѣшній казакъ любитъ свои луга, поля и виноградники. Только на людяхъ онъ воинственно охорашивается, а лишь только приходитъ домой къ себѣ, какъ превращается моментально въ добраго селянина. Съ нами ѣхало въ 3-емъ классѣ нѣсколько татаръ съ муллой во главѣ; отправлялись они въ Мекку. При восходѣ и закатѣ солнца они тихо поднимались наверхъ рубки, разстилали коврики и съ обращенными къ востоку лицами начинали молиться. Капитанъ не гналъ ихъ, хотя, какъ пассажиры 3-го класса, они не имѣли права подниматься на мостикъ; пассажиры также не мѣшали имъ, не оскорбивъ ихъ молитвы ни однимъ жестомъ. Только одинъ старый казацкій полковникъ однажды вздумалъ развеселить насъ. Показавъ пальцемъ на кучку молящихся, онъ съ притворнымъ гнѣвомъ сказалъ намъ:

— И зачѣмъ только капитанъ пускаетъ ихъ сюда?... Ишь, подлецы, тоже молятся! Хорошаго бы арапника влѣпить имъ, перестали бы вертѣть своими бритыми башками!

Но, не встрѣтивъ ни откуда одобренія своимъ словамъ, добродушный полковникъ ужасно сконфузился. Къ его удовольствію, въ это время вдали показался Ростовъ, и всеобщее вниманіе отвлечено было отъ плохой шутки мирнаго полковника. Характеръ Дона круто измѣнился: какъ-то незамѣтно онъ вдругъ сталъ громадною, глубокою рѣкой. Въ это время дулъ сильный вѣтеръ, и волны его вдругъ выросли въ цѣлые холмы, шумно ревущіе вокругъ нашего утлаго суденышка. Впереди на водномъ горизонтѣ показался лѣсъ мачтъ. Гдѣ же Донъ? Онъ неожиданно влился въ море и потерялъ всѣ свои особенности сонной степной рѣчки.

II.

Дорога отъ Ростова до Святыхъ горъ, которыя должны были послужить мнѣ центральнымъ пунктомъ, откуда я намѣревался дѣлать поѣздки по разнымъ направленіямъ, промелькнула быстрѣе, нежели кто-нибудь изъ насъ ожидалъ; тѣмъ болѣе, что ради постороннихъ соображеній мы должны были остановиться дня на три на одной изъ маленькихъ станцій, въ центрѣ погибающаго сахарнаго завода. Такъ что впечатлѣніе отъ всей дороги было свѣжее, но не сильное. Кругомъ ширилась степь, мѣстами бурая отъ бездождія, мѣстами зеленѣющая; изрѣдка попадется долина, по которой расположились хутора и села; изрѣдка мелькнетъ въ глубокой впадинѣ хуторокъ или сверкнетъ, какъ полоска стали, степная рѣченка, обросшая густою травой, но сейчасъ же тянется во всѣ стороны безконечная степь, изрѣзанная по всѣмъ направленіямъ сухими и бурыми морщинами. Степь и степь, сзади и впереди, по ту и другую сторону, безъ начала и конца, не дающая ожиданій и не оставляющая воспоминаній, ровная и скучная,—таково единственное впечатлѣніе, оставшееся у меня лично отъ дороги.

И такъ до самыхъ Святыхъ горъ. Отъ мѣста остановки мы оставили желѣзную дорогу и ѣхали, ради избѣжанія пересадокъ, на лошадяхъ. Разстояніе было не менѣе 45 верстъ. И опять всю дорогу по всѣмъ направленіямъ тянулась степь,

то бурая, то зеленѣющая, но всегда скучная и какая-то дряхлая, и усталый взоръ тоскливо отворачивался отъ нея, словно это была старая-престарая старуха, много жившая, видавшая всякіе виды и, наконецъ, одряхлѣвшая и беззвучно умирающая. Но вдругъ все это измѣнилось: незамѣтно выросъ съ одной стороны дороги лѣсъ, затѣмъ съ другой стороны показался лѣсъ. Дорога поползла вверхъ, на гору; лошади тяжело тащили экипажи; горизонтъ впереди съузился до нѣсколькихъ саженей. Наконецъ, мы на гребнѣ горы, и картина мгновенно измѣнилась. Лошади понесли насъ внизъ, а тамъ, внизу, разбросалось по глубокому оврагу село, а за селомъ, еще гдѣ-то глубже, засверкало цѣлое море лѣса. Словно по волшебству, это чудное мѣсто выросло изъ-подъ ногъ, облило насъ новымъ свѣтомъ, мгновенно заставивъ забыть все, что осталось назади, и приковавъ вниманіе всецѣло къ себѣ.

Лошади проскакали черезъ село, ворвались въ тотъ домъ, гдѣ мы должны были остановиться, и не успѣлъ я опомниться и оглядѣться въ чужомъ домѣ, какъ докторъ уже потащилъ меня почти насильно куда-то со двора, по улицѣ, по переулку, черезъ огородъ, мимо садочка. По дорогѣ онъ, отъ нетерпѣнія за мою медленность, бросилъ меня и побѣжалъ впередъ, хотя энергичными жестами не переставалъ торопить меня. Я, какъ только могъ, торопился, бѣжалъ, прыгнулъ черезъ заборъ, бросился по огороду, очутился въ вишняхъ и остановился, сердитый на всѣхъ любителей природы, около какой-то бѣленькой хатки съ однимъ маленькимъ окномъ, которое, какъ мнѣ показалось, напряженно заглядывало куда-то внизъ. И докторъ смотрѣлъ внизъ, и я сталъ туда же смотрѣть... А тамъ подъ крутымъ обрывомъ расположился Донецъ.

Были уже сумерки. Вода Донца приняла густо-зеленый цвѣтъ. Съ лѣваго берега въ него заглядывали столѣтніе дубы, а съ праваго, на которомъ мы стояли, высокія сосны. Тамъ, на лѣвомъ берегу, конецъ лѣса скрывался изъ глазъ,—это было зеленое море, ровное, неподвижное, а правый берегъ возвышался крутыми горами, по которымъ густо лѣпились стройныя сосны. И между этими-то соснами расположился Донецъ, и не то лѣнивою нѣгой, не то грустью вѣяло отъ его зеленой воды. Намъ открывалась только небольшая его

полоса; по лѣвую руку отъ насъ онъ вдругъ таинственно скрывался за крутымъ утесомъ, также покрытымъ соснами, а съ правой стороны онъ, казалось, манилъ за собой, въ тѣ лѣсистыя горы, откуда бѣлѣлись церкви.

— Вотъ это и есть *Святыя горы*! Смотрите, какая тамъ игра свѣта и красокъ!—сказалъ восторженно докторъ.

Но уже было сумрачно. Горы уже покрывались ночною мглой, и хотя онѣ стояли всего въ трехъ верстахъ отъ монастыря, но отъ него до насъ достигали только какіе-то неопредѣленные, бѣловатые контуры. Угасавшій свѣтъ только ближайшіе къ намъ предметы освѣщалъ достаточно ясно; все остальное—и горы, и оба конца грустной рѣки, и лѣсное море,—все это уже накрыто было сумеречною мглой.

Но мы еще долго стояли возлѣ хатки, заглядывавшей единственнымъ своимъ окошечкомъ съ крутизны внизъ на Донецъ: стояли и смотрѣли, очарованные. И когда глазъ уже повсюду останавливался только на темной мглѣ, не различая отдѣльныхъ предметовъ, мы все-таки продолжали стоять... потому что въ это время картины смѣнились звуками. Сзади насъ, со стороны села, доносился ревъ возвратившихся стадъ, отражающійся эхомъ отъ горъ и лѣсовъ, а съ противоположной стороны, изъ глубины лѣса, слышался неопредѣленный гулъ, производимый лѣснымъ царствомъ,—свистѣлъ соловей, кукушка отсчитывала послѣдніе удары, глухо мычалъ болотный бычокъ, пищали и стонали какіе-то неизвѣстные звѣри, а все это покрывалъ собою оглушительный, перекатывающійся волнами среди ночи концертъ милліона лягушекъ. „Мѣсто это чудно, и даже звѣри, кто какъ можетъ, поетъ и прославляетъ красоту его",—подумалось мнѣ. А докторъ, какъ бы угадывая мою мысль, вдругъ сказалъ:

— Хорошо? Благодать? Это намъ-то, избалованнымъ всякими красотами... А каково же впечатлѣніе простого человѣка, который прямо изъ голой и голодной степи или прямо изъ навоза очутился здѣсь! Чувство святости и божеской благодати — вотъ какое чувство вдругъ охватываетъ его здѣсь!... Для насъ это только красиво, а ему свято... Намъ эстетика, а ему божеская правда... А впрочемъ до завтра,— вы сами все увидите.

Дѣйствительно, пора было идти домой и заняться ночлегомъ.

На слѣдующій день мы долго собирались, такъ какъ желающихъ побывать въ Святыхъ горахъ было много, въ томъ числѣ человѣкъ пять дѣтишекъ, и кое-какъ къ двумъ часамъ собрались. Рѣшено было ѣхать на лодкѣ. Гребцами выбраны были двое работниковъ: одинъ докторскій кучеръ, а другой—батракъ въ томъ домѣ, гдѣ мы остановились. Послѣдній былъ сильный, здоровый малый, но зато докторскій возница никуда не годился: во-первыхъ, онъ былъ слабъ отъ природы, а, во-вторыхъ, по добротѣ хозяйки, такъ основательно былъ угощенъ „горилкой“, что требовалъ за собой особаго присмотра. Но объ этомъ обстоятельствѣ мы узнали только тогда, когда измѣнить его уже было поздно, т.-е. когда мы были на серединѣ рѣки.

Лишь только лодка наша поплыла, какъ всѣхъ насъ охватило чувство нѣги и счастія. На этотъ разъ, при блескѣ солнца, впечатлѣніе было совсѣмъ не то, какъ вчера, во время сумерокъ, когда отъ всего этого чуднаго мѣста вѣяло тихою грустью. Напротивъ, теперь все блестѣло и смѣялось. Смѣялись лѣса лѣваго берега, играя листвой на своихъ старыхъ, но еще бодрыхъ дубахъ, мягко улыбались горы праваго берега, очертанія котораго теперь не выглядѣли таками суровыми, какъ вчера; самыя сосны на нихъ уже не были суровыми великанами, неподвижно висящими въ воздухѣ по крутымъ берегамъ; напротивъ, веселою и живою толпой окружили онѣ берегъ рѣки и, цѣпляясь за уступы, бѣжали вверхъ до самаго гребня горъ, гдѣ сплошною массой закрыли собою горизонтъ. Кое-гдѣ гора обнажалась, и тогда на солнцѣ блестѣлъ мѣловой обвалъ. Самъ Донецъ, вчера такой лѣниво-грустный, сегодня смѣялся, благодаря мелкой ряби, поднятой вѣтромъ. И звуки, идущіе со всѣхъ сторонъ на насъ, тоже были веселѣе, бодрѣе...

Но зато въ лодкѣ нашей всю дорогу неблагополучно. Всему виной былъ Николай, докторскій кучеръ. Онъ съ самаго начала былъ мало куда пригоденъ, въ особенности для роли гребца ко „святымъ мѣстамъ“. Отъ работы весломъ его еще больше разобрало; онъ безъ толку, не въ тактъ бурлилъ имъ воду, качалъ лодку, обдавалъ брызгами близко сидящихъ. Кругомъ противъ него раздавался ропотъ, хотя большинство смѣялось надъ его неуклюжестью. Въ особенности возсталъ на него самъ хозяинъ,—всю дорогу онъ ругалъ его.

— Ты опять, болванъ, напился?

— Ничего не напился... поднесли трошки—и напился.

— Ну, вотъ, посмотрите на этого болвана!... У него большая семья, жена, дѣти и онъ близокъ къ чахоткѣ. И все-таки, скотина, возьметъ, да нажрется, а потомъ нѣсколько дней стонетъ... Греби хорошенько, а не то пошелъ вонъ съ лодки!—кричалъ, внѣ себя отъ гнѣва, докторъ, обращаясь попеременно то къ намъ, то къ своему возницѣ.

Это продолжалось до самыхъ святыхъ мѣстъ. Николай бухалъ въ Донецъ весломъ, бурлилъ воду, брызгалъ, раскачивалъ лодку, а докторъ бѣсился, страдалъ, ругался. Пришлось ихъ обоихъ успокоивать.

— Ахъ, не могу я выносить пьяныхъ! Эта скотина все намъ отравитъ, всѣ эти чудныя мѣста!—съ огорченіемъ кричалъ докторъ. Одинъ разъ онъ окончательно потерялъ хладнокровіе и умолялъ насъ подъѣхать къ берегу.

— Зачѣмъ?

— Высадить этого чорта на берегъ. Пошелъ вонъ!

Но Николай еще больше отъ этихъ упрековъ опьянѣлъ и поглупѣлъ. Съ выпученными глазами, съ краснымъ лицомъ, по которому потъ крупными каплями катился внизъ, онъ судорожно билъ воду весломъ и раскачивалъ лодку. Нѣсколько разъ ему предлагали сѣсть на одно изъ свободныхъ мѣстъ, причемъ на его весло находилось нѣсколько охотниковъ, но онъ съ пьянымъ упорствомъ отказывался уступить свое мѣсто и продолжалъ немилосердно бороться съ лодкой. Надо сказать, что онъ никогда не былъ въ Святыхъ горахъ и когда выѣзжалъ изъ дома, то имѣлъ въ высшей степени довольный видъ, что, наконецъ, и онъ поклонится святымъ мѣстамъ. И нужно же было случиться такому грѣху, что онъ за четыре версты отъ этихъ мѣстъ въ лоскъ напился! Поэтому-то онъ и гребъ такъ немилосердно, отказываясь уступить свое мѣсто.

— Чай, я не былъ въ святыхъ мѣстахъ... Охота поклониться!—бурчалъ онъ на брань и упреки.

— И для святыхъ мѣстъ ты напился?—спрашивали у него со смѣхомъ.

Николай долго не могъ найти себѣ оправданія и только глядѣлъ на всѣхъ выпученными глазами. Но, наконецъ, онъ нашелся.

— Пiйду и поклонюсь... и буду молыть, щобъ Боже спасъ мене отъ горiлкi... А вiнъ мене лае!

Раздался дружный смѣхъ, и самъ хитрый хохолъ засмѣялся. Этимъ онъ примирилъ съ собой всѣхъ насъ, и о немъ скоро всѣ позабыли.

И пора было. Въ вознѣ съ Николаемъ мы и не замѣтили, какъ лодка наша приблизилась къ пристани у монастыря. Монастырь былъ уже весь передъ нами. Черезъ минуту лодка причалила, мы торопливо повыскакали изъ нея и гурьбой пошли осматривать Святогорскую пустынь. За нами шелъ Николай и всюду, съ непокрытою головой, держа шапку подъ мышкой, крестился, кланялся и прикладывался.

Не стану описывать самую пустыню; есть прекрасныя описанiя ея, напр., описанiе г. Немировича-Данченко, и фотографическiе снимки, продающiеся самимъ монастыремъ во многихъ мѣстахъ Россiи. Да я и не ставилъ себѣ въ обязанность осматривать монастырь; меня интересовали только богомольцы, тысячами стекающiеся сюда со всѣхъ концовъ Россiи.

Но, тѣмъ не менѣе, подъ настоянiемъ доктора, мы систематически обошли и осмотрѣли все, что полагалось обойти и осмотрѣть: гостепрiимный дворъ, лавку, храмы, площади и паперти. Докторъ былъ восторженнымъ поклонникомъ красоты этихъ мѣстъ и съ увлеченiемъ показывалъ намъ все оригинальное, чудесное и прекрасное, что только тутъ было. Когда нижнiя зданiя были обойдены нами, онъ повелъ насъ вверхъ по ступенямъ, на ту мѣловую скалу, въ которой надѣланы пещеры и которая въ цѣломъ представляетъ собою самый оригинальный и прекрасный храмъ, какой только могли создать природа и человѣкъ, соединивъ свои труды, свои творчество и силу.

Ступеней болѣе пятисотъ. Подъемъ утомительный. Но по всему подъему, черезъ коротвiе промежутки, надѣланы площадки со скамейками для отдыха. Но, увлекаемые докторомъ, мы почти нигдѣ не отдыхали и безостановочно, тяжело дыша, торопились вверхъ; только изрѣдка, бросая взоры, смотрѣли черезъ пролеты на все шире и шире раскрывающiйся видъ. Наконецъ, совершенно задыхаясь, мы взобрались на послѣднюю площадку, гдѣ прилѣпилась маленькая церковка. Держась за скалу, мы стали отдыхать. Въ то же время и взоръ

отдыхалъ,—для него вдругъ открывался необъятный просторъ. Широкое море лѣса, нѣсколько селъ и деревень, а внизу, глубоко подъ горой, зеленый Донецъ; даль покрыта была дымкой, и ближайшія мѣста ярко блестѣли, залитыя горячимъ солнцемъ. Мы долго не могли оторваться отъ ветхихъ перилъ, отдѣляющихъ гору отъ пропасти, на днѣ которой сосны казались плотною и низкою густиной.

Потомъ мы вошли въ церковку. Тамъ съ десятокъ богомольцевъ, одѣтыхъ въ армяки и съ котомками за плечами, усердно молились, кладя земные поклоны. На всѣхъ лицахъ было восторженное благоговѣніе, и одна молоденькая женщина въ лаптяхъ и въ пестромъ платкѣ молилась и улыбалась, и въ то же время слезы катились по ея жизнерадостному молодому лицу...

Мы тихо удалились, не желая нарушать своею шумною толпой настроеніе молившихся. Да и какъ-то неловко, почти стыдно стало стоять среди этихъ людей, у которыхъ чувство красоты природы неразрывно слилось здѣсь съ чувствомъ святости. Докторъ былъ правъ. Смотря на эту бѣлую скалу, вырубленную самою природой и за десятки верстъ сверкающую на солнцѣ,—скалу, высоко поднятую надъ этимъ моремъ лѣса,—простые люди говорятъ, что самъ Богъ пожелалъ имѣть здѣсь мѣсто Свое...

На этотъ разъ я не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія ближе подойти къ толпѣ богомольцевъ, тѣмъ болѣе, что и времени осталось немного: мы должны были вернуться къ сумеркамъ въ село, а солнце уже висѣло надъ верхушкой дальней горы, и сосны, ее покрывающія, уже горѣли въ его золотой мглѣ.

Потолкавшись еще немного по другимъ монастырскимъ уголкамъ, мы стали спускаться къ берегу, гдѣ стояла наша лодка. Тамъ уже ждали насъ гребцы, въ томъ числѣ и Николай. Онъ выглядѣлъ трезвымъ. Лицо его было свѣтло и разумно. Но докторъ не могъ ему простить, что за два часа передъ тѣмъ онъ отравилъ ему все прекрасное.

Черезъ день я былъ опять въ пустыни и познакомился уже съ настоящими паломниками.

III.

Былъ жаркій полдень, когда я, перейдя мостъ съ луговой стороны, стоялъ у самаго подъема на монастырскую гору.

Захотѣлось отдохнуть, прежде чѣмъ бродить по Святогорской пустыни. Облокотившись на перила, я въ изнеможеніи отъ зноя сталъ смотрѣть на воду внизъ. Кругомъ царила благоговѣйная тишина. Монастырскія зданія и церкви, залитыя солнцемъ, точно уснули отъ истомы. Лѣниво прошли мимо меня два монаха. По мосту проѣхала грузная телѣга, запряженная парой воловъ. Прошелъ еще на гору какой-то дачникъ, укрытый зонтикомъ. По набережной мостовой въ разныхъ мѣстахъ кучками полегли богомольцы, сваливъ въ одну груду свои котомки и посохи. Все молчало, подавленное жарой.

Только подъ мостомъ на берегу, прямо противъ того мѣста, гдѣ я стоялъ, копошились какой-то старикъ и баба, копошились и вели между собой оживленный разговоръ. Судя по этому разговору и по костюму, оба они пришли изъ Курской губ. Въ то время, какъ я обратилъ на нихъ вниманіе, они заняты были полосканіемъ какихъ-то тряпицъ, въ которыхъ съ трудомъ можно было угадать ихъ бѣлье. Баба полоскала и выжимала, а старикъ развѣшивалъ на перекладинахъ моста. И все это сопровождалось обмѣномъ мыслей по поводу того, что каждый изъ нихъ замѣтилъ чудеснаго въ Святыхъ горахъ.

— Наверху-то была ты?—спросилъ дѣдъ съ веселымъ лицомъ.

— На шкалѣ? Была, была!... Только въ пещеру не угодила,—отвѣчала баба оживленно.

— Въ пещеру-то, касатка, не отсюдова заходятъ, а снизу...

— Ой? Какъ же туда угодить-то?—сказала баба, вся встрепенувшись.

— Снизу. Монахъ проведетъ. Со свѣчами надо идтить. И какъ войдешь—темень, сырость, страхъ! И все поднимаешься выше, и все темень и страхъ, а кругомъ пещеры накопаны; это, значитъ, въ которыхъ допрежъ святые жили. И опять все вверхъ, и темень, холодъ! И дойдешь ты до той пещеры, коя выкопана руками Ивана святаго, и тамъ увидишь вериги его, эдакъ, примѣрно сказать, съ полпуда... Это ужь высоко, на самомъ верху подъ шкалой...

— Родный ты мой, вѣдь я тамъ не была!—почти съ отчаяніемъ вскричала баба и сорвалась съ мѣста, побросавъ

тришицы. —Побѣгу, ты ужь тутъ самъ помой!—торопливо выговорила баба.

Но дѣдъ, не возвышая голоса, съ благожелательною улыбкой остановилъ ее.

— Погоди! Куда ты, глупая, побѣжишь? Ничего не знамши, какъ и когда, куда ты сунешься? Два раза на дню только монахъ водить показывать, а ты одна для чего сунешься? Вотъ вечерня будетъ, пойдутъ люди съ монахомъ, тогда и ты съ ними... Давай, домоемъ ужь рубахи-то...

Говоря это, дѣдъ улыбался снисходительно и продолжалъ развѣшивать свои рубахи и порты. Все лицо его, окруженное сѣдыми кудрями, свѣтилось всецѣло этою снисходительностью и какою-то особенною радостью. Замѣтивъ меня стоящимъ наверху у перилъ, онъ съ такою же свѣтлою улыбкой обратился и ко мнѣ:

— Вишь, господинъ, хурдишки свои моемъ... Ужь какое это мытье, а въ дорогѣ, съ устатку-то, оно все же чистенько.

— На богомолье пришли?—спросилъ я, пользуясь случаемъ завязать разговоръ.

— Господь сподобилъ побывать на святыхъ мѣстахъ. Слава Богу, побылъ тутъ денька три, помолился, поблагодарилъ, насмотрѣлся и завтра утречкомъ, на зорькѣ, съ Божьей помощью, домой,—отвѣтилъ старикъ съ веселымъ довольствомъ.

— А это развѣ не твоя баба?

— Какое! На пути встрѣлись! Ну, она и говоритъ: „Возьми, говоритъ, дѣдушка, меня съ собой, потому женскому сословію боязно въ дальней дорогѣ"... Такъ мы и шли досюда вмѣстѣ.

— Да ты издалека?

— Изъ Курской губерніи. Изъ-подъ Бѣлостока. Чай, знаешь? Оно далеконько для моихъ старыхъ ногъ, ну, да слава тебѣ Господи, потрудился, идучи, для Бога.

— По обѣту пришелъ сюда?—спросилъ я, но свѣтлый дѣдъ сначала не понялъ.

— Ну, ужъ какой тутъ обѣтъ! Въ трапезѣ дадутъ въ чашку мясо съ борща, ну, съ хлѣбцемъ и похлебаешь...

— Я не то спрашиваю, дѣдушка... Я спрашиваю, отчего ты сюда пришелъ — по обѣщанью, вслѣдствіе болѣзни или несчастья?

Дѣдъ, понявъ мои слова, вдругъ даже привсталъ съ берега, гдѣ онъ сидѣлъ.

— Что ты, что ты! У меня несчастіе! Что ты, господинъ! Да развѣ я могу роптать на Бога, гнѣвить Его? Никакого несчастія въ дому у меня не было. Всю жисть хранилъ Господь, помогалъ мнѣ, достатокъ мнѣ далъ, снисходилъ къ нашимъ грѣхамъ. Вотъ я и пришелъ потрудиться для Него, поблагодарить за всѣ милости... Домъ у меня, господинъ, согласный, двое сыновьевъ, снохи, внуки и старуха еще жива. И всѣ мы, благодаря Создателю, сыты, спокойны и не знаемъ несчастія. Хранитъ насъ Господь. Примѣрно сказать, хлѣбъ?—Есть. Или, напримѣръ, мелкой скотины, овецъ, свиней, птицы?—Очень довольно. Ежели, напримѣръ, спросишь у меня: „есть, Митрофановъ, пчелы у тебя?“ Есть, скажу я, пеньковъ до 401. Всѣмъ благословилъ Господь! Вотъ я и надумалъ потрудиться для Бога. Жисть наша, господинъ, грѣшная. Все норовишь для себя, все для себя, а для Бога ничего. И зиму, и лѣто все только и въ мысляхъ у тебя, какъ бы денегъ побольше наколотить, да какъ бы другого чего нахватать. Лѣто придетъ,—ну, ужь тутъ совсѣмъ озвѣрѣешь. Мечешься, какъ скотина какая голодная, съ пара на сѣнокосъ, съ сѣнокоса въ лѣсъ, изъ лѣсу въ поле на жнивье, и все рвешь, дерешь, хватаешь, да все нацапанное суешь въ амбаръ, запихиваешь подъ клѣти, да подъ сараи, да въ погребъ... И все опосля это пойдетъ въ брюхо да на свою шкуру. И, прямо тебѣ сказать, озвѣрѣешь и недосугъ подумать, окромя сѣна или овса, или муки, ни очемъ душевномъ или божескомъ... Вотъ я и на думалъ. Всю жисть хранилъ меня Господь и всѣмъ благословилъ, и отъ бѣдъ соблюлъ меня... и, окромя того, старъ уже я сталъ, къ смерти дѣло подходитъ... вотъ я и говорю себѣ: „Будетъ, Митрофановъ, брюху служить, пора послужить Богу, потрудиться для Него!“...

И на веселомъ лицѣ дѣда, обвитомъ бѣлыми кудрями, выразилось полное восхищеніе.

— Слава тебѣ Господи, сподобилъ меня Творецъ побывать у Своихъ святыхъ мѣстъ... Ну, ужь и точно святыя мѣста! Стало быть, Богъ для себя это мѣсто пріуладилъ, коли ежели такъ чудесно оно. Войдешь-ли на эту шкалу, откуда глядитъ на тебя вся эта Божья премудрость, а либо подъ землю, въ

пещеру сойдешь, въ темень эту и холодъ, гдѣ святые живали въ старыя времена, или тамъ со шкалы пойдешь еще выше, на хуторъ...

— А это что такое, Митрофанычъ, хуторъ?... Чего тамъ такое?—съ жаднымъ любопытствомъ спросила баба, перебивъ дѣда.

— Ай ты не была? А я побылъ, сподобилъ меня Богъ... Стало быть, видишь ту вонъ церковь? Ну, это вотъ тамъ и есть. Со шкалы ты лѣзь опять во-онъ туда! Тамъ и будетъ хуторъ, служатъ тамъ панифиды...

Но не успѣлъ дѣдъ хорошенько объяснить, куда надо лѣзть, какъ баба уже сорвалась съ мѣста и съ отчаяніемъ воскликнула:

— Касатикъ ты мой, вѣдь не была я тамъ еще!... Охъ, грѣхи наши, побѣгу!

— Постой, постой, дура! Дай я тебѣ хорошенько растолкую!

Но сгоравшая любопытствомъ баба уже не послушала его на этотъ разъ; она торопливо вскарабкалась съ берега рѣки на мостовую, юркнула оттуда во вторыя ворота и скрылась изъ нашихъ глазъ.

Дѣдъ добродушно засмѣялся и веселые глаза его вдругъ закрылись цѣлою сѣтью юмористическихъ морщинъ.

— Вотъ онѣ, господинъ, всѣ такія, бабы-то эти!... Придетъ во святыя мѣста,– ну, кажись, надо бы одуматься, позабыть всякіе ихніе пустяки, окромя... Такъ нѣтъ, она только изъ любопытства и суется тутъ. Пощупаетъ полукафтанье у монаха,—изъ какой, молъ, матеріи слажено... ежели бы ей дозволить, она бы всего монаха ощупала, въ ротъ ей каши!... А вотъ эта самая баба... не успѣли мы дойти до святыхъ мѣстъ, не помолились еще хорошенько, а она уже сунулась на трапезный дворъ и зачала любопытствовать, лягай ее комары, изъ чего тутъ квасъ варятъ, сколько выдаютъ борща отъ монастыря... То-есть самая это безбожная тварь, эта баба!

Дѣдъ опять засмѣялся и принялся свертывать высохшее бѣлье, укладывая его въ котомку. Немного еще поговоривъ съ нимъ, я оставилъ его и отправился бродить по пустыни. Среди кучекъ богомольцевъ я опять встрѣтилъ курскую бабу. Она уже слазила на „хуторъ“, удовлетворивъ любопытство,

и теперь стояла подъ шатромъ великолѣпныхъ каштановъ, которые небольшою группой раскинулись въ углу двора. Дерево для бабы было незнакомо, и она долго дивилась на него. Потомъ сорвала нѣсколько листьевъ съ нижней вѣтки и торопливо спрятала ихъ за пазуху.

Тамъ, за пазухой, у ней были уже и другія святыя вещи: нитка четокъ, большой кусокъ мѣла, вода въ бутылочкѣ, черный крестикъ со стеклышкомъ, въ который ежели посмотрѣть, то увидишь Святыя горы. Все это она жадно нахватала и бережно понесетъ домой, въ курскую деревню, гдѣ она тотчасъ, среди другихъ бабъ, будетъ разсказывать, что видѣла и чего не видала... Пришла она въ Святыя горы потому случаю, что у нея все родятся дѣвченки, а мальчика ни одного не родилось, за что мужъ ее укоряетъ безпрестанно; она всѣ средства перепробовала и все ни къ чему. Наконецъ, какая-то странница посовѣтовала ей сходить въ Кіевъ или на Святыя горы, и она, съ согласія мужика, пошла.

Но тутъ жадное любопытство деревенской бабы, которая ничего никогда не видала, но все хочетъ посмотрѣть, взяло верхъ надъ всѣмъ; она совалась съ безпокойнымъ любопытствомъ по всѣмъ угламъ и всюду глазѣла, щупала, узнавала, выпытывала, забывая святость мѣста; она забыла даже ту спеціальную цѣль, ради которой пришла—вымолить себѣ рожденіе мальчиковъ. Когда я черезъ часъ сидѣлъ на скамейкѣ подъ густою аллеей, ведущей въ скитъ, она также тамъ очутилась. Подойдя къ воротамъ, всегда запертымъ, за исключеніемъ четырехъ дней въ году, и охраняемымъ ангелами и суровыми святыми, она съ недоумѣніемъ приложилась къ ликамъ. Потомъ обратилась ко мнѣ съ вопросомъ:

— А туда не пущаютъ?

— Нѣтъ.

— Ишь ты!—недовольно выговорила она и все-таки старалась просунуть голову сквозь рѣшетку, чтобы хоть чуть-чуть, однимъ глазкомъ поглядѣть, что дѣлается тамъ, за запертыми воротами, въ этомъ таинственномъ полумракѣ.

Изъ скита назадъ въ монастырь мы шли вмѣстѣ съ ней и бесѣдовали; тутъ-то она и сказала мнѣ, откуда она и зачѣмъ пришла. Когда она оставила меня у воротъ гостиннопріимнаго двора, я старался угадать, что́ она будетъ разсказывать по приходѣ домой. А что разсказывать тамъ она будетъ

много и съ засосомъ—въ этомъ я ве сомнѣвался, потому что и раньше встрѣчалъ бабъ, побывавшихъ въ Кіевѣ или въ другомъ „святомъ мѣстѣ“. Обыкновенно въ словахъ ихъ нѣтъ вранья, но зато все такъ преувеличено, что никто, ни даже она сама, не пойметъ, что она видѣла и чего прилгнула. Такъ же будетъ разговаривать и курская баба. Теперь вотъ суется она по укромнымъ уголкамъ святыхъ мѣстъ и собираетъ матеріалъ въ видѣ вещественныхъ предметовъ и въ видѣ невещественныхъ картинъ, а когда придетъ домой и ее окружатъ сосѣдки, она употребитъ въ дѣло все, что набрано въ пустыни. Листья съ каштановъ, воду съ Донца, мѣлъ съ донецкихъ горъ она по крохотнымъ кусочкамъ будетъ раздавать тѣмъ, кто болѣетъ лихорадкой, горячкой или съ глазу, кто попорченъ и кому надо излѣчиться отъ неизлѣчимой болѣзни. А кромѣ того станетъ разсказывать, что видѣла и слышала. „Спустилась я, скажетъ примѣрно, въ подземную пещеру и пошла въ темени и холодѣ... Свѣчи горятъ и ладономъ пахнетъ, и со стѣнъ глядятъ лики столь жутко, что сердце замираетъ... И въ каждой пещерѣ вериги въ три пуда вѣсу“... Очень много и долго будетъ разсказывать и въ теченіе, по крайней мѣрѣ, года сдѣлается героиней всѣхъ бабъ деревни, которыя, подперевъ щеки рукой и раскачивая головой въ полномъ сознаніи своего грѣха, неустанно будутъ слушать ее.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ ее на гостепріимномъ дворѣ; она заглянула въ дверь пекарни, а потомъ и совсѣмъ скрылась тамъ. Отъ души пожелавъ ей, чтобы она побольше набрала для своей скучно-каторжной жизни матеріала, я окончательно потерялъ ее изъ виду и сталъ бродить среди двора.

Весь дворъ былъ полонъ народа, который кучами толкался по разнымъ направленіямъ, а многіе лежали на землѣ и отдыхали. Тутъ же стояли телѣги и привязанныя къ нимъ лошади. Было время обѣда. Монастырь кормилъ въ это время своихъ богомольцевъ. Въ столовой накрыты были длинные столы съ деревянными чашками и ложками. Но такъ какъ мѣста для всѣхъ было мало, то впускали партіями; впустятъ одну, партію къ столу и дверь запираютъ, а передъ запертою дверью уже стоитъ и дожидается ѣды другая партія, сбившаяся въ плотную массу. Тѣмъ же, которые почему-

либо не захотѣли пообѣдать въ столовой, просто наливали въ чашки борща, давали хлѣбъ и ложки, и они разбредались по двору, садились на земь и хлебали. Надъ дворомъ висѣлъ сплошной говоръ, какъ на базарѣ; какъ на базарѣ же, лица у всѣхъ казались суетными и мелкими. Это всегдашнее настроеніе толпы. Отдѣльный человѣкъ способенъ быстро идеально настроить себя; толпа всегда криклива, суетна и прозаична, и только страшная катастрофа можетъ привести ее въ идеальное настроеніе.

Потолкавшись еще немного среди этой будничной толпы, я вдругъ почувствовалъ страшную усталость и немедленно пошелъ по направленію къ выходу Когда я проходилъ по мосту, глаза мои невольно обратились внизъ, на тотъ уголъ берега, гдѣ я познакомился съ курскимъ дѣдомъ. Дѣдъ, очевидно, совсѣмъ собрался въ дорогу. Подложивъ увязанную котомку подъ голову, онъ спокойно спалъ подъ тѣнью моста.. На лицѣ его, полузакрытомъ теперь бѣлыми кудрями, мнѣ показалась та же свѣтлая радость, какая блестѣла часа два тому назадъ, когда онъ пояснялъ мнѣ, зачѣмъ онъ пришелъ въ святыя мѣста.

Да и какъ ему не радоваться! Онъ много потрудился на своемъ вѣку, безъ устали и съ страшною жадностью добивался мужицкаго благополучія. И добился: нажилъ хлѣба, скота, пчелъ и согласную семью. Все это онъ добылъ съ неимовѣрнымъ трудомъ и былъ доволенъ. И теперь ему удалось исполнить послѣдній долгъ, лежащій на немъ, какъ на крестьянинѣ: придти собственными ногами къ святымъ мѣстамъ, и здѣсь, на особо избранномъ мѣстѣ, поблагодарить Господа Бога за все то благополучіе, какое ему было дано... Исполнивъ послѣдній свой долгъ, онъ на зорькѣ завтра отправится обратно доживать уже недолгій, но покойный вѣкъ свой.

Я долженъ былъ торопиться домой, хотя отъ сильной усталости ноги мои съ трудомъ повиновались. Въ воздухѣ было такое удушье, что, казалось, вотъ-вотъ задохнешься. По небу плыли незамѣтно бѣлыя облака, а на востокѣ, изъ за той горы, гдѣ стоялъ монастырь, медленно ползла темная туча, скоро заваливщая своею массой половину горизонта. Ожидалась, видимо, гроза... А пока царила мертвая тишина; сосны на горѣ неподвижно застыли; вода въ рѣкѣ отливала

свинцовымъ блескомъ. Спасаясь отъ дождя, я торопился, какъ могъ, и пришелъ въ деревню въ полнѣйшемъ изнеможеніи, хотя пришелъ во-время, потому что въ скоромъ времени рванулась гроза. Налетѣлъ вдругъ вѣтеръ, застонали горныя сосны, съ гуломъ зашумѣли дубы луговой стороны и затрещалъ крупный дождь. Наконецъ, дождь полилъ, среди грома и молніи, такой сплошной, что все вдругъ—и горы, и лѣса, и монастырь—скрылись изъ глазъ до слѣдующаго утра.

IV.

Однажды я пѣшкомъ пошелъ въ Святыя горы по луговой сторонѣ. Луга еще не были скошены, наканунѣ выпалъ сильный дождь, солнце еще не сильно жгло, воздухъ, всегда здѣсь чистый, былъ въ это утро влажно-ароматичнымъ, и четыре версты, предстоящія мнѣ, я надѣялся пройти съ величайшимъ наслажденіемъ. Дорога бѣжитъ то по ровному лугу, усѣянному цвѣтами, то забѣгаетъ въ лѣсъ и, извиваясь между стволовъ, подъ тѣнью густой листвы, вдругъ снова выбѣгаетъ на открытый лугъ и глубоко зарывается въ траву, едва замѣтная для глаза. Идешь по ней и ничего не видишь, кромѣ того, что она хочетъ показать... Вотъ уже скрылось село, изъ котораго я вышелъ; не видно больше лѣсистыхъ горъ съ ихъ бѣлыми скалами, выглядывающими, какъ привидѣнія, изъ-за сосенъ; скрылся Донецъ; сами Святыя горы пропали изъ виду. Извивающаяся между деревьями тропинка не хочетъ показывать ничего, кромѣ столѣтнихъ дубовъ и высокой травы, какъ бы желая, чтобы все вниманіе сосредоточилось на этихъ столѣтнихъ дубахъ и на этомъ густомъ, сочномъ лугѣ. И вниманіе дѣйствительно сосредоточивается; это особенный уголокъ, котораго нигдѣ больше не встрѣтишь; едва сюда попадаешь, какъ сразу видишь себя среди какой-то кипучей и веселой жизни, гдѣ поютъ на сотни голосовъ, лепечутъ, болтаютъ, жужжатъ, хохочутъ лѣсные обитатели всѣхъ видовъ; подъ этими густыми зелеными шатрами происходитъ сплошной балъ, дается гигантскій концертъ, играющій свадебный маршъ.

Но это было въ маѣ. А теперь былъ конецъ іюня. Тропинка вела меня все дальше и дальше, а майскаго торжества я не слыхалъ. Даже приблизительно не было ничего по-

добнаго тому, что здѣсь я слышалъ въ маѣ. Лѣсъ умолкъ, луга безшумно волновались отъ легкаго вѣтерка; они были тѣ же, что вчера, но я съ трудомъ узнавалъ веселый уголокъ... Въ немъ именно веселья-то и не было. Балъ кончился, пѣвцы смолкли, съиграна свадьба, поэзія любви замѣнилась прозой... Жена, дѣти, кормленіе и воспитаніе, забота ради куска хлѣба, карьера—вотъ за что принялся шумный лѣсной уголокъ. Каждая птичья пара, пріобрѣвшая дѣтей, озабоченно шныряетъ по всемъ направленіямъ, разыскиваетъ кормъ, хватаетъ добычу и торопливо тащитъ ее въ гнѣздо, гдѣ ждутъ разинутые рты. Гдѣ-то слышится пискъ—это дѣти зовутъ; гдѣ-то воркуютъ лѣсные голуби, но въ ихъ голосѣ слышится утомленіе и недосугъ. Прокричалъ въ глухой чащѣ копчикъ, но тотчасъ же и смолкъ, занятый высматриваніемъ добычи. Насѣкомыя умолкли; кое-гдѣ подъ цвѣткомъ еще вьется одинокая бабочка, но часы ея уже сосчитаны,—къ вечеру, быть можетъ, она умретъ, оставивъ подъ листомъ свое потомство. А это потомство, въ видѣ личинокъ и куколокъ, уже совсѣмъ безгласно; оно безмолвно и съ хищною жадностью пожираетъ листы, вгрызается въ древесную кору, истребляетъ корни, пьетъ кровь и ѣстъ тѣло животныхъ. Еще вчера здѣсь былъ шумный пиръ, а сегодня здѣсь только хлопоты, работа, борьба на жизнь и смерть, взаимное истребленіе, кровавое побоище, и все это свершается въ зловѣщемъ безмолвіи. Я сидѣлъ нѣкоторое время въ тѣни и прислушивался, но только изрѣдка изъ отдаленныхъ угловъ до меня доносились какіе-то звуки. Лѣсъ замолкъ; вмѣсто веселаго пира, пришла страда.

То же самое меня ждало и въ Святыхъ горахъ. Когда тропинка, нырнувъ еще разъ между нѣсколькими дубами, вдругъ поставила меня на широкомъ лугу, прямо передъ монастыремъ, послѣдній тотчасъ же показался мнѣ какимъ-то будничнымъ и скучнымъ, а лишь только я перешелъ мостъ, какъ сразу меня охватило чувство житейской суеты. Слышался стукъ топоровъ, визгъ пилы, грохотъ отъ свалившихся дровъ, скрипъ телѣгъ; въ одномъ мѣстѣ плотники и каменьщики строятъ какое-то зданіе; тутъ же рядомъ съ ними выгружаютъ съ баржъ дрова и складываютъ ихъ передъ самымъ монастыремъ въ длинныя стѣны, загораживающія видъ, а по набережной мостовой въ ту и другую сторону тянутся пары

воловъ, запряженныя въ грузныя телѣги, на которыхъ везутся въ монастырь доски, кули съ углями, зачѣмъ-то песокъ, мѣшки съ мукой, какіе-то тюки, зашитые въ рогожи. Это все монастырь хлопочетъ, пользуясь отсутствіемъ богомольцевъ, хлопочетъ, какъ хорошій и запасливый хозяинъ. Какъ большинство нашихъ знаменитыхъ монастырей, Святая гора является крупнымъ промышленнымъ предпріятіемъ, ведущимъ широкое хозяйство и дѣлающимъ огромные денежные обороты, а такъ какъ предпріятіе это исключительно сельско-хозяйственное, то лѣтнее время для него самое рабочее и страдное. Запасъ дровъ, сѣнокосъ, жатва, расплата съ рабочими, разсчетъ съ арендаторами на его обширныхъ земляхъ, забота о стадахъ скота, запасѣ плодовъ, овощей и хлѣба,—все это превращаетъ монастырь въ крупное имѣніе на время лѣтнихъ мѣсяцевъ. И вотъ я попалъ въ одинъ изъ такихъ дней, когда святое мѣсто узнать нельзя,—не слышно краснаго звона, не видать монаховъ, опустѣли церкви, не раздается въ нихъ служба, а вмѣсто всего этого отовсюду слышится шумъ кипучей лѣтней работы.

Богомольцевъ не было. Гостепріимный дворъ былъ совершенно пустъ; двери въ столовыя, пекарни и квасоварни заперты; солнце жгучими лучами заливаетъ все это вымершее, пустынное мѣсто. А еще недавно тутъ кишѣли сотни богомольцевъ, раннею же весной здѣсь перебываютъ десятки и сотни тысячъ. Въ нынѣшнемъ году въ среду на Страстной недѣлѣ однихъ исповѣдниковъ было 17 тысячъ, а въ день Успенія, 15 августа, толпы народа сплошною массой двигаются на протяженіи нѣсколькихъ верстъ.

А теперь настала страда, и святое мѣсто опустѣло. Некогда думать о Богѣ, о душѣ, о совѣсти. Хорошо еще, выдался урожайный годъ, а если Богъ послалъ наказаніе, поразивъ поля солнечнымъ огнемъ, тогда прощай всѣ идеальныя мужицкія стремленія! Я только въ этотъ день понялъ всю глубину словъ веселаго старика, который пришелъ въ Святыя горы поблагодарить Господа Бога за свое благополучіе. До сихъ поръ ему некогда было отдаться Богу: онъ всецѣло поглощенъ былъ судорожнымъ воспитаніемъ дѣтей, и вся его душа всю жизнь была наполнена мыслями о хлѣбѣ, объ овчинахъ и холстахъ, о лаптяхъ и повинностяхъ, о сѣнѣ и о скотѣ... и вотъ только подъ конецъ судорожной

и суетной жизни своей ему удалось вырваться изъ дома и явиться въ то святое мѣсто, которое одно можетъ удовлетворить его идеальныя потребности.

Что это мѣсто идеально и единственно, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Нѣтъ у крестьянина другого мѣста, гдѣ онъ могъ бы удовлетворить требованіямъ души, гдѣ успокоилась бы его совѣсть и гдѣ онъ могъ бы безкорыстно послужить Богу. Вездѣ его преслѣдуетъ нужда, немощь, ожиданіе голода, обида и суета, и только здѣсь ему удается воспользоваться досугомъ и наполнить этотъ досугъ мыслями о Богѣ, о душѣ, о правдѣ и совѣсти... При этомъ онъ не смѣшиваетъ это святое мѣсто съ тѣми людьми, которые владѣютъ имъ и физически представляютъ его; къ послѣднимъ часто онъ относится съ полнымъ отрицаніемъ, хотя и снисходительно. Идетъ онъ не къ монахамъ, а къ святымъ мѣстамъ, которыя созданы Богомъ такъ прекрасно затѣмъ, чтобы люди могли хоть разъ въ жизни забыть мелкую, грѣшную сутолоку насчетъ сѣна, податей, овса и овчинъ, и хотя разъ въ жизни въ этомъ чудесномъ мѣстѣ вспомнить о подавленной сторонѣ человѣка, о разбитыхъ желаніяхъ идеала...

Обойдя всѣ пустые дворы, я поднялся по лѣстницѣ главнаго собора и присѣлъ на одной изъ ступенекъ подъ тѣнью портика. Внизу, на травѣ подъ акаціями спали двѣ старухи-богомолки и больше вокругъ никого не было. Эти двѣ старухи—единственные богомольцы, которыхъ сегодня я встрѣтилъ. Но, посидѣвъ съ полчаса, я вдругъ замѣтилъ подъ аркой другой церкви еще какого-то богомольца. Издали я не могъ замѣтить его лица. Видно было только, что онъ одѣтъ въ бѣлую рубаху, въ такіе же штаны и безъ шапки; сзади виднѣлась тяжелая котомка, съ которой онъ и молился передъ иконами, украшавшими всѣ своды арки. Помолившись тамъ, онъ вышелъ изъ-подъ свода и остановился въ задумчивости на дворѣ. Тутъ я уже хорошо разглядѣлъ его странную, ни на что не похожую фигуру. Голова его была на-голо выбрита, и черные волосы на ней торчали выщипанною сапожною щеткой; самая голова казалась большою и круглою; лицо выглядѣло чернымъ и съ необыкновенною печатью задумчивости. Но всего рѣзче выдѣлялись глаза,

черные, круглые и большіе; они смотрѣли неопредѣленно, но съ большою силой и блескомъ.

Стоялъ онъ неподвижно на дворѣ минутъ пять, о чемъ-то, казалось, раздумывая, и потомъ твердо пошелъ ко мнѣ, поднялся по ступенькамъ лѣстницы, гдѣ я сидѣлъ, и вошелъ въ открытыя двери храма. Тамъ въ это время нѣсколько послушниковъ длинными метлами сметали пыль, которая густо носилась по церкви и цѣлыми тучами вырывалась изъ дверей на чистый воздухъ. Но богомолецъ не обратилъ вниманія ни на послушниковъ съ метлами въ рукахъ, ни на поднятую ими пыль. Онъ твердо пошелъ въ храмъ, остановился передъ иконой Спасителя, оправилъ руками рубашку, передернулъ плечами котомку и сталъ молиться. И молился онъ такъ странно, какъ я никогда не видалъ.

Прежде всего, своими большими, круглыми глазами онъ впился въ глаза Христа и съ минуту такъ стоялъ, совершенно неподвижный, и только послѣ этого медленно перекрестился. Затѣмъ лицо его вдругъ воодушевилось какою-то мыслью или цѣлымъ рядомъ мыслей и чувствъ, и онъ громко заговорилъ молитву, представлявшую смѣсь своего собственнаго изобрѣтенія съ церковными текстами. При этомъ, пожирая своими широкими глазами глаза Христа, онъ прикладывалъ руки къ сердцу или поднималъ ихъ вверхъ, какъ дѣлаетъ священникъ во время „херувимской“. И долго онъ такъ молился, пожирая глазами Христа и громко разговаривая съ Нимъ.

Когда онъ кончилъ и вышелъ на лѣстницу, гдѣ я сидѣлъ, задумчивость опять, казалось, охватила его всего, и онъ неподвижно остановился на мѣстѣ.

— Откуда ты?—вдругъ спросилъ я его.

Онъ, видимо, не ожидалъ этого вопроса и вздрогнулъ, но все-таки отвѣтилъ:

— Я? Издалека... Армавиръ—вотъ откуда. Армавиръ слыхалъ?

— Какъ же, слыхалъ... Такъ ты оттуда? Какже ты, такой молодой, бросилъ работу и пошелъ сюда?

— Работу? Отъ работы Богъ меня отвергнулъ... Больной я.

— Какая же у тебя болѣзнь?

— Падучая. Не гожусь въ работу, Богъ меня къ себѣ призываетъ, вотъ я и пошелъ. Съ дѣтства я все читалъ

книги и Господь беретъ меня къ Себѣ. Значитъ, не гожусь я къ работѣ, а гожусь только, чтобы молиться за всѣхъ... Тамъ братъ у меня живетъ, и я съ нимъ жилъ, но онъ не неволилъ меня къ работѣ, потому я на жнивьѣ не однова падалъ, и меня било объ землю... Вотъ онъ и говоритъ мнѣ: не неволь, братъ, себя, говоритъ... Онъ женить меня хотѣлъ нынче, и дѣвушка была, но это дѣло не вышло. Мы пошли однова къ рѣкѣ, а я заразъ палъ, и меня зачало бить объ землю... Вотъ я и говорю дѣвушкѣ: не женихъ я тебѣ, говорю, не гожусь я въ мужья. Плачетъ!... Но какъ же мнѣ-то жить? Пришелъ я къ брату и сталъ просить его: пусти меня, братецъ, къ святымъ мѣстамъ... самъ видишь, не гожусь я и въ мужья. Онъ отпустилъ. Ступай, говоритъ, Егоръ (Егоромъ, слышь, меня зовутъ), все одно—дома ты ни къ чему, а тамъ, по крайности, помолишься и за насъ, потому намъ некогда и помолиться-то хорошенько... Ступай, говоритъ, ты теперь, все одно какъ птица Божія: ни тебѣ жать, ни тебѣ косить, ни думать о податяхъ неспособно... Богъ съ тобой, иди! Вотъ я и пошелъ...

— А отсюда домой пойдешь?

— Нѣтъ, въ Кеевъ, тамъ помолюсь.

— А изъ Кіева куда?

— Куда Богъ пошлетъ... Я съ людьми все, куда люди, туда и я. Одному боязно. Вотъ тѣ женщины спятъ, такъ это я съ ними завтра въ Кеевъ пойду... Добрыхъ людей много, одинъ не останусь.

Сказавъ это, онъ снова задумался, погладилъ свою бритую голову и сталъ спускаться съ паперти на дворъ. Тамъ черезъ минуту онъ уже лежалъ на травѣ, поодаль отъ богомолокъ, свернувшись калачикомъ.

Этотъ странный человѣкъ былъ послѣднимъ живымъ впечатлѣніемъ, оставленнымъ мнѣ Святыми горами.

Я былъ тамъ еще нѣсколько разъ, но уже монастырь совсѣмъ затихъ. На все время страды горы обращаются въ обыкновенное дачное и увеселительное мѣсто; культурные господа, турнюрныя барыни, скучающіе землевладѣльцы, тощіе чиновники, толстые купцы,—все это часто толпами кишитъ въ этихъ чудныхъ мѣстахъ, любуется видами, вырѣзываетъ свои темныя имена на скалахъ обители, пьетъ, ѣстъ, купается и катается на лодкахъ по Донцу, а бого-

мольца нѣтъ. Развѣ попадутся специалистки-странницы, да мелькнетъ изрѣдка больной человѣкъ вродѣ упомянутаго выше Егора, котораго бьетъ о землю и который не годится ни въ работники, ни въ солдаты, ни въ мужья. А настоящій, коренной богомолецъ теперь разбрелся по Ивановкамъ и Степановкамъ и отправляетъ свою страду. „Теперь идетъ больше купецъ да господинъ, а черный народъ повалитъ сюда съ Успенія",—сказалъ мнѣ однажды лодочникъ, состоящій при Святыхъ горахъ.

Но едва-ли въ нынѣшнемъ году богомолецъ повалитъ сюда; едва-ли у него найдется нынче достаточно времени и душевнаго покоя, чтобы помолиться въ святыхъ мѣстахъ.

Когда Святыя горы совсѣмъ опустѣли, превратившись въ самое шаблонное дачное увеселеніе, я пересталъ туда ходить и отправился на рудники и копи.

V.

Опять степь. Едва бѣлыя скалы Донца, скученныя около Святыхъ горъ, скрываются изъ вида, какъ со всѣхъ сторонъ снова тянется выжженная солнцемъ, безлѣсная, безводная, изрытая морщинами равнина. Въ дождливый годъ здѣсь, вѣроятно, волнуются хлѣбныя поля и своими красивыми переливами смягчаютъ безотрадность степной полосы, но нынѣ, послѣ нѣкоторыхъ надеждъ, и хлѣбовъ нѣтъ: поправившіеся-было отъ майскихъ ливней, въ іюнѣ они сгорѣли отъ солнца, скрючившись отъ горячихъ вѣтровъ. Въ концѣ іюня было уже ясно, что все погибло. Жары стояли такія, что по дорогамъ падали волы, а рабочіе на поляхъ замертво увозились по домамъ, поражаемые солнечнымъ ударомъ.

Въ такое-то страшное время я и выѣхалъ въ первый разъ на донецкія копи. Послѣднія начинаютъ мелькать уже по курско-харьково-азовской дорогѣ. Изъ оконъ вагона, по ту и другую сторону рельсовъ, въ разныхъ направленіяхъ возвышаются черныя, курящіяся массы,—это и есть шахты и копи. Видишь страную картину: кругомъ нѣтъ ни горъ, ни другихъ какихъ-нибудь признаковъ горнозаводской страны, —все та же кругомъ степь, безлюдная, безлѣсная, изрытая сухими балками, между тѣмъ, по обѣимъ сторонамъ дороги курятся шахты; гдѣ же такъ называемый Донецкій бас-

сейнъ, донецкая горная цѣпь? Да ея совсѣмъ не существуетъ: обычное представленіе о горномъ массивѣ здѣсь надо отбросить. Горы въ Донецкомъ бассейнѣ существуютъ только по самому Донцу, именно по правому его берегу, сопровождая рѣку въ видѣ мѣловыхъ скалъ и возвышеній на десятки верстъ. Дальше же за этимъ крутымъ берегомъ онѣ, какъ будто, скрываются подъ землю, куда и надо углубиться, чтобы отыскать ихъ богатства. Тамъ, подъ землей, онѣ образуютъ массивныя толщи кварцита, известняка и песчаника, заключающихъ въ себѣ желѣзо, ртуть и другіе минералы; тамъ же, подъ землей, тянутся и слои каменнаго угля и каменной соли. На поверхности же ничего не видно; вокругъ все та же безконечная степь, изрѣзанная въ разныхъ направленіяхъ сухими балками и такими же возвышеніями, нисколько не напоминающими собой горной цѣпи. Всюду тянутся бурыя, выжженныя пространства, желтыя хлѣбныя поля и зеленые луга, боязливо пріютившіеся по крошечнымъ степнымъ рѣченкамъ. Надо много воображенія или знанія мѣстныхъ условій, чтобы увидѣть на этой гладкой поверхности горы горнозаводскую дѣятельность, копи и горные заводы...

Прежде всего, я посѣтилъ Никитовскій ртутный рудникъ. И первый мой вопросъ, лишь только поѣздъ высадилъ насъ на станціи Никитовкѣ, былъ—гдѣ же тутъ рудникъ?—потому что кругомъ ничего не было видно, кромѣ хлѣбныхъ полей, сухихъ выгоновъ и степныхъ залежей, да нѣсколькихъ селъ (въ ихъ числѣ виднѣлась и Никитовка), попрятавшихся въ углубленіяхъ широкихъ, безводныхъ овраговъ. Но скоро мое любопытство было удовлетворено. Едва нанятый нами старикъ-крестьянинъ изъ Никитовки провезъ насъ съ полверсты, какъ показались зданія знаменитаго рудника, дымящаго всѣми своими трубами, а кругомъ по степи виднѣлись каменноугольныя шахты, между прочимъ, и Горловка. По мѣрѣ того, какъ лошадь наша бѣжала впередъ, ртутный рудникъ все болѣе и болѣе вырисовывался, а черезъ нѣсколько минутъ мы уже были возлѣ главной конторы.

Стоитъ онъ въ верстѣ съ небольшимъ отъ станціи, на совершенно ровномъ и по сравненію съ окрестностями низкомъ мѣстѣ. Благодаря такому характеру мѣстности, ртутный заводъ можно было поставить непосредственно возлѣ

самаго рудника, что не часто случается въ горной промышленности. Посрединѣ всего завода возвышается большое зданіе (изъ дикаго камня), въ которомъ поставлены паровые котлы и подъемная машина; въ центрѣ этого-то зданія и находится рудникъ. Получивъ разрѣшеніе управляющаго, въ сопровожденіи штегера, мы подошли къ его отверстію, ступили на площадку подъемной машины и черезъ минуту, послѣ даннаго сигнала, понеслись куда-то внизъ. среди абсолютнаго мрака, сразу охваченные сырымъ, затхлымъ холодомъ, и не успѣли хорошенько опомниться, какъ уже стояли на днѣ главной галлереи, по которой тамъ и сямъ мелькали огоньки. Намъ также дали по лампочкѣ въ руки, и мы отправились по этой галлереѣ. Всюду мелькали огоньки, гдѣ-то раздавались удары, слышался грохотъ бросаемой руды, въ воздухѣ было сыро и смрадно. Сыростью несло, конечно, отъ мокрыхъ каменныхъ стѣнъ, смрадъ же происходилъ отъ масляныхъ лампочекъ, съ которыми работали рабочіе и [illegible] которыхъ были у насъ въ рукахъ.

Шли мы вдоль самой стѣны, пробираясь по [illegible], на каждомъ шагу спотыкаясь, потому что посере- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ную ей. Тамъ опять заходили во всѣ темные закоулки, поднимались вверхъ, на верхнюю параллельную галлерею, и намѣрены были по лѣстницѣ спуститься еще ниже, на глубину тридцати трехъ саженей, но сопровождавшій насъ штегеръ отсовѣтовалъ, такъ какъ въ самомъ низу много воды. Всего пути подъ землей мы прошли не болѣе трехсотъ саженей, но я такъ наломалъ себѣ ноги объ камни, такъ тяжело дышалъ въ смрадной атмосферѣ и въ общемъ такъ физически и душевно усталъ отъ всей этой тяжелой, необычной обстановки, что былъ очень радъ, когда по другому ходу мы пошли обратно къ выходу. По дорогѣ докторъ, неизмѣнный мой спутникъ, нѣсколько разъ останавливался передъ тѣмъ или другимъ рабочимъ, безцеремонно и молча раскрывалъ пальцами ему ротъ и, пощупавъ десны и зубы его, шелъ дальше. Я, разумѣется, раньше зналъ о ртутномъ отравленіи, но не представлялъ себѣ ясно размѣровъ его. Съ этимъ я познакомился не здѣсь, въ глубинѣ рудника, а на верху, на самомъ заводѣ.

Вступивъ опять на площадку, мы черезъ минуту снова были наверху, при блескѣ солнечнаго свѣта, который на мгновеніе болѣзненно рѣзалъ глаза. Отсюда насъ повелъ другой служащій осматривать заводъ. Пропуская разныя техническія подробности, я скажу лишь только въ общихъ чертахъ о тѣхъ мытарствахъ, которымъ подвергается руда, прежде нежели изъ нея получится ртуть. Когда подъемная машина поднимаетъ нагруженный вагончикъ на верхъ рудника, здѣсь его берутъ другіе рабочіе и катятъ на заводъ, отстоящій отъ шахты въ десяти-пятнадцати саженяхъ и соединенный съ нею открытою галлереей, по которой проложены рельсы. Затѣмъ вагончикъ поступаетъ въ сортировочное отдѣленіе, гдѣ бабы и мальчики сортируютъ породу: пустую породу отбрасываютъ, содержащую ртуть складываютъ въ желоба; въ то же время недалеко отъ сортировочнаго мѣста стоитъ дробильная машина, въ которую то и дѣло лопатами насыпали руду: мелкій щебень высыпаютъ въ одну пасть машины, крупные камни швыряютъ въ другую пасть, болѣе широкую, и обѣ эти пасти безпрерывно чавкаютъ, грызутъ и пережевываютъ эту кварцевую пищу, отчего во всемъ отдѣленіи раздается безпрерывный грохотъ, лязганье и хрустѣнье. Вслѣдъ затѣмъ пережеванная такимъ

путемъ порода поступаетъ въ другое отдѣленіе, въ плавильное. Но на заводѣ есть нѣсколько системъ плавильныхъ печей. При одной системѣ, менѣе опасной, изобрѣтенной недавно однимъ иеъ служащихъ, нагруженный рудой вагончикъ механически высыпается въ жерло: подходя къ печи, онъ надавливаетъ самъ пружину, массивная крышка печи поднимается, вагончикъ опрокидывается, высыпаетъ свое содержимое и крышка снова захлопывается. По другой, первобытной системѣ, рабочіе просто лопатами высыпаютъ руду въ открытое жерло, устроенное на подобіе воронки, отчего безпрерывно вдыхаютъ въ себя страшную атмосферу. Наконецъ, послѣ поступленія породы въ печи (а въ этихъ печахъ настоящій адъ) вмѣстѣ съ коксомъ, ртуть испаряется, переходитъ въ видѣ паровъ въ холодильники, и дѣло окончено.

По всему этому отдѣленію, гдѣ печи, поистинѣ страшная атмосфера; въ раскаленномъ воздухѣ носятся пары ртути, мышьяка, сурьмы и сѣры. Все это вдыхается рабочимъ. Докторъ снова началъ раскрывать рты, щупалъ десны, шаталъ зубы и приказывалъ горизонтально вытягивать руки. Здѣсь только я убѣдился въ широкихъ размѣрахъ болѣзни. Правда, нѣкоторые рабочіе служатъ по цѣлымъ годамъ, но это какое-то невѣроятное исключеніе. Большинство и года не выдерживаетъ, а нѣкоторые могутъ остаться при работѣ только недѣлю, двѣ, мѣсяцъ. Насыщенная ядами атмосфера быстро производитъ дѣйствіе: появляется красная полоса на деснахъ, зубы шатаются и выпадаютъ, челюсть отвисаетъ, руки и ноги начинаютъ дрожать. Заболѣвъ такимъ образомъ, рабочій часто черезъ недѣлю просится въ отпускъ. При насъ подошелъ къ водившему насъ служащему какой-то другой служащій и сталъ проситься отпустить его.

Мы проходили по заводу нѣсколько часовъ; вниманіе такъ утомилось, что я запросился вонъ съ завода. Мы вышли. Тамъ и сямъ вокругъ заводскихъ зданій построены длинныя мазанки, сколоченныя изъ камня, выброшеннаго изъ рудникомъ, и глины,—это казармы для рабочихъ. Въ одной изъ нихъ мы просидѣли съ полчаса, но ничего любопытнаго не нашли, такъ какъ часъ былъ рабочій, и все населеніе толпилось вокругъ плавильныхъ печей, въ рудникахъ, на дво-

рахъ. Да и трудно было въ нѣсколько часовъ разспросить о житьѣ-бытьѣ, тѣмъ болѣе, что заводское населеніе представляетъ собою страшный сбродъ, сошедшійся сюда изъ отдаленныхъ губерній—Рязанской, Орловской, Воронежской, Курской, не говоря уже о Харьковской и Екатеринославской, да и это сбродное населеніе безпрерывно мѣняется: одни уходятъ, заболѣвъ ртутнымъ отравленіемъ, другіе приходятъ попытать счастія.

Оставивъ казарму, мы отыскали нашего стараго возницу на выгонѣ, сѣли на его самодѣльный экипажъ, похожій на грабли, брошенныя зубьями вверхъ, и отправились обратно на станцію. И опять та же картина: безконечная степь, хлѣба, села съ бѣлыми церквами. А только что осмотрѣнный нами заводъ, едва мы повернулись къ нему спиной, сталъ представляться какою-то мечтой, бредомъ, больною фантазіей,—такъ мало напоминала вся окружающая страна о какой бы то ни было горной промышленности.

Сразу, едва очутившись на экипажѣ-грабляхъ, мы почувствовали себя въ первобытной степи, среди коренныхъ земледѣльцевъ, на дикомъ раздольѣ сухихъ выгоновъ и балокъ. Старикъ нашъ еще болѣе усилилъ наше впечатлѣніе, разсказавъ намъ про свои чисто-крестьянскія дѣла. Говорилъ онъ не только на вопросы наши, но и отъ себя, на свои собственные вопросы. Такъ, онъ разсказалъ намъ, что у него пять сыновей, что двое изъ нихъ съ нимъ живутъ и уважаютъ его, что кромѣ того съ нимъ же живетъ и солдатка, забеременѣвшая не отъ солдата, и что осенью придетъ солдатъ, но ему не позволятъ бить жену, потому съ кѣмъ грѣхъ не бываетъ. Кромѣ того, старикъ съ гордостью прибавилъ, что, несмотря на свою старость, онъ все-таки робитъ, зашибая копѣйку, а копѣйку тратитъ не на себя, какъ онъ имѣлъ бы право, а на всѣхъ; поѣдетъ въ Бахмутъ, купитъ бубликовъ или калачей и раздѣлитъ всѣмъ.

— Сколько же тебѣ лѣтъ?—спросилъ докторъ.

— А я не знаю,—равнодушно возразилъ дѣдъ.—Неужели же помнить-то (дѣдъ при этомъ добавилъ нѣсколько энергичныхъ фразъ)? Года, какъ вода,—сколько утекло, того не пересчитаешь!

— Ну, а примѣрно все-таки?—приставалъ докторъ.

— Да „черный годъ“ помню. Никакъ годовъ семнадцать въ ту пору было мнѣ.

„Черный годъ“, памятный по своимъ послѣдствіямъ, какъ самый страшный изъ всѣхъ голодныхъ годовъ, былъ 1833 годъ. Здѣшніе жители передаютъ о немъ ужасныя вещи, разумѣется, по преданію; старики съ него ведутъ лѣтосчисленіе.

— Это тебѣ, значитъ, лѣтъ семдесятъ съ хвостикомъ?

— Надо полагать.

— Ну, что же тогда было, въ черный-то годъ?

— А чего же еще?... Травы сгорѣли, хлѣба сгорѣли, земля почернѣла, листья по лѣсамъ что есть опали, скотъ дохъ, люди остались живы...

— Чѣмъ же кормились-то?

— Чѣмъ ни то кормились. Кору съ дубьевъ лупили, отруби мѣшали, мякину толкли,—чѣмъ же больше-то? Наземъ не станешь ѣсть.

— Ну, а нынче какъ? Какъ бы не былъ опять черный годъ?—спросилъ докторъ.

— Нынче что! Вонъ горловцы углемъ кормятся, что имъ? Лишь бы уголь былъ.

— А вы чѣмъ кормитесь, ртутью?

— Нѣтъ, со ртути много не возьмешь. Наши никитовцы также больше углемъ живутъ. И другіе прочіе безъ хлѣба могутъ проболтаться... Тутъ теперь вездѣ вошелъ металлъ, желѣзо-ли, соль-ли, другая-ли какая руда, все изъ-подъ земли... ну, и питаются.

— Ну, а вы также, говоришь, углемъ?

— Все больше углемъ.

— А ртутный-то рудникъ развѣ мало даетъ вамъ?

Надо замѣтить, что Никитовскій ртутный рудникъ стоитъ на крестьянской землѣ. Владѣльцы его платятъ никитовцамъ ежегодную аренду, что-то около 2,000 руб. Но владѣльцы предлагаютъ продать имъ землю подъ рудникомъ въ полную собственность. Однако, и аренда, и предполагаемая покупка основываются больше на водкѣ, да на карманахъ міроѣдовъ. Общая-же масса никитовцевъ только хлопаетъ глазами.

— Чего онъ даетъ-то? Чорта лысаго онъ даетъ,—выговорилъ равнодушно старикъ.

— Объѣхали васъ?

— Объѣхали.

— На сколько лѣтъ?

— Да никакъ лѣтъ на двадцать. Ну, да теперича и мы хотимъ принажать!

— Хотите все-таки?

— А то какже?

— Думаете объѣхать?

— Сдѣлай одолженіе!

— Объѣдете?

— Будьте покойны! Будетъ задарма-то копать, попользовались, а ужь теперь мы попользуемся. Тутъ вѣдь дѣло-то милліонное!

Говоря это, старикъ какъ будто на кого-то разсердился и какъ будто далъ слово, вмѣстѣ съ прочими никитовцами, твердо вступиться за свои права на ртутный рудникъ.

— Это было бы хорошо для васъ. А все-таки я думаю,— вдругъ иронически сказалъ докторъ,—что и опять васъ объѣдутъ!

Старикъ вопросительно посмотрѣлъ на насъ обоихъ и замѣтилъ разсѣянно:

— А что ты думаешь, вѣдь и впрямь объѣдутъ, сдѣлай одолженіе! Отличнѣйшимъ манеромъ объѣдутъ!

— И вы будете смотрѣть?—спросилъ докторъ.

— А чего же? Да какже съ ними совладаешь-то? Да насъ можно очень просто водкой накачать, а міроѣдовъ задарить, и тогда изъ насъ, пьяныхъ истукановъ, хошь веревки вей... Да ну ихъ!... Грѣхъ одинъ промежь насъ идетъ изъ-за этого самаго рудника!... Ну ихъ!...

Старикъ при этомъ добродушно выругался. А на нашъ смѣхъ онъ повторилъ:

— Да право! Что намъ съ ними тягаться-то? Силы у насъ мало, то-есть совсѣмъ силы супротивъ ихъ у насъ нѣту! Самый мы мякинный народъ, ежели касательно, чтобы права свои отыскивать, то-есть вотъ какіе мы гороховые людишки насчетъ этого рудника!... Ну ихъ!..

Старикъ началъ-было разсказывать исторію открытія и разработки рудника, но въ это время мы были уже возлѣ станціи, и намъ предстояло черезъ нѣсколько минутъ уѣхать изъ Никитовки.

На слѣдующій разъ мнѣ предстояло познакомиться съ Принценскими соляными копями и съ Деконовскими каменноугольными копями, но почему-то я рѣшилъ, прежде всего, поѣхать на крестьянскую угольную разработку, производимую самими мужиками на свой страхъ и счетъ. Должно быть, это мое рѣшеніе явилось незамѣтно, благодаря словамъ старика, что народъ здѣсь больше всего на счетъ металла богатѣется, — одни кормятся углемъ, другіе солью, третьи ртутью.

Пища эта не зависитъ отъ урожая, но какою цѣной она достается — это еще мнѣ предстояло узнать.

VI.

Если я не попалъ въ Лисичанскъ или въ Нелѣповку, или другія какія мѣста, гдѣ существуютъ крестьянскія шахты, а пріѣхалъ въ Щербиновку, находящуюся близъ ст. Петровской, то это совершенная случайность, — случайная встрѣча съ человѣкомъ, который посовѣтовалъ мнѣ ѣхать именно въ Щербиновку. Но я потомъ былъ благодаренъ этой случайности, такъ какъ попалъ въ самыя типичныя мѣста, въ самыя каменноугольныя гнѣзда, со всѣми его оригинальными особенностями, и могъ узнать то, чего я не узналъ бы ни въ Лисичанскѣ, ни въ другихъ каменноугольныхъ мѣстахъ.

Было холодное утро, когда я пріѣхалъ на ст. [illegible]

И я уже внутренно почти согласился поступить сообразно съ совѣтами опытныхъ людей.

Но теперь на станціи никого не было, не только жида, но и самаго немудрящаго жиденка. Пришлось обходиться своими средствами. Съ твердымъ намѣреніемъ отыскать жида я отправился, съ подушкой и пледомъ въ рукахъ, по дорогѣ въ Щербиновку; предстояло идти версты двѣ. Солнце уже немилосердно жарило; раскаленный воздухъ стоялъ неподвижно надъ голою степью, которая широко раскинулась передъ глазами, лишь только я вышелъ со станціи, а на мою бѣду, въ эти дни я заболѣлъ приступами своей мучительной болѣзни. Но дѣлать было нечего, пришлось идти. Немного пройдя, я вышелъ на пригорокъ, а отсюда передо мной сразу развернулась широкая впадина, въ которой и залегло громадное село; можно было опредѣлить, гдѣ живетъ простой мужикъ, гдѣ скупщикъ, гдѣ русскій и гдѣ нѣмецъ; нельзя было только заранѣе опредѣлить, въ какомъ домѣ засѣлъ жидъ-скупщикъ, а въ какомъ—русскій скупщикъ, да это, пожалуй, и вблизи трудно распознать...

Послѣ довольно тяжелыхъ усилій я, наконецъ, добрался до села, спустился въ первую попавшуюся улицу и пошелъ посрединѣ ея, въ полномъ недоумѣніи, куда зайти. Но тутъ-то въ первый и въ послѣдній разъ мнѣ и сослужилъ службу жидъ. Идя по улицѣ, населенной въ перемежку мужиками и евреями, я оглядывался по сторонамъ, какъ вдругъ слышу сзади меня голосъ:

— Господинъ, господинъ! Позвольте! Остановитесь, пожалуйста!

Я остановился и оглянулся. Въ мою сторону спѣшилъ одѣтый въ брюки и жилетъ еврей и махалъ правою рукой, а лѣвою рукой онъ придерживалъ щеку.

— Извините, господинъ,—говорилъ съ сильнымъ жидовскимъ акцентомъ догнавшій меня,—у меня зубы болятъ.

— Ну, такъ что же?—отвѣтилъ я, ничего не понимая.

— Да я увидалъ, что вы идете, и думалъ: вотъ докторъ. Побѣгу зубы показать...

— Нѣтъ, я не докторъ.

— Очень плохо. Може, фершалъ?

— Нѣтъ, и не фельдшеръ.

— Очень плохо. А позвольте спросить, для какой потребности прибыли?—спросилъ еврей, поддерживая щеку.

— Да это ужь мое дѣло.

— Такъ. Очень плохо. Може, уголь купить?

— Можетъ быть.

— А жито не покупаете?... Боже мой, какъ зубъ болитъ!... Жита вамъ не надо?

— Жита я не беру,—отвѣтилъ я, смѣясь.

-- Такъ. Плохо, плохо. Зубъ меня безпокоитъ... Шахты не будете покупать?

— Ничего мнѣ пока не нужно. А вотъ если бы вы указали мнѣ, гдѣ можно выпить молока, я былъ бы очень благодаренъ вамъ.

Еврей живо оглянулъ всю улицу и тотчасъ же закричалъ вдали идущей съ ведрами бабѣ:

— Эй, Перепичка! Вотъ господинъ молока хочетъ выпить, дай ему молока... Идите, господинъ, вотъ въ этотъ домъ. Она вамъ дастъ молока.

И еврей довелъ меня до воротъ, куда въ эту минуту входила та, которую онъ назвалъ Перепичкой, вѣжливо попросилъ извиненія и отправился, все продолжая придерживать щеку, въ ту сторону, откуда онъ догналъ меня. А черезъ минуту я сидѣлъ уже въ сѣнцахъ, пилъ молоко и разговаривалъ съ бойкою Перепичкой. Немного спустя послѣ моего прихода вошелъ въ сѣнцы мужъ Перепички, съ которымъ мы также разговорились. Оба Перепички были такіе умные, смышленные и знающіе, что я въ сѣнцахъ ихъ просидѣлъ часа два и благодарилъ еврея, что онъ сюда меня направилъ. Въ эти два часа, въ разговорѣ съ мужиками, я узналъ больше, чѣмъ въ цѣлый день разговора съ опытными людьми.

Перепички еще недавно сами держали шахту на крестьянской землѣ, знали всѣ процессы добычи и сбыта угля, знали всю исторію Щербиновскихъ шахтъ, какъ владѣльческихъ, такъ и мужицкихъ, но, главное, до мельчайшихъ подробностей, съ тонкими оттѣнками могли разсказать про все, что касалось угольнаго дѣла не только въ ихъ Щербиновкѣ, но и по другимъ мѣстамъ. Пріѣхалъ я въ Щербиновку съ крайне смутными представленіями о дѣлѣ, которымъ интересовался, а здѣсь, въ мазаныхъ сѣнцахъ, въ разговорѣ съ двумя Перепичками (по-русски Перепичка значитъ лепешка), въ те-

ченіе лишь двухъ часовъ, я такъ ясно сталъ представлять себѣ вещи, какъ будто изучалъ ихъ въ теченіе мѣсяца. Говорили мы про окрестныхъ владѣльцевъ шахтъ, про арендаторовъ, про устройство самихъ шахтъ, про добываніе и сбытъ угля, про скупщиковъ и торговцевъ, про евреевъ и маклеровъ; не забыли даже такой высокой матеріи, какъ „угольные кризисы" и ихъ причины. Но такъ какъ я, отправляясь сюда, больше всего интересовался мужицкими шахтами, то о нихъ больше и рѣчь шла. Но тутъ мои случайные знакомые, смышленные Перепички, оказались уже положительно на высотѣ авторитетныхъ знатоковъ. Однако, я передамъ не только то, что мнѣ разсказывали Перепички, но и все то, что мною узнано изъ другихъ источниковъ.

Въ Щербиновкѣ, въ Нелѣповкѣ и во многихъ мѣстахъ земля, содержащая каменноугольные пласты, принадлежитъ крестьянскимъ обществамъ. Въ большинствѣ случаевъ крестьяне эту землю, на разныхъ условіяхъ, сдаютъ въ аренду крупнымъ владѣльцамъ и компаніямъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ вотъ въ этой Щербиновкѣ, мужики, на ряду съ отдачей въ аренду, сами пробовали и до сихъ поръ пробуютъ разрабатывать уголь. Содержащая уголь земля, какъ и всякія другія мужицкія угодья, дѣлится по душамъ, причемъ приходится на каждую душу, напримѣръ, по сажени (разумѣется, по сажени поверхности, а не глубины), и эти-то кусочки затѣмъ и поступаютъ подъ разработку. Говорятъ, что для разработки раньше составлялись артели изъ нѣсколькихъ человѣкъ, которыя собственными средствами и добывали уголь, внося каждый капиталъ и рабочія руки; бывало это и въ Щербиновкѣ. Но я артелей уже не засталъ. Разрабатываютъ шахты въ настоящее время не артели, а отдѣльные крестьяне-домохозяева, т.-е. произошло раздѣленіе между капиталомъ и трудомъ, хотя еще очень неопредѣленное. Дѣлается это такимъ образомъ. Тотъ или другой крестьянинъ побогаче или половчѣе скупаетъ угольныя души на себя, причемъ платитъ за это право аренды отъ пяти до десяти рублей, смотря по тому, у кого покупаетъ: если вышеупомянутыя сажени принадлежатъ бѣдняку, то стоимость покупки падаетъ даже ниже пяти рублей, падаетъ даже до нѣсколькихъ бутылокъ водки, потому что для бѣдняка доставшаяся ему угольная сажень безполезна и разрабатывать

ее онъ не въ силахъ, между тѣмъ, деньги ему нужны всегда до зарѣзу, и вотъ онъ готовъ спустить свой надѣлъ за бездѣлицу; если же надѣлъ принадлежитъ состоятельному домохозяину, то цѣна покупки возростаетъ вмѣстѣ съ состоятельностью его; у богатаго же крестьянина и совсѣмъ нельзя купить его надѣлъ, потому что если онъ теперь не разрабатываетъ свой уголь, то надѣется приступить къ его разработкѣ въ другое время. Такимъ образомъ, у покупщика оказывается во владѣніи нѣсколько десятковъ душъ. Такую же покупку можетъ совершить и другой крестьянинъ: вслѣдствіе этого, угольные надѣлы, въ концѣ-концовъ, скопляются въ очень немногихъ рукахъ. Такъ, въ Щербиновкѣ въ настоящее время только съ небольшимъ двадцать шахтъ, принадлежащихъ почти такому же числу владѣльцевъ, причемъ каждая шахта составлена изъ многихъ десятковъ душевыхъ надѣловъ и содержитъ до двухъ сотъ саженей поверхности.

Сдѣлавъ покупку, крестьянинъ приступаетъ къ разработкѣ. Но здѣсь опять нѣсколько способовъ разработки. Иногда хозяинъ скупленныхъ надѣловъ самъ начинаетъ хозяйничать: нанимаетъ рабочихъ, покупаетъ орудія, самъ работаетъ и надзираетъ, самъ продаетъ вынутый уголь; и для этого не нужно ему даже большихъ денегъ, потому что орудія на первыхъ порахъ онъ покупаетъ самыя, что называется, мочальныя, а что касается платы рабочимъ, то она совершается часто черезъ мѣсяцъ и болѣе послѣ найма ихъ, а этого времени совершенно достаточно, чтобы добыть уголь, продать его и получить деньги; если же и по истеченіи этого времени онъ не добываетъ денегъ, то рабочіе безъ ропота забираютъ лопаты, котлы, тачки и все, что можно захватить, и убѣгаютъ. Но до такого скандала можетъ довести свою шахту только дуракъ, не умѣющій во-время извернуться, именно—взять денегъ у евреевъ. Но тогда выйдетъ уже другой способъ разработки, состоящій въ слѣдующемъ. Мужикъ-владѣлецъ, не имѣющій денегъ, обращается заранѣе къ евреямъ и, получивъ ихъ, покупаетъ орудія, нанимаетъ рабочихъ, закладываетъ шахту и добываетъ уголь; но добытый уголь самъ онъ сбываетъ уже не куда хочетъ, а тому самому еврею, у котораго взялъ деньги, [illegible]. По условленной цѣнѣ. Этотъ способъ тѣмъ невыгоденъ, что [illegible] въ владѣльцу [illegible], а [illegible] ему передаетъ самыя

малость. Третій способъ гораздо выгоднѣе, но, по крайней мѣрѣ, владѣльцу при этомъ способѣ нѣтъ почти никакихъ хлопотъ. Совершается это такимъ образомъ. Накупивъ душевыхъ надѣловъ, крестьянинъ сдаетъ все скупленное въ аренду еврею, и тотъ уже отъ себя, на свои деньги и при личномъ своемъ надзорѣ, покупаетъ орудія, нанимаетъ рабочихъ, слѣдитъ за разработкой, самъ не брезгуетъ никакою работой, а крестьянинъ-владѣлецъ получаетъ только арендную плату. Наконецъ, четвертый способъ состоитъ въ томъ, что крестьянинъ, владѣлецъ шахты, всѣ работы сдаетъ подрядчику, также въ большинствѣ случаевъ еврею, а самъ беретъ на себя только вывозъ готоваго угля съ шахты на станцію и продажу его.

Читатель самъ, конечно, замѣтилъ, что еврей всюду присутствуетъ; онъ скупаетъ у мужика уголь, онъ, въ другомъ случаѣ, арендуетъ шахту, онъ же является, въ третьемъ случаѣ, подрядчикомъ и, наконецъ, во всякомъ случаѣ снабжаетъ деньгами всякаго шахтовладѣльца. Но это говорилось для краткости. Въ дѣйствительности, всѣми перечисленными ремеслами (арендатора, подрядчика, скупщика и банкира) занимаются и русскіе; только мужикъ-владѣлецъ угольной шахты предпочитаетъ имѣть дѣло съ евреемъ. А почему предпочитаетъ—это мнѣ опять разъяснилъ Перепичка. Я въ разговорѣ съ нимъ упомянулъ о томъ, что евреевъ теперь отовсюду гонятъ, и спросилъ, довольно-ли будетъ населеніе Щербиновки, если и отсюда ихъ погонятъ.

— Хуже будетъ,—сразу отвѣтилъ Перепичка.

— Безъ жида-то?

— Хуже будетъ безъ жида,—твердо сказалъ мужикъ.

— Это почему?—спросилъ я, не мало удивленный.

— Да потому же! Видите-ли, оно какъ... Жидъ, примѣрно, понимаетъ деньгу, а нашъ братъ нѣтъ. Это разъ. Другое, онъ самъ гроши пускаетъ въ оборотъ... Ежели хоть малая ему выгода, онъ ужь дастъ тебѣ, а у нашего брата, который, напримѣръ, имѣетъ, Христомъ Богомъ не выпросишь, хоть ты умирай съ голоду. Третье я вотъ скажу такъ, примѣрно: жиду, напримѣръ, только гроши твои и нужны, ничего другое ему не требуется отъ тебя, и ежели онъ вынетъ у тебя тихимъ манеромъ изъ кармана портмонетъ, то онъ больше ничего ужь не возьметъ у тебя; если же нашъ братъ,

[illegible]ый [illegible], [illegible] только портмонетъ твой отни[illegible]. [illegible] еще я [illegible] надъ тобой, опоганитъ душу [illegible] заставлять [illegible], накуражится въ волю, [illegible] еще [illegible] твоимъ будетъ считаться... Я, [illegible] а ты меня не уважаешь? [illegible] у насъ [illegible]... Богъ, примѣрно, По[illegible] — [illegible] такая ядовитая штука, что [illegible] не выдержать... И уголь ску[illegible], [illegible] отъ него пла[illegible] съ этимъ чортомъ. Вотъ почему [illegible].

[illegible] мы съ [illegible] говорили о жидахъ: Перепичка [illegible] имѣлъ дѣло и съ русскими [illegible], и съ жидами, и противъ первыхъ у него, [illegible]. Между тѣмъ, мнѣ пора уже [illegible]. Я спросилъ у Перепички [illegible], [illegible] не менѣе четырехъ [illegible]. [illegible] мой такъ вдругъ измѣнился [illegible], что я не узналъ его; [illegible], [illegible] вдругъ на [illegible], [illegible] въ сторону, [illegible] — [illegible] не [illegible] [illegible], [illegible] выговорилъ [illegible] [illegible]

— [illegible]

нихъ грошей съ эдакаго человѣка! А вы только изъ любопытства... да сдѣлайте одолженіе, поѣзжайте за пятьдесятъ копѣекъ сколько угодно!

И Перепичка велѣлъ своему сынишкѣ запречь лошадь. Пока тотъ закладывалъ въ дрожки лошадь, я напомнилъ хозяину о жидахъ и замѣтилъ, что съ русскими дѣйствительно хуже имѣть въ этихъ мѣстахъ дѣло.

— Да и вѣрно!—весело сказалъ Перепичка.—Вѣдь вотъ мнѣ втемяшилось, что вы покупатель, и я одурѣлъ... Съ нашимъ братомъ, чортомъ, дуракомъ, нельзя насчетъ грошей дѣла дѣлать... не понимаемъ! А жидъ понимаетъ, сколько какая вещь стóитъ... Ну, вы ужь простите дурака, потому нашъ братъ бѣда какой непонятливый насчетъ ежели что съ кого взять.

Перепичка, сильно сконфуженный, теперь оправился отъ смущенія, и мы разстались друзьями.

Дорога къ шахтамъ шла черезъ поля, скошенныя и сжатыя. Со всѣхъ сторонъ къ деревнѣ тянулись рыдваны со снопами, запряженные волами; по дорогѣ валялись упавшіе колосья. На гумнахъ повсюду шла молотьба, кое-гдѣ въ воздухѣ виднѣлись столбы мякины,—кто-то ужь торопился вѣять. А на горѣ десятокъ вѣтряныхъ мельницъ дружно вертѣли крыльями, торопясь приготовить муку изъ свѣжаго жита. Это была чисто-деревенская картина, и если бы не кирпичная башня, поставленная надъ шахтой верстахъ въ трехъ отъ села и принадлежащая нынѣ какой-то компаніи, то нельзя было бы и подумать, что здѣсь повсюду добывается каменный уголь. И въ особенности нельзя было представить, чтобы здѣшніе крестьяне занимались чѣмъ-либо другимъ, кромѣ хлѣбопашества.

Только совсѣмъ близко подъѣхавъ, я увидалъ на пригоркѣ рядъ какихъ-то черныхъ бугровъ, а надъ ними какія-то постройки вродѣ колодезныхъ журавлей. Это и были крестьянскія копи. Когда я подъѣхалъ къ одной изъ нихъ совсѣмъ близко и слѣзъ съ дрожекъ, то минутнаго взгляда было достаточно, чтобы понять все это немудрое сооруженіе. Выкопана въ видѣ колодца яма, въ глубину не болѣе десяти саженей; надъ ямой, на перекладинѣ, утвержденной на двухъ столбахъ, придѣлана пара блоковъ, а сажени на двѣ въ сторону, на расчищенномъ, на подобіе тока, кругу

стоитъ воротъ; подъ воротомъ лошадь. Только и всего. Тутъ и вся машина. Лошадь, погоняемая подросткомъ, ходитъ въ одну сторону, воротъ вертится, тянетъ веревку на одномъ блокѣ и поднимаетъ изъ глубины ямы конецъ этой веревки, на которомъ прикрѣплена бадья; въ то же самое время другая бадья на другомъ блокѣ опускается внизъ и наполняется тамъ углемъ; тогда лошадь повертывается обратно, обратно начинаетъ двигаться и вся машина и вторая бадья вылѣзаютъ изъ глубины шахты. Чтобы высыпать уголь изъ выползшей бадьи, рабочій беретъ ее прямо руками, усиленно, словно за шиворотъ, тащитъ ее къ себѣ, вытаскиваетъ и, наконецъ, послѣ нѣкоторой борьбы опрокидываетъ изъ нея уголь. А чтобы снова бросить ее въ яму, это уже дѣло подростка-погонщика; онъ бросаетъ лошадь, подбѣгаетъ къ веревкѣ между воротомъ и блоками, цѣпляется за нее руками и ногами и тащитъ ее собственною тяжестью къ землѣ; веревка подается, бадья поднимается съ края шахты, гдѣ до сихъ поръ она безпомощно лежала на боку, и падаетъ въ яму. Такимъ образомъ, мальчишкѣ въ продолженіе дня столько разъ приходится болтать въ воздухѣ руками и ногами, сколько вытягивается изъ ямы бадьей, т.-е., примѣрно, штукъ двѣсти. Игра серьезная.

Что же дѣлается въ самой ямѣ? Надо сказать, что мужичья шахта по вертикалу внизъ ни въ какомъ случаѣ не бываетъ болѣе десяти саженей; нѣкоторыя шахты изъ осмотрѣнныхъ мною простирались въ глубь до 15 саж., но въ такомъ случаѣ вся машина была лучше и вмѣсто одной лошади ихъ была пара. Далѣе, съ десяти саженей, идетъ забой по наклонной плоскости, а не горизонтальными галлереями, для укрѣпленія которыхъ у мужика нѣтъ ни умѣнья, ни средствъ. Динамитъ никогда не употребляется. Вмѣсто него, рабочіе-забойщики просто долбятъ пластъ угля кайлами и этимъ путемъ добываютъ его. Надолбленный уголь другіе рабочіе лопатами насыпаютъ въ вагончикъ и подвозятъ его къ мѣсту опусканія бадьи; здѣсь бадью насыпаютъ, дергаютъ за веревку (это значитъ—тащи!) и ждутъ, когда вмѣсто насыпанной бадьи къ нимъ спустится другая. Вагончикъ, впрочемъ, я видѣлъ только въ первой осмотрѣнной мною шахтѣ; въ другихъ, вмѣсто него, употреблялась другая посуда, вродѣ ящика изъ-подъ макаронъ или вродѣ сала-

зокъ, на которыхъ ребята катаются съ горъ. Такую посудину тащатъ просто волокомъ по землѣ до самаго отверстія шахты.

Рабочихъ минимумъ полагается 6. Одинъ, подростокъ, управляетъ лошадью и болтаетъ ногами и руками на веревкѣ; другой принимаетъ изъ шахты бадью и борется съ ней; двое внизу шахты насыпаютъ уголь въ посудину, а затѣмъ нагребаютъ его въ бадью; двое другихъ добываютъ уголь. Это число по большей части удвоивается, когда работа происходитъ день и ночь; тогда смѣна равняется 12 часамъ. Но это у болѣе состоятельнаго хозяина-мужика или у состоятельнаго арендатора. У бѣднаго, какъ придется.

Но у тѣхъ и у другихъ устройство самой шахты одинаково. Одинакова и „сбруя". Все это буквально состоитъ изъ обломковъ и обрывковъ. Воротъ, кое-какъ сколоченный на треснувшемъ столбѣ, немилосердно реветъ; канатъ, съ безчисленными узлами, то и дѣло путается и зацѣпляется на худомъ колесѣ; блоки плачутъ надъ ямой.

Здѣсь я долженъ бы былъ разсказать о самихъ рабочихъ въ мужицкихъ шахтахъ, но такъ какъ впечатлѣнія мои, вынесенныя изъ Щербиновскихъ копей, смѣшались съ другими впечатлѣніями, полученными отъ другихъ мѣстъ, то и о рабочихъ я скажу особо.

VII.

Былъ обѣденный для рабочихъ часъ. Всѣ были наверху. Арендаторъ-еврей сидѣлъ у себя въ землянкѣ въ одной рубашкѣ, перепачканной угольною пылью, и дѣлалъ на бумагѣ какія-то вычисленія, въ то же время закусывая хлѣбомъ и холоднымъ кускомъ мяса. Я вошелъ къ нему затѣмъ, чтобы попросить позволенія спуститься въ его шахту. Но изъ короткаго разговора съ нимъ оказалось, что это невозможно и безполезно.

— У васъ есть другой костюмъ?—спросилъ онъ, оглядывая меня съ ногъ до головы.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я. Я дѣйствительно забылъ захватить блузу и сапоги.

— Такъ какъ же вы спуститесь? Вы все перепачкаете, живого мѣста на вашей одеждѣ не останется, вымокнете... тамъ вѣдь воды по щиколки.

— Да неужели рабочіе въ теченіе двѣнадцати часовъ находятся въ лужѣ?

— Что же дѣлать? Бываетъ, что и по поясъ заливаетъ, ежели не успѣемъ выкачать.

Тутъ я поинтересовался, когда же воду выкачиваютъ? Самъ я вокругъ шахты не замѣтилъ никакихъ признаковъ откачиванія.

— Отливаемъ въ свободное время... Когда уже совсѣмъ нельзя работать, все затопляетъ, тогда и откачиваемъ, а потомъ опять работать.

— Да развѣ этакъ возможно?—сказалъ я.

— Отчего же? А вы думаете, на большихъ шахтахъ лучше? Тамъ, правда, паровая машина безпрерывно выкачиваетъ, ну, и зато ужъ если зальетъ, такъ все дочиста, едва люди спасаются... Вообще не совѣтую спускаться: и грязно, и мокро, да и любопытнаго ничего нѣтъ. А если вы хотите узнать, какъ работаютъ, такъ вонъ пойдите къ рабочимъ,—они вамъ и разскажутъ.

Пришлось послушаться совѣта. Я вышелъ изъ землянки (землянка эта зимой служитъ единственнымъ мѣстомъ, гдѣ рабочіе обѣдаютъ и отдыхаютъ) и направился къ кучкѣ молодыхъ, безбородыхъ юношей. Они сидѣли кружкомъ вокругъ ведра съ водой и обѣдали, т.-е. кусали краюхи чернаго хлѣба и запивали его водой. „Всегда вы такъ обѣдаете?" Оказалось, нѣтъ. Вся эта кучка состояла изъ хлопцевъ сосѣднихъ селъ. Ночевать они уходятъ домой, гдѣ и ѣдятъ горячее, а на шахту приносятъ съ собой только хлѣбъ. Другіе рабочіе, изъ дальнихъ мѣстъ, нанимаютъ артелью стряпку, которая и готовитъ имъ обѣдъ, состоящій большею частью изъ соленой рыбы, иногда изъ мяса. Но тѣ въ это время уже пообѣдали и отдыхали по разнымъ мѣстамъ: одинъ лежалъ подъ бочкой съ водой, другой засунулъ голову подъ воротъ, прикрывъ часть колеса какою-то хламидой, отчего образовалась тѣнь; третій залѣзъ въ шалашикъ, сдѣланный изъ полѣньевъ дровъ и прикрытый бурьяномъ, тутъ же, около шахты, вырваннымъ. Такихъ шалашиковъ я насчиталъ штукъ шесть.

Вообще картина нищеты и оголтѣлости была полная. Въ особенности первое впечатлѣніе было невыгодно. Каждому, конечно, извѣстны угольщики, продающіе по улицамъ горо-

довъ древесные угли. Ну, такъ вотъ, если представить себѣ такого угольщика, да притомъ снять съ него одежду, оставить его въ изодранной рубахѣ и почти безъ оныхъ, то получится вѣрное изображеніе рабочаго на каменноугольной шахтѣ. У перваго рабочаго, который мнѣ попался на глаза, рубаха на брюхѣ совсѣмъ отсутствовала; у другого дѣла были еще хуже. А когда я увидалъ ихъ въ кучѣ, въ количествѣ десяти человѣкъ, то получилъ еще болѣе сильное впечатлѣніе,—это была куча лохмотьевъ, облитыхъ жидкою сажей.

— Отмывается эта грязь съ тѣла?—спросилъ я.

— Какъ же, отмывается,—отвѣтили мнѣ.

— Ну, а эта одежда рабочая на васъ?

— Извѣстно, рабочая. А есть которые эти ризы почитай что и николи не снимаютъ,—такъ и ходятъ чертями.

— Это почему же?

— Да такъ, значитъ,—въ шинкѣ прочая-то одежда.

Справедливость этихъ словъ я понялъ только впослѣдствіи, разузнавъ поближе о жизни копей.

— Ну, а работа тяжелая?—спросилъ я еще, хотя былъ заранѣе убѣжденъ въ ненужности такого вопроса.

— Нѣтъ, ничего, мы привыкли. А впрочемъ, одно слово—Сибирь!

Но какова работа шахтера, я лучше приведу разсказъ одного молодого человѣка изъ интеллигентныхъ, попробовавшаго работать въ шахтѣ. Онъ оканчивалъ курсъ въ штегерскомъ училищѣ и нанялся въ качествѣ рабочаго въ вакаціонное время.

— Какъ вамъ извѣстно, у насъ въ училищѣ очень часто бываютъ практическіе уроки въ шахтахъ. На такихъ урокахъ я всегда чувствовалъ себя весело, много работалъ и всегда прежде всѣхъ изучалъ пріемы разныхъ работъ. И мнѣ не казалось трудной жизнь въ шахтѣ... Вотъ я однажды и задумалъ провести лѣто на одномъ рудникѣ, въ качествѣ простого забойщика. Задумалъ и сдѣлалъ. Манили меня двѣ цѣли—практическая и, если хотите, идейная. Практически мнѣ положительно необходимо было зашибить за лѣто рублей сто, а на шахтѣ, гдѣ поденная плата минимумъ 70 к., а то поднимается для ловкаго рабочаго и до 2 руб., мнѣ казалось легко зашибить такія деньги, причемъ, по

моимъ разсчетамъ, я ни въ чемъ не буду себѣ отказывать—ни въ отдыхѣ, ни въ пищѣ. Ну, словомъ, мнѣ улыбалась жизнь шахты съ этой стороны. Что касается идейной, то вы поймете сами, въ чемъ дѣло: желаніе сблизиться съ народомъ, гордость сознанія тяжелой работы, мечты о будущемъ... Мечталъ я ни болѣе, ни менѣе, какъ бросить свое привилегированное положеніе и сдѣлаться простымъ работникомъ. Ни болѣе, ни менѣе!... Такъ вотъ я и поступилъ на шахту. На первыхъ порахъ мнѣ назначено было 1 р. 20 к. въ день—чего же больше? Принялся я работать. Обстановка мрачная. Работаютъ при масляномъ освѣщеніи, которое производитъ удушливый смрадъ. По щиколки въ водѣ. Въ лучшемъ случаѣ, если нѣтъ воды, кругомъ по стѣнамъ и подъ ногами стоитъ какая-то осклизлая сырость. Но въ первый день я чувствовалъ себя ничего: только руки, отъ тяжелаго кайла, висѣли, какъ веревки, да спина мозжила. Въ головѣ тупость какая-то. Но все-таки урокъ свой я исполнилъ. На другой день въ шахту я спускался уже безъ всякой охоты, и дрожь пронизала меня, когда я очутился за томъ же самомъ мѣстѣ забоя, гдѣ вчера долбилъ. Но я въ этотъ день урокъ свой я кончилъ съ грѣхомъ пополамъ. Только все время былъ въ какомъ-то сонливомъ настроеніи не то отъ усталости, не то отъ чего другого. Пропадалъ я послѣ этого раза десять съ половиною часовъ и окончанія смѣны ожидалъ съ какимъ-то раздраженіемъ. Раздражала меня осклизлая, грязная блуза, бѣсилъ видъ чернаго угля. Но я все-таки упрямо полѣзъ и въ третій разъ. Но въ этотъ день на меня напало такое мрачное настроеніе, что я ежеминутно порывался бросить кайло, молотокъ и долото и вырваться на свѣтъ... Вы не можете себѣ представить, какъ тяжело лишеніе свѣта! По крайней мѣрѣ, я до сихъ поръ не могъ представить себѣ, чтобы солнце было такъ необходимо человѣку. Когда я въ этотъ день спустился въ шахту, безпричинная и страшная тоска овладѣла мною. И я чувствовалъ, что это именно тоска по солнцу. Если бы солнечный лучъ ворвался туда, на глубину пятидесяти саженей, я бы, казалось, закричалъ отъ радости и принялся бы весело и съ удвоенною силой работать. Но солнца тамъ не могло быть, и я чувствовалъ, какъ сжималось отъ давящей тоски мое сердце, а умъ какъ-то обозлился... Только сонливость

помогла мнѣ. Работая кайломъ, я въ то же время сознавалъ, какъ глаза мои слипаются и все тѣло изнемогаетъ отъ жажды сна, безпробуднаго сна. И я уснулъ, не кончивъ работы... Эта сонливость, вѣроятно, происходитъ также отъ отсутствія солнца. Нѣтъ свѣта, и тѣло жаждетъ покоя, лишенное своего возбудителя, своей творческой силы... Но въ то же самое время сонливость—единственное спасеніе отъ тоски. Еслибы не нападала эта сонливость, то можно бы было, казалось, съ ума сойти, такъ что на четвертую смѣну я уже ожидалъ сонливаго состоянія, какъ нѣчто пріятное, и когда оно напало на меня, я уже работалъ, какъ машина. И все-таки опять уснулъ, на этотъ разъ еще раньше, чѣмъ вчера, уснулъ прямо въ осклизлой, сырой одеждѣ, положивъ голову на глыбу угля и лежа бокомъ прямо въ холодной лужѣ... Пятую смѣну я пропустилъ, просидѣлъ цѣлыя сутки на квартирѣ и все время испытывалъ какую-то одурь. На шестой день я пошелъ, но, не проработавъ и трехъ часовъ, уснулъ съ молотомъ въ рукѣ, повалившись въ сырое углубленіе забоя, и Богъ знаетъ, сколько времени проспалъ бы, еслибы товарищи рабочіе, по окончаніи смѣны, не растолкали меня. Этимъ и кончилась моя попытка зарабатывать деньги кайломъ и жить вмѣстѣ съ чернорабочими. Конечно, я могъ бы и дольше остаться,—вы видите, я человѣкъ сильный и выносливый, — но тогда мнѣ нужно было бы выучиться пить, пить съ страшнымъ разгуломъ и дебошами, пить вплоть до пропоя послѣднихъ штановъ, какъ пьютъ только наши рабочіе. Я теперь увѣренъ, что жизнь шахтера можетъ проходить только между двумя состояніями —сонливостью и разгульнымъ пьянствомъ...

Дѣйствительно, слова юноши я вскорѣ самъ провѣрилъ и въ значительной степени нашелъ ихъ справедливыми. Какъ работаютъ люди въ глубинѣ шахтъ и что они чувствуютъ тамъ, объ этомъ я, конечно, не могу судить,—для этого пришлось бы очень долго съ ними жить въ очень близкомъ общеніи,—но какъ они живутъ на поверхности земли, при свѣтѣ солнца, это я могъ и самъ наблюдать, но, главное, слушать ихъ собственные разсказы про себя.

Недѣлю кое-какъ шахтеръ просидитъ въ шахтѣ, а въ праздникъ ужь непремѣнно напьется; при этомъ онъ горланитъ пѣсни, бьетъ посуду, устраиваетъ драку, разбрасываетъ по

полу деньги, если онѣ есть, а если нѣтъ, то закладываетъ шинкарю все, что имѣетъ,—фуражку, шаровары, пиджакъ, сапоги, рубаху,—и пропиваетъ часто рѣшительно все, что имѣетъ, кромѣ той ослизлой и грязной рвани, въ которой работаетъ. Такъ онъ и живетъ всю жизнь, ничего не добиваясь. Весь его заработокъ уходитъ, съ одной стороны, на собственное прокормленіе,—за все съ него дерутъ вдвое дороже,—съ другой—на водку и разгулъ.

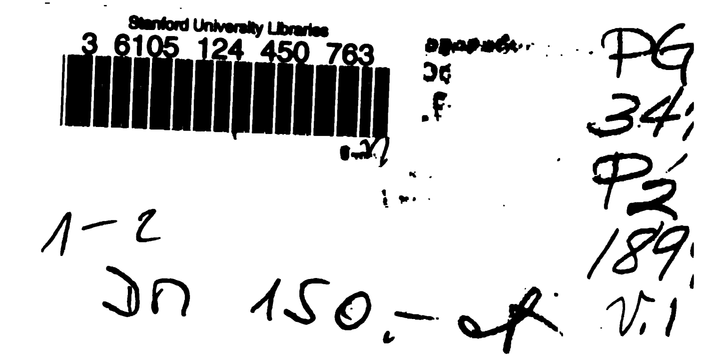
И мнѣ послѣ близкаго знакомства съ рабочими и послѣ разговоровъ съ ними понятно стало, почему въ такихъ селахъ, какъ Щербиновка, такъ много всякихъ лавочекъ и кабачковъ,—все это кормится на счетъ шахтера. Такимъ образомъ, выгоды донецкой промышленности исключительно выпадаютъ на долю хозяевъ да темныхъ паразитовъ, содержащихъ питейныя, бакалейныя и другія лавочки. Самому ему ничего не остается. Семья его еле колотится со дня на день. Идетъ онъ изъ близкихъ губерній—Харьковской, Екатеринославской, Орловской и Курской, идетъ въ надеждѣ поправить какой-нибудь недочетъ въ хозяйствѣ, но, пробывъ годъ на шахтѣ, онъ такъ тутъ навсегда и остается, а хозяйство его пропадаетъ. Что касается настоящаго крестьянина, то онъ не прочь попользоваться отъ шахты: онъ возитъ уголь, подвозитъ матеріалы, мечтаетъ свою собственную шахту завести и иногда дѣйствительно заводитъ ее, но въ шахту забойщикомъ не пойдетъ, а если случится у него крайняя нужда, то поработаетъ немного, но при первой возможности убѣжитъ къ своему хозяйству, къ работѣ на волѣ и при свѣтѣ солнца.

Такъ что во всѣхъ донецкихъ копяхъ и заводахъ уже и теперь образовался особенный классъ подземныхъ людей—буйныхъ, безалаберныхъ и пропащихъ. Нѣтъ у нихъ ни дома, ни опредѣленной цѣли; много, каторжно работать и много пить—вотъ и вся ихъ жизнь.

Конецъ I тома.

ОГЛАВЛЕНІЕ I ТОМА.

Стр.



Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

